

22.06.41. 14 часов. ВОЙНА! 22 августа. <1941> Ровно два месяца войны. В этот день, два месяца назад, мы о ней узнали. Какой суровый подъем был, как все надеялись... А сейчас — уныние, упадок, страх. Мы проигрываем войну — это ясно. 23/1-42. С хлебом в городе какой-то кошмар — из-за отсутствия воды не работают хлебозаводы и в булочных нет хлеба, — а это, собственно говоря, единственная пища Ленинградцев. Смертность растет и растет. Труны валяются на центральных улицах неубранными. 18 января 1943 года. Сегодня последний час объявил, что блокада Ленинграда прорвана. ...в 44 столько было работы на радио, что вела какие-то обрывочные записи кое-где, на листочках, на блокнотах... Что было главного за эти годы, с тех пор как оборвался дневник: конечно, победа... 29 января 1947 года, десятый час вечера. Пять лет назад в эти часы умер Коля. Как странно, что мне невероятно хочется чем-то внешне отметить этот день, и говорить о нем, — и не с кем. О, этот 49 год! Сначала — «космополиты», — позорище и ужас, когда было полное ощущение, что «рухнувшие стены Большого Дома», т. е. между торьмой и волей — грани, стены уже нет. В начале 52-го, зимой и весной, — дважды Волго-Дон. Дикое, страшное народное страдание. Историческая трагедия небывалых масштабов. Безысходная, жуткая каторга, именуемая «великой стройкой коммунизма», «сталинской стройкой». 7/XI-52. 35 лет Октября. Сегодня — годовщина Революции. День этот всегда был и будет для меня свят, и праздничен, несмотря на то, что отдельные годовщины связаны с тяжкими личными ранами. 14/V-54. Жизнь похожа на роман, — при этом то высоко-трагедийный, то на бульварно-авантюрный; зачастую это сливается вместе, отчетливо сохраняя обе свои стороны, — трагедии и фарса. 22 июля 1953 года. Сегодня утром умер Михаил Михайлович Зощенко. Я ни в чем не могу упрекнуть себя по отношению к М. М. Не только ни словом, делом не предала его в катастрофические дни 1946 года, восприняла это, как личную катастрофу, чем могла — старалась согреть. 13/II-65 — 20 лет со дня гибели генерала Карбышева. Так что же, она забудется «за давностью лет»? Не существует «давности лет» для героизма людского и для тех преступлений, которым они противостояли.

Ольга Берггольц Мой дневник

1941
—
1971





ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Ольга Берггольц

Мой дневник
1941–1971

 КУЧКОВО
ПОЛЕ

Москва
2020

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-рус)6
Б48

Изображения для издания предоставлены
Российским государственным архивом литературы и искусства

Редакционный совет

Российского государственного архива литературы и искусства

Т.М. Горяева (председатель), В.А. Антипина, Л.М. Бабаева, Л.Н. Бодрова,
Е.В. Бронникова, Т.Л. Латыпова, М.А. Рашковская, Н.А. Стрижкова, Е.Ю. Филькина, К.В. Яковлева

Ответственные составители

А.П. Гаврилова, Н.А. Стрижкова

Бергтольц О. Ф.

Б48 Мой дневник. Т. 3: 1941–1974 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций А. П. Гавриловой, составление, текстологическая подготовка дневников 1941–1944 гг. Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Н. А. Стрижковой, А. П. Гавриловой; комментарии О. В. Быстровой, Н. А. Громовой, Н. С. Романова. — М. : Кучково поле Музеон, 2020. — 840 с. ; 32 с. ил.

ISBN 978-5-907174-34-4

О. Ф. Бергтольц (1910–1975) — поэтесса и автор мемуарной прозы, чей голос неразрывно связан с памятью о блокадном Ленинграде. Третья книга серии «Ольга Бергтольц. Мой дневник» завершает полнотекстовую публикацию всех дневников поэтессы, хранящихся в ее фонде в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ). Записи послевоенных лет за редким исключением публикуются впервые.

Дневники содержат и суровую хронику жизни в осажденном городе, и более позднее разоблачение «казенной лжи о блокаде», и записи о драматично сложившейся послевоенной жизни. Они предельно откровенны, полны горечи и боли. Среди современников, о которых пишет О. Ф. Бергтольц, — М. И. Алигер, Л. Арагон, А. А. Ахматова, Ю. П. Герман, Д. С. Данин, А. Т. Твардовский, Д. Д. Шостакович и др. Издание снабжено комментарием и вступительными статьями.

Для широкого круга читателей.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-рус)6

На фронтисписе:
Ольга Бергтольц
1942

ISBN 978-5-907174-34-4
Тираж 1400 экз.
Заказ № 9482

© Российский государственный архив литературы и искусства, 2020
© Бергтольц О. Ф. (наследники), текст дневников, 2020
© Быстрова О. В., комментарии, 2020
© Гаврилова А. П., составление, текстологическая подготовка, вступительная статья, подбор иллюстраций, 2020
© Громова Н. А., комментарии, 2020
© Романов Н. С., комментарии, 2020
© Стрижкова Н. А., составление, текстологическая подготовка дневников 1941–1944 гг., вступительная статья, 2020
© ООО «Кучково поле Музеон», оригинал-макет, издание, 2020

Содержание

<i>Наталья Стрижкова. «Я говорю, держа на сердце руку...»</i>	7
<i>Анна Гаврилова. От составителей</i>	26

Мой дневник

1941	31
1942	101
1943	263
1944–1945	303
1946	317
1947	331
1948	377
1949	407
1950	449
1951	455
1952	469
1953	485
1954	491
1955	521
1956	527
1957	543
1958	583
1959	597
1960	605
1963–1964	617
1965–1966	625
1971	633

Комментарии

1941 год	649
1942 год	679
1943 год	717
1944–1945 годы	727
1946 год	730
1947 год	736
1949 год	758
1950 год	766
1951 год	766
1952 год	767
1953 год	772
1954 год	775
1955 год	786
1956 год	787
1957 год	795
1958 год	808
1959 год	811
1960 год	813
1963–1964 годы	816
1965–1966 годы	818
1971 год	820
Список аббревиатур	824
Именной указатель	826

«Я говорю, держа на сердце руку...»

«Ольга Берггольц. Мой дневник. 1941–1971» — третья и заключительная книга научно-издательского проекта по изучению и публикации всех дневников О. Ф. Берггольц, хранящихся в ее фонде в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ. Ф. 2888).

Дневники О. Ф. Берггольц вела с 13 лет и до конца жизни, они охватывают годы с 1923 по 1971 г. При подготовке к изданию весь корпус записей был разделен на следующие периоды: дневники отрочества и юности (1923–1929)¹, дневники 1930–1941 гг.², записи с начала Великой Отечественной войны (1941) до октября 1971 г. (в последнем хранящемся в РГАЛИ дневнике)³.

Война для Ольги Берггольц стала периодом «жесточкого расцвета». Всю блокаду она находилась в Ленинграде, с августа 1941 г. по радио (единственный способ связи людей с внешним миром) ее голос, обращенный к простым ленинградцам, «покорял горожан своей естественной, без надрыва интонацией... она говорила от их лица, находясь на пределе своих физических возможностей»⁴. В эти годы были написаны ее самые крупные и значимые произведения «Февральский дневник», «Ленинградская поэма», «Письмо на Каму», «Второе письмо на Каму», «Разговор с соседкой», знаменитые, ставшие почти народными, строки «Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам», «Бедный ленинградский ломтик хлеба — он почти не весит на руке», и венчают эту военную лирику ее слова-молитва, выбитые на мемориале Пискаревского кладбища «Никто не забыт, ничто не забыто».

Эта совокупность личного мужества и живого, живительного поэтического слова — простого в своей подлинности и искренности («Пре-

красные и больные» строки), воспевающего не подвиги героев, а жизнь и смерть обычного человека, навсегда утвердила непререкаемый нравственный авторитет легендарной «Ленинградской мадонны».

*Я говорю за всех, кто здесь погиб.
В моих стихах глухие их шаги,
их вечное и жаркое дыханье⁵.*

Но помимо поэтического слова, которое она также называла «интимным документом эпохи»⁶, для Берггольц было важно сказать правдивое слово о Ленинграде, рассказать о том пережитом, что невозможно было написать в стихах и прочитано по радио, о чем запретили говорить после войны, но что «разъедало душу, как ржавчина» все последующие годы. «А для слова — правдивого слова о Ленинграде — еще, видимо, не пришло время... Придет ли оно вообще?»⁷

Эти правдивые слова она писала почти ежедневно, под грохот бомб, в холоде и голоде, в своем дневнике. Время для них наступило, и среди уже опубликованных свидетельств современников-блокадников⁸ должен был наконец прозвучать голос Ольги Берггольц, ее исповедь «по праву разделенного страдания».

Публикация Блокадного дневника существенно изменила канонический героический образ Ленинградской мадонны и открыла ее «вторую», подлинную жизнь — сопричастность личной судьбой общей трагедии, боль личных утрат, потерю веры и желанья жить, рефлексию мучительного осмысления происходящего, опережающее свое время понимание правды, сказать о которой нельзя было еще много десятков лет.

В блокаду Берггольц потеряла любимого мужа Николая Молчанова — он умер от дистрофии; в дневнике она описывает эти мучительные дни его умирания. Ее отец Федор Христофорович Берггольц, военный врач, был выслан из Ленинграда за фамилию немецкого происхождения, и даже слава и популярность Ольги его не спасли (она боролась, делала все что могла). Больной и истощенный, он был отправлен в Красноярск, (по возвращении оттуда после войны вскоре умер в 1948 г.). И ежедневно она переживала трагедию умирающего от голода и холода города, не покидая его, фиксировала и анализировала страшную повседневность, сама опухая от голода:

«Люди, падающие на улицах страшнее падающих бомб»⁹.

в душе забуду тебя, Иерусалиме.. 18
9 марта 1942 года Москва.

Меню одним словом, которое я написала в одной тетрадке 22 июня 1941 года и в последние дни прошло почти 9 месяцев войны. Меню друзей и семьи сиротами я могу вложить довольно много писем, бланков, тетрадок-зачетов, сделанных за дни войны.

Я долго не решалась продолжать эти записи в одной тетрадке. Как все, что было до войны - яма тетрадь со всеми ее записями - истреблено раньше меня. Стрелы - пули ранней, пещей. Я не записала ничего личного, кроме ран и мучки. Но, что люди любят меня, забываются обо мне - их глубокие забывчивость. Но и мне и не надо ничего этого.

За это время, изумительно записи о кой-каком умственном меню друзей сиротами... хотела переписать, что было за это время, но просить переписать - кем-то, и даже для просить переписать нужны томе.

Я с удивлением пишу истребленные имя своего записи ей 4/11-41. Да, вот там и было: война стевала Колю, много Колю, друг, счастье в жизнь.

Я сиротами оиданто.

«Смерть бушует в городе. Он уже начинает пахнуть, как труп. <...> Даже экскаваторы не справляются с рытьем могил. Трупы лежат штабелями, в конце Мойки целые переулки и улицы из штабелей трупов. Между этими штабелями ездят грузовики, с трупами же...»¹⁰

«Зашла к Ахматовой, она живет у дворника (убитого артснарядом на ул. Желябова) в подвале, в темном-темном уголку прихожей, вонючем таком, совершенно достоевщицком, на досках, находящихся дру на друга, — матрасишко, на краю, закутанная в платок, с ввалившимися глазами — Анна Ахматова, муза плача, гордость русской поэзии — неповторимый, большой, сияющий Поэт. Она почти голодает, больная, испуганная. А товарищ Шумилов сидит в Смольном в бронированном удобном бомбоубежище и занимается тем, что даже сейчас, в трагический такой момент, не дает людям вымолвить живого, нужного, как хлеб, слова... А я должна писать для Европы о том, как героически обороняется Ленинград, мировой центр культуры. Я не могу этого очерка писать, у меня физически опускаются руки»¹¹.

Но, несмотря на все пережитое, в конце войны она напишет:

«Я счастлива.

*И все яснее мне,
что я всегда жила для этих дней,
для этого жестокого расцвета»¹².*

Парадоксальная особенность дневников военных лет — острота переживания жизни перед лицом смерти — уже отработана исследователями. Но для Берггольц это было не состояние аффекта от трагизма момента, а результат долгого и выстраданного пути к себе, своему предназначению, к пониманию времени и своего места в нем. В блокаду ее жизненный путь сошелся в той кульминационной точке, когда был найден смысл всего пережитого до и все последующие годы обрели особый, высший смысл.

Блокадный дневник является, таким образом, камертоном для прочтения всех дневников от юности до смерти, которые вышли уже по хронологии и составили трехтомное издание.

В данной книге военный дневник публикуется вместе со всем корпусом послевоенных записей. И в этом единстве прочтения всех книг раскрывается феномен дневника Ольги Берггольц — жизнетворчество через Слово, текст, рожденный в процессе осмысления

жизни и одновременно эту жизнь созидающий. Подобное определение своему дневнику дал и Михаил Пришвин — «творил саму жизнь... чтобы слово стало плотью»¹³.

Особенно отчетливо это жизнетворческое значение дневника было осознано и сформулировано Берггольц именно в дни блокады.

*«А я должна писать. Я должна что-то делать, чтоб выжить, чтоб не сойти с ума, не лечь...»*¹⁴

*«Мне надо перестать вести дневник. Это садизм»*¹⁵, — пишет она 11 февраля 1942 г. Однако продолжает его вести, потому что это становится способом утверждения жизни, способом обретения смысла: *«...Надо выжить, и написать обо всем этом книгу...»*¹⁶

Понять истоки этого жизнеутверждения позволяет прочтение ранних дневников и записей 1930-х гг.

Поиск и обретение своего пути — поэтического и жизненного — это главная тема уже юношеского дневника. Рожденная на переломе эпох, Берггольц принадлежала к поколению тех, кто формировался в контексте всеобщих социокультурных изменений, созидания «нового мира». И острота переживания времени, жажда осмысления его, необходимость со-участия, самоидентификация, сильное интуитивное ощущение предназначения — были свойственны ей с детства. В 13 лет она заявила:

*«Я хочу, чтобы звуки моей песни носились повсюду, чтобы они, эти скромные песни, врачевали разбитых, усталых людей, чтобы всякий, кто бы ни прочел их, мог снова смотреть на жизнь с хорошей стороны. Нет, я не хочу быть классическим, гениальным поэтом, т. е. очень хочу, но... как бы мне выразиться... Ну, я стремлюсь большей частью не к славе, а к помощи, душевной помощи людям»*¹⁷.

Ее долгое поэтическое становление являлось этим поиском своего голоса, своих тем творчества, своего читателя, смысла своего служения. Она искала себя в новых литературных группировках и идеях 1920-х гг., в браке с талантливым поэтом Борисом Корниловым, в работе корреспондентом на Кавказе и в степях Казахстана, фиксируя повседневность великой советской стройки, в энтузиазме рабочих будней в газете завода «Электросила», в попытках написать документальный роман о предприятиях, во вдохновенном сотворчестве в проекте Горького «История фабрик и заводов» и даже в яростной агитации борьбы с «врагами народа» в начале 1930-х гг.

И все это безоглядно, на разбеге, с самоотдачей, увлеченностью, любовью, искренностью. Как впоследствии вспоминал ее современник писатель Александр Крон, «Ольге было свойственно самозабвенно отдаваться любовному чувству, но любовь для нее была понятием гораздо более всеобъемлющем, чем любовная страсть. <...> Она любила свой город, свою страну, и это была не абстрактная любовь, позволяющая оставаться равнодушной к частным судьбам»¹⁸.

Годы юности, первая половина 1930-х гг., были проникнуты этой любовью, открытостью, наивным энтузиазмом, верой в мечту о коммунизме. И даже личная трагедия — смерть двух дочерей — не выбили ее из этого, как ей казалось, общего дела созидания жизни. Что не исключало анализа и глубинного понимания происходящего, поиска правды. Хотя о том, что теория расходится с жизнью, она догадывалась тогда интуитивно-смутно, все сомнения и критика возникали в рамках верности общей теории. Такова суть идеологии: «ложное сознание — это не способ сознательного обмана, а способ бессознательного самообмана. <...> В любой идеологии присутствует подлинное начало — истинное желание»¹⁹.

Истинным желанием Ольги Берггольц всегда была потребность своей стране, участие, служение людям, высоким идеалам, правде («В моих произведениях с юности ничего не было не достоверного, не взятого из жизни»²⁰). Изначально необходимость высшего духовного смысла — веры — была привита семьей в детстве через религиозное чувство и сохранилась на всю жизнь, невзирая на смену идейно-идеологической парадигмы.

Утрата этого необходимого ей подлинного начала, а вместе с ним и смысла жизни, произошла после ареста и шести с половиной месяцев тюрьмы в 1938–1939 гг.

«Второй раз из этого дома меня увезли в тюрьму, и с нее началась вторая смерть, — смерть “общей идеи” во мне. Я не живу; я живу вспышками, путем непрерывных коротких замыканий, но это не жизнь. Я живу по инерции, хватаюсь, цепляюсь за что-то, и за работу, и за пижаму, но это непрерывное бегство от самой себя. Доктор сказал, что мне надо пойти к психиатрам. Зачем? Что они могут восстановить во мне? Я с удовольствием скажу им, что мне нечем жить, потому что насущнейшая моя потребность говорить людям именно об этом, и это тоже бегство, т.к. я слишком слаба, чтоб таскать все это в самой себе,

но чем, чем они мне могут помочь? Какую новую опору дадут они мне? Я круглый лишенец. У меня отнято все, отнято самое драгоценное: доверие к Советской Власти, больше, даже к идее ее... “Как и жить и плакать без тебя?” <...> У меня отнята даже возможность “обмена света и добра” с людьми»²¹.

Война вернула смысл и возможность (даже необходимость) «обмена света и добра» с людьми. Война стала освобождением от экзистенциального тупика, вернула Родину, но уже вне временных идеологических рамок.

«Так вот, 22 июня 1941 года, когда была объявлена война, тюрьма отошла и простилась. <...> Я погрузилась в работу, другие — массовые мысли и чувства, овладели душой, довоенная подавленность исчезла, что страшнее всего, что и у меня и у Коли²² совсем исчезло пресловутое томящее “чувство временности”, как будто именно для этих гибельных дней войны мы и жили, ждали только ее»²³.

Сама Берггольц определила это как наступление зрелости, хотя был ей тогда всего 31 год.

Вера Кетлинская, руководитель Ленинградского отделения Союза писателей, вспоминала о том, как Ольга пришла в первые дни войны: «На вид — по-прежнему, девочка, но девочка взволнованная и собранная, внутренне готовая к страданиям и подвигу»²⁴.

Таким образом, к своему «жестокому расцвету», наступившему в войну, Ольга Берггольц шла долго. О том, что он будет жестокий, она мистическим образом предчувствовала с юности. В 15 лет в своем дневнике она записала сон:

«И вот, мне приснилось, т. е. представилось: лед, лед и лед. Земля умирает... Все разрушено... Нет ни Парижа, ни Нью-Йорка, ни Лондона, ни Москвы... Все погибло... Ни день, ни ночь — какой-то серый мрак... Люди столпились в кучку, жмутся друг к другу... Им холодно... Чувств не осталось; жить, жить, наслаждаться жизнью, ее красотой, всяким ее движением... Земля и люди умирают... Звезды такие холодные... Холодно... О, если б знать о близкой гибели... Люди жмутся друг к другу»²⁵.

В блокадном дневнике эта картина оживает уже в страшной реальности: «18 декабря 41 г — как шли пешком по озеру обезумевшие от голода люди, мерзли, тащили на саночках скарб и детишек, те замерзали, и матери везли их замерзших, пока не падали и не замерзали сами. Люди шли и ехали через озеро на грузовиках,

бывало, что прибывший на ту сторону грузовик был на 3/4 набит уже окоченевшими людьми. Они пытались вырваться из рук [мерзущ<его?>] умирающего города... Лед и адская стужа, и свирепые огневые бомбежки сверху, — ад, ад в полном смысле слова, так, как из века в век представлял его человек»²⁶.

И в это апокалиптическое время воплощается ее в детстве себе пророчески предсказанная миссия — поэта, исцеляющего стихами: *«А это ведь и в самом деле грандиозно: ленинградцы, масса ленинградцев лежит в темных, промозглых углах, их кровати трясутся, они лежат в темноте ослабшие, вялые (господи, как я по себе знаю это, когда лежала без воли, без желания, в ПРОСТРАЦИИ), и единственная связь с миром — радио, и вот доходит в этот черный, отрезанный от мира угол — стих, мой стих, и людям на мгновение в этих углах становится легче, — голодным, отчаявшимся людям. Если мгновение отрады доставила я им — пусть мимолетной, пусть иллюзорной, — ведь это неважно, — значит, существование мое оправданно»²⁷.*

А в письме к отцу она пишет: *«К вашей дочери, папа, пришла настоящая слава, не через статьи, не через чины, а снизу, от самого народа, и слава почетная “ведь Вы правду пишете”, — говорят мне всюду. Это народное признание бесконечно дорого мне, и я желаю только одного — оправдать его в дальнейшем»²⁸.*

Способность писать правду, чувствовать живой пульс жизни народа, страны была для Берггольц столь ценным обретением, что в недолгую эвакуацию в Москву спокойная и относительно сытая жизнь была определена ею как *«сумма удобств», в которых ЖИТЬ нельзя»²⁹.* Оправдать обретенное понимание подлинной жизни — стало идеей, определившей всю дальнейшую жизнь Ольги Берггольц: *«Это история не только физических, но духовных метаморфоз. <...> Это именно то, что произошло с блокадными людьми — выжили они или не выжили, но все вошли в блокаду одними, а вышли из нее другими, как будто прошли через некое горнило, врата. Это какая-то мистерия, библейская история»³⁰.*

Берггольц тоже определяла войну и блокаду как *«библейскую грозу», в дневниках часто встречается строчка «Аще забуду тебя, Иерусалиме...»³¹.*

Все это важно для понимания ее послевоенных дневников, в котором уже звучит ее зрелый голос и стремление сохранить подлинную

внутреннюю свободу, понимаемую не как служение или сопротивление идеологическому режиму, а как единственно возможная форма бытия, делающая человека современным своей эпохе, нужным обществу и культуре, вне зависимости от политических метаморфоз. Именно это помогало ей осмыслить советскую эпоху как сложный, драматический, противоречивый, но грандиозный период истории, в центре которой находится человек с его ошибками, заблуждениями, страданиями, потерями и великими победами. Это было обретение второй Родины как создаваемое собственным творчеством и осознанными поступками пространство бытия:

«...Понимаю это сердцем, вижу, что и после войны ничего не изменится. Это — как окна в небе. Но я знаю, что нет другого пути, как идти вместе со страдающим, мужественным народом.»³²

Новое ее сознание уже не было подвержено идеализации. Она отмечает *«ужасную пропасть между государством и народом»*, ошибки командования, замалчивание блокады, цензуру (прочтение по радио «Февральского дневника» в дни войны потребовало особого разрешения), борется с несправедливостью ареста и высылки отца НКВД. Но это трезвое понимание действительности не лишает ее желания участвовать в общей жизни, служить стране.

«Воюю за свободу русского слова, — во сколько раз больше и лучше поработали бы мы при полном доверии нам! Воюю за народную советскую власть, за народоправие, а не за почтительное народодействие. Воюю за то, чтоб честный советский человек жил спокойно, не боясь ссылки и тюрьмы. Воюю за свободное и независимое [1 сл. нрзб>] Искусство. Ну, а если всего этого не будет... посмотрим!»³³

После войны всего этого, конечно, не было. Для того чтобы следовать выбранной стезе правды, приходилось лавировать, выбирать, подставляться под удары, отступать.

Уже в 1946 г. наступают сложные времена. Выходит постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», начинается травля Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Ольга Берггольц по праву обретенного голоса кидается их защищать, выступает с публичным осуждением постановления. За это сама попадает под цензуру, ее обвиняют в «идеологических ошибках», в «увлечении темой страдания», подвергают публичной критике на Общегородском писательском собрании, исключают из правления Ленинградско-

го отделения Союза писателей. Вскоре началось «Ленинградское дело», по городу прошла волна арестов. Был разгромлен Музей обороны Ленинграда, говорить о трагедии блокады было запрещено, потому что Победа оправдывает все страдания. Из Публичной библиотеки была изъята книга «Говорит Ленинград» (сборник радиовыступлений Берггольц). Кольцо идеологии снова сомкнулось. От повторного ареста Берггольц спасли небывалая слава и огромный авторитет в Ленинграде. За поддержку Ахматовой и Зощенко ей пришлось признать ошибочность своих статей об Ахматовой. О своей общественной деятельности она напишет *«На собранье целый день сидела, то голосовала, то лгала»*³⁴. Стало понятно, что надежды на свободу и справедливость после войны не оправдались. Способом жизни продолжали быть работа, служение памяти, творчество.

Послевоенное творчество Берггольц обретает особое качество и содержание. В конце войны вышла поэма «Твой путь» (за которую она и подверглась критике), в 1948 г. опубликован сборник стихов «Избранное». Написана поэма «Первороссийск» — о первом советском обществе коммунаров-землеробов на Алтае. Через эту тему Берггольц пытается сохранить важную для нее поэтическую интонацию — воспевать подвиг жизни (*«И особенно радует меня — большой читательский успех поэмы. Нет, я не подвела их, тех, кто любил меня во время блокады. Поэма чиста и честна»*³⁵), — но в первой редакции вынужденно заканчивает поэму именем Сталина (уступка времени) *«а когда хвалили «Первороссийск», у меня не было такого чувства — до конца, все чего-то саднило, из-за Сталина, всаженного туда очень нарочито»*³⁶.

В 1952 г. совершает вместе с другими писателями важную для себя поездку на строительство Волго-Донского канала, публикует об этом очерки в прессе в духе официоза, но в стихах «Из цикла Волго-Дон» пытается «прорваться к правде, обращается к читателю, способному раздвинуть смысл прочитанного и услышать недосказанность боли за словами о “дозорной вышке” и “котловане за колючей проволокой”»³⁷. А в дневнике записала:

«Да, люди возводят египетские сооружения, меняют местами облик земли, они радуются созданию своих рук, результату каторжных своих усилий, я сама видела это на пуске Карповской станции, на слиянии Волги и Дона, — но это — радость каторжан,

это страшнейшая из каторг, потому что она прикидывается “счастливой жизнью”, “коммунизмом”, она драпируется в ложь, и мне предложено, велено драпировать ее в ложь, воспевать ее (а не “простых тамошних людей”, как уверял Юра), и я это делаю, и всячески стараюсь уверить себя, что что-то “протаскиваю”, “даю подтекст”, и не могу уверить себя в этом»³⁸.

С начала 1950-х она приступает к работе над Главной книгой, которую задумала писать еще во время войны. Книга мыслилась как история ее поколения, весь ее жизненный путь. Замысел частично воплотился в нескольких произведениях, поэтических и прозаических: первая часть автобиографической повести «Дневные звезды» (1959), поэтический сборник «Узел» (1965), в который вошли тюремные и блокадные стихи, и последняя книга «Память» (1972).

Во всем ее послевоенном творчестве преобладает исповедальное начало, стремление быть честной, хоть между строк сказать правду. Наступило время «собирания камней». В 1957 г. Берггольц добилась реабилитации Бориса Корнилова: Военная коллегия Верховного суда СССР отменила смертный приговор от 20 февраля 1938 г. и дело было прекращено за отсутствием состава преступления. При ее участии был выпущен сборник стихов Корнилова. Это, конечно, не вернуло его к жизни, но восстановило правду и память.

В художественной автобиографии «Дневные звезды», написанной в стиле открытого дневника, она вписала свою биографию в общую историю страны, судьбу своего поколения и впервые открыто произнесла покаяние за годы всеобщей лжи, о чем в своем дневнике писала многократно:

«...Да, страшной лжи, годы мучительнейшего раздвоения всех мыслящих людей, которые были верны теории, и видели, что на практике, в политике — все наоборот, и не могли, абсолютно не могли выступить против политики, поедаящей теорию, и молчали, и мучились отчаянно, и голосовали за исключение людей, в чьей невинности были убеждены, и лгали, лгали невольно, страшно, и боялись друг друга, и не щадили сил, и дико, отчаянно пытались верить»³⁹.

«...Все это, чего не перечислить, не записать, составляет атмосферу нашего бытия, — где ложь почти единственная и, во всяком случае, преобладающая форма человеческих отношений, где комбинация определенных слов и понятий — только комбинация,

с условием единственного итога — заменяет решительно все: мысль, дерзание, спор, раздумье и т. д.»⁴⁰

Вторая часть «Дневных звезд» должна была быть еще более откровенной, дневниковой. Но ее Ольга Федоровна сделать уже не смогла.

Главной книгой жизни, истинной «мучительной книгой радости и скорби» оставался дневник, которому доверялась вся правда. Более насыщенные «плотные» записи продолжают до 1953 г., затем приобретают характер спорадических, отрывочных, больше похожих на записные книжки.

Послевоенный дневник вместил описание правдивой жизни людей (Волго-Дон, деревня Старое Рахино): *«Вот, все в этом селе — победители, это и есть народ-победитель. Как говорится, что он с этого имеет? Ну, хорошо, послевоенные трудности... но перспективы? Меня поразило какое-то, явно ощущаемое для меня, угнетенно-покорное состояние людей и чуть ли не примирение с состоянием бесперспективности»⁴¹.*

Быстро наступает разочарование и в XX съезде партии, осудившем культ личности Сталина. Берггольц назвала его «провокацией». Полные горечи страницы о новой травле писателей: *«Подвергнуты уничтожающей критике» самые лучшие, самые передовые произведения минувшего года, где люди попытались заговорить по-человечески, где они были наиболее чистосердечны: “Не хлебом единым” Дудинцева, “Собственное мнение” Гранина, “Семь дней недели” С. Кирсанова, сборники “День поэзии”, “Литературная Москва”, деятельность Казакевича, Алигер, Твардовского, Тендрякова, выступления Паустовского, Каверина, Славина, Рудного и т. д. и т. д.»⁴².*

Дневник обретал все бóльшую ценность как хроника «второй жизни» — внутренней, правдивой, настоящей.

Она описывает встречи и диалоги с современниками — Зощенко, Германом, Твардовским, их беседы о том, что невозможно было говорить публично, личную жизнь и семейную драму, свою болезнь и лечение. Пережитые испытания, муки памяти («О, как меня завалило жгучим пеплом эпохи»⁴³), необходимость молчать, личная семейная драма — развод, одиночество, болезнь, психологический и нравственный надлом — все это запустило защитные механизмы психики в стремлении уйти от реальности. Дневник последних лет пишется в жанре повторяющегося сна, закольцованного сюжета:

воспоминания детства — «обратный путь за Невскую заставу», откуда все начиналось, смерть дочерей, счастливые годы жизни с Николаем Молчановым, его смерть, боль потери последней любви. Мысли ее повторяются, в памяти всплывают имена, события уже без хронологической последовательности. В ракурсе внутренней жизни последовательность не столь важна, ценнее сквозные экзистенциальные нарративы, для Берггольц это темы: любовь, правда, память, вера.

Первая исповедальная автобиография «Дневные звезды» построена именно так — вне хронологии, следуя высказанному Берггольц в годы блокады принципу «время исчезло». Фильм И. Таланкина «Дневные звезды» (1966) снят через эту же оптику сна с наслоением сюжетов и переплетением времен; как в калейдоскопе, фрагменты складываются в общую картину уже вневременной, вечной жизни, сохраненной в памяти.

В детском дневнике Берггольц, в самой первой тетради, есть запись вечерних молитв и ожидания Пасхи: *«Лес шепчет сказку весенней ночи, река тихонько о берег плещет, и в небе ясном зажглись звезды, и месяц вышел и улыбнулся. Проснулись люди, что крепко спали, и улыбнулись весне и ночи, и прозвучало: “ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!”»*⁴⁴.

И в последний период жизни она снова обращается к молитве: *«...господи, — имя твое жизнь, судьба, кровь, — и я никогда не обижу тебя больше — унижением в себе твоего подобия. Только ты, господи, да я, — знаем, почему я так позорно и бездонно падала. Наверно, так было зачем-то надо. Но дай мне теперь взлететь, и все выстраданное воплотить и вернуть счастьем и светом, — ему, единственному моему человеку, и многим людям. Сделай чудо, господи, жизнь, сделай чудо, помоги мне»*⁴⁵.

Этим томом завершается Главная книга Ольги Берггольц, где вся жизнь описана подробно на разрыв души, осмыслена для себя, для современников, для потомков.

Сама она понимала ценность своих записей и долг сохранить их, передать, донести до будущего поколения и рассказать всю правду об эпохе и людях, в ней живших, и о своей жизни правдиво. *«Буду, буду много писать и думать, и не сойду с ума, и напишу все, что надо, — и увижу еще, что это станет достоянием человечества»*⁴⁶.

Дневник она уравнивает с самой жизнью, которую невозможно переписать, исправить, вычеркнуть, забыть. Это очень важная особенность дневников Ольги Берггольц (в отличие от многих дневников советского времени) — она ничего не исправляла, не переписывала, не уничтожала. Могла лишь поверх записей позднее сделать вставку-комментарий. Хотя дневники писались с максимальной искренностью, откровенностью, честностью, с беспощадным самоанализом (порой самообличением). Много в них, помимо хронотопа эпохи, личного, сугубо интимного, женского. Но и эта сторона жизнь изложена откровенно-исповедально.

Именно такая, выбранная автором, наивысшая степень откровенности и честности дала моральное право составителям издания публиковать без купюр текст даже самых с этической точки зрения сложных фрагментов. Обоснование этого принципа однозначно — кто в праве изъять хоть слово из текста, выстраданного всей жизнью и именно в таком виде сохраненного автором? Сохраненного в надежде на будущий диалог с потомком.

Прочтение этого дневника — не легкая работа ума и души. Текст — «письменно зафиксированное выражение жизни, истолкование проделывает путь, обратный этой объективации жизненных сил и психических, а затем и в исторических связях <...> Именно через самопонимание мы имеем шанс познать сущее. <...> Преодолевая это расстояние, становясь современником текста, интерпретатор может присвоить себе смысл: из чужого, он хочет сделать его своим, собственным, расширение самопонимания он намерен достичь через понимание другого»⁴⁷.

Именно на такой диалог рассчитывала Ольга Берггольц, завещая свой дневник.

Наталья Стрижкова

От сердца к сердцу.

*Только этот путь
я выбрала тебе. Он прям и страшен.
Стремителен. С него не повернуть.
Он виден всем и славой не украшен.*

.....
*Я говорю за всех, кто здесь погиб.
В моих стихах глухие их шаги,
их вечное и жаркое дыханье.
Я говорю за всех, кто здесь живет,
кто проходил огонь, и смерть, и лед,
я говорю, как плоть твоя, народ,
по праву разделенного страданья...*

*И вот я становлюсь многоликой,
и многодушной, и многоязыкой.
Но мне же суждено самой собой
остаться в разных обликах и душах,
и в чьем-то горе, в радости чужой
свой тайный стон и тайный шепот слушать
и знать, что ничего не утаишь...
Все слышат всё, до скрытого рыданья...
И друг придет с ненужным состраданьем,
и посмеются недруги мои.*

*Пусть будет так. Я не могу иначе.
Не ты ли учишь, Родина, опять:
не брать, не ждать и не просить подачек
за счастье творить и отдавать.*

*...И вновь я вижу все твои приметы,
бессмертный твой, кровавый, горький зной,
сорок второй, неистовое лето
и все живое, вставшее стеной
на бой со смертью...*

(Август 1946)



Ольга Берггольц
1970-е

¹ В первой книге серии «Ольга Берггольц. Мой дневник. 1923–1929» (Берггольц О. Ф. Мой дневник / сост., текстол. подгот., подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступ. ст. Т. М. Горяевой, Н. А. Стрижковой; коммент., указ. О. В. Быстровой, Н. А. Стрижковой. М.: Кучково поле, 2016. Т. 1: 1923–1929. 768 с.: 16 л. ил.) опубликованы записи с 24 января 1923 по 24 ноября 1928 г. и запись на отдельном листе о дочери Ирине, датированная 20 марта — 14 мая 1929 г. В книгу не вошли уже опубликованные тетради этого же периода, хранящиеся в Рукописном отделе Института русской литературы (Берггольц О. Ф. Дневниковые тетради 1923 года / вступ. ст., подгот. текста и коммент. Н. А. Прозоровой // «Так хочется мир обнять». О. Ф. Берггольц. Исследования и публикации: к 100-летию со дня рождения / [отв. ред. Н. А. Прозорова]. СПб.: Пушкинский Дом, 2011. С. 125–317).

² Во второй книге серии «Ольга Берггольц. Мой дневник. 1930–1941» (Берггольц О. Ф. Мой дневник / сост., текстол. подгот., подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступ. ст. Т. Ю. Красовицкой, Н. А. Стрижковой; коммент., указ. Н. А. Громовой, Н. А. Стрижковой. М.: Кучково поле, 2017. Т. 2: 1930–1941. 824 с.:

16 л. ил.) опубликованы дневниковые записи с 17 июня 1930 по 20 июня 1941 г. Некоторые из них содержат приписки О. Ф. Берггольц военного времени. Выдержки из дневниковых тетрадей 1936 г. публиковались в сборнике документов «Между молотом и наковальной» (Между молотом и наковальной. Союз советских писателей СССР. Документы и комментарии / рук. кол. Т. М. Горяева; сост. З. К. Водопьянова (отв. сост.), Т. В. Домрачева, Л. М. Бабаева. М.: РОССПЭН, 2010. Т. 1: 1925 — июнь 1941 г. С. 975). Записи 1939–1941 гг. были опубликованы сестрой поэтессы М. Ф. Берггольц в журналах «Время и мы», «Звезда», «Знамя» и в альманахе «Апрель» (Берггольц О. Ф. О ГУЛАГе невидимом: К публикации фрагментов дневника Ольги Берггольц / публ. М. Ф. Берггольц // Апрель. 1991. Вып. 4. С. 127–144; Она же. Из дневников / вступ., публ. и примеч. М. Ф. Берггольц // Звезда. 1990. № 5. С. 180–191; № 6. С. 153–174; Она же. Из дневников (май, октябрь 1949) // Знамя. 1991. № 3. С. 160–172). Затем они были включены в издание «Ольга. Запретный дневник», вышедшее в 2010 г. (Ольга. Запретный дневник: дневники, письма, проза, избранные стихотворения и поэмы Ольги Берг-

голец / [авт. проекта Н. Соколовская]. СПб.: Азбука-классика, 2010. 539 с.). Данное издание представляет читателю полнотекстовый вариант дневников.

³ Два фрагмента дневников (1941 и 1946 гг.), включенные в третий том серии, опубликованы: «...Надо выжить и написать обо всем этом книгу...». Из блокадного дневника О. Ф. Берггольца 1941 г. / публ. Н. А. Стрижковой // Отечественные архивы. 2014. № 1. С. 101–118.

⁴ Бергголец О. Не дам забыть... / [сост., вступ. ст., коммент. Н. Прозорова]. СПб., 2014. С. 20.

⁵ Бергголец О. Ф. Стихотворение «От сердца к сердцу...» (1946).

⁶ Бергголец О. Ф. Встреча / сост., авт. примеч. и коммент. М. Ф. Бергголец. М., 2000. С. 286.

⁷ Наст. изд. С. 161.

⁸ Болдырев А. Н. Осадная записка. СПб., 1998; Гинзбург Л. Записные книжки: Воспоминания: Эссе. СПб., 2002; Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические записки. М., 2003. Т. 3; Блокадные дневники и документы. СПб., 2004; Чекризов В. Ф. Дневник блокадного времени. СПб., 2004. (Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга; вып. 8); Публичная библиотека в годы войны 1941–1945: Дневники, воспоминания, письма, документы. СПб., 2005; Янушевич З. В. Случайные записки. СПб., 2007; Человек в блокаде: Новые свидетельства. СПб., 2008; Князев Г. А. Дни великих испытаний. Дневники 1941–1945. СПб., 2009; «Я не сдамся до последнего...»: Записки из блокадного Ленинграда. СПб., 2010; «Сохрани мою печальную историю...». Блокадный дневник Лены Мухиной. СПб., 2011; Шапорина Л. В. Дневник: в 2 т. М., 2011; Блокада глазами очевидцев. Дневники и воспоми-

нания. СПб., 2012; Человек из оркестра: Блокадный дневник Льва Маргулиса. СПб., 2013; Ленинградцы. Блокадные дневники: из фондов Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. СПб., 2014; Записки оставшейся в живых: Блокадные дневники Татьяны Великотной, Веры Берхман, Ирины Зеленской. СПб., 2014; Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. СПб., 2014; Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2014 год: Блокадные дневники. СПб., 2015.

⁹ Наст. изд. С. 256.

¹⁰ Наст. изд. С. 162.

¹¹ Наст. изд. С. 56.

¹² Бергголец О. Ф. Стихотворение «Твой путь» (1945).

¹³ Пришвин М. М. Дневник, 1942–1943. М., 2012. С. 501.

¹⁴ Наст. изд. С. 119.

¹⁵ Наст. изд. С. 149.

¹⁶ Наст. изд. С. 57.

¹⁷ Цит. по: Прозорова Н. А. Ольга Бергголец. Начало (по ранним дневникам). СПб., 2004. С. 69.

¹⁸ Крон А. Фрагмент из воспоминаний «Дань людскому братству» // Ольга. Запретный дневник: дневник: дневники, письма, проза, избранные стихотворения и поэмы Ольги Бергголец. СПб., 2010. С. 308, 310.

¹⁹ Барт P. S/Z. М., 2009. С. 9, 32.

²⁰ Бергголец О. Ф. Собр. соч.: в 3 т. Л., 1988. Т. 1. С. 34.

²¹ Бергголец О. Ф. Мой дневник. Т. 2. С. 612–613.

²² Н. С. Молчанов — муж О. Ф. Бергголец.

²³ Бергголец О. Ф. Мой дневник. Т. 2. С. 557.

²⁴ Кетлинская В. Испытание // Вспоминая Ольгу Бергголец. Л., 1979. С. 118.

²⁵ Берггольц О. Ф. Мой дневник. Т. 1. С. 176–177.

²⁶ Наст. изд. С. 257.

²⁷ Наст. изд. С. 181.

²⁸ Письма О. Ф. Берггольц отцу Ф. Х. Берггольцу (1942–1948) / публ. Н. А. Прозоровой // Ольга. Запретный дневник. С. 242.

²⁹ Из письма мужу Г. П. Макогоненко 8/III-42 // Ольга. Запретный дневник. С. 202.

³⁰ Федорова Н. «Неизжитое страдание ленинградцев заставляет возвращаться к теме блокады снова и снова»: Интервью Н. Соколовской [Электронный ресурс] // Реальное время. 2017. 4 ноября. URL: <https://realnoevremya.ru/articles/80407-pisatel-nataliya-sokolovskaya-o-blokade-leningrada>.

³¹ Наст. изд. С. 158, 198, 311.

³² Наст. изд. С. 172.

³³ Наст. изд. С. 174.

³⁴ Берггольц О. Ф. Стихотворение «На собрание целый день сидела...» (1948–1949).

³⁵ Наст. изд. С.

³⁶ Наст. изд. С.

³⁷ Берггольц О. Не дам забыть... С. 27.

³⁸ Наст. изд. С. 507–508.

³⁹ Наст. изд. С. 49.

⁴⁰ Наст. изд. С. 327.

⁴¹ Наст. изд. С. 411.

⁴² Наст. изд. С. 546.

⁴³ Берггольц О. Ф. Стихотворение «О, как меня завалило жгучим пеплом эпохи...» (1970-е).

⁴⁴ Берггольц О. Ф. Мой дневник. Т. 1. С. 53–54.

⁴⁵ Наст. изд. С. 488.

⁴⁶ Наст. изд. С. 571.

⁴⁷ Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995. С. 16, 25.

От составителей

При подготовке к публикации всего корпуса дневников О. Ф. Берггольц были выработаны общие принципы передачи текста: полнотекстовое издание без изъятий и искажений, с максимальной точностью передачи текста.

Археографическое оформление документов проведено в соответствии с «Правилами издания исторических документов в СССР» (М., 1990), разработаны и особые приемы передачи текста, учитывающие авторские стилистические и лингвистические особенности ведения дневниковых записей.

О. Ф. Берггольц в 1941–1971 гг. вела дневники в основном в специально отведенных для этого тетрадях или блокнотах, а также на отдельных листах, в том числе — печатала на пишущей машинке. В большинстве случаев они выполнены фиолетовыми и синими чернилами или грифельным карандашом, отдельные записи сделаны зелеными чернилами и красным карандашом.

Многие тетради имеют авторский заголовок, некоторые — начинаются с одного или нескольких эпиграфов. Помимо авторского текста, в одном из дневников встречаются записи мужа О. Ф. Берггольц Г. П. Макогоненко, а также автографы разных лиц в тетради 1971 г. Эти случаи оговорены в постраничных примечаниях. В некоторых тетрадях утрачены листы или части текста. Это оговаривается, как и в предыдущих изданиях, в составительских конъектурах, заключенных в угловые скобки. Содержащиеся в тексте дневников математические расчеты, таблицы, записи для памяти кратко описываются в угловых скобках, например: <Таблица с графиком приема лекарств с 1 по 15 мая 1957 г.>. Текст единственной

вложенной в тетрадь вырезки из газеты приведен перед комментарием к дневникам 1949 г. Аббревиатуры эпохи, встречающиеся в дневниках, частично раскрываются в примечаниях и выделены в отдельный список.

Дневниковые записи О. Ф. Берггольц в ее фонде в РГАЛИ систематизированы в хронологическом порядке и объединены в единицы хранения, которые включают в себя либо отдельные тетради, либо разрозненные (часто вырванные из блокнота) листы. Археографическое описание публикуемых дневниковых записей (всего 21 ед. хр.) сделано аналогично с описаниями первого и второго тома настоящего издания, а именно: описания сгруппированы в хронологическом порядке и разделены по годам.

Перед публикуемым блоком дневниковых записей вынесен заголовок, отражающий год их написания. Сохранена авторская датировка. Отсутствующие в рукописи авторские даты восстановлены по содержанию и обозначены в угловых скобках. Нередко О. Ф. Берггольц вела дневник одновременно в нескольких тетрадях или на отдельных листах. Вследствие этого в отдельных тетрадях встречаются анахронизмы. В данном издании дневниковые записи передаются в хронологическом порядке с пояснениями в постраничных примечаниях. В археографическом описании перед комментарием указываются страницы издания, на которых публикуется каждая тетрадь или лист рукописи.

Записи, относящиеся к более позднему периоду, выделены курсивом. Другие вставки в текст дневника (варианты стихотворных строк, написанные сверху основной строки или под ней, приписки на полях и др.) также выделены курсивом. Косой чертой (/) разделяются варианты.

Очевидно, не все дневниковые тетради О. Ф. Берггольц нам известны. Сохранились лишь отрывочные записи за 1945 г., вовсе утрачены дневники с августа 1960 по март 1963 г., с июля 1963 по сентябрь 1964 г., с марта 1965 по январь 1966 и с марта 1966 по апрель 1971 г. Состав последней дневниковой тетради крайне отрывочен: наряду с записями, имеющими отношение к творчеству поэтессы, в ней содержатся деловые записи для памяти, телефоны, автографы деятелей искусства. В фонде О. Ф. Берггольц в РГАЛИ не отложилось дневников за последние четыре года жизни поэтессы. Возможно, дневниковые тетради этого периода были утрачены. Однако есть девять записных книжек

этого периода с записями не только телефонов и бытовых расчетов, но и записями дневниково-мемуарного характера.

Все включенные в данное издание записи приведены в соответствии с нормами современной орфографии и пунктуации. Специально не оговаривается исправление опечаток и орфографических ошибок. В публикуемом тексте в основном раскрыты все сокращения (угловые скобки: т<ак> с<казать>, т<ак> ч<то>, м<ожет> б<ыть>), за исключением общепринятых (т. к., т. д., т. н., т. е.); сохранена лексика военного времени, постоянно присутствующая в записях (артобстрел, артснаряды, эвакуаек). Авторские словообразования и особенности написания отдельных слов, связанные со стилем, речевой манерой автора или при передаче чужой речи (ямщичкое село, растеряли с эвакуировкой), также изменены не были. Некоторые примеры авторского словообразования поясняются в примечаниях: «Так в тексте». Сохранены некоторые примеры своеобразия пунктуации, которые позволяют передать эмоциональное состояние автора (тире, многоточие). Таким образом, при текстологической подготовке рукописи произведена орфографическая и пунктуационная унификация, но сохранено авторское стилистическое своеобразие.

При публикации дневниковых записей были приняты следующие обозначения. Вычеркнутые автором слова и фразы восстановлены в квадратных скобках. Слова, ошибочно пропущенные или не дописанные автором, восстановлены в угловых скобках.

В угловые скобки также заключены составительские конъектуры. Восстановленные составителем части отдельных фраз, текст которых был прочитан предположительно, обозначены с помощью угловых скобок и знака вопроса. Особо отмечены слова или части слов, написанные автором неразборчиво, с указанием их числа (например: <1 сл. нрзб>, <2 сл. нрзб> и т. д.).

Выделенные в тексте рукописи слова или фразы, подчеркнутые одной линией, обозначены аналогичным образом; слова или фразы, подчеркнутые двумя линиями, передаются при помощи полужирного шрифта; слова или фразы, подчеркнутые в рукописи волнистой линией, обозначены с помощью полужирного курсива. Слова или фразы, выделенные автором лигатурой, квадратными скобками, обведенные рамкой, поясняются в постраничных составительских примечаниях.

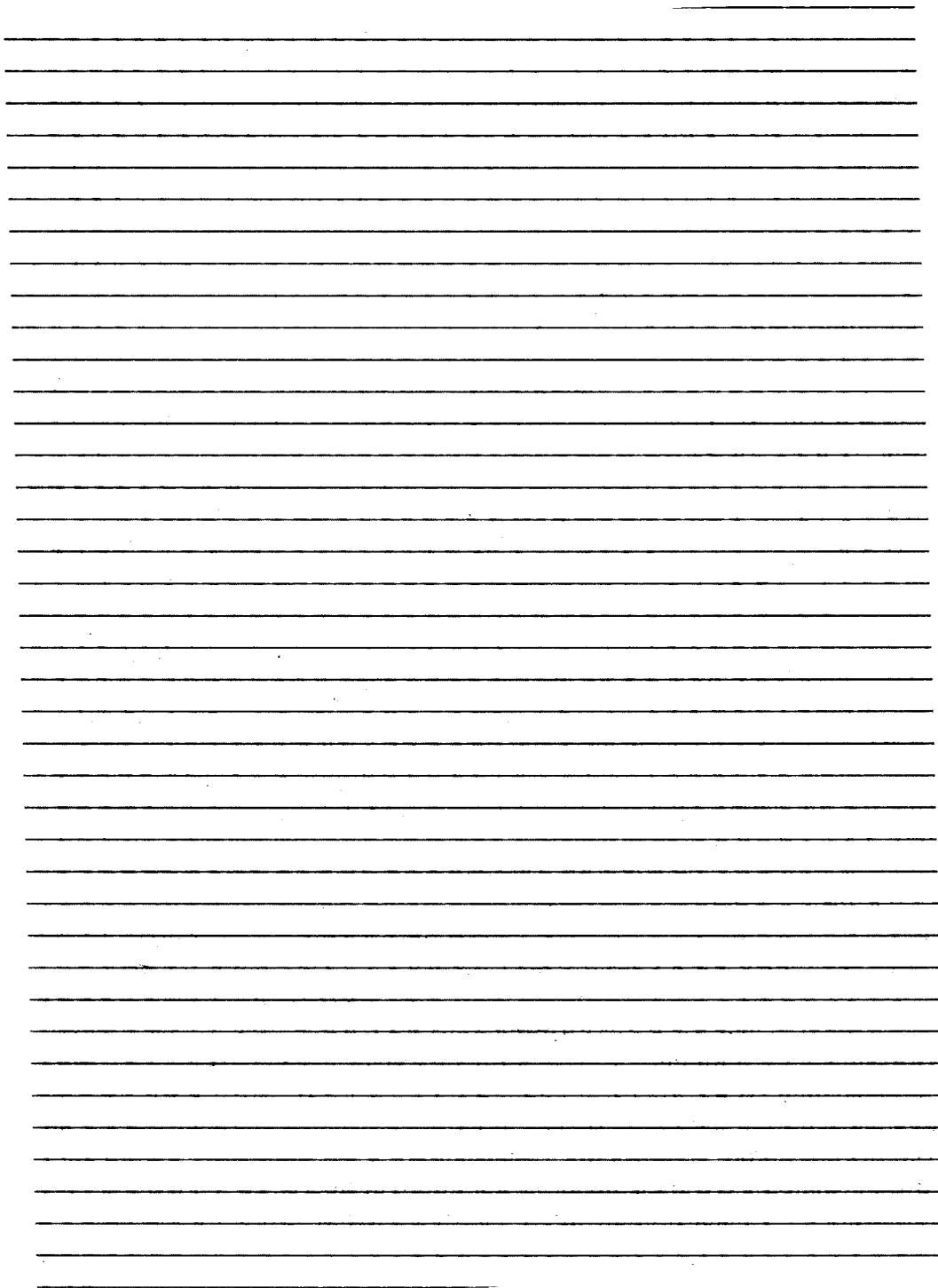
При составлении комментариев были использованы документы О.Ф. Берггольц из ее фонда (черновики литературных произведений, переписка, материалы к биографии, документы родственников), из других фондов РГАЛИ, из архива ИМЛИ, а также периодическая печать. При этом авторы столкнулись с отсутствием биографических сведений о некоторых упоминаемых в дневнике персоналиях (знакомые, соседи, сотрудники редакций). Связанные с ними записи не комментировались.

Издание дневников снабжено вводными статьями, научным комментарием и составительскими текстологическими примечаниями, списком аббревиатур и именованным указателем. Корпус иллюстраций включает фотографии и биографические документы из личного фонда О.Ф. Берггольц в РГАЛИ. Факсимильно воспроизводятся отдельные страницы дневниковых тетрадей и художественных произведений.

В данной публикации в дневниковые записи военных лет были внесены уточнения, исправлены ошибки прочтения и датировки, расшифрованы записи, ранее отмеченные как неразборчивые. Выражаем благодарность за помощь в подготовке данного издания: В. А. Антипиной, Е. В. Бронниковой, З. К. Водопьяновой, Т. М. Горяевой, Т. Л. Гриник, Т. В. Домрачевой, Г. Ю. Дрезгуновой, А. Л. Евстигнеевой, Л. А. Ивановой (Красавиной), В. П. Козлову, М. А. Мельниченко, Т. Ф. Павловой, А. И. Орлову-Сокольскому, М. А. Рашковской, А. А. Романенко, Н. С. Самбу, Д. В. Субботину.

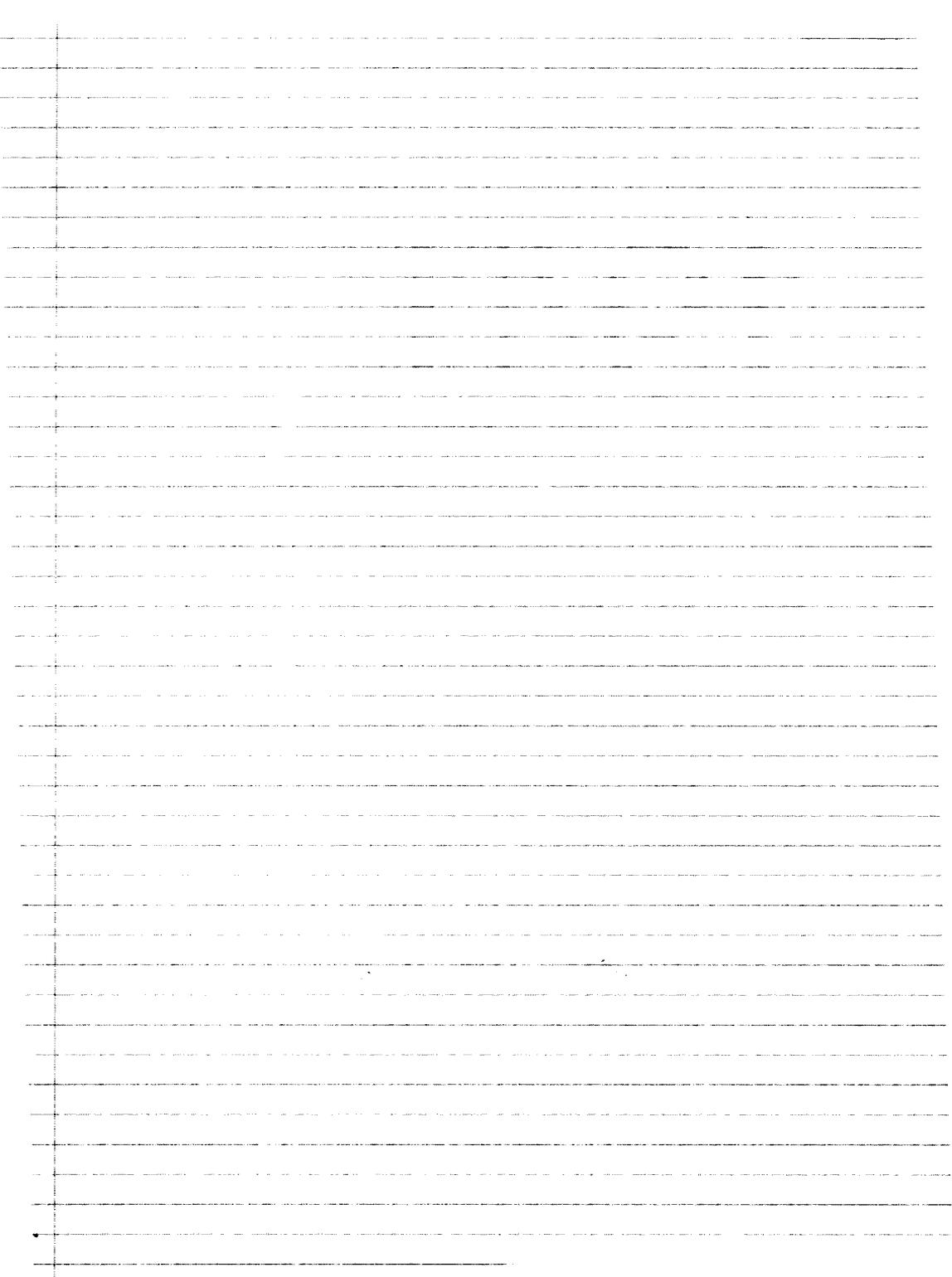
Выражаем признательность наследнику О. Ф. Берггольц В. М. Лебединскому, любезно предоставившему разрешение на изучение ее архива и полную публикацию дневников.

Анна Гаврилова



ГОД

1941



22.06.41

14 часов. ВОЙНА!

3 июля <1941>, двенадцатый день войны.

Проводила на вокзал Муську, и теперь совсем одна.

Коля 26<-го> уехал со своей частью из Ленинграда, — куда, где он теперь, жив или мертв — не знаю.

Маргарита завтра уезжает с детьми в Ярославль.

Маруся Машкова уехала, тоже с детьми.

На днях уйдет в армию Волька, видимо, Ваня Рожанковский, и многие, многие другие.

Левка Канторович три дня назад был убит.

Вот та общая боль, о которой я думала за несколько дней до войны; я совсем слилась с нею, но иногда начинает остро, страшно рвать свое — звериный страх за Николая.

О, нет, лучше и не писать даже об этом, — нельзя! Немыслимо! Лучше о мелочах каких-нибудь. Нельзя писать о Коле, страшно.

О том, например, что горлит задерживает мой неплохой очерк о первых днях войны. «Слащаво!» Просто эти люди, во-первых, ничего не видят, что кругом делается, и не верят (я просто убеждена в этом) тому суровому подъему, который царит везде.

И, во-вторых, — это потому, что очерк писала я, человек, к которому они относятся с подлейшей и идиотской подозрительностью. Очерк отправили в горком — интересно, что там скажут.

А старик Иона Кугель по-настоящему зарыдал над ним сегодня в радиокomiteе, и куски уже передавали по радио, по всему городу. Но что бы ни решили в горкоме, наверное, надо сходить

к Паюсовой и сказать, чтоб она сказала им, чтоб хоть теперь-то они перестали меня преследовать. Что за гнусность, в самом деле.

Надо сейчас попробовать кое-что сделать для радио.

Надо же пока жить..

Там все видно будет, а пока жив Коля, буду жить и я.

Надо жить, надо раздавить проклятого Гитлера.

4/VII-41.

Очерк прошел с очень небольшими и, конечно, ненужными поправками.

Надо написать обращение к женщинам всего мира и Сов<етского> Союза, которое подпишут самые известные наши женщины, — это инициатива Ахматовой. Она чудесная, она настоящая русская женщина, патриотка, — в самом высоком смысле этого слова.

Надо написать его очень хорошо, но сил нет, устала смертельно.

Устаешь, конечно, от непрерывного внутреннего напряжения, от дум, от тянущего сердце страха.

Я не буду здесь ничего писать о Коле, от которого все нет и нет никаких известий. Не буду писать, потому что, когда я думаю, что уже больше не увижу его, — мне приходит мысль о немедленном самоубийстве — «зачем же ждать?»..

Но я должна ждать.

И не только ждать — я должна поддерживать испуганных людей, должна прятать свой страх, должна стараться вызывать у них улыбку или подъем духа.

Зачем и почему? Затем, что я жила для этого.

Мне все вспоминается в эти дни — мое пребывание в тюрьме. Как тогда — испытание, только в сотни раз сильнее, разлука с Колей, только более страшное, испуганные люди. Ведь сумела же я тогда дождаться, — и Коли, и выхода на волю, сумела же поддерживать людей. Сейчас — в сотни раз все огромней.

Я должна суметь и сейчас.

Когда вернется Коля (он должен выжить и вернуться!) — я расскажу ему об этом, и он будет горд и счастлив мною.

А если гибель...

Нет! Нет, не может этого быть!

8/VII-41.

Третьего числа Коля был жив и здоров, потому что прислал открытку, я получила ее 6/VII. *Это всё, что мне надо.*

Спокойней, спокойней, спокойней!

Вчера с часу дня видела — до 4 часов ночи — испуганных, деморализованных людей, жаждущих убежать из Ленинграда, спастись, спастись.

Гитлер со своими мото-механизированными частями — под Псковом.

Ну, и что ж!

Не верю в нашу гибель, не верю, что его допустят до Ленинграда! Душой не верю.

Вчера утешала, уговаривала, спорила до тех пор, пока сама не стала бояться до дурноты, до чувства обморока...

Но нельзя показывать этого..

Потом запишу подробней, — факты. Если выживу — нет, выживу — интересно будет почитать.

Так вот они все какие, — антифашистские переводчики, писатели-орденоносцы и прочие из них...

Да, но я же сама буду писать сейчас о других людях — о рабочем классе!

Я останусь здесь до распоряжения партии. Я сейчас закончу воззвание к женщинам, напишу о цехе № 2, схожу к Ахматовой, в «Правду», подготовлюсь к завтрашнему зачету — по Г.С.О.

Может быть, провожу Юрку?

Он мне вчера всю душу разворотил..

23/VII-42. В тот день, — вернее — ночь невообразимо душную писатель-орденоносец Юрий Герман, мой бывший любовник, — сидел у меня до утра, мы пили коньяк, и он уговаривал меня уехать из Ленинграда, потому что немцы возьмут и его, и Москву, потому что они дойдут до Уральского хребта, и «так нам и надо», «а я хочу кушать и жить, — говорил он, — да, я великий обыватель, я всегда ненавидел спасателей человечества». И он убеждал, все убеждал меня, что нас ждет катастрофа, что я должна уехать из Ленинграда. — «Ну, зачем тебе тут погибать?» — спрашивал он. И я, уже убедившись, что придется только погибнуть, сказала: «Но ведь я же для чего-то жила, Юра, для чего-то была всю

жизнь в комсомоле и в партии, за что-то отдала жизнь. Сейчас все подводится, проверяется..» — «А ты за что жила и жертвовала? За сплошные ошибки, за ежовщину, за невозможность писать правду, за то, что сейчас мы позорно бежим?» Восторг и отчаяние охватили меня. «Да, если и за это, то и за это я отвечаю сейчас и отвечу до конца»..

28/VII-41.

Тридцать восьмой день войны.

Я отталкиваю и отталкиваю от себя мысли о том, что такое война вообще, данная в частности и т. п.

Думать, действительно, во время войны нельзя.

Я знаю только одно: немецкий фашизм должен быть разгромлен, Россию немцу отдать нельзя, Гитлер будет уничтожен и я должна делать для этого то, что делаю, и еще в неск<олько> раз больше.

Несмотря на то, что снят страх за Колю (он снят с учета, как инвалид III гр<уппы> в связи со своей эпилепсией), — очень трудно. Гл<авным> образом из-за мелочей. Назначили политорганизатором нашего дома, и теперь я мучусь с тупым и диким животным под названием «жилец» и с не менее тупым управдомом и начгруппы са-мозащиты Фоминым.

Эти мелочи, комариные укусы, — то, что я не могу как следует оборвать людей, которые кричат на меня, — мучительней общей боли подчас. Надо не забывать о ней и помнить, что Леонов и Осипова — ничто в сравнении с нею, с болью сиротеющих матерей и жен...

Надо спокойнее, так, чтоб не страдала основная работа для радио, тем более что есть интересные поручения для вещания им, и тетю Дашу можно сделать.

11/VIII-41.

Нет решительно никакой возможности во времени — записывать происходящее. Это рассеяно (записи) в рабочих моих тетрадках, в черновиках. Это все еще — для нас, ленинградцев, даже не цветочки, — все самое ужасное впереди. Я имею в виду бомбардировки; самого Ленинграда враг, конечно, не возьмет. Сейчас приходила ко мне

зав<едующая> нашей столовой и сказала, что сегодня в 3 часа ночи ходили по ЖАКТам с предложением снова эвакуировать всех детей до 13 лет. Значит — ждут налетов.

Или дело плохо на кексгольмском направлении?

Бомбят Москву, верно, — не так, как Лондон, но все же.

Мусинька моя, как-то ее бог спасет! Бомбят дачные местности возле нас, — не очень, но все же.

Надо быть готовой! Мы жили до сих пор спокойнее всех.

Надо продолжать делать то, что я делаю, — пока, до новых, более серьезных дел.

Надо сейчас написать спец<иальную> передачу о женщинах, — к немецкому солдату.

Потом — для «Лит<ературного> современника» — о дружинницах: вчера весь день говорили с ними — потрясающе.

Потом, обязательно побыстрее — брошюру.

И еще — большое количество текучки для радио, завтра уже начнут оттуда на меня наседать.

О том, как я работаю, — потом. Говорят, не без успеха.

14/VIII-41.

Сегодня в сводке: «Несколько дней назад наши войска оставили город Смоленск».

Все (и я в том числе) подавлены этим сообщением, особенно эти «несколько дней назад...».

Что за гадость! Что ж это — опять не доверять народу, морочить его, втирать очки — «на фронте ничего существенного не произошло», — в то время, когда народ и только один народ может спасти (и я верю — спасет!) Россию! «Ничего существенного», — в падении Смоленска.

Потому что на сегодняшний день нужно думать и говорить только об ее спасении — и это уже всё, и колоссально много и трудно. «Война на чужой территории малой кровью» — очередная иллюзия, как, видимо, и наша оборонная мощь. Народ ведет себя героически и дерется храбро, тем не менее немцы взяли уже Минск, Житомир, Смоленск, окружают Киев и — Ленинград.

Да, они уже недалеко. Правда, 8–17/VII дело было, кажется, еще хуже (именно тогда, когда все паниковали), и отбились.

Хуже всего, что живешь как в темной бутылке и ничего толком не знаешь.

Я думаю, что правда — лучшее оружие против слухов и паники. Прямой разговор о них, прямой удар по слухам — тоже. Все эти мои агит-стишки, наша агитация — жалкая кустарщина. Должны выступать «отцы города», — с открытым, прямым словом, но они молчат, их как бы и нет.. И масса нелепых, почти — да нет, прямо преступных действий, — к<a>к, например, первая эвакуация детей, затем — паника, которую подняли оправдому при второй [нашей] эвакуации, рытье траншей на Ср<едней> Рогатке и т. д. и т. д. Бездарно-с!

Эх, ну, что тут. Наша вина — мы и расплатимся, в случае чего. Надо любой ценой побить Гитлера, а там увидим..

Конкретно — мне надо написать тетю Дашу с детьми и брошюру — в течение этих двух дней.

Как-то моя Мусинька? «Неск<олько> дней назад» оставлен Смоленск — быть может, немцы уже под Москвой?!

18/VIII <1941>.

Так неужели же мы гибнем?

Оставлен Николаев и Кривой Рог. Кольцо вокруг Ленинграда, говорят, сжимается, — они уже довольно давно перешли Лугу. Эвакуация в разгаре (увы, видимо, запоздалая!) — вывозят детей, женщин, кинофабрику; из Детского села — скотину и т. д. Женщины не хотят ехать, — многие, боятся смерти в дороге. Ходят разные слухи, — о том, что 20<-го> будет страшная бомбежка Л<енингра>да. От Муськи — ни звука. Я видела, наверное, ее последний раз тогда на вокзале.

Я никуда не уеду из Ленинграда, разве только в последнюю минуту, — с Армией! По партийной линии — никаких указаний. Видимо, «актив» удерет, а нас оставят. Ну, и что ж. «Мы должны управлять государством, и мы будем им управлять», — кому же, кроме нас, защищать народ?

А если гибель, — что ж... только логично.

19/VIII-41.

Нашими войсками оставлен Кингисепп, — это уже совсем близко. Правда, народ говорил, что Кингисепп взят ими уже давно, но теперь

объявили это официально, — это значит, дела еще хуже, чем [чистая] только сдача Кингисеппа.

Кажется, взят и Новгород.

Несколько времени назад мы даже не писали, что взят Псков, Минск и т. д. Теперь пишем почти что правду! Плохо! Врать больше нельзя.

И хоть бы чей-нибудь голос раздался — из правителей! Нет, молчат! Поеду сегодня в свою парторганизацию — поговорю с Жарковым. Да что он скажет..

Только бы не струсить, не пасть духом, не пожелать жить — не пожелать скотски.

Но когда решетки люков
Негры разнесут в щепье,
И трусливый кормчий вгонит
С треском на берег ее,
Ей не нужно будет флагов,
Ни салютов, ни огней!
Старых слуг призыв к спасенью
Возвратит немедля ей.
Поседелые в оковах,
Презирая боль и труд,
На скамью, что их сгубила,
Они лягут и умрут.

Пусть все было ошибкой, пусть мы во всем виноваты, — погибать надо вместе с этим. Нельзя назад.

Но не хочется погибать. Хочется посмотреть, что будет после победы, — а она все же будет! Надеюсь на Англию и Америку. М<ожет> б<ыть>, они помогут нам — во многом, вплоть до изменения к лучшему наших внутренних дел, — хотя бы экономически.

Нет! Все еще может перемениться даже вокруг Ленинграда!
Спокойнее! Держи ответ за всю свою жизнь.

Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. Молись!

22 августа <1941>.

Ровно два месяца войны. В этот день, два месяца назад, мы о ней узнали. Какой суровый подъем был, как все надеялись... А сейчас — уныние, упадок, страх. Мы проигрываем войну — это ясно.

Мы были к ней абсолютно не готовы, — правительство обманывало нас относительно нашей «оборонной мощи». За восемь лет Гитлер сумел подготовиться к войне лучше, чем мы за 24 года.

Сегодня взят Гомель, — вернее, сегодня сообщено об его падении. Немцы совсем близко от Ленинграда. Говорят, что они взяли уже Тайцы. Пригороды бомбятся, в них сбрасывают большие парашютные десанты. Стрельбу ясно слышно. Ворошилов объявил, что город в опасности. Обращение начиналось: «Дорогие друзья». О, это очень плохо, если так обращаются к народу. Вчера К. сказал, что наши войска плохо дерутся потому, что у них нет боевого духа, — что им не за что драться <Далее обрыв текста.>

а не только немцев...

Нет, их можно убедить только авиацией, бомбежкой, и — пока — ничем больше...

Но все же я напишу это, — м<ожет> б<ыть>, пригодится в будущем, — ведь попрут же их когда-нибудь? Или — иго, подобное татарскому?

О, господи, — Мусинька, мама, Мишка, Молчановы, — знаете ли вы, как я любила и люблю вас всех? Родные мои, милые мои, обнимаю вас, целую ваши руки...

Надо послать маме деньги, да боюсь, — дойдут ли уж теперь? М<ожет> б<ыть>, Ленинград уже в полной изоляции?. Как-то она там, — наша мама, на которую мы столько кричали.

Мне очень хотелось бы написать еще вещь для хроники по бредовому заданию Юры Макогоненко, потому что Юра страшно нравится мне (какой прекрасный разговор был у нас недавно, — тот самый «обмен света и добра!»), — и я нравлюсь ему, и я хотела бы напропалую покрутить с ним любовь... Ах, хотела бы! Но я как-то оробела в наскоке на мужиков, я все время боюсь за свое лицо и за всю себя, отощавшую до предела возможного!

Все равно, надо попробовать! Завтра Яшка и Юра придут ко мне, мы выпьем, побеседуем, я буду милой-милой...

Жить и умирать — только с душой моей — Николаем, а покрутить — с Юрой.

О, вспомните, вспомните, как я любила жить! Пишу.

26/VIII-41.

О, боже мой! Какая страшная тоска по жизни, первый раз за время войны, как в тюрьме, как в неволе...

Открыла томик Пушкина, и строки

Там море движется роскошной пеленой
Под голубыми небесами, —

полоснули вдруг, как ножом.

О, неужели этого никогда больше не будет?! Какое счастье было в прошлом году: Коктебель, сухой, нежный, безумный запах цветущего кипариса и акаций, и огромное, неистовое море, и теплый песок, на котором можно лежать без движения, без дум, слушать море и вдыхать воздух. И еще там был Сережа, красивый, влюбленный мальчик, и в темноте, когда мы шли по дорожке в душистом, безумном воздухе, руки наши встречались, ловили друг друга, стискивали — и это было счастье.

Как больно вспоминать все это — и море, и душистый воздух, и Сережу! Немыслимо больно, рыдать хочется, оплакивать все это...

Милое, дикое, простейшее, драгоценнейшее мое, возлюбленное. Я люблю тебя, я молюсь тебе, я плачу о тебе, потому что ты кажешься мне погибшим. Мне кажется, я чувствую, что ты погибло, что ты обижено. Я даже не верю, что ты было — это другие, какие-то пресыщенно-счастливые люди там были, а не мы, не мы. Сережа, наверное, уже давно убит, — он пошел добровольцем в первые дни войны. Я пишу о Гитлере, о войне, обращенья к немецким солдатам, глумливые стихи — о них же, воззвания, чтоб воевали наши, — к чему мне это? К чему все это всем нам? А мы живем только этим, ненастоящим, уродливым, кровавым. И мне еще стыдно хоть на что-либо жаловаться! Разве я бежала из дома, бросив любимые книги, рукописи и все, — куда-то, в неизвестном направлении, под страшным обстрелом, задыхаясь от унижительного страха? Разве я потеряла кого-нибудь из близких? Разве я голодаю, нищенствую, хвораю дизентерией, мучусь ранами?

В кипении общего бедствия я живу архиблагополучно. Меня много хвалят, у меня много денег.. Бог знает, ждет ли еще меня ужас беженства, немецких надругательств, наконец — расстрела, увечья.

Ждет, разумеется, — но его еще нет, и думается — вдруг его не будет. А Коля-то, Коля-то мой — со мною, единственный, возлюбленный, любящий, как рыцарь.

И все же я глубоко, бездонно несчастна, я обокрадена, обманута, низвергнута, — безвозвратно. Я все равно погибну, и жизни уже не будет. Уже не вернется ни море, ни Сережа, ни обмирание сердца на темной дорожке от прикосновения Мужчины.

Я не женщина сейчас, не мать, не любовница, не человек, не гражданин, не писатель... Я кем-то придумана для войны, нарочно и злобно придумана, и они меня теперь уже не упустят! Не упустят, пока не доконают и не догонят. Они не вернут меня к морю или в Москву, они хотят убить во мне жизнь еще до того, как я физически умру.

А я хочу к морю, я хочу любви, я хочу самой-самой простой, мучительно-простой жизни — вот, лежать у моря, и все, все! Отстаньте от меня, отстаньте, отстаньте!.. Я хочу жить тихо и медленно, с Колей, с родными, с морем и запахом цветущей земли....

О, как страшно и тоскливо... Прошла жизнь, прошла... Все говорит мне об этом, даже комната, в которой я сижу, это С<оюз> П<исателей>, здесь сидел когда-то Витька, погибший в концлагере, человек, любивший меня и любимый мною... Нет! Тотчас же надо разменять это, ни минуты нельзя дольше с такой тоской, позвонить противному Кофману и рассказать, чтоб отплеснуть, Коле всю правду нельзя, он — это я, он все понимает..

О, если б поплакать, навзрыд, навзрыд.

О, когда же, когда же мы будем жить?!

2/IX-41.

Сегодня моего папу вызвали в управление НКВД в 12 ч<асов> дня и предложили в шесть часов вечера выехать из Ленинграда. Папа — военный хирург, верой и правдой отслужил Сов<етской> Власти 24 года, был в Кр<асной> Армии всю гражданскую, спас тысячи людей, русский до мозга костей человек, по-настоящему любящий Россию, несмотря на свою безобидную стариковскую воркотню. Ничего решительно за ним нет и не может быть. Видимо, НКВД просто не понравилась его фамилия — это без всякой иронии.

На старости лет человеку, честнейшим образом лечившему народ, **НУЖНОМУ** для обороны человеку наплевали в морду и выгоняют из города, где он родился, неизвестно куда.

Собственно говоря, отправляют на смерть. «Покинуть Ленинград!» Да как же его покинешь, когда он кругом обложен, когда перерезаны все пути! Это значит, что старик и подобные ему люди (а их, кажется, много — по его словам) — будут сидеть в каких-либо казармах, или их будут таскать в теплушках около города, под обстрелом, не защищая.. — нечем-с!

Я еще раз состарилась за этот день.

Мне мучительно стыдно глядеть на отца. За что, за что его так? Это мы, мы во всем виноваты.

Сейчас — полное душевное оупение. Ходоренко обещал позвонить Грушко (идиот нач<альник> милиции), а потом мне — о результатах, но не позвонил.

Значит, завтра провожаю папу. Вижу его, видимо, в последний раз. Мы погибнем все — это несомненно. Такие вещи, как с папой, — признаки абсолютной растерянности предержавших властей..

Но что, что же я могу сделать для него?! Не придумать просто!..

5/IX <1941>.

Завтра батька идет к прокурору — решается его судьба.

Я бегала к т<оварищу> Капустину, — смесь унижения, пузыри со дна души и т. п.

Вот, — заботилась всю жизнь о Счастье Человечества, о Родине и т. д., а Колька мой всегда ходил у меня в рваных носках, на мать кричала, и никого, никого из близких, родных, — как следует не обласкала и не согрела, барахтаясь в собственном тщеславии, в теоретическом, в выдуманном...

Ленинград, я еще не хочу умирать!

У меня телефонов твоих номера,

Ленинград, у меня еще есть адреса,

По которым найду мертвецов голоса....

Но за эти три дня хлопот за отца очень сблизилась (кажется) с Яшей Бабушкиным, с Юрой Макогоненко... О, как мало осталось

времени, чтоб безумненько покрутить с Юрой, а ведь это вот-вот, он даже злился на меня сегодня, и, переглядываясь с ним, вдруг чувствую давний, хмельной холодок, проваливаюсь в искристую, темную прорубь...

Это, я знаю, любовь к любви, не больше. Он славный, но какое же сравнение с Колькой?! Но он очень мил мне.

А город сегодня обстреливали из артиллерии, и на Глазовой разрушено три дома, и на др<угих> улицах тоже. Я узнала это уже вечером.

Смерть близко, смерть за теми домами. Как мне иногда легко и весело от этого бывает.

8/IX–9/IX <1941>.

В ночь на 7/IX по Л<енинград>у упали первые бомбы, на Харьковской. В это время (23²⁵) мы были у меня, — я, Яша, Юра М<акогоненко> и Коля. Потом мы пили шампанское, и Юра поцеловал мне указательный палец, выпачканный в губной помаде. Вчера мы забрались в фонотеку, слушали чудесные пластинки, и он так глядел на меня. Даже уголком глаза я видела, как нежно и ласково глядел.

Сегодня, в 22⁴⁵, был налет по Л<енинград>у, я слышала, как свистели бомбы — это ужасно и отвратительно. Все 2 ч<аса> тревоги у меня тряслись ноги и иногда проваливалось сердце, но внешне я была спокойной. Да и сознанием я ничего не боялась, а вот ноги тряслись, — брр...

После тревоги (бомбы свищут ужасно, как смерть!) я позволила в Радио, Юра говорил со мной... лояльно.

Я хочу Успеть. Дай мне еще одно торжество, — истинное и превосходящее любую победу, — дай мне увидеть его жаждущим, неистовым и счастливым. Это небольшое, о чем я прошу Тебя перед свистящей смертью.

Я не прошу тебя о Коле, потому что мы погибнем вместе — я у подъезда, он на крыше. Мы ведь не прячемся в землю, когда они свистят. И ведь мы одно, и мы — вся Жизнь.

Мне надо к завтраму написать хорошую передовичку, единственно для того, чтоб Юра еще раз подумал обо мне с уважением (и только!), — но я выпила с Галкой шампанского и сейчас ничего не могу: красные пятна на лице и теле, хочу спать до ужаса. Лучше встану завтра и все-таки напишу. 80 дней войны. Кому нужны эти

передовички? Только ради того, чтоб он поглядел с жаждой. Я обязательно должна написать ее из самого сердца, из остатков веры.

Сейчас мне просто трудно водить пером по бумаге.

И все же вожу, — есть мысли, завтра окончат<ельно> оформлю. Хуже всего, что с утра тюкает в голову, — ужасно, как весной. Только бы не это, — а то выйду из строя.

Начав работать, совершенно остыла к Юре.

Я знаю, что Юра — блажь, защита организма, рассосредоточение — и только.

12/IX-41.

Без четверти девять, скоро прилетят немцы.

(Они прилетели в 9³⁰, но у нас не грохало.)

О, как ужасно, боже мой, как ужасно. Я не могу даже на четвертый день бомбардировок отделаться от сосущего, физического чувства страха. Сердце как резиновое, его тянет книзу, ноги дрожат и руки леденеют. Очень страшно, и вдобавок какое это унижительное ощущение — этот физический страх.

И все на моем лице отображается! Юра сегодня сказал, — «как вас свернуло за эти дни», — я отшучиваюсь, кокетничаю, сержусь, но я же вижу, что они смотрят на меня с жалостью и состраданием. Опять-таки, это меня злит из-за того, что я не хочу терять в глазах Юры. Выручает то, что пишу последнее время хорошие (по военному времени) стихи, и ему нравится.

Он и Яшка до того «проявляют чуткость», что я сегодня, кажется, их обидела, — заявив, что не нуждаюсь в ней.

Но, боже мой, я же знаю сама, что готова рухнуть. Фугас уже попал в меня.

Нет, нет, — как же это? Бросать в безоружных, беззащитных людей разрывное железо, да чтоб оно еще перед этим свистело — так, что каждый бы думал: «это мое», и умирал заранее. Умер, — а она пролетела, но через минуту будет опять, и опять свистит, и опять человек умирает, и снова переводит дыхание — воскресает, чтоб умирать вновь и вновь... Доколе же?

Хорошо — убейте, но не пугайте меня, не смейте меня пугать этим проклятым свистом, не издевайтесь надо мной. Убивайте тихо! Убивайте сразу, а не по несколько раз на дню... О-о, боже мой!

Сегодня, в 9³⁰, когда начала писать, они вновь прилетели. Но бухали где-то очень далеко. Ложусь спать, — а м<ожет> б<ыть>, они будут через час? Через 10 минут? Они не отвяжутся теперь от меня. И ведь это еще что — эти налеты! Видимо, он готовит нечто страшное. Он близко. Сегодня на Палевском в дом, как раз напротив нашего дома, — попал снаряд, много жертв.

Я чувствую, как что-то во мне умирает.

Когда совсем умрет — видимо, совсем перестану бояться.

Нет, я держусь, я держусь, сегодня утром писала и написала хорошее стихотворение, пока была тревога, артобстрел, бомбы где-то вблизи... Но ведь это же ненормально! Человек должен зарыться в землю, рыдать, как маленький, просить пощады. Правильнее бы всего — умертвить себя самой. Потому что кругом позор, «жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен»... Позор в общем и в частности. На рабочих окраинах некуда прятаться от бомб, *некуда*.

Это называлось — «мы готовы к войне».

О, сволочи, авантюристы, безжалостные сволочи!

Боже, — опять надвигается ночь,

И этому не помочь.

Ничем нельзя отворать темноту,

Прикрыть небесную высоту...

13/IX.

О, как грустно, как пронзительно грустно.

Уже почти не страшно — это неплохо, но грустно, — именно не тоска, а покорная, глубокая, щемящая грусть. Как о ком-то миллом, не очень близком, с кем давно разлучился.

Десять часов, скоро будет тревога.

Сегодня весь день артиллерийский обстрел, и сейчас где-то грохает, но это похоже на нашу. А в половине седьмого, когда я сидела в райкоме, во Дворец Пионеров попал артснаряд, и осколок влетел к нам в комнату, разбив стекло. (Я сказала, будто сидела под этим окном, но я сидела под соседним, — похвасталась, как дура, — смешное тщеславие.)

Снаряды ложились на площади Нахимсона, это за неск<олько> домов от нас.

Вчера у меня ночевала Люся, т. к. на Палевском против нашего дома упал снаряд и стекла в нашем доме вылетели. В этом доме я родилась, жила до 20 лет, здесь был Борька, здесь родилась Ирка. Теперь по нему стреляют.

Ну, как же не будет чувства умирания? Умирает все, что было, а будущего нет. Кругом смерть. Свищет и грохает...

А на этом фоне — жалкие хлопоты власти и партии, за которые мучительно стыдно. Н<a>пр<имер>, сегодняшнее собрание.

Хлеб ужасно убавили, керосин тоже, уже вот-вот начнется голод, а недоедание — острое — уже налицо... Да ведь люди скоро с ног падать начнут! Конечно, осажденный город и все такое, но, боже мой, как же довели дело до того, что Ленинград осажден, Киев осажден, Одесса осаждена! Ведь немцы все идут и идут вперед, — сегодня напечатали, что сдан Чернигов, говорят, что уже сдано [Украи<на>] Запорожье, — это почти вся Украина.

У нас немцами занят Шлиссельбург, и вообще они где-то под Детским селом...

О, неужели же мы гибнем?

Неужели я уже сдалась — иначе откуда же эта покорная грусть, — и подобно мне сдались так же тысячи ленинградцев. Эта грусть, эта томительная усталость — она и у Коли, и я по глазам вижу — у Яшки, у многих...

Она еще оттого, что, собственно, ты лишен возможности защищать и защищаться. Ну, я работаю зверски, я пишу «духоподъемные» стихи и статьи — и ведь от души, от души, вот что удивительно! Но кому это поможет? На фоне того, что есть, — это же ложь. Подала докладную на управхоза, который не обеспечивает безопасность населения, — но кем заменишь всех этих Цырульниковых, Соловьевых, Прокофьевых и пр. — все эти кадры, «выращенные» за последние годы, когда так сладострастно уничтожались действительно нужные люди?

Ничтожность и никчемность личных усилий — вот что еще дополнительно деморализует... Нам сказали: «Создайте в домах группы в помощь НКВД, чтоб вылавливать шептунов и паникеров». Еще «мероприятие»! Это вместо того, чтоб честно обратиться к народу вышестоящим людям и объяснить — что к чему. Э-эх! Ну, все-таки сдаваться нельзя! Собственно, меня не немцы угнетают, а наша собственная растерянность, неорганизованность, — наша родная срамота...

Вот что убивает!

Но дело обстоит так, что немцев сюда пускать нельзя. Лучше с ними не будет, — ни для меня, ни для народа. Мне говорят, что для этого я должна писать стихи и все остальное.

Хорошо, хоть это мучительно трудно, — буду.

Попробую обеспечить подвалом наших жильцов.

А самой мне во время бомбежки надо быть «на посту», в тухлятом незащитном доме, надеясь только на личное счастье — авось не кокнет фугасом...

Артиллерия садит непрерывно, но теперь дальше от нас...

Буду сейчас работать — стишок и начало очерка для Юры, затем для спец<иального> вещания.

17/IX-41.

Сигнал В. Т.

Теперь тревог на дню раз по 8–10, и я уже не каждый раз, когда дома, сбегаю вниз — совершенно нельзя работать.

А мне надо написать очерк о командирах производства для Юры — о моих слушателях. Мой Васильев погиб, — господи, какой это ужас, когда узнаешь о гибели знакомого человека. (Тихо, не слышно даже зениток, — странно.) Немцы третьего дня, обойдя Детское, были под Пулковым. Третьего дня ими была занята Стрельна. Это, собственно, в черте города. Партия поставила вопрос о баррикадных боях, в Доме Радио создан отряд, где Яшка комиссар, для защиты их улицы.

Аж руки опускаются от немого удивления, — да как же допустили до всего этого... (На большой высоте идут чьи-то самолеты.)

Организм защищается безумно: просто не могу думать, что город будет взят, что убьют Колю, Юрку, Яшку, что я не буду приходить в радио, радоваться Юре и малейшим знакам его внимания, сердиться, что он медлит (не потому ли, что в хороших отношениях с Колей, или просто не влюблен ничуть?), что не будет, вдруг не будет всей этой жизни. Настолько не верю в иное, что даже последние дни спокояна: «Вздор, ничего не случится».

Но это самозащита организма, — я знаю.

Кольцо вокруг Ленинграда почти неудержимо сжимается.

Мы уже счастливы, что их от Пулкова чуть-чуть отогнали. О, бедные мы, бедные. Да еще эта ориентировка на уличные бои, —

да ведь это же преступление, это напрасная кровь, этим ничего уже нельзя будет изменить. Да и драться-то люди не будут, кроме отдельных безумцев, самоубийц.

Кажется, трагедия Ленинграда (залпы зениток, не сойти ли вниз — это рядом, над головой немец) приближается к финалу.

Сегодня Коля закопает эти мои дневники. Все-таки в них много правды, несмотря на их ничтожность и мелкость. Если выживу — пригодятся, чтоб написать всю правду. О беспредельной вере в теорию, о жертвах во имя ее осуществления, — казалось, что она осуществима. О том, как потом политика сожрала теорию, прикрываясь ее же знаменами, как шли годы немислимой, удушающей лжи (зенитки палят, но слабо, самолеты идут на очень большой высоте, — несомненно, прямо над моей головой. Не страшно ничуть. «В меня не попадет, почему именно в меня, зачем я им».) — да, страшной лжи, годы мучительнейшего раздвоения всех мыслящих людей, которые были верны теории, и видели, что на практике, в политике — все наоборот, и не могли, абсолютно не могли выступить против политики, поедоющей теорию, и молчали, и мучились отчаянно, и голосовали за исключение людей, в чьей невиновности были убеждены, и лгали, лгали невольно, страшно, и боялись друг друга, и не щадили себя, и дико, отчаянно пытались верить. (Ох, это немец. Да, по нему пальнули. Он опять над нашим домом, очень высоко, но над нашим... тоненький свист... бомба? Нет... Бросило в жар... Нет, нет, не бомба... Это немец — почему его не преследуют? Или наш? Взрывов не слышно...)

Зачем я тороплюсь записать все это — все равно, я ничего не успела. Т.т., — знайте, я ничего не успела, а могла бы — МНОГО!

А Юру хотят забрать «политбойцом» на фронт, — ой, не хочу, не хочу, не хочу... И глупо это до бесконечности, как $\frac{9}{10}$ всего, что есть.

Я могла бы жить в Доме Радио, работать и спать в хорошем бомбоубежище, но я не иду туда: без Коли — стыдно и позорно бросать вернейшего товарища в трухлявом доме, а самой спасаться. А его туда нельзя из-за диких его припадков, он будет пугать и без того измотанных людей. (Самолет смолк.)

Мы будем у мамы. Мне совестно тоже, что я, политорганизатор дома, ухожу из него... Но чорт возьми, я же здесь абсолютно бесполезна, на 100% бесполезна, моя санитарная сумка и прочее — это та же видимость, та же ложь, что была и есть повсеместно. И стыдно

отказываться даже от этой видимости — такова инерция подчинения уже отрицаемой системе. Но — очень стыдно. Не знаю, что и делать. Конечно, надо позаботиться о себе, — хотя бы во имя того, что ведь знаю — смогу, смогу принести истинную пользу людям. А стыдно. (Опять низкий рокот самолета над самой головой, — все-таки, наверное, это наш, — по нему не бьют... Ох, как он гудит. А напротив моего окна прямо на крыше сидит мальчишка... Ну, и я буду сидеть и писать очерк, надо, чтоб был близок к настоящему. Эти мальчишки на крыше напротив нашего окна всегда меня успокаивали. В окно видела — низко сейчас пролетели бомбардировщики с нашими звездами... А сердце-то, подлое, как затряслось, пока не отличила звезд...)

Ну, из обращения к потомству перед запечатыванием дневников ничего не вышло.

Да и черт тебя знает, потомство, какое ты будешь... И не для тебя, не для тебя я напрягаю душу, — у, как иногда я ненавижу тебя, — а для себя, для нас, сегодняшних, — изолгавшихся и безмерно честных, жаждущих жизни, обожающих ее, служивших ей — и все еще надеющихся на то, что ее можно будет благоустроить... Как нежно заботятся обо мне Юрка и Яша, как дрожит за меня Николай, как боюсь я за них, как жажду их жизни, как я люблю их, и Мусю, и отца и маму, и Мишку, и умерших моих детей, и стихи, и людей ведь люблю и хочу, чтоб они перестали мучиться хотя бы немного.

ВОСКРЕСИ МЕНЯ ХОТЯ Б ЗА ЭТО!..
НЕ ЛИСТАЙ СТРАНИЦЫ!
ВОСКРЕСИ!..

Тревога все еще длится, изредка что-то ухаает — не то далекая бомба, не то зенитка. Теперь далекий гул самолетов. После войны надо уничтожить все самолеты, все, чтоб люди забыли о них!

О, неужели те, кому суждено [выдержать все это] выжить, — выдержат все это? Видимо, на днях в городе будет нечто ужасное.
Отбой.

22/IX — три месяца войны.

Сегодня сообщили об оставлении войсками Киева... А население? «А я?» (Я решила записывать все очень безжалостно.)

Итак, немцы заняли Киев. Сейчас они там организуют какое-нибудь вонючее правительство. Боже мой, Боже мой! Я не знаю — чего во мне больше — ненависти к немцам или раздражения, бешеного, щемящего, смешанного с дикой жалостью, — к нашему правительству. Этак обосраться! Почти вся Украина у немцев, — наша сталь, наш уголь, наши люди, люди, люди! А м<ожет> б<ыть>, именно люди-то и подвели? М<ожет> б<ыть>, именно люди-то только и делали, что соблюдали видимось? Мы все последние годы занимались больше всего тем, что соблюдали видимось. Может быть, мы так позорно воюем не только потому, что у нас не хватает техники (но почему, почему, чорт возьми, не хватает, должно было хватать, мы жертвовали во имя ее всем!), не только потому, что душит неорганизованность, везде мертвечина, везде Шумиловы и Махановы, — кадры <помёта> 37–38 года, — но и потому, что люди задолго до войны устали, перестали верить, узнали, что им не за что бороться?

О, как я боялась именно этого! Та дикая ложь, которая меня лично душила, как писателя, была ведь страшна мне не только потому, что МНЕ душу запечатывали, а еще и потому, что я видела, к чему это ведет, как растет пропасть между народом и государством, как все дальше и дальше расходятся две жизни — настоящая и официальная.

Где-то глухо идет артиллерийская стрельба.

Восемнадцатого город обстреливал немец из дальнобойных орудий, было много жертв и разрушений, в центре города, невдалеке от нашего дома. Об этом молчат, об этом не пишут, об этом («образно») даже мне не разрешили сказать в стихах. Зачем мы лжем даже перед гибелью? О Ленинграде вообще пишут и вещают только системой фраз: «На подступах идут бои» и т. п. Девятнадцатого в 15⁴⁰ была самая сильная за это время бомбежка города. (*Это был штурм самого Л<енингра>да, как мы знаем теперь, 24/IV-45.*) Я была в ТАССе, а в соседний дом ляпнулась крупная бомба. Стекла в нашей комнате вылетели, густые зелено-желтые клубы дыма повалили в дыру. Я не очень испугалась — во-первых, сидя в этой комнате, была убеждена, что «в меня не попадет», а во-вторых — не успела испугаться, она ляпнулась очень неожиданно. Самое ужасное в страхе и, то очевидно, в смерти — ее ожидание. А если неожиданно — то, пожалуйста. Но я до сих пор не могу прийти в себя от удивления — почему именно бомба упала в дом 12, а не в дом 14, где была я? Значит,

все-таки она может попасть и в меня? Значит, мне нигде, нигде нет спасения? Очень странно!

Но я не могу ничего написать о своем состоянии, — потому что оно с сильной примесью: четвертый день грипп, ломает и лихорадит, да еще очень сильно ударила голова в бомбоубежище, — так что трудно определить, что в самочувствии от войны, а что от вневременной настоящей жизни — болезни.

Наверное, если б не было этой головной боли, страшнейшего кашля и насморка — настроение было бы хорошее — насколько оно может быть хорошим в окруженном, осажденном, бомбардируемом и обстреливаемом городе.

Надо оторваться от земли, отрешиться от нее, понять, что тебя преследуют и все равно настигнут, и пока жить каждым часом, каждой минутой, вопреки всему извлекая из нее драгоценности жизни. Но это противоречит одно другому, — отрешиться и извлекать. (Девятый час, скоро, видимо, будет регулярный немецкий налет с бомбами... Я на Троицкой, пойду вниз, если б не лихорадило, я б, наверное, не боялась и не тряслась, — все равно уж...)

Если б не было гриппа и если б я была уверена, что Юра влюблен и желает меня, — у меня б было приличное состояние. Он странно держится со мною, я не могу понять — есть ли это полное равнодушие или наоборот. Дает массу заказов, я справляюсь с ними ПРИЛИЧНО (потом, обычно, портит цензура), разговаривает в шутивно-приказном тоне (сегодня что-то особо, даже с оттенком некоторой злобы — подлинной), очень внимателен, — и эта-то внимательность меня особо угнетает. Видимо, я совершенно не нравлюсь ему как баба, а мое отношение к себе он заметил и считает, что может распоряжаться мною, что достаточно протянуть ему руку, чтоб я рассыпалась мелким бесом. Так, между прочим, и будет, но я хочу показать ему, что я от него не завишу, что мне, вообще говоря, наплевать на него в специфическом отношении..

Э, а зачем все это? Но я робею перед ним, сегодня пикировала очень неудачно. Я бываю такая страшенькая, жалкая. Между прочим, когда с 16<-го> на 17<-е> я дежурила в Союзе, он пришел туда, сидел очень долго со мною, мы хорошо разговаривали, однажды он поцеловал мне руку — за стишок; раза два попробовал прикоснуться головой к плечу, я сделала непроницаемое лицо и вид, что не заметила, — от счастливого страха. Дура. Мы сидели не затем-

нясь, в сумерках, небо было розовое от далеких пожаров. — Ленинград еженощно в кольце пожаров.

Будущий читатель моих дневников почувствует в этом месте презрение: «Героическая оборона Ленинграда, а она думает и пишет о том, скоро или нескоро человек признается в любви или в чем-то в этом роде». (Хуже всего, если я смотрю выжидающими глазами.)

Да, да, да! Неужели и ты, потомок, будешь так несчастен, что будешь считать, будто бы для человека есть что-то важнее любви, игры чувств, желаний друг друга? Я уже поняла, что это — самое правильное, единственно нужное, единственно осмысленное для людей. Верно, война вмешивается во все это, — будь она трижды проклята, трижды, трижды!! Времени не стало, — оно рассчитывается сейчас на часы и минуты. Я хочу, хочу еще иметь минуту вневременной, ни от чего не зависящей, чистой радости с Юрой. Я хочу, чтоб он сказал, что любит меня, жаждет, что я ему действительно дороже всего на свете, что он действительно (а не в шутку, как сейчас) ревнует к Верховскому и прочим.

А завтра детей закуют... О, как мало осталось
Ей дела на свете: еще с мужиком пошутить
И черную змейку, как будто прощальную жалость,
На белую грудь равнодушной рукой положить...

А может, это действительно свинство, что я в такие страшные, трагические дни, вероятно, накануне взятия Ленинграда — думаю о красивом мужике и интрижке с ним? Но ради чего же мы тогда обороняемся? Ради жизни же, а я — живу. И разве я не в равном со всеми положении, разве не упала рядом со мной бомба, разве не влетел осколок в соседнее окно в комнату, где я сидела? (Артиллерийская стрельба стала слышнее — немцы или мы по ним? Ведь ими взято Детское, Павловск, господи, они же вот-вот могут начать штурм города — и с воздуха, и с суши, — уцелеть можно будет чудом, — и вот и рухнет все с Юрой... Тем более что его и Яшку все время хотят взять «политбойцами».) Да что и перед кем тут оправдываться? Я делаю все, что в силах, и, невзирая на ломающую меня болезнь, на падающие бомбы и снаряды, — пишу стихи, от которых люди в бомбоубежищах плачут, — мне рассказывали об этом сегодня, это «Письмо Мусе».

Да, оно хорошее. Не хуже было и «обращение», — да изуродовала цензура и милые мои редактора. Как бы написать еще что-либо подобное «Машеньке — письма Мусе»? (Ого, артиллерийские снаряды хлопают совсем близко от нас, — это немцы. Интересно, откуда бьют? Может ли хлопнуть по дому? Но я их боюсь почему-то меньше... Черт возьми, ну, совершенно рядом лопаются, наверное, на Нахимсона..) Пойти вниз, Колька на дежурстве у подъезда, узнать — как и что, и, м^{ожет} б^{ыть}», сходить в райком за материалом для Юры, или самой придумать этого отрядника, ведь придумаю я все равно лучше? (Сволочи, они и в темноте бьют, значит, даже не боятся обнаружить свои точки? Господи, да как часто пошли! Ежеминутно! Схожу вниз, узнаю..)

А завтра детей закуют...

Жить! Жить!

Дневники с 24/IX-41 по 27/XI-41.

(Встреча на П^{роспекте} Кр^{асных} командиров и т. д.)

Затем декабрь 1941 г.

(Встреча с Гаршиным и т. д.)¹

24/IX-41.

Третьего дня днем бомба упала на издательство «Советский Писатель» в Гостиный двор. Почти всех убило. Убило Таню Гуревич, — я ее очень давно знаю, она была славная, приветливая женщина. Еще недавно я была у них за деньгами и говорила с нею. Семенов жив, но тяжело ранен. Да, в общем, погибли почти все. А одна машинистка, ушедшая в убежище, уцелела. «Значит, надо ходить в убежище! Надо бежать туда сломя голову, как только завоет сирена... Надо спастись, спастись, спастись можно...» О, как гнусно! Мне жаль тех людей, а первая мысль — о себе, так сказать, извлечь уроки. Я знаю — так у всех. И верно А. О. говорила: «Ахнет бомба, и первая, подленькая мысль — не в меня!». Оправдание лишь в том, что ЕЩЕ не в меня!

¹ Текст со слова «Дневники» до слов «и т. д.» — записи на первой странице дневниковой тетради без обложки.

А работники «Сов<етского> Писателя» — это уже мы. Это — мы гибнем от бомбы. Это давно знакомые люди, конкретно включенные в сознание. Гибнет вместе с ними что-то и в тебе, — хотя я всегда терпеть не могла Семенова, впрочем, он жив (но поражен). «Значит, меня все-таки убьют?» (Вот опять гремит артиллерия.) Не помню, записывала ли, что при ужасном отступлении из Таллина погибли Филипп Князев, Цехновицер, Лозин, Инге, Гейзель, — все наши.

Непонятно.

Все, как зачарованные, говорят о бомбах, бомбах и бомбах. Ночью сегодня опять были бомбы — на Лиговке и углу Невского и Лиговки, — рядом с Пренделями. Говорят, что вчера (вчера было 11 тревог) фашисты били с воздуха Кронштадт, — значит, пытались уничтожить флот. (Интересно — эта артстрельба — по нам или наша?) Ой, какой у меня кашель, убийственный. Это-то еще к чему?

Я трушу, я боюсь, мучительно боюсь — это очевидно. Как и 99/100, если не 100% живущих. Вернее, не смерти боюсь, а жить хочу, так, как жила, в основном. Как это так, — ворвутся немцы или засыпят нас бомбами — и вдруг Коля будет лежать с выбитым, чудесным, прекрасным его глазом (мне почему-то гибель его рисуется именно так, что глаз у него будет при этом выбит), и Юра будет убит, с залитым кровью лицом, и Яшка ляжет где-нибудь за камушком, маленький и покорный...

(А артиллерия-то не наша, и бьет где-то поблизости...) Я совершенно не боюсь; «в наш дом не попадет, мы — за домами», вот на Троицкой другое дело, там — под самой крышей, дом жилой, если туда упадет даже не очень большой фугас — вся середка его рухнет «по винтику, по кирпичику». О, зачем мы сбежали оттуда! Ведь живут же там люди, а я еще политорганизатор дома. Но ведь это — липа, липа, это райкомы придумали от беспомощности своей, да и некогда мне заниматься этой липой. Какие тут политорганизаторы помогут, когда государство бессильно?! Конечно, надо брать судьбу в свои руки, — а руки связаны мертвой системой управдомов, РЖУ, штабов, райкомов и т. д. Бюрократическая железная паутина сковывает все...

Нет, все же попробую хоть что-нибудь сегодня сделать для дома, — подать еще раз всякие докладные и т. д.

Кроме того, надо написать для Европы об обороне Ленинграда, о которой они знают в сотни раз больше, чем мы, живущие в нем... Мне не дали даже никакого материала, что я буду писать?

Их на декламации не надуешь. Я хотела бы написать от сердца, от себя, — даже пусть подписное бы шло (тревога... идти в убежище или нет? Подожду, пока не будут палить... О-о!..) — хотелось бы объясниться с нею, сказать: «Ну, что ж ты, спаси нас, помоги нам, мы почти на краю гибели...» Не ушла в убежище.

[Вечером] Ночью, 3 часа.

Вот, когда умирала Ирочка, я тоже все время писала и писала дневник. Видимо, это помогает не думать о главном.

День прошел сегодня бесплодно, но т. к. времени нет, то все равно. Зашла к Ахматовой, она живет у дворника (убитого артснарядом на ул. Желябова) в подвале, в темном-темном уголку прихожей, вонючем таком, совершенно достоевщицком, на досках, находящихся друг на друга, — матрасишко, на краю, закутанная в платок, с ввалившимися глазами — Анна Ахматова, муза плача, гордость русской поэзии — неповторимый, большой, сияющий Поэт. Она почти голодает, больная, испуганная.

А товарищ Шумилов сидит в Смольном в бронированном удобном бомбубежище и занимается тем, что даже сейчас, в трагический такой момент, не дает людям вымолвить живого, нужно-го, как хлеб, слова...

А я должна писать для Европы о том, как героически обороняется Ленинград, мировой центр культуры.

Я не могу этого очерка писать, у меня физически опускаются руки.

Она сидит в крошечной тьме, даже читать не может, сидит, как в камере смертников. Плакала о Тане Гуревич (Таню все сегодня вспоминают и жалеют), и так хорошо сказала: «Я ненавижу, я ненавижу Гитлера, я ненавижу Сталина, я ненавижу тех, кто кидает бомбы на Ленинград и на Берлин, всех, кто ведет эту войну, позорную, страшную...» О, верно, верно! Единственная правильная агитация была бы: «Братайтесь! Долой Гитлера, Сталина, Черчилля, долой правительства, мы не будем больше воевать, не надо ни Германии, ни России, трудящиеся расселятся, устроятся, не надо ни родин, ни правительств — сами, сами будем жить...»

А говорят, что бомбу на Таню сбросила 16-летняя летчица. О, ужас! (Самолет, будто, потом сбили и нашли ее там, — м<ожет> б<ыть>, конечно, фольклор.) О, ужас! О, какие мы, люди, несчастные, куда мы зашли, в какой дикий тупик и бред. О, какое бессилие и ужас. Ни-

чего, ничего не могу. Надо было бы самой покончить с собою — это самое честное. Я уже столько налгала, столько наошибалась, что этого ничем не искупить и не исправить. А хотела-то только лучшего. Но закричать: «Братайтесь» — невозможно. Значит — что же? Надо отбиться от немцев. Надо уничтожить фашизм, надо, чтоб кончилась война, и потом у себя все изменить. Как? Учения все эти — бред, они несут только кровь, кровь и кровь...

О, мир теперь не вылезет из этой кровавой каши долго, долго, долго, — уж теперь-то я это вижу... Кончится одно — начнется другое. И все будет кровь.

...Надо выжить, и написать обо всем этом книгу... (Только что припадок у Кольки, — зажимала ему рот, чтоб не напугал ребят за стенкой, дрался страшно.) Зачем мы с ним живем, господи, зачем мы ЖДЕМ, разве мы мало еще пострадались, ничего же лучшего уже не будет, зачем мы живем?

Очень устала душевно за сегодня. Еще эти разговоры с Олесовым (он чудом спасся, убегая из Таллина, на их пароходишко было 38 взд<ушных> налетов с бомбежкой) — он бормотал о самоубийстве, его приятель, бормотавший о том, что «мы 20 лет ошибались и теперь расплачиваемся», несчастное лицо А. А. Смирнова, сказавшего просто: «Да, я очень страдаю...»

Чем же я могу помочь им всем? Если б мне еще дали возможность говорить то, что я хочу сказать (опять припадок у Кольки) — в том же нашем плане — еще туда-сюда...

А мне не дадут даже прочесть «Письмо маме», — так, как оно есть, — уж я знаю.

Нет, нет... Надо что-то придумать. Надо перестать писать (лгать, потому что все, что за войну, — ложь)... надо пойти в госпиталь... помочь солдату помочиться гораздо полезнее, чем писать ростопчинские афишки...

Они, наверное, все же возьмут город. Баррикады на улицах — вздор. Они нужны, чтоб прикрыть отступление Армии. Сталину не жаль нас, не жаль людей, вожди вообще никогда не думают о людях...

Для Европы буду писать завтра с утра. Выну из души что-либо близкое к правде.

Я дура — просидела почти всю ночь, а ночь была спокойной, а с утра — тревоги, страх, боль...

28/IX-41.

Сегодня в 8 <асов> веч<ера>, когда я сидела в газоубежище дома Радио, в соседний дом упали бомбы, и рядом тоже нападало. Дом радио № 2, а попало в д<ом> № 4. Убежище так и заходило, как на волнах. Люди сильно побледнели, и говорят, что я тоже стала совсем голубая. Но, по-моему, я [стала] не испугалась. Да и некогда было испугаться, — не слышно было, как они свистели, — предварительного страха, значит, не было. Так лучше, когда перед этим не пугают, и хорошо бы еще, чтоб убило сразу, чтоб не задыхаться под камнями, чтоб не проломило носа, как Семенову.

Я уж и не знаю теперь, когда я боюсь, когда нет. Вчера, когда была в «слезе» и было 4 тревоги, я очень боялась, руки были ледяные, и, «конечно, над нами» вились немцы, и мне моментами хотелось крикнуть: «Да, ну же, бросай, скорей бросай, я не могу больше ждать...»

1/X-41.

Опять сегодня всю ночь буду на идиотском дежурстве в Союзе Писателей. А район — нехороший, рядом Финляндский мост, здания НКВД, воинские части какие-то. Тут часто бомбили. Вот и сейчас вдруг какие-то удары, — ведь теперь ко всему так прислушиваешься, как в тюрьме. Половина восьмого, скоро прилетят немцы. Они летают к нам с идиотической точностью и педантизмом. Сегодня с часу дня — сильная артстрельба. Мы это или они — понять трудно. Кто говорит, что это они, — по Кировскому заводу, — и это похоже, хотя тогда непонятно — откуда же? Ведь говорили, что Детское и даже Гатчина — наши. Но похоже, что это они. Другие утверждают, что это наши. В общем, живешь как в темной бутылке, собственная судьба, и без того туманная, совсем неясна. Последние дни вокруг Ленинграда немножко полегче, ходят слухи о Кулике и Шапошникове, но нет никакой уверенности в том, что завтра немцы не окажутся в Лигове, в Автове, в М<осковско>Н<арвском> районе...

Мне предлагали уехать, улететь на самолете в Москву с А. Ахматовой. Она сама просила меня об этом, и другие уговаривали. Я не поехала. Я не могу оставить Кольку, мне без него все равно не жизнь, несмотря на его припадки, доставляющие мне столько муки... Я не поехала из-за Кольки, из-за того, что здесь Юра, Яшка

и другие. В общем, «из-за сродственников и знакомых», которые все здесь, в городе, находящемся под угрозой иноземного плена, под бомбами и снарядами.

28/IX была основательная бомбежка, я была в это время в Доме Радио, и в соседний дом упало две крупных фугасных бомбы. Дом так и колыхнуло. Жертв, говорят, не было. Это главное, это главное, чтоб не было жертв, а дома — чорт с ними, пускай рушатся и горят, чорт с ними! Стрельба все идет... Мы вспомним эти дни, когда была дрожащая земля и небо выло¹. Вот и воет...

19 <часов> 45 минут — воздушная тревога. Спустилась со своего «поста» вниз, в бомбоубежище. Липовое оно, конечно, но почему же обязательно прямое попадание? Гремит... Откуда плохо слышно — зенитки или бомбы... Ну, тряхнет, так узнаем. Сильно гремит... Я не волнуюсь, — это хорошо, только как бы потом узнать, — не попало ли на Невский, 11?.. Да, в это время, в бомбежку, лучшее — ничего не слышать, умрешь так умрешь, но не смей унижать перед смертью страхом...

Может, я не волнуюсь еще потому, что в 5 <часов> приняла немного валерьянки. Ну и что ж, я должна беречься, как могу, беречь силы, — раз уж осталась тут. Я отдаю все, что могу... Я не виновата, что работаю при нашей системе вполсилы. Это еще труднее. Написала 2 хороших стиха, но Яшка их почему-то держит, боится, наверное, а стихи возьмут ленинградцев за сердце... Они уже узнают теперь мои стихи. Это печалит и сердит меня... Палят². Было бы роскошно сейчас сидеть у телефонов, чтоб позвонил Юра (о, это где-то поблизости бомба..), и этак бодро отрапортоваться. Но умнее сидеть здесь, даже понимая, что это бомбоубежище — липа, ведь над ним — полное зало...³ (Палят.) Дико вымолвить, но я стала спокойнее относиться к опасности еще и потому, что, так сказать, объяснились с Юрой. Позавчера он был у меня, мы пили винишко, он вышел в наш темный коридор, и почти без задней мысли я пошла за ним, чтоб он в темноте там не загрохотал и не разбудил жильцов. Пока он там оправлялся, я села на диванчик в коридоре, стала ждать его. Он вышел, сел рядом, поднял ко мне лицо, и я поцеловала его. Да, кажется, это

¹ Текст со слова «Стрельба» до слова «выло» взят в квадратные скобки.

² Слово взято в квадратные скобки.

³ Так в тексте.

я поцеловала его, — он вчера говорил, что рад, что я «разрушила дистанцию». Вчера мы ходили по Неве, ночью. Ночь была лунная, хотя и облачная. Как пронзительно грустен по вечерам и ночам Ленинград. Эти совсем темные силуэты домов, эта безогненная Нева, мертвый, тихий-тихий, очень строгий, покорный, обреченный, милый город, где каждое местечко кровно связано с твоей живой жизнью, — каждое местечко — несколькими нитями, много раз.

Вот садик около Биржи, — это 1926 год, это «Ледоход», это первый роман, где «дело доходило даже до пацилуев» с Генкой Гором, — боже мой, как я тогда переживала, наверное (бомбы недалеко), так больше никогда не будет... (Начинают дрожать руки, — ну, ну, ну... Свиста же не слышишь..) И тот же садик — утро после того, как мы поженились с Колькой. О, какое это было утро — насквозь розовое, зябкое, счастливое до обморока при воспоминании о нем... Университет на той стороне. А по той стороне, где мы шли вчера с Юрой, мы с Юзкой гуляли в день 15-летия Революции... Почему-то сейчас не больно вспоминать это. Вчера я волновалась, потому что думала, что он ведет меня к себе. (Сильно бьют зенитки, рядом.) Но он почему-то не сделал этого. Мы ходили по печальному Ленинграду, была сильная, но далекая артстрельба, небо все время вспыхивало. (Зенитки бьют, — неужели немец наступает, если еще эта дневная артстрельба была его?)

Потом мы стояли на Мойке под тополями и отчаянно целовались.

Я целовала Юру с удовольствием, с тем самым трепетом, но 1–2 детали в его поведении смутили меня, как явная безвкусица. Слова «любовь» еще не было, ничего, оно будет.

Разговор был сумбурный. Он понимал, конечно, как я и думала, что он нравится мне, — я ведь до сих пор не научилась «держаться» — так, чтоб никто ни о чем не догадывался. (Тревога уже 1 час > 5 минут.) Меня смутили эти две безвкусные детали, я боюсь больше всего какого-нибудь неполноценного физически варианта. Если будет роман — он будет сложным. Он полюбит меня и привяжется ко мне — несомненно. Он мил мне, я выдам ему и нежность, и всю игру чувств, я помотаю его как следует — и покорностью, и строптивостью, — я сама хочу этого, это не расчет. Я не хотела бы только любить его, увязать сердце. Оно ведь принадлежит только Коле. (Когда я без него переживаю бомбежку — странно, я спокойнее за него. Я думаю: «Нет, нет, ничего не может быть, ну просто НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».

Если цела я — цел и он»... Над нами самолет, зенитки хлещут... Ой, кажется, дело надолго... Бомбы все же падают не рядом с нами — значит, на Троицкой, там, где Коля? Или в Д<ом> Р<адио>, где Юра и Яша... О, все-таки скорее бы, чтоб позвонить им...)

Итак, Юра рад «разрушению дистанции». Он подождет (если только вообще способен, — но не может быть, — такой красивый и здоровый парень), он жаждет меня. То, чего я хотела, произошло. Ведь дальше — менее интересное. И вот, очевидно потому, что одно из основных моих желаний военного времени — Юра — осуществлено в принципе, — я спокойно отношусь к проблеме своей гибели — возможной ежеминутно — сейчас хотя бы. «Уже все. Уже все задуманное свершилось. Нельзя будет пожалеть, что что-то чудесное осталось неисполненным. Успела взять и эту радость».

О, да, я все же рада ему, я рада ему. Он умненький, он критически мыслящая личность, он красивый, он новый и чужой, и желанный.

Конечно, если сейчас убило Колю, то ничего не будет, жизни не будет.

Я вернулась вчера домой, меня потянуло к Кольке неодолимо, я отдалась ему с восторгом...

Я не знаю, хорошо все это или нет. Я вообще утратила представление о морали. Видимо, ее нет. Видимо, плохо только то, что приносит людям горе. Мне было хорошо вчера, и Юре тоже, и Николаю.

Нехорошо заставляя меня и вот этих старух и девушек сидеть в подвальном помещении и ждать, когда посыпятся на нашу голову камни рухнувшего дома. А целоваться с Юрой — хорошо. Колю я не обделю ни крупницей — я люблю его и ничем не огорчу, — ничем...

(Уже прошло полтора часа, а тревога все длится. Наверное, он будет усиливать налеты... О, как-то Колька, как-то Колька!)

Тревога окончилась в 22³⁵, была 2 ч<аса> 40 м<инут>. Около что-то падало. Дом на Троицкой цел, значит, Коля жив. Дом Радио тоже. Продолжается отдаленная, но сильная артстрельба.

Попробую работать над листовкой для немцев — «Тебе не за что бороться!» Ох, ох, о-х-о!!! Мы отдали им еще и Полтаву. Агитуй их тут!..

Очень сильная артстрельба, тихонько подрагивает этот дом. Наша или их? Наша или их? Почему не скажут?!

Юра будет звонить мне через некоторое время.

3/X <1941>.

А Колька был в это время на Конюшенной, под аркой чужого дома, где потушил 3 зажигат<ельные> бомбы. И в это же время буквально рухнул дом по Кирпичному пер. д. № 1, а мы живем в д. № 2 по Кирпичному; опять она была рядом, хотя и заглазно! Везет. Когда я дежурила в Союзе, мне дважды звонил Юра, — они знали уже там, что на Кирпичном страшный обвал, при этом им было сказано, что на Кирпичном, 2.

(Пишу опять во время бомбежки, в кочегарке на Троицкой. Только что был слышен шум взрыва, хотя и глухого. Замерло сердце. Это уже третья тревога с 19 ч<асов> 45 м<инут>. Первая длилась 3 часа. Рядом сидит Колька и читает. Хорошо, что он рядом. Он любит меня страшно, и даже сказал вчера, что ревнует к Юрке!)

Юра говорил, что бегал после вахты на Кирпичный (это же Невский, 11), чтоб узнать, как наш дом. Он будет любить меня очень!

Половина третьего ночи. Мы сидим в кочегарке, кругом трубы, колесики, непонятные машины, котлы. Полуслепой, желтоватый свет. За стенами слышен ветер, налетает гулками порывами, а кажется, что это на нас летит она — самолет, бомба, смерть. Вот так будут когда-нибудь изображать ад, как эту нашу кочегарку, желтоватую, в трубах, колесиках, с этим чурбаном — плахой. Это ад и есть... Смерть не смерть, а непрерывное умирание без смерти. Хотя я не волнуюсь, и даже попробую написать сатирические стихи о немцах, которые просили в радио.

В первую тревогу я сидела не только здесь, но и в швейцарской (99% гроба), бегала в соседний дом, в бомбоубежище, кого-то мирила, давала указания, приняла сообщение девушки о том, что безногий калека из нашего дома разводит фашистскую агитацию, сидя в бомбоубежище... Завтра сообщу о нем... (Над нами гудит самолет.) В общем, проявляла деятельность. (Ой, как гудит, даже здесь слышно, немец. Теперь бьют зенитки. Сердце-то, подлое, обледенело... Взрывы, не очень далеко. Сходить в швейцарскую, посмотреть, что мое население? А, господи, у всех у них — пропуска в убежище, все они могут туда уйти. До чего же у меня сильны «психопатические элементы», вот — политорганизатор, и не могу плюнуть на это и делать вид, а чувствую себя обязанной делать что-то настоящее, хоть малое.)

Вообще, конечно, в доме должна бы была быть душа. Вот как в общей камере в тюрьме. Я была душой 33-й камеры. Я дол-

жна бы была быть душой нашего дома. (Почему — должна?) (Потому что кто-то должен ею быть.) Но у меня не хватает на это ни просто физического времени, ни сил, ни смелости. Да вот просто смелость ограничена. Сидеть в кочегарке и писать, зная, что это — липовое убежище, и именно в нашем доме, — я могу. Выйти в швейцарскую (где, кстати, сижу во время тревог ежедневно, а шансы на бомбу одинаковые теперь в любое время суток) — могу, но это стоит мне большого, тяжелого напряжения, в итоге — его внутреннее изнеможение и опустошенность... Выемка за выемкой — а потом?

Я слишком много размышляю. Это понятно — эти записи — защита организма от необходимости вслушиваться, ждать удара и т. д. (А м<ожет> б<ыть> — слава организму и сознанию, умеющему так защищаться?)

Скоро 6 часов утра. Мы все сидим в кочегарке. Тревога, начавшаяся в 2 часа ночи, все еще длится. Стрельба и отдаленные взрывы, правда, были слышны лишь часов до 3–4. Были отбой — перерывы на 5–6 минут, потом опять — почему-то над самой головой — вой немецкого самолета, и опять сирены. Только поднимешься, и снова ползи вниз. Теперь мущины (мой Коля, симпатичный Смирнов, дурак Фомин и неизвестный приятель Смирнова) примостились и спят. Смирнов, до смешного высокий, как михалковский дядя Степа, развесил над котлами гамак и в нем спит. Колька и чужой дядька в шезлонгах. Фомин, похожий на тощего филина, спит, прислонясь к котлу. Отбоя здесь не слышно, я боюсь, не пришла ли из убежища Люся, вдруг стоит у двери. А ключ сдуру взял Коля, мне жаль его будить, ему с 10 на дежурство, и наверняка у него будет еще припадок... Кажется, отбой, т. к. как будто по лестнице... Да, отбой... Идти или нет — наверх?

5/X-41.

...Мы жили на дрожащей земле, под воющим небом. Наш слух работал без нашего контроля, ловя каждый звук — не сирена ли? Не свист ли бомбы или снаряда? Не немецкий ли самолет? Наш или немецкий? В меня или не в меня? Когда раздавался отбой, все тихонечко вторили ему, напевали его, думая: «Этого больше никогда не будет...» Мы научились понимать, что значит дом, жилище, человеческое жилище, которое ежеминутно готово было задушить нас. Дома душили своих хозяев.

Вчера я, Юра и Мартынов были за Московской заставой, организовали материал для сегодняшней передачи на эфир. Мы были там в разгар артобстрела, он длился семь часов, все время, пока мы там были. На «Электросилу» мне не удалось пройти, за виадук Путиловской ветки не пускают, там уже фронт. В те часы на «Эл<ектро>силе» убило 2-х и ранило 11. Мы сидели в райкоме, и он весь дрожал, потому что снаряды рвались и падали буквально рядом, и был слышен их свист. В 7 часов кончили работу, поехали в Д<ом> Р<адио>, но в это время началась тревога. Пошли пешком, по дороге был слышен свист бомб, и две упали не так далеко от нас, мы шли сквозь еще не разошедшееся облако дыма и пыли.

А мне совсем не было страшно, и я очень была влюблена в Юру.

Когда мы подходили уже к Д<ому> Р<адио>, он стал говорить о том, как хорошо было бы быть у моря, — и вдруг дичайшая тоска пронзила меня — почти до припадка. Нет, нет, никогда уже нельзя будет вот так, как раньше, лежать у моря и быть счастливым, — нельзя, не сможем, не будем! Еще пока — сейчас можно быть счастливым какую-то минуту, хотя над тобою, как и надо всеми — смерть, а потом уж нельзя будет, когда все это кончится и ты вдруг уцелеешь.

Так ясно мне это стало — до ужаса. Выжить это — назло кому-то, а потом самой умереть. Как в тюрьме — так же думалось... Но живу же зачем-то?

Когда мы вернулись в радио и работали, он писал мне влюбленнейшие записки... Он влюблен в меня — это ясно. Это хорошо, я рада этому. Я не боюсь этого... Пускай.

10/X-41.

Вновь сижу в кочегарке. Теперь каждый день тревоги идут с 19–30 до 1–30, как в аптеке. Вчера не было даже перерыва, так 6 часов и дули подряд. Правда, бомбежка не интенсивная, — или это кажется потому, что бомбы не близко падают? Вчера он (немцев у нас называют «он» или «Гитлер») сбросил фугасные, штук 13, и много зажигательных. Очень все это изнуряет. У меня мешки под глазами образуются — не то почки, не то общее переутомление сердца. Вот еще глупо — захворать сейчас пиэлитом, когда столько возможностей сдохнуть «на посту». Становится все голоднее, — уже ощущаешь. Какую-нибудь кашу без масла ешь с восторгом. Ох, паршиво...

А главное, усилия все эти наши, кажется, зряшние. Взят Орел. Это даже больше, чем Киев. Это отрезается юг, — уголь, сахар, хлеб и т. д. (Высоко идут немцы, — он.) Неужели мы проигрываем войну? Что же смотрят американцы и англичане? Ждут, пока мы истечем кровью? (Зенитки.)

Коля, дрянь, остался на солярии. Впрочем, не все ли равно? Уже притупляется страх. Жду — не знаю чего. Теперь уже не каждый раз ухожу с 6 этажа, даже иногда заставляю себя уйти; ход мысли: «Убьет»... — «Ну и пускай...»

Чувствую себя очень плохо, — определенно почки, общая расслабленность и спать хочу. А хотелось бы быть красивой, — купила себе беленькую шерстяную кофту — идет.

Хотела завтра «доконать» Юру. Если буду такая опухшая и старая, как сейчас, — не пойду. Необходимо уединенное свиданье. Как бы его устроить? У Маули, что ли? Ах, как досадно, что бомба лягнулась на Кирпичный, 1 и пришлось оставить мамину комнату! Необходимо свиданье. Я жажду этого. Меня уже раздражают люди <радио>/<комитет>, эти урывочные взгляды и т. п., я хочу открыть — какой он. Он не так интересен, как думалось вначале, видимо, разбирается просто, но дело не в этом. Хочу его нежности, хочу ласкаться к нему, чужому и красивому, слушать его влюбленные панегирики. Он влюблен. Мы не сказали слова «любовь». Он говорил вчера, что все еще не в силах поверить тому, что произошло... А слова еще не сказано! А, нет, все это прелестно, и я искреннейше увлечена, заинтересована, даже влюблена. Какая паршивая жизнь, как она мешает, буду дремать. Завтра хочу быть красивой. Завтра он пойдет провожать меня, и мы будем целоваться. Он целует хорошо, хотя мало воображения...

Гр<ажданка> Московская потеряла ребенка, племянника и мать, в этот же день [потеряла] пришла в радиоком<итет>, призывая к мужеству

2 дет<ская> поликлиника, 22¹/IX привезли из Гост<инога> двора раненых во время бомбежки. Никто не спустился вниз, все оказывали помощь пострадавшим

Куйбышевская б<ольни>ца².

¹ Над числом 22 записана цифра 3.

² Запись от 14 октября 1941 г. обрамляет ранее сделанную заметку (со слова «Гр<ажданка>» до слова «б<ольни>ца»).

14/Х-41.

...И метроном стучал, как маленький гробовщик, все время, все время. И по утрам мы спрашивали друг друга по телефону: «Ну, как, жив?» — точно не верили голосу отозвавшегося.

Оставлен Брянск. Оставлена Вязьма. Они на пути к Москве. О, моя Муська! О, родина моя любимейшая, что же это с тобой?!

Принесла работу в спецвещание, сидела, правила, Эрнст налаживал радио. И вдруг поймал музыку, фокстрот, — бравурный, по-европейски тонкий и искрящийся, разнеживающий, очень веселый, под который так и хочется плясать, — не танцевать, а именно плясать. И Osborne, не русские мужские голоса пели что-то прозрачно-легкомысленное, блаженно-глупое: «Дилинь-дилинь-бом! Дилинь-дилинь-бом»...

— Откуда это, — спросила я.

— Из Германии, — ответил он.

Я оледенела, чуть не закричала. Да ведь это же безумие, настоящее сумасшествие, так может вести себя только лишившийся разума человек. Ведь у них — миллионы погибших, и ведь мы, мы-то гибнем, а они в это время играют такое... Это хуже, это страшнее похоронного марша. Нет, лучше наш метроном!

[Поколения] В крови умирали тысячи людей, в темноте, под первым снегом, а они дали еще фокстрот, еще веселей, задорнее и легкомысленнее, как будто бы ничего не происходит... Они торжествуют, они счастливы, их войска подходят к Москве, к Муське, к сердцу страны! Идиоты, да ведь все равно гибнут ваши люди, — идиоты, гибнут и гибнут люди, — а тут «дилинь-дилинь-бом»... Люди, да что вы?! Нет, нельзя жить в этом мире, в этом позоре и безумии. Пусть поскорее фугас, — уж все равно. Теперь это все равно.

Я слушала, обессилев от муки и самого настоящего ужаса. Я сказала — нет уж, лучше наш метроном.

— Это свидетельствует о моральном духе народа, — сказал Эрнст, немец, на ломаном своем языке. — Если б у них, как у нас, четыре месяца подряд тикал метроном, у них давно бы была революция. Они не смогли бы этого выдержать. Им надо вот это...

Он прав, конечно. И как ни злюсь, как ни презираю я наше правительство, — господи, я же русская, я ненавижу фашизм еще больше, во всех его формах, — я жажду его уничтожения — вместе с уничтожением его советской редакции, я за ленинскую советскую власть. Мы выдержим. И метроном, и голод (а он все ощутимее!), мы

все выдержим, только не погибай, не погибай, русский народ. Только не гитлеровская механическая тирания. Только бы мир, победа, а там разберемся. Ощущение смертельности, как при смерти Ирочки (ей было вчера 13 лет!), едва ли не впервые с такой силой опасения за страну, неотделимо от себя, как ее живой клетки, встало во мне, когда я слушала эти сумасшедшие, искристые фокстроты из душащей нас Германии...

А потом они объявили, что будет экстр<енное>сообщение из штаб-квартиры Гитлера, и перед ним опять дали очень громкую, торжествующую, какую-то солдатскую, армейскую, громяющую музыку — долго играли, целых 10 минут. Они ликуют, что мы погибем! Они сообщили вслед за этой музыкой о том, что якобы в Вязьме уничтожена наша Армия, 500 000 пленных, в Брянске армия окружена и разложилась и уничтожается ими. А каждый в армии — человек, это я, он хочет жить, как я, у него свой Колька, своя Муська, свой Юра. И под музыку сообщают люди об убийстве людей, и торжествуют, и гордятся этим, и весело отплясывают, девушка улыбается, мужчины поют — «Дилинь-дилинь-бом...» Ну, раз вы такие — так вам и надо!

С 11 ч<асов> вечера страшнейшая артстрельба. Мы шли с Юркой домой, огонь вспышек мелькал у самых глаз. Он сказал: «Поцелуй», — я сделала это почти с отвращением сегодня, чтоб не обидеть только, чтоб не объяснять, почему не могу... Он говорил — стрельба наша.

Нет, это немцы, и хлещут они по Московскому вокзалу — несомненно, это почти рядом с нами. Все равно, лягу спать. Хорошо, если б только во сне убило, и сразу, сразу, — если это уж так надо...

Ненавижу! Ненавижу немцев, ненавижу Гитлера, ненавижу всех, кто затеял этот позор.

Ну, нате, жрите меня, сволочи проклятые, плюю на вас!

Я прошу только одного: убейте меня раньше, чем Колю. Не надо сначала убивать — отдельно убивать всю мою душу, всю мою жизнь — имя которой только Коля, а потом еще раз и меня. Впр<очем>, если его убьют раньше, я даже не останусь доглядеть эту срамную, дикую комедию.

Все-таки, кажется, это не наша артстрельба, а немецкая, и где-то близко от нашего дома. Может, сейчас вонзится в комнату снаряд — и конец. И очень хорошо. Ни холодно не будет (а сейчас-то как холодно!), ни есть не будет хотеться, не будет этого чувства стыда, недоумения, а главное — стыда за людей, жгущего изнутри, как яд.

Странно, я ведь жадная на жизнь, а сейчас мне ничего-ничего не жалко, — оставлять ничего не жалко. Николая не жалко потому, что это неотделимо от меня, и когда меня не будет, его не будет тоже. У Муськи есть своя жизнь. Отец будет раздавлен, но ведь он уже старый, ему все равно скоро умирать пора.

Вот тебя немножко жалко, и это страннее всего, потому что ты чужой, не мой, у тебя отдельная, своя жизнь, — я так хорошо знаю это. Но быть может, поэтому-то и жалко оставлять?

...О, совесть, в этом раннем

Разрыве — столько грёз, настойчивых еще...

Быть может, из любопытства жалко тебя оставлять? Юринька, а если это не любопытство, а любовь? Знаешь ли ты, что я очень боюсь ее? Знаешь ли ты, что, когда ты твердо решил придерживаться дистанций, я уже думала, что если что и будет, то не... интрижка, что ли, а именно любовь, и что — с тобой — она будет трудной...

27/X-41

Сейчас у Кольки был страшный припадок, — боюсь, что это начало статус-эпилепсии. Как он весь, просветленный, с неземным каким-то, божественно озаренным и красивейшим лицом, тянулся ко мне после припадка, целовал меня и говорил нежнейшие, трепещущие слова любви...

А я вчера провела ночь с Юрой М<акогоненко> в комнате у <Анюты>. Я радовалась ему, и было даже неплохо в чисто физическом отношении, — но какое же сравнение в том же отношении с Колькой, — совсем не та сила, не тот огонь и сосредоточенная, огромная, отданная только мне — страсть. Но все же он очень мил мне, и он нежен и страстен и влюблен, — не знаю только, понравилась ли я ему как женщина — я так исхудала за время войны, даже знаменитая моя кожа стала плохой. Но он мил мне, — все же.

Только что выйдя из припадка, Коля стал уговаривать меня уехать из Ленинграда, если будет эвакуироваться Союз Писателей.

Я должна уехать, чтоб спасти его, — ему тут очень трудно — он недоедает остро, нервничает (не из страха и трусости, конечно), стареет, хворает.

Но я не хочу уезжать из Ленинграда из-за Юрки и, главное, из-за внутреннего какого-то инстинкта, — говорящего мне, что надо быть в Ленинграде. Почему? Точно сказать не могу. Надо — и всё.

Без меня он не рухнет, я знаю. Но я-то, я-то что буду делать и как буду жить? Я умру от тоски, от отсутствия дела, — хотя бы видимости дела...

Да и как мы будем жить на чужбине? Ой, не знаю, как и быть... Везти его туда, — ну, хорошо, как-нибудь устроимся, — а его люминал?

О моей разлуке ранней
Будет гром греметь,
Обо мне на партсобраньях
Будет плакать медь...¹

5 ноября 1941 года.

Вот через два дня будет седьмое ноября, день Революции. Быть может, последний раз отмечаем мы этот день, как день, когда родилась Советская власть. Мы на краю гибели. Если мы не попадем в германский плен — мы очень легко можем попасть и, вероятнее всего, попадем под английский протекторат. Это похоже. Говорят, что они в Петрозаводске, в Баку, в Мурманске и Архангельске. Они там сейчас как наши «союзники», — но ведь это понятно, они без жертв со своей стороны берут, прибирают к рукам то, что им давно хотелось прибрать.

Итак, может быть, это последнее седьмое ноября... Сердце стеснено до предела, и не отчаяние в нем, а какая-то почти религиозная строгость. И временами — острая, плачущая, рыдающая боль, — как перед непоправимой разлукой.

Душа, на последний путь вступая,
Безумно плачет о прошлых снах.

Я хочу послать сегодня родным и друзьям телеграммы с поздравлением к празднику. Да, да, — это НАШ праздник, он все же есть, и мы отпразднуем его, мы отметим этот день в сердце своем,

¹ Запись стихотворения сделана на отдельном листе.

как день, которому было посвящено все лучшее в нашей жизни, как день нашей веры, как день Великой Социалистической Революции. Все-таки мне еще кажется, что могло получиться, что день этот был не напрасен, — что все вначале шло правильно, а вот потом его предали, переродились, пустились в авантюры... И вот теперь гибнем в результате собственных ошибок, заблуждений, перерождения.

Но все-таки тот день был. И НАДО БЫЛО БРАТЬСЯ ЗА ОРУЖИЕ. Нет, надо было.

И мне хочется в этот день сказать и отдать людям, согражданам своим то, что рыдает и горит в глубине сердца — что и словами-то выразить почти нельзя, — вот это самое: «Да, мы на краю гибели, а Революция была, и пусть будет благословенен этот день». Нет, и все равно в словах не то...

Надо написать обращение к женщинам Москвы, надо написать для передачи на эфир письмо ко всем слушающим нас ленинградцам, хочется написать, вынуть из сердца стихи, которые тронули бы в душе каждого ленинградца самое драгоценное, покрытое струпьями боли, недоумения, стыда.

Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процветь и умереть...

Об остальном — многом запишу потом.

11/XI-41

Вот опять сидим в кочегарке. 2³⁰ ночи. ВТ. Я до того хотела спать, до того, что когда завыли сирены — не могла встать. Но через минут 15, когда я, уже зная, что тревога, стала дремать, раздался далекий, но сильный шум взрыва, — шум обваливающегося города. Я заставила сердитого, уже спящего Кольку встать и спуститься в кочегарку. Сидим. Он дремлет. Стучит метроном. Хочу спать и мучительно хочу есть. Уже невольно думаю об еде все чаще, до слез. Если б было хотя бы много каши — и бомбежки переносились бы легче. О, проклятые, проклятые! Нет жизни, совсем почти нет.

Поесть до отвала — много мяса и колбасы и хлеба и спать целый день — предел желаний.

14/XI-41.

Записываю что-то такое кое-как, на разных листках.

Хотя и очень поздно, и ночь спокойная, — хочу урвать у себя время — чуть побыть одной с бумагой, пером и черным кофе.

Нерационально, — все время поступаю нерационально: не экономлю кофе, — а голод сверхреален, — что буду делать потом? Не сплю, когда не бомбят, — а предыдущие ночи все время выло — и спать было трудно... Ну, а иначе — совсем не жизнь...

Только что был большой припадок у Кольки, наяву. Едва очнувшись, он шептал мне: «Любовь моя», — и у меня все рвалось внутри.

Я никогда, никогда не оставлю его, ни на кого не променяю! Я люблю его, как жизнь, — и хотя эти слова истерты, в данном случае только они точны. Пока он есть — есть и жизнь, и даже роман с Юрой. Если его не будет — кончится жизнь.

Но и роман с Юрой доставляет мне радость, — острую, терпкую, теперь уже иногда печальную. Кажется, он полюбил меня по-настоящему. Я не верю этому, — как это так, сразу взял и отдал сердце — мне, неизвестной ему, темной и лживой. Не знаю, чем лгу, но лгу. Я говорю ему: «Люблю» — да, люблю. Но я знаю, что у меня только одна любовь — Коля, хотя я временами не ощущаю ее.

А [он] Юра говорит, что хочет от меня сына, и ревнует уже к Коле, и во власти моей совсем — везде, в радиокомитете, на улице, в комнате.

Н. А. предоставила мне свою комнату. Ленинградцы ведут сейчас кочевой образ жизни. Ежедневно от бомбежек и артобстрелов разрушаются жилища, — их обитатели переселяются в другие помещения. Другие боятся своих домов и районов — ночуют у знакомых и родных. Н. А. уехала из своего дома, т. к. он около Варшавского вокзала, — это место бомбят регулярно, а с Пушкино летят снаряды. Там, действительно, опасно. В комнате у Надьки нет стекол, — они забиты фанерой, изнутри завешаны всяким тряпьем. Мы были там с Юркой 4<-го> и 8<-го>. 8<-го> я приехала пораньше — комната хорошая, большая, оборудованная, есть и кровать, и уютная тахта с подушками, и много книг, и абажур, — чудесная комната интеллигентного человека, но печать брошенности лежит на всем, вплоть до игрушек. Видно, что комната нежилая. И вот, 8<-го> я приехала туда, подмела, обмела пыль, затопила печку, комната ожи-

ла немного, в это время началась тревога и бомбежка. Одной быть в комнате во время бомбежки, да еще на 4 этаже, — совершенно невозможно. Я с соседкой спустилась в 1-й этаж, в чужую коммуналку; коридор был еле освещен, чужие старухи в шальях толпились и сидели по стенкам, они крестились и шептали молитвы, молодая женщина вскрикивала, когда где-то поблизости шлепалась бомба, потом раздавался взрыв, дом весь дрожал, и в первую минуту взрыва казалось, что он рушится.

Я не знаю, как охарактеризовать свое состояние в этот вечер, в совершенно чужом доме, в мрачном коридоре с чужими старухами. Ощущение кошмара, нереальности, когда хочется проснуться. Даже не то что страшно, — а чувство ожидания гибели, почти неминуемой — именно из-за того, что ты один в чужом доме. Я жалела, что придется погибнуть так мерзко — убежала от Кольки на встречу с любовником, и вот, завалит кирпичом в гнусном этом коридоре с чужими людьми. Ревели зенитки страшно, выли германские самолеты, грохотали бомбы, дом отвратительно содрогался. Я с громадным напряжением сидела там, — меня мучительно клонило в сон, усталость налетала, как мутная штормовая волна, — это все было пыткой, конечно, настоящей пыткой.

Внешне-то я была, конечно, сверхспокойна, да и внутри тоже — точь-в-точь, как на допросах в тюрьме.

Это длилось — физически около 2-х часов, нравственно — бесконечно, но все же кончилось. О, какое ликование, когда играет отбой! Хотелось зарыдать от счастья — и (это почти всегда) — смутная мысль: «Ну, больше этого никогда, никогда не повторится!»

Я побежала наверх, поставила в печку чечевицу (унесла из домашнего запаса 1½ чашки), потом опять была тревога, быстрая и тихая («отлично!»), я опять вернулась и варила, варила чечевицу, а Юрка все не шел, хотя обещал быть к 9 часам, и я спокойно думала: «Быть может, у меня уже никого нет — ни Юрки, ни Коли».

Я думала об этом спокойно, т. к. не верила этому сердцем. А он все не шел. Тогда уже не ум, а сердце начало ужасаться: «А может быть, их обоих уже действительно нет? — Вздор, этого не может быть. — Но все же? Ведь бомбежка была сильной. Юрка хотел идти сюда даже во время ВТ. Коля мог погибнуть в слезе». — «Ну, хорошо, — сказала я себе, — вот чечевица готова. Она получилась вкусная. Если Юрка не придет до 12, я съем ее одна, — все равно съем, и потом пой-

ду пешком, зайду на радио, потом домой, все узнаю, и тогда видно будет, что делать».

Мысль, что я могу одна съесть так много чечевицы, — была каким-то утешением! Дико. Но дверь открылась, и вошел Юрка, — он глядел на меня с такой радостной любовью. «Значит, Колька тоже жив», — мгновенно подумала я и кинулась к нему вся, — что-то отпустило меня, как удущье отошло. Ох, как я была ему рада! Как вести о воле. Уже то, что он мог погибнуть, казалось мне вздором, так же, как и в отношении себя, и Николая. Что за ерунда, как можно было думать, что мы погибнем? Это ни в какие ворота не лезет!

В комнате уже было тепло, мы выпили вина, — еще праздничный запас, целовались страшно, наелись чечевицы, читали Ходасевича, потом он доцеловал меня до бурного объятья, потом мы пили кофе, потом говорили, — он говорил — как он любит меня, как боялся, что я не полюблю его, и отказывался внутренне от любви, потом было две тревоги, но тихих, так что мы не уходили из комнаты, потом несколько минут был страшнейший артобстрел, и снаряды — тяжелые, рвались и рушили что-то очень близко, — было неприятно, и даже он встревожился, но потом стало тихо, и мы легли спать на чужой тахте под чужими одеялами. Я ласкала его с нежностью и жаждой, хотя усталость от напряжения во время бомбежки, следующих 3 тревог и артобстрела давала себя знать, — я чувствовала в себе эту пустоту, эту усталость, хотя другое было сильнее. Он нежен и жаден, и потом, когда я свыкнусь с ним, перестану стесняться, — будет чудесно. Пусть наши ночи будут неистовы, страшны, — надо взять друг от друга и дать друг другу все, что можно... Мне бы хотелось, чтоб он был чуть-чуть сильнее, но и так хорошо.

Утром мы вышли вместе и смеялись над «нашей баррикадой»: у нашего дома — внушительная, настоящая баррикада, построенная в сентябрьские дни, когда немцы вот-вот должны были взять Ленинград. Неужели она пригодится, — неужели будет еще такой ужас, в который сейчас не веришь?

Наверное, нет. Крым почти взят, Ленинград в кольце, кровь льется без меры, но победим все же мы. Чудовищной ценой. Я не могу уже об этом думать, как о смерти Коли. Потом, потом... И сейчас чаще мысли о мире, о том, как все переменится, о том, что мы будем демократической <страной>. <Далее обрыв текста — полстраницы утрачено.>

Даст ли все это мир? Думаю, что даст. Конечно, рая не будет, — но все-таки, все-таки...

Мне надо написать для Юрки два фельетона — для вещания на фронт — создать постоянный тип, чтоб его слушали и любили, чтоб он мог сказать все, — а я замотала это дело, а сейчас, на исходе ночи — пишу вот это. Но надо же, надо высказаться хотя бы молча.

С завтрашнего дня буду работать строго по плану. Не буду разбрасываться — мне страшно много дают заказов, а мне неудобно отказываться. <Далее обрыв текста — полстраницы утрачено.>

И еще это недоедание, и Колька все время стремится уступить мне еду — это злит меня до одури! Я и так сволочь — покидаю его, чаще всего в часы бомбежек, не поддерживаю в доме порядка, плохо — вернее никак не забочусь о нем. Это подло. Работа — не оправдание. Моя «измена» не мучит меня, — нет, я не изменяю ему. А то, что ухожу от него по вечерам, — дико мучит и отравляет жизнь. С ним — ничего не боюсь.

Нет, нет, завтра — план, твердость в обещаниях, и больше дома. Юрка будет томиться, — ну, мне на двоих не разорваться в условиях 5–6 тревог в день. Пишу для Юрки, — завтра буду долго спать... А с утра — опять эти сволочные тревоги, и, главное, они бомбят теперь и днем и ночью...

22/XI-41.

Когда мы сегодня с Юрой шли из Союза, был сильный артобстрел, несколько раз над головой, высоко и невидимо, с плачущим звуком проносились снаряды и рвались где-то за нами. Потом они рвались, не долетая до нас. Мне было страшно, и я чувствовала, как страх стягивает лицо, кладет на него неподвижную маску, и я старалась придать маске подвижность, взглядывала на Юру и улыбалась.

А жизни все равно не было, было только одно нежизненное напряжение, мертвое напряжение души и тела, в котором ощутили стали какие-то пронизывающие его физические нити. Как древесина.

Минута жизни была в Союзе, где горят свечи (электричества днем теперь не дают!), полумрак, бродят голодные старухи-переводчицы. Как заметны в такие минуты — теперь, в 37–38 гг. — старухи! Он звонил по телефону, мигала свечка, освещая его лицо

немного снизу, и такой красоты в этом свете, розовато-желтом, были его ресницы и брови, а главное, тонкие, густые, маслянисто-черные ресницы, что, глядя на них, я обмирала от восхищения — чисто объективного, так это было красиво, а еще вместе с этим думала — «это мое», и совсем, до изумления, радовалась. За стенами рвались снаряды, но их не было.

Победительные, легкие, свободным полукругом осеняющие глаза ресницы и смелые, чуть сходящиеся брови, маслянисто-черного цвета в розово-желтом, трепещущем [1 сл. нрзб] пламени свечи, — вот отрада сегодняшнего дня, извлечение из него, подарок жизни.

И когда мы шли и мне становилось страшно, я взглядывала ему в глаза, — в сероватом сумраке они были уже не так праздничны, но я помнила их при свече, — и у меня вдруг исчезал страх, и лицо немного отпускала маска.

Я боюсь, что скоро маска налипнет к лицу так, что ее уже нельзя будет содрать. Уже многие и многие люди ходят с такими масками, и это опять как в тюрьме. (Маска Ольги Абрамовой: уже безглазая, с потухшим светом в глазах, маска страха и готовности к новому страху и мольбы — у Марии Сергеевны.)

Потом я пришла домой, с жадностью съела холодную котлетку, поставила греться суп, а артобстрел продолжался, и над крышей нашей пролетали *снаряды*, высоко, наверное, но в комнате было слышно их короткое и в то же время протяжное рыдание, плач-свист.

«Услышав шум (свист) приближающегося снаряда...», — почему-то часто преследует меня эта фраза из инструкции — как вести себя при артобстреле, — как дальше, — не знаю.

Как все это утомительно, боже, как утомительно, как безысходно, как нудно и бессмысленно!

А главное — голод. Сегодня еще одна яркая эмоция, кроме ресниц Юры: острое, болезненное сожаление, что не выпросила у папы банку консервов, — ведь он же предлагал их съесть, а я торопилась в Союз, боялась, что разминусь с Юрой, что пропущу там выдачу 100 гр<аммов> сыра, — и вот не сообразила выпросить у него эту банку. Ведь он бы дал мне ее, конечно, неудобно обирать старика, но он бы дал, кроме того, он говорит, что всегда сыт, а я все время хочу есть, — ох, неужели же он съел ее сегодня? Завтра же утром позвоню ему и попрошу оставить эту банку мне только, если он не съел ее, до субботы все равно не получишь.

А-а, как все это унижительно, как унижительно. Но голодный психоз одолевает также и меня.

А вечером я ушла из дома, оставив там одного Колю, ушла в радио, т. к. боялась, что начнутся тревоги и я ничего не смогу сделать. Быть разбомбленной я уж как-то не боюсь, мне почему-то кажется, что «в наш дом не попадут», но ютиться неск<олько> часов в кочегарке, когда у меня столько невыполненных заказов...

И я пришла сюда, страстно желая быть дома, У СЕБЯ ДОМА, ЗА СВОИМ СТОЛОМ, но тут все равно ничего не могу делать.

А Юрка ждет от меня рассказа. Он сидит рядом, взглядывает на меня нежно, с любовью, а я должна писать ему рассказ, о котором всё-всё знаю, мне неохота и неинтересно это. И вот я пишу это, но страшно хочу домой, к Кольке (о, как подло и плохо, что я его почти всегда покидаю в «бомбежное время!»), хочу есть, хочу лежать в тепле или писать то, что хочется одной только мне, — и все...

27/XI <1941>.

Ну и денечки у нас пошли, — просто бардак! Немец налетает теперь на нас аккуратно в половине первого дня, и тревоги длятся по 3–4 часа с небольшими перерывами, а потом еще 2–3 часа. Вчера, например, была тревога с половины первого до четырех, а потом с пяти до семи. Бомбил. Но народ уже так приобвык, что пока в данном районе не бьют зенитки, или бьют несильно, — ходят по улицам вовсю. Вот и сейчас бомбежка, и где-то рядом с домом радио сию минуту загрохотала бомба. Нестрашно. Вчера все время провела дома, на своем пятом этаже, и зенитки били рядом часто и отчаянно, но уже даже не прислушивалась, и только когда был грохот бомбы и дом дергался — замирало сердце, невольно делая движение — бежать, а через мгновение страх проходил и появлялось раздражение — «а, насрать, все равно». Нельзя же шесть часов подряд сидеть в швейцарской с глупыми старухами или в кочегарке, — уж это совсем не жизнь. И так-то жизни нет. За время тревоги подобрала окончательно сборник для Балтфлота, отпечатала сразу на машинку вступительный стишок, написала, почти целиком, почти хорошее стихотворение о гвардейцах. Но бомбежка сильно мешала, раздражала до плача, до одурающей злобы,

было неизвестно через каждые 20 минут — бежать вниз или сидеть наверху, — неопределенность какая-то, страх не страх, — в общем, томление духа.

Тогда я стала прибираться, физическая работа успокаивает прекрасно и хорошо идет, когда несколько напряжен.

Но, в общем, за исключением 2–3 содроганий дома, чувствовала себя совершенно спокойно.

Не знаю, хорошо ли это. Вероятно, это усталость, а не более того. Чувство самосохранения слабнет, — не от героизма (его вообще, кажется, не существует в природе), а от усталости и раздражения...

Сегодня ездила на завод, уплатила членские взносы в партию сразу за 4 месяца, — как камень с души. Там был обстрел, над головой трещала шрапнель, — гнусность. Потом началась тревога, и во время ее Жарков подвез меня в машине скорой помощи до дома радио. Это у них теперь вместо легковой, что ли...

Вот уже 2 часа 45 минут длится тревога, — ну, не бардак?!

А я почти не в состоянии работать здесь, в бомбоубежище, — холодно, неудобно в пальто, есть хочется мучительно, — с утра только чашка кофе и 2–3 ложки манной каши.

А мне необходимо написать очерки о партизанах, — мы с Юркой были на днях в партизанском центре, — они такие великолепные вещи говорили, — сама поэзия!

И я ушла от них воодушевленная, хотелось все вытерпеть, даже голод, была горда, что состою в партии, — т. к. вновь убеждаюсь, что ЕСТЬ партия, не партия Шумиловых и Гришкевичей, обюрокраченная и тупая, а партия настоящая, народная, партия, где состоят эти партизаны-коммунисты, за которую держусь и я, несмотря ни на что...

Написала первый очерк — очень плохо вышло! Наверное оттого, что слишком сильно было пережито и горячо рассказано Николаю, — вот и выкипело.

Но и вообще я работаю плохо, с трудом, я сама вижу. Мне трудно напрягать голову, чтоб найти нужное слово, — голова физически тупая, ее терзает непрерывная мысль об еде...

Смешно, а вот сейчас меня больше всего волнует, что жид — Валерий жрет Юркины шоколадные конфетки, — их немножко, и Юрка мог бы поделиться со мной, а жрет Валерий, — трус, подхалим, гавно.

Ужасно мутно в голове. Надо сделать попытку — вырваться из всего этого, отвлечься, сердцем вспомнить и представить партизан, сосредоточиться и написать...

А тревога все идет. Коля должен быть у подъезда дома на дежурстве. Но сейчас я даже за него не всегда волнуюсь, — почему-то думается, что «нас не тронет», — уж столько возможностей было... Вот, не попал ли он только под снаряды, — на углу Невского и Садовой сегодня они ложились и покалечили много народу, но, кажется, это было часов в 11, а он ушел из дома позднее...

А, он прав, надо жить так, как будто бы ничего этого нет. И верно, труднее всего не замечать голода, а это-то почти уже безразлично. Ну, убьет, — подумаешь... Сколько забот с души сойдет.

Беспокоит меня еще задержка м<енструального>ц<икла> — и не потому, гл<авным> образом, что точно не знаю, Колин или Юркин может быть малыш, вернее всего, почти наверняка — Колин, а потому, что уж очень будет хотеться есть, если это так....

Вечером.

Ну, наконец, я дома. Пришла в 7 часов, пообедала, как обычно теперь — с отвратительной жадностью. Потом почему-то испортилось настроение, опухло от горячего лицо, захотелось спать. Села работать — потушили свет. Это теперь часто — выключают на несколько часов, а то и на весь день. Ох, господи. Сижу при свечке и с жадностью гляжу, как она убавляется, и ощущение раздутого лица противно.

А партизаны пошли, — взяла и стала писать рассказом.

Надо торопиться, пока не потухла свечка.

Интересно, дадут ли мне первую категорию, и подбросит ли ПУБАЛТ хоть чего-нибудь? Эх, если б взяли на паек, но не отбирали бы карточку!

Я съела бы сейчас столько, столько...

Хотел часов в 11 прийти Юрка, надо бы к приходу его закончить рассказ... Черт знает, как приливает кровь к голове... Ох, боже мой...

Мама прислала открытку, Молчановы тоже, пишут — «гордимся вами» и все такое... Знали бы они, какая у нас отвратительная, нудная, томительная жизнь... А тут еще если я беременна, — это наступит сплошная мука с пищей. Говорят, что скоро начнут подбрасывать, что взяли Мгу, — ах, если б так... А тут еще деньги стали

задерживать, гады, и на радио «забывают» оплачивать все, — тоже, сволочи.

Надо иметь запас денег, — вдруг подвернется спекулянт или навезут чего-нибудь американского... Честное слово, на содержание поступила бы к какому-нибудь генералу, только чтоб кормил...

Ах, ты, чорт, какое тяжелое чувство осталось у меня после посещения Юры. Колька был неприятлив и груб даже с ним, он явно ревнует меня к нему. Я старалась сгладить Колины резкости, как могла, но Юрка, очевидно, почувствовал Колину неприязнь.

Ни к чему Коле связываться с ним работой, — помимо всего прочего работать с ним, как с редактором, — крайне тяжело. Он суматошный рационалист, плохо представляет иногда, что именно ему нужно, а давит на психику и рассказывает — как и что сделать — так, что после этого писать самостоятельно почти нельзя.

Мне неприятно, если явно возникшее раздражение против Коли он перенесет на меня.

Я не особенно пылаю теперь к нему (а в сентябре, до всего, была форменная одержимость им), но он мне мил и даже дорог.

Нет, надо устроить так, чтоб они не соприкасались с Колькой, — ни к чему, и мне спокойнее.

А Юринька был такой бедный, усталый, даже жалкий.

Завтра с утра позвоню ему и обласкаю, как могу.

29/XI-41

Какое у меня сегодня отекающее лицо, — неужели от голодухи? (А папа все-таки съел ту банку с консервами!)

Вот теперь, пожалуй, я уехала бы из Ленинграда, — очень понимает голодовка. Но уехать — даже с Колей — и оставить тут Юрку? И они будут голодать, стоять под бомбами, ходить по улицам под артобстрелом, а я там буду кушать и спокойно спать? Это скотство.

Но Колька мой ослаб, устал, исхудал, в постоянной тревоге за меня...

Наверное, я опять, как в годы первой пятилетки, увлечена не тем, не жизненно-главным. Тогда проворонила Маечку, мало отдавала сил Ирке — и тоже упустила ее. А болталась на заводе, болела за Днепростроевские турбины, — а Днепрострой сейчас весь взорван. Не помню, записывала ли о взорванном Днепрострое, м<ожет>

б<ыть>, нет, потому что сюда все-таки попадает не самое главное, чем волнуется сердце.

Но этого — взорванного Днепроостроя — я до сих пор осмыслить, воспринять не могу. Ведь это взорвана жизнь Карла Лукки, усилия, мечты, содержание существования сотен людей по нашему заводу, еще раз перечеркнута жизнь погибшего и обесчещенного на каторге А. М. Иванова, возглавлявшего и создавшего эти могучие машины, в которые вкладывали все мы мечту о настоящем Социализме, о лучшей, светлой нашей жизни.

И все же я думаю, что никто и ничто не в силах отнять и зачеркнуть у нас все это. Все это было, всем этим мы реально жили, значит — оно с нами. Значит, верно, жизнь все-таки только процесс и смысл ее в том, чтоб жить настоящей минутой. То, к чему пришел Лев Толстой незадолго до смерти.

Вчера и сегодня интенсивный артобстрел (делала в «Астории» маникюр, а рядом рвались снаряды, на площади, но страшно не было), но бомбежек не было, — какое счастье! О, если б и завтра не было тревог и бомбежек, — мы хотим закатиться с Юрой «на баррикады» на всю ночь, мы затопим печку, мы натопим ее так, чтоб в комнате без окон стало тепло, мы сварим похлебочку из 3 картошек, выпьем очень маленькую бутылку водки, я одену Муськино зеленое платье, — я в нем чудесная, только бы опухоль к завтрашнему дню сошла с лица, я буду петь ему, читать стихи, говорить с ним, целовать его, я буду говорить ему все, от всего сердца, буду ласкать его, — он милый, он нежный и влюбленный и преданный мне, — это ясно.

Я люблю на всю жизнь, сердцем, плотью и кровью — только Николая, но сейчас я люблю и Юрку..

Я хочу, чтоб завтра был праздник, там, у баррикады, которая, быть может, станет еще местом дикой трагедии.

Ну, что же, — тогда будем на ней там, как это будет надо!

1 декабря 1941 года.

Итак, может быть, мы уедем из Ленинграда с Колей.

Я знаю, что это самое разумное и правильное, что я могу и должна сделать, — и буквально отчаяние берет меня при мысли об отъезде. Отчаяние, похожее на ощущение неизбежной гибели.

Как — вот я писала: «Не сломлюсь, не дрогну, не устану», — ведь это же не стихи были, — и вот я уезжаю в самую скорбную и трудную минуту для Ленинграда, в дни, когда, осажденный, он довольно быстро начинает валиться с ног от голода.

Я должна быть здесь, голодать так же как все, писать и поддерживать их дух, — говорит мне один голос, очень сильный и властный.

Мои писания, мои стихи, даже те, которые заставили плакать командиров одной армии, где недавно читала их, — даже не десятистепенной важности дело для Ленинграда. Они не заменят ему ни хлеба, ни снарядов, ни орудий — а решает только это. Если ленинградцы не будут слышать моих стихов — ничто не переменится в их судьбе. Эти стихи, очерки, статьи — пусть действительно хорошие, пусть действительно находящиеся на уровне подлинного искусства, как утверждают все, — СЕЙЧАС не нужны. Они, возможно, были нужны в те минуты, когда немец вот-вот должен был взять Ленинград, и самое главное было — спокойствие и твердость духа, но не сейчас, когда люди на улицах начинают падать с голода.

Твоя нужность здесь — самообман и тщеславие. Это говорит мне другой голос, который я считаю фарисейским, но знаю, что он разумен. Это же говорит мне Коля, Юра, Яшка.

Я уеду, а Юра, милый, полюбленный Юра останется стоять под бомбами, голодать и писать передачи? И Яшка, и Надя Афанасьева, и все ленинградцы? — терзает меня второй голос. Значит, ты оказалась слабее их? Они выдержат, а ты нет?

Ну, что ж, я не выдерживаю. Не дух мой не выдерживает, — с трудом, но я все ж переносу последние дни непрерывных, буквально круглодневных бомбежек, — не выдерживает тело. Я отекаю, становлюсь безобразной, сердце ослабло так, что я боюсь об этом сказать Коле и Юре, голод мучит меня унижительно и дико. Я все время хочу есть. А что будет, если я действительно беременна?

Не надо тщеславия — вот меня никто не будет хвалить за мои стихи, никто не будет восхищаться моей стойкостью, моими статьями — ну и что ж? Зато я сохраняю себя, Колю и, может быть, ребенка. Я хочу его. Если он не Колин — это ничего, это почти не мучит меня — все равно он будет Колиным, а иметь ребенка от Коли при его теперешнем состоянии здоровья — страшный риск, который принесет всем нам чудовищные страдания. Юра тоже любимый. Вот как он будет реагировать, когда все узнает, — он с такой силой и любо-

вью говорил мне, что хочет иметь от меня ребенка, — уж это я пока не знаю. Но всего вернее, что ребенок Колин, — это страшная и сладкая ночь шестого ноября.

Что касается Коли — он прямо говорит, что устал, измотался, и верно — он похудел и даже одряхлел отчаянно, припадки участились и носят характер страшный... Я ДОЛЖНА для него сделать все, что надо, — чтобы опять не просчитаться, как просчиталась с Ирочкой и Майкой, когда главное время и силы отдавала работе, Днепро-днестровским генераторам, романам, — от которых на сегодня ничего не осталось.

7/XII-41.

Итак, если немец за это время не возьмет Волхов и не прорвется на Новую Ладугу, — мы едем 10/XII. У меня теперь нет уже никаких колебаний и сомнений морального порядка. Больно, и, видимо, обомлею от боли, уезжая, — оставляя вымирающий, обледеневший, голодный, обстреливаемый и бомбардируемый с чудовищной свирепостью Ленинград, — но что я могу сделать для него и его людей — реального? Погибнуть вместе со всеми — или — чудом выжить. Второе маловероятно. Если выживу — доплетусь до облегчения вымотанной физически настолько, что ничего не смогу делать дальше. А самое главное — над Колей висит явная катастрофа. Несколько ночей подряд у него было по три-четыре жутких припадков, — я уж думала статус, а это конец с его теперешним ослабшим организмом и подорванным слабостью сердцем. У него пульс выпадал. Пятого, когда я была в штабе одной армии — читала и организовывала отъезд, — у него без меня на лестнице был припадок, он разбил голову, поранился, чуть не погиб. Я — держусь. «Разговор с соседкой», написанный пятого во время бомбежки, — не хуже Машеньки, которая так нравится всем. Конечно, дает себя знать некая исчерпанность материала, спешка, — но все же это лучшее из того, что появляется в Ленинграде из стихов. Это я могу сказать смело. Три очерка о партизанах тоже неплохо, лучше очерков в начале войны, а если б я еще могла писать их в полный голос... Нет, во мне еще есть силы, но жить так мучительно трудно, что я вижу теперь предел им. Вот — не будет света в домах. Уже несколько дней сидим мы со свечечкой. Перестали топить. Я сижу сейчас в пальто, в перчатках, и все-таки холодно.

С едой все хуже и хуже. Бомбят нас все свирепее, и такое чувство, что вот он теперь совсем уж близко подобрался и нацелился именно в нас. Первые дни декабря бомбил с утра до ночи. Я уж как-то плюнула и сидела дома, бомбы свистели за окнами омерзительно и неестественно, дом трясся и качался. Четвертого вечером сидела, писала Юрке письмо, на треножничке над свечкой пристроила кофейник (Юрка подарил мне кусочек сахару), — вдруг началась тревога, мы стали неуверенно собираться вниз, — т. к. на полупотухшей керосинке грелся супец, и вдруг как ахнет, — раз, два, а на третий все ходуном заходило в доме, кое-что полетело. Это было очень близко, за два дома от нас, ударили три и одна из них огромная в дом, где живут Фуксы. Вчера иду по переулку, а кто-то сверху мне кричит: «Здравствуйте, О<льга> Ф<едоровна>». Гляжу — Фриц спускает из окна своей бывшей квартиры уцелевшие вещи. А Гослитиздат, — без света, ледяной, и все люди опухшие, серо-зеленоватые, о — боже, боже, какое бедствие страшное, какое несчастье... Но, родные мои, любимые, притихшие, покорные, вымирающие ленинградцы — что я могу сделать для вас? Разделить с вами это, — да разве вам от этого будет легче? Мои стихи и рассказы скоро никто из вас не будет слушать... Нет, надо уехать. М<ожет> б<ыть>, это единственное, что я могу сделать, — в том числе и для Ленинграда...

Ах, все это именно интеллигентщина, на которую злятся Яшка. Надо спасти Колю, себя, ребенка, если он зачат. Да, надо его спасти. Это такой дар и такое избрание жизни — вот именно в эти смрадные смертельные дни — зачать ребенка, под смертью, под свистом. Если это Юрин — то это в тот день, наверное, когда я сидела в чужом коридоре с чужими старухами, и дом качался от близких бомб... Нет, уехать, уехать. Я еще смогу много написать, нужного людям, я же и там буду работать, я сохраню молодость, силы, здоровье. Только бы не сорвалось все это у Розена.

Юрка уехал 4<го> в Новую Ладугу, на неск<олько> дней. Сейчас получила от него записку, — оказывается, на пути сильно бомбили немцы, и машина провалилась под лед, и он тоже, но выкарабкался, дошел до госпиталя, говорят, что ничего не обморозил и не заболел воспалением легких. Я сказала ему о своих предположениях, — ух, какое у него лицо было прекрасное и счастливое. А вечер — вернее ночь вся сияла, от луны, от свежего снега, — пустой, безмолвный (в ту ночь не стреляли), заколоченный в ящики, забитый древними, московскими ставенками Ленинград, и мы шли по нему, пустому

и сияющему, перед разлукой. Мы, м<ожет> б<ыть>, никогда больше не увидим друг друга... Но я говорю это так, — мне почему-то кажется теперь, что все будет, что все выживем, — даже если не уедем из Ленинграда.

Буду располагаться на это, что не уедем, хотя мне очень хочется теперь уехать. О, господи, — поесть можно будет досыта, и не эрзацев, а настоящего хлеба, мяса. Я хочу двинуться в Архангельск, — там есть друзья — Юрка Герман, Рита Райт, они могут помочь нам в первые дни, кроме того, там будет работа — там скоро, наверно, начнутся действия против Норвегии, там англичане, там невиданный мощный край, там, и странно, это влечет меня туда больше всего — там есть, говорят, много шоколаду и английских галет. Конечно, это фронтовой город, там холодно, и благоразумнее ехать в Вятку или на юг, или в Сибирь, но что ж — ведь и оттуда можно будет передвигаться. А беременность, наверно, будет протекать хорошо, я ведь имею почти два года передышки от выкидыша и т. д. Нет, поедем в Архангельск. А вообще-то — рано гадать. Добраться бы за кольцо... Но если ничего не выйдет, — не буду вешать носа, и буду работать до последних сил. Вот сейчас в комнате у нас ниже ноля, на окнах очень красивые зимние узоры — изнутри, и ставенки скрипят грустно, надрывно... Я сижу в пальто, в перчатках, в шапке. Коля, перевязанный, лежит под одеялами и пальто. Дома грязновато, — страшно мыть ледяной водой посуду. Но я смазала кремом лицо и накрасила, как всегда, губы. Нет, нет, до тех пор пока силы совсем не оставят, — не буду я поддаваться немцам, не буду отпускать себе бороду и жрать кошек, да еще так мазохистически хвастаться этим, как многие и многие из наших писателей.

Будем держаться, — надо располагаться на это. Но лучше всего, если б у Розена все вышло. Хорошо бы, если б удалось взять с собой Елену Михайловну. Она хорошая и добрая, она подкармливала нас, — спасибо ей. Юрка умоляет не ехать по озеру, а дожидаться самолета. Он говорит, что немцы бомбят дорогу и т. д. Видимо, они будут бомбить ее все интенсивнее. Но ждать самолета — это, во-первых, для меня очень шатко, а во-вторых — он может и не понадобится, — Колю хватит статус, или нас убьет, или немцы замкнут нас во второе кольцо... Впрочем, на юге у нас успехи, Англия объявила войну Финляндии, и т. д. А м<ожет> б<ыть>, дотерпеть в Ленинграде? Но для чего? Юру вот жаль тут оставлять, но он обещал в крайнем

случае выбраться и верно говорил, что я и для него могу превратиться в сплошной укор, — буду лежать и пухнуть, и только. Нет, сейчас буду все понемногу собирать к отъезду, — завтра целый день беготни за деньгами.

О, как сердце все же надрывается...

Ольга Берггольц.

РАЗГОВОР С СОСЕДКОЙ.

Дарья Власьевна,

Соседка по квартире,

Сядем, побеседуем [с тобой] вдвоем.

Знаешь, — мы поговорим о мире,¹ <Далее обрыв текста.>

8/ХП-41.

Сегодня за обедом съела кусочек ветчины, выпила пива и злого черного кофе и сейчас чувствую себя бодро и деятельно. А днем едва ходила и временами чувствовала — сейчас упаду, хотя утром пила кофе и съела три маленьких оладьи с маслом — другие-то и этого не имеют. Да нет, нам по сравнению с другими просто жаловаться нельзя, хотя я сильно подпухла, а Коля с его разбитым лбом и затекшими кровью глазами — просто страшен.

Сейчас грею на свечке пиво, хотя знаю, что нельзя поглощать столько жидкости, сижу в пальто и шапке (но подпудрила и подкрасила отекавшее лицо) и хочу написать хорошие стихи — как бы уже от туда, из тыла — о Ленинграде.

Видимо, завтра меня запишут, пусть мой голос последний раз прозвучит на прекрасных его, вымирающих, заснеженных улицах.

Это все, что я могу сделать для него, зная, что это ему не нужно..

Должен ко мне прийти некто Литвин, организатор нашей поездки, но боюсь, что дело сорвется, т. к. власти чинят препятствия для отъезжающих, а Сашка Розен устраивает все это по благу, видимо — просто за взятку Армвоенторгу.

¹ Текст со слова «Ольга» до слова «мире» записан на обороте предыдущего листа.

Если только завтра-послезавтра нашу группу выпустят из Ленинграда и дадут нам всем эвакуодостоверения, — 11<-го> мы уедем.

Вера Кетлинская дала мне хорошую командировку и характеристику для Архангельска, — да, мы попробуем пробиться туда.

Пока что там, говорят, отлично с едой — английское снабжение, шоколад и галеты (я могу съесть шоколаду сколько угодно, я накуплю его и буду есть его как хлеб, и Колька будет есть, и мы будем смеяться от счастья — уж я знаю!), но, м<ожет> б<ыть>, там будет и хуже, когда Англия начнет действия против Финляндии. Там могут начать бомбить немцы, может ухудшиться с продовольствием и все такое. Ну, подадимся дальше!

Я думаю, что укреплюсь там быстро, — найду нужное дело, а работать я умею, хочу работать. Нет, Архангельск ничуть не пугает меня.

Если сорвется с Сашкой, — есть еще нереальная перспектива на самолет и общую эвакуацию с Союзом, — брр... Но и на это пойду!

Мой Юринька написал мне, что дорога через озеро крайне опасна и трудна. Я знаю, что вынести ее будет трудно. Ее бомбят, а лед, а мороз! Вчера хотела сбегать к тетке, кот<орая> принесла мне письмо от Юры, — вышла на улицу — метель, дикий артобстрел, трамваи не ходят, — у меня моментально до плача — схватило пальцы на руках, — и я не отважилась идти пешком и обратно, — не из-за обстрела, а потому что холодно очень было... Меня мучила совесть, — возможно, что мое письмо попало бы к нему и он был бы счастлив, — но идти по такому дикому морозу <в> такую даль — при легком, но назойливом головокружении от голода — я не могла.

Я зашла в Дом Радио за Яшкой, привела его в милый, одичавший, лишенный стекол дом Молчановых и сварила из 5 картошек и кусочка сала похлебку, на буржучке, дымившей как ведьма, и мы поели, почти стеная от восторга. Конечно, можно — и нужно было бы съесть это вдвоем с Колей, мы были бы сыты по горло, но тщеславная (отчасти) радость — порадовать настоящей едой Яшку, опухшего, мрачного, злого, — взяла верх.

Ничего, — «будет день — будет и пища».

Что ж мои жиды-то не идут, — ведь надо действовать быстро, а то все сорвется.

Еще и еще раз говорю тебе: рассматривать отъезд как мечту. Ориентироваться на то, что останешься здесь, будешь изнемогать, но с отчаянием в душе держаться, не позволяя себе ЛЕЧЬ, пока не упадешь, и будешь работать, и не позволишь себе пасть до уровня Морозова, запустившего бороду и жрущего кошек, да еще с надрывом оповещающего об этом.

Вздор! Не-ля-гу-са-ма!

Сейчас попробую писать стихи, а не пойдет — рассказ для спец<иальной> передачи и передачу для них же. Сегодня должна написать.

Я вчера писала Юрке письмо, а мне показалось, что записывала это в дневнике.

Дело в том, что по дороге через Ладожск<ое> озеро их бомбили, их машина провалилась под лед, и Юрка чуть не утонул. В обледеневшей одежде добрался до госпиталя, но пишет, что здоров.

Ох, дал бы бог.

Жиды мои не пришли, а уж 9 ч<асов>. Ну, ясно, что-то не танцывается.

Но зато Вера и Женя говорили обо мне с Паюсовой, она обещала похлопотать насчет самолета на этой неделе.

Ну, ладно, выйдет, так выйдет, не выйдет — гроб.

Если еще уедет Ел<ена> Мих<айловна> — мы просто умрем с голоду.

А если мы 11<го> не уедем, — м<ожет> б<ыть>, к этому времени приедет Юра, несомненно, привезет хлебца, и мы попируем у печки в Надиной комнате.

О, как я буду целовать его!

Еще 10<го> хотел приехать Хамармер, — комиссар Армии, где я выступала, и, наверное, привезет чего-нибудь поесть... А после еды — легче жить.

Немец не бомбит нас уже 2 дня, а только обстреливает, — отлично. Хоть бы не бомбил до отъезда, все лучше.

Ничего не написала, — перебирала свои военные дневнички.

Я теперь как-то почти не сержусь на власть, — столько дико-го страдания, что невозможно ни сердиться, ни критиканствовать, а надо делать то, что говорят.

Пойду сейчас к Молчановым и все-таки постараюсь написать кое-что для особого вещания.

10 декабря 1941

О, как застыли ноги. В квартире — ледяной холод. Мне просто взаправду неудобно перед Хамармером, который сейчас должен приехать ко мне, за то, что он вынужден будет сидеть в таком холоде. Ну, что ж, я предупреждала. Хамармер комиссар одной крупной армии, обороняющей Ленинград. Я два раза выступала у них (где-то на Охте, а немцы в восьми километрах) с бурным успехом. Видимо, я понравилась ему, что ли, а может, и взаправду его тронули мои стихи? Хвалили их тогда необычайно. Ну и вот, сегодня он придет читать мне свой рассказ, и обещал привезти коньяку, и думаю, догадается привезти что-нибудь к нему. Я именно из-за этого и сижу, ничего не делая, в своей чисто прибранной, надушенной комнате, где 2 градуса ниже нуля. Напялила тулуп, одела свою чапаевку, подкрасилась и подпудрилась, при свечке выгляжу даже заманчиво, а утром были опухшие глаза и лицо, — очень плохо едим и очень плохо спала, у Коли три раза были птималь жуткого характера, он чуть не убил меня, шмякнув затылком о комод, и выломал все руки, так что они страшно болят. Я, разумеется, не сказала ему об этом. (Господи, 12 час, а моего комиссара все нет, неужели не может найти дороги в дом?)

11/XII <1941>

Тут как раз на этом месте и пришел мой комиссар, и таким он чудесным дядькой оказался, что сегодня весь день хожу, как ода-ренная.

Совестно, что до тех пор рассматривала его только с той точки зрения, что понадобится, как возможность подкормиться и уехать. Он привез кое-чего, очень скромного: селедок, немного хлеба, ви-нишка, сыру, конфет и сахар, причем счел нужным предупредить, что это не ворованное, а то, что у него самого осталось. Я глухо заговорила об отъезде, он стал говорить — не уезжайте, скоро полегчает с продуктами. Вообще-то у нас успехи — первые успехи за время войны — сегодня взяли Елец, под Тихвином немцам влетело, он мне сказал то же насчет Волхова. Господи, может быть, и верно, немного осталось терпеть. Да, наверное, декабрь последний месяц блокады. Разговор у нас был очень хороший, как между думающими коммунистами, — тот разговор. Есть, есть партия, та, наша партия — ком-

мунистическая. Как бы здорово было вытерпеть все вместе с Ленинградом, вместе с ним подняться на ноги, разбить эту сволочь здесь. Но силы падают катастрофически и у меня, и, главное, у Коли. Вчера весь день слышала, как умирают люди от истощения. А утром была такая страшная слабость, что испугалась ее больше фугаса. Сердце явно срабатывается, руки-ноги дрожат, [стоною] сердце чувствую все время... Колька утром вдруг стал заикаться, еле ходит. Вот хотел сейчас прийти, и не идет. Не упал ли на улице, как уже многие у нас падали и после этого не вставали и умирали.

Надо ехать... Путь по озеру страшит, — в горькоме обещали самолет, но боюсь, что если 14<-го> откажусь от машины, то потом или вдруг изменится ситуация и не придется лететь, или долго будут тянуть, и к этому времени мы оба вытянем ноги и уж не в силах будем ехать...

Хочу до 14<-го> написать рассказ о моем Хамармере, статью для Позы закончить и рассказ для особого вещания. Хорошо бы еще успеть о политорганизаторе дома, как он должен бы был быть, и на прощанье — стишок хороший Ленинградцам. Жаль, что идиоты не дали Дарью Власьевну...

Только что пришел Коля и принес от Е<лены> М<ихайловны> — два куска какого-то кекса, вкуснейшего. Мы тотчас же съели один и оба даже спать захотели. Господи, может, потерпеть: глядишь, то один подбросит, то другой — так и дотерпим до конца блокады? Хотелось бы мне снести кусочек этого кекса и Яшке, голодненькому и злому, и Вере Кетлинской, упрямо остающейся в Ленинграде, и оставить Юрке, который должен скоро приехать, и я хочу его дожидаться... Если мне твердо пообещают самолет — мы не поедим 14<-го>, — это действительно очень трудно и опасно, особенно с Колей, и значит, я дождусь Юрки и мы еще раз попируем у Надьки. Ведь, наверное, он привезет чего-нибудь съестного...

Тьфу, все мысли только об еде... Но проклятая эта ужасающая утренняя слабость! И вот голова болит и слегка ломает, наверное, все же простыла в ледяной этой квартире... Ай, прямо не знаешь, что делать. Нет, пожалуй, все же надо ехать в Архангельск, ведь это же тоже фронт, недаром меня все ругают за то, что туда прусь, только что посытнее...

Ну, надо позвонить Вере и Хамармеру и идти к Молчановым, в их разоренную, сдвинутую квартиру с окнами, выбитыми после

бомбежки, и попробовать поработать, несмотря на ломоту и сонливость после куска кекса.

16/ХІІ-41.

Мы не уехали 14/ХІІ. Это со всех почти сторон к лучшему — мы бы измытарились только, и Колька наверняка погиб бы.

Дорога на Новую Ладугу, как говорят, ужасна. Но ленинградцы идут по ней пешком, с детьми и саночками, падают, умирают, а кто может — идет дальше.

В Ленинграде чудовищный голод. Съедены все кошки и собаки. Ежедневно на улицах падают десятки людей и умирают. Прохожие даже не подбирают их. Позавчера умер наш Фомин, нач^{альник} группы самозащиты нашего дома. Он умер от голода. Его сестра, артистка, пришла ко мне сегодня, угощала нас кофе с толокном и оставила полбутылочки кагора, — умоляя помочь ей достать для Фомина гроб.

Мы уговаривали ее похоронить его без гроба, а просто в саване, и самой лететь с БДТ, но она все умоляла нас и доказывала, что гроб необходим, и говорила, что она отдаст за гроб 400 грамм^{ов} пшена, которые у нее есть... Наконец мы почти убедили ее похоронить Н. Н. без гроба. «Ну, что ж, — сказала она, — может быть, так и надо... А вы все-таки помогите мне сделать гроб, а пшено мы сварим и съедем сами — кашу. Пусть живые кашу едят, живые кашу будут есть»...

Я пошла с ней к нашему дураку-управдому, он был у себя дома и ел оладьи (я заметила у него на столе кусочек мяса), и управдом обещал выдать ей доски из сарая и попросить столяра, живущего в нашем доме, сколотить гроб.

Фомина была счастлива необычайно.

Вот последняя моя [¹ сл. нрзб[>]] работа как комиссара дома. А работала я все время плохо, душой дома не была, — что ж, я ведь делала другое, и делала весьма неплохо, могу сказать это просто и прямо.

Война в Ленинграде всей своей тяжестью легла сейчас на горожан.

Что за ужас наши жилища! Городское хозяйство подалось как-то разом, за последнюю декаду. Горы снега на улицах, не хо-

дят трамваи, порванные снарядами, заиндевевшие провода, тихий-тихий город, только ставенки скрипят, а в жилищах ледяной холод, почти нигде нет света, нет воды. Что у меня за руки, какое грязное лицо и тело — негде и нечем мыться! Чудеснейшие мои волосы стали серыми от копоти — у Молчановых есть буржучка, она дымит жутко — я отвратительно грязна.

Недавно мы были у Мариных, → прощались, думая, что уедем 14/ХІІ. Мы пережили вместе с ними 37 и 38 гг, когда все были запакощены и несправедливо оклеветаны. И вот мы собрались сейчас. Меня душило рыдание. Это отекавшее Волькино лицо, зеленое, обтянутое лицо Маруси, деточки ее, опухшие, с черными пятнами под глазами, одряхлевшее, разбитое лицо Коли... Боже!..

Маруська сказала: «Я поставила себе задачей — не умереть до нового года. Кило крупы нас спасло бы!»

А Хамармер накануне подарил мне 2 баночки консервов, полбутылки портвейна и 2 маленьких брикетика какао, — на отъезд. Один брикетик сразу выклянчил Коля, и мы его съели. Другой я решила отдать Марусе, но сегодня скормила его Коле, — он вчера был совсем плох, и я испугалась, что он умрет, как Фомин...

Маулишка лежит — и я не звоню ей, — чем я могу помочь ей? Отдать от себя и Кольки половину тех крох, которые мы имеем? Это не поможет ей и еще обессилит меня и Кольку. Меня мучит совесть, что мы едим немного лучше, чем Марины, и я лелею мысль, что если послезавтра мы улетим, то я смогу оставить им брикетик пшена, м<ожет> б<ыть>, муки, м<ожет> б<ыть>, даже одну банку консервов — это все-таки кое-что... Ведь мы улетим к еде и сразу, уже в Хвойной, нам дадут поесть, а они останутся тут терпеть до лучших дней. Эти лучшие дни уже не так далеки — но как дожить, КАК ДОЖИТЬ до них?

Я дотянула бы, несмотря на дико возросшую слабость, но Николай не дотянет — это явно.

Он стал уже не только страшен внешне, но жалок внутренне. Он оголодал до потери достоинства почти что. Он падает без сознания. Он как-то особо медлителен стал в движениях. Он ест жадно, широко раскрыв глаза, глотает, не чувствуя вкуса.

Он раздражает меня до острой ненависти к нему, я ору на него, придираюсь к нему, а он кроток, как мама.

Я знаю, что я сука, но ведь и на мне должно было все это сказаться.

Вчера вдруг позвонил Юрка, — он вернулся! Он не поехал в сытый Тихвин, отбитый нами у немцев, чтоб успеть застать меня в Ленинграде, сказать, что по ледяной дороге ехать нельзя, и предложить другой вариант пути — через ВВС Балтфлота. Но, кажется, Союз отправляет нас на самолете послезавтра. Я обрадовалась Юрке, как божьему свету, — настолько, насколько могу еще радоваться теперь.

Он приехал — красивый и здоровый, влюбленный и нежный. Спровоцировал мне валенки, — они промокли, когда он тонул на Ладожском, а потом сильно сели — вот он и отдал их мне, а в Радио сказал, что будто бы их разрезали. Ну, и верно, — так могло быть.

Привез муки, масла, немножко картошки и пшена, а завтра на пр<оспекте> Красных Командиров мы устроим настоящий роскошный пир, — только был бы ключ и вода. А если б еще свет горел — вот была бы роскошь! Я поставлю бутылочку вина, подаренную Хамармером — в дорогу, и, м<ожет> б<ыть>, даже тот кагор, который отдала Фомина за гроб, — если самолет, то обойдемся и без вина, он принесет баночку консервов на похлебку, будет гречневая каша, блины, кофе и даже чуть-чуть шоколаду!..

Это ли не разврат в умирающем от голода Ленинграде!

И я буду ласкать его на прощанье, как могу, дойду до бесстыдства, до мрака...

Я все-таки, наверное, не беременна, т. к. почти у всех баб прекратились менструации — это от голода.

Юрка мой хороший...

А Колю я увезу в Архангельск, положу в госпиталь, он оправится, я ведь люблю-то только его...

Ах, только бы поймать завтра Надьку с ключом!

Я ужасна сейчас. Ничего, завтра вымою волосы, намажусь и буду хороша.

Если б улететь 19<-го> — вот было бы здорово. Надо бы еще сделать Яшке передачу и записаться, — да нет никакой возможности работать...

20/XII-41.

Я и Коля, по сравнению с другими, не должны ни на что жаловаться, в смысле еды, и все же, может быть, мы умрем от истощения. Очень вероятно.

Смерть от истощения, голодная смерть приняла массовый характер в Ленинграде. Умер Леснин, умер зять Эйхенбаума, умер вчера Вася Валов и т. д. Когда идешь по улицам — навстречу все время попадаются люди, везущие на саночках гробы. Труднее всего теперь в Ленинграде достать гроб. Гроб стоит 250 грамм<ов> хлеба, а могила — 2 кило. Сегодня в булочной одна женщина умоляла Колю обменять неск<олько> пачек папирос на мои 250 грамм<ов>, — у нее умерла девочка, дочка, и, чтоб сделать ей гроб, нужны эти 250 грамм<ов>. Колька говорил мне: «Я уж протянул ей кусок, весь, без папирос, но потом подумал: “Но ведь ребенок уже умер, и гроб ему необязателен”». И он не отдал хлеба. И отлично сделал. Мы съели этот хлеб сами. Вот еще завтра обменять бы карточки мои на 1 категорию и получить те 100 грамм<ов> масла, которые давали сегодня по первой категории. Неужели не получу их! Дура застоловой не дала мне их сегодня для обмена, из-за того что в Райсовете не было света! Что за сволочи люди, неужели не понимают, что для человека значат эти 100 гр<аммов> масла! О, какая гнусная бюрократия всплыла сейчас наверх, как она дополнительно к фашистам мучит и тиранит нас! У нас дома лопнули трубы, и жить в нем нельзя будет всю зиму, — и все только из-за того, что какой-то идиот-вождь отдал распоряжение прекратить топку жилого фонда, когда немцы напирали на Волховстрой. За неск<олько> дней без топки 70% жилого фонда вышло из строя. Теперь, если мы не уедем, мы на всю зиму лишены жилища.

Не знаю, уедем ли мы. Эвакуация на самолетах отложена, — налаживается железная дорога. К сожалению, телефонная связь с Хамармером оборвана, из-за артобстрела, и я не знаю, сможет ли он подвезти нас хотя бы до Новой Ладogi, а там бы мы со своими командировками присосались к летчикам, м<ожет> б<ыть>, чуть-чуть подкормились и на их самолетах двинулись бы на Вологду или Архангельск... А вообще все это почти миф. Навряд ли удастся выехать отсюда. Значит — надо держаться, РАБОТАТЬ, поддерживать Колю (а он одержим идеей вылета, его мучит голод, он страшно тяжело переносит холодину и тьму в жилье, там же нельзя жить!). Да, надо жить, пока таскаю ноги. Надо жить. Ведь хорошо и то, что с 5/ХII немец нас не бомбит, а только обстреливает.

Теперь все говорят о людях, падающих на улицах, точь-точь так же, как в сентябре — октябре о бомбах. Страшно, о, страшно! Не-

ужели надо будет пережить смерть Коли от голода и чувствовать свою смерть... О, нет, бомба и снаряд — в сотни раз лучше.

Но — кончено. Не дам сломать себя голоду. Вот сейчас сижу в радио и буду писать спец<иальную> передачу о Рождестве, и для Юрки — новогоднюю сатиру, надо, чтоб была веселая. Но что сказать вымирающему от голода Ленинграду? Я написала хорошую «Дарью Власьевну», это то, что надо, но бюрократы из Смольного не дают ее читать.

Говорят, что скоро будет легче. О, скорее, скорее, пока еще чуть-чуть теплится жизнь! И выдали бы мне завтра карточки и 100 гр<аммов> масла... Ну, пишу.

21/ХІІ-41.

Ну, вот, написала вчера спец-передачу — «Рождественское письмо». Утром перепечатывала, сидя в нежилом своем жилье, при 4° мороза, без воды, окутав ноги тулупом, напялив грязнейшие перчатки. Холод могильный — на улице в 10 раз теплее. Меня занимала, видимо забавляла и поддерживала мысль о том, что я, как совершенный боец, сейчас сижу и работаю хуже, чем в блиндаже, да еще голова кружится, несмотря на то, что мы, надо считать, прекрасно позавтракали: мы съели по 125 грамм<ов> хлеба, выпили по 2 чашки натурального кофе с сахаром и съели по блюдечку фарфеля. Несмотря на это, хотелось есть, а главное — этот убивающий, трупный холод... Но я ожесточилась вчера, точно вчера был какой-то новый этап, и решила, что буду, буду держаться до тех пор, пока не упаду на улице.

И я перепечатывала, одновременно редактируя, свою передачу, с ненавистью самой холодной и расчетливой писала слова любви от германской женщины к германскому солдату — о том, — «помнишь ли ты, как пахло рождественское печенье, помнишь ли, как трещали свечи, излучая домашнее праздничное тепло»... Вот пусть-ка замерзающий и голодный немец послушает об этом! Допустим, этот солдат ни в чем не виноват, — ну, а я виновата? А почти совершенно опустившийся Колька, мучимый голодом, холодом и тьмой, — виноват? Мы воюем, и у нас — увы! — один выход: воевать, пока одна сторона не изойдет кровью и мочою.

Моя передача понравилась Римскому, ее хотят записать на пластинку и потащить на передовые, — как раз туда, где они мерзнут.

Я рада, что смогла преодолеть вечную мысль об еде, раздражительность, страх перед голодной смертью, нервную боязнь за Николая и сделать приличную вещь — подходящую к нормам искусства.

Но это, конечно, пустяк. Надо написать что-либо настоящее, чтоб выступить по радио к полугодю войны, — оно завтра.

Сейчас надо попробовать написать смешную вещь для Юркиной красноармейской газеты, завтра обязательно стихи и выступление для Ленинграда, затем новогоднее сатирическое обозрение...

Завтра с 12 — беготня с карточками (неужели не обменяют и не выдадут разницу по маслу?!), а потом, м<ожет> б<ыть>, потащусь к нач<альнику> П.Ч. ВВС <КИФ?> — насчет отлета в Ладугу... Я бы поехала и вернулась, но Коля, Коля, бедный мой жалкий Коля.....

25/ХІІ-41.

Все-таки, видимо, 27<-го> мы улетаем. О, скорее бы увезти Колю! Утром сегодня у него в парикмахерской <был> большой припадок наяву. Вчера утром он сходил под себя — за большое, не дотерпел. Он живет явно из последних сил. Лучше всего лететь на горкомовском самолете, хотя мне очень хочется, чтоб был вариант с ВВС: полететь на Н<овую> Ладугу к чудеснейшим летным частям, пожить там, на фронте, подожрать, как следует поработать, отписать что надо (хорошо), а потом уж в Архангельск, или, запасшись продуктами, — в Ленинград обратно! Это было бы лучше всего! Но Коля! Ведь он не сможет работать в Нов<ой> Ладуге. Ему трудно будет прожить там дней 8, а потом, — когда-то дотащимся до Архангельска!

А я дожила бы до лучших дней вместе с Ленинградом, если б не он, — даже в таких страшных условиях дожила бы, при такой чудовищной слабости, как теперь у меня. Я работаю — вот что главное. Написан стих «Второе письмо на Каму», и все говорят, что будто бы отличное, хотя оно кажется мне топорным, — но как бы отлично было бы, если б меня выпустили с ними!

Пожалуй, зарежет идиот Бедин.

Третьего дня была в Смольном с партизанами — замечательно интересно, но половины пока писать нельзя!

Сегодня ночевали с Юркой на проспекте Кр<асных> Командиров. Милый он, чудесный, отрадный, хотя часто раздражаюсь

на него. Мало и скупно ласкаю его — стесняюсь истощенного, грязного своего тела, ослабла очень.

Сейчас надо писать очерк о партизане Сазанове, спешно, с его выступлением, — хотелось бы, чтоб получилось, но гнетут сроки, труден отбор (многого нельзя писать).

Попробую сначала писать совершенно свободно, а потом уж придется отбирать.

Как бы только выступление его толково и патетически вкрасить? А тут еще, несмотря на то что хорошо поела утром, — тихонько кружится голова и вроде как подташнивает, — неужели действительно беременна?

Но я сказала себе: «Не умру с голоду, ни за что не умру». Помому, можно тут нервами продержаться — это от самой себя зависит, это не бомба и не снаряд. Не умру — и все! И нет у меня к этому поводов, — я ем очень мало и плохо, но лучше, чем многие другие. Вот вчера, например, мы ели с Юркой гречневую кашу с изюмом (изюм мой, дали в Литфонде, а концентрат его — из Нов<ой> Ладogi) — это было просто упоение, и выпили бутылочку моего розового муската (тоже Литфонд). Из выданного изюма я честно половину скормила Коле, и почти все какао отдала ему, и хлеба ему подсовываю все время больше, чем себе, — совесть тут у меня чиста. Да, сегодня прибавили хлебца, — это отлично. Вечером напеку лепешечек с маслом — себе и Коле, — кто сказал, что я умру от голода? О, только бы Колька продержался, только бы его дотащить до Архангельска и положить в госпиталь. Ведь он у меня главный, самый любимый, и я всем сердцем верна ему, несмотря на Юрку. Я обоим им верна и никого из них не обманываю... Странно, что не ощущаю никакой личной путаницы, и Юра и Коля совмещаются. С Юрой — некий отдых, с Колей — все тяготы — двойные для меня — его болезни и страшной войны...

Юрка только немножко слишком бытовой для любовника и тоже изрядно одержим вопросам еды.

Как жарить лепешки сегодня — блинами жидкими, чтоб их вышло побольше, или погуще? Ну, увижу. Ах, если б еще застоловой дала мне масло.

Ну, надо писать, а то Ходоренко нервничает, — надо выполнить это их задание...

26/XII-41.

Мы должны были лететь завтра, и в самую последнюю минуту, когда уже надо было брать посадочные талоны, — из Смольного звонок — самолет отменен.

Колька очень удручен, он одержим идеей — покинуть Ленинград, и очень томится нашим бытом. И верно, — нам, собственно говоря, негде жить. Квартира наша стала совсем нежилой, и обогреть ее просто нельзя. Отсутствие светá угнетает больше всего. Как-то так выходит, что последние дни в связи с прибавкой хлеба и с тем, что берем хлеб вперед, — едим чуть-чуть попримичнее, а вчера еще из Юркиной муки блинчиков напекла. Но теперь у нас исчерпаны все мобзапасы, даже комиссаровскую баночку шпрот сегодня съели. Коля выклянчил. Мы пообедали, как всегда, очень несытным обедом, а наверху, в комнате, был хлеб за 2 дня, за 28<-e> и 29<-e> (уже!), целых 1100 грамм<ов>, и, когда мы пришли наверх, Коля сказал молящим, немного искусственным голосом: «Лялька, а что, если мы поедем шпрот, я съем одну рыбкину, а остальное ты снесешь своим мальчишкам...» (Думая, что мы сегодня улетаем, я хотела выпить портвейн и съесть эти шпроты с Юркой, на прощанье.) «Ешь, — сказала я, и от бешенства мне свело лицо, — ешь все». — «Что ты сердисься, я ведь просто так». — «Нет, ешь, ешь, раз хочешь», — я говорила как можно ласковее, и мне, верно, становилось его жалко.

Мы ели эти шпроты, резали хлеб и ели, и наелись почти досьта. Ничего, все-таки Коля мой муж.

А утром приходил прощаться Гаршин, друг Ахматовой. Он сильно сдал внешне. Мы сидели в грязной, разбросанной, могильно-холодной комнате, пили отлично сваренный мною (на отлет!) кофе и ели хлеб с маслом, и у нас была от вчерашней выдачи банка, на половину полная повидлом.

Я смутилась, увидев Гаршина, — ведь его надо было угостить, и тотчас сказала: «А мы угостим вас кофе».

- Да неужели угостите, — восторженно сказал он.
- Только, извините, хлеба не дадим, — прибавил Коля.
- Пейте, — сказала я — вот повидло.

— Ах, это радость такая, — сказал он, черная ПОЛНУЮ ЛОЖКУ, — я так счастлив, что есть сладкое... О<льга> Ф<едоровна>, я не пишу А<нне> А<ндреевне>, я не могу. Я все время в таком странном, высоком,

восторженном подъеме духа. Можно, я еще возьму повидло. Знаете, я понял, что русский народ борется со своим врагом! И все этим извиняется и искупается. И он борется замечательно, трагично, прекрасно. Я возьму еще повидло. А еще кофе вы мне дадите? Спасибо, спасибо! Вот я еще понял, — я ем ваши крохи, и ведь мне почти не стыдно, какая радость у меня теперь — принести кусок чего-нибудь съестного своим домашним и отдать им. И я отдаю, и я беру, когда мне дают. Это такое счастье — отдавать пищу и брать ее. Мы так многое поняли, так многому научились теперь. И мне теперь ничего не стыдно.

И пока он говорил, глотая восторженные слезы, я чувствовала так же эти слезы в себе и в Коле, и я отрезала всем нам — и ему тоже, по большому доволно куску хлеба, помазала маслом (его было грамм<ов> 25 на всех) и ему еще помазала повидлом.

Он ел еще повидло, и съел его почти все, и ел Коля, а мне было жалко повидло, и потому я почти не ела его, — съели они...

Хорошо. Да, да, хорошо жить.

Гаршин говорил о том, что, видимо, не вынесет физически, и о том, в каком состоянии счастья пребывает он последнее время, голодая и мерздя¹ с Ленинградом.

О, как знакомо и понятно мне это состояние странного, жгучего, невысказанного счастья, когда ощущаешь, что ты на краю гибели и живешь на этом краю всей жизнью — доброй, щедрой и открытой.

Нет, не объяснить этого никому, — этого ощущения высшей свободы и счастья, — не людской, не бытовой, не уловимой словом свободы ото всего, что не жизнь, не сама жизнь.

Это ощущение высшей свободы я знаю еще по тюрьме, по одиночке № 9, когда, живя вдруг всей жизнью — прошлым, настоящим (кусочек неба над намордником) и будущим, я смеялась от изумленной радости, от сознания полной и абсолютной свободы.

«Ведь этого никто не в силах отнять у меня — меня самое, мою душу, мое желание жить и быть счастливой, то хорошее, что было, — все, что было, — это уже навсегда со мною, и никто не сможет ни отнять, ни присвоить этого...»

Так и теперь. Ничто — ни голод, ни холод, ни немцы — ничто не в силах отнять желания жить и быть счастливой. И я так счаст-

¹ Так в тексте.

лива иногда бываю, — с Юркой на проспекте Кр<асных> Командиров, с Колькой, когда порадую его какой-нибудь едой, кусочком, с Галкой, которая однажды шла к нам с фронта под обстрелом, чтоб принести нам хлеба и сахара, вчера с Гаршиным, который съел почти весь наш декадный запас сладкого.

Лучше, конечно, чтоб была нормальная человеческая жизнь, чтоб всего этого не быдо, чтоб было много еды. О, как исступленно мечтаю я иногда ночью о вкусной еде, о каше, о хлебе. Мы кое-что едим, но все равно этого мало, и после обеда хочется есть еще больше, чем до обеда...

Вот завтра в Союзе дадут 100 грамм<ов> мяса и сколько-то макарон, наверное, грамм<ов> 25>, вечером сварю похлебку, придется для этого идти к Молчановым, к обозленной Линке. Но зато мы поедем вдвоем почти досыта, ну, ей дадим, а у Мариных это совсем неудобно, там вообще никому на зуб не попадет, а варить и есть вдвоем — неудобно, стыдно...

Очерк мой о партизанах идет очень плохо, — мешает, что он — герой — живой человек, что надо писать его выступление, что о 75% самого интересного нельзя (действительно нельзя пока) писать.

Сейчас 8 часов, до 10 я должна закончить его в любом виде, а то неудобно перед Ходоренко, у которого, быть может, придется просить машину, чтоб ехать на аэродром.

Может быть, мы все же поедем в Н<овую> Ладугу к летчикам, а оттуда постараемся пробиться на Вологду...

Ох, ох, как-то я справлюсь со всем этим, — написать, прислать, да еще (прости меня бог!) такая обуза, как полубольной, голодный как зверь — Коля.

Тухнет свет — ну вот и работа! Тьфу!

28.XII-41.

Кажется, мы пиروвали с Юрой на проспекте Кр<асных> Командиров 24/XII. Вчера я узнала, что в этот день в Ленинграде от голода умерло 20801 человек.

Я так отупела от груза ужаса и горя, что не воспринимаю этих ЦИФР. Они доходят до меня лишь через единицы. Вот мы опять ночевали сегодня у Мариных. 9-летний Вадик думает только об еде.

Трехлетняя Галка только и говорит о ней, — но боже мой, как они терпеливы — эти оголодавшие, бредящие едой ребятишки.

Галка говорила: «Мама, а когда мы прогоним немца, мы опять заберем себе все молоко...»

Она попила кофе и поела хлеба, и сразу спросила: «А обед скоро?» — «Скоро». — «А хлеб к обеду будет?...» «Мама, а конфетку ты мне купишь? А пряничек? Когда? Когда мы прогоним немцев». Я сказала: «Вера Кетлинская хочет устроить ребятам елку, чтоб там было хоть по одной конфетке». Галка откликнулась тотчас же: «Нет, надо, чтоб две конфетки было...»

О-ой, какая боль на них глядеть и слушать... Я сегодня едва ли не в первый раз за войну с кровью и болью подумала об Ирочке, как о живой, тоже страдающей вместе с нами, мне на мгновение страшно и больно за нее стало и вдруг — успокоительная мысль: «Да ведь она не испытывает всего этого, — как хорошо...»

...Несмотря на то, что времени оставалось уже совсем немного, районный комитет партии соби<Далее обрыв текста.>¹

¹ Предложение записано на отдельном листе.

ГОД

1942

3/1-1942.

Ну, и нудная жизнь, если только все это можно назвать жизнью. Впрочем, жизнь-то есть, — существованья человеческого нет. Бомбежек нет уже с 5/XII-41, — это прелестно, и последние дни артобстрелов почти нет. Немца помаленьку теснят, но блокада держится упорно, и с продовольствием положение отчаянное. Ленинградцы мрут тысячами, ежедневно. По улице нельзя двух кварталов пройти, чтоб не встретить гроба, а то и так покойников везут, запеленутых. Везут на себе, на саночках. Несут воду в ведерках и бутылках, — в городе нет воды, изредка в нижних этажах. Света почти нигде нет, — ходишь в своем же жилье ощупью, как слепой, поэтому дико кружится голова. Как попадаю в темноту, так начинает кружиться голова. Под глазами столько морщин, что уже никакой крем не помогает. Да и как мазаться — грязные, заросшие руки, — негде и нечем мыть, а вымоешь — через пять минут снова все в грязи от печурки, от прокопченной посуды. Сплю, давно не раздеваясь, под утро вся в липком поту. Сейчас притулились у Пренделей — у них буржучка, не чересчур дымит, и в той комнате, где печурочка, — тепло. Мы спим рядом, в ледяной комнате. Неудобно, все время чинимся с едой, Коля же настолько пал, что не только не отказывается, когда голодные¹ <Далее обрыв текста.>

¹ Запись сделана на обороте машинописного набора стихотворения «Они обрушат страшной силой...» («Марш 1-го гвардейского авиаполка») поэта Н. Брауна.

1942 год. О. Берггольц. 1942 год
О. Берггольц
Выправить
Дневники.
Январь–февраль 1942 г.¹

8 января 1942 г. Хлеб взят уже за 10<-е>.

Третьего дня отвела Колю в военный госпиталь на Песочной улице, по протекции Хамармера. Он не уйдет никуда от страдания, — в первую же ночь он попал в приемный покой, куда прибыли истощенные бойцы, голодные, страшные, и там должен был остаться ночевать, — но по крайней мере он как-нибудь продержится. Там все-таки питание лучше, чем у нас дома. У нас дома просто ужас, — один суп, т. е. почти несоленая вода с каплей перловой крупы, и на второе блюдечко той же перловой крупы. И все. Вчера и сегодня нам не дают даже вечерних наших супов. А в госпитале он хоть и не будет, конечно, сыт до конца (разве теперь чем-нибудь насытишься!), но продержится до 13–18<-го>, а м<ожет> б<ыть>, там будет лучше, или уедем... Хотя я просто уже теряю надежду на улучшение. Хоть бы сладкое-то выдали, — ведь ничего, ничего по карточкам не выдают! Народ мрет, как в страшной сказке.

Вчера с бутылкой портвейна и бидончиком супа из 300 гр<амов> конины я поплелась на Проспект Красных Командиров — на встречу с Юркой.

И с ним у нас радости почти не осталось, — все пожирает голод. Я не знаю, что бы дала, чтоб вернуть сентябрьские — октябрьские дни, когда мы сидели в бомбоубежище, и начинались эти регулярные тревоги с семи с половиной часов, за стенами крякало и грохотало, и стены колебались, и ежеминутно бомба, смерть, могла рухнуть на наш дом, а я сидела очень красивая, с сияющими волосами и алебастровым, жемчужным лицом, в белой своей, так идущей мне кофточке, и он, очень красивый, влюбленный, не сводил с меня влюбленных, чудесных, счастливых своих глаз.

¹ Текст со слов «1942 год» до слов «Январь–февраль 1942 г.» — записи на обложке дневниковой тетради.

Мы были накануне гибели, немцы уже почти брали Ленинград, и мы неминуемо должны были погибнуть, если б они взяли город, — я помню унижительный ужас бомбежек, напряжение во время артобстрела, — но все это кажется сейчас почти счастьем по сравнению с тем, что испытываешь сейчас...

Кажется, 4 ноября, — или, вернее, 8-го — когда я первый раз ждала его на Пр<оспекте> Кр<асных> Ком<андиров> и пережидала там дикую бомбежку в чужом коридоре с чужими старухами, — он шел ко мне сквозь тревогу и бомбежку. Уже было голодно (утешенье-то, что я могу одна съесть всю чечевицу!), но все-таки еще что-то было, было страшно, но радость и жизнь преодолевали это...

И вот — вчерашний мой путь туда. Иду, высоко закинув голову — так легче. Там, где сердце, — нечто вроде больной опухоли, или пустой колбы, на дне которой болтается немножко какой-то жидкости. Но я иду и твержу себе: «Врешь, преувеличиваешь, ничего особенного, портфель вообще тяжелый, взаправду, а не оттого, что ты ослабла. Врешь, ты уже съела сегодня 250 грамм<ов> хлеба, и две тарелочки каши, и суп ела, — нет, сегодня ты еще не умрешь, а вечером ты будешь пить вино, оно высококалорийно, оно тебя поддержит, нет, нет, не сочиняй, все в порядке, ты не умрешь!»

Точь-точь как с бомбой — «почему именно в меня», — так и здесь — «почему именно я?». Но тут тяжелее отделаться от страха смерти, бомба — это внешнее, а слабость — это уж совсем твое, внутреннее.

И вот я шла таким образом, и по дороге навстречу ползли гробы, гробы, в сумерках, из грубых досок, кое-как сколоченные, их везут на саночках.

А еще у нас на детских саночках возят покойников сидя, закутанных, как живых, — не у всех же находятся длинные санки.

У больницы Нечаева, у ворот стояла небольшая кучка людей, — глядели, как у стены лежал мертвый ребенок лет 3–4, его только что положила сюда женщина, а сама ушла. Я постояла, поглядела, послушала, как люди говорили: «А когда она его клала, он ведь еще жив был», — и пошла дальше. Что я могла сделать? На Первой Красноармейской видела, как один гражданин подвел другого к стенке дома, прислонил, — тот, покачиваясь, облокотился на стенку и медленно пополз вниз. Я прошла. Ну, что, что я могу сделать? Отдать этому чужому мне, умирающему от слабости дядьке мой

портвейн? Зачем? Разве это спасет его? Его не спасет, а меня лишит радости, — пусть даже тусклой — встречи с любовником за вином, у печки.

Так я шла на встречу с любовником, шагая через деревянные гробы, мертвых детей, брошенных матерями, и умирающих мужчин у кирпичной стенки.

И он шел ко мне точно так же, — ослабший, боящийся, что откажут ноги (у него стали сильно слабнуть ноги), шагая через гробы и не поднимая падающих от слабости людей.

Мы не в силах помочь им всем, хоть чем-нибудь, их умирают тысячи ежедневно! В Манеже трупы складывают штабелями.

Наш вечер был малорадостен. Вино не принесло опьянения, а только какую-то тяжелую усталость, сонливость. Он говорил о любви, и я тоже, а какие у нас обессилевшие тела, и как он меня раздражал тем, что настаивал, чтоб подбавить воды в похлебку и кофе и не допивать все вино! Он твердил: «Мы должны выжить, мы должны выжить во что бы то ни стало. Ведь мы с тобой еще сохранили человеческий облик, тогда как другие давно его потеряли. Мы должны выжить, потому что именно ты напишешь всю правду об этих ужасных днях, именно ты, и никто больше. Для этого надо выжить, слышишь? И мы будем делать для этого все». Потом, в постели, он еще сказал: «Я говорю тебе, надо выжить, — ведь еще будет маленький...»

Это обожгло меня жизнью, — радостью и благодарностью к нему, и больно стало: а как же Коля? Что ж, значит, я теперь живу (и душою) уже с другим и другой жизнью, а его только волоку и безумно раздражаюсь на него, и с яростью хлещу его по лицу, когда он буйствует во время припадков! Значит, Коля уже не главный, не господин?

Да нет, я люблю его, как раньше, и, может быть, еще больше, но проклятый голод, холод и тьма так стоят между нами, так истязают нас!

Боже мой, какая серая, страшная мука, ей выхода не видно, хоть бы один какой-нибудь конец, только уж конец! А конца не видно, и даже на частичное улучшение я, вместе с другими, теряю надежду. В том смысле, что не дотяну до улучшения...

Вот сегодня, — странно, хлеба съела почти 300 грамм<ов> сразу и гущу с двух супов, и утром кофе пила, и чашечку портвейна, а сонливость и апатия хуже, чем когда ничего утром не ел.

И важнее всего — а вдруг и завтра не достану у спекулянтки сладкого?! О, ужас! Единственно, что держит меня с утра, — это кофе. Пить его без сладкого — неприятно. Но и кофе у меня всего 3 баночки осталось, — правда, если пить одной, то это еще на месяц, а то и полтора. Но я в панике — вдруг не получу у нее сладкого — конфет по 125 р<ублей> за 250 гр<аммов>, которые стоят 5 р<ублей> 20 коп. Придется на рынке обменять на хлеб, а хлеб у меня взят уже за 10<е>. Хотела 10/1 идти к Коле и взять хлеба сразу на два дня, но не выйдет, ну что ж, снесу ему грамм<ов> 300, и если чего возьму у спекулянтки. Только бы было у нее что-нибудь, черт с ними, с деньгами! Продам мамину машинку, Торкино пальто, — все продам, только бы продержаться. Продержать себя и Кольку. Моего Кольку. Вырваться из этой страшной жизни, вновь обрести радость. Ведь будет же когда-нибудь конец всему этому!

Еще надежда, что 10–11<го> вернется из Новой Ладоги Хамармер и возьмет меня к себе в штаб на 2–3 дня. Там у них я подкормлюсь и, м<ожет> б<ыть>, выклянчу что-либо домой.

О, как я все время, все время хочу есть, — это что-то дикое. Последние дни почти не могу работать из-за этого.

И со вчерашнего дня — мечта: мне почему-то страстно хочется в Москву, к Муське, на ее неудобную квартиру, чтоб спать с ней вместе и есть калачи, которые я всегда покупала, когда приезжала к ней, есть, есть и есть калачи, или те черствые булки, которые валялись в буфете, есть калачи, обнимать Муську, лежать с ней, милой, родной, и плакать, плакать, без стыда, без конца, без меры.

Лежа и плача вместе с сестрой, есть калачи; пока не станет туго в горле, пока не насытишься и не обессилишь от слез и сытости.

О, как я хочу на Сивцев Вражек к Муське, к моей Муське, к калачам, к тому, что было.

Как в тюрьме, мне уже кажется все происходящее затянувшимся диким сном, и кажется, надо только сделать усилие — и вот проснешься...

И вместе с тем — масса замыслов, и о многом хочется сказать людям.

Хотя и знаю, что единственное, о чем надо говорить им, — это о том, что война — позор, бесчестие людей, это о том, чтоб уничтожить Третьего, проклятого Третьего (Третий лишний), который стоит между людьми и мешает им жить, и мучит их голодом, бомбами, огнем и стужей.

Хотя я знаю, что только к этому призывать людей — долг Человека и Писателя, но я трезво знаю также, что в этой области ничего не сделать, отклика не найти, голос не поднять.

Значит, в той неправильной жизни надо работать, в которой живешь, отодвинув главное... Война вообще — на все века — позор. Но **мы** — правы.

С колоссальным успехом прошло мое выступление с «Письмами на Каму». Даже в горьком партии взволновались и попросили меня прислать им списки этих стихов, — мол, лучшее за все время войны и т. д.

А если б дали прочитать «Дарью Власьевну»!

Но в той неправильной жизни, которой мы живем, есть такое, о чем надо писать в меру норм, — чтоб дошло. Надо писать о протом человеческом, непобедимом вовеки.

И я хочу написать о Юрке, который шел, обледеневший, замерзающий, через Ладожское озеро, шел и не давал себе умирать, потому что думал, что должен вернуться на пр<оспект> Кр<асных> Командиров, сидеть со мною, привезти нам что-нибудь на пирушку, — перед ним сияла эта чужая, холодная наша комната, и я, и наши вечера. И он дошел до островка и не дал себе умереть. Валенки примерзли к его телу, но он не дал разрезать их, потому что сообразил: «Они сядут, и я отдам их Ольге».

Тут дело не во мне, разумеется.

Юра просит написать стихи о несущих человеческую эстафету, — так ведь это о нем и надо писать!

Надо еще написать стихи о Хамармере и рассказ о нем. Стихи с человеческой правдой — «мне тоже страшно» (руководителю!) и теоретической ложью, — о том страшном бремени ответственности за других, которое берет на себя партия — в данном случае один из ее членов, — большевик.

Большевик (если это вообще реальная человеческая категория) это именно тот, кто берется отвечать за других.

— Я знаю дорогу, — сказал комиссар,

— я здешний! Я вас проведу!

Сегодня целый день строчу эти листки и не работаю. А надо бы закончить фельетон «Фюрер гадает» и подправить «О чертях», чтоб

было с чем тащиться к Мельнику и просить его отправить меня и Колю на Ладогу, а оттуда на Вологду, — чтоб вырваться из Ленинграда. Да, да, надо вырваться из Ленинграда. Вдруг минутами доходит до сознания — до чего он страшен. Это же мертвый, полуобмерший город, кругом трупы, они множатся, они обступают меня.

10/1.

Ночевала с 8<-го> на 9<-е> у Мариных. Ночью лежали с Маруськой и говорили об ужасе, в котором живем, при этом я говорила с абсолютным внутренним равнодушием, — а утро началось так: была тетка из штаба П<убличной> Б<иблиотеки> и сказала — доложила Вольке, как начштаба:

— Т<оварищ> Марин, в подъезде найден труп, что с ним делать? В бомбоубежище умер сотрудник Айзик, — пошлите мужчин — вынести его в читальный зал.

— Ладно, я распоряджусь, — угрюмо сказал распухший Волька. — А отбыли или нет на трудповинность на Охтенское кладбище? Должны были четверо поехать.

— Ушли, — ответила она. — На чем же ехать...

У нас теперь новый вид трудповинности — уже не рыть противотанковые рвы и не строить баррикады, — а закапывать мертвецов.

Вместе со щемящей жалостью и любовью к городу у меня уже рождается отвращение к нему и ужас перед ним. Уходя от Мариных, я видела труп в подъезде. Это был мужчина, лицо у него было зеленовато-бледное, изможденное. Он лежал на спине. Я вдруг подумала, что вот и Колька мог бы так умереть, — зайти в чужой подъезд, упасть на спину и умереть, и утром его назвали бы «трупом»... Но теперь, видимо, он спасен.

Надо продержатъ его в госпитале как можно дольше, — только бы поскорее приехал Хамармер. Он-то отдаст распоряжение, чтоб его там подержали подольше, а я в это время проверчусь на его и моей карточке, да вот еще Юра едет за кольцо и оставляет мне свою карточку I кат<егории> — это 350 гр<аммов> хлеба и обед — вернее, ужин мне и Коле — из Союза! Отлично! А если я еще поеду к Хамармеру — опять будет там приличная еда, и, м<ожет> б<ыть>, чего-нибудь подбросят, или отоварят мои кондитерские и хлебные карточки. А кроме того, мне из райкома выдали 3 кило, целых три

кило отличных отрубей, и банку зеленого горошка, правда, отрубей я уже поела сегодня — и сыром, прямо ложкой из мешка, и сварила каши, и вечером буду варить густую кашу, и даже печь лепешки для пирушки с Юркой, но ничего, там, в наволочке — еще много осталось. Ох, какая я жадная стала, — ем — и жалко пищи, которую «трачу», жалко, что ее уменьшается — просто сердце болит. Но я утешаю себя тем, что ведь это я ем, это в меня идет...

Но сегодня я уже пободрее, хотя сильно опухло лицо, особенно глаза, — противные старческие мешки под глазами, — просто лярва. Но все же я пободрее, и уже ясно, что выживу, выживу, но все же надо вырваться и уехать из Ленинграда. Правда, теперь я буду жить на радио, и можно ночевать у Мариных, и здесь, на Юркиной кровати, в общем, можно повертеться, и ведь должно же в конце концов полегчать в Ленинграде! Но я устаю уже вся, все тянется к нормальной жизни без бомбежек, обстрелов, унижительного голода, этой дикой жизни с заросшим дерьмом сортиром... о-ох, как это ужасно.

А ощущение себя людоедом, сволочью — перед гибнущими от голода детьми! О, Марусины дети, Галка, говорившая сегодня: «Немцы у нас все булки украли, вот мы их прогоним, а булки спрячем в чемодан, — они их и не украдут больше, верно!» Я отнесла им грамм<ов> 500 томатного сока, а ведь надо бы весь отдать. Но ведь Коле тоже нужно, и Юрке, да и мне, — господи, ведь сама-то я хочу жить и должна жить!..

11/1-42.

Сию в госпитале, у постели Кольки. Очень холодно, почти как у нас в квартире, темно, на столике передо мной коптилка. У Кольки — статус-эпилепсия. Оказывается, уже сутки он в состоянии припадка. Когда я пришла, он выкрикивал диким голосом разные вещи насчет того, что мы в плену у Гитлера, что кругом гитлеровцы, что они погубили Россию: «Лешка, подойди к окну и крикни — русский народ, разбегайся». Он был крепко-накрепко привязан веревками к носилкам, руки и ноги — связаны простынями. Когда я давала ему судно — обнаружила, что весь с ног до головы в моче. А какие у него стали ноги, я не видела его раздетым не менее 2^х месяцев, — боже, это ужас какой-то, — зеленоватые, тощие, одни кости. (Неужели уснул, молчит...) Даже не отчаяние владеет мною, а какая-то тупость охва-

тила. Он узнал меня сразу, сквозь совершенно помраченное сознание, страшный психопатический бред о германском плене (нет, не спит, наверное, сейчас опять начнет психовать). Кормлю его сахаром, чистым сахаром, о котором истерически мечтаю сама, — боже, 2 чашки моего кофе с чистым сахаром, да если еще внакладку, — это же предел желаний. Я обнаружила у него в бумажке несколько крупных кусочков сахара, — наверное, для меня экономил, солнце мое. Я десять раз заворачивала его в бумажку, любовалась и мечтала, как завтра буду на радио пить с ним кофе, но вот, почти весь скормила. Я боюсь, что в таком состоянии истощения, в котором он сейчас, он не вытянет. Ничего, я, м<ожет> б<ыть>, достану сахару у спекулянтки и, кроме того, все-таки взяла кусочек и утром из его пайка возьму, — если он весь не съест. (Идиотки-сестры шлепают через палату, не закрывают двери... вот опять кто-то лезет, ка<кой> сон, твою мать, не дадут ему уснуть, а он явно засыпает...) Это хорошо, что он поел сахару, он не стал ужинать, выплевывал суп и кричал, что это германский эрзац, и я съела его суп и выпила какао и съела киселек, — все довольно пресное, но мы так дома есть совершенно не можем. В этом госпитале прилично кормят, — это хорошо. Как-то кормят в психиатрическом, куда его завтра собираются перевести. Наверное, гораздо хуже. Ведь это госпиталь хамармеровский, 42 армии, а те — общие, хотя и военные. А если еще его ушлют на Удельную, как же я буду ходить туда.

Вдруг дали воду (госпиталь без электричества, без воды, с буржуйками вместо тепла), и она журчит и не дает ему заснуть...

О, боже, боже, какая мука... И для него, и еще больше — для меня. Раз уж война и весь этот кошмар, то, может быть, ему лучше умереть, — ведь сейчас умирают миллионы и миллионы.

Вот он опять связан, кричит на весь госпиталь и не спит. Давала и люминал, и валерьянку с бромом — не помогает.

Мгновениями я ненавижу его до убийства. Он все бредит насчет того, как меня будут насиловать фашисты. Лепечет: «Лешенька, тяжело будет, разлучат». Или безобразно матюгается. Я хочу в дом радио, у меня там месячка, я сварила бы себе каши с горчичным маслом, у меня там много еды. Я съела сегодня почти кило хлеба и голоднее, чем обычно.

И еще вчера ночью был такой подъем духа. Наметили с Юркой и Яшей ряд интересных передач, я закончила фельетон — удачный, наметила поэму — от сердца, договорилась об очерке о партизанах, и захотелось писать, написать рассказ о детях-партизанах, мечтала

о работе и отдыхе у Хамармера, и получив через райком целый мешок (3 кило) месячки, — мы на радио с Юрой варили кашу, пекли лепешки и ели, ели, и никак не могли насытиться, ругались из-за ерунды, потом говорили втроем — я, он и Яшка, о планах — гл<авным> образом моей¹, и я так здорово устроена теперь — в общежитии радио и с Юркиной карточкой. И так много работы, и уже ясно, что через 2–3 <недели/месяца?> блокада будет ликвидирована, и я дождусь ее конца, и выживу, и Коля выживет, — он в хорошем госпитале, и Юрка выживет, он поехал за кольцо, к Федюнинскому.

Он будет там питаться, привезет нам продуктов, а на Ладожском озере, которое дико бомбят немцы, он не погибнет — этого просто не может быть... (Когда же Коля изнеможет и заснет? Он умоляет меня развязать его, нежно прощается со мною.) О, боже, это мой Коля, моя вся жизнь, это человек, которому я не знаю подобного по великой душевной чистоте и блестящему уму... А может, и верно — это последние наши минуты вместе и потом я буду искать его так же, как Ирку.

Странное спокойствие вдруг охватило меня — ничего, обойдется. Должна же пройти эта чудовищная ночь. Будет же конец — какой-нибудь. Я не спала вчера — от нервного, счастливого возбуждения, не сплю сегодня — завтра повезу его в психиатричку, голодная, — может, свалюсь — вот и хорошо.

О, как он просит меня развязать ему руки, — страдалец мой, все сердце изорвалось за него.

А развяжешь — не справишься, он будет раздеваться в этой ледяной комнате, схватит еще воспаление легких.

О, боже, боже, может, вспомнишь,
Почем нас в люди отпускал!

12/1-42.

Почти не спала. Коля все кричал и умолял развязать ему руки, и однажды с непередаваемой мольбой крикнул: «Развяжи, Оленька... матушка... ХРИСТА РАДИ! ХРИСТА РАДИ!»... Точь-в-точь так же кричала Ирка в предсмертной муке, умоляя «попить» и дать камфоры, и закричала с дикой мольбой: «Мамочка, дай камфоры — Христа ради», — на той же

¹ Одно слово пропущено. Возможно, речь идет о книге «Говорит Ленинград».

Песочной улице, только в другом ее конце, куда я ошибочно привела Колю, думая почему-то, что именно там должен быть и его госпиталь...

Вздор! Он поправится. Он будет еще очень красивым, очень смелым, с изумительным его, покоряюще-добрым лицом, я просто нагоняю на себя мрак — не сметь, не сметь, — я знаю, что так будет, как знала в тюрьме, что вернусь в свою квартиру.

Я знаю, что он не погибнет, и потому оставила его на попечение добрых людей в больнице, и не осталась с ним больше сама. Да и то, — я не спала уже 2 суток, изголодалась. Правда, обслуживающий персонал выкрал для меня тарелку супа, половину я скормила Коле, — но что было бы дальше? А главное — мое пребывание с ним там — почти бесполезно. Солдат Жеребцов покормит его, его довезут на саночках до больницы, поместят в военный психиатрический госпиталь, ему уже вытребован аттестат, — ведь я ничего больше, чем там, дать ему не могу. Ну, месячка, — ее еще много, но я уже с ужасом думаю о том, что она кончится, ну, банка горошку, — ну, Юркин хлеб... нет, все-таки это не хуже госпиталя... Но где жить... И — о! Я так устала...

Ничего, кажется, завтра я еду к Хамармеру, — утром узнаю, как Коля, оттуда постараюсь связаться, запастись хлебом, наделаю сухарей, он за это время очухается в психиатричке, я приведу его оттуда, поселю у Мариных (ничего, если немного придется делиться) или у Линки, наменяю на хлеб свечей, с дымом что-нибудь сделаем...

Эти дни он как-нибудь проживет для меня.

...Я мерзла до детского плача возле него и уходила греться в общую палату. Там едва светила коптилка, скученные постели, кто-то спит на стульях, у коптилки две молоденькие санитарки. Я жалобилась им с [отчето] оттенком какой-то фальши, и упала головой около коптилки и уснула, — а из морозной комнаты Коля кричал: «Оля! Оля! Ты дура, Оля, ты среди врагов, среди гитлеровцев, сейчас они будут тебя насиловать...»

Я не шла к нему, — не могла, — какой он мучитель, какой палач, несчастный мой Коля, как я ненавижу его — до крика и люблю всей кровью. И я не шла, а когда он затихал — обмирала — «умер», — натыкаясь на вещи, бежала к нему, — но он даже не спал, он абсолютно не спал, как Ирка и Майка перед смертью, — и, увидев меня, — бормотал все то же.

И я шла обратно в палату — греться, но и в палате стало под утро очень холодно, и в 4 утра у печурки собрались страшные

бойцы, — истощенцы, щеки, впавшие вороночкой, и острые виски — стали раздувать печурку, солдат с усами, отекавший, задыхаясь, таскал воду в бачок на буржуйку, — я села рядом с ними, полураздетыми, в накинутых шинелях, почти крича от холода, но печурочка скоро раскалилась докрасна, я уснула, облокотясь на подоконник, кому-то мешала, но кто-то сказал: «Не видите, женщина спит, всю ночь с мужем возилась...»

Потом стало рассветать, Колю перенесли в общую палату, он лепетал о немцах еще настойчиво, но уже тихо, пили чай, один истощенец играл на гармошке, и потом я читала стихи — «Письма на Каму», «Дарью Вл<асьевну>».

Как я читала после этой ночи, — сердцем, и хорошо они слушали, и потом стали называть «Ольга Федоровна», и надавали писем к родным, — на Ленинград, — боятся, не умерли ли, — не приходят к ним...

Ничего печальнее этого утра, этого госпиталя за время войны я еще не видала...

13/1-42.

Звонила в госпиталь — Коля еще там, сказали — в том же состоянии. Я не пошла туда, и это мучит меня непередаваемо. Но этот длинный, длинный путь до госпиталя по 30° морозу, и эта мука рядом с ним, — господи, я же сама больна истерией, ведь я два раза хлестала его по лицу, в ярости, — больного-то, за то, что он орал и бесчинствовал... Ему нужен — немедленно хлоралгидрат, нужны сердечные (хотя вчера сердце работало хорошо). Нач<альник> госпиталя хочет поскорее отправить его, но не могут вызвать районного психиатра. Господи, в конце концов с людьми же он, и ему так сочувствуют...

Но мне надо было бы наварить ему мясочки, забрать томатный сок и горошек и идти туда, взять еще хлеба и не съедать эти две котлетки, и все снести туда и кормить его. Но я думала, что сегодня утром его переведут и я со всем этим пойду уже в ту больницу, где он будет.

Я так и сделаю, как только его переведут. Я пойду к Лизунову, буду унижаться, но выклянчу еще 2 кило к его приходу. Мне приходится есть эту мясочку, — в столовой теперь не дают нам вечерних супов. Ведь я тоже должна держаться.

Я думаю только о Кольке и люблю только его, тоскую о нем дико и плачу сегодня весь день — прямо на людях, и все время хочется плакать, плакать и плакать, а за все время войны ни одной слезы не уронила..

Выдержит ли он этот приступ? Справится ли его истощенный организм с ним?.

Господи, ведь совсем уже, кажется, немного терпеть осталось. Блокада вот-вот будет ликвидирована, — немцев истребляют и на Мге, и в других местах. Попков говорил, что на днях обеспечат продовольствием. О, только бы Колька выжил, мы устроимся у Линки, я выклянчу месячки у Лизунова, у нас будет много хлеба, пока не придет Юрка, а там будем все понемножку приходить в себя.

Приедет или нет сегодня Хамармер за мною, — он обещал приехать после 5, сейчас уже седьмой.

Нет, не так я делаю, подло я поступаю, — еду в штаб, на еду, на тепло, а Кольку оставляю одного, безумного и несчастного. И всю войну бегала от него, — он говорил: «У меня все дни проходят в том, что я жду тебя». А я торчала в радио, в то время, когда бомбили город, я была влюблена в Юрку..

Но ведь для него я делала все и ни на йоту не лишала его ни любви, ни заботы, ни страсти... Мало бывала с ним, — но ведь я работала все время, я ведь не только из-за Юрки. Ах, да что там говорить! Сука я и сволочь...

Он выживет. Он должен выжить. Я возьму все, что мною недодавалось.

Я буду нахальной у Хамармера и выклянчу кое-что, все, что могу. Только бы он заехал за мною. Может, он уже пришел и ищет меня где-нибудь внизу...

Нет, еще не приходил. Ну, ладно, если не придет, — в 10 ч<асов> я пойду вниз, наварю себе месячки и, м<ожет> б<ыть>, сжарю из нее же лепешку, — только ее у меня с собой маловато. Ну, ничего, я сделаю не кашу, а супец. Уж все равно, вся морда опухла и отекала.

Нет! Коля выдержит. Я возьму ему все свое раздражение, все, все... Если Хамармер не придет за мной — завтра пойду туда, к нему.

А сейчас попробую работать. «Письма на Каму» вызвали очень большой резонанс среди тех, кто их слушал. Я получила трогательнейшее письмо от одного комрата с фронта, с просьбой прислать текст, и еще одно такое же письмо, и т. д., и т. д.

Я хочу написать нечто вроде поэмы — обо всем, о человеческой эстафете, о ленинградцах, — с Юрой и с Колей, и ее буду читать к концу блокады. Я хочу написать ее всей кровью, — м<ожет> б<ыть>, это будет последняя моя вещь.

Яшка сказал: «Если такое положение, как сейчас, продлится еще 2–3 недели, мы должны будем все застрелиться». Конечно. Вчера вечером, когда во всем доме радио потух свет, — пошла в сортир и заблудилась, когда шла обратно. В диком холоде и темноте я тыкалась по каким-то комнатам, на шаривала и открывала какие-то двери, нащупывала лампы, столы, шла дальше, опять ударялась в стенку, и ну ни щелочки, ни огонька, — просто ужас. Наконец, я стала кричать: «Товарищи, я заблудилась». Кричала довольно долго, — шел Ходоренко, услышал, чиркнул спичку, и я увидела, что я почти у двери нашего общежития...

Семь часов, Хамармера еще нет, выключили электричество — неужели не придется варить месятку и жарить лепешку, — или только в печурке месятку, — тут, при всех...

Ну, попробую работать...

А Колька лежит в морозной темной палате и бредит германским пленом... О-о...

14/1-42

Хамармер не приехал за мною сегодня, и вчера тоже. В 12 часов сегодня пошла к Коле.

Без рыдания не могу представить его лица, а оно со мной неотступно. Он за день, который я не была у него, истаял, обуглился, изменился — непередаваемо.

Коля, мой Коля, на что он только похож! Это в полном смысле слова выходец с того света.

Боже, неужели умирает, хотя идиот-врач говорил, что будто бы угрозы жизни нет.

Неправда, — он умирает, а я не могу себя заставить провести с ним его последние минуты.

Я бегу от него, потому что мне кажется, что если не видеть его, то ЭТО скорее пройдет, ЭТО, не настоящее, смрадное... Я бегу от него, потому что не в силах выносить его — идиота, с тупым взглядом, не слушающего меня, ничего не понимающего, — я с яростью,

не владея собой, укусила его за опухшую больную руку, потому что он мешал мне кормить его...

НЕТ, ВРЕШЬ, ОН НЕ ПОГИБНЕТ.

БОЛЬШЕ Я НИЧЕГО НЕ В СИЛАХ СДЕЛАТЬ ДЛЯ НЕГО. Я НЕ МОГУ ЕГО ВЗЯТЬ ОТТУДА, — МНЕ НЕКУДА ЕГО ВЗЯТЬ, и кормить его так, как кормят его в госпитале, — я не в состоянии. Даже у спекулянтки ничего нет. Сидеть рядом с ним и мучиться, глядя на него, — нет! Лучше мучиться здесь, в радио, и, мучась и глуша муку, — писать никому не нужный дневник и еще менее нужный очерк о партизанах.

Он все равно ничего не понимает.

НЕТ! Он не умрет, его завтра свезут в психиатричку, там ему окажут необходимую помощь. Если его не отвезут сегодня вечером или завтра утром, я опять пойду туда, снесу ему обе порции колбасы и остатки томатного сока (все, что я могу!), и хлебца (хлеб у нас в столовой — чудесный) и буду сопровождать его до больницы.

Ничего, что Хамармер не приехал за мною, — надо сначала устроить Колю. Не позвонить ли Гришкевичу в Смольный — попросить насчет Свердловки, если там есть специальное психоневрологическое отделение? Ведь не устроят, гады...

Я опухла до безобразия, все время хочу мочиться, недержание мочи абсолютное, от месячки пучит.

Я была у Лизунова за месячкой 9/1, сегодня 14<-е>, пойду еще числа 17<-го>, если не уеду к Хамармеру...

Завтра пойду к спекулянтке, если у нее что будет, возьму все, что будет, потом отнесу письма красноармейцев, хотя это лишнее хождение, а ноги уже плохи, потом буду звонить в госпиталь, потом, если надо, пойду туда, — ах, господи, еще Юркины карточки прикрепить...

Ну, скоро погасят огонь — на работу еще полтора часа. М<ожет> б<ыть>, съем месячку, сваренную на завтра.

А Коля, а Коля, а Коля...

О, пытка... Все разы шла из госпиталя во время обстрела, ложились где-то не очень далеко, и так было все равно, и даже хотелось [бы], чтоб хлопнуло — вот решение всех вопросов....

14/1-42.

О, Коля, сердце мое, неужели ты погибаешь? Твое сегодняшнее лицо стоит передо мною неотрывно, чужое, страшное, безумное, исхудавшее лицо.

Оно страшнее той дикой, ледяной ночи, которую я провела с тобою 11 января. Я не в силах была остаться рядом с тобою — я начинаю сама сходить с ума, я изнемогаю от сознания своего бессилия перед снедающей тебя болезнью, — быть рядом с тобой, ничем тебе не помогая, а только слушать твой бред и глядеть в твое лицо — нет, я не могу, это гибель и мне и тебе.

Солнце и жизнь моя, единственный мой свет, что я могу еще сделать для тебя, кроме того, что делаю? Ничего! Ничего.

Да еще эта проклятая мертвая бюрократическая машина, из-за которой тебя до сих пор не могут отправить туда, где бы тебе могли оказать реальную помощь.

Завтра буду звонить Никитскому, буду звонить в Смольный, — звонила Хамармеру, но Охта не работает уже второй день... Ленинград, блокада, развалившаяся жизнь города душит нас с тобой своими чудовищными обломками.

Радость моя и жизнь, и гордость, если ты погибаешь, я хочу погибнуть с тобою.

Вот я оставила тебя на попечение добрых людей, сама сижу на радио и что-то пишу, пытаюсь вынырнуть из бездны ужаса и смерти, куда меня и тебя тянет.

Или мне надо сидеть над нею, над твоим безумным, страшным лицом?

Но мы оба должны выжить. Я только истерзаюсь рядом с тобою, только потеряю последние силы, нужные для тебя, — и все. И все, что будет в результате.

Даже если это твои последние часы на земле... Нет! Не может этого быть! Инстинкт подсказывает мне правильно, — мне нужно сбегать, выжить, потому что нужно вытащить тебя, а если ты погибнешь — я жить перестану. Даже не умерев, — перестану существовать. Боюсь, что не хватит сил покончить с собою. Ну, умру так...

О, боже мой... О, что же делать, что делать, как поскорее помочь тебе.

Держись! Держись, не умирай до завтра! Завтра уже тебя перевезут в специальную больницу и сразу окажут помощь...

Держись! Ничего, я вытащу тебя. Я буду клянчить пищу у кого попало, покупать у спекулянтов — и бешено работать, чтоб иметь деньги, мы устроимся у Линки, и, господи, — ведь скоро конец блокады!

Скоро мы вздохнем с пищей... Но все равно, — мы уедем отдыхать, мы уедем в глубокий тыл, к маме, к хлебу, к тишине... Держись! Держись еще немного, мой единственный, мое счастье, изумительный мой, лучший в мире человек!

Держись! Скорее бы утро, чтоб узнать, что ты жив, и начать что-то делать для тебя.

А я должна писать. Я должна что-то делать, чтоб выжить, чтоб не сойти с ума, не лечь...

Потом, потом, если ты погибнешь — я лягу. Но мы должны выжить, и я буду писать — работать, потому что иначе — смерть.

15/1-42.

Коля жив. Еще не переведен в психиатричку, — но я теперь даже думаю, что, может, лучше, — все равно, здесь неплохое питание, и волей-неволей они вынуждены держать при нем отдельного человека, как при психическом больном, а в психиатрическом-то все такие, все психи, там уход будет явно хуже. Вот только что специальной помощи ему не оказывают, — но папа говорит, что то, что они ему дают, — все-таки поддержка.

А сегодня у меня — большая радость. Письмо и посылка от Муськи! Господи, там такие вещи, что я боюсь к ним притронуться: черная икра, балык, баночка сливочного масла (не менее 400 грамм<ов>), сахарный песок — тоже 400 гр<аммов>, бутылка коньяку, чай, бутылочка ароматного подсолнечного масла и, наверное, кило 2 муки! Да, еще было 600 грамм<ов> чудеснейшего печенья, облитого шоколадом, но я кинулась на него и сожрала почти все. Там осталось штук 13, больших — это Коле, Коле! Как только его переведут, я буду бегать к нему и кормить его, чтоб он съедал это при мне, и рыбий жир — ему, и икру, и балык — я возьму себе чуточку, и разве только половину сливочного масла. Ух, каких я бутербродов ему наделаю, — боже мой, только бы поскорее он пришел в себя, только бы выдержало его сердце.

Это даже отлично, что в столовой сегодня не было хлеба, — значит, у меня будет взято только за один день вперед и можно перед

отъездом к Хамармеру взять за целых два дня и снабдить его — он уже будет несколько в сознании — психи у него не утащат. А муку я буду экономить, и подсолнечное масло тоже, — придет, таких блинов ему напекую! Устроимся у Линки, ничего. Теперь-то продержимся, еще буду клянчить месятки у Лизунова, да Вера чего-нибудь выклянчит у Левина, а там, м<ожет> б<ыть>, и оправдаются обещания идиота Попкова.

Я заперлась у Юрки в комнате — и так пиновала, — напекла себе блинов и ела их с постным маслом и пила кофе внакладку, — боже, как вкусно!

У меня морда опухшая, вся в отеках, — я безобразна до предела. Хамармер испугается просто. Черт со всеми — лишь бы выжил Коля, мой Коля.

Поев хорошей еды, вдруг обрела уверенность в благополучном исходе своих бедствий. Захотелось работать. Даже навязанный очерк о лыжах стал проступать. Но вот, кажется, гасят свет — эх, незадача.

Ну, завтра будет меньше хлопот с едой, — сделаю оба партизанские очерка. Сволочь Яшка, маринует мои фельетоны о Гитлере, — а они хорошие.

О, только бы продержался Колька! Я подготовлю к его выходу мобзапасы и жилье, даже куплю новую печурку и дров, чтоб та не дымила, и наменяю свечей. А днем мы будем размаскироваться.

15/1-42.

Ну, кажется, и мой предел подходит. Опухла до безобразия, несмотря на то, что вчера ела по-царски, и — свинья, свинья, — съела все печенье, присланное Муськой, не оставив Кольке, а оно чудесное. Ничего, ему будет рыбий жир, и всю икру отдам, и почти весь балык, и схвачу что-нибудь у Хамармера. Ведь он получает сахар, и масло, и белый хлеб, а я — нет.

Голова тяжелая и опухшая, дышать трудно, под глазами висят веки.

Звонила в госпиталь — Колю перевезли во 2 психиатрическую. Если в воен<ное> отд<еление> — то и совсем хорошо, и надо его держать там как можно дольше, тем более что там работает Юрка Прендель. Сестра говорила, что сегодня он уже более-менее в сознании...

Выживет, выживет. Только б мне выклянчить у Лизунова еще месячки. Не пойти ли туда завтра.

Сейчас все-таки буду работать. Возьму на машинку очерк «Лыжи», — Яшке он нужен, и я все-таки кое-что нашла, чтоб сделать из этого [рассказа] бросового материала — нечто, не знаю, понравится ли в штабе, — кажется, излишне тонко.

Ну, вот, сейчас семь, до 9 поработаю, а потом буду стряпать — варить месячку и испеку немножко оладьев.

Как жалко тратить еду, надо бы тянуть ее и есть понемножку, но я не в силах делать этого. Вот сожрала сейчас 2 бутерброда с балыком и корочку с маслом, — до чего хорошо и как мало, — и ведь, главное, — кончится это и больше его не будет!

Но спекулянтка обещала завтра достать литр чистого подсолнечного масла, — обязательно возьму, а А. О. отдам только 250 гр<аммов>, а может, и не отдам. И если еще 2 кило месячки будет — у, мы с Колей продержимся целую неделю!..

Ну, работаю...

18/1-42.

Я живу сегодня, как в раю: у Хамармера. Я целый день одна, — в теплой комнате со светом и с водой, и сижу не в пальто, а в белой своей кофточке, — увы, она опять подзавозилась и села после стирки, но это лучше, чем моя грязная красная пижама. Как жаль, что я так безобразна, — очень опухло лицо, не подкрашены, как следует, брови, и даже пудру забыла. И живот безобразно вздутый, — уж, верно, — не беременна ли?

Кормят ничего, — а вчера ужин с Хамармером был просто не блокадный, — стакан вина, который почему-то не произвел на меня ни малейшего действия, омлет, каша со сливочным маслом, стакан какао с сахаром и много отличного хлеба. Хамармер — прелесть. Жаль, что я так безобразна и, видимо, жалка от голода, — он явно тяготеет ко мне, надо покрутить, — тем более что нравится он мне немислимо, просто влюблена, — пусть это будет молниеносный роман периода голода.

Да, надо быть посмелей, — вот он вчера перед сном отечески поцеловал меня, а мне и надо было быть посмелее, — ведь и на самом деле сердце-то екнуло.

Между прочим, питаться дома сейчас я могла бы даже лучше, чем здесь: вчера, получив в слезе обед — две тарелки мучного супа, две столовых ложки каши и кусочек селедки, — я пришла в ужас (это все, что нам дают в Слезе на весь день, двоим, — а Кольке один иждивенческий суп) — побежала к спекулянтке и купила у нее 2 кило мяса по 550 руб. — итого 1150, плюс 300 грамм<ов> эрзадного масла, — 140 и 500 гр<аммов> дурандовых конфет за 275 р<ублей>, истратив, таким образом, — 1500 руб. из эвакофонда, — осталось у меня 1860 + 45 = 2005¹ руб., да 100 из них я должна Жене...

Конфеты съела почти все, во всяком случае половину. Ожидая Хамармеровской машины, — съела бутерброд с икрой, два с балыком, 2 с маслом (из Муськиной посылки), — и сразу ударило в сон. Жаль еды невысказанно, — но ведь надо же ее есть, а если буду принимать по капле, тянуть, то не поддерживаться буду, а слабнуть. А чувствую я себя уже на грани падежа, — увы, это так. Мало того, что опухла и мочусь, как проклятая, и кашель этот — явно отечного, сердечного происхождения, и двигаться все труднее и труднее, и одышка, и голова (затылок) как будто водою налиты. Не замечать всего этого, надменно пренебрегать, как до сих пор, — уже не в силах. Оно — налицо, голодное истощение, хотя ем лучше многих, но это «лучше» — все равно ужас, крохи, и на 90% — непитательный суррогат, только мучительно пучающий живот, вызывающий непрерывные, отвратительные газы.

Значит, надо выворачиваться, спасаться, — тянуть дальше нельзя, если хочу выжить в море бушующего голода и смерти.

А смерть и голод именно бушуют. На Охтенском кладбище могилы роют экскаватором, в виде траншей, покойники там сложены штабелями, как дрова.

Это ощущение повальных смертей — в сотни раз ужаснее и неотвратимее, чем смерти от бомбежек. Как волны, кидается на тебя смерть, ты чувствуешь ее в самом себе, — надо устоять, надо устоять.

И я бросилась за мясом, за эрзацами, — чтоб было что-либо на завтра. Но вот досада, — придется есть это почти одной, без Коли, не может же мясо, даже в нашей холодной квартире, лежать 3 недели, а Юрка Прендель говорит, что он должен пробыть в боль-

¹ Так в тексте.

нице недели 2–3. Колька попал на отделение к Пренделю, во вторую психиатрическую, в военное отделение. Пока я здесь, надо добиться, чтоб его оттуда не переводили на гражданское, на военном кормят получше, а я буду ему еще кое-чего подносить. Там холодно и темно, — ну, а где я ему устрою лучше? У Мариных? Но там голодные ребяташки, и есть при них, не делаясь, — мучительно. Пусть уж пока торчит там, — он почти пришел в себя, Юрка говорит, что физически он — ничего, но психически неважно, — как-то «сузилась личность». Ничего, если выживет — отойдет. А у меня еще забота — не прикрепила к магазину Юркиных карточек, и мне отказались их перерегистрировать, — будут ли давать хлеб после 20<-го> по ним? Не пропадут ли они? Придется по приезду тащиться в райбюро и там торчать в очереди — регистрировать...

Надо хотя бы здесь выбрать хлеб по 21<-е> включительно (срок командировки) и за 22<-е> тоже, подкоптить его здесь, насытить сухарей на радиаторе, чтоб был запас. Только бы удержаться и не лопать самой! В общем, тут совершенно прилично кормят, — обед: тарелка прекрасного гороху со шпиком, 150 гр<аммов> хлеба, на второе — кусочек гуся с гречневой кашей, — мало, но прекрасно. А к ужину Агафонычев распорядился еще выдать мне 2 бутерброда, и я уже скопила 4 куска сахару — т<ак> ч<то> жалею, что выбросила 275 руб. на эти гавенные конфеты. Главное, если б у меня было терпение их тянуть!

Интересно, дадут ли они мне хоть что-нибудь с собою?

Очень хотелось бы от всего сердца услужить им, быть чем-то полезной, — милые люди, милая Армия, спасибо им за то, что дают ухватиться за них и не потонуть в пучине смерти. Надо еще последить за собой, чтоб не жалобиться, — кажется, я много жалоблюсь, надо быть достойнее.

Надо использовать эти четыре дня для настоящей работы, написать хорошо о Хамармере, без подхалимства, и чтобы ему не было неудобно, надо почитать им — повеселить их чем-то, спеть, надо тряхнуть своим запасом жизни, замороженным голодовкой.

Кроме истории с карточками — еще очень боюсь, что все драгоценное, что оставила в столе у Юрки, — украдут. А там у меня — чуднейшая муськина мука, сливочное и подсолнечное масло, песок, кофе, чай, балык, икра. Всего немножко — но ведь это целое состояние! А коньяк-то еще, который мы выпьем с Юркой на пр<оспекте> Кр<ас-

ных> Командиров, когда он вернется. Ах, как я боюсь, что это украдут, — и украсть может Валерий, — он оголодал до неприличия, клянчил у меня хлеба 2 раза и 2 раза я отказывала, но зато 2 раза отдавала ему свой мучной суп. Он принял его снисходительно! Я еще поила хорошим кофе его, Сашу и Лешу. И вчера угощала кофе и жареным на эрзаце чудесным хлебом А. О. — как следует. Нет, я все-таки кое-чем делюсь с людьми, я не совсем жаба. Только бы не украли у меня всего!

Ну, довольно об еде. Действительно, надо поработать. Попробую сейчас писать стихи о Хамармере, — наобещала ему, теперь надо писать. М<ожет> б<ыть>, вечером почитаю штабистам, надо, вообще, «пустить корни», — м<ожет> б<ыть>, что-нибудь дадут с собою. (Только бы не украли запасов из стола!)

О, какая я стала жадная и жалкая!

Весь день ничего не делала, уже 8 часов (скоро ужин!), писала Муське и вот это, лежала.

Но зато, кажется, становлюсь похожей на человека, — вечером беседа с Хамармером, надо быть хоть чуточку поприсяжнее...

Ну, попробую поработать над стихами...

А есть все-таки очень хочется!

Ну, подкрасила глаза, отыскала пудры, — в общем, сейчас у меня вид все же такой, что при удачном освещении можно даже пококетничать с Хамармером. И отечность сегодня поменьше, — что значит тепло и отдых! Да, да, пусть сегодня он приедет из города пораньше, — надо поговорить, пока приличный вид. Не работаю. Ничего. Сегодня опять выплусь в тепле, через 45 минут пойду ужинать, возьму бутерброды, — только бы не заходиться ночью в кашле!

Поужинала (*очень немного каши*) и даже выклянчила у Лели (официантки) лишний кусочек хлеба, а к нему мне дали (это, наверное, и считается 2 бутербродами) — кусочек масла и сыру — и все-таки голодна. Сожрала довольно большой кусок сахару, — а надо бы его присоединить к тем 4, и было бы уже 5, — к кофе. Здесь нет смысла его тратить, с этим жидким чаем, лучше не пить его, только раздуваешься, как утопленник. Зайдет ли, или вызовет ли меня к себе Хамармер и догадается ли хоть хлебца поднести?

Завтра возьму свой хлеб, м<ожет> б<ыть>, даже за два дня, и — увы, вероятно, буду частично есть его...

Если удастся охмурить нашу Клаву, — в столовой, после 21<-го> получать хлеб по неперерегистрированной> хлебной кар-

точке Юрки — то ведь хлеб у меня будет и для Коли, а там, наверное, прибавят. Собственно, у меня типичный голодный психоз — откладывать все на завтра, надо придерживаться правила — «будет день — будет и пища».

Мучительно хочу к Муське на Сивцев Вражек. Нетерпеливо хочу, дико. Мне почему-то кажется ее квартира каким-то избавлением, пристанью. Конечно, и у них не так-то уж сытно, но раз она даже имеет возможность посылать посылки, раз у них есть такое печенье, которое она мне прислала, — значит, можно там жить! Хочу, хочу туда. Устала. Надоело все это до предела. Хочу нормальной жизни, хочу знать, что сегодня можно есть вволю и завтра тоже. Вернусь в Ленинград — сразу же буду налаживать командировку на Н<овую> Ладогу, к Семенову. Там хорошо кормят, можно кое-что привезти. Привезет ли хоть что-нибудь Юрка, и что он выделит мне? Дура я, что не привезла баночку из-под кофе, — могла бы здесь себе заваривать кофе, — очень привыкла к нему...

Стих о Хамармере идет вяло, — все мысли об еде, нет никакого подъема.

Надоело! Надоела героическая оборона, мужество, гордость нами, все это дикое, противоестественное напряжение, бесконечные гробы, собственные стихи, слова, слова и слова, — надоело до мучения! Хочу к Муське, на Сивцев Вражек, хочу стряпать, есть, спать, читать, мыться, — хочу простейшей человеческой жизни...

При первой возможности уехать из Ленинграда вместе с Колей — уеду. Хватит, семь месяцев отгрохали, — да каких семь месяцев... А конца-края не видно еще, — уж столько раз обещали и прибавку и все такое, — что перестаешь этому верить.

Соскучилась о Юрке. Думаю, что не убьют, что вернется жив, и даже с пищей. Уйдем с ним с вечера на просп<ект> Красных Командиров и будем там жить и отдыхать целых два дня, — есть, целоваться, петь, читать стихи, говорить. Он милый, хотя несколько прозаический, — или это та же самая голодовка?

23²⁵, — Хамармера нет, он не зовет к себе. Занят, в городе. А я еще наглушила, — сказала, что обедаю в командирской столовке, какой-то мелкой сошке, — теперь, видимо, переведут в рядовую, а там совсем, как будто, плохо.

19/1-42.

Ну, через час еду обратно. Должна отметить, что отеки на лице — значительно меньше и что Хамармер отметил вчера вечером, что «скоро вы будете красавицей». Я выглядела неплохо, несмотря на отечность, — занималась вчера рожей чуть не весь день. Ночью он пришел ко мне, принес хлеба с маслом, 2 кусочка сахару, и мы говорили до 6 утра. Романские мотивы отсутствовали, он, правда, опять поцеловал меня в лоб, и мне надо было как следует взглянуть на него, чтоб было что-то дальше, но я смутилась и не сделала этого.

Ну, ничего, — такие отношения еще и лучше, — чище и благороднее: он очень хороший человек, хотя политрукская специфика дает себя знать, — но это ничего.

Из того, что я от него записала, — могут получиться отличные драматические рассказы, еще лучше партизан, только надо писать свободно, не связывая себя темой, надо даже чуть-чуть по-чеховски писать. Он не хочет выступать, — можно попробовать дать публицистико-лирическое начало или концовку. В общем, посмотрю, — очень хочется работать, беспокоит только завтрашняя возня с карточками — Колькиными и моими — сегодня я явно не успею перерегистрировать их...

А хлеб, все-таки, кажется, получу здесь — за 2 дня. Хлеб тут изумительный — вот было бы чудно рвануть 1800 грамм<ов>, — хотя Агафонычев сказал, что будто это не совсем удобно... Ну, ладно. Я и так уезжаю почти без трофеев, — поднакопила только сахару грамм<ов> 200 (украли сегодня в командирской столовке 2 маленьких кусочка — позор, а жалко, что не взяла побольше), увожу с собой толстую свечку и пачку папирос. У комиссара ничего не просила, — не хватило духу! И глупость такую сделала, — он завтракал, и я присоединилась к нему, — он торопился, ушел и оставил чудесную аппетитную горбушку хлеба и довольно большой кусок масла, — мне надо было это забрать себе, да я застеснялась кухонных служек и ушла, не взяв этого хлеба и масла, — а какой был заряд! Дура! Но ничего, нельзя же быть жидом и терять последнее достоинство. А Агафонычеву ничего не скажу, — даст сам, хорошо, не даст — бог с ними. Ведь и так они кормят меня вне всякого закона и норм, — единственно из уважения к «блистающему таланту», как говорит Агафонычев. Нет, верно, надо терпеть, есть ситуации, когда лучше корчиться от голода, но не просить.

Да, я здорово подбодрилась здесь, несмотря на ломающий меня грипп и тяжелую голову. Даже хорошенькая. Ах, как хочется быть красивой, как хочется мира, сытости, чистоты.

О, скорее, скорее! О, что бы сделать, чтоб хоть чем-нибудь ускорить день всеобщего освобождения!

Черт, голова — затылок — все же дьявольски болит. Полежу — пойду обедать и за хлебом. Только бы выдали хлеб на все три карточки... Ну, неудобно — бог с ними. Не выдадут — завтра попытаюсь получить у Клавы. Завтра 20<е> — еще можно без перерегистрации.

20/1-42.

В гастрономе дают сахар, я могу получить на наши карточки, видимо, грамм<ов> 100–120, а у меня еще не перерегистрирована карточка, — вот морока.

Вчера отеки опали, выглядела очень мило, а сегодня, хотя очень прилично ела, — опять отекала, — видимо, ходьба.

Видела Юрку Пренделя — он рассказывал мне о Кольке. Коля пришел в себя, но очень слаб, очень оголодал, — думает и говорит только об еде, просит прибавки. Послезавтра пойду к нему и понесу — 4 бутерброда с балыком, — 2 или, если выйдет хорошо, — 4 с икрой, хлеба вдобавок к бутербродам — нести буханку или грамм<ов> 500?

Боюсь, что он с голодухи кинется на все и съест сразу, и ему станет плохо. Отдам ему рыбий жир — там гр<аммов> 100–150.

Потом с Юркой пошлю ему мясного крепкого бульона и котлетку. Очень боюсь, что Юрка его украдет.

Потом опять снесу хлеба, или лепешек, или месятковой каши. Я сволочь, что сожрала печенье и дурандовые конфетки.

Завтра иду к Лизунову. Противно и стыдно; — ну — откажет, что ж? Ведь по морде не ударит.

Ах, как неприятно, что опухло опять лицо, — просто не пойму — с чего бы, ем сегодня отлично и совсем мало пью. Кофе пить перестать — что ли, м<ожет> б<ыть>, оно на сердце влияет?

Сегодня в страшном Союзе Писателей видела артиста Федора Никитина. Он опух и позеленел, он в военной форме. Обычный разговор: «Ну, как?», и т. д. Он ответил: «Физически чувствую себя очень плохо, — а живу хорошо. Так счастлив иногда, как никогда раньше. Верно, я никогда не жил так полно, так счастливо, никогда

не работал с таким высоким подъемом! Мне трудно ходить, — а там, на передовых, все время приходится ходить, выступать в землянках. Иногда у меня голоса не хватает — диафрагме не на что опираться — желудок проваливается, но я из последних сил тяну, — и вижу, чувствую, — как воспринимают, ловят мои слова прокопченные, усталые красноармейцы. Я теперь знаю — как жить! Я теперь только понял, как надо работать, — а у меня за плечами 25 лет актерского стажа. Мне сорок два года, но после войны я начну совершенно новую жизнь, совсем по-новому буду работать...»

О, дай ему бог выжить и вытерпеть все, что еще нам предстоит. Это чувство счастья так понятно и знакомо мне. Все, что мы переживаем, — страшное бедствие, уродство, позор, смрад, людское бесчестие и величайшая глупость и бессмыслица. Мы знаем об этом. Дико говорить, что мы счастливы этим и радуемся этому.

О, лучше, лучше было бы, если б не было этого ленинградского героизма и мужества — этот героизм — ужас, уродство, бред. Но раз так получилось, раз уж так дико устроен мир, что приходится жить в этом бреде (у нас случаи людоедства есть, даже трупы едят!) — то слава тем, кто в этом бреде обретает счастье и чувствует, что живет, и вдруг наслаждается всей жизнью! Это носители Жизни, это она сама.

Мой бедный Коленька, как он голоден, скорее бы послезавтра, чтоб побежать к нему и насытить его, — я-то сейчас жру, как, пожалуй, никто из моих знакомых, — шутка сказать, чуть не кило хлеба в день сжираю... Ах, какая я скотина, что не вытерпела и сожрала печенье и конфеты, — ах, если б завтра у спекулянтки что-нибудь было. Идти или нет к Лизунову? Пойду, чорт с ним!

Варю себе похлебку, но мяса очень мало взяла. А как только Коля окрепнет — уедем! Уедем, довольно. Говорят, что весной может быть химическая война, — вот где ужас-то... Нет, довольно. Соскучилась об Юрке.

21/1-42.

Вот начинается самая интересная часть дня: я уединилась в Юркиной комнате и стряпаю. К сожалению, ввалился Валерий, явно на разведку, что я ем. Ну и к чорту, — я вот ем, жарю бефстроганов, а ты нет. Я ем сейчас неплохо — и все равно, безумно голодна все время, все время хочу есть, чувствую себя ужасно, хуже, чем когда ела меньше.

А что будет, когда вернется Юра, возьмет свои карточки, вернется Коля, — и у меня опять будет только 200–300 грамм <ов> хлеба, и выйдет мясо, и Мусина мука, и ее сахар?

Нет уж, лучше не думать об этом...

И деньги я почти все порастрясла, — у меня осталось едва 1500 р <ублей>; а завтра, если б не был болен Коля, мы бы уехали... (Валерий явно нарочно здесь копошится, — всё равно, я не дам ему ни одной крупинки! Кроме бефстроганова, я нажарю еще себе оладьев, — вот, я хочу нажраться, мне надоело мое одрябшее сердце и отеки на лице!)

Сожрала сковородку бефстроганова — не сыта! Ужас! Неужели я никогда не наемся? Что же делать?!

Завтра тащусь к Коле, — несу ему четыре больших бутерброда с балыком, — верно, суховатые, потом со свежим хлебом сделаю с икрой (только был бы завтра хлеб!), потом просто так хлеб и рыбий жир.

Вернусь от него измученная, разумеется, опухшая.

Вчера осенило — позвонить Бадаеву с тем же, что и Лизунову. Позвонила, — откликнулся немедленно.

Послезавтра полетусь за Московскую заставу, — что-то дадут? Ну, если даже только 2–3 кило месячки, и то роскошно! А вдруг чего-нибудь побольше, — ведь продуктов-то все же завезли...

А 24 <-го> все же попрусь к Лизунову.

А завтра, м <ожет> б <ыть>, Вера что-нибудь выклянчит у Левина...

За стряпней провела почти два часа.

Но настроение какое-то сегодня озлобленное, — даже не знаю, с чего. Надоело все до чорта.

Пишу, а радио почти во всем городе молчит.

Фельетоны мои лежат. О лыжниках писала через силу — конечно, получилось дерьмо.

Как-то выйдет о Бородулине, — сегодня надо лечь пораньше, а завтра, если утром будет свет, — сразу напиток кофе с сахаром и хлебом и сесть за машинку, — за Бородулина.

Рано сегодня ем, — только 10 часов, опять ночью буду мучиться от голода...

Еще успею сейчас поработать.

Очень соскучилась о Юрке, — милый мой, хоть бы его не убили.

А больше всего хочу к Мусе, к Мусе, к Мусе...

О, довольно, довольно с меня.

Удивительно нетворческое настроение...

22/1-42.

Была у Коли. Я рассказываю о нем всем, жалоблюсь и на кухне в доме, и на радио, плачу, — а дела обстоят еще ужаснее, чем я рассказываю.

Его нет. Коли Молчанова на сегодняшний день просто нет, — есть некто, которому можно дать лет 60–70 по внешнему виду, некто, ни о чем не думающий, алчущий безумно, дрожащий от холода, еле держащийся на ногах, — и все. Человека нет, а тем более нет моего Коли. Его, на сегодня, уже нет, и если б умер этот, которого я сегодня видала, — то умер бы вовсе не Коля...

Я не знаю, как объяснить это.

Но я понимаю — что это существо — когда-то было Колей, и надеюсь, что Коля опять появится. Я сделаю для этого все, что в моих силах. Надо было бы каждый день ходить на Пряжку и подкармливать его, — но это невысказано — через 3 дня ежедневных таких походов я свалюсь сама — с сердцем все хуже и хуже.

Как он ел сегодня — господи, этого не описать. Ел с мертвым лицом и матовыми мертвыми глазами, — у него сегодня опять два припадка, больших. Ел бутерброд за бутербродом, ел хлеб, ему принесли хлеб к обеду — он стал кусать и его. Выпил ложку рыбьего жира, — сказал: «Это очень вкусно, дай еще...» Говорил: «А сладкого у тебя ничего нет?» Я отдала ему 60 грамм<ов> сахару, полученные по карточке, и мне было мучительно стыдно, что я сожрала дурандовые конфеты.

Варю ему бульон, но боюсь в субботу отсылать с Юркой Пренделем, — он сожрет сам, или сожрут сестры, когда будут разогревать, — ведь украли же у него сегодня во время припадка папиросы.

Вот задача тоже, когда на ближайших приятелей не надеешься. А Юрка невысказано противен стал; он глуп, он глубочайший обыватель, он оголодал до психоза, неприличного для мыслящего человека; ведь я вот тут только все выкладываю, а на людях креплюсь, — и, конечно, говорю об еде, и о том, что мне трудно, но слезу за собою, и говорю об этом в меру...

Видала вчера в Союзе А.А. Смирнова, — он опух, у него просящие глаза, но он пишет большую книгу о творчестве Шекспира и говорил, что эти дни как-то раскрывают ему Шекспира по-новому...

Слава несущим человеческую эстафету!

Я хочу быть в их числе. Я слишком (внутренне) погрузилась последние дни в едоцкое состояние. Надо выбиться из него, как из-подо льда.

Очерк о лыжниках плох потому, что вообще из этого ничего нельзя было сделать.

Сегодня попробую закончить Бородулина и писать стихи, хотя времени уже немного, — и приготовление пищи отнимает время.

И здесь опять торчит Валерий и что-то стряпает, — вот сука, он обязательно обворует меня!

Как бы приготовить клецки так, чтоб он не видел муки? Завтра пойду к Бадаеву пораньше. Ох, как далеко... Приду, и вдруг его нет?! А 24<го> полетусь к Лизунову...

Бульон для Коли получился потрясающий! Нет, страшно отправлять его с Юркой. Лучше в воскресенье снести в термосе самой.

А с Юркой месячковой каши отправить с сахаром и подсолнечным маслом, что ли? А то — до воскресенья ему долго ждать. Бульон, я думаю, в такой холодине, как здесь, до воскресенья не скиснет...

Ну, однако же надо работать. Себе я разбавила остатки бульона водой, — ничего, еще час покипит, так, небось, наварится. А я за этот час допишу Бородулина...

24/1-42.

Поход к Бадаеву увенчался полным успехом: 5 кило месячки и 20 т<ак> н<азываемых> коржиков, которых уже нет, — часть скормила Мариным, остальное сожрала сама, — но «коржики» эти настолько блокадные, что их за сладкое и во сне почесть нельзя. Лучше сегодня я напеку Коле сладких лепешек на чистом подсолнечном масле.

О, у меня на сегодня столько еды, что прямо совестно. Кроме 5 кило месячки — нетронутых, остаточки от Лизуновской месячки. И я дала вчера 2 полных стакана Мариным — им еда на целый день, и им же 5 коржей, и почти 200 грамм<ов> отличного хлеба, и угостила сегодня 1½ месячковой лепешки Волженина, и накормила месячковой кашей противных Пренделей, — они ели с восторгом, и вышло им много, и тете Маше дала немножко кофе и кусочек хлеба, и Пренделям кофе и другим.

Нет, мы с Колькой никогда не были жидами в смысле еды. Верно, мне было жалко отдавать эти крохи, — ведь все это могла бы съесть я сама, но вместе с тем — какая радость видеть, как ела этот дикий коржик Галка и Вадик, как, обжигаясь, жадно, с остановившимися глазами ел кашу Юрка Прендель, и в эту минуту было не жалко еды вовсе, и я подкладывала им из своей тарелки.

Рвущее какое-то, терзающее, близкое к рыданию чувство, близкое к восторгу и иступлению чувство, — голодному делиться с голодным.

Но я, как всегда, начинаю не с главного.

А главное — сегодняшняя блестящая сводка!

О, неужели взаправду скоро конец нашей муке?! Я боюсь поверить этому, я настраиваю себя на то, что еще долго терпеть, что еще вернется бред бомбежек, что еще будет какой-то неизведанный ужас химической войны, — но ведь этого может и не быть? Я запасая еду, жилую, оставляю на завтра, не решаюсь, или с мучением решаюсь «попировать», — я боюсь завтрашнего дня. Но ничего, ничего, — у меня 5 кило мясочки, 5 плиток столярного клея (а из него выходит прекрасный студень, только надо уксусу достать), еще немного (сейчас посмотрю) — около кило ароматной Муськиной муки, и завтра будет за 250 р<ублей> полкило крупчатки, и сахар получу завтра-послезавтра — 300 грамм<ов>, да еще потом дадут — и у меня масса хлеба — ведь хлебушка-то прибавили, хоть и ломтик, — да, а банка зеленого горошку? Нет, я просто кулак, — но надо кое-что додержать до Колиного выхода... Господи, как-то он там? Пренделю не дозвониться, — город сегодня не работает. Понесу ему завтра в термосе чудесного бульону, напеку сладких лепешечек, — жарить ли котлетки? Жалко фаршу, — он такой хороший! Да нет, сжарю, — чего жалеть, я отекла дико и так болят почки...

Рассказ о Бородулине получился ничего, кажется, почти не эрзац; теперь — со всем сердцем необходим Хамармер и стихи о человеческой эстафете, — это как раз к концу блокады...

Нет! Она все же скоро будет сметена, станет легче, отойдут эти жалкие и могучие, и страшные мысли об еде — это уже громадная победа.

«Чудо на Марне», — ха! Чудо с Ленинградом, — вот, действительно, невиданное дело! Но какой ценой, боже, какой ценой... и ради чего... Но сейчас не время об этом думать...

Жутко болят почки, — как полетусь завтра на Пряжку, к Коле? И мороз — выше 30°... И вдруг мои дары будут ему уже ни к чему?

Нет! Жарю котлетку! А то может быть поздно.

И пишу о Хамармере...

Конечно, не писала, а провозилась с едой.

Ну и поела я сегодня! Даже не для блокады это здорово — [три] четыре чудеснейших котлетки с хлебом, большую тарелку мясной похлебки с вермишелью и хлебом, чай (крепкий) с сахаром и хлебом и 2 лепешечки из тех, что пекла Коле.

Коле несю очень хорошую, крепкую похлебку с лапшой (не забыть бы взять мисочку) — в термосе, три хороших котлетки с хлебом, 11 хороших сладких лепешек с сахарным песком. Это его здорово подкрепит. Только я сука, сама съела 4 котлетки, а ему несю 3. Ну, если утром будет огонь, я сумею сжарить ему еще две, а сама, вернувшись, наварю себе месячковой каши. И послезавтра обязательно получу 300 гр<аммов> песку или сахару, — а то у меня уже выходит.

Утром здесь напьюсь сладкого кофе с хлебом, в час поем в Слезе, вернувшись, наварю месячки, и сжарю котлетку — там фаршу еще много.

Хорошо бы к понедельнику с Юркой послать ему студню из столярного клея.

Завтра до 6–7 — беготня за хлебом, ходьба к Коле — о, что-то он? Жив ли? Там холодно, он зябнет, там темно и кричат психи, — сокол мой, родной мой... Не взять ли его домой, — примерно неделю я могу его кормить лучше, чем кормят там... Ну, а потом? Между прочим, в столовках улучшают еду, — должны улучшить и там...

Жаль, что завтра я принесу ему совершенно промерзшие котлеты, а горячие они были чудесные, у меня и в мирное-то время редко такие выходили. Ох, как у меня «сузилась личность» на почве голода...

Скучаю очень — о Юрке. Хотелось бы встретить его хорошими — теми стихами.

Но сейчас уже поздно, а я встала в 8½ и уж не уснула, — взволнованная необходимостью отнести кашу Пренделю, чтоб он передал Коле, и очень хорошей сводкой.

М. П. угощала похлебкой с хлебом, чаем с хлебом и сахаром — хмурого, очерствевшего Яшку, который позорно мало мне платит. Однако я приняла его предложение писать вместе книжку «Говорит

Ленинград» — мы будем писать ее после конца блокады или войны, — о работе Радиокomiteта и в этой рамке — обо всем Ленинграде (не забыть — можно вставные новеллы — наиболее удачные рассказы, фактические и пр<о> партиз<ан>), стихи, целые хроники, передачи на Москву, на острова, на фронт и т. д.).

Свою книгу стихов я тоже назову — Говорит Ленинград. Нет, придется лечь спать, — до сна буду писать и завтра по дороге в психолечебницу буду писать, и вечером за стряпней, — Хамармер и стихи...

Не хватить ли крохотную рюмочку коньяку, не дождавшись Юрки?

О, что-то ждет меня завтра в больнице?

О, мерзнувший мой, оголодавший, чудесный мой Коля.

25/1-42.

Дикий мороз — выше 30°. И страшно болят почки, — трудно будет идти к Николаю. Но я все же пойду, — столько хорошей еды ему наготовила! Не сжарить ли еще котлетку? Мне совестно, что я ем мяса больше, чем он.

Болит поясница, отекло лицо, — страшная. Надо сегодня хоть брови покрасить, а то Юрка приедет, а я — как старая блядь. И Хамармер хотел взять меня к себе на несколько дней. Надо подтянуться.

Завтра выйду только пообедать, остальное время буду работать. Но надо послать телеграмму Мусе, надо узнать в Гослите и «Смене» о деньгах, — деньги у меня стремительно иссякают. Какой уж там банк!

Очень беспокоюсь, что в столовой нет хлеба, — вот морока, тем более что в булочной не дают по Юркиной карточке...

Еще сахар надо получить. Ох, как эти бытовые вопросы мучают, сколько времени на них уходит, — ужас.

А беременна я, кажется, на самом деле, — неужели с голоду и тяжелой месятки так пучит? И грудь вроде как набрякла. Ну, что ж, я рада, — пусть...

25/1-42.

Нет, Коля, наверное, не вытянет.

Он лежит без сознания, весь в моче, еще более похудевший и страшный, чем был, ни на что не реагирует, даже на меня, хоро-

шо еще, что, механически открывая рот, — поел: съел бульона, около двух стаканов, видимо, котлетку выплюнул, съел 8 или 9 штук лепешек с сахаром.

Он морщится все время, как от страшной боли, ничего не ображает и тихо бредит. Он сказал, пока я его кормила: «Опустите стяги», и еще: «на 50% это вранье», и, кажется, — «возьми меня отсюда...»

Или нет, — это говорил мне тот страшный псих, который торчал надо мною, не отходил от меня, пока я кормила Колю, и все говорил: «она ко мне пришла», «я с ней уйду».

А рядом с Колей лежал псих и бормотал без устали: «Нормальный Бурлаков или нет, а ты неси ему его порцию! Шпик неси, хлеб, макароны и жиры, жиры... А булку и прочую мелочь я так съем», — и т. д.

Голодный бред.

И рядом лежал псих и, рыдая, кричал: «Мама! Mamочка! Пива! Молочка сгущенного», — и т. д.

НЕТ! НЕТ, ЕГО НАДО СПАСТИ!

Я пойду утром к Пренделю, понесу бульон, — очень крепкий, я отдам им месятку, — пусть он спасет мне Кольку. М<ожет> б<ыть>, завтра идти туда и остаться там, около него? Он лежит мокрый, озябший, неузнаваемо-истощенный.

Я, я во всем виновата! Я бегала от него, я последнее время кричала на него, а он становился все более кротким.

Но разве я не билась с отъездом с ноября месяца? Разве я не отщипывала от себя куски? Разве не пыталась устроить его как можно лучше? Я была его по лицу во время диких, похабных его припадков, — но я согласна была и согласна на этот крест — до конца своей жизни...

НЕТ! ОН НЕ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ!

Позор, — позор — вот что значит вся эта ленинградская героика. Так нельзя, так нельзя, как с Колей и другими...

ТАК НЕЛЬЗЯ.

27/1-42.

Была у Коли. Он вновь не узнал меня. Он лежит без белья, потому что все время мочится под себя. Насколько я знаю — это признак последней стадии истощения. И отец то же сказал. Он съел все, что

я принесла — 2 стакана очень крепкого бульона с фаршем, штук 13–14 белых лепешечек, грамм<ов> 100 сахарного песка, плитку отличного шоколада. Он лежал, глядя в стенку, жевал, по-моему, совершенно равнодушно, и я вздрогнула от радости, когда, уже съев все, он сказал: «Дай еще шоколаду...» Значит, хоть какая-то реакция на еду есть. Бредит, — и вдруг включился в бред шизофреника — Бурлакова, — тот кричал все, чтоб ему несли его порцию — шпик и хлеба, и Коля тем же тоном добавил: «И печенье-меченье...» Галлюцинирует: «Вот Муська торчит». Хорошо еще, что уже два дня нет припадков... Может быть, — выживет? О, может быть, выживет?! Быть может, вернется в нашу квартиру?

Вчера у меня были очень жестокие мысли: я думала, что если он умрет, то это ему лучше, — он ведь так страдал из-за своей болезни. И мне лучше, — разве я не мучилась и не изнемогала от его болезни последнее время уже до отчаяния?

Я буду свободна, я смогу делать все, что хочу. Я уеду в Америку и там напишу книгу о том, что так нельзя, и что у людей нет выхода, кроме любви к самым близким людям... Впрочем, я сама не знаю, в чем выход...

Я думала так, — спокойно, устало, равнодушно. Сегодня пришла в нашу ледяную, разоренную квартиру, — стала брать одеяло, — увидела, как у Коли заботливо все было собрано к отъезду, — и закричала. Нет, что я, нет, нет! Как же так, — если его не будет? Как же жить? Как же он? Он так мало радовался. Он не успел развернуться во всю мощь своего редчайшего ума и таланта. Он хотел детей. Он любит меня и радуется мне, и не успел еще как следует насладиться мною, — я знаю, я еще не усладила его, мне все казалось — за 12 лет, что все счастье с ним — впереди...

Что все эти мои романы — по сравнению с Любовью с ним?! Они и не мешали ей, и только ярче и глубже я чувствовала ее...

О, Коля, свет мой, душа моя, дыхание мое, — выживи! Выдержи! Вернись ко мне хотя бы таким, как ты был в декабре, — жалким и кротким, — я вынесу тебя, я же люблю Тебя!

Мучительно хочется пить, — и нет ни капли воды.

28/1-42.

Ну, кажется, подходит и моя очередь — чувствую себя архиплохо, в пояснице такие мучительные боли, что плакать и стонать хочется. Либо почки, либо женская аппаратура воспалилась.

Вдобавок — дикое расстройство желудка, что при современном состоянии отхожих мест — просто гроб. Ну, и насморк, и одуряющая слабость... А главное, — эта страшная, мучительная боль в боках и пояснице.

К Коле мне явно не дойти, да и не с чем. В городе нет воды. Совершенно. Ее черпают из Фонтанки, из наших рек, куда сливаются нечистоты.

Можно было бы вечером натаять снегу и сварить, но сперва я как-то не догадалась, а потом просто обессилела так, что не могла этого сделать, не могла представить, как это я утром в 7 ч<асов> пойду к Пренделю.

Впрочем, утром звонила Таня: рядом у них горит дом, Юрка слег, хлеба эти два дня получить не могут. С хлебом в городе какой-то кошмар — из-за отсутствия воды не работают хлебозаводы и в булочных нет хлеба, — а это, собственно говоря, единственная пища Ленинградцев.

Смертность растет и растет. Трупы валяются на центральных улицах неубранными. Вчера по пути в больницу к Коле видела три трупа, — все без обуви, уже кто-то снял. Сегодня на ул<ище> Ракова — среди машин скорой помощи — труп женщины. Проехала телега, нагруженная трупами, как дровами.

Город превращается в огромную мертвецкую. Смерть бушует в городе, как в Средневековье во время чумы или оспы.

И, видимо, от нее не уйдешь.

Мучительно болит поясница и живот. Хочется спать. Апатия ко всему — вот лечь и все.

Вчера утром приехал Юрка. Я зашла в бомбоубежище, в нашу комнату, — а он там. Он так бросился ко мне, а я опухшая, с отвратительно, невысказанно грязными руками, с некрашеными бровями, совершенно квелая, безрадостная, грязная...

Он говорит, что живет только мною и счастлив, что вновь рядом со мной.

29/1-42.

Наверное, Коля уже мертв. Я не нашла в себе сил идти на Пряжку вчера и сегодня из-за мучительных болей в спине, звонила сейчас Пренделям, — Танька сказала, что Юра звонил ей и сказал, что Коля очень плох и чтоб я не приходила в больницу.

Прендель будет дома в 7, сейчас 6¹⁵ — через 45 минут я узнаю, наверное, об его смерти.

Я удивительно спокойна, даже после звонка к Тане подкрасила себе брови и сварила кофе.

Этого не может быть. Этого просто не может быть, чтоб он умер. Это неправда.

А если это правда, то как бы устроить так, чтоб сразу умереть самой? Чтоб ничто не удержало. Я не буду жить с Юркой как с мужем, я не люблю его.

Вот сейчас напьюсь кофе (оно очень вкусное) и позвоню.

Я сварила ему бульон, выпросила в столовой 40 гр<аммов> отличного масла, у Юрки — большой кусок сахару, — и завтра все снесу ему.

Я лгу себе. Я знаю, что это все я делаю не для него, а для себя. Еще на Песочной я увидела, что ему уже ничто не поможет. Третьего дня я кормила уже труп. Я лгу себе. Я знаю, что останусь жить, хотя жизнь для меня превратится в сплошную недоуменную пустоту, т. е. ее без Коли не будет, и я нигде, нигде не найду его, — ни в разоренной своей квартире, ни в разоренной квартире его матери, ни на улице — нигде, нигде.

Только бы улизнуть отсюда, когда узнаю от Пренделя. К Мариным пойду. Тут Юрка. Тут место, куда я от него сбегала.

Я оставляла его на целые дни. Он говорил: «Все дни мои проходят в том, что я жду тебя».

Но он был счастлив мною и со мною — за это я отвечаю!

Через 15 минут позвоню.

Он говорил, что никогда так не любил меня, как во время войны.

И я тоже, — несмотря на Юрку. Несмотря на раздражение на него.

Нет. Нет, это все что-то не то.

Сейчас буду звонить. Как меня бросает в испарину, я все мокрая.

Прендель сказал, что Коля безнадежен. И что он уже, наверное, умер. Ему еще должен позвонить оттуда Авербух, а он — мне.

Как бы мне улизнуть отсюда, чтоб мне не сочувствовали и не ласкали меня.

Мне бы надо пойти к папе.

30/1-42.

Вчера умер Коля.

Я еще не понимаю этого. Он вернется. Это пройдет. ОН ВЕР-
НЕТСЯ.

Вместе с Юркой ходили в больницу, и я решила, что пусть его похоронят от больницы, в траншее, в братской могиле. Мы на фронте, и пусть его похоронят как солдата, на фронте, в братской могиле.

Делать деревянный ящик за 250 грамм<ов> хлеба, копать могилу за 500 грамм<ов>, везти его на саночках через весь город, бегать к обидчикам-властям, в ЗАГСы и прочее, — зачем? Разве это нужно ему и хоть чем-нибудь выразит мою любовь к нему? Разве это поможет ему теперь? Лучше отдать этот хлеб опухшей Марусе, накормить ее, помянуть его хлебом.

Он очень одобрил бы меня за это. «Я расскажу ему это, — подумала я, решив, — и он одобрит меня».

Ведь то же он говорил Фоминой.

«Я расскажу ему и это, и это, — думала я невольно, — и о папироске Валерия, и о Юркиной практической заботе. Я ведь не расскажу ему — я никогда больше не увижу его».

Нет. Не может быть. Этого не может быть.

Как это так, — он не войдет с сияющими своими глазами в нашу квартиру и не скажет: «Лёшенька!»

Да, не войдет, так же, как не вернулась Ира и Майка.

Значит, жить нельзя.

Еще сегодня я думаю, что это поправимо. Но ведь [с] через несколько дней я с каждым днем буду убеждаться все больше и больше в том, что — НИКОГДА.

Значит, жить нельзя.

Он просил меня досмотреть эту трагедию до конца. Зачем?

Сделать надо так: у меня есть политура, — напиться и на ней принять люминал.

Когда напьешься, то ничего не страшно.

Я, видимо, все же приду к этому.

Надо проверить — не беременна ли. Ведь это может быть — его ребенок. Больше шансов за то, что Юркин (я не успела обрадовать его тем, что будет ребенок, — я боялась нагрузить его лишней тревогой за себя, — ведь он и так за меня мучился!), — но очень много и за то, что его — 6 ноября 1941 г., — если только прекращение менструаций — не от голода.

Я еще что-то не все понимаю.

Юркин практицизм и бодрое настроение — все не обижает, не оскорбляет меня, все идет мимо.

Я отделяюсь.

Я ем: «Щи-то ведь посоленные...» Юрка хорошо кормит меня.

Я постараюсь уехать к Мусе, к Мусе, на Сивцев Вражек...

А в понедельник пойду к моему папе.

Нет, что-то не то происходит.

Я успею умереть.

596-40

Телефон, посылка от Муси.

1942 год.

Ленинград¹.

З/П-42.

Живу. Написала это слово, и не знаю, что писать дальше. Вот я осталась одна, — то есть с бумагой и пером. Я избегаю этого. Я сейчас больше всего занимаюсь приготовлением пищи. Ее много теперь, — Юрка привез с фронта, он же раздобыл себе продаттестат и получает прекрасный сухой паек, Муська прислала еще посылку.

Вот, когда Коли не стало, когда он умер, по существу, — от голода, стала появляться пища.

Юрка держит ее всю, и мою тоже, в чемодане под замком. Он кормит меня даже не по-блокадному хорошо, а я все равно все время хочу есть и ослабла до предела. Вся отекла, — теперь уж не только лицо, но и все тело. И слабость страшная. И корбит меня оттого,

¹ Текст с цифр «596-40» до слова «Ленинград» — записи на обложке дневниковой тетради.

что завишу от него, ем его хлеб, и ем не так, как мне хотелось бы. Распоряжается едой он, даже и моей. Он расчетливый, экономный, бережливый. Я понимаю, что все это рационально, но внутренне раздражаюсь и злюсь.

Я бы наделала себе блинчиков из своей белой муки, купленной для Коли, на Муськином русском масле, — а при нем — это завести длинный разговор.

И он все учит меня, — пустякам, — как варить похлебку, кашу — и т. д. И это тоже томит меня.

Я привыкла к полному и абсолютному хозяйничанью, к абсолютной свободе действий при Кольке. Делала все, как хотела, а он одобрял.

Юрку я побаиваюсь, — как-то по-бабьи, и стесняюсь есть его пищу, хотя ем. Чужой он мне все-таки.

Нет, надо уехать к Мусе, не могу я здесь.

И что я могу отдать теперь ему взамен его забот и любви? Ничего! Я мертвая, ватная, отделенная от мира.

Влачусь по инерции — и все. В этих днях влаченья — 2-3 проблеска, — разговор с Эйхенбаумом, сутки у отца...

5/II-42.

Слабость все больше. Уже и головой работаю плохо. Впрочем, это, наверное, оттого, что очень мало спала сегодня — всего часа три. Надо до обеда поспать.

Хотелось бы написать сегодня о Хамармере, чтоб иметь возможность позвонить ему, м<ожет> б<ыть>, поехать к нему, — хотя я очень хорошо, неприлично хорошо ем сейчас, просто людей стыдно, и совестно перед Юркой: жру его хорошую пищу и вместо того, чтоб крепнуть — слабею.

Я не могу принудить себя — быть ласковой с ним. Он смотрит на меня преданными глазами, заботится, но в то же время — вот детали — у него в чемодане 4 плитки гречи по 400 гр<аммов>, а он сказал — 2. Конечно, все это не пройдет мимо меня, но Колька так бы не поступал...

Ох, боже мой, — какая-то греча, какие-то граммы...

Надо вырваться отсюда в Москву. Я не знаю, зачем мне это надо, но видение Арбата, Сивцева Вражка, Муськиной квартиры и кухни — владеет мною непрерывно, я мечтаю только об этом, это заслоняет все...

Я подкрасила — заново — брови, очень красиво, отеки с лица немножко сошли, а когда сойдут совсем, — вот тощей-то окажусь и морщинистой, совсем старухой. Наплевать. Все равно Коли нет. Не верю. Ой, нет, нет, зачем это я об этом...

Сгрызет меня недоумение, неверие в его исчезновение, недоуменная тоска о нем, — как же так нет, — о, лучше писать о Хамар-мере...

И надо написать хорошо, и поэму так же, наверное, это последние мои вещи, наверное, я все-таки тоже умру от истощения.

6/II-42.

Пустая, тупая жизнь. Целый день занимаюсь или стряпней, или разговорами с Юрой об еде. Он достал просто целое богатство — у нас такая куча риса, что просто стыдно, когда вспоминаешь голодных детей Маруси Машковой. Я, правда, снесла ей около стакана, и он понесет Чуковскому стакан, и А. О. тоже даст, и дал 600 гр<аммов> крупы и 600 гр<аммов> хлеба Яшке и Мироновым, и мы все время подкармливаем Яшку — и т. д., и все-таки как-то неловко, особенно неловко есть здесь, в общежитии, где кругом голодные люди и смотрят с такой завистью, как мы едим полные тарелки рисового супа и густой рисовой каши.

И у нас крадут, — кто-то свой, в общежитии, где все наперечет, крал Валерий, крадет, наверное, курьерша Маня, крадет, видимо, Лешка Алексеев... Мы дрожим за свой драгоценный чемодан, как Кощей, — отвратительно. Мы говорим с ним только о пище: как и что приготовить, и он все время учит меня пустякам, и я не могу перестать стесняться, что ем ЕГО пищу, хотя ем много, — о, неволя, неволя, невысказанная неволя.

Я почти не живу, — ем, бессмысленно сижу в уголку, жалоблюсь, плачу, и лишь когда прихожу в нашу ледяную квартиру — понимаю вдруг, что Коли-то нет, ведь нет, ведь — умер, и начинаю кричать. Тупость необычайная, нерешительность, апатия.

Писатели эвакуируются — я могла бы ехать тоже, но как-то неохота куда-то двигаться, — цели нет.

Есть одна цель и одно желание — в Москву, к Мусеньке. Сама не знаю, почему так хочу туда. Юрка злится, когда я начинаю говорить об отъезде, а я чувствую себя свиньей перед ним, — если б не он,

то даже Мусина посылка недолго продержала бы меня. Вот — сегодня даже слабость меньше, хотя еще, конечно, инвалидное состояние и отек всего.

Ах, боже мой, да что же это?

Нет, кончилась, кончилась жизнь, — ты только пойми, — Коли, Коли нет! И не будет. Вот мне думалось сегодня — станет теплее, приведу в порядок квартиру, — и вдруг — а Коли-то нет! Коля-то никогда не придет в нее... Да не может быть!

Нет, не надо никуда ехать, даже в Москву, надо вот так бессмысленно жить, кормиться около Юрки, пока он не плюнет на меня, и потом будь что будет, — так вот и умереть.

Умирают по 18 000 в день, трупы подолгу лежат на улицах, перспективы со снятием блокады — неясны, отдалены...

А там весна, бомбежки, эпидемия — и если не будет дороги — повальная смерть от голода, — т. к. единственной дороги — через озеро — не будет.

Надо бы, не жалея Юрку, вырваться из мертвого этого города, хоть в тот же Архангельск, если не попасть в Москву, — но нет внутри никакого стимула, никаких позывов и сил. Работать почти не могу.

Надеюсь на что-то, на что — сама не знаю.

Нет! Надо уехать к Мусе! Надо уехать!

Уехать или пассивно ожидать смерти? Отгаять квартиру, плакать и кричать в ней одной, пока не поймешь до конца, что жить невозможно, и с радостным чувством освобождения не покончишь с собою...

Надо написать о Хамармере — неудобно перед ним, и никак не воодушевиться, все какое-то ватное, безвкусное, тупое.

На радио работать стало неинтересно, — что ж, оно почти не говорит в городе, да и все вообще после Колиной смерти кажется мне фальшивым, незначительным, лживым и ненужным.

Надо сказать хорошему, очень хорошему и настоящему Юрке, что я любила и люблю всем существом только Николая, что ему — Юрке — нечего ждать от меня больше, — так будет честнее, зачем ему возиться со мной — с полутрупом, по существу, несмотря на то, что я подкрашиваю брови и мажу все еще очень красивые свои губы...

7/II-42.

Тупость продолжается. Спать хочется. Несмотря на то, что того мучительного чувства голода, как было некоторое время назад, — уже нет, основные мысли — мысли верхнего слоя — об еде.

Какую богатую выдачу получила я сегодня в Союзе! Кило ржаной муки, кило пшеничных концентратов, большую плитку шоколада, 200 гр<аммов> гречи, 200 гр<аммов> песку, 300 гр<аммов> мяса, 130 гр<аммов> чудесного сливочного масла.

Как бы радовался Коля, как бы я его накормила...

Я [по] сначала решила — сожрать шоколад одной, без Юрки, но потом устыдилась и показала ему ее.

Мы съедем ее на пр<оспекте> Кр<асных> Командиров, — мы пойдем туда... Эх, все равно уж! *«Щи-то ведь посоленные!..»* 23/X-42.

Утром мне не придется торопиться и бояться, — не узнал бы Колька о том, что я в эту ночь спала с Юрой. Могу, как хочу.. Свободна-с!.

Но я прибежала к Коле полная настоящей любви и нежности и знала — Юрка — Юркой, а главный-то Коля. Он ничего не знал об этом моем романе, разве немножко догадывался, — он ведь чуть-чуть ревновал к Юрке, он знал только, что я очень люблю его, и был счастлив этим. Уж это-то я знаю!.

А между тем, может быть, меня ждет новое горе. Собирался часам к 7 прийти батька, но перед этим должен был зайти в НКВД насчет [пропуска] паспорта, — и вот уже скоро 10, а его все нет. Умер по дороге? Задержали в НКВД? Одиннадцатый час, а его нет. М<ожет> б<ыть>, сидит там и ждет, когда выправят паспорт? Может, у меня в Ленинграде уже и папы нет?

Народ умирает страшно. Умер Левка Цырлин, умер Оксенов, Гофман, — а на улицах возят уже не гробы, а просто зашитых в одеяло покойников. Возят по двое сразу на одних [суток] санках. Яшка заботится об отправке, — спасении нашего оркестра, — 250 чел<овек>. Диктовал: «Первая скрипка умерла, фагот при смерти, лучший ударник умер».

Кругом говорят о смертях и покойниках.

Неужели мы выживем, — вот я, Юра, Яша, папа?

Наверное, я не попаду в Москву, — очень сложно с дорогой. Снова из Ленинграда тронулся поток эваков. Вчера еще партия писателей уехала, 12–15<-го> еще едут. О, если б это было месяц назад, нет, даже немножко раньше, — в декабре он был уже такой кроткий

и тихий, а я-то так кричала на него, — если б в начале декабря нам вырваться — я спасла бы его...

Пол-одиннадцатого, — папы нет. О, — о, господи...

Занятьсястряпней, что ли? Воспользовавшись отсутствием Юрки, — напечь немножко ржаных лепешек и сделать к ним крем из ложечки сливочного масла?

Все равно, ничего писать не могу...

Папа так и не пришел. Просто не знаю, в чем дело. Он очень хотел прийти — я приготовила ему две плитки столярного клея, кулек мясечки, бутылку политуры, даже настоящего мяса. Что с папой?

Мое омертвление дошло до того, что я даже смеюсь с ребятами...

8/II-42.

Папу держали вчера в НКВД до 12 ч<асов>, а потом он просто не попал к нам потому, что дверь в Д<ом> р<адио> была уже закрыта. Его, кажется, высылают все-таки. В чем дело, он не объяснил, но говорит, что какие-то новые мотивы, и просил «приготовить рюкзачок». Расстроен страшно. Должен завтра прийти. В чем дело — ума не приложу, чувствую только, что какая-то очередная подлая и бессмысленная обида. В мертвом городе вертится мертвая машина и когтит и без того измученных и несчастных людей.

Я ходила к отцу неск<олько> дней назад, как он трогательно и хлопотливо ухаживал за мною, как горевал о Коле. И никогда не забуду я его лица при свете свечки, ставшего вдруг каким-то необычайно милым, детским, когда он сказал мне:

— А у меня, понимаешь ли, какая-то такая жажда жизни появилась, — сам удивляюсь. Вот я уже думаю, как мой садик распланировать, — весной. Деревянный-то забор мы уже сожгли, но я тут моток колючей проволоки присмотрел, — обнесу садик колючей проволокой... Понимаешь, мне семена охота покупать, — цветы сажать; розы. Покупать вообще хочется. Я вот пуговки накупил зачем-то, пряжек, обою хочу купить — комнату оклеить. Страшная какая-то жажда жизни появилась, чорт ее возьми...

В его маленькой амбулатории — тепло, чисто, даже светло — есть фонари и свечи. Он организовал лазарет для дистрофиков, — изобретает для них разные кисельки, возится с больными сиделками, хлопочет, — уже старый, но бодрый, деятельный, веселый.

Естественно-мужественно, без подчеркивания своего героизма человек выдержал 5 месяцев дикой блокады, лечил людей и пекся о них неустанно, — несмотря на горчайшую обиду, нанесенную ему властью в октябре, когда его ни за что собрались высылать, жил общей жизнью с народом, — сам народ и костяк жизни города, — и вот!

Что-то все-таки откопали и допекают человека.

Власть в руках у обидчиков. Как их повывезало, как они распоясались во время войны, и как они мучительно отвратительны на фоне бездонной людской, всенародной, человеческой трагедии.

Видимо, рассчитывая на скорое снятие блокады и награждения в связи с этим, — почтенное учреждение торопится обеспечить материал для орденов, — «и мы пахали!» О, мразь, мразь!

Практически лучше, чтоб отец уехал из этого морга (говорят, что умерло уже около полутора миллионов ленинградцев). Если обида — только обида, чорт с нею, — пусть едет. Доберется до мамы, там устроится, только бы вынес дорогу...

С утра настроение было рабочим, хотелось писать о Хамармере, а сейчас, из-за отца, вновь все кажется ложью и фальшью.

К чему все наши усилия, если остается возможность терзать честного человека без всяких оснований?

Ни к чему! Ни к чему.

Друг мой, ты честен: покинь этот край!

10/II-42.

Я живу теперь микрожизнями.

Вот ястряпаю обед — это целая жизнь, и больше я ничего не знаю, я погружена в нее, — все устремлено к тому — не пригорела бы каша, не ушел бы суп... Событие. Обед приготовлен, эта жизнь замкнулась, — началась новая микрожизнь — еда. Я живу тем, что ем. Я ем теперь очень хорошо, благодаря Юркиному продаттестату и выдаче в Союзе. Ем хлеб с маслом, ем много риса — кашей и супом с мясом.

Я ем, а Колька, наверное, лежит все еще в покойницкой у Николая Чудотворца, — я боюсь позвонить, чтоб узнать — похоронили его или нет? Наверное — нет, т. к. в Ленинграде такое количество покойников, что на кладбище они подолгу лежат штабелями. Я шла к Женьке Ф. за Мусиной посылкой по улице Ракова, поздно вечером,

сугробы, разбомбленный этот дом, ни души, и вдруг я запнулась, чуть не упала — о покойника. Вздрогнула и пошла дальше, — слышу — в пустом, мертвом городе читают по радио мой очерк — о школьниках-партизанах, — всё правда.

У нас еще или просто — нет эмоции, отвечающей на то, что мы переживаем. Запаса эмоций — удивления, гнева, печали, отчаяния — уже не хватает. Отсюда — та тупость, то равнодушие, которым мы отвечаем на гибель близких людей, на ужас происходящего. Я уже несколько дней не плачу и не отчаиваюсь. Я погрузилась в тупость и мелочную бытовую деловитость.

Сегодня была с Юрой у Молчановых, — их милое, полное любви и дружбы жилище — тоже труп. В полумраке (комната, куда Коля впервые привел меня), в копоги живут чужие люди — дикари из-за Московской заставы. Все сдвинуто, испачкано, разорено. В комнате у Линки — полный мрак, вещи лезут друг на друга, вонь, холод, истощенная, почти умирающая Линка лежит под грудой грязного тряпья на постели, где мы спали с Колей незадолго до его болезни — последней...

Я открыла сундук и унесла оттуда часть молчановского белья лучше — полотенца, ночные сорочки. Я рассудила, что если Линка умрет, то дикари это все разворуют, как случилось с Ториной квартирой, — а я осталась жить, мне это МОЖЕТ пригодиться.

— Это Колина квартира, живя в ней, он полюбил меня, здесь он мечтал обо мне в 30 году, — молодой, чудесный, необычайно красивый, — думала я, и это не вызывало во мне ничего, ничего...

Холодное ожесточение какое-то все больше пронизывает меня.

Все больше чувствую, что к Той жизни — возврата нет. Никогда уже не будет в квартире у Молчановых так, как до войны, и даже во время ее, в первые дни, в июле. Если б стало вновь так, — значит, должен был бы появиться вновь и Коля... А вдруг? О, вдруг мне все это только снится?!

Тупость и тупое ожесточение.

Мы едим с Юркой хорошо и помногу, а в комнате нашей — очень голодные люди. Как они заглядывают к нам в тарелки, как они кланчат — словами и делами — у нас, то папирос, то чаю, то воды, — брр, как они все опротивели мне.

Я немыслимо стеснялась есть у них на глазах, — а теперь нет, хоть и стесняюсь, но давя в себе это. Я думаю: «К чорту! Я уже отдала

войне всё, всё, что имела. Мой муж погиб от голода. Довольно. Я теперь имею право есть, когда у меня есть кое-что, я вообще имею право есть и не извиняться перед вами за это. Я имею право отказывать вам, когда вы кланчите у меня. Мой муж издох от голода, а вы хотите спастись и тянете у меня, потерявшей его, последние крохи изо рта? К чорту,дохните, раз лучший из вас погиб. Я вырвала из себя душу, — теперь на хлеб-то я право имею...»

Вот я примерно так думаю и отказываю Половникову и Голубеву в табаке, Лешке А<лексееву> в воде, тому же Половникову — в крупных талончиках.

Рядом с этим ожесточением — большая тревога за Марусю Машкову, жалость к еле двигающей ногами Любарской, к вздувшемуся Лешке Мартынову.

Вчера дала чаю Любарской, Марусе — чаю, кусок хлеба и 100 гр<аммов> пшеничных концентратов, и снесла ей 2 чашки рисового отвара, и кормила Люб<арскую> супом, и Лешке М<артынову> снесли кружку каши из отрубей, и Гинзбург — щепотку чая. Ведь этого люди сейчас почти не делают. Это нищенские крохи, и гордиться этими дачами — нехорошо, но все же мне приятно, что, преодолевая жадность, я могу хоть кроху дать людям, в то время, когда имею право никому ничего не давать... Наверное, я тоже зверею, как тысячи других...

Я на всё теперь имею право, кроме радости.

А между тем, — реально близок конец блокады.

11/II-42.

Людишки сегодня радуются, — прибавили хлеба, 500 гр<аммов> I кат<егории>, 400 — II, 300 — III. В столовых — 50% вырез. Объявлены нормы и, кажется, уже приступили к их выдаче, — по сравнению с январем — очень прилично.

Действительно, настроение лучше. А я, кроме того, получу сегодня в Союзе сухой стационарный паек, — вчера получила 400 гр<аммов> настоящего белого хлеба!

И все это тогда, когда Коли уже нет.

Как немного недотянул он. Как бессмысленно счавкала его, сжевала проклятая машина подлой войны. Я только мгновеньями вспоминаю картины его гибели, — нельзя жить, нельзя жить, если иметь их перед глазами.

Меня ждет еще тоска такая горячая, что, может быть, смерть легче. Я наверняка беременна, — набрякла грудь, есть уже живот, — но, наверное, и это не откроет той темницы, где я теперь нахожусь в тупости и мелочности. О, если б это был — Колин ребенок, хотя и очень страшно иметь от него ребенка.

Нет. Мне надо перестать вести дневник. Это садизм.

Мне сегодня обязательно надо написать стихи о Ленинграде, начатые еще тогда, за рубежом, когда Коля был жив. Я напишу их с той инерцией, как бы до Колиной смерти.

Очень хочу, чтоб они получились...

Надо сходить в Союз, пообедать — и за них...

В Союзе выдали хорошие вещи — 300 гр<аммов> прекрасно-го масла (наверное, грамм<ов> 100 я уже сожрала! И кроме того, кажется, мне дали кусок меньше, чем Рахманову), 500 гр<аммов> великолепной свинины, крупы... Завтра дадут сахарного песка, свеклы и, м<ожет> б<ыть>, даже вина.

О, как радовался бы всему этому Коля! Нет, не надо, не надо о нем...

М<ожет> б<ыть>, еще удастся получить ту корзинку из гастронома, кот<орую> выдают ученым и прочим. Какие-то писатели включены — неужели меня не включили? Узнать у Веры сегодня или завтра?

Вот, — надо писать стихи — и уже тупость, уже мысли об ужине, и спать хочу... Ой, жизнь!

4 утра, сидела над бумагой всю ночь — ничего! Наверное, перестала уже писать, раз жить перестала.

14/II-42.

Я могу лететь в Москву хоть завтра.

12<-го> получила от Муськи хорошую, любовно собранную посылку, — там даже мандарины были, и неск<олько> кубиков шоколадных концентратов, и витамин С с глюкозой (именно то, что нужно, необходимо было Коле), и масло, и чудесная мука...

До невероятия насмешлива жизнь, — как в издевку, все то, что могло его спасти, — пришло позже.

Муська поставила там на ноги всех, кого нужно, и вот сегодня мне звонок от начальника аэропорта — Цейтлина, — у него уже есть разрешение на мой выезд, — спрашивает, — когда хочу лететь.

И опять-таки, — можно ведь было бы улететь с Колей, — спасти его, вырвать из цепенеющих, мертвых рук Ленинграда...

Опоздала, — «На три минуты опоздала.!»

Я эти дни даже не тосковала о нем, — поглощенная посылкой, страпней, уверенностью в своей беременности (это, по-моему, несомненно, — так опухнуть я не могла, — на мне розовый лифчик не сходится!).

Я не тосковала о нем и не ужасалась его смерти, даже смеялась и кокетничала с Юркой, а сегодня пришла из Союза, Юрка стал опять мелочно руководить мною: «Иди делай то да то», — все, что я знаю, — указывать, и вдруг у меня сердце так и рвануло! Боже, как я мучила Колю последнее время, — я ведь вот так же руководила им и указывала ему в самых мелочах, распоряжалась им — ешь так, а не так, и т. д. А он-то как кротко все выносил, но ведь томился же этим, ясно, — он ведь даже говорил мне: «Лешенька, да неужели ж я такой кретин стал, что ты мне так указываешь?»

Я мучила его дико — любя и страдая за него — мучила... Я знаю это теперь — по себе.

Нет, в Москву, к Мусе, к Мусе!

Хотелось бы, конечно, дожждаться конца блокады, но, видимо, этого все же в феврале не дождешься.

Только бы написать — на прощанье — нужное, — стихи «Январский дневник», о Хамармере, и т. д. Начало у стихов — есть, а потом заело. Сегодня целый день проболталась в Союзе — за едой. Полтора часа выстояла около базы райкома, чтоб получить 100 гр<аммов> масла и 500 гр<аммов> пшена. Надоело это унижение! А когда шли с Юрой в Союз — где-то близко рвались снаряды, и над головой треснула шрапнель, — я боялась, и вот сейчас идет стрельба, хотя уже ночь, — тоже надоело...

Мне жаль оставлять Юрку, — хоть и раздражает он меня... Он часто — зануда, но настоящий, чудесный парень.

Завтра придется писать, — спать хочу мучительно.

Завтра надо написать это и «Фюрер гадает».

Послезавтра, — обязательно, — Хамармера.

15/II-42.

Просто позор — ем так, как никогда не ела до блокады, помногу и все настоящее, не эрзацное, а состояние апатии, вялости, какого-то внутреннего оупения, омертвения — как будто бы увеличивается!

К чорту, к чорту! Скоро — отдых, относительный, конечно, но все же, — надо мобилизовать все силы, и достойно, интересно, нужно для ленинградцев выступить перед концом блокады — или, вернее, перед хорошими вестями к дню Кр<асной> Армии.

Сегодня опять опухшая рожа, опять побаливает спина, и апатия безысходная, — моментами, при каких-то ярких, больших воспоминаниях о Коле — неудержимая почти потребность — рыдать и кричать.

О, Коля, Коля, боже мой, ведь это на самом деле тебя нет, а я сучусь по каким-то дурацким делам, забочусь о 500 граммах крупы...

21/II-42. — 22/II-42.

Когда я думала о смерти Коли, для меня было несомненно, что я умру тотчас же.

На сегодняшний день я пополнила, очень похорошела, и вчера ночью целовала Юрку с диким желанием, с трепетом во всем теле и допустила даже, чтоб он взял меня, на узеньком диване, в комнате, где спало еще 6 человек.

22 <февраля>. Он смотрит на меня теми влюбленными, глуповатыми от любви и счастья глазами, как осенью, во время тех диких бомбежек, когда мы сидели в бомбоубежище и за стеной лопалось и трещало. А Коля был дома, один, я мучилась тем, что оставляла его там, как бы сбегала от него, звонила в пустую квартиру, в ЖАКТ, — узнать, цел ли дом.

Но множество бомбежек мы провели вместе, — у подъезда, на солярии, на крыше, в швейцарской, в квартире.

Солнце мое, Псоич, Коленька, душа моя, — не может быть, чтоб ты ушел совсем, навсегда. Нет, тут что-то не то, и я не хочу вдумываться во все это, зачем терзать [т]себя, — ты вернешься, ты скажешь еще — «Лешка...»

Я написала, все-таки, большую стихотворную вещь, нечто вроде лирической поэмы — «Февральский дневник». Не все строфы достигли нужной сердцу прозрачности и веса, — но могу сказать

прямо — большинство стрóf прекрасны, больны, живы, как сама жизнь. Большинство стрóf — почти не стихи, как стихи об Ирине и тюрьме, и это то, что надо. И в целом вещь существует, хотя в дальнейшей работе постараюсь удалить из нее всю абстракцию, декларационность, декларативность. Сделаю ее еще более личной, и если оставлю декларации — то почти исключительно личные.

Пожалуй, это лучшее, что я написала за время войны, и очень мое, такое же, как тюремные стихи.

Юра был в восторге, и Яша тоже, и буквально все настоящие люди тоже, кто читал поэму, — плакали и трепетали, и говорили, что это то, что они хотели бы написать и сказать о себе и Ленинграде.

Ходоренко потащил ее в Смольный, там некто Волкова, Гришкевич, Бедин (все «секретари по культуре»), по его словам, тоже были в восторге, просили себе «экземплярички», говорили, что надо ее срочно издать отдельной брошюрой и т. д. Поэма вернулась в радиокомитет с резолюцией, где было сказано: «стихи настолько хороши, что над ними надо еще посидеть...» (!?), и с пометками, которые могут делать только дикари типа Гришкевича, который называет художественные вещи «кусками» и [считает] говорит, что «сейчас Гете поднимать мы не будем».

Туда были вписаны стихотворные строчки, пожелания — ввести в самое трагическое место «две строчки о морозной ленинградской ночи», и, читая эти пометки, я испытывала то чувство стыда, которое не позволяет взглянуть в глаза обижающему тебя человеку, возразить ему, сказать, что он — дурак и тупица. Настолько это явно и отвратительно — жалко даже этого человека бывает.

Пожалуй, надо все-таки начать говорить им, что они дураки, и унижать их.

Но 1–2 замечания были такие, что можно было посчитаться с ними (чтоб спасти все основное, чего они не поняли), и я сделала маленькие изменения, почти ничуть не испортившие поэму и не изменившие ее мысли. Ходоренко вновь потащил ее — к «самому» Шумилову.

Я должна была выступать с нею по радио в 9–30, в 9¹⁵ звонок Ходоренко — снять с передачи.

Юрка и Яшка были взбешены до предела. Я отнеслась к этому почти без реакции, но сразу же позвонила Цейтлину, что хочу 25<-го> лететь в Москву. Он сказал, что позвонит мне, — ох, это что-то

ненадежно, что, видимо, придется подождать от 2 до 5 дней, но что к 8 марта я в Москве буду.

Видимо, случится что-нибудь такое, общее или частное, что я не буду в Москве.

Странно, но видение Сивцева Вражка покинуло меня последнее время. Я могла бы уже улететь давно, если б сразу после телеграммы Фадеева вцепилась в Цейтлина, но мы все ожидали прорыва блокады к 23/II, и я хотела встретить этот день здесь, в Ленинграде — на могиле Николая.

Но Юра принес сегодня из полка дурные новости: Мерецков вынужден окопаться, — а двигался все время отлично, у Федюнинского заело тоже, а немец подтягивает силы к Белоострову, чтоб ворваться в город и ударить нашим армиям в тыл. Армии эти — истощены, почти безоружны, — в одной из дивизий 55-ой, наступавшей с Колпина, — 90 активных штыков.

И я подумала, что недостойно теперь, в таких обстоятельствах, когда вновь нависает смертельная угроза, улетать из Ленинграда. Что надо быть здесь, вместе с Юрой, любящим меня хорошо и преданно, вместе с мучительно-прекрасной тенью Николая.

(По радио передают предпраздничный концерт, играют хорошую музыку и одну за другой песни мирного времени. Слушать это — боль нетерпимая, а слез нет, нет желанного, отрадного рыдания. На улице глухая, тяжелая стрельба, — м<ожет> б<ыть>, это наши корабли, м<ожет> б<ыть>, немцы. Они последние дни страшнейше обстреливали город, вчера на глазах у Юрки оторвало двоим головы осколками снарядов.)

Итак, я подумала, что надо остаться здесь, с Ленинградом, с Юрой, с Колей. Зачем? Не знаю. Но чувствовала, что надо. После звонка из Смольного — позвонила Цейтлину и встревожилась, и [1 сл. нрзб] тревожусь — вдруг не улечу? Не потому, что — ах, меня обидели, я уезжаю. А потому что вновь, как в истории с папой, — резнул вопрос, — да во имя чего же мы бьемся, мучимся, обмирая, ходим под артобстрелом, готовимся к гибели? Во имя того, чтоб владычили Шумиловы и Волковы? Ведь они же утвердятся в случае победы, им зачтут именно то, что они делают, — [т. е.] а их деятельность состоит сейчас в усиленном умерщвлении живого слова, в уродовании его — в лучшем случае. Им ведь ордена за это дадут! Мне не надо орденов, плевала я на них, я хотела бы только сказать

людям то, чем горит мое — и я знаю — их сердце. Но и это на 99% не удастся!

Зачем же мне мытариться в Ленинграде?

Не пора ли выйти из войны?

Уехать к Мусе, стряпать для нее и себя, беречь Степу, м<ожет> б<ыть>, немного писать, читать, жить тихо, жить внутренней жизнью, — без страстей, в некоем оцепенении душевном и равнодушии, от которого и сейчас уже много чего во мне...

У меня нет сейчас ярко очерченных желаний. И сплошная нерешительность какая-то. В сентябре я активно не хотела покидать Ленинград, а сейчас — не знаю.

В общем, — предадимся судьбе. Будем одинаково терпеливо и безразлично относиться к обоим вариантам судьбы. Улечу — ладно, не улечу — ничего особенного, тем более что мучительное, мерзкое чувство голода [мне] уже более 2 недель стало для меня воспоминанием. А возможная гибель — только закономерность. Нет, я хочу жить, — вернее, я ЗНАЮ, что хочу жить, знаю это, как о другом человеке. В том оцепенении, в которое я впала со дня смерти Коли, было, кажется, два или три мгновения, когда через меня пробежала жизнь, — когда бесслезно рыдала над некоторыми своими строфами из «Февральского дневника», третьего дня ночью, когда охватила стремительная страсть к Юре, внезапные порывы бездонного отчаяния по Коле.

Нет, надо уехать. Здравый смысл за это: здесь я не сохраню ребенка, и мне кажется, что гибель моя где-то близко.

Непрерывная, страшная стрельба, точно кто-то кулаками по городу колотит. Похоже, что это наши¹.

Ребята говорят еще, что в Москве я могу «сделать важное дело», — издать книжку своих стихов. Юра говорит даже, что ее должны представить на Сталинскую премию — и т. д.

Пустяки все это.

А что, собственно говоря, для меня теперь важно? Мне думается, что уже ничто не в силах заставить меня ЕЩЕ горевать. К прекращению беременности я отнеслась бы, наверное, почти равнодушно, хотя мне хочется сохранить ребенка — дитя двух отцов, по-разному любимых, дитя Войны и блокады.

¹ Абзац взят в квадратные скобки.

Я не хочу терять Юру, не хочу отрываться от него, но, наверное, его гибель ничего не прибавила бы к той пустоте, которая заполняет меня.

Да, темная пустота; к пустоте ничего не прибавишь, ее нельзя ни увеличить, ни уменьшить.

Удивительно я сегодня равнодушна и спокойна...

Покрасить брови, что ли?

Завтра собираемся с Юрой на проспект Красных Командиров. Страшновато как-то туда идти. Я была там последний раз еще при жизни Коли.

Нет! Пусть не будет равнодушия этого, когда мы придем туда. Если буду любить Юрку, если буду радоваться — буду, буду без оглядки на братскую могилу, буду этой радости принадлежать совсем.

И я знаю — Колька одобрил бы это с грустью и восторгом, — он был бы за торжество жизни.

(Дичайшая стрельба. Может быть, с Карельского рвутся немцы? Может быть, и мне, и Юре осталось существовать несколько дней — или часов? Он спит, и все в комнате спят, — вот сейчас, перед тем как лечь, подойду и буду целовать его.)

Он так хорош, — так красив последнее время, так нежен и влюблен в меня и мои стихи. Боже мой, да ведь это — живой человек, мой человек, хороший, с настоящим сердцем... Улечу или погибну, и он не узнает, как нежно относилась я (любила?) к нему. И он тоже не узнает. И ему, как детям и Коле, ничего не успею ни сказать, ни обрадовать так, чтоб был переполнен счастьем и жизнью. Нет, надо успеть! Надо успеть... Теперь у меня — живого, здесь, в Ленинграде — ведь только он.

О, скорее, — хоть ему успеть подарить настоящее счастье... (Неверно написала — «хоть ему», — несмотря на все огорчения, которые я приносила Коле, — он был счастлив со мною.)

А Москва... улечу — хорошо. Не буду томиться этим, хотя хочу к Муське. Еще много дела: перепечатать книжку, составить план «Говорит Ленинград», привести в полный порядок квартиру на Троицкой (как страшно оставлять наши с Колей книжки!), собраться... Сколько микрожизней впереди, — подумать только...

Сейчас покрашу глаза, чтоб быть завтра красивой, и буду целовать Юру, и завтра, в день Красной Армии, — наряжусь, как осенью...

Три часа ночи. Я чудеснейше подкрасила глаза. Артиллерия грохочет, не умолкая, как безумная. Наверное, это отбивают наступление немцев. А может быть, я не успею улететь в Москву. Я улете-ла бы, если б не осталась ожидать конца блокады.

25/II-42.

Непрерывное ожидание смерти все-таки томительно и тоскливо. Около 2 часов дня начинается с немецкой педантичностью артоналет, — вот и сейчас то же, стекла у нас звенят, ежеминутно может ворваться в комнату снаряд.

Не жизнь, не смерть — промежуточное существование.

Третьего дня мы решили с Юрой пойти на проспект Кр^{ас-}ных Командиров. Я наварила плову, взяли коньяк, хлеб и т. д., — воды бидончик, — пошли. Шли бодро.

Приходим, — а дверь не открыта, — Надя была и закрыла ее еще на один ключ. Но Юрка открыл обе створки, и мы вломились в наше [убе] жизнеубежище.

Господи, что мы увидели! В комнате был уже совершенно нежилой вид; она была мертвая: она умерла в те же дни, когда умирал Коля... дрова унесены — нельзя развести огонь, подушки, одеяла тоже, даже скатерти сняты, сор и битые стекла на полу, все сдвинуто, все охолодало, продрогло, помрачнело. Ни согреться, ни укрыться, ни пищи вкушать по-людски — нельзя. При свете свечки все это выглядело еще угрюмей, бедней, разореннее.

Война добралась и сюда и окончательно разгромила обитель, приют, пристань двух человек, прибегавших сюда порадоваться друг другу, подуть на ожоги друг друга, вместе разделить боль и ужас, чтоб одолеть их, и на несколько минут позабыть о них.

Мы сидели, не раздеваясь, подавленные, грустно смеясь и подшучивая над жестокой обидой себе.

Первое желание было — встать и уйти, убежать отсюда, от этих совсем уже пустых книжных полок, от мусора, от ободранных, полуразнесенных давней бомбежкой окон, с которых были сняты теперь ковры.

Но я подмела пол, покрыла стол отысканной тряпочкой, поставила покрасивей пищу (кое-какая посуда осталась), раскупорили коньяк.

И вечер провели хорошо, я сказала ему все, что надо было сказать, что любила и люблю Колю больше всего, что ребенок, по всем данным, — его, а назвать я хочу его — Степан Николаевич Молчанов (он сказал, будто это «паскудненький Гиньоль», — ревнует!), и он целовал меня, и я радовалась его ожесточенной, жадной ласке, и мы уснули одетые, в пальто; вместо подушки в головах был половик.

Он очень любит меня, и он неустойно говорил об этом, и твердил, что счастлив невысказанно, как никогда в жизни, и чудесные глаза его сияли действительным счастьем, и несколько раз жизнь шла через меня радостно, жгуче, любовно.

Утром, когда уходили, на район был дикий артоналет, и снаряды свистели над нашим домом без секундной паузы, как в зоомагазине птицы. Нас не убило, хотя ложились везде, близко. Мне было страшно, я хотела жить и, очень стыдясь своей трусости, уговорила его обождать налет в подъезде...

А когда пришли в Дом Радио, оказалось, что из Москвы приехала Муська, моя сестра.

Она приехала к нам на грузовике, с продовольственными посылками для Союза Писателей, мне тоже — большая посылка, и она кое-чего привезла.

Она ехала кружным путем, одна с водителем, вооруженная пистолетом каким-то, в штанах, в полушубке, красивая, отважная, по-бабьи очаровательно-суетная. Спала в машине, вступала в переговоры и споры с комендантами, ночевала в деревнях, только что освобожденных от немцев, забирала по дороге письма и посылки для Ленинградцев.

Горжусь ею и изумляюсь ей, — вздорной моей, сварливой Муське — до немоты, до слез, до зависти. Хочет как можно быстрее выволочь меня отсюда — и так напирает, что я вроде как способность к самостоятельным действиям утратила и такой жалкой себе кажусь!

Она привезла много отличных вещей, — 3 кило шоколаду, 4 банки сгущенного молока и т. д. Кое-что возьмем обратно в Москву — там тоже плохо, — порядочно отдаем папе, хочу хороший подарок сделать Марусе Машковой.

А в свой отъезд — тем более на самолете, — все больше не верится. Ну, могу и на машине — с Муськой, и это было бы лучше всего, но рискованно — могу вытрясти ребенка...

Надо собрать Марусе подарок. Хорошо было бы дать ей банку молока, — да жалко все же...

1 марта 1942 г Москва.

Вот я и в Москве, на Сивцевом Вражке.

О, поскорее обратно в Ленинград.

Моего Коли все равно нигде нет.

Его нет. Он умер. Его никак, никак не вернуть. И жизни все равно нет.

Здесь все чужие и противные люди. О Ленинграде все скрывалось, о нем не знали правды так же, как об ежовской тюрьме. Я рассказываю им о нем, как когда-то говорила о тюрьме — неудержимо, с тупым, посторонним удивлением. До меня это делал Тихонов. Я была у него сегодня, он все же чудесный.

Нет, они не позволят мне ни прочесть по радио Февральский дневник, ни издать книжки стихов так, как я хочу... Трубя о нашем мужестве, они скрывают от народа правду о нас. Мы изолированы, мы выступаем в ролях [<1 сл. нрзб>] «героев» а la «Светлый путь»...

Я попытаюсь издать книгу (не ради себя!) и выступить, и читать свои стихи, где можно, но это все на 50% напрасно, они все равно ничего не понимают, а главное — ни на миг это не исправит ничего!

О, Коля... О, как же это случилось... Какая жизнь у тебя была трудная и горькая, как мало счастья ты видел, и умер, не дождав-шись его... Нет, мне надо было быть с ним в последние его минуты. Может быть, он узнал бы меня и я успела бы сказать ему, объяснить ему, как я люблю его. Может быть, он умер бы счастливым.

Господи, хоть бы скорее приехала Муся.

Жива ли она? Жив ли Юрка?..

Господи, господи... Нет, нельзя жить...

Аще забуду тебя, Иерусалиме...

9 марта 1942 года Москва.

Между одним словом, которое я написала в этой тетрадке 22 июня 1941 года, и сегодняшним днем прошло почти 9 месяцев войны. Между двумя этими страницами я могу вложить довольно много листов, блокнотов, тетрадок — записей, сделанных за дни войны.

Я долго не решалась продолжать эти записи в этой тетради.

Как все, что было до войны — эта тетрадь со всеми ее записями — мучительно ранит меня. Впрочем — пусть ранит, пусть. Я не заслужила ничего лучшего, кроме ран и муки. То, что люди любят меня, заботятся обо мне — их глубокое заблуждение. Да и мне и не надо ничего этого.

За это время, ничтожные записи, о котором уместятся между двумя страницами... — хотела перечислить, что было за это время, но просто перечислять — невыносимо, и даже для простого перечисления нужны тома.

Я с удивлением почти мистическим читаю свою запись от 4/VI-41. Да, вот так и вышло: война сжевала Колю, моего Колю, — душу, счастье и жизнь.

Я страдаю отчаянно.

11/III-41¹.

Я совершенно не понимаю, что не дает мне сил покончить с собою. Видимо — простейший страх смерти. Этого-то страха мы с Колей и боялись, когда думали о смерти друг друга и о необходимости, о потребности умереть после смерти одного из нас.

Но он бы все-таки не струсил, а я медлю; люминала, который остался после него, наверное, хватило бы на то, чтоб отравиться.

Нет, я не тешу себя мыслью о самоубийстве. Мне просто очень трудно жить. Мне надоело это. Я не могу без него.

Меня когтит мысль о том, как страшно и бессмысленно погиб этот изумительный, сияющий человек. Я ужасаюсь тому, что осталась без его любви. Но пусть бы даже разлюбил, — я и недостойна была этой священной его, рыцарской любви, — только пусть бы жил, пусть бы жил...

Нет! Нельзя, недостойно, бессмысленно жить!

12/III-42.

Живу в гостинице «Москва». Тепло, уютно, светло, сытно, горячая вода.

¹ Вероятно, ошибка в датировке. Правильно: 1942 г.

В Ленинград! Только в Ленинград... Тем более что вовсе не беременна — опухла просто.

В Ленинград — навстречу гибели... О, скорее в Ленинград! Уже хлопочу об отъезде...

14/III-42.

И все-таки живу.

Сегодня — новая издевка жизни, я бы сказала, какая-то даже непристойная: оказывается, я не беременна. Был врач, обследовал и заверил, что никакой беременности нет. А я растолстела немислимо, и живот, живот — на добрые 6 месяцев с виду...

Господи, столько шумела, — Шолохову хвасталась, он очень доволен этим был, в кумовья просился, я всем об этом раззвонила и ходила — не убирая живот, — и вот, будьте любезны — блеф. М<ожет> б<ыть>, это уже просто климактерия, — бесполость, бесплодие? И вот жирею на этой почве... А на морде появились какие-то пятна, но главное — этот отвратительный (если не беременность) — живот, и раздутая талия вместо моей осинной, гибкой.

Завтра пойду к профессору — проверю еще раз.

Просто не знаю, как писать об этом Юрке...

Значит, Коля умер, не оставив мне ребенка. Я так всегда боялась этого. О, как мы горько жили, как несчастно жили, как бесплодно погибаем, — без нашего ребенка. Он все равно был бы нашим ребенком.

В Ленинград.

В Ленинград — навстречу гибели, ближе к ней, хоть я и боюсь ее.

Сегодня шла по Москве, — пурга, ветер, а в мутном небе — гул самолетов, — и так страшно стало — вот сейчас будут бомбить. Гадость, что боюсь этого.

20/III-42.

Из Ленинграда прилетели Томашевские и Азадовские. М<ожет> б<ыть>, Ирина придет ко мне. Она говорила что-то, что Ленинград сейчас в кризисном положении, — видимо, немцы делают еще попытку взять Ленинград.

А я на кой-то хрен болтаюсь здесь.

Совершенно ясно, что книжку стихов в таком виде, как она у меня есть, — не примут и не издадут. Здесь не говорят правды о Ленинграде — не говорят о голоде, а без этого нет никакой «героики» Ленинграда. (Я ставлю слово героика в кавычки только потому, что считаю, что героизма вообще на свете не существует.) Писать такие рассказы, как Тихонов, — я могу, конечно, — и даже они немаловажная вещь в заговоре молчания вокруг Ленинграда, но это все не то, не то...

Единственное, что удалось мне сделать для наших ребят, — это выклянчить в Наркомпищепроме 7 ящиков апельсинов и лимонов, 100 банок сгущенного молока, 10 кило кофе. Это всё же! Сегодня моталась — собирала по разным складам лекарства, — собрала. Вот завтра еще все это отправить самолетом в Ленинград — и все-таки хоть кое-что можно считать с моей стороны для Ленинграда сделанным.

А для слова — правдивого слова о Ленинграде — еще, видимо, не пришло время... Придет ли оно вообще? Будем надеяться.

Известие об опасности Ленинграду как-то наполнило меня жизнью — вообще, сквозь все, в мелочах и заботах — живу одним — всепоглощающей, черной, безысходной скорбью о Николае, видении его, тоскою о нем — женской и человеческой.

Но вот теперь немцы грозят измученному городу новым ужасом. Я не хочу, чтоб они гадили на братскую могилу, где вместе с другими, скрюченный и страшный, лежит мой прекрасный, мой единственный человек. Я не хочу, чтоб они убили Юрку — живого, любящего меня, такого человеческого и красивого. Я не хочу, чтоб они уродовали Яшку.

Я хочу быть вместе с ними. Хочу быть с Юркой. Я не грешу этим перед Колей, — мертвого я люблю его как живого и плотью и душой — больше всех. Я не грешу перед ним тем более, что, м<ожет> б<ыть>, меня ожидает участь еще более страшная и печальная, чем его. М<ожет> б<ыть>, он уже счастливей меня.

Господи, хоть бы пришла Ирина, чтоб узнать от нее, что с городом!

Да, скорее туда, обеспечив тут, елико возможно, милую мою Мусю.

23/III-40¹.

Сейчас ездил на аэродром, сдавать груз для радиокомитета. Чудесное, розово-голубое утро, пахнет весной. А Коли нет. Мне до галлюцинаций ясно представляется, — ощущается — Троицкая улица, наша квартира, — утром, вот таким же, когда солнце и разлитые в воздухе голубые и розовые краски. Но ведь там же НЕТ, НЕТ Коли. Я вернусь туда, — а он не придет. Там будет все так же, но его не будет. Нет, — на свете не существует ничего, кроме его смерти.

Господи, что делать. Я не могу жить. Мука становится все огненнее. Меня корчит в ней, дышать нечем — физически... Боже мой, что же делать, — не могу, не могу так жить, никакого смысла нет.

Ирина рассказывала о Ленинграде, — там все то же: трупы на улицах, голод, дикий артобстрел, немцы на горле. Теперь запрещено слово «дистрофия», — смерть происходит от других причин, но не от голода! О, подлецы, подлецы! Из города вывозят в принудительном порядке людей, люди в дороге мрут. Умер в пути Миша Гутнер; я услышала и тотчас подумала: «Скажу Кольке». Я все время, все время так думаю. Но его нет. Я все еще не отправила письма Молчановым — страшно.

Третьего дня после рассказов Ирины ходила в смертной тоске, с одним желанием: «В Ленинград; в Ленинград — и там погибнуть».

Очень хочу туда, хотя страшно туда ехать. Наверное, умерла Маруся, умерли Пренделюшки — или вывезены. Жив ли отец? Цело ли бедное наше гнездо на Троицкой, наши книги, Колины рукописи? Может быть, они уже разнесены снарядами? 20<-го> Юрка был еще жив и здоров — а теперь? Смерть бушует в городе. Он уже начинает пахнуть, как труп. Начнется весна — боже, там ведь чума будет. Даже экскаваторы не справляются с рытьем могил. Трупы лежат штабелями, в конце Мойки целые переулки и улицы из штабелей трупов. Между этими штабелями ездят грузовики, с трупами же, ездят прямо по свалившимся сверху мертвецам, и кости их хрустят под колесами грузовиков.

В то же время Жданов присылает сюда телеграмму с требованием — прекратить посылку индивидуальных подарков организациями в Ленинград. Это, мол, вызывает «нехорошие политические последствия». На основании этой идиотской телеграммы мы почти ничего не смогли достать для Р<адио>К<омитета>.

¹ Вероятно, ошибка в датировке. Правильно: 1942 г.

У меня страшная, инстинктивная тревога за город. Его сейчас взять проще простого: кто же будет драться? Армия, стоящая в кольце, истощена. Население вымирает. (По официальным данным умерло около 2 миллионов!) Город ждет страшная судьба.

Вообще, такое чувство, что мы опять завязли: весна на носу, а у нас нет решающих побед. Гитлер же, видимо, не терял времени. Ужасной будет эта весна!

Господи, хоть бы со мной что-нибудь поскорее случилось...

25/III-42.

Сегодня была на приеме у Поликарпова — председателя ВРК. Остался очень неприятный осадок. Я нехорошо с ним говорила, я робко говорила, а — наверное, надо было говорить нагло. Я просила отправить посылку с продовольствием на наш радиокомитет. Холеный чиновник, явно тяготясь моим присутствием, говорил вонючие прописные истины, что «ленинградцы сами возражают против этих посылок» (это Жданов — «ленинградцы!»), что «государство знает, кому помогать» и т. п. муру. О, Иудушки Головлевы! Проект нашей книги «Говорит Ленинград» не увлек его. Что касается вызова ребят сюда, — оказывается, он предлагал это Ходоренко, но тот заявил, что «ленинградское руководство будет против этого категорически возражать», и отказался от этого предложения. Ходоренко же заверил Поликарпова, что «все отправил и достал», — а это капля в море, то, что *Я* выклянчила. Гавнюк-то чортов!

В невыносимой тоске по Коле я не ощущаю живого чувства к Юре, но, когда подумаю, что этот ладный, милый, с ясными добрыми глазами и крылатыми бровями парень лежит с пробитым осколком черепом, — хочется визжать, выть по-собачьи от тоски. Война надолго, надолго! Еще берега не видно этой печали, этой горечи.

Очень трудно выжить, выкарабкаться из этой каши.

27/III-42.

Вчера из Вологды получили телеграмму от отца: «Направление Красноярск, просите назначить Чистополь. Больной отец». Я, наверное, последний раз видела его в Ленинграде в радиокомитете. Его уже нет в Ленинграде. Он погибнет, наверное, в дороге, наш

«Федька», на которого мы так раздражались, которого мы так любили. О-о!...

В Ленинград! Скорее в Ленинград, ближе к смерти. Она все равно опустошает все вокруг меня. Все уходят, все падают. Что с Юрой-то? Почему от него нет ни слова. Двадцатого он был еще жив. А сегодня? Сейчас?

28/III-42.

Только что была ВТ. В Москве во время ВТ работает радио, поют, говорят и играют. Вначале меня рассмешило, как дикость, когда сразу после воя сирены дали разухабистую русскую песню, а потом даже понравилось, — что ж, пускай поют, не слышно бомб...

29/III-42.

Опять воздушная тревога. В комнате громко говорит радио, и рокота зениток почти не слышно. Не уходим из номера, и это зря, — надо было бы побережь Муську. Я не то что совсем не боюсь, а как-то не могу решить — идти в убежище или нет.

Сегодня была на 7 симфонии Шостаковича. О, какая мука, что нельзя рассказать об этом Коле, какая обида и несправедливость, что он не услышит ее. Как он любил музыку, как благоговейно относился к ней.

Я внутренне все время рыдала, слушая первую часть, и так изнемогла от невыносимого напряжения, слушая ее, что середина как-то пропала. Слышали ли ее в Ленинграде, наши? Мне хочется написать им об этом. Может быть, это можно будет передать по радио. Я завтра найду к Шостаковичу, подарю ему свою поэмку, попрошу его написать несколько строк для ленинградцев, и если удастся написать о концерте — отправлю в Ленинград с оказией.

1 апреля

Позавчера — огромные письма от Юрки, — пламенные и нежные до безбоязненности.

Он пишет, что любит меня, что жаждет моей любви «давно, безраздельной»; узнав, что ребенка нет, — зовет в Ленинград.

Наверное, он и в самом деле любит меня; странно, что это удивляет меня, вызывает какое-то недоумение, сомнение, — а вот Колина [*<1 сл. нрзб>*] любовь была для меня несомненна и вызывала изумление гордое, — я гордилась собой за то, что он меня любит. Я все еще ощущаю, и особенно после Колиной смерти, — Юрку как чужого, и испытываю к нему иногда неприязнь за то, что Коля ревновал меня к нему, не любил его, я оставляла часто Кольку ради Юрки, когда была влюблена в него. И из-за этого я испытываю к нему неприязнь, что-то отталкивает меня от него. Я не могла бы сказать сейчас, что люблю его. Я чувствую к нему нежность, чуть покровительственную, он нравится мне, он мне мил и дорог. Позавчера была почти счастлива от его писем и думала о Ленинграде уже не как о месте гибели, но как о месте жизни, где дышать можно будет, — здесь я ничего не делаю и не хочу делать, — ложь удушающая, все же! — здесь я томлюсь, и жизни во мне — только любовь к Муське. Но я уже вся — в Ленинграде. И когда я вернусь в Ленинград, я, наверное, буду любить Юрку, настолько, насколько могу чувствовать сейчас вообще.

С. Абольников

46 п/п «Арм<ейская> газета»

«На разгром врага»¹.

Я — баба, и слабая баба. Мне нужен около себя любящий, преданный мне мужик.

Иногда я думаю: «А, смерть на носу, солнце мое, Псоич, Колька, — я отдам Юрке остатки сердца, — куда их мне, отдам ему счастье, которого он жаждет...» Да, так и надо, надо отпустить сердце.

Но он стоит передо мною, таким, как я видела его последний раз, — со скрещенными, сведенными на груди руками, голый, мокрый (это он от холода так скрестил руки), с болезненной гримасой, растоптанный, размолотый беспощадной машиной войны...

Нет, отпустила я его руки, устала и не могла превозмочь усталость, устала от него. Предала его. Нет, это неправда, — не предала, а оказалась слабой и малодушной.

Как зовет меня к себе Юрка! Но ведь это — изменить Коле! Я НЕ ИЗМЕНЯЛА ЕМУ — никогда. Отдать сердце Юрке — изменить ему...

¹ Пометы рукой О.Ф. Берггольц по верхнему полю справа.

Надо написать для радио о Хамармере, обещала им же об отце, — но об отце писать не буду. Если не написать о нем всего, и о себе тоже — значит, соврать, а врать о Ленинграде я не хочу. Юрка правильно чувствует, что работать я могу только в Ленинграде; я написала им о концерте Шостаковича; по-моему, хорошо вышло. Жаль, если он не напишет ничего для Ленинграда, если ему не понравится «Февр<альский> дневник», который я дала ему прочитать. У меня приняли книжку, приняли в «Кр<асную> новь» «Февр<альский> дневник», он вообще пользуется здесь огромным успехом вплоть до ЦК. У меня сейчас хорошее имя. Зачем портить его ложью?

О Хамармере напишу во весь голос и не дам портить. Видимо, на этом мои отношения с радио кончатся.

Ну, попробую написать о нем, потом выпьем с Мусей и буду писать стихи.

Скорей бы в Ленинград! Только как вот Муська моя! Как страшно с нею разлучаться! Э-хх, жизнь!

2 апреля.

Дни бегут неудержимо. Я, так сказать, не сделала в Москве ничего существенного. Полагаю, что этим не стоит удручаться, — все это было нужно только ради суеты. Правда, надо еще сделать попытку напечататься в «Правде». Но кое-что печатать не хочется, «Февр<альский> дневник» не напечатают, а новое — не пишется. Вот даже Хамармера никак написать не могу, а о Ленинграде — и подавно невозможно. После смерти Коли ложь стала совершенно для меня непереносимой. Я, вообще, могу сейчас писать только о себе и только в связи с его смертью, даже не упоминая его. Эгоцентризм горя, видимо. Да, я очень мало «преуспела» в Москве. Ничего! Не в этом дело. Зато я не «затруднялась», как говорил Колька. Да. Нет смысла затрудняться, — и так паршиво жить, — зачем создавать себе дополнительные тяготы в виде тщеславия и т. д.

3/IV-42.

До удивления обкидало какой-то пакостью все лицо и даже грудь, — никогда ничего подобного не было. Наверное, перехватила витаминов — и вот, диатез... А впрочем, — неважно.

Получили письмо от отца, с какой-то станции Глазовой, от 28/III. Он пишет: «Родные мои, обратитесь к кому угодно (к Берия и т. д.), но освободите меня отсюда». Он едет с 17/III, их кормят один раз в день, да и то не каждый день. В их вагоне уже 6 человек умерло в пути, и еще несколько на очереди. Отец пишет: «Силы гаснут, страдаю животом...» Он заканчивает письмо: «Простите меня за все худое...»

Боже мой! За что же мы бьемся, за что погиб Коля, за что я хожу с пылающей раной в сердце? За систему, при которой чудесного человека, отличного военного врача, настоящего русского патриота вот так ни за что оскорбили, скомкали, обрекли на гибель, и с этим ничего нельзя было поделать?

А ведь «освободить» отца почти невозможно. Кто же будет заниматься спасением какого-то доктора? «Спасают народ!» К кому кинуться? Писать челобитные — я же знаю по опыту, что это просто волокита. Попробую поговорить завтра с Фадеевым, но разве этот вельможа сделает хоть что-либо реальное? Вот центр<альный> клуб НКВД просит устроить им вечер и выступить у них. М<ожет> б<ыть>, там удастся растрогать кого-нибудь из чинов и добиться до Берия или кого-нибудь в этом роде? Все это бесполезно, я знаю, но буду пробовать. Если отец выживет, он доберется до Красноярска, куда его направляют, — а м<ожет> б<ыть>, он уже погиб? Где искать его? Кто этим сейчас будет заниматься? О, подлость, подлость.

Хотела писать для радио, о Хамармере и стихи о себе для «Правды», — и после письма отца ничего не могу, — отрава заливает, со дна души поднялись все пузыри, все обиды. Чорт знает что, — преследуют и преследуют с самой юности — и меня, и друзей, и близких, да за что же, доколе же... Может быть, Коленька мой и впрямь счастливей меня?!

7/IV-42.

В ночь на 4/IV на Ленинград было сброшено 200 бомб, гл<авным> обр<азом> на Васильевский остров, на корабли. На В<асильевском> О<строве> разрушено 40 домов. Юрка, Юрка! На город шло 130 самолетов, прорвалось 50, налет длился час. О, Юрка! Миновал ли его этот час смерти? Где он был в это время, в городе? О, неужели я и тут опоздала? Какие неласковые письма писала я ему отсюда, —

я даже ни разу не написала — «люблю», — а он жаждет, чтоб я говорила ему это. Коля держал меня, я не могла написать этого, хотя писала ему, что он дорог мне, что я хочу быть с ним...

А город-то, — бедный город — люди его: истерзанные голодом, обессиленные — и еще это!

9/IV-42.

Вчера получила письмо от Юрки от 3/IV, полное любви и преданности. 3/IV он был жив. Оказывается, я написала-таки в одном из писем — «люблю». Сама не помню, что писала. Ну, и хорошо, что написала, — он пишет, что счастлив, и, <может> <быть>, верно — счастлив. Почему же не обрадовать человека, если сам так несчастен.

Я несчастна в полном, абсолютном значении этого слова. Сегодня все время приступами — видение Коли во второе мое посещение госпиталя на Песочной, — его опухшие руки, в язвах и ранках, — как он озабоченно подставлял их сестре, чтоб она перевязала их, и озабоченно бормотал, все время бормотал, мешая мне кормить его, расплескивая драгоценную пищу. И я пришла в отчаяние, в ярость и укусила его за больную, опухшую руку, — о, сука, сука! Он был неузнаваемо страшен, — еще в первый день, в день безумия он был красив, а тут — вдруг не он, хуже, чем во сне.

Мне нельзя жить. Это все равно не жизнь. Я оправдываю свое существование только тем, что слишком уж широк выбор гибели. Я, наверное, не долго просуществую, — все как-то, помимо меня, логически идет к этому, — сокращается и сокращается жизнь, сжимается — как шагреневая кожа — и вот человеку остается только одно — умереть; и если человек видит и знает, что она сокращается — это ужас, этот человек несчастен.

В душе у меня сократилось очень и очень многое, она ссыхается. Я погружаюсь в себя, становясь равнодушной к людям, или воспринимаю их только через себя — вот как сегодня такого же несчастного, как я, Юльку Эшмана. Он потерял жену, отца, — теперь, видимо, мать и брата.

— Как ты живешь, — спросила я его.

— А я не живу, — ответил он. — Если живу, то только дочкой.

Мы сидели с ним в троллейбусе, плечом к плечу, и говорили — он о жене, я о Кольке. Оба чувствовали себя глубоко виноваты-

ми перед ними, и я на мгновение ощутила всем существом, что у нас совершенно одно горе.

— Как ты думаешь — изменится ли что-нибудь после войны? — спросила я его.

— Месяца два-три назад думал, что изменится, а теперь, приехав в Москву, вижу, что нет...

Вот и у меня такое же чувство! Оно появилось после того, как я убедилась, что правды о Ленинграде говорить нельзя (ценою наших смертей — и то не можем добиться мы правды!) [<5-6 сл. нрзб>] после телеграммы Жданова о запрещении делать индивидуальные посылки в Ленинград, после разговора с Поликарповым — и т. д. и т. д. «Они» делают с нами, что хотят.

Мы были слугами весел, но владыками морей...

Мы — владыки морей — слуги весел!

Была сегодня у секретаря парторганизации НКВД, — мордастый такой «деятель тыла». «Беседовали»... (не могу без судороги ненависти говорить о них!) Взял мое заявление, обещал сегодня ночью доложить наркому? Неужели что-нибудь сделают? Что-то плохо верится.

Ох, скорее бы в Ленинград, скорее бы!

Васька Ардаматский говорил, будто Жильцов (начальник ПВО Ленинграда) говорил, что бомбы упали главным образом на Парголово и центр не пострадал, — значит, Юрка жив? Он все же хороший и его любовь греет меня.

11/IV-42.

Самое скверное, что, может быть, не улечу в Ленинград еще очень долго, — это может быть и 10, и 15 дней.

Надо было, плюнув на все и на всех, рваться в Ленинград в самом начале апреля, вот тогда, когда отправляла груз.

Сейчас — говорят в Аэрофлоте — развезло аэродромы и недели полторы может не быть самолетов.

А мне кажется, что это врут, что это просто сговорились люди, опекающие меня, от Муськи до самодура Ставского, которые считают, что я «делаю глупость», стремясь в Ленинград, считают себя вправе заботиться обо мне, навязывать мне свою опеку и тягостную заботу о моем здоровье.

О, как я одинока без Коли, — он один, при всей трепетной его любви и обмирании за меня — не давил на меня, не отягощал меня своею любовью и заботой.

Я очень, очень люблю Муську, и мне страшно оставлять ее, маленькую, одну, но у меня же есть — пусть ошметки какие-то — своей жизни.

Я хочу в Ленинград, хочу приняться за какое-то дело, хочу к Юрке, ждущему и жаждущему меня.

Мне день ото дня невыносимей в Москве. Да и стыдно — агитировать за ленинградский героизм в то время, когда там Юрка и Яшка работают по 18–20 часов в сутки, а я тут разоряюсь насчет Ленинграда, да мне еще все корнают и выхолащивают, как хотя бы очерк о Шостаковиче.

Была на заводе № 34, в трех цехах читала и говорила о Ленинграде, — рабочие очень хорошо слушали, этот день доставил какую-то хорошую отраду. Они написали письмо в Ленинград.

Сегодня был вечер в клубе НКВД. Читала «Февральский дневник» — очень хлопали, так что пришлось еще прочитать «Письмо на Каму», — тоже хорошо приняли. Что ж, среди них тоже, наверное, есть люди, — а в общем, какие они хамы, какими «хозяевами жизни» держатся, — просто противно. Но к этому надо относиться спокойнее.

Секретарь парткома сказал, на мой звонок об отце, что передал мои заявления секретарю наркома и что они «решили действовать через Кубаткина, т. е. через Ленинград». Ну, это для того, чтоб отделиться — и только. А от отца с З/IV нет известий — жив ли?

Просто не знаю, как доживу эти дни в Москве, — такое чувство, что просто никогда уже не увижу Л<енингра>да, Юрки, — что-нибудь опять стрясется. Скорее бы шло время.

Попробовать, что ли, писать свои стихи? Из стихов для Ц<ен<трального> О<ргана> о себе что-то ничего не выходит...

12/IV-42.

Тоска. Машин на завтра на [самолет] Ленинград — нет. Делать мне уже абсолютно здесь нечего. День сегодня был необычайно длинен, — большею частью лежала на кровати, томилась жизнью.

Господи, о, господи, будет ли мне выход? Я видела сегодня во сне смерть Ирки и Коли. Я думала, что вот так хочу в Ленинград,

а ведь там тоже нет Коли. Там пустая квартира на Троицкой, — некуда, некуда деться. Там Юрка, — но как же я лягу с ним на ту же постель, где 8 лет лежала с Колей, столько радостей и горя испытывая. Если б он еще был жив — другое дело! А тут — еще раз похоронить его. И я знаю, что Юрка будет внутренне раздражать меня, никогда, никогда не станет он мне так близок, как Николай, хотя вчера я о нем грустила и думала с нежностью. И может быть, еще буду жалеть о [1 сл. нрзб] сегодняшнем своем бесцельном времяпровождении, — об этой теплой комнате, о совместных вечерах с Муськой, полных тоски и томления.

Нет, не найти мне места на земле! Но наиболее из этих мест утоляющее на сегодня — это все же Ленинград. И я хочу туда. И знаю — хотя бы первые дни с Юркой будут радостны.

Тихонов тоже рвется в Ленинград. Я знаю, что влечет нас туда: там ежеминутно человек живет всей жизнью, там человеческие чувства достигают предельного напряжения, все обострено и обнажено, и ясно, как может быть ясно перед лицом гибели.

Конечно, преждевременно одряхлевшая наша система в ее бюрократическом выражении дает себя знать и там, — чего стоят эти Шумиловы и Лесючевские, и все же это не то, что в Москве.

Вчера объявили сталинских лауреатов. Это мероприятие ничего общего не имеет с искусством. А сколько возле него возни, оскорбленных самолюбий, интриг.. И за что награждают! Рядом с титанической Седьмой симфонией — раболепствующая посредственность и льстивая бездарность, и ее — больше всего. И за нее — возвеличивают, платят. Брр...

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу!

Только бы они догадались пожертвовать все свои деньги в фонд обороны. А то народ будет очень раздражен, — и не без справедливости.

Нет, в таких условиях искусство будет только хиреть. Оно должно быть совершенно независимо. Этот «непросвещенный абсолютизм» задавит его окончательно. Эти премии — не стимул, а путь к гибели искусства.

Как хорошо, что я — не орденноносец, не лауреат, а сама по себе. Я имею возможность не лгать; или, вернее, лгать лишь

в той мере, в какой мне навязывают это редактор<ы> и цензура, а я и на эту ложь, собственно говоря, не иду.

Лауреаты сегодня пируют, — меня никто не позвал, — ну, и не надо. Зато рабочие завода № 34 принесли мне письмо для Ленинградцев. Я на днях пойду в детдом, где собраны ребятки из быв<ших> оккупированных районов. Почитаю им «Рассказ об одной звезде», поговорю. Не надо мне правительственного почета, хотя разумнее было бы напечататься в Ц<ентральном> О<ргане> — также отдать в ЦК Еголину прочесть поэму. Это «возвысит» меня как-то перед гг. Шумиловыми и, м<ожет> б<ыть>, даст возможность говорить больше, чем до сих пор.

Пожалуй, это все же надо сделать. Хотя больше всего мне хотелось бы напечатать в «Правде» то, что было бы нужно людям...

Я думаю уже о том, что я буду писать в Л<енингра>де. Напишу им, как думают и говорят о л<енинград>цах «за кольцом», — доваторцы, в госпитале, в цехах завода, м<ожет> б<ыть>, в детдоме.

Живу двойственно: вдруг с ужасом, с тоской, с отчаянием, — слушая радио или читая газеты — понимаю, какая ложь и кошмар все, что происходит, понимаю это сердцем, вижу, что и после войны ничего не изменится. Это — как окна в небе. Но я знаю, что нет другого пути, как идти вместе со страдающим, мужественным народом, хотя бы все это было — в конечном итоге — бесполезно.

Я выгляжу хорошо. Сошли все отеки с лица, почти нет морщин, кожа — немыслимо шелковая, как никогда; широкие, белые плечи, приятная, круглая и упругая грудь... Колюшка так и не дождался, чтоб я располнела, — дурачась, он иногда говорил мне: «Берггольц, я хочу, чтоб у тебя были большие груди!» О, как он любил меня, — все мое тело, все мое женское естество, — он ведь всерьез считал меня «самой красивой женщиной в Ленинграде».

(По радио поют «И кто его знает», — эту песню я слышала впервые в «Слезе», у Маргюшки, когда был жив Коля... О, какими счастливыми мы были тогда! Нет, нет мне жизни!)

Отчаяния мало. Скорби мало.

О, поскорей отбыть [последний] проклятый срок!

А ты своей любовью небывалой

Меня на жизнь и счастье обрек.

Зачем, зачем?! Мне даже не баюкать,
Не пеленать ребенка твоего.
Мне на земле всего желанней — мука
И немота — понятнее всего.

И разве для меня победы будут?
В чем искупление тебе найду?
Пускай меня оставят и забудут.
Я буду жить одна — [везде] всегда и всюду
В твоём последнем голодном, пасмурном бреду.

Ничьей любви, ничьих забот не надо.
Сейчас одно нужнее хлеба мне:
Над братскою могилой Ленинграда
Стоять, в безмолвии оцепенев.

Но ты хотел, чтоб я живых любила,
Сердилась, радовалась и жила
Всей человеческой и женской силой,
Чтоб всю ее истратила, дотла,

На песню. На пустяшные желанья.
На гнев. На страсть — пускай придет другой, —
На труд. На бесполезное страданье
С неласковою русскою землей...

О, как я глубоко, глубоко жалею, что не была с ним в его последние минуты! Он наверняка пришел в себя (доктор сказал: «Скончался тихо»), он ждал меня, и я проводила бы его с улыбкой, счастливым, успокоенным...

Так пусть же со мной будет все дурное, что может быть!

13/IV-42.

Сегодня утром — телеграмма от Юрки, от [1 сл. нрзб.] 11/IV. Тот смертный час, что гремел над Ленинградом 4/IV, миновал его на этот раз. Слухи о 4 апреля все более страшные — говорят уже о 600 бомбах, о 4 разрушенных кварталах на Васильевском острове.

С отлетом все еще неопределенно, хотя Петрова сказала, что завтра, *может быть*, она что-либо определенное скажет.

Звонила Тонька Гаранина, говорила что-то Муське, чтоб я «сейчас ни под каким видом не ездила в Л<енингра>д», вообще все смотрят на меня как на дуру или на героя — за возвращение в Л<енингра>д, — чудачье!

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.

От отца с З/IV нет вестей. Может быть, его уже нет в живых, — погиб в пути, как погибают тысячи ленинградцев? Ленинград настигает их за кольцом. У Алянского в пути умерла жена, здесь — в Москве — сын. А почтенное НКВД «проверяет» мое заявление относительно папы. Еще бы! Ведь я могу налгать, я могу «не знать всего» о собственном отце, — они *одни* все знают и никому не верят из нас! О, мерзейшая сволочь! Ненавижу! Воюю за то, чтоб стереть с лица советской земли их мерзкий, *антинародный*, переродившийся институт. Воюю за свободу русского слова, — во сколько раз больше и лучше поработали бы мы при полном доверии нам! Воюю за народную советскую власть, за народоправие, а не за почтительное народосодействие. Воюю за то, чтоб честный советский человек жил спокойно, не боясь ссылки и тюрьмы. Воюю за свободное и независимое [*1 сл. нрзб*] Искусство.

Ну, а если всего этого не будет... посмотрим!

Юрочка пишет: «Писем нет, беспокоюсь, жду, целую, сообщу, когда прилетите». Скучает, наверное. Я отправила ему ласковую телеграммку, где написала: «Юринька, родной» — (самое желанное ему слово), написала, что тоскую, что скоро прилечу. *Возможно?* *Беременна?* с 15/III. Это, наверное, обрадует его. Боже мой, ничего нельзя жалеть для человека, ходящего под ежеминутной смертью.

Я не сберегла ни Кэлю, ни папу (надо, надо было идти к Кубаткину и орать!), пусть хоть ему достанутся остатки моего тепла, ему и маленькой моей Муське. Как мне хочется беречь и лелеять ее, как бы это устроить. Но в Л<енингра>д пока боюсь ее брать, пока сама не погляжу, как там теперь. Я думаю, что если б было очень плохо, то Юрка не звал бы меня туда...

¹ Пометы рукой О.Ф. Бертольд по верхнему полю.

16/IV-42.

Я все еще в Москве. Говорят, что раскисшие аэродромы могут продержаться в таком состоянии дней 10–12 — еще! Неужели я не попаду в Ленинград?!

Вечер, или, вернее, ночь на 17/IV.

Коля все равно уже не прочтет этой тетради, как бы я ее ни прятала. Я могу положить ее на самое видное место, и он все равно не прочтет ее. Я могу писать, что хочу. Я могу жить, как хочу. Его нет.

Был днем некто Федя. Он бывал на Троицкой, когда был жив Коля (О, что я говорю: «Когда был жив Коля». Измена! Значит, я признаю его мертвым? Нет, милый Псо, нет, — не бойся, не бойся, солнышко, я не признаю тебя мертвым, — я не дам тебе умереть.)

Я, видимо, пьяная, хотя вино после голода ни разу еще не приносило желанного самозабвения.

Коля! Коленька! Псоич, солнце. Сердце мое... Ты слышишь, — нет? Ты слышишь, я тебя окликаю. Сколько раз, когда я просыпалась около тебя, мне вдруг казалось, что ты — мертвый, и я звала тебя: «Псо!» И ты открывал возлюбленные, милейшие, святые свои глаза и глядел на меня с неизменной любовью.

Песинька. Родненький. Милый мой. Это непросто, что тебя нет. Ты там. Ты на Троицкой. Если ты не постучишь, не ляжешь рядом со мной, — значит, меня нет.

Коля. Коленька. Мой милый. Крест мой, мучение мое, жизнь моя — вернись! Ведь ты же любил меня. Как же ты терпишь, что я так мучусь среди чужих людей. Ты ведь знал, что я останусь одна — без тебя.

И главное — не рассказать. А я все думаю: увижу его и лягу рядом с ним, выдохну и скажу: «Ох, если б ты знал, до чего я МУЧИЛАСЬ по тебе!» И он обнимет меня и прошепчет: «Псоич мой...» То есть как это? Так вот и не расскажу... Псоич мой. Нет. Нет.

26/IV-42. Ленинград.

За окном — гудят патрульные самолеты. Иногда артстрельба. Начала эту страничку 26<-го>, а сегодня 28<-е>, но все то же. Видимо, через некоторое время начнется ВТ и бомбежка. Они бомбят наш флот и одновременно с бомбежкой ведут артобстрел, во время ВТ и так.

Из окна нашей комнаты на 7 этаже видны крыши — они все в дырах от снарядов, — почти рядом с нашими окнами. Я до сих пор нервничаю, трушу, когда начинают бомбить и когда над самой крышей с плачем пролетает снаряд. Удивительное дело! А были дни в Москве, когда с полной искренностью писала: «В Л<енингра>д, ближе к г<ибели>. Ленинград чист, он ЖИВ, он есть.

Я вернулась сюда к новому мужу, к новой любви и счастью — я вижу это теперь. (ВТ. Начнется сейчас бомбежка.) Я хочу жить. Я не боюсь смерти — но мне не хочется расставаться с Юркой. (ВТ прошла и на этот раз мимо.)

Он любит меня страшно, не скрывая этого ни перед кем, сияя от счастья; как мальчик, получивший долгожданный подарок, он ходит почти бегом, он говорит громким, возбужденным голосом, он всем, ежечасно — хвастается мною, моими стихами, моими успехами. Даже постороннему человеку трудно не радоваться, глядя на него. Какие восторженные слова говорит он мне — обо мне же, о моих стихах. Не устает глядеть на меня, не устает целовать, трепещет и боится ежеминутно, что «уйду».

Когда я приехала, — я пришла в отдельную комнату на 7 этаже, светлую, очень теплую, даже с мягкой мебелишкой («на этом диване ты сидела в 50 хронике»), со столом, где ящики набиты пищей и медовым, прекрасным табаком. У диванчика над столом — мой портрет, мой снимок, мои стихи. Он приготовил для меня отдельный угол, человеческое светлое жилье, — правда, среди пробитых крыш и разрушенных домов. Как непохожа эта комната на зимний кошмар — на комнату Молчановых, Пренделей, Мариных.

3 мая 1942 года.

Я почти ничего не пишу здесь, — не хочу, чтоб Юрка заметил, что я веду дневник. Это только моя жизнь, — нелепо и уродливо посвящать его в нее. Вчерашняя телеграмма от Маргариты Довлатовой и так опечалила и встревожила его — это был ее ответ на мое московское письмо о смерти Коли. Пусть он радуется со мною и мне. Я не жалею и не буду жалеть на него ни ласки, ни приветливости, ни любви. Пусть он будет счастливым! В первые дни возвращения, когда еще особая обида на него за Колю (как будто бы он в чем-то виновен!) держала меня, и я скупилась на приветливость, и заво-

дила разговоры, чтоб сказать ему: «Я все же люблю Николая больше тебя», — вдруг меня озарила мысль: «А может быть, мне еще придется видеть его в нарывах и язвах, умирающего от газов». Бог знает, сколько еще муки придется выдержать и ему и мне. Нет, нельзя жалеть ни любви, ни ласки, и она исходит уже свободно из души, почти не удерживаемая мощной, угрюмой и больной памятью о Николае...

4/V-42.

Вчера до 5 часов утра — тягчайший разговор с Юрой о прошлом. Он старается уверить меня, будто бы с сентября я уже не любила Николая. Будто бы и сейчас не люблю его, а все выдумываю. Какая ерунда!

8/V-42–9/V-42.

Все никак не остаться одной, чтобы писать здесь и работать для себя.

За время приезда в Ленинград была два раза на фронте. В 42^{ой} Армии — это за «Электросилой», около Дворца советов, и в 55^{ой}, в Рыбацком и Усть-Ижоре. Как странно, пронзительно-печально, удивительно идти по знакомейшим местам, где было детство, юность, — а теперь — фронт. Ощущение единства жизни, горячего, бесплодного, содержательного, грустного не покидало меня, и очень отчетливо чувствовалась поступь жизни. Сколько я прожила, можно уж целую книгу писать... Уже прожита одна, целая человеческая жизнь; в городе нет отца, нет Коли. Нет его родных, умерли мои [<1 сл. нрзб>] тетки, давно умерли мои дети. Этого ничего нет. Нет и невозвратимы — юность, мужание — и все прошлое. Началась, независимо от моей воли и идет уже совсем-совсем другая жизнь, и я сама — та — тоже как бы умерла.

Со стеклянным звуком ложатся где-то снаряды, вчера и сегодня летели через крышу, отвратительно стелая и воя. О, печаль, печаль!

Я в Ленинграде уже 20 дней. Почти не работала — только написала одно стихотворение «Ленинградцы» — среднее, хотя есть хорошие строчки, и выступление «Ленинградцы за кольцом» — ничего;

¹ Абзац взят в квадратные скобки.

его бы прослушали с удовлетворением. «Проходит инстанции», — еще, м<ожет> б<ыть>, и не дадут читать. Пропаганда наша по-прежнему бездарна и труслива, «руководство» тупо и бездарно.

Я живу главным образом «медовым месяцем» с Юркой. Три раза выступала с «Февральским дневником» — потрясающий успех, даже смущающий меня. В Союзе — просто ликование. В 42 <армии> и у торпедников — бойцы и моряки плакали, когда читала. Особенно большой фурор — у торпедников, — просто слава. Но мне уже как-то больше неудобно с ним выступать, пора писать что-нибудь новое. Успех — и в Л<енингра>де, и в Москве — ошеломляющий успех «Февральского дневника» смущает меня потому, что теперь следующее надо написать еще лучше, а мне порой кажется, что это был мой потолок. А как я писала ее — в феврале, — тупая, вся опухшая, страшная, с неукротимым голодом, — я тогда только что начала есть, Юркино, с остановившимся, окаменевшим от недоумения и горя сердцем... Как долго не могла раскачаться, злилась, — Юрка торопил, я чего-то строчила тупое, с неохотой, а потом вдруг, почти непонятно, начала с бедного, с простейшего — и стала выходить... Но, конечно, не совсем вышло, я-то знаю, хоть и не говорю.

Надо написать — смутно вырисовывается нечто вроде поэмы, — лирически-балладный цикл «Ленинградцы» — о той самой человеческой эстафете.

Много о чем надо написать и записывать. О Мэри Рид, сестре Джона Рида, умирающей от голода (кое-чем поддерживаем с Юркой, и он старается устроить ее в стационар). О 55 <армии> — вручение гвардейского знамени — бедное торжество на фронте, находящемся в черте города (цикл или стихотворение — «Ленинград-фронт»). О ленинградских детях, романсы и песни. Да, да, надо работать, надо войти в быт города. Я на своей верхотуре, в комнате теплой и светлой и полной еды — оторвалась от города, от людей, стала эгоистичной и самовлюбленной. Я не считаю стыдом, что упиваюсь сейчас «личной жизнью», но уж хватит, надо что-то делать. Тот восторг, та настоящая человеческая радость, с которой реагируют люди на «Февральский дневник», — ко многому обязывает меня.

Блокаде конца не видно. Пока я тут — немцы дважды атаковали город, но безуспешно. Все уже как-то притерпелись к тому, что фронт начинается на улице Стачек, 100, а за больницей Фореля — немецкая зона! Умирает меньше народа — слишком уж много умерло.

Да, — умерла Маулишка и Лидия Николаевна. Это очень ударило меня. Какая я скотина, что не позвонила ей в январе... Верно, я ничем не могла бы помочь тогда, — они умерли в те же дни, в те чудовищные январские дни, когда и Коля. О, как больно, как хочется исправить это, — прийти на ту квартиру, сказать ей: «Маулишка, да что ты? Ну же, вставай, живи!» Я дружила с ней с 30 года, и она была верной моей подругой. Ох, боже мой.

Юрка спит и храпит ужасно. Вчера до 8 ч<асов> утра — опять страшнейшее объяснение. «Ты пойми, что это вовсе не сцена ревности», — говорил он мне, а это была классическая сцена ревности, и пошлейшая притом, но он так молод сердцем и так рационалистичен, что сам не понимает этого. Были у нас Фадеев, Тишка, Прокофьев, — пили, я совершенно невинно повертела хвостом перед Сашкой Прокофьевым — отнюдь не больше того, как обычно с ним — человеком, глубочайшим образом безразличным мне и знакомым свыше 10 лет. То есть более общего, что ли, кокетства нельзя и придумать. Тем не менее Юра поднял это, плюс звонки одного торпедника — на небывалую принципиальную высоту: «Ты оскорбляла меня весь вечер, ты разогревала Прокофьева, ты зазывала торпедника, ты показала, что ничуть не дорожишь нашей любовью» — и т. д. Дурачок, дурачок! Он и не подозревает, какая огромная, изумляющая меня самое — его победа то, что я смеюсь с ним целыми днями, пою, ласкаю его с искреннейшей ненасытностью. Мучительная и любимейшая Колина тень останавливается. Я по-настоящему целыми днями счастлива бываю и обмираю от влюбленности в Юрку, — а он строит какие-то вавилонские башни на трепотне с Сашкой. Знал бы он, как это мне все равно, что это лишь — тоска...

Но вчера мне было очень плохо. Сашка упился и стал безобразно грубить и лезть. Юрка наговорил мне несправедливо-обидных вещей, — зря, зря. Я с отчаянием почувствовала себя абсолютно одинокой, — ничего подобного не допустил бы Коля, понимая, что все — ничто по сравнению с любовью к нему, что все не более чем ничего не значащее кокетство.

Ну, при Юрке хвостом не повертишь! Крут, что и говорить. Он так натянет удила, что весь рот в крови будет. Хозяин, поглотитель, собственник. Отчасти (вот баба!) это мне нравится, это свидетельствует о том, что любит крепко, по-настоящему. Но, м<ожет> б<ыть>, это нравится, пока свежо? Ведь если такие беседы, с таким криком бу-

дут практиковаться им по таким пустякам, если он собирается так контролировать все мои (чисто внешние) знакомства, — то что же это будет? Как говорится — извиняюсь, я к курям не присужденная! Мне, действительно, никого кроме него сейчас не надо, и игра ничуть не есть для меня самоцель, но ведь от таких пустяков он может пойти и дальше, и дело дойдет просто до «Домостроя», а это уж — тоска и одиночество.

Я, несомненно, люблю его. Да, как ни ужасно это, но новая жизнь — это факт. Она уже есть. Я уже живу ею — живу без Коли... Коли-то нигде нет. Все еще, ежечасно — невольно — думаю: «Расскажу Коле». И нет его. Шли сегодня с Юркой от Тихонова, — все в его квартире связано с ТОЙ жизнью, шли, и весенний город был пуст, гулок, здания почему-то казались огромными. Весна в Ленинграде — а Коли нет. Тучкова набережная, Тучков мост, где 8 июня 1930 года я сидела ранним утром у воды после первой ночи с Колей — а Коли нет... Его нет в городе. Нигде нет в нашем Л<енингра>де!

Пока Юрка рядом, в комнате — я пою ему, целую его, счастлива и влюблена в него, — он ушел, я остаюсь одна — и мгновенно проваливаюсь в холодную, черную прорубь, с ужасом думая: «Да, все это так, это хорошо, но ведь Коли-то все-таки нет?!»

Эти провалы реже сейчас, но тоска — снедающая всю душу, наверное, еще вернется. Я боюсь ее. Я бегу к Юрке, ныряя в его любовь, в цельное его, милое сердце, — зажмурюсь, бегу от самой себя.

Так долго нельзя, все же. Должна наступить ОДНА жизнь. Она придет, наверное. Я уже не отказываюсь от нее. Но обе жизни еще борются во мне. Я еще думаю иногда — не лучше ли умереть.

Но все чаще, как распахнется дверь в сердце — и ахнешь, — ведь может, может быть жизнь — свободная, могучая, одна — жизнь с ОДНИМ Юркой. Ничего, договоримся, — вчерашний скандал — т<ак> с<казать>, типичен для пускового периода. Так, значит, идти на нее? Идти?

Завтра — во-1-ых: отец. Звонок Кубаткину.

Звонок на ф<абри>ку (деньги).

Мэри.

Работа.

Филармония?

11/V-42.

Не то ВТ опять начинается, не то обстрел. Минуты тишины в городе теперь [очер] очень редки, и чувствуешь себя в это время как-то странно и даже беспокойнее, чем во время стрельбы, — как-то удивительно, что тихо, и такая недобрая эта тишина, подозрительная, томящая.

13/V-42.

Сегодня я могла бы написать: «О вчерашнем моем выступлении говорит весь город...» Это, конечно, не так, но только в одном радиокомитете я выслушала сегодня столько признаний, благодарностей и трогательнейших слов — от знакомых и незнакомых людей. Какая-то страшная пожилая женщина говорила мне: «Знаете, когда заедает обывательщина, когда чувствуешь, что теряешь человеческое достоинство, на помощь приходят ваши стихи. Они были для меня как-то всегда вовремя. В декабре, когда у меня умирал муж, и знаете, спичек, спичек не было, а коптилка все время гасла, и надо было подталкивать фитиль, а он падал в баночку, и гас, и я кормила мужа, а ложку-то куда-то в нос ему сую — это ужас, — и вдруг мы слышим ваши стихи. И знаете — легче нам стало. Спокойней как-то. Величественнее... И вот вчера, — я лежу, ослабшая, дряблая, кровать моя от артстрельбы трясется, я лежу под тряпками, а снаряды где-то рядом падают, и кровать трясется, так ужасно, темно, и вдруг опять — слышу ваше выступление и стихи... И чувствую — что есть жизнь». И еще — такие же отзывы, письма.

А это ведь и в самом деле грандиозно: ленинградцы, масса ленинградцев лежит в темных, промозглых углах, их кровати трясутся, они лежат в темноте ослабшие, вялые (господи, как я по себе знаю это, когда лежала без воли, без желания, в ПРОСТРАЦИИ), и единственная связь с миром — радио, и вот доходит в этот черный, отрезанный от мира угол — стих, мой стих, и людям на мгновение в этих углах становится легче, — голодным, отчаявшимся людям. Если мгновение отрады доставила я им — пусть мимолетной, пусть иллюзорной, — ведь это неважно, — значит, существование мое оправданно.

16/V-42.

Сегодня день моего рождения — 32 года. В жизни с Колей этот день проходил незаметно, — все дни были праздником, и нам не нужно было никаких дат, никаких вех. Часто он даже и не знал, что это день моего рождения. А Юрка расстарался и подарил мне платяшкo — милое, и сегодня — браслетку с каким-то красным камешком. Это тронуло меня — очень «мужнин» подарок, как в книге. И как-то иронически шокировало, — тем, что ничего подобного в жизни не было, никогда не было «драгоценностей», никогда не было подобных подарков. Браслетка славная и простоватая, почти как для домработницы. Юрик нацепил мне ее на руку и сказал, чтоб не снимала, все время носила, «а снимешь, значит, разлюбила». Играет? Наверное, играет, потому что еще, т<ак> с<казать>, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО любит, и чувство еще нуждается во внешнем выражении, и игра еще идет за чувство. Да, видимо, еще играет, а м<ожет> б<ыть>, и обладает некоторой дозой пошлѳнки. Но и она бывает [еще] тогда, когда не навсегда еще полюбил.

Он много говорит мне о своей любви, даже, пожалуй, многословно много. Много говорит о том, какая я красивая. А я, верно, очень хороша стала. Наедине с собою я могу себе в этом сознаться. Кожа потрясающая — атласная, упругая, теплая, играет всеми тончайшими своими цветами. Цвет лица небывалый, ярко-голубые глаза, тело пополнело, налилось, приобрело какую-то особую ленивость. Да, я сама знаю, что хороша сейчас, как никогда, как, пожалуй, бываю хороша, — только по-другому — когда приезжаю с юга. О, как бы любовался мной, как наслаждался бы мною Коля! Как он любил меня, какие гимны мне складывал тогда, когда я была худа, кости-ста, утомлена... А сейчас бы... — господи!

Я все недоумеваю: неужели та жизнь действительно кончилась? Недавно были с Юркой на квартире Гуковского, — а как Гуковский восторгался Колей. Вымершая, мертвая квартира, когда-то умная, и сейчас полная книг, но книг бездействующих, брошенных, и эти маленькие вещицы — пудреница в виде дамы с кринолином, бюст Ломоносова, пыльные зеркала. Нет ничего щемящее брошенных ленинградских квартир с остановившейся в каком-то живом моменте жизнью и коснеющих, цепенеющих так — без людей.

Юра проектирует — взять на Троицкой, в Толстовском доме, хорошую квартиру, перевезти туда книги (редчайшая библиотека,

подбор 18 века) Гуковского, прекрасную его, старинную мебель; свои и мои книги, взять домработницу Гуковского, и там обосноваться и жить в большой, хорошо оборудованной, умной квартире. Он хочет, чтоб там была большая тахта, покрытая ковром, — место наших ночей, он жаждет ребенка, чтоб был в квартире наш ребенок. Он говорит: «Ты возьмешь себе письменный стол жены Гуковского, он с трельяжем, — вот-то тебе будет удобно...». Как это все дико и печально и — и захватывающе. Что ж, вот мы выжили, и мы хозяева города, хозяева вещей умерших или бежавших из города, где бушует смерть. Мы — его жизнь, мы ни от чего не бежали, не прятались, не толкали других, — нам просто повезло, мы оказались сильнейшими, и теперь нам можно устраиваться в лучших, еще не разрушенных домах — в гуще жилищ разрушенных и разоренных, — нам надо СПЕШНО заводить среди развалин — домов, людей, семей — новую жизнь. Мы имеем право торопливо воздвигать ее, и, верно, нам надо торопиться, — война продолжается, война, м<ожет> б<ыть>, вступает в страшнейшую свою фазу, грозясь доломать и домолоть все, еще уцелевшее. Нельзя ждать конца войны, — «а вот кончится, тогда и устроимся», — надо жить сейчас, устраиваться сейчас, полагая, что это и есть жизнь уже ТА. И мы с Юркой так и живем — на сейчас, как навсегда. Я знаю, что это — эфемер. Ежедневно — дикий артобстрел. Уже очень немного домов, где бы не вцепился снаряд. Ежедневно над нашей скворешней — отвратительный вой и свист. Каждое утро — ВТ, которая может быть и свирепой бомбежкой. Может быть, вынырнем. А если нет — значит, — проворонили жизнь? Нет, лучше жить, не откладывая ничего на завтра. А мне лично — так только так и можно жить. Мне трудно объяснить это, — но я живу, пока война. Все еще какая-то слабая, безумная надежда, что, пока война — Колька еще жив¹, а вот когда она кончится, когда все кончится, а его все-таки не будет, вот уж тут-то ясно, что конец всему — с ним, с жизнью его и моей.

17/V-42 г.

Однако пора приниматься за серьезную работу. Пока что основное время у меня поглощает «медовый месяц». Пусть. Я наслаждаюсь им немного с болью, с *посторонней* неприязнью к себе («и башмаков еще

¹ Пометы рукой О. Ф. Берггольц по нижнему полю слева: «м<енструальный> ц<икл> — 6/V».

не изнасила!»), но наслаждаюсь. Я, действительно, готова целовать и ласкать Юрку без конца, и иногда просто не знаю, как, — как выразить беспредельную, трепещущую нежность к нему, нежность до слез, до рыдания. Он очень настоящий человек, он обаятельнейший мужчина (я не боюсь этих слов, звучащих якобы пошло), он пламенный любовник и заботливый, строгий муж. Я говорю это без сравнений.

Наверное, если внезапно тоска не бросится на меня из-за угла и не сожрет, — наверное, я буду с ним действительно счастлива.

Но пора, слишком пора — за настоящую работу. Это тем более важно, что меня теперь слушают. Надо во что бы то ни стало кончить сегодня заранее надоевшее мне сатирическое обозрение и взяться за стихи «Ленинградцы» (начало — отличное, даже не в отграниченном виде) и за передачу «Ленинград-фронт».

...Вот опять они ломают город. Шестой час — регулярный артоналет. Звук лопнувшего стекла и затем — жестяной и каменный грохот, точно кто-то ломом бьет по крышам, нарочно, злобно калеча город...

20/V-42.

Вчера были у Матюшиной, тетки Тамары Франчески. Тамара — сестра Игоря Франчески и близкая подруга Леньки Анка, — двух людей из 6, которые оговорили меня в 38 году, и из-за них я попала в тюрьму. Они не виноваты, их очень пытали, но все же их показания чуть-чуть не погубили меня. Тамара довольно часто бывала у нас, рассказывала нам о тетке и жаловалась на нее, и мать Леньки говорила, что будто тетка испортила ей жизнь. В деревянном старом домике на Петроградской, на Песочной улице когда-то бывал молодой Маяковский, Хлебников, Елена Гуро. На Песочной улице, в конце ее — умерла моя Ирочка. В другом конце Песочной, в военном госпитале — зимой необратимо захворал Коля. Сюда я несколько раз ходила в январе, к нему. Пришла, а он лежал связанный, безумный, среди чужих людей, бредил гитлеровским пленом, и сразу узнал меня... О, нет! Если начать вспоминать это, то сплошная рана открывается внутри и ясно становится душе, что нельзя, нельзя жить после этого. Я САМА виновата и в смерти Ирки и в гибели Коли. А эта ночь с ним, в госпитале, — я ведь была его за его крики, я уходила от него дремать в палату, а он выкрикивал, звал меня: «Оля... Оленька»... Он и в бреду думал только обо мне. Когда я пришла к нему второй раз,

когда он был уже таким абсолютно неузнаваемым, — бойцы, глуповато смеясь, говорили мне: «А он все вас вспоминал. Говорил: “Мою Олю, наверно, убили”». Нет. Нет. Не надо вспоминать.

А я сожрала — одна — печенье из Муськиной посылки, а мне надо было бы немедленно нести все это ему...

Не так давно Юрка ранил меня страшно: сказал, что будто бы Николай в ноябре сказал ему — обо мне: «Если ты хочешь получить ее, ее надо увезти из Ленинграда, здесь она погибнет и не останется ни тебе, ни мне». О, неужели он знал о том, что я жила тогда с Юркой? Боже мой, единственное сознание, что он был счастлив мною и со мною, единственное, что как-то оправдывает меня перед самой собою в отношении Коли — неужели это сознание — только мое заблуждение?

Но ведь он же сотни раз говорил мне, что живет только потому, что с ним я. И разве я не отдавала ему всю ласку, всю заботу, всю терпеливость, всю нежность, все силы души? Отдавала, и никогда, ничего не отняла, что бы ни было с другими — чужими мужиками. И не отниму, потому что не повторить всего этого с другим. Все, что было с ним, — за ним и осталось. Даже одно из наших ласкательных слов — «солнце мое», которое я говорю иногда Юре, — оно не то, оно новое.

Я не знаю все еще, как же жить. Не умом не знаю, а практически. Ну, разве это дело — непрестанно, до приостановки жизни — тосковать о Николае, жаждаю его, как живого, в то время как говорю Юре, что люблю его, что он — жизнь моя и счастье. И ведь не лгу ему ни единым словом! Да, люблю. Да, если живу и радуюсь-то только потому, что рядом он — его милые глаза, его любовь, его такая мужская, такая юная ревность. Да, люблю, потому что сама ревную его к последней его любви — некоей Ирине Исакович, чьи письма к нему читаю чуть ли не ежедневно, и мне больно, что он до апреля переписывался с нею, и поддерживал в ней (по меньшей мере!) уверенность в том, что любит ее... Но на любви моей, как и на жизни вообще, лежит какой-то матовый оттенок, сознание того, что я не вправе любить, не вправе радоваться. Какое право имею я на счастье, если погиб Коля?!

Было [<1 сл. нрзб>] два или три мучительных разговора с Юрой. Видимо, он прочел что-нибудь отсюда. Он ревнует меня к тоске по Николаю; на его месте я испытывала бы то же самое, если не больше.

Он прав. Но что же мне делать? Разве я когда-нибудь могу забыть Кольку, или вспоминать о нем без боли и отчаянья? И вот, — я знаю: пока существует эта боль и мрак — это значит, что я люблю Юру как-то неполноценно. Но я же не обманываю его, я говорю ему — когда он спрашивает — об этом. Я сказала последний раз: «Дай время, наверное, это пройдет». Это ужасно. Но я знаю, что Колька благословил бы жизнь и любовь полноценную. «Уж если осталась жить — живи всей жизнью», — сказал бы он. Да, да, так и надо жить. НАДО так.

Я очерствела очень. Я забросила Галку, — не написала ей о смерти Коли. Жива ли она, родная моя? Завтра же отправлю ей письмо. Я ничего не делаю для папы, — что ж, что это бесполезно, все равно — надо делать. Холодный я, эгоистичный, самопогруженный субъект, — за что меня только любят, обманываю я их...

Матюшина, как и многие другие, тоже говорила мне о моей передаче «Ленинградцы за кольцом» — восторженно и тоже благодарила. Надо написать еще лучше — «Ленинград-фронт», надо написать грустно и сурово, в чувстве ожидания новых испытаний для уставших ленинградцев. Говорят, что обстановка на Лен<инградском> фронте складывается неблагоприятно для нас. Бог знает, что еще будет. Сегодня в городе непривычно тихо, слышно было даже, как в саду отдыха кричали птицы. Ну, а завтра?

Немцы подтянули резервы к городу, разбомбили плотину на Ладожском, по Неве все же идет ладожский лед, и среди него — много мин. Говорят, что уже взята Керчь. Как это все щемит и болезненно душит — эти прошлогодние сводки: «Наши войска отошли...» Выйдет ли что с Харьковом, и как все это — непонятно. В приказ — окончить войну с Германией в 42 году — что-то не верится. Демагогия. Конца блокады не видно. О, суровые, замкнутые в себе, черные и голубые лица ленинградских детей. Вчера увидела такую девочку в булочной, и опять пронзило: «Как можно жить, терпя этакое?» Хорошо, что Юра уложил Мэри Рид в больницу. Хорошо, что мы отдали свой пропуск в столовку Дома писателей — Мариным. Это их сильно поддерживает, они — старейшие друзья мои и Коли, Коля одобрил бы это.

Но ведь это — капли в океане. А люди голодают и голодают, и многие еще отчаяннее, чем в феврале. Маруся, Фриц, Мэри, Мирановы — прямо об этом и говорят. Уже последние запасы сил выходят. Прендель рассказывал недавно, что трупоедство растет — в мае в их больнице 15 случаев вместо 11 в апреле. Ему же пришлось и все

еще приходится держать экспертизу по определению вменяемости людоедов. Людоедство — факт, он рассказывал о двух людоедах, которые сначала съели трупик своего ребенка, а потом заманили троих, — убили их и съели. Это было в апреле. Когда Прендель об этом говорил — мне почему-то было смешно, совершенно искренне смешно, тем более что он еще пытался как-то оправдывать их. Я сказала: «Но ведь ты же не скушал свою бабушку», — и после этого уже не могла всерьез относиться к его рассказу о людоедах.

О, как все это опротивело, — людоеды, продырявленные крыши, выбитые стекла, идиотическое разрушение города — тоже, героика, романтика войны! Вонючее занятие, подлое и пакостное. Все героическое живет лишь в том, что идет вопреки войне и не естественно ей. И до скрежета зубовного, до потери дыхания от ненависти — жаль людей, и противно, противно, душно во всем этом...

Неужели, действительно, этому смраду будет конец?

Иногда кажется — так это и будет тянуться без конца и края.

Сегодня кончила обозрение — ничего, кажется, если хорошо поставят, оно способно будет вызвать улыбку. Жалко все это, конечно.

Надо писать настоящие вещи, надо писать «Ленинградцев».

Надо упорядочить быт, — я мало, вернее, «беспорядочно» сплю, уже осунулась и похудела, а хотелось бы сохранить для Юрки такое налившееся было, могучее тело. Мы гложем друг друга страшно! Еще не до конца преодолев проклятую свою стыдливость (это при *необычайно* чувственном, почти бесстыдном воображении-то!) — я все же все более смелею с ним и наслаждаюсь лаской его самозабвенно! О, милый мой. Нет, воистину люблю его, и радуюсь ему всей силой радости, на которую сейчас способна, которая оставлена еще мне. Радуюсь милой ревности его, восторгу его, власти его. Радуюсь жажде его — чтоб была одна, всепоглощающая, верная любовь. Радуюсь этому и верю... И хочу верить, не как зритель — чудесному спектаклю, а как самой жизни. Верю, что это и есть — жизнь... И очень хочу, чтоб он был счастлив со мною. Нет, не надо темнить любовь тоской моей, всей этой существующей (пока? навсегда?) жизнью, мучающей его. Буду справляться с нею одна. Буду жить в ней одна. Не буду искусственно ни отгонять, ни питать ее.

...Для всех живых — твоя жена,

А для себя — вдова.

Я сказала Юре: «Я хочу, чтоб была одна жизнь». Да, хочу. Наверное, так и будет. М<ожет> б<ыть>, эта одна жизнь начнется с ребенка. Я ничего не делала, чтоб его не было, хотя понимаю все безумие этой затеи сейчас, пока еще приказ тов. Сталина о закрытии Германии — не выполнен. Но я хочу жить всей жизнью, уместить в этот отрезок все — и для него, и для себя. Пусть будет ребенок. Господи! Я так очерствела, что мне трудно представить — неужели это я буду кормить и пеленать ребенка и буду любить [<1 сл. нрзб>] его? Разве я способна еще на это? Иногда какой-то сторонний интерес испытываю я к себе: «А ну-ка, как выйдет это? А это? Что? Можешь? Интересно!..» Нет, я не выдумываю все это. Юра мой и не знает, какого окоченевшего человека принял он себе в сердце! Я коченею давно. Колина смерть — последняя точка, последняя утрата в цепи страшных утрат — и личных, и общественных, которые начались еще в 33 году. Шагреневая кожа почти на исходе. Юра — мое последнее желанье — на исходе ее.

Или я преувеличиваю свою омертвелость?

К чорту! Надо работать, надо больше общаться с простыми и живыми людьми, — нет, силы еще есть, и надо отдать их на конкретное дело — помочь карабкаться людям, которые хотят жить... И не думать пока о том, что ждет душу после выполнения приказа т<оварища> Ст<алина>. Большая жизнь или микро-жизни? Цепь микро-жизней...

Писала весь вечер, а Юрка спал. Сейчас разбужу его, сооружу что-нибудь на ужин, м<ожет> б<ыть>, ночью буду с ним, — нет, нет, я еще не утолена им — нисколько, мне надо и надо его... Это большая жизнь?

ДА. ДА, ДА!

26/V-42.

Дни идут быстро и бесплодно, хотя позавчера, наконец, передавали мое сатирическое обозрение — получилось, действительно, смешно. Если в Ленинграде, слушая его, улыбнулось несколько человек — значит, мой труд не прошел даром.

Обязательно сегодня ночью закончу «Ленинград-фронт», кажется, уже есть то внутреннее состояние горького настоя и одиночества, и строгости, и отхода от личного, при котором можно написать это.

Нас не ориентируют, как обычно, — попробую написать с точки зрения самоориентирующегося человека, с точки зрения человека, лишенного ориентации и смутно предчувствующего новые повороты жизни.

Несмотря на ежедневные обстрелы, в Ленинграде все же какое-то затишье. Бомбежек нет и последнее время нет даже тревог. Видимо, он бросил все на юг. Он взял у нас Керченский полуостров. Тяжелое чувство прошлогодних бегств и позора возникает вновь. Господи, что-то будет, что-то будет еще. Впрочем, понятно что: миллионы новых смертей, новых вдов и сирот. Я знаю теперь, что это такое. И несмотря на то, что, когда особенно начинает крутить тревога, я думаю: «А мне-то что? Все мои горести, весь страх позади — я уже потеряла все, и мне нечего больше терять. Жизнь — это уже не утрата». И все же, несмотря на это, сердце сжимается от жалости и боли к СЕСТРАМ, к женщинам, таким же, как я. Уж пусть лучше я одна! Уж пусть лучше только мне досталось бы это свирепое зияние внутри, но не другим. О, если б можно было ценой своего горя купить покой и отраду другим. Так ведь и этого нет. Бесплодно и бессмысленно.

У меня странно как-то: масса планов и проектов, и жажда — работать, а работаю — ужасно мало, неинтенсивно, и как подходит время — реализовать свои же планы, — так и охоты нет, никак не собраться, не «размозолиться»...

Мне нужно гораздо, гораздо больше одиночества, — Юрка почти все время рядом, и я отвлекаюсь на него, разбивается собранность, чувствую себя все время под наблюдением, озабочена из-за этого внешностью, т. к. хочу нравиться ему, и из-за этого работаю медленно. Сегодня он очень занят, — я одна в нашем блиндаже и можно было бы наработаться всласть, используя это щемящее чувство отрешенности от мелкого, одиночества и ощущение движения Жизни.

А я долго маникюрела ногти, мыла голову, потом опять вынула из шкатулки письма Ирины к Юрке, внимательно перечитывала их, неприязненно отчуждаясь от него, потом слезила к нему в карман пальто и обнаружила ответ Ирины на его апрельскую телеграмму к ней. Он писал ей в апреле: «Обеспокоен удивлен четырехмесячным молчанием, сообщи, означает ли молчание прошлогоднюю историю». (В прошлом году она ему изменила.)

Он писал ей это в то время, когда я была в Москве, и он писал мне такие нежные, влюбленные письма, полные несомненной искренности. Он тревожился за любовь с нею!

По приезде я обнаружила черновик телеграммы и, так сказать, потребовала объяснений. Он уверял меня, что не послал этой телеграммы. Оказывается (как я и думала), не только послал, но и получил ответ: «Упреки несвоевременны, обидны, послала массу писем на Пушкинскую». Ответ пришел уже тогда, когда я была здесь.

Он мне солгал самым трусливым образом...

Это, как будто, мелочь, но ничего подобного, за все 11½ лет не было у Николая. Если б случилось так с ним — это было бы для меня почти катастрофой. Я молилась на его любовь.

Но сейчас этот эпизодишко только способствует состоянию внутреннего одиночества и причиняет боль тупую, почти внешнюю. Я ничего, разумеется, не скажу ему. Постараюсь не сказать. Надо обязательно постараться не сказать, — это унизит его, ему станет стыдно, тревожно и пусто. И я теперь так много понимаю! Так много допускаю! В людях, по крайней мере. Я допускаю, что могла быть эта тревога у него, могла быть в порядке *простого* интереса, могла быть и глубже. Я знаю, как властна может быть инерция отношений. Я знаю, что сплошь и рядом эту инерцию люди принимают за самую любовь, за жизнь. А многие держатся за нее больше, чем за жизнь. Он не был еще уверен во мне, а там — все как будто проверено, там была целая жизнь, одному остаться — страшно, приятно, чтобы тебя любили, — о, сознание защищенного тыла — «хоть кто-нибудь любит», — это серьезная вещь.

Когда я приехала и стала жить с ним, и позволила ему сказать людям, что я — его жена, возможно, что ему самому посылка этой телеграммы показалась ненужной. «Все уладилось». Я рядом. Возможно, что он заново, м<ожет> б<ыть> даже всерьез, всей душой полюбил меня с 20/IV. Ему-хотелось, м<ожет> б<ыть>, считать эту телеграмму небывшей, не касающейся до меня и нашей новой жизни. И он сказал, будто не послал ее, — соврал. Он не предполагал же, что я буду проверять это. Он не знает, как необходимо мне, чтоб он был действительно только моим, нераздельно, всем сердцем, всеми помыслами. Его прошлая жизнь мучит меня темной, неприязненной ревностью. Я хотела бы вытравить из памяти его все, что было до меня, хоть и знаю, что это невозможно. И я тайно от него проверяю,

выслеживаю, — что осталось в нем от нее? И вот обнаружила, — что осталось, что живо! Нет! Как бы ни понимала и ни допускала я всего, а нехорошо это — слать ревнивые телеграммы, свидетельства любви — другой, когда я люблю его, и когда он знает это.

Он может возразить: «А ты? А осень? А теперешняя тоска?» Мне нечего ответить. Я понимаю. Но НЕ ПРИНИМАЮ этого. Дело не в том, чтоб он любил меня, как Николай, — так никто никогда не сумеет. Но хотя бы в том же ключе...

А, зря все это. Можно ли жить с людьми по нормам Кольки?

Он неск<олько> раз был в комнате, он чувствует, что я ушла в раковину, а мне невозможно сделать нейтральный и ласковый вид...

Ну, ничего. Вздремну сейчас, м<ожет> б<ыть>, разойдусь. Но — молчать, молчать, боже упаси причинить ему стыд и боль... М<ожет> б<ыть> — обойдется. М<ожет> б<ыть>, забудет ее.

27/V-42.

Ну, что ж — разошлось... Сегодня уже только саднит, но не больше. (Стрельба. Кажется, работают наши береговые, а м<ожет> б<ыть>, немец кладет снаряды не по нашему району. Если береговые, вернее, корабли, то сейчас он станет отвечать. О, морока проклятая!)

Я ничего не сказала Юрке, хотя не удержалась от намека. Нет, он, конечно, любит меня. Надо было видеть вчера и сегодня утром потухшие его, печальные глаза. У меня сердце поворачивалось, но злость была сильнее, не могла себя одолеть и приласкать его. А сегодня с половины дня как-то само отошло.

Была в Московском районе сегодня. Очень польстило, что они не сняли меня с учета, хотят, чтоб я осталась там, в районе, работала над историей района за год войны, на «Электросиле», и т. д. Завод перебрался обратно, восстанавливают цеха, кое-какие цеха начинают работать. Забавно, что еще до «Эл<ектро>силы», от ветки — начинается фронт, стоит первая застава. Что ж, я очень рада. Ездить туда, конечно, малоприятно — каждодневный обстрел (вот и сегодня тоже, пока была в райкоме), часто шрапнельный, но я теперь почти не испытываю этого омерзительного, не зависящего от ума, животного страха, какой иногда нападал раньше. И это во сто раз лучше, чем в Союзе, — это ж курам на смех, тамошняя партийная организа-

ция из трех человек! А здесь я смогу принести реальную пользу людям — меня там знают и уважают.

Господи, да ведь я, кажется, в самом деле стала популярным человеком — персонально приглашают на выступления, вот завтра — сразу два, потом 1 числа на антифашистский женский митинг в Куйбышевском райкоме.

Но пора и честь знать. Сейчас в Ленинграде неудобно выступать даже с «Февральским дневником», — уже не та обстановка. Еще умирают в домах, где с зимы держится холод и тьма (окна-то забиты), но общий тонус выше, и жажда жизни говорит все громче, нет того чувства всеобщей обреченности, как в феврале.

Писать, писать.

29 мая 1942 года.

О, какая весна.

Теплый, теплый, благодатный день и воздух, где-то играет радио (рояль), пахнет листьями, нежная зелень одевает деревья, из окна моего среди розовых, продырявленных крыш видны зеленые клубы деревьев, — а Коли нет.

Не слышно ни стрельбы, ни зениток. Мгновение мира.

А Коли нет.

Я умру в первый день окончания войны, в первый день мира, потому что его не будет и в этот день, и это будет означать, что он уже никогда не придет.

Мне страшно думать об этом дне.

Мне кажется, что я умру, хотя я знаю, что не покончу с собой — снова, как сразу после Колиной смерти, не хватит сил.

Что мне делать, — Коля всюду, каждую минуту, неотступно со мною.

Даже в сладчайшие и страшные минуты с Юрой я каждый раз непроизвольно едва-едва не восклицаю: «Коля, Коля», потому что и само наслаждение связано с ним.

Я не хочу забвения. Но так долго не проживешь. Что-то лопнет внутри, как чрезмерно натянутая струна.

Тем более, что я действительно люблю Юру. Я люблю его все больше, все серьезней. Сейчас мне было бы очень трудно без его любви. Она — настоящая, радостная, трепетная. Меня иногда дрожь

охватывает, — господи, кому он ее доверяет, полупаралитику, человеку, не сумевшему сберечь самое драгоценное, что у него было.

Я, я отпустила Колю!

За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал соленые нежные губы,
Я должен рассвета в дремучем Акрополе ждать.
Как я ненавижу плакучие древние срубы!

О, как болит сердце, пронзительно, нетерпимо.

Весна, и смертная тоска о Коле, и трепетная любовь к Юрке, и сознание вины перед ними обоими — и одиночество, одиночество...
Попробую писать стихи.

Сегодня обязательно надо написать «Ленинград-фронт». Это как раз то, что сейчас людям нужно, тем более, что говорят — немцы готовятся к новому натиску на город.

31 мая 1942 года.

Вчера было совещание писателей армии, города и флота. Объективно — грандиозно: в блокированном городе художники собираются, как бойцы, обсудить свой опыт, наметить дальнейшие пути борьбы славнейшим людским оружием — словом.

Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

А субъективно, по нам — плохо прошло. Неделовито, неподъемно. Эти тупые «руководители» — Маханов, Фомиченко, — чем они могут зажечь? Да и личный писательский состав — в основном сер — и лениво-мыслящ.

Я тоже выступала плохо, почти без подъема, потому что в середине совещания совершенно очевидна сделалась его никчемность. Я вообще не люблю этого организованного лицемерия, хотя на этот раз его было значительно меньше, чем в мирное время.

Меня много хвалили — хвалил Тихонов в докладе, — дважды Фадеев в своем выступлении, Вера Кетлинская в докладе, Юрка, выступая.

Мне же неудобно до крайности: сколько времени возжусь с «Ленинград-фронт» — и одна трепотня, а работа ни с места, а другое, насущнейшее — ждет. Трепло я, и все. И стихи пишу какие-то «вумные», холодные, взяла тон непомерно высокий, — проще, проще, проще надо, ближе к сердцу каждого.

Нет, сегодня хоть спать не буду, а выступление закончу, а то и так уже переставляет.

Сейчас поем — и за дело.

Слишком много сил уходит на личную жизнь. Появились систематические головные боли — это от непрерывного недосыпания, — грызем с Юркой друг друга еженощно.

Он любит меня — это факт. Я уже вхожу в его любовь, как в свою комнату.

Я все же сказала ему все с телеграммой. Он долго рассказывал мне обо всей истории с Ириной, — как это все дико, — и его «разочарование» в женщинах, и его, как он говорит, «сукин-сынский» период в обращении с ними. Видимо, он в значительной мере все это только облекает в такие теоретические декорации. [Что] Чем-то ото всего этого веет *чрезмерно* извечным, очень далекая проблематика, типа начала века. Гм... оказывается, и в наше время это имеет место.

Сегодня облачное небо, видимо, будет В. Т. Целый день отдаленная воркотня орудий, около 4<-х> — очередной обстрел; били по нашему району.

Третьего дня в час ночи была дикая зенитная пальба, налет, на Выборгской бомбы, — оказывается, со стороны Карельского было наступление.

Упорно говорят, что немцы готовятся к страшнейшему натиску на город.

1 июня 1942

«Типичное утро в блокаде»: лежу голая, очень красивая, несмотря на похудевшую уже грудь, Юрка прибежал и сказал, чтоб лежала так и не одевалась — через час он кончит совещание и придет целовать меня. Я лежу и жду его, я люблю его ласку.

Открыто окно, видно только небо, бледно-голубое, в нежных облаках, играет музыка и иногда — внезапный, сильный, но еще далекий грохот зенитных залпов.

Если б сейчас началась бомбежка, — я не испугалась бы, т. к. всегда, в мгновения покоя и счастья — исчезает ощущение смерти, — она кажется невероятной — не может ее быть, не может быть умирания. Если жить всей жизнью, на полном ее напряжении, на высшей ее точке — смерти не может быть, жизнь может внезапно оборваться, — и все. Смерть — это умирание, это тоскливое ожидание ее, предчувствие ее. Иногда, в минуты ясного и спокойного счастья, когда засвистят над крышей или головой снаряды, [1 сл. нрзб] мне даже весело делается, — я думаю: «Ну, что ж, м<ожет> б<ыть>, сейчас конец, но зато, как любит меня Юрка, как я смело и сильно жила, ведь это же все есть, разве гибель зачеркнет это? Она ничего не зачеркнет, ничего не уничтожит».

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,

— как это теперь понятно в чувстве!

Как мучительно хочется рассказать обо всем этом Николаю. Писала вчера стихи для концовки «Ленинград-фронт», — и ни хрена не вышло. Неплохая первая часть, собственно говоря, самостоятельное стихотворение, явно требует другого развития. Вот всхлипнул выстрел и разрыв, сейчас будет артналет, по-видимому¹. Плюну на Юрины указания, буду делать, как мне кажется лучше.

[1 сл. нрзб] И сначала сделаю прозаическую часть выступления.

Ужасно, что нельзя посоветоваться ни о чем с Николаем, я верила ему абсолютно, почти все, что он говорил, было для меня законом.

Весна, а его нет, и ничего не рассказать ему. Он так любил мои рассказы.

А что, если написать это совершенно свободно, здесь, как рассказ ему?

Здравствуй, здравствуй!

Знаешь — в Ленинграде все-таки наступила весна. Она такая же холодная и медленная, [1 сл. нрзб] как в прошлом году, когда ты был жив, когда я собиралась на дачу в Келломяки, когда мы открывали окна в нашей квартире на Троицкой.

¹ Предложение взято в квадратные скобки.

Она так не похожа на прошлогоднюю, что сердце рвется, когда вдруг сразу все себе представишь, все, что произошло только за год. Самое удивительное все-таки в том, что она наступила.

В январе, когда я ходила к тебе на Пряжку, казалось невероятным, что когда-нибудь вновь может быть зелень, что можно будет ходить в одном платье, — холод пробирал при одной мысли об этом — кругом был лед и снег, темнота, пожары, трупы, полумертвые, обмотанные тряпьем люди, все стыло и цепенело, — нет, какая уж там весна, до нее просто не дожить — и всё.

Вот ты и не дожил до нее, Псоич. Сердце мое.

Но упрямо, тупо, дико я все еще надеюсь, что ты где-то в городе, что ты вернешься, что я расскажу тебе о том, чего ты не увидел.

Знаешь, недавно с ребятами из радиокомитета я была на фронте. Мы ездили на церемонию вручения гвардейского знамени одному артиллерийскому полку, в 55-ую армию, а к ней надо было ехать через Невскую заставу, по тем самым улицам, где прошло все мое детство, и лучшее время молодости, прекрасно совпавшее с годами первой — [самой] пятилетки.

У каждого в жизни есть дни — и сейчас, в Ленинграде, во время войны <Далее обрыв текста.>

3/VI-42.

Третьего дня у меня была Галка. Милый мой, верный, прекрасный друг. Как я рада ей была, говорили до 10 часов утра, поплакали, пели. Рассказывала ей о Колиной смерти, почти спокойно, т. к., когда говорю об этом, — все кажется, что что-то выдумываю, что это — неправда, недоразумение.

А Юра прочел мой дневник, говорит, что будто бы только от 1/VI, и было объяснение. А-ах, господи, как это все мучительно. Я понимаю, что ему тяжело оттого, что я тоскую о Коле, я бы, наверное, просто не смогла жить с ним, если б у него было так, как у меня, но что же я могу поделать?!

Его борьба с Колиной памятью томит и мучит меня еще потому, что книгу стихов, самую лучшую, самую мою, которая должна быть, — я обязательно хочу посвятить Колиной памяти. Я буду еще писать о нем, — если б удалось мне выразить это в слове — какой он был добрый, прекрасный НАШ человек... Что ж, Юрка будет страдать

из-за этого, — ведь не хочу я причинять ему боли, и не могу не помнить Колю всем сердцем.

Но вчера был удивительный вечер: Юрка купил по дороге большой пучок березовых веток. Мы принесли их, поставили в комнате, а окно было открыто настежь, видно было тихое, могучее небо, прохладный ветер веял в окно, в городе было очень тихо — и так пахло березой, так пахло, что вся жизнь, самые счастливые дни ее ожили во мне и — в чувстве — шли через душу счастливо, страстно, ликующе. Вечера, сырые и пахучие, в Глушино, в детстве; наш самый первый вечер с Колей на Островах, где он первый раз поцеловал меня — молодой, красивый, — а я была в вышитой русской рубашке, — там тоже пахло березой, так же, как вчера. И я жила той неясной, томительной отроческой тоской глушинских вечеров, и ясной, спящей радостью вечера на островах, и теперешним вечером — этой минутой тишины и радости, когда около лежал красивый, любящий мой теперешний муж, и я ощущала всем существом, что это счастье, — что он лежит сейчас около меня и любит меня, и я люблю его, и тихо, и пахнет, пахнет, пахнет свежей березой. Все это сливалось в одно, без боли, вернее, со счастливой болью — все это было счастье — то есть жизнь, все это было неистребимо, прекрасно и ЕДИНО. Если б мне удалось выразить это, наверное, я написала бы гениальное произведение. Но это невыразимо, это, наверное, тайна, которую нельзя выразить. Так ясно было душе, что нет времени, нет горя, что жизнь — и есть счастье, что высший мой день — СЕГОДНЯШНИЙ, [подобно тому, как] *вообще* — каждый день жизни — *и есть* высший ее день; но все же, может быть, высший день — именно был вчерашний вечер, высшая жизнь — теперь, потому что у меня уже так много накопилось счастья — опыта жизни, потому что у меня уже **ЕСТЬ ЧЕМ ЖИТЬ** — и детством, и сияющей любовью с Колей, и сегодняшней любовью, и предчувствием, основанным на опыте — что счастье будет. И это ощущение слиянности, единства, независимости от времени, это ощущение счастливого накопления — это есть зрелость, лучшая пора человеческой жизни.

Юра пошел дежурить на ночь в 6<-й> этаж, — сегодня я, пожалуй, напишу «Ленинград-фронт», напишу его именно на этом ощущении зрелости, зенита жизни: «Вот для чего я жила, и что бы ни было сейчас со мною и с миром, я в этом живу, живу всем сердцем, потому что это мой зенит, потому что я жила для этого давно».

И страш<но> писать — глядя на Юрку вчера, вдыхая глушинский, кировско-островский запах березы, запах детства и юности, запах как бы прошлого счастья — я думала: «Да, все складывалось так, чтоб я дошла до <этого?>, и все как бы для этого и было, для этого вечера с <ним?>, и это моя судьба, и это, как война, как Ленинград — моя зрелость, мой зенит. Принимаю? Да, принимаю!»

8/VI-42..

Аще забуду тебя, Иерусалиме...

Сегодня — 12 лет нашей жизни, нашей любви — нашего брака с Колей.

Я помню все так, что ничего не надо ни вспоминать, ни записывать.

Наверное, скоро кончится моя жизнь. Наверное, скоро кончится. Где-нибудь за углом уже подстерегает меня конец. Потому что невозможно человеку долго жить на такой острой высоте, ходить по таким остриям, как я сейчас живу и хожу. Последние дни меня ранит и терзает какое-то дикое, безумное счастье, ощущение счастья, жизни предельное. И я чувствую — это уже всё. Это уже предел, дальше которого ничего нет, ничего не может быть. Или смерть, или с ума сойду. Потому что (кошунство, может быть) — память о Коле вдруг стала сияюще-счастливой. Как будто бы не видела <его с> ввалившимися вороночкой щеками, в моче, со сведенными руками. <Возникает?> этот образ без боли и исчезает, — да нет, не было, не было такого! А был и есть тот — золотоглазый университетский Коля Молчанов. И он со мной. Я радуюсь ему, и знаю, что он рад, что я счастлива с Юрой, что я люблю Юру. «Хорошо<?>» — спрашиваю я Николая и вижу, как, смеясь, уже почти не грустя, он говорит мне: «Хорошо, псо, хорошо». О, душа моя, совесть моя, верный мой и преданный друг! Как я чувствую тебя, светлого и прекрасного, в себе, как счастливо мне знать, что ты любишь меня, раз благословляешь на жизнь и счастье.

Все хорошо. Все почему-то эти дни легко. Все жизнь.

Сегодня получила письмо от Сережи. Удивило оно меня, обрадовало и озарило — и настоящей человеческой радостью и помельче — женской, тщеславной.

Мальчик явно вырос и возмужал духовно — безмерно. Это видно хотя бы по стихам. По самому письму — суровому, сдержанно-

му его тону. Он не забыл меня! Он удивительные слова пишет обо мне вначале, он вдруг заканчивает письмо: «Я люблю тебя, Оля. Люблю». Он женился, у него родилась дочь, он назвал ее Ольгой, — моим именем. Я искренне говорила Юрке, который прочел письмо и немножко побушевал, что расцениваю это «люблю» как чисто человеческое, но Юрка уверяет, что — нет, мол, вовсе не человеческое, а специфическое. Гм... странно! Он никогда не писал мне этого в письмах и даже не говорил этого с такой прямоотой и силой, как в этом письме. Неужели и впрямь вспомнил, понял и полюбил? И хотя мне это не нужно — это веселит и лукаво радуется меня. Любви с ним не может быть. Я слишком зрелее его сердцем.

Что нам с тобой до их мечтаний,
До их неопытной любви —

так говорили мы с Колей, чувствуя, какое зрелое, несравнимое ни с чем, двойное, обоюдное чувство у нас с ним, любовь, включающая в себя всю жизнь... И вот, опять-таки, кощунственно быть может, но я чувствую, что такой же, подобной же зрелости и глубины наступает любовь с Юрой, любовь, обнимающая жизнь. И в этом нет оскорбления Коле.

А я люблю Юру уже жизнью своей, все свободнее, все преданней.

Я принадлежу ему с восторгом, и даже сегодня, в наш с Колей день, ласкала его и говорила ему о любви из сердца, и это случилось со светлым ощущением Колиной жизни.

17/VI-42.

За 14/VI в «Кр<асной> Звезде» — прекраснейший фельетон Эренбурга о Париже. Дело не в том, что этот фельетон стоит всего его романа о Париже. Здесь ни при чем литературные оценки — это выше их. О, дикое, страшное, позорное и прекрасное наше время! Неужели ты не принесешь людям хотя бы долгого отдохновения, если не прозрения? И как я рада, что <в> дни июня 1940 года, когда немецкие танки на нашем бензине шли на Париж, — я всей душой протестовала против этого, ощущая гибель Парижа, как гибель какой-то большой части своей души, как наш позор — нашу моральную гибель. Я тогда писала:

Я знаю, как ты погибал, Париж,
По бессилию своему...
...Я знаю, как ты восстанешь, Париж,
По ненависти моей!

Сюда надо было бы вписать многое: о детском доме и о детях, где я была. О вчерашнем разговоре с Юркой, опять до утра — родной мой Юрка, как он меня мучит, он сам не знает того! Но я буду писать стихи, хорошо бы выступить с ними 20/VI. Немцы стягивают силы и готовят наступление на город с трех концов. Быть может, скоро тут начнется сущий ад. Быть может, мне и Юрке жить осталось недолго.

Так жить же и жить и успеть что-то сказать людям...

24/VI-42.

Опять постылый свист снарядов,
И город, падающий ниц.
Не надо, Господи, не надо, —
Мне все страшнее эти дни.

На Харьковском наши отступили, Севастополь, видимо, на днях падет. Недавно безумно обстреляли наш район, снаряды взрывались в пельменную, где мы с Колей всегда брали пельмени, в набережную перед самым райкомом, — я пришла туда через час после обстрела — аж ноги отнялись — если б там, в этих комнатах сидели люди — их разорвало бы стеклом! И вот сейчас опять грохот — это по городу, не очень далеко от нас, — и с каждым этим ударом — убивают Колю. Его убивают и убивают — каждого убитого я воспринимаю сейчас как его, каждую смерть — как его смерть. Мне трудно объяснить это.

Я понервничала — за себя — в тот обстрел, уж очень они свистели и грохали, и это неприятно, надо не обращать внимания.

Нехорошо и то, что последнее время война томит, возникает нетерпеливое личное ожидание ее конца — а это возвращение того чувства временности, которое исчезло с войной, и в особенности, когда умер Коля, и затем, когда я стала принимать счастье с Юрой.

Я люблю его и его любовь все больше, все нежнее, все пламенней, и мне уже почти не стыдно за это ни перед Николаем, ни перед людьми, ни перед самой собою.

Я, несомненно, делаю тактическую ошибку, позволяя ему распоряжаться мною в мелочах, дав обещание, что не отвечу Сереже, — мне пока нравится его власть, даже его деспотизм, — ну, а потом? Ну, а потом — видно будет. Я наслаждаюсь и люблюсь им с трепетом, слушаю влюбленные слова его с наслаждением, думаю о прошлых его сожителствах и бабах — с настоящей ненавистью... Только боюсь, — не излишне ли нарядно и светло одевает он меня в своем воображении, — я кажусь себе сейчас очень жалкой, бедной, черствой. То ли было с Николаем! Только он знает, как я сверкала, — теперь-то я могу сказать это о себе, как уже о другом человеке. Я не знаю сегодняшнюю себя. Пожалуй, — плоха.

Вот — с каким трудом идут «Ленинградцы». Получатся ли? Я уже связана замыслом, — он, действительно, огромен, в стихах нет свободы и непосредственности, — давит идея, куда-то все время тороплюсь внутренне — знаменитая трясучка. Надо пока все отложить и сидеть только над этой вещью. Уже у меня нет того напора, как в сентябре-октябре 41 года, когда могла выдавать по 5 опусов в день, решительно во всех жанрах.

Может быть, сегодня буду читать по радио «Февральский дневник». Поздно, конечно, и уж теперь он так не прозвучит, как прозвучал бы тогда, но все же. Неприятно, что перед этим читались стихи Зуккау, очень ремесленные и очень подражательные «Февральскому» дневнику», — они вызвали большой резонанс. Я не завидую ничуть, но теперь «Дневник» может звучать как... подражание Зуккау! Ну, это мелочь.

Попробую работать.

25/VI-42.

Целый день сегодня с Юрой — в Союзе, ходили по городу и т. д. День — сияющий, небо голубое и листья зеленые, и тихо. И я была влюблена в него, любила его упоительно, до изнеможения душевного, когда не знаешь, что сказать, и он тоже. А потом вдруг, после разговора в приемной у зубного врача — вдруг накинута тоска о Коле. Мрак. Пошли по Троицкой — в соседний дом, выбрать квартиру. На окнах

нашего дома, нашей квартиры — ставенки, заботливо сделанные Колей. А его нет. И я готовлю себе новую квартиру, с новым мужем, и люблю его. ИЗМЕНА, ИЗМЕНА!

ЛИШЬ К ТВОЕЙ ЗОЛОТОЙ СВИРЕЛИ
В ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ УСТАМИ ПРИЛЬНУ...

28/VI-42.

ЛИШЬ К ТВОЕЙ ЗОЛОТОЙ СВИРЕЛИ
В ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ УСТАМИ ПРИЛЬНУ...

Лишь к твоей, лишь к твоей. Физическая тоска о Коле. Кажется, если прибегу на Троицкую — он там. Одиночество без него невыносимое — хочется руками кругом шарить, искать его, везде искать, чтоб найти.

А вчера — такие страшные и упоительные минуты с Юрой, новое, еще неизведанное в жизни наслаждение — его губы...

Но до этого — весь вечер слез, его старательные объяснения, как подло я поступала, допуская «отклонения» с другими. Он точно рвал мне мою рану, точно сыпал в нее соль. Опять разговор относительно Сережи, уличения меня в утаивании и лжи. Ах, я сама знаю — он во многом прав, и так мне и надо за все, и не имею права просить пощады.

2 июля 1942 г.

«Тихо падают осколки...» Весь день сегодня — то и дело зенитная пальба — по разведчикам, и время от времени слышен гул немца. Неужели они возьмут Севастополь? Подумать об этом больно, — пожалуй, верно сказал Яшка, что людям, защищавшим его, останется только одно — умереть. Немцы продвигаются на харьковском, видимо и на курском направлении, когда же, когда же их погонят?! И все падают, и все умирают люди. На улицах наших нет, конечно, такого средневекового падежа, как зимой, но почти каждый день видишь все же лежащего где-нибудь у стеночки обессиленного или умирающего человека. Вот как вчера на Невском, на ступеньках у Госбанка лежала в луже собственной мочи женщина, а потом ее волочили

под руки двое милиционеров, а ноги ее, согнутые в коленях, мокрые и вонючие, тащились за ней по асфальту.

А дети — дети в булочных... О, эта пара — мать и девочка лет 3, с коричневым, неподвижным личиком обезьянки, с огромными, прозрачными голубыми глазами, застывшими, без всякого движения, с осуждением, со старческим презрением глядящие мимо всех. Обтянутое ее личико было немного приподнято и повернуто вбок, и нечеловеческая, грязная, коричневая лапка застыла в просительном жесте — пальчишки пригнуты к ладони, и ручка вытянута так перед неподвижно страдальческим личиком... Это, видимо, мать придала ей такую позу, и девочка сидела так — *часами*...

Это такое осуждение людям, их культуре, их жизни, такой приговор всем нам, — безжалостнее которого не может быть.

Все — ложь, — есть только эта девочка с застывшей в условной позе мольбы истощенной лапкой перед неподвижным своим, окаменевшим от всего людского страдания лицом и глазами.

Все — ложь, — есть только эта девочка, есть Коля со сведенными руками и померкшим Разумом — его светозарным разумом, — все остальное ложь или обман, и в лучшем случае — самообман.

Вспоминая эту девочку и Колю непрерывно, я чувствую всю ложность своего «успеха». Я почему-то не могу радоваться ему, — вернее, радуюсь, и вдруг обожжет стыдом, тайным, бездонным, холодным. И я сбиваюсь, мне отвратительно становится все, что я пишу, и вновь, вновь и вновь осознаю — холодно и отчаянно, что жить нельзя. Слоеное какое-то внутреннее существование: то вот это, о чем написала только что, то сознание, что — нет, все-таки говорю что-то нужное человеческим сердцам.

Меня слушают — это факт, — меня слушают в эти безумные, лживые, смрадные дни, в городе-страдальце. Нет смысла перечислять здесь всех фактов взволнованного и благодарного резонанса на «Февральский дневник», — отзыв Коткиной, элекросиловцев, еще каких-то незнакомых людей, группы студентов ин<ститу>та Покровского, от которых приходил делегат за рукописью «Дневника», — и т. д., и т. д. — многое я уже просто забыла.

В ответ на это хочется дать им что-то совсем из сердца, кусок его, и вдруг страх — не дать!

Очень трудно, рассудочно идет «Эстафета», видимо потому, что слишком ясна идея, и одолевает трясучка...

Но завтра с самого утра сяду за нее... На той неделе — поэма, «Дети Ленинграда».

Но это — как-то не особенно актуально. Актуально — это об ожесточенных боях, о том, что — е. т. м.¹ — они все же двигаются!

«Ты проиграл войну, палач, — едва вступил на нашу землю!»
Об этом сейчас надо!

В Ц<ентральном> О<ргане> от 30/VI — напечатали «Ленинграду». Правда, сняли одну ценную строфу, — но в целом — это акт, достойный удивления: пропущено и «наше сумрачное братство», и «наш путь угрюм и ноша нелегка». Это — первое мое выступление в Ц<ентральном> О<ргане>, и оно не стыдное, — честное, и стихи не плохие, хотя и не отличные. В них есть, по крайней мере, боль и чувство. Юраш очень доволен этим, больше, чем я. Записали также на пленку — для Москвы, хорошо было бы, если б оттуда дали на эфир — это сокращенно «Ленинград-фронт», и это будет интересно людям. В «Смене» — без ред<акционных> извращений напечатали «Дорогу на фронт», и это тоже приятно и удивительно, — стихи суровые, прямые.

Ах, скорее надо закончить «Эстафету». М<ожет> б<ыть>, ее сделать с вступлением, — проза или стихи об июне-августе прошлого года, — ведь скоро год — господи, год, как мы в блокаде!

Видимо, скоро немцы кинутся на нас вновь...

Неохота записывать о том, что Юрка несколько пыжится на меня из-за специфических дел, — это досадует меня донельзя, — ну, что за нелепые претензии на то, что я (якобы «всегда») переноси часы наслаждения на ночь, что-то регламентирую, устанавливаю «сетку» и т. д. Во-первых — не всегда, а как правило, — жадно иду к нему навстречу, восхищенная его желаньем и страстью, а если и «переносу», то только потому, что терпеть не могу в этом священнодействии спешки, укрядки, когда что-либо над тобой висит и т. п. А он не может этого понять и очень «по-мужски», «по-супружески» «недоволен»... Балда! Нет, я балую его немисливо, ни о чем не думая и не рассуждая, захлебываясь в нем, упиваясь им. Видимо, нужно «построже», а я не могу и не хочу.

¹ Сокращение грубого ругательства.

3/VII-42.

Вчера немецкое радио сообщало, что 1/VII в 12 ч<асов> дня немецкие войска взяли Севастополь. По нашим сводкам — «рукопашные бои на окраинах города» — ну, наверное, взят. Нет слов, чтоб выразить мучительную печаль о Севастополе и людях его.

Очень угнетенное состояние, прорезаемое бешеным, холодным ожесточением.

Почему, чорт возьми, он все еще сильнее нас?

Значит, из таких городов остались одни мы, один Ленинград. Оборона Киева, Одессы, Севастополя кончилась трагически. А м<ожет> б<ыть>, немцы все-таки врут насчет него? М<ожет> б<ыть>, совершится чудо — и город отстоят? Неужели — так-таки нечем и не с чем?! Ясно, что теперь немцы кинутся на Ленинград. О, какой ад они тут устроят! Навряд ли мы выживем. Только я не хочу теперь переживать еще и Юрку, — нет, нет, — если суждено, то пусть сперва меня, не надо мне еще и такой смерти, что это за судьба — все время быть свидетелем гибели самых дорогих людей — и все же жить.

Гнет на душе, томительное ожидание гибельной беды.

Хорошо, если б это настроение сменилось вызывающей дерзостью, как было днями в прошлом году. Но навряд ли... И вот забавно — уже три дня задержки, — неужели беременна? Но пока не убежусь¹ окончательно — ничего не скажу Юре, не хочу его зря волновать надеждой. Это хорошо было бы, пусть хоть и под гибель, — все-таки все бы в жизни было исполнено.

Надо написать письма родным, — м<ожет> б<ыть>, очень скоро будет уже не до писем, м<ожет> б<ыть>, это будут мои последние письма. Надо бы хоть короткую записочку все же послать Сереже.

6/VII-42.

Три дня назад, позавчера — мы сообщили об оставлении Севастополя..

Мне хочется сказать им, севастопольцам, простейшие и торжественнейшие слова, но таких нет.

Вечная память павшим,
Вечная слава — живым.

¹ Так в тексте.

В городе по этому поводу некое смятение умов, количество желающих уехать резко подскочило: «Очередь за нами»...

Да! Что-то будет? Ну, что бы ни было — все равно уж.

9/VII-42.

Третьего дня мы с Юркой переехали с нашего 7 этажа, из «блиндажа» с небом — в пятый этаж, в отдельную квартиренку из 2-х комнат. Это, как и сотни квартир в Л<енингра>де, — вымершая квартира. Ее хозяин, какой-то киноактер, убит на фронте, брат его умер зимой. В моей комнате, — она же наша спальня, — рояль, книжный шкаф с книгами, которые человек подбирал, видимо, специально, в этом же шкафу ящики с фото — в изобилии снимки какой-то славной, мирно улыбающейся, спокойно глядящей женщины, и шкаф, который был набит разным домашним барахлом: старые шляпы, наполненные медицинскими банками, лоскуточки, посуда (масса блюдец и две не подходящие к ним чашки, ситечко неизвестного назначения, ржавая мясорубка и т. д.).

Я разбирала и осваивала все это, расставляла мебелишку, раскладывала наше белье со смутным, многослойным чувством недоумения, иронии и печали. Мой быт накладывался на чей-то чужой, потухший, умерший быт. Меня не покидало ощущение, что это — чужая квартира, что хозяева еще могут вернуться, хотя я знаю, что этого не будет. Вот и я не живу на Троицкой, и я лишена своей квартиры, своей прежней жизни, и, приходя туда, замираю в удивлении и внутренне мечусь: неужели я, теперешняя я, жила там, и у меня был Коля, и была жизнь, абсолютно не похожая на эту? Все сдвинуто, перемещено, плоскости отдельных чуждых жизней пересекают друг друга, и вернуть прошлое — нельзя. Мне все еще часто кажется, что сегодняшний мой быт — это «невзаправду», «понарошку», нечто вроде игры, или какая-то вторичная жизнь, — как на том свете, как после смерти. Это не сплошь, не все время. Юра — это жизнь, это взаправду. Но иногда — такая томящая неуверенность в реальности существования!

Неужели же я настоящий,
И действительно смерть придет?

[<1 сл. нрзб>] Ощущение печальной нереальности, недоуменности своего бытия обострилось в связи с переездом в эту вымершую квартирку. И вчера весь день и особенно вечер, когда мы с Юрой разбирали чужие пожитки, часть выбрасывали, а часть оставляли себе, — неотступно было передо мной лицо Коли, и вспоминала, вернее — видела его только в минуты, когда я наносила ему обиды: как в одну из бомбежек, когда мы вышли на улицу, вечером, это был уже ноябрь, конец ноября, я нервничала, т. к. стреляли зенитки и падали бомбы, и я просила его — довольно зло — прибавить шагу, а он шел не быстро, и рассердился на меня, и на углу Невского и Фонтанки сказал, что зайдет в аптеку — переждать тут, а я помчалась в <радио>к<омитет>. Мне хотелось добежать до подвала быстрее, т. к. было страшно; я прибежала туда и сразу стало стыдно, что бросила Кольку на улице. Но через минут 10–15 Юрка сказал мне: «Пришел Коля», — я так обрадовалась, вышла к нему в вестибюль и, кажется, усадила его потом, — но не в «нашей» с Юркой комнате, а в общей. Коля сказал: «Я знал, что ты нервничать будешь, что я остался на улице». Боже! Он все время в те дни думал не о своей опасности, а о том, чтоб я не нервничала и не боялась за него. Ох, ну, не надо...

И только совесть с каждым днем сильней
Беснуется: великой хочет дани...

В «Комсомольской правде» от 5/VII напечатан «Февральский дневник» — полностью, без единой поправки и купюры. Ну, что ж, хоть и задним числом обнародовано, — но все-таки это здорово... А стихи, надо прямо сказать, отличные. Читала их в газете сама с волнением и со слезами. Такие можно было, наверное, написать один раз, и уж, наверное, лучше ничего не напишу. Я сама поражена сейчас — как я написала их — тогда? Откуда все это пришло — эта суровая, прямая мысль, точная формулировка, внутренняя, рыдающая, жгучая страсть при внешней — почти холодности. Ведь я была просто психом тогда на почве голода, а Колина смерть, вырвавшая из меня душу с корнем? Непонятно. Перечла сейчас свой январский дневник — господи, это сплошной голодный бред, и только. Я сейчас в ужасе — как я не ходила к Коле ежедневно, как я могла одна сожрать печенью, присланное Мусей, как я могла часами писать о еде? И из этих страниц видно, что я была ненормальным челове-

ком. И ведь я тогда еще рассказы о партизанах писала! Но — вспоминая, что же я могла делать? Я ведь что-то запасала — на предмет, когда Коля выйдет, что-то делала, а сидеть рядом с ним, безумным, ничего не понимающим, — и ему даже белья нельзя было сменить — не было! И что мы знали о дистрофии тогда!

Ах, эти все записи бесплодны, и я — бесплодное и жалкое существо: не сберегла Колю, не умела его любить, а сейчас мучу тоской своей Юру, — он все видит и понимает, и я не могу и не хочу скрывать ничего...

«Эстафета» идет очень плохо и явно перенашивается. Надо писать по ночам. Трясучка днем одолевает — и то одно, то другое. То Юрка зайдет, то звонки — я в моде, мне предлагают всякие заказы и т. п., в общем, висят над душою. И Юра торопит с поэмой, спрашивает о ней, — трясучка *еще злее*.

Главное — такой период, что хотя на время работы надо быть одной, совсем одной — и внутренне тоже. Это всего достижимее ночью, когда ничего не висит.

Ну, возьмусь пока сейчас, м<ожет> б<ыть>, буду одна часов до 6.

12/VII-42.

Понурое, расслабленное состояние. Видимо, сказывается почти бессонная ночь, — до утра работала над поэмой, потом долго не могла уснуть, а ночью снились мучительные, томящие сны, — война, бомбежки, я убила какую-то страшную старуху (я иногда убиваю во сне ужасных старух) и Ирочку видела, — будто она ослепла, но так хорошо видела ее личико, живое, а не оборотня. Колю во сне никак не вижу.

Это тяжелое, унылое какое-то, бескрылое состояние тянется довольно долго, и я не могу найти конкретной ему причины.

Тут и ровно-ноющая тоска о Николае, и тоскливое ожидание штурма города, — бессмыслицы всей этой кровавой, и тупое терзание из-за общих наших военных дел, — т. е. от сознания, что гибнут и гибнут люди, такие же, как Николай, и все растет и растет ком страданий.

«О, что мне до них, что мне до всей этой большой жизни, большой земли, — с досадой думаю я иногда, — довольно, довольно! У меня есть Юра с милыми его пушистыми глазами, человек, любя-

щий меня, красивый и желанный мне. У меня есть какой-то отрезочек времени, — “до штурма”, до всей этой идиотской катавасии, когда уж нельзя будет вздохнуть, — ну, и живи, радуйся весь этот отрезочек».

И все же томит, темнит жизнь, отнимает легкость в душе, — пусть и горькую.

Наверное, на днях немцы возьмут Воронеж. Они — в области Дона, форсировали его. От Купянска до Россоши они махнули в неск<олько> дней, — видимо, наши бежали, произошла какая-то катастрофа, говорят о гибели наших 2-х армий. И это после того, как был приказ № 130! Нет, наверное, хватил тут Иосиф зря. Но люди правы, нужно выстоять до открытия второго фронта. Просто выстоять, чтоб не погибло государство. Немцы должны же изнемочь, захлебнуться в крови. И тогда, когда ударят по ним с запада, — мы начнем фронтальное наступление здесь. Логически — все верно. Но что будет к тому времени с нами, — с Л<енингра>дом, со мной, с Юркою, с будущей нашей жизнью? Это никому не интересно.

Пример Севастополя сильно повлиял на психику ленинградцев. Из Л<енингра>да бегут. Вообще, настроения подавленно-панические, — даже «военная группа» писателей собирается дать тягу под разными предлогами. Все ждут штурма и боятся его.

Я тоже боюсь... А может, нет. В общем, если расчет не на жизнь, а на «дожитие» — то все равно, даже хочется крикнуть, как хотелось тогда, когда немец кружил и выл над домом, кружил и выл: «Да ну, бросай скорей, сволочь, бросай бомбу, убивай...» И боюсь — и ни под каким видом не уеду.

Нет. Ни к чорту все эти мои рацеи не годятся.... Живешь, так живи как человек. Этот расчет на «дожитие», на «скорей бы кокнуло» — предательство по отношению к Юре и — и к Колиной памяти тоже. От боли за наши поражения — не отделаешься. Но надо жить «стиснув зубы, с железной решимостью». Надо радоваться тому, что есть. Надо говорить что-то людям, — ну, если мы все так опустимся, — а мы уже так УСТАЛИ, — что будет?

Что будет — то и будет. Времени нет. Есть вся жизнь в сегодняшнем дне. Жить им и говорить об этом.

Поэма может быть хорошей, а если подниму финал — перед колыбельной, то и отличной, не хуже «Февральского дневника», хотя другого типа.

Видимо, все же беременна — уже 13 день задержки и что-то вроде легкой тошнотки. Ну, и все это — «перед штурмом», перед разлукой с землей? Зачем же привязываться к ней — любовью, ребенком, работой? Не лучше ли обрубить все связи с нею? Но это означает — сдать раньше, чем тебя возьмут.

Нет. Не сдаюсь. Я просто не выспалась — плохо сплю последние дни вообще, — еще не приспособилась спать вдвоем с Юрой...

18/VII-42.

Сегодняшняя сводка немного получше, «бои в р<айо>не Воронежа и южнее Миллерова, на остальных — без изменений». Неужели они — захлебываются уже? О, если бы! Эти сводки — как пульс держишь у больного, любимейшего человека, — как у Ирочки держала, как у Коли — во время статуса...

О, вытyani, выдержи, выстой, земля моя, мое войско, потому что я хочу жить, потому что ты сможешь жить, даже пролив столько крови.

В Ленинграде пока очень тихо, даже дня два, как обстрелов нет. Наша судьба, конечно, решается на юге. У нас еще есть время — до штурма, м<ожет> б<ыть> недели 2, м<ожет> б<ыть> целый месяц. М<ожет> б<ыть>, если их там поколотят — штурма не будет.

Но пропаганде даны новые — тревожные — установки: не пропагандировать победы в 42 году, — это, мол, фатализм. Не пропагандировать непобедимости антигитлеровской коалиции, — это значит, не надейся на союзничков; <1 сл. нрзб> пропагандировать, что Л<енингра>д получил лишь временную передышку и что штурм обязательно будет, — надо готовить к нему людей, отрешиться от благодушия и вообще «бить в набат».

Н-да, невесело. Эти директивы были получены дня три назад, и настроение у людей было очень напряженное, Юрка даже начал говорить о том, что я «в случае катастрофы» должна буду уехать из Л<енингра>да, и т. д. И у меня было смутное, бередающее, раздраженное состояние ожидания несчастья, катастрофы, конца, хотя, конечно, мысль о бегстве — вернее, перспективе его — еще ужаснее... К чему, ну, к чему спасаться, тем более — бросив тут Юрку, собственно говоря, единственное, что держит меня на поверхности, не дает с головой погрузиться во мрак?

Потом это чувство сгладилось, т. к. пошли мелкие и мельчайшие бытовые дела, суетность, за которой все скрывается.

Получила от портнихи черное бархатное платье, — идет, очень идет, «страх, как мила», и пальто новое летнее идет, — просто душка в нем, — ну, разве может быть при этом гибель, катастрофа и т. п. Пальтишко, конечно, подправить нужно, — ну, ничего, она подправит, — рвач, расчетливая, корыстная баба, неискренняя со мной, но отличная портниха.

Написала поэму, — и ведь получилось явно ничего, местами так прямо здорово; лучше, глубиннее всего, конечно, начало, и мне нигде не удалось подняться до него, — так оно неповторимо по самой ситуации (это уж от меня не зависит... хотя, гм... ведь стык-то — «не отдам» — «возьми» — я придумала!), так трагично, и открывает какие-то новые людские отношения, — без объяснения их. Затем — отрывок с Мусей, затем — Семен Потапов, потом озеро. Истребитель Митя Карамазов — никуда не годится, фальшив и жалок, надо переписать все, и уж не знаю — выйдет ли, тем более сейчас, когда хочу спать, — почему-то недосыпаю перманентно, и в башке — муть.

Но, однако, даже с этой мутью попробую дожать.

20/VII-42.

За окнами — гул артиллерийской интенсивной стрельбы. «Может быть, это начался штурм?» Мы встречаем этой фразой, шутя, теперь каждый очередной обстрел, — и сейчас Юрка так пошутил, — а м<ожет> б<ыть>, и в самом деле — так. Ведь это же реальность — будущий штурм. В центре города матросы строят бойницы в домах, особенно оборудуют и укрепляют углы домов на перекрестках, — боже мой, неужели это может пригодиться? Мне кажется, что если немцы войдут в город — то ничто уже не поможет.

(Страха смерти нет. Это стрельба — на передовых, ясно. Ходоренко зачем-то срочно вызвал Юрку.)

М<ожет> б<ыть>, завтра мне не удастся уже прочесть мою поэму по радио? Читала ее сегодня в Д<оме> К<ультуры>, на собрании женщин нашего гарнизона. Приняли — исключительно, с восторгом, хотя Юра говорит, что читала плохо и многого не доносила.

Вчера читала у Вольки Марина, для работников Публички. Марины перебрались из своей комнаты с 996-ю медведями во второй

этаж, в вымершую квартиру (и тоже, почему-то, с роялем!); у них были работники Публички, и Танька Г. была, исключавшая Колю из комсомола за то, что он не хотел отказаться от меня, когда я сидела в тюрьме (он сказал: «Это недостойно мужчины», и положил свой комсомольский билет, который носил, как знамя, с 1924 г.); и Филиппова была, приходившая ко мне, как к жене бойца, когда Коля был мобилизован во время чехословацкого конфликта, и все другие, с кем он работал, — были, а его — не было. Непонятно! Нет, непонятно... Я читала им, пела, а жила в это время не этим, а в себе, совсем одна, жила только тем, что его нет и что это — непонятно и изумляюще-несправедливо...

23/VII-42.

Оказывается, действительно был штурм, только с нашей стороны.

25/VII-42.

Многого не записывала, — металась. Главное: Юрку уволили [«1 сл. нрзб»] из радиокомитета и разбронировали по военному учету. Значит, его могут в любую минуту взять в Армию, даже рядовым, значит — реально наша разлука. А я почти наверняка уверена на этот раз, что беременна, хотя еще не проверялась.

Что же, — так и не даст мне жизнь счастья, — никогда?

Стоило вылезать из могилы, выходить с того света, с такой мукой продраться к нему, привязаться, — чтоб разлучиться и — боже, боюсь верить сердцу — наверняка потерять его.

Его уволили потому, что по его отделу, по радио была дана поэма Шишовой. Горком запретил ее и сказал об этом Широкову, перед Р<адио>к<омитета>, а Широков забыл сказать об этом Юрке, и когда горком осатанел, «как так ослушались и дали», — Широков свалил все на Юрку. И его уволили.

Виктор и Яшка вели себя при этом как последние бляди, особенно Виктор. Вот цена зимы, проведенной ими всеми вместе! Вот «новое» в отношениях ленинградцев... О, сволочи, сволочи. Яшка теперь что-то «выправляет», — но боюсь, что ничто не поможет.

Скорей бы он пришел и рассказал все.

Главное, — чтоб не разлучаться.

За эти дни я особенно как-то почувствовала, как он мне дорог, с милыми его, серыми, пушистыми, немножко близорукими глазами, почти всем, что в нем есть хорошего, как-то сближающийся с родным моим Колькой.

Я думала иногда, что настолько омертвела, настолько стала собственной тенью и живу какой-то вторичной жизнью, что новое горе — например, утрату Юры — уже не восприму... Нет. Боль, наверное, будет уже последней, объединяющей все предыдущее, замыкающей все — иначе — смертельной.

3/VIII-42 г.

Вчера было 2 ВТ, по 2 ч<аса> 50 м<инут> каждая, но самолетов над городом не было, — видимо, бои шли на переднем крае или бомбился наш передний край. Сегодня — с рассвета и до сих пор дичайшая наша канонада, — говорят, наступление наше, и хорошее. Опять Лигово берем? Уже три раза брали, и три раза нас оттуда выставляли, — за конец июля.

А на юге — ужасно. Немцы прорвались к Сальску, — махнули от Ростова в неск<олько> дней. Вот и сейчас по радио говорят: «Обстановка на юге усложняется». О, Господи... Я уже ни ужасаться, ни болеть — не могу: жмуришься при каждой сводке, точно сейчас тебя раздавит. Но странное дело, хотя опасность больше даже, чем в прошлом году — есть какая-то внутренняя успокоительная уверенность: «Выдержим. Не возьмет...» Недооценка угрозы — нежелание уставшей души воспринять ее? Или то, что [<1 сл. нрзб>] выжил сам в такой дикой зиме — дает эту общую уверенность? Или то, что это — «далеко, не у нас...»? Но ведь понимаю же я, что сегодня «не у нас», — а завтра — у нас, и как!..

— А завтра детей закуют... о, как мало осталось
Ей дела на свете...

Да, устала, — как все, устала от войны, — от дергающего нервы быта, от работы своей, — точно телеграфные ленточки со значками тяну и тяну из души, с болью и кровью, и расшифровываю их с мучительным трудом.

Вот Юрка поехал в полк за продуктами, — каждый этот его поход стоит и нервов, и известного унижения, — эх, как все это

осточертело, как приходится перелезть через все это, как через колючую проволоку..

4/VIII-42.

Ночью наша артиллерия буйствовала, и, ей-богу, это было даже приятно слушать.

Сегодня извещение — что взяли пункт Я, армия Свиридова, — видимо, Ям-Ижору? Говорят, что это хорошо, что оттуда можно ударить в тыл по Пушкину.

За те две ВТ наши, говорят, сбили 21 фаш<истский> бомбардировщик — неплохо. Задача — не дать немцу оттягивать силы на юг, пользоваться этим и молотить их здесь. У немца — потрясающая маневренная способность! Говорят, он перебрасывает армию — в 12 дней! Черт знает что, если учесть наши дороги...

Июльский (военкор «Комс<омольской> правды») рассказывал о приказе Сталина по армии № 227. Жестокий приказ — но правильный. Война требует большой крови. Иначе — нельзя. А по малости отдавать ее — только переводить, — дистрофировать.

После поэмы ничего нового не написала, хотя набрала ряд заказов, и с ними надо справиться в срок, особенно для союзников, — это прозвучит у них, — о Публичке, о Седьмой симфонии.

Успех поэмы превзошел все мои ожидания. Нет смысла записывать все перипетии борьбы за нее, — походы к Маханову, разговоры с Шумиловым и т. д. Главное, что с очень небольшими, непринципиальными словесными изменениями (разумеется, ненужными и ухудшающими эти строки) она была напечатана в «Лен<инградской> Правде» от 24 и 25 июля и читана мною по радио 21/VII.

И вот — огромное количество восторженных, взволнованных и несомненно искренних отзывов, — от Всеволода Вишневского (который даже письмо мне прислал) — до техсекретаря С<оюза> П<исателей>. И много писем, — большинство с фронта и с флота, от людей неизвестных мне. Особенно дорого мне письмо одной фронтовички, Чижовой, матери, которая вместе с сыном пошла на фронт, и сын ее там погиб, «спасая жизнь друга, сражаясь за родину». (Прекрасно, что во время войны так приблизилось к человеку понятие Родины, так конкретизировалось — «спасать жизнь друга» в бою — это и значит сражаться за Родину!) Она пишет: «Великое спасибо от русской жен-

щины-ленинградки», она пишет о том, как с новой силой вспыхнула в ней ненависть к врагу после прочтения поэмы... И очень дорого сегодняшнее письмо в стихах, написанное «Красноармейцем Полиной Калановой по поручению бойцов и командиров N части, где командиром капитан Кожевников и военком старший политрук Харичев».

В наивном, слабоватом стихе описывается, как читали в N-ской части, на фронте «Ленинградскую поэму»:

Когда читали, в это время
 Казалось, что Вы рядом, здесь,
 И мы увидели в поэме
 Всю нашу силу, нашу честь.
 И вот, в дыму больших пожарищ,
 Примите наш привет простой;
 Клянемся Вам, поэт-товарищ,
 Что скоро наш победный бой.

Я хожу сегодня целый день взволнованная, награжденная и смущенная. О, милые мои люди! А мне — чем благодарить вас за это признание?! Только бы не обманывать, только бы не обмануть вас в дальнейшем — и найти в себе силы сказать вам о вас самих самое жгучее, самое сокровенное, самое окрыляющее. И я согласна ради этого вновь пухнуть и бродить в темноте, и ежиться от близких разрывов и стоклятого свиста бомб. Господи, — они мне клянутся, что «скоро победный бой!». Я помню, когда я читала Коле письмо одной дружинницы к Будилкиной: «Клянемся, тов. Будилкина, Вам и Правительству, что ничего не устрасимся», он сказал: «Вот это авторитет...» И вот — и мне написали так незнакомые люди. И еще письма, — от моряка: «Эту поэму должен знать каждый грамотный человек в СССР», и от какого-то комиссара: «Мы взяли ее на вооружение», и рассказ Ёськи Горина о том, как какой-то командир, отыскивая список поэмы, предлагал за нее ХЛЕБ, и сегодняшний подарок от дивизионной газеты, где редактором — муж Галки, Соркин, но политрук, принесший этот хлеб, консервы и сахар, сказал, что «это от всех нас», — как все это драгоценно мне, — сказать не могу.

И еще письма о «Февральском дневнике» — от О. Хузе, от Аньки Рубин, — письма из глубокого тыла, полные волнения и восторга, и письмо к А. Крону, где пишут, что «Февр<альский> дневник»

исполняет в Сибири Алиса Коонен и артисты Александринки — с громадным успехом. *И т. д., и т. д.*

Что же это — слава? Да, похоже, что слава, во всяком случае — народное признание. Меня знают в Ленинграде почти всюду. Недавно выступала в большом госпитале, — а там у комсостава в списках «Дневник», давно известный [мне] им... Из московского райкома мне звонят: «Т. Берггольц, мы приглашаем вас и других знатных женщин». А у меня — ни ордена, ни лауреатства, ни прессы! Я ни на минуту в стихах не потрафляла начальству, не подделывалась под народ, не снижала мысли. Известность пришла ко мне не через Союз, не через печать обо мне, в труднейшее время, когда человек необычайно чуток на ложь, известность пришла суровая, заработанная только честным трудом, только сердцем — открытым, правдивым, — я ни в чем не лгала себе. Даже Маханов сказал: «Какое вы хорошее имя себе заработали», — да, это так. Самое главное в этом хорошем имени можно сформулировать так: «Она пишет правду».

О, мне сейчас будет очень трудно, — мне надо очень беречь это имя и писать так, чтоб не приносить разочарований моим читателям.

Я искренне и непосредственно рада этим письмам, хотя знаю, что — «восторженных похвал пройдет минутный шум», — и все, следующее за этим. Пусть хватит сил до конца войны! А там — неважно. Признания начальства — тоже неважно. Хлеб за поэму и «клянемся Вам, поэт-товарищ» — больше и реальней любого ордена. (Ночь, снова гул и шум нашей артиллерии.) О, если б Коля, любимейший, чудесный мой Коля — знал и видел все это! Боже мой! Ведь если верно, что в после-январских стихах появилась и особая мускулативность, и сжатость, и глубина стиха при скупости и даже скудости слов — то ведь главная-то причина этому — его гибель... Это горе, такое огромное, что я не могу рассказать о нем, даже Мусе не могла ничего приоткрыть, горе, которое испытывают, м<ожет> б<ыть>, одни Молчановы — его кровь, — вот это горе дало моему стиху ту «мужественность», которая так нравится всем. Его гибель... Нет! Я ничего, ничего еще не написала, — НИЧЕГО, и только одна я знаю это. Я всем обязана ему — и этой, ТАКОЙ славой тоже. Он учил меня ценить только народное признание, — и слабые знаки его — хотя бы десятки писем детей — так радостно принимал, так радовался им. «Какой тебе славы еще нужно?» — говорил он, узнав, как заучивали в тюрьме мои стихи. Как он переживал мои неудачи с калечением книги, как

настаивал на том, чтоб я не шла ни на какие компромиссы с цензурой и редакторами, — у, он был непримирим, и сам никогда ни за что не шел на беспринципные уступки.

Как он учил меня пренебрегать внешней славой, прессой, отзывами «высокопоставленных», — даже иногда перегибая в этом, — но я всегда буду следовать ему в этом. Как радовался первым моим успехам во время войны, и поддерживал как, и говорил: «Ты всегда делаешь то, что нужно! До войны ты была, в меру сил, на защите “угнетенной личности”, и это было правильно, — сейчас — с борющейся за страну демократией, с народом, и это верно»... А строгость его, почти тираническая и придиричливая! Он не прощал ни пафоса, ни пустых слов, ни риторики, ни «учительства»... О, вдохновение мое, разум мой, свет мой безмерный... Если б дал бог — написать о тебе, рассказать о тебе людям, чтоб и для них, даже не знавших тебя, остался ты вечно живым, — светом и опорой! Если б дал бог..

Не ценой ли тебя купила я эту славу, боже мой?. Не потому ли, хоть и дорога она мне, но мучит меня она в то же время, как нечто, приобретенное почти преступлением, — моим?. Но ведь я хотела уехать с ним, я делала для этого все, господи..

Я знаю, что так же очень многим обязана я Юрке и его любви, — но основным, решающим, главным — все же ему, Коле... Он писал мне в тюрьму: «Предан тебе в этой жизни до смерти — и в вечном бытии...» И его преданность как живую, чувствую я в себе — непрестанно..

В городе тихо. Утро. Много работала над заготовкой новых стихов — м<ожет> б<ыть>, что-либо выйдет. Надо написать о сегодняшнем моменте, — об отступлении нашем, о том, что нужно все выдержать — в ОДИНОЧЕСТВЕ выдержать, без второго фронта, ведь они буржуи, они ненавидят нас, — вот о чем надо писать, я знаю.. И я об этом тоже буду писать, но тема, данная Юркой, тоже интересная, и может получиться..

7/VIII-42.

Ай ты, боже мой, до чего не получается с работой, — просто перед Юрой неудобно. Да и вред делу. Просит меня сейчас писать для т. н. союзников — США и Англии — Информбюро. И надо было бы срочно отправить очерк о Седьмой симфонии и нашем оркестре — 14<-го> у них в США премьера, и для «К<омсомольской> П<равды>» надо написать, а у меня время идет как-то зря, в башке — муть.

8/VIII-42.

Мутит до обморока, — ужасно. Надеюсь, что это — беременность, а не что-нибудь иное. Я рада, если это так, — хоть за что-нибудь надо держаться в этом хаосе и нереальности, в буре всеобщего разрушения.

Немцы уже в Армавире. Они идут неудержимо. Они выхоят на Волгу, к Сталинграду, до Грозного — всего 500 км, они движутся неудержимо! Они перережут наши нефтяные коммуникации, кубанская пшеница вытаптывается и сжигается (навряд ли ее успели всю убрать и вывезти) — значит, голод все реальнее, и — наши отступают и отступают.

Не отчаянье, а тупое, тягостное недоумение, тоска, почти парализующая, охватывает каждую клетку мозга, души, тела...

Все, что делаешь, — кажется ненужным. Надо во что бы то ни стало написать о Седьмой симфонии, — неудобно перед Юрой и перед ТАССом, но это же ни к чему, хоть и интересно.

Хочется крикнуть Западу: «Да что же вы, сволочи, медлите? Вам же хуже будет, если нас погубят!» Хочется крикнуть югу: «Стойте же, — все равно погибнете, даже если будете бежать! Стойте, у нас нет выбора, — смерть идет на нас, стойте, — быть может, тогда спасемся!»

Стихи «Именем Ленинграда» могут получиться, да отвлекает эта Седьмая. Попробую сейчас отстучать ее, чтоб освободиться и писать стихи. Но не стихами решается там наша судьба, я же знаю! Даже невероятный успех «Ленинградской поэмы», которая стала событием в жизни множества ленинградцев, чему получаю все новые и новые свидетельства, — не обманывает меня.

11/VIII-42.

О, бедный homo sapiens,
Существованье — бред..

Немцы уже в районе Краснодара, Майкопа, Армавира. Черт знает что! Немыслимо вдумываться даже в размеры этого поражения, грозящего катастрофой. Э-эх, дела!

Вчера с Яшкой были у Маханова по поводу Юры, — не безуспешно, — по крайней мере в приказе не будет никаких компрометирующих его политически формулировок и «руководство» поставлено

в известность обо всей этой грязной истории. Юра, видимо, останется здесь редактором — это хорошо в смысле того, что мы сможем жить здесь, в радио, где есть свет, а след<овательно>, может быть относительно тепло. Видимо, если немцы не кинутся на Л<енингра>д и не возьмут его — придется и вторую зиму зимовать в кольце. Надеюсь, что прошлогоднего кошмара не повторится, принимаются меры — люди переселяются в первые этажи, покучнее, готовится топливо, говорят, что есть продуктовые запасы, хотя вот за июль академического пайка так и не дают, сволочи, но все же надо готовиться к худшему, — к трудной, нудной зиме...

Ох, как мы увязли! Вчера шли с Яшкой из горкома и говорили о том, какая уже усталость гнездится в душе, сознание бесперспективности какой-то, долгих-долгих дней лишений, нужды, напряжения страшнейшего...

Нервное, раздраженное, угрюмое состояние, невысказанно трудно работать, хотя едим неплохо и в городе после местных боев — тихо, то ли сбили ихние батареи, то ли они готовят чудовищный удар..

Но работаю с диким усилием, — все кажется ненужным, смехотворно жалким по сравнению с положением в стране, и чувство собственной личной беспомощности труднопреодолимо. Да и распустилась я, наверное, «лавры» опьянили. Надо попытаться написать стихи «Именем Ленинграда», хотя дуб-Маханов в чем-то прав, когда говорит, что пора перестать кричать о героизме ленинградцев, надо написать стишки для 42 <армии>, — уж очень они привязались... Надо собрать и сдать книжку, — собственно готовую уже, и как-то все кажется глупым, хотя я и знаю, что слово сейчас — это тоже сила...

От Сережи нет писем, — неужели мальчик погиб, ведь он где-то там был, на юге... Надо запросить его мать, — мне так хочется, чтоб он вышел из этой каши живым.

Боже мой! Неужели никогда уже не вернуться нам всем к морю, к безразграничному, единственно нужному человеческому счастью, — слиянию с природой и покоем?

Я, наверное, все же хочу жить, хотя иногда кажется, что все равно, — жить ли, погибнуть ли... Странно, — я люблю Юру и жду его ребенка, и хочу его, — а вот жажды жизни, ожесточенного протеста против гибели — нет. Может, это и лучше? А м<ожет> б<ыть>, это равнодушие просто потому, что в Л<енингра>де сейчас спокойнее, чем где бы то ни было?

13/VIII-42.

Говорят, что немцами уже взят Пятигорск, хотя об этом у нас не сообщалось... Они отрежут у нас нефть — ясно.

...Все равно, надо жить, — м<ожет> б<ыть>, уже недолго осталось. А если долго, если еще впереди много серого существования, мрака, тяжелого труда, тем более надо жить. Что же еще делать?

Личная жизнь омрачается круглосуточной тошнотой в соединении с февральским голодом, акцентированным на потребности острого, которого нет.

А так вообще пищи — много. Прилетела из-за кольца Кетлинская, — привезла разного, в том числе моя радость — кофе...

20/VIII-42.

Завтра во что бы то ни стало — с утра, — пошлю отцу все, что ему надо, и буду работать.

Напишу для Информбюро о комс<омольском>пожарном полку и о Публичке (Колина Публичка), и надо стихи писать.

Я просто завалилась на лаврах, — это становится неприлично. Сейчас с тошнотой чуть полегче, надо поменьше сил отдавать стряпне — и работать, работать. К этому обязывают меня хотя бы те многочисленные трогательные письма, которые продолжают поступать ко мне, гл<авным> обр<азом> с ленингр<адского> фронта. Они радуют меня необычайно, горжусь ими страшно, но и смятение охватывает: ведь в ответ на это надо что-то такое написать, что не разочаровало бы всех этих людей, ждущих от меня «новых вдохновенных песней...» Поэму массой отправляют за кольцо — родным, знакомым.

Я хотела бы написать несколько лирических песен-стихов, которые человек мог бы петь или бормотать один на один с собою, — ведь война идет через сердце все глубже.

Если б мне удалось написать что-нибудь вроде «Трансваля», — вот было бы счастье... Да разве такое простое и великое можно написать!

Разболталась я... Конечно, надо было иметь какую-то передышку после того, как оторвала огромную поэму, которая взяла массу сил, но уж, кажется, — довольно. Сашка Фадеев говорил, чтоб ни на что не транжирилась, а сидела и писала значительные вещи, но это, пожалуй, люкс.

Да, надо еще для партизан выступление. М<ожет> б<ыть>, 27<-го> поедем в Кронштадт, — к сожалению, выступить, но думаю, что увижу что-нибудь интересное, если по дороге не убьет немец, — путь туда опасен.

М. П., отв<етственный> ред<актор> «Комсом<ольской> Правды», прислал телеграмму, что будут печатать «Лен<инградскую> поэму». Но пока еще не опубликовали. Ах, хорошо было бы! Но Сашка Прокофьев лопнет от зависти уже наверняка! Моя бешено взлетевшая известность после опубликования «Лен<инградской> поэмы» уязвила некоторых наших «инженеров душ» в самую печень. Решетов и Прокофьев — теперь мои враги! Прокофьев сегодня, на совещании в Обкоме комсомола вел себя просто непристойно, — Иванов (секр<етарь> Обкома) стал говорить о том, что вот я собрала сборник «Молодежь Ленинграда», что они послали мне благодарность, а Сашка стал выкрикивать: «А она нам это не послала», и потом после заседания бормотал, — уже мне: «Мы заменим вас, т. Берггольц, заменим», да с такой злобой! Боже мой, точно я суюсь куда-нибудь, чего-то добиваюсь... Сашка у меня сегодня, — как отрывка, вот идиот-то! Через горком должна идти моя книжка, — через Паюсову, а муж Паюсовой — Решетов, уж он, конечно, наговорит такого, что книжка будет признана «вредной», «любованием зимними трудностями» и т. д. Ну, увидим.

Тьфу, какая пакость — эта литературская зависть, — даже в такое время люди не могут освободиться от нее! Ну, что нам всем — дела мало, места мало, читателей, что ли? Я просто понять всего этого не могу, — я радуюсь успеху «Жди меня», — ведь это наш брат, писатель, написал такое, милое всем, а значит, как бы и я... Даже Ленке Рывиной, необычайно неприятной мне, я желаю всяческого успеха с ее поэмой, и хотелось бы, чтоб она получилась хорошей...

Юрка неожиданно имеет шанс ехать в Москву и тянет меня с собою, но это куча хлопот, и — неприличие, ездить за кольцо ни для чего... Он говорит, что там мы сможем обеспечить вылет в феврале-марте, к сроку моих родов, — но это мне кажется химерой, утопией. Что сейчас можно заранее обеспечить? За 6 мес<яцев> вперед? Вздор! Здесь нужно обеспечивать... Ну, он так хочет смотаться за кольцо, что, видимо, придется уступить, но, м<ожет> б<ыть>, ничего не выйдет?.

Он хотел сначала ехать в Балашов, — у него безнадежна мать, и я обалдела втихомолку от этого его желания, — как, в такие дни оставить меня здесь?! Но я ничего не сказала ему, хотя задыхалась

от обиды, и он сам решил без меня не ехать, даже в Москву. Юра мой хороший, милый, нежно люблю его...

На юге дела плохи, — все погубил Ростов, сданный без боя, с перепугу... Оставлен Армавир, Майкоп, Краснодар... Дерутся в Пятигорске. Черчилль был у Сталина, — неужели все же они, эти мудакки, откроют второй фронт?

И вдруг скоро конец? Трудно как-то этому поверить...

...Да, все это так, — и слава, и завистники, и немцы на юге, и ребенок, который, видимо, будет, — но ведь Коли-то все-таки нет? Ведь нет его, все-таки!...

23/VIII-42 г.

В «Комсом<ольской> Правде» от 19/VIII напечатан наш с Юрой очерк об оркестре радиокомитета и Седьмой Симфонии в Л<енингра>де, — большим подвалом. Правда, кое-что интересное поубрали, но в общем выглядит ничего, и в Р<адио>К<омитете> все очень довольны. В сокращенном виде это же пошло в Информбюро, в ТАСС понравилось. Интересно, опубликуют ли за границей.

Надо сегодня для них же и для «Комсомолки» написать о пожарном комсомольском полку — это может быть занятно. До 26<-го> (26<-го> едем в Кронштадт) надо написать еще о Публичке, стих для «Смены». Хорошо бы написать что-либо о подготовке к зиме, вроде второй Дарьи Власьевны.

Обленилась я страшно, разъелась, растолстела, — зад такой, что противно глядеть, — видимо, все же беременна.

Вчера получила милое письмо от Сережи. Он не получил моего письма, — жаль, я писала ему там о весеннем Ленинграде, это было хорошо и поучительно. Я очень боялась демарша со стороны Юры — но обошлось. Он знает, что письмо от Сережи, оно лежало на столе открытым, м<ожет> б<ыть>, он читал. Сережа в конце пишет там вновь о любви, но звучит это вовсе «не сексуально», — ей-богу, речь идет о любви вообще, а вовсе не о любви мужчины к женщине. Очень просит ответить. Я отвечу, конечно; отвечу дружески и тепло, и «без любви». Он дорог мне — гл<авным> образом как некий образ довоенной, той жизни, «зарубежной»... Он хороший человек, дай ему бог здоровья и счастья. Ой, как хорошо, что обошлось без демарша, за это я еще более признательна Юре душою.

А работать — неохота, неохота. Нельзя этому поддаваться.

У меня остается одна забота на свете,
Золотая забота, — как времени бремя избыть.

И это тоже нельзя. Время должно быть незаметным...

...Глубоко-ноющая тоска о Коле, вновь ощущение вины перед ним, слепые поиски его и ощущение пустоты — оттого что не могу его нашарить. И все такое — через что проходят руки, ищущие его, все — бестелесное, видимое. Как эти декорации, которыми заплатаны фасады разбомбленных наших домов, — так и моя теперешняя жизнь после 29/1-42.

...Неблагодарная я скотина! Разве Юра и его любовь — не реальность? Разве письма, — истинно народное признание моего труда — не реальность? А Муська? А Молчановы? Я радоваться всему этому должна, наслаждаться этим... Да я и радуюсь... Но рядом с этим — идет как особое холодное течение, которое не растворяется, не сливается с общим потоком жизни, и вносит в этот поток холодак бесстрастия...

Пока ничего не могу с этим поделать.

Ну, постараюсь написать очерк о пожарниках....

7/IX-42.

О, господи, дай жгучего страданья
И мертвенность души моей рассеи...

Весь вечер упиваюсь сегодня Тютчевым, взятым из дома, с Троицкой. Сидела там сегодня за своим столом часа два, пока Лина ходила на рынок. Я послала ее обменять хлеб на овощи, т. к. сама боюсь теперь это делать после того, как меня вторично застучала следовательша на рынке и потащила в трибунал, грозя 10 годами, обыском, что было бы гибелью для меня и Юрки, и отпустила лишь после унижайнейших моих рассказов о том, кто я такая и т. д. Брр... Но не в этом дело...

Я сидела на Троицкой, как не у себя, с тупой болью, с тупым недоумением. Просматривала старые дневники, старые Колины письма. Несколько из них принесла сюда, перечитала. Это письма

из армии <за> 32 год, письма страстные, грубо-страстные и нежные. И я — как под гнетом... Боже мой. Никак не пойму, как же жить.

О Кронштадте и прочем — завтра.

9/IX-42.—10/IX-42.

Все-таки безумное количество времени уходит на приготовление пищи, — фактически, целый день... Просто не знаю, что придумать; после стряпни так устаешь, что ничего в голову не лезет. В общем, дела не делаю — и от дела не бегаю, — самое плохое состояние. Иначе говоря, — нет творческой (т. н.) работы и нет досуга для нее, — т. е. свободного времени на обдумывание большой вещи, на писание «своего», т. е., грубо говоря, на создание питательной среды, в которой должно бы выкристаллизироваться, отвердеть то субъективное, что станет объективным.

Правда, я не очень тягочусь своим бездельем, — т. к. думаю, что это — кратковременно, как и все мое внешнее благополучное существование вкупе со славой, и что ввиду предстоящих испытаний не грех вкусно поесть, полежать, поспать и т. д. Быть может, чрезмерно близки дни нового ужаса и горя. «Меня теперь не надуешь, — как бы говорю я судьбе, — я знаю, что ты только притаилась, что ты следишь за мною».

Но состояние духа — тяжкое.

Бои идут на окраинах Новороссийска, на подступах к Сталинграду. Они ползут к Грозному, они расползаются по Кавказу, куда подтащили горные полки и т. н. специфику. «Союзники», видимо, позорно провалившись с операцией на Дьеппе, ничего не делают со вторым фронтом. Они, буржуи, — погубят нас! Не о переломе идет речь, а о задержании немцев, но и серьезно задержать не могут. Боже мой, где же наши силы, и откуда их столько у Гитлера?! А он произнес речь, где заявил, что, заняв Кавказ, он бросит силы на взятие Москвы и Ленинграда, и со взятием этих городов — кончит войну. Вот попробуй, назови это «хвастливой брехней», после этого лета! Сталин в своем приказе сказал, что якобы у нас уже нет количественного превосходства в войсках... А еще недавно в горьком говорили, что мы-де «не вводим в бой свои основные резервы», в то время как Гитлер «истощается, обескровливается». Что-то не видно от этого реальных результатов! А о нашем прорыве нем<ецкой> обороны, т. е. обороне на Калинин-

ском и Брянском фронтах, уже — ни гу-гу. Ржева взять не можем, а он на днях возьмет Новороссийск и, наверное, Грозный. Конечно, нам трудно воевать, мы одни, — о, я уверена, что бляди-англичане договорились с немцами. Какое дело этим торгашам до нас и нашего горя!

Все это так наполняет и мучит, что даже не стимулирует, а обезволивает. Это нехорошо. Но слово твое кажется ненужным и бессильным. И то сказать — второй год уговаривать людей умирать, — веселое дело! И все-таки — нужно.

Это факт — ко мне прислушиваются, именно ко мне, больше того — мне верят.

Перед Кронштадтом — снова много писем о «Лен<инградской> поэме», — с фронта, и каких! А в Кронштадте — в некоторых частях — подлинный триумф, — хотя бы в Кроншлоте, у истребителей. Читали поэму на катерах перед боем, и бойцы давали залпы по немецким самолетам почти с цитатами из нее. Люди, многократно видевшие смерть в самое лицо, плакали, читая ее. А как меня слушали — я сама робела. Как горячо откликнулись на последнее стихотворение, — которое, видимо, не опубликуют. А надо бы, хотя оно и не очень жирное, боюсь, что перетянула с патетикой.

Ну, завтра попробую отдать в «Лен<инградскую> Правду».

И надо написать стихи об Ольге Селезневой, которые пишу со вчерашнего дня.

И задумана новая большая вещь — о Советской Власти, вместе «с тюрьмой», обо всем, правда, — хорошо бы успеть написать и напечатать к 25-летию, — «Е. Б. Ж.» — ежели будем живы...

Ох, это е. б. ж.!! Юра думает уже об одеяльцах и пеленочках, о том, — где мне рожать, и т. д., — а мне об этом просто смешно думать, — ведь до этого еще 6 м<есяцев>, — господи, да как можно на такой срок загадывать.

К беременности своей все еще отношусь как к нереальности, даже не проверялась еще.

Юра мобилизован в ПУБАЛТ, будет вести радиопередачи на флот — это лучший вариант из возможного, — останется жилплощадь здесь, обещают поставить печку.

Надо позаботиться насчет квартиры, — т. е. стационарной, чтоб перевезти туда мебель и книги Гуковского, — и так неохота это делать, — сказать не могу! Ощущение какой-то бесцельности всего этого на фоне происходящего. Бивуачная жизнь, кажется, наиболее естественна...

Нет, развратилась я, коптит что-то внутри, хотя и жгучее. Накопилось внутри столько золы, угля, обломков, что горит сквозь это все — тускло... Да, и очень противно, что «Комсомолка» сделала в поэме идиотскую купюру, небольшую, но изгадившую финал. Это меня огорчило больше, чем если бы поэму не напечатали вовсе. Трусы и лжецы окаянные! Неужели так же перенесут в московскую книгу? Надо написать Муське, чтоб не допускала.

Мне еще страшно мешает работать Юра, хотя он в этом ничуть не виноват, — т. к. дело в том, что в его присутствии я влюблена в него, подчас очень плотики, и, конечно, другое в голову не идет. Работа и любовь ревнивы друг к другу! Мне надо быть больше одной, чтоб бормотать стихи вслух, не боясь показаться перед ним ни смешной, ни «замечательной», мне надо абсолютно распоряжаться собой, зная, что внимательный, любящий, обеспокоенный моим состоянием человек не следит за мной. А я, сука, раздражаюсь даже на эту заботу — и только на нее, она вдруг отягощает меня... Избаловалась. А вот на Колю никогда не раздражалась; несмотря на 8 лет его дикой болезни. Вылюбила, наверное, с ним душу.

17/IX-42.

В сегодняшней сводке — «бои на окраинах Сталинграда». Неужели это означает, что мы уже потеряли Сталинград? Обычно, когда наше Инф<ормбюро> дает такие сводки — это означает, что город сдан. О, боже мой... Боже мой. Все внутри леденеет. Но минутами — величавое спокойствие в душе:

Умирать, так умирать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба.

Тем более, что, видимо, скоро наступят черные дни и для Ленинграда. С 12<-го> по 15<-е> была в 23^{ей} Армии. Там собирали дивизионное командование 92 дивизии, говорили, что дней через 8 (значит, примерно 23–24/IX) должен начаться штурм города. Немцы стягивают сюда силы, подвозят артиллерию, где есть 810-мм снаряды, собрали полки, штурмовавшие Севастополь, авиацию. М<ожет> б<ыть>, они кинутся на нас, не дожидаясь конца операции в Ст<алин>граде и на Кавказе.

[Так] Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. Молись.

Ну, что же. Должен же когда-нибудь прийти решающий момент. Выживу — хорошо. Погибну, — что ж, — пожила, взяла у жизни всего в полную меру — и счастья, и горя.

В 23-ей выступала, митинговала, разговаривала с людьми и особо — с Галкой. Люди были искренне довольны, я читала и говорила с ними ото всего сердца и была смущена моим успехом, и хотелось отдать им все, что могу, и казалось, что могу — мало. И из-за этого было томительно и совестно. О, если б дать такое, чтоб озарить бедное сердце человека, — такое простое-простое, и ласковое и нужное!

Сквозь все это я еще с умилением, с трепетом и благодарностью необычайной глядела на деревья — сосны, березы, елки. О, милые мои, умные, добрые и тихие. И деревья сопровождали все. Стояли они в солнечном свете, как укор, но добрый, страдающий: «Ах, люди, люди, что вы делаете? Бедные вы, несчастные...»

И еще — рядом со всем — сияла любовь к Юрке. В первый раз я любила его как мужа, думала о нем, как о муже, ощущала его, как большое свое счастье, как дар и судьбу. Так трепетно, светло и свободно ни разу еще не любила, не ощущала его, и спазмы смертной тоски о Николае не темнили этого, просиявшего вдруг, чувства, — едва успела отъехать от Финляндского вокзала.

Тосковала там о нем, жаждала его, видела все время живыми его милые любящие глаза и приехала влюбленной, любящей до слез, до желания умереть от его руки, — да, может, может распорядиться моей жизнью, она принадлежит ему, найденному в эти позорные, свирепые и высокие дни, полюбленному сквозь смерть собственной души. И по-новому, — остро, жадно желаю ЕГО, его ребенка.

И вот гляжу на него, люблюсь (он так хорош в морской форме, и чуточку чужой), не знаю, что сделать, чтоб ему было хорошо, и тайне злобно ревную его к Исакович, к Вале — его бывшей жене, которая прислала ему хамское, какое-то домработницыно по тону письмо. А он ответил на него (я прочла это письмо без его ведома) — ответил достойно, но там писал: «Ты дорогой мне человек и мать моего ребенка, и тем самым наша жизнь продолжается». Это резануло меня, но ненадолго: вздор! Нет у него никакой другой жизни, тем более какой-то совместной с кем-то, — выдумал, или кажется ему, нет

у него жизни, кроме меня. Если б он и не говорил мне этого — все равно, я это знаю. Он мой теперь, потому что я люблю его, потому что плоть и сердце признали его мужем, моим, и — и Николай не мешает этому. Надолго ли все это? Наверное, нет, — потому что очень реальна скорая гибель. Ну, а до нее — навсегда! (Интересно, что чувство «это ненадолго ведь, только до смерти, а она — рядом», — как бы оправдывает меня перед самой собою за минуты счастья. Наверное, это неправильно...) А впрочем, — о смерти, о гибели я думаю лишь умозрительно, в чувстве этого почти нет. Даже милую мою Муську сюда зову, в пекло-то такое... Ничего, вывернемся. В последнюю минуту, а вывернемся — все, вся Россия. Все ведь от нее неотделимо.

Надо многим ответить на письма, — попробую рвануть это сегодня, а то неудобно.

Завтра пойду к Маханову, — побеседовать вообще. Видимо, оба стиха — «Разговор с собою» и «Товарищу» (об Ольге Селезневой) — будут обнародованы. Это не ахти что, но важные чувства людей как-то все же вскрывает, дает выход... И надо взять, наконец, бесперебойный рабочий темп, писать и писать, написать то простое и облегчающее, что хочется, и взяться за большую вещь.

Все равно, все равно жизнь должна продолжаться, как бы ни мучительно трудно было ее продолжать, обычную, даже мелкую, в то время как Сталинград...

Вот это, видимо, и есть стойкость для нас, гражданских, чтоб делать свое дело, не отчаиваясь, не сомневаясь в его нужности, когда идут бои на окраинах Сталинграда и судьба России висит на волоске.

О, что-то даст завтрашняя сводка?! Страшно подумать.

21/IX-42.

Сталинград еще не взят, хотя шли уже бои на улицах, но, кажется, с улиц их выперли. О, если б удар им под Сталинградом — это перелом в войне, это, м<ожет> б<ыть>, эти мудаки откроют второй фронт. Боже! Не знаю, что сделала бы, чтоб помочь разгрому немцев под Ст<алингра>дом!

А я сейчас сижу, как идиотка, и жду звонка от секретарши Лизунова, — примет он меня или нет. Хочу клянчить у него квартиру, — Юра хочет «вить гнездо», что ж, пожалуй, самое время, так сказать, на штурм глядя.

Я определенно беременна, — осматривал врач и сказал, что около 3 мес<яцев>. Юраш счастлив, и я рада. Неужели бог благословит на этот раз? Господи, до чего же дикая у меня жизнь.

Ну, как же, ждать мне звонка, или идти сдавать Юркины карточки? Вот еще с ними не было бы скандала...

Удивительно понурое, безразличное состояние. Хочется спать, — видимо, дает себя знать состояние, — а спать — времени жалко, хотя все равно ничего не делаю, хотя и Юрки теперь целыми днями дома нет — никто не мешает...

Вот, пойду сейчас к Лизунову, — ох, до чего я не люблю обращаться к чинам с разными просьбами, ну, да ведь, кажется, надо...

Вчера вечером думала над новой поэмой — замысел большой, да хватит ли на него души? А надо, чтоб было с душой, — о том, о чем думали, чем жили с Колей, чем живем теперь с Юркой.

Ужасно понурое настроение.

Зачем-то — чуть не в десятый раз — перечла письма Исакович к Юрке, — зачем я это делаю? Разве он не мой?

Его быв<шая> жена в том письме писала ему, что была в Чкалове, значит, видела Исакович и сказала ей все, да кроме того Юрка уверяет, что послал ей «объяснительные письма». А мне ее не жаль ничуть почему-то, хотя, видимо, она тяжело переживает утрату Юрки. Она принадлежит к людям, «не нашедшим своего места в Отечественной войне», — а человек образованный, знает восточные языки, имела предложения интересной, хотя и опасной работы. Нет, погибшего бойца «жалче», чем таких. Испугалась, спастись захотела? Ну, вот и спаслась. Нет, не жалко ничуть... Юра, как будто бы, не получает больше от нее писем, — но боюсь, что скрывает их... Ох, тяжелый, мутный у меня бабий характер.

24/IX-42.

Известность, оказывается, более утомительная, чем приятная вещь. Сегодня с утра — звонки от каких-то руководителей конц<ертных> бригад, просьбы о материале, потом молоденькая артисточка читала исковерканную «Лен<инградскую> поэму», и я доказывала, что нужно начинать с первой главы, — все это надоедно, я, как товарищ, не привыкший к известности, чувствую себя перед ними обязанной за их внимание, а то, что даю им, — мне не нравится уже, не то нужно,

когда немцы заняли 2 улицы в Сталинграде, а такого, чтоб дать им и сказать властно: «Идите и читайте это», — у меня нет. А балда-Лесючевский маринует «Разговор с собою», — он все же кое-что для людей. Попробовать пихнуть в «Лен<инградскую> прав<ду>»...

Пишу для подводников, — да как-то плохо выходит.

И раздражаюсь вдруг нехорошо: все липнут, всем вроде как нужны мои стихи и я, а обо мне — никто не думает: с ног у меня все обвалилось, одеться не во что — хожу в своем мешкоподобном пальто — просто срам... Ну, да не в этом дело.

Видела сегодня горький, тяжкий сон: как будто бы Коля не умер, а находится в Алма-Ате, в сумасшедшем доме. Я узнаю это от отца, который не то был там, не то возил его туда даже. И тут же Муська, и мать. И я, плача, кричу им: «Что же вы сделали! Зачем же вы обокрали меня?» И решаю, что поеду к нему, хотя отец говорит, что «он теперь даже не говорит и выглядит, как 80-летний старик». «Я еду к нему не <Далее обрыв текста.> спасти, т. к. был он нам омерзительен, как <1 сл. нрзб> безумный Коля лежал у него в отделении, но что он мог бы спасти его, если б захотел, не тряся так за свою шкуру...

26/IX-42.

Ленинград.

Теперь Юра уходит по разным делам почти с утра, и я чуть не целый день одна. Пою, бормочу стихи, стряпаю. О, какой добродетельный образ жизни веду я теперь, — почему я не жила так с Колей? Ну, что же, наверное, надо извлечь уроки из всего горького и неправильного, что было тогда, чтоб не повторить этого с Юрой.

Как он хорошо любит меня, и какие трепетные, полные настоящего человеческого счастья и смысла часы бывают у меня с ним. Да, я люблю его, люблю верно и глубоко. Я знаю это теперь даже тогда, когда тоска о Николае начинает темнить все.

Надо написать Молчановым, хотя бы Ольге — об этом, хотя страшно; но они поймут это, хотя и с горечью. Нет, они поймут, и не отрежут меня от себя. Надо в этом письме хотя бы подготовить их к этому. Иначе — нехорошо.

Написала «Песню о подводной лодке», — все говорят, что очень хорошо, и Зонин, кот<орый> ходил с лодкой — говорит, что

необычайно верно выражено настроение подводников. И верно, как будто бы есть в ней подлинное, людское, или, по крайней мере, приближающееся к этому. О, как мне хочется написать что-то очень простое, обнажающее и озаряющее сердце, доводящее его до того невыразимого восторга, вдохновения жизнью, когда оно вдруг — через мелочь, через что-то сугубо интимное, индивидуальное, близкое — вбирает в себя весь мир, весь сразу, — и умиляется...

А ведь и верно, быть может, умиление — еще более сильное чувство, чем восхищение.

Быть может, это будут стихи о Николае. Я согласна завершить ими свой поэтический путь, лишь бы написать их на том пределе души, который близок будет пределу Души Всеобщей.

Какое хорошее письмо я получила вчера от одной незнакомой мне женщины. Она цитирует там строки «Ленинградской поэмы» — строки о Коле, благодаря за то, что я «отразила в них не только свою и мою боль, но боль тысяч, миллионов наших женщин, боль, от которой кричит сердце, но Жизнь, наша великая и прекрасная жизнь [все] ее побеждает. И у меня в январе погибло в Ленинграде самое дорогое для меня существо, которому нет забвения и замены. Но Жизнь во имя его, Жизнь ради мести за него, Жизнь ради спасения тысяч таких, как он, помогает мне превозмочь боль и работать, работать, работать, выращивая тот хлеб, который

такой большой любовью братской
для вас отныне освящен,
ваш хлеб насущный, ленинградский».

Она — ленинградка, работает сейчас председателем колхоза где-то в Кировской области.

Сердце мое, Коля, — знаешь ли ты обо всем этом? О, если бы хоть на день, хоть на час поговорить с тобой, спросить — «ну, что, так живу — или нет?»

Мне кажется, он сказал бы: «Так, Псоич, так!..»

3/Х-42. Сталинград держится!

Чувствую себя довольно паршиво, — нечто близкое к гриппу, тяжелая башка. Опоздала на прием к Лизунову, а м<ожет> б<ыть>, он вручил бы

уже ордер на квартиру, — теперь дело только за ней, т. к. некто Соловьев из Отдельного Инженерного Батальона, где я выступала, обещал и дровишек привезти, и керосину, и даже машину и людей дать для перевозки вещичек Гришки Гук^{овского} на новое место. Неужели может наступить момент, что у меня (у меня-то!) будет оборудованная квартира, в одной из комнат которой будет тепло, будет топиться печка и гореть светлая керосиновая лампа. Что ж, ведь и керосиновая лампа — не так уж плохо. В детстве на Палевском горели только керосиновые лампы, — в столовой висячая под огромным белым абажуром, в кухне — настенная с рефлектором, в гостиной зажигали бронзовую с круглым матовым абажуром, в маминной и папиной комнате — под зеленым колпаком. И квартира наша в детстве кажется мне залитой светом, теплом и чистотой. Она, кажется, была даже светлее при этих керосиновых разнообразных лампах, чем потом при электричестве, когда бабка экономила свет и ввинчивала только тусклые маленькие лампочки.

А в гостиной у Грустилиных была высокая-высокая лампа с бронзовой девушкой-подставкой и пышным темным абажуром... Все Грустилины, кроме тети Вали, умерли этой зимой. Наш дом, где было детство, где родилась Ирочка, где бывал влюбленный, молодой, очень красивый Коля, — наверное, уже сломали. Даже дома того теперь нет, а не только той жизни... Неужели мне теперь придется отказать и от квартиры на Троицкой, и уже проходить мимо нее, как мимо не-моего, чужого дома, и потом кто-нибудь будет жить в этой квартире, где почти 11 лет прожили мы с Колей, где была Майка, Коля, его болезнь, 37 год, тюрьма, война?.. Все это как-то очень малопонятно.

4/X-42. Немцев явно остановили у Сталинграда!

...А тем временем, выступая, паря в облаках восхищения и почета, я совершенно отбилась от работы. Кроме того — теперь хлопоты с квартирой, с обувью, — а день уходит наполовину на приготовление пищи — это все же осталось почти священнодействием. А времени для поэмы (несомненно, нужной!) осталось очень мало, и надо бы обязательно передачу на Ленинград о фронтовых буднях, и лирические стихи. Пожалуй, все же сяду только за поэму. Но вот еще надо рассказать электросиловцам о 23-ей <армии> (я опять была

там 27–29/IX) и попробовать от имени их написать бойцам настоящее письмо, с душой.

Ах, скорее бы устроить с квартирой и сесть за поэму, а то я так много о ней рассказывала, что она уже наполовину выкипела. Она труднее всего предыдущего, поскольку очень ясна в замысле.

6/X-42.

Больше полдня бегала смотреть на предлагаемые квартиры. Ну, Ленинград нужно глядеть изнутри, чтоб понять, что дала блокада. До сих пор не могу очнуться от вида квартиры на Рубинштейна, 22. Это вывороченное наружу барахло — тряпки, битая посуда, корзинки, сундуки, стоящие посередине, обнаженные страшные кровати; эти закопченные потолки и стены, закопченные или полувывбитые окна, и в одной комнате, с кроватью посередине, темной, заваленной тряпками, — и, как некий демон всего этого — маленькая, черная времянка и труба ее, изломанная, черная, идущая через всю комнату. Казалось, именно эта маленькая черная — *холодная* — печка и источает из себя весь этот мрак, эту зримую, материальную печаль, что она во всем виновата. Казалось, что она тиранила людей здесь, в этих комнатах, и заставила их в ужасе бежать отсюда, и вот теперь сидит здесь одна, черная, с открытым глазом-дверкой, со зловещей изломанной трубой, — Баба-Яга, жестяная нога, смерть...

А между тем — она, наоборот, была единственным источником тепла и даже света. Но как страшно освещала она людей, — красноватым, дымным пламенем... Как мы жались у печурочки — у Пренделей, а эта дымная кругленькая — у Линки...

Но в том же доме 22 одна квартирка мне понравилась; она светлая и чистенькая, печать смертей, бегства и разрухи на ней не так вопиющая, как на всех других... Может быть, мы ее и возьмем, хотя дом с виду страшен и ход плох.

...Отсюда человек бежал. О, горе, горе... Эти квартиры (а квартира 33 в доме 62!) — ужаснее разбомбленных домов, — бедствие глядит из них со всем его немым, бездонным отчаяньем... И так хочется оборудовать гнездо, чтоб в нем было тепло и светло, — точно живешь не только за себя, не только ради себя стараешься, а ради тех, кто бежал отсюда, кто пал здесь, на этом рубеже. Хочешь за них — занять его и словно сказать им: «Смотрите, в вашем очаге горит

добрый огонь, здесь тепло, здесь вновь жизнь, здесь вновь человек. Он снова пришел сюда, он поселился здесь, — на этом одичавшем, зачумленном, растоптанном месте».

Обо всем этом надо записывать и писать. О семье Карякиных, — от дочки, почти незнакомой мне, я получила вчера чудесное письмо. Кое-что я записываю не здесь, а в другой тетрадке.

Завтра хлопотливый день, — показать Юрке эту квартиру, — нет, если ее обжить, она будет чудесная, — не большая и не коробочкой, вот только как быть с ее хозяином — фронтовиком, если он жив, — ну, это райсовета дело.

Потом, м<ожет> б<ыть>, получу обувь, потом на «Электросилу», — там расскажу о своих фронтовых впечатлениях, и надо написать письмо от их имени, — я думаю, что это будет хорошо, — они мне там говорили, чтоб я передала ленинградцам то-то и то-то, — и вот я передала, и эти л<енинград>цы, о которых я рассказывала, — пишут им. Только надо бы, чтоб письмо было не трафаретно, сердечно, — да вот что-то плохо выходит, уж поздно — и чувствую себя плохо, и завтра рано вставать.

9/X-42.

Нет, решительно ничего не могу делать, даже писать письмо Муське. Лягу спать. А Юрка — в полку, и у меня был — вернее мог бы быть целый одинокий вечер и ночь. Поэму к 25-летию даже не начала, — и нет «первого аккорда», и дни заняты бытом, выступлениями и т. п.

Завтра мне должны дать ордер на ту квартиру на Троицкой, — неск<олько> неприятных улаживаний с вымогательницей-управхозом, и можно будет переезжать. Значит, — мне надо будет расстаться с Троицкой? До сих пор она была, эта квартира, хоть и мертвая, хоть и лишенная души, но была. И та, драгоценная жизнь с Колей, как бы была. Значит, теперь ее совсем не будет, и я не войду в ту комнату, где он работал, писал диссертацию, где было все? Значит, в самом деле он не вернется, — его нет?

О, нет, не понимаю, не понимаю.

Я люблю Юру. Я жду от него ребенка, и хочу его. Но все еще моя сегодняшняя жизнь кажется мне нереальной, не настоящей. Мэри Рид принесла мне целое приданое для новорожденного, — это вещи ее сына, которому было уже 18 лет, когда он умер от голода этой

зимой. Я держала в руках эти маленькие вещи, мгновеньями озаряло счастливое изумление, — неужели в этих милых, ласковых одеяльцах будет барахтаться живое существо — *мой* ребенок? И все равно он казался нереальным.

Произошло какое-то темное недоразумение, какая-то ошибка. Невозможно выпутаться из этого недоразумения и в нем приходится жить, — но это пока. Должно же оно выясниться, окончиться, как окончилось мое пребывание в тюрьме в 38 году. Ведь тогда тоже казалось, что это жизнь, а это была не жизнь, — это был вымысел, «террор» и все, из-за чего я сидела. Так и теперь мне кажется, вернее, — чувствуется, потому что я знаю все-таки, что все это — реально...

Вчера опять теоретический разговор с Юрой о любви и т. п. Он все пытается доказать мне, что если одна сторона изменяет — то любви нет, есть обман и грязь. И логически — он прав, и, слушая его, вспоминая свои измены Коле, я цепенею и жажду только одного — смерти, бомбы, как освобождения от гнетущего сознания, что не сберегла, не лелеяла нашей любви, и это уже непоправимо. Но, вспоминая нашу с Колей жизнь, — фактически, я вижу, что Юрка неправ, и я любила Колю немислимо, <и>¹ он был счастлив со мною и мною — больше всего.

12/X-42 г.

Опять сегодня чудесные письма от читателей с Большой земли, пересланные «Комсом<ольской> Правдой», и среди них — письмо от Анфисы! Милая, милая моя! Какой хороший она человек, и, читая ее письмо, полное любви ко мне, настоящего человеческого уважения и даже восхищенья, я [<1 сл. нрзб>] испытывала смущение и удивление: неужели я все-таки хороший человек, что вот люди меня не забывают, пишут обо мне такое? Неужели я что-то истинное и теплое давала и даю людям? Странно, но, несмотря на поток таких писем, — я все меньше верю в это. Наверное — нет, определенно из-за того, что не сберегла Колю, — вот это пренебрежительное отношение к самой себе, вроде как рукой махнула на свою несостоявшуюся личность. Я не ханжу, нет...

¹ Перед словом «он» часть листа утрачена.

13/Х-42.

Взяла ордер на ту квартиру на Троицкой, хотя в одну комнатку, правда совершенно изолированную и маленькую, придется составить вещи квартирохозяина и опечатать их. В райсовете говорят: «Да что вы тревожитесь, — может, он уже умер или убит, может, не вернется с войны, — квартира останется за вами». Нехорошо жить, рассчитывая на смерть хозяина жилища, куда въезжаешь. Они еще говорят, что, если он вернется здоров и невредим, ему предоставят площадь в другом доме. Это другое дело. Пусть выживет, пусть вернется, и всем, кто будет [при] возвращаться, должен быть готов теплый и светлый угол.

Уже половина октября, я не начинала поэму, а вчера получила от горкома задание — писать приветствие Сталину от имени общеленинградского митинга в день 7 ноября. Вот, тоже, комиссия... Но написать надо хорошо, не из суетного тщеславия и желания выделиться (ведь текст поручили написать еще ряду писателей), — а просто потому, что такую работу нельзя делать недобросовестно... Надо <Далее обрыв текста — четверть тетрадного листа утрачена.>

Минутами появляется превосходное, почти трепетное рабочее настроение, но никак не использую его, — т. к. тотчас подвергается то одно, то другое, — рассредотачивает. И такая жадная стала я до Юркиной ласки, — просто неприятно иногда самой, слишком уж чувственное настроение. И это мешает сосредоточиться на работе. Правда, не стоило бы торопиться, — пусть копят строки между житейскими делами, пусть зреет поэма внутри, — а она зреет, хоть я и веду рассеянный образ жизни... Ее, как любовь, по библейскому закону нельзя вызывать, пока она не возделает. В конце концов, не такая уж катастрофа, если она не появится в юбилейные дни, — не будет на ней печати официоза, не будет в ряду с потоком поздравительных стишков. Гнать такую тему нельз<зя ни за что в?> жизни. Мне очень верят и будут читать <Далее обрыв текста — четверть тетрадного листа утрачена.>

<ав>торитета. Это, м<жду> п<рочим>, очень мешает. Надо отбросить все это, освободиться от своего «имени» и писать от себя и о себе, как о безвестном, — как раньше, и простом человеке, писать открыто, без расчета на печать и т. п.. Только не потрафлять — никому, даже дорогому мне читателю, чувствуя его — как себя... И — проще, проще. Нет, ничего, разгонюсь.

14/X-42.

Очень плохо чувствую себя, — слабость и головокружения, от подъема по лестницам утомляюсь до плача и озлобления на человечество. Сегодня особенно паршивое самочувствие, — плохая была у меня ночь, долго не могла уснуть, страшно мучил бес, и мне было стыдно из-за этого, а Юрка спал.. Бес мучил так, что можно было подумать, что я провела зиму на Маточкином Шаре, — но, повторяю, — никогда, кажется, в моей бабьей жизни не было более острого периода интимной жизни, который появился теперь, при жизни с Юрой. Как я наслаждаюсь им — всем, его нежной и сильной лаской, его наслаждением мною, его последним чудесным криком. Плотская жажда, желание ласк долгих и бесстыдных, — одолевает меня. И я люблюсь им неустанно, — его глазами, его лицом, губами его, телом — сильным, стройным, покрытым нежной и мужественной растительностью, как у фавна. И рада, что, несмотря на заметный уже живот, и мое тело хорошо, как никогда, — очень тугое, с кожей, которой изумляюсь сама, прохладной и бархатной.

Нет, необычайное состояние — в этом отношении я переживаю, настолько, что с удивлением решила отметить его здесь...

Всю полноту женской, плотской жизни я знала только с Колей, так же, как и настоящую, благородную, самозабвенную, а потому покоряющую и владычащую мужскую ласку, — знала тоже лишь от него. Но Колька был чуть-чуть примитивен и, пожалуй, — нет, вернее даже — не примитивен, а целомудрен и интеллектуален более, чем нужно — совсем немного, повторяю, но все же...

Я иногда думаю, что любовь с Юрой — вся — это как бы «любовь набело» с Колей. И мне горько от этого. Но любовь с Колей все же была и будет неповторима, — неповторимое счастье, неповторимое страдание, неповторимый подвиг нас обоих... Да, я «изменяла» ему. Но кто, кроме меня, знает, чего стоила одна его болезнь, — а ведь я — естественно, без надрыва и «подвижничества» любила его все больше и больше, и согласна была всем сердцем даже на «жизнь в башне» с ним.

Сейчас надо ехать на «Электросилу», на занятия, — неохота до смерти. Мелочи съедают день, а мне бы два дня полной изоляции — и были бы хорошие стихи «Письма из Ленинграда». Да вот еще это приветствие!..

15/X-42.

И одиночество възграет,
И душу гордость окрылит...

Вот этого-то мне и не хватает сейчас для поэмы, — внутренне-го одиночества, отрешенности от мелочей — разные там квартиры, сапоги, управдомы, приветствия.

Не торопиться же, только не торопиться, не искувиться собственной славой. Пусть даже меня подзабудут, ничего. Как смешны и противны хлопоты Прокофьева, Решетова, Лихарева и др., — вот пришел из Москвы «Лен<инградский> альманах», где московская редакция оставила у них по одному стиху, а у меня — включили обе поэмы и еще 4 или 5 стихов, и вот они из себя выходят из-за этого! Дурачьё! Разве количеством напечатанного завоевывается сердце читателя? Поэт должен быть важен, особенно поэт с именем. Нет, не пренебрежение черновой работой, — это зазнайство, а отсутствие болтливости, «колочения языком», повторения заученного.

Начало поэмы копится медленно. Видимо, оно будет очень личным, вплоть до разговора с Германом...

...Очень неприятные сводки: «На фронтах ничего существенного...» Гм? Сегодня наш передний край в р<айо>не Нарвской и Московской заставы обстреливали из тяжелых минометов, и в городе было очень слышно, да и сейчас все время гул артиллерии, верно, не близкий.

17/X-42. *В Сталинграде взят немцами рабочий поселок.*

...Просто не понимаю, — почему к вечеру такая тяжелая усталость — физическая и нравственная? Казалось бы, что не с чего. К напряженному положению со Сталинградом и Моздоком «привыкли», — а, что будет, с тем и будем жить. Война очень замедляется как-то, — попытки прорвать блокаду снова ни к чему не привели, с Невской Дубровки немцы нас вышибли, в р<айо>не Синявино перемололи много немцев, но решающих успехов нет. Почти не работаю — читала «Прощай, оружие», еще кое-что, лишнее. Видимо, «душа незримо жжет и разъедает тело», а м<ожет> б<ыть>, просто беременность. Если от нее, — то хорошо. Но внизу живота подозрительные тяну-

щие боли, и я боюсь, что это — начало прекращения беременности, и опять, как в те разы — умрет плод, я проношу его, мертвого, в себе недели две и потом скину. Нет, не хочу так, это будет очень нехорошо и точно обман Юры.

Как я буду рада, если он пошевелинется, если я смогу ночью взять Юркину любимую руку и положить ее себе на живот, и сказать: «Послушай, это он». Мне <ка>жется, что в эту минуту будет перейден еще какой-то горный острый перевал, еще к чему-то мы оба приблизимся, — не к миру ли? Или к новой близости друг с другом?, это будет минута блаженного человеческого покоя — того покоя, о котором писал Пушкин, как о синониме счастья.

Неужели опять выкидыш, и эта пустота, и чувство своей опоганенности, физического непристойного уродства?

Быть может, я устаю еще от роя глупых мелочей, донимающих сознание, загружающих его: от того, что на ногах — скверная, страшная, рваная обувь, в которой тяжело ходить, а люди, обещавшие мне помочь с этим, вот уже больше 2 недель тянут, — я звоню, мне совестно напоминать им об этом, и все это огорчает еще какой-то, несправедливой, видимо, высокомерной обидой, — вот я второй год отдаю ленинградцам все самое живое из души, а они мне сапог — пары — не могут сделать! Вокруг «Лен<инградского> альманаха» — визг оскорбленных «ведущих поэтов», — Решетова, Прокофьева и др., — они сформировали новую редколлегия на предмет перестройки альманаха, — видимо, «Лен<инградскую> поэму» выкинут, потому что Решетов ненавидит меня и завидует мне, он уже давно говорил, что «Лен<инградская> поэма» — это, мол, «любование зимними трудностями», — очевидно, они снимут ее и еще другое. В альманахе № 2 взято из трех предложенных мною стихотворений только одно, наименее интересное. Конечно, практически это все для меня значит очень немного, — поэму знают буквально миллионы людей (у «Комсомолки» полтора миллиона — один тираж, а читателей больше), и такой популярности Решетову и Лихареву не получить! Но противно все это, и досадно — как еще одно проявление мертвой системы... Нет, нет, плюнуть на это, вот на это-то плюнуть и пренебречь! Так учил Коля. «Но ты останься тверд, спокоен и угрюм...»

И — не спешить. Написать поэму о том, о чем говорили, чем жили с Колей, чем живем сейчас с Юрой. Написать так, чтоб очень усталым, несчастным людишкам на минуту стало легче на душах.

Черт с ними, что они тянут мне с сапогами. Я богаче их и могу делиться с ними.

Письмо от Сережи, милое. Просит рекомендацию в партию, — обязательно добьюсь в райкоме, чтоб мне разрешили ее дать, несмотря на то, что не хватает 4-х мес<яцев> до 3-летнего стажа. Это будет первая моя рекомендация, и мне приятно дать ее волчонку.

Письмо от Оли Молчановой, — ох, надо написать ей, что я — жена Юры...

Написать сейчас письма, что ли? Стихи не идут, даже те, свои, очень грустные — о разоренных домах.

Начала поэмы все еще нет.

Буду писать письма...

19/X-42.

Ой-ой-ой, ну и нудная же жизнь. Явно простудилась, бегая в рваных туфлях, а милые товарищи из Московского р<айо>на все еще «согласовывают» вопрос — уже 17 дней о паре туфель, которые я у них прошу. Вчера, наконец, получила крой с «Победы»! Но осталось самое острое — где его сшить? Вчера весь вечер убила на розыски мастера, обещавшего сшить за 4 кило хлеба; ходила по Смоленской улице — на ф<абри>ке мне дали неверный адрес, среди разбомбленных и пробитых снарядами домов, адрес, кот<орый> мне дали, — оказался 6 школой, где в 37–38 году я преподавала, будучи отовсюду исключенной. С ней связано много горького и много хорошего, — общение с ребятами, с учителями, дружба с Анфисой. Школа заколочена, рамы и стекла вырваны, фасад пробит тяжелым снарядом, — мертвый, опозоренный, дикий вид. Вот и этот участок жизни моей как бы вытоптан. Нет, скорее, скорее надо оборудовать гнездо, новое гнездо на Троицкой. Там хорошие комнаты, — жаль, что пока у нас не все четыре, но и так пока ничего, — хотя запечатанная эта комната, набитая чужими вещами, раздражает меня.

24/X-42.

Ненастный день потух. Ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой...



Ольга Берггольц

1942





С. II (вверху)

**Ольга Берггольц
с Георгием Макогоненко
в расположении одной
из воинских частей**

Сентябрь 1942

На обороте запись рукой
Берггольц: *Фронт,
Карельский перешеек.*
Сентябрь 1942

**Ольга Берггольц
с писателями-
балтийцами**

Ленинград. Февраль 1942

На обороте запись рукой
Берггольц: *Совещание
писателей-балтийцев.
Зима 1942–1943. Ленинград*

С. II (внизу)

**Ольга Берггольц
с фронтовиками**

1942



С. IV (вверху)

**Ленинградцы периода
блокады из архива
Ольги Берггольц**

Зима 1942

С. IV (внизу)

**Ленинградцы периода
блокады из архива
Ольги Берггольц**

Зима 1942

На обороте более поздняя запись рукой Берггольц: *Типичная ленинградская сцена: женщина везет мужчину. Мужчина так уже плох, что она привязала его к санкам полотенцем, чтоб не падал, — тоже очень распространенный прием. Зима 1941–42 года*

**Ленинградцы периода
блокады из архива
Ольги Берггольц**

Весна 1942

На обороте запись рукой Берггольц: *Дистрофик. Продает [будильник] ходики на «толчке» у подезда. Т.к. не было сил добраться до рынков, такие «толчки» в миниатюре бывали чуть не у каждого десятого подезда. Дистрофик с палочкой, в галошах, в ватнике,*



*с противогазом, который
служит ему рюкзаком.
Весна 1942 года*



**Ольга Берггольц
в редакции газеты
«Комсомольская правда»
1944**

**Ольга Берггольц
во время выступления
в общежитии
Ленинградского
электротехнического
института связи имени
М. Д. Бонч-Бруевича
7 июня 1945**

*На обороте фотографии
запись рукой Берггольц:
Вечер незабываемой
встречи в общежитии
института связи.
Ленинград. 7 июня 1945*



Ольга Берггольц
1945

49
96 1

Дневники с 24/IX-41
по 27/XI-41.

(Встреча на пр. Кр. Командиров
в т.б.)

Затем декабрь 1941 г.
(Встреча с Чернышиным
и т.б.)

Обложка дневника
Ольги Берггольц
с записями с 24 сентября
по декабрь 1941 года

Декабрь 1941

Автограф

24/IX-41.

287

Третьего дня филе бабы упало на миде, лодка
 „Советский писатель“ в советский двор. Пошли всех у
 ло. Ушло Жану Буревий, - я ее очень давно знаю, но она
 слабая, привелись как женщина. Буревий и она у
 как то деньги и говорила с ней. Сметов был, но
 тяжело ранен. Да в общем, побили пошлы бы. А вот
 машинистка, увидев в убежище, уехала „Звезда“,
 надо ходить в убежище! Надо бороться, надо, слыш
 ва, как только завоей сирена. Надо спасать, спа-
 сать, спастись можно. О, как трудно! Мне жал
 кох людей, в гурьвах много-о себе, как сказать, и в
 уроки. Я знаю - так у всех. И вижу А.О. говорила, -
 ахней бабы и первая, подлетка и миль - но в м
 ния! Оправдание лишь в том, что еще не в м
 А работки „Сов. писатель“ - это что мы. Это - мы з
 ой бабы. Это давно такими люди, конкретно в
 гелны в сознание. Гибней в мейе с ними что-то и в
 тебе, - хотя з всегда переде не могла Сметов, в
 вы жив, (но паромен). „Звезда, миль все-таки у
 / Вои оисне зрелищ армимертя! Не можно, наймыва
 ми, что при ужасной оисшрмочи из Талмита побили
 Армия Кизиль, Цехотинер, Лотин, Илти, Вейзел, - все наши.

Страница дневника
Ольги Берггольц

24 ноября 1941

Автограф

21/II-42. - 22/II-42.

Когда я думала о смерти Коли, для меня было
көөрүмүтү, эийи э чиркү тийгас же.

Но сновидениями деть э попомела, өсөө похорошела,
в вьра тьотч чашвала Юрку с дикими желанием, с пре-
лудой во всем шеле и допущила даже, штоб он взял меня,
на уютном диване, в комнате, где стало еще с человек.

22. Да смотришь на меня теми влюбленными, широкими
тими от любви и счастья глазами, как осенью, во время
тех диких бомбежек, когда мы сидели в бомбоубежище
и та стелкой моталось и прещало. Я Коля был дома,
один, э мурлыкал бел, што осматривала его тпал, как
бы сбегала от него, зовила в пещицу квартиру, в
Жаки, - уютать, чал м дом.

Но можешо бомбейем мь привели влесе, - ч
пог'езде, на соларти, на крчии, в ифензарекит, в квар-
тире.

Салте мь, Пеоил, Колятка, диче мь, - не можеш быдэ,
штоб пты ушел сьсем, тавсегда. Дел, тпнэ это-то не
то, и э их хьч фьдичьвадэ во все фь, талм пьдэтайт
хьбэ, - пты вьржешэ, пты снажешь еще - "Лешка..."

Я кайшала, во-птаки, болоншю сийхьтвартту вещь,

в руках ~~написаны~~ "персе" а la "Вертмант тунг".
 Я попытаться издаю книгу (не ради себя!) и 39
 выступить, и издаю свои стихи, где можно, но это
 все на 50% копирует, или все равно ничего не поим-
 ела, а малые-ли на них что не исправит человек!

О, Коль... О, как же это случилось... Какая жиста у рба
 была порудная и первая, как мало едаешь вы выека. и
 уезд, не воддавнись его... Нет, мне надо было быть
 с ним в последние его минуты. Моему брату, он читал
 вы мне и я хотела бы сказать ему, об этом вы,
 как я люблю его. Моему брату, он читал вы едаешь.
 Возможно, нету бы скорее грехаме дима.
 Жива ли вы? Жив ли Юрка? ...
 Господи, господи... Нет, нельзя быть...

12/III-42.

Живу в гостинице "Москва". Тепло, уютно,
 светло, слышно, горячая вода.

В Ленинград! Только в Ленинград... Тем
 более, тем более не беремня - опухла пупок.
 В Ленинград - навстречу тебе... О,
 скорее в Ленинград! Уже холоду об оде...

Страница дневника

Ольги Берггольц

11, 12 марта 1942

Автограф

31/II - 42.

1а

Живу. Написала едно слово, и не знаю, што
пишајќу даљше. Ној е зајалана одта, - то е сјај с
бранила и гетти. Ја не белаю ето. Ја сега е око-
не село замилател пријателствени пици. Ес много
и сега, - јурка привел е фронтја, бр же разубиел
себе прозодителствит и помилел пријателствит сукот
таен, Личека присламе еше поемка.

Ној, кога коли не сјало, кога бр фронт, то сукот
су, - ти колза, сјае поавлајќу пица.

Јурка деркиел е вес. и много брже, в' земдане
под замкоел. Он каркиел мене даме не по-блжод
коел хертошо, а в' все-равно все време коел сјае
и ослабел до предела. Вес сјае, - мендр сјае
не треско мене, но и все јело. и слабосјае сјае-
мас. и кробиел мене ето, што замилел ети мене.
Ел ел клел, и ел не јат, как мене хертошо ел.
Васпоркиел ел ел, даме и мене. Он раселел
швотел, екошмител, бережмител. Ја помилел, што

I

Я, как рубеж, запомню вечер.
 Декабрь, безответная зима,
 Я хлеб в руке долой несла,
 И вдруг соседка мне навстречу.

- Сменщи́ на флабе, - шварит,
 Мешать не хочешь, дай по дружбе.
 Десяти́ день, как день летит.
 Не хорошо. Бѣ гробик туман.

О действительности 200 грамм.
 Ой дай. Ведь ты сама рожала.
 И я сказала: - Не ой дай.
 И бедный молоко́ крейче стало.

- Ой дай! - она не видела. Ты
 Сама ребенка кормила.
 Я приехала тогда цыгань,
 Уши ты украсила мочалю.

Ольга Берггольц
 «Я как рубеж запомню
 вечер...»

Июнь — июль 1942

Автограф

Юра уехал до завтра в командировку, я целый день одна, гл<авным> обр<азом> сплю. Очень плохо чувствую себя, — ломает грипп, от которого не в состоянии отделаться вот уже почти месяц, и состояние духа подавленное до предела. Выгляжу отвратительно, осунулась и¹ постарела, под глазами мешки. Ближайшие причины к тяжкому настроению — страх, что уже кончилась беременность: боли внизу живота и то, что временами специфически, знакомо пучится матка, — повергает меня в раздражительное уныние, в тоску... Но с другой стороны, с чего это я вообразила, что все теперь у меня пойдет в жизни, как по маслу? И особенно — в атмосфере всеобщего горя и тягот? Нет, матушка, волочись в тоске и ты! Но так бы хотелось доносить и родить ребенка. Так Юра этого хочет.

На днях — третьего дня, пришло ему пять открыток от его бывшей жены, Вали, — и мне было целых два дня не по себе, отчуждалась, отделялась от него: у тебя, мол, — есть другая жизнь, есть сын, которого ты «любишь без ума», есть женщина, с которой ты связан навсегда этим сыном, и, видимо, это-то вы оба и имели в виду, [когда] реши[ла] в завести ребенка в то время, когда собрались разводиться. О, — это на Юрочку похоже. В это время он уже жил с Ириной и «начинал любить ее»... Известие о том, что у него будет ребенок, было для нее, судя по ее письмам, большим потрясением. О, у моего теперешнего мужа была такая путаная, такая нагруженная личная жизнь — до меня, сколько одних т. н. «встреч» было. И часть этой жизни — реально — осталась с ним, — и теперь, при мне: сын, б<ывшая> жена, та же Ирина, приславшая сегодня телеграмму, что она «уезжает Хабаровск, если понадобится, пиши востребования». Я сегодня не отдала ему этой телеграммы. Отдать или нет — вообще? Не отдать — пожалуй, подло.

А все это томит меня, хоть и отдаю отчет, что это недостойно и глупо. Но у меня даже к Андрейке чувство неприязни — это уж совсем гнусно: ведь Коля так нежно, так по-отцовски любил мою Ирочку.

Да, но ведь она существовала вовсе не для того, чтобы быть связующим звеном между мною и Борькой, а Андрейка специально для этого и придуман...

И вот, хоть знаю, что Юра действительно любит меня, его прошлое, особенно когда оно напоминает о себе, — давит меня, и мне

¹ В тексте дневника слово «и» ошибочно повторено два раза — в конце одной страницы и начале следующей.

кажется, что он со мною — случайно, на время, что пройдет война, и вновь его потянет на жизнь, которую он хоть и называет «подлой», но все же потянет, — легкие победы, встречи — до 4 в день...

Мне хочется ребенка еще и потому, чтобы отнять Юрку от прошлого совсем, навсегда... конечно, и при ребенке все может быть, но все же. Да и самой мне хочется ребенка, — человечка, совсем моего и для меня. Ну, что бог даст!..

А надо всем этим — видение Международного в сумерках, в морозящем дожде, где на трамвайных остановках женщины с водянисто-голубыми, покорными лицами, с бревешками — обломками домов — в руках, сидя на баррикадах, покорно ждут трамваев, и дождь моросит, и сумрак, и кругом разбитые, нежилые, темные кубы домов, недостроенных, но уже поверженных. И, не дождавшись трамвая, они идут по мгlistому, пустынному, огромному и прямому проспекту с обломками домов под мышками, как будто несут куски огромного общерусского распятия, куски креста, — и на досках и бревнах, действительно, торчат огромные ржавые гвозди. И сумерки, и моросит, и почти нищенски одеты люди, и лица их усталы и серы.

Надо написать, написать обо всем этом — так просто, для себя, т. к. печатать это не будут... Все равно.

Начала поэму — или графомания — или отлично начато. Сейчас простирну кофту и буду писать, — выпалась днем, сейчас не хочу.

Кофту стираю, т. к. послезавтра хочу быть красивой — год [1 сл. нрзб] нашей первой встречи с Юркой. Ох, Коля, прости меня, прости, прости... Зря я напомнила все же Юре эту дату... Коля был тогда жив, — нет!.. Не надо вспоминать об этом... Не надо.

27/X-42 г

Вчера мы провели с Юркой чудесный вечер; он тронул меня необычайно тем, что переоделся в штатское, «как тогда», красив был, нежен и влюблен необычайно. Мы чуть-чуть выпили, чего было, я прочла начало поэмы и увидела, что это — необычайно плохо, за исключением 1–2 мест, с чем бы я, видимо, примирилась, если б он начал хвалить, но, несмотря на страшный его рационализм (он «рылеевец» по отношению к поэзии), у него есть вкус, и он ругал меня, и я не сердилась, потому что была согласна с ним. Да, он

прав, — в таком виде это не годится. Надо переделать. Надо, чтоб было спазматичнее, парадоксальнее и горячее. Надо еще шире открыть сердце.

Ночь была бурной, стыдной и сладкой. Сегодня дико болит поясница. Ах, грешу я перед маленьким. Обязательно на этой неделе проверюсь и буду воздержанней. Может быть. Вдруг появилась надежда, т. к. тошнит, что доношу.

28/X-42.

Юры опять нет в эту ночь — уехал в полк «на добычу», за капустой. Надо очень вертеться, чтоб есть мало-мальски сносно, так, как мы с ним. Хорошо еще, что есть у него этот Резников, — все помогает. Конечно, те куски, которые мы у него получаем, нам по рангу «не полагаются», — ну, а полагается вся эта нудная гадость, именуемая блокадой? И почему мы должны быть в худших условиях, чем паразит Лесючевский? Мы никого не обворовываем и пользуемся в десятки раз меньшим, чем другие, менее честные люди. А изворачиваться надо, пользоваться т. н. «связями» — надо, иначе сдохнешь, истощишься и не принесешь людям никакой пользы.

Вот у меня — чудесные русские сапожки — это выручка вплоть до весны, а м<ожет> б<ыть> и больше, а я их просто выбила из райкома и фабрики, так же, как и две пары туфель с Победы 2; правда, одну, кот<орую> я уже получила, почти нельзя носить, — так жмет носок, но надеюсь, что другая, лакированная — будет лучше. Если б она получилась такой, как у них в витрине, да не жало бы пальцы — то это была бы лучшая пара за всю мою жизнь!

Сегодня у нас в комнате ставят печку, — ну, м<ожет> б<ыть>, будет хоть тепло зимой, если вдруг отнимут свет, что, видимо, будет с декабря. Поражаюсь, почему не приезжает Соловьев с машиной, чтоб перевозить нас, — очень хочется поскорее оборудовать тот угол, хоть половину квартиры... Немцы второй день снова обстреливают город, центр, вчера был прямо шквальный огонь. Очень неприятно. А если еще бомбежки начнутся — ух, гроб! До чего же трудно будет освоиться с ними — просто не сказать, труднее, чем в прошлом году привыкать...

Юрка получил сегодня письмо от Вали, б<ывшей> супруги, — ответ на свое. Боже ты мой, какое у меня скверное, тошнотное чувство

возникло на целый день, после прочтения этого письма. Дело не столько в том, что она пишет о «вещах, дорогих для нас обоих», о том, что она просит его заходить на их прежнюю квартиру, т. к. он «хотя бы отец ее ребенка, но дорог и сам по себе», хотя она его «за многое не уважает», но вот, даже к «величайшему огорчению ее мужа», которого она «просто обожает», — она «ведет с ним переписку» и послала телеграмму, поздравляющую его с 5/1 — видимо, днем их первого сношения... Дело в омерзительном тоне письма, из которого так и видна тупая физиономия мещанки, самодовольной, ограниченной, неумной, мещанки в самом полном значении этого понятия, которой непонятны и чужды подлинно человеческие чувства, т. к. [в] ответ [на] Юрки, достойный и человеческий, она именуется «чушью», «что за вздор ты пишешь» — и т. д.

И вот эта дикая баба, горняшка по уровню, смеет писать мому Юрке, настоящему человеку, что она его «за многое не уважает» и оказывает ему какое-то особое внимание тем, что, несмотря на «обожаемого мужа», который «бросил из-за нее жену и двух детей и не думает о последней», — она пишет ему!... И с этим тупым, корыстным, темным дикарем из-за сына он связан пожизненно, она имеет право писать ему такие оскорбительные письма — оскорбительные и для него, и для меня, и я не могу потребовать, чтоб он порвал с нею категорически, — т. к. у них — сын, которого Юра любит.

Мне так жалко его было, так стыдно за него, за то, что он жил с этой бабой, сделал ее матерью своего ребенка, писал и говорил ей о любви, так больно за все.

Правильнее всего было бы пренебречь этим, но проклятый мой характер дает себя знать, и я в пятый раз перечитываю это идиотское послание, злясь и страдая.

А начало поэмы, кажется, теперь есть, — самое начало. Вот отхлопочемся с бытом, и с радостью, со свободным сердцем сяду только за нее.

На этой неделе обязательно проверю беременность, — возможно, что она все же жива. Ах, если б доносить, если б поменьше обстрелов и бомб, — со всем остальным справимся!

4/XI-42.

Только два слова, т. к. до 2 часов надо написать статью для «Комсомолки» по их заказу, а в 2 меня куда-то потащат выступать, — к девушкам, приехавшим в Л<енингра>д как боевое пополнение.

Итак — нами оставлен Нальчик, хотя Сталинград в основном наш. Перелома в войне — нет. Второго фронта — нет. Уже ноябрь месяц. Увы, война еще очень надолго. В городе возобновились немецкие обстрелы, и ежедневно тревоги и даже с бомбами.

6/XI-42

...Вот и сегодня с утра была тревога, только что кончилась, и вчера вечером тоже, и сразу после сирены рухнуло недалеко от нас две бомбы, — одна, говорят, у Аничкова моста и другая — в Куйб<ышевский> райсовет. Живы ли там мои знакомцы? О, нудная, чортова жизнь. Когда начинаются тревоги и начинают работать зенитки, мне становится страшно, хочется — совершенно инстинктивно — «спастись», куда-то убежать, я быстро напяливаю сапоги с мыслью, что, пожалуй, даже их не успею напялить, и в это время страх сменяется раздражением, ожесточением, злобой и грустью, — «не все ли равно, в сущности?» Потом наступает спокойствие с примесью унылости, и если тихо, я делаю все, что мне надо, и мысль о том, что на меня может свалиться каждую минуту бомба, — становится нереальной и даже смешной на фоне домашних забот.

Все еще не могу не реагировать на бомбежки.

Вот опять гудят самолеты, видно, скоро снова будет тревога. Интересно, что бомба попала именно 5/XI и именно в Куйб<ышевский> Р<ай>К<ом> — 5/XI-41 в то же время в тот же райком тоже попала бомба. Я была в это время как раз в райкоме, очень хорошо помню, как качнулись крепы в бомбоубежище и как это было дико.

(Тьфу, как отвратительно режут самолеты.) ВТ.

Говорят, что на Троицкой не осталось ни одного стекла — это ужасно. Значит, в нашу осиротевшую квартиру наметет снега, а м<ожет> б<ыть>, и в новой нашей квартире все повылетело, — вот и некуда будет переезжать, а там было так хорошо в этом смысле — всего 4 стекла разбитых в Юркиной комнате, а на «моей» стороне — все цело! Неск<олько> дней назад вдруг появилась Галка из своей части, с газогенератором и 2 бойцами, и я совершенно авантюрным

путем, взломав квартиру Гуковского, в которой не оказалось бабки-домраба, — перевезла почти всю мебель оттуда и немного книг. И едва мы кое-как расставили ее в квартире, как я увидела, что если тут промыть сохранившиеся стекла, натереть полы, расставить все, как следует, — книги, стулья обить (они очень красивые, только изорвалась обивка), — то будет чудесно, будет настоящее людское, умное, приветливое жильё. Я не взяла громоздкий, хотя и красивый письменный стол Гуковского, — я решила, что возьму свой, с Троицкой, некрасивый и облезлый, но тот, за которым работала с 32 года (кстати, он уж вовсе не так некрасив, только доску застелить гранитолем), я поставлю его так же, как на Троицкой, углом к окну, и повешу над ним те же картинки, — «Мадонну» Винчи и два альтмановских Ленина, я примерно так же поставлю около него стеллажи или шкафики с книгами (а м<ожет> б<ыть>, за стол я поставлю узенькую полку с книгами, — так, как стояла она у меня, когда мы с Колей жили в одной комнате и еще была жива Ириша) — и вот, умершая моя квартира на Троицкой — снова будет жить — не искусственной жизнью и не как склеп или памятник, — она будет жить по-настоящему, потому что эти наши вещи и книги будут нужны мне, будут работать вместе со мною. Господи! Расставить около себя свои и Колины книги, перетереть их, снять с них мертвую, холодную пыль, расставить их так, как они стояли у нас на узенькой полке, наши любимые книги, — Бабель, Рабле, которого так любил Николай, читать их, и сидеть за своим письменным столом, в тепле, в своей, а не учрежденческой комнате, около больших светлых окон. Если в печке при этом будет трещать огонь¹, и хотя бы бледное солнце будет светить в окна — ведь это уже будет жизнь... Я просто одержима мыслью — поскорее устроить это жильё, мне хочется заняться только этим, только этим!

8/XI-42 г.

...А бомбы опять стали падать на город, хоть и не в таком количестве, как в это же время в прошлом году. Но вот вчера упало две на Ивановской в д<ом> 14 и в д<ом> 16 — близко от нового гнезда!.. Мы бежали б<-го> туда, —стекла были целы. А сегодня — уже неизвестно.

¹ Слово сочетание «в печке» ошибочно повторено дважды: «Если в печке при этом будет трещать огонь в печке».

О, бедный homo sapiens,
Существованье — бред.

Все время сегодня погромыхивает, уже с утра была тревога, наверное, будет еще, — только бы не тогда, когда я пойду к Маргарите Коршуновой — к врачу, проверить беременность. Нет, груди не опадают, и даже боли внизу живота реже, — но почему, почему он до сих пор не шевелится? Ведь уже пора!

С завтрашнего дня займусь подготовкой книг и стола на Троицкой, чтоб хоть это оттуда перетащить, не дожидаясь окончательного перевоза с В<асильевского> о<строва>...

11/XI-42.

А противно, все же, быть одной в квартире во время ВТ, как сейчас. У нас в городе опять по 5–6 ВТ в день, с зенитным грохотом, с бомбами, но бомб, верно, мало, и в эти дни они падали где-то не в нашем р<айо>не. Но не будешь же бегать вниз все время, — это все равно не жизнь, уж лучше так, хоть трясясь и труся (правда, не очень), делать что-нибудь дома.

Третьего дня А. А. смотрела меня и нашла, что беременность жива, размеры по срокам соответствуют (около 5 месяцев). Правда, я почему-то не слышу его, — не шевелится, но она говорит, что это ничего. Он должен зашевелиться на днях. Мне кажется, что как только я убежусь в его жизни, — начнется совсем другое существование — спокойное, деловитое и деятельное. Сейчас этого нет. Я почти ничего не пишу, кроме как стихи «для себя», не сходила до сих пор к Маханову, чтоб поругаться насчет книжки стихов, вообще, много времени теряю зря (но не особенно тягочусь этим!), — а все человечество-то не зря время проводит в этих идиотских занятиях? (Ишь, как сажают зенитки!)

Вчера неск<олько> часов была на старой Троицкой, разобрала свой стол, узенькую полку, часть книг сложила в мешки, наиболее дорогие бумаги и письма в чемодан. Тосковала о Коле страшно, да еще получила открытки от Торы и Лешеньки, расплакалась, вспоминая ребят, которых так любил Коля, и ночью, лежа с Юркой, изнемогала от одиночества и тоски, еле сдерживая рыдания. И то, что он расспрашивал о маленьком, тихонько гладил меня по животу, — еще увеличивало одиночество и боль. О, Колька, Коля мой...

Завтра с утра буду перетаскивать вещи с Троицкой, надо привести в порядок квартиру, новую, даже не дожидаясь окончательно перевоза с В<асильевского> о<строва>. Скорее бы сесть за тот стол, в той комнате с ясными окнами, — как осточертели мне тюремные, высокие окошки в нашем теперешнем помещении! Сейчас, пока идет тревога (очень бьют зенитки в нашем квадрате, гудит немец, и только людские звуки надо мной — в кухне, шаги, жужжание мясорубки — успокаивают меня), напишу записочку Галине, как только кончится тревога, выскочу и, пользуясь перерывом до следующей, сбегаю на старую квартиру договориться насчет тележки. О, — отбой! Бегу!

14/XI-42.

Второй день у нас за стеной, вечером, неск<олько> часов подряд играет патефон, все старые, «того времени» фокстроты, и не вспоминается, а вдруг оживает ощущение ужинов и вечеров в Доме Кино, в клубе писателей, где играли те же фокстроты, оживает ощущение мирного времени, конечно, жизни с Колей сквозь это все — и так все это томительно, так дико становится — где всё? Третьего дня переставляла на новой троицкой квартире книжки свои, была на старой квартире — а там, как в любой выморочной квартире, — расплзлись по полу тряпки и бумага и выморочный сор, — и все это вместе тоже мучит, изнуряя духовно. Часто за эти дни чувство, что все-таки стою на тоненьком льду, а под ним — провал в холод и тьму...

18/XI-42.

Была у Маханова, жаловалась на Лесючевского, читала новые стихи, и как будто бы все очень хорошо, — сказал, что Лес<ючевский> зря задерживает стих, очень хвалил «Письмо вдовы», — а все равно, осадок, как всегда, какой-то нехороший остался, точно я все время там у него подличала, врала... Не знаю сама, почему такой осадок, — человек он милый и неглупый, ну, а культпропский кретинизм — это уж от бога!

Но это хорошо, что «Письмо» санкционировано, оно скажет кое-что людям, это хорошая песня. (М<ожет> б<ыть>, у меня такой осадок оттого, что читала незаконченные, еще сырые стихи, в которых сама не уверена?..) Но в общем, мне вновь хочется работать, —

вот написать бы еще «Письмо в тыл», и была бы хорошая передача. «Вдову» надо отдать в «Комс<омольскую правду>» и «Лен<инградскую> Правду». М<ожет> б<ыть>, завтра приедет Галка — перевозить меня. Ах, если б завтра все окончательно со всех мест перетащить в одно, — уже на 75% «устроились». Завтра еще раз проверю печки, — в воскресенье они дико дымили, но, м<ожет> б<ыть>, это от страшной влаги в воздухе, — ведь первый-то раз горели хорошо?.

Попробую пописать стихи.

22/XI-42.

Сегодня в 22¹⁰ выступаю по радио. Передача получилась как будто бы неплохая, — читаю «Осень в Л<енингра>де», «Дарью Власьевну», — (наконец-то!), «Жену патриота» («Письмо вдовы»). Немного тревожит меня, что Ходоренко вдруг стал что-то ёрзать и мрачно спросил Юрку, — показывала ли я «Осень» Маханову? Да, читала ему, и он сказал, что «хорошее стихотворение», надо отделать и печатать. Видимо, холуи из радиокомитета, основываясь на моих словах об отзыве Маханова, не показали передачи на этот раз т.т. Лесючевскому и Паюсовой, а теперь трясутся от страха. Ну, черт с ними, в конце концов, не мое это дело, — я же ничего не врала. Передача явно скажет что-то людям, особенно «Дарья Влас<ьевна>», а там пускай когтят, если вдруг Маханов откажется от своих слов. Не помешала бы лишь ВТ. Сегодня же, в Юркином журнале, исполняют мою «Вдову», — Леви написала очень приличную музыку, и в исполнении Атлантова звучит трогательно, хорошо. Люди будут петь ее, м<ожет> б<ыть>, даже будут петь наедине. Интересно, напечатает ли «Комсомолка» ее с нотами и без искажений? «На страже» все-таки изменили одну строчку, блядины дети!

...Мой сегодняшний бенефис начался неудачно: запись Атлантова была из рук вон плоха — вместо музыки неслось какое-то утиное хрипкое кряканье, способное только подействовать на нервы, и говорят, что плохо разбирались слова. Эх, суки-люди, даже записать как [1 сл. нрзб] следует не могли, — разве это такой же труд, как мой, — когда я писала эту вещь с мыслью о самом дорогом — о Коле, писала ее из себя — «не плачет, не плачет вдова патриота, покамест бушует война», и плакала, и думала о тысячах женщин, которым слова эти принесут минутное облегчение, — в общем, я трудилась всем сердцем,

трудилась добросовестно, — а люди это взяли и испохабили, а всего — техническая работа...

Теперь уже без 20 десять, в 10¹⁰ я должна бы была выступать, но наверху у Виктора происходит какая-то паническая беготня, звонят к Лесюч<евскому>, допрашивают меня, «а как именно отнесся Маханов к “Осени”», — тьфу! Так и есть, не показали Лесюч<евскому> и — писают в штаны от страха. Меня уже трясет от отвращения...

24/XI-42 г. Немцев потрепали и оттеснили от Сталинграда.

Слишком долго было бы описывать мелочную, отвратительную «предысторию» моего выступления 22/XI. Ходза и Витька вертелись-вертелись, Витька то вынимал строфу из «Дарьи Власьевны» с «бедным кусочком хлеба», то оставлял, то окончательно вынул, — взбешенная, как всегда — при соприкосновении с людской гадостью — сконфуженная, я вошла в студию, стала читать, вступление и первый стих читала прилично, — но почти на середине стиха в студию с непомерно-значительным видом вошел диктор и Витька, встал за моей спиной — и я решила, что, видимо, был какой-нибудь панический звонок из горкома, и я читаю уже перед закрытым микрофоном. (Так было с поэмой Шишовой.) Я заикнулась, но продолжала читать. Едва я дочитала «Осень», как Витька, *выключив микрофон*, вытащил «Дарью Власьевну», шепнув: «Срочное сообщение Информбюро, читай только это», и я, зная уже об этом сообщении и зная, что три минуты на стих ничего не изменили бы в передаче, смешавшись, очень плохо добормотала «Вдову». Потом сразу дали сообщение. Верно, оно было отличным и стыдно было бы пыжиться, что из-за него сократили мою передачу, но все предыдущее подлое и трусливое поведение наших руководителей, Витькина тряска из-за «Дарьи Власьевны», — убеждает меня в том, что срыв передачи был вовсе не обязателен.

И, что там ни говорить о радостном сообщении, мне было досадно, что скомкали передачу, — ведь сообщение потом шло шесть раз, — а как бы здорово прозвучала перед ним «Дарья Власьевна». Ну, ладно. М<ожет> б<ыть>, еще прочту.

Я думала, что выступление пройдет мимо слушателей, особенно без «Дарьи Власьевны», особенно после того, как сразу за ним было дано такое сообщение. Оказалось, — нет. Еще в тот же вечер

были звонки от знакомых и малознакомых людей, и вчера уже от незнакомых, и масса устных отзывов — от работников издательства до контролера в нашем бюро пропусков. Говорили со слезами в голосе, — очень понравилось прозаическое вступление и первое стихотворение, и это немножко жаль, т. к. «Вдова» гораздо-гораздо лучше рационалистической, холодноватой «Осени». Но в общем, — резонанс большой, это бесспорно. Дошло, дошло самое главное, — величие собственного — нудного, серого, тяжелейшего бытия, — «выходит ведь, что мы и в самом деле герои», — как сказала контролерша и домработница В. К. и многие-многие другие. Это славно, что люди так довольны были, это приятно и дорого мне, тем более что оба эти стиха написаны совершенно «для себя»...

25/XI-42. Немцев под Сталинградом окружают и бьют.

Вчера около 12 ночи — опять превосходное сообщение о наших успехах под Сталинградом. Правда, немцы еще есть в городе, но около Ст<алинграда> их окружают и лупят! Не считая 36 000 пленных и почти столько же убитых, — взято в плен 3 дивизии вместе со штабами и генералами. Нет, кажется, у нас так не сдавались все-таки, бежали — это верно, но чтоб сразу 3 дивизии, — этого, кажется, все же не было... О, господи, неужели наступил перелом? Вот и в Африке наши почтенные союзнички продвигаются, — нет, Абрашке Гитлеру определенно плоховато! Неужели же мы увидим конец этого общечеловеческого позорища?

29/XI-42. Наступление под Сталинградом продолжается, рабочий поселок очищен полностью, а вчера еще — отличное сообщение о наступлении на Центральном фронте!

А у нас сегодня вторая ВТ — вон как гремят зенитки, по всему городу. Глупо помирать, когда начались наши победы и приоткрылась перспектива — конец войны. И Юрка ушел наверх — искать по картам только что объявленные населенные пункты, — а я одна терпеть не могу быть во время ВТ, и стынет яичница, которую приготовила с такой заботой. (Зенитки стихли.) Как Юра иногда раздражает меня своей суматошностью и неврастенией, — сказать не могу. В процессе домашних различных забот мы часто раздражаемся друг на друга

и ссоримся, — чего никогда не было с Колькой, и мне потом совестно и тяжело бывает, — Юрка такой милый и заботливый. Сегодня копошились на своей новой квартире, господи, сколько еще трудов надо уложить, чтоб зажить в ней! Дымит каким-то непонятным образом печка в моей комнате, не действует плита на кухне, не вставлены стекла в Юркиной комнате, надо распилить дрова, привезенные мне И. О. Б., надо довести из кв<артире> Гуковского стол, диван и книги, я уж не говорю о недействующей канализации и отсутствии воды. Этого и не будет. Надо купить лампы, надо все хозяйственное обзаведение — ведра, плоски-ложки и т. д. (Что такое? Метроном вдруг перестал тикать, а тревога идет, — заградогонь все ближе, видимо, опять прорвались. Затикал опять... Уже около 2 часов — идет тревога...) Надо затащить туда Фанин зеркальный шкаф, надо хоть чем-нибудь обить мебель, надо купить занавески, — ну уж занавески, это, конечно, деталь... Очень много самого нудного и тяжелого труда, а рабочих рук — нет, и людишки только и глядят, чтоб выклянчить кусок хлеба или [на] щепоть табаку. Ой, какие наши героические ленинградцы в массе своей стали жалкие и несчастные, — просто зло берет и сердце щемит. А лгут непрерывно, работают паршиво, еле-еле, и так и смотрят — чего бы с другого человека взять съедобного. Этот трясущийся управхоз на новой-Троицкой, дворничиха, печники — тьфу! И главное, до того все паршиво работают, что зло берет: я-то, черти несчастные, работаю для вас на совесть, а вы?! Смотрела я сегодня на этих темных, оголодавших, усталых и обленившихся от слабости людей и думала: ну, вот ты для них душу в строчки выкладываешь? Да, для них! А им — насрать, им кусок хлеба нужен — и все. Влачатся они, — и это их влечение — война. Но ведь есть и те, что горят, — Марины, Галка, другие. Для тех, кто горит, и для тех, кто влачится, — работаю.

Отбой. О чем думал человек, пока шла ВТ... А что же, к чертям собачьим, смертного часа ждать? На хрен-ка! Может, еще увидим, как Гитлера в клетке повезут.

Сразу за отбоем — вновь, уже Л<енингра>д, передают сегодняшний последний час — о делах под Сталинградом. О, господи, — в полном смысле слова — молиться готов, чтоб все эти наступления, вся эта кровь наша — не прошла зря. А какие гавнюки и пошляки французы! Утопить 60 военных кораблей! Надо было идти в Африку, — половина дошла бы, если б треть дошла, — так ведь и то какая махина. Нет, — утопить 60 кораблей, имеющих орудия и боеприпасы! Не-ет, не по-нашему.

Это не наши два сторожевых катерка и несчастный тральщик, которые втроем, а то, кажется, и вдвоем приняли бой с 30 судами немцев, — десантными судами, готовившимися замкнуть кольцо! И как дрались! Да, — горчайшей ценой, а воевать мы научились. О, Коля, Коля, почему тебя нет в эти дни. Как бы ты гордился и радовался.

Мы с Юрой переехали из выморочной квартиры в новую маленькую комнатку, и так здесь уютно сразу устроились, по-домашнему, просто радость, — и это несколько утишает тоску о жилье. Лялик, кажется, пошевеливается, но очень слабо.

30/XI-42 г.

Нет, Лялика у меня, наверное, все же не будет. Вчера мылась и обнаружила, что грудь сильно обмякла. То, что я принимаю за слабое пошевеливание, видимо, просто желудочного свойства. М<енструа>ц<ии> должны были быть 1/VII — завтра 1/XII — уже 5 астрономических месяцев, — шевеления нормального нет. И живот как будто становится меньше. Дней через пять пойду к врачу — что скажет? Видимо, беременности уже нет... Ну, ладно, устала я от мыслей об этом, что будет, то и будет.

2/XII-42.

Я просто не помню за собой такого угнетенного и беспредельно раздраженного состояния, когда все время душат злобные слезы, — как в эти дни. Ну, в чем, в конце концов, дело? Ну, не будет ребенка сейчас, но через год-два, когда все утихомирится, когда всерьез примусь за лечение, — будет же! Ну, мне будет 34 года, — что же, некоторые женщины рожают еще позднее. Не может быть, чтоб Юра разлюбил меня из-за этого. Ну, что ж, ну не будет у меня такой хорошей, красивой груди, как все это лето, — но любил же он меня, когда я была архистрашной, тощей и безгрудой — в декабре прошлого года. Не только же у нас в одном моем теле — смысл. Жаль мечты, жаль страстного его желания ребенка, его и моего желания, тоски о нашем дитяти, — усилия, затраченные мною на пять месяцев нелегкой беременности, могут не идти в счет, — не все ли людские усилия бесплодны и бессмысленны? А в этих усилиях все же был смысл. Совестно как-то перед людьми, совестно перед Юрой, мужем, отцом —

точно я его обманула в его горячих и чудесных ожиданиях. Неужели чувственность моя — всему виною? Неужели любовница душит во мне мать? Или это всему виною последний аборт в 35 году? Как бы то ни было — надо, видно, смириться с неизбежной утратой наполовину выношенного ребенка. Надо пройти через унижение и позор выкидыша, через несколько дней грязной, холодной и голодной больницы. Ну, чего я реву сейчас, — не все ли равно? Но ничем не уговорить себя, ничем, — такая тоска и боль внутри.

О, как бы это наловчиться, чтоб ничего не ждать и не желать? Ни сводки последнего часа — с замиранием и страхом, вчитываясь в то, что есть между строками; ни посылки от Муськи, совершенно подло ведущей себя; ни устройства новой квартиры; ни шевеленья желанного младенца, обманываясь и замирая при этом от радости; ни — с отвращением и тоской и стыдом — очередного выкидыша; ни возвращения Юрки с работы, озабоченного и замotanного, как зимой... Ничего не ждать, не желать, не организовывать, а жить — «оно само пойдёт-пойдёт и придёт». Может, это единственное средство сберечь себя, не превратиться в лохмотья к концу войны. И, главное, не ждать и не рассчитывать на конец войны: «пойдёт-пойдёт и придёт»... «Придётся» когда-нибудь. О, если б так жить, если б так жить! Одно время жила же так. Зачем дала возникнуть желанию очага, семьи, ребенка? Зачем лелеяла это желание, зачем стала возиться с квартирой, забеременела, приобрела эти пушистые, голубые и розовые одеяльца, зачем, зачем? Ведь была же мысль и о том, что не надо этого делать, но подалась соблазну и жадно захотела этого. Рано захотела, видно! Время бездомников, время бессемейных, время бесплодных, время утративших и растерявшихся, время развалин, зияний. — распад, распад. Распад и есть жизнь, минута и есть жизнь — и всё. 26/XII-44¹. Я совершаю еще одну ошибку, привыкая к мысли о любви и верности Юры, не только на сейчас, но и на потом. Этого не надо бы делать, — так же, как все время я помню, что мой сегодняшний литературный успех может и даже должен смениться неожиданной карой со стороны начальства (не по каким-либо причинам, а, наоборот, без причин), обвинениями типа «она протаскивала» и т. д. и т. п., запрещением печатать самое мое хорошее и самое нужное людям — и т. д. и т. д.

¹ Дата подчеркивания текста.

13/IV 54. Так все это потом и было: и измена Юры, гнусная, и запрещения и т. д.

Мне нужно так же иметь в виду, что Юрка тоже может и даже должен разлюбить, — по-моему, он уже и так меньше любит меня, чем летом. Я так плохо одета, такая неуклюжая из-за живота, все-таки заметного, такая невеселая и раздражительная. Точно стряхнуть что-то с себя надо, чтоб начать жить минутой. Что? Неужели неуверенность в беременности — всему причиной.

7/XII-42.

Иностранное радио сообщает, что мы предпринимаем в р<айо>нах Сталинграда и на Центральном фронте очень ожесточенные атаки, но немцы отбивают их. Правда, немцы сами сообщили, что прорван фронт между Ст<арой> Руссой и Ильменем, — это близко от нас, Ленинграда, и вчера на линкоре флаг-штурман флота говорил, что на днях должно быть сообщение и об этом и еще о каком-то втором прорыве, и вообще в ПУБАЛТе дали Юрке понять, чтоб он готовил репортажку на предмет всяческих радостных событий (не новая ли попытка выжать немцев из Невской Дубровки), — и, может быть, именно от ожидания хороших вестей — нетерпение появляется, которое трудно сдерживать, хочется и томишься тем — «когда же конец», и т. д., и т. д.

А что значит — «конец»? И после войны — на несколько лет той же безысходной нужды, м<ожет> б<ыть>, еще более безысходной, чем сейчас. Ах, да лучше не думать так далеко... Вот академпаек у нас отобрали — это сильный удар. Неужели опять придется испытывать это унижение — голод? Брр... аж сводит от страха при одной мысли об этом.

Приехал из Москвы Сашка Крон — неужели Муська не прислала с ним ничего, даже расписки Мясникова для Юркиного начпрода, без которой неудобно ехать клянчить картошку?

Пишу песню для кинохроники «Ладога», — плохо выходит. Вечером.

...А дописать ее сегодня, хоть кое-как, надо, т. к. люди рассчитывают, а я, м<ожет> б<ыть>, еще сегодня ночью поплетусь в больницу, — что-то вдруг с вечера боли внизу живота. На улице метель, снегу навалило, к ужасу дворников и управхозов, до чорта, борьба с ним почти невозможна, — как назло город заносит и заносит

сит, и все с мистическим ужасом смотрят на этот неубывающий снег, точно он несет с собою прошлогоднюю зиму. Уже Юра видел на улицах двух мертвецов, правда, их сразу же убрали. Люди, падающие на улицах, страшнее падающих бомб. Господи, помоги нам... А мне — тащиться сквозь темный город в темную, несомненно холодную больницу, потом эта дрожь на клеенчатом столе, кровь и боль — напрасные, бесплодные...

Как бы сделать так, чтоб Юрка не слишком огорчился, чтоб ему было поменьше боли и страха? Ему-то зачем все это переносить, уж лучше мне всё одной.

Но уж только бы не сегодня, и не ночью... Я даже не знаю, работает ли Снегиревка, куда идти... Меня знает весь Ленинград, и теперь любая аудитория встречает аплодисментами, но если я начну истекать кровью, то мне не у кого и негде будет взять машину и нельзя будет поехать в единственную приличную больницу в городе, Свердловку...

...Да, видимо, это будет утром. Уже обнаружила специфические признаки. Обязательно надо успеть написать за ночь песню, — что я и делаю, а Юра спит. Я ничего не сказала ему, — он и так устал и наогорчился за день. Пусть спит. Я люблю его. Я рада, что вечером он сказал, что я красивая. Ложиться бесполезно, — раз это началось. Я так и думала, что если к середине ноября Лялик не шевельнется, значит, его не будет.

Я очень устала от жизни... Да, похватывает низ живота. Надо торопиться дописать песню.

10/ХІІ-42 г.

Опять ВТ, сегодня уже вторая, хотя нет еще 2 часов дня. Но в основном тихо, — только где-то вдали грохот, глухой, похожий на бомбы. Он, оказывается, все же бросает бомбы каждую тревогу, — в прошлое воскресенье разворотил Международный около «Электросилы». Старуха, с которой я ехала рядом в трамвае, сказала: «Ну, он плохо бомбил, растерялся, все бомбы на улицу побросал». В голосе ее звучало пренебрежение, даже нечто вроде недовольства. Смешно. До чего люди ко всему привыкают, — вот, привыкли к нечеловеческой жизни своей и живут в ней... А ведь все это — бред, позор, ужас... (Отбой.)

Вчера показывалась врачу, — она говорит, что матка явно увеличилась, что будто бы мое похудание может быть не связано с прекращением беременности, но сердцебиения маленького не слышит, и вообще размеры беременности меньше, чем должны быть по времени. Э, — я-то знаю, что уже конец! Грудь опала, шевеленья нет, специфические боли в пояснице и в низу живота. Ну, хотя <бы> я выяснила, что в Снегиревке не так страшно, и получила туда записку от заврайздравом к проф<ессору> Шполянскому, — значит, будет все же наблюдение и гарантия от заражения крови и замерзания. И если не суждено быть маленькому, — то уж скорей бы все совершалось. Нельзя же и Юрку так долго томить надеждой, — он так хочет ребенка...

У меня еще мелькает надежда, — а может, зашевелится? И минутами даже кажется, что как будто — да, шевелится, но это, видимо, самообман.

Песню я написала, получилась очень средняя, но все же ничего. Если к ней напишут приличную музыку, она даже может забытовать; у ладожан, по крайней мере. Для «общероссийской» песни она чересчур обща, — тут надо бы что-нибудь вроде «Трансваля»... О, Ладога, крестный путь ленинградцев, пуповина, связывающая его со страной, — «единственный просвет в отчизну!»...

18 декабря 41 г. — как шли пешком по озеру обезумевшие от голода люди, мерзли, тащили на саночках скарб и детишек, те замерзали, и матери везли их замерзших, пока не падали и не замерзали сами. Люди шли и ехали через озеро на грузовиках, бывало, что прибывший на ту сторону грузовик был на $\frac{3}{4}$ набит уже окоченевшими людьми. Они пытались вырваться из рук [мерзнущ<его?>] умирающего города, и о «том берегу» рассказывали чудеса, — «там белые булки, там сразу дают тарелку картошки», — а город настигал их в пути и обмораживал их. Лед и адская стужа, и свирепые огневые бомбежки сверху, — ад, ад в полном смысле слова, так, как из века в век представлял его человек.

Вот по этому озеру, еще ничего не зная о нем, мы должны были ехать с Колей, авантюрным путем, предложенным жидом и мерзавцем Розеном. Как хотелось Коле уехать. Как он крепко, крупными черными стежками сшил мне и себе мешки, — впрочем, он сшил их еще в сентябре, когда мы думали «отступить с Армией», а в те дни он укладывал их, — и уложил все мои рукописи, — $\frac{3}{4}$ из них

я, контролируя мешки, выбросила, а он — нет, так он ревниво и бережно любил мой бедный и бесплодный труд. Он уложил в особую коробочку катушки, нитки, иголки, — чего бы я и не догадалась сделать сама. Но авантюра, затеянная Розеном, сорвалась, потом вернулся с озера Юра. Он тонул в бомбовой воронке на этом озере, выплыл из нее, неск<олько> километров шел обледеневший, упал, стал умирать — замерзал, его подняли случайно проходившие здесь бойцы, подбили лед под коленями, и он опять шел, и жил только тем, чтоб равномерно переставлять ноги, и не упасть снова; он решил, что будет идти, сколько придется, потому что ему хотелось обязательно привести что-нибудь из пищи, чтоб устроить пирушку со мной на улице Кр<асных> Командиров.

Мы сидели на Троицкой, уже лишенной света и тепла, безмерно голодные, когда вдруг позвонил Юрка. Я даже ослабла сразу, услышав его голос, — Коля был уже совсем плох, и я испытывала к нему бешеное, болезненное раздражение, любя его нестерпимо, жалея его до воя и ненавидя его минутами до темноты в глазах. Мы собирались уйти к Молчановым, где был еще свет и дымная печурка, когда позвонил Юрка и сказал, что сейчас придет ко мне. «Ну, иди на Невский, — сказала я Коле, — я сейчас приду». — «Нет. Я подожду здесь, — сказал Коля. — Может быть, он принесет чего-нибудь пожрать». Меня свело от этих его слов. — «Да иди же, я принесу, одной мне будет удобнее попросить у него побольше». Но я сказала это только потому, что меня возмутило, что Коля рассчитывает на то, что Юрка принесет поесть, [и] а мне хотелось встретить Юру, чтоб броситься к нему, на минуту отдохнуть в его руках, — за эти дни, пока мы собирались, потом не поехали, потом опять собирались, и сидели без хлеба, т. к. сдали карточки, — я измучилась и ослабла бесконечно. И еще мне не хотелось, чтоб Юрка видел моего Колю в таком жалком виде, я боялась, что он догадается, что Коля рассчитывает на его хлеб. Но Коля все же дождался его, Юрка влетел-радостный, он глядел на меня влюбленно, а я была уже опухшая, страшная. Он говорил, что торопился обратно только для того, чтоб сказать нам, что по Ладоге ехать нельзя, что это верная смерть, что он придумал для нас другой путь, — через ВВС Балтфлота.

Потом я послала все-таки Колю вперед, и он пошел, и я подумала, что он теперь догадался, что мы живем с Юркой, — но я думала, — «ну, что ж, он должен же понять, что через несколько дней

я оставляю Юрку, и уеду с ним, и буду только для него, и ведь уезжаю я только из-за него, и он знает, что он — самый главный, что из-за него я бросаю все, а ведь он же видит, — какой хороший, красивый и великодушный человек Юра, он понимает же, что отказаться от него — не просто, он видит же, что Юрка — любит меня, — а вот хлопчет, чтоб я уехала от него с мужем, чтоб доехала сама и довезла его самым лучшим образом».

И мне казалось, что Коля понимает все это, и если догадался о моем романе с Юрой, то не сердится и не испытывает боли. Всё упрощалось и упрощалось тогда... Но, видимо, он все же страдал, хотя из-за еженочных больших и малых припадков совсем ослабел и затормозился...

Потом мы пришли к Молчановым, сварили суп из консервов и картошки, привезенной Юркой, и лепешки из его же муки... Коля лежал на постели инертный, с кровоподтеками на лице после припадка, мне было так стыдно за него перед Юркой, и получалось как-то так, что настоящие хозяева в этой комнате — я и Юрка, месивший лепешки, «настоящие» муж и жена — мы, а Коля взят нами под покровительство... Меня мучило это, и я все говорила себе, что ведь уезжаю-то я с Колей, значит, выбираю для жизни его, и в Архангельске скажу ему, что беременна (я думала, что беременна) и ребенок, — чей бы он ни был, — будет наш с Колей... «А Юра? А как же Юра? Ведь я и его люблю», — и я проваливалась куда-то во тьму, когда эта мысль обжигала меня, и отталкивала ее, — не стоит об этом думать, пока я в Ленинграде, я отдам ему все, что еще есть у меня... А дальше? А дальше не надо пока думать. Но путаницы не было. Я еще не верила, что я люблю Юру жизнью, он был для меня не сама жизнь еще, а нечто вроде подарка ее, украшения, отдыха, а жизнью был — Коля... Я, наверное, потому так подробно об этом пишу, что видела опять сон, что вернулся Коля и надо было выбирать, и я ужаснулась, что же мне теперь делать, теперь, когда и Юра стал жизнью и неотъемлемой частью души, и, проснувшись, убедившись, что это — сон, — почувствовала облегчение...

Вот за всё это бог меня и наказывает бесплодием, — и не простым, а изошренным, — сначала зачатие, и ношу, и надеюсь, а затем — гибель уже любименного ребенка...

...Третий час идет бешеный обстрел нашего района. Пока пишу это — диктор по радио уже 4 раза призывал людей прятаться,

и рвется где-то так близко, что даже в моей безопасной комнате, выходящей окном в колодец-двор, звенит стекло и трясется стенка...

23/XII-42 года.

Десять дней назад был выкидыш. Конечно, как и предполагала, плод был уже мертв, примерно, с месяц. Было все на этот раз очень жестоко — и морально, и физически, и я вернулась из Снегиревки очень подбитая, еще более неуверенная в своей судьбе и себе самой.

Дома открылось страшнейшее кровотечение, и, когда прибыла в Роддом, кровь катилась из меня дико, — отделился послед, а матка была еле открыта, поэтому врач вытаскивал из меня плод по частям, — ему дробили головку, отрезали ручки... Это Лялику-то, крестнику красных командиров, — о, боже мой... Это-то еще зачем?

А лежа в палате, я не могла отделаться от реального ощущения, что из больницы я пойду на Троицкую, что она — жива, что там у стола сидит в средней комнате Колька, который, когда я тоже с выкидышами лежала в этой же больнице, — писал мне такие суровые и нежные записки, и носил фигурные булки, и встречал меня с невыразимой любовью и тоской в глазах, и глаза его понемногу отходили, он «привыкал» ко мне и говорил: «Нет, раз ты дома — еще можно жить. Понимаешь, Берггольц, не могу я жить без тебя, не могу!...»

У меня смещалось прошлое и настоящее — за все время впервые с такой реальностью. И, вспоминаая, что Коли нет и на Троицкой уже тоже ничего нет, — и Лялика тоже нет, — я еще и еще раз убеждалась, что жизнь не получилась в целом, — ни вчера, ни сегодня, одна пустота, осыпь, и я неизвестно для чего из этого, постоянно осыпающегося бытия, выкарабкиваюсь — лишь затем, чтоб снова засыпало...

Юрочка мой был внимателен, встревожен, нежен, — и, господи, так многим, опять-таки, похож на Колю в той же ситуации.

Я люблю его верно и крепко, — Юру, мужа, друга, товарища. Но усталость — общая усталость от жизни — уже где-то близко, она готова обрушиться на меня, как длинная такая волна в море, затягивающая, уносящая в пучину...

Между тем, пока я лежала в больнице, мою кандидатуру выдвинули на Сталинскую премию.

«Соперники» — Тихонов (правда, его — по прозе), по поэзии — В. Инбер и А. Прокофьев. Вернее всего, премию дадут В. Инбер, — заслуженная поэтесса, орденосеица — печатается в Ц<ентральном> О<ргане>. Я отношусь спокойно, и ни капли не буду уязвлена, если не получу звания лауреата. Лучше всего — свое имя, а оно у меня есть. Мне нужно только оправдать его в дальнейшем — бескорыстным и честным трудом, дать людям нечто гораздо более значительное и правдивое, чем восхитившая их «Лен<инградская> поэма» и «Февр<альский> дневник».

Звание лауреата дало бы мне возможность лишь резче говорить со всякой сволочьей типа Лесючевских, стоящих между мною и народом. Из-за этого, конечно, стоит получить лауреатство.

Завтра хочу послать Маханову обещанные ему мною письма читателей. Подобрала их, перепечатав, — исключительный документ получается, просто потрясающий, — нет, каковы у нас все же люди! Несколько неловко, что я посылаю ему эти письма тогда, когда идет вопрос — кому дать премию, но думаю, что это не будет воспринято как «ход», — ведь я говорила ему об этом гораздо раньше, а затем — он, кажется, уже докладывал обо всем Жданову, и, видимо, кандидатура уже утверждена, т<ак> ч<то> эти письма в этом отношении не сыграют роли, — но пусть партчиновники знают, как относится ко мне народ, мне это нужно только для того, чтоб иметь больше право голоса, — в интересах читателя же... Мне лично не надо ни званий, ни блямб.

Завтра весь день буду работать над новогодней передачей. Хочу сделать ее очень трепетной и значительной. Вот — получатся ли только стихи? Надо, чтоб все получилось! Надо заключить свой год чем-то значительным для ленинградцев. Дают мне 28 минут, — это отлично, времени хватит. Завтра — весь день работаю.

26/ХІІ-42.

Ну, сейчас закончу свою передачу — и вздохну. Собственно — осталось труднейшее — изложить прозаическое вступление, чтоб не многословно было и содержательно. Стихи, задуманные по плану, сделала не все. Настоящим получилось «Новоселье», проходное «Слово в последний час» — прилично. Нет, кажется, передача будет ничего. Завтра пойду с ней к Маханову, — наши трусы уже «загодя» боятся

передачи... Интересно, санкционирует ее М<аханов> целиком или тоже оциплет? Ну, увидим. Она отобрала у меня порядочно сил. Если сейчас все выйдет, — кажется, она будет нужна людям...

Ну, пишу.

29/XII-42.

Ну, вот! Написала выступление, — хорошее, утвердила все у Маханова, в 20-05 должна была читать, — сейчас 18-40 — и вдруг ВТ. Тьфу! Как дернет она на 2 часа — вот и полетело мое выступление. А передача явно тронет сердца ленинградцев. Ах, какая досада... Ну, еще до передачи — больше часу и пока — тихо, м<ожет> б<ыть>, скоро будет отбой. А у меня, смешно, сердце чувствовало, — только час назад думала: «Стану читать, и помешает тревога...»

Еще очень волнуюсь — где Юра? Поехал в Рыбацкое с утра и до сих пор нет. Боже мой, не несчастье ли с ним... Прямо ничего из-за этого делать не могу, а надо написать автобиографию и перепечатать свои стихи — для комитета по сталинским премиям. (Юрка приехал, м<ожет> б<ыть>, и тревога через полчаса кончится.)

Муська прислала мне письма, — там очень много лестного для меня, — А. Фадеев написал обо мне много хорошего в своей книжке о Л<енингра>де, некто проф<ессор> Данилин пишет брошюру и статью, Златова тоже, все они крайне интересуются моей перепиской с фронтом, опять-таки для брошюры «Поэт и фронт», и т. д., и т. д. Господи, чего доброго — вдруг дадут премию, — потеха!

Но все это — суета. Надо взяться за поэму, к которой пока что остыла.

(В. Т. идет, глухо где-то бьют зенитки, видимо, придется читать завтра, если завтра... опять не будет ВТ.)

ГОД

1943

[3] 4 января 1943 года.

29/ХІІ отчитала свою передачу, потом было 2 тревоги, а ночью еще 5 — с бомбами, причем разбомбило Райку Мессер, но она уцелела. Резонанс на передачу — огромный. Звонки от каких-то старух, письма, устные отзывы и т. д. Я очень глупею, когда мне говорят такое хорошее, — не знаю просто, как реагировать на это. А меня так теперь хвалят, что просто не знаешь, куда глаза девать, — как, например, сегодня на альманахе в Союзе, где я испортила свое выступление очень скверным, незаконченным стишком о ленинградской музе.

Результат этого тот, что я осточертела себе до плача и стишки мои кажутся мне отвратными. Нет, не то, не то, — слишком много в них объяснений, рассуждений и т. п. Коля бы браковал, наверное. Проще надо, ближе к жизни, обычнее как-то... Изнутри.

А вообще — минутами — такое пресыщение всей этой тематикой, такая усталость от нее, что не знаешь, куда деться, в какую щель заползти, куда нырнуть... Но никуда не уйдешь!

Вновь ожило желание — дооборудовать дом на Троицкой, но стервец Нечаев не звонит, — трепался, видимо, что поможет с переездом. Уж затащить бы все сразу — и дело с концом. Дров много, можно было бы отопить все. Ну, не стервец Нечаев?! Вот и распинаясь за людей.

Прочла книгу Габе — «Тысячи падут». Очень страшно, и прекрасен конец, — «мне так хотелось встретить кого-то, чтоб помочь ему». Торжество человеческого над женским, видимо, все же реальность.

А немцев, наверное, все же необходимо уничтожить. Сводки о наших победах радуют, даже пьянят, — но как я боюсь, что вдруг у нас опять заест, — ведь «он» наверняка будет прикладывать все силы, чтоб вернуть себе инициативу. Ох, не обжулил бы он опять нас,

не зря бы опять лилась наша кровь! Уничтожение их под Сталинградом, успех всей этой грандиозной операции — решит войну в нашу пользу. Я дрожу за эту операцию так, что не разрешаю себе оптимистически настраиваться, — слишком оптимистически.

Что еще будет с Ленинградом? Так просто он отсюда не уйдет, — по крайней мере, постарается напакостить...

Нет, еще терпеть надо долго. Надо рассчитывать еще на неприятности, на разочарования и ужас, подобный летнему... Да, лучше рассчитывать на это, — пока. Лучше.

10/1-43.

Много дела; надо, во-1^м, ответить на многие письма родных и друзей — в первую очередь Мусе и Молчановым, затем Лидке Явич, Маргарите Довлатовой, Анфисе, кое-кому из читателей. Почему-то перестал писать Сережа, — боже мой, не убит ли?

Я хочу, чтоб он жил и был счастлив, у меня к нему хорошее и нежное чувство.

Надо написать стихи для Веры Инбер, для альманаха, представшей ко мне, как банный лист.

Надо написать передачу — ответ на письма, полученные на ту передачу мою — от 29/ХП-42. Может получиться интересно.

Надо написать передачу и стихи для раненых, — по их заявке.

Надо, наконец, сделать записи к сценарию, — горком ВЛКСМ поручил мне и Юрке написать сценарий о комсомольцах Л<енингра>да, и это может получиться, мы уже многое напридумывали.

Надо заняться туалетами и квартирой.

Больше всего меня волнует Муська. Бедная, бедная моя сестренка, очень она плохо живет, — сердце за нее болит. Как бы ее выволочь сюда, дать ей отдохнуть физически и морально?

Сведения из тыла вообще плохие, — худо там живут люди — и материально, и духовно даже.

О, истерзанная наша, уставшая, бедная страна!

А завтра — год с того дня, как я пришла на Песочную 35, в госпиталь и увидела Колю связанным и безумным. Я почему-то со страхом жду годовщины 29 января. Боже мой, боже мой....

15/1-43.

Наконец, вышла моя книжка. Наступает приятный момент — дарить и посылать ее друзьям и знакомым. Сегодня перечитывала ее, — нет, ничего книжечка, а есть отличные стихи, которые сама не могу читать без волнения, — «Февральский», отдельн<ые> части «Ленинградской», некоторые мелкие стихи.

Но надо обязательно попытаться написать что-то в десятки раз трепетнее и острее, из самых глубин души. Будет ли это следующая поэма, — уж не знаю, отошла я от нее, оторванная текучкой, бытом и т. д. Мне надо отказаться решительно ото всего, освободиться от всех, висящих над сознанием забот (дрова, окончательная перевозка на новую кв<артуру>), и, погрузившись только в атмосферу поэмы, — писать ее, писать слезами, кровью, гневом, счастьем.

Ужасно разбивает мой день стряпня (тьфу, — опять воет сирена! У нас теперь каждый день не менее 2 тревог, от 1,5 часа до 4–5 подряд! В.Т. сопровождаются обычно дикой зенитной стрельбой, но о бомбах последние неск<олько> дней не слышно. И опять я — одна, а Юрка на Петроградской, ох, как я не люблю во время ВТ сидеть одна, особенно без Юрки! Но пока — еще тихо. Говорят, что на Дубровке наши идут успешно, вчера в Д<оме> К<расной> А<рмии> говорили, что до соединения наших войск и войск за кольцом осталось 2 км. Ох, господи, — помоги, помоги нашим.)

Итак, — день разбивается стряпней, всякими другими делами, очень часто — выступлениями, от которых мне никак не отболтаться, и т. д. И я устаю к вечеру, — квелая после выкидыша стала до ужаса, — злюсь, меня одолевает трясучка, — т. к. набегают, налезает друг на друга ряд невыполненных обязательств, как сейчас — выступление-ответ на письма, стихи для Инбер (которые не выходят) и т. д.

А сегодня еще хотели сходить к Мусе Мухаринской (зенитки уже довольно близко — он прорывается), — выпить «бензоконьяку» и поболтать. Мне хочется и просто так подружиться с ней, — потому что она очень женщина и чем-то напоминает Маргошку Довлатову, — а у меня совсем нет подруги в Л<енингра>де, — Маруся М<ашкова?> все-таки как-то очень другая, чем я, — и во-2^я, Муся приятельница моей «предшественницы» по Юрке — Ирины, и мне хочется узнать о ней и Юрке — побольше. Болезненный, ревнивый интерес к Юркиному прошлому — не проходит во мне, — глупо, но факт.

К завтрашнему дню надо еще приготовить сводку о своей работе за время войны, — на представление к медали «За оборону Л<енингра>да» и — материал на Колю, к тому же. Страшно взволновал меня вчера тот факт, что Образцова, которую я встретила возле нашего дома (ходила туда за разной мелочью), — сказала, что жильцы «слезы» обсуждали, кого представить к медали, — и первым вспомнили Колю. Как это хорошо, как много. Я так и вижу милое его лицо, взволнованное и благодарное, — если б он узнал об этом. Да, да, надо получить его медаль и отдать ее Молчановым, — пусть этот скромный и неповторимый символ, орден защитника Ленинграда — хранится у них.

А я посвящу ему книжку стихов, которая будет составлена из лучших написанных и не написанных еще стихов о войне, о Ленинграде. О, сердце мое, — Коля мой...

Сейчас придет Юрка, пообедаем, и если пройдет тревога, пойдем к Мусе. Выступление-ответ почти готово, да надо бы заключить его стихами, а они — не идут, одолевает трясушка...

16/1-43.

Только что было блестящее сообщение об успешном наступлении наших войск в р<айо>не Воронежа и о том, что ликвидация окруженных под Сталинградом немцев близится к концу. Зачли тот ультиматум, кот<орый> был предъявлен им. Очень благородный ультиматум. Они отказались сдаться. Их теперь расстреливают из артиллерии, онидохнут от голода и замерзают от холода. Жестокая, острая радость охватывает меня — впервые она обожгла меня тогда, когда я услышала, что уничтожен немецкий гарнизон в Великих Луках. Так вам и надо. Жрете по 100 гр<аммов> хлеба и дохлую конину? Много! В январе у меня не было даже конины, чтоб спасти Колю. Так — за Колю! За его состарившееся в течение ночи прекрасное лицо. За его помутневший ясный разум. За его щеки в вороночку, за его последний, нежный и церемонный поцелуй моей руки. За Бурлакова, лежавшего с ним рядом. За то, что не знаю, где похоронен Коля. За все наши муки и льющуюся, все льющуюся кровь таких же, как Коля!

И ведь у нас — на Ленфронте — тоже наступают от Дубровки. Говорят, что Шлиссельбург блокирован, и сегодня на заре наши должны были соединиться с войсками за кольцом! Я, как и все мы, весь

день помнила сегодня об этом, — бегая за материалом на костюм, идя рекомендовать Райку М<ессер> в партию, идя оттуда обратно во время тревоги. Боже мой, — ясно, ясно, что наступает перелом!

Дай мне сил встретить его словом, нужным людям!

18 января 1943 года.

Сегодня последний час объявил, что блокада Ленинграда прорвана.

Взят Шлиссельбург, Синявино, Дубровка и т. д.

Блокада прорвана.

Николай, сердце мое, слышишь, слышишь?

Блокада прорвана.

21 января 1943 года — 23/1-43

Ну, вот — уже три дня, как блокада прорвана. Даже больше — пять дней, т. к., написав предыдущую строчку, я чем-то отвлеклась и дописываю только сейчас... Мы спрашиваем друг друга: «Ну, как вам нравится жить на Большой Земле?» Но живем мы все там же; 20/1 немцы вечером опять бомбили и обстреливали нас, — в «Лен<инградской> Правде» 45 человек раненых, — правда, стеклом, т. к. бомба упала в Фонтанку, на Старо-Невском — 6 бомб, на Кузнечном — дом пробило тяжелым снарядом.

Если б наша пропаганда и агитация была умной пропагандой и агитацией, — она воспользовалась бы этими фактами для того, чтоб поговорить с ленинградцами — серьезно и сердечно, чтоб не было у них разочарования, осадка, иллюзий, — которые неизбежно будут рушиться, — а крушение их ослабит дух людей.

Господи, какая это была чудесная ночь — с 18 на 19 января. Даже понимание того, что этот прорыв пока очень мало что меняет в нашем быту, что это даже не «прорыв блокады», а расширение подковы, — не умаляло радости, — трепетной, обессиливающей и почти больной, почти не поддающейся выражению. Все-таки нельзя недооценить значения соединения Волховского и Ленинградского фронтов, сокрушения немецкой оборонительной линии, — ведь они чорт знает что сделали вокруг Ленинграда, это в полном и буквальном смысле слова железобетонная стена. Кроме того, говорят, что сейчас наши производят перегруппировку сил и на днях начнут большое

наступление сразу всех или почти всех ленинградских армий, — 42-ая пойдет на соединение с ораниенбаумской группировкой, затем Велико-Лукский и Волховский фронт будут соединяться, — будут резать дороги, питающие наших «окружателей». И на юге — очень большие успехи. Но я не могу отделаться — не от мысли даже, — от ощущения, — невысказываемого, подспудного, тянущего сердце, — когда слышу о нашем наступлении, о взятых нами городах, — что все это кровь и кровь наших людей, что каждая наша победа означает новые и новые смерти — таких же, как Коля, — вернее, — это ОН еще и еще умирает... (В.Т., дико лупят самые близкие зенитки. Но Юра — рядом, топится печка, и мне еще так много надо записать, — ничего, пронесет... Бог ты мой, какой рев... Матушки, бомбищи рядом? Не пройти ли все же вниз?)... Но ведь я знаю — так и так будут умирать, — и отступая, и наступая. Кровь отступления еще печальней. Но, — как все это дико, как больно! Вот мы радовались вчера — «взят Сальск», — а ведь это значит, что это — тысячи новых вдов, — неутешных, заплативших за это взятие бездонными ранами сердца. Я радуюсь, что Сальск взят, а им это взятие — незаживляемое горе. Но, боже мой, иначе же нельзя! Разве не большее горе было, когда мы пятились и пятились, оставляя трупы на занятой немцами земле. Нет, я не о том, — дико было бы и помыслить, — один путь — наступать, но мысль о том, во что это обходится, — не то что отравляет радость этих сообщений, а особо окрашивает их. Радуюсь, я не могу забыть, что это — новая пролитая кровь людская. (Оно попритихло. Мне приятно, что я теперь почти совершенно и естественно не боюсь бомбежек.)

Сегодня звонила мне Нинка Р<езникова?> с «Электросилы», — оказывается, 14 января с 12 ч<асов> до 3 ч<асов> дня у нас там чорт знает что было, — такой обстрел, как ни разу за время войны не было, даже в октябре-ноябре 1941 года. Много убитых и тяжелораненых, — больше 50 человек, среди них — лучшие люди нашего завода... Меня это просто поразило, — я знала, знала (да и чего тут знать!), что немцы все так же близко от города, что в связи с прорывом они будут еще свирепее терзать нас, и все же это меня сильно обескуражило. Я уже не говорю о том, как жаль людишек. Нинка так трогательно сказала: «Вот жаль, что они не слышали даже о прорыве блокады».

Меня просят написать стихи для газеты Волховского фронта. Не знаю, выйдут ли они у меня, — но вот об обстреле нашего завода я им напишу, и об обстреле родильного дома, и о бомбежке 20/1-43,

и о том, что мы знаем, какой ценой дается им наше освобождение. Надо бы это сделать сегодня, но одолевает трясучка и грипп — очень мутная голова, и впервые после больницы пришли м<енструа>ц<ии> — такая тоска... Очень паршиво чувствую себя. Но это надо — для Волховцев, как бы ни трясло.

В ночь с 18<-го> на 19<-е> — выступала. Стихов, конечно, писать не могла — руки и те ходуном ходили. Сразу на машинку наступала — то, что хотелось сказать, с мыслью о Коле, и включила две цитаты из «Февральского», — и, к полному моему удивлению, — цензора и Широков пропустили, я пошла в студию, села к микрофону, и тут у меня стало так биться сердце от волнения, что я думала, что не дочитаю, — умру. Оно стучало почти в подбородок, я минутами как проваливалась, — и тогда я задыхалась, т. к. почти теряла сознание. Это было очень неприятно, и мгновениями, когда мне казалось, что умираю, — мне было стыдно, — тьфу, тут рядом люди слушают, знакомые, и другие слушают, а я вот сейчас ляпнусь, — подумаешь, какая впечатлительная особа. И это стеснение подхлестывало меня, — чтоб не упасть, и я читала от всего сердца, не жалея его, и заканчивая, — чуть-чуть не зарыдала. Потом говорили еще и еще.

Мне даже тут неудобно писать это, — но факт: на другой день все — от горкома до обычных граждан говорили об этом выступлении, мне звонили всякие люди, сегодня получила о нем неск<олько> читательских писем и даже стихов, — я поражена этим была, — такое событие, которое должно было затмить все, и вдруг всё же услышали, запомнили мои слова.

Но что действительно приятно — так это то, что нашу радиопередачу, которая шла до 5 ч<асов> утра, — слышал Волховский фронт, и Любка С<пектор>, которая 20/1 вернулась оттуда, захлебываясь, говорила мне: «Понимаешь, тебя слушали на КП, в землянке, [где] откуда генералы руководили сражениями, — и так все плакали, так восхищались, — что ты такое говорила? Ужасно всех растрогала!» Она встретилась там с Сережей (как хорошо, что он жив и здоров!), он просил ее передать мне привет. Интересно, — а он слышал? И, главное, — всех растрогал и разволновал этот самый мой тон, которого мне было стыдно, — то, что задыхалась и чуть не редела...

На другой день написала «Третье письмо на Каму», — ничего вышло, хотя с чисто поэтической точки зрения слишком сыро — три раза «О», два раза «минуты» — и т. д., и ужасно неприятно это.

С почетом напечатали в «Ленинградской Правде», а 20/1 читала по радио все «Три письма», — тоже некий фурор. Видимо, у имени уже появилась инерция, — это плохо. «Третье письмо» — почти не стихи же, ну, конечно, почти не стихи... Они волнуют, это верно, это о том, о чем думает — если не каждый, то очень и очень многие, но с точки зрения стихотворного мастерства — просто слабо. Одно оправдание, что думала, что надо будет выступить 19/1, надо было мчаться на «Треугольник», накануне не спала почти всю ночь, — а потом эти стихи так быстро каменеют, что уже трудно с ними что-либо сделать. (А тревога-то все идет — уже более 3 часов. Бомба, оказывается, упала где-то около Московского вокзала.) Пишу это и в перерывах обдумываю, как написать на Волховский. [1 сл. нрзб]

25/1-43.

Опять тревога — уже не помню, которая по счету. Тревоги с небольшими перерывами, и по вечерам и ночам — бомбы, и много. Вчера разворотило 7-этажный дом на Карла Либкнехта, были бомбы поблизости, и вот сейчас, минут 15 назад, когда началась тревога, недалеко прогрохотала бомба... О, тоска какая! Я с радостью констатирую, что порою даже не вызвать в себе чувства опасности, даже когда близко и ожесточенно бьют зенитки, но иногда из глубин организма вдруг подымается, вылезает тот, осенний страх — осени 41 года. Страх холодный и липкий, отдельный от сознания, тихо воющий внутри, переплетенный с глубокой грустью и злобной тоскою. Но, к счастью, он теперь не сплошь, а даже редок. И все же, видимо, эти бомбежки требуют большого внутреннего напряжения, а напрягается-то уставшее уже сознание, сильно сработавшийся организм... У меня такое понурое, такое унылое состояние... Видимо, это еще от 4-дневных изнурительных менструаций. Надо что-то придумать, чтоб перебить надвигающуюся общую усталость. Я устала от этого бардака с бомбами, от своей популярности, от непрерывного мыслительного процесса, от общего напряжения, — хотя и радостного, от нерабочей жизни.

Просто непонятно, куда девается время и как стремительно оно бежит, — сегодня весь день заклеивала и отправляла свои книжки — и только. Просто удивительно, как уходит время. Стишки мои мне надоели. Я хотела бы читать что-нибудь про помещицы усадьбы, про любовь, про осень, или медленно разбирать свои записки

о прошедшем, глядя в собственную жизнь с удивлением, с легкой грустью, но не жалея ее и не желая жить...

Напрасно напрягаю слух, —
Не слышу милого отбоя.
О, как устал мой бедный дух
От нелюдских звучаний боя...

29 января 1943 г.

Сегодня ровно год со дня смерти Николая.

Жила сегодня обычно, несмотря на траурную дату. Даже особым воспоминанием она не была отмечена. Вероятно — это потому, что вспоминаю и живу с ним всегда. Впрочем, унылая понурость сегодня, м<ожет> б<ыть>, больше, чем обычно. Просто никак не приняться за свой «ответ радиослушателям», хотя знаю, что может быть нужен людям... Но и люди мне что-то надоели, даже «на отдалении». Попробую написать завтра с утра. Стихи же хочется писать какие-то очень «свои», о себе. Вообще — лень мыслить. Думаем и записываем разное для сценария, но такая истома охватывает, когда представляю себе, сколько умственных усилий надо затратить на то, чтобы все эти разрозненные эпизоды свести в одно целое. Ужас! При таком размягчении духовной мускулатуры — просто не знаю — как. Нужен какой-то толчок, чтоб вновь хоть малым огнем теплиться, — эти дни только копчу.

Сегодня опять — хороший «Последний час». И под Воронежем — уничтожение фашистского «ежа». У нас же пока затишье, — говорят, что перегруппировываются для дальнейших активных действий. Пока же немец бомбит и обстреливает нас ежедневно. Третьего дня — страшный был обстрел — тяжелый снаряд угодил как раз по Мальцевскому рынку, — массу людей перебило. Огромная, — кажется — тонная комбинированная бомба развалила до основания 7-этажный дом на Большом, — и т. д. и т. д. Вот опять, хотя уже час ночи, — какая-то стрельба, — неужели начнется ВТ? И хотя именно сегодня мне очень все равно — все же паршиво. Ох, господи, дай силы — достойно дотянуть до конца войны, а там уж как-нибудь.

При этом я не делаю попыток — перебороть свою апатию, — ладно, м<ожет> б<ыть>, сама пройдет.. Очень дымно в душе, — как

в комнате у нас, когда дымит печурка, — все в налете копоти, едкий, выедающий дым глаза... Одна отрада сквозь этот дым — милые глаза Юрки.

...Но, — все мнится мне — я счастлив по ошибке. Видимо — так это и есть.

2/II-43.

Немцев под Сталинградом разбили. Только что — сообщение Информбюро о полном разгроме немцев под Сталинградом. Взято в плен 24 генерала, 2500 офицеров. Всего под Сталинградом было 330 000 немцев. Величественная победа наша.

О, почему Николай не слышит всего этого!

Теперь, оглядываясь назад, с гордостью видишь, сколько, все же, сил требовалось летом, чтоб верить, что вывернемся, не погибнем, чтоб не впасть в апатию и безысходную угрюмость. Ведь они шли и шли, особенно после прорыва в Ростове! Но помню, что даже тогда, когда они чуть-чуть задержались на Сталинграде, вдруг у меня блеснула, озарила мысль, почти безумная, — что вот, может быть, именно здесь-то, под Сталинградом, и начнется их конец.

И вот он явно начался.

Они сказали уже у себя о гибели 6-ой Армии, и Геринг вопил, что они будут «мстить за Сталинград». О, они еще покуражатся! Они еще могут на Л<енингра>д, как на «город с именем», обрушить чорт знает что и, нет сомнения, сделают это. Ну и хрен с ними! Все равно — наша возьмет... Какое-то веселое ожесточение охватило меня. Ничего! Я принимаю этих пилюль, отрегулирую жизнь, — ничего, я еще скажу что-нибудь нужное и настоящее.

Завтра обязательно сдам свой «ответ на письма», хотя он несколько запоздал, по-моему, — след<овательно>, его надо сделать предельно коротким...

6/II-43.

Прекрасный «Последний час»: занят Ейск, Батайск, Барвенково и т. д. Немцы на Кавказе отрезаны совершенно! Они, наверное, наученные горьким опытом Сталинграда, попытаются уйти, — нет-с, надо бы не пустить и изничтожить! Нет, здорово! Темп наступления увеличи-

вается, а не уменьшается. Неужели немцы дрогнули? Покажут 2–3 ближайших дня — как они с Ростовом... Да, пиковое положение у Адохи!

Вчера до 5 ч<асов> утра работали с Юрой над сценарием, и хотя очень иногда раздражались друг на друга, все же много настоящего напридумывали. Нет, определенно может получиться!

Завтра сяду выписывать либретто.

Сегодня выступала в 3 цехах ф<абри>ки Урицкого, — очень трогательно слушали и реагировали женщины, но, видимо, записи о моей популярности надо посвятить отдельное место и время, — безотносительно, к кому это относится — это очень интересно. И, как всегда, — чувство, что «недодала» людям, и хочется вынуть им из себя что-то драгоценное.

Очень хочется писать «свои» стихи — о любви и природе, — высоко-печальные, напоенные пронзительной, томящей любовью к жизни.

Но — мало одна, и очень загружает все другое.

Отдала шить костюм, — если не подведут — будет чудно. Надо послать папе с мамой, и, кажется, подвертывается еще один материал.

12/II-43

Каждый вечер — превосходные сводки. Вот и сегодня — взяли Краснодар, Ворошиловск, Красноармейскую, Шахты. Скоро 3 мес<яца>, как мы наступаем, и не видно, чтоб захлебывались, — наоборот. В Гитлерии верещат уже по-другому. Как говорится, — в добрый час! Чорт возьми, ведь один на один ведем борьбу!.. Нет, кажется, немцам наступают крышка! Они еще не дрогнули, но делишки у них худые. Идут уличные бои в Ростове и Луганске. Уничтожение их в Донбассе будет невосполнимой катастрофой для них! Бог ты мой, неужели доживем до конца войны? У нас ведь тоже на фронте кое-что движется, говорят, что вчера заняли Красный Бор, — это отменно.

Господи, только бы дотянуть. Как ни парадоксально, но теперь, когда «легчает», — в душе вдруг ослабляются какие-то перенапряженные построики, и нужны усилия, чтоб натягивать их. Работать все тяжелее, — нервозность мучит. Уж вечером, пока не дождешься «Последнего часа», — почти не можешь ни на чем сосредоточиться. Время раздергивается, на писание даже пустяка уходит столько сил, что после того, например, как «обговорим» с Юркой одну-две сцены в сценарии — чувствуем себя совершенно вымотанными физиче-

ски. Но надо сделать рывок и усилие — и написать в течение 2–3 дней либретто. Надо также заняться, наконец, оборудованием квартиры на Троицкой, — мы так давно там не были, что, м<ожет> б<ыть>, там уже кто-нибудь живет, или украли дрова, — очень этого боюсь. Ведь мы там даже не прописались и не описали этих выморочных вещей. М<ожет> б<ыть>, это и лучше — их вывезут оттуда... Нет, завтра с утра загляну туда. И — сволочь я — до сих пор не написала Колиных данных на представление его к медали, хотя Образцова мне не звонила... Да, надо отхватить хотя бы либретто и заняться бытом — так надоел этот «казенный дом» — спасу прямо нет. А как страшно повернулось общение с домом Гришки Гук<овского> — ведь старуха-то, которая там жила и просилась ко мне в няньки, — оказалась людоедкой! Я не успела записать об этом тогда, но два дня была этим просто раздавлена. Когда приходилось слышать о людоедах, было противно и ужасно, но это совсем другое, когда вдруг человек, с которым ты общался, — оказывается людоедом. С мистическим почти, потусторонним страхом вспоминаю я теперь свои встречи с нею, и как я сидела с ней в темном, вымершем доме среди книг 18 века, в разоренной, когда-то умной квартире человека, высоко ценившего Колю, учителя Юры. А она еще просилась ко мне в няньки, уже в это время будучи людоедом, преступив уже ту грань... Она съела своего племянника, трехлетнего мальчика... И противно, что ее зовут, как нашу маму, — Мария Тимофеевна...

14/II-43.

До удивления паскудно чувствую себя: жутко ломит поясницу, уж не гадость ли какая по дамской части, — немисливо болит...

Надо сегодня попробовать начать писать либретто, а то «застынет». Вчера безумно ругались с Юркой, обговаривая разные сцены, и я злилась иногда до настоящего бешенства, — это зря, он же у меня один. Но я совершенно не могу работать вдвоем, а Юрик, к тому же, — чудеснейшая, но очень теоретическая голова. То, от чего я путем длиннейшего опыта освободилась, — от стремления «показать через это — то-то» и т. д. — для него основной принцип. Сплошь и рядом существующая сама по себе сцена, лицо и т. д. для него лишь средство раскрытия идеи. А мне всегда очень трудно объяснять, — «как это будет», — тут некая, очень властная стыдливость, что ли, — рассказывать о том, что пока еще не написано.

Все же попробую сегодня войти в атмосферу либретто и начать писать его, — надо сознаться, что от усиленного осмысления я несколько остыла к нему. Да и вообще устала работать головой, — ах, как устала, с каким напряжением дается мне теперь всё, особенно публицистика...

Взят Ростов н/Дону, Луганск, Красн<ый> Сулин.

Они явно дрогнули! Раз взят Ростов, — они ДРОГНУЛИ!..

15/II-43.

14¹⁰ ч<асов>.

Шквальный огонь по району — уже почти сорок минут. Последние несколько минут — непрерывные, очень близкие взрывы, все время трясутся стены и стекла, — такое впечатление, что именно по нашему комитету бьют... Тьфу ты, дьявол, даже стол трясется, и как-то странно они бьют — по три взрыва зараз, и — ну, буквально без передыху, — пока пишу эти строки — не менее 30 взрывов. Пожалуйста, лучше уйти даже из моей «безопасной» комнаты, но надеюсь, что позвонит Юрка. Ой, вот этот, кажется, действительно в нас, даже дом колыхнуло. Ужасно боюсь за Юру, — ведь наверное, что по всему городу, а по Вас<ильевскому> о<стро>ву, где он, — они всегда особенно садят. Вчера, возвращаясь с Песочной, он попал под дикую шрапнель, немец поливал шрапнелью Петроградскую, и потом Юрка, придя домой, даже признался, что была минута, когда он растерялся. Ах ты, боже мой, только б он хотя бы сидел в здании, а то ведь он собирался идти на 13 линию, выяснить всё точно насчет этой людоедки и получить от квартального ключи от этого вымершего дома, — ведь надо же все-таки дотащить оттуда книги и, м<ожет> б<ыть>, какую-нибудь мебелишку. Страшно жаль, если людоедка продала тот чудесный круглый стол. (Господи, уже целых две минуты тихо!)

О, когда же, когда же мы будем наслаждаться временем, вкушать его, чувствовать!.. Ведь вот сейчас я не испытываю за себя ни капли страха, а жизни все равно нет, — что-то приостанавливается даже в душе во время этих ВТ и обстрелов (они перенесли огонь, взрывы — дальше), как будто перестаешь жить во времени, но это не счастливое его исчезновение, как в минуты любви и музыки, а тягостное, когда сознание все время помнит, что где-то есть жизнь, а это сейчас — не жизнь, а лишь ее тень.

А мне надо было сегодня получить папиросы в Союзе, выступить в Д.К. по заявкам ленингр<адского> гарнизона, сходить в мастерскую на примерку нового костюма (опять рядом снаряд!), который может быть чудесным, отправить письма родным, — должна была быть содержательная человеческая жизнь, а вот уже вместо этого я второй час сижу и констатирую падение снарядов. Нет, очень часто живешь и во время этого, объективно воцаряющегося небытия, но все же это не то, не подлинная жизнь. (Ага, вот наши самолеты пошли их глушить!)

Но больше снарядов меня смущает просто-таки ужасное самочувствие, — дикая боль в пояснице, слабость, нечто, похожее на тошноту, — уже который день, а сейчас так просто с сердцем плохо. В чем дело, чорт возьми? Беременность — навряд ли, я предохраняюсь, — неужели что-нибудь дамское? До чорта мешает это думать и жить!

Ну, кажется, все-таки попритихло, но теперь не звонит Заикин, у которого я в ДК должна выступать, и опять все остановилось — и поход в Д<ом> п<исателя> за папиросами, и мастерская. Тьфу!

Но как же Юрка, почему не позвонил? М<ожет> б<ыть>, у них тихо, — потому?

Вчера он долго и воодушевленно рассказывал мне о первой своей любви и первом разочаровании в женщинах и людях, о женщинах, которых любил, «воображая» их, о [1 сл. нрзб] мутной своей семейной жизни, — я слушала его жадно, стараясь узнать о нем как можно больше, любовалась оживленным, подвижным, очень красивым лицом его, и мне было щемяще-грустно: о, как я неправильно жила, как много ненужных, пошлых и порою даже грязных «встреч»... Но я любила Колю, любила, и эта любовь была и будет сиянием.

17/II-43 г.

Наши взяли Харьков! Обалдеть! Вот здорово-то, чорт возьми!

19/II-43.

Очень взволнована тем, что вчера или сегодня должны были быть м<енструа>ц<ии> и — нет, хотя очень болит спина. М<ожет> б<ыть>, от малокровия, — но неужели забеременела? Это совершенно некстати,

т. к. после такого малого перерыва — после выкидыша — явно не удержится. Значит — опять изнурение, позор, еще прыжок к преждевременной старости, а если жить — так уж как следует.

Впрочем, видимо, мне все же так и надо; вот до сих пор не снесла сведений в «слезу» на Колю — для медали. И сейчас для него времени не хватает, как и при жизни его! Сволочь я, сволочь... Видела его во сне, — и как всегда — не радостно, а в бреду, безумным, умирающим, почти оборотнем. Видела, будто бы такого его носила на руках, и пыталась спасти, и, видя, что он обречен, все же надеялась, и просила, чтоб меня заперли с ним в палате вдвоем, — тогда я его выхожу.

Боже мой, — неужели вправду он был у меня?

Надо бы много записать, — да зверски устала, и поздно.

25/II-43.

Ну, кажется, действительно пора приняться за свое здоровье, а то этак даже те ослепительные туалеты, которые я соорудила и сооружаю себе, — не помогут. М<енструа>ц<ии> пришли (21/II), но до того болит поясница, что чувствую себя совершенным инвалидом, неспособным не только мыслить, а просто двигаться. И общее состояние — сверхплохое: кружится голова, тошнит, подавленная психика, все кругом злит и раздражает до обморочного состояния...

Люди надоели несказанно. Они пристают ко мне, точно вступили в заговор. Я — в моде, и это — бич для меня. Я уже опротивела сама себе беспредельно. Я кажусь себе фальшивой, да это, видимо, так и есть, т. к. устаю от людей, но стесняюсь их обижать, отказывать им, и через силу внимательна к ним, а они, наверное, замечают это. При том лохмотьеобразном состоянии нервов, которое у меня имеется, — меня не хватает на работу.

Я чувствую, что уже штамуюсь, перепеваю сама себя (как в последнем стихе об Армии), надо помолчать, осмотреться на новом этапе, подумать, начать писать что-то очень-очень свое, а то иногда уже возникает ощущение исчерпанности темы и собственных сил, в то время как до Темы едва-едва коснулся.. А сценарий? Нет, полно, — 27/II — лекторий и Октябрьский райком, 2/III — завод № 7 — и конец моим разъездам и выступлениям! Скажусь больной, арестованной, уехавшей, — какой угодно, чтоб только писать — и — читать, я так давно не читала взапас, хорошего.

Прочла, правда, «Би хэппи», — Юрия Германа... Н-да... Он уже ничего настоящего не напишет в жизни. Конъюнктура его съела совсем. И ничего в этой вещи нет, ни одной мысли, и ничего не видно, кроме опытной и равнодушной руки ремесленника....

28/II-43.

Уже четыре дня нет «Последнего часа», — тревожно на душе. Немцы, видимо, очухались. Говорят, что они предприняли на юге целое контрнаступление; с другой стороны — говорят, что наши пытаются взять Синельниково и Днепропетровск.

На Ленфронте пока опять более или менее тихо, взяли Кр<асный> Бор и Поповку, и 8-ую ГЭС, но новых сведений нет.

Бока у меня болят дико, — наверное, это все же почки. Завтра звоню Скробанскому.

Из Москвы — очень лестное письмо от Ковальчик. Оказывается, ею разослана статья обо мне в союзные страны, просят переводы «Февральского» и «Ленинградской». Завтра надо сходить в Союз, поговорить кое с кем, кто может переводить. Все дело портит чудовищное самочувствие. Сценарий стоит. Она просит работать для Информбюро, но, пока не сделаем сценария, за это нельзя браться, тем более что еще есть «текучка», — надо сделать передачку к 8 марта, тем более что есть уже к ней неплохой стишок «Ленинградке», хотя с некоторыми строчками в нем — мне не справиться.

Очень болит спина, — но все же попробую хоть начать писать сценарий дальше, — чтоб хоть вернуться к нему. Правда, уже третий час ночи, и завтра не придется работать сплошь, придется пойти в Союз, к портнихе, вечером, б<ыть> м<ожет>, придет Яхонтов... А 2/III — опять выступление... бог мой, я уже скрываю от Юрки, что еду туда, но как откажешь, когда люди так пристают?

Образцова звонила третьего дня, я дала о Коле все сведения, Ардашников обещал, что из «На страже» дадут характеристику ему.

30/XII-44. Володя Ардашников погиб на фронте, кажется, в январе 44 г Паша Гюнберг, наш хороший друг, погиб на фронте в июне 44<-го>. Так Коля открыл это траурное шествие... Яша Бабушкин погиб в феврале 44 г

11/III-43 г.

Писала весь день «свои» стихи, было приятно и хорошо на душе, но уже вечер — и устала, и написанное кажется плохим и жалким, и опять болят бока (видимо, это все-таки почки, а к гинекологу никак не могу собраться!), и хочется отдохнуть, но надо пописать сценарий — пора его закончить, — уж очень много о нем наговорила, — и еще немного, и он, не родившись, надоеет.

Дни с последней записи провела до 9/III — как в тумане: бесконечно выступала — уж просто и не помню где, — и на з<аво>де № 7, и в Ленинском р<ай>/к<оме>, и в кусте своей улицы Рубинштейна, и в Союзе, и по радио, причем этой передачей недовольна, и читала плохо, хотя стихи «Ленинградке» — неплохие.

Меня всюду встречали очень тепло, часто — восторженно; меня не только знают, но и любят, [но] — это факт. Мне бесконечно дорого это, но устала я адски, и после 8^м только вчера к вечеру начала приходить в себя. А то было такое разбитое, выкачанное состояние, точно только что встала с постели. Не даром дается мне любовь ленинградцев, — ох, не даром!

Нет, теперь временно — ша! Уже абсолютно реальна опасность заштамповаться (вот в рупоре шипит Москва, — долго настраиваются — не будет ли «Последнего часа». Увы, пока что нет!..)

Подавленное состояние духа было еще и потому, что Информбюро сообщило то, что я и Юра знали по немецким сводкам — об оставлении ряда городов на Украине. Знали, но все думалось, что немцы врут — а тут вдруг — нет, — Лозовая, Павлоград, Красноград, Барвенково, Лисичанск, Красноармейское — у них опять. Сняли с Запада войска и бросили все на нас, — а «союзники» — смотрят, е. т. м.¹

Война еще надолго, надолго... Сколько еще терпения надо, выдержки, нервов — вот в чем главное! Воистину — война нервов... И то удивительно, — откуда их все еще у нас хватает? Уж так все устали, так все внутренне изранены, что, кажется — дальше некуда, а нет — живут, карабкаются, могут еще умиляться стихам и плакать от них, — откуда только силы...

Получила письмо от Сережи — милое. С удивлением и огорчением (уж надо писать правду) почувствовала, что если не скажу о нем Юрке — то будет беспокойно, вроде как обману. Почему? Отношения

¹ Сокращение грубого ругательства.

очень нежные, но ведь явно безлюбивые. Он расстался с женой и грустит по этому поводу. Он пишет, правда — «целую», — но ведь и Левка Левин мне так же пишет, и Коковкин. Возможно, я осталась в нем, — но — навряд, все же вся наша специфическая близость была очень примитивна. Да, мне по-женски приятно, что помнит, но — ну и что же? Мне будет приятно даже, если бы при встрече обнаружила, что влюблен, — но не более... При Коле — я и не подумала бы показывать письма (впрочем, Юрке я тоже его не показала, а лишь рассказала, опустив подробности — «целую» и просьбу «фото, чтоб была на нем красивая, как есть»), — при Коле факт этой переписки и на минуту не смутил бы меня, а вот теперь — смущает. Или я утратила свободу и, действительно, нахожусь теперь «при» Юре, а не сама по себе, как с Колей, уверенная в абсолютной непоколебимости моей и его любви, или я, действительно, была тогда не более чем обманщиком и вертихвосткой, ничего не ценящей? И то и другое — горько, и я была удручена этим открытием, и разговором с Юркой, упрекавшим меня в кокетстве с Яхонтовым, в том, что я кручу с Сережей, и т. д.

Ну, «последнего часа», видно, не будет... Обидно.

[Только что] Надо настроить себя на жизнь без непрерывного ожидания событий. Это тем более дёргает, что своя жизнь — уже не жизнь-ожидание, а просто в основном жизнь... Но очень трудная она. Навзрыд живу...

Ну, попробую взяться за сценарий...

15/III-43.

Прошлый раз писала — и ничего, но, как всегда, слишком быстро кончилось время, написала немного, потом стали ужинать с Юркой, было немножко вина, потом легли спать. Одна деталь в начале смутила меня, и мне уж было не восстановить полной одержимости, но все же было хорошо. Я очень похудела опять; слабые, очень маленькие груди мои смущают меня, мне кажется вдруг, что Юрка ласкает их «по обязанности», — это глупо. Ночные часы с ним хороши и жутковаты, я очень люблю его телом.

Пришло письмо от В<еры> К<етлинской> из Москвы, — видимо, сталинскую получит Инбер, а не я. Это, разумеется, будет по существу несправедливо — я пишу лучше, несравнимо больше дала городу, но ведь существом дела при этой «раздаче» никто не занимается. Меня

не огорчит то, что я останусь лишь при своем имени, но с досадой и заранее утомляясь думаю, что, м<ожет> б<ыть>, будут еще бóльшие трудности, чтоб пробиться к читателю, чем теперь, а мне, ей-богу, только этого и нужно, — и все остальное — для этого. Получила сегодня опять пару чудеснейших писем, — резонанс на «женское» выступление.

Люди преодолевают меня, и на 99% — неинтересные, пóлые, но «на отдалении» я продолжаю их любить и терзаться за них все больше. Невероятное страдание их все растет и растет, — одни эти письма, которые я получаю, — просто кровоточат... Стараюсь кое-кому помочь, чем могу, но ведь это капля в море слез, крови и ужаса.

А на улицах Харькова — бои. Жаль, если оставим Харьков. Очень трудно работать при такой шаткости мира. Часто хочется выпить, — ах, как хочется...

Ну, сейчас 7 часов, — рвану со сценарием, потом надо ответить кое-кому на письма — их очень много скопилось...

18/III-43.

Сознание у меня теперь — как болотная трясина: попадет туда какое-нибудь впечатление и барахтается, барахтается там, вязнет, тонет, — и ему оттуда не выбраться, и мне не отделаться, не освободить место для работы. Так, сегодня в башке вязнут и барахтаются впечатления от «общения» с управдомшей д.22, где не произвела до сих пор опись, а она явно уже получила взятку от некоего Каткова, который хотел вселиться в нашу квартиру и финтит дико, чуть ли не хамит. Въезжаем все же на шермака, она утверждает теперь, что квартира военная, — явится жилец, начнется суд и т. д.

Правда, когда-то еще все это может быть, но все же. И вот — чорта ли обо всем этом думать, — надо сценарий писать, а я не только думаю, но вроде как дрожу вся от какого-то нетерпения, до того у меня нервы развинтились. Нет, к чорту... Сейчас соберусь и буду писать — очень ответственная тема — вечер у Наташи, т. е. проспект Красных Командиров!

21/III-43.

Только что закончила сцену «на пр<оспекте> Красных Командиров», — кажется, при значительном сокращении (киновариант)

и проходке вторичной — получится. Боюсь, не втянул ли меня Юра здесь (как и в прочих местах) в слишком большую идейную пригонку? Он мыслит смело и ясно и сложно, но никак не в состоянии понять разницу между мыслью — и «мыслью изреченной». Он не то что совершенно чужд понимания методов «изречения», но часто дает образ впритык к мысли, а отсюда — теснота, несвобода...

У Юрки невероятно властный характер, крайне экспансивный при этом, эта властность активная, а мысль его ищущая — кого бы подчинить себе. С ним трудно, поэтому, работать, — часто меня злит и раздражает его давление на меня, бурное, шумное; в то же время я не могу не любоваться его истинно юношеским кипением, одержимостью, способностью стремительно воплотиться в придуманное лицо, неиссякающей его энергией. И уж, конечно, без него я, при современном моем неврастеничном состоянии, — никогда бы не подняла такую махину. Это, конечно, махина, и даже если будет неудача, то неудача крайне почетная, в тысячи раз превосходит удачу, ну чего бы? Да пока сравнить не с чем, не с балаганными же «Партизанами в степях Украины» сравнивать? Боюсь — не «переумнить» бы ее, картину. Впрочем, пока надо в черновике — прогнать все до конца, а потом уже выбирать, резать, детализировать и т. д. А если она пойдет, — то впереди еще столько хлопот и муки с дураками, подхалимами и тому подобной сволочью, что сегодняшние наши «муки творчества» покажутся нам отрадой. Да это так и есть!

Наши люди зажили уже своей жизнью, мы видим их, слышим, они действуют самостоятельно, они сами подсказывают нам, что делать, — а ведь ничего не было! Театр Таирова и Коонен прислал мне телеграмму, — просит у меня «будущую пьесу», — что ж, из этого сценария можно сделать лирическую пьесу — со стихами и песнями, ей-богу можно.

Ах, как хочется впитаться только в либретто — и поскорей, поскорей закончить его, чтоб увидеть, что получается? Не слишком ли громоздко? Ну, ничего, зато будет из чего выбирать.

Вчера опубликовали список сталинских лауреатов по лит<ерату>ре и искусству, — мне, конечно, премии не дали. Я отнеслась к этому с обрадовавшим меня самым равнодушным сарказмом. В первую минуту было неприятно, что вот теперь начнутся идиотские сочувствия, неловко как-то думалось о том, как будут разочарованы мои читатели, — «вот, мол, а ей не дали», — вроде как я их

подвела, — но первое быстро исчезло, и второе тоже почти. Но довольна, что не дали премии и Инбер, — не из зависти, а из ревности к Теме, — нехорошо, досадно и грустно было бы, если б ее эстетские, холодные стихи о Ленинграде стали популяризоваться, как наивысшая «правда о Л<енингра>де», тогда как там вовсе нет настоящей правды, а есть только эстетские зарисовки происходившего, которые, действительно, обманывают очень многих, *знаменитое* — «все это было». А это стало бы каноном, официозом, и настоящей правде о Л<енингра>де пробиться было бы еще труднее, чем сейчас.

Воображаю, как убита старуха! Поехала ведь в Москву явно для того, чтоб обеспечить премию и затем пожинать лавры. Слава тебе господи, что я была в стороне и на этот раз, и хорошо, что не причислена к лику святых от искусства — тьфу! Ей-богу, это не «Зелен виноград», а явно какое-то неприличие выходит, когда говорят — «дважды сталинский лауреат, орденоносец, член Верховного Совета Корнейчук», или — бедняга Ойстрах, какой у него теперь длинный титул, — просто срам...

Но не за себя лично — горько. Наша ничтожная отечественная литература много и самоотверженно, все-таки, трудилась за время войны и по сравнению с жалким довоенным уровнем — добила принципиальных побед. «Алексей Куликов» Горбатова, «Василий Теркин» и «Командир» Твардовского, «Землянка» и некоторые другие стихи Суркова — искренно радующие вещи, которыми я горжусь, как своими. И надо было это поднять, а не — пусть популярные, но задолго до войны написанные песни Исаковского. Всей поэмы Алигер не знаю, — но, видимо, все же слабо. Рыльский — старый дурак, навряд ли он написал что-либо путное, — так уж, как Украинцу, дали. Но уж лучше бы Первомайскому — у того были действит<ельно> хорошие, болевые стихи об Украине.

Ну, ладно, не важно. Искусство живет и растет не от премий, — это ясно...

22/III-43.

Наши объявили о сдаче Белгорода (Харьков оставлен давно) и о контрнаступлении немцев севернее Жиздры, — значит, на Калугу, на Москву.

Гитлер гонит к себе миллионы людей из Франции и др<угих> стран, от нас, своих же бросает на нас. Из кадровиков-рабочих

сформированы отдельные полки, которые дерутся бешено. Вот он, милый западный пролетариат. Предатели-«союзники» завязли в грязи в своей Африке, готовятся там к воен<ным> действиям зимой, а о втором фронте в Европе только языками чешут, в то время как Гитлер почти обнажил Европу от войск и техники. Все кинул на нас. Говорили о летнем наступлении, а начали его сейчас — значит, решил «кончать» с нами. Ну, ну... Дни настают крайне тяжелые. Последнего часа нет давно, — видимо, с нашим наступлением на Смоленск тоже заело. Здесь, у нас пробуют взять Тосно, но продвижение ничтожное, а жертв — уйма: он простреливает путь из Детского.

Не помню, третий или четвертый день — опять в городе непрерывные ночные тревоги с диким зенитным грохотом и бомбами. Вчера кучу накидал у Моск<овского> вокзала. Вот и сейчас ВТ, — время от времени зенитки. Держусь ничего, вчера все время работала. Сегодня работала тоже, но мало, — как-то поздно собралась, много говорили с Юркой и т. д.

Завтра с утра хлопоты с квартирой, причем все время жду подвоха от управдомши и очень нервничаю из-за этого. Да в условиях возобновившихся бомбежек... впрочем, их еще до чорта будет, что о них думать.

О, как не скор конец войны, сколько напряжения еще впереди. Неужели повторится прошлогоднее лето? С содроганием думаю о нем.

Боже, как быстро отдали мы ему опять столько городов! Ох, как я ненавижу «союзников», — если б в начале февраля они бы хоть демонстративно закопошились, — с Гитлером было бы покончено! Ненавижу их, торгашей проклятых, мертвецов, выеденные душонки, мещане!

Ну, будет времячко, мы им вмажем, — всем, и «пролетариату», и «буржуазии»!

5/IV-43.

Надо написать передачу для Юрки на 11<-е>, — для флота, просили из 85 дивизии написать песню о дивизии — и я пообещала, — все это перебивает работу над сценарием, от которого все время отрываешься. А надо буквально 3–4 дня запойной работы — и он будет закончен. Есть уже буквально потрясающие сцены — это бесспорно. А тут еще очень приятное письмо от Таирова, который просит написать для

них пьесу, услышав, что я пишу сценарий. (Опять ВТ и приближается самолет, зенитки бьют все ближе.) Мне очень хочется написать для них, тем более что забрезжили перспективы работы в Камерном — для Муськи! Ох, как мне хочется вывести ее в люди, родную мою!..

(Фу ты, как бьют, рядом, аж в уборную хочется.)

Но массу времени в эти дни съела квартира. Она оборудована, украшена, в ней уже можно жить, несмотря на отсутствие света. Скоро туда переедем... Ну, надо писать для Юрки...

9/IV-43.

Вчера Ленинград принял на себя свыше тысячи снарядов. 21 батарея вела огонь из 84 орудий с часу дня до 2 ч<асов> ночи. В 4 часа, идучи из Союза, я видела в небе клубы шрапнели, а через минут 20 начали обстреливать и наш р<айон>, и это длилось почти до 8 часов — четыре с половиной часа. Потом он перенес огонь на другие р<айоны>.

В это время я приколачивала гардины к окнам в новой квартире и трусилась отчаянно. Во время особенно сильного и непрерывного грохота и свиста были даже минуты «сорок первого года», — инстинктивное желание спрятаться, убежать куда-то. К тому же Юрка ходил к Московскому вокзалу, а он клал туда, и я обмирала от страха за него... Но все обошлось благополучно, даже без битых стекол. Фу, ну, до чего же осатанело, — до рыдания! Буквально — выть и рыдать хочется, и вновь возникают где-то глубоко в сознании — страхи, смятения, — особенно усиливающиеся из-за квартиры. — Уж очень будет жаль, если он все это передробит, — до воя.

Завтра празднуем там Юрин день рожденья, послезавтра переедем... Как-то страшно даже переходить от полуторагового «притыка» — на оседлость, — да и домишко такой маленький, ветхий, — чуть что — и развалится. Здесь, в колоссальной груде кирпичей я чувствовала себя в безопасности, по крайней мере во время обстрела, — а там... У, — там один снаряд сквозь всю квартиру пройдет.

Впрочем, — идиотские это мысли. Чего дрожать-то. Убьют — ну и наплевать, пожила. Да я и не то что смерти боюсь, а так чего-то, — хвостики дрожат.

Надо сейчас написать приветствие одной части, — (кстати — НКВД, — пикантно), затем 20<-го> буду у них выступать, говорят, там будет Кубаткин; видимо, бойцы встретят меня соответственно,

а потом, если будет возможно, я подкачусь к Куб<аткину> насчет отца, — все же 39<-ю> с него надо снять.

11/IV-43.

Должна была выступать сегодня по радио в Юркином — «краснофлотском журнале», — и журнал сняли — из-за моего выступления. Некто Рыбаков (замнач ПУБалта) начертал на нем странную резолюцию: «Разве мы принимали решение, чтоб она от нашего имени выступала», — начальники помельче запердели от страха, Захар Авербух начал говорить: «И верно, — кто такая Берггольц, — средненькая поэтесса, написавшая один удачный стишок, — и вдруг будет выступать от нашего имени (? я и не собиралась!) вместо передовой». Выступленьице мое было очень не ахти какое, но там было несколько сердечных и живых слов, — и это уже повергло чиновников пропаганды в страх и недоумение.

Все это не стоило бы занесения даже в мой жалкий дневник, если б за этим не стояло большее; вот мы закончим сценарий, — боже, боже, какая цепь — чиновников, трусов, бездельников, подхалимов должна его «санкционировать»! Он не пройдет, это ясно, особенно в том виде, как он есть. Но об этом лучше не думать, — надо закончить его со всей силой, а потом, сколь хватит сил, — побороться за него. По крайней мере, хоть будет чувство выполненного ТО-БОУ долга.

Эпизод с Авербухом — Рыбаковым напоминает еще и о том, что период моего «благополучия», «славы» и т. п. может смениться периодом глупого преследования со стороны чиновников, при котором надо будет «безмолвствовать»...

Поэт, не дорожи любовью народной,
Восторженных похвал пройдет минутный шум.
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

13/IV-54. Да вы, О<льга> Ф<едоровна>, пророчица! Через 10 лет, в 1952 г. Лен<инградский> обком КПСС собрался исключить меня из партии, дал строгаца. Ни за что, т. к. «пьянство» было только поводом, а главное было — моя популярность, то, что я была «бло-

кадная богородица»... Терзали дико, навязали врагов народа, стихи, кот<орые> помогли Л<енингра>ду обороняться, названы были «упадническими».

16/IV-43.

Бомбежка. Непрерывно, интенсивно и долго уже бьют зенитки; два-три раза слышала, как шмякались бомбы, — с кракающим, каким-то тупо пердящим звуком. («Пердёжка»...) Плохо, что Юра в «Смене». Я абсолютно не боюсь (вот опять бомба), но чуть-чуть хожу ходуном, — физически, не от страха, а от нервного напряжения. Что поделать, все-таки, видимо, от него совершенно — «вчистую», — не избавиться (Очень сильно бомбит сегодня — все время подрагивает пол. Наверное, бомбит Вас<ильевский> ост<ро>в и Петроградскую.)

Войне же не видно конца. На фронтах пока что стабильно; как-то пройдет лето? Если он нас не потеснит хоть сколько-нибудь существенно, — мы выиграем войну в 43 году.

19/IV-43.

Опять тревога, зенитки все ближе. А Юрка с Яшкой пошли в «Смену». Ох, до чего же, все-таки, нудная жизнь. Но нуднее бомбежек и свирепых обстрелов — все же быт. Никак не можем перебраться на ту квартиру, — упорно не включают свет (хотя обещали), не включают телефон, и, в довершение всего, вдруг дико стал дымить камелек, доставивший мне столько чистейшей, — но теперь уже видно — кратковременной радости... Опять ходили кланяться к рвачу-печнику, завтра буду дожидаться его с нетерпением, чтоб починил, и в это же самое время завтра придет омерзительная наша управдомша с какой-то дурой из жилуправления, — проверять имущество некоей Винниковой, *которая якобы жила в моей кварт<ире>*, которая неизвестно где, и опись которого составлена управдомом, арестованным за то, что он жил на 20 карточек, причем опись никем не принята и составлена без свидетелей, — типично ленинградский бред. *Будут теперь приставать ко мне — где эти вещи, если их растащили...*

Ну, да разве можно столько сил душевных уделять этой муре, — просто я на себя удивляюсь, — ведь я уже репетирую завтрашний разговор с ними и заранее трясусь от предчувствия всей

этой тупой истории... Господи, ведь вот же немец, над головой гудит и зенитки хлещут, — сейчас, — а я совершенно ничего, а тут какими-то идиотскими проверками мучусь. Дурак-человек, все-таки. Надо просто отключаться от этих вещей, как будто бы их не существует, а при столкновении с ними опять-таки жить на выключенном отношении...

Ведь огромное дело — во что бы то ни стало закончить в самые ближайшие дни сценарий. Вчера читали куски Славке Июльскому, — нет, здорово, здорово выходит, надо скорей кончать, тем более что разговоров я о нем распустила до неприличия много, — уж и в самом деле это глупо получилось... Надо было все держать в тайне, а я не удержалась — и то тому, то другому рассказала... Трепло-то чортово.

Нет, хотя завтра рано вставать, а все равно сегодня возьму и напишу хотя бы сцену с хлебозаводом, до смерти Никиты. Завтра — опять выступать. Слава вокруг меня бушует и тоже начинает приобретать характер неприличного ажиотажа. Но я написала стихи «Весна в Ленинграде», — нет, этими стихами я не обманула их.

...Половина второго ночи уже, а Юрки все нет, почему-то задерживается в «Смене». Яшку безобразно, гнусно выгнали из Радиокomiteта, без всяких мотивировок и оснований, просто вдруг решили, что не ко двору. (О, как осточертели зенитки! Бьют, бьют — почти без перерыва с 10 часов вечера, сколько же можно, и легонько трясется дом... а может, это просто сердце у меня в край стола стучит?) Тощая я стала и хлипкая — до смешного, до жалости, до коренного изменения наружности, все мои новые туалеты висят на мне, как на вешалке, мой элегантнейший черный костюм выглядит так, точно я влезла в дедушкин фрак. Как доконаем сценарий — сразу примусь за здоровьишко, а если попадем в Москву — обязательно пройду курс какого-нибудь нервного лечения.

Итак, Яшку обосрали с ног до головы ни за что ни про что, — а как человек старался, как не щадил живота, сколько хорошего и нужного всему измученному Ленинграду соорудил этот маленький умный жидёнок! Ну, что ж, он имел в виду также и свою карьеру, — так ведь дай бог, чтоб люди ТАК карьеру делали, не лизожопством, не угодничеством, а настоящей работой.

Сволочи, сволочи все эти Лесючевские, да и Маханов тоже хорош гусь! Одной рукой меценатствует и разрешает, другой благо-

словляет холуев Лесючевских. Мне просто идти к нему теперь противно. Запретил хорошую пьесу Штейна, — т. е. пьеска-то очень так себе, — но люди бы на ней посмеялись, отошли бы душами, — чего же еще надо? Все о нашем воспитании пекутся, вяленые воблы!

Юрки все нет, зенитки притихли. Бомб, по-моему, в нашем квадрате не было. Я теперь как-то инстинктом чувствую — характер тревоги, ее размеры, где ложатся бомбы и т. д. Дикая жизнь!

20/IV-43.

Конечно, тревога с зенитной пальбой. О, я так хочу домой! К Коле, на Троицкую, 7. Вот в этой тетрадке у меня его два портрета, — он на них страшный, совсем не красивый, у него лицо эпилептика и приговоренного. Я была сегодня на юбилее части п/п Зубанова, — оказалось, что это «цирики», конвойные войска. М<ожет> б<ыть>, среди них был и тот «малютка», — мужик с опухшим от пьянства лицом, что водил нас в тюрьме гулять. Секретарь ихнего комсомола спрашивал меня: «Скажите, Макогоненко ваш муж, а как же вы пишете в поэме, что Ваш муж умер?» И я, уже выпивши, стала говорить ИМ — всё: как я любила Колю, как мы не хотели бежать из Л<енингра>да, как я мучусь этим теперь. Я выпила там и опьянела, но, кажется, лишнего не болтала все же; потом меня повезли домой, но т. к. у меня сильно кружилась голова, то я попросила завести меня к Мариным, там у них часа два поспала, потом пришла домой, Юра очень ворчал и ворчит, — ведь сегодня год со дня моего возвращения в Л<енингра>д, и, когда он начал ворчать, я вдруг с ужасом поняла, что — нет, нет, я не дома. Коленька бы и слова не сказал, — ну, что в самом деле, чего такого я сделала — ну, выпила маленечко, так что? А этот — сердится — «сегодня наш день», — так разве не все дни впереди — «наши»? разве перед нами не вся жизнь? И я заплакала от отчаяния, потому что захотела домой, к Коле. Нет, не у себя я живу! За что же меня ругают? Я хочу домой! И, внутренне произнеся это, я вспомнила, как твердила эту же фразу, когда мне вдруг показалось, что Коля разлюбил меня из-за В<иктора> Б<еспамятнова>, и я уехала в Детское, к больной Ирочке, и в отчаянии твердила — «я хочу домой», — т. к. он был моим единственным домом. Вот, теперь его нет у меня. Я люблю Юру нежно и исступленно, непрестанно ревную его, но зачем, зачем он бранит меня за такие мелочи?..

Я ХОЧУ ДОМОЙ, Я ХОЧУ ДОМОЙ.
Тревога, о, если б меня убило сегодня!!

22/IV-43 г.

Куча мелких и мельчайших неприятностей: в дом 22 по нашей просьбе дали свет, а в нашей квартире его нету. Теперь все надо начинать чуть ли не с начала! Телефон до сих пор не включили, — я звонила вчера по этому поводу Шаркову, — он так наорал на меня, что я заплакала: «Мы и так сделали вам исключение, вы не входите в номенклатуру», — и вот теперь неизвестно, когда что будет. Что ж, пожалуй, он высказал истину — я не вхожу в номенклатуру! Простые люди любят меня, с моими стихами солдаты и командиры идут в бой, носят их в полевых сумках, с «Ленинградской поэмой» шли на прорыв блокады, — люди встают со смертного одра, как Е. А. Барто, потому что их заставляют жить мои стихи, — и т. д., и т. д. без конца — но я не вхожу в номенклатуру. Артисты БДТ пригласили меня сегодня на спектакль, и Полицеймако говорил, что «будем играть только для вас», и вчера, в восстанавливающихся цехах «Электросилы», под обстрелом люди, рабочие слушали меня со слезами на глазах, люди, мужественно и беззаветно восстанавливающие завод под боком у врага, — но я не вхожу в номенклатуру...

В этом — суть моего положения.

Я — не орденосец, не лауреат, не член Верховного Совета, и т. п. — и, следовательно, не принадлежу к касте советской парт<ийной> бюрократии. Я вовсе и не рвусь быть «вхожей в номенклатуру», но это создает ряд физических неудобств, вот в чем дело. Хамством Шаркова и т. д. можно и должно пренебречь, — что спрашивать с дикарей-чиновников?

29/IV-43.

Вот уж третий день, как живем на новой своей квартире. Пока все — почти сказочно: горит свет, — а т. к. еще не засечен счетчик, то жжем, как в мирное время, включен телефон, исправлены и отлично ведут себя печки, хорошо работает радио.

Вчера с 7 с половиной веч<ера> до 10½ ч<асов> был дикий обстрел, в нас не попало, хотя рвалось очень близко, — и на Аничковом,

и на Невском, и два снаряда в Радиокomiteт! Это первые два снаряда за все время войны.

Все более нетерпеливую грусть наводят на меня эти обстрелы: «меня» преследуют неотвязно, гонятся за мной, нащупывают по городу, словно бы сужают круг вокруг меня, не дают жить.

От этого, что ли, или от всего комплекса — я сильно сдала последние дни: непрерывная головная (и мучительная) боль, плохо с сердцем, — как в одиночке № 9 или января 42 года... Очень ослабла, как-то обмякла физически, состояние угнетенное, трясучее... Еще это потому, что обступают воспоминания, — Ирочкины и Колины книги и маленькие их вещи, а их самих нет, я упустила их, теперь преследуют, чтоб доконать меня, — совсем нет жизни. В этой трясучке, грусти и тумане — только милое, родное, сильно похудевшее лицо Юрки. Он как бы вобрал в себя все то невозвратимое, драгоценное, что утрачено мною, но оно от этого не вернулось ко мне, а только что разве рядом со мною, не совсем мне принадлежащее... И я не имею права, поэтому, радоваться ему и наслаждаться им. А еще вчера он одел черную Колину косоворотку, — ох, боже мой...

Но уж хотя бы башка-то не болела и не трепыхалось сердце, чтоб закончить сценарий, — даже если он вовсе не увидит света, — это будет поистине замечательная вещь!

30/IV-43

Веселый день тридцатого апреля...

С 23 ч<асов> дали эстрадный концерт, — очень умно. Играет радио, светло, чисто и нарядно в комнатах, я нарядная и красивая, несмотря на худобу, — праздник, праздник, — завтра Первое мая. Хорошо, что сегодня не болит голова и спокойнее сердце, и день был тихий, казавшийся особо тихим после безумия позавчерашнего обстрела, когда он вел огонь по всему городу с 7 часов до часу ночи! (В нашем р<айоне> до 22½ ч<асов>, а потом по Петроградской и др. — до часу.)

Что ж, сегодня живем! А завтра — завтра нету!

Какую дикую дыру сделал снаряд в Радио, — я смотрела! Разворотило всю ту комнатку, где на 50-ой хронике мы с Юркой впервые открыли друг друга. Еще удар по мне, по дороговому, и как бы (опять!) по Коле, хотя тогда что было с Юрой — было как бы «против

него»... Но тогда даже то, что было не с ним, — было для него. Все хорошее, что я обирала с других, — было для него, в наш общий духовный фонд.

Сейчас напишу сценарий (мощная — по-настоящему мощная!) сцена — смерти Никиты (Коли!!) — почему-то кажется мне бледной. Потом выпьем с Юрой, потом... О, сегодня мы живем, и да будут к нам милостивы все боги, и лары, и домовые...

1 мая 1943 г.

Какой печальный, печальный день сегодня. Только вечером, у Мариных, после 3–4 рюмок водки и «ирландской», плохо сыгранной Людмилой, я отошла чуть-чуть, а весь день непрерывно кипело в душе рыдание, обида, боль, оскорбление и самая лютая, до помрачения — ненависть.

Что же это делается, господи!

Утром проснулись от бешеного огня; минуты три постреляет — залпами, подряд, дико, — и бросит. Проходит час тишины — и снова дикий, разбойничий огонь, все гудит и трясется. Опять полчаса тихо — и опять грохот. И бил — по Невскому, нарочно — намеренно по людям. Бил по центру, по углу Садовой и Невского. Очень много там погибло людей сегодня. И вот странно, — около 5 ч<асов> Юрка пошел в Радио — побриться, было тихо, только что объявили конец артобстрела. И вдруг — грохот, звон, свист и вой фугасных. Я кинулась к телефону, — звонку парикмахерше, — она отвечает, пять минут назад ушел. А я вот чувствую, что это около него где-то сейчас легли. Подобралась, затихла, продолжаю стряпать в уютнейшей нашей квартире и жду, — ну, жив или нет, — это было около него.

Но скоро пришел, — с дрожащими губами, потрясенный: да, — именно около него, на углу Садовой и Невского, — он стоял и читал газету, а в это время немец дал три снаряда сразу — и вокруг так и повалились люди. Рядом с ним, — и масса людей, как подрезанные.

Сколько же горя принесли эти три минуты, сколько зияний открылось. О, печаль, печаль! О, что МНЕ, МНЕ сделать, чтоб прекратить все это?

2/V-43.

Вот и в кухне нашей появились сегодня в первый раз жилые запахи: спекли с Линкой пирогов из первомайской выдачи. Пироги вышли хорошие, хотя я пекла их первый раз в жизни.

Сирена — воздушная тревога. А я только что хотела написать, что сегодняшней день прошел тихо... Ну, как-то переживем мы бомбежку на нашей новой квартире. А, как будет, — так и будет! Вот уже где-то зенитки...

А я хотела сегодня часиков до 3–4 рвануть как следует со сценарием, — дело явно идет к концу, теперь закончить его на подъеме духа и мобилизации ума (своих!), — и будет самая приятная часть работы — творческая редакция, массаж вещи, когда все морщины, — длинноты, неточности, перегрузки и т. д. — должны быть убраны, мускулатура вещи окрепнет, станут яснее «светики» в ее взгляде... Я очень хочу поскорее приступить к этой части работы.

Потом вообще надо бы много больше и подробнее записывать о себе, о жизни, о Л<енингра>де.

В Л<енингра>де очень устали люди; вчера дворничиха, указывая на обвал около канализационного колодца, горестно сказала: «Вот это у нас само провалилось. Земля-то какая в Ленинграде стала, — уставшая, сама по себе проваливается...»

Да, земля уже войны не носит, не хочет ничего на себе держать.

Копятся внутри «свои» стихи, хочется писать их и поэму. Только не торопиться, не идти на поводу собственного успеха, не поддаваться на то, что люди ждут нового. Если б к годовщине войны удалось написать поэму или хоть основные ее куски, — хорошо было бы.

Передачу о весне, пожалуй, тоже ничего, если как следует продумать.

Ряд прочитанных вещей — «Жди меня» — пьеса Симонова, «Синий платочек» Катаева — огорчил и ужаснул. Ну, как не совестно людям! Судя по цитатам — еще ужаснее «Москвичка» Гусева и пьеса Вирты. Сволочи зажравшиеся! Нехорошо, нехорошо...

В среду хотим устроить у себя первую «среду», — новоселье. Позвать писателей кое-кого, — чтоб почитал С<ашка> Штейн или Азаров. Выпить, поговорить... Конечно, они все не ахти какие люди, но где ж взять других, да в конце концов — не подлецы, ну и ладно. И во многих — немало хорошего, Успенский — умница, Ивич — остер и неглуп, да что там говорить, — люди, ну и все...

Хорошо, если б наш дом был — стал бы — местом, где люди хорошели бы хоть ненадолго, говорили бы правду, размышляли бы, загорались бы чем-то хорошим...

Просились ко мне Полицеймако и другие актеры, — надо будет обязательно позвать. Потом устроим читку своего сценария для узкого круга... ну, это обдумаем. Главное, — кончить сценарий. Сейчас буду его двигать.

4/V-43

Ночь. Тревога. Дико колотят зенитки, — самолет крутится где-то над нашим квадратом; кажется, были уже бомбы... Весь день (сравнительно тихий, только артиллерия ворчала) — был у нас Яшка, и я не смогла работать, хотя мы неплохо поговорили, и я была рада ему, да и жаль его ужасно.

Но день для работы пропал, а сейчас села — думала, часа 2–3 поработаю, — а вот эта идиотская пальба. Кроме того, очень деконцентрировалась от работы тем, что придумали, как расставить мебель в Юриной комнате, разрешив — главное — установку вымороченного рояля. Ему и столу нашли место (что долго не могли придумать) — и вдруг комната так и заиграла. В ней будет необыкновенно хорошо, когда расставим книги, поднимем диван, — а уж когда приобретем и повесим там гардины и ковер, — так и совсем красота будет.

Обживание и дооборудование жилища — необычайно увлекает меня, — что почти смешно!

6/V-43.

Я одна в своей чудесной, идеально прибранной квартире. Как у меня хорошо, чисто, уютно; передают какую-то хорошую, печальную, задумчивую музыку, а в это время где-то — не очень близко пока — грохают и грохают снаряды, — немцы тупо, как-то сегодня не спеша — ломают город, и он, звеня, обваливается.

А какой чудесный весенний день сегодня в этом бедном, избиваемом городе. Тонкая, похожая на дым северная зелень, — как в ранней молодости, как в отрочестве, первая, нежная, мерцающая листва, еще чистая и блестящая вода каналов и рек, и несмотря

на невероятно обшарпанный, оббитый, ослепленный вид — несравненно красивый Ленинград под голубым, легким небом. А воздух какой благодный, господи! И уже пахнет нагретым камнем и свежей водой...

Все долбят и долбят где-то этот весенний, золотистый, печальный город... Вот провыл снаряд...

Вчера у меня было новоселье и первая «среда». Был Вишневский — весь в орденах и медалях, с Масей, Сашка Штейн, Крон, Азаров, Ивич, Успенский, декоративно-бородатый Морщихин с Асей.

Сашка Штейн читал свой сценарий «Балтика, вперед», потом выпили, закусили, поговорили, потом, когда все ушли, остались Успенский и Ивич и еще поговорили (они оба немножечко ухаживают за мною). Кажется, — все было хорошо, и гости говорили разные комплименты, а у нас с Юрой осталось тяжелое ощущение какой-то общей неискренности всего произошедшего, точно все (и мы в том числе) — играли в этот прием и, играя, лгали. Сама не могу понять, в чем дело, — конкретно? Видимо — и в том, что сценарий Штейна плох, а мы и другие не сказали этого ему.

И самое главное, что сценарий плох не сам по себе, а ровно настолько же, насколько плоха вся наша литература, — создающая подобия, а не жизнь. У А<лександра> Штейна соблюдено всё, — и не возразить ничего против: моряки, — они любят корабль, море, они храбро дерутся, — они совершают блистательные поступки, защищая Ленинград, — все, всё правда, а в то же время так, как у него, — липа.

Видимо, дело в том, что он — ремесленник, что он мало талантлив, что он озабочен главным образом личным благополучием — физическим и моральным, — вот, перепросился в Москву, изображая это дело как то, что «меня вызывают, а я — человек военный», — а на самом деле, конечно, надоело в Ленинграде... Но считает нужным ханжить, т. к. боится «общественного мнения»... Возражать против его сценария — это возражать против всей нашей сегодняшней официозной литературы, или почти всей, а это — бессмысленно. Кто же будет в союзниках нового лит<ературного> «направления»? Вишневский, который сам так пишет и живет? Успенский — очень умный и образованный человек, — который не находит в себе гражданского мужества, чтоб сказать, что «повесть» Мирошниченко — дрянь и предательство искусства, а правит ее? Поэтому мы с Юрой тоже насчет сценария помычали, кое-что покритиковали,

и никто не говорил «по-гамбургски». М<ожет> б<ыть>, для гамбургского счета нужен более узкий круг людей? Или он вообще невозможен? Ведь «Зоя» Алигер то же самое, что и сашкин сценарий, а ее поднимают, дали ей сталинскую...

Насколько наш сценарий резко, полярно отличен от штейновского! М<ожет> б<ыть>, это и неудача, но неудача в пределах искусства и правды, — и то уж хорошо.

Сегодня довольно хорошая сводка, — приятно.

Ну, попробую сегодня в основном дописать сценарий, а то уж просто жизни нет, пока его не закончу.

12 часов> ночи.

Уже час, как тревога. Минут 40 назад была такая дикая пальба и даже бомбы, что мы с Юркой спустились вниз и постояли около дома. Небо прозрачное, щемяще пахнет листвой, теми клейкими весенними листочками, из-за которых стоит жить.

3 часа.

Минут сорок назад кончилась тревога, теперь — редкие, но оглушительные залпы. Кажется, днем стреляли наши, — м<ожет> б<ыть>, и теперь они. Пишу сценарий. Идет. Сегодня обязательно хочу написать «штурмовую ночь»... Худа я и страшна стала, волосы так и валяются, — но, ничего не поделаешь, надо уж закончить, — потом встану на капитальный ремонт.

16 мая 43 г.

Сегодня день моего рожденья, — 33 года... Много!

Весь день сегодня разбирали Юркину комнату, книги; когда там будут гардины, ковер, картины, — там будет очень хорошо, — пока же несколько пустынно. Вчера были у Веры Инбер. Когда шли к ней — была тревога, слышали, как свистели, — вернее, как-то шипели бомбы, у Марсова поля попали как раз в ту минуту, когда там начала шпарить батарея, — я боялась, что попадет по балде осколком, — но ничего, обошлось. У Инбер было довольно мило. Пили.

Шли домой белой ночью, по очень пустынному чудесному городу, опять выла тревога, но тихая. Около Аничкова я вспомнила, как в самые первые дни войны я грузила здесь дрова и хватала самые тяжелые чурки, т. к. подсознательно казалось, что от этого зависит ход войны, и хотелось вложить все, всю силу, сколько имеешь.

Придя домой, побранились с Юрой, т. к. я в подпитии всегда безумно ревную его к тому, что у него «до меня» было.

В прошл<ую> среду читали сценарий. Был почти «тот» разговор, нас очень много ругали, — профессионально мы и в этом и через это много почерпнули, хотя все же не почували литераторы, ЧТО мы подняли. Было говорено много глупостей, но факт, — надо резко сократить диалоги и вообще весь сценарий, некоторые сцены совсем убрать, — в общем, интенсивной работы еще дней на пять, затем можно отдавать в перепечатку и отлаиваться от «руководства» в ЦК ВЛКСМ.

Кроме того — надо сдать книжку, хотя, боюсь, с ней запрет в связи с новыми установками в лен<инградской> пропаганде, — «никакого нытья», «Л<енингра>д — основной узел обороны всей страны»... Ох, еще достанется нам, несчастным...

Но зато «наши гавнюшки» союзники разбили в Африке немчуру совсем — это неплохо! Гитлер предлагал нам мир, — мы отказались. Нет, уже нельзя мира. Реку крови не перейти, протекшую между нами и ими...

Очень устала. Лягу и почитаю. Вот еще морока, — стали выключать свет после 12, — это просто гроб, на кой он мне ляд, если ночью с ним нельзя сидеть... Надо вообще заняться устройством бытовых дел, здоровьем и т. д.

18/IV¹-43 г.

В нашей Квартире — ослепительно; полотер натер полы. Полы тоже надо писать с большой буквы. Я уже чувствую зависимость от Нашей Квартиры, — потешно! О, великий возврат к человеческому образу существования.

20/IV²-43 г.

Получили вызов в Москву — со сценарием.

Надо спешно переделать и завершить его, и зачитать в горкоме ВЛКСМ, чего, говоря по правде, делать не хочется, — по идиотским

¹ Вероятно, ошибка в датировке. Правильно: 18 мая.

² Вероятно, ошибка в датировке. Правильно: 20 мая.

и, конечно, апломбированным замечаниям Ришки Вас. я уж чувствую, что это будет.. Начнут говорить: «Где рулон с руководством» и т. п. плешь. Но дело не в этом, — дело в том, чтоб отредактировать. А у меня — опять трясучка: надо Верочке Инб<ер> написать для Информбюро, выступление — согласовать с Махановым... Но сегодня буду писать сценарий.

30/XII-1945¹

...И хотя каждый дневник глуп, однокбок, а мой — тем более, — безумно раскаиваюсь, что не хватило выдержки вести его до конца войны, да и всю войну вела так примитивно, что порой сама ужасаюсь убожеству..

Тогда завертелись с поездкой в Москву, там торчали и работали 2 с пол<овиной> месяца, потом приехали, кинулись писать пьесу, потом, в 44<-м> столько было работы на радио, что вела какие-то обрывочные записи кое-где, на листочках, на блокнотах... Нет, я не переоцениваю и этой тетради, а все же это не Верочка Инбер с ее поистине жутким «Ленинградским дневником». И название-то у меня украла, стерва.

Что было главного за эти годы, с тех пор как оборвался дневник: конечно, победа... а впрочем, это идиотизм, пытаться на последней странице изложить трагические события этих лет! Не гожусь я в мемуаристы и «Былого и Дум» мне не написать. Слишком много о личном... Да и личное — однокбоко, все больше о горьком. Это потому, что дневник для меня — некая отдушина от плохого душевного состояния... Не могла писать только в пору особого горя, — после смерти Коли моего, вернее, с Москвы в 42 году..

Боль о нем не утихла. Траур мой не кончится никогда, хотя люблю Юру всей жизнью.

Эх, все равно ничего не запишешь... м<ожет> б<ыть>, это оттого, что все уходит теперь в стихи, а на последней поэме «Твой путь», где сказала все², надорвалась так, что, наверное, даже стихов писать не буду больше, — по крайней мере — долго...

¹ «1945» подчеркнуто дважды.

² Слово «все» подчеркнуто дважды.

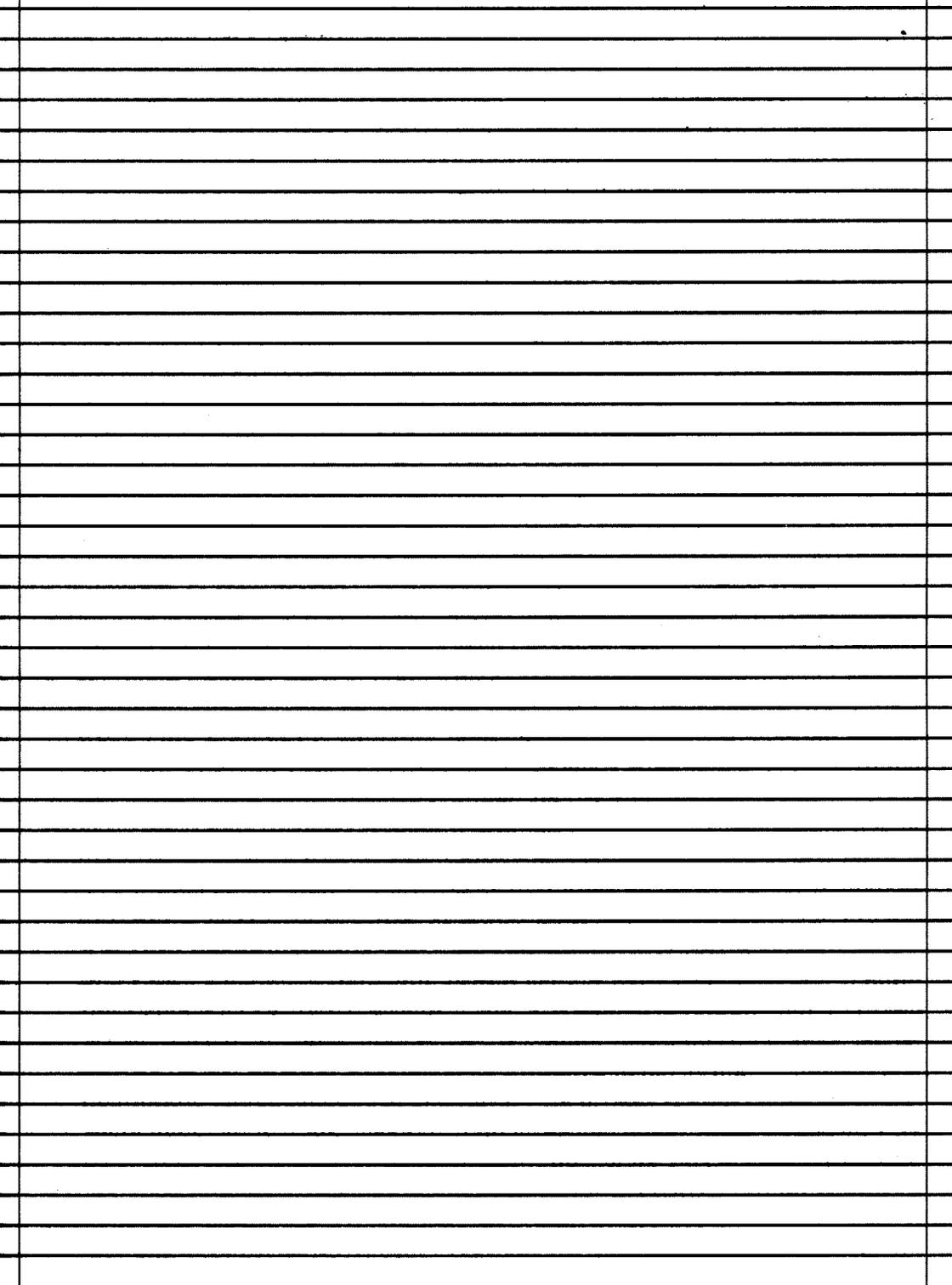
Перечитывала это сегодня потому, что вчера пришла из больницы — вновь был выкидыш, на этот раз — сын... Так это меня надорвало нравственно, что не высказать... Нет, не будет мне истинного человеческого счастья... Не будет. И вот сижу, ковыряюсь в столе, читаю эти бедные, ничтожные записи, — точно вся жизнь уже в далеком прошлом... А у меня — истинная слава, любящий красивый муж... А жизни — вроде и нет.. Странно, что так же копалась в столе и перечитывала все — в день Ирочкиной смерти, в 37<-м>, после тюрьмы в 39<-м>... М<ожет> б<ыть>, в этом — единственное оправдание этих скудных записей...

*Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельный пожар...*

Небезынтересно приписать, что тот сценарий был нами переделан в пьесу и в этом месяце в Кам<ерном> театре была премьера. Вкладываю афишу¹.

<Дневниковая запись между словами «после тюрьмы» и «в 39» прерывается страницей сделанных ранее рабочих набросков Г. П. Макогоненко под заголовком «500 боевых вылетов», продолжающихся на следующих трех страницах тетради.>

¹ Афиша, о которой идет речь, утрачена.



1944

—

1945

Умирая, Ирочка моя сказала:

— Опустите знамена.

И Коля, умирая, произнес:

— Склоните стяги.

Оба они умерли под знаменами.

А я недостойно их живу...¹

Наверно, утратила эту возможность..

15/IV-44.

Вот сейчас пообедаем и буду писать для Ц<ентрального> О<ргана> и Информбюро, — все равно, хоть через силу начну, — нельзя больше так, — просто до разложения обленилась.

Эта чертова неопределенность с беременностью создает такое деморализующее чувство временности, с которым просто не совладать! И время плывет, и кажется, что ничего не стоит начинать, т. к. «уж все равно»... А жить, между тем, надо было бы так, как будто будущего нет или как будто бы ты от него не зависишь.

О, несчастное невольничье сознание, [—] дважды невольничье: во-1-ых, потому, что не может существовать без учета будущего, во-2^х, что неспособно пользоваться возможностью досуга и лени, — а все чувствует себя обязанным к работе, к чему-то...

Однако после обеда буду работать; буду писать статью для Ц<ентрального> О<ргана>, — а потом по ней большое выступление

¹ Со слов «Умирая, Ирочка» до слов «их живу...» — записи на отдельном листе, предворяющем запись от 15 апреля 1944 г.

на Ленинград, которое хорошо было бы заключить «Вторым разговором с соседкой».

16/IV-44.

Нет, — прострация просто непреодолима. Попробую сегодня, — после обеда взять в постель машинку и работать...

Удивлена просто, почему мне не заставить себя взяться за работу? Или тут инстинктивная боязнь неудобного положения — надо сидеть, изгибаться, — а все это противопоказано мне! Или твердая внутренняя убежденность в том, что это не нужно не только редакции, но даже людям, — убежденность, возникшая в результате собственной усталости от всё тех же слов и круга чувств.

И усталость эта поддерживается рядом внешних обстоятельств, говорящих о «тщете усилий», — в первую очередь — усилий ЧЕСТНЫХ. Вот, — огромное награждение в кино, за «выпуск высокохудожественных картин во время войны». Большого позора, чем наша военная кинематография, — ни одна область искусства не имеет, разве что живопись. Одна картина гаже, бездушной, пошлее и подхалимнее другой. (Не видела только «Радугу».) Однако — признано, что кино «сделало огромные успехи». ТЬФУ!!!

17/IV-44.

Статью для Ц<ентрального> О<ргана> пишу, и она «идет». Надо только тщательно выверить, чтоб не было в ней тихоновского, — т. е. благонадежно-благополучнейшего тона. Статья получается длинная, я, правда, намечу абзацы и сокращения, но в таком виде она, наверное, все равно не пойдет. Но все равно, напишу на совесть.

23/IV-44.

Ну, кажется, дело с моей беременностью принимает уже определенные очертания; кажется, грудь опадает. Ощупываю ее вчера и сегодня каждые десять минут и, кажется, не ошибаюсь.

Правда, 21/IV смотрел меня <Богатов?>, нашел, что размеры матки соответствуют 18–19 неделям, и сказал, что что-нибудь окончательное можно будет сказать недели через 2–3, значит, этак к чис-

ду 13-14 мая. Ну, что ж, пролежу еще, раз уж второй месяц лежу... А 16/V — мне будет 34 года... Бог ты мой, жизнь-то кончается. Неужели нужно проститься с мечтой о своих детях? Еще страшно об этом думать, но, наверное, скоро озлоблюсь и примирюсь...

Вчера сводка: «На фронтах ничего существенного». Немцы, видимо, впились в землю на наших границах. О нашем движении в Румынии — ни звука. Уж не выставили ли нас с наших государственных границ и из Румынии? Финляндия опять отклонила наши более чем умеренные предложения о мире. Суки какие! Союзнички в Италии «действуют патрулями», — а на самом деле явно саботируют войну, — и обсуждают послевоенные проблемы. По всем данным — Черноморский флот действует плохо, — около Севастополя мы встали, — они вывозят своих и держат нас. О Севастополе — ни звука уже неск

ько
 дней. Конечно, глупо и несерьезно ныть из-за всего этого, — война есть война, и нечего думать, что мы так, без задержек, дотопаем до Берлина.

Но когда же, когда же кончится война?! Вот и победы, и движение, — а конца войне — не видать!..

Погиб молодой и способный поэт — Георгий Суворов. От Яшки Бабушкина вернулись письма и нет никаких вестей.

5/V-44.

Странное общее возбуждение владеет мною сегодня весь день: точно жду чего-то необычайного, нетерпеливо, с оттенком страха и веселости.

И физически тоже оно во мне весь день, и специфично... Все же, видимо, дело именно в том, что любовница душит во мне мать, хотя с 20/III я веду абсолютно ангельский образ жизни...

Просто — залежалась баба. И, конечно, — почти нет сомнений уже, — что и на этот раз беременность не состоялась. Живот не растет, а грудь еще довольно тугая потому, наверное, что вообще пополнила от безделья, Юриного ухода и ангельского чина...

Ну, — если не состоялась, то поскорее бы уж конец совсем, чтоб жить хоть какой-нибудь жизнью, а то это лежанье, эта неопределенность только изводят, и не могу, не могу я совладать с чувством временности, чтоб работать...

Нет, сегодняшняя нервозность просто поражает меня... Неужели это оттого, что выпила много крепкого кофе?

Я еще не могу принудить себя писать очерки для Информбюро, потому что мне хочется писать обо всем ТОЛЬКО ВСЕРЬЕЗ, — и обязательно «из себя» и «о себе». Все виденное и пережитое требует воплощения, рождения, а писать об этом «очерково», приблизительно — все равно что имитировать роды или заниматься онанизмом — духовно. Нет, ни за что больше не буду давать отягощающих сознание обязательств. Зачем мне это, в самом деле? Радеть о приобретении имени мне не для чего — оно у меня есть, и имя живое, а не инерционное, как у каких-либо «заслуженных». Нарботано «в запас» — и сценарий, и пьеса, и вот уже есть гранки новой книжки стихов, которая должна выйти в Л<енингра>де... (Почему-то страшно долго, сволочи паршивые, не выпускают книжки в Москве, хотя обещали дать тираж еще в конце марта.) Нет, нет, совершенно не для чего надрываться, — особенно, когда нет нужды в оперативной работе, — такой, как в 41 году. А за границей этими очеркишками имени себе не сделаешь, — или надо продаться одной газете или изд<ательст>ву и писать туда постоянно, часто и т. д. Пожалуй, это можно было бы сделать, — Информбюро предлагало именно это, — но вот опять связались со сценарием «Седьмая симфония», — надо сделать его хоть как-нибудь... А т. к. — так, как Сашка Штейн, мы сделать все равно ничего не сможем, значит — предстоит большой, изнурительный и — бесплодный — труд, т. к. мы будем писать сценарий, который явно опять не устроит бюрократов...

Юра хорошо придумал, — в центр поставить Яшу Бабушкина. (Он погиб, — это ясно, и я этого до сих пор ни понять, ни принять не могу, ни простить всем нам, допустившим эту бессмысленную гибель!..)

Но я еще никого из героев пока «не вижу», кроме Нагорнюка. Надо много думать, вызывать к жизни людей, воплощать все это, — а — лень! Очень неохота думать обо всем этом...

Мне хочется поскорее встать, — а минутами совершенно бурные желания: движения, ходьбы по улицам, нарядиться хочется, кокетничать с Юркой, безумствовать с ним ночью (только он — герой моих бесстыдных галлюцинаций), работать серьезно и с охотой за письменным столом, чтоб рядом дымилась чашка хорошего кофе, чтоб голова была ясная и слово ложилось на бумагу охотно, прочно и горячо.

Да, я томлюсь по жизни ясной, бескоробной и деятельной. Надоели мне мои несчастья. Я хочу даже быть самодовольной, т. е.

довольной собой, тем, что я делаю, тем, как выгляжу, тем, как любит меня Юра.

Как только встану, — заведу с ним форменный весенний роман. Да, да, довольно тоски и горя!

О, я хочу безумно жить.
 Все сущее — увековечить,
 Безличное — вочеловечить,
 Несбывшееся — воплотить.

Пусть душит жизни сон тяжелый,
 Пусть задыхаюсь в этом сне: <Далее обрыв текста.>

10/VI-44.

Роддом им<ени> Видемана.

Пишу из больницы, где нахожусь последние часы, в 3 ч<аса> придет за мною Юрка, и поедem домой. Ох, как это хорошо — домой. Устала я здесь. Я ото всего и, боюсь, уже окончательно устала. Чего мне стоило — не рыдать после скоблежки. Но тут стояли вокруг меня «поклонники таланта», и ведь я — «мужественная женщина», я все это приняла во внимание, и от этого мне стало еще горше и обидней: зачем, зачем я все время, почти всю жизнь держу себя в таких тисках, непреодолимых уже естественно? То Колю было жалко — не жаловалась ему ни на что, теперь Юру, то «поклонников» стыдно, то просто не высказаться, — и вот только наедине с самой собой, вспомнив все это, извиваешься физически от боли и муки. Нет, я не реноме свое поддерживаю, — не знаю сама, что держит, что не дает заголосить по-бабьи. Ни заголосить, ни отчаяться, — и — ни возрадоваться.

Правда, в эти дни трепетно была влюблена в Юрку, ревновала его к прошлому, глупо подозревала даже, не могла признаться — не находила таких слов, как тогда, когда бывает еще ничего не сказано.

Он любит меня. Мне хочется, чтоб он любил меня неистово. Я боюсь, что эти мои выкидыши оттолкнут его от меня; боюсь, что вдруг ощутит он тот холодный сумрак и связанность, которые живут во мне. Я побледнела, появились морщины, опала грудь... Да, — скоро он покинет меня. Не сегодня и не завтра, но скоро. Странно, что по отношению к Николаю у меня никогда не было этой тревоги.

Пока я лежала тут, — совершилось важное событие: вторжение союзников в Европу, — начало второго фронта.

Пока у них дела идут неплохо. Дай им бог, дай бог! Ощущение великих событий — не покидает: м<ожет> б<ыть>, мы стоим накануне страшнейших событий; м<ожет> б<ыть>, близок мир. Вчера же и сегодня с рассвета была слышна наша канонада, — говорят, мы двинулись на финнов. Ох, если бы поменьше нашей крови, — это ведь будет не просто — раздавить этот упрямый, злой и железный народишко. Юрка занят сейчас на записи и монтаже замечательнейшего радиофильма к трехлетию войны, т<ак> ч<то> пока его на передовые не пошлют, — но ведь потом — сразу... И кроме того, — 1/VII у него истекает срок брони. Ох, нет, нет уж, я больше не могу и не хочу ничего отдавать этой мясорубке, или уж — тогда, пожалуйста, одновременно с моей жизнью. Да так это и будет, если чтó...

Вчера на ночь приняла люминал (Колино многолетнее лекарство!), чтоб уснуть и не торопиться всю ночь домой, — и сегодня из-за этого, наверное, какое-то подавленное, угрюмое состояние, и голова тяжелая... А каково-то было ему 8 лет подряд жить под этим глушителем! Вспомню его и — буквально — сердце обольется кровью...

Ах, скорей бы домой, на Троицкую, скорей бы к Юрке. М<ожет> б<ыть>, все-таки поплачу у него на волосатой его груди — кроме же него все равно никого и ничего нет, — ни Иры, ни Коли, ни Майки, ни друзей желанных и любимых, — никого же, никого, кроме него. Только не обмани меня, не обмани. Я буду тебе верная, я еще недолго покрасуюсь и наряжусь для тебя, я утешу тебя еще чем-нибудь, — увы, наверное, не ребенком все же.

Хотя профессор и врачи дают мне надежду и говорят, что после отдыха и лечения, при соответствующем затем режиме и препаратах, — он может быть, — я все меньше в это верю. Нет уж, видно не судьба.

Значит, мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.

*

Здесь я была окружена небывалым вниманием и почетом со стороны медперсонала и восторженностью больных бабенок, —

все читатели... В самом деле, — у меня слава! Это — льстит, но больше смущает и досадует. Тяжело все время быть как на виду, как бы на постаменте, а потому, в сущности, очень одинокой.

А горя и беды бабьего в связи с войной, — невпроворот, невпролаз, — ужас. По этой больнице видно, — сколько воспалительных процессов, опущений матки и пр. — из-за мужских профессий, торфа, оборонных работ, недоедания, голода. НЕХОРОШО.

Сын человеческий, сын человеческий, что ты сделал со своей женщиной, — со своей матерью, любовницей, женой и сестрой? Что ты сделал с лучшим украшением и милейшей радостью мира — женским телом, женской силой? Не будет тебе ни прощенья, ни радости за все это. Что сделал — то и получишь! Ох, тяжкий мир. —

Ночь темна
Боль страшна...

Записи о Ленинграде

— Аще забуду тебя, Иерусалиме....¹

Н<иколаю>

Но для меня — везде твоя могила,
И всюду — воскресение твое.

*

И воскресение твое — во всем.

Дек<абрь> 1944.

*

Записать дальше:

1) О Стэфе Юровской («Ты слишком ровно режешь», — сказал ей муж, когда она делила их дневной паек хлеба. Потом он умер. Она жила на его карточку до конца месяца, — он лежал дома и кормил ее, он отдавал ей свой долг. Она ела.)

¹ Фрагмент со слова «Записи» до слова «Иерусалиме» — записи на авантитуле дневниковой тетради. На первой странице — прорези для фотографии.

2) Поминки, — всё о Зинаиде Епифановне Карякиной; чудо с ложкой сахара, и с летчиком (из новогодней передачи моей), и «грех», и игра на рояле и чтение «Февральского дневника», и затем поминки по мужу, — три блюда из ремней, и женщины, возившие ее мужа на кладбище и обманувшие — утешившие — ее, будто бы «предали тело земле».

3) О женщине, которая привела к себе военного, пришедшего в Ленинград и не нашедшего здесь своей семьи. Их жило трое вдов, одна молодая пришла выпившая (шофер), и две сказали — «она у нас за мужика», и тихонько рассмеялись.

Та, что привела, самая пожилая, обихаживала его; потом, когда уложила, — наклонилась к нему, спросила — *«Товарищ, может вы обижаетесь, что я с вами не легла?. Я лягу, вы скажите...»* Он рассказывал

Записать это подробно, когда будет Время.

«Три вдовы». Рассказ красноармейца. Он говорил: «И так мне ее жалко после этого вопроса стало, так жалко, что [почти] рванул я ее к себе и... ну, понимаете...»

«Антон Иваныч сердится». Всю блокаду эти три слова провисели на фанерных дощечках, на столбах электрофонарей уличных: реклама кинокартины.

Шел по Невскому, и когда бы ни поднимал глаза, — всегда видел предупреждение, напоминание, упрек: *«— А Антон Иваныч сердится...»* Антон Иваныч — как бог, как Справедливость, как человек. Добрый, не всё понимающий. Была блокада, трупы в городе — Антон Иваныч сердился. Обстрелы, рваные тела, их складывали под фонарями. Антон Иваныч сердился, — ах, как он сердился на нас, — печально сердился за все это безобразие. Надписи кричали об этом. Совестно иногда становилось перед ним. Хочется сказать, — «Антон Иваныч, дорогой Антон Иваныч, не сердитесь на нас. Мы не очень виноваты. Мы все-таки хорошие. Мы как-нибудь придем в себя...»

*

И Юра, Юра, Юра...

*

Мне захотелось увидеть сестру.

Мечтала я о ней с такой любовью,

Что стало ясно мне:
на днях — умру:
То кровь тоскует по родимой
крови.

Я к твоему пригвождена
виденью,
Я вмерзла в твой блокадный
вечный *нетающий* лед.

*

И одичавшие твои сады.

*

Я до конца изведала тогда
Озноб терзающего вдохновенья
И пустоту свершенного труда

Рассказала Ахматова 26/VIII-44.

Пришел солдат в свою деревню; их часть ее освободила. Он в 41<-м> здесь жену оставил.

Как пришел, — сразу спросил первых, кого увидел: — Как жена?

— У, — говорят, — лучше тебе домой не ходить: она — фрицёвка.

— Я услышал это, взял автомат и пошел в свой дом. (Рассказывает солдат.) — Прихожу — с автоматом — кричу: — Эй, хозяйка, дома?! Ее нет. Я вхожу в хату. И вдруг из-под стола вылезает мальчонка, в руках такое деревянное ружьецо, не более трех лет мальчонке, — он ружьецо на меня наставил, кричит: — Рус, здавайс...

(Это победителю-то, в своем доме, от любимой — до преступления любимой жены, которую собирался убить!)

— А у нас с женой детей не было. Я догадался.

Хорошенький такой мальчик, беленькой-беленькой... (Я его на руки взял, говорю:

— Будешь со мной жить?

— А ты сдашьсья?

— Нет.

— Тогда буду...)

(Это — конечно, легенда)

И взял я его себе, усыновил....

Весь *«Девяносто третий год»* Гюго не стоит этого рассказа...

*

Рыдать над этим рассказом-легендой, — только рыдать...

Солдатки о своих мужьях:

— Провожали —

— в теплые губы целовали,

А в холодные

— уже не поцелуем...

*

Так и писать стихи: обо всем. О России, и — о себе.

Штрафники́ идут

в разведку боем,

Напролом, на минные поля.

Кто-нибудь вернется награжденный,

Остальные¹ лягут здесь, тихий,

Омывая *Искушая* кровью забубенной

Все свои великие грехи...

История Ахматовой и Гаршина.

*

Тема:

— Чужих мужей вернейшая подруга

И многих неутешная вдова.

Ахматова

Очень военная тема.

*

А мне лицо любви приснится,

Как бедное твое лицо,

¹ Слева от слова «остальные» поставлена «галочка».

В психиатрической больнице
Меж хлебом бредивших бойцов...

Война:

«Долго жила душа моя с ненавидящими мир»....

Credo Псалом 136 (Давида)

Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня десница моя,
прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если
не поставлю Иерусалима во главе веселия моего

декабрь 1944 г

(Эпиграф к новой

поэме «Воскресение»)

[<1 сл. нрзб>]

Ленинградские огнепоклонники.

«Что же касается тех, кто одержал эту победу, то они были
слишком заняты своими неотложными задачами, чтоб заботиться
о том, кому достанется слава»...

(«За родные города»,
английский сборник)

25/IV-45

Перечитываю эти листки сегодня, когда наши войска берут Берлин. О, как многого, как многого нет в этих листках из того, что тогда было.

Где-то затерялся день, когда однажды Коля немислимо нежным голосом уговаривал, молил меня: «Оленька, уедем, солнышко, псоич, уедем...» Я сидела рядом с ним на кровати, положив ему голову на грудь и сказала только: «Ладно, уедем».

Как он собирался, как складывал все в мешки, сшитые им же крупными, черными стежками. Он чувствовал, что гибель подходит к нему. А у меня это только до ума доходило, а до сердца — нет. Черствое и легкомысленное оно было.

И неверным он выглядит из этих записок. Да, он и жалок был, и оголодал дико, но в то же время — сколько доброты и кротости в нем было, и весь он жил мыслью — спасти меня, увезти. Ведь он и от Юры хотел меня увезти, — я знаю, я и тогда догадывалась об этом.

Господи, только бы не забыть ничего.

Пусть мучит его лицо, его облик весь, пусть совесть терзает все так же жгуче, — как по сейчас, только бы не забыть ничего.

Добрый мой, прекрасный, мука моя пожизненная и отрада, — не уходи из меня.

*Любовь моя,
вечная казнь моя,
Вечная жизнь моя¹.*

¹ Запись следует после фрагмента дневников от 14 января 1942 г.

ГОД

1946

За все и за всех виноватой,
Душе не сказавшей — «прости!»,
Одной мне из этой палаты,
Одной никогда не уйти...¹
1946.

И даже тем, кто всё хотел бы
сгладить
В зеркальной, робкой памяти людей
(своей)

Не дам забыть, как падал
ленинградец
На черствый снег пустынных
площадей
1946.

Ахматова.
Боярыня Морозова — Муза Плача...
Аввакум!

И она же — Донна-Анна, слышащая шаги Командора. Вдова Командора

¹ Фрагмент со слов «За все...» до слова «уйти...» слева отчеркнут двумя вертикальными линиями.

И еще, и снова, и снова, особенно теперь — не забывать слова Блока, что право на бессмертие или долголетие может иметь лишь та книжка, на которой можно написать:

«ЗДЕСЬ ЧЕЛОВЕК СГОРЕЛ».

И — не меньше!

На рынке

Их не разлучат

И не разгонят;

Их нужда свела — не развести.

Не с лотка торгуют, а с ладони,

Весь товар } уместится в горсти.
Магазин }

О душе

Душа.... скорбит

и корчится, как пленный

немец — в стужу

*

И на виду

Встал Ленинград

В веках — во льду.

«Фландрскую цепь» писать как библию (по стилю), особенно блокадные новеллы. (А если б вошли тюремные!) День — 8 сентября, когда горели склады и кровавый отблеск лег на весь город. «Знамение».

8 МАЯ 46.

Уже шестой день обретаемся в доме творчества, в Келломяки. Наверное, уже сегодня я бы довольно интенсивно работала, потому что работать тянет даже сквозь страшный, давно не бывший, с ног до головы ломающий грипп, и все же он почти не дает работать. Так что теперь уже не понять, — что от души, а что от гриппа. Отчетливо знаю только, что первых два дня угнетеннейшее состояние, доходящее до назойливой мысли о самоустранении — было от души. Разгон

на «общение» и пьянство, взятый за время пребывания в Москве, почти ни на один день не прерывался в Ленинграде, усилившись с приезда Анны Андреевны и Маргариты Алигер до предела, и оборвавшийся только с отъездом сюда. И так все время тянуло выпить, и так легко для этого все бросалось, и такая стала после всего этого ватная голова и как бы полное ила сердца, что я уже совсем решила, что твердо вступила на путь Саши Чуркина и даже до некоторой степени вошла уже в его состояние. И чем больше общалась я с людьми, тем больше нарастало чувство страшного одиночества, фальши, страха, горестного удивления, и вдруг в результате совместной выпивки, откровенного разговора и т. п. я [1 сл. нрзб] ощущала, что теряю людей, даже старых друзей, ссорюсь с ними, и лучший вариант получался лишь тогда, когда был один только треп, который опасно было останавливать, потому что тут же делалось ясно, что говорить-то и не о чем. Но на этом трепе хорошие отношения только и возможно было удержать. Виноваты ли мы? Виноваты ли люди? Что виновато время — это ясно. Явно рвутся связи с Мариными, это очень жаль, но мне уже непомерно тяжка становится напряженная «слежка» Маруси за тем, чтоб я не зазналась, ее третирование меня, ее попытка все высмеять и принизить (я уж не говорю о безобразной, злобной выходке с биографией Коли). Побранилась с Кетлинской — ну, эти отношения, конечно, всегда были несколько фальшивы и их надо свести на нет, да слишком много с ней было переговорено, а она — ханжа, и может истолковать все по-ханжески, и это страшно, и страх этот — унизителен и противен. В общем, пили, шумели, добивались какой-то правды от собутыльников, и все это закончилось безобразной сценой у Кетлинской, когда Юрка толкнул меня так, что я полетела на пол, а дома устроила истерику и мы ужасно поссорились... бррр. Ну, ладно, уже все это сгладилось. Но моральный кациняммер длился на этот раз необычайно долго, и вдруг охватила такая неизбывная усталость, что показалось (да пока что и кажется), что — все, уже ничего не напишу, да и нечего писать.

Милый друг мой, я очень и очень болен...

Поездка сюда как нельзя более вовремя и целесообразна. Здесь хорошо. Здесь ранняя весна, — я бог знает сколько времени не видела ее, — какая она трогательная и прелестная. Жалко только, что холодно адски и вот — грипп ломает. Но уже вчера, несмотря на грипп, села за статью об А<нне> А<ндреевне>.

И сегодня совсем было наладилась писать, да пришел Глинка, очень милый человек, поговорили — и хорошо поговорили, но он унес, перебил готовый потечь на бумагу поток мыслей, который обязательно хотелось записать сегодня... Просто не знаю, как настроиться, тем более, что уже час ночи и почти санаторное положение дома творчества и тяжелая голова — обязывают лечь спать.

Здесь с супругой Юра Герман. Он держится очень самоуверенно и даже апломбированно, хотя мил, интересно рассказывает и умно говорит, но, конечно, как всегда, пишет прямо наоборот тому, что говорит. Я ищу с ним общенья — поймала себя на этом, — чисто идеологического, конечно, но и это напрасно. В то же время бессмысленная и необоснованная ревность к моему Юрке мучит меня до сердцебиения. Вот он сегодня опять в городе, и у меня опять целая концепция его измен, — до чего же глупо, и какое же я жалкое существо. Где и как обрести важное, спокойное, ровное состояние духа, встать и над всемирным бардаком, и над знакомыми, и над идиотской ревностью — чтобы... чтобы — что? Работать, писать... Что? Хотелось бы написать письмо Пастернаку — да боюсь, выйдет глупо, и тоже не знаю, что писать. Что он — изумительный поэт? Он сам это знает лучше меня. Ох, если б перестала гудеть голова, — ну хотя бы перестала гудеть голова, и если б... капельку выпить. Нет, <Далее обрыв текста.>

10/V-46

Два дня напряженного сопротивления гриппу. Не-ет, физическая болезнь куда ужаснее душевных недугов. Боже, боже, что нас ожидает в недалеком будущем, т.е. в старости. И это — при безусловной материальной необеспеченности. Работать, конечно, почти не в состоянии, стук машинки болезненно раздражает. Слабость одуряющая, голова все время гудит, во рту отвратительный вкус, тошнота. А статья получается хорошая. Завтра едем в город. Вечером — капуста в доме кино, потом пьянка. Не знаю, буду ли в состоянии. О, господи, как плохо болеть. Я не болела ничем, кроме выкидышей, уже пять лет, — дистрофия не в счет. Забыла, что это такое. И вот когда хватило, до чего некстати. Нет, придется лечь. Еще пока лежу — ничего, а как только сяду — совершенное изнеможение <Далее обрыв текста.>

15 мая 46 года.

Завтра мне 36 лет. Это, кажется, уже близко к сорока. Жить — мало. Борюсь с гриппом. А может, это только кажется мне, что борюсь. Может, это я просто бездельничаю и пью. Обещал с последним поездом приехать Юра. Часов у меня нет, время определяю по шевелению Германов надо мною. Юра говорил, что принимает сегодня экзамены, а потом приедет. Но мне, конечно, мерещится другое: мне мерещится, что у него — девка, этакая здоровая, с упругими грудями баба, с которой он живет и говорит ей тоже «маленькая», но так как я ему друг и все такое, то он тщательно и умело конспирирует это все от меня и придумывает все: и что б мы жили в Келломяках, и свои экзамены и все остальное. У [1 сл. нрзб] меня нет ни одного факта для этих подозрений, но они грызут меня непрерывно и нехорошо. Почему, господи, почему...

— Все мнится мне — я счастлив по ошибке...

А вдруг он не приедет сегодня? Значит, ночует у нее..... А-ах, нет, помирать же мне пора, уже все кончилось [1 сл. нрзб], все отграно, все завершено, виньетка даже поставлена, а я еще чего-то копошусь. Уже все знаю, как знала все на «этот счет» в 39 году.

Вчера вернулась из Л<енингра>да в Келломяки, весь день мусорили в душе люди, как сказал бы Горький, и это еще не грипп-то. Уж, какая гадость — болезнь. Простая физическая болезнь, — сопли, головная боль и все такое.

Думала, что вчера и сегодня закончу статью об Анне Андревне¹, — куда там. То с Таней Герман равнодушно говорила о Коле, то Ленка Катерли — очень ограниченное существо [—] сидела, то половой психопат Митя Осров рассказывал о своих половых делах, — ну а я-то, я-то причем? И так прошел весь день. И гудела голова, нельзя было встать с постели, тотчас же начиналось головокружение и сердечное икание какое-то, и слабость и жалость к себе. Одиночество крепчало, а тут еще читала рационалиста и «сочинителя» Горького, который рационалистическими вопросами насчет смысла жизни бередил верхний слой души, — и совсем уже было нехорошо, и совсем уже невозможно было взяться за А<нну> А<ндреевну>, — потому что это требует души строгой, отреченной, чистой, свободной от всего этого мусора. Вообще, еще бы дней пять полного одиночества, т. е. пребывания с чужими и чуждыми людьми

¹ Так в тексте.

ми, и я бы ее написала, но может быть, сейчас приедет Юра, будем пить, м<ожет> б<ыть>, даже я позову сверху Германов, опять пойдет пылить в душе, опять будут виться в ней какие-то бумажки, окурки, песок, — ах, господи, господи, — даждь... чего?

Если б я знала, чего мне ждаты, просить и даже — о чем токовать — то было бы лучше и легче. Но я не знаю. Юрины всяческие химеры насчет просветительства — а, — «знаем, слыхали».

И еще этот чернильный противный вкус во рту и эта ватная голова — организм, который все время напоминает о себе и не дает собой распоряжаться, — вот ведь что мерзко. А это — только сигнал. Скоро придет время, когда в движение, в самостоятельную жизнь придут скрытые и незаметные до сих пор органы — почки там, печень, еще там что-то. В общем, все то, что пока что вежливо не мешало тебе «предаваться страстям и мечтам», а сейчас нагло выпрет на первое место и заявит: «а вот оно я, ну-ко, попробуй, пиши и страдай при мне. Да это еще притом, что и притулиться тебе негде и жить не на что, и без обеспеченной старости и всего такого». Уж лучше бы помереть этак сразу. Но ведь я отлично знаю, что буду помирать как-нибудь безобразно, от страшной и безобразной болезни, — например, рака лица, долго буду помирать, всем надоем и себе в том числе, какать буду под себя и все в этом роде. При моей насмешливой судьбе только такое должно быть.

А взглянула сейчас на себя в зеркальце, — боже, у меня прекрасное, красивое, колдовское лицо, — а Юрки до сих пор нет, я даже не знаю, сколько времени, конечно, не могу писать статью — вот так всегда (я знаю, что это не более, чем увертка). Но мы такие каторжники, такие трудолюбцы, что ту работу духа, которая не отражается на бумаге, а сама нужнее всего, уже склонны считать прогулом и готовы сами себя тащить за шиворот в кутузку. Так и я. Я напишу статью в течение ближайших дней, но пусть через час приедет Юра...

Наверное, я люблю Юру последней любовью и это все оттого. Наверное, это потому, что есть ощущение, что жизнь — на излете, что скоро конец, и все тоже — оттого. Вот же с Колей всего этого не было. Наоборот, в дни кромешного стыдного греха казалось абсолютно искренне: «ну, да, нехорошо, но ведь все же исправлю, господи, сторицей возьмешу». А вот сейчас не из чего и неоткуда — не то что сторицей, но и один за один. Нечем возместить, нечем расплатиться, нечего исправлять — «и жить начинать поздно». А тогда все казалось, не поздно, и все еще можно начать жить: и эпилепсия, и детей

сбрасываю, и идеалы разбились в грязную дребузгу, — а можно начать жить, что-то есть еще, — врешь, есть. И изменить — не страшно: это ничего не поколеблет, потому что много в запасе главного.

Сейчас ничего этого нет. Но может быть, бережно надо беречь в себе состояние этого отчуждения, отречения от всего, сознания, что ничего нет, это «ощущение башни», а не пить, не разменивать, не лениться... Размен, обмен, господи, какой обмен. Все размениваю, со всеми — не нужными мне — обо всем главным говорю, пылю, пылю, растрачиваю, — наверное, только затем, чтобы уйти от самой себя, от одиночества, от недоверия.

Если б у меня были часы, я бы знала, когда придет поезд.

Вчера, когда он меня так заботливо провожал на вокзал, сидел в вагоне, потом ушел, — я сразу ткнулась в газету и через миг подумала: «даже в окошко не поглядела, как проходил, значит, привыкла... А вдруг ушел навсегда»... И затосковала плоской, серой тоской. И вдруг он — вернулся с перрона. Я обрадовалась до того, что будто горячим кипятком облило, и тут же мыслишка: «потому, что собирается изменить, потому так и нежен и мил, и влюблен и внимателен. Держится». Ох, какая я смрадная. У него такие глаза милые, не может быть, чтоб он мне врал. Он любит меня. Ну, не сегодня, завтра приедет. А писать статью об А<нне> А<ндреевне> все же не могу, — завтра, обязательно завтра, когда успокоюсь.... Буду ждать его, лежать на постели и читать мучительного Горького...

28 декабря 1946 — 1 ноября 1948¹

«Эту книжку можно бы назвать книгой стога»...

А. Герцен²

Мой Коля помешался, как Поприщин.

Истоки безумия того начались с вопроса: «Хотел бы я знать, почему я титулярный советник?...»

¹ Запись на обложке дневниковой тетради.

² Фрагмент со слова «Эту» до слова «Герцен» — запись на авантитуле дневниковой тетради.

И Коленька почти так же кричал в безумии, не понимая смысла своего состояния. Он кричал: «Лялька, подойди к окну и крикни: русский народ, разбегайся! Тебя обманули гитлеровцы!» Как он настаивал на этом. Потом, когда его внесли обратно в теплую палату, и бойцы <Далее обрыв текста..>¹

20 декабря 1946 г.

У меня появилось целое занятие, целое, прямо-таки, состояние духа: созерцание собственной квартиры, в особенности своей комнаты и мечты о том, как ее в дальнейшем еще улучшить и обставить. Дом, квартира, уют и благополучие в этой квартире, непрерывно влюбленный и жаждущий меня Юра, меня — нарядную, красивую и элегантную (непреренно элегантную) — вот то, что несомненно стоит на данном этапе — на первом месте в сознании.

Голод, дистрофия — приводили личность к определенному и нередко необратимому «сужению личности».

Вот, видимо, и у меня такое сужение личности на почве духовной дистрофии, владычащей в нашем обществе. Многолетние лишения, урезывания себя во всем — материальном, и в последний год, а в особенности после 14/VIII моральные лишения — они-то и рождают тот неукротимый аппетит, как только появляется возможность что-то «съесть» — сделать, приобрести для себя, в сущности: очень жалкое, — и не *только* не представляющее излишества, но являющееся в 99 случаях из ста — предметом первой необходимости, как, например: настольная лампа, пара чулок, бедная рамочка для портрета, и т. п.

Но мы все живем так бедно, так приучили себя к мысли о том, что эта непрерывная нужда и есть единственное почтенное, что ли, состояние человека и гражданина, так отучены и все более и более отучаемы от какого-либо внимания к себе, что вот каждое такое ничтожнейшее приобретение становится событием в жизни, событием духовной жизни, и вызывает целую процессию эмоций от стыда за себя до ожесточения.

Вот сегодня я после долгих и мучительных раздумий, сомнений, колебаний (ибо дело шло о двухстах рублях) купила старую,

¹ Запись на листе, предваряющем дневниковую запись 1946 г. Вероятно, сделана ранее.

с облупившейся бронзиривкой овальную рамочку, и всунув в нее портрет Юрки — повесила его над своим бюро, между двумя (действительно, хорошими) бра со свечками, — и буквально не могу отвести глаз от этой стенки, — до того она мне вся нравится, — и так хочется, так хочется поставить сюда те павловские два стула, — буквально, как в блокаду мечтая о хлебе! Позор? Падение? Сужение личности — или некое самоутверждение личности, бедное и жалкое, разумеется, — но — на чем же ей сейчас самоутверждаться?!

Все возможности для того, чтоб личность могла выразить себя так, как она хочет, индивидуально, — беспощадно ликвидируются; если террор против личности, начавшийся 14 августа, не носит характера того постановления, — это ничего не значит.

Последнее партсоборание наше еще раз убеждает в этом; этот страх перед «культом личности» (это у нас-то!), эта откровенная, примитивная пропаганда — «все личное — во имя государства», это государство, превратившееся в нечто совершенно отделенное от человека, в какую-то жестокую абстракцию (для кого оно? Зачем?), — все это, чего не перечислить, не записать, составляет атмосферу нашего бытия, — где ложь почти единственная и, во всяком случае, преобладающая форма человеческих отношений, где комбинация определенных слов и понятий — только комбинация, с условием единственного итога — заменяет решительно все: мысль, дерзание, спор, раздумье и т. д. Да государству этого и не нужно: ему нужно только одно: выполнение нового пятилетнего плана — плана подготовки к новой, еще более ужасной, чем эта, войне.

Ах, господи, сколько раз я давала себе слово, сколько раз надолго бросала эти дурацкие записи, — но возвратилась к ним вот здесь, — для чего? Вроде того, чтобы «почесать, где чешется»...

И вот — поголовное стремление людей — уйти в свои норы, где можно не лгать, можно пожаловаться на что-то и сказать, что тебе, например, нравятся стихи Ахм<атовой>, не будучи тут же обвинен в государственном преступлении, где как-то дышится, хотя бы и «шевелия кандалами цепочек дверных», — у каждого круг общения (истинного) сужен до предела, каждый бежит домой и пытается в меру скудных материальных возможностей устроить дом...

Небывалое, страшное духовное подполье — да, оно существует, это явно. Там — самые верные, самые честные, *вот в чем трагедия времени*. А мне все еще кажется, что оно не нужно и могло бы

не быть, и что государство делает — продолжает дичайшую ошибку, обрекая нас на него.

Ведь что оскорбляет, что деморализует, что отнимает дар речи и обезволивает, и вызывает жажду заниматься рамочками и тряпней? То, что тебе непрерывно втолковывают (всем! Постановлениями, статьями, речами, «К<ультурой> и Ж<из>нью»), что сам ты — ровно ничего не значишь, что ты имеешь право на существование лишь потому, что с грехом пополам выполняешь чьи-то указания, что, наконец, ты не сам даже, по своей воле, их выполняешь, а тебя заставили их выполнять. Ты — ничто, всё — там. Ты не сам так захотел, а тебя «воспитали», тебе указали, тебя заставили. Даже то, что я делаю по собственной воле, превращается т<аким> о<бразом> как бы в результат принуждения, отбирается у меня.

А главное — клич: «Нам дела нет до того, что ты хочешь, делай то, что мы приказываем...»

Великий Инквизитор съел бы зубы от зависти.

Кстати, 125-летие со дня рождения гордости русской нации и всего человечества — не отмечалось на его Родине: говорят, что папаша болен, и не у кого было спросить — можно или нельзя отмечать эту дату, и как!!

А ведь ничего не хочешь, кроме как работать для людей, помочь им, попытаться сделать их и их жизнь лучше и легче.

И вот — несмотря ни на что — хочется написать пьесу «Запас прочности» — сердечно, тепло — о нашем поколении, и клубятся мысли, возникают из небытия люди, и записываешь, и радуешься им, и что-то открываешь, и много думаешь...

И вдруг в разгар дум прозвучит это щедринско-крамольниковское — «Не нужно, не нужно!»...

Наверняка знаешь — что это «не пройдет», а это назовут «странной теорией», а это обзовут «неправдивым» и т.д. И все-таки преодолеваешь это, ЗНАЯ, [на] не только как избежать этого, но как достичь бесспорного успеха. А о скольком — в себе, — видимо, не знаешь, — о том, что вьелось в тебя в результате этого «воспитания», стало бесконтрольным и незаметным твоим хозяином, умертвило, не дало родиться смелому и нужному людям! Эти бесконечные «писатель должен, обязан, должен, должен, должен», — ясно, что не прошли безнаказанно...

И мысль, что ты только куешь собственные цепи...

А пьесу писать хочется, все-таки. И она может получиться хорошей и даже честной.

Но сначала надо написать хоть половину трагедии, к которой я, написав пролог, — остыла. Зря читала его многим... Но в общем-то, надо бы не торопиться, это вещь, над которой и в связи с которой надо думать и думать, т.к. уже для того, чтоб додуматься, что надо писать в основном белым стихом — потребовалось много времени. А теперь я думаю еще, что и стихов-то нужно в обрез, и что вообще нужна какая-то особая свобода в писании этой легенды... Потому что это должно быть именно легендой...

Но мелочи бытоустройства и общественные впечатления раздрают меня и не дают отвлечься от реальной действительности (а на самом деле фиктивной, нереальной) — в пользу легенды моей, творчества, — т.е. в сторону мира реального. И чувствую себя плохо — последствия довольно частой выпивки...

Нет, все-таки надо отвлечься от постановоченческого бедлама, и пока — от рамок — и взяться за вещь... А если выйдет — там деньги, и, значит, можно будет еще что-нибудь купить... Ей-богу, минутами это стимулирует меня едва ли не больше всего... Я хотела бы писать «Запас», а больше всего «Фландрскую цепь». Почти не идут стихи. Все, что пишу — беспомощно. То, что получше — печатать глупо. Отказалась от предложения Симонова — участвовать в какой-то подборке — «В защиту лирики», или «В защиту грусти» — с его вступлением, в «Нов<ом> Мире». Если это «можно» — то зачем убили Ахматову? А кроме того, чорт его знает — кто там будет, и что за принципы он собирается отстаивать? А главное, не с чем мне сейчас вылезать в самом для меня святом — в лирике. Воздержимся же пока...

Тут еще были несколько дней — яростной, неприличной ревности, моей — по отношению к Юре. Вдруг пришло ясное сознание, что он меня разлюбил. И нашла адрес, оторванный от конверта, от некоей Майи Перельман, сопоставила разные факты, — это девушка, с которой он жил в 38 году, и видимо, в Москве, в 44 г, когда мы там работали над «Лен<ин>градской симфонией», — он с ней по этому адресу встречался. Говорит, что она — сестра Мирки Перельман, а по-моему, это она и есть... И она к нам приходила тогда... а я, как дура, ничего не знала... В общем, я устроила сцену, но, действительно, мне было невероятно тяжело в те дни... Если нет его и его любви, если и он тоже обманывает, то что же остается? Ничего, совсем ничего...

А он — весь в фурункулезе, несчастный, и что-то вроде геморроя у него, и я именно в эти дни из себя выходила от ревности...

Все от того же, от того же — от дикого отсутствия «общей идеи»...

Ох, хоть бы впиться, влюбиться опять в трагедию, хоть бы ожила она в душе и все остальное вытеснила...

ГОД

1947

1 января 1947 года

Вчера встречали у нас новый год, были Шварцы, Германы, Левин, потом пришла А<нна> А<ндреевна>. Было очень мило, все были рады и тронуты елкой с настоящими зажженными свечами, хорошим столом, настоящим ощущением праздника. Только я до того весь день топталась, что уснула часа в 2, выпив очень незначительное количество водки.

Ну-с, теперь надо всерьез браться за выполнение заказов, — а то позор и просто гроб!

И хотя вхожу в цейтнот, мне нужно... не торопиться! Вообще-то безобразие — писать такую вещь, как трагедия — в месяц... Но я явно не справлюсь со сроком... До Юриных каникул буду писать ее, а потом сядем с ним за «Запас»...

Завтра с утра сяду за нее... Надо ото всего отрешиться... Надо делать вид, что нет бытовых забот, нет пакостей, которые кругом непрерывно творятся, а писать ее — мысленно стоя на молитве. Пусть это будет моей молитвой о тех, кто погиб на войне, кто был на ней прекрасен.

И пусть это будет первый вариант...

Когда будет время — напишу ее всю заново, с хором и поэтом...

11/1-47

Умерла сегодня в 11 ч<асов> утра Галя Марина, дочь Всеволода Марина и Маруси Машковой, моих университетских друзей. Ей было 8 лет. Она училась во втором классе, и получила тройку за физкультуру, т.к. «была больна и не могла высоко прыгать...»

Это была девочка, очень похожая на мою Иришу, — такая же беленькая, светлая, трудолюбивая и общительная.

Но она была еще — блокадница. Самая настоящая. Она была молчаливой, стойкой, и маме своей только улыбалась, и просила хлебца без надрыва, а даже весело и лукаво, — чем-то очень мудрым она чувствовала, что скулить, плакать и жаловаться — сейчас никому нельзя. Но ей очень хотелось кушать, и потому она хитрила и спрашивала о хлебе как бы между прочим. А ей было тогда всего 4 года. «Скрыл от мудрых и открыл детям, женам и неразумным»... И это, навсегда уже скрытое от нас, она знала и столько однажды мне открыла, — такого, о чем поведать миру — мой единственный настоящий долг.

Девочка, перенесшая ужас голода, блокады, обстрелов и очень реально знавшая, что все это — из-за немцев, «фрицев», приходит однажды к матери и рассказывает:

— Мама, а я сегодня живых фрицев видела...

— Какие же они?

— Они Александринку ремонтировали. Наши мальчики узнали, закричали — «побежим фрицев дразнить»... Мы и побежали. А они худые такие, зеленые, как наши дистрофики... Мальчики их стали дразнить стишками Маршака: «бомбы с неба вместо хлеба»... А я...

Замолкает, очень сконфуженная.

— Ну, а ты?

— А я подошла и сказала: «Гутен морген, фриц»... И он меня по голове погладил...

— Скрыл от мудрых и открыл детям...

Только в этом — выход...

Мать плакала и причитала над дочерью, а дочка уходила и уходила, оставляя вместо себя совсем чужую, непохожую девочку.

Она уходила — она возвращалась в лоно, возвращалась в мать, становясь отныне только ее болью, ее памятью, ее кровью.

Так цепко обнимала,

так ловила,

Так подождать молила я

тебя,

А ты все уходила,
уходила,
Другую оставляла за себя.
Не ту, с улыбкой доброй
и веселой,
Другую — с гордой,
С почти надменной скорбью
на устах,
Нет, этой тихой, мудрой
и тяжелой
Не знала я..
А где ж моя, где та?
И вдруг по крови собственной,
по стону,
По боли — но не прежней,
не такой
Я поняла, что ты вернулась
в лоно,
В меня вернулась —
— смертную тоской.
О, как она палит и раздирает,
Как одевает в траур бытие.
Да будет вечной жизнь
твоя вторая,
Дитя несбереженное мое...

А оба моих — Коля и Ирочка, — умирали под знаменами.
Последними словами Ирочки были слова:
— Опустите стяги!

Откуда она знала это слово? Я не говорила ей его. Она взглянула на стенку уже стеклянеющими глазами — гордо, надменно, обижено [—] и прошептала это повелительно, достойно..

И когда я последний раз, накануне смерти видела Колю, он тоже, надменно, дико глядя перед собою — прошептал: — Склони-те знамена.

И я окончательно поняла, что он умирает, потому что вспомнила последнюю фразу Ирочки.

Я пожизненно виновата перед ними.

За что они только любили меня, светлые мои, прекрасные.

— Знаю, достоин лежать я
С павшими
 под красным флагом...

Это о них.

— Я не привык любить свою Родину
С опущенной головой и сомкнутыми устами.
 П. Чаадаев.

Воронова, девушка-летчица

Она начала свою беседу так: — Я ровесница Октября...

Пошла в армию добровольно. Хорошенькая. Страшно к ней приставали. Летала. Была очень тяжело ранена — прострочили, когда спускалась с горящего самолета на парашюте.

Муж, тоже летчик, умер у нее на руках (ранение получила потом). Когда вылечилась, поехала за сыном, кот<орый> был в детдоме, куда-то перевозить его. — Но нас высадили из вагона как безбилетных, ночью, мы шли-шли по путям, сынок попал под поезд, ему отрезало обе ножки...

Теперь — полунормальная, конечно. Живет в чудовищной коммуналке, окруженная «обывателями», кот<орые> смеются над нею и ее военным прошлым.

— Я невысказанно одинока...

12/1-47.

Вчера утром у Маруси Машковой [<1 сл. нрзб>] умерла дочка, Галка. Дитя было чудесное. И внешне, и по трудолюбию и ясному свету своему очень она была похожа на Ирочку, и я всегда, когда приходила к Мариным, радовалась Галке. Галка была блокадницей и вместе со всеми нами, 4-хлетний ребенок переносила голод и стужу терпеливо, стойко, как-то очень сознательно. Только в конце 43 г она испугалась обстрелов и с удовольствием уехала с очагом на Карельский... И это она открыла мне что-то похожее если не на выход, то представившееся душе выходом, рассказав, как она первый раз увидела

«живых фрицев»... — «Они Александринку ремонтировали, и мальчики сказали — побежим их дразнить... А они такие худые, зеленые, как наши дистрофики. И мальчики стали петь стихи Маршака — «бомбы с неба вместо хлеба»... А я подошла к одному фрицу и сказала ему: «гутен морген, фриц». И он меня по голове погладил».

Меня пронзил тогда этот рассказ ребенка, едва не задушенного и не убитого этими же фрицами и, конечно, только в силу некоего божественного добра и света, свойственного только детям, пожалевшего поверженного, пленного, за то, что и он теперь страдает, как она когда-то, и обратившегося к нему с лаской.

Я подумала и думаю теперь иногда (отдавая себе отчет в полной утопичности этого), что может, действительно единственный выход — всем собраться и всем попросить друг у друга прощенья, потому что воистину «все перед всеми виноваты», и сказать друг другу — «гутен морген».

И если это утопия, то не утопия ли воображать, что виселицы, казни, Сибирь и другая масса репрессий, и ссылка целых народов, и ложь, и моральный террор — дадут что-либо, кроме нового зла и страданий; так накручивается снежный ком...

Галка умерла вчера утром, неожиданно, страшно, от болезни, которой она болела всего 2 дня, и которая еще не установлена (ее будут вскрывать завтра). Вероятнее всего, что круп. А у меня вчера мелькнула дикая мысль — «чума», и когда мы мыли ее с Марусей в ванне, я глядела на нее, вытянувшуюся, уже сильно изменившуюся, и думала: «Вот, может быть, гибель вошла ко всем нам в образе беленькой этой девочки, избрав ее первой вестницей».

Это нелепо, и я отталкивала эту дикую мысль, но она все время возвращалась — это от внезапности и нелепости ее смерти, это от того, что внезапное и нелепое горе — вызвало к активности то вечное ожидание *незакономерных, диких* бед, несчастия и гонений, в котором живем мы все, к которому приучила нас наша жизнь...

Я отдаю себе в этом отчет сегодня уже трезво. Я пришла к Мариним, когда Галка еще лежала в постельке и была совсем теплая. Маруся плакала и причитала над ней, *думая вслух*, а Галка на глазах менялась, застывая, — она уходила и уходила куда-то, оставляя вместо себя совсем другую, почти старенькую девочку. Вечером, когда она лежала уже в гробу — ее уже совсем не было, она уже совсем УШЛА.

Да, это верно говорят — «она ушла от нас». И вот почему Ириша снится мне все время превращающейся в оборотня — в не себя, хотя я, пережившая смерть обоих дочек, не видела, как они УХОДИЛИ. Я прощалась с ними сразу и сразу бежала от них, — трусливая! Мысль о том, что их уже нет, гнала меня. И Маечку не хоронила, и не знаю, где она похоронена, и у Иры на могиле была один раз, и пораженная ложью, театральной условностью этого посещения и какой-то наглядной ненужностью этого для Иры — не поехала больше: становилось почему-то стыдно... И где похоронен Коля — не знаю, и с мертвым с ним не простилась — увы, он «ушел» еще до своей физической смерти, а сил в себе — разрывать трупы, под которыми он лежал — я не нашла.

Все это иногда терзает меня до безумия, и более всего то, что не было меня рядом с Колей, когда он умирал. Вот этого я по-настоящему не прощу себе.

Галкина смерть вызвала во мне не просто воспоминания, а ощущения, живые ощущения тех дней и минут, когда умирали Майка, Ирочка, Коля. У меня тошнотно обмирало сердце, когда я глядела на Марусю — потому что я не «понимала» ее, а чувствовала собой и ужасалась собой — за нее, за Галку и за своих детей сразу. Она еще не знает, как будет искать ее всюду и не находить нигде, и все будет обманывать ее и утверждать, что она — здесь, а на самом деле ее нигде-нигде не будет, и оттого, что мир будет утверждать — «она здесь», а ты не будешь видеть ее — будет разверзаться под ногами пропасть, — Великое Недоумение, более терзающее, чем скорбь.

Вчера душа была так потрясена Галкиной гибелью, врезавшейся во всех нас, внезапной и страшной, что стала больна от этого потрясения. Нехорошо больна, — темный, какой-то подловатый страх охватил меня и физически томил всю ночь: страх смерти вообще, — вернее страх перед этой вторгнувшейся в наш кружок силой — Смертью и страх собственной смерти. Боялась, что заразилась от Гали, ясно ощущала, что ведь обязательно умру, дотрагиваясь до Юриных ног, вдруг понимала, что и они могут быть — и будут, будут такими же окостенелыми, как у нее, у меня такие же будут, и это неотвратимо, и близко, близко, где-то совсем рядом, — оно шепчет: «А я здесь!» Сердце обмирало, и покрывалась потом, и пугал каждый шорох.

Тоска о милых покойниках своих мешалась с этим «арзамасским ужасом», тосковала о них, и ясно, до галлюцинаций видела

отдельные картины их смерти, и вдруг не желала жить, и потом с новой силой забирал страх своей смерти...

Пыталась отталкивать это суетными мыслями — не помогало. Юру будить не хотела.

Это все еще — мщение смерти за блокаду, за панибратство с нею тогда, за небоязнь ее тогда.

— А я здесь, — говорила она, — я-то здесь! Не любишь?!

Днем долго спала, потом разошлась немного и даже записывала важные вещи для своей трагедии... Это похоже немного на то, как убиралась в часы обстрелов и бомбежек, делая вид, что «все это меня не касается»...

Думала даже, что буду работать над ней сегодня, но надо было сходить к Мариным, и когда вернулась из дома, «посещенного господом», жизнь опять не допустила к работе, где надо находиться в состоянии «жизни театра».

Да, она идет, но она все ж таки еще не жизнь, верней, в ней еще [нет] не возникла «жизнь жизни», а есть «жизнь искусства», «жизнь театра»... — это трудно объяснить... Вернее сказать — Галатея еще не ожила, она еще мрамор... еще что-то очень искусственное есть в этой вещи, рассчитанное... М<ожет> б<ыть>, это определяется жанром? Вот даже в сумбурных набросках «Запаса» — уже есть «жизнь жизни», а в трагедии она бьется где-то в глубине — именно мрамора, именно камней... Быть может, когда я напишу I акт и увижу его глазами — я проявлю эту «жизнь жизни»... и тут, наверное, нужно больше — нужна не жизнь жизни, а поэзия жизни, та, которая и является «наивысшим свидетельством жизни». Я кое-что нащупала и почти ничего не проявила...

«Арзамасский ужас» все-таки почти отошел сегодня — думаю, что и ночь не будет столь мучительной, как вчера... А с утра — идти к Марусе — ох, как это тяжело... Глядеть на открытую рану ее — и ничем не утишить боль ее, и знать, что ты — мешаешь ей... И все же — надо с ней быть, особенно завтра, когда начнется вся эта процедура — выноса на вскрытие, и возвращения со вскрытия... Ох, бедные мои, бедные Волька и Маруся...

Но из работы выходят два дня — начисто...

Ну, ладно — постыдно жалеть об этом, когда у людей такое. Мы еще с Колей знали, что путь практического добра — *жизнь «для сродственников и знакомых»* — тяжелой служенья человечеству...

14/1-47.

Удивляться тому, что я чувствую себя плохо при моем режиме, — просто лицемерить. Все же пора взяться и за режим и за здоровье. Позавчера не спала до 10 утра, вчера — до 7, хотя ложилась не поздно и перед этим не работала. Все те же мысли, хотя слабее, и жизнь той жизнью, однажды бывшей, но вчера ночью удалось переключиться на сладострастные размышления о том, как можно было бы оборудовать и обставить квартиру, что можно было бы купить, нарядиться, съездить за границу и вернуться с массой хороших вещей в уютный-уютный дом, обставленный красивой старинной мебелью, всеми лучшими книгами, газифицированный, удобный, теплый... Долго-долго, подробно-подробно обдумывала все это, смакуя всё и всё себе представляя вплоть до рисунка обивки на мебели, и цвета обоев в спальне, которую «решила» сделать модерн со старинными тканями; своеобразная голодная ночь, голодный бред в блокаде.

Это стремление к старинной мебели в своей норе в сочетании с современными удобствами и современной мысли — есть, конечно, стремление — частное выражение общего стремления **ОБОСОБЛЕНИЯ** от мира, не порывая связей с ним, но стягивая к себе, в обособленный свой мир, максимум всего того лучшего, духовного и материального, и просто доставляющего удовольствие человеку, — того, что обращено к человеку, а не против него...

Экстерьер надул — вот в чем дело, обманул очень. Бесприютно, лживо, неудобно, жестоко в мире, и смысла выносить все это, оправдывать, любить — как в 20–30-е гг., как, хотя бы, во время войны — увы, больше не видишь. Знает бог, что я желала бы этого! Иногда ужас охватывает меня: а может быть, права Тамара Трифонова, гнусно страшавшая нас вчера на агитпункте тем, что «об общественном лице писателя мы будем судить по его работе на избирательном участке». Брр... как она говорила, эта баба с рожой надсмотрщицы из Майданека! И я «любить готовый, с душой открытой для добра», — вижу: нет! Она не только «не права», — ее убить мало! Что может быть правдо, если оно ни за что хлопает на меня бичом, топают, угрожают, кричат?! Но! Может ли иначе разговаривать Трифонова, — если выборы вообще — циничный и постыдный балаган, «демократическая вершина» которого — неприличная осанна папаше? Но могут ли [1 сл. нрзб] быть выборы не балаганом, если... и т. д..

И я, отчетливо сознавая это, буду что-то лопотать на агит-пункте перед собранными сюда старухами и бабами — о демократии, о кандидатах и т. д.! Я делаю это по самой простой причине: из страха, из страха тюрьмы. Вот и вся сущность нашей демократии на сегодняшний день.

Но я буду рассказывать о своей трагедии, об ее материале, о том, как был верен народ своей власти, своей демократии. Советской!! Этой? Сегодняшней? Нет! Мечте! Возлюбленной мечте своей, от которой и к началу войны еще не смогли отказаться, которая вспыхнула с новой силой, обновленная надеждой — «отстоим — все изменится к лучшему...»

Великий принцип нашел когда-то Эйзенштейн в «Броненосце Потемкине». Он кончил картину на красном флаге, поднятом на восставшем корабле, на моменте краткого его торжества. И хотя после было поражение — разве не было правдой — этот флаг? Он был вызывающе покрашен, — хорошо, сделаю то же в своей трагедии и я!

Из-за Галочкиной смерти и содрогнувшейся из-за этого души, из-за того, что вчера щелкнула замком Трифонова (но это мелочь, дерьмо, это я заметила по ничтожеству!), из-за того, что ходила и бормотала, и дописывала стихи, посвященные смерти Ирочки, и общее гриппозное состояние, и как сегодня — какое-то общее тихое, глубокое угнетение духа, — увело меня от трагедии, а она шла. Должно было начаться решающее — поединок Анны и Андрея, где должно было быть много лирического — из осени 41 г., из попыток спасти Колю, — мой монолог о моей вине...

Я увидела вдруг их обоих не оперно, — а глубоко утомленных, в последней нежности, в такой тихой и глубокой, которая может быть только у обреченных...

22/1-47.

Тьфу, чорт возьми. Сегодня наш лит<ературный> вечер в Филармонии — и я волнуюсь, как никогда. Просто противно — трясет и мысли не собрать, и сводит душу. А тут еще эти дурацкие разговоры — вплоть до сегодняшнего с Вл<адимиром> Лифшицем, что я «игнорирую общественную работу», что Прокофьев по этому поводу «рвет и мечет». Вот — сижу за работой над важными и существенными вещами для сов<етского> искусства, так нет — и это злит и раздражает завистни-

ков. Впрочем, их именно это и злит. И они хотят сорвать мне ее. Пошло и глупо, что это заставляет меня трястись от обиды и т. п. Надо на это плевать. Вот напишу трагедию, напишем сценарий (о, ужас, он почему-то всего более страшит меня!), сделаю Пахомовскую книжку, — тогда пускай выходят из себя.

Что-то будет в Филармонии? Неужели — провал? Я не показывалась на люди с 14/VIII.

Хочу читать «Февральский» — будь, что будет... При мысли о встрече с уважаемым А. А. Пр<окофьевым> — начинаю мелко и поганно дрожать. Господи, хоть бы не было этого вечера, или хоть бы скорей все кончилось... Ну, никогда я так не дрожала... Не принять ли бром с валерьянкой? А в чем дело, собственно? Не придет народ — ну и что же? Холодно встретят и холодно проводят? Боже, — разве ж не единственный завет —

Поэт, не дорожи любовью народной,
Восторженных похвал пройдет минутный шум,
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм...

Да, да, да, у нас есть только это, и вся эта моя душевная лихорадка — тлен. Гораздо важнее, что сегодня пропал целый свободный день — для трагедии.

Выступала с хорошим успехом.

Я читала написанное Юрке, и он сказал, что — хорошо, идет. Мне бы не отрываться от нее ни на миг, особенно душою, а я... Нет, я, действительно, тля. Надо было бы к самой угрозе каторгой относиться спокойно, свысока, а не то что к Трифионовой и Прокофьеву; надо было бы рассчитывать на долгую-долгую жизнь, в которой все может быть, и все пройдет, но «труд, завещанный от бога» все же будет исполнен.

Да, да, так и надо жить.

29 января 1947 года, десятый час вечера.

Пять лет назад в эти часы умер Коля. Как странно, что мне невероятно хочется чем-то внешне отметить этот день, и говорить о нем, — и не с кем. Юра рядом — не с ним же, не потому, что он не понял бы, а потому что — не надо... Мне хотелось бы, чтоб в память его было так, как говорила когда-то пять лет назад, — Маруся Машкова: «и мы соберемся, и наденем светлые платья, и на столе будет много вкусных вещей и вина, и мы вспомним его...»

Странно, что сегодня мне больней, чем обычно, и слезы кипят внутри, и глубокая-глубокая грусть внутри...

Мне хотелось бы сейчас собрать его друзей, и поднять в его честь и память чашу хорошего, благородного вина, и спеть, и поплакать, и говорить в его честь только о чистом и хорошем...

Он написал мне в тюрьму: «Верен тебе до гроба в этой жизни, и в той — в вечности».

Все лучшее, что я сделала в стихах — идет от памяти о нем, от горя, от боли за него, от неискупимой моей вины перед ним. Так он верен мне. И я люблю его, как живого.

4/II-47.

Надо во что бы то ни стало справиться с безостановочным «внутренним бегом», внутренней спешкой, которая не позволяет мне даже засыпать днем.

В чем дело? Мы реально двигаем пьесу, которая в самом деле может быть доброй и человечной, мы разметили уже подробно 2 акта, уже «живут» Сидорчук, Галя, Маков, несколько умозрительны еще Арсеньев и Сиваченко, но и они оживут... Но — «а когда я все это успею написать», — гонит меня мысль. «А трагедия?» Ее срок Камерному — в этом месяце! «Ну, и наплевать», — надо бы сказать мне. Разве пишут трагедии в 4 мес<яца>? Обязательства перед театром? Ничего, я как-нибудь выдержу их... Но все же я уже запуталась. Если б была одна пьеса — я бы ее быстро двинула... Трагедия, которую я все же полюбила, требует такого ухода в себя, я все же хочу писать ее как очень личную вещь...

Надеюсь, что за 10 дней после 9<-го>, когда я фактически буду одна, я сильно двину ее. К 9<-му> разметим всю пьесу. По возвращении в город займемся только пьесой. На нее — март... Она пойдет

быстро. А сценарий? А оперное либретто? А книга для Детгиза! Нет, нет, надо вообразить, что никто надо мной не висит... А оперное либретто? Ой, чорт с ними со всеми! Не повесят же меня за невыдержанные сроки...

Надо, надо, надо думать, что некуда торопиться. Вот сейчас поужинаю, затоплю печку и напишу трагедию. Не застыла ли она — ведь я оборвала работу на разгоне, на самом опасном месте — ссора между Анной и Андреем.

Перепечатаю ее, это будет разгон, и попробую дальше, до 11<-ти>. Потом пойду встречать Юру...

8/II-47

Господи!

Если б кто-нибудь видел сейчас, какая я красивая.

Перед закатом

Перед старостью

Перед забвением

Все осознаю. И все-таки — такая красивая, с грязными, невымытыми волосами, с бровями, намазанными парикмахером (кстати тем, о котором я писала в 37<-м>, что он «будет гордиться», — гордится!) — и все-таки — ослепительно красивая. Тонко обведенные скулы — трагический спад карандаша, а если б щеки обвисли — уже жалкое, но они ЕЩЕ не обвисли — очень тонкий рисунок щеки сбоку, бесконечно печальный.

Уже морщины — божьи пути — набегают на лицо. Господи, боже мой. Я пытаюсь отмахнуться от них, отшутиться, улыбнуться, но они набегают. Господи, ты уже у глаз моих. У моих веселых глаз, не очень красивых, но умных, что более, чем красота.

Господи, ты уже у сердца моего

Ибо я уже боюсь смерти.

Я боюсь ее и зову тебя — помоги мне забыть ее.

Как я красива сейчас, но никто не видит этого.

Я очень хороша.

О, намазанные губы, огромные, ни для кого, печальные.

Хорошо, что у них таков рисунок.

11/II-47.

Наверное, такое расквашенное состояние все-таки от этой дурацкой температуры на уровне банного полка. Работать абсолютно неохота, сонное состояние и ровно-тоскливое, ровно раздраженное состояние, к которому присоединяется еще почти непрерывная боль под ложечкой, настойчиво дающая знать о себе последнее время: ожидаю от нее разных гадостей — не менее язвы, конечно.

Травмированная непрерывными бедствиями психика настроена и подозревает только самое плохое.

Самое плохое будет в том, если во мне исчезла зарядка к работе над трагедией, захватившая меня накануне отъезда отсюда на выборы. Не «разболтала» ли я ее по дороге в Л<енингра>д, и главное — Юре в Л<енингра>де.

Очень одиноко. Герман уже не придет за мной — поздно, да, по правде говоря, и у них-то не очень весело. И надоели все одни и те же разговоры, толку ни малейшего от них, одна душевная чесотка.

Я радовалась 7–8 найденным словам и поворотам в трагедии, а сейчас от наступившей скуки вдруг все кажется чудовищно скучным, нарочитым, искусственным... Со страхом жду завтрашнего дня...

18/II-47.

Вернулась из Келломяк в город, к себе. Очень хорошо дома, но не спускается в сортире вода и не действует ванна, говорят — «нет напора»... Боже, боже, как устаешь от этого вечного «нет». Нет того, нет другого, и уже о том, чтобы спустить за собой воду после того, как посерешь — мечтаешь, как о счастье! Вот то, о чем мечтал Шигалев. А жаловаться — некуда и некому: ведь это же не государственное, а «личное», эка беда, что «замечательный советский человек» даже поспать не может, — стыдно, товарищи, даже думать об этом, когда надо выполнять ст<алинскую> пятилетку, и вы выполнили ее только на 108%, а не на 180%!..

В Келломяках добавила I картину трагедии, в которой явно есть, есть находки. Читала некоему Друскину и Ю. Слонимскому, потом очень досадовала на то, что перед незнакомыми людьми столь расточала душу. Ну, а что же тогда делать и как жить, если опасаться каждого своего искреннего душевного движения? Если не верить людям ни в чем, ни на минуту, и видеть в них только сексотов?

Нет, нет, это — то же самое, что писать без всякой веры в то, что пишешь, — жить надо хотя бы с минимумом веры в людей вообще, — не сама ли я пишу об этом в трагедии? А вот Слонимского это-то именно, эта тема — «без доверия друг к другу нет народа» — и заставила говорить со мной — «как коммуниста с коммунистом», «интимно» и т. д. — о «неблагополучии и травме в душе» у меня.

И руки у меня затряслись, как на допросе: «а, догадались, догадались! Проговорилась, матушка!» Боль моя и отчаянное сопротивление царящей в обществе лжи, очевидно, так уже сильны, что проступают помимо меня наружу, не повинаясь контролю ЧЕСТНОГО здравого смысла... С другой стороны, так всем все явно, что уже ТЕМА доверия вызывает мысль о травме и разладе с действительностью. Потому что — увы, — его нет: ни у нас — к ней, ни у нее — к нам. И это все понимают. А я — натужливо лгу, пытаюсь доказать его необходимость, и им становится жалко меня, и страшно, что они — участники явно обреченной попытки.

Лгу я или нет, — мысль, которую я отталкиваю от себя и нейтрализую ровно столько же раз, сколько она приходит.

Я совершенно точно знала, что не лгу — в дни блокады. Кажется все же, что не лгу и теперь, и что то, что я пишу, — в какой-то мере по-настоящему нужно было бы людям.

21/II-47.

Абсолютно неохота работать. К тому же непрерывно тупая, полая какая-то голова. От пьянства, что ли?

Трагедия застопорила просто намертво!

Надо браться за пьесу, а то упустим все сроки и совсем сядем в лужу. Пьеса — более верное дело.

Вчера в Д<оме> П<исателей> была встреча с электросиловыми — с Еф<имом> Козовским и Ж. Комаром, т. Микелнов. Господи, сколько у меня, в сущности, жизни связано с ними!. И 37 год, и война, и 14 августа — ведь это [1 сл. нрзб] Микелнов от имени «рабочей массы» заявлял, что я, дружа с Ахматовой, «оторвалась от действительности».

Они огорчили и раздражили меня очень самодовольным своим видом, необычайно толстые какие-то стали, особенно Фимка Козовский, личность — несомненно, сомнительная и нечистоплот-

ная. Не помню, не болтала ли я чего — лишнего по дороге, потому что от раздражения, от грусти, от возбуждения — потому что это все-таки бывшая молодость моя — я выпила, хвасталась, расточала душу. А возле дома Комар еще стал изъясняться мне в симпатиях, «как к женщине», и называть меня «белокурым котенком» и говорить совсем уж дикие пошлости.

При этом они безумно самонадеянно поучали нас, как мы должны писать, как должны расти — и т. д., не имея представления о нашей злосчастной доле.

Ужасно боюсь, не болтала ли я лишнего, впрочем, кажется, нет, да и они-то большие либералы.

И вот — «о них» надо писать пьесу...

Нет — [1 сл. нрзб>] только не о них! Секрет в том, чтоб не о них.

Ну, все же попробую начать пьесу.

Господи, помоги мне.

Она будет о том, как мы верим, как мы ХОТИМ верить...

25/II-47

[1 сл. нрзб>] Почитаешь «Литературку» — и как кусок гавна съешь. Этакое «крупного гавна». Особенно расстроила меня статья об «Приезжайте в Звонковое», — т. к. это пьеса на ту же тему, собственно, что и наша.

Но даже от статьи веет такой ложью, таким блядством, что просто ужас. Чего стоит это утверждение, что в «нашей стране вопрос послевоенного неустройства человека может быть разрешен только комедийно», или эта, уже превращающаяся во всеобщую государственную манию, — западобоязнь, — боязнь каждой ничтожной мелочи, идущей оттуда, боязнь культуры их, вплоть до классической, эти утверждения, что «только у нас» — все самое лучшее, самое передовое, только у нас люди способны на подвиг, боязнь, сопровождающаяся «возмущением» по поводу «клеветы о железном занавесе»... Боже мой, какой мы одинокий народ! И если все — «только у нас», — то на что же мы, получается, осуждены? Если даже никто, кроме нас, не способен на равное нашему самоотвержение, подвиг — значит, мы так и будем одиночествовать, воевать со всем миром, и внедрять наши идеалы и строй только с помощью оружия. Ведь вот что

получается от этой проповеди — «только у нас», «только мы», «мы — самые лучшие» — эта теория исключительности.

А в общем, если во все это вдумываться — то... Ладно уж!

И вот, когда пахнуло гавном от схожей по теме пьески — стало дико грустно. Показалось, что все же я — лгу, и явно стало, что если не лгу — то будут заставлять подравнивать «по Корнейчуку»...

Пиши! Пиши, брат. Пьеса все же идет, и хотя я еще не слышу акта целиком, и он еще весь в карандаше, — кажется, он не фальшивит и линии его верны.

Жаль, что надо сегодня идти к А<нне> А<ндреевне>, я бы кончила Первый акт...

Чем бы «заесть» проглоченный ком гавна и отрыжку после него?!

...В первом акте должна как-то подспудно, бессловесно, по чувству, по настроению звучать моя «Колыбельная»: «Люди неба больше не боятся, неба, озаренного луной...»

Ты проснешься на земле цветущей,
Вставшей не для боя — для труда
Ты услышишь ласточек поющих,
Ласточки вернулись в города.

Как много и как мало, и как грустно всем, как вспоминают все свои мечты о победе, как хотят «покоя и воли!»

4/III-47.

Ой, ой, ой, как я ужасно чувствую себя, — просто гроб. Тюкает в затылке до того, что тошнит, и замирает сердце. Чуть обуздали боль люминалом и синим светом, но состояние нерабочее, понурое.

Читала вчера 1 акт Юрке, — в общем выходит... Конечно, он во многом прав, они еще многословны, директор аморфен, без стержня и лица, но некоторые его замечания раздражили меня именно своей справедливостью, другие — несправедливостью: Галя есть, хоть и не все ее реплики — те.

Ах, времени, времени мало, а тут еще скоро с оперой и трагедией начнут нажимать... И это состояние инвалидное, и отсутствие ванны, и тревога перед очередной гинекологической датой,

и 8 марта с необходимостью присутствовать на этой трепотне, и все остальное.

Не фиксирую приезда Б. Горбатова, кот<орый> у меня обедал. Я ждала этого, и все было не так, — я упилаась, была почти неприлична...

Вот не ожидала, что встану сегодня с этакой расслабленностью... И боюсь, что это разыграется.

Пьеса, кот<орую> читал Горбатов — хорошая. Очень захотелось написать свою... Что бы сделать, чтоб привести себя в рабочее состояние?

7/III-47.

А за то, что я с Юрой работаю — я еще сама себе памятник поставлю — в нашей квартире.

Так же, как я не могу понять — лгу я или нет, мне непонятно: зло или добро Юра для моей работы? И так же отчетливо, как я знаю, что без него не было бы ни меня (физически), ни, скажем, «Ленинградской поэмы», которая именно и принесла мне народное имя, так же отчетливо я знаю, что всей рационалистической слабостью «Ленинградской» П<оэмы>» я обязана — Юре, и своей «потусторонней» любви к нему, и отсутствием сопротивления чужой воле.

У меня ничего нет кроме него.

Нет более надежного человека, чем он.

Нет иной, кровной связи со всей прошлой жизнью, чем он... Не мама же?

Нет любownika более желанного, более ревнуемого, чем он. Как иногда, лежа рядом с ним, я мечтаю о нем, о том, чтоб взял, КАК мечтаю, как рисую самые дикие и упоительные картины — с ним, в то время, как он лежит рядом, и я не смею разбудить его и сказать.

Но я не знаю — какую роль сыграл он в моей жизни и — главное — в моей работе (т. н. творчестве) — умертвительную или живительную, оплодотворяющую. Сказать — и то и то — почему-то нельзя. Или — или? Какое? В силах ли я еще сопротивляться? (если гнет и губит.) В состоянии ли понять, если, как маг — дерево — растит... Но главное: в состоянии ли сопротивляться? Не слишком ли много берет он и требует за то, что дает?

*

Утром он подает мне кофе в постель, ужасно искренне огорчаясь, если яйца переварятся, если кофе жидок...

Если мы идем куда-нибудь, он говорит: «Ты одела не те чулки»... «Ты покрасила губы не той помадой». Он хочет, чтоб мне было хорошо, и чтоб я была красива. [1 сл. нрзб>] Он хочет — почти одного этого.

{ Господи, господи, это ли не последняя неволя?
 { Это ли не последний предел счастья?

Чего же больше в этом — счастья или неволи? Я думаю иногда: «Неволя? Пусть! Я рада. Мне уютно в ней, тепло, и она — единственное место мое в холодном мире, [который] цель которого одна: убить меня возможно позорнее». А его цель — любить и нежить меня. Но это — неволя. Кто и что я без него? Старая женщина, пьющая женщина, смешная своими порывами. Кто и что я ПРИ НЕМ? СМЕШНАЯ старая женщина и т. д.

Он молод и красив, он нравится женщинам, любая из них даст ему с восторгом, и почти любая с восторгом «пойдет за него», и будет обмирать от счастья, если он подаст ей кофе в постель. Любая.

Иногда мне кажется, что их там много, что мне не стоит и обороняться... Доймут. Отнимут. Мне надо торопиться, пока он не бросил, греться и наслаждаться его вниманием; мне надо торопиться наслаждаться неволей.

Но чего ж я хочу? Чего?

М<ожет> б<ыть>, я сама — тиран?

*

Но, господи, как я злюсь, когда он докторальным тоном начинает читать критическую или литературоведческую статью по действию, еще не написанному нами — мною!.. Как я злюсь, — как сейчас!

9/III-47.

Герцен пишет: «Горе тому, кто тратит свою душу на пустоту этого мира, забывая высший, другой».

Это — обо мне. Что ж: что эта растрата души происходит от жажды общения с современниками, это не оправдание.

Вчера выступала у художников и в Д<оме> П<исателей> -- и весь день не могу вернуться к себе, начать работу над пьесой, над очень важной сценой Гали и Арсеньева. Ох, зачем я осталась вчера на этот жалкий «банкет», зачем говорила с подлецом Друзиным о больнице Николая Чудотворца, зачем пела, зачем разговаривала с Прокофьевым, — и что я еще говорила — с чужой мне Странгиллой и т. д.? О, жалкая, унижительная боязнь — «не сказала ли я чего-нибудь», — единственный итог «общения» со средой...

Разбита вся как-то... Сердце вялое, настроение подавленное. А тут еще Юра воспалил меня с утра идеей пойти на «Девушку моей мечты», — немецкий фильм, по которому все ленинградцы сходят с ума. Еле достали билет на 2.30 ночи, и скоро пойдем. Вот дичь-то...

И совсем уже стала работать, но Юре позвонила девушка, которую он устраивает на работу, и оказалось, что это та самая Майя Перельман, с которой у него когда-то был роман; он явно, явно что-то крутит — говорит, что она «только что приехала», что он ее «не видал» — и т. д. и т. д. Врет, все врет. И с Исакович, конечно, виделся, только врет мне все...

Очень понурое, злое состояние...

Уж скорей бы идти на эту «Девушку»...

Настойчиво зовут в Москву, выступать в Колонном зале — не поеду. Вечере участвует Горбатов... это, поди, его затея — «вызвать ленинградцев». Все равно, не поеду. Иначе заporю пьесу, а со сроками и так, конечно, не справилась...

Ах, если б завтра встать свежей, спокойной, и сразу взяться за работу, и чтоб она пошла...

Конечно, самое уязвимое у нас место — техническая часть пьесы... С чем придет Арсеньев в общежитие?

10/III-47.

Читая Герцена:

«Жизнь без сильных искушений, несчастий — так же неполна, как беспрестанно подавляемая несчастием»...

Мечта — суррогат действительных страстей.

«Жить отвлеченной идеей самопожертвования — неестественно...»

«Да, мир несвободный беспощадно пытается осмеливающегося стать свободно...»

Русь — сурово-**<юный?>** хаос.

«Я ужасно устал... видно, это и есть [наша] старость... Главное — хочется не победы, а отдыха, — оставили бы в покое...»

«Старый мастурбатор искусства».

«...Счастье, гармония, все это летит, едва срезывает, касается настоящего, а горечь, болезнь, ожидание беды — сама беда, — все это длится, длится, входит глубже плугом, сохой и выворачивает погосты»...

«Он бьется от слишком большого внутреннего богатства, не поддержанного внешними средствами»... Впитываю в себя Герцена, как губка...

Господи, теперь — писать, писать...

Перечла I Акт трагедии — хорошо, и почти все хорошо...

Ах, как глупо, что придет Герман, — я бы кончила сегодня II Акт, — но, во всяком случае, надо кончить I картину...

Мимо, пусть идет все мимо, это не я, это не мое, — статьи в газетах, Симонов, «отправные темы», Прокофьев с его идиотскими угрозами, — мимо, мимо... Вот говорят два человека, и в их разговоре надо выразить то, что нельзя — о личности, об ее самостоятельном хотении...

13/III-47.

Завтра будет 11 лет со дня смерти Ириши. Ей было бы теперь почти 19 лет.

*

14/III-47.

Сегодня вновь разбросано души

На сотни лет,

на тьмы и тьмы ничтожеств.

О, хоть бы часть ее — в ночной тиши,

Собрать в стихи, как пепел в горсть...

Но и стихи я, наверное, разучилась писать... Мимо, мимо... Нельзя так. Вчера — в Смольном включили в бригаду по обследова-

нию Мариинки — как мне это нужно. Предмет обследования — как выполняется постановление ЦК от 14/VIII-46. Сегодня две каких-то тетки обследовали, наоборот, меня, на тот же предмет! Ох, как все это... Я говорила им о пьесе, и о том, какими я «пользуюсь маркс<истско>-лен<инскими> источниками», и что мне не нужна «помощь парткома» — господи, как все это далеко от истинной жизни, ужасна во всем этом смесь полицейщины и дикарства...

Ну, да; действительно, вбиваем в пьесу «почетные обломки», осколки идеала, некогда боготворимого, осколки, которые все еще священны... Но какое все это отношение имеет к нашему чудовищному парткому.

Все перепуталось — и некому сказать,
 Что постепенно холодеет
 Все перепуталось — и сладко повторять:
 Россия, Лета, Лорелея

Потом — разговор с Н. П. Акимовым, который заявил, что ему «нужно мое имя на афише» в коллективной пьесе всех ленингр<адских> поэтов — «Вася Теркин». Заявил, что «бесстыже будет делать это на премию»... Потом, явно покупая меня, рисовал мой портрет — неудачно: ничего там нет от меня. Явно не хотелось ему делать это, а нужно ему именно мое имя, имя «ленинградской плакальщицы» — как некая санкция на тот балаган, кот<орый> он задумал для одного себя, как художника.

Он очень уговаривает... Но нет — не по пути мне с ним, — претит мне это. Не могу я все же делать что-то без бога, хотя бы без обломка бога. А это — без бога.

Он тонкий художник, все понимающий, и у меня с ним больший контакт, чем с темными тетками из горкома, но не контакт душ, нет. У теток все же хоть из дерьма — да бог, а у него — нет. Нет даже бога искусства. Он обидится на меня. На выставке его — моего портрета не будет, а это было бы лестно. Ну, и не надо.

Ладно, пронесем свою изодранную хоругвь свернутой, но не обосранной самим же собой.

Грустно, о, как грустно...
 Все перепуталось — и некому сказать...

22/III-47.

Ну-с, а пить мне надо все-таки бросить! Вчера напилась с Гитовичем и Лифшицем, — совершенно не помню, что болтала в конце... И какое чудовищно угнетенное состояние сегодня, боже мой! Целый день не могла работать; это еще потому, что много рассказала «вперед» Юре, который сразу начал горячо говорить — КАК ДОЛЖНА быть написана сцена, — и уж совершенно ни к чему, хвастаясь, рассказывала Лифшицу — абсолютно чужому мне человеку. О, ничтожество! Подавлена собственным ничтожеством, испугана — не наболтала ли лишнего? Нет, нет, нет, больше — ничего подобного... Тем более, что сцена да и вся пьеса действительно может получиться — ведь вот что! И сроки подходят... И уже относительно либретто напирают. А еще — сценарий и эта Пахомовская книжка. Нельзя допустить, чтоб она была халтурой.

23/III-47

Ну, а как же все-таки не пить — после такой статьи, как сегодня в «Культурке» — о Пастернаке?! Хорошо, если еще только запьешь, — а ведь надо бы вешаться! Фенаминчик не помогает, хотя сейчас приняла уже второй порошок, чтоб не хотеть спать после обеда. Тяжелая голова, а надо кончить II Акт. Нет, я лгу. Все, что пишу — ложь. Потому что стыдно писать «за» — после таких статей. Если б это было частное мнение Суркова: нет, это правительственная травля чудеснейшего и, в сущности, глубоко-безобидного поэта. Его травит наш мудрейший ЦК...

И в той же газете — «письма читателей» — о «Девушке моей мечты».

Надо было убить Ахматову и Зощенку, и почти убить Пастернака (теперь, кажется, убивают совсем) — за безыдейность, — для того, чтобы пустить на экраны всей страны антихудожественный кабацкий, блядский, геббельсовский фильм. Трудно вообразить себе что-либо пошлее и растленной этой картины. Но наше расцветшее кино дало полмиллиарда убытка, и конечно, все высокие идейные соображения пошли на хер. После припадка 14/VIII-46, охватившего всю страну, дается немецкая пошлость — еще одно оскорбление нам, т<ак> с<казать>, вдогонку к первому. Затем, когда дефицит был с лихвой возмещен, ибо растущий зритель ходил по ночам на кар-

тину, не раньше, не позже появляется сводка «писем читателей» — там же, где напечатан шулернический, подлейший донос на Пастернака. Да-с!

...А мадригалы ей пиши!..

27/III-47.

Юрка недавно ночью говорил, что у меня изменилось лицо — и изменилось к худшему. Я и сама это вижу. Никак не уловить еще, в чем изменение, но оно — есть. Лицо как-то осело, отяжелело, утратило свою юность, проступавшую даже через крайнюю усталость.

Это — явные плоды пьянства, — Юра прав... Он прав был, когда умолял меня не пить с другими и не разбрасывать души... А я вновь делала это сегодня — перед чуждыми мне Левой Левиным, Друзиным, даже... Лихаревым...

Это, видимо, даже не от жажды общения, а от страха перед ними. Я боюсь, что они УСЛЫШАТ мои мысли, ПРОЧТУТ что-то на лице — и я начинаю говорить, говорить, болезненно, хвастливо, больше всего о себе, — конечно, хорошее. Чтоб они ничего не заподозрили... Чего? Но положение в обществе уже такое, что правды люди не говорят. Сегодняшнее партсобрание — особо показательно. Жид-Плоткин делал доклад — «Новая мораль советского человека». Он был до того лжив, что... Ни один человек не взял слова, даже жидатрифонова и д<ругие> подобные ей.

Раствор лжи был перенасыщен...

Если б я стала выступать с теми мыслями, кот<орые> у меня есть о морали — с честными и высокими мыслями, со своими — я была бы неприлична. Все равно, что выйти перед ними голой. Теперь просто не принято высказывать ничего, кроме того, что уже указано Ц<ентральным> О<рганом>, «Культуркой» и т. д. Все, что помимо — уже почти бунт. И все научились говорить ни о чем. С этой точки зрения наша пьеса, над которой мы бьемся и мучимся и кроваво ссоримся — просто бунт.

Писать немислимо тяжело. Юрку страшно «заносит», по поводу каждого слова он произносит целые трактаты, страшно апломбированно говорит со мной, и я изнемогаю от всего этого...

Ну, надо все же попыхтеть над самым началом.

31/III-47.

Читали Юрке Г<ерману> первые два акта — прямо в восторге, аж страшно. Уже натрепался в театре, театр страшно торопит, — а у меня эта идиотская «обследовательская комиссия»! Ну, нет, сейчас отстукаю это гавно и — «заболею». Пусть делают со мной все, что хотят. Экая сволочь — мало им, что человек работает через силу, отдавая всего себя — надо еще, чтоб он зачем-то принимал участие в «шутовской трагедии»... Ох, лучше уж не писать об этом!

6/IV-47

Вот еще день сгорел, как белая страница: немного дыма и немного пепла. И т<ак> веч<но> — сажусь писать пьесу. Пишу ее между посещением моего папы, кот<орому> очень плохо, кот<орый> приехал 5 дней назад, и только сегодня мне позвонила его любовница — ему совсем плохо.

Дело в том, что даже после [его] больницы он уже не сможет работать: он приехал на мое иждивение. Он инвалид. Пришла домой, тут был Юрка Г<ерман>, кот<орый> помог мне устроить его в Военно-Мед<ицинский>, потом приплелась мама, безумно уязвленная тем, что отец, с кот<орым> она разошлась почти 20 лет назад, остановился у любовницы...

Выпили за обедом — потом я уснула, видела странные эротические сны с ощущениями.

Теперь надо писать.

А завтра — идти в райком, где меня будут мучить за «отрыв от парторганизации», и на партбюро, где, видимо, дадут взыскание за то, что недоплатила за заем 1000 руб.

В промежутке между больным, тяготящим меня и пугающим бременем — отцом и милым райкомом и бюро — я должна написать III Акт пьесы — о неделимых людях, о послеоктябрьских поколениях, о счастье жить!.. Когда я стану противна сама себе настолько, что уже не смогу всего этого, а буду писать только такие стихи, кот<орые> забраковал сегодня Юра, но которые во 100 раз более передают наше время, чем вся наша пьеса?..

Пережила на днях невероятный подъем духа — с той же пьесой и трагедией — работала 14–16 ч<асов> подряд и так хорошо, совсем всерьез говорили с Юрой... На другой день что-то было, поэтому пришлось оторваться [от трагедии] пьесы — а как она шла...

Ну, старая кляча, — пошли ломать своего Шекспира!

*

18/IV-47.

Опять сегодня не вздохнуть, бьется сердце, подавленное настроение, сонливость, а надо браться за последний акт, который давно рисовался, как самый любимый...

Даже не знаю, откуда эта подавленность, т. к. собственно, пьесу можно считать удавшейся.

Вышел самый трудный — третий акт, да и та маленькая картина, относительно которой вчера ругались с Юрой, — тоже нуждается только в не[в]большей правке... Нет, это, наверное, просто кофе...

Но, боже мой, сколько мне еще работать, не отходя от стола, непрерывно, каторжно, спеша и задыхаясь!

Еще сценарий — только первый его вариант, потом «поправки», потом книжка для Детгиза, потом трагедия... Господи, откуда я возьму чисто физические силы? Недосыпаю, глотаю этот дикий фенамин, дающий такое страшное возбуждение и так работающую голову, что чувствуешь — это на грани безумия, — и старая, и страшная стала, как божья кара... И — для чего все это?!

А фенамин и сегодня придется принять, наверное, очень ватная голова... И потом — задыхаться. Нет, нельзя так работать — грех...

За эти дни — большая, немножко жуткая радость: поэма Заболоцкого «Творцы дорог», напечатанная в «Нов<ом> Мире». Вот написал человек, 8 лет пробывший на каторге, — о каторге! Даже подав об этом сигнал первой строкой каторжной песни... Он написал о каторжанах, как о гордых людях, великолепных тружениках, подлинных творцах и бессмертных ликах... Нет, искусство не так просто убить! Оно подает сигналы из тюрьмы, из подполья, куда оно загнано, где на него одета железная маска. Оно озаряет жизнь и показывает ее истинный исторический смысл. Нет! Не в том, что они страдали, — в том, что они творили, и в пучине страдания, во мраке унижения, бесправия, сознавали себя творцами, гордыми людьми, истинными хозяевами страны, времени. Разве не так живем все мы? Разве мы, я — не об этом пишем? Разве не это с особой, молниеподобной силой и светом было обнаружено в блокаду и, как бы там ни было, запечатлено мною, все-таки

мною больше всего, потому что я не скрывала, в каком мраке просияли эти молнии?

Страшно была взволнована стихами Заболоцкого, как сигналом друга во мраке, как [сла] голосом друга в пустыне, свидетельством о том, что все мы живы и жив наш оплот — искусство.

23/IV-47. 29/IV-47

Читали 21<го> пьесу Рашевской, Родину и Юрке Г<ерману>. Им понравилась. Завтра читаем труппе. Очень волнуюсь. Юрка Г<ерман> распустил слух, что пьеса замечательная, умная, великолепная и т. д. и т. д. Люди возбуждены, ждут, и я очень боюсь их разочарования, очень боюсь, что они — просто не поймут пьесы.

[Она] Я так измучилась и устала, что уже ничего не понимаю — хороша она или плоха; в психике — буквально нет ни одного живого места. «Мне каждый звук терзает слух», все вызывает резкое, тошнотное отвращение — и я сама, и пьеса, и Юра, и вся действительность — просто какое-то состояние Карениной перед самоубийством. С содроганием думаю о том, что ее еще надо превратить в сценарий, и это надо сделать буквально в 2–3 дня, потому что 1-е — последний срок, пролонгации больше просить нельзя

7/V-47.

30/IV читали на труппе пьесу. Селику, Женьке Шварцу, Рахманову, Юрке, даже глупому Зонину и многим другим — очень понравилось, и — искренне. Против выступал дурак-Полицеймако и, видимо шпик, Корн. Но они были подавлены. В общем — успех, хотя — на труппе — и не триумфальный, но это ничего, театр-то уж больно плох. Рашевская 4/V повезла ее в комитет.

И вот, не знаешь, что лучше: чтоб запретили, или чтоб разрешили. Если раскусят, что все про — анти-винтиков, про «человек — звучит гордо» — запретят, и, м<ожет> б<ыть>, опозорят. Если не раскусят — разрешат, м<ожет> б<ыть>, с начала того года будем жить материально полегче...

Неудача сулит нищету, удача — позорную славу. Да, все-таки обстановка такова, что слава, идущая от них, — позорна и тяжела для порядочных людей...

А 2 мая ночью, после пьянки в Келломяках у Ю<рия> Г<ермана> после воспоминаний, почему-то особенно жгучих — о прелестном докладе т. Ж<данова> я чуть-чуть не дала дуба: что-то случилось с сердцем. Может быть, я перепугалась больше, чем следовало, но оно вдруг стало останавливаться, и я почувствовала, что стремительно лишаясь тела, отрываюсь от земли, исчезаю...

Вызвали «скорую», она дала мне камфоры. Вплоть до сегодняшнего дня была чудовищная, детская какая-то слабость. И как всегда, когда ощущаю сердце — думала о моей Ирочке, вспоминала все, все, — кожей, плотью, сердцем — и тосковала, и ужасалась безмерно. Бедненькая, что она выносила... девочка моя, свет мой, вечная моя вина. Врач, кот<орый> был у меня на другой день, сказал, что, по его наблюдениям, доклад тов. Ж<данова> резко отозвался на сердцах работников искусств.

На сердцах наших каторгу свою укрепляют! Ну, а если мы молчим, да еще хорошие вещи за советскую власть пишем, — так нам и надо. Запуталась я, мучительно все ужасно. А пьеса у нас — очень хорошая и очень честная и — ух! Какие у нее возможности, чтоб крыльями взмахнуть... Все-таки крылья-то у нее хоть и чистые, и большие, — а сложены они...

Но я себя смирял, становясь
На горло собственной песне.

Получила сегодня очень милое письмо от Пастернака, которое почему-то все же показалось мне немножко официальным, или усталым.

Я чужой ему человек, чужого ему мира, конечно. Но его поэзия — часть моей души, часть любви с Колей. Вспоминала душой эти дни — и Колю, юношей, безмерно красивого и прекрасного, на островах, среди влажных берез и сырой травы...

Боже мой, неужели все это так и уйдет, так и «потонет в фарисействе», неужели с этим надо будет проститься еще при жизни?!

Надо кроить из пьесы сценарий — и так неохота... Как хорошо лежать и думать, хотя б и о горьком...

10/V-47

Ох, как я плохо сегодня опять себя чувствую. Позавчера и вчера уже много работала (сценарий), вчера выпила немножко, ночью поссорилась с Юрой, я плакала почти до утра, сегодня — полная разбитость и ощущаю в груди вялое, болезненное, противно-тошнотное сердце.

Я думаю, что Юра разлюбил меня и что, конечно, у него есть баба, а может быть, и не одна. Не помню точно, но, кажется, меня совершенно поразило, что больше чем через 2 недели ангельской жизни, он и не подумал приласкать меня, и я что-то резкое сказала ему. В ответ он начал грубо кричать, упрекать меня в том, что в соавторстве нашем он «плетется где-то в моем хвосте, но даже это выносит» и прочие попреки типа, что я его унижаю и очень много думаю о том, кто я такая и т. д.

Эти взрывы не случайны; конечно, он в глубине где-то не прощает мне того, что я «знаменитей» его, того, что люди недооценивают, не понимают его роли в наших совместных пьесах, того, что очень заметно, что пишу я — хотя сочиняем мы совместно, и т. д. и т. д.

У него было много баб до меня, и невероятно уже то, что в течение 5 лет он жил только со мною; в У<ниверсите>те кругом него девчонки, бабы, он надолго куда-то уходит, говоря — куда, но ведь не стану же я проверять?..

И вот вчера, вместо того, чтоб обнять, зная, что женщина желает его, он грубо наорал, и я плакала до утра, а он спокойно спал рядом. Он знал, что врач строжайше запретил мне волнение. Значит, он очерствел ко мне уже беспредельно.

Не знаю, что делать... Усталость, в которую я погружаюсь все глубже, уже смыкается над головою...

Как-нибудь дотянуть бы сценарий... Ведь я, я его выволакиваю, — а он опять занят, впрочем ничто не мешает ему сказать, что он делает это из «тактичности», не желая мешать мне...

Вчера был День Победы. Были у Мариных. Маруса становится все нетерпимей к людям и все неприятней. Вспоминали о 9-V-45...

Я вспомню тебя — и прощаю
 Нужды безысходной напасть,
 И снова тебе обещаю
 И верность, и стойкость, и страсть.

Я вспомню тебя — и заплачу,
И всхлипов своих не боюсь,
Как в юности, верю в удачу
И в легкую руку твою.
Так будь же до смерти со мною,
Как совесть, как праздник ума,
Как крылья, что я за спиною
На время *Навеки* сложила сама...

Однако, надо писать сценарий...

4/VIII-47.

Прежде всего, записать сон, который приснился по возвращении из Москвы, после бешеного бега, здесь, в Келломяках; он уже не первый раз снится мне. Сон такой: Коля жив, но он где-то далеко. Иногда это — он скрывается сам, чтоб не быть мне помехой, иногда его скрывают от меня, так, чтоб и он обо мне ничего не знал. Но уже через неоднократный сон я знаю — он жив, он где-то есть.

И вот на этот раз я уже знаю, что он где-то, и на какой-то станции, что ли, встречаю женщину, — немолодую, некрасивую, но с приятным... нет, даже не то что приятным, а каким-то очень обыкновенным, простоватым лицом, подкупающим своей усталостью и откровенной, ни на что не претендующей простотою. И каким-то образом, из не запомнившегося мне разговора с нею, я узнаю, верней, догадываюсь, что Коля жив, и что именно она рядом с ним и ей поручено охранять его, беречь, и догадываюсь, что он с ней и почти уже не помнит обо мне.

Тогда, рыдая, — одновременно от радости, что он жив, и от горя, что он не со мной и не может быть уже со мною, я начинаю допытываться у этой женщины подтверждения, что он жив, и [1 сл. нрзб] с нею. Плача, я становлюсь перед ней на колени, я целую ей руки, подол платья, я твержу, задыхаясь от слез: «Он жив, ведь он жив, да? Я знаю, тебе нельзя, тебе запрещено говорить мне это, но скажи, скажи мне правду. Я не отниму его от тебя. Не бойся, я не отниму его. Я даже не покажусь ему, — я знаю, ему нельзя. Я даже не взгляну на него. Мне очень, очень хочется этого, но он будет твой, только скажи. Я знаю, ты любишь его больше, чем я, но скажи — он счастлив? Счастлив?» И она

смотрит на меня и смущенно-смущенно улыбается, такая пожилая, «неинтересная», почти «серая», а глаза у нее — счастливые.

Записать это нельзя, конечно, как увиденное во сне стихотворение, но как я все это помню, — всю эту остроту, горечь и отчаяние и сладость слез, которые бывают только во сне. Потом, уже недавно, видела во сне, как ласкала чье-то дитя, голенькую девочку, а потом с какой-то женщиной в тапочках и бумажном черном жакете, — типичной горожанкой, — шли по зеленому полю, как паркет, разбитому на квадраты колючей проволокой, и шагая через эту проволоку, громко обе рыдали и жаловались на то, что у обеих нас отнято материнство.

И вот теперь, кажется, скоро уж и конец жизни.

И хотя мне говорят, что страх смерти и ощущение конца — типичные, физиологические ощущения сердечных больных, и хотя умом я понимаю, что это может быть и так, все-таки мне думается, что приходит именно конец жизни.

Ведь этой миодистрофии, которая так мучит и унижает меня теперь, хотя бы в данную минуту — предшествовало именно ощущение стремительного скольжения вниз по наклону. По такому гладкому наклону, что и зацепиться-то не за что. И все глубже и дальше катилась в угрюмство, все недоступней становилась какая-то первичная, раскрытая, а главное, полная радость, без невольной, рефлексивной оглядки на окружающую тьму и собственное угрюмство, не позволяющее радоваться, наслаждаться. Да и чем, чему? Юре? О, как мне хочется любить его и радоваться ему безоглядно, захлебываясь, утопая в этом... Даже общая тьма не в силах была бы украсть эту радость, но длительное неверие в благополучие, но существование в атмосфере непрерывной и чудовищной лжи — не это ли все заставляет меня думать о существовании каких-то призраков вокруг Юры. И — «ведь и призраки могут измучить». Или это я просто такое ничтожество и такая глупая, мещанская душонка, что даже называя себя так, не могу представить себе всей своей низости. Но я непрерывно, тайно, грязно ревную его — к кому-то, я почти уверена, что он с кем-то живет, обманывая меня, что у него — куча баб, что [из] в Келломяки он запихал меня для того, чтоб иметь «свободу действий», и когда он приходит домой — очень красивый, возбужденный, я почти ненавижу его, и в то же время все внутри рвется к нему, и хочется просто распластаться перед ним, вывернуться всей, обдать его одной радостью (господи, как я встречала Колю) — и — что-то держит

внутри цепко и сильно. Нет, все-таки чье-то проклятье тяготеет над нашей любовью.

Вот уже и в постели, последний раз, он показался мне подозрителен и формален (что казалось уже не раз). Меня насторожил (хотя и понравился) один новый, незначительный, но новый прием и термин, которые он употребил впервые, придя поздно ночью с какой-то вечеринки, довольно пьяненький и — тоже почти впервые — не очень-то в форме...

На другой день, втайне жаждая повторения, я спросила его: «А помнишь?»... — он с неудовольствием ответил: «Маленький, ну, что за допрос?» Он абсолютно ничего не понял, он был отключен... И эта сцена здесь — в субботу, и, главное, это лавирование на другой день, уже в трезвом виде, терминами, и эта патетика, и убеждение меня в том, что я для него — все, после того, как он так грубо кричал: «Ты — меня прославила? Где это? Я не имею ни малейшего отношения к “Твоему пути” и “Февральскому”. Так думают только твои Германы и Прокофьевы». Я спрашивала: «Но это — про тебя или нет?» — «Это настоящая поэзия, — вертелся он, — это не про меня». И т. д. и т. д.

А Коля писал мне в тюрьму, цитируя строчки — «он один меня не осудит»: «Горжусь, что ты так написала обо мне и несущи эти строчки, как знамя»...

Он, Юра, еще говорил вчера: «Мне 35 лет, а я всего только “муж Берггольц”, но я счастлив» — и т. д.

Вот что его мучит и вооружает против меня — моя известность, моя слава. Уже много раз это прорывалось. Он знает, что [1 сл. нрзб] моя доля — в наших совместных писаниях — большая, и знает, что это знают люди, и это очень больно бьет его, видимо. Но разве я виновата? О, как мне надо, как мне надо, чтоб он любил меня — только меня, как мне надо быть уверенной в этом ежеминутно, полно, свободно.

Но не исключена возможность, что мрачные эти записи — результат болезни, «дрожащих хвостиков», сердцебиения, тяжелого и страшного, мучающего меня весь день, хоть и лежу весь день в постели...

Надо сделать еще одно важнейшее жизненное усилие — вылечиться, выкарабкаться из этого. Помимо красочной действительности — я виновата в том, что много пила, вела жизнь без режима. Надо отделаться хотя бы от этих сердцебиений... Нет, Юрка любит

меня... Я сама виновата... Мне надо быть веселей, приветливей... бесстыдной... Он сам не знает, какой он тайный мой любовник. И для мрачности вообще — в нашей жизни нет оснований: с пьесой все в общем хорошо, кажется, ее даже премируют по конкурсу РСФСР, с БДТ или договоримся, или разойдемся...

Вот только как мне быть с трагедией, она же опера? Это меня мучит. А впрочем... Ну, не подыхать же мне?!

Только бы почувствовать себя здоровой, не дрожать от страха смерти, от этих проклятых перебоев...

Но завтра мне будет лучше.

23/VIII-47

Вчерашний день — образцово-показателен по густоте впечатлений бытия, по перегрузке сердца, по печальной, безысходной бесплодности своей. С утра приехала Галя Пленкина, собственно, лучшая моя подруга. Она — типичный человек из народа, тот самый простой, золотой, и т. д., от чьего имени какие-то холуи пишут Ст<алину> письма, вокруг которого стараются принудить нас лгать и рисовать его архисчастливую жизнь. Она была когда-то человеком, жадно рвущимся к знаниям, к новому и новому, к искусству, — недаром любила она Леньку... Как она могла интересно и любовно говорить о людях, о книгах... Я помню ее в разгар горя, когда ее травили и преследовали, в 37 году, после, как я вышла из тюрьмы и у нее умер сын Лени, — жизнь и действительность преследовали ее непрерывно, и все же сколько мысли жило в ней, сколько эмоций... Теперь нужда, всеобщая, горькая, абсолютно безысходная нужда совершенно раздавили ее, да плюс ее личные несчастья — расслабленный, медленно, годами умирающий старший сын, заболевший туберкулезом младший, больная раком мать, человек, с которым она живет, — видимо, не интересный и убогий духовно... Она говорила: «Лялька, да мне ведь думать некогда над чем-нибудь, над той же жизнью, над тем, что вокруг делается. Понимаешь, некогда думать, как нам всем. Я ведь только работаю, а потом мне надо обстирать всю семью, надо биться за ее существование»... «Вот огорода мы пять соток подняли...» Это — «некогда думать», — вот оно, крупнейшее достижение... И так живут почти все — в борьбе за первичные основы существования — как бы прокормиться, притом прокормиться самым чем-то примитивным —

хватило бы хлеба... Даже Селик Меттер жаловался мне на то, что ему, писателю, некогда думать, потому что все мысли его о том, где достать денег на завтрашний день. Мой Юрка и тот последние дни ходит как опущенный — у нас выходит бешеное количество денег, а проку никакого. Даже Маруське должны. Я уже почти засыпаю от нервного истощения, когда начинаю думать о деньгах. Я вся — в невыполненных договорах, в долгах, — как запаршивевшая собака, и одно — «утешение», что у Юрки, Германа — например, положение еще безнадежней, да кроме того, он позорится, марается, пишет продажный сценарий о Ленинграде, типа «Сталинградской битвы», да еще пишет сценарий, как золотой советский человек задыхается в капиталистическом болоте... Я-то хоть этого не делаю, а пишу то, что мне нравится... Правда, это, кажется, начинает уже оборачиваться боком: совершенно подло отказался от пьесы Завадский. Сегодня пришло письмо из издательства «Искусство», где, собственно, содержится тоже вежливый отказ печатать пьесу отдельным изданием... О, если б все это не означало нужды, рабской зависимости от денег, унижительной невозможности выпить стаканчик вина, которое все больше становится необходимо психике, и даже совершенно ослабшее сердце и его угрозы, боли и замирания не в силах заставить воздержаться от этой потребности — опьяниться, — о, если б прекращения писания не означало попросту почти голодной смерти — (не могу же я все навалить на Юрку) — с каким бы наслаждением я перестала печататься, — и клянусь, ни забвение, ни дурацкие попреки не испугали бы меня.

Ходила вчера с Галкой — получать деньги в банке, и дала ей немного денег, все время чувствуя рвущую боль и стыд перед ней за эти деньги, за свое, сравнительно с ней благополучное существование, за все, даже за то, что хорошо одета была вчера. Дала ей, стыдясь и обмирая от отвращения к себе, сто рублей, и сто двадцать истратила на то, что поила вином Ахматову, к которой пришла уже растравленная встречей с Галей, жалостью к ней, сознанием своего бессилия, растравленная собственными жалобами Гале на условия работы и существования, и рассказом о пьесе, и обидой на подлецов, штрейкбрехеров типа Завадского.

А старуха — совсем клинически душевнобольной человек: призраки мучат Музу плача уже неотступно, она бредит непрерывно. Нет, это не рисовка. Это болезненная гипертрофия личности, —

она ни о чем почти не может говорить, как о себе, и все, что происходит кругом — кажется ей обращенным к ней и против нее... А тут еще дурацкие рассказы Юрки, которые он с пьяных глаз сообщил ей 14 августа, в годовщину позора... Она ела и пила жадно, она голодает, наверное, потом пришли ко мне и она опять, сама, запросила вина, и очень быстро и серьезно опьянела, — чего с ней раньше не бывало, — от сухого вина в небольшом количестве, и все говорила и говорила, как за ней следят, как дежурит теперь около ее дома какой-то офицер, как Большой Дом только и думает, что о ней. Слушать все это было страшно, опровергать — бессмысленно, потому что она, как истый сумасшедший, уже твердо верит в свой бред, а действительность, не скупясь, подбрасывает ей все новый материал. Действительно, какой-то сержантик болтался около ее дома, явно по бабской линии, или служащий Арктического... — «Вот он», — сказала она таким голосом, когда мы, провожая ее, подошли к ее дому, что у меня все оледенело внутри, и я сама, — маньячка, — подумала, что она права, вопреки всякой логике...

Зрелище Старухи, ее тяжкого безумия, распада ее чудесной умной, светлой личности, было так невыносимо, особенно в сочетании с Галкиным «некогда думать», — так сказать, два конца одной истории, что, проводив ее, я, совершенно не чувствуя результата вина, упростила Юрку купить еще бутылочку, т<аким> о<бразом>, на вино вчера ушло (при полной нищете, долгах и т. д.) двести рублей...

24/VIII

И все — никак не прорваться и не прорваться к трагедии, которая вскипает внутри и требует служения. Опять вчера пили в шашлычной, вместе с Германом, и пропили почти триста руб. При этом — тяжелейший разговор всех троих — об Андрюше. Явная провокация со стороны Германа, который хочет поссорить нас с Юркой, — я уверена в этом. Как-то (тоже во время пьянки у него на даче) мы остались с ним одни, и вдруг он бросился на меня с кулаками и поцелуями, с декларациями «любви»: «Ты моя и только моя женщина», с клеветой на Юрку, что он якобы мне изменяет, и что есть один истинно любящий меня человек — это он, Герман. Меня ни на минуту не обманул этот пьяный пафос, за которым нет почти ни грана правды, кроме, пожалуй, той, что мы действительно всю жизнь, с тех пор

как знаем друг друга, негласно состязаемся в образе жизни, особенно литературной, и я иду путем абсолютно иным, чем он, — т. е. путем, на котором я откинула всяческие помыслы о карьере и богатстве, путем честной работы, писания только того, что я думаю, и во что верю, а у него путь — совершенно противоположный, и он не может простить мне этого... Он понимает, что его путь отвратителен, и все время пытается оправдать его тем, что якобы «если ни о чем всерьез писать нельзя, надо писать так, как Симонов и Вирта». Эта декларация «погасим фонарики» — мне претит. Лучше уж на каторгу.

И вот вчера он явно ссорил нас, под видом усиленной рекомендации — «взять Андрюшу себе», — он разжигал Юрку против меня, рекомендуя все это так, точно я — совершенно против... И мой неопытный дурак подался на это, и осыпал меня градом оскорбительных, пустых, нелепых упреков... Я не знаю, что с ним случилось (или со мной?) — но уже который раз он совершенно не понимает меня, он так глух к тому, что во мне происходит, что, сраженная этим, я машу рукой и не пытаюсь ему объяснить даже, а только холодею и думаю, что и это не состоялось, и что развод — неизбежен.

Уже недавно, когда я ему начала говорить: «Я решаю в эти дни, взять или нет Андрюшу», он перебил запальчивым возгласом: «Что значит — “ты решаешь?” Я решу, как сочту нужным, и пока я решил, что брать его — нельзя»... Вчера же он все повертывал так, что я не хочу брать мальчика, и когда я возразила, что тут надо очень все взвесить, потому что после того, как он будет взят, это означает коренную ломку моей жизни, — он начал кричать: «Ну, вот, конечно, именно, ты так и ставишь вопрос — что Андрюша у нас — твоя сломанная жизнь»... Мне стыдно и унижительно объяснять ему: «Да нет, Юрочка, я же это не говорю в смысле катастрофы или несчастья, а может быть — совсем наоборот, что счастья обрести сына — тоже ломка»... Нет, мне рта не раскрыть, чтоб сказать все это. Если он ничего не видит и не понимает сам, — ничего не объяснишь. Если он строит целую концепцию на том, что я «не размешала Андрюше сахар в чашке», и не видит и не понимает, что происходит нечто более важное — то, что я, кажется, принимаю его в сердце, — сердцем, сердцем женщины, потерявшей своих детей и потерявшей возможность иметь их, и иметь от него, сердцем очень ревливой, — и что же, — уже может быть и эгоистичной, жаждущей покоя, — и все же, кажется, принимаю так, что он не будет мне в тягость — значит, он вообще

ничего ни во мне не понимает, ни в жизни... Концепционер, умозритель, рационалист...

Я не хочу относиться к ребенку, милому и приятному мне, как к вечному напоминанию о своей бесплодности (а когда я влюбилась в Юру, я ведь избрала его отцом, зная, что от Николая детей иметь опасно, он даже не знает об этом), как к вечной причине ревности — сама история его рождения чего стоит, и я все время, с Келломяк, прислушиваюсь к себе, что-то внутри происходит... Смогу ли я быть ему матерью — сердцем, а не внешне? Иногда мне кажется — да, и на даче я вдруг минутами так и чувствовала, иногда кажется — нет, не смогу, и будут парить в семье камень, тяжесть, неискренность...

А Юра вовсе и не думает обо мне, ему кажется, что больше всего меня смущает то, что Андрюше придется отдать комнату, где мы думали после отъезда отца сделать спальню, заботы и т. д. Да, да, и это, мне 37 лет, я хочу, наконец — пожить с элементарными удобствами, которых была лишена всю жизнь, и ничего преступного в этом нет... Но главное — все же не в этом, по-моему... Я предельно хочу быть честна с собою, и потому не отвечаю пока утвердительно. Я должна все выверить и проверить, я понимаю, что заранее, без опыта, этого нельзя делать. Я не умею делать вида, что я люблю человека, хоть убей, не умею. Юра же весьма может ограничиться внешним, — и тем более может, чем менее любит меня...

Я была вчера оскорблена и обижена всем его разговором до замирания сердечного, до ощущения полного и непоправимого одиночества.

Ах, и в самом деле — пожалуй, необходимей всего мне было бы побыть некоторое время совсем одной, хотя и почти разучилась я выносить одиночество, тем более — высокое, творческое одиночество... А мне оно необходимо... Суэта заедает, засасывает... Вот, через несколько дней едем в Коктебель... Сколько у меня там теней и воспоминаний, больше всего — о собственной ничтожности... Но и хорошие, конечно, есть — конечно, есть, но все — и хорошие — и плохие, больные, печальные... Мне бы там надо одной побыть, а я его туда тащу... Еще больше, значит, буду одна, если вдруг — с ним, не начнет ся нового романа, с каким-то новым раскрытием друг другу...

И там, одной, продумывая свою горькую жизнь, — писать трагедию и все в нее вложить, и перевить ее всю стихами. Осмыслить весь путь свой. Или это — вообще химера?

Он сегодня предельно нежен и заботлив, и этого мне почему-то тоже стыдно, и я вся сжалась, и почему-то стыдно сейчас встретить их ласково, — точно согласиться с тем, что вчера — все было правильно, и он был прав, а я — нет. А объясняться... да разве ему хоть что-нибудь объяснишь? Он глух. Я уже знаю это по «постельным объяснениям»...

Ох, как же прорваться к трагедии, к утру у колодца? И так взаимно ревнивы — «бедная, нищая скудость безвыходной жизни моей» — и она, трагедия, что временами на фоне жизни кажется мне она сплошным ненатуральным вывертом... Так временами далеки друг от друга две струи внутри меня, два течения моей жизни. Кто-то, гадая мне по руке, сказал о двух линиях жизни, параллельных и нигде не пересекающихся. О том же говорил один человек, анализируя почерк... А я это знаю сама. И вот, — очень явственно чувствую это теперь, с трагедией. Вернее — трагедия не одна, другая жизнь, где-то обе жизни, глубоко под почвой вдруг сливаются, но даже я сама не могу точно определить, а только смутно чувствую это...

1) Галя хочет жить на максимуме, она хочет отдать максимум. Чему? Общему делу — победе. Почему же она — истерическая мещанка? (Она — молодая девчонка, она не в силах еще осознать свое поведение. Ошибка Фад<еева> — Олег Кошевой слишком осознает себя.)

2) Почему сов<етский> инженер, испытывающий душевную боль при воспоминании о том, как он взрывал народную стройку — неврастеник и слюнтяй? В чем же тогда разница между фашистом, взрывавшим Днепр, и сов<етским> инженером.

3)¹ Почему Маков — семьянин, тоскующий о погибшей семье, — мещанин?

4) Почему вспоминать сов<етскую> историю — это «бежать от современности»? А как же быть с [1 сл. нрзб] воспитанием революционных традиций? Уж не пора ли нам стыдиться нашего прошлого?

5) Что это значит — «блокадные настроения»? Блок<адные> настроения — это мужество и стойкость. Не оскорбляйте блокад.

¹ В тексте соей нумерации: п. 2) повторяется дважды.

О моральном уровне критиков.

Проповедуя «уважение к труду, и к человеку» — критики проявляют огромное неуважение к писателям и артистам, неуважение к общественному мнению, высоко оценившему пьесу. Имейте мужество заявить об этом вслух.

6) «У нас нет партии». Арсеньев — коммунист, б<ывший> партработник. Маков — коммунист. Партия не кончается на секретарях.

7) Передержка — Галя — «истерическая мещанка». Она говорит, что хочет счастья «обязательно вместе со всеми, и обязательно хочет знать, что делает для него — все». Почему же она — мещанка.

9/X-47.

Совершенно ничего не могу делать и думать ни о чем не могу, кроме как об улучшении квартиры. Просто психоз, даже стыдно. Но думаю об этом иступленно, истово, одержимо. Потому что где-то вдалеке маячат деньги: когда ехали из Коктебеля в Москву, и были в Москве — Крон и Сурков сказали нам, что на республиканском конкурсе наша пьеса получила вторую премию и передана на всесоюзный, и проходит там — прекрасно. Это означает не только премию в 20 косяк, но что гораздо важнее, — это означает, что она широко пойдет по провинции, и значит — будут деньги. Значит, жить станет полегче. Если же сейчас все почему-либо завалится, т. е. если даже она не получит премию на республиканском конкурсе — ну, наше дело труба. Уже и так от нее отказался Завадский, и не слышно, чтоб кто-нибудь в провинции ставил, а ситуация с искусством доведена теперь до такого совершенства, что просто хорошему произведению — без каких-либо премий, отзывов и т. п. — просто нет ходу. Итак, должна признаться, что на данном этапе мною в смысле пьесы владеют более всего меркантильные соображения. Да и вообще, я погружена в них до позора, — пока что почти платонически, и ничего не могу с этим поделать — это совершенно как голодный бред во время блокады. И, в сущности говоря, так ведь немногого хочется, господи.

Опаснейшее настроение — это «страстная, раздражающая жажда простой обывательской жизни», — и самое опасное, что располагаешься¹ на нее. Тогда как надо располагаться на совершенно

¹ Так в тексте.

обратное: на суд глупца, на «возмущенные» письма инженеров — «где авторы видели таких сиваченко», на то, что опять надо перебиваться, на то, <Далее обрыв текста.>

14/X-47.

Ну-с, кажется, мы стоим на пороге некоего внушительного благополучия: вчера звонил из Москвы Рахлин — сказал, что наша пьеса получила вторую премию на всесоюзном конкурсе! Уже после того, как он дважды подтвердил, что именно на всесоюзном, а не на республиканском, и повесил трубку — нас одолело бешеное сомнение: все-таки спутал — не на всесоюзном. Уж очень это жирно! В чудных наших условиях, где художественное произведение само по себе, без какой-нибудь частицы «де» ничего не значит, — вторая премия даже на республиканском означает постановку в других театрах, в Москве и т. д. и, следовательно — деньги, деньги, деньги!..

Мучительно, постыдно хочу богатства, — это уже почти нечто близкое голодному бреду. Вернее — нормальной жизни... Ее так мало осталось вообще, так мало было в прошлом. Я вернулась из Коктебеля в полном смысле слова красавицей, — а одеть мне — нечего.

И уж возраст — тот, когда туалет очень много значит... И хочется, чтоб дома было красиво, уютно, сытно...

Мысли о благоустройстве заполонили, забили всю душу так, что творческим мыслям не осталось места. Трагедия вызывает, а я почти не работаю. Нужно бы и к празднику что-нибудь сделать, выступить по радио — чорт возьми, «хоть и худая власть, а своя», — и жизнь-то все-таки в нее вложена!..

А теперь, после этого звонка — совсем покой потеряла. Ничтожество... Вот сейчас побегу по комиссиям — облизываться, денег-то пока нет, и даже хочется потрясти душой у Слепян, похвататься, и знаю, что ни к чему, а сил нет — удержаться и сосредоточиться на трагедии...

27/XI-47.

Мы получили не вторую, а третью премию на всесоюзном конкурсе. Весь этот месяц с лишком прошел в каком-то угаре. Много пили и много пропили. Купили чудесный гарнитур красного дерева, который

необычайно обуют и украсил и столовую, и мою комнату, и даже Юрин кабинет, где вчера подвешена очень милая люстра со свечами, но безумно «кричат» портьеры и тахта с жутким по безвкусице старым юриным ковром. Впрочем, и портьеры закуплены (не очень хорошие, но приличные), надо теперь только поймать полки, чтоб их повесить.

На диван, абсолютно необходимый, денег уже нет, как, впрочем, нет уже и всей премии. Она исчезла в 5 дней, мы получили ее 22<-го>, и даже еще не все долги отдали! Такова покупательная способность нашего рубля! Ну, все-таки кое-что удалось купить, — и то хорошо!.. О, господи, до чего же я погружена в витье гнезда... Ну, а чем лучше — служение человечеству? Толку все равно не получается...

Еще одно очень большое событие — у нас живет Андруша. Я люблю его, и он любит меня. Мальчик милый, но трудный, а я занимаюсь им очень мало. Все еще не разделалась со своими хвостами. Сценарий завтра постараюсь дожать, во что бы то ни стало, а книжка для Митьки... думаю о ней с содроганием...

Затем — надо подобрать свое «Избранное» — для «Советского Писателя»... А трагедия?! Зон опять звонил сегодня... Но чем больше хвалят мне ее — тем большие приступы сомнения охватывают меня... Уж не очень ли высоко я занесла ее?

22 <-го> был мой т.н. творческий вечер в Д<оме> П<исателей>. Я волновалась перед ним до обморока. И в самом деле — все это было более чем ни к чему! Что я на данном этапе могу и хочу сказать людям? Сама не знаю! Но — заставили. Я была в новом платье и туфлях, с очаровательной гранатовой брошью, — и по общим отзывам была очень хороша. Народищу было — масса! Скажу прямо — это польстило мне, но немало и смутило. Сделала я с точки зрения эстрады — страшную вещь: читала первый акт трагедии с лирическими вступлениями.

Слушали — отменно, хлопали неплохо, но на «Твой путь» — больше. Хорошо приняли лирику, и по общим отзывам — стихов было мало. Хорошо был принят очень плохо сыгранный отрывок из пьесы. В общем — успех, почти триумф, а внутри что-то сосет, и не только оттого, что Маруся Машкова наговорила мне массу обидных и, конечно, несправедливых вещей. Сама не знаю — что... Видимо то, что всерьез давно уже не работаю... Ах, как надо, как надо начать работать, как я давно ничего не читаю, сколько надо перечесть из русской литературы... Какая голова все время ватная, — от непрерывного пьянства, от дум об уюте... Почти не живу жизнью души... чувствую

себя прогульщиком. Рабское чувство, наверное. Может же человек раз в жизни заняться собой и своим домом?! И все же надо работать... Очень хочу опять начать писать стихи, — хоть какие-нибудь, хоть для себя. Может быть, я разучилась их писать вообще?

Вчера был у меня прием, почти неожиданный: был Прокофьев (консолидируемся!), Симонов, и Юрка и Женя Шварц с женами. В общем-то все вышло миленько, и все были довольны, но не хватало той эlegantности, которую могу дать только я, а я была занята — как председатель окружной избирательной комиссии! Что за комиссия, создатель!.. А, к чорту, к чорту все, завтра с утра рвану сценарий...

28/XI-47.

Сижу — вся в благополучии и в репарациях: перед глазами — репарационный абажур на лампе, под жопой — репарационная обивка на николаевском кресле, на окне — репарационная занавеска, как густая сеть... Благолепие! А за окном — ленинградский двор и крыши в снегу, белом и свежем, и в душе — ощущение Троицкой, той Троицкой, моей: легкая, тянущая тревога, ощущение и ожидание какой-то новизны, чего-то томительного, любовного, грустного и радостного одновременно... Ощущение души своей, полной и жаждущей немедленного расточения, и боящейся его, и наслаждающейся всем этим... И тогда, на той Троицкой, я сидела за этим столом, поставленным так же, углом, и из окна были все годы видны крыши, покрытые снегом... Вот с таким ощущением всей жизни, которая вдруг сбегается как множество ручьев в одно озеро — в душу, собирается в ней и отражает дневные звезды, надо бы заниматься главным — стихами, трагедией или «Фландрской цепью»... Мне же сейчас надо дожимать сценарий... Ну, ничего, ничего, вообразим, что это тоже могло бы быть, — и ведь верно, если бы это сыграли и поставили как надо, с душой — это что-то дало бы людям.

1/XII-47.

Господи, какой бардачище царит в городе, — как, видимо, и во всей стране. Со дня на день ждут девальвации и деноминации, а также отмены карточек. Казалось бы — радостный, торжественный акт, но не тут-то было! Население не ждет, видимо, ничего хорошего

от своей горячо любимой власти и ни на минуту не верит, что будет лучше. И вот все кинулись вынимать вклады, и бешено покупать — покупать все, что можно! Говорят, что комиссионки абсолютно опустели, — мужики, приехавшие из области, москвичи и т. д. закупают николаевские вазы, сервизы, екатерининские люстры, — все, что можно потом будет опять превратить в деньги. Говорят, что будут обмениваться деньги в определенных лимитах, значит, у некоторых, которые держали деньги под жопой — опять же не доверяя государству — остается масса обесцененных бумажек. И вот их вгоняют во что попало... Пока что позакрывали массу магазинов — якобы на переучет, а на самом деле оттого, что население все скупило! В городе ощущение паники. Все мечутся, все что-то покупают, — и это все-вовсе не одни спекулянты. Это и научные работники, откладывая на тек<ущий> счет, и с ужасом думающие, что почти все это теперь куда-то ухнет, и военные, да вообще — всенародный ажиотаж. Как-то грустно и неприлично. Вот как это сказывается на проверку, под слоем лжи и лицемерия. Не доверяют! Мне кажется все же, что еще хуже, чем сейчас, быть не может. Наоборот, будет дешевле и всего будет больше. Не может быть, чтоб государство просто-напросто ограбило население, — т. е. сделало то, чего оно и боится. Впрочем, кто его знает... Народишко зря метаться не будет, а мечутся все, а не только те, у кого много денег. И что-то разухабистое, отчаянное есть во всем этом — в ходынке у «Норда», где жрут пирожные — сразу по многу, в переполненных ресторанах — хоть пропить эти деньги, что ли, в абсолютно опустевшем рынке, в каком-то истерическом посмеивании по поводу происходящего... Чорт-те что...

6/XII-47.

Ужасающий бардак продолжается. Уже ничего нет не только в коммерческих, но и в «твердых» магазинах. Просто-напросто нет пищи. На рынке тоже ничего нет. Все до ужаса напоминает октябрь 41 г, когда также стремительно исчезли продукты, и у Елисеева несколько дней были <пачки?> суррогатного кофе, а потом и они исчезли... У меня минутами ощущение экономической катастрофы огромных размеров. Несомненно, если завтра-послезавтра объявят обмен и 15<-го> — отмену карточек, то первые полмесяца опять ничего нельзя будет достать: все кинутся насыщаться! Боже ж ты мой, до чего постыдно и как все —

на шее того, кто трудится! Что касается спекулянтов — они с вечера наполняют все кабаки и рестораны, едят и пьют... Какая-то вакханалия в городе. Ух, не завидую агитаторам по перевыборной. Впрочем, они, видно, сами прекратили это бесполезное занятие...

Все это мучит, злит и мешает жить.

Совершенно неожиданно для себя — «кооптирована» в правление и даже в президиум Л<енинградского> О<тделения> С<оюза> С<оветских> П<исателей>. Ничего хорошего я от этого не жду: все равно сбросят с раската. Только надо научиться относиться к этому — равнодушно.

На первом же заседании нового президиума наша пьеса была выделена на Сталинскую. Разумеется, не получит, — и не надо, не надо, а главное — подальше от глаз мудрейшего... Ничего хорошего из всякого «возвышения» выйти не может, — это уж мы все знаем!

Приехала и гостит у меня Муська, — глупая и жалкая до щемящести. У меня нервное состояние достигло такого накала, что физически кусаться хочется.

Тем не менее сегодня скачаю сценарий и завтра буду подбирать однотомник для «Сов<етского> Пис<ателя>». Это наиболее верное дело, а все остальное, включая трагедию — блеф.

№ /47. Была реформа. Ограбили, конечно, людишек, как могли. Но если будут продукты по этим ценам — как-нибудь прокрутимся. И м<ожет> б<ыть> даже — будет легче!

29/XII-47

— Оставь меня... Мне ложе стелет скука,
Зачем мне рай, которым грезят все?

Была (хочу писать о себе в единственном числе, без соавторства) на т.н. «генеральной» репетиции нашей пьесы в БДТ.

Убожество.

Или — неужели — это пьеса такая?

Семилетов — главный герой, Коля, Яша Бабушкин, — Арсеньев, — лучше неподвижного Иллича, но — господи, — зачем он так улыбается?! Он улыбается непрерывно. Его лицо ОЖЕСТОЧЕНО улыбкой, оно все застыло в ней. Боже, Боже, неужели это Я так написала? Такую застывшую маску?

Или, Или, Лива Савахвама,
Отпусти в закат...

Вот жизнь: сперва — Коля, с его Маяковским, с его свободой и красотой, и всем, что было — отрицанием меня, «уютю», «бабства», и т. д., и т. д., Коля, — и немного Яша, одинокий, влюбленный, ломающий себя; потом работа с Юрой, в которой он не понимает 3/4, потому что мне стыдно выдать это тайное мое понимание образа. Но все же как-то — срабатываемся, пишем, мучимся, мучим друг друга (незачем, главное, нам бы на нашей широкой тахте забавляться... Разве у меня уж такая плохая кожа? Разве у него... но о нем когда-нибудь после — и тайно, тайно...) — и в результате?...

Истеричная приспособляемость Нат<альи> Сер<геевны> Ращевской (родственницы зам<естителя?> Николая II) — и эта маска, эта напряженная улыбка Семилетова...

И это — вместо Яши и Коли?

Вместо их настоящей второй жизни?

Значит — это Я так плохо написала?

ГОД

1948

5/1-48

О, неужели я когда-нибудь сяду за стол, и никуда не торопясь, буду просто писать стихи, какие хочется? Неужели это было и может быть?

Спектакль, конечно, очень плох, а зритель 30/XII принял его почти отлично. Неужели что-то доходит?

11-го — официальная премьера с начальством и т. п. 8<-го> — второй прокат на собаках, — смотрит какая-то конференция учителей. О, господи... Как сказано в стихах одного некогда знаменитого поэта

Сколько силы нам, соседка, надо,
Сколько ненависти и любви...

А на что они, собственно уходят, силы? Неизвестно на что.

Глупо идет жизнь: денег зарабатываю все больше, а их все больше не хватает, и все больше непокрытых потребностей. Все меньше времени для себя, для души, — а необходимость в этом все больше, все неодолимей. Все меньше читаю, [а] и ощущение душевной необразованности — все растет. Все больше хочется сказать людям, и возможностей к этому — все меньше...

7/1-48.

Как одержимая, думаю о нашей пьесе и спектакле. Какая хорошая пьеса и какой бы мог быть хороший спектакль... Завтра — смотрит его целый зал, учителя... Все думаю и думаю об этом, наизусть читаю целые сцены, мучусь тем, как абсолютно провален директор, и дура — Рашевская не захотела его заменить... Как бы я могла поставить его!. Сколько бы настоящей радости дал он людям, особенно

на фоне всех этих чудовищных «Хлебов насущных...» и т. п. лжи. А они кое-где и в нашем спектакле дают ложь, да и артисты неважно, за исключением некоторых. Но как я желаю им успеха, как мне хочется, чтоб на спектакль ходили. Будут ходить — значит, раскусили в нем нашу правду.

Вчера и сегодня страшно унижались из-за денег. В доме — ни гроша, дров нет, отвратительно пахнет сыростью, которая развилась из-за гнусного газа, нянька оказалась дубьем и серостью, не могу себе к завтраму чулок купить — не на что. Как говорится, «только у нас в стране» возможно такое явление. Грустно, и усталость одолевает, такая глубокая усталость, что себя жалко....

28/1-48. Ночь на 29 января.

И снова всю ночь будет болеть сердце, и биться, и будут сниться дурные сны, страшные и похабные. Этого могло бы и не быть, наверное, если б опять не выпила — 200 гр<аммов> водки и грамм<ов> 300 вина. (Боже, ко мне идут!) Нет, это не ко мне — это кто-то ломится к жильцам наверх, спрашивают «Анну Андреевну». Их двое — по голосам пьяная женщина и пьяный мужчина... Чорт с ними... Их все-таки пустили — там наверху... О, жизнь, когда каждый час ждешь руки, которая опустится на плечо!..

Я хочу начать книгу свою «Воздух занят» с упоительных картин детства, но еще прежде, чем я успею вспомнить о них, — спазма сжимает мне душу, ум, дух...

Тысячи раз я одергиваю себя, приученная к самокритике, — а может быть, я не права? Но меня просто мутит, я пью, чтоб забыться, да, да, чтоб просто забыться, и я уже «забылась» настолько, что давно не пишу стихов, почти разучилась мыслить, еле пишу, пьянею мгновенно и некрасиво, как на рауте у Горбатова... Но, может быть, только этого от меня и хотят? Может быть, вся эта громоздкая система террора, унижений, хамства, лести, мздоимства — устроена только для того, чтоб стереть во мне человека, личность? Ведь догадывались же об этом Достоевский, которого сейчас преследуют у нас, как Зоценко, и даже Толстой?..

Впрочем, я пускаюсь уже почти в литературоведческие исследования, меж тем как цель этой бесплодной, как и все, записи, была одна — информационная.

Восьмого был чудовищный спектакль, 11/1-48 была премьера. Был аншлаг, т. к. все билеты пустили на публику, и была вся наша власть во главе с Попковым, Лазутиным и т. д.

Не стану описывать свое полуобморочное состояние во время премьеры, где позора и трусости все же было больше, чем горечи, оттого что трушу начальства, и невозможно было преодолеть это, и лишь тогда, когда, как на лик судьбы глядя на упитанные, тупые рожи начальства и обнаружив, что ОНО УЛЫБАЕТСЯ, СМЕЕТСЯ И ДАЖЕ рукоплещет вместо того, чтоб тут же кричать — «в кандалы!» — слегка успокоилась... Описание это стоило бы «Современной идилии»...

В общем — директор сказал, что «Оно» осталось довольно. Теперь говорят, что «ОНО» все же не довольно и даже отдало приказание — разгромить...

Но хоть и вновь тошнотный страх заливает и без того измученное водкой сердце — дело не в этом: хожу с чувством глубочайшей потери: нет моего, нет нашего спектакля, опять нет, как в Камерном.

И публика в общем «берет», и пока (до удара) — официальный успех, но недаром уже до десятка людей говорят, что глаза у меня погрузтели. Не то, не мое, не понято, не сыграно и не... не... да что там «Не»!.. Не «недо»... а просто НЕ. А пьеса имеет все возможности быть отрадой и отдохновением [<1 сл. нрзб>] обычного хорошего человека...

И в этом обида. Потому что согласна на любой разгром, вплоть до Аннинного креста, если есть знание, что то, что хотел сказать — сказал. Но когда то, что ты хотел сказать — превращается в неузнаваемое тобой до такой степени, что ты сомневаешься в созданном, — о... это очень, очень тяжело...

Неудача спектакля — итог всей нашей неправильной жизни... — «не читки требует с актера — но полной гибели всерьез...» А театр во главе с Рашевской — выдал именно читку, да наполовину не всерьез!..

Но что поделать со старой Рашевской? Что спросишь с ее заместителя — нашего друга Германа, который живет только затем, чтоб прокормиться и уже не способен не только на «полную гибель», но даже на конфликт с сильными мира сего. «Аренды, аренды хотя эти патриоты...»

Боже мой, как малого я теперь хочу: проснуться бы завтра без тянущей алкогольной тоски, без пустой груди и пустыни в глазах — о, только бы без этого... И жить тем, что пойдём с Андрюшей в лавочку, а потом дам А<нне> А<ндреевне> обед, и... за обедом опять напьюсь — и снова уснуть...

Нет, нет, завтра надо и поработать, и урегулировать дела с папой и с Литфондом...

А завтра — шесть лет Коли...

Нет. В постель. Как хорошо, что никто не пришел.

О Москве потом, если захочется.

29/I-48.

Шесть лет со дня смерти Коли.

Написала эту строчку — и не знаю, что же писать дальше.

О, какая тоска, какая боль душевная, какая немота — хоть бы пошли, «хлынули горлом» стихи. И тоска тупая, остывшая.

О, господи, дай жгучего страданья

И мертвенность души моей развей...

Сижу и думаю над моей жизнью — и все более странной, мучительно странной кажется мне она. В сущности — она катастрофична: такое счастье, как две мои дочки — и их страшная гибель. Коля — и страшная его гибель... Настоящая, народная, честнейше, всей правдой и только правдой заработанная слава — и непрерывное ожидание кары за нее, удара сверху, — что имеет основания и в общей судьбе искусства и в том, что «наверху» не только, т<ак> с<ка>зать>, не санкционировали эту славу, но демонстративно не признают ее, — замалчивая меня в течение ряда лет, или глупо ругая, не награждая, не выдвигая — т.е. не соблюдая элементарных традиций. Это бы — плевое дело, если б за всем этим не стояла «угроза каторгой». И я, как щедринский тип, который неизвестно за что сочтатан «злодеем» — «трепещу ежемгновенно и прежестoko» — а почему, собственно?! За что этот вечный страх, отравляющий жизнь... Эти уши и глаза — всюду, всюду...

Впрочем, я вступаю здесь в сферу почти «вечных вопросов...». Выяснить это — нельзя.

Юра... Юра — счастье... Но вот он поехал в Москву, и я настолько не верю в служебную необходимость этой командировки, что вроде как бы рукой махнула... Счастье с ним тоже отравлено недоверием.

Андрюша — да, но его могут отнять. Дом, которым увлекаюсь до неприличия — но вчера, услышав шаги на лестнице — я увидела его вдруг — издалека, издалека — и поняла, что и он — не мой.

Все могут отнять в любую минуту без всяких причин, и не отнять никогда...

А душа — черствеет стремительно, и мне уже не справиться с этим, еще больше чем с тягой к вину.

Боже, как постыдно мало занимаюсь я Андрюшей, как постыдно не собралась ни разу к одинокому и больному отцу, как оскорбительно холодна с матерью, как злобна по отношению к Муське, насколько не создаю Юре ни малейших условий работы, а сама тяну его в пьянки...

Нет, полно, полно, довольно мировой скорби... Да и о чем жалеть? С чего терзаться?.. Людей вот жаль, — уж очень над ними измываются обидчики. Искусства жалко... Противно, что столько сволочи развелось... вот и опять полезла в вечные вопросы...

Надо писать трагедию. Отрешась от всего, только для самой себя.

2/II-48.

Тридцатого в «Лен<инградской> Правде» — зубодробительный разгром нашей пьесы и спектакля. Главный удар — по пьесе. Статья написана Дрейденом. Сейчас звонила Рашевская — говорит, что то же самое — в «Вечерке», только чуть попримичнее тон. Впрочем, одна деталь, о которой она говорила (я не читала еще статьи в «Вечерке») — очень характерна. Там говорится, что, мол, Берггольц была замечательной поэтессой в дни блокады, а теперь, совместно с Макогоненко написав пьесу, испортилась. Знакомый мотив! А во время блокады **они** только и делали, что запрещали, преследовали и третировали мои стихи! Еще осенью 46 г. та же «Вечерка» облила меня грязью с ног до головы за «Твой путь». А, что там! Все становится на свои места. Разве закономерно ее премирование, разрешение, постановка? Закономерно ее преследование!

10/II-48.

Еще одна гнусная статья — в «Смене», — я даже не читала... Там мы уже просто именуемся мещанами и еще кем-то. Атмосфера 37 года, — па-ахучая! Сейчас прибежали обосравшиеся Герман и Родин — директор театра. Родину звонил секретарь райкома, — «что думает делать театр с фальшивой пьесой? Ведь орган горкома — “Лен<инградская> Правда” — об этом писала»... Герман и Родин уговаривали нас «внести переделки» — «снять личную линию Гали»... В образе Гали, мы, видите ли, опорочили «светлый образ стахановки»... Сборник, где имеется наша пьеса — тоже задержан по причине Дрейденовской статьи. Машина пошла крутить. Может быть, уже в Большом Доме товарищи заготовили протоколы?¹ И все из-за того, что, КАЖЕТСЯ, Попков сказал что-то относительно «надрыва» у Гали... Как же! Разве наши советские люди могут страдать?! Эх, какой же бардак, господа...

Не знаю — что делать... Ехать в Москву — защищаться, — опять чудовищная трата души, и — господи, — может быть, то, что сейчас происходит — только начало. М<ожет> б<ыть>, папаша уже опускает книзу большой палец? М<ожет> б<ыть>, уже кипят котлы кипучие в «К<ультуре> и ж<изни>», и т. д. Горбатов говорил по телефону, что он и Фадеев на партгруппе выступали против статьи Дрейдена и что «Литературка» должна «дать отпор» — да не верю я в это...

Вот системочка-то, а? На все это следовало бы насрать, если б за этим не «воспоследовало бы» снятие пьесы, а значит — денежный прорыв, и опять на тебе чуть ли ни 58 статья..

Ну, как тут ни спиться? Уже героизм, что в петлю не лезешь!

11/II-48.

Сегодня постановление ЦК о музыке...

По радио целый день шпарят «и кто его знает, зачем он моргает», «лучинушку» и прочее...

А Шостакович — антинародный, формалистский и пр... Ударено — жестоко, глупо, дико — по лучшим русским композиторам, нашей национальной гордости. Значит, никогда уже не услышу трагически-прекрасной Восьмой, и части жизни своей — Седьмой сим-

¹ Фрагмент со слова «крутить» до слова «надрыва» отчеркнут слева двумя вертикальными линиями.

фонии.. И это отнято, как отнята «Жизнь в цвету» Довженко (фильм), как отнято многое и многое...

Что говорить о Дрейдене?

Почему-то сегодняшние радиопередачи вызывают во мне смех, — все эти «лучинушки» звучат сегодня как-то двусмысленно, в день когда музыка должна бы быть в трауре...

Останься пеной, Афродита,
И слово в музыку вернись,
И сердце — сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито...

...Была у меня сегодня — встреча с областными молодыми писателями... Боже, как вяло я что-то тянула, как боялась высказать какую-нибудь мысль, как все время видела себя со стороны, как ощущала присутствие «информатора», и слышала свой вялый, ханжеский голос... Никогда еще, пожалуй, не выступала я так плохо, как сегодня, и ничего не могла с собой поделаты! Добились — вяленой воблы?...

13/II-48.

К постановлению о музыке народишко отнесся с каким-то тупым стоном... После 14 августа, конечно, это производит впечатление, скажем, ФАУ-2, упавшего на то место, где взорвалась атомная бомба, хотя по музыке ударили резче, и при этом — по всей музыке, по самым даровитым, всемирно известным композиторам, объявив их почти вне закона... На что же они будут теперь жить? Но это никого не интересует! Зоценко живет впроголодь, Анна Андреевна и того хуже, а что за безобразии выкидывают с ее Левкой! Моя заступа перед А. Н. Кузнецовым, видимо, не возымела никакого результата... Ну, что же делать? Куда кинуться? Просто непонятно. Обрекли людей почти на голодную смерть — и никому нет дела до этого, и это считается «идейной борьбой»...

Меня лично, даже при очень тупом восприятии, больше всего пронзило негодование ЦК на «бестекстовую музыку»!. Боже, Боже, вон куда подбираются. Действительно — играют чего-то, а чего эти звуки означают? Может — заговор? Нет, давай слова!..

Старуха недавно была у меня. Еле выдержала и, стыдясь этого, любя ее, страдая за нее, и все же томилась ею, и было неприятно,

что осталась ночевать, боялась — помрет у меня, потом выпутывайся... Позор... Но зрелище человеческого распада — мучительно, и особенно тогда, когда распадается большой талант и большой интеллект... Я, кстати, тоже накануне распада... И главное, никак не устроиться, чтобы не пить водку! Завтра нужно принять Горского (докатилась до приемчика — принимаем шпика!) и Герасимова, — я подписала сегодня с ними соглашение на однотомику, на 116 тысяч р<ублей>. Москва единственной мне утвердила однотомику на 7000 строк... Откуда я их наберу? В свою трагедию я уже почти не верю — столько я о ней трепалась! И времени — все меньше и меньше, ни на что меня уже не хватает! Вот — хворают Андрюша, бедненький такой лежит, милый, а я почти не уделяю ему внимания. Вчера опять выступала, почти провал, конечно, но ничего, ничего я уже не излучаю... Завтра опять — «творческий вечер» у ученых, — зачем? И не отвязаться от них никак...

О, пожалейте бедного Орфея,
Как трудно петь на вашем берегу...
Взгляни, отец, взгляни, как сын, слабея,
Еще сжимает лирную дугу...

И, наверное, все же придется смотаться в Москву из-за пьесы... Тут пока все заглохло на несколько дней, но нельзя, чтоб эта воющая волна пошла дальше... Почему-то очень мало получили авторских сегодня, — хоть бы деньги иметь с этого позорища.

А утром вдруг села за монолог Анны, и если б не нужно было куда бежать, как бы я поработала... Уже час ночи... Надо сегодня хоть театрам ответить...

18/II-48.

Боже мой, боже мой, помоги мне... Наверное, все-таки меня хотят арестовать и вся эта кампания с пьесой — только подготовка, т. е. предварительная компрометация.

22/II-48.

Я никогда не ждала так «того звонка», — как сегодня. Наверное, это оттого, что приходила А<нна> А<ндреевна> со своим бредом...

Она говорила, что какие-то люди говорят о наших ужинах со свечами, о том, что я роскошно живу, и «не имею на это право», и т. д. Люди также недовольны тем, что «высокопоставленные москвичи» бывают именно у меня...

Во многом виновата я сама. Я много треплюсь о том, что мы покупаем, — мне все еще хочется поделиться своими радостями с людьми, все еще не могу научиться не доверять им. Кроме того — я явно тщеславный хвастун, и во многом расплачиваюсь именно за это...

Все это, м<жду> п<рочим>, давно известно. Сплетничают обо мне давно, — и о моем «разврате», и о пьянстве — и о том, что я сошлась с Юркой «из-за продуктов», и о «роскоши» в моем доме... Но сейчас это действует на меня болезненно. Общее преследование всех, в частности, постановление о музыке, и то, что Шостакович признал мудрость и правильность всего этого и пообещал писать «понятную народу музыку», и то, как чудовищно вели себя на правлении, на обсуждении нашей пьесы Ходза и Дрейден — все это наполняет сердце каким-то предсмертным томлением.

И вспоминая, что в Москве, во время подготовки наших «Верных сердец», — Дрейден все время специфически острил и хохмил насчет нашей красочной действительности, а мы хохотали, — еще тошнее: донесет! Да он, наверное, просто провокатор...

И уверенность вдруг, что вхож в дом и принят за ближайшего друга какой-то страшный предатель, регулярно от нас идущий прямо туда...

Страшная, подлая, но неотвязная мысль — не Юрка ли Герман? Да нет, я просто с ума схожу и сама подлец.

Боже, Боже, как отрешиться от всего этого, как начать работать? Дикая немота внутри. И вот, видимо, надо ехать в Москву, потому что вонючий ком из Л<енингра>да может покатиться (и, кажется, уже покатился) по периферии. А премьеры намечались в Риге, в Таллине... Поехать надо, но думаю об этом с мукой невыносимой...

Аннушка принесла мне сегодня снимок с Владимирской Богородицы. Точно благословила...

В общем-то, мне пищать грех: у меня ТОЛЬКО пьесу заваливают, а у Анны, у Зоценко, у Шостаковича — зачеркнута вся предыдущая жизнь, и навряд ли получится будущая. А запрещение «Жизни в цвету» — Довженко... Да что там говорить! Бардак-с!

24/II-48

И вдруг, сегодня утром — внезапное и полное освобождение от обиды, боли и ощущения утраты из-за пьесы. Точно отпало, отвалилось — как цветок у созревшего плода, как короста над зажившей раной.

Боже мой, это же вовсе не вся жизнь, это же не вся жизнь, а есть еще вся жизнь, как бы мало не было ее до атомной бомбы...

Ну, провал пьесы, ну, оклеветали, ну, вдруг даже наша неудача — но ведь есть же еще вся жизнь, — Андрюша, Юра, сегодняшний морозный день... И вдруг это стало не только мыслью — но ощущением. Все стало так просто — господи, ну не идет пьеса — пусть! Родин сказал — на 20<-е> было куплено 88 билетов. Ну, что ж, — не хотите — не надо. Я предложила вам все, что могла, все что было лучшего во мне. Вы не хотите этого? Ну, что ж. Но разве я от этого хуже? Боже мой, как спокойно и хорошо...

И так хорошо было, что... не выдержала опять себя — и выпила 100 гр<аммов> и слегка замутила все... Но и до сих пор ничего.

Зачем-то все-таки надо ехать в Москву, трепать душу, доказывать что-то тем, кому ничего нельзя доказать. Зачем, зачем? Не понимаю. Родин сказал: «Надо переделать Галю. Ну, как же, она — всесоюзная невеста, стахановка, она должна быть счастлива, а она ходит недовольная, ей чего-то надо, она почему-то не совсем счастлива, — так нельзя. Это надо переделать!»

И вдруг я поняла, что это не имеет ни одной точки соприкосновения со мною. Это, действительно, как сказал Пастернак — где-то расколослась звезда. Я не буду так переделывать. Пусть не идет даже во всем Сов<етском> Союзе. Ну и что ж? Зато со мной остается то, что я хотела сказать. Иначе — оно уходит от меня. А 88 зрителей? Я предложила вам душу, вы не взяли ее... Не надо!

И ехать мне никуда не надо.

Как бы объяснить это Юрке?

И пусть печатают все, что хотят — это не соприкасается со мною отныне.

О, только бы эта внезапно возникшая свобода — не ушла.

Она уже тускнеет, но, наверное, это водка. Неужели все-таки надо звонить Шуваловой, ехать в Москву и т. д.?

Вечер.

Пришло «Сов<етское> Искусство», а там в ред<акционной> статье о том, что нашу пьесу комитет «навязывал» Ермоловцам и Малому,

а они «еле отбились»... Не могу не сознаться, что это царапнуло, но не больше.

О, нет, это не относится ко мне. Кто-то устраивал возню вокруг пьесы, кто-то трусил — принять ее, кому-то она не нравилась — это не я...

В себя, в себя!

Мгновеньями — строгое, почти религиозное, «толстовское» состояние, — стремление уйти от суеты... Это перебивается суетными мыслями.

Ох, и возрадуются Ходза и другие... Ох и попляшут на моих костях на партсобраниях... Ну, ладно, ладно, чорт с ними. Надо подняться, встряхнуться, «подумать, будто бы этого никогда-никогда не было», — и погрузиться в себя...

3/III-48

Прежде всего мне надо прекратить пить. Нет, нет, довольно, а то этак и с ума спятить можно. Теперь мне ясно, что эта мучительная тоска и страх — во многом от водки. Нет, нет, конец, больше не пью, особенно так по многу, как позавчера.

Была в Москве. Ужасно! Особенно разговор с Фадеевым, кот<орому> пьеса наша «очень не понравилась», потому что там все люди «с уцербинной», т.е. недостаточно счастливы, а это «не типично для нашего общества, идущего к коммунизму»...

А, ну их всех, жестоких и лживых.

У меня одно желание: безвылазно сидеть в доме своем, — может, и начну работать, может быть и пройдет эта страшная немота...

Но только надо знать, что впереди много-много времени, и никуда не надо бежать, — ни на правление — как сегодня, ни на идиотские наши партсобrania. А я теперь совершенно не могу работать, зная, что куда-то надо бежать...

7 марта.

Вдруг, совершенно не желая того, открыла какой-то ящик бюро, чтоб сунуть в него какой-то счет, а там Колины письма, взяла одно, стала читать — и вдруг он рядом, живой, прелестный, наивный, влюбленный, и такой прекрасный, полный такой жизнью молодой, что

сизжу вот сейчас в недоумении — что же делать после этого, — погнать немедленно или жить, и куда же мне бежать, куда деваться, и что же делать, — ведь даже сказать некому — Юра и Андрюша милые, они рядом, но разве им об этом скажешь? Ведь вот что у меня было, какая драгоценность, — как я ее расточила, как проворонила, как потеряла навсегда, — хотя она все же со мной, и только со мной, и живет только во мне... Но как же так, все-таки, неужели же безвозвратно это ушло? И мои там письма — ах, какая же я дура была, какая беспощадно молодая дура, — и все же в чем-то умнее меня сегодняшней. Наверное, жизнью умнее, наверное тем, что жизни было во мне много, хотя и глупой.

Коля мой, Коля, как горько я наслаждаюсь сегодня тобой и всей прошлой жизнью.

Почти изнемогая от этого, тем более, что пыталась излить это в стихах, раз некому сказать, а — стихи-то никак и не идут, физическое ощущение немоты, пробки какой-то, плотины, бездарности...

Водки выпью. Пойду, выпью из флакона. Все равно уж сегодня немножко пила за обедом... А то подступает вновь тоска и страх, а выпью — и разойдется немного...

Вот — опять и опять не могу вынести себя. Спиваюсь, уже исписалась. Взясась было за трагедию — но такой она мне после Колиных писем плоской, фальшивой и надуманной показалась. Нет, не там, не в том, что я в ней пишу — а вот в этих наших письмах настоящая трагедия — она такая простая, и простотой этой своей — трагична, она ужас какая простая — она просто жизнь. Милый, с такими глазами золотыми, любил меня, сердился, думал о детях, — господи, как я вижу его — и вот его нет со всеми его надеждами, а я живу и знаю, что уже не на что надеяться. Он мертв, но еще как бы надеется — а я живу и уже ни на что не надеюсь из того, чем совместно жили в пору этих прекрасных писем. И его пережила, расточила, и наши общие надежды пережила... — «Я пережила свои желанья»...

8 марта 48

...Сейчас позвонила по телефону Майя Перельман, та самая, с которой у Юрки был когда-то «сложный» роман, к которой я дико ревновала его (так сказать, «взад»), к которой он — я уверена, ездил в 44 году, когда мы были в Москве.

А его нет, он на женском празднике в издательстве, так он мне сказал, позвонив в семь часов и пообещав прийти в девять. Однако же, уже двенадцатый час.

Сегодня, когда ходила по городу по любимым теперь своим делам — по магазинам, покупая всякую чушь для дома — тарелку, свечи и т. п., — вдруг, совершенно почему-то уверилась, что он обманывает меня. Он опять заговорил сегодня о том, что видимо, «придется съездить в Москву по поводу архива Новикова», а я четко и холодно подумала: «Врешь, ты едешь к какой-то бабе, как ездил недавно». И мне показалось, что вот он уезжает, а я сажусь в другой вагон, вылезая вслед за ним в Москве, а его там уже встречает какая-нибудь Исакович или кто-нибудь другой.

Возможно, что я — просто Петухов, что мой московский опыт подсказывает мне это — и не больше... но нет. Не может меня обманывать адское мое предчувствие...

Кто чего боится — <Далее обрыв текста.>

15 марта 1948.

Но, господи ж боже мой, как же я все-таки напишу трагедию, которую мне надо было уже сегодня, под угрозой описи имущества, представить в Москву? Ни одного стимула почти не нахожу я внутри себя для нее. Авария с нашей пьесой, полный ее провал в Ленинграде, то, что ее не взял ни один театр в Москве — и это после двукратного-то премирования — при всем моем стоицизме и отчетливом понимании, что она и не могла быть «ко двору», — все-таки наполнил меня раздраженностью и тягостным недоумением. Неужели же мы так далеко и так глубоко заблуждаемся, что дали настолько плохую и непригодную вещь, что решительно никто не захотел сразиться за нее? Неужели же я чего-то в ней не слышу такого, действительно фальшивого, что слышат другие, — не все же подлецы типа Дрейдена? Или уже общественное разложение зашло так далеко, что ему не видно никакого горизонта?

Во время написания пьесы я неоднократно думала о том — не ложь ли она? Но я ведь думала это с точки зрения совсем иной, чем точка зрения Фадеева. Я думала это потому, что мне временами казалось, что писать честно можно только о той страшной трагедии разочарования, которую переживают все мыслящие люди.

Мы же, чуть-чуть, кое-где ее касаясь то словом, то интонацией — пытались все же изобразить наше существование как в основном благополучное. Видимо, за это мы и поплатились. Элементы «большой правды» были угаданы, видимо, почти всеми. И порядочных людей раздражила убудочность «большой правды», а негодаев воспалило уже одно присутствие элементов правды. Тем более, что гонение на малейшие признаки правды достигло небывалого размаха, и такой откровенности, что просто диву даешься. Мимо внимания стоящих на страже не проходит, не проскакивает уже не малейшее живое дыхание. Тому примеры бесчисленны: история с «Кружилихой» — за что ее бьют, по каким местам? По местам наиболее правдивым — «зачем люди лично несчастны», «почему у них неблагополучие в личной жизни», «как может руководитель профсоюзной организации быть узким и ограниченным», и т. д. Бьют по правде деталей, по правде сложности жизни. Разгром прекрасной книги Твардовского идет по линии преследования вовсе не неудачного кулака, а по линии правды чувств воющего человека, горящего о родине, и радующегося ее истинным победам. Запрещение «Жизни в цвету» Довженко идет по линии борьбы с правдой индивидуального большого характера, — «зачем колючий ученый, почему он одинок?» и т. д. Я не говорю уже о походе на музыку, которая, особенно в произведениях Шостаковича, особенно в его гениальнейшей Восьмой — была едва ли не последним убежищем правды, — а значит, и человеческой души — убежищем, не подвластным контролю и директиве. Но и на это последнее убежище наложен запрет, т. е. совершена попытка ликвидировать самую мысль, то, что не произносится вслух, на мышление, на душу, — на все то «бестекстовое», что все-таки еще свободно... Теперь этому великому Бестекстовому запрещено как бы то ни было выражать себя, — конец, пусть будет полное безгласие, или одно славословие, или комбинация знакомых текстов. Подтекстовое тоже преследуется со всей яростью; мы, в частности, пострадали именно за это подтекстовое, иначе говоря — за большую правду, загнанную в подтекст, да еще гл<авным> обр<азом> — в интонационный подтекст. Да, да, эта большая правда — это присущее почти всем ощущение грусти и «ущербности» жизни — «нам было так трудно, что мы редко говорили об этом», — вот это-то и было разгадано Попковым и Фадеевым, который заявил, что пьеса «не типична потому, что почти все люди в ней с какой-то ущербностью». Мы не имеем право

на эту «ущербину», т. е. не имеем право, как счастливые граждане, хоть на какое-нибудь смятение, хоть на какую-нибудь неудовлетворенность, пусть даже личную, пусть по любовной линии, — «участие наших людей в строительстве коммунизма перекрывает их личные неурядицы», — заявил мне Фадеев.

Мы обязаны быть счастливы. И мы имеем право говорить только об этом — как мы глубоко счастливы, как нам хорошо.

И вот в усиливающемся духовном терроре надо написать вещь высокую и свободную. Я пишу и знаю — вот об этом, самом чистом и правдивом — обязательно будет сказано — «неправдиво», а об этой мысли скажут ничего не значащее, но сакраментальное слово — «путано», а все в целом будет обозвано «фальшивым» — только потому, что там намечается какая-то правда чувств. И мне уже самой стало все казаться «фальшивым» — они убедили меня. И меня уже неодолимо воротит на вставление каких-то защитных щитов из знакомых текстов и знакомых им мыслей. *Напр<имер> — о т<оварище> Сталине — чего уж проще, и как же без них — а? И знаю — как!...* Я сопротивляюсь этому, и силы уходят на негативную программу, куда-то вне, а не внутрь, не на пользу трагедии. Оторваться от этого — страшно трудно, а может быть, уже и невозможно. И это бы еще ничего, я бы оторвалась от действительности и ушла бы в правду вымысла (не в ней ли, не в правде ли вымысла — наше общее спасение?), но мне надо это сделать быстро, т. к. эта борьба за правду в невозможных условиях есть в то же время единственное средство моего материального существования. Как только я узнала, что мне во что бы то ни стало надо сдать либретто, а то будут требовать долг — это парализовало меня до полной утраты каких бы то ни было способностей... Это еще распущенность, конечно, и я просто ищу оправданий к бездельничанию моему, но господа, господа, согласитесь, что это все-таки трудно: после постановления о музыке писать вещь для музыкального воплощения, наверняка зная, что она нужна только для того, чтобы не взяли с тебя денег.

Я совершенно не хочу работать, мыслить, тшчиться. Я хочу стряпать, наряжаться, читать Андрею, и читать, и тихо-тихо думать, и писать — о себе.

И опять бегала от себя целый день. Пошла в ателье, взяла малоудачную блузку. Пошла в комиссионки — любимейшее занятие, — захотела купить ту старинную вазочку для пепельницы, на которую

пожадничала, а купила идиотскую саксонскую чашку, — ее уже кто-то купил, купила блузку — плохонькую, но у меня никакой для костюмов. Потом поехала на Герцена, где была оставлена часть денег для люстры — в столовую, заплатила сполна, внутренне рыдая, что кончаются деньги, и поехала домой, купив по дороге пол-литра. Нет, я спиваюсь, это несомненно. За обедом выпила грамм<ов> 150, внушая себе, что «это для сердца не вредно», потом слушала ББС, потом примеряла теплую блузку и, примерив, убедилась что я еще — о-го-го, даже пикантенькая, теперь пью очень крепкое кофе и пытаюсь сделать вид, что смогу за ночь — одну ночь — написать два акта трагедии. Но уже скоро надо будет послушать Америку (мы купили радиоприемник и уже третий день слушаем пространство, расположенное за железным занавесом), потом придет Юра, там осталось немного водки, мы допьем, расчешемся, а потом я засну тяжелым сном, полным кошмаров — то бомбежка, то арест, то квартиры лишаемся, то смерть Николая или Иры, — как они превращаются из людей в оборотней, — и потом, после 2-3 остановок сердца, сон, и пробуждение, когда не хочется открывать глаза и с ужасом думаешь о том, что впереди день, и эта особая, почти звучащая, почти ощутимая, как физическая боль — тоска... И так давно, давно...

Клиническая картина падения и деградации. То, что я ничего не пишу — от этого. Просто алкоголь, — и все.

Пытаясь весь день хоть что-нибудь написать, я вдруг услышала фразу, которой могла бы начаться четвертая картина (третий акт): — А у врагов опять сегодня пир...

Потом следовало вышеописанное. Потом пришел Юра. Надо сказать, что вперемежку с мучениями духа в Андрюшиной комнате адски дымила печка, ничто ее не могло исправить, и по тому, как она дымила, я поняла, что это — отсутствие флюгарки. Но кого можно найти, чтоб поставить флюгарку? И это — проблема в социалистическом обществе. Флюгарки ставят по плану, исходя из предположений, что ветер будет дуть только с одной стороны в течение всей пятилетки... (Пока не забыла: въехали в эту квартиру, в начале 43<-го>, нет, даже в конце 42<-го> топили первый раз печь в моей комнате; вымерший Ленинград, пустые квартиры — пустой город, наша квартира, куда въезжали — такая же: кто-то тут умирал, что-то страшное было. Хотим затопить печь — вот она еле растопилась, тлеет в ней тяжелый красноватый огонь, — а потом как дунет дым в комнату,

как повалит, клубами, огненными языками — точно кто-тодохнул в печку — откуда-то сверху. «Домовой печку жопой прикрыл»... И дым валит по полу, пышет прямо в лицо пламя и дым из чужого очага, тоскующего, разоренного, давно охладевшего, — у м е р ш е г о. Это мы чужой¹ очаг пытаемся разжечь, не принимает он нас, плюется нам в лицо, не хочет греть, не хочет озарять нас. Я приручала печку в моей комнате, как живую, но до сих пор не знаю, вполне ли приручила: вдруг иногда пахнет она тяжело, чем-то не нашим, не моим, удушьем, угаром, бедствием). Так вот у Андрюши сегодня так же дымила печка вдруг — дурила. Андрюша тоже часто дурит, характер у него все тяжелее — потому что он уже не в гостях у меня, а навсегда, и уже не «ведет себя», а просто живет. И, как печка, дурит. Да и с чего ему любить меня, за что? Я же мало трачу времени на его приручение. Итак, печка дымила, в комнате у него холодно, пришел Юра, все ему было собрано, все хорошо, сели, выпили. Я говорю: «Печка дымит, поставь флюгарку». Он начинает кричать: «Почему вы не позвали печника, позовите вы, это же так просто, — надо просто съездить к дяде Мише, — и все, неужели вы не можете» и т. д. Как всегда...

— Маленькая, это так просто — надо просто поехать и добиться разрешения пьесы, ничего особенного делать не надо... — Маленькая, это всего на два дня, — надо просто съездить в Москву, сходить к Кузнецову, к Фадееву, в ЦК, души на это тратить не надо, надо просто выяснить, будет пьеса идти и как к ней относятся... — Маленькая, у нас дров нет, так просто позвонить Мухину и попросить у него машину дров... — Позвони Иванченко и попроси, чтоб она устроила тебе сахару и муки... мне противно писать Вале (матери Андрюши, бывшей жене, с которой Андрюша был задуман и зачат, как символ вечной связи между ними) — ты просто позвони ей и расскажи об Андрюше... (И знает при этом, что я все знаю)... И так — все время. И при этом еще удивление, даже возмущение — как это у тебя не хватает времени на написание трагедии?? Как не хватает времени на то, чтобы заказать бюстгальтеры, сшить кофточку, выбрать чулки и т. д. Он не в состоянии понять даже того, что с той минуты, как Андрюша возвращается из школы — у меня появляется раздражитель, некто такой, который требует от меня внимания, рассосредоточения, и мне уже ничего с этим не поделать. Вместо того, чтоб снять с меня все

¹ Слово подчеркнуто пунктирной линией.

заботы — он нагружает меня ими... Нет, уеду, уеду в Среднюю Азию, одна. Все равно, буду я с ним или нет — это не поможет мне. Он явно развлекается на стороне, — я чувствую это. Он не тот, он не тот по ночам — он тороплив, механистичен, он просто заучил приемы чисто физического «доведения», — и все. Я ощущаю это по тем же приемам, которые теперь не более чем приемы, тогда как раньше это и для него самого было — поиском и открытием....

Не в порядке подготовки будущей биографии, а просто для смеху надо было записать некоторые курьезные легенды обо мне, дошедшие до меня. Многое уже позабыла, но вот некоторые.

1. Какая-то из моих читательниц переписывалась с одним неизвестным ей военным. Она ВЫДАВАЛА СЕБЯ ЗА МЕНЯ, за поэтессу Берггольц. Переписка, видимо, была интенсивной, т.к. дело дошло до предложения руки и сердца (заочно) со стороны военного. Это было обнаружено моей сестрой Олей Молчановой, когда она находилась у своей знакомой, и той принесли почту, среди которых находилось письмо на мое имя, но на адрес их дома, квартирой выше. Заинтересованная Оля прочла письмо, в котором военный горько жаловался, что «я» прекратила с ним переписку в тот момент, когда он собрался приехать жениться на «мне», и спрашивал, как же ему теперь быть, ехать или не ехать и выйду ли «я» за него замуж...

2. Славка Июльский [рассказ] передавал мне в начале 43 года привет от одного командира с «дороги жизни», который уверял его, что он меня «хорошо знает», что я долго жила на дороге жизни, после чего написала [поэму] «Ленинградскую поэму», где описаны факты, которые он мне рассказывал. Я ни одной минуты не была на дороге жизни, никогда за всю войну.

3. Васька Ардаматский рассказывал, как однажды к их компании в ресторане «Москва» подсели военные летчики, и один из них рассказывал ему, Ваське, как я гостила у них в части, и описывал ему мою внешность: очень высокая, необыкновенной красоты, черноволосая, волосы заложены короной, очень грустные черные глаза. О моем поведении в их части летчик отозвался очень похвально: «Ребята, разумеется, все ухаживали, но она — ни-ни, никому ничего»... Это очень лестная легенда, особенно трогательно, что я — красавица-брюнетка. Впрочем, большинство читателей так себе меня и представляет: черной, высокой, «большой» женщиной, и, как правило, старой. Один майор, после того, как увидел меня на вечере, пи-

сал в стихах, начинавшихся так: — «Я представлял тебя брюнеткой черноокой с классическими формами лица». Правда, стихи заканчивались признанием моей существующей, гораздо более скромной внешности и было даже резюме: «...и понял я, — тебе не надо ни ху-добы, ни черноты».

4. Рассказывал А. Я. Миллер, что его на фронте какая-то дама по фамилии Дорогонидзе уверяла, что у нее в блокаде было нечто вроде салона, где я постоянно и часто бывала, и читала в первый раз все свои новые вещи. В том же «салоне», по ее словам, был весь тогдашний культурный Ленинград. Она выдавала себя за мою ближайшую подругу, и когда заходил спор о стихах и литературе, — говорила: «Не спорьте со мной, я дружила с самой О. Б., и все в стихах понимаю». Она приписывала мне также ряд оценок того или иного произведения. Эта легенда уже не столь лестна, сколь опасна: откуда мне знать, кто и где похваляется своей «дружбой» со мной, в каких «салонах» я процветала и т. д.?

5. Наконец, вкладываю сюда курьезное письмо некоего Важжаева, — об его «сказочке», которая появилась в печати в г. ГАВАНА на острове Куба, с рисунками Кукрыниксов, причем — и рисунки, и неизвестная мне «сказочка» были приписаны мне, были напечатаны за моей подписью.

Вообще, читатель, не видевший меня, имеет обо мне представления самые неожиданные: так, один читатель, откуда-то изда-лека, прислал письмо в стихах, где описывал, как я живу: окна моей квартиры выходят на Неву, в комнате — «белоснежные колонны» и античные статуи, какие-то вазы, «облокотясь» на которые я пишу свои стихи... Я иногда вспоминаю это, когда иду по нашей чудовищ-ной лестнице к себе в квартиру...

Занятно, что никто в письмах у меня никогда не попросил денег, или другой материальной помощи: видимо, при всей роскош-ной обстановке и своей «красоте» я пребываю в сознании моих чита-телей — абсолютно и вечно голодной ленинградкой, навсегда, неис-правимо голодной, а значит — бедной.

Не могу забыть, как после «Ленинградской» летом 42 года ко мне из ленинградских военных частей начали поступать неболь-шие продуктовые посылки, — буханка хлеба, консервы и т. д. При некоторых были приписки: «А если не нуждаетесь сами, отдайте тем, кто нуждается». Великий народ...

28/III-48

...И тянутся, и несутся пустые, бессмысленные дни, полные ненужных слов, ненужных людей, лжи и водки. И такое чувство, что не выбиться из них, как из-под льда... никогда не просветлеет на душе, никогда уж не зазвенит в душе что-то чистое и высокое, как тогда, когда писала «Твой путь».

Поэтическая «дискуссия», где я выступала вяло, по принуждению, почти ничего не излучая, но все же имела успех.. Затем — «принимала» у себя москвичей. Потом этот семичасовой кошмар в райкоме, [когда] где всплыли все ужасы 37 года... Пришла больная, напилась, плакала и ужасалась, — ведь это уж так будет до смерти — эти Мирошниченки, эти Пузанковы и т.д. и т.д. На другой день — президиум — опять до полуночи. Вчера — неожиданная пьянка с Гитовичем... И саднит на сердце — удивительное поведение Юрки Г<ермана> — я-то его, подлеца, так защищала в райкоме, а он даже говорить со мной не пожелал...

Эх, ну да ладно, чорт с ними со всеми. Как бы придумать, чтоб уйти от них всех, чтоб работать? Да ведь не уйдешь, — действительно, один выход — в могилу.

Но до чего мне ничего не хочется писать — просто удивительно...

31/III-48

Какое странное состояние в сердце: оно замирает и словно ждет чего-то. Дуновение юности проносится в нем, острая юная боль и ожидание, томительное ожидание чего-то... И в то же время сознание, что все уже было и ждать нечего.

О, что ты? Все было, все было,
И слава, и смерть жизнь, и любовь...

И все же жажда радости, и ожидание, что вот, лопнет, наконец, на душе эта бетонная корка, под которой живу столько времени, которая не дает свободно, от всей души засмеяться, обрадоваться, — возвеселиться душою...

Неужели будут стихи?

И ощущение одиночества, и самопогружение в себя — одна, одна. И это тоже старое, бывшее чувство. Быть может, любит кто-то, быть может, нет.

Поехать, что ли, сегодня за Невскую заставу, я давно хочу этого.

Все вечно со мною, со мною
И слава *радость* и жизнь и любовь.

Читаю Блока, вчера читала Шиллера, — все к трагедии. Если б медленно работать, возможно, что-нибудь получилось бы. Но я сомневаюсь теперь в этом, особенно после того, как заспешила к опере... Да и вообще — надо бы больше прислушиваться к себе, а не к образцам и не к диктанту правительства...

Нет, надо, надо быть одной. Толпятся люди, то чужие, то свои, не дают уйти в себя...

8/V-48

Ужасно давно ничего не пишу здесь. Зато много работаю над трагедией — и — нет, нет! Кажется, она получается! Конечно, я многого не слышу в ней; временами я холодею — до того надуманной, холодной и напыщенной она кажется мне. Иногда — почти рыдаю — до того она трогает меня.

Подошла к труднейшему — к концу IV акта и в ужасе: нет времени! Не позднее понедельника я должна уехать в Москву, а оттуда в Ташкент, и в Москве должна сдать ее Камерному и в Комитет.

У меня же на работу — только сегодняшней день... Ну, будь что будет. Сказать по правде — я не верю да и не хочу ни ее оперной, ни сценической жизни. Но если увижу, что вышло — хочу ее напечатать в «Нов<ом> Мире»... Боюсь все же, что она встретит еще меньше признания, чем пьеса «У нас на земле».

Вчера вечером — идиотское, постыдное заседание Президиума, — а в окнах вечерняя и весенняя Нева, — молодость, любовь, легкость и вдруг такой забытой радостью наполнилось сердце, такой нежностью и любовью. И я написала лирическую записку Ю<рке> Г<ерману> и вроде как была влюблена в него, и досадовала, что он

уехал один домой. О, ничего, ничего мне было не надо от него, мне только мое ощущение было надо и дорого, и так хотелось наслаждаться им...

И сегодня вдруг прорываются эти всплески, — но уже забота, уже надо думать о деньгах и чулках, и как кончить трагедию...

Кончу, сдам — и почти полмесяца буду одна, свободная, со стихами, кипящими внутри...

А он приходил недавно, обедал у нас, и я отлично чувствовала, — что влюблен, влюблен, даже если б он не делал этих иронических подчеркиваний в «Дуэли». И мне было смешно и приятно, и я делала вид, что не замечаю этого — демонстративно делала вид, чтоб понял, что я делаю вид...

Он обязательно появится у нас сегодня или завтра!

Господи, как глупо...

И тут же — отвратительная ревность: думается — а вдруг и у моего Юры пробегают этакие флюиды? Я — ничего, а он может наблудить, и вообще — не надо, не надо!..

Ах, я уже почти демобилизовалась от трагедии...

Ну, вот, говорила с Москвой, — деньги переведут только 28<-го>. О, блядство какое!!

21/VII-48

Отца моего, который сейчас умирает, — тоже внести во «Фландрскую цепь» — целиком.

Как шла к нему... Нет, сначала кричала ему из ледяной комнаты Радиокomiteта — «Коля умер», — и вдруг не могу больше говорить, а он кричит с того конца города, с правого берега р<еки> Невы — уже не по телефону кричит, а так кричит, что просто оттуда доносится, без всякого телефона. Кричит: «Ляля! Лялька! Лялечка!..» Давно меня так никто не звал. С детства. Только Коля, умерший, звал в минуты иступленной нежности, — такой нежности, где — еще шаг — и жестокость.

А папа услышав об его смерти, вдруг закричал кричит с той стороны — «Лялька! Ляля!» А я ничего не могу сказать. Молчу.

Холодно в <комнате> около комнаты общежития, льдом и калом пахнет. Он закричал окликнул меня детским именем — «Лялька!», и я пошла к нему.

Шла из Радиокomiteта. Юрка уже любил. (Теперешний муж.) Но отпустил — идти за Невскую. Я взяла с собой хлеба, кажется, чаю в бутылочке.

Иду. До Николаевского вокзала дошла. Истово поглядела на часы: истово стоят. Плакат — «Антон Иваныч сердится». Под ним лежит труп. Как же ему не сердиться... Пошла дальше.

Вот Старо-Невский. На всем протяжении стоят троллейбусы, засыпанные снегом, — теперь уже традиционный макет блокады. И все было — по-настоящему. А тогда между ними — трупы. Женщина везла мужчину на саночках. Я подумала — куда же, — потому что уже начинались амбары.

[¹Амбары. *Описать их.* Целое отступление в прошлое, в детство, в Революцию... *Купеческие амбары с зерном.* В революцию на них было написано прописными буквами, полукругом — «Не работающий да не ест». «Кто не с нами — тот против нас». «Охраняйте революцию». — «Ум не терпит неволи». И т. д. Амбары

Длинная улица — не улица одинаковых низкорослых краснокирпичных зданий, я знаю, — там хранится зерно. И даже, когда была студенткой, все думала, — поскорей бы их проехать. Что-то не людское. Крысы выбегали. *Почему-то вспоминался епископ Гаттон, который не дал людям зерна в голод, и крысы его за это сожрали.* И вот — иду к папе мимо *этих* амбаров. Не проехать — никак, ни поскорей, ни просто на трамваях — все вмерзли, стоят. Все вмерзло.

Надо идти, — и тихо идти, по тропинке среди сугробов, а за сугробами по обе стороны — амбары, средневековые амбары епископа Гаттона... Тихо иду по тропинке, — и думаю: «Хранилища зерна», — и обледеневший рот наполняется слюною. Думается: если б из этих амбаров взять горсть зерна и долго-долго жевать — дошла бы до папы.

7/XI-48

На Дворцовой, участвую в радиопередаче о демонстрации, «веду» Московский р<айон> и Невскую заставу, НКВД и МГБ дают мне «карт-бланш». Отец в эти часы умирает, прижимая наушники — «Ляльку послушаю... о За Невской говорит»... [Ему не] Так я и не узнала, слышал ли он меня.

¹ Квадратная скобка проставлена рукой О. Ф. Берггольц. Не закрыта.

К Главной книге. Начать на разбеге¹

Но если я не расскажу о жизни и переживаниях моего поколения в 37–38 гг. — значит, я не расскажу главного и все предыдущее — описание детства, зов революции, Ленин, вступление в комсомол и партию, и все последующее — война, блокада, сегодняшняя моя жизнь — будет почти обесценено.

Название **круга «Испытание»**.

«Пишу кругами. Восходящая ввысь спираль. Я же предупредила, что это все лишь черновик, что будет дополнения, сноски и т. д.

Сноска к отцу

Или РУ?

Красноярск, подробности смерти

19 ноября 1948 года

Почти полгода ничего не писала здесь, и странно вновь браться за дневник, — как и за стихи, — точно после болезни ходить; неужели же это может быть, что я вдруг напишу стихотворение, — появится вдруг такая потребность, и сознание необходимости, и радость после того, как напишешь... Я уж забыла, как это бывает, хотя написала к трагедии и пятый акт и многие люди ее хвалят.

Все это еще не то.

Наверно от непрерывного приема люминала и валерьянки — какая-то больничная тишина в душе и голове...

За эти полгода было — Ташкент, где главное — дивные розы, огромная масса роз, Самаркандские мечети и гробницы, и улицы, улицы совсем такие, как в Алма-Ате с Колей. Особенно по вечерам, когда лопотали деревья и арычки... Нет, наверное времени все-таки нет. Еще запомнить — театр.

Потом — Волга, Москва — Астрахань и обратно, с Юрой и Андрюшей. Оба милые, нежные и влюбленные, и я все время красивая. Но главное — Волга. Ну, сначала этот канал, грандиозное, конечно, сооружение, т<ак> с<казать>, памятник нашим дорогим каторжанам, и при входе в Большую Волгу — две колоссальные каменные фигуры,

¹ Фраза «Начать на разбеге» выделена рамкой.

кот<орые> мы увидели уже в темноте, поздно вечером. А рано утром проснулась, поглядела в окно каюты и обмерла от счастья: розовое-розовое русское утро, добрая, милая, спокойная природа, кусты и лесочки на берегу, зеркальная тишайшая вода, туманец и заря, и церквушка на холме, среди деревьев. Все такое несказанно доброе, умиленное, спокойное, такое родное-родное с пра-детства, что плакать захотелось. И вот так она разворачивалась, тихо сияя, в торжестве и могуществе доброты и покоя, и целила душу. И церквушки эти — на Верхней Волге, — непримиримо-кроткие, с почерневшими маковками. И калязинская колокольня, торчащая из воды. И Углич, мой Углич, к которому подошла вода, и храм, который мне часто снится — господи, господи, как мучительно и сладко все это было... Град-Китеж, вставший над водою... А каков силуэт Ярославля!

И Нижний, почему-то не признанный сердцем, с великолепным откосом своим, откуда видна Россия, и Сталинград... «Венера» Кустодиева в Нижнем.

Потом приехали в Москву, где стало ясно, что трагедии Симонov печатать не будет. Потом в Л<енингра>д, начала ремонт... Но это все не главное. Главное в том, что 7/XI умер папа.

И вот так же, как не могу все еще я писать стихов, так и об этом здесь, наверно, записать не смогу...

Это валерьянка, которую непрерывно принимаю с 12/XI — оглушила меня, и я сейчас пишу и ничего не чувствую... Но 12<-го> я свалилась в смертной тоске и отчаянии. Нет, это не водка, которой пила я за этот страшный месяц очень много, свалила меня, — а горе, горе, то «огорчение», от которого заболел эпилепсией Коля.

Разве же я когда-нибудь забуду дни и часы, проведенные с ним — с *отцом*. Как он маялся, как он страдал, бедненький, как долго тешилась над ним смерть, как он хотел жить! И как все вдруг повторялось: он просил — «камфоры камфоры», как Ира, и с Колиной нежностью говорил со мною.

Эта ночь, когда он говорил о «радости бытия», эта просьба — «повесели меня, расскажи мне что-нибудь...»

А я и злилась на него иногда так же, как на Колю, не в силах выносить это зрелище мучительного умирания.

И вновь — моя вина. [1 сл. нрзб.] То, что он был «на моем издивении» — не в счет. Ласка, ласка, дом ему нужен был, почет, разговор с ним, душевное уважение — а этого-то я и не дала ему. И все

Хоть сейчас — уже в конце пути
[И открыв такое счастье]
И озарен как бы закатом
Весь путь сознанием — ты со мной
Как я — обычный, *небогатый*
и живой.

ГОД

1949

15/П-49

Дошла. Он не узнал меня, пока я не сказала ему, что это — я...
См. др<угой> лист.

Всё это я помню, и запишу — потом. И о пуговицах и розах, — как хотел тогда покупать их.

Умер мой отец 7 ноября 1948 года. А я выступала в это время на Дворцовой площади, — с «репортажем». Он, говорили мне, холодеющими пальцами хватал наушники, чтоб услышать это бодрое мое — «вот идут счастливые рабочие Невской заставы».

Страшно умирал, мучительно, понимал, что умирает, и очень боялся, и просил спасти его — так же, как Ирка, — «камфоры, камфоры».

Он — тоже моя вина. Боялась, что приедет в 45<-м>, — не приняла его на руки вовремя. Лежал в больницах, — по неделям не бывала. А ближе его — у меня, в сущности никого не было и нет. Юра — божий подарок. А папа был ближе всех из кровной родни, и я по характеру — его плоть и дух.

Когда он умер — после его смерти пришло много писем от его друзей, — *к нему*, — полных любви и нежности, [*1 сл. нрзб*] и во всех письмах было о розах, и все говорили, что надеются увидеть его, и все обещали посадить те семена роз, которые он им дал когда-то. И вот стало понятно, что главным человеком был папа, чудесным, нежным, и добрым, и все это давно понимали, кроме меня, — надменной, лживой и черствой-черствой «Писательницы».

Проработав почти 35 лет врачом, снискав себе глубокую любовь рабочих и работниц Невской заставы, мой отец умирал, в сущности, нищим, — своего ничего не было, кроме жалкой пенсии, все остальное давала ему я....

Не забыть еще всю его историю с Варварой Николаевной. Сестра, спасшая его на фронте, в Гражданскую. Была любовь. Потом — долгие годы разлуки. Для меня она — В. Н. была полулегендой. А тут пришла старая старушка, и не отходила от него, и дежурила по ночам, и вдруг у него, знающего, что приговорен, — опять мелькнула надежда...

Господи, как быстро стало все вымываться у меня из памяти, — а это совсем недавно так жгло и горело, обведенное по краям режущим ярким светом...

20 мая — <22 июня> 1949¹
 Записи о Старом Рахине
 Колхоз 1949 г.²

<Далее вложена вырезка из газеты: Письмо академика Павлова советской молодежи — см. комментарий.>

21/V — 9 до 4 — 4 классы русск<ий> устный

22/V — 6 кл. устно 23<-го> — встреча с учителями³

26/V — 7 кл.

Спросить — у П. П. <Земсковой>, как выселяли людей, разлагавших колхоз, и кто они были, и что делали.

20/V-49

Нахожусь в селе Старое Рахино, у женщины, о которой когда-то, в 44 году, писала по рассказам Юрки, бывшего здесь после Выборгской истории.

Он, конечно, 99% придумал тогда, мой Юра. А может, тогда было иначе, и иначе все воспринималось, в дни, когда сломали Финляндию и шли по Европе.

¹ Тетрадь проколота острым предметом (гвоздем?).

² Текст со слов «20 мая» до слов «1949 г.» — записи на авантитуле дневниковой тетради. На оборотной стороне обложки сделаны записи менструального цикла.

³ Запись о 23 мая расположена справа от записей от 22 и 26 мая и отделена от них вертикальной чертой.

Первый день моих наблюдений принес только лишнее доказательство к тому же, все к тому же: полное нежелание гос<ударст>ва считаться с человеком, полное подчинение, раскатывание его собой, создание для этого цепкой, огромной, страшной системы.

Весенний сев, т<аким> о<бразом>, превращается в отбывание тягчайшей, почти каторжной повинности... Гос<ударст>во нажимает на сроки и площадь, а пахать нечем, нет лошадей (14 штук на колхоз в 240 дворов, и два в общем трактора...) И вот бабы вручную, мотыгами и заступами поднимают землю под пшеницу, не говоря уже об огородах. Запчастей к тракторам нет. Рабочих мужских рук — почти нет. В этом селе — 400 убитых мужчин; до войны было 450. Нет ни одного не осиротевшего двора — где сын, где муж и отец. Живут чуть не впроголодь.

Вот, все в этом селе — победители, это и есть народ-победитель. Как говорится, что он с этого имеет? Ну, хорошо, послевоенные трудности, [1 сл. нрзб] пиррова победа (по крайней мере для этого села) — но перспективы? Меня поразило какое-то, явно ощущаемое для меня, угнетенно-покорное состояние людей и чуть ли не примирение с состоянием бесперспективности.

Хозяин мой говорил: «Конечно, если б не новая подготовка к новой войне, — мы бы встали на ноги, но ведь все же силы брошены на нее»... И в самом деле, все тракторные заводы продолжают ожесточенно выпускать танки.

Вырастить лошадей — тяжело, да и много лет пройдет, пока они будут работоспособны, а ждать, чтоб их дали — не ждут. Но больше всего поразила меня сама Земскова. Ничего общего с тем обликом, который мы, видимо, просто сочинили. Милая, обаятельная, умная и — страшно уставшая женщина. Она сказала вчера, почти рыдая: «Понимаете, жить не хочется, ну не хочется больше жить» — и несколько раз повторила это в течение дня.

[Вчера] И сама же указала одну из причин: вчера, например, приезжали двое — секретарь обкома и секретарь райкома и ругали ее за отставание с севом. Советы — пахать на рогатом скоте, вскапывать землю вручную, мобилизовать всех строчильщиц.

Мужики, *верней*, бабы жалеют коров, и пахать можно не на всякой. Поэтому в качестве основной меры для выполнения плана вспахи применяется... женский ручной труд. Старик, отец хозяина, сказал: «Да ведь тут львиная сила нужна, а не женская».

Конечно, жалко «Конягу» Салтыкова-Щедрина, ну а представить себе на месте этого надрывающегося коняги на том же пейзаже — бабу с мотыгой, или — уж куда «натуралистичнее» бабу, впряженную в плуг, а и это — вспашка на себе — практиковалась в прошлом году, да и в этом — вовсю, на своих *огородах* — там *исключительно*.

Земскова с горечью и слезами в голосе говорила, что дом у нее заброшен, — еще сегодня — «а я и обед-то не варю, вот сегодня щей сварила, — так, пожарю немного рыбы, [карт] молока похлебаем... Маленькая семья, что ли, так потому и не естся».

Если б эта женщина занималась только домом, — он процветал бы. В общем, они живут неплохо — корова, свинья с поросятами, поросенок, 0,5 огорода*¹. Но она отрывает для дома время от обществ<енно>-партийной нагрузки — она секретарь (нелепой по идее, по-моему) территориальной парторганизации, и вот бесконечные «пустоплясы» дергают ее, «руководят» и т. д. Вчера только их было тут трое, и один из них дико накричал на нее, за то, что она разрешила колхозной лошадейю одной больной вдове вспахать огород. «Нельзя, — весенний сев, колхозу надо пахать». Для колхоза. Вдова — колхозница, и у нее трое сирот, дети убитого солдата...

Колхоз все более отчуждается от крестьян. Они говорят: «Это работа для колхоза». Земскова говорит, что «придется идти работать на колхоз». И это у тех, которые с верой и энтузиазмом отдали колхозному строительству силы, жизнь, нервы Это — общее отчуждение гос<ударст>ва и общ<ест>ва. Нет, первоначально было не то, и задумано это было не только для выкачки хлеба... Да они и сами понимают это.

Третьего дня покончил самоубийством тракторист П. Сухов. *Лет за 30 с большим*. Не пил. За неск<олько> дней до этого жаловался товарищам, что «тоска на сердце, и с головой что-то делается». Написал предсмертную записку: [*<1 сл. нрзб>* вчера опять говорила] «больше не могу жить, потерял сам себя». — «У него, правда, что-то все не ладилось», — говорила Земскова, — «но человек был неплохой. С женой неважно жили, она его слишком пилила, чтоб и в МТС работал, и тут норму выжимал».

Он повесился на полдороге от Ст<арого> Рахино до станции, недалеко от дороги. Путь к себе заметил — пучками черемухи

¹ Два патефона и два велосипеда! Плащ из пластика, часы, сандалии, крем ноч<ной> (сноска О. Ф. Бергольц).

и сломленными ветками ели, — «партизанская манера путь указывать», — заметил Земсков.

Говорила вчера с пред<седателем> колхоза — Качаловым. Потерял на войне трех сыновей, один имел высшее образование, историк. Жаловался на сердце, — у всех невроты, невращения, все очень мало и плохо едят, — «больше молоко».

Земскова вчера говорила: «После войны мне труднее стало. Из-за мужа. Очень трудно с мужчинами стало — они на войне к водке привыкли, от дома отвыкли. Споримся часто; сначала из-за водки начнется, а там и пойдет. И я его, и он меня всяко обругает. Так — неделю мирно, а три недели — ругань. Поэтому и трудней, чем одной. Никакого облегченья, новое расстройство — и все».

Ответ бойцов из части т<оварища> Земскова на наш очерк был, как и следовало ожидать, подсказан политруком и явился результатом проработки. «Поклонись своей жене», — писали мы, и они отвечали в том же патетическом тоне. И вот — жизнь. А разве не все мы были тогда искренни? Или сами не замечали фальши, привыкнув обращаться с массивными категориями фамильярно?

23/V-49.

Позавчера и [вчера] [*сегодня*] вчера (*явно стою с ума, забываю и путаю дни*) на экзаменах в 4, 5 и 6 кл<ассах> сельской семилетки. Тут много отрадного. «Есть горячее солнце, наивные дети...» Есть и позиция: осознать себя в тюрьме и так спокойно жить. Ведь и там смеются и учатся — я знаю... Осознать и пропагандировать, что это — единственный принцип жизни и общежития.

Вечер у директора школы.

Его рассказы о колхозе: негласное постановление пр<авительст>ва о выселении (с арестом) «лиц, разлагающих колхоз», — нежелающих подчиняться дисциплине и суд над двумя семьями и их увоз с милиционерами, без захода домой^{*1}.

«Сразу появилось 80 рабочих рук, очень повлияло».

<1 предложение густо вымарано.>

Рассказ о женщине, которая умерла в сохе. «Некрасиво получилось». Коняга. Вчера многие женщины, по 4–6 человек впрягшись

¹ О том же рассказ Земсковой (сноска О. Ф. Берггольц).

в плуг, пахали свои огороды, столь ненавидимые гос<ударст>вом. Но это — наиболее реальный источник жизни и питания. На колхоз — надежда неполная, тем более что пахут и сеют «от горя», кое-как.

И чудные молодые девки — учительницы, некоторые — моложе Ирки, — мои¹ дочери.

Глядя на них, впервые ощутила зависть к их физической свежести и привлекательности, — наверное, начало старости, и очень ясно почувствовала, что Юра, все еще молодой и очень красивый, захочет таких, а может, уж и имеет... Наверное, имеет.

Всю зиму я, как намеренно, старила себя, не занималась собой, опустила, в постели с ним не ласкала его, как раньше, не безумствовала. Он и сам много раз прямо говорил мне, что «теряет меня как женщину» — из-за моего пьянства, а у меня, кроме тупой боли, в ответ ничего на это не было. И неужели уже поздно, неужели он невозвратим, хоть и говорит мне часто — обо мне — «ведь ничего же больше на свете нет...»

Вчера, сидя на экзаменах, взглядывала на озеро, вспоминала 44 г., и вдруг слезы кидались на глаза, и чувство горечи и одиночества захлестывало.

Зачем мне это все? Ну, они милые, эти ребята, эти учителя, эта Земскова, — а я? А Юрка? О них почему-то надо мне писать, они интересны, они — народ, — а мы? Почему счетовод Земсков интересней, чем Юра? Почему судьба Земсковой грустнее или значительнее моей? Зачем я сижу здесь, ем отвратительную пищу, от которой уже явно ослабла и похудела, дрожу от отвращения перед дедушкой с волчанкой? Ну, да, я довольна, что все это повидала, надо знать «жизнь народа», но моя-то, моя горькая и уходящая жизнь — тоже что-то значит. Но нет, она ни для кого — ничего не значит и сами мы все время самоуменьшаем.

Баба, умирающая в сохе — ужасно, а со мною — не то же ли самое? И могу ли я быть, при этом-то родстве (конечно, «негласном», «неопубликованном», «секретном») — могу ли я быть при этой бабе — «пустоплясом», как Грибачев и Ко.

Приступы эгоизма очень одолевали вчера. Не знаю даже, так ли они постыдны, м<ожет> б<ыть>, в них есть что-то зрелое.

¹ Так в тексте.

И вот опять — милые ребяташки, старательно отвечающие, а я опять взгляну на озеро — и тоска об Юре. Пришедши домой, в чужую, и собственно говоря, чуждую семью — ревела в одиночку все время, еле оглушила себя валерьянкой, — оттого, что старею, оттого что он не любит и — не понимает, и я одна, и только одна знаю, что все со мной кончено.

Удивительное безмолвие в душе.

Даже запахи берез, полей и земли, — запахи молодости и детства, запахи Глушина, волнуют как-то глухо, не певчески. Ощущение «всей жизни», — то ощущение, кот<орое> дало мне в 42 г. «Ленинградскую поэму» и в итоге — «Твой путь», — томит. Только раз или два прошелся по душе творческий трепет и тотчас же угас.

Внутренняя несвобода — обязанность написать то-то и то-то — видимо, больше всего сковывают меня. Надо плюнуть на это, но должно «само плюнуться».

А ведь мне «необходимо обелиться», — в чем, е. т. м.¹! Меня будут слушать на бюро, — как я «исправилась после критики моего творчества» — Кежуном, Друзиным и Дементьевым. Это мне-то, за мою блокаду, каяться и «исправляться». Эх, эх, эх... Соха!

Сейчас иду в школу — там у меня встреча с учителями. Сама, фактически, навязалась — «чтоб знали» (меня тут вообще никто не знает, кроме какого-то доктора, да знают еще «Жену патриота», но без имени), — а сейчас что-то неохота. Но все же — пойду...

23/V-49

Оказывается, то, что написано выше, я писала сегодня, а у меня уже слилось все в голове. Может быть, от резкой перегрузки впечатлениями, — «барометр перестал падать». Первое, наверное, в том, что учителя очень хорошо слушали и очень понравилось, хоть сами ничего не говорили о себе. Но большое самолюбие успокоено... Нет, всерьез, дело не в «славочке». Просто среди работающих людей мне не хотелось прослыть бездельником.

Потом была у одного старика-стропальщика. Он очень мил, но мы уже об этом писали и больше навряд ли что выжмешь. Надо еще одного такого же навестить.

¹ Сокращение грубого ругательства.

Потом была у одной женщины, Марии Васильевны Сочихиной, — «сочиняет стихи». Кажется, в общем — графомания, хотя отдельные строчки вдруг настораживают какой-то предельной буквальностью, тоже свойственной только графоманам. Но жизнь ее чудовищно тяжка. А мальчик ее Коля — очарователен до слез...

А в общем — я хочу домой.

Неужели Юрка больше не влюбится в меня, совершенно заново, неужели я не услышу его — того — бурного, почти рыдающего стона, за который могу тут же погибнуть?!

Отвратительные сны снились мне сегодня — с арестами, с потерей друг друга, с бегством...

А если он вдруг приводит в дом баб?

И ведь эта сука Юрка Герман может подбить его, в пьяном виде...

За то, что я изменяла с ним прекрасному моему Коле, влюбленному в меня, в страшные его дни изменяла, — за это терзает меня призрак измены.

*

Вот только что опять поговорила с Земсковой... Она заявила, что Коля — вредный мальчик: «От него учителя даже плакали. Стали разбирать крепостное право, а потом — как теперь вольно живут, а он говорит — и теперь как крепостное. Все в колхоз, а оттуда государству, а нам остатки... Мать тоже политически вредная, мы б ее поставили на работу получше, да она властью недовольная...» Два брата у нее — оба были в заключении, по 58 ст., в 37–38 г. попали... Второй сын Сухова, работающий в Войсках охраны заключенных, был в плену, потом в лагере и теперь отбывает там службу, уже после заключения. До 50 г. подписку дал.

Так-так... Чуть копни — и сразу — заключение, или до, или после...

Почти в каждой избе — убитые или заключенные.

24/V-49.

Сижу на пригорочке среди сосен, и такой простор кругом, такой голубой, пологий, русский, добрый, — такой только снился, да и то давно, — когда еще снилась «та полянка», тоже новгородская, открывшая этот простор в детстве.

Дивной красоты сосна стоит рядом, со зрелой, широкой, архитектурной кроной, темно-зеленая, вся в золотых свечках. И все сосенки — в свечках, самые крохотные. Белые звездочки цветущей земляники, ярко-голубые с сиреневым фиалки — умиления бескрайнего.

И этот голубой оком, и холмы, то в нежно-зеленых, то в желтовато-кирпичных красках, и синее-синее озеро среди холмов и леса. Жаворонки наполняют воздух упоительным, ликующим щебетанием, томно, глухо восклицает где-то в лесу кукушка.

«Господи, люблю тебя, и верю радости твоей, без которой нельзя жить и быть». Господи! Господи...

И правда, — молиться хочется, и плакать.

Вчера, когда вечером бродила по дороге среди холмов, встретила женщина, — щуплая, маленькая.

— Не попутчицей будете?

— Нет.

— А то идем в Кашино. У нас хорошо, люди приветливые, очень приветливые.

— Я уж по вам вижу.

— Это верно, я приветливая, человека сразу в сердце примаю.

Пошла с ней рядом, она рассказала сложную историю — идет из Крестец, — там дочь в заключении (ну, конечно, — в заключении).

— Молодая девчонка, только кончивши семилетку, пошла в магазин работать, там у нее недостача в 1700 руб... Ну, теперь-то я недостачу покрыла, но она второй месяц в заключении сидит, — за то, что уехавши была, пока дело не разобрали, — а мы и не знали, что уезжать нельзя... Прокурор говорит, — защитника брать нельзя... А защитник, говорят, 700 руб. берет, а казенного теперь не дают.

И поплакала, и все рассказала (муж убит), и так сердечно приглашала к себе, точно знает меня много лет. — «Живем хорошо, очень хорошо». Куда лучше.

Наверно, об ней все уже всё знают, захотелось поплакаться незнакомому человеку на дороге, — да еще этот человек явно городской, — вдруг что-то скажет, поможет.

Живую душу укачала

Русь, на своих просторах ты

И вот, она не запятнала

Первоначальной чистоты.

И сегодня, когда брела, нагнала меня тоже баба, но старо-рахинская, Евгения Фед<оровна> Савельева. И тоже плакала, и тоже рассказывала всю свою жизнь и про жизнь в колхозе.

Муж убит в эту войну, на Ладого.

— Наши мужики старо-рахинские какие-то несчастные. Всех скопом взяли да в одно место и отправили, под Ленинград, там они, под Лугой, говорят, скопом и полегли...

Жить тяжело, «питание очень плохое», «все женщины стали увечные, все маточные больные, рожать не могут, скидывают; одного-двух родит, уж матка выпадает. Так ведь потому что работа вся на женщине. Разве можно это?»

Сама — калека, вывихнула руку, ездив на бычке, потом «залечили». Под гипсом завелись черви и клопы.

— Нет, мы теперь, может, и выберемся, с госсудой разочлись.. Да ведь что главное обидно? Зачем начальство (чинáрство) так кричит на людей? Ведь разве мы не до крови пота убиваемся? Что ж оно кричит-то на нас.

И заплакала... Громко-громко, как дети на экзаменах, выкладывала она мне это, среди неоглядных, дивно прекрасных, древнерусских просторов; после нее я вот взобралась на пригорок и сажу.

..Так [1 сл. нрзб] нагоняли меня на дорогах бабы, плакали и рассказывали о своей судьбе, а Русь вокруг зеленела и голубела, и кукушка далеко-далеко в темном лесу отсчитывала годы... Уходящие, невозвратимые годы, их и мои.

А все же хорошо, вдохновенно-хорошо кругом. Покурю сейчас и пойду бродить и напевать тихонько...

Нет! Еще будут, будут стихи...

25/V-49

Вчера на холме так сожгла себе лицо, что боюсь сейчас на солнце высунуться. Подглазники отекли, и старые-старые, как у 50-летней старухи. Я здесь уже 7 дней, а от Юрки ни открыточки, ни телеграммки... Ох, будет мне еще от него последнее, самое страшное горе — бросит, уйдет к другой.

Но мне уж, наверное, к тому времени будет пора «подбираться», — так и совпадут концы жизни.

Все равно, жизненной миссии своей выполнить мне не удастся — не удастся даже написать того, что хочу: и за эту-то несчастную тетрадчонку дрожу — даже здесь.

Была вчера у дяди Саши Кондрашова, о котором тоже писали и напечатали очерк. Старик очаровательный; Юрик все время твердил: «ты, главное, судьбы, судьбы людей узнавай».

Старший его сын погиб на войне, два других вернулись инвалидами. У обоих — по 6–7 человек ребят, живут плохо, хотя один — пастух, хорошо зарабатывает, — «да как-то все у него не клеится», — говорил мне вчера предколхоза. Старуха его [1 сл. нрзб] умерла в прошлом году. Живет с сыном Володей (25 лет, быв<ший> кузнец, теперь «библиотекарь») и женой его, «агрономкой». Никаких работ этого замечательного мастера не сохранилось, — ни у него, нигде.

Еще запомнить чаепитие у фельдшера Влад<имира> Францевича Бурака, его жены Алекс<андры> Петровны и дочери Кати. Их рассказ об убитом сыне Андрее, — как она прощалась с ним в день войны, в лесу, около куста можжевельника. «Он ушел, а я руками рву можжевельник, полными объятями, думаю — на память, на память».

Попрощалась — не задрожала,
А ушел от того куста
[Прямо к серд<цу>]
Можжевеловый куст прижала
Прямо к телу к сердцу, к лицу, и устам.
Холодеющими руками
Наломав объятые ошалки ветвей
Бормоча — «на память... на память».

Хочу домой. Хочу сидеть и вслушиваться в себя — нет, нет, там есть стихи, хотя каждая фраза сейчас, которую пишу, и не только стихотворная, — любая, даже здесь, — кажется мне совершенно не тем, совершенно не выражающей мысль, — ни на йоту. Никогда такого не было: ощущение, что ВСЕ СЛОВА НЕ ТЕ. Вроде как вкус не тот — или пересолено, или переслащено, или непеченое, что-то вязнущее в зубах, противное...

Все нужно снова: слова, ритм — внутренний, дыхание. Дыхания в стихе нет, вот что, воздуху нет. Дыхания души, дыхания внутренней гармонии...

И «первых слов» нет, — тех, с которых начинается стих, тех таинственных первых слов, которые потом, м<ожет> б<ыть>, отомрут, или будут в самом конце, в которых зародыш и главный звук — мысль.

Очень звучат зато внутри Блок и Есенин, которого по-новому слышу...

А «декадент» Блок писал о России так, что и сейчас эти стихи живее, созвучнее и глубже миллиона Грибачевых.

Кто взманил меня на путь знакомый;
 Улыбнулся мне в окно тюрьмы?
 Или каменным путем влекомый
 Нищий, распеваящий псалмы?
 Нет, иду я в путь никем не званный,
 И земля да будет мне легка...

Много нас, свободных, сильных, статных,
 Погибает, не любя...
 Приюти ты в далях необъятных.
 Как и жить, и плакать без тебя...

Все ли благополучно дома? Наверно, пришло решение о моем проигранном деле — не описали бы мебель. Как-то Андрюшка, Кузька. Я полюбила эту глупую собачонку — она так беззащитна, трогательна, доверчиво-оптимистична и глупа; ребенок!

Ох, скорей бы домой! Работать надо, — Юрка бедняга замалялся один. Тоже — баба в сохе. Ему, с его крылатым умом и дарованием — нужен досуг, нужен достаток, нужно спокойствие... (Вот чего не даю я ему — это правда.) Это варварство — так работать, как он, спеша и задыхаясь...

А у меня — экзамены по истории ВКП(б). О, мерзотина... Только, «размозолившись», садиться бы за работу — так на, сдавай эту муру, рви себе нервы.

*

Вечер.

Я, наверное, еще не совсем спилась, если еще разбираюсь в людях... Я уже совсем было, утром, собралась сделать запись, как позвали обедать.

26/V.

А вышезаписанное — перебил приход хозяев вечером.

Короче говоря, в этой тетрадке с той стороны, под рубрикой «Земскова» я уже совсем собралась написать итог личных наблюдений: «колхозный вариант Кетлинской или, м<ожет> б<ыть>, даже Кривошеевой». Размышляя о бездельниках, изобилующих в сих местах, я несколько раз думала: «А П. П. — не бездельница ли уж тоже?» Вчерашние и сегодняшние разговоры с завдетдомом и учителями, полностью и даже сверх меры подтвердили мои догадки, которые я всячески проверяла и обставляла разными объективными «но». Но на самом деле все сложнее, страшней и занятней.

В том очерке мы писали вообще не о ней, а о том, что сочинил Юра, как я и подумала.

Да, это государственный деятель, но деятель именно ТОГО типа... Ее называют «хозяйкой села». Ее боятся. Боятся, и, конечно, не любят. В ее распоряжении строчка, — она любого может уволить, отправить на сплав, в лес, и т. д. Т. к. все в основном держится на страхе, — а она проводник этого страха, его материализация — ей подчиняются. Она ограничена и узка, и совершенно малограмотна. Усвоенные ее ограниченным, малограмотным умом догмы низшей политграмоты — т<ак> с<казать>, база, «идейная» база ее деятельности. Она употребляет разные термины и слова без точного понимания их значения. Но это бы полбеды. Как все чиновники, держащиеся за эту систему и смутно понимающие, что она — основа их личного благополучия, — она бессердечна, черства, глуха к людям.

Об этом говорили решительно все, начиная от Сочихиной, простой бабы, и кончая директором школы.

Сочихина сказала: «Она властвовать очень любит. Я бы вот властелином не согласилась быть. По-моему, у кого совесть, тот никогда себе властелином быть не позволит, совесть и власть — это врозь идет»... (Очень интересная, кстати, думающая, хоть и хитроватая баба.)

Да, у П. П. властный характер и умение властвовать, т. к. она совершенно не любит людей.

Ее отзыв о повесившемся Сухове: «Его не в гробу вести, а на веревке тащить надо».

Ее отзывы о Сочихиной и Коле, — выше уже писала: «Мы ей не даем ходу, как недовольной».

Спокойствие, с которым она говорила о «заключении». Недобрая усмешка при моем упоминании, что я говорила с Краевой, недоброжелательство по отношению к учителям, врачам и т. д.

Ее история с Федоровой (завдетсадом) — чуть не выгнала ее из партии за то, что та отказалась устроить пункт голосования во вновь отремонтированном детсаде. Оперирование терминами — «не партийный поступок», «не как коммунист» — трижды знакомый набор! Слова, отделенные от смысла и человека!

И эта страшная «установка»: «Не вооружать паспортами!» Оказывается, колхозники не имеют паспортов. Молодежи они тоже не выдаются, — чтоб никто не уезжал из колхоза. Федорова взяла к себе «техничками» двух молодых колхозниц и выправила им паспорта. Земскова рвала и метала:

— Зачем ты вооружила их паспортами?

То же самое говорили мне и учителя:

— Земскова чинит всяческие препятствия к тому, чтоб молодежь, даже ушедшая от нас в район, получила паспорта. Это ужасно действует на ребят. Они говорят: «Зачем нам кончать, нас отсюда все равно никуда не выпустят, а еще говорят, что молодым везде у нас дорога...»

Итак, баба умирает в сохе, не вооруженная паспортом...

Вчера, идучи к фельдшеру Бураку, видела своими глазами, как на женщинах пашут.

Репинские бурлаки — детский сон.

Итак, Земскова не дает людям «вооружаться паспортами».

— Она каждый раз выступает, страшно неграмотно, но обязательно кого-нибудь обидит, изругает, и так грубо. О том, что она обижает, «навешивает на человека», «собирает материал», — говорят решительно все. Тоже понятно. Она, видимо, полагает, что это — парт<ийная> критика и самокритика.

А я чуть было не умилилась, когда она бранила избачку Любу, телушку совершенную: «Где доска показателей?» Выше писала, что это — ерунда.

И вот со всем этим сочетается в этой женщине — темное, языческое суеверие, причем этому поверить странно.

Приехала весной 48 г сюда молоденькая врачиха, — глав<ным> врачом в больницу — и через два дня исчезла.

Искали ее упорно. Настроение у всех было подавленное. Бурака заподозрили в том, что он ее... убил.

П. П. тогда подает мысль (сам Бурак сейчас говорил), что она «попала в худой след». В след, оставленный нечистой силой. Если попадешь в этот след, нечистая сила тебя закружит, толкнет на смерть, иногда на злодеяние — в общем, на гибель. Она говорила ему об этом с той же непоколебимой самоуверенностью, как в райкоме о чем-либо. «Надо поворожить, спросить у одной женщины». «Дали задание» этой женщине, — колдунье, живущей рядом с Бураком. Она вообще каждый вечер ходит под мост и там ворожит. [Та под мосто] Вот она под мостом поворожила, «доложила» Земсковой о результатах. Земск<ова> сообщила фельдшеру: «Я знаю, — она здесь и отыщется». Затем нашли врачу: повесилась в лесу, около озера. — «Вот видите, — сказал парторг села, — я говорила! Отыскалась... А что задавилась, в худой след попала».

В худой след верят здесь твердо. Мы писали — со слов Юрки! — о том, как она любит мужа, а оказывается, он женился на ней по принуждению, бивал ее, уходил от нее и т. д. Тогда она сходила к бабке, поворожила, «взяла у нее средств». Это было уже после войны. Сейчас живут лучше, по крайней мере, он перестал рыпаться.

Смешно, в общем.

Все вместе взятое — почти неправдоподобно.

Вообще, минутами мысль, что все это похоже на сон. В особенности — оттого, что никак не могу поверить — что наяву вижу эти снившиеся, волшебные русские просторы, и обрыв сегодня, точь-точь такой, как в Глушине, на мельнице в Запольне, где мы ловили стрижей... И девочка, беленькая Зоя Алексеевна, учительница 22 лет, на год [моложе] *старше* Ирки, водила меня на точь-точь такой же обрыв над омутом, окруженный курчаво-зелеными и сине-голубыми просторами, и прыгала по краю обрыва, засовывала руку в стрижевые норки, и кричала с детским восторгом.

— Ой, О<льга> Ф<едоровна>, рука по локоть ушла, а ни до чего не добраться! Вы подумайте, как глубоко, а?

Господи, верю радости твоей... Верю радости твоей и хочу жить и быть...

Завтра еду. Слава богу, — ссылка кончилась. Жаль только уходить от просторов этих, холмов, озер и омутов...

27/V-49

Земскова говорит, — *рассказывая о вчерашнем заседании в Крестцах*: «Она ставила вопрос в сторону Ив<ана> Мих<айловича> по части производства, а у него получился вопрос больше в сторону ее выступления»... «Она не ставила вопрос в продолжительности данного [¹ сл. нрзб>] момента времени».

Инвалид (кот<орый> ее слушает) А-а! Все понятно!

Несчастливые люди!

Этот инвалид — бухгалтер в строчке.

Алексей Михайлович Митькин. Коренной старо-рахинский, образование низшее, но потом как-то поднаторел на бухгалтерии. Воевал, сыновья тоже.

— Мы все впятером воевали. Под старшим сыном 13 танков сгорело, в Сталинграде.

Они с Земсковым выпили за завтраком, он пошел говорить...

Ногу ему оторвало в 41 году в Пушкине. Лежал всю блокаду в Ленинградском госпитале, в Университете. В общем, как и все, всё понимает, только говорить боится.

Однако сказал, например:

— Я за что пр<авительст>во ругаю? Почему от меня пенсию забрали? Мне ее, может, и не нужно в денежном выражении, пусть она мне как воспоминание будет, — что вот, тов<арищ> Митькин, участвовал ты в Великой Отечественной войне, пролил кровь, — мы это помним и ты помни.. Нет, отобрали... Так вот иногда идешь на озеро по рыбу, растянешься на своих костылях, и тут уж все как-то сразу вспомнишь, — ну и почнёшь и в родину, и в правительство...

О Сочихиной сказал:

— Сочинения у нее с некрасовским духом... Она это больше всего Некрасова обожает. Ну так оно и верно, жизнь такая... некрасовская... А вам, извиняюсь, наверно тоже рамки ставят? Правды-то ведь не пишут... Не думаю, чтоб сами писатели к неправде стремились...

Я была очень выдержанна, хотя две-три либеральных фразы сказала, — а он все понял — очень остался доволен беседой.

Выражение

— А героизм, что ж, пожалуйста. Героизма [² сл. нрзб>] не жалко — не лошадь¹.

¹ Текст со слова «Выражение» до слова «лошадь» — запись на отдельной странице по вертикали, остальная часть страницы оторвана.

Женщина идет,
и [вслед за нею] все темнее
[Все темней] *Вслед за ней* ложится борозда,
И звезда, звезда горит над нею,
Ржавый Марс, тяжелая *неженская* звезда...

Несытый *Глодный Кровавый* Марс горит над полем...

И видно все ясней, все боле
(Когда померкнешь ты, когда?) труда
Багровый *Бесплодный* Марс горит над полем
Всегда несытая звезда
Еще голодная

И вот все явственней, все доле
Стоит, *Горит* несытый навсегда Встает
Багровый Марс над синим *русским* полем,
Давно бесплодная звезда

*

Валдай — родина знаменитых бубенцов

Колыбель бубенцов знаменитых
Тех, поющих *звонящих* по-русски, навзрыд
Тех, что могут и петь и рыдать

Валдай — рыдай

*

Тот же Митькин говорил:

— Мы все же думаем, что при Ленине было б иначе... *Он, конечно, говорил, что можно в этой стране.*

И вот, Бисмарк, кажется, говорил: если уж надо строить социализм, то надо взять страну маленькую, с небольшим народом, — в общем, такую, которой не жалко... Н-да... а мы размахнулись на одну шестую часть мира, ну, где ж тут... Н-да... Конечно, кто ж против этого строя возражает, но ведь жить-то хочется... Н-да... Ну, это верно Миша Калинин говорил — на ошибках учимся, а может, в маленькой стране и ошибки были бы помене, ну и народу меньше пострадало бы... Н-да...

Совершенно просоветский инвалид.

Коля бодро сказал: «Про войну читать люблю».

— Что ж ты, не навоевался? Ведь сам был на войне.

— Ну, какá это война. Я люблю про настоящую, где героизм и подвиги...

(И пока не наступит) конец

Расступись-ка дорога, раздайся

√ Снова в сердце звучит бубенец¹

Бубенец серебристый валдайский

√ Плачет в сердце *песне* моем бубенец

√ Плачь же в песне *моей*, бубенец

√ Бубенец, бубенец, бубенец, <Далее обрыв текста.>

<Далее записи с другого конца тетради.>

На экзамене в 4 кл<ассе>.

Слово «известный» — «назови слова с тем же корнем».

— Известняк.

— Это не то.

— Нет, то. Это — известный человек... Ну, герой труда.

*

Галкин

— Почему в стихе Кумача есть выражение — «Слава стране Октября»?

— Потому что в стране уж очень хорошо жить и все очень счастливы.

*

Экзаменуется Сухов. Не тот ли, у которого третьего дня отец покончил с собой.

*

Пушкин — «Вечор ты помнишь».

Л. Толстой — «Жилин и Костылин».

Сочихина Мар<ия> Вас<ильевна> (песни)

¹ «Галочками» О. Ф. Берггольд отметила отдельные строки.

*

390 гект<аров> — всего посеять.

301,5 на 23 мая¹.

Тяжелые тексты в «Родной речи» — но это, оказ<ывается>, хрестоматия 5 кл<асса>. Дети читают *новый текст*

Две девочки²

Леша — очень хорошо отвечает.

[<1 сл. нрзб>]? Леша Земсков — племянник Земскова

Купцова — оч<ень> хор<ошо>.

Качалова Лида — [оч<ень> хор<ошо>. Хорошо читает] *читает оч<ень> плохо*

Качалова Клава <1 сл. густо вымарано>

Качалов

Идет посевная, идут экзамены в школах.

Здесь, в школе, собирается урожай³.

Образуй суффикс от «ключ».

— Ключечек... Ключок! Ключик.

Мальчика попросили рассказать биографию Некрасова. Он бойко рассказывает, кончил. Оказалось, рассказал биографию Ломоносова.

22 июня — 8 лет войны

6 класс

Алмазова Лида. Дочь колхозницы.

Дети улыбаются над тургеневским Павлушей, кот<орый> говорил «откентелева»... «Он был малограмотный, не знал даже где север, где юг, мы это видим из того, что он говорил неправильно». («Бежин луг» — и колхозные *дети*) Читала Ганса Фалладу «Кажд<ый> умирает в одиночку».

¹ Две строчки отчеркнуты вертикальной линией.

² Словосочетание «Две девочки» взято в фигурную рамку.

³ Фрагмент со слов «Идет» до слова «урожай» с двух сторон заключен в квадратные скобки.

«Приветствую тебя, суровый край свободы». Разбирает по частям речи. «Свобода» — имя существительное. Неодушевленное, род падежа.

*

Экзамены идут в годовщину войны.
Сев идет.

1) Люди, коммунисты села и колхоза. Их имена. Биографии. Как воспитывает их Земскова. Их биографии.

2) Подробнее об артели.

Лучшие строчильщицы.

Самые молодые

Самые старые. Дядя Саша Кондрашов

Старик Сухов [1 сл. нрзб]

Искусство, передававшееся из поколения в поколение.

Теперь — техникум в Крестцах.

3) У Земскова — систему оплаты в трудоднях. Нормы. Вообще — работа счетовода.

Капустина Алевтина

Девочка, дочь колхозницы. Она сопровождала меня со станции, куда шла вместе с фельдшером встречать его дочь. Очень хорошо отвечала.

Баланин

Неважно отвечал. Что читал? Ничего. Ни одной книги. Почему? А знаете, как я живу? Мы только в этом году вернулись из Сибири, строились, мне уроки негде было готовить.

Очень хозяйственный, работающий мальчик. Когда спросили, почему не читал, чуть не заплакал.

*

Дети приносят в школу желтые кувшинки, черемуху. Она — в полном цвету. Жаворонки над школой, она среди полей.

В школе зимой мороз. Парт нет. Из-за холода нет никакой внешкольной работы.

*

Купец Калашников

— «Степан Калашников был продавцом и товары в его лавке не расходились».

История с телегой, на которой проехала молодая пара, учительница с колхозником, везли перину¹.

Старушка-учительница, которую выжили молодые. На ее уроках не было дисциплины, она слишком мягко обращалась с детьми. А у старушки — заслуги, дореволюционная школа и т. д. Впрочем, она начала работать 22 г. назад².

Темы лит<ерату>ры в VI кл<ассе>:

1) Шевченко

2) Бежин луг

Купец Калашников: «Он боролся за справедливость — это черта русского народа»³.

Ефимов — отец мастер маслозавода.

*

Надежда Алексеевна

уч<ительни>ца географии и естествознания

Как жизнь вносит поправки в эти предметы. 6 кл<асс>. Страны мира. Современное положение в той или иной стране меняется.

А отцы нек<оторых> детей вернулись с рассказами об этих странах. «Иногда нежелательными».

Естествознание — Мичурин, Вильямс, Докучаев.

Садик. Неск<олько> мичуринцев. Уголок Мичурина.

¹ Предложение обведено.

² Далее — отчеркнуто.

³ Предложение написано внизу страницы справа от двух предыдущих и отделено от них вертикальной линией.

*

Завуч Александра Григорьевна — была на фронте (поет мою «Жену патриота»)

V класс

Самые многочисленные из начальн<ой> школы.

— Придумай пример, чтоб существит<ельное> было обращением.

— Дедушка, хорошо ли быть летчицей.

— Чтоб было [местоимением] *дополнением*.

— Он шел впереди и пример всем давал.

*

Уже носы у детей загорели, на лицах выступили тучи рыжих веснушек.

*

Басова Тамара. Хор<ошо>.

Пример повелительного накл[онения]. Приказ.

— Умри, но не пускай врага за Волгу.

Фоченков Анатолий. Оч<ень> хор<ошо>.

(1930 г рождения, идет в армию, был эвакуирован в Сибирь)¹

Идет в Армию — почему

Тема очерка — «Восемь лет войны».

Как провел этот день колхоз «Кр<асный> Октябрь». *Экзамены. Школа. Сев*².

Война — в отзвуках, в примерах, но мир, мир, мир. Дети хотят мира.

Савельев Виктор

Расскажи об Евпатии Коловрате.

Рытков.

— Скажи глагол прошедшего времени

¹ Написано справа от имени ученика.

² Фрагмент со слова «тема» до слова «сев» слева выделен круглой скобкой.

— Я стрелял. Мы победили врага. Это <действие> уже было, потому мы берем глагол в прошедшем времени.

Капустина Лена

— Герасим потопил Муму и стал работать в колхозе.

Учебников по литературе нет ни для 5, ни для 6, ни для 7 классов¹.

Самая молодая Вера Вас<ильевна> Андреева (кот<орая> вышла замуж) 18, педучилище в 1 классах. 1930.

Нина Павловна 1904 г

Антонова Нач<альная> шк<ола> 3 кл.

Алекс<андра> Григор<ьевна>

Петрова (завуч) 1921 г (историк)

Директор 1920

Зоя Алексеевна Ершова 1926 5, 6, 7 *литера<тура>*

Над<ежда> Алекс<еевна> Баранова 1925

(уч<ительница> геогр<афии> и ест<ествознания>)

Вал<ентина> Петр<овна> Морозова 1925

34 урока в текущ<ем> году (математик)

Нам верят.

Ходят из деревень

Кукуйка 5 в<ерст>, Грабило 5,

Лутовно 7. Ракушино 9².

из 4 кл<ассов>

В школу поступают из с<ельских>/с<оветов>

Старо-Рах<ино>. Ракушинская,

Мокроостровский с<ельский>/с<овет>,

Шутиловичского часть

Фильтруем сами³.

¹ Далее — отчеркнуто.

² Фрагмент со слова «Ходят» до слов «Ракушино 9» написан справа от предложения «Нам верят» и отделен от него вертикальной чертой.

³ Фрагмент со слов «В школу» до слова «сами» справа заключен в фигурную скобку, сводящуюся к словам «из 4 кл<ассов>».

Школа *выстроена* в 1939 году, фактически не достроена.
 Не обшита, не оштукатурена.
 Занимаются в две смены из-за парт.
 Парт нет. Не хватает 75 парт.

*

Мартынова Евг<ения> Фед<оровна> — 1927 г.
 4 классы, раб<отает> 2^{он} год.

(Та, с подвязанной щекой, кот<орая> очень волновалась.)
 Кончила здесь 4 класса, училась в этой школе. Сейчас преподает
 в том же классе, где училась сама, будучи четвероклассницей. Они
 еще называют друг друга «девочки». Они еще всё так помнят сами,
 все страхи, кот<орые> испытывают сейчас дети, поэтому они особен-
 но строги. Они помнят все штуки, к которым прибегают на экзаме-
 нах и в подсказке.

Воспитание

I четв<ертъ> — добиться вежливости

II четв<ертъ> -»- подчинения

III четв<ертъ> -»- честности¹

Савина Екат<ерина> Яковлевна — тоже ученица этой шко-
 лы (1929?)

1) Причины прибытия в колхоз.

Работа в Казахстане — на Кавказе. «Новый мир». «Глубинка».

2) «Первороссийск».

3) 44 г. — статьи о Ст<аром> Рахине².

Я начала уже работу над «Перворос<сийском>», когда нача-
 лась война.

Военная работа. Агитатор. Комиссар.

Радио «Говорит Ленинград».

Стихи в Ленинграде.

¹ Фрагмент со слова «Воспитание» до слова «честности» расположен в верхней части листа, разбивая предыдущий абзац. Отделен от него горизонтальной линией.

² Пункт слева выделен квадратной скобкой.

Мои стихи.

А. С. Сухов

1892 год. С 6 лет строчите. Научился строчить [Сухов] от машины.

Много получал премий, — «кальсоны и фуражку».

«Вовлекшись в свою работу, строчу, как паучок паутинку ткет». «Обожаю эту работу.

Грантовка — пустые столбики.

Настилка — рисунок на сетке.

«Работа такая, что отрываться нельзя. Вот оно так идет, так идет и плетется. У меня работы больше вагона... Какой чорт! Больше вагона.

Здесь ямщики были, это было ямщикское село. С Екат<ерины> II была дорога, шла дорога на Валдай, через Холопки.

В Николаевскую и гражданскую войну 25 мес<яцев>. А так — никуда не выезжал, все за пяльцами.

Участвовал, когда Гришку Распутина жгли. Вывалили из раки серебряной (на ст<анции> Пискаревке) в костры, привезли флотские, а раку, конечно, потом увезли<>».

— Это я цветочек начал вышивать, а уж со следующей дорожки уж яблочки начнутся, — [А] говорит он, а я еще ничего не вижу.

— Звездочки на 8 лап.

— Рисунок я с первого раза запоминаю, у меня память на рисунки крепкая.

Я, любуясь его работой, говорю: «Ах, как красиво»...

— Красиво, — с восторгом соглашается он, — очень красиво...

Когда поступает срочная работа на экспорт — первому дают дяде Леше.

— Ведь можно работу фальшивую сделать. А хочешь, чтоб люди хвалили — делай хорошо. Хорошо сделаешь для артели — хорошо будет тебе. Мы уж 280 р<ублей> из прибыли получили.

Дядя Саша Кондрашов, ох мастер¹.

У нас — самый хороший кустарок².

¹ Предложение вписано в верхней части листа, разбивая предыдущий абзац. Отдельно от него ломаной горизонтальной линией.

² Предложение вписано в правый угол листа, от предыдущего предложения отчеркнуто вертикальной линией.

Сын дяди Леши Алексей — защитник Ленинграда, стоял в зенитной батарее около Путиловца. Работает в колхозе. Инвалид — разбита нога.

Любовь Алексеевна — строчильщица, имеет почетную грамоту. И Зина старшая тоже. Люба хоть и дочка, но такая работница, — я ею не нахвалюсь. Как сели за пяльцы, так уж плотно-наплотно и нормы перевыполняют. Любит дело!

Оба сына раньше строчили.

Младший Василий служит в Войсках Стр<елковой> Охраны, приезжал, садился за пялы.

Гипюр лапками¹.

Рассыпной гипюр, звездочки, гипюр в лапу, звездочки в восемь лап, с павочками.

Вологодское стекло.

Дом себе сам срубил, и все что угодно сделать могу.

После войны 80 пял смастерил для артели².

Жаренкова [Антонина]

Клавдия. Московское шоссе д. № 11/13, корп. 12, кв. 128

Савельева Евг<ения> Вас<ильевна>

Мар<ия> Вас<ильевна> Сочихина

1) Стихи, переписка со счетоводом, когда была брошена в др<угую> бригаду.

2) Стихи из эвакуации

3) Стихи о враче, кот<орая> повесилась

4) Стихи о подруге

Александр Васильевич Кондрашов.

Алекс<андр> Кондрашов. 1875 г.

Сын Володя — библиотекарем, был кузнецом на автозаводе во время войны.

¹ Предложение расположено по правому краю.

² Далее — отчеркнуто.

Погиб во Львове сын Михаил милиционером в 1945<-м> после войны, «от бандитов».

Два других сына вернулись ранеными, инвалиды, сейчас работают в колхозе — один пастухом, другой сторожем. Были оба на Ленфронте.

Сам был пастухом, сторожем, пожарником.

Давно не строчил, глаза не видят.

Озорные, лешачьи, светло-голубые глаза.

Как съездил в Берлин, построчил при электричестве. Люстра была очень яркая, 50 свечей. С тех пор глаза испортил.

На выставку в Петроград 5-ю шелками строчил на марле, уж не помню в каком году, в 11<-м> или 10<-м>. «Работу свою всю жизнь помнишь, в особенности работу любимую».

Англичанка купила полотенце, дала деньги, говорит — «тюрзи» — это значит, куда хочешь употреби. 50 финигов дала.

Свиребеев¹

Сидел на возвышении, посланник

придет руку пожмет

Уголок выстр<очу> вырежу — капут строчу — гут, потом кричат — зер гут, Руслан.

Удивлялись — «парли, фрау»...

Ну, получилась неизбежная война Германии с Россией.

Оба сына были на Лен<инградском> фронте.

Володя — библиотекарь — когда был маленький — строчил.

В избе у Кондр<ашова> — библиотека. Много растеряли с эвакуировкой.

Еще кронпринцессе в морду пришлось дать. Она под самый локоть суется, я ей говорю: «Я ведь могу вас убить». Она не слушает, я ей в морду и заехал...

Переводчик прибежал Давыдов, расстроенный... «Как так». Я объяснил. Он говорит — «Мне публики совестно».

¹ Слово расположено по правому краю листа.

Вильгельмина говорит: «Здравствуй, русский экспонат. Вы меня вчера задели».

Я говорю: «У меня рука ходит туда и сюда».

Она: «От меня плитку шоколада возьмете».

— Пожалуйста

— Только чтоб никто не видал.

Я ей дал на память обломок иголочки.

Нас было 12 человек. Был игручешник московский. Резал пастушка.

Кавказские коверчики.

Кавказский серебряник — коня мог вырезать, кинжал.

Уральские камня.

<Вертгайм>, тряпичник, хромой

У него в каждой стране по неск<олько> домов.

Должен был ехать в Прагу на всемирную выставку, 5 р<ублей> в день, и в Лондон.

Вильгельм сунулся, ему начистили, а этот хотел его перехитрить.

Кошелки плету, а то лаптишками займешься — колхозники просят, то в огороде роюсь.

В Германскую был на Румынском фронте.

Библиотека

194 читателей

Строчильщицы Ант<онина> Денисова, Костина, Коля Сочин, лен долгунец¹

Марк Марков — бригадир 4 бригады.

Евдокия Разживина — растениеводство обработки почвы.

¹ Приписка «лен долгунец» расположена по правому краю.

П. П. Земскова

Р<одилась в> 1910<-м>. Секретарь тер<риториальной> п<артийной>/о<рганизации> уже 7 лет.

В партии <с> 1939<-го>. П<артийная>/о<рганизация> — 10 ком<мунистов> и 3 канд<идата>

директор маслозавода

зав<едующая> детсадом

завскладом и <был со строгим>

налог<овый> агент

председат<ель> колхоз<а> [<1 сл. нрзб>] Яковлев и колхозники

В эту п<артийную>/о<рганизацию> входят коммунисты из сел, где нет п<артийных>/о<рганизаций>, и обслуживающий персонал этого села и т. д.

*

Она при наряде — поясняет I бригаде (Галдина) — опыт 4<-й бригады> (Марков):

— У вас кучно все ходят, друг о дружку толкуются, — ты погляди, как у Маркова — так и делай.

*

Она драконит избачку Любу — где стенгазета и показатели. (Кстати, то и другое — очень плохо и вывешено в с<ельском>/с<овете>, куда никто не ходит.)

Партсобрание, где избачке дали выговор и сняли библиотекаря. А его и ставить было нельзя. Быв<ший> кузнец, ничего не понимает в книгах. Сам не читает.

А жена фельдшера Бурак — библиотекарша с 10-летним стажем — ее не используют.

— Ведь она к массам не пойдет, — говорит Земскова.

А Володя (библиотекарь) говорит:

— Нами, конечно, руководить надо. Вот Надежда Алексеевна [<1 сл. нрзб>] читала недавно газеты, да как-то так получилось, что выходит — завтра война. Ну и началась в колхозе паника...

Изба-читальня

Лекторская группа 7 чел.

За последнее время

- 1) Благоустройство села — Бурак
- 2) Рентген и его значение <—> врач Гусев

Завтра — совет клуба и лекторская группа. Намечать план на июнь.

Журналы «Художественная самодеятельность», «Художественная библиотечка», «Крестьянка». Лимит¹.

Родина Клавдия — строчильщица.

22 человек строчилыщц в хоровом и драматическом кружках, руководитель Филиппова, воспитательница яслей. Она же

Баранова — утверждена р/п ВЛКСМ — ответственной за лекторий.

Интересует больше всего международные.

III

В мае — Ильменский делал доклад о международном положении. К нему «Секлетей-Ворожея» — из журнала.

Иванова Нина — оргмассовик в строчке.

Родина, Пептина (налоговый агент).

Кондрашов Володя. Ильменский.

Дров нет зимой. «Воз привезли и половину обрали».

Собрали комсомольцев, а подводы не дали.

В Ракушине молодые не пришли — великий пост, боятся греха, а старые пришли.

Мало одноактных пьес, и в них — много действующих лиц. «Воробьевы горы», например.

Декорации и костюмы собирают по деревне. Дают, идут на встречу.

¹ После слова «лимит» страница отчеркнута горизонтальной линией.

4 раза в месяц кино.

Ходит в бригаду — «читала о займе, как другие с<ельские> с<оветы> план выполняют».

7-летку кончила в 39 году. Война — лес, сплав, Мошня (р<ека>) в <строчке?>, потом на восстановлении Новгорода, потом здесь — избачом. Подчинен культпросвету РИК'а.

Семинары *ежемесячно* в р<айо>не. Обмен опытом. Март м<еся>ц. Брошюра о Солецком клубе. Изба-читальня. [По] Оттуда взяли о совете клуба и т. д.

Самое главное — помещение.

Колхоз на культтруды не отпускает.

Врачиха повесилась — ее боялась девочка и избачиха, и очень многие. «Находил ужас».

Анна Павловна из райкома — боялась идти по дороге, где повесился Сухов. Боялась попасть в худой след.

Как восстанавливали Новгород. Убирали из подвалов кости бойцов, клали вместе с ними оружие, каски, противогазы. Потом в этих подвалах жили... «Но тогда что-то ничего не было страшно». И жители так жили.

Бригада выстроила прокуратуру и народный суд.

Многие разбежались из бригады по домам.

Передовики

4. Гришина Александра Вас<ильевна> — сев, копала землю

3. Лидановская Антонина Вас<ильевна> вдова, 3 детей

2. { Колбасова Александра копают вдова дочь в строчке 2 д<етей>
 { Стафеева Анна землю вдова 3 д<етей>

«Работают безотказно».

В д<еревню> Гиговоши<?> вернулся один мужчина и парень. Разживина «Кр<асный> Октябрь», мать секр<етаря> п<артийной> о<рганизации> колхоза.

*

Бычина Вал<ентина> — осужденная за «отказ».

М. В. Сочихина¹

«Вот был у нас счетовод, тоже стихи сочинял, мы ими переписывались. Отправили меня бригадиром в дальнюю деревню, он говорит — вот тебе там будет покой, — ну, я это ему написала в ответ, как я жила...»

Переписка со счетоводом

Твой светел ум, рассудок ясен
И ты дожил до седины,
Но позавидовал напрасно
Моим покою-тишины.
Я как бродяга за Байкалом
По воле бога и людей
Брожу с рогаткою трехпалой
Покорна участи своей.
Тропинки узки, лес высокий
Местами вовсе нет дороги
Лишь моста давнего следы
Болота, ягоды, грибы
И комары да мошки стаяй
Везде меня сопровождают
[Лезут в глаза ползут в ушах жужжат
Как будто вылить кровь хотят]
И звери дикие порою
Мне так же не дают покоя.
Лисицы, белки, зайцы... Лося
Мне как-то видеть довелось
Я напугалась, так бежала, —
Лаптями только лоскотала.
Бегла, что было моих сил
Лесник зеленопольский Прошка
Уж тот меня остановил,
Я успокоилась немножко

¹ Далее — большая часть страницы оставлена без записей. Внизу — горизонтальная стрелка направо в ширину страницы. После нее — текст.

Сама собой я остаюсь
 Мне признаваться даже больно
 Кого-то ночью я боюсь¹
 Моею жизнью недужной
 Ведь можно б ей не дорожить.
 Но верь уж поверьте много силы нужно,
 Чтоб трем начальникам служить.
 Сельпу, яслям и комиссару^{*)2}
 А сколь побочных их есть чинов^{**)3}
 Один нагонит много жару,
 Другой не пожалеет слов,
 Пугнет кто штрафом, кто тюрьмою
 И весь мой труд идет не в прок
 Пойти бы лучше скотомоем^{***)4}
 Чем слушать каждого упрек⁵
 А тут стихия заиграет,
 В глухую полночь дождь пойдет,
 Деревья ветер закачает
 И точно дьявол запоет,
 И я как челн, разбитый в море
 В такую ночь брожу одна
 И грудь мою сжимает горе
 И я боязни вся полна⁶
 <1 сл. нрзб> Но эту ночь сменит другая
 А эта в вечность отойдет
 Засветит месяц, улыбаясь,
 И звезды встанут в хоровод
 И будет ветер спать спокойно,
 Красиво речка заблестит
 Но только сердцу неспокойно

¹ Примечание О. Ф. Берггольц (записано справа от стихотворения): «Это верно, мне дежурить до того страшно было»...

² *) Комиссаром у нас все предколхоза зовут... (сноска О. Ф. Берггольц).

³ **) А это милиция... Очень они мне надоедали... (сноска О. Ф. Берггольц).

⁴ ***) Это значит — нищим... (сноска О. Ф. Берггольц).

⁵ Фрагмент со слова «Пугнет» до слова «упрек» слева выделен квадратной скобкой.

⁶ Примечание О. Ф. Берггольц (записано в правом верхнем углу): «Уж очень я боялась. Один раз волки мимо прошли... Я волков тоже в стихи вписала, но потом вижу, — перехода нет, я волков вынула».

Оно по-прежнему болит
 [И так с поникшей головою
 Кружу всю ночь по сторонам
 И только с радостной душою
 Встречаюсь с утренним зорям.]
 Ты будь свидетель благородный
 Из этих слов меня пойми
 Суди меня, как суд народный
 Хоть оправдай, хоть обвини.
 *

Смеется... «Он написал: не мне тебя судить, все сам я понимаю... Ну, как это в стихах, — я не помню»...

За что наказаны мы оба
 Такой несчастною судьбой
 Один наказан крышкой гроба,
 [Друг] А я наказана семьей¹.

Это — памяти мужа

Отрывок. Сначала — описание дороги, по которой ходит на работу. Затем — воспоминания...

И так дальше вперед убегая мыслями
 Я нашла дорогу могилу
 И будила: вставай, посевную справляй;
 Ты ведь знаешь, что мне не под силу.
 Ты любитель ведь был всех колхозных работ
 И умел ты настраивать дело.
 Я, не спец, не севец, за тобой без забот
 [Жи] Я жила, ни на что не глядела.
 Я момента такого совсем не ждала
 Что судьба нас с тобой разлучит,
 Только ты на покое, меня ж
 Ты уйдешь на покой, а меня до конца
 Будет доля тяжелая мучить.

¹ Слева четверостишие отчеркнуто вертикальной линией.

*

Это — второй выпуск после войны.

Перв<ый> послев<оенный> — в прошл<ом> году.

Было 9 чел. 6 пошли учиться дальше.

Веткин Юра. перв<ый> ученик Секр<етарь> к<омсомольской>
о<рганизации> в шк<оле>

Земскова Лида — в профтехшколе¹

Земскова Маня

Школа

7 класс

Кондрашов

«Песня о соколе»

Савельева

Биография Горького

после Октябрьск<ой> революции.

Неопред<еленные> глаг<олы> I спр<яжения>

Терпеть, смотреть, корпеть и видеть

[Смотреть] Уметь, свистеть и ненавидеть.

— Целая философия!

Купцова Клавдя

Уступительное предложение.

«Хотя ему было мало лет, но он пошел в партизанский отряд».

О «Молодой гвардии».

Клятву Олега она знает наизусть, — пока сидела на парте, — написала ее на бумажке.

Сенькин Алексей 1932 г. (был эвакуирован). Работал 3 г. трактористом на Кавказе.

— Ах, как я спужался. (восклиц<ательное> предл<ожение>)

— Испугался, — поправляют учителя.

Он рассказывает о Беликове, «Человеке в футляре», еле сдерживая смех.

¹ Предложение вписано справа от предыдущего и отделено от него двойной вертикальной чертой.

— Когда он видел, как женщина едет на велосипеде, то думал, что это нельзя или там неприлично.

(В колхозе — много велосипедов и девушки и девчонки лихо ездят на них.) Огромный парень, с татуировкой (якорь) на правой руке.

Читают больше о войне, хотя сами ее только что пережили. Но все кажется, что это — не она, а была какая-то другая, красивая и героическая.

Во время экзамена <в> 7 классе — гроза

Урожайные, грузные *гулкие пышные* тучи

На<д> землю гудят и гремят

Цветы на столах и партах менялись, — сначала черемуха.

На русский устный приносили черемуху, на арифметику уже сирень. Ландыши были все время, а венки из одуванчиков стали сплетать, когда 7<-й> сдавал письменную.

Из школы далеко видно Родину..

Ульянова. «Останусь в колхозе. Буду работать, куда пошлют». Тупая, дов<ольно> красивая девка.

Классиков всех называют по именам и отчеству.

Перед 7-классниками — выбор, вопрос — куда идти. Дальше, или оставаться в колхозе, или поступить работать... Они хотят «вооружиться паспортами»¹ Выяснить — с учениками.

Савельева *Валя* хочет поступить на курсы, чтоб быть мастером маслоделия.

Надя Антонова хочет в педучилище, и в медицинский, и т. д.

Купцова еще не знает.

Саша Качалова —

31/X-49

Были неск<олько> дней в Ленинграде. Уезжала туда на большом подъеме, — по-настоящему, по-настоящему пошли стихи, чудесно

¹ Предложение взято в квадратные скобки.

было с Юрой, — «чудовище» вдруг притихло, и северное сияние по-лыхало.

В Ленинграде было много суеты и жизнь текла бессодержательно и в общем мучительно для сердца. Наш день, 26/X мы провели хорошо и любовно. На другую ночь вдруг вспыхнул скандал, — я перечла переписанное мною письмо Бычкова, все залило внутри ядом, опять подозрения, опять одна боль. Ночь была ужасной, наговорили друг другу бог знает чего, встали разбитые, измученные, с ясным ощущением трещины, но все же решили поехать сюда.

Перед скандалом приходил Волька, — сказал, что ПБ получила задание — составить компрометирующие материалы на «Говорит Л<енингра>д».

Спаси меня! Снова к тебе обращаюсь
Не так, как тогда — тяжелей и страшней:
С последней любовью своею прощаясь,
С последнею правдой и верой своей...

Предсельсовета Елена Михайловна читает «Говорит Ленинград», — какими словами говорит она мне о нем, — простая женщина, далекая от лит<ерату>ры. Я могла бы быть истинно народным поэтом, если б не этот гнет, — и я была им во время войны, и я могу, — могу писать.

Свободы! Свободы от ревности, от любви, от него.

Дело в том, что все наше бывшее партрук<оводст>во во главе с Кузнецовым, Вознесенскими и т. д. — посажено. Сначала сняли (это произошло вскоре после смерти Жданова), нам объяснили — противопоставление Л<енингра>да Москве, без спросу организовали оптовую ярмарку, подделали перевыборы, обогащались за народный счет и т. д. В общем, «отец» выразился — «вроде Зиновьевской оппозиции» (?). Отправили их на учебу, — а недавно пересажали всех, решительно всех — «антипартийная группа, связанная с Югославией». Теперь в Л<енингра>де — массовые исключения из партии, аресты (много у нас в Союзе) — директива — ликвидировать все, связанное с этой группой, в особенности по части идеологии.

И хотя у меня нет ни единого имени из этой группы в моих книгах, а не то что «восхваления» их, хотя красной нитью через все

мои стихи проходит идея единения Л<енингра>да с родиной, помощи родины Л<енингра>ду, хотя «Лен<инградская> поэма» посвящена только этой идее — не будет ничего удивительного, если именно меня, как поэта, наиболее популярного поэта периода блокады, — попытаются сделать «идеологом» [«бло»] «ленинградского противопоставления» со всеми вытекающими отсюда выводами вплоть до тюрьмы. Такой «идеолог» должен быть, и его «сделают». Видимо, уже идет работа.

В день отъезда Юра прибежал из Изд<ательст>ва дико взволнованный и сказал, чтоб я уничтожила всякие черновики, кое-какие книжонки из «трофейных», дневник и т. д. Он был в совершенном трансе — говорит, что будто бы услышал, что сейчас ходят по домам, проверяя, «что читает коммунист», т. е. с обыском. Кроме того, откуда-то запрашивали Изд<ательст>во, — какие из моих книг, Саянова и Прокофьева — изданы.

Меня сразу начала бить дрожь, но вскоре мы поехали. Ощущение погони не покидало меня. Шофер, кот<орого> мы наняли, оказался халтурщиком, часто останавливался, чинил подолгу мотор, — а мне казалось — он ждет «ту» машину, кот<орая> должна нас взять. Я смотрела на машины, догоняющие нас, сжавшись, — «Вот эта. Нет, проехала... Ну, значит, — эта».

Уже за Териоками, в полной темноте, я, обернувшись, увидела мертвенные фары, прямо идущие на нас. «Эта». Я отвернулась и стиснула руки. Оглянулась — идет сзади. «Она». Оглянулась на который-то раз и вдруг вижу, что это — луна, обломок луны, низко стоящий над самой дорогой... Дорога идет прямо, и она — все время за нами... Я чуть не зарыдала в голос, — от всего.

Так мы ехали, и даже луна гналась за нами, как гепеушник. Лесной царь — сказка. Наконец, мотор отказал совсем — ночью, в 50 км от дома. Идиот-шофер опустил руки. Помогло чистейшее чудо, — Юрка за бешеную сумму уговорил шоферов автобуса, идущего в другую сторону. И вот ночью, одни, в огромном пустом автобусе мчимся среди леса, — сказали им — 35 км, обманули со временем, — едем, и мне все время кажется — не та дорога! Ни я, ни Юрка ночью тут не ездили. Она тянется бесконечно и адски долго. Нервы — как струны. Почти в 2 ч<аса> ночи все же добрались, угостили шоферов, затопили печь в моей комнате, сели перед огнем. Добежали! Наверяд ли «они» приедут сюда, если не схватили по дороге. Но ведь может быть!..

Юрка сказал: «Никогда у меня не было такого физического ощущения удущья, смыкающегося кольца вокруг нас».

Легли поздно, спали тяжело, — от всех этих событий, сведений, этой кошмарной поездки, водки, — было ощущение нереальности жизни. Утром я собрала завтрак, нарядилась; выхожу к столу, говорю: «Здравствуй, Юрий», — и вдруг вижу, что он, глядя в окно, — плачет, навзрыд, тяжело, истерически, и катятся огромные слезы, и губы дергаются — первый раз в жизни вижу, чтоб так плакал мужчина, — так горько, обильными такими слезами, с такой беспомощностью и отчаянием.

У меня ноги подкосились, — думаю, сейчас скажет, что будет ребенок от Ю., или что-нибудь такое. А он обнимает меня и плачет, плачет отчаянно.

— Я не могу, не могу, у меня чувство, что тебя уже отобрали от меня, уже разлучили нас. Вот уже руки к тебе протянуты, уже не вырвать тебя. Господи! Все, все, только не это, только не разлука — а я третий день хожу сам не свой и чувствую — вот она, вот...

Я утешаю его (сразу откуда-то твердость и гордость в душе), а он цепляется за меня, целует мне руки и рыдает, рыдает в голос, страшно, истерически.

ГОД

1950

19/1-50

Сама виновата. Вот уж кто может написать — «в гибели моей прошу никого не винить», — так это я. Жизнь сыпется у меня, как песок меж пальцев. Никого не удерживаю. Ни прелестных детей своих, ни Колю, ни папу, ни — сейчас — Юру. И знаю это. Но почему, почему?

19/1-50. С четверга

Я помню, что пока шла к нему, была удивительно кроткой, спокойной, и как-то очень готовой умереть. Даже не умереть, — а раствориться в этом снеге, сугробах, амбарах. И так мило становилось *от ощущения этой возможности*. Эта умиленность, как мы выяснили потом, была началом смерти: это, когда человек все начинал говорить с «чка...» — «кусочек хлебца», «корочка», «водичка» и т. д. У завода Семянникова я присела на трамвайном кольце, [по] на бетонной скамеечке, съела «кусочек хлебца» и пошла дальше.

Тут уж начиналась страна собственно-детства. Удивительно беззвучно было внутри. Я теперь вся ушла в наблюдение за тем, как передвигаю ноги. Школа, где я училась, влюбилась первый раз и была принята в комсомол, — не вызвала во мне никаких эмоций. Палевский, кажется, тоже. *Тот же путь, что и в День Вершин, но — мертвый, беззвучный*¹. Я только замерла, когда дошла до Невы, потому что уже смеркалось, и мне она показалась пустыней, которую надо перейти. *Отсюда до отца было дальше всего*. Я все же пошла, — «теперь скоро, теперь скоро... Но как далеко! О, как он (Юра) мог

¹ Предложение взято в квадратные скобки.

отпустить меня». (И ничем иным, кроме своеобразного способа самоубийства, мой поход, конечно, не был.)

Тропинка через Неву была утоптанной, но какими-то неверными, чересчур легкими шагами — она была ребристой, спотыкающейся.

Правый берег высился неприступной ледяной горою, у подножья горы закутанные женщины брали воду, из проруби.

«Мне не взобраться на гору», — вяло подумала я, чувствуя, что весь мой страшный путь был напрасен. Но увидела, что в гору ведут ледяные ступеньки, вырубленные в обрыве.

— Доктор ступеньки вырубил, — сказала мне женщина, которая поднималась рядом со мной, еле таща бидон с водою, и я не подумала, что это она говорит о папе.

Мы лезли вверх на четвереньках.

Фабричный двор и амбулаторию, и садик около нее, где папа каждый год хлопотал над розами, были неузнаваемы, хотя я тут бывала с детства. Я отметила, — увидела первый раз в жизни, что вот и неживое может умирать. Да, оно было мертвое, как бы перенесенное на тот свет, где все, конечно, иное. То же, но без души.

В безмолвии и безлюдье оледеневшего леса, даже пустой степи — есть жизнь, есть душа, а тут ее не было. *Все было — и ничто не жило.* Как на тот свет пришла я на одно из любимейших мест детства.

Потом записать, как в 49 была в Палевском парке, кот<орый> часто снился и снится до сих пор¹

В маленькой, еле освещенной из соседней комнаты передней, — на деревянной скамейке со спинкою лежала женщина. Она была в ватнике, старательно укутана платком, и лежала на боку, подложив ладони под правую щеку. Так спят на вокзалах дальнего следования транзитники, бесплацикартные, в ожидании поезда.

Но она не спала, — она была мертвая, я увидела это сразу — «наверно, их у папы много....» — равнодушно подумала я, шагнула в соседнюю комнату, и там за белой загородочкой из пузатых столбиков (амбулатория была старинная, деревянная, уютная) — сидел мой папа.

¹ Предложение взято в квадратные скобки.

Я прежде всего уставилась на свечу. — Где ты их достал? Первое впечатление — свеча башенкой — ишь, какие у него свечи¹. Коптилка снизу освещала его. Он очень опух, но волосы на висках [еще] легкие, полуседые волосы блондина, еще топорщились, курчавились, и глаза в свете коптилки казались голубыми-голубыми. У него были большие, выпуклые, ясно-голубые глаза.

Я молча стояла перед загородочкой, перед папой. Он поднял на меня отекавшее свое лицо, поглядел на меня своими очень голубыми глазами и спросил:

— ВАМ КОГО?

Я почему-то ответила деревянным голосом, слышным самой себе. Я вдруг ответила [<1 сл. нрзб>]:

— Мне нужно доктора Берггольц

— А вы по какому поводу?

Я смотрела на него и молчала. Не слезы, не рыдание, не страх — нечто неведомое меня охватило, но тоже какое-то мертвое, без чувств. Он повторил:

— Вам что нужно-то, гражданка...

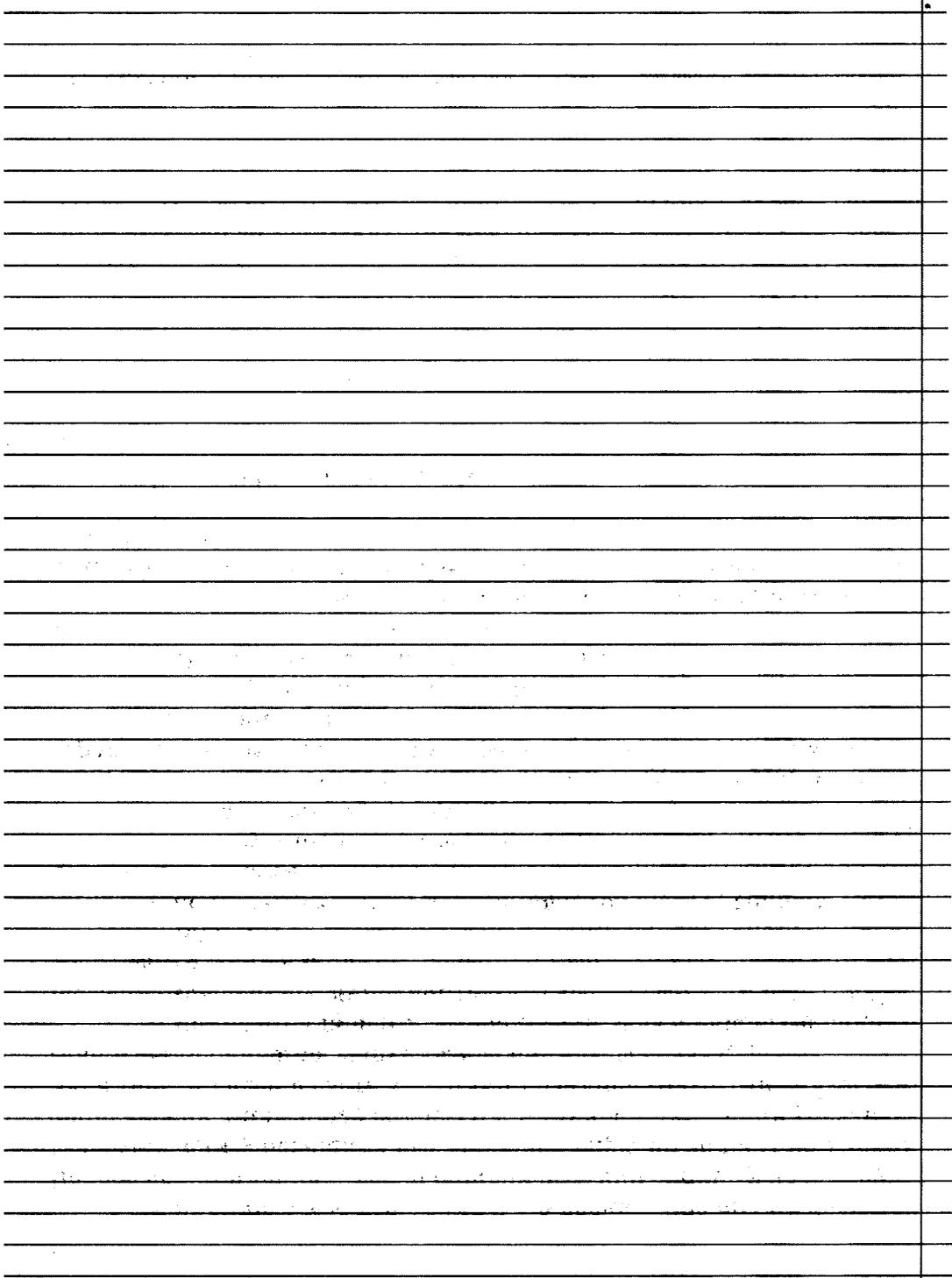
— Папа, — сказала я, — да ведь это я. Ляля.

[]*

Он молча вышел из-за барьерчика, встал против меня и, низко склонив голову в глубоком русском поклоне, молча поцеловал мне руку.

Его рассказ о секрете земли.

¹ Фрагмент со слов «Я прежде» до слова «впечатление» записан на полях.



ГОД

1951

9/V-51. День Победы Таллин.

Это я должна записать, хотя полагалось бы спать, а то к завтраму опухну... но все равно!

Был Юра два дня, было очень хорошо, и мило, и разговор о моем «творчестве» был, и о Гаграх, и покупал он мне все самозабвенно, — а главного разговора не было... В первый день, после целого дня — взял заученными приемами и тут же уснул, как камень, а перед этим был в «чехле», — не тот, к которому пальцами прикоснуться и — обжечься, — базальт, каменный нож, бог, — все может, — а тот, который мог бы и не брать, но — вежливость!

Никогда не забуду, как после Кемери — это после отдыха, — сразу — один раз не смог взять — не встал, а другой — не кончил.

Это было первый раз за нашу супружескую жизнь и потрясло меня дико; пила после с утра до ночи. — Это после отдыха-то? С кем же ты так отдыхал? Но это все надо гнать от себя.

Ведь купил же он мне серебряную цепь, сумку, ведь ходил же по Таллину, подыскивал мне шапочки всякие и говорил, какая я в них милая, — а я видела — старая, старая, и не так, как в Кронштадте, — в незнакомом городе, а я беременная, да еще бомбежки кругом, а он медленно наслаждается мной, и носит меня голую по комнате, и сажает к себе на колени... О, господи! Все серебряные цепи меняю на одну такую ночь... И главное — ему самому это было нужно... Но, — молчание, молчание...¹

Я ведь начала писать, чтоб записать тот факт, который рассказал мне один тип (для <ми мио?> завтра запишу здесь).

¹ Фрагмент со слов «Был Юра» до слова «молчание...» взят в квадратные скобки.

Он подошел ко мне на моем жалком вечере в С<оюзе> П<исателей> Эстонии (ни одного «ведущего» эстонца!) и спросил: «Скажите, песню “Хорошие письма из дальнего тыла” — вы написали?» — «Я!» — «Так это вы и есть?» — «Да, это я».

Спать хочу. Завтра допишу. Запомнить: музыка Изотова (на мои слова), дикий лук ходили рвать — на ничейную землю, не стреляли — «витамины, понимаете, — питаться нужно, и им и нам нужны»; дощечка — сообщите слова (немцы просят). — Дайте два языка, — отвечаем мы, «полушутя-полусерьезно»... Нет, запишу, а то завтра забуду¹.

Он рассказывал, очень волнуясь.

— Я был зам<естителем> нач<альника> штаба артиллерии. Иду по лесу, выбираю место для А<ртиллерийской> П<одготовки>. Под Нарвой, в 44 г. Все лес, да лес. На сосну влезешь — все равно видишь лес. Так дошел до опушки. Дошел, — и вдруг слышу — кто-то поет. И так хорошо поет. Я прислушался, огляделся и вижу, сидя высоко на сосне, поет наш дозорный. Я поднялся к нему на сосну по лесенке, — спрашиваю: «Что же ты такое хорошее поешь?» Он отвечает: — Песню о вдове патриота, т<оварищ> к<омандир>. — Спой-ка мне ее снова.

Он поет. Я имею отношение к музыке, я записал в записной книжке мелодию нотами², потом говорю — А слова? И заставил его продиктовать мне все 11 строф. Ведь у вас 11 строф? Пока вы читали, я записывал — сначала по букве, потом по слову каждую строфу. Кажется, все вспомнил. Мне тогда и мелодия и слова страшно врезались в душу. Я спросил, чья же музыка? Боец отвечает: «Музыка Изотова (!)» — «А слова?» — «А слова ленинградской писательницы Ольги Бергольц³».

Я выбрал себе сосну недалеко от его сосны, стал наблюдать, и во время наблюдения мы пели. Громко пели, вдвоем. Вашу песню.

Потом пришло к нам пополнение, и один был с трубой. Я спрашиваю: «[Играешь] Ноты знаешь?» — «Да!» — «А ну, сыграй по этим нотам». Он сыграл, — и так ладно получилось. И вот стало нас трое — уже целый оркестр, — он с нами тоже был.

¹ Абзац взят в квадратные скобки.

² Слово взято в квадратные скобки.

³ Так в тексте.

А ничейная земля была у нас незначительная, нейтральная зона, метров 40.

И вот мы слышим — немцы на аккордеоне подбирают мелодию этой песни... И тоже начинают ежедневно ее играть... А на этой ничейной земле рос дикий лук, и мы и немцы за ним ползали и был такой молчаливый уговор «через головы постов и правительств»¹, что когда мы за диким луком ползем — немцы в нас не стреляют, когда они ползут — мы не стреляем... — Ну, понимаем, — витамины нужны и им, и нам.

Аня Сиротина — нравилась Юре. Кто?²

Это, — чтоб дольше воевать-то! О. Б.³

И вот однажды видим, что немец, который ползал за диким луком, оставил на этой ничейной земле палочку с бумажкой. Мы заинтересовались, поползли, якобы за диким луком. Те не стреляют, — немой уговор. Взяли бумажку — на ней написано: «Просим сообщить слова песни, которую вы поете, а также теперь и мы».

Таллин. Моя поэма не [в] поэмы, которую начала в дни, когда узнала о Юриной лжи, когда мы решили все же остаться вместе, и он затеял дачу, и увез меня туда.

Поэма вышла. Она могла бы быть лучше, наверное, но — «вино и страсть терзали жизнь мою», — и это, наверное, сказалось. Я люблю ее, она — победа несомненная, но нет в ней все же того всемирного зады́ха и зады́ха личного, о котором я мечтала, рассматривая ее, как часть «Исповеди сына века». Дыханье — есть, и дыханье трагическое, горячее, правдивое, — а вот «задыханья»... нет, пожалуй, нет. Разве что в белой главе, в финале. Но я мечтала о большем.

Поэма была встречена литературной общественностью — с восторгом и удивлением: «Всё есть, что надо», — а — правда и — волнует! Трагедия — а разрешили! Значит — можно! И — стихи каковы!

Выход «Первороссийска» в «Знамени» был событием такого масштаба и, главное, внутреннего для литераторов значения, о котором уже забыла наша литература.

¹ Фрагмент со слова «через» до слова «правительств» взят в двойные квадратные скобки.

² Фраза записана на верхнем поле.

³ Абзац взят в квадратные скобки.

Еще бóльшим событием было то, что в марте этого года я получила звание Сталинского лауреата (хоть и 3 ст<епени>) именно за «Первороссийск».

Итак, — я Сталинский лауреат. В числе сотен людей, поздравлявших меня в день получения премии — был Фалин, следовательно, который допрашивал меня в тюрьме в 1938–39 г..

И особенно радует меня — большой читательский успех поэмы. Нет, я не подвела их, тех, кто любил меня во время блокады. Поэма чиста и честна.

Вышел в свет и однотомика, где, в общем, почти без урона (снято 2–3 строфы) сохранена вся основная блокада.

Чего мне стоило сохранить «Первороссийск» в том виде, как он вышел, а также сборник, писать нет смысла. Водка была еще и из-за этого. Но сдачи знамен — не было!

Но возвращаюсь к началу сюжета. Итак, в мае 50 г. я повстречалась с пресловутым Бычковым. Я виделась с ним и выведала у него о Юриной истории. Конечно, Юра всё неудержимо наврал, всё. Как я и предполагала, это вовсе не была «одна вечериночка». Но... не надо подробностей, ни к чему, только душу ковырять...

...Я приложила Бычкова как горячий утюг к гноящейся ране... Не помогло.

И вот, несмотря на успех поэмы, несмотря ни на что — образовался у меня в душе страшный свищ — неверие Юре. Неверие, смешанное с неистовой, жадной любовью к нему. Ряд последующих фактов (скрывал, что в Л<енингра>де с 1946 г. живет его бывшая жена Ирина Исакович, видался с ней — «один раз»), — еще кое-какие мелкие факты вранья, — усугубляли это неверие. Во всем я стала видеть (да и вижу) ложь, измену, вторую его жизнь.

В то, что любит меня, верила и верю временами абсолютно. И умом верю. И вот сию минуту — верю, что любит, а в том, что изменяет — тоже убеждена. От этого мне надо лечиться — а не от водки. И вот, все заглушила страшная бабья ревность, — всю радость, всю милость дома, все счастье. Свищ разрастался, и лила я в него водку нещадно. О том, как я пила, о страшных ночах со слуховыми и зрительными галлюцинациями, об утрах, полных изнеможения, рвоты и ужаса, — знаю только одна я, — по-настоящему...

Нет, он любит меня, — другой бы, конечно, давно бросил.

А я пью-пью, идут у нас скандалы, (он бил меня по лицу, материл омерзительно), — очнусь, помиримся, а я думаю: «Ну, теперь-то он меня наверняка не любит. Теперь-то, после всего этого, что бы он ни говорил — не любит, и особенно чувствует себя вправе на радость “на стороне”, на ту, мне неизвестную жизнь и женщину...»

И не отделаться мне от этой мысли, [<1 сл. нрзб>] а его нет в назначенное время дома, нет час, нет другой... «В библиотеке»? Это так же, как не помнил фамилии Юлии? И снова я пью, чтоб хоть только утишить эту муку ревности, это унижение мое... Да, он умолял много раз — не пить, он говорил, что я гублю его, гублю любовь, дом, счастье. Вины с себя не снимаю. Не хватило сил, не хватило мужества вынести удар 49 года. Хватило «только» на «Первороссийск». Нет, он не знает, все же, какой я подвиг совершила... А он? А его работа? Нет, — и он тоже! Были в эти годы и светлые, вдохновенные дни, и любовные ночи, и влюбленность обоюдная, но больше, пожалуй, было кошмара, чада «взаимных болей, бед и обид».

Ах, мне бы только узнать — есть ли у него кто-нибудь или нет? Вот так, как у Юрки Германа — некая Наташа. Ну, опять я не о том... Не надо об этом думать... Не надо! Ведь я же хотела о другом.

Я хотела о том, что вот я в Таллине. Уже с 3/V. Шью себе туалеты, живу одна, и — не пью. Я постарела и обрюзгла за эти годы — ужасно, хотя временами очень хороша. И вот в эти дни — несмотря на явные «щечки» — я красива. И в голове прояснилось, и вместо чада — в сердце терпкая, прозрачная грусть.

И скоро уеду на великие стройки, — одна, как в молодости.

А завтра приедет Юра.

И мне хочется встретить его, как жениха, и сказать ему: давай, забудем эти кошмарные годы. Скажем — их не было. Не будем считаться, кто кого больше обидел, кто начал. Начнем любовь сначала, начнем сызнова, — потом все вспомним. Начнем ее с того места, где она порвалась... Нет, с того, где началась — с калитки на Троицкой...

Мы начнем ее любовь, начнем сначала,
 Не оттуда, где любви дышать не в мочь
 Но оттуда, где она блистала
 Первый раз,
 сквозь лед и смерть и ночь

Нет, о нет, мы не хотим я не хочу забвенья
 Тех, обидой полных, горьких дней
 Не прошу и не даю прощенья
 Друг от друга мы не ждем [я] не хочу прощенья
 Мы с тобой мудрее,
 мы сильней

Мы начнем ее,
 начнем сначала
 Ту, что никому не погубить
 Ту, что пела,
 ту, что вдохновляла,
 без которой мы не смеем жить.

*

Ту, что ни на миг
 не прекращалась,
 без которой мы не смеем жить.

*

И радио — опять грозоотметчик
 Он отмечает дальнюю грозу..

Фольклор.

Сцена с грузчиками и нашим пароходом.
 Тащут и несут сообща под припевки.

— Опленьки-оп!
 Еблиньки-еб!

Раз-два! Еб твою мать!
 Раз-два ->-
 Ебал
 постыло
 два раза
 было

Сцена с Таней

— Перестаньте материться, при женщине, ети твою мать.
 — Вот как... тебя в жопу

— А ты советскую женщину так оскорбляешь? Я тебя сама знаешь, на какой хуй пошлю.

И хлоп его в морду.

Потом милиция. Вся бригада:

— Таня, не сердись, он это сказал потому, что ты красивая!

<Далее обрыв текста — из тетради вырваны листы.>

12/13 XII-51

Всегда, как только начинаю я большую, главную работу, — судьба толкает меня под локоть.

<15>/V-55¹. Здесь должна была быть записана история со звонком к Юре, когда по разговору его я поняла, что это звонит любовница и он назначает ей свидание.

Ничто не могло разубедить меня, что это не так, но это так и было.

В июне 53 г я точно узнала об его связи, и он признался мне в этом.

Как он врал в тот вечер — 12/XII-51! «Звонила секретарша М. П. Алексеева...»

23/XII-51.

Так вот, когда любящая и любимая женщина говорит тебе, что ты красивый и самый хороший, то влюбленный, любящий мужчина «реагирует» так: он радуется, он целует говорящей руки. Если он раздражается на ее слова, требует «критического отношения» к себе или отшучивается, отделяется плоскостью, — значит, он ее не любит. «Научить реагировать» — нельзя!

...И не «шпионила» я, а хотела, жаждала убедиться в том, что НЕТ у тебя другой отдельной «второй жизни» (как сам ты говорил Юрке о Юлии). И вот по ночам лазала по твоим карманам, скрежеща зубами от отвращения к себе, понимая все падение свое, — а все-таки обшаривала их, рассматривала мельчайшие записи, — ну, вот,

¹ Край листа оборван.

ну, что ты хочешь, — я чувствую — твоя «вторая жизнь» где-то рядом, где-то около меня ходят какие-то Юлии, Афонские, Ирины, — которых я и в лицо не видала, только знаю, что они были [на] в твоей жизни, покушаются на единственное, что у меня есть, — подленькие, ненавидящие меня, врывающиеся внезапно, грубо, все окутанные ложью.

Мне надо было убедиться или в их реальности, или в том, что их нет. Ты скажешь: «А моя любовь — не доказательство?»

Знаю, единственный мой! Знаю! Оттого и дрожу за нее.

Но, прости, — невероятным ударом было для меня, когда в 42<-м> весной я вернулась в Ленинград, и видя, чувствуя огромную, светлую, настоящую, тогда — ревнивую — любовь твою ко мне — обнаружила (и тогда действительно случайно!) — твои любовные и ревнивые телеграммы к Ирине. Ведь ты их одновременно отсылал с письмами ко мне в Москву! Ведь в искренности и силе тогдашнего твоего чувства нельзя было сомневаться. А параллельная — вторая жизнь — ведь была?! Была же, я же не выдумываю этого, да? Но я хоть знала тогда — кто она, что тебе, я знала, что старые истинные связи мгновенно не порвешь... Но сегодня?!

Вот ты солгал мне, — и еще один новый призрак вошел в мою жизнь. Господи! Хоть бы ты что-нибудь поумнее придумал, — но ты — ты, бедняга, не успел... Господи-господи, сколько же теперь у меня будет разных «домыслов», — ты же сам их вызвал, и они будут как зубная боль, как зуд — неотвязны, унижительны для меня, безобразны. Господи, — что же сделать, чтоб это не мучило, как отмахнуться? Пыталась работать весь вечер, и все хорошие, настоящие большие мысли уходили — нет, меркли, мертвели, не выговаривались... Зачем ты лжешь мне?! Зачем позволяешь звонить в наш дом и орать на себя? Что тебе — «там?». На кого мы меня меняешь, — ведь я же не могу так больше, — дальше в одиночество уходить мне некуда, — я уйду совсем, по-настоящему. Я слабый и немужественный человек, но это не угроза. Я думала, что после улицы Радио все станет новым, замечательным. Но ты только еще чаще стал отлучаться из дома, и еще меньше стали бывать мы вместе. Раньше ты хоть по утрам долго говорил мне о моем пьянстве и безобразии — а теперь и этого нет! Видно, общение «там же» — тебе интересней.

Ох, как я глупо, как я неправильно веду себя! Мне бы притвориться, что мне это — тьфу, мне бы не «устраивать сцен», а дать тебе

распоясаться, обнаружиться, да завести бы себе любовника — хоть для демонстрации... Все в моем поведении глупо и неправильно.

Но что ж мне делать, если я люблю последний раз в жизни, люблю «на́чисто», и не могу притворяться.

Да, он долго был терпелив... Но неужели, неужели он так и не понимает ничего, что со мной происходит, кроме болезни?. Врачи тоже не понимают, что лечить во мне нужно не алкоголизм, не запой, а душу. Душа у меня больна, изломана, не срастаются изломы... Излечить ее мог бы только Юра. Но он не видит, что у меня с душой творится. Если б видел, не выталкивал бы меня все время из дома, не отпустил бы сюда одну — после нового избиения на п<артийной> к<оллегии>.

Что же мне делать? Что нам делать, О. Ф.? Вот вы и одна... Долгим «примерным поведением» завоевывать мужа и «друзей»? Как побитая собака, лизать им руки? А в чем я виновата перед ними? Пью? А они — нет?

Знаю — брата я не ненавидела
и сестры не предала...

А! Мне надо набраться спокойствия во что бы то ни стало. Муська права в одном — Юра действительно выкаблучивается надо мной, — только она не знает, как далеко это зашло. Нет. Если он ничего не слышит в моих телеграммах и не понимает, чего мне душевно после п<артийной> к<оллегии> стоила поездка сюда и работа здесь (и работа качественная, с сердцем!) — то нечего и мне распинаться¹.

¹ Далее идет тетрадный лист, разделенный на три части: на левой записан календарь, на правой сверху — «Дела», на правой снизу — «Предполагаемые доходы».

14-17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		9 ок. ше		2		4		ше	
10	28	пон.	1	8	4с	-	6		
11	29	вт	2	8	5с		7		
12	30	ср.	3	6	6с		7		
13	31	четв	4	6	7с		9		
14	1	пятн	5	4	8с		10		
15	2	суб	6	4	9с		11		
16	3	воскр	-				✓		
17	4	пон.	7	2	10с		12		
18	5	втор	8	2	9с		13		
19	6	среда	9	2	8с		14		
20	7	четв	10	2	7с		15		
21	8	пятн.	-						
22	9	суб.							

Дела	
1)	Бухгалтерия из-за
2)	Литфонд
3)	Бюро прототипов
4)	Сов. писателс "
5)	Секретария-перевод.
6)	Известия - газета

Предполагаемые доходы
Доход - 800
Плата 1000
Избыток 800
2500

Как я мечтаю
 чтоб мне.. на дне очнуться
 не жалкою влюбленною [русалкой] девчонкой,
 [Но] Холодной и надменною русалкой...

Наверно даже, у него есть другая семья, м<ожет> б<ыть>, дочка. Эта мысль очень преследует меня. Он держится за меня, как

за «дом», как за положение. Он ведь перестал чувствовать меня, как женщину, как поэта. Он самоупоен и непогрешим. Знал, понимал и любил меня только Коля.

Юрик прислал хорошую телеграмму в ответ на мою. Нет, он любит меня, и я все, все исправлю.

Сегодня открытие Волгодона. Митинг открыли Интернационалом. Когда флагман рвал красную ленту, перекинутую через канал, народ ревел, кричал, свистал, стонал — от радости.

Как здесь прекрасно, на морском просторе,
на осиянном, светлом берегу...¹
Но я видала все, что скрыло море,
я в недрах сердца это сберегу.
В тех молчаливых, тяжких, жарких недрах,
где уголь превращается в алмаз,
которыми владеет только щедрый.
А щедрых много на Земле у нас.

1 3 2

И чашу моря Цимлянского чашу
высоко подьмет земля

И чаша Цимлянского моря
землей высоко поднята

Стихи в Известиях средненькие, а земной-то поклон я волгодонцам все-таки положила, и его обнажить голову перед их трудом — заставила!

Юра послал мне телеграмму 20<-го>.

Письмо послал 20<-го>, я получила его 24<-го>.

24<-го> он говорил по телефону с Мусей, узнал о моей телеграмме, узнал, что мне тяжело, что я плачу, раскричался, что «больше писать не будет».

¹ Фрагмент со слова «Как» до слова «берегу...» справа отчеркнут вертикальной волнистой линией.

Сегодня [с] 27/VII. Утром он получил мою телеграмму. Итак, с 20<-го> по 27<-е> у него не родилось желания сказать мне что-нибудь, запросить у меня о моем состоянии, чем-либо поддержать.

Ах, боже мой... Неужели же я — верней, Муська, собирая мои вещи в номере, потеряла те драгоценные Юрины письма, из Кемери и в прошлом году — сюда, которые я всегда вожу с собою?! Я не помню, взяла ли я их, или только вложила в конверт, поцеловала и опустила в секретер? Неужели я их утратила? Сколько раз я перечитывала их, ужасаясь глубине своего предательства — эти заклатья его, эти мольбы любви я все время попирала своим пьянством. Он не только так, он больше вообще уже ничего не напишет мне. Неужели я потеряла их, и ту телеграмму, поздравление с нашим десятилетием, которую я тоже получила сюда, в алкогольную лечебницу, где уже вторично?!

ГОД

1952

13 марта. Этот дневник — письма к тебе, Юра.

Все же дневник <—> выход из одиночества. Я человек — общительный беспредельно, но у меня нет ни одной души, с кем бы я могла поговорить, действительно, по душам. И странно, меньше всего я могу поговорить об этом с тобою. А молча — я разговариваю с тобой все время, так напряженно и много, что мне трудно отвлечься от этого разговора даже к работе. Я обо всем с тобой говорю... И о нас — тоже... Вот вчера ты сказал: «Думать, что сейчас все может быть, как десять лет назад — не реально». Это ты в постели сказал. И еще прибавил: «Нельзя же жить воспоминаниями».

Лучше б ты уж еще раз назвал меня блядью, чем таким докторальным тоном, чуть раздраженно, как говорят с людьми, не понимающими элементарных вещей, заявить, что наша любовь — стала «не реальна», стала «воспоминанием».

В том-то и весь мой ужас, и всё, от него исходящее, что для меня она не стала «воспоминанием», а для тебя — стала, и уже давно, и когда я стала замечать это и фактически обнаруживать, — я стала совсем погибать.

Мой навсегда единственный и любимый. Шли сегодня утром мимо Жигулей, и такая благостная тишь кругом и ширь необъятная, такая красота божья.

*

Это письмо я начала писать Юре после того, как на Волге уже услышала за стеной, как меня хотят арестовать, и его, Юрин, голос. Я испугалась, вышла на палубу и стала писать то, что карандашом наверху на этой странице.

А он из кошмы мне говорил и говорил:

— «Лебедь моя, лебедь белая! Я люблю только тебя, лебедь моя, радостная, как ты на миг могла подумать другое! Счастье мое....»

Тут я так испугалась, что бросила писать это письмо, встала, упала на палубу (а Волга и закат кругом!), пошла в каюту, и тут начался полный кошмар галлюциноза.

Эти строки — попытки единоборства с безумием.

Раиса Николаевна, свихнувшаяся на лимитах в детдоме, прочитав мою книжку, сказала:

— [2–3 сл. нрзб] Вы сюда за чистоту души и за правду попали... Только бы вам не извериться. А я вот уже ни во что не верю: ни в правду, ни в идею, ни в дружбу, ни в любовь. Все это где-то у Кашея Бессмертного, в яйце, а в яйце иголка, там, может, там *только*, на кончике иголки это все и осталось...

— Ср. — на Волге: — «Кашейка, Кашейка, ты зачем пришла»...

Я успокаивала бредом
своим — себя

М. С. сказала: «Поговорить с вашим мужем очень хочу. Я уверена, что если понять вашу душу и умело ее беречь — можно быть счастливейшим человеком».

— У меня врачи признают ненахождение места и тоску, которую они называют апатия.

— А меня полгода назад схватил неинтерес к жизни.

— Если так горячо схватил, то ничего: быстрее простынет.

Сон.

С понед<ельника> по вторник — 7 ч<асов> подр<яд>.

вторн<ик> — 1 ч<ас> днем

Со втор<ника> на среду — 6 ч<асов> ночью

2 ч<аса> днем.

<26 октября 1952>

Умри и — стань!
Гете.

Из мрака — к звездам.
Бетховен.

После мрака надеюсь на свет.
Сервантес¹.

Все старые-старые, все те же лозунги моей жизни. Я писала их в 37–38 гг. — вот, обращаюсь к ним теперь, в 1952 г., на новом витке спиралевидного пути своего. Этот новый виток — полное одиночество. Мне надо найти опору в рассеченной своей, крошащейся, быть может, где-то местами загнившей, местами — рядом, вплитык с очагами поражения — алмазно-отграненной и твердой — душе.

Ближайшая и реальная опора души — Юра, уже давно стал отходить от меня. Ощувив это особенно остро в 49 году, на фоне всеобщей болотной почвы, я стала пить. Это теперь исключено, как средство забвения или временного выхода. В качестве оттягивающего — примусь за дневник. Очень долго писать обо всем, что было со мной за последний год хотя бы, начиная с белой горячки на Волге в июне 1951 г., когда я первый раз поехала на Волго-Дон... Я потом все это запишу, — я помню все, вплоть до бреда и галлюцинаций, которые я тогда имела, вплоть до песен, которые тогда слыхала.

Последние события, — партколлегия, привлекающая якобы за «недостойное поведение» — за пьянство, с подъемом всего 37–39 гг. «упаднического творчества» и т. д. с доносами и предательством В. М., *события* — с работой легом для «Правды», — с улицей Радио, вторично, — и, наконец, сентябрь 52 года, когда я вошла в страшнейший запой, и этот звонок, анонимный, правда, когда мне сообщили, что у Юры любовница, и занесение меня в черные списки перед съездом, и Юрина декларация: «Как женщина, ты мне давно противна, я себя искусственно настраивал... (как будто бы я сама этого не замечала!)... Хочешь вешаться — вешайся.

¹ Эпиграфы открывают новую тетрадь дневниковых записей.

Исключат — пусть исключают. Посадят — пусть сажают. Я на тебя насрал».

И после всего этого он просто-напросто вышвырнул меня из дома: купил билет до Москвы и выпроводил из Ленинграда, заявив прислуге: «Пусть убирается из Ленинграда, а там — чорт с ней!», — приказав Мусе: «Напои ее до бесчувствия и тащи в любую психиатричку», умыв руки, когда Муся сунула меня в страшный сумасшедший дом — «пусть все решают врачи»...

Да, я знаю, что очень, очень виновата сама во всем происшедшем, вплоть до того, что опротивела, как женщина. Сколько раз я хваталась за голову — «боже, что я делаю, я гублю любовь, я гублю нашу жизнь», и все же, отчетливо понимая это, не могла остановиться перед водкой — потому что чувствовала, — она и так погибает, и без водки...

Да, страшным вечером 1 июля, когда уже «ломались в дверь», — Юра сказал мне: «Я с тобой, что бы с тобой не было». И я обмерла от счастья, увидев, что это правда.

Но этого его порыва хватило на 19 дней.

Вчера было 11 лет нашего первого дня. Телеграммы от него не было. Послала ему телеграмму, где сказала, что горько, что впервые за 10 лет не получила его поздравления. Сейчас получила его телеграмму, послал, видимо, днем или утром 26/X. Здесь дикая петрушка с телеграммами, идут сюда по полутора суток. Но моя-то пришла через два часа.

Вот текст его телеграммы.

Хмуру и одиноко в городе всем сердцем мечтаю наступлении такого же дня как тогда, и чтобы где была ты был наш дом благословляю тот день верю следующую годовщину будем вместе мудрые закаленные испытаниями мы пойдем дальше так же легко и свободно как шли через блокаду сегодня зову твой голос нежно целую и жду твой Юра...

28/X-52.

От тебя все мысли отвлеку,
не в гостях, не на земле, так на небе...

ОТВЛЕЧЬ, отвлечь от него мысли, хотя бы пока, чтоб с чистым сердцем вернуться и заново полюбить, и чтоб тоже заново полюбил, «начисто».

Давай, полюбим начисто,
давай, полюбим набело...

А может, любовь только тогда и есть, когда она не начисто и набело, а начерно... Все — черновик. Все только черновик. И литература, и жизнь, и любовь.

30/X-52.

Разговаривала вчера с Юрой от Дуньки. Был мил, сказал даже: «Ты же у меня настоящий поэт, настоящий человек, когда захочешь...» А в разговоре — те страшные паузы, когда с человеком не о чем говорить, и когда я спросила, когда же мне приехать — ответил, неестественно посмеиваясь: «Это от тебя зависит». От меня?! Он даже летом, на улицу Радио, писал, что тоскует — сейчас ни слова об этом. Я чувствую — принципиально. Не пишет ни о любви, ни о тоске, не торопит приездом, лицемерно прикрываясь словом — «Лечись»...

Лечись! Лечись тем, что тебя любимейший человек в момент, когда ты начал действительно погибать, — бросил и выгнал из дома. Лечись, — скитаясь по гостиницам, по сумасшедшим домам, по чужим семьям! В то время, как созданный тобою дом пустует, или играет для него роль ресторана и ночлежки. Лечись рвотой, обмороками, амиталовым запоем, дурацким шрайберовским «психоанализом», общением с психопатами за тюремной решеткой, — лечись всем этим, это укрепит твои нервы и ты бросишь пить...

Несчастные, слепые и бессильные люди! Я теперь отчетливо вижу, что каждое такое «лечение» — только погружало меня в трясину еще более глубокую, чем та, которая была раньше. Ощущение позорного клейма после улицы Радио, всей этой процедуры с блеванием, когда они полагали, что я могу выплевать всю горечь, весь яд, все сомненья и боль, которая во мне накопилась, — никто, никто из них не знал, как это все меня ИСКРОМСАЛО.

Да и все остальное, включая дом Ганнушкина, и этот «сон», и какое-то двоедушное отношение Юры...

Он говорил Муське: «Я не зову ее домой, — это не чутко, но тут исключают из партии»... Но он ЗНАЛ, что из партии меня не исключат, и сам же убеждал меня в этом. Он твердит Софье — «ей нельзя возвращаться в Ленинград, я лучше буду ее навещать»... Нет, тот звонок НЕ БЫЛ ПРОВОКАЦИЕЙ, звонок, которого я ждала уже несколько лет, подозревая, что у него есть «вторая жизнь». У него — роман, и видимо — «серьезный». Ему неудобно мое пребывание в Л<енингра>де. Я вообще стала ему неудобна с моими Волго-Донами, мучительными общими вопросами, ревностью, любовью. Да, она стала ему тяжела.

Ему нужна профессорская жена, домохозяйка, она же гувернантка у Андриюши, и свежее мясо на стороне, чтоб «срывать цветы удовольствия». Вот и всё. Так было, когда он жил с Валентиной. Моя любовь, моя личность существовали для него лишь в апокалиптический период блокады. Теперь ему нужна карьера...

31/X-52.

29<-го> говорила с ним по телефону от Софьи, — говорил, что хочет приехать на праздники, но как-то неуверенно. Собирался звонить сегодня, чтоб узнать, — можно ли тут жить. Вчера, после суток смятенья и горечи, после того, как заявил, что мой приезд «от тебя зависит», я послала ему телеграмму: «Мой дорогой, хороший, добрый, дождись меня дома мне кажется так будет лучше отдохни праздниках нежно целую»... Сегодня он не позвонил, — обрадовался, что не прошу приехать, а, вернее, испугался, что скоро приеду.. «Дай мне отпуск», — твердил он, настаивая на том, чтоб я уезжала из Ленинграда, не подозревая, какие ножи он в меня всаживает. А я из 12 месяцев с окт<ября> 51<-го> по окт<ябрь> 52<-го> — 8 месяцев вне дома.

Да, я понимаю — у него травма, у него шок от меня. Я понимаю, как могла я стать ему отвратительной. Но ведь я — все-таки я, и никто больше. У Грбатова была одна Татка, развратница и пьяница, и сумасбродная баба, но вот он умирает сейчас, — не в силах пережить разлуку с нею, не в силах заменить ее новой, «хорошей» женой, внешне похожей на Тату и — на меня, — тот же тип.

Он не тоскует без меня, даже так, как летом, не зовет, молчит о любви... Он просто больше не любит меня, и мне нельзя себя обманывать больше.

Возвратить его?! Но этого — с ним — сделать нельзя. Он уже слишком далеко отошел от меня, заполнил сердце работой, жаждой «сделать карьеру», — получить докторскую, получить лауреатство.

Я не предполагаю в нем только корыстных и честолюбивых побуждений, но они есть, они очерствили его, они не только убивают в нем любовь ко мне, но и вредят ему, как крупному ученому-гуманисту. Слишком много забот о взаимоотношениях с Благим, Виноградовым, забот о «мельтешении», о мелькании имени в разных органах... Как меня удручает это, — а он не осознает губительности своей суеты, он наивно переоценивает «организационные стороны» своего успеха. И жизнь нашу он строить не хочет: «от тебя зависит», «как врачи скажут». А от него — ничего не зависит и сказать он ничего не может...

Нет, я верно сделала, что послала телеграмму. Очень во мне все кипит, да и в нем не меньше, а больше...

Так неужели же — конец? Зачем, зачем, где мы найдем друг друга, таких, как мы?. Нет! Выход у меня только один — терпение. Ни звонить, ни телеграфировать, ни писать больше не буду. Пусть схватится, пусть испугается — ведь я же на самом деле, а не демонстративно хочу уйти от него, пока хотя бы внутренне, хочу разлюбить его. Ну, пусть получается, что «топчу свое счастье», — большее несчастье унижаться перед человеком, для которого ты — ничто, перед самцом, который тебя не желает больше... А это — так, и нечего мне рыпаться, «гримировать душу» и т.п.

И выгляжу я ужасно, — горе всегда старит и безобразит меня.

Но ведь он-то со мной тоже устал!? Также исстрадался? Знаю, боже мой, знаю. Но почему же мне не жалко его — за сентябрь месяц? Почему не могу простить ему его оскорблений? Нет! Лучше новый запой — и неизбежная гибель за ним, чем новые унижения... А он — спокоен, он думает, что я «никуда не денусь», что он сможет прожить и без меня — с какой-нибудь девицей из благородного семейства... Нет! «Душевный грим», рекомендованный Софьей, мне невыносим, — исчезает последний оазис правды и веры... Что же делать? Откуда взять силы — разлюбить его, стать равнодушной?

2/XI-52.

Что-то плохо идет мой «Сталинградский цикл», — видимо, пережила его, переговорила, выплескала. И в душе уже нет того отчуждения, холодящего ощущения судьбы, [1 сл. нрзб] какое было у Ганнушкина, — то состояние, при котором ничего не остается у тебя, кроме самой себя, и потребности предельного самовыражения.

Зощенко как-то сказал — на ходу и очень серьезно:

— Ах, Оленька, и любовь и судьба у вас будут не счастливыми, оттого-то и будете вы писать хорошие стихи.

Вот сейчас вроде как «все налаживается», — «восстает мой прежний ад в стройности первоначальной»...

Вот — печатают в «Литературке» мою плохонькую статейку, вот Юрка Герман (явно блядующий здесь со своей Наташей), — наговорил мне, что якобы мой Юрка «живет только тобой, молится на тебя, никого у него нет», вот сам он в ответ на мой обмирающий вопрос — вернуться ли мне, с досадой завопил: «Ну, что ты, маленький, ну, как тебе не стыдно спрашивать» (а телеграмме-то обрадовался, ехать не хочет — «ты же написала...»), вот редколлегия «Знамени» единодушно умоляет меня «открыть год», — и вот уже крутится в душе душная пыль и мусор тщеславия, мелких расчетов, мелких обид и т. п.

И пишу — плохо, с мелкими мыслями, с ясно ощущаемым милиционером, непрерывно, в каждой строке, свистящим: «неправильно переходите улицу»... А сколько строк, где я уже сама «правильно перехожу»...

Нет, дальше, дальше, в белизну и холод отчуждения и одиночества.

Какой молодец Гроссман, дочитала его первую книгу «За правое дело». Сколько он знает, сколько передумал, сколько в книге не правильного, а истинного. А я? Ни хера я не знаю, кроме собственного пупа, ни хера не могу — большого, подвижнического... Статейки, стишки на случай, — ах, к матери это все... Надо браться за дело жизни. «Сталинградский цикл» — может быть подступом к делу жизни... Так прочь же весь мусор, — прорваться к обнаженному делу жизни...

7/XI-52. 35 лет Октября.

Сегодня — годовщина Революции. День этот всегда был и будет для меня свят, и праздничен, несмотря на то, что отдельные годовщины связаны с тяжкими личными ранами.

Никогда не забуду, как в 1937 году выгнали меня из колонны «Электросилы», т.к. я была в то время исключена из партии. До этого момента люди шли рядом со мной, как приговоренные — они боялись меня, а я не могла поверить в это, мне казалось, что — наоборот, они должны уважать меня за то, что я, несправедливо оболганная, тяжело и незаслуженно страдающая (они же видели это!), пришла на демонстрацию, и не думая об обиде, веря в справедливость, иду вместе с ними. Но они боялись за себя и выгнали меня из рядов. Все, все помню, — и как сидела на лавочке у Техноложки, пропуская мимо себя демонстрацию, и как пришла к Вольке и выпила стакан допелькюммелю, и потом — к Молчановым, и сказала об этом Коле, и мы, подавив слезы, сказали: «А все-таки нас с ней не посорят. Никто».

Четыре года назад в этот день, пока я выступала по радио на Дворцовой, — умер папа, человек, — м<ожет> б<ыть>, единственный человек, который любил меня умно, великодушно, не [<1 сл. нрзб>] эгоистично и горячо.

В преждевременной его смерти виновата я и мой эгоизм... Надо было раньше подхватить его, освободить от работы, принять все неудобства, исходящие от него, не удалять его из дома то в больницу, то в санаторий, оберегая покой и удобства Андрюши и Юры, да и свои тоже!

И все-таки сегодня праздник...

Сегодня праздник, хотя я сижу в чужом, ненужном мне поселке, среди не нужных мне и чужих людей, одна, и день начался с того, что я позвонила Муське, чистосердечно потянувшись к родным, а она начала говорить, чтоб я позвонила Серейскому, что мне тут нужно «продолжать лечение, а не торопиться высказывать», что надо, чтоб приехал Юра, «чтоб врачи поговорили с Юрой», т.е. начала разговор как с больным-алкоголиком... А я (это уже я дура) — позвонила Серейскому, и этот глупый жид жирненьким голоском снисходительно разговаривал со мной — тоже как с больным.

А, ну их всех, — убогие души.
Хотел бы я поглядеть в глаза,
Кому это я попутчик?!

Стихи идут странно. Я испытываю к ним то отвращение, как к чему-то бессильному и топорному, то волнуюсь до слез.

Еще — хотя написано много — нет ощущения той свободы работы, которая появилась у Левина, когда он косил. Я помню, что я — работаю, и не стихи ведут меня, а я их. Мало непонятого, удивительного для себя, — есть, есть, но мало. Мало, верней, почти нет прозрений, подобных «Реквиему», —

Как одинок убитый человек
На поле боя, стихшем и морозном...

Я знаю причину этого: вторая, скрытая тема Волго-Дона, поистине величественная в своей трагедийности, держит меня в плену своем, не поддается эзоповщине, жаждет обнаружиться... Ее колючие острия вылезают даже из этих стихов и будут опознаны редакторами и критиками.

Я не лгу, ни в чем не лгу. И то, что я пишу — тоже действительно. Я так хочу прорваться к ней — к «трагедии всех трагедий»...

Нет, кажется, сегодня поработаю — только ничем, ничем не сбивать настроения.

И прочь, прочь размышления о Кожевникове, Софронове и т.п.

Юра прислал милую телеграмму с долгожданными словами о любви, тоске и ожидании и говорил вчера по телефону в этом духе. Он у меня в чем-то очень-очень глупый и слабый, а я люблю его. Люблю.

Ничего, я сильней, как оказалась сильней тех, кто выставил меня из колонны в день 20-летия Октября: и Угам, и Нина Виткова, и Нина Резникова, и многие другие, которые опустили глаза, когда меня выводили из рядов, — плакали в дни войны над МОИМИ стихами, находили в них силу для жизни.

*

Как-то глупо прошел день — начался с желания работать, был перебит дурацкими разговорами с Муськой и Серейским, затем стала писать дневник, занялась раздумьями, рефлексией по поводу Юры: вот, мол, он сейчас на даче, ему хорошо, а я одна. Он не приехал сюда, потому что не захотел «бросать Андрюшу». Как часто он, не понимая этого, видимо, прикрывается Андрюшей, ставит его перегородкой между нами, вместо того, чтоб сделать его неразрывным звеном. Должно быть, я действительно «выздорабливаю», потому

что только грустно усмехнулась, когда он заявил, что «хочет побыть с Андрюшей»... А со мной — нет. Ну, да ведь если он не приехал, когда я была в доме Ганнушкина, задыхаясь там от ужаса и отчаяния, от сознания, что за стенами этой дикой тюрьмы у меня никого нет, — то приезжать сейчас — нет смысла. А он не приехал, хотя знал, что лечение сном закончено, и когда Муська спросила, что же делать со мной дальше, ответил: «Ни я, ни ты ничего решать не можем, пусть решают врачи». Если бы даже вопрос шел об аппендиците, то и тогда нельзя было бы так ответить, а здесь вопрос шел о душе, о жизни «любимой женщины». Более чем равнодушие нужно было иметь, чтоб так ответить Муське, чтоб, зная, что я нахожусь в сумасшедшем доме, не приехать сюда хоть на день. Видимо, утешался и жаловался на меня своей благородной девице. А она у него — есть! Господи, да я бы на его месте примчалась как оглашенная... Я бы от стен этого дома не отходила, даже зная, что у него — девица...

Да, но все это мне поделом, — за глухоту к его страданиям из-за моего пьянства... Не на что, не на что жаловаться, дорогая. Это — не Коля. Это обыкновенный, слабый и весьма эгоистичный мужчина, при всех его замечательных качествах. И ты его любишь, и затрепещешь, увидев его, и снова будешь реагировать на каждый бабий звонок...

А может быть... может быть, и не буду! Но как же теперь написать стихи о любви, если уже нет этой жажды?

8/XI-52.

...И проходят, проходят мимо, и уходят из моей жизни — одна человеческая жизнь за другую.

Умирает Е.И. Ковальчик, редактор первых моих военных книжек, смелый и честный редактор, умная и одинокая женщина. Рак.

С тяжелым инфарктом лежит Борис Пастернак. До сих пор со счастьем вспоминаю, как в 46 г. я два или три дня была влюблена в него, счастливой, абсолютно платонической, сумасшедшей, юной влюбленностью, и наслаждалась этим чувством. Он предложил мне перейти на ты, и мне казалось, что это все равно, что перейти на ты с громом, с летним ливнем, — так много с самой юности значили для меня его стихи, так они были слиты с моей жизнью.

Под его строчками шел последний — мрачнейший год:

— Мы никого не водим за нос,
Мы будем гибнуть откровенно...

Кроме одного его письма и этого стихотворения — все остальное я сожгла в июльские дни этого года, — зачем, идиотка, ничего там не было «крамольного»...

Я видела его последние разы уже сильно надломленным, после ареста его последней любви.

Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему...

Его строчки я написала на своей книжке, везя ее в подарок Т<атьяне> О<куневской>, и это было в день десятилетия моего ареста и в те часы, когда ее брали. Борис не справился с ее утратой. Как он тосковал о ней, принесшей ему столько позора и горя. Эта страшная ночь у него на другой день... У него был инфаркт, после этого он женился, но продолжал попивать, а этого было нельзя ему. Нельзя было и молодой жены, которая сейчас беременна. Вот он лежит с инсультом, и говорят, вступил уже в финал, подобный финалу Вс. Вишневского...

29/XI-1952.

Солнечное.

И где бы я ни была, — всегда основное мое состояние, — это ожидание Юры. И всегда он — опаздывает.

Вчера перечитывала дневники свои с самого начала войны. О том общем впечатлении, которое они произвели на меня — потом, я сама еще не разобралась в нем.

Но нельзя было без дрожи перечитывать запись о 8 ноября 1941 г., когда я ждала его в чужой комнате на Проспекте Красных Командиров под трехкратной бомбежкой квадрата, и он опоздал на три с лишним часа. Я думала, что он погиб по дороге, — не помню, как он объяснил мне то, что задержался. Но несколько лет спустя, из писем Ирины Исакович узнала, что она получила «страстное, пламенное письмо моего прежнего Юранюшки», датированное этим числом.

Но даже и это не может помрачить мрачного и светлого (одновременно) — того вечера, его основного торжества.

Можно ли винить его в том, что он еще был верен старым связям, хотя... хотя совмещал несравнимое... Но так он всегда. И так, наверное, и теперь живет, совмещая со мной что-нибудь глубоко ширпотребное.

9/V-55. И это так и было. Он уезжал от меня в те дни, чтоб жить с пошлейшей бабой Е. Погорелой пошлейшим образом пошляка.

1/XII-52.

И опять жду его. «Вдруг вспомнил» вчера — что у него сегодня редколлегия в «Сов<етском> Пис<ателе>». Как будто бы не знал об этом еще в субботу. Поехал в город, вернется, наверное, не раньше ночи, хотя обещал в 11.

Прислушиваюсь к себе с некоей грустью: нет уже жгучей боли, невыносимого томления недавнего от сознания, что обманывает и изменяет. Нет этого. Отпихиваю от себя эти мысли с досадой, даже не с отвращением. Он говорит, что ему приятно здесь, со мной. Он мил со мной... Раз пожаловался на мою «фешенебельную» отчужденность. Верно, меня как будто держит что-то, — от радования ему... Ощущение одиночества — еще сильнее, чем в Болшеве, и горечи от этого ощущения — почти нет. Сказать ему обо всем этом — нельзя, — обидится, рассердится. Пусть будет спокоен. Пусть наслаждается семейным счастьем, тепленьким, как лечебная ванна. «Кончилась любовь, началось семейное счастье», — как написано у Толстого... Ну, что ж, рыпаться не стоит... Лучше писать стихи. А как я его любила, господи, как мучительно и горячо любила... Вернется ли это?.. Не знаю. Хочу ли я этого возврата? Тоже не знаю...

Вот он приехал, около 12<-ти>, отчужденный, усталый и какой-то грустный, точно у него там, в городе, что-то случилось, точно сразу заскучал о ком-то.

А я думала, что будем спать с ним сегодня, и хотела этого. Но лег у себя, не сказав даже «спокойной ночи»...

Я больше не желанна ему, даже после такой долгой разлуки. Я уже до нее стала ему не желанна. Оттого я и с ума сходила. И оттого, что не желанна, и в ласках тороплив, однообразен и механистичен, и оттого, что каждый вечер подчеркнуто много говорит о том, как устал, как хочет спать, какой «старый стал», — я тоже чувствую себя старой, теряю женскую уверенность и зримо — даже для себя зримо — дурнею. Я так много лет была окружена атмосферой любви и влюбленности, — и его влюбленности так же, — что все еще не могу научиться жить без нее. Какая я была красивая в Москве, ощущая вокруг себя внимание, «ухаж», заинтересованность... Я жухну без нее... Нет, ошибается он, — не домохозяйка я, не профессорская жена...

Строгий выговор за недостойное поведение: поддерживала связь с людьми, впоследствии разоблаченными, как враги народа, недостойно вела себя в быту, не указывала в анкетах, что привлекалась к партответственности.

19/XII 52

Разве во мраке познают чудеса Твои, и в земле забвения — правду Твою?

*

Господи Боже отмщенный, яви себя!

Пс. 120. Песни Восхождения

Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью.

ГОД

1953

4/V-53.

И вот одна осталась я,
считать пустые дни...

Пустые, пустые

Ведь Юра не любит меня больше. Он не трудится даже скрывать это. И вот во мне все тоже уже понемножку умирает. Еще недавно сходила с ума, пила, молила гибели, неслась к ней.

А сейчас все внутри тихо...

Ну, еще немного подожду...

29/V-53.

Эту связанность, этот «запрет на радость» я ощущаю давно, после смерти Николая. Еще тогда я писала в дневниках своих —

Все мнится мне, что счастлив я ошибкой...

Но никогда не было такой связанности и такого запрета, как сейчас, перед возвращением домой, при неистовой, грустной глубокой жажде счастья, любви, настоящей жизни.

Я уже знаю, что имею право на нее и хочу ее (чувство, которого не было тогда, в 42 г.), — и в то же время почему-то возвращаюсь в дом так, как будто там кто-то умер...

— «Помни, — как будто говоришь мне ты, — что ты виновата, что все разрушено, уж какая теперь радость... А я занят, я замотался, и вообще отстань, у меня другая жизнь, и ты не имеешь права не то что протестовать против этого, но даже касаться»...

Господи, если б я могла молиться. Я помолилась бы так: господи, — жизнь — дай мне силы прийти домой, к человеку, который

любил меня когда-то, — с душой, открытой настежь, светлой и чистой. Он — единственный любимый мой. Если надо — я поклонюсь ему в ноги, не стыдясь и не унижаясь, потому что во многом виновата перед ним. Господи, я готова забыть, без усилий забыть все свои сомнения, и муки, и обиды, виденные от него, но сделай чудо, — сделай так, чтоб и он забыл, и просто, без усилий, обрадовался мне, как радуются люди лесу, деревьям, небу, вырвавшись за город. Сделай это чудо, господи, — имя твое жизнь, судьба, кровь, — и я никогда не обижу тебя больше — унижением в себе твоего подобия. Только ты, господи, да я, — знаем, почему я так позорно и бездонно падала. Наверно, так было зачем-то надо. Но дай мне теперь взлететь, и все выстраданное воплотить и вернуть счастьем и светом, — ему, единственному моему человеку, и многим людям. Сделай чудо, господи, жизнь, сделай чудо, помоги мне.

<Далее обрыв текста — из тетради вырваны листы.>

31/V-1953.

Ну, вот и все.

Конец всем ожиданиям радости, и новой жизни.

Глубоко, тяжело презираю себя за то, что ждала ее все-таки...

То, что называешь ты «моральными категориями» и т. п. пренебрежительными терминами — на самом деле — единственное, реальное и практическое, что могло бы навсегда убить мой «алкоголизм» вплоть до того, что мы могли бы вернуть наши ужины, беседы у твоего шкафика...

Но ты, глумясь и кривляясь, ненавидя меня

*

Не дописала, а на другой день узнала, что 2 года изменял мне, жил с другой бабой, Е. П. Погорелой.

11/IX-53.

А 1 июня 1953<-го> узнала наверняка и он подтвердил, что уже больше года — у него любовница. Много-много лет мне снилось два страшных сна, с жестокой реальностью судьбы: тюрьма и его измена.

И вот она пришла такая, что такой и не снилось. Безысходно-пошлая, с цинизмом и жестокостью невероятной...» «Так вот все то,

что я любила»... И чуть не умерла — взаправду... И зачем-то вернулась домой, и зачем-то снова живу с ним.

Ведь — не любит. Замкнут и отчужден и не рад ничуть моему возвращению.

И не приехал, когда звала...

Не думала я, начиная эту книжку, что впишу сюда такие строки...¹

<Не ранее 7 сентября 1953>

Год 1953.

Январь — сообщение о «врачах-убийцах».

Март 5/III — смерть и похороны И. В. Сталина².

Врачи — не убийцы. Нац<иональный> вопрос.

Амнистия. Передовые «Правды».

Март —
апрель Снижение цен.

Порицание передовой «Литературки», в связи с ролью личности.

[Май] Ликвидация великих строек:

[Началось] Гл<авный> Туркменский, Южно-Крымский и т. д.

*Леонид Исаков,
Кеплер, Тася,
Нина Гьрская,
Вася Астапов, Миша
Рабинович и др.³*

Началось возвращение людей из лагерей и строек

«Ворошиловцы». Их террор.

Июнь — события в Берлине. 17/VI 53.

Июль — Арест Берия и его разоблачение.
Перемериие в Корее. *Волнения в лагерях.*

¹ Тетрадь с дневниковыми записями, о которой идет речь, ведется с первой половины 1944 г.

² Фраза со слова «смерть» до слова «Сталина» взята в прямоугольную рамку.

³ Фрагмент со слова «Леонид» до слова «др.» вписан слева от основной записи.

Тезисы к 50-летию партии.

Дезавуация Багирова.

Пленум ЦК.Август.5 сессия Верх<овного> Совета СССР.Закон о сельхозналоге. Внимание — центр<альной> РоссииРечь Г.М. Маленкова — о нар<одном> потреблении, легкой промышленности и т. д.

Приезд делегации ГДР.

Смерч в Ярославской обл<асти>, разрушение Ростова.

Заявление о водородной бомбе и ее испытание.

Сентябрь.

1/IX. Открытие нов<ых> зданий Московского Университета.

Лекцию читает О.Ю. Шмидт.

Пленум ЦК.

Провал коммунистов в Зап<адной> Германии.

Пленум ЦК.

Постановление о колхозах, МТС, животноводстве, доклад Хрущева.

Поворот в сторону резкого улучшения колхозной жизни.

29 авг<уста>

28 — пятн<ица>.

27 — [<1 сл. нрзб>]

Смольный монастырь

воссоздание — а не восстановление.

ГОД

1954

Ольга БерггольцДневник.

Молодежь едет на освоение
целинных земель¹.

26/II-54.

Из Ленинграда должны отправиться тысячи молодых ребят, — гл^{ав}н^{ым} образом на Алтай, затем в Омскую обл^{аст}ь, в Казахстан. На сегодня — 6.000 заявлений.

Внуки Первороссиян! Поэма продолжается.

1) Познакомиться до отправки с некоторыми. (Путиловцами, и из-за моей Невской заставы.) Встр^{ет}иться с наиболее интересными также и из др^{уг}их рай^{он}ов Л^{енин}гра^{да}. Не едет ли кто с «Эл^{ек}тросилы»? Испанцы на «Эл^{ек}тросиле», выросшие здесь, уходившие на фронт в 1941 г. Венгры — их приютили после какой-то их истории. Бельгийцы — «А сколько Бельгий ваша страна? — Бельгий? Мы же Бельгии не мерим²».

2) Установить связь и переписку, м^{ож}ет б^ыть, хоть самое скромное культ^{ур}ное шефство над теми, с кем познакомлюсь здесь.

3) Поехать туда весной, в район Первороссийска, Бухтарминской ГЭС, подъема земель. Цель — не воспевание, — помощь.

4) Написать «вторую часть» «Первороссийска».

¹ Запись на обложке дневниковой тетради.

² Фрагмент со слова «Испанцы» до слов «не мерим» взят в квадратные скобки.

К рассказу о материале «Первороссийска»

Комсомолец Лобза, сын расстрелянного семянниковского рабоче-го, один из первых комсомольцев, вст<упив> в заводской клуб «Знание и сила», вел подпольную работу.

В селе Снегирево организов<алась> комсомольская ячейка — «Союз красной молодежи».

«География» — на стр. 3.

«Первороссийск» стоял напротив Кондратьевки, на бер<егу> Бухтармы, в 20 км от Гусиной — выше. Здесь возник в 30 г колхоз, на-званный «Первороссийском», впоследствии переименованный имени Ворошилова, но более называемый и до сих пор — Первороссийском.

«Солнце» (путиловцы и балтийцы) в 70 км от Гусиной в гу-стом бору, у Еременской сопки.

Снегирево — центр подполья.

Завтра — 27/II — вручение первых путевок в обкоме ВЛКСМ.

Почитать Первороссийск в отрывках, с пересказом, с рассказом о реальной истории, о живых людях — братьях Грибаните — летчиках.

Сказать:

Вы — наследники Первороссийцев.

После чтения — *на этом кончается моя поэма*, вот как на-чинали они. Пахали на себе, отстреливались, сопротивлялись вра-гам, вели за собой народ, верные указаниям Ленина. Вам дают тех-нику, условия и т. д.

Но будет трудно. *Об этом предупреждает партия*, — *т<ова-рищ> Хрущев*. М<ожет> б<ыть>, кое-кто не выдержит. Это реальные трудности, противные, ежедневные. Нужна очень большая выдерж-ка, ежедневное терпение — это трудней, чем единовременный подвиг. Нужна будет не минута порыва и решимости, а дни, годы — полные таких минут.

Вы будете зреть и мужать. Вы узнаете великое счастье созидан-ия, сотворения мира, и не похожее на потребительское счастье. Но все это — во имя реального блага, блага вас самих и всего родного народа.

В добрый путь, товарищи! Не забывайте о тех, кто идет перед вами по этому пути! Не забывайте об идущих перед вами. Перед вами идут первороссияне, уже легендарные, петроградцы, направленные Лениным. Перед вами идут 25-тысячники, — уже деды комсомольцы-

строители *Сталингр<адского> тракторн<ого>, Магнитостроя, Кузбасса, Турксиба, Комсомольска-на-Амуре*, уже седеющие зрелые люди.

Перед вами идут новые герои Великой Отеч<ественной> войны, те, кто мог бы сейчас строить и быть счастливым, но отдал жизнь за Родину, за всех нас.

Будьте достойны их — первороссиян, двадцатипятидесятитысячников, комсомольцев на Амуре, — вы держите их знамя.

Но думать о прошлом надо для того, чтоб всерьез творить настоящее и будущее. Думайте о будущем. Вы — новоземельцы. Вы будете создавать землю, *поднимать ее*, вызывать ее силы, землю воистину новую, плодородную, кормящую, красивую. Силы, мощь, плодородие, скрытые в ней, вы [подар] вызовете к жизни и отдадите народу, возьмете себе.

История ручается вам, что мечты воплотятся.

[«Первороссийск» — от Семипалатинска вверх по Иртышу 100 км плюс 100 <1 сл. нрзб> напротив Кондратьевки, от Гусиной в 20 км. Коммуна путников и балтийцев — «Солнце» — в густом бору у Ереминской сопки, в 75 км выше Гусиной пристани] на стр. I.

Думайте — о будущем. Вы — новоземельцы, новоселы. Держите связь, ведите дневники, пишите нам, мне. Мне так хочется написать вторую часть поэмы, — о новых, теперешних первороссиянах. Сама жизнь творит эту поэму, суровую, трудную, очень трудную, товарищи, но безмерно величественную.

В добрый путь, — *не забывайте, откуда вы идете по нему*, — вослед вам, ленинградцам, с любовью и верой в вас глядит Ленинград, колыбель Революции бессмертной, движущейся, великой Революции.

Установить связь с первороссиянкой, о которой говорили в биб<лиоте>ке¹.

Вот и выяснилось, какие книги отстают, и это — такое отставание лит<ерату>ры вообще.

Липа о колхозах — явно отстала. Сюсюк отстал.

А книги первой пятилетки — живут.

Недаром ребята поют — «Уходили комсомольцы на Гражданскую войну».

¹ Далее часть листа не заполнена, текст дневника продолжается в нижней трети листа.

Еще и еще раз ясно, как нужна нам книга по нашей творимой живой истории.

О романтике — «никакой романтики — есть трудности». Неверно! Не надо отнимать у молодежи то, что есть. Пусть будет и торжественность, и романтика, и ощущение исторического момента, и исторических традиций. *Это поможет трудности преодолеть.* Так, как было у нас. Нельзя утратить масштаб, хотя не нужно истерики и принудительного оптимизма. Вступая в пионерскую организацию, мы ощущали себя «профессиональными революционерами».

Конкретность и масштаб этой задачи цели — это стержень, вокруг которого можно повернуть комсомольскую работу. В пионерской работе не хватает сейчас именно такого романтического стержня.

О книгах — переиздать. Вот и выяснилось, что отстает, что нет. [Недаром] Историю Комсомола, — хотя бы в отрывках. Вот — не знают речи на III съезде комсомола.

Деловые вопросы.

1. Кто едет? Какую квалификацию они имеют? Кем рассчитывают там работать?

Есть ли у нас скомплектованные бригады, по примеру МТС Подмоскovie, Кубани и др.?

Что [1 сл. нрзб] они берут с собою? Или все будет на месте?

Условия их следования? *Опыт — есть ли уже, для отправки других...*

Земля зовет.

Биографии едущих? «Родословные», производств^{енное} и обществ^{енное} лицо?

Деловые предложения — в речи к статье.

Шефство Союза ССР¹ над Лен^{инградскими} комсомольцами. Создать в союзе комиссию (возглавлю!) — посылать новые книги и т. д.

Переиздать книги «День второй», «Мужество», — выдержки (брошюрой) об Алтайской коммуне (рассеяно в некот^{орых} книгах по ист^{ории} заводов *дополнить*), о стр^{оительст}ве тракторного —

¹ Так в тексте.

из «Люди Сталинградского»... «Время, вперед» и т. д. Это же наша неумирающая история.

Взять биографии на Электросиле.
 Ник<олай> Сем<енович> Тихонов — В-464-59

Трудности, — их раскрыть.

Через четыре года
 Здесь будет город-сад.

Для статьи

Историческая атмосфера этого отправления по сравнению с «идущими перед ними». Это едут не комиссары, не просто агитаторы, а квалифицированные люди, интеллигенция.

*

Молодость! Выступаешь перед ними с воспоминаньями... И — не завидно. Нет грусти, что ты — много старше их. Т. к. нет этого ощущения — ощущения старости, *того*, что ты чего-то не успел уже — и не успеешь уже. Напротив! Как много мы можем дать им, рассказать, научить. Путь возврата! Значит — и работать с ними, и быть, как они. Ощущение зрелости своей прекрасно — даже не зрелости, а обогащенной юности.

Якимов — с женой на Алтай
 комсорг мехцеха токарь путиловец

Екимов Анат<олий> Людмила Ев<геньевна>
 1932 с 49<-го> на Пут<иловском> 1928
 Механ<ико>-сб<орочный> МХ-18 7/ХІ-53 Алтай
 токарь техн. 25 тыс. Дыланов (инженер, бриг<адир>). 30 гг
 Цех провожал. Ходил по ребятам, по станкам.
 Кончила техникум машиностр<оения> при Кировском

з<аво>де

ул. Зайцева 30 Кир<овский> з<аво>д
 д. 9 кв. 35

Вручение путевок

т<оварищ> Филлипов¹ с завода Сталина.

Шумилов поздравляет, зал рукоплещет.

3/III-54 в Актовом зале Смольного проводы комсомольцев.

От з<аво>да Жданова т<оварищ> Кожечкин.

Мы с честью оправдаем эти путевки.

т<оварищ> [Вязников] *Везинкин* боец-перворазрядник. Сегодня получил комсомольский билет. Поздравляют заодно.

т<оварищ> Екимов. Екимова — супруга.

Платов — штангист.

Набились тесно, еле проходит.

— Ну, преодолел первые трудности, так сумеешь. Их щеки вспыхивают ярко-розовым.

У некоторых татуировка

т<оварищ> Платонова

Ермолов — Кировский з<аво>д

Матвеева —»—

Ск<олько> дал

Кировский з<аво>д?

Выдомская *Кир<овский> р<айо>н* — бухгалтер

[Баранов] *Варзов* — очень щупленький

Его сестра едет учетчицей и заправщицей²

Отл. Он едет с сестрой, два дня добивался.

Инженер

с женой, фельдшером-акушеркой.

Орлова, — кончила с<ельско>-х<озяйственный> техникум, пошла раб<отать> учетчицей, теперь едет на целинные земли.

— Давайте, не опаздывайте, так и от поезда отстать можно.

Кировский — 35, токарей, эл<ектро>сварщиков, шоферов, фрезеровщиков, слесарей, плотников, кузнец, прицепщик, учетчица, техник, заправщицы, трактористы.

З<аво>д Жданова, метро.

Вручение путевок первой партии отъезжающих.

¹ Так в тексте.

² Предложение отделено от предыдущего вертикальной линией

Подошли два Захарова, и один обиделся, что путевка другому <1 сл. нрзб>¹

<1 сл. нрзб> Большинство — ремесленники, из др<угих> областей, имели дело с землей. Отправ<ляются> целыми группами, старые товарищи.

От 1 группы электросиловцев

Эл<ектро>сила — 17 чел<овек>²

Секр<етарь> комитета комсомола Шамахов токарь ком-
сорг или секретарь р<айонного> к<омитета>

Праудин [<1 сл. нрзб>] шофер } Семья

Праудина Вера — бухг<алтер> }

Пригл<асительный> билет: На новые земли, дорогие друзья.
т<оварищ> Ельцов инженер. Смол<ьного> р<айо>на едет
глав<ным> инж<енером> МТС с женой. года рожд<ения>
1928–1935

*

— Обязуюсь быть передовым [на] в построении нового обще-
ства на новых землях.

— Доверие оправдаю.

С честью буду держать марку «Электросилы» на новых зем-
лях³.

т<оварищ> Ломакина. Мы оправдаем эту комсом<ольскую>
путевку.

Подвыпивший комсомолец подошел получить путевку,
и всем стало стыдно, и девушка впилась зубами в ручку лакирован-
ной сумки.

*

Заседателява, член райсовета, агроном.

*

Путевки подходят к концу, оставшиеся волнуются:

— А моей нету? А вдруг моей нет?

¹ Предложение написано по правому полю, отделено от основного текста фигурной линией.

² Предложение отделено от предыдущего вертикальной и горизонтальной линиями.

³ Предложение отделено от предыдущего S-образной линией.

Начальник эшелона

4 марта № 71

Отправкаотпр<авка> в 12⁰⁵ с 1 платф<ормы>
посадка в 11⁰⁵

последние 4 вагона со своей нумерацией.

Из Москвы до Барнаула. 10³⁰ утра.

— Мы хотим в Кремль.

Вагон № 1 — Кир<овский> з<аво>д — 31 чел<овек>. Ст<арший>
по вагону МорозовЛен<инградское> метро, торгов<ый> порт. Кир<ов-
ский> завод

в вагоне № 2 — все девушки, и супруж<еские> пары.

старш<ий> по вагону — Екимов Кир<илл>

Вагон № 3 — Электросила.

Невская застава5/III — выд<ача> вручение путевок9/III — веч<ер> в зале райсоветаСмена — 28/II¹ЭлектросиловцыЮрий Захаров — токарьего друг Николай Шамахов,

станок его рядом

Виктор Беневоленский

шофер Олег Хомутов

Васильев*честь электросиловцев не уроним*Грузинцев*будем работать еще лучше*

З<аво>д имени Сталина

Дмит<рий> Пуркин и Ал<ексан>др Филиппов

Прочсть, вырезать, выписать:

1. Смену — об Алтае.
2. «Мы едем» — об обуховцах.
3. Комсомолку.

¹ Далее страница разделена на две части сплошной горизонтальной линией.

<p><u>Кировские ребята</u> Валент<ин> Смирнов — вступил в ВЛКСМ и получил путевку</p>	<p><u>Комсомолыцы с з<аво>да</u> <КВЛ?> Николай Дайнеко. Иван 1935 фрез<еровщик> 4 р<азряда> Музыкантов 1934 4 р<азряда> токарь Ефимов 4 р<азряда> Ник<олай> Аф<анасьевич></p>	}	Большевики
--	--	---	------------

Первые подали заявления, едут на Алтай, в Павлоградский (?)
 р<айо>н. (Павлодарский р<айо>н.)

Уже стихи:

До новой встречи на целинных землях!

Секретарь комитета комсомола «Электросилы» сказал:
 — Мы по-семейному хотим провести вечер, без бумажек.
 Справляли свадьбы, получали комсомольские билеты¹.

*

Кировский завод, пионер тракторостроения.

«Комсом<ольская> правда» № 26/II-54.

Мы ждем вас на Алтае, дорогие товарищи ленинградцы
 В. Поляков, секретарь Алтайского крайкома ВЛКСМ
 Борис, Людмила и Юрий Тимофеевы
 Борис накануне поженился. Жена тоже едет. Все — в открытую.
 Справляли свадьбы, пели старинные комсомольские песни,
 получали комсом<ольские> билеты

Псковская 20 кв. 1
 Шамахова Вера Степановна
 Дима Струженцов

Подарки
 фирменные фонарики (пусть освещают их трудный путь)

¹ Предложение отделено от предыдущего вертикальной линией.

фирменные календари *не забывали график*
патефон, если захотят повеселиться
гитару, — если взгрустнется о Ленинграде
шашки и шахматы
волейбол — пусть игра<ют>

*

Шамахов, — о комсомоле (построже надо, контуры органи-
зации<>

забывают, что КОМСОМОЛЬЦЫ

В ЭТИ ДНИ ВСПОМНИЛИ

цель, конкретность, масштаб

1. Шамахов едет с солидными планами, — выпишет жену, сына Мишу, тетушку. «Она умеет обращаться с землей, приусадебный участок подымет, сына будет помогать растить, ну, а я ей помогу».

И это хорошо, что не один «долг перед Родиной», а [1 сл. нрзб>] есть совпадение личных и общих интересов. Целина поднимается и для их блага, реального, простого, земного. Любят Родину еще и «за что-то», но это не корысть. Сочетание ее и своих интересов, так и Партия учит, и задумала.

Для чего мощная гидростанция, *тучная нива*, если людям рядом с ней живется плохо, если рядом с ней они живут в тоске и недостатке? Если он одинок и бездомен рядом с нею? Если не по собственной воле он здесь, если отнято у него право громко назвать эту землю — свою?

«Мы не ради романтики туда едем...» Привираете, дорогие! Очень хорошо, что не отделяют своего личного большого счастья от этого дела, такого большого, что временные серьезные трудности с лихвою окупаются.

Тон статьи — не сюсюк и уря-уря, а серьезно-лирический.

4/III-54. Перрон, проводы комсомольцев.

Дина Веселова, кот<орая> хотела связаться со мной, с номерного за<вод>а, Сталинского р<айо>на, едет слесарем.

Играл оркестр. Братики, сестренки, деды. Изотов.

Кого-то качали. Очень много провожающих.

Вспыхивали песни — «Уходили комсомольцы», «Там в степи за рекой догорала В небе ясном заря догорала».

Много плакали. Плакал Толя Екимов, обнимая и целуя подряд родных и неродных, знакомых и незнакомых. Все очень взволнованы, многие — чуть выпившие.

М<ожет> б<ыть>, в эту минуту они поняли, что действительно уезжают из родного города, уезжают надолго, оставляют родных, и «трудности» стали из слова воплощаться в жизнь.

Капралова

из научно-исследов<ательского> ин<ститу>та при з<аво>де Кировском «Путиловец» [*<1 сл. нрзб>*] едет механиком.

4/III-54.

Сегодня уехала на Алтай первая партия ленинградских комсомольцев. Как хотелось вскочить в вагон, где уже *В вагонах, еще темных от вокзала, закусывал, выпивал...*¹ кто-то играл на баяне, кто-то утирал слезы, и поехать вместе с ними, — вслед за молодостью, — на край света, как мы уезжали тогда с Колей, 24 года назад. *Как грустно было, и щемило сердце, и радостно было...*

[*<1 сл. нрзб>*] А помнишь дорогу и песни того пассажира?..

И когда поезд тронулся, в толпе провожающих вспыхнула и последний вагон подхватил, —

Прощай, любимый город,
Уходим завтра в море...

Ах, эта песня, эта песня! Под нее уходили в блокаду подводные лодки из Кронштадта, плавный ее, задумчивый напев, простые и душевные слова, пронизанные большим мужеством и печалью, мужественной печалью... А этим ребятам было тогда от 7 до 15 лет. И некоторые из них уже тогда стояли у станков, заменяя старших, другие пришли на смену погибшим питерским пролетариям.

¹ Фрагмент со слов «где уже» до слова «слезы» взят в квадратные скобки.

7, 8, 10 лет	1942	1904	
1942	<u>1935</u>	1935	1935
<u>1927</u>	7	19 лет.	
15 лет			

*

Ленинградцы приехали в Москву на рассвете. Множество из них — впервые в столице.

Был рассвет над Москвой-рекой, тянуло весной, пронзительный, волнующий, свежий запах уже уходящего снега, прохладной, снежной влаги, запах весны, идущей из глубины страны.

То время года, когда снег пахнет.

Он пахнет дважды, — когда только что выпадет, пахнет первым снегом, и накануне весны.

Столица зажигалась, *теплится* утренними огнями, начался ее океанский шум.

Осматривали все станции метро (а при нас, когда мы уезжали, оно только начинало строиться и казалось чудом, и совсем недавно в актовом зале — не прошло еще года, Маяковский читал нам:

На Москве-реке карась
 смотрит в дырочку сквозь грязь.
 У карманных у воришек
 в морде радости излишек:
 времена пошли не те, —
 поворуюем в темноте.

Но оно оказалось все залитое светом.
 А мы ехали с его стихами

Через четыре года
 Здесь будет город-сад.

Вот они бродили по утренней Москве, встречали зарю... А год назад на рассвете она убиралась в траурные флаги¹.

Они побывали на Кр<асной> Площади.

¹ Предложение взято в квадратные скобки.

Я знаю, они поедут казахстанскими степями, и предвесенние снега будут играть перед их изумленными глазами, раскинут перед ними свою волшебную радугу, — так, как 24 года назад передо мной и Колей, — молодыми и счастливыми.

Как мчится за ними сердце, как живет оно с ними.

Товарищ милый юный, верный и веселый
Ты едешь мчишься вдаль с путевкой комсомола

Товарищ милый, верный юный и веселый
Тебя зовет на новый труд страна целина
Так будь же верен стягу комсомола
И трем его прекрасным орденам

*Это люди доброй воли.
Доброго пути, товарищи.
Доброго труда, — на новой земле.
Вслед вам глядит Ленинград. Не забывайте о впереди-
идущих.*

[А те, кто остался — не огорчайтесь.]
Доброго пути всем, кто поедет вслед за ними, вторым эше-
лоном.

К концовке

А те, кто остался — не огорчайтесь. У нашей Родины еще много-много новых земель, много целины — *плодородной, жаждущей труда и расцвета.* Она — ваша. И вся ваша жизнь — еще целина, новая земля.

Новой жизнью на новой земле.

Грузинцев

— « —

Мы алтайцы

Чей-то братик

5/III-54.

Надо вести что-то вроде дневника, от которого совершенно отвыкла за последние годы. А сколько, сколько всего за эти годы было, личного и общего, — почти не пересказать.

Сегодня ровно год со дня смерти Сталина. Узнала об его болезни, когда — в третий раз была в алкогольной лечебнице на улице Радио. (Перед этим еще была у Ганнушкина, не считая пребывания на 15 линии у Шрайбера, — с октября 1951 г. усиленно лечусь, — вернее, лечат меня от хронического алкоголизма. С тех пор, как стали лечить, — стала пить всё хуже и хуже. Когда первый раз пришла на ул. Радио («товарищи уговорили»), — задохнулась от смертной обиды: махонькие палаты, все выходы под замками и есть можно только оловянной ложкой — совсем, как в тюрьме, на Шпалерке, в 1938–39 гг. Так вот для чего все было, — Колина смерть, дикое мужество блокады, стихи о ней, Колиной смерти, юриной любви, о страшном подвиге Ленинграда — вот для чего все было, — чтоб оказаться здесь, чтоб заперли здесь, всучили оловянную — ту же ложку и посадили над той же страшной кашей, как в тюрьме. А я-то мучилась, мужалась, писала, отдавала сердце, и чтоб заглушить терзания совести и ревности — пила (только от этого и пила), — оказывается, у жизни один для меня ответ: тюрьма. Не можешь подличать, мириться с ложью, горит душа, — полезай в тюрьму. Очень помню ощущение тех дней. А лечили «по павловскому методу», «выработкой условных рефлексов», рвотой, апоморфином. Каждый день впрыскивали апоморфин, давали понюхать водки и выпить, и потом меня отвратительно, мучительно рвало.

А внутри все голосило от бешеного протеста: как?! Так я вам и выблюю в ведро всё, что заставило меня пить? И утрату детей и самой надежды на материнство, и незаживающую рану тюрьмы и обиды за народ, и Николая, и сумасшедший дом, где он погиб, и невозможность говорить правду, и сомнения в Юрке (уже знала об его пошлейшей измене в 1949 году, и очень это болело), — и вот все так и останется кругом, и вы думаете, что если я месяц поблюю, то все это во мне перестанет болеть и требовать забвения?! Но куда же денется эта страшная, лживая, бесперспективная жизнь, которой мы живем, которой не видно никакого конца? Как же мне перестать реагировать на нее? Кем же мне стать? Ничего, кроме отвращения к человеческой тупости, ощущения какого-то бездонного расхожде-

ния с обществом, — конкретно, с «лечащими» меня людьми, — сестрой, приятелями, частично с мужем, — это «лечение» мне не принесло. И еще — глубокую грусть: оттого, что никак не объяснить им, что лечить меня от алкоголизма, — не надо. Не объяснить по странной стыдливости и потому, что все равно не поверят и не поймут. Хотя я и пыталась. Муська, очень любящая меня, кричала: «Я не могу для тебя изменить государственную систему»... А в ней-то главное дело и было. «Я хочу быть в мире с моей страной», — и было почти невозможно. Видит бог, как я пыталась быть с ней в мире, — хотя бы, не закрывая глаз на Волго-Дон, пытаться писать о том свете, который в нем заключался, — о людском бессмертном труде. Но каторга оставалась каторгой, и вся страна и физически и духовно (о, особенно духовно!) была такой, и не только мирясь, но и славя ее, я лгала, и знала, что лгу, и мне никуда было не уйти от сознания своей лживости, — даже в водку. И в водке это сознание достигало острейшего предела, пока не потухало сознание общее. Ощущение гибели, все ускоряющегося скольжения по наклонной не оставляло меня все эти годы, начиная с 1946<-го>, и порой мне хотелось ее ускорить: все равно честно жить нельзя, и ничем не поможешь, и ничем себя не обманешь, — ни успехом у читателей, ни премией (после получения Сталинской я стала пить особенно зверски, хотя «Первороссийск» в основном — честно, т.к. изъят из запасов первой веры). А в блокаду — писала только правду и мне поверили.

— А как же другие живут? А как же мы живем и работаем? — кричали мне приятели... Ну, так и они пили и пьют, только нервы у них крепче, что ли, что не дошли до запоев и безобразий, до которых доходила я. А я доходила до полного безобразия. Юрка кричал: — Ну что мне с тобой делать? — Люби меня! Люби меня и только меня, и не обманывай хоть ты, ты единственное реальное у меня. Я так ему говорила, он не верил. Изменял.

В начале 52<-го>, зимой и весной, — дважды Волго-Дон. Дикое, страшное народное страдание. Историческая трагедия небывалых масштабов. Безысходная, жуткая каторга, именуемая «великой стройкой коммунизма», «сталинской стройкой». Это — коммунизм?! Да, люди возводят египетские сооружения, меняют местами облик земли, они радуются созданию своих рук, результату каторжных своих усилий, я сама видела это на пуске Карповской станции, на слиянии Волги и Дона, — но это — радость каторжан, это страшнейшая

из каторг, потому что она прикидывается «счастливой жизнью», «коммунизмом», она драпируется в ложь, и мне предложено, велено драпировать ее в ложь, воспевать ее (а не «простых тамошних людей», как уверял Юра), и я это делаю, и всячески стараюсь уверить себя, что что-то «протаскиваю», «даю подтекст», и не могу уверить себя в этом.

Прежде всего я чувствую, что должна писать против этого, против каторги, как бы она ни называлась. До сих пор я мычу от стыда и боли, когда вспоминаю, как в нарядном платье, со значком сталинского лауреата ходила по трассе вместе с гепеушниками и какими взглядами провожали меня сидевшие под сваями каторжники и каторжанки. И только сознание, — что я тоже такая же каторжанка, как они, — не давало скатиться куда-то на самое дно отчаянья.

Путь с Карповской в Сталинград, зимой, после пуска станции: во вьюге свет машины выхватывал строителей, которых вели с торжества с автоматами наперевес «чухлики», и окружали овчарки. В темноте, под вьюгой. Сидела в машине, закинув голову, и куда-то глубоко внутрь, как свинец, текли слезы: за стеклами машины шел МОЙ народ, 90% из него был здесь ни за что (как я в тюрьме в 38–39<-м>, с тем же чувством жгущей, несмываемой, изумленной обиды), и как я далеко была от него, страдая за него до воя, и должна была — вместо того, чтоб сказать: «Да нет, так нельзя!», — сказать, что все это прекрасно... И, в общем, сказала. Чего они удивляются, что я запила после этого? Если б я была честным человеком, мне надо было бы повеситься или остаться там.

И март 1952<-го> ушел на беспробудное пьянство.

В апреле — 15 линия у Шрайбера и его пошлый «психоанализ», глюкоза, писание «Встречи», где чистая правда и отвратительная ложь перемешаны в насильственном порядке.

В это время у Юры уже в полном разгаре было сожительство с Е. П. Погорелой, дамой с огромной жопой, работающей в Союзе, и она уже ходила в наш дом совершенно свободно (а вообще роман и сожительство с 1951 г.), и все уже знали об этом. А я не знала, но чувствовала все безошибочно.

На другой день по возвращении с 15 линии он заторопил меня... на Волго-Дон!

— «Выставляет из дома» — мне было до того ясно, что отталкивала эту мысль всеми силами, но запила почти сразу, потом как-то

перекувыркнулась, остановилась, поехала. Так и не решилась ему сказать: «Зачем ты туда меня отпускаешь? Неужели тебе не страшно?» Но не могла этого сказать, да и влекло почему-то туда: нет, посмотрю на это еще раз, нет, увижу. И как Волга с Доном сольется — интересно... Да и накручиваю, ну, — действительно, историческая закономерность, действительно, иначе строить нельзя, и момент действительно исторический... Искренне и как-то страшновато влекло туда. И поехала. И день слияния рек был щемяще, пронзительно печален и величественен в скорби и простоте своей... Очерк, который написала, всех поразил, а в нем — ничего. Ни лжи, ни правды — поверхность события, в общем — ложь. Еще не написала об этом даже для себя, — немножко в «Балке Солянке», одном из любимейших и только мне понятных стихов. Вздрогнула от жгучего счастья, когда уже в этом году А. Сурков заявил, что в моих стихах о Волго-Доне «отсутствует пафос радостного созидания». Значит, крохи правды все же в них есть! А мы, — и особенно они — все еще лгут и лгут, хотя можно бы и не лгать уже.

Тогда, там, сдав очерк, запила. Тут еще приехал в Сталинград А. Твардовский. Двое суток странного, угарного, неожиданного общения с ним... Дело не в неистово-нежных, любовных словах его, обращенных ко мне, как к бабе и человеку, — поди, вино в нем говорило, — дело именно в лихорадочных, ослепительно-трезвых и прямых разговорах о главном, о Волго-Доне, о лжи, о правде, о жизни, — в разговорах, которых тогда больше смерти опасались люди и вели только под алкоголем. (А вы рвотой это лечите!) И это опасение наличествовало, стояло между нами, в то время как мучительной была потребность именно до конца раскрыться. И — не договаривали всего. И все понимали. И я боялась своей откровенности, боялась, что откровенность будет принята за провокацию, и он того же боялся — я видела. Я ведь все в нем понимаю, — он и сам это мне говорил. А он во мне крохи какие-то, а в общем, почти ничего. Но главное — чувствует. (Еще разговор — на пленуме, в октябре 53<-го>.) Двое суток разговора, вино, коньяк... Потом он улетел, а я осталась, и пила одна, вся разгромленная слиянием рек, каторгой, Твардовским, — как он был передо мною.

В самолете — развернутый слуховой и зрительный галлюциноз, но с критикой. О, какие страшные лица строителей, бесконечно меняясь, все более мучительные и безобразные, преображенные

горячкой, не уходя, вставали передо мной, и при закрытых глазах, в цвете, и при открытых, — в степи, за окном самолета, теньевые и прозрачные. И злобный их смех, и визг, и крики: «Она напишет. Ей-то поверят. О. Ф. — лирик! Она — искренняя»... «А какое право ты имеешь говорить от нашего имени — закричал на меня мужик с окровавленным лицом и выплюнул прямо на меня кровавый свой, безобразный язык... Его я испугалась. Спутник мой, летчик Маккавеев (ответить на недавнее письмо), не давал мне коньяку, — а я уже знала (учеба на ул. Радио), что это можно залить только большой дозой вина. Они смеялись, издевались, пророчили мне за сталинградскую пьянку позор в международном масштабе и по парт<ийной> линии, — до самой Москвы, и в такси от Внуково до Сивцева Вражка. Не понимаю, как я еще могла говорить с Маккавеевым. На Сивцевом было то же: взгляну на стену — там за решеткой в камере заключенный. Пошла в сортир, — села, — гляжу, возле самого носа в стене — дыра, зарешеченная, а там человек в цепях — контурный, светящийся. Но все не покидает критика — опыт волжского галлюциноза и учеба у бело-горячечников на ул. Радио помогают. Требую от Муськи пол-литра, пью, и рассказываю ей, рассказываю — о каторге, о том, что мерещится — молчу. Хитрая. Потом — огромная доза снотворного, — сплю, «купирую» начинающуюся белую горячку, — сама купирую. И все же на другой день, хоть и хожу в «Литературку», и вселяюсь в гостиницу, — пью, хоть и поменьше, и в состоянии абстиненции приезжаю в Л<енингра>д. За завтраком оба немного пьем, рассказываю Юре. Он, видимо, тронут, но — «Маленькая, сейчас ко мне придет Смолян, а завтра ты поезжай в Солнечное к Андрюше». — «Я хочу побыть дома...» — «Нет, нет, поезжай, а то я сам поеду». Ну, — все ясно.

И вот — даже дома нет. Там мое место, — среди каторжан. Напиваюсь к вечеру. Скандал.

— Ну, почему, почему ты напилась?

— Я думала, мы будем вместе... Я думала, ты приласкаешь меня, мы давно не виделись...

— Ах ты, блядища! Так это значит, ты напилась потому, что я не выеб тебя у порога! Ну и блядища!

Ничего не понимает, ничего не знает о жизни и Волго-Доне, о том, какая жизнь, и какая я, — и мне ему никак не объяснить, и ничего не выговорить, кроме жалких слов — «думала, — приласкаешь»,

и, конечно, я кругом виновата, — напилась в день приезда, и я противная, и он намучился за меня, и он давно со мной мучится. Все правда, и я кругом виновата, — действительно, виновата, я ничуть не лицемерю, когда пишу это, и дважды два четыре, но я-то посередине.

Но в это время он уже совокуплялся с Катей. Если б не было адюльтера, гнусного обмана, — он был бы во всем прав и мне надо было бы только склонить голову перед ним. Но он лгал мне, обманывал, как там...

Но и он был неправ... Нет, не лучше меня был он в то время... А я вот сейчас и живу с ним, и люблю его, а того утра и вечера с этим восклицанием — не забываю.

Все до сих пор и в ушах и в глазах стоит.

30/IV-54.

Сейчас это так села, для разгона. Прежде всего надо написать те письма, чтоб не висели над душой и совесть была бы чиста.

Надо, надо вести дневник, сколько я пропустила!

А жизнь, как ветер, возвращается на круги своя. Письмо надо написать мне Верховному Прокурору об Анатолии Горелове, который фигурировал в моем «деле», когда меня исключали из партии в 37 г.

Я читала его «дело». Волосы дыбом становятся и обидно, обидно: за что, во имя чего мы так все страдали? На что ушло столько сил? Даже и задумываться не стоит — все равно что думать о макрокосме. И так, обертывается жизнь на 17 лет назад. И еще дальше обертывается: получила письмо от Али, с Жигулевского моря. Это один из самых первых моих любовников, самых влюбленных и верных, это 20 лет мне, это 30 год, а потом — 37-ой... Он жив, оказывается, и он в лагере, — на великой стройке. Он прислал мне трогательное письмо, начинающееся так: «Ув<ажаемая> Ольга Федоровна».

Письмо с только что возникающего моря, со дна его (о, как я помню дно Карповского моря), от пламенного возлюбленного ранней юности, полной веры и радости, веры в будущее... в какое? В то самое, которое наступило теперь. Верней, не теперь, а в черные годы ст<алинского> режима. И странно, мне все же после марта прошлого года что-то стало брезжить... Но кому, как ни нам самим выкарабкиваться из этой тьмы теперь.

2/V-54.

Отправила все письма. Будь что будет, нельзя больше жить в рабской трусости. Теперь — только за статью для «Нов<ого> мира», как бы она ни получилась, потому что, боюсь, она перепрела. Сдам одностомник, отделаюсь от процедур с трагедией (а ведь она настоящая, крупная, я не деградировала за эти годы!), будут деньги, и за дело жизни, за главную книгу...

Юра последнее время очень мил со мною, — неужели действительно любит, или это какой-нибудь новый метод по сравнению с прошлым годом, когда отсюда же уходил от меня, и к нему приходила Катя, и он начинал усиленно употреблять ее... Брр... Как все же устаю к вечеру, — невероятно. Но сегодня-то понятно, отчего...

14/V-54.

Все-таки обязательно надо продолжать дневник, и вклеить, и вписать в эту тетрадку все, что было с тех пор (второе возвращение с Волго-Дона) по сие время.

Жизнь похожа на роман, — при этом то высоко-трагедийный, то на бульварно-авантюрный; зачастую это сливается вместе, отчетливо сохраняя обе свои стороны, — трагедии и фарса.

Эти дни живем «обратным ходом»: оказывается, попковщины (о ней будет вписано и вклеено) — не было. «Ленинградское дело», как его теперь вежливо называют, было провокацией, устроенной Берия. Папаша «не знал», — ничего не знал, ангел божий!

О, этот 49 год! Сначала — «космополиты», — позорище и ужас, когда было полное ощущение, что «рухнули стены Большого Дома», т. е. между тюрьмой и волей — грани, стены уже нет. Не выступала по этому делу, слово «космополит» не произнесла ни устно, ни письменно, но ощущение себя подлецом, за то что молчал и не выступал против этого кошмара — до сих пор живо.

Алкоголизм мой в то время подвинулся вперед необычайным темпом.

В августе 49 года — узнаю из письма С. Бычкова о Юриной связи в Москве с некоей Ю. Голубенко. Врал по этому поводу дико и глупо. Травма была тягчайшая. В мире лжи и гнусности отнята была последняя религия, последний свет в окошке, оскорблена последняя вера.

Все записи об этом уничтожила.

В том же 49 году — «попковщина». «Объясняют» нам все это глупейшим образом, — материалу к их «разоблачению» — никакого. Они были бюрократы, чиновники, разложенцы — типичный сталинский помёт, — но почему — враги? Ужас сгущается; аресты — как в 37–38 гг. Книги мои о Ленинграде — выбрасываются с полкок. Ленинград — в опале у самого. Блокада — под запретом. Спас Ленинград — он, «заманив» немцев сюда. Бред. Неужели уничтожила и запись о вечере погони? Если не найду, — впишу вместе со стихотворением.

Перебили народу за «попковщину» до чорта. Его, Попкова, и еще человек 7 — расстреляли. Теперь оставшихся в живых возвращают с почетом.

В то время я не «клеимила» их, т.к. мне самой нужно было отбредиваться и доказывать, что я не «противопоставляла Ленинград Москве». Висела я в те дни на волоске — «блокадная богородица», «мало писала о товарище Сталине», — это еще говорили в 52-м, когда опять готовили посадку и вынуждены были ограничиться строгим выговором.

Муча и истязая меня, — бог уберег меня от главного несчастья: я не клеймила, не разоблачала, не исключала, не сажала, не преследовала, не клеветала и т.д. Не отрекалась. Не торопилась с конъюнктурными произведениями и выступленьями, — их не было. Не подправляла мой Ленинград легендами о том, как его «спас» папаша.

Много пила? Да! Может быть, водка спасла меня и требует сейчас расплаты, как чорт — души.

Не была героєм, не протестовала против этого всего? Нет, не была. Наоборот, была, в общем, как и все — подлецом.

Они ковали нам цепи,
а мы воспевали их.
Мне стыдно моих сограждан,
как мертвых, так и живых...
Недаром Владимир Ленин
внушал, доверяющим, нам,
что раб, воспевающий рабство,
презренный холуй и хам.
Одна у меня надежда,
что сквозь одический звон

Они иногда слышали
мой сдавленный, тяжкий стон...

Это стихи тех лет...

А я копаюсь в старых своих дневниках потому, что пишу для «Нов<ого> мира» куски, которые должны были бы быть отрывками из «Исповеди сына века», «Былого и Дум», — где теоретические, смелые мысли должны быть подкреплены уже практикой.

Я безобразно затянула сдачу материала, предварительно нахваставшись о нем, а теперь не знаю, что получится: видимо, нечто бесформенное и опять — лживое.

Нечего скрывать, — после смерти Сталина, пережив странное смятение в дни его смерти, похорон и т. д. (смятение освобождающегося раба, Якова верного, холопа примерного, как становится все яснее) — мы с робким изумлением, с недоверием и совсем уже с оробелой радостью обнаружили, что дышится все легче и легче.

Но Авгиевы конюшни были таковы, что еще до какой-либо свободы — очень далеко. Реку же сквозь них пропустить бояться, — разгребают гавно помаленьку, вручную, даже ЭШ-14 не привлекли пока.

Впрочем, арест Берия все же такой ЭШ/14.

И вот, хочется в полный голос сказать о том, что произошло и происходит, и чувствуется — по печати, по всему, — еще нельзя.

Еще нельзя не лгать и уже невозможно лгать, — для души НЕВОЗМОЖНО.

Потому дьявольски трудно писать.

Локализовать тему?

Уйти в детали?

Дать подтекст? Но все внутри кричит, — говори прямо, твой срок на исходе, ты не успеешь, как много надо сказать!

И эта — лицемерная, конечно, — идея преемственности от той, «его» политики. О, конечно, за время его тирании было не одно плохое, но после войны, — о, черные годы реакции! А 37–38 гг.?¹

Но при ЦК создана комиссия по пересмотру дел 37 гг.¹ Неужели скажут, что это было? А мне даже этот отрывок невозможно пи-

¹ Так в тексте.

сать без того, что надвое рассекло душу, — без тюрьмы. Угличская ГЭС строилась руками «призыва 37 года»...

Э, надо писать так, как если бы я писала здесь, или раньше, рассчитывая только на то, что мне это удастся спрятать «от них»... Не думать о том, понравится ли это Твардовскому, обществу и т. д. На одиноких и холодных вершинах.

«Вполоборота, о, печаль, на равнодушных поглядела»...

И опять — поджимают сроки!

А однотожник в Гослит?!

Все та же жизнь в беличьем колесе.

Карандаш пишет плохо

И этот не лучше.

Еду в Сталинград

Опять как в юности — одна, далеко,

В душе — свобода и кругом простор

Дневники

Дневник, письма¹

20/V-54.

О, как я все время скованно, неуверенно, с оглядкой пишу! А еще говорю об исповеди. Точно сквозь зубы цежу слова, точно за локоть кто-то меня держит, точно в зеркало все время смотрюсь. И сколько частных, мелких, как комары зудящих мыслей: понравится ли Твардовскому, как отнесется критика, отметят ли на съезде. Как я презираю себя за эти мысли, и как не могу отделаться от них...

О, исторгни ржавую душу! Исторгни, исторгни...

Но есть и другие, не грязные, сомнения: а зачем я это пишу? Для кого? Нужно ли это? В такие дебри лжи залезло наше искусство, что выйти в нем со словом правды, с обнажением души, — как выпитить голый на пленуме С<оюза> С<оветских> П<исателей>.

¹ Фрагмент «Дневники Дневник, письма» — записи на обложке дневникового блокнота.

Да и можно ли говорить всю правду?.. А если не говорить всю правду, какой смысл в другом?

Широковещательное начало — почти обман... После него надо было бы дать о 53<-м> почти — или хотя бы как о двадцатом... Но тут-то и должен был бы подняться голос и повествование до пафоса: от детской веры и мечты о Волховстрое, — до Угличской гидростанции, выстроенной руками каторжников, угрюмой и бесплодной, олицетворение режима, и погибающий, уходящий в землю город детства, *и вместе с ним — все лучшее*. И в эту минуту краха — проблеск надежды, все, что случилось после 5 марта 1953 года. Теперь появилась надежда на «Исповедь сына века».

Вот в чем смысл этого отрывка.

Но как же написать это?

{
Ведь — если лик свободы явлен
то прежде явлен лик змеи,
и ни один сустав не сдавлен
сверкнувших колец чешуи...

24/V-54.

Серебряное ведерко, дневные звезды.

Я пишу тебя лукаво, главная моя книга. Я обхожу все главное в тебе, всю свою боль. Ее еще нельзя обнаружить.

Дай мне неспешно и нелживо
поведать пред лицом твоим
о том, что в здешнем мире живо,
о том, что мы в себе таим.

27/IX-54.

И вот я снова в Соловьевке, в той же комнатухе, где писала трагедию, и снова срочно надо писать статью о лирике. Только Бог видит, как я не хочу ее писать, как я уже перекипела ею. Но надо написать, надо, надо, слышишь? Надо написать ее быстро и хорошо, преодолев атмосферу сумасшедшего дома, и унижение пребывания в нем, и отупляющее действие лекарств, и тупость медработников,

и косность Юры и друзей, заставляющих «лечиться», а на самом деле пославших на новую пытку. И я напишу ее. Не позднее, чем 4-5<го>, до выхода «Нового мира» с моей статьей она должна быть в «Литгазете», — хотя уже, кажется, опоздала. Но я напишу ее. Боюсь, что они уже охладели к этому, и «дискуссия», развертывающаяся на страницах «Л<итературной> Г<азеты>» — золотушная, высосанная из пальца, [как] где ни один ведущий писатель ни с чем важным не выступает, и вообще люди от съезда ни черта не ждут, кроме новой Ниагары лжи, лицемерия и ханжества... Но все-таки мне, м<ожет> б<ыть>, хоть что-нибудь удастся воистину проташить в статье... Хотя в «Нов<ом> мире» — в общем, почти не удалось. Но все же, хоть блесточку! И на этом я закругляюсь с публицистикой... Буду медленно писать свое «Былое и Думы» и стихи, стихи, совсем новые, совсем свои стихи...

А сейчас надо написать статью. Это — моя очередная «реабилитация» в очередном заходе. А впрочем, какого чорта, перед кем мне «реабилитироваться»? В чем? Юрку я измучила, вот что. Хоть он и абсолютно грубошерстный и ничего во мне не понимает, но ведь измучился все же... И, наверняка, есть у него для утешения — если не старый, то какой-нибудь новый университетский товарищ, уж очень он все же, несмотря ни на что, какой-то легкий и счастливый... Он теперь не только не бьет меня, но непрестанно говорит о любви, и спрашивает, люблю ли, а мне все думается, что это он просто «поумнел» и научился конспирироваться... Да нет, если б не любил, — стал бы он возиться с пьяницей-бабой, а я — пьяница, и не больше... Нет, вру и лицемерю. Я знаю, кто — я. «Я поэт, серафим, заря». Я знаю, что выйду на трибуну на съезде, и меня встретят овацией. Если напишу и эту статью.

Я встану над жизнью бездонной моею,

над горем ее, над великой тоскою.

Я знаю о многом. Я помню. Я смею.

Я тоже чего-нибудь страшного стою.

Ох, если б сестра была не дурой и не гнала бы меня отсюда хоть до часу ночи, — как бы много я успела!

10 ноября 1954 г. 5 ч<асов> 40 м<инут>

Сейчас мне позвонили (вначале было несколько пустых звонков, потом спрашивали Юру и на вопрос: «Кто спрашивает», — вешали трубку), а потом позвонили и сказали:

— Года два назад Ваш муж сошелся с некоей Максимовой Лялей (или Лилей). Связь эта продолжается до сих пор. Одновременно была и Погорелая. Максимова — дочь какого-то генерала, в общем, высокого лица. Очень светская, довольно красивая, брюнетка с косами, ей лет 25. Кажется, замужем. Бывшая ученица Г<еоргия> П<антелеймоновича> по университету. Он ездит с ней по ресторанам, бывает на концертах и т.д.

— Зачем вы все это мне сообщаете?

— Затем, что все это переходит границы общественного приличия и необходимо, чтоб вы положили этому пределы.

— Кто вы такая?

— Это вам ничего не скажет. Мне очень тяжело вам все это говорить. Мне самой Г<еоргий> П<антелеймонович> принес очень-очень много неприятностей, можно сказать, горя. Но не думайте, что я звоню вам из какой-то женской мести...

— Он принес вам неприятности по общественной линии?

— Ну... (с усмешкой) — до этого он не дотянулся... Нет, в личном, в личном плане, — только. У нас было примерно, такое... Но повторяю, я не из мести... Не может быть, конечно, чтоб вы этого не знали, но если вправду не знаете, то должны знать и принять какие-то меры... Я хочу вам не зла, а добра. Это приняло, повторяю, неприличные формы и может очень плохо кончиться. В сентябре, например, он открыто появлялся с нею на улицах... Впрочем, они часто ездят в машине, у нее своя машина.

— Но все-таки, откуда вы все это знаете, и кто вы такая. Если вы действительно с добрыми намерениями звоните ко мне, почему вам не назвать себя или не прийти ко мне и не рассказать все откровенно...

— Нет, это не важно, кто я такая, и встречаться нам не к чему, — для обеих нас это будет слишком тяжело.

— В таком случае мне ясно, что все ваше сообщение не более как грязная провокация...

— Вы можете (почти плач), конечно, употребить какие вам угодно оскорбления, можете... Но я говорила только правду, и вы скоро, слишком скоро обо всем узнаете сами... это уже больше не скрыть...

Вешает трубку.

Вот надо писать статью для «Правды», от которой не хватило мужества отказаться, — и нервное, полное трясучки состояние. Писать неохота, не о чем, нет крупных мыслей, а которые есть — так все равно об этом не напишешь, несмотря на весь теперешний либерализм... И состояние физическое какое-то паршивое, расслабленное, не удалось поспать днем, и эти сучьи пустые звонки по телефону, а Юрка ушел «на кафедру», его нет уже четвертый час, и все змеи шипят во мне, и больно, и горько и страшно одиноко...

Надо все-таки выспаться как следует сегодня, принять снотворное, и завтра с утра засесть... А перед этим еще смотаться в Бехтеревку, на этот глупый укол...

Но вот позвонил Юрка — ласково, откуда-то из шумного места, — и я думаю, что он — любит, и мне уже полегче... Ничего, напишу завтра статью, выплуюсь и напишу...

Ничего особенного не произошло: я выпила сегодня не более 300 грамм <ов> водки и все, что мне теперь кажется — вздор. Я абсолютно здорова, но только после обеда, за которым мы выпили эту водку, Юрка уходил, а я спала, и мне кажется, что он бегал к бабе, и я умираю и хочу умереть от недоверия к нему, от ощущения погибели своей, от невозможности доказать его измену, поймать его, уличить, — а я знаю, знаю, что он изменяет.

Клянусь, клянусь, что я больше не буду пить. Нельзя больше. Этак дойду до кутузки. Вчера была рюмки в «Европе», — ужас. Но вдруг все уже поздно, и он не любит, и я ничего не смогу, и не допишу трагедии? Она не дописывается, она надоела мне...

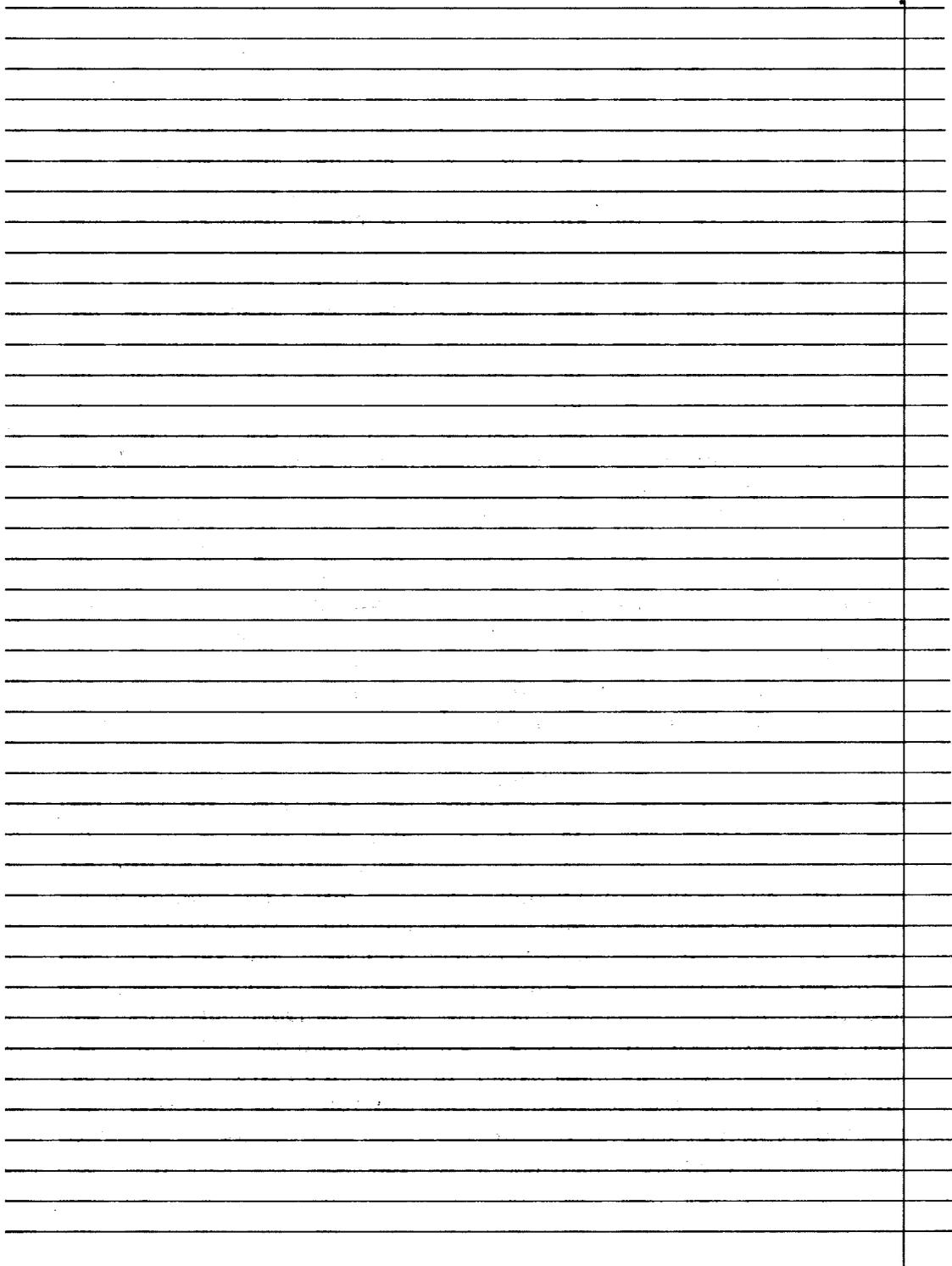
Тон:

[О, весенние зори и]

О, весенние зори и теплые майские росы,

О, далекая юность моя...

Пройдет моя весна,
и этот день пройдет,
но радостно бродить
и знать, что всё проходит...



ГОД

1955

16/IV-55

И вот кружит и кружит меня жизнь, и не отвязывается, и не дает покоя, и не дает успокоиться. Начиная с поездки во Владикавказ, когда овладел вдруг страшный приступ восторга перед жизнью, с которым было не совладать, чтоб не обратиться к вину, — тяжелый запой с небольшими просветлениями, с утренней мукой физической и больше всего душевной (кончена жизнь, катастрофически обрушивается, осыпается), с какими-то безобразно-фантастическими, чуть не белогорячечными поездками по городу, с мгновенными прозрениями («все — от полного, необратимого неверия»), с тоской по Юре, лишь формально бывшим время от времени мужем (наспех, неласково, с фиаско — кто-то вновь есть) и т. д. и т. д... И вот я вновь в больнице, и по вечерам хожу по нагому парку с почти черным от копоти, бессильным уже снегом, и вижу, как воздух становится сизым, как в домах зажигаются огни, появляются в окнах оранжевые абажуры, <и>¹ вновь, как на улице Радио, мне кажется, что в комнатах с этими оранжевыми абажурами живут счастливые люди... И надо написать статью о Ленине, — вынуть что-то из недр, из тайного «запасника», — иначе нельзя. И нет времени, чтоб посидеть несколько часов подряд...

¹ Левый край листа оборван.

Дневники, записи¹.

4/ХП-55

Итак, началась моя «новая жизнь».

Девятого ноября был сердечный припадок, который только чудом не кончился параличом сердца, двадцать шестого, в субботу, вернулась домой. Дома — 8 дней.

Сейчас — четверть второго ночи, воскресенье. Юра ушел из дома в 6 часов вечера. Сказал — к Орлову, а когда спрашивала, — когда вернется — отвечал более чем странно: «ну, я не знаю, как там все выйдет... Мы собираемся у Володи относительно учебника». В 7½, действительно, был у Володи, я звонила туда, пожаловалась, что дико болит голова и шея, попросила принести горчичники, — «я сейчас подъеду на машине, — привезу...» — «Зачем же, принеси к вечеру...»

В общем, когда он уходил, побрившись перед уходом, а не как всегда, — утром, густо напудренный, в чистой рубашке, — я уже знала, что придет очень поздно (разумеется, придет сильно подвыпивший) и что дело не в учебнике. Звонила Орлову около часа, — прислуга ответила: «Они давно ушли».

...И вот пришел, в половине второго, разумеется, очень сильно выпивши, и начал «лепить горбатого», — и с умилением в очах рассказывать, как помогал Володе работать над статьей о Блоке, а потом пошли «погулять и поговорить об учебнике», а потом в ресторан, а в ресторане, видите ли, телефон не работал...

Боже ты мой, какая знакомая ситуация!...

А сегодня — 4 декабря, — в 1941 г его отъезд на Ладогу и прощание у калитки «слезы»... Какие глаза у него были, когда я сказала, что, кажется, будет ребенок. Это от голода у меня все прекратилось, а я думала, что забеременела от него, и радовалась, хотя еще крепко любила Колю, и не думала ни о чем ужасном в нарастающем ужасе блокады, смерти, душевного переплетения.

Пришел, и стал врать и изворачиваться, а потом орать на меня, что я «не мать Андрюши», что якобы Андрей из-за меня

¹ Запись на обложке дневниковой тетради.

получает двойки — что я все время пьянствовала, — в общем весь набор, вплоть до того, что не обеспечила ему 1-го сентября в 52 г. — напилась. А когда я сказала, что это было в дни, когда он и Е. П. Погорелая обсуждали проблемы, как им воспитывать совместно своих сыновей, — нагло и цинично заявил: «И наверняка это было бы лучше, чем то, что сейчас»...

Он сказал мне это — трезвой, бешено работающей все эти дни, старающейся наладить дом, полубольной, только что буквально вылезшей из могилы, сказал мне, которая дала ему сына, согласилась взять его — в укор собственному трагическому бесплодию, а мальчик поступил больной, хилый, уже испорченный до нашего дома, и я, зная всю горькую историю его зачатия, зная, какое горе принес он второй жене Юры, страшно жалея его — Андрюшу, желая и стремясь усыновить его, — собственно говоря — подкидыша какого-то, никому не желанного вплоть до родной матери, — приняла его не просто в дом, а в душу свою, и как могла, преодолевая ревность к Валентине, воспитывая все время в нем любовь к Юре, — растила его...

Не понимаю, зачем я записываю все это? Разве мне что-нибудь не ясно, разве в чем-то нужно «разбираться», что-то «понять»? Все понятно и ясно. Юра больше не любит меня, хотя, в противоположность 52–53 гг., перемежает матерщину по моему адресу и гнуснейшие оскорбления — нежнейшими, проникновенными словами любви. Но я знаю, что это только слова. Его ночные и утренние аварии (абсолютно такие же, как в 52–53-м), его полнейшее невнимание ко мне, его неинтерес к тому, что я делаю (я уж не говорю о внутренней своей жизни, которая давно для него безразлична), его бытовое невнимание — в мелочах даже, даже в том, что сегодня за 6 часов после разговора с Володей не смог узнать, — как же я тут, одна, с больной головой и полубольным сердцем, после такой-то встряски, — все это говорит о том, что он не любит меня, что у него (примерно с начала года) — другая дамочка. А если ее даже нет, — все равно не любит.

Пора и мне перестать терпеть всю эту напраслину и унижения.

Он не принес мне за эту неделю ни минуты радости, — я все время хожу так, точно камень на мне; хожу, изнемогая от страшного одиночества — просто оглушающего... Он сказал бы: «Сама виновата, зачем пьянствовала» — и т. д. Но ведь и предо мной кто-то виноват,

да еще как, — в том, что я чуть не погибла! И еще вопрос — вывернулась ли?

Нет. Всё. Больше не дам терзать себя, — ни ему, ни нашей милой системе. Всё. Давайте пока, О. Ф., — убежим в свое одиночество совсем, — пока совсем.

7/XII-55 Среда.

В понедельник Юра был весь дома, хмурый, официально-предупредительный, замкнутый. Конечно, никаких извинений за воскресный хамеж по приходе домой после восьмичасового отсутствия — не было. Не было попыток и приласкаться и помириться. А я тоже глаз на него поднять не могу. Тяжесть и муть на сердце, адская боль и свинец в затылке — опять воспаление нервных корней...

В понедельник был Козинцев, говорили о сценарии. Я «напридумывала» много, — чудесная может быть картина, но Козинцев что-то крутит, наверное, ставить не будет, и света она вообще не увидит...

Во вторник в первом часу помчалась в поликлинику, принимала всякие процедуры.

Он был на студии, — приехал туда не к 2, а с опозданием, звонил оттуда в 4, пришел в 8, немножко выпивши, ходили в дом кино.

Отношения более чем натянутые; а в сердце столько кипит, так хочется поговорить о сценарии, — хотя бы... [<2 сл. нрзб>] И говорим обо всем, и все — как чужие. Даже знобящего предчувствия любви — нет.

Сегодня ушел около часу — «университетский день», в 5 — издательство, — сейчас почти 11 — его нет, и не было за весь день ни одного звонка. Видимо, везде телефоны — испорчены...

Видимо, видимо...

ГОД

1956

5/1-56.

Ну, кажется у нас с Юрой на этот раз действительно всё.

Не говоря уже о том, что весь декабрь он со мной просто не жил, как с женой (совсем, как в 52–53 г.), — начиная с 31/ХІІ он просто по целым суткам не приходит домой, или уже под утро, разумеется, пьяный. Дикие скандалы и дикий хамеж с его стороны, — неопишимо. Бьет и оскорбляет меня. У меня не хватает силы воли не на то, чтобы бросить пить, а на то, чтобы бросить Юру.

Разве не ясно, что все изжито, что идет только заплевывание любви с его стороны, измена и предательство, — а с моей происходит жалкая, постыдная и унижительная гибель.

Мне надо уйти от него, мне во что бы то ни стало надо уйти. Мне надо было бы уйти первой, не дожидаясь, пока он бросит меня, объяснив всем, что это из-за моего «алкоголизма»...

Мне надо уйти, и надо сделать это немедленно.

Какая надежда, на что — еще держит меня? На внезапное и чудесное возрождение любви? Да, увы! Я все думаю, — что ведь не может же все, что было, — пройти «так»!.. Ведь была же любовь, на которую любовался весь народ, которая помогала ему, народу, жить. Ведь не может же он все же не знать, что я значила и значу в его жизни, что он сам значит для меня...

Терпеньё! Немного выдержки с моей стороны — и он сам спохватится, от чего он отрекается... Он закружился сейчас в никчемной и тщеславной суете, но и это должно пройти...

Но самое лучшее — рвать по всем швам.

Половина седьмого утра.

Он звонил в 7 часов», сказал, что «бежит в союз», чтоб я «не волновалась, будет дома в 10 часов».

Половина седьмого утра, с 7 ч<асов> веч<ера> не было звонка, и его нет. Если с ним ничего дурного не случилось, то положение мое еще хуже, чем я думала.

Когда была Катя, он что-то врал, придумывал, изобретал. Но когда был в городе, — всегда являлся на ночь домой.

Теперь третий или четвертый раз он не приходит до утра. Вероятно, это все происходит где-нибудь за городом.

Дичайшая пустота внутри, даже слез нет, и сердце не обмирает. Мысль, что он сейчас с кем-то спит, — тупа, но не терзающая.

Какое бесчеловечное, садистическое издевательство...

Нет, о нет, я не заслужила этого ничем, даже своим пьянством, в котором виновата меньше, чем он в своем.

Пусть лучше лопнет у меня сердце, но я не скажу ему ничего, когда он придет.

А вдруг это — настоящее несчастье? Что делать, куда звонить? А вдруг он уже «бросил» меня, нашел комнату и утром я получу соответствующую телеграмму или звонок?

Мне всё кажется, что он поднимается по лестнице, и стоит у дверей, боясь позвонить, и я прислушиваюсь, подхожу к дверям, но это крысы шумят и бегают под полом, как в блокаду...

Восьмой час... Надо лечь и дожидаться утра...

О, рыцарь Олаф! Твой час пробил,
покончены с жизнью счеты.
Но ты королевскую дочь любил
спокойно и без заботы.

25/II-56.

Опять Свердловка, — после страшнейшего января, когда Юра являлся по утрам, не ранее 10 ч<асов> утра, говоря, что то он «встретил старого товарища, только что приехавшего из Парижа, и уснул у него на квартире» (а костюм-то у него был без единой помятости, — у «внезапно — уснувшего, опьяневшего»), — то — у Гликмана, то (три ночи подряд) — у Мунблита — «работал над сценарием, а домой идти не хотел, — ты здесь была пьяная»...

Как с женщиной, он не живет фактически со мной с сентября месяца, — в общем полгода. Его попытки «выполнить супруже-

ские обязанности» кончались либо полным фиаско, либо паллиативом.

Я с ужасом, с отвращением, с тоской думаю о первой ночи после моего возвращения, а я выписываюсь через 5–6 дней.

И у него и у меня — уже рефлекторный страх перед встречей, и смять, именно смять его могла бы с обновленной силой вспыхнувшая страсть, любовь, нежность, — самозабвенный, светлый порыв к нему хотя бы с моей стороны, — а вот его-то, наверное, и не будет, а сыграть я, как всегда, ничего не смогу...

[<1 сл. нрзб>] Его не будет, потому что я разлюбила его.

Наступил предел многолетней, неистовой ревности, чуть ни круглосуточного ожидания его — к обеду, ко сну, к пробуждению, к ночи... О, неужели, все понимая, зная, как жестоко оплевал он меня, продал и предал, я по-прежнему буду ждать его, и не дождавшись, кидаться к водке?!

Так холодно и жестко сейчас на душе, так все понятно, так не обманывают меня ни его «заботливые» звонки по телефону, ни сирень, ни умильные взгляды. И обманываться — не хочется. Я выгляжу сейчас очень хорошо, пополнела, чудесный цвет лица и кожи, ясная голова, — я знаю, что в дом надо явиться веселой, милой, «все в самом деле забывшей», обольстительной и архиравнодушной. Я знаю, что надо делать только так, — но спектакль мне не удастся... А впрочем, м<ожет> б<ыть>, так получится и без спектакля? Ведь у меня много работы — интересной, увлекательной, нужной... Двадцатый съезд и вправду, кажется, дает какие-то возможности для работы и жизни по богу, по совести, по правде... Вот, во что бы то ни стало надо сдать ему, Юре, завтра заявку на «Первороссийск», и работать потом над сценарием, — ведь мы с Козинцевым действительно можем сделать настоящий фильм о настоящих людях, — уже легенде.

Мне надо по-настоящему заняться деятельностью, мне нужна собственная жизнь, мне нужно естественное равнодушие к нему (боюсь, что возврата его любви уже не будет) — и... и «тогда он снова будет моим!» Да, эта постыдная мыслишка есть, увы... А умом я знаю, что стыдно употреблять столько усилий на возвращение к себе человека, трижды предавшего тебя! И ведь он уже так закоsnел в самодовольстве и самообожании, что его ничто не проймет, он все сочтет за должное...

А Коля писал обо мне, — словами Гейне:

Иди же на смерть, рыцарь Олаф!
Ты королевскую дочь любил...

А, к черту, надо перестать расчесываться. Надо приготовить к завтраму заявку ему, чтоб заключить договор, надо иметь деньги, — чтоб поехать в Чехословакию, поехать по Европе, поехать в Скандинавию... А любовь... Это уж как бог даст!..

26/II-56.

Сегодня в Свердловке — «родительский день». Около шести, позже всех пришел Юрка. Рассказывал всякие новости, — все вокруг XX съезда, — говорили о том и о сем, — и ни одного ласкового слова, ни одного милого, интимного прикосновения или взгляда, — чужой, чужой!. Так сошлись знакомые, поговорили...

Заявку я написала хорошую, — стала рассказывать, — вижу глаза у него нетерпеливые, отсутствующие, думает о чем-то другом... Пошла его провожать в гардероб, — он бежит впереди, я семеню сзади. Ах как зря не повернулась и не ушла! И какая скованность, какая напряженность меж нами, — я боюсь ему задать вопрос, как он живет, куда идет, а он робко лепечет, что будет или у Оксмана, или у Володи Орлова, а м<ожет> б<ыть>, с Германом пойдут к И. В. Соловьеву. И я знаю, что он врет, и оба мы прядем глаза друг от друга...

Но с кем же он, кто она, где?! А она — есть. Не может же здоровый мужик полгода жить безо всего, не импотент же он, в самом деле... Он со мной не может, ему Я не интересна, не нужна, не мила... Он ни разу не сказал мне, как хорошо я выгляжу, как помолодела и похорошела. Ни разу не пришел не в родительский день, а в ноябре это еще было...

Или у него баба и «серьезное» увлечение, или — разврат, размен, а от этого размена он потерял вкус ко мне, как Колька Свиридов — к Любе...

Ну, и пусть теряет...

Вышла из б<ольни>цы 26/ХП¹, в субботу.

1. В субботу 26<-го> — потащились к Марьямовым. Юра пил очень много. Вечером — в постели — фиаско и скандал: виновата я: «учиняю следствие», а не живу просто.

2. В воскресенье 27<-го> утром — вновь не мог кончить.

В воскресенье [утром] за обедом был Данин. Оба пили за обедом.

3. В понедельник 28<-го> — вечер Блока. После вечера и моего выступления — предложение: «Поедем с компанией в ресторан». Очень много выпили. Сидели до 3 часов. Я была измучена выступлением, затем — рестораном...

4. Во вторник 29<-го> утром — опять фиаско. Был в отчаянии, я свое отчаяние скрывала, жалела и любила его до рези в сердце...

5. В среду 30<-го> я была у Козлова, — долгий, напряженный разговор. Вечером — мармеладовский юбилей Никитина, фальшью вымотавший душу. Несмотря на мои просьбы, много пил. Все кругом пили, признавались мне в любви, неск<олько> человек с обидой, что «я их не замечаю». До 4 ч<асов> ночи весь этот угар. Со среды — дичайшие боли в затылке.

6. В четверг пришел рано, пошли на «Оптимистическую». Хороший вечер, вдруг что-то мелькнуло. Вечером все было.

7. В пятницу я пошла на «Гамлета». Вернулась в 12²⁵, он — в час. Очень сильно выпивший. Пил, якобы, с работниками Ленфильма, — Ивановым и Гиндиным.

8. Вчера, в субботу — пришел с Гликманом, оба клюкнувши, пили за обедом...

И вот — сегодня, в воскресенье — см. след<ующую> стр<аницу>
<Далее обрыв текста — страница утрачена.>

19 июня 1956

Переделкино.

То, что я не веду дневник — преступление с моей стороны. Утратив эту «оттяжку», я и стала все чаще прибегать к рюмке, выпивая [<1 сл. нрзб>] в одиночку и громко полемизируя то с тем, то с другом, то произнося длинный и горький монолог...

¹ Вероятно, ошибка в датировке. Правильно: 26 мая.

Нет, лучше писать дневник. Вот странное что-то только происходит с глазами — мельтешит и плывет все перед ними, — неужели слепну? Или это возрастная, — старческая! — дальнзоркость?

Вот и сейчас — трудно писать... И все время ощущение спешки, погони за трамваем, — так много всего нужно делать и записывать. За «Юрин заказ» — сценарий, еще и не принималась, а осталось тут жить всего 14 дн<ей>. А еще надо обязательно — письмо в ЦК и добиться свидания — если не с Микояном, то с его референтом... И — т. н. личные дела.

Я все же отправлю Жене те письма, и стихи, — подборку, «Стихи из дневников 1938–1956 г.», со страшной силой идущие в рукописи по Москве.

И надо, — видимо, во вторник — ехать в Москву, в партком, чтоб выправить стенограмму своего выступления на совещании моск<овских> писателей, собранном парткомом, где я резко и прямо выступила против ждановщины, против постановлений о «Звезде», и др., сказав, что это — личный вкус Сталина, итоги культа личности, чуть не убившего наше искусство...

А в зале сидела его дочь — Светлана... Вот тебе поворот истории!

Я запишу обо всем подробно «сначала», так же как и всю историю свою с Юрой. Кажется, взаправду нашей любви и совместной жизни пришел конец... Не буду обманывать себя: бросил меня он, бросил фактически, как муж — с сент<ября> прошлого года, начав регулярно ходить к Л. Максимовой... У него своя, совсем своя жизнь, он и со сценарием-то торопит меня оттого, что хочет, чтоб август у него был свободен, хочет уехать с ней куда-нибудь... С ней, или с Арзумановой, или еще с кем-либо... Но это потом, потом запишу, и о нашей встрече в кабаке в день трагического самоубийства Саша Фадеева... А как друг — отошел от меня давно... Нет, уже нет даже почвы, на которой бы вновь могли соединиться наши души; наши тела.

А Женю я опять упустила — сама виновата, — явившись перед ним пьяной, отвратительной, жалкой... И все было, о чем думалось — так нехорошо!! А-а, я стонать начинаю от стыда и горести, вспоминая это.

Неужели нельзя исправить? Попробую...

Пошлю ему письма. Подорву в Ярославль или Углич — сама. Он будет моим настоящим любовником, — пусть ненадолго.

И может быть, на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной...

Пока не забыла, — записать. Разговор о семье Горького, о трагической ее судьбе, о внучке его Марфиньке и ее детях, — а она жена сына Берия. Не помню, кто-то сказал: «да, судьба у этих ребят: один дед сказал: «Человек — это звучит гордо», а другой дед этому же человеку твердил: «Превращу тебя в лагерную пыль». И превращал...

24 июня

Троица. Воскресенье.

Никак не уляжется крови сухая возня...

22<-го>, в пятницу, пошло большое письмо в Углич, к Жене. Поглядим, что будет.

21<-го> письмо от Юры, вместе с маленькой посылкой. Юрку Г<ермана> вызывала в райком Кирсанова, — пишет он, — и спрашивала [<1 сл. нрзб>] официально «об истязаниях Берггольц неким Макогоненко, от которого она сбежала. Ей это велели сделать “сверху”, на основании поступивших туда заявлений», — так написал Юра, а в разговоре по телефону — добавил: «Это сделано на основании твоих разговоров».

В письме сообщение о допросе Юры заканчивается фразой: «Вот так я живу. Спасибо».

Он всеми силами добивается полного разрыва.

Он взбешен, разумеется, тем, что действительный факт моего бегства 14 мая стал известен обществу, и что после этого, в общем быстро оправившись [от] от надвигавшегося запоя, я блистательно выступала на совещании с Хикметом, что с громом, в рукописи идут стихи по Москве, что я окружена сейчас неким ореолом и нахожусь в центре важных событий не только как свидетель [их], но и как их участник. Да, без всякого хвастовства, — это так.

Он и не думает о том, как оскорбил меня своим новым обманом, как хамски вел себя после того, как я это открыла, — что там «истязания», — это было похуже... Он обижен, он, видите ли, оскорблен моим поведением... То, что я заговорила с ним по телефону 16/V — по-человечески, — ничто для него. Да, надо было просто бросить трубку, — а я во всем и всегда слабовольна в отношении его...

А этот его приезд в Москву, эта отчужденность, боязнь остаться наедине, — боже мой, до какого позора и падения я докатилась, — я ведь смотрела на него собачьими глазами, я пыталась передать ему все то огромное, тягостное и новое, что появилось в душе в дни самоубийства и похорон Фадеева, и то, что узнала о Польше, и «Обороне Гренады»... Он почти не слушал, отмахивался с досадой — «а, я это знаю»... Ни на минуту, ни в чем не терпит ни тени превосходства над собою — зазнался и зарвался до предела... Но ведь должен же он почувствовать, что ему — нехорошо. Нет, не обманывай себя, дорогая. Он больше не вернется к тебе. Первая же попытка переспать со мною — закончится крахом, как в сентябре, как в ноябре, как в марте. Это будет условно-рефлекторно, потому что кроме умственного желания оправдаться, выполнить супружескую обязанность, — у него ничего не будет. У него какой-то страшный, затянувший его роман, фактически — другая жена, с которой он собирается провести август.

Мне он вкручивает, что не знает, будет ли у него отпуск, — а Володин, которого он зачем-то прислал ко мне (зачем мне такой редактор и что он мне может дать, — ерунда же, хотел бы — работал со мной сам), — сказал, что «Г<еоргий> П<антелеймонович> идет в отпуск с 1 августа».

Интересно, с какими глазами он отбудет в августе из Л<енингра>да и чем будет мотивировать? Он говорил, что «отправлю тебя к Козинцеву в Крым, чтоб ты с ним всё обговорила и, м<ожет> б<ыть>, устрою туда себе на неск<олько> дней командировку»...

Хитер товарищ!

Но я в начале июля все же поеду домой, и дождусь его решающих поступков. Могу и пролонгацию попросить — я имею на это право. Могу сорвать ему медовый месяц и свадебное путешествие, если к тому времени всё не станет безразличным...

Надо приехать в Л<енинград> в полной форме, красивой и равнодушной, — и посмотреть, что будет.

Он всем говорит, что дело в том, только в том, чтоб я не пила, а что он меня — любит... И многие верят в это!

Ну, надо спать, а завтра работать.

Вот сегодня к вечеру даже писать могу без дрожи в руках, а видеть стала плохо...

...Приеду в Л<енинград>, увижу его тоскующие, загнанные глаза — и рухну...

А если сильно, свободно, со всей силой любви — взять, забрать его себе снова, забыв обо всем, как будто бы он такой же любимый и хороший, как тогда, когда полюбила его? Вот так, ломая всё? Неужели не смогу, неужели поздно уже, неужели разлюбил и переродился совсем.

Надо написать Юрке Г<ерману>, — узнать, какой был разговор с Кирсановой...

Малеевка. Прибыла 25/V.

Вес — 52,250 — 26/V.

Сила — 22-20¹.

Сентябрь 1956 года.

Вновь Свердловка, — на этот раз с тяжелым переломом ноги, совершенным в дни пароксизма тоски, глотания амитала, когда Юрка уходил из дома и не являлся по три ночи подряд.

Нет, лучше не писать об этом сейчас, — потом все запишу. А вел он себя как самая лицемерная [<1 сл. нрзб>] и жестокая скотина.

Нет, мне надо бежать от него. Именно — бежать, оборвав все. Так нельзя больше жить, особенно в то время, когда душа больше совершенно не выносит лжи.

Я хочу быть счастливой и любимой. И свободной. И спокойной. Мне обо многом надо написать.

В [феврале] января 1957 г. — 15 лет со дня смерти Коли, а в февралe — 15 лет «Февральского дневника».

$$7 + 28 = 35 - 30 = 5$$

Перелом — 7/IX-56

[<1 сл. нрзб>]

7 — лангетки

18/IX вторн<ик> сапожок. [со вторник<а> на той неделе.]

19/IX — среда ЛФК [пятн<ица> — 28/IX]

20/IX — четв<ерг> [четв<ерг> 27/IX]

21/IX — пятн<ица> (костыли) [ср<еда> 26]

¹ Запись сделана в конце дневниковой тетради.

- 22/IX — суб<бота> [вт<орник> 25 — уехал Юра. 1 раз]
 23/IX — воск<ресенье> [пон<едельник> 24]
 24/IX — пон<едельник> [воск<ресенье> 23]
 25/IX — вт<орник> уехал [суб<бота> 22]
 Юра
 26/IX — среда [пятн<ица> 21]
 27/IX — четв<ерг> [четв<ерг> 20]
 28/IX — пятн<ица> [ср<еда> 19]
 29/IX — суб<бота> [втор<ник> 18 — сапожок]
 30/IX — воск<ресенье> 4 н. Юра? отъезд
 1/X — пон<едельник> — хожу без кост<ылей>
 2/X — вт<орник>
 3/X — ср<еда> смотрел профессор
 4/X — четв<ерг>
 5/X — пят<ница>
 6/X — суб<бота> 4,5 под.
 7/X — воск<ресенье> 3 нед. <1 сл. нрзб>
 9/X — пон<едельник>
 10/X — вт<орник>
 11/X — ср<еда> 5 нед.
 12/X — четв<ерг> 5 н.
 13/X — пятн<ица>
 14/X — суб<бота>

Я стала бездомной, а ты не заметил,
я петь разлюбила *перестала*, — а ты не жалеешь.

Ты забыл меня
ты позабыл мою душу,
 как забывают человека, —
 какие у него глаза, какие волосы...
 Да, так и ты забыл,
 какая у меня душа.

— «Юра — однолюб», — так говорила мне М. П. — любит одного себя». Он ста́рит меня, уничижает.

Еще, оказывается, его называют Жорж Дюруа. Это уж очень оскорбительно и — неправда.

Но вот он приехал из Москвы, — боже, как он упоен «успехом» своим у министров и главков! С каким восторгом показывал он мне письмо старого клоуна Вертинского, — к нему, как «новому человеку» и «носителю правды». Он так много не видит вокруг себя, самоупоенный и самовлюбленный. Он — держатель кормушки! О, сколько людей обманывают его своим отношением из-за кормушки его... А ведь что говорят о нем — тот же В. Орлов, — об его подхалимстве, об его скороспелых концепциях и т. д. и т. д. Я не говорю уже — [1 сл. нрзб] об его грязных связишках и поведении в Университете. Будто бы девочки боятся ходить к нему на экзамены — лезет. Ну, уж это-то легенды, он не настолько глуп...

Вот теперь собирается в Румынию, — явно, напросился, — почему вдруг его, без году неделя работающего в кинематографии, «просят возглавить» делегацию в Румынию? Я так и знала, что после поступления на Ленфильм начнется у него великосветская жизнь... Господи, я верю, что он хочет работать, давать хорошие картины, но с каким шумом и гавном все это смешано... И он не слушает меня, он перестал относиться ко мне серьезно, он никого не слушает, кроме себя...

Простой душе невыносим
дар тайнослышанья тяжелый.

И точно муза плача — китежанка...

1956 г

1) В субботу, 17/III — ушел с утра, в 1 ч<ас> звонил, потом не звонил, пришел в 12 ч<асов> ночи — очень пьяный, — на мои вопросы матюгался и ударил меня, ушел на ночь из дома, в 2 ч<аса> дня в воскресенье 18/III обнаружила его у Некрасова в номере. Вернулся домой в 6 ч<асов> — у меня были Татка, Андреев и муж Татки.

2) В понедельник, 19/III, кажется, был дома...

3) Во вторник, 20/III [я был] ушел с утра, домой пришел в 10 веч<ера>. Заехали за ним к Андрееву, — там много пили.

За выпивкой проявлял признаки внимания.

4) В среду 21<-го> — ушел с утра, пришел в час, после меня.
У меня было партсобрание.

5) В четверг 22/III — с утра, пришел на <Панкратову?>, вечером в Д<оме> П<исателей> много пил. [<2 сл. нрзб>]

В пятницу 23/III — с утра, пришел в десятом — выпивши. В пятницу — звонок о Максимовой.

1) В субботу 24/III Юра ушел в 10 ч<асов> 30 м<инут> утра, пришел в 2 ч<аса> ночи — очень пьяный.

2) В воскресенье 25/III ушел в 3½ ч<аса> дня, не сообщив мне, куда. Обещал прийти после 7.

[<1 сл. нрзб>]

Звонил. Звонила «одна студентка».

«У Галины Николаевны в деканате есть редкая книга издания Новикова, — не то с шахом персидским, не то с турецким султаном. Вероятно, она нужна Г<еоргию> П<антелеймоновичу>».

Звонила в 12 час<ов>

«его знакомая».

«Для вас не имеет значения, кто я такая. Просто его знакомая».

в 5-30

— Макогоненко здесь или на Владимирской?

— Почему на Владимирской?

— Ну, как же, у своей Лялочки Максимовой, вам надо за ним смотреть...

и т. д.

1940.

Но кто-то на воде не тонет
и не сгорает на огне.

Стихотворение «Елка».

Стихи «И ем и пью во славу Микояна»

(Посвященное Микояну)

Изобилию

Рыжая

Орлов Ж-3-44-60

«Чаепитие»

Довлатова [в уго] «стремилась в угоду русским классикам, ущемить сов<етских> писателей».

Он был редактором Гослитгиздата.

(Н. Лесючевский)

«Потенциальные враги народа Цырлин и Добин».

Оля Визор¹

20/IV — в 12 ч<асов> пришел пьяный и рыдания и слезы и т. д.

21/IV — пятый час, его нет. В 7 утра, вдрызг пьяный.

22/IV воск<ресенье>. Был дома.

Звонила Наумова. Он не был на Ученом совете и даже не звонил М. П. Она беспокоилась, что и как и где он. Звонил в 12¹⁰ «Ученый совет уже давно разошелся».

Просили Г<еоргия> П<антелеймоновича>

3 ч<аса> 30 мин<ут>.

5 ч<асов> 12 мин<ут>.

Оба раза на вопрос — «откуда просят» клали трубку.

Максимова — подруга дочери В. Ингала. Максимову знает Горский.

О черненькой любовнице сообщала Марусе Нина Квитко, студентка ЛГУ.

Довженко — [<1 сл. нрзб>] о моем выступлении — «Это благородно. Оно полно мысли — того, от чего нас отучали и от чего мы отвыкли...» «Ваш нравственный авторитет необыкновенно высок». Это же говорил мне и старик Чуковский.

Он, Довженко, даст мне свой новый сценарий и подарит «Украину в огне».

¹ Подчеркнуто пунктирной линией.

Луи Арагон в своей книжке пишет обо мне. № 6 «Иностранной литературы».

Б. Пастернак — «я буду любоваться тобой. Приходи».

Р. Райт — «лицо у тебя гораздо интереснее сейчас, чем в молодости. Ты в молодости была просто прехорошенькой девчонкой, а сейчас — у тебя лицо, которое нельзя не запомнить... Французы-художники разорвали бы тебя для картин».

Н. Хикмет — «Для деревни вы некрасивая, конечно».

Тон вчерашней передачи:

пришли такие святочные деды-блокадники, мертвяки-бодряки, и рассказали ряд милых святочных рассказиков о том, какие они были хорошие и героические.

Тон задала — фальшивейший, как всегда, Вера К<азимировна> Кетлинская.

А я, проблядь несчастная, растерявшись, в тревоге оттого, что мы превышаем время, не сообразила сказать главного, — о Тыле. Нет, В<ера> К<азимировна>, — не надо так снисходительно, — тыл этот, глубокий тыл — имя ему Россия, Родина, — и не было бы без этого тыла ни хождения под водами на Берлинский меридиан, вам — т<оварищ> Грищенко, ни летания вам, т<оварищ> Кобрев, ни стояния нам на земле. Но был в этом тылу — еще более глубокий тыл — тот, что был за колючей проволокой.

Они не по своей воле не взяли в руки оружия (роман «Солдатами не рождаются»), но они — трудились во имя победы, добывали руду в Норильске, уголь в Воркуте, золото — в Магадане. Они держали тыл доверия к партии и власти, тыл преданности [Партии и] Народу. Без этих тылов мы бы и недели не просуществовали. Русский им, низкий, земной поклон, вечная слава. Им было трудней, чем нам — мы видели врага в лицо, а перед ними он выступил в маске. Мы зажжем еще неугасимые огни, всюду, где пали наши товарищи в битве с фашизмом...

ГОД

1957

1 июня 1957 года.

Малеевка.

Отравлен свет и воздух выпит,
Как трудно раны врачевать!

О, сколько раз, в какое разное время я цитировала эти строки. Впервые — двадцать лет назад, в 1937 г. После XX съезда казалось, что цитировать их не придется. Но сам съезд оборачивается — по крайней мере, для нас, — чудовищной провокацией. Год назад — какой был подъем, несмотря на страшный выстрел себе в сердце — Фадеева. Так верили, что вот теперь будем писать и говорить правду, и уж что бы то ни случилось (а вообще-то ничего не случится!) — не дрогнем, не уступим, ничего не предадим. Да, бюрократия, аппарат будут сопротивляться, но ведь мы вернулись к ленинским нормам, массы за них, — нет, мы дружно сломим эту бюрократическую косность, надо только быть смелей, и говорить правду, правду, правду, и ничего не бояться, — за нас правда, и ведь мы оказались правы! Мы не верили в виновность миллионов арестованных товарищей, мы считали вредным адм<инистративно>-бюро<кратическое>-руководство, — мы оказались правы. Так будем же верить себе и — нечего бояться!

В таком состоянии — очень красивая и собранная, окруженная вниманием и заботой действительно лучших людей, — пренебрегаемая Юрой, — я выступила 15 июня прошлого года. Выше в этой тетради об этом записано.

В декабре 1956 г. после кровавых венгерских событий курс был круто изменен. Н<икита> Х<рущев> провозгласил: «Дай нам бы

быть всем такими, как товарищ Сталин». Я попала за свое выступление в закрытое письмо ЦК, под названием «О вражеских вылазках»... и т. д. и вынуждена была — пусть сквозь зубы, пусть почти издевательски, но признать «своей ошибкой», — «тот факт, что выступала на б<ес>п<артийном> собрании с критикой постановлений ЦК об искусстве». Повторяю, я ни звуком не отказалась от своей точки зрения на эти постановления, но ведь и то, что я должна была написать, перекорежило меня донельзя. Не из-за лично — себя, но как факт начавшегося «отката». И отказ от своего — всё — отказ.

Однако, лишь на недавно минувшем пленуме правления С<оюза> С<оветских> П<исателей> обнаружили мы, как далеко зашел этот «откат». Это уже не откат, что чистый рецидив сталинщины, в еще более гнусной и еще более лицемерной маске — маске кукурузника. Саша-то Фадеев как в воду глядел, когда стрелялся!

«Подвергнуты уничтожающей критике» самые лучшие, самые передовые произведения минувшего года, где люди попытались заговорить по-человечески, где они были наиболее чистосердечны: «Не хлебом единым» Дудинцева, «Собственное мнение» Гранина, «Семь дней недели» С. Кирсанова, сборники «День поэзии», «Лит<ературная> Москва», деятельность Казакевича, Алигер, Твардовского, Тендрякова, выступления Паустовского, Каверина, Славина, Рудного и т. д. и т. д. Попал по явной неосторожности сюда и подлец — Костя Симонов, который, однако, быстро «осознал», напредательствовал и вышел вновь в авангард «своих». Уже то, что товарищи, «напозволявшие» себе, промолчали на пленуме, не выступив с покаянием, — уже это победа. Их, в первую очередь Твардовского, буквально принуждали выступить с покаяниями. Запад же призывал «к подвигу молчания». Они не выступили.

Я за все это время тоже ни разу не выступала, — никак. Странно, но моих «новомирских» стихов, опубликованных и широко разошедшихся в рукописях, — не коснулись, хотя на пленуме мое выступление поминали и в докладе, и в прениях, и в прессе.

Почему же обошли молчанием стихи, хотя бы напечатанные? Мясорубке хватало мяса? Совесть не позволила? Не понятно! Но предчувствие говорит мне, что в Ленинграде, на собраниях, посвященных «итогам пленума», — коснутся! Мне еще предстоит многое. Успел бы проскочить двухтомник, — в том виде, как я хочу...

Итак, — безысходная мгла впереди... Конечно, писать я буду, что хочу, но сосущее Крамольниковское состояние — «Не нужно!

Не нужно», — опечатанная, запечатанная душа, — о, как трудно, как сквозь терновник, — продираться сквозь это к самой себе, к жизни, к творчеству. Внутренняя свобода отнята более, чем когда-либо. Омерзительное чувство от проституирования священных понятий — «ленинские нормы», «демократия», — гнетет, как страшнейшее похмелье... А этот Обед!...

Похмелье! Вот самый точный термин для определения того состояния, в котором мы находимся, — Алигер, Твардовский, я и все, одинаково с нами мыслящие люди. Эта тоска, когда мечешься и деваться некуда, и тошнота, и ослабшее тело, и еле шевелящееся, временами застывающее сердце, а главное — душераздирающее одиночество и тоска, и стыд, и отвращение к себе и к жизни и к деятельности, — о, все точь-в-точь так. И не я одна испытываю это... И в десять раз страшнее это похмелье для меня потому, что я одна — воистину одна, потому что за этот год мы с Юрой так и не жили, и стали дальше друг от друга, чем в прошлом году...

Но об этом потом, после ванны...

4/VI-57.

Уже четвертое июня, а я еще не отмобилизовалась для работы. Усталость, накопленная за этот год, — усталость от бездействия, от непрерывных запоев, от моральных потрясений (я ничего еще не записала о болезни и смерти матери), от женского одиночества и метаний — сказывается со страшной силой. Я и жила, — болезненно, интенсивно, мучительно — за этот год, — и не жила. Инерция бездействия просто ужасающая — ничего не хочется делать, — а вот бы просто валандаться, — вести полурастительный образ жизни; как прудок, который кажется темным и неживым, и лишь где-то в глубине теплится какая-то тайная подводная жизнь. И мозги точно обволокло какой-то тиной. Больше всего думаю о Юре, о Жене... О мужиках, короче говоря. Все, что написала (не считая интересных записей в угличской тетрадке) — хорошее письмо к Жене. Во время пленума была у него, на дому, познакомилась с его мамашей — страшной старушонкой в каких-то бородавках на лице и, кажется, пьяницей. А Женя был счастлив и влюблен, как мальчишка. И вновь обдало меня юношески-прелестной, застенчивой и дерзкой мужской любовью — такой, как была она в прошлом году, в Переделкине, где сделаны предыдущие записи.

Ведь он был у меня тогда, — и какие же чудесные и милые, и — утверждаю, — чистые две ночи были у нас... Я перед этим звонила Юре, [1 сл. нрзб] я взывала к нему и предупреждала, я просила его приехать, — я бы все отдала за его возвращение... Он не захотел расставаться со своей жидовкой, он пренебрег мной, не захотел даже показать перед «обществом», что мы — муж и жена, — ну, что ж... Я вызверилась, и демонстративно, зная, что «обществу», а значит и ему, Юре, все будет известно, оставила у себя — дважды — Женю. Но дело было не только в том, чтоб сквитаться с Юркой, — тут совпало одно с другим.

Женя потом звал меня в Ярославль, кричал из Москвы, из Ярославля нежные слова о тоске, и любви...

В Ярославль я не поехала, — запила, попала в больницу.

Потом — сломанная нога. Опять больница... Ну, и весь этот год, с безобразными сценами с Юрой, с его отлучками по целым суткам и ночам, — бред, бред, падение, позор, стыд и адова мука...

Когда я приехала из Переделкина, — очень красивая и трезвая, и любящая его, — он лег со мною. Лег, пожелал спокойной ночи и отвернулся. И на вторую ночь так же. Утром встал, принял душ, — я вошла к нему в кабинет, говорю: «Юрик, а все-таки что же все это значит? Кто же мы, давай выясним?» Он закричал театрально: «Вон, вожделеющая баба! Похотливая блядь! Она ебаться хочет! Ебаться пришла! Вон! Не дотрагивайся до меня»... И волосатый, жирный, пузатый, скорчил брезгливое лицо и попятился от меня, театрально выставив руки...

— Юрка, я ведь беременела от тебя, — закричала я, — не говори так! Тебе будет стыдно...

— Вон, похотливая блядь!

Я вышла из кабинета и заказала Зине коньяк. И — пошлó!

Пишу об этом почти равнодушно — так запеклась корка на ране... Но под коркой — гной и живая, отравленная кровь... Зачем я шевелю ее?

17 мая Юрка уехал после пленума в Ленинград, а 18<-го> была у меня мать Жени, которая сказала, что Женя не только женат на бывшей студентке Юры — Лидии Мих<айловне> Колтуновой, но у них уже дочка, ей около 3 лет и зовут ее... Олечкой! О том, что он женат, я и догадывалась, и знала — давно, хоть он и отрицал это. А вот Олечка меня ошеломила. Даже не знаю, чего больше было — смешного или грустного...

Ну, никак не отмотобилизоваться на работу, — а ведь в этом теперь единственное мое оправдание и освобождение внутреннее от Юры (да и материальное тоже!) и от разных Жень! Звонила ему сейчас в Москву, — мать сказала — будет сегодня, но телефонистка заявила: нет дома. Ну, и чорт с ним. Хорошее письмо к нему пошло. Захочет — позвонит и найдет, не захочет — не надо.

Схожу на свою золотую полянку, а вечером развяжусь со всей корреспонденцией и намечу план работы...

25 июня 1957 года.

Итак, на сценарий у меня осталось ровно 5 дней, включая сегодняшней. Немного, по правде говоря. Сделать же необходимо хоть что-нибудь, — чтоб не ругался, чтоб хоть немного подобрел ко мне Юрка и может быть... может быть, даже снизошел до того, что переспал бы со мною...

Неужели я никогда не буду стыдиться этих мечтаний? Ведь они постыдны.

Но что делать — если сама работа по сценарию не захватывает меня? Перспектив никаких, все, что показывают в кино — ниже всяких падений. Надеяться на сближение с ним через свою женскую прелесть — нелепо, я сама вижу, как изменилась и постарела за последние два года. Он, правда, хочет ехать со мной в Коктебель, но это он так, для отвода глаз: в последнюю минуту он «не сможет» и захочет послать со мной Андрея. Вот уж от чего я откажусь категорически! Довольно прикрывать своим именем его подлую связизшку, его грубость и гнусность со мною. Хватит того, что я явилась на пленум и своим появлением там реабилитировала его.

Боже мой, если б мне разлюбить его! Если б вернуть наполнение жизни — работой.

30/VI-57.

Все ж таки сдвинула дело с мертвой точки — со сценарием. Были даже минуты озарения и просветления, — желание двигаться вперед. Много «напридумывала», выудила из глубины материала, — истинного, искреннего, но ужасно многого просто не вижу. Я не знаю материала, — вот в чем дело, я не владею им в размерах картины.

Эмоции и мысли есть, а «вещности» не хватает до отчаяния... Мне надо было бы проехать путем первороссиян, обойти там каждый камень. Но я не сделала это целью жизни, потому что не могла уцепиться именно за сценарий, как за цель жизни (на данном этапе), потому что не верила и не верю в его реализацию, а иначе писать для меня — мучительно. Особенно теперь.

Я знал одной лишь думы власть,
одну, но пламенную страсть.

Проклятое Крамольниковское «не нужно», «не нужно», — долее надо мною. И ведь никто вместе со мной не горит этим сценарием, — он — как неразделенная любовь, снедающая только одного человека. Юрке ведь он нужен чисто делячески.

А я вот вчера весь вечер делала выписки из «Граната» о старообрядцах и переживала все это, все эти народные духовные поиски, как нечто собственное, потому что и я ведь сейчас не знаю, как жить, во что веровать? Ни во что я не верю, — «глухая нетовщина» царит надо мной, — как же писать? Впрочем, именно в «глухой нетовщине», в «дырковщине» — может быть, и есть единственный выход. И поделиться с этим — не с кем. Сблизилась с Галиной Серебряковой, — она умная, она просидела 20 лет, много выстрадала, много понимает, но этого и она не поймет, и страшно ей об этом сказать...

Но ведь создание художественного произведения — это обязательно духовное искание, даже если у тебя уже есть вера. А кино обрело не только звук, но Слово, и в Евангелие от Иоанна сказано, что слово это — бог.

Вот чего не может понять Юра. «Работай!»... А я не могу работать как Юра Герман... — все, что угодно.

А если духовное искание происходит на развалинах Иерусалима... Это еще ничего, это — как будто бы так, как у меня сейчас...

Но если — в пустыне? Если — в одиночку? Если без Юры, а позорно-ревнивые мысли грызут и грызут, бабье естество неистовствует и взывает, и тоска, тоска, и видишь, что стареешь, и Женя не позволил после полупьяного моего визита к нему в семью, в Новый Иерусалим... А Олечка — прелесть! Почему у меня нет такой дочки.? От Юры, или — от него? И я старею, и выгляжу страшно, и никакие радоновые ванны, никакая трезвость не помогают...

Выпить сегодня, что ли, чуть-чуть!

К счастью, у буфетчицы Тони грипп, — и я не выпила. Но и работать не работала. Смутное, раздерганное состояние было... Но вот сейчас поговорила с Юркой по телефону, — и вроде как отлегло. Нет, он действительно хочет в Коктебель сам, даже и за то, чтоб пораньше поехать, и после 1 сентября пожить. Говорил также об упорядочении жизни в семье, — чтоб взять Надю германовскую прислугой, — вместо наших халд. А вдруг всё наладится? Господи, устала я, хочу спокойной жизни и хорошего друга рядом... Но во что бы то ни стало надо хоть половину сценария ему показать, привезти... Если сегодня после ужина не возьмусь за машинку, если она меня «не слушает», — уж просто не знаю, что и делать. Нет, писать и писать, пока хоть с закрытыми глазами, страшным наброском, но хоть реденькую канву пока сделать... Паршиво, что в довершение ко всему еще и плохо видеть стала, особенно к вечеру...

Старость, старость! Скорее ближе к 50<-ти>, чем дальше — срок восьмой год...

Ну, пойду ужинать, — и рывком за машинку.

2/VII

Весь день сегодня пропал из-за сведений и переживаний в связи с чрезвычайным пленумом ЦК.

Впрочем, пропадать все начало еще вчера вечером. Приехал из Л<енингра>да Сережка Цимбал, вечером говорили о ленинградском «награждении» и вообще о ленинградских делах, и много — о Юрке...

Как многое из того, что, как казалось мне, знала о нем и его характере только я одна, — явно и известно людям! И его суетность, и тщеславие, и барское зазнайство, так проявившиеся в нем последнее время, и его «образ жизни» — это кабацкое общение с замминистрами и пр<очими> «главками», и всё-всё... Они знают больше моего, — конечно, и в служебных своих делах он бо́льшую часть от меня скрывает...

Вот он заключил договор с каким-то Волобринским, родственником своего зама, дурака и жида Родина, а этот тип ни малейшего отношения не имеет к кино и вообще к литературе, но ходит, помахивая договором, и уже мылится в Союз... Он заключил договора на сценарии с Рашевской и артистом Борисовым, — зачем, какие

они сценаристы? Правда, профессиональные сценаристы не лучше, но ведь это опрометчивое заключение договоров ничем не оправдано, кроме каких-то личных соображений Юрия. Они еще не знают, но я кроме того знаю, что он просто ПОКУПАЕТ Гликмана, который оказывал ему своднические услуги во время романа с Погорелой, сопровождал их по кабакам, и явно, служит ширмой и сейчас! О, этот их поход к «композитору» — до 5 ч <асов> утра. И вот, — все, все они сейчас продают его, — от Рачука и Эрмлера (на посещения которого Юра так часто ссылался) до «милого, восторженно влюбленного в нас обоих» Миши Берестинского, Юрки Германа (о котором все тоже все знают, как об имитаторе любых эмоций — от «порядочности» до ортодоксализма неофита), до того же Сережи. Он разгадан, и он действительно то, что есть, о чем я знаю, и не хочу сделать каких-то окончательных выводов. Ах, я знаю о нем еще больше, по себе, — знаю, как он подл, зол и черств со мной, с бабами вообще...

Но я телом и душой помню его — другого. Я все еще верю, что чем-то лучшим, что есть у него — он любит меня. Если б он спохватился, если б он прозрел, если б понял, что у него есть единственный друг и единственное богатство, — я, при всех моих запоях и слабостях...

Вот и после вчерашнего, узнав сегодня о Пленуме, результаты которого могут принести нам, как и множеству людей, как, вероятно, народу, горчайшие бедствия, — я обмираю от тревоги за него.

Ему, после того, как его так позорно и подло не приняли в партию, что хуже любого исключения, готовят полное утопление с политическим обвинением. Чекин мне сказал сегодня, что Юрий любимый Рачук готовит документ, постановление о снятии Чекина, Юрки и какого-то украинского зав<едающего> сценарным отделом — [«1 сл. нрзб»] по мотивам их «политической несостоятельности». И если Чекин вывернулся, то у Юрки уже все подготовлено! Не принят в партию, как «неподготовленный», т. е. не выражено ему политического доверия, явно перена заключено липовых договоров, запрещены или осуждены картины, вышедшие по «его» сценариям, и т. д. и т. д...

И если правда, — а это явная правда, что он принял на студию в сценарный отдел — эту Светлану Бадве, подругу Максимовой, а Максимова шатается на студию чуть ли не в качестве его законной жены, — то все это получается настолько густо, что под угрозой может встать его работа в Университете, где крайне неприязненно

отнесли к его совместительству в кино, где у него достаточно врагов и завистников, где он пользуется омерзительнейшей славой девичьего соблазнителя и развратника, — со всеми этими же Максимиными, Арзумановыми и т. д.

Я по-разному пыталась втолковать и объяснить [«1 сл. нрзб»] ему это, — он отвечал тем, что поворачивался задом, и защелкивался на защелку, или матерился и вышвыривал меня из кабинета...

Так что же, — чем хуже, — тем лучше? Пусть жизнь долбанет его как следует, — и тогда он «все поймет» и «станет моим»... Нет, неблагоприятно; хотя он все равно ничего не послушает, и будет именно так...

А может быть и еще хуже, — дико сгущается обстановка после пленума ЦК, с торжеством темнейших сил из темных, т. к. они все темные и все в крови народа и партии. Но темнейшие восторжествовали... Что-то будет, о господи! Война? Новый 37 год? Т. н. «эксцессы», потому что люди теряют всякое терпение?

Во всяком случае, ничего хорошего ждать нельзя.

Нам прочтут постановление и очередное закрытое письмо, мы — партия — промычим «мудро» и начнем когтить и «разоблачать» друг друга...

Как надо быть вместе с надежным человеком, как нужно держаться друг за друга... Как на «Титанике».

Пойду, попробую позвонить в Ленинград, ему...

Совершенно не работала сегодня, — не могла, как все, не говорить о том, что произошло на пленуме, в душе, как кошки насрали... Зачем, во имя чего, как работать, — когда творится такой бардак, такая гнусная ложь, такое проституирование всего святого, такое бесстыдное попираание партии, да чорт побери, — просто человека и человечности! Разве я человек? Разве я писатель, идеолог, коммунист? Я... у меня не просто «душа запечатана», я просто упразднена как человек. И всё.

Заказала Ленинград, но его, наверное, не будет дома... Сегодня в Москве и Ленинграде идут гор<одские> парт<ийные> активы. М<ожет> б<ыть>, у «своей», а м<ожет> б<ыть>, у кого-нибудь из начальства ждет сведений. Мне во что бы то ни стало надо привезти ему хоть бы треть написанного сценария, — я ведь так обнадежила его, и м<ожет> б<ыть>, в трудную минуту он может «kozyрнуть» им — хоть

я, да не подвела, хотя сценарий весь — «на подвод», — по современным обстоятельствам! Он не должен понравиться, в нем должно получиться слишком много подлинного.

Дневники

Дневники (1957)

Заметки

6.49 м. Л<енингра>д

6.35 м. — Москва¹

Статья Серебровской

«На страницах «Нов<ого> мира» были сделаны попытки заменить критерий партийности критерием “искренности”, как бы заранее подразумевая, что одно исключает другое.

Выпячивая искренность, автор изымал главное — идейность<>».

Она вроде как бы и за искренность, — но на самом деле — против. «Незачем выпячивать искренность». «Атака велась не без хитрости». А Сер<ебровская> ведет подкоп не без лицемерия.

«Атака на идеального героя ущемила права героя положительного, и постыдное звание лакировщика...»

О лакировке говорил Хрущев.

Если была лакировка, значит, были и лакировщики. А чем лучше — сусальщик?

«Дело коммунизма неизмеримо больше, чем судьба отдельных лиц, хотя бы и известных».

Здорово отделено одно от другого.

А Ленин сказал: «Политика — это фактическая судьба миллионов людей».

«Время проходит, одни проживают его честно и безукоризненно, другие совершают ошибки»...

¹ Фрагмент со слова «Дневники» до слова «Москва» — записи на обложке дневникового блокнота.

Значит, человек, совершивший ошибку, — уже не честен?

А есть такие «безукоризненные», что они гаже любого, совершающего ошибки.

Е. Серебровская в ее истории с Тахтаем.

Весь абзац — антиленинский.

«Погибшими наверняка надо считать тех коммунистов, кот<орые> вообразят, что можно без ошибок без отступлений и т. д.»

«Но священное дело коммунизма продвигается вперед и никакой отдельный человек не в силах остановить его: история назад не возвращается».

Кого имеет в виду автор?

Н. Грибачев пишет об ООН, как лакей. Так говорят о господах лакеи в лакейской.

У Е. Катерли в ее путевых очерках об Европе, — также тон совершенно лакейский. Это лакей, горняшка с претензией на барскую образованность... Ужасно ее полное невежество, — и с высот этого невежества снисходительное отношение к иск<усст>ву, даже искусству древних. Анекдотическое сравнение бюстов в Ватикане — «давно умерших мудрецов, поэтов, гос<ударственных> деятелей» с «нашими современниками»... «Этот похож на знакомого председателя колхоза, этот — директор, этот — наш дед и т. д.» Этак может показаться, что Моисей напоминает Михайлова, а Венера — Фурцеву... «Вот этот, несомненно, был бы учителем, живи он в наше время».

Каз<ахская> ССР,

г. Акмолинск,

ул. Сакко и Ванцетти, д. № 26, кв № 25. Коробкина Ольга Степановна.

Принести:

- 1) блокнот в линейку
- 2) маслин
- 3) гарусные носочки
- 4) адрес и фамилию Нади.

Е. Катерли пишет, что она, покидая Ватикан, — «чувствует облегчение оттого, что этот “пункт осмотра” уже позади», «сожалеет о том, чего не успели повидать»... и, уезжая из Рима, горюет, что «мы не видели мусорщиков, сборщиков мусора, не познакомились ни с одним из них»...

Надо же дойти до такого лицемерия и ханжества! Это уже полная утрата стыда. Забвение его совершенно...

Физиологическое отсутствие стыда...

В. Назаренко. «Нева» № 9

«Стихотворение не становится подлинным разговором в образах жизни, является лишь унылым как бы воплем: страшно возвращаться с войны». Что это — «разговор в образах жизни». «Б. Слуцкий оказывается в этом стихотворении без художественного языка». Что это — «оказаться... без языка».

Это элементарно неграмотно. В 7 кл<ассе> ставят двойку. На самом деле — это кокетство. Ложная многозначительность. Тоже — нет, больше — туманные рассуждения. Его пустота и реакционность нарочно облечены в нарочито-затрудненные для сознания (нормального) формулировки...

Нева № 9 за 1957 г. стр. 192

А дальше идиотическое рассуждение о «неопределенности»...¹

В ней все — сегодняшнее, все — мгновенно,

Все переменчиво, как зеркало пруда

в часы зари

В ней вся и все — нетленно

и все навек и только навсегда

3/окт<ября> 1957.

...И вновь больница, — Свердловка, — о, в который, в который раз?! Первые дни плакала от неистовой жалости к себе. Не стоит подробно записывать предысторию моего попадания в больницу — сейчас. Потом запишу под общим заголовком — «1957 год». Проработка меня

¹ Две строки вписаны по правому краю блокнотного листа.

в связи с тем, что долбанули в закрытом письме ЦК. Смерть матери, вину перед которой не искупить и жить и обращаться с которой иначе, чем я обращалась, я не могла. Бедная мама, как она терзала меня — из-за любви ко мне! А Муська сейчас — разнесчастная, неумная Муська, — как она мне гадит в неистовом стремлении «спасти» меня! Увы, спасти меня действительно нельзя. Меня мог бы спасти Юра, — как тогда, в блокаду. Но тогда он любил меня, а сейчас... он даже уж и не скрывает от меня, что живет с Максимовой, но, разумеется, в этом виновата Я... А что ж, видно и виновата: вцепилась в него, как Муська в меня, как бульдог, да еще пьяный... Но довольное об этом, — «молчание, молчание»...

Выбрав вариант — Можайский с его старомодными, успокаивающими и мудрыми внушениями плюс новокаин и другие витаминные стимуляторы, я, собственно говоря, выбрала себя и свою волю. Так и они говорят, врачи, что все дело в самой себе и своей воле. Эти лекарства помогут мне физически окрепнуть, — а последнее, о чем я мечтала, как о блаженстве, — ясная голова, отсутствие сердцебиения, тошноты и одышки, — это у меня будет. Всё. Никаких записей и по возможности воспоминаний и растревливанья себя несовершенствою любовью.

Мне надо окрепнуть настолько, — физически и душевно, чтоб создать свой новый внутренний мир, воздвигнуть хоть временную опору внутри себя. Из всего, что меня держало вовне, — почти ничего не осталось: ни веры в «учение» и его воплощение, ни любви мужа... Но мне нужно записать наш и мой собственный опыт. Так велит Бог. Он недаром показал мне такие бездны и заставил так много принять радости и страдания. Он ждет от меня, что я запечатлю это. Не знаю, буду ли я вновь писать стихи, — опять как будто бы оцепенело и онемело всё внутри, — но слово я чувствую и смогу из множества слов выбрать главные.

Спокойно, спокойно. Мобилизовать в себе все так, чтоб эта отобилизованность стала естественным состоянием. «Доканать», всё-таки, сценарий, — как минимум — для того, чтоб не взыскали аванса, как максимум, чтобы все же записать его по-своему, т. е. с душой и искренностью.

В процессе работы над прозой и двухтомником дописать вторую часть «Главной книги»... Но и это будут лишь подступы к Главной книге. К новому году я должна одолеть их. У меня будут сред-

ства к существованию, простор и время для главной книги. Боже мой, но ведь еще существует мир — кроме Макогоненко! Ну, что ж, был, любил — не стало. Ведь Колину-то смерть я пережила? Да, там не было ни грязи, ни измены, — с его стороны, и была величайшая и чистейшая скорбь о нем, без обиды на него... Нет. Ни о чем из этого комплекса — пока.

Очень перевернул меня Ремарк, — «Время жить и время умирать». Я написала об этом Юрке записку. Это о нас двоих в блокаду, — но с той стороны. И они — люди. Это я знала всегда. И в дни войны тоже, об этом есть у меня в дневнике, когда я писала обращение по радио к немцам...

Но с прочтением романа я еще раз убедилась, и вдруг озарилась... догадкой. Догадкой, известной давно: что все — люди, и писать обо всех нужно, как о людях. Только как о людях, — в этом мессианство литературы и ее спасение. Ее нельзя умертвить, т. к. она — о людях — с той и другой стороны. Это и есть Колино — «шире политики», шире одного какого бы то ни было — учения. Ее нельзя умертвить, т. к. она слита с человечеством, в этом ее сущность (шире — его, искусства), а всякое классовое, временное — это преходящее, внешнее, а не сущность.

О, как бы я могла написать свое «Время жить и время умирать»! И как близко я подошла к тому, что пишет Ремарк, и не только подошла, — но во многом и многом перешагнула его, — я знаю больше, чем он — по себе и по народу! Его герои не знают еще ужаса 46, 49, 52 годов и всего остального...

Но и периода войны, — блокады, — может хватить на столетие. И Бог требует, чтоб я сделала это. Для этого я должна перестать пить, стать совершенно равнодушной к Юре — он только герой каких-то главных страниц главной книги, — или УЖЕ герой, — быть красивой и здоровой и — ничего не бояться.

Не знаю, откуда вдруг этот подъем духа? Неужели от внушений старичка Можайского? Да, наверное, от них. Он похож на папу, перед которым я виновата больше всех. Пришел отец, и я повинуюсь ему. Ничего, что он наивен в вопросах литературы, что я знаю больше, — он мудр, он хочет мне добра, и я повинуюсь ему. Я смогу все, потому что так сама захотела. На этот раз захотела всерьез¹.

¹ Внизу листа на обороте — запись телефона: А-160-43 В. Кетлинская.

5/X-57.

А ведь когда-нибудь люди, которые попрекают меня малодушием и безволием за сегодняшнее мое поведение, будут изумляться тому мужеству, которое я проявляла именно сегодня... Ведь кто-нибудь когда-нибудь поймет, какой пыткой — душевной, да и физической являлся для нас — в частности для меня — едва ли не каждый день, а то и час.

Вот сейчас — села в ординаторскую, могла бы поработать, так нет, — на полную железку гремит телевизор в «холле», и кретинов, усевшихся перед ним, ничем и никак не умолить сделать его потише, — т.к. не все на отделении могут и хотят его слушать, есть тяжело больные и т.д. Эти кретины — партийная бюрократия (в основном), или их иждивенцы, воспринявшие все свойства «актива». Как я их ненавижу, — истошно. Ничего общего ни с партией, ни с народом — они не имеют, а судьбы наши — в их руках! И вот сквозь всё, видя это несусветное вырождение Революции, в условиях не то что нерабочих, а просто противопоказанных работе, — сколько лет я уже пишу, живу и люблю, и всё не могу оравнодушеть, и все еще болею за «родную срамоту», — и не могу расплеваться с нею, — как с Юрой... Все вижу, все понимаю — в ней и в нем — и не могу расстаться...

Он пришел вчера (сам захотел, я не звала, наоборот, — сказала, что карантин), — какой-то очень притихший, не в силах скрыть своего побитого вида, внутренне растрепанный и растерявшийся, очень печальный, и как будто бы что-то важное решающий... Сказал: «Я в таком состоянии... я хочу перестроить всю жизнь... я так отстал...» Я сказала: «Вот и хорошо, зимой, когда выпадет снег, поедem в Михайловское...» Он грустно засмеялся и поцеловал мне руку, — и я поняла: он меня бросит. Потому и засмеялся, и поцеловал руку, как дурочке, которая якобы еще ничего не знает, и не предвидит, и обманута его внешними знаками внимания... А я уже не обманываюсь ими, хотя что-то отчаянно цепляется за надежду — еще все вернется. Будет дом, буду я, — победительницей, целым миром, — он не уйдет... Он тоже где-то в глубине — не в состоянии расстаться со мной, как с миром... Но мне надо, чтоб он вернулся ко мне, как к женщине, не по обязанности, а по неодолимому желанью. Я знаю, что для этого нельзя делать ни малейшего понуждения, ничего, что отдает насильем, обязательством... Он еще в таком угнетении оттого, что думает, что — ну, вот, она поправилась, больше нет отговорки,

больше нет причин, чтоб не жить... А жить не хочется — ему со мной. Он развратился, он истаскался по бабам, комок жира и похоти — Лялечка Максимова, — его устраивает, она вкуснее, — [она] а ко мне он утратил вкус... Как Колька Свиридов некогда — к Любе...

Надо прийти домой так, чтоб при всей ласке и внимании к нему держаться абсолютно равнодушно к нему, как мужику.

Надо держаться с интонацией: «...а ты думал, что я хочу твоей ласки, твоей близости, что ты обязан их дать мне?! (Глубокое изумление, серебристый смех) — миленький, да что ты?! С чего ты это взял? (При этом можно пожать плечами даже.) Странно, странно... Я лично — внутренне, — с этой потребностью в тебе — давно покончила»... Примерно так. И так должно выйти! Должно. Я хочу так. Даже если надо притворяться — надо притворяться. Ни одного вопроса, — где был? Ни одного намека на самые провокационные звонки. Быть ровной, веселой, обжить, наконец, дом, — и замкнуться, замкнуться... И ничего не смогу — так... Но должна!

Он говорил вчера: «Ко мне никто не звонит, как к мертвому»... У меня такой болью и нежностью сжало сердце. Захотелось встряхнуть его за плечи, сказать: «Милый, милый, ну и плюнь на них, у нас же есть всё, мы вдвоем»...

Но я сказала только первую половину этой фразы, и то — робея, — я не хозяйка ему больше.

Мощнейшим фактором сближения мог бы быть сценарий, но боюсь, что не успею двинуть его здесь: я так охладела к нему, так много горя и страдания моего накопело вокруг него, что страшно прикасаться к нему и, кажется уже невозможно «разогреть козла» в вагранке.

Но это сделать необходимо.

И все же противно и горько думать, что именно из-за этой бесперспективной работы потеряла почти два года: сценарий висел надо мной, сковывал меня по рукам и ногам, и я просто почти ничего не могла делать другого. Надо отделаться от него. И стыдно, — отделяться, потому что это — о Революции, а писать о ней кое-как, — это все равно, что халтурно писать о любви с Колей, о любви с Юрой, — о самом дорогом в жизни.

И я не напишу халтурно. Это ничего, что эти дни потратила на дневник, — уже совершенно хорошо ходит рука по бумаге, четкий почерк, ясная голова, почти нет трясушки, — вот только очки неудоб-

ные, давят на лицо и под глазами набегают сразу отеки, — а я явно похорошела, исчезли под глазами мешки, разгладились морщины, цвет лица чудесный, кожа вновь становится эластичной, и т. д. Дело, в основном, в очках. Я справляюсь с собой, справляюсь...

Но вместе с тем надо вернуться так: «Ты ждал, что домой вернется нечто нудное, тяготящее, обязывающее и неволяющее тебя? Нет! Вернулось нечто светлое, верное тебе в беде, не связывающее тебя, — наоборот, оставляющее тебя чересчур свободным, совсем свободным. Вернулось нечто новое, то, что было когда-то твоим, известным тебе, а теперь не твое, теперь оно отошло от тебя, оно неизвестно тебе...» М<ожет> б<ыть>, он захочет познакомиться с этим? Ах, дура я, дура... Не на то нацеливаю себя. Надо жить микрожизнями. Надо написать сценарий. Только для него надо оставить «окошко» в сознании. Остальное — потом...

Во что бы то ни стало — хорошеть, наполняться все большим спокойствием — и написать, написать, написать «Первороссиян», — свободно и широко, имея ориентиром последний сценарий Довженко — «Повесть пламенных лет»¹.

Начало.

Письмо к Козлову.

40-летие комсомола.

Гранину — дайте ответственность, Поручите историю комсомола.

III Комсомол родился в Ленинграде.

1) Краснопутиловский комсомол

2) Безумству храбрых

3) «Они жили»

4) Комсомол в Ленинграде (книжка, созданная в 1941 г.)

5) Мои материалы по истории комсомола «Эл<ект>ро<сил>ы».

Документы.

6) Комсомол в первой пятилетке.

Не обязательно волочить до нынешних дней

¹ На следующей странице сделаны записи под заголовком «График излечения» — приема медикаментов в больнице, изменения веса и т. д.

6/X-57.

Вчера опять не написала ни одной строчки сценария. Писала здесь, потом долго разговаривала с Марой Довлатовой. Жизнь то соединяет ее со мной, то разъединяет. Сейчас вот вновь соединила, — на выпуске одногломника Корнилова, на дружбе и необходимых для меня разговорах о Юре. «Ведь надо же человеку куда-нибудь пойти», — а она сердечная, Мара, и хочет мне — нам — добра.

Звонила вчера вечером. Юры не было дома. Звонила сейчас, — всего первый час дня, — а дома уже никто не отвечает. Звонишь, как на развалины... А ночью видела его, — даже не видела, — а как бы ощущала физически — страшно, сладостно, до конца... Ну, и довольна. Надо написать сценарий. Мне здесь еще десять дней. За это время я должна очень сильно продвинуть его, если не написать все. А напишешь, — вот и свобода, можно писать уже только очень желанное, еще ни разу не пережитое творчески — как «Первороссийск».

Но пока — «Первороссийск»... Эх, кабы папиросочку! Но я дала обещание Можайскому — не курить, и вот не курю. И спала сегодня ночью без снотворного, — как он сказал. Может и верно, — внушение действует? Да. Оно. «Скрыл от мудрых и открыл детям и неразумным». А он добр. И вот ничто «умное» и никакая собачья медицина сталинской эпохи не возьмет, а наивное и простое слово — возьмет. Кроме него — ничего на свете нет.

Нет, нет, нет! Мне надо ожесточиться не на словах, не в этой тетрадке, а на деле. И существом, холодно и трезво понять, что все кончено, что он мне больше — не родной, что он не вернется ко мне... Что уже не будет тех нежных засыпаний после близости, тех пробуждений — от его [1 сл. нрзб] поцелуев. Вот — не выдержала, все-таки позвонила ему. Голос — тот, нарочито-певучий и ласковый, каким он говорит в состоянии полного равнодушия или неприязни к собеседнику... Сказал, что был вчера в магазинах, купил себе ботинки... Я: «А я и в 11 часов звонила»... Короткий смешок, тоже тот — ото лжи: «А... это я в кино заходил, смотрел “Дитя человеческое”». — «Один?» — «Один!» Говоря о доме, сказал, что приладил к своим окнам те сквернейшие полосатые занавески, которые, видимо, выбрал по ее совету. «Днем они не заметны, а ночью хороши — ничего в глаза не лезет, и спать спокойно»... Значит, — всё-таки спать в кабинете, одному, запираясь на ключ?! Значит, — ходить к Лялечке, а моим именем при-

крываться, вниманием ко мне спекулировать? Пользоваться моим домом, моими заботами — и с утомленным видом вечером — в лучшем случае — поцеловать ручку?!

Ах, не все ли равно? Не на то установку беру. Беру установку на возвращение — на «протезирование» отношений, а надо брать установку на разрыв, на внутреннее освобождение от него. Нет, всё. Больше — сама — ни одного звонка к нему. Разговаривать буду холодно. И здесь о нем ничего писать не буду. Только время теряю.

Прийти домой красивой. Прийти со сценарием. Прийти в рабочей форме. Ну, хорошо, он не будет спать со мною, не ляжет и в день, когда я приду. Бровью не повести! Устроить себе уютную, прелестную постель. (Опять приманиваешь, сучка?) Для себя... Ох, нет... все-таки все устремлено к нему... Сломить это. Писать сценарий. Его не приняли в партию, его выгнали со студии, он вынужден был уйти из председателей секции... И ведь я-то отлично знаю, что все это ни за бог знает какую принципиальную борьбу за высокохудожественные произведения. Он пострадал не за благородство, а [за] из-за собственного тщеславия, легкомыслия, жажды успеха и лести, плотских «утех» и т.п. — на 75% из-за этого пострадал! Разумеется, огромную роль сыграл «поворот все вдруг», — но если б Юра вел себя при этом, независимо от поворота, правильно и последовательно, — такого срама с ним не приключилось бы все же. О гипертрофированной его суетности догадываюсь и знаю уже не я одна! Ну, — чорт с ним. И так полдня зря провела, в самокопаньи.

После отдыха буду трудиться до победного конца.

Не менее 2–3 сцен. Как жаль, что нет машинки!

Вечер.

Мне очень быстро надо сдать сценарий, — и все-таки абсолютного нельзя спешить. Перечла и передумала сегодня все написанное, — и от некоторых набросков — чуть не плакала, а вот зато все начало, вся экспозиция — в особенности так волновавшие меня похороны жертв революции — вдруг показались никчемными. В самом деле — зачем мне похороны? Я помню старую свою мысль — и все было верным, а сейчас вдруг понятно, что ведь это грандиозная массовка, а если вне массовки — то к чему вся эта сцена? Ведь самое интересное начинается с собрания, и даже сцена свиданья с матерью не особенно нужна. После нее сразу надо переходить к ходакам или

собранию Во всяком случае, эти сцены — сцены знакомства с [пер] героями должны быть очень стремительны. Поток разливается в озеро лишь начиная с собрания, где все представлены...

И — какая же гигантская работа мне предстоит — где ее сделать в десять дней? Спокойно, спокойно. Трагедия была тяжелее — ты сделала ее отлично в сумасшедшем доме, в страшнейших условиях, под замком, под вой сумасшедших из буйного, из-под пола... Ну, а здесь — что ж, телевизор, ну дуры-бабы, — и только. Нужна только внутренняя одержимость. Конечно, канву трудней всего создать, — у трагедии была канва. И вот еще проклятое зрение подводит, а очки жмут и портят лицо...

А если начать выписывать то, что нравится, а эти сцены так — проскочить...

(О, так бы и разбила этот сволочной телевизор!)

Господи, как медленно и пристально надо вглядываться в тьму, чтоб разглядеть то, что надо вытащить из этой тьмы на свет... И я ведь не знаю, — я почти не вижу их, — ни в малой степени так, как блокаду!..

Ничего. Вгляжусь и разгляжу. Только не думать ни о чем, кроме этого. В особенности — о Юре. Он вдруг сам позвонил мне сюда, очень ласково, просто так, около шести часов. Я думала, — это Мара с ним говорила, она говорит — нет. Ну, ладно, не в этом дело. Дело в том, чтоб закончить сценарий.

Ни строчки за день. Образ один — капёль в день похорон. Да, но зачем мне они? Концепция круговорота жизни и смерти?

Начинать нужно, как в поэме — цветы — собрание — Ленин.

7/X-57.

Ужаснейшее чувство — что я обманываю Юрку с этим сценарием! Ведь — наглядно — ничего не движется. Но что ты поделаешь, — вот села за работу, — и грохочет этот телевизор, а тут еще с субботы невралгические вспышки в голове! Раздражение против окружающих — соседей-больных, медперсонала... О, неблагодарная тварь! А не хочешь на Лиговку, на антабуст или ликоподий — к сумасшедшим? Ну, тогда пользуйся людским доверием, которых чем-то (давно, — увы, не новой работой, не новым подвигом) сумела расположить к себе и... (не отделаться от этой мысли) — сумела «охмурить», — от-

казаться от Лиговки и убедить их, что это вправду нельзя. Но, постой, постой — (тут же!), почему же — охмурить? Ведь психиатричка на Лиговке и антабуст или ликоподий — это и вправду нельзя, это самоубийство... И когда я уже готова была дать согласие на все, где-то в глубине, в темноте ужаснейшей, — шевелилась злобная мысль: «Нате, травите, добились своего, ухайдакали»... Нет, я поступила правильно. Пробивая ледяную корку над головой — головой же — выплываю и выплываю, карабкаюсь, хватаясь за острые ледяные края полыньи... И опять тону, и захлебываюсь под ледяной коркой, и иду ко дну, и вновь пробиваю лед и выплываю, и пока голова торчит над водой — иногда успеваю сказать что-то людям, нужное им, согревающее их, — вот моя жизнь и работа за последние несколько лет..

Опять, в общем, — пропащий вечер: давят очки, напрягаются, краснеют и зудят веки, орет телевизор, все время в ординаторскую входят больные — звонить по телефону, — я злюсь, не могу сосредоточиться, чувство обязанности — выполнить договор — заслоняет суть работы. Ведь вот-вот готово создаться «настроение», — а тут очки, голова и т. д. Отговорки? Просто неохота работать? Ищу причин для отлынивания? Да уже нет, пожалуй! Но и то сказать, — ни разу, ни разу не было у меня при лечении состояния покоя, беззаботности, чтоб ничего не висело, а если работать — единственно для «своо умиления»... И — прости ему господь, — всегда-то Юрка «висел» надо мной и подгонял, крутил хвоста, — как сейчас...

Очки — Садовая, 33

Зав<едающий> оптич<еским> магазином.

9/Х-57.

Сегодня совсем не работала.

Позавчера был горпартактив — с худ<ожественной> интеллигенцией о подготовке к 40<-летию>, и, конечно, в «основе», — «документ, открывающий горизонты», — «речь» Н<икиты> С<ергеевича> Х<рущева>. Тут, конечно, одни сплошные кавычки. В докладе секретаря Горкома — смазь — по мне (в связи с закрытым письмом) и — очень неприятно — Юрке. Он вел себя глупо, более чем глупо, но все, что ему приписывается в этом докладе — чушь, абсолютно такая же, как приписывание Дудинцеву и Гранину — «злорадного хихиканья».

И в каком подлом тоне и контексте все это подано! Бедный Юрка! Как он упивался тем, что на активе к нему подходил с «сочувствием» секретарь их райкома, который теперь — так это изложено в газете, — обвиняет его чуть ли не во вредительстве! Конечно, он, ослепленный дешевой сочувствий, неверно изложил мне сущность актива...

10/X-57

А впрочем, — какая все это мура!

Сегодня был здесь, — украдкой из-за карантина, — рассказывал о работе над предисловием к стихам Батюшкова. Я забыла этого поэта совершенно, потому что он никогда не был для меня живым поэтом, и мне трудно оценить — правильна или нет новая концепция Г<еоргия> Макогоненко, хотя отзвуки его неприемлемой для меня трактовки «Евгения Онегина» здесь проходят, повторяются и утверждаются более, чем явственно, т.е. попросту еще раз утверждаются новыми данными из поэзии Батюшкова. Неисправимый концепционер — Макогоненко, почти великий комбинатор! То, что он говорил — интересно, хотя я — по-настоящему, никак не могла увлечься этим, лишь представляясь заинтересованной, я напряженно следила за каждой его интонацией, чтоб уяснить себе главное, — любит ли он меня, нужна ли я ему, хочет ли он меня и моего возвращения? Нужна — пожалуй. Остальное — нет! Несмотря на то, что у меня возле глаз — немножко подпухло, я выгляжу очень хорошо, а он как бы и не заметил этого. Он погружен в новую свою работу, — и все. Он счастлив, что не реагирует на газетные глупости. Ну и слава богу, дура ты этакая! Это же начало, только начало... Пусть, пусть он говорит тебе не о любви, а о работе, — вцепись в эти, протянутые к тебе нити, потом возникнут другие, а может быть, придет и «любовный разговор»...

Сегодня тихо, — телевизор не работает, — а я вдруг вялая, квёлая какая-то и спать дико хочется...

С изумлением вспоминаю себя, работающую в Соловьевке над трагедией... Годы? Да, видимо. Но как бы то ни было, — не буду перемогаться — сегодня лягу спать, а завтра... Нет, я выйду отсюда — со сценарием!!

Кажется, сегодня уже 11/X-57. Выйти отсюда со сценарием, конечно, сверхзадача. В Соловьевке я могла сидеть часов до 2 ночи,

одна, ко мне никто не вламывался, как здесь, и радио, работающее за стеной, как правило, работало тихо — обыкновенные люди уважали мой труд, — ну а тут — партактив и его чады со домочадцами. И кроме того, мое имя вот уже третий день не сходит со страниц печати, — сегодня оно поминается в заметке о пленуме Горкома в Ц<ентральном> О<ргане>. Дикари с половины восьмого уселись перед телевизором и смотрят и слушают все подряд: техфильм о полетах в трудных метеоусловиях, концерт восточной музыки, постановку и т. д. и т. д. Они отпускают [ир] иронические замечания, перед которыми бегемот — остряк и интеллект. В течение часа названивала своему мужу, старому большевику Кондратьеву, его жена, впадающая в слабоумие, дама 67 л<ет>, с ярко-рыжими крашеными волосами и лиловыми губами... Ужасно зрелище старого большевика, впадающего в слабоумие. Кондратьев, некогда охранявший VI съезд и бравший Зимний, — ездит по гастролям с воспоминаниями о Революции. Полный рамоли, разумеется... От ленинской гвардии никого не осталось... Как это страшно, что вот такие Кондратьевы, имеющие таких жутких, почти потусторонних жен, — *«жуткий старичок»*, *«жуткая старушка»* представляют Революцию, выступают с заученными, сегодня и в определенном ключе составленными воспоминаниями о Революции — как... как с воспоминаньями о покойнике. А сами они — давно покойники! Так неужели действительно — покойница? О, господи, господи, — похоже на то! Разве «Речь» Н<икиты> С<ергеевича> Х<рущева>, и положение в колхозах и многое-многое другое, — это уже не трупные пятна? Мне почти 50 — без 3 лет, пора, ох, как давно пора взглянуть в глаза правде.

И вот когда нужно было бы мое «сказание о невидимом граде Китеже», — да, он таков и есть, «Первороссийск»... Нет, писать о ней не как о покойнице, — как о граде Китеже, живом, но ушедшем на дно... Я слышу еще колокольный звон, доносящийся со дна Светлояра, — драгоценный душе, еле слышный, я знаю, что должна запечатлеть его. Что же меня держит, что не дает работать, нырнуть на дно к своему Китежу? М<ожет> б<ыть>, то, что это — сценарий, и для Ленфильма, и в срок, и как-то связано с Юриной работой на Ленфильме — которая для меня вся — сплошная травма и стыдоба... Но от этого можно отделаться... Конечно, если б я писала для Главной книги, — даже без малейшей надежды на ее опубликование — мне работалось бы в тысячу раз легче... А-ах, все равно, надо, надо написать сценарий...

Юрка сказал, когда я говорила с ним сегодня утром, что вчера смотрел в кино «Ленинградскую симфонию» Захара Аграненко. Говорит, что большее надругательство над блокадой, большую профанацию ленинградской темы трудно себе представить. Он, действительно, почти рыдал по телефону. А смотрел-то картину, наверное, с Лялечкой... А Седьмая — была когда-то нашей жизнью на краю смерти, нашей любовью, ее началом. И работа над сценарием «Ленинградская симфония», заруганным и не поставленным, — тоже была нашей жизнью и любовью. И вот теперь предано и проституировано, — и подвиг Ленинграда, и мой — наш — труд о нем, и наша любовь тоже предана — им самим, так же как Ленинград — трагедия его — предана подлецами и карьеристами. «Разделили ризы твои и об одежде твоей бросили жребий...»

А я не предала ни любви, ни Ленинграда, ни Юры, — несмотря на все падения свои.

И я напишу о нем, о любви, о Коле, о Ленинграде — так, что это будет вклад в духовное вооружение человечества. И увижу, как это войдет в обиход... Ведь писала, — верней, выборматывала я когда-то стишки о Сталине, кончавшиеся словами:

...Но я его переживу.

Хочу спать. Завтра и воскресенье — решающие дни для сценария... Хотя бы «крючки» оставить к дому... О, как мешают побочные, наименнейшие из наименнейших, соображения — «утереть нос» всем этим <Гмеллам> и т. д... К чорту их, к чорту.

Совершить моление Китежу... И — все. Что ж мне поделать, если я не могу писать иначе, — то, что я пишу должно быть моей жизнью, моим состоянием...

12/X-57.

...И все это происходило в дни, когда вокруг Земли с бешеной скоростью мчалась звезда, созданная человеком, и вслед за ней ее скорлупа, — земной послед. Кажется, что так долго будет мчаться за новорожденной звездой ее «место», — не было предвидено. Так же не предвидели, что вслед за Революцией помчится ее «место», достигнет ее и, обволокнув разлагающейся массой своей, превратит эту звезду в какое-то жуткое новообразование...

Все полно смысла и значения образа, метафоры и требует слова и мысли.

В «Новом мире» отрекаются от Дудинцева и Гранина, притворяясь, труся и лицемера, талдычат о том, что «уста́ми» Н<ики-ты> С<ергеевича> Х<рущева> говорит сама партия (а «уста́» изрекают бурду и глупости, и тривиальность — предел мудрости), — и над этой ложью, над нашим искусством и душами, вновь втаптываемых в гавно, — летит настоящее чудо — новое, созданное человеком небесное тело.

Давайте, не будем лживы
Под новою нашей звездой.

А что она несет, эта звезда? Новое горе или неожиданную радость? В какое смутное время мира, в какой горькой стране она рождена — в той, [<где в>] которую приучают — нас — любить с «опущенной головой и сомкнутыми устами». Сколько жизней наших, страданий, несбывшихся надежд заключено в этом небольшом железном шаре, мчащемся вокруг Земли.

Будь доброй, новая звезда
Ведь каждый знает, кто б он не был,
что капля и его труда
в тебе, взлетевшей *взошедшей* в нашем небе.
Сестра кремлевских звезд... Сестра
военных нищих звезд над павшими
Всех звезд, над воинами павшими¹

— Надо-бедных, фанерных, венчающих башенки,
пирамидки у военных дорог..
багровых, надменных, кровавых

Сестра кремлевских звезд, сестра
фанерных
бессмертных бедных *нищих* звезд на башенках
на пирамидках, что горят
над воинами, в битве павшими...

¹ Предложение взято в квадратные скобки.

Сестра звезды над тем **костром**
над экскаватором волгодонским
над волгодонским экскаватором добром
экскаватором

Сестра кремлевских звезд. Сестра
фанерных нищих звезд — над датами
Войны, — побед ее, утрат, —
Над неизвестными солдатами,
сестра бессмертных этих звезд
стань их наследницей [спокойною] достойною,
чтоб твой восход земле принес
ночь тихую, зарю спокойную
чтоб людям твой восход *полет* принес
зарю на всей земле спокойную

Недаром ты всего *людям ты* видней
Ведь ты недаром же видней
под светом солнца восходящего
Недаром ты такой нужней
И в мире нет тебя нужней
для сердца, радости молящего

Не зря же *ж ты нам самим* людям
Ты [лю] видней
И может — нет тебя нужней
для мира, благости *тишины* молящего

под нашим **старым солнцем**¹.

— Все это так, для разгона, пока мура. Потому что почти забыла, как пишутся стихи, и м<ожет> б<ыть>, никогда уже не напишу того, что ударит людей по сердцу. Но даже уже и стихи клубятся внутри, на дне пропасти. Ах, если б сейчас условия для работы. Но ничего, завтра воскресенье, — м<ожет> б<ыть>, мне даже удастся угово-

¹ Фраза «под нашим старым солнцем» записана справа от последних двух строк стихотворения.

речь Ек<атерину> Пал<овиц> или секретаря глав<ного> врача дать мне комнатку на целый день работы...

А рядом — два роскошных люкса, с письменными столами — кабинет для занятий, — на столах массивные агрегаты — чернильницы, смесь Исакиевского собора с чем-то... с чем-то похабно-низменным, — и спальня с деревянной кроватью, и огромная ванная комната с персональным писсуаром...

Оба «люкса» пустыют, — они для номенклатурных товарищей, ежели вдруг они соизволят заболеть. А старуху — мать врача, Зою Сергеевны, которая лечит меня и тех, кто вдруг появляется в «люксах» — старуху, сломавшую себе ногу, оставили в больнице на четыре дня, — а ей лежать в гипсе еще 3 месяца, — так переполнены городские больницы. И врачи, лечащие «люксианцев», — могут попасть в эту больницу лишь с особого разрешения соответствующего отдела Горздрава — нет, Обкома. Партбюрократы прочно удерживают ключевые позиции к материальному благу. Что общего в этом со святой Партией?

И все это под звездой, бешено, торопливо крутящейся вокруг Земли, спешащей догнать и перегнать Америку, — о, не происходит ли пресловутая «шутовская трагедия» с привлечением космоса и светил небесных?

А железный шарик торопится, свистит, задыхается, пищит и «у'хает», — у!у!у!, пот с него сыплется градом, он занят, он дико занят, он работает — с жалостью смотрят на него роскошные праздные звезды (...и проклянет твой страшный безумный бег — собрание вечных звезд), он бежит, высунув язык. Ах, — нет, сердце не обманывает меня — недобрая это игрушка, недобрая игрушка, товарищ Хрущев!

Большой наплыв разных мыслей, — это ничего, ничего, что сегодня вновь ни строки сценария, — за всем этим непрерывная дума о нем, и все стягивается к нему, как стягивалось к трагедии — в Соловьевке¹.

Буду, буду много писать и думать, и не сойду с ума, и напишу все, что надо, — и увижу еще, что это станет достоянием человечества.

Тех придорожных нищих звезд
взошедших напех за канавами
земля ничейная

¹ Предложение взято в квадратные скобки.

А вспышка первой атомной бомбы была ярче солнечного света. И все-то тщится человек бога переплюнуть, превозмочь... Бессильный в своем всемогуществе. Всемогущий в своем бессилии...

Несется в эфир новорожденный искусственный мертворожден мир и за ним — кровавый послед

13/X-57.

И так вечер за вечером — бесплодные, когда не успеваешь даже «размозолиться». Телевизор орет «Свадьбу в Малиновке». От оглушительной пошлости этой никуда не денешься, не уйдешь; — она лезет в уши, обволакивает, облипает, бросает в почти предсмертное изнеможение и бессилие...

Сегодня и в «Литературке» — изложение доклада т<оварища> Спиридонова, — про меня с полной выкладкой, с очень точным изложением моей вины: «На одном из партийных собраний утверждала, что якобы ряд моментов в постановлениях о “Звезде” и “Ленинграде” не соответствуют ленинскому отношению к литературе». Что верно, то верно! Меня устраивает эта четкость. Смешно только, что все это талдычится чуть ли не девять месяцев спустя после моего «признания ошибок»... Впрочем, теперь будут поминать до второго пришествия. Мне не страшно, а только противно. Страшно — это «признавать ошибки» так, как сделала это Маргарита Алигер. Ведь не может же она искренне думать так, как написала, ведь я знаю же по Коктебелю, что она думала и чувствовала по поводу Н<икиты> С<ергеевича> Х<рущева>, и «Обеда в сердечной обстановке», — она же мне говорила... Что же, что заставило ее «признаться» с таким вопиющим лицемерием, с такой — явственной для всех, и в особенности для писателей — имитацией искренности?! Да, да, там буквально [иск] все слова, которые должен сказать искренне раскаивающийся человек, — и все слова эти употреблены всеу... Вспоминая это «признание», перечитывая его, я мычу, как от страшной зубной боли, от стыда за нее, за нас всех, от холодной жалости к ней и такой же холодной ненависти. Пригрозили исключением? Испугалась за детей, за себя?! И все это после самоубийства Фадеева — человека, единственно любимого в жизни? И после панихиды о нем в 40<-й> день? Нет, мне все-таки жаль ее вправду...

А о Юрке не было ни в Ц<ентральном> О<ргане>, ни в «Литературке». Это к лучшему, — для Л<енингра>да. Смеясь, мы говорим, что он не тянет на всесоюзный мученический венец... Он приезжал ко мне сегодня, — нервозный, опять торопящийся куда-то, не сказал ничего ласкового, не сказал, что я красивая, — а ведь я — красивая...

Ну, ничего, поглядим, что будет дома, — в среду поеду домой...

А сценарий? Ничего, напишу. Все, что пишу я здесь — тоже работа, огромная работа над собой.

14/X-57.

Ну, завтра последний день в тюрьге... Ни одной страницы сценария, а сроки сдачи — совершенно на носу. Ничего, после праздников сдам, а до этого — договорюсь с Жежеленко. Я убеждена, что он настаивает на расторжении договора из-за ненависти к Юрке, из-за боязни, что Юрка опять будет вмешиваться тем или иным образом. Юрка, конечно, здорово им там всем «назлил», какие бы сволочи они ни были. Признаюсь, что перспектива работы над сценарием с нач<альником> сценарного отдела Г<еоргием> Макогоненко — меня страшила. Я предвидела такие баталии — и в студии, и, в особенности — дома, что меня заранее охватывало изнеможение и усталость. Если он — не начальник, то уже легче: на студии я могу спорить и ссориться с кем угодно и как хочу, и никто из них не сможет оказать на меня давление — вне студии. Впрочем, — практически — из киносценария ничего не получится при современном положении в искусстве. Мне надо написать его по всей совести, ни для чего, по возможности получить [его] за него деньги, — до чего ж это здорово было б — и всё.

А главное — к чорту, не устраивать себе из этого пытки. Не для кого и незачем стараться. «Главная книга», — двухтомник, книга прозы — другое дело... Да, все-таки другое. Только без трагедий, *ma belle!*

Достигнуто главное: ощущение себя здоровой, красивой даже, уверенной, и — вновь вернувшаяся жажда жить. Так хочется поездить, повидать все. Вот — возле Первороссийска перекрыли Иртыш, — «мой» Первороссийск, вероятно, затоплен, — а я прозевала это... А надо бы было быть там... Впрочем, сейчас так все обесмыслилось, что порой не понимаешь, — к чему все эти станции, стройки — людям от них лучше не становится, а лжи и удушья все больше.

Звонил Юрка, — завтра в Смольном собрание художественной интеллигенции, кажется, с докладом министра Зуевой о той же самой «Речи» Никиты Сергеевича Хрущева. Ну, аж смех берет, — самый, что ни на есть обыкновенный смех, когда показывают «комическую». Юру не пригласили. Каких бы зол ни желала я ему за его гнуснейшее отношение ко мне, за его Максимову, — [1 сл. нрзб] ТАКИМ отношением к нему — я все же оскорблена. Видимо, опять помянут все наше святое семейство, и его — больше, чем меня... Все же гнусно, что его не позвали. Бедный мой, глупый старик, — он все же нервничает...

15/X-57.

Итак, завтра я буду дома. Что ж, еще раз начинается «новая жизнь»? Да, и БЕЗ КАВЫЧЕК. Что бы ни ожидало меня, — провокация любой густопсовости, Юрино хамство и оскорбительная его холодность, с бегством к себе в кабинет, с запираанием на ключ и т. д. — ничего не замечать. Просто заставить себя не реагировать, и не только на глазах у него (уж это-то обязательно), а и наедине с собою... Да и в самом деле, — довольно находиться в доме на правах бедного, да еще жестоко провинившегося нахлебника. При первой его попытке занять менторскую позу — я гавкну или реагну так, что он замолчит.

А вдруг все будет очень хорошо, ну, очень, очень хорошо, совсем заново? Но не надо настраивать себя на это. Не надо. Если опять впущу его в сердце — ведь не смогу же не мучиться из-за его сволочной Максимовой. Да, они все глубоко правы, — врачи, — не жалеть его. Да, да, да, — надо думать о себе, о том, что время неудержимо уходит, что Бог ждет от меня творческого подвига, — единоборства с ним, что большая часть земли не видана мною, что я еще могу нравиться и, быть может, стать любимой...

Я испытываю чувство — восхитительное ощущение себя здоровой и работоспособной. У меня такое впечатление, что вся суть теперь только... в очках! Если они не будут давить мне на нос и безобразить лицо, — я смогу подолгу, плодотворно сидеть за рукописью, — зная, что глаза не отекут и морда не обезобразится. И ничто, и никто не отвлечет меня от работы, от взглядывания в бездонную [1 сл. нрзб] глубину своей жизни, которая, по мере взглядывания в нее [1 сл. нрзб] будет становиться все прозрачнее, все виднее,

будет показывать [1 сл. нрзб] немислимые, неизвестные даже мне самой, подводные чудеса. Они будут обнаруживаться, они уже не будут бояться меня, — я буду смотреть на них жадно, доверчиво, трезво, — и рассказывать о них другим. Да, пусть даже — на время — самовлюбленность, — все лучше, чем сознание собственной ничтожности, — больше, уничтоженности, — и кем? Лялечкой? И во имя чего? Ради кого? Брюхатого и волосатого мужика, похотливого и наглого, обманывавшего меня так ничтожно и чудовищно? Хватит!

А ведь я пушу его в постель, как только он попытается это сделать. А надо бы начать все сначала, — чтоб он рассказал мне все, чтоб я убедилась, что у него — никого нет...

А в общем — увидим все завтра.

Войти в дом радостно и легко, совершенно свободной и отчужденной, ласково-отчужденной... Установка — на работу. Хорошо бы выступить по радио, написать настоящие стихи к 40-летию. Ведь они где-то есть во мне, где-то живут — во мраке, в горечи, — но живут.

[1 сл. нрзб] Сегодняшнее заседание в Смольном прошло без министерши, и по словам Добины, в мирных, ниспадающих тонах. К полному моему удивлению С. Воронин, докладавший о лит<ера-ту>ре, очень положительно отозвался о моем «Первороссийске», — и ни словом не обмолвился о моих «ошибках». О Юрке и Ленфильме не было, якобы, ни слова! Просто чудеса в решете! «Да был ли мальчик-то? Может, мальчика и не было?» После эфемерных триумфов на Ленфильме, первых и продолжительных успехов в Университете — ему надо братья за серьезные дела. А он уже привык к шуму и лестии вокруг себя, к барству, к блистанию... Ему будет трудно, — он очень быстро вжился в эти бирюзовые костюмы, в роль лидера и т.д. Он лишен критического отношения к себе — начисто, издавна, а последнее время так и просто позабыл об этом.

Ну, ладно! Буду собирать вещи, готовиться ко сну...

Я завтра приду домой такой, как хочу, и это будет естественным моим состоянием... Я ведь действительно истосковалась по жизни!!

16/X-57.

И вот я — дома. Юра встретил меня около больницы с чудесным букетом наших хризантем, мы мило позавтракали, мило пообедали,

сходили на «Ленинградскую симфонию» (отвратительно, как и его все еще делящаяся измена), мило поужинали. Была «Литературка» с моей статьей (посредственной) — о поэзии военных лет, в той же газете — лестные для меня упоминания — обо мне, затем звонил Серман — о том, что в «Летгр Франсэз» — статья Арагона в защиту статьи Эренбурга о Стендале, где Арагон много пишет обо мне, — как о человеке, провозгласившем «самовыражение», — что, мол, и осуществляет Эренбург, — все было очень мило, — и чем «милее» — тем ясней становилось мне, что мы — чужие. Не сказав мне даже «спокойной ночи» — он ушел, — сбежал — в свой кабинет... Он не обрадовался, что я вернулась, [что] он не сделал попытки даже — поцеловать меня, или просто обнять, — ну вот просто обнять, прижать к сердцу. Пусть бы ничего не было, пусть бы ушел к себе, — но пусть бы хоть раз прижал к сердцу, чтоб знать мне, что он тоскует, — хотя бы не обо мне, — но о том — что прошла любовь и любить уже не может.

...Вот только что хлопнула его дверь, он ходил по коридору, и я обмерла — все-таки зайдет ко мне, он же видит через стеклянные двери, что у меня — свет, что я не сплю... нет! Оправился, видно, и громко, плотно прикрыл дверь... О, как все это унижительно и стыдно!

Ведь он же понимает, что такое отношение его ко мне как к женщине — унижительно! Он понимает, он знает, что оскорбляет меня, — но он не в силах преодолеть своего нежелания, м<ожет> б<ыть>, даже отращения ко мне. К тому же он, наверное, — сыт бабой по горло, а эпизод в Коктебеле был — так, она уехала, а я привалилась к его боку...

Бог ты мой, бог ты мой, что ж ты, все-таки, делаешь со мною?!

Завтра обязательно надо сделать вид, что мне это безразлично. И ведь верно, — обидно, оскорбительно, а где-то уже и все равно...

Ну, а почему ж я сама не брошусь к нему, почему сама не обласкаю, не прорву эту ледяную корку? Еще рано? Еще не уверена в себе? В женской своей силе? Но ведь не зря же говорят мне все, что я выгляжу хорошо, что я — обаятельна...

Как же быть — идти на резкое и подчеркнутое отчуждение, или на беззаботное безразличие, или ломать и ломать лед?

А не слишком ли жирно для него — все эти рассуждения, и слезы, и боль душевная.

Ольга Берггольц
1946

Ольга Берггольц
1947

Ольга Берггольц
1949





Ольга Берггольц

1951

На обороте надпись:

Ольге Фёдоровне

Берггольц от Совета

клуба Института

и.м. Герцена. Осень 1951 г

С. III

Ольга Берггольц

Фотография Н.П. Янова.

1951





**Ольга Берггольц
с Павлом Антокольским,
Александром
Прокофьевым,
Александром Фадеевым,
Евгением Шварцем и др.
1950-е**

**Ольга Берггольц
с Ильей Эренбургом и др.
1950-е**



**Ольга Берггольц
с Ираклием
Андрониковым, Булатом
Окуджавой и др.**
1960-е



**Ольга Берггольц
среди читателей**
1960-е



**Ольга Берггольц
с Василием Астаповым,
работающим над
ее скульптурным
портретом**

Начало 1960-х

**Ольга Берггольц
с Зиновием Паперным**

Вторая половина 1960-х

Ольга Берггольц
1960-е



**Ольга Берггольц среди оркестрантов
на исполнении оратории Геннадия
Белова «Ленинградская поэма»
в Ленинградской филармонии**

22 января 1965

1
 „Эту книжку можно бы назвать
 книгой сына“...

А. Т. Друзев.

2
 20 декабря 1946 г.

У меня появилось целое затмение, целое,
 прямо-таки, созвездие дум: созерцание ковра-
 нной квартиры, в особенности стел коллегам
 и мысли о том, как ее в дальнейшем еще
 укрепить и обставить. Пол, квартира, уют и
 благоустройство в этой квартире, нейтрально-мо-
 дернистской и парижской, как в Париже, или в Пари-
 жской, красивой и элегантной (нейтрально-мо-
 дернистской) - вот то, что, несомненно, отойти на
 дальний план - на второй план в сознании.
 Голод, голод, голод - приводит к мысли и
 откровенности и нередко к обратному - к мысли
 „голода“.

Вот, видимо и у меня такое чувство голо-
 да на похлебку голода, голода, голода
 голода в каше обильной. Голода, голода, голода
 голода, голода, голода - во всем - майя-голода,
 и в последний раз, о в особенности голода 14/12

Первая страница
 дневника Ольги
 Берггольц от 28 декабря
 1946 — 1 ноября 1948 года
 1946

Автограф

Страница дневника
 Ольги Берггольц

20 декабря 1946

Автограф

19 июня 1956
Терекланово.

То, что я не веду дневник - преступление с моей стороны. Утрачивая всю ответственность, я и сейчас все чаще прибегаю к трюку, "выпивая" в одиночку и зрелище полешающего то с глем, то с другим, то произнося французский и турецкий монолог...

Или, лучше писать дневник. Но что сказать мне это-то только происходящее с педрами - мейбешем и бейбешем все перед вами, - неужели слепну? Или это возражает старшина! - дальновидность?

Вот и сейчас - трудно писать... и все время ощущаю спешку, потому что играю, - пишу много всего нужно сделать и записывать. За "Юридическим" еще не принималась, а вышло уже 14 дн. А еще надо обязательно - письмо в У.Р. и дебри от свидания - сам не с Микаэлом, то с его редактором... то - ю.ч. мизма фала.

Я все то отправляю Жене по письмам, и стихи, - добавлю, "Вики из дневников 1938-1956г.", со старыми снов и речью в рукописи по Москве.

И надо, - видимо то оторвать - ехать в Москву, в парижком, чтоб выработать стратегию своего выступления на совещании Моск. театров, с участием парижкомом, где я резко и прямо выступил против марксовщины, против погашенности "Звезд", и др, сказав, что это - мизантропия Сталина, что партия мизантропа, чтоб не убивало наше искусство...

И в зале сидела его дочь - Светлана... Но ты тоже поговоришь Кешарки!

5/IV-63

75 8

У Анны Ахматовой.

Она неизменно оплыла, богузнала,
опухла. На кожу у нее колыхается живот
и охотные уши. Стала тучуха. Во
руку один еднородный зуб. Покосей.
[Вчера в статье в радио Лигора

Войны, - написано о передаче Анны
Ахматовой из квартиры Зощенко, о
встретившемся по радио Чубасовича
и т. д.]

и все-таки она - Ахматова, королева
- бродяга.

Она подарит мне экземпляр "Реквие-
ма". Я всегда думала, что он у нее все же
цел. Закаляю анкеру, - на вопрос: "пол"



**Ольга Берггольц
у обелиска на месте
гибели А. С. Пушкина**
1960-е



**Ольга Берггольц
на Пискаревском
мемориальном
кладбище**
1960-е

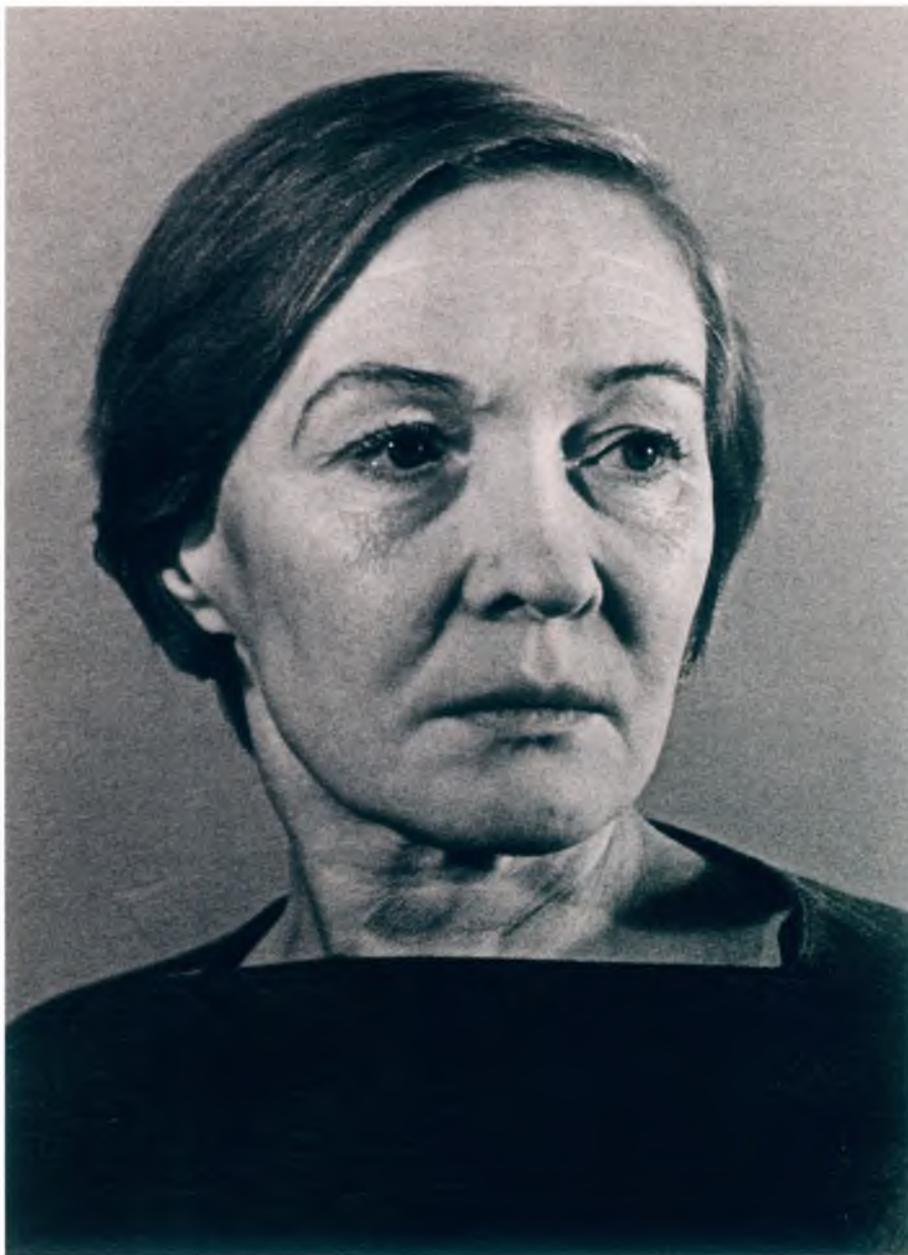


**Федор
Христофорович
Берггольц (отец)**
1940-е

**Мария
Тимофеевна
Берггольц (мать)**
1950-е

**Мария Федоровна
Берггольц
(сестра)**
1960-е

**Георгий
Макогоненко
(муж)**
Май 1953



Ольга Берггольц
1960-е

Промчится тяжелое время...
Мы снова обнимем [<1 сл. нрзб>] друг друга

Через 10 дней — наша годовщина, — 16 лет первой, свадебной ночи. *Если все будет до тех пор так, как сегодня — я уйду на этот день из дома. Оставляю ему кой-какие стихи — и уйду.*

Мы празднуем некруглую дату. Но как велики события от «круглой даты» 40-летия до некруглой 42-летия. [<1 сл. нрзб>] И думая об этом, не могу прежде всего не думать о партии, кот<орая> идет за собой эти победы, организует их, об эт<их> коммунистах, за эти и предыдущие годы.

Демонстрации.
Наша тоска о них в блокаду.
Колонна Моск<овского> р<айо>на
впереди — красногвардейцы в кожанках, еще молодые старые большевики.

В этом году — круглая дата! 40 лет победы над Юденичем под Петроградом. Колыбель Революции отстояли.

Изменение облика коммуниста.
К — эпохи гражд<анской> войны. Эпохи НЭПа.
Большевик, коммунист за Невской заставой.
Ленинский призыв.
Этап первой пятилетки.
«Эл<ектро>сила».
Дядя Леша — Федин.
Чапельников.
30 годы. Тюрьма.
М. Коршунова
Зимний. «Мадрид взят?»
Коммунисты на высоте и здесь.
Отеч<ественная> война. — Я за тебя отвечаю!
— Мне тоже страшно.
— Я знаю дорогу. «Душа дома».

Политорган.

Да ведь вообще можно использовать «Рассказы о ленинградских большевиках!»¹

Ответственность, наивысшая ответственность.

«Коммунист № 1» — Н<икита> С<ергеевич> Хрущев² и его поездка в США. «Естественный человек», «простой человек».

Облик коммуниста.

Рост его души, сознания.

«Коммунисты, вперед». — Мы из Кронштадта

Расширилось представление о коммунисте.

Коммунист — писатель, артист, художник

Коммунист — человек

Коммунист — Ленин

История Заручевья, — история русской деревни, полная русской поэзии (записки охотника). «Русь» Блока.

Легенды, истории семейств, гражд<анская> война, восстановление, мироеды и захребетники, ЛЮДИ тех лет, уже вымершие (юродивые, дурачки, ведьмы, колдуны, знахари, подвижники-врачи, учителя, первые избачи, селькоры, первые трактористы и тракторы, первые трактористки)...

Когда провели радио...

Коллективизация.

Полная драматизма.

Кто был 25-тысячником?

Первые годы в колхозе.

Отеч<ественная> война. Герои деревни. «Все из нашей деревни под Лугой легли». Старое Рахино (строчка). Умельцы, знаменитые ныне, легендарные. Оккупация. Партизанщина.

1) [История с Серебровской (никаких указаний свыше)]

2) История с Юркиной статьей

¹ Предложение взято в квадратные скобки.

² Фрагмент со слов «Коммунист № 1» до слова «Хрущев» взят в квадратные скобки.

3) Привет от Лиходеева и Е. Д. Суркова]

Сказать Там<аре> Алек<сеевне>

1) Вес — 54,800 приб<авила>

2) «Меня судить будут...»

1) Гловная боль <ликвидирована>

2) Вес + 3

3) Жажда жизни

4) Уверенность в людях

5) Большая устойчивость

Рец<ензенты>

Благой Д<митрий> Д<митриевич>

Смирнова Вера Вас<ильевна>

Шторм Георг<ий Петрович>

Иванов собирается судиться. (Сказать ли ему, что тут вся «Лит<ературная> газета»? Или они, если захотят, позвонят ему сами? Я ведь рекомендовала выяснить, кто рецензенты? Пусть Пушкин<инский> Дом выступит против.

Нат<алья> Викт<оровна> Соколова.

Европейская 404

Спросить у Мухар

Эсфирь Евсеевна Раппопорт писала книгу о Кетлинской. Читает где-то лекции.

У Байковой

1) Памятник на Пискаревке

2) Вова Жудин (Галкин Вова)

Позвонить Левинсону Евг<ению> Ад<ольфовичу>

Елиз<авете> Ензико

Галке

Можно купить в рассрочку кухонный комбайн.

Зелик Штейнман А-545-93

Эллочка не отставала.

В эпоху НЭПа у нее была лишь одна оценка для многообразного мира: «Знаменито!»

Но росла наша страна, росла даже Эллочка; в соответствии с этим у нее появились оценки

— «Мощно!» «Могуче!» «Железно»

— «Люкс-модерн» — «Не фонтан!»

«Законно» «На полном серьезе».

Статья в Литгазету в «Службу слова».

Эллочка-людоедка не отстает.

стр. 60. гл. «Единство времени».

Порнография

Абсолютная и полная фальсификация, вернее, мистификация, — развязная, хлестаковская — «Ну, что, брат Пушкин?» — «Да все как-то так, брат».

Даны все приметы «научного» исследования. Какое позорище.

Надо было не балаганить, а разоблачить вредителей.

Почему зашифровано имя графини Д-овой

Ужасна пошлостью стр. 66

Е<вгений> Онег<ин> — не пошляк.

Выступали писатели-большевики — революция продолжалась, — Вишневский, А. Прокофьев; они — участники граж<данской> войны, Окт<ябрьского> переворота, блюстители живых традиций.

И мы тогда готовились к празднику.

Лицо праздника

Оно тоже меняется. Но нельзя, чтоб менялось его сущность. В сердцевине он — грозный. Не омещанивайте его.

Мои даты

7/XI-37 — меня выгнали из демонстрации.

«Ничего. Я не сержусь на вас. Я еще напишу о вас такое, что вы будете плакать над этим. Парикмахер, который стрижет меня

сейчас, — когда-нибудь будет гордиться этим».

Затем — блокада. И вот я на «Эл<ектро>силе» — веду кружок и [Изам (?)] Угам и Нина просят у меня прощения за то, что они выбросили из демонстрации.

И они плачут над моими стихами, — я пишу о них, о знамени, стоявшем в завкоме, —

— «Умрем, но не отдадим Красный Питер».

16/X-57.

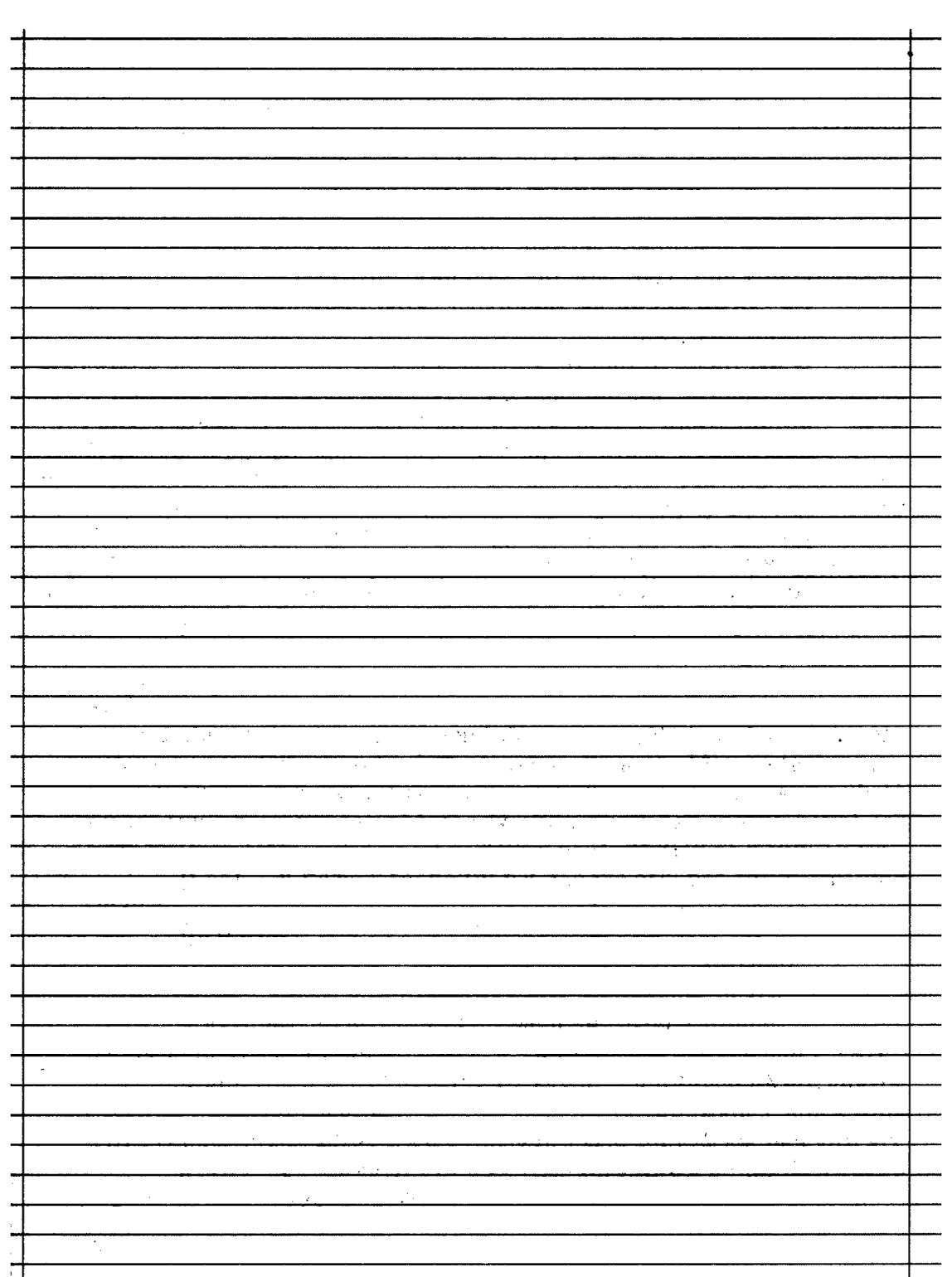
Ночью

И вот — я дома... Господи, ну, что же это, все-таки? Дружок мой, дружок мой, — что ж ты сердцем отчуждился от меня? Неужели ты так навсегда, так грубо, так... так насмерть забыл меня, что не смог даже на минутку обнять, — ну, просто так обнять, как родного человека, нужного, вернувшегося из очень трудной дали? Разве же я предала тебя хоть на минуту, когда-нибудь, кому-нибудь, где-нибудь?!

17/X-57.

Все-таки, как же тебе не стыдно?! Разве я виновата, что чуть не заплакала? И говорить так — «у тебя удивительно отработанная реакция — слёзы!» Мне надо заново начать жить, одной, без мужа — рядом с ним, я терзаюсь, мне больно, меня душит оскорбительная твоя толстокожесть, нарочитая, хамская, подчеркнутая равнодушность, а ты...

Эх, ты, гуманист-просветитель!!



ГОД

1958

6/III-58

10 ч<асов>

...А нехорошо, нехорошо, нехорошо, Юрочка.... Ты даже уже и товарищем просто не хочешь мне быть, — знаешь, как трудно мне сейчас, какого напряжения требует работа, как больна я и одинока, — и хоть бы позвонил, хоть бы дружеское слово...

Нет, вчера вечером измывался, хамил, фиглярничал, — и сегодня на меня же за это в обиде, что ли?

Ну и бог с тобой.

Будь счастлив со своей сучкой: по Еремке и шапка.

11/VII-58. Суббота.

Ну, что ж, а ведь все-таки надо приниматься за переписку второго отрывка поездки на машинке. Уже и так затянула до невероятия. Вот еще эта проклятая боль в спине и плечах, а сегодня, ни с того ни с сего — рентген обозначил воспаление левого легкого. У меня, как у психа, тотчас же рой подозрений: а не рак ли это, раз так забежали доктора, а не придумали ли они все это, чтоб как можно дольше держать меня здесь, сговорившись предварительно с Обкомом и другими невидимыми мною благодетелями. А благодетели дошли до такой степени, что даже с пяти часов предоставили мне люкс, предназначенный только для номенклатурных лиц, — роскошное помещение из трех комнат, — одно из них ванна с персональным писсуаром и огромным письменным столом, на котором расставлен бронзовый письменный прибор стиля конца XIX века, с массивными подсвечниками для настоящих свечей. У меня же такое ощущение, что я забралась в чужую квартиру, чтоб украсть какую-то мелочь

и меня вот-вот накроют. Так бывает иногда в дурном сне, — и у меня это обычно и протекает в [<1 сл. нрзб>] чьей-то чужой квартире с множеством чудесных вещей из красного дерева, и я что-то краду, что-то прячу, и знаю — вот-вот меня накроют, и тороплюсь в ожидании неизбежного позора. Ну, точь-точь и тут так! Я даже на машинке боюсь стучать, все время кажется, что «страшная свиная харя всунется в окно, страшно поводя очами, как бы желая спросить: “А что вы тут делаете, добрые люди?”» Я больше трачу сил на прислушивание к тому, что делается за синими рытого бархата занавесями в коридоре, чем к самой себе. Ей-богу, в бомбоубежище было легче писать, чем в этом персональном номере для номенклатурных лиц. Да еще эта деморализация с воспалением легких!.. А как отлично разворачивается вещь, каким, почти позабытым горением горю я над ней, сколько вдруг возникает из бездн сознания деталей, ароматов, запахов... Ну, что ж, помоги, господи, пережить и эти условия работы, — верней, преодолеть их во имя твоего приказа, — написать о том, о чем надо... Чорт с ними, с этими номенклатурными лицами. Я главнее их. Я не виновата, что мне, как вору, приходится пользоваться удобствами, которые должны быть просто-напросто в моем распоряжении. «Я ваше бессмертие, гражданин канцелярист», — скажу я всякому, кто сделает мне замечание, — зачем я здесь. Да нет, — не их! А главным образом тех, которым и для которых пишу. И воспаление легких — это все же не рак и еще не смерть. Ах, какое чудесное чувство здоровья и жажды творчества и свободы пришло ко мне накануне до этого проклятого рентгена! К чорту рентген. Я напишу этот отрывок так, чтоб он сказал людям еще больше, чем первый, его напечатает в «Новом мире» вернувшийся туда Твардовский... Всё! Жить только этим. Ну и пусть стучит машинка, пусть слышит это в люксе, расположенном визави, первый секретарь горкома товарищ Родионов. Сегодня он первый, а завтра его бросят на сенозаготовки, а меня никуда бросить не могут. Я — ваше бессмертие, господин канцелярист!

Борис, Борис! Всё пред тобой трепещет...
А между тем в тиши безвестный инок
Здесь на тебя донос ужасный пишет,
И не уйдешь ты от суда людского,
Как не уйдешь от божьего суда.

Если сегодняшний день почти пропал для работы, то хоть оставлю на завтра крючок, и завтра весь день — только труду. Впрочем, сегодняшний день не совсем пропал: рано утром кое-что записывала — важное, потом дочитала «Жестокость» Павла Нилина, который в 42 году, когда после Колиной смерти я приехала в Москву, так неуклюже, нежно и назойливо приставал ко мне, а потом у нас были только очень дружеские отношения. Блистательная книга, которая могла быть написана, конечно, только после Войны, после того, как был украден у народа подвиг, после самоубийства Фадеева.

12/VII

Итак, у меня фактически три-четыре дня на то, чтобы закончить, — а сперва начать второй отрывок «Поездки». Я бы уже освоилась с люксом, и преодолела бы это, и сегодня бы работала бы, невзирая даже на этот идиотический инфильтрат в легких, который несколько деморализовал меня вчера, — но опять судьба, жизнь, мой собственный характер, мое ничтожество, — а конкретно говоря — Юрочка подставили мне ножку: вчера «заботливо» позвонил, в девять вечера «из библиотеки» (откуда «нельзя звонить», как он объяснял раньше, не звоня по 12–14 часов подряд), когда я сообщила ему, что в легких обнаружено воспаление, — «озаботился» и попросил позвонить. На вопрос, — «когда», как-то засуетился, заявил, что завтра у него очень суматошный день — надо поговорить [<1 сл. нрзб>] с деканом относительно Андриюши, который будет держать экзамены на физико-математический, а у него — не меньше восьми грубейших ошибок в диктантах, так вот, — надо поговорить. Сегодня звоню полдесятого, чтоб принесли безрукавку, и вот он, сбиваясь, путаясь и торопясь, вдруг объявляет мне, что «понимаешь, тут приехали из Тарту, просят, чтоб я туда приехал, рассказал о Фонвизине... в университете... да нет же (с досадой), — не профессуры, ну, а так... среди них даже один мой бывший студент... Они заедут за мной... на машине».

И я сорвалась — и сказала: «И надолго вы едете?» — «Кто — мы?» — «Ну, ты с молодой супругой?» Он завопил и заюлил, и стал изображать из себя несправедливо оскорбленного человека, — как тогда в Коктебеле, и я, коробясь, немедленно попятилась, стала говорить: «ну, извини, ну, сорвалось», — после чего их подлейшество изволили очень холодно, как с провинившейся, говорить со мной,

заявив, что приедет в среду... Зине он уже говорил о четверге, придет же, конечно, через неделю — не раньше: его будут «умолять» остаться, «случайно подвернется путевка или курсовка» — ведь он, несомненно, поехал со своей самкой, или к ней, или, вернее всего, повез ее «отдыхать».

Я не должна ничего испытывать, кроме безгливости, и отмахнувшись от этого смердящего нужника лжи, — писать о главном, о высоком, о том, чего ждут от меня люди и что я могу дать, — и уже много написала бы, если бы он вновь не сорвал мне работу, принеся свою скользкую статью, над которой я буквально трудилась, потеряв два дня и после разговора с ним по поводу ее просто душевно выйдя из строя. Нет, довольно, к чортовой матери! Да что, на этом лживом, корыстном, не любящем, — терзающем меня и эксплуатирующем человеке клином свет сошелся? Что я, — цены ему не знаю уже? Рвач и карьерист, — и всё на данном этапе. Того, кого я полюбила — нет. И не всё ли равно, — где он предает меня — и нашу бывшую любовь, — в Ленинграде, в Коктебеле или в Тарту?

Пока отложить все мысли о нем. Даже такие — вот напишу второй отрывок, дам прочесть, он ахнет, — и вот после этого, когда я докажу ему и себе, что могу быть и работать без него, — со всем своим богатством, со всем своим миром взять и уйти от него, бросив ему в лицо всё, что открыла в нем. Нет, не надо и об этом думать, когда завтра с самого утра сяду писать — думать только о боге, о том, чтобы воплотить то, что хочу.

Думать только об этом. Плоскую мысль, протитуированную политиками — миру — мир, — воплотить по-человечески, именно воплотить, чтоб увидели ужас войны и ужас человеческого разъединения...

13/VII-58.

Сегодня упоительный летний день. Даже в нашем больничном саду хорошо. Воображаю, как хорошо на взморье, в Тарту, где в это время Юрочка прохлаждается со своей жирненькой самочкой. Ну что, больно? Нет. Больнее, если приедет и начнет изображать «чуткость» и «внимание». Интересно, позвонит ли он мне оттуда, — хотя бы на предмет того, что его там «умоляет остаться профессура»?

Нет, не позвонит, и не пришлет письма, и даже телеграммы.
 И не приедет ни в четверг, ни в пятницу.
 Раньше, чем к первому — не приедет.
 Зачем я опять расхожусь на это? Он недостоин даже злости
 моей, ничего, кроме презрения, или — даже равнодушия.
 Ты только равнодушия достоин.

И все опять, сполна ко мне вернется
 от детства до сегодняшнего дня
 и робко миру сердце улыбнется,
 когда, любовь, оставишь ты меня...

*

Не жалеть — ни о нем, ни его. Не верить, не самообманывать —
 ся больше — ничем. Его уже охватил анкилоз эгоизма. До него ниче-
 го не дойдет. Я сделала всё, что могла, я совершила подвиг любви,
 шагая через его [«сл. нрзб»] сверх-холуйское хамство по отношению
 ко мне, прощая ему это, ласкаясь к нему... Что в ответ, кроме коры-
 сти — сорвать хоть мысли с меня, хоть правку, — для статьи, денег
 для своего, такого же кулачка, как он, — папочки...

Все, всё! Написать — на вершинах, далеко от него, — о днев-
 ных звездах, о дне вершин, о походе за Невскую, о том, что ведь мы —
 люди. Уже пишется. Чего я хочу еще от него...? — «И мщенье — [слад-
 кая] бурная мечта ожесточенного страданья...»

13/VII-58.

Вперед, вперед, моя история!

А «история» — ни с места. А уже 7 ч<асов> вечера. Скоро —
 ужин, укладка спать. Нет, к чорту! Времени нет. Никто не торопит
 меня. Нет сроков. В этом люксе — я у себя дома. То, что сегодня
 немножко покашливаю — ерунда. Выгляжу я хорошо, а отойдут эти
 сволочные тревоги и мучения — я расцвету. Я буду свободной, — боже
 мой, — быть свободной от этого скота! М<ожет> б<ыть>, я буду работать
 в «Новом мире»... О, господи! Передо мной открыт весь мир, — и если
 в легких не рак и не тbc, — я еще увижу много-много...

И ведаю — мне будут наслажденья
 Среди забот, скорбей и треволненья.

Порой опять гармонией упьюсь,
 Над вымыслом слезами обольюсь,
 И может быть, на мой закат печальный
 Блеснет любовь улыбкою прощальной...

Чего, кого, кого я, в сущности, лишуюсь? Унизительнейшей жизни неизвестно на каких ролях? Ждать — еще и еще, что он одумается, — «пелена упадет с глаз», и он, кинувшись на колени передо мной, зарыдает, и скажет, что любит, и затвердит — «В Булонь, в Булонь!»?

Этой сладостной картиной раздражала я свое воображение, успокаивала оскорбленное самолюбие...

Хватит, мадам Берггольц. У вас обязанности посложнее, — возложенные перед людьми — богом, чем повергнуть на колени самодовольного самца.

Начало я уже нашла. О, запах вечерней остывающей пыли, скошенной травы, невнятное волнение сердца, ожидание чуда и твердая вера в него.

И если радостно поется
 И полной грудью, наконец,
 Всё исчезает — остается
 Пространство, звезды и певец...

Как орут за стеной все эти жалкие темняки!

Единственный человек, с которым мне хотелось бы общаться, — это Майя Смородина, не потому, что она приятна, а потому, что мне надо знать всё, что было с Петром Смородиным.

Но продуман распорядок действий,
 Я играю в них во всех пяти...

Ну, вот, и новое столкновение — в жизни. Майя Смородина за ужином только что сказала мне, что Ал<ексан>др Ник<олаевич> Кузнецов в Москве, заместителем председателя комитета по связи с заграницей, и вместе в Куусиненом пишет учебник истории партии...

У меня в общем осталось хорошее впечатление от него. Он мой настоящий поклонник и человек со вкусом, и неплохой был человек, и много пелестрадал.

Итак, у меня в ЦК хорошо относившийся ко мне Л. Ф. Ильичев, в комитете — А. Н. Кузнецов, и в пр<азвательст>ве... Ф. Р. Козлов, который, когда [против] на меня [был] поступил донос от Сытина, сказал нашим парткомовцам: «Оставьте [меня] ее в покое, — у нее хватает горя с этим распутником», — и назвал четыре бабских фамилии... Даже я не знаю столько, и не пыталась узнавать.

Нет, я вполне могу устроиться в Москве!

Надо будет подразнить этим моего карьериста. Ну, а пока все [<1 сл. нрзб>] к чорту. Я — в Глушине.

15/VII — Вторник.

Завтра, по его словам, должен приехать Юрий. Впрочем, Зине, которая в понедельник утром обругала меня по телефону — «свиньей» за то, что я попросила ее подходить к телефону и выстирать мне белье, — он сказал, что приедет в четверг. Сегодня был рентген, — врач сказала, что остался совсем маленький очажок в легких, следовательно, можно ориентироваться на ту неделю на выписку. Но здесь я должна во что бы то ни стало сдать книгу. Т. е. отсюда, как это ни трудно. Потому что вот сейчас стучу уже с робостью, хотя товарища Родионова нет напротив, но больные ложатся спать, — могут придраться. Вчера уж под самый вечер разошлась, и вдруг нашла такой правильный, по существу и по формулировке поворот — о читателях и главной книге! А сегодня преступно провела весь вечер за книжкой Надьки Верховской, за другим чтивом, — почти ничего не сделала. Наверное, возможность сдать книгу не в субботу, а во вторник — демобилизовала меня. Раздражил и звонок Муськи, — я вновь почувствовала себя окруженной, загнанной в угол, виноватой перед всеми сородичами, которые с чувством превосходства оттого, что они не пьют, смеют давать мне всякие непреложные советы, командовать, допрашивать и т. д.

А вот за три дня отсутствия Юрочка даже не позвонил из Тарту — что со мной. Крепко же держит его в своих щупальцах этот жиловский осьминог женского пола, трус же он и мерзавец! Как хорошо было бы, если б его уговорили там остаться, пока не сдам книгу. Хотя я и собираюсь встретить его как ни в чем не бывало и ни слова, ни одного вопроса не задать относительно Тарту, — боюсь, что сорвусь...

А, боже мой, стоит ли это даже размышления, траты времени.

Надо рассчитать время, — как работать так, чтобы во вторник сдать книгу. Формулируется, кажется, здорово, и необычно для нашей литературы.

18/VII-58

Спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие — вот что мне сейчас необходимо, любыми средствами — медикаментозными, режимными и т. д. А потому что к числу семейных и сердечных беспокойств присоединилось беспокойство всеобщее, — события на Ближнем Востоке и в перспективе — третья мировая война. Только что выступала на митинге в нашей больнице, попросил главврач. Выступила хорошо, сказался старый военный пропагандист, хотя все-таки некоторые хлюпали, когда говорила о Ленинграде. Но уже заранее я была раздражена самой идеей — почти заставлять больного человека из нервного отделения выступать по поводу Ливанско-иракских событий. Больных-то надо было бы щадить — это я не о себе. Обратная сторона этой истерии — возвращение митинговавшими патриотами билетов в ж/д кассы — на юг, извлечение вкладов из сберкасс и т. д. Неужели — действительно третья мировая? Брр... Но — не думаю. А если она — то это все равно, как смерть, а терять мне больше — почти некого, а если и есть кого, — то это все равно смерть всеобщая. Нет, навряд ли человечество на это решится.

Все души милых — на высоких звездах.
Как хорошо, что некого терять...

Был вчера барин. Я выглядела хорошо, и — о, чудо, о грусть, я была естественно равнодушна, и не спросить о «лекциях о Фонвизине в Тарту» — мне действительно ничего не стоило. Я и не спросила, а он — он не заговорил об этом. Не о чем, видно, было говорить... Ну, что ж... Ты сам выбрал, сам выбрал старик, выбрал себе свою долю, свою старость, свою привязанность. Хоть бы не было этой проклятой войны и всего связанного с ней бардака, хоть бы поехать, как задумала, в Кисловодск с Маргаритой, — лучше бы уж одной, конечно, но Маргарита — меньшее из зол.

Я уйду лучисто и грустно, хотя этот скот все равно ничего не оценит, уйду в закат... С победой над собой, с новым выходом к чи-

тателю, «закатно-красивая» — так уйду я от него... Но прочь, прочь, на хрен и эти микромыслишки.

Во что бы то ни стало подготовить к воскресенью все три главы похода...

22 июля 1958 года.

Сегодня утром умер Михаил Михайлович Зощенко. Так всё это меня переверотило, что не только работать не могу, а отвечаю невпопад и даже забыла — отдала Маргошке свою рукопись — или потеряла. Я ни в чем не могу упрекнуть себя по отношению к М. М. Не только ни словом, делом не предала его в катастрофические дни 1946 года, восприняла это, как личную катастрофу, чем могла — старалась согреть, в позапрошлом году, после XX съезда первой, и, кажется, единственной ринулась в драку за него, — говоря о необходимости пересмотра знаменитого постановления и доклада Жданова, и отношения к Зощенко вообще. И все же чувство глубокой вины — своей — за трагическую судьбу его легло сегодня на душу, как камень. Впрочем, и никогда-то оно меня не покидало, — чувство вины и чувство стыда — и перед ним, и перед Ахматовой, и Пастернаком и многими другими, напрасно и варварски загубленными и травимыми художниками.

Какой он был чистый, смелый и мужественный человек, непримиримый к подлости, лжи, лицемерию и хамству. — «Я бросаю вам перчатку, принимайте», — сказал он, маленький, изящный, беззащитный, когда его в очередной раз «прорабатывали» и «воспитывали» за «Человека с портфелем»... А-ах! Невозможно вспоминать обо всем... А как я встретила его тогда, в 46<м>, на Пантелеймоновской, жавшегося к стенке... Как он мужественно и, главное, скромно нес свой ослепительно-страшный венец, возложенный на него варварами в этом распроклятом постановлении. Он не кичился своим непомерным страданием, не бравировал мужеством, он просто был непреклонен, он не мог иначе. Как вспоминается этот позор, — этот день, когда мы вернулись из Риги и узнали обо всем...

Как-то будут его хоронить наши держиморды. Поди, не дадут народу проститься с ним, не поместят даже некролога...

Нет, решительно ничего не могу, даже писать.

Завтра — домой. Надо собрать силы и закончить отрывок, в который так страшно вклинилась эта утрата.

Письмо-стихи от В. Орлова. Об этом — потом.

Как говорится, — проба пера, проба пера...

Опять сорвалась, оторвалась от работы, а работа наплыла просто как обвал. Кровь из носу, к завтрашнему дню надо сдать Борьке Лихареву главы истории... Господи, как хорошо думать о работе, и как неохота работать! Отвыкла, обленилась? И это может быть. Это очевиднее всего, потому что ссылки на крамольниковское «не нужно», — бесплодны и, пожалуй, даже неприличны. Так уж давно — «не нужно», что пора бы привыкнуть к этому. То же, что происходит сейчас в литературе — необычайно напоминает визг вокруг картин, где главным героем был Сталин, — только все происходит как-то еще гаже, рептильнее... Эта вонючая возня с вонючим романом Кочетова, — о боже! А похороны Зощенко... Это заслуживает особой записи. Ну, хорошо, вся эта шутовская трагедия с романом Кочетова с «современной темой» — пройдет, но ведь вместе с этим проходит и твоя жизнь. Силы иссякают, душа крошится.

Дай гневу правому созреть,
приготовляй к работе руки.

Не можешь — дай тоске и скуке
в тебе копиться и гореть.

Какой бесплодный день сегодня, а чувствовала себя хорошо, и могла бы многое сделать. Да пошел размен на так называемую семейную жизнь (тоже полная кочетовщина, эрзац и обман), — обед, да ожидание гостя, и вот прошел день, и я уже усталая, и сердце проклятое стучит как плохой мотор. Из-за того, что Юрка целый день «оказывал внимание», — т. е. бегал читать отрывки из своего Фонвизина, из-за того, что обедали как раньше, и я хлопотала и подавала, и сейчас, когда пришел Раскин, постаралась сделать ужин, как можно лучше, а он знал, что у меня срочная работа, и все-таки пригласил его, и заставил меня работать и сейчас быть в напряжении, потому что уже двенадцатый час ночи, и они там сидят, и Юра, упиваясь собой, разглагольствует и поучает дурака Раскина, — я не могу сосредоточиться и работать, и злюсь на себя за то, что это меня мучит. Все

его «ухаживания» и внимание еще горше его отсутствия и хамства, потому что они ровно ничего не значат: вот уже больше года, как мы не спали вместе. Он оскорбляет меня, как женщину, страшнейшим оскорблением — полным пренебрежением, и тем, что не скрывает от меня, что живет с другой, и еще чего-то требует от меня, еще «ухаживает», дарит цветы и т. д. Хам. Нет, к чорту, выбросить все это из сердца, ну вот представить, что его нет, что вместо него какой-то коммунальный постоялец, и все. Почему я не могу этого? Почему меня мучит даже то, что нет блядских звонков. Мне сказали, что «она» уехала. Уж не рожать ли? А Юрочка в кабинете все упивается и упивается своей болтовней, очередной никчемной затеей.

И если даже Юре совершенно не понравится моя повесть, — это ни в коей мере не должно деморализовать меня. Чего мне ждать от него? Даже объективной оценки ждать нельзя. Чем лучше я напишу, тем неприятнее ему будет, тем с большей силой захочет он доказать себе, и — главное — мне, что я не гений, не гений, не гений! Я сделала глупость, отдав ему рукопись, тем более незавершенную. Ему ничего уже не может нравиться, кроме собственных сочинений. То, что ему понравился роман Пановой, — тоже в какой-то мере конъюнктура.

— «Хвалу и клевету приемли равнодушно» — в особенности же от родственников. Они почти никогда не бывают объективны. Только Коля в свое время сказал относительно рассказа «Путь в Петроград», который послужил основой для первой части «Углича», — что это превосходно и что «никто из этих гавнюков так не напишет». А что мне ждать от человека, который разлюбил меня, который просто меня ненавидит, у которого вызывают лишь раздражение мои успехи и достижения?!

Забыть. Все забыть. И неумную хвалу в Москве, и сегодняшнее Юрино — «любопытно», — это ведь тоже сказано с расчетом на обиду. Забыть. Передо мною обратный путь за Невскую и все, что тогда было. Надо бы посмотреть мои дневники того времени, и боюсь заглядывать в те ящики, — мне кажется, что за время моего отсутствия Юра все или все самое главное уничтожил.

Забыть. Всё забыть. Хвалу и клевету — тоже. На полном, на открытом сердце дописать произведение и тогда самой посмотреть, что вышло. И — нужно ли это людям. «Ты сам свой высший суд».

Ведь духовные связи с Юрой оборваны еще ранее, чем физические. Мне нужно ждать от него даже не этого снисходительно-

го — «любопытно», а лицемерного — «знаешь, маленькая, все-таки ничего не получилось». Вот на что я должна рассчитывать. Ведь сказал же он о стихах, над которыми плачет вся Россия — «твои подночные стишонки»...

Главное, чтобы завтра быть физически бодрой и не чувствовать сердца, и не ждать юриного звонка, и не реагировать на звонки его баб, — только писать — писать, проникая в существо вещей, писать сердцем, — и ВСЁ.

ГОД

1959

21 <июня> — 59. Воскресенье. Переделкино.

Сегодня. Тоска по вере. Троица. Была в местной церкви, — и несколько раз одолевали слезы: о, какие верующие, полные внутреннего света, веры и надежды лица! И вовсе там ни одни старики и неполноценные какие-нибудь люди, — много людей моего возраста, много молодежи — и у всех — такие верующие, такие полные внутренней мысли и мудрости лица. А мы — и я тоже, не тоже, а видимо более чем кто-либо другой, — мы перед этим народом гаерничаем, обманываем его, глумливо и

<Далее обрыв текста.>

Юре — 2 мая телеграмма из Москвы. Подана 1/V в 4 ч<аса> 25 м<инут> дня «Поздравляю праздником помню Петр Иванович Добчинский».

От женщины — явно, на 100%. Клянется, что «понятия не имею, кто бы это мог»... Слышала 100 раз. Смысл тел<еграм>мы — «Помни и меня» — «скажите, что живет такой П. И. Добч<инский>». Дама образованная.

Высказал предположение, что это — Жданов. Через Жданова передавал «привет товарищу», — не называя имени. Это

<Далее обрыв текста.>

Он не звонил мне сегодня с 1 ч<аса> дня до 11 ч<асов>. У нас «не отвечал телефон». В портфеле, рядом с рукописью Арзумановой — мандаринчики в бумажках. В магазинах их не продают. Это получено или у Семена Павловича, или у г. Арзуманова, или принесено ею на свидание.

Его поведение в последние дни становится все более ясным.

<Далее обрыв текста.>

к печати», — являются ложью. Эти документы не вошли в диссертацию.

Еще одно доказательство: 7/XII он принес переводы этих фотодокументов, написанных ее же рукой.

Он работает с ней над сборником материалов о Радищеве, видится с нею, — и тщательно и лживо скрывает это от меня. Почему?

Фотографирование материалов, командировка в Архив, их перевод, — стоят денег. За чей же это счет? Вероятно, это же будет ее диплом?

Не волнуйтесь, Георгий Пантелеймонович, вы достигли вершины благополучия, Вы — к<арьерист>.

Впереди — полеты за границу, содержательное сожителство с Л. М. Максимовой и др.

А я... Мавра сделала свое дело, — Мавра может уйти.

Если Вы хотите, чтоб Вас поняли, — не объясняйтесь.

М. Твен.

Ю<ра>, думая только о себе, пишет: «ты останешься для меня самым близким человеком».

И не единой мысли об этом близком человеке, о судьбе его! О его горе. «Ты — ... для меня»... Как некий <призрак>, как воспоминание, что ли?

Почему же было не подумать: «Как же сделать так, чтоб МЫ остались близкими людьми» — после моего отступничества, после заявления — что собираешься, «хотя бы под конец жизни» строить семью. Отлично — строй. И пусть я буду для тебя только воспоминанием.

Ты бесчеловечно, с пугающей, бесчеловечной расчетливостью писал обо всем этом ЛЮБЯЩЕМУ тебя человеку, все еще любящему тебя, — и НИЧЕГО НЕ ЗНАВШЕМУ, — ведь ты-то, сам, — мне о ребенке не говорил! Ни тогда, когда «решался на этот шаг», ни тогда, когда я спрашивала тебя об этом.

Ты или глумился («с тобой¹ я об этом разговаривать не буду»... «скорее с вахтером, чем с тобой») — полное презрение в интонации) или — с надрывом, начисто отрицал...

¹ Здесь и далее разрядка в тексте.

Ты хочешь «семьи»... Да, у тебя ее не было все эти 18 лет!
 Ни на Воиновой ул., ни на проспекте Кр<асных> Командиров,
 ни в Радиокомитете.

Теперь важно, чтоб это чувство было разделено, следует желание, чтоб это чувство было понято и разделено другим...¹

Любовь или стихосложение
 Берет начало только тут –
 В понятном другу удивленьи...

[<3 сл. нрзб>] А вот как сделать свое удивление понятным другу – Передать свое удивление другому, удивить им другого – Удивить своим удивлением другого – перед известнейшей ему вещью – это победа писателя. Кстати, много у нас говорят о принципе изображения героя современника, – простого человека... А для писателя, по-моему, нет «простого» человека. Он может быть [лишь] «простым» лишь условно – лишь по служебному или иному положению своему – так же, как выражение – «это – большой человек», – означает ныне лишь служебное положение<, в лучшем случае общественное значение человека (вернее – звание), а отнюдь не его человеческие качества.

А для писателя «простого человека» существовать не может, рабочее отношение писателя к предмету изображения – человеку горьковское – удивительный человек.

Так же как и к истине: «Писатель не ищет истины, он ее создает».

А все-таки пора бы и за работу для газеты. День опять почти что прошел, разбегала его, разговорила, вместо того, чтобы заставить сесть себя за машинку, которая, к тому же, хорошо идет сегодня под рукою.

А, ну, взяли. И прочь мысли о том, как это необходимо для меня. Прочь мысли о том, чтобы удивить и хоть на минуту вернуть Юрия. Он уже невозвратим для меня и должен быть не нужен. Только отчаяние его при ощущении, что он меня теряет, – искреннее

¹ Фраза вписана в верхний правый край листа; отделена от основного текста (машинописи) рамкой.

отчаяние, которое бы не оставило сомнения даже во мне, ничему в нем уже не верящей, могло бы еще, может быть (и только может быть!), кое-что вернуть. Но он не понимает, какой беспокойный и творящий, тревожный и теплый мир ушел от него. Нет, в этом мире был не один жасминовый цвет, был чертополох, репей, волчцы и сорняк, — и все же, чем же он возместил, чем заменил его? Уверена, что ничем.

— Я не прекрасна, — я неповторима. Я не красива, я — неповторима.

Итак, все-таки необходимо написать очерки о Сибири, о которых уже столько натрепалась, столько расплескала из них, что трудно собрать вновь это расплесканное, как горстями пролитое вино с пола...

Соберу.

Стимулом к этому будет хотя бы вчерашние проводы вагона-редакции в ту же Сибирь, на те же места, где была я и оставила по себе такую сомнительную, такую непонятную обывателям славу... Нет, нет, не так, как торжественно отбывали вчера наши корреспонденты, надо писать о Сибири. О трагической Сибири, н а ш е й каторге, об индустриальной Сибири, построенной каторжанами — цветом нации нашей, цветом партии Ленина. Но разве можно писать о ней — о такой, ради которой и поехала я туда, в город, фактически погубивший отца? Ничего об этом писать нельзя, намекать даже нельзя — о настоящем. Ну, а о чем, настоящем, — вообще можно сейчас писать, особенно после этого позорного съезда писателей и речушки Кукурузника?! То, что проскочил мой «Поход» в «Новом мире» — уже чудо, даже притом, что из него все-таки выщипали несколько прекрасных перышек. Но зато, — оставлен колокол, а имеющий уши услышит, — про какого поэта там идет речь.

Какая же ты, Сибирь, давно ставшая частью сознания, частью жизни, — и никогда не виданная и не виданная ни разу в жизни? Узнаю ли я тебя, [или] как через три десятилетия узнала неузнаваемый город детства Углич, или не узнаю, — ведь я — сама никогда не знала тебя. И я ехала в Сибирь, — как в поэзию, ведь «поэзия вся — езда в неизвестное»...¹

¹ Фрагмент со слова «Какая» до слова «неизвестное» слева отчеркнут вертикальной линией.

Пусть не удивляются сибиряки-старожилы, [и не] если я буду удивляться обычным для них явлениям и вещам — ведь я видела их первый раз в жизни. А впрочем, — что и за жизнь, что и за творческая работа художника, если человек перестал удивляться? Я жалею тех, кого ничем не удивишь. Они — бедненькие, они утратили одно из самых стимулирующих творчество чувств — чувство удивления.

Ведь все, что творчеством зовут, *мне думается — [твор] истинное творчество, как и любовь, начинается с чувства удивления, — за ним*

Буду думать только о том, чтоб не смущен, а удивлен был капитан Трофимов, чтоб до людских душ коснулось то невыразимое, строгое, чистое, что и до моей на Енисее. Было ли то ощущением вечности, предчувствием трагического, но неизбежного будущего, или извечным, простым человеческим наслаждением?

Только не идиллия. И вообще ни о ком не думать. Для себя. О себе.

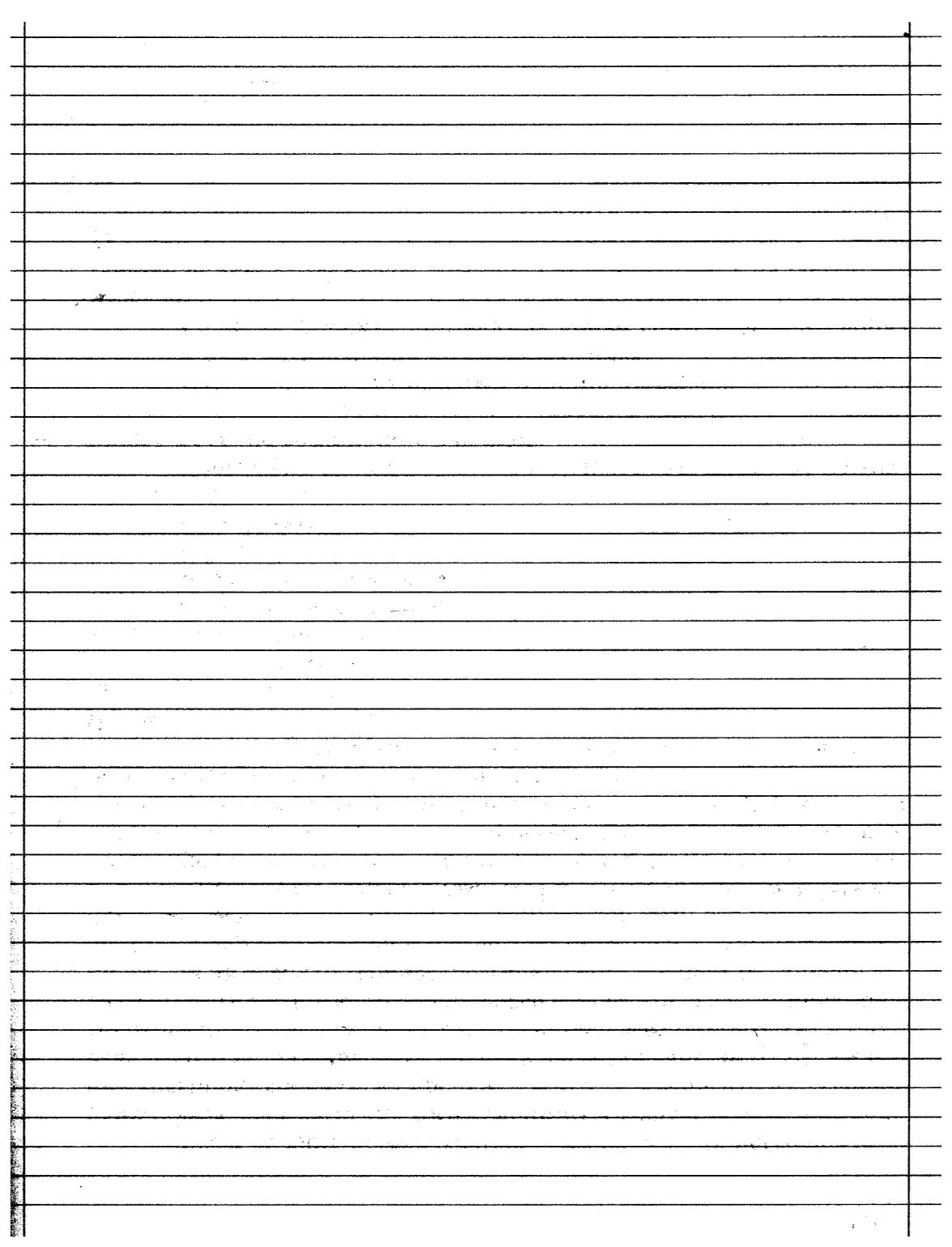
Я ехала твоей дорогой
Отец мой милый,
До Красноярского острога,
Вплоть до твоей могилы.
1959.

Поезд Москва-Пекин

Биография Федина, Личнова, Мызникова. Молодые коммунисты, недавно вступившие в партию.

Найти дядьку с вырезками по истории города.
У него есть вырезки по «Электросиле».

«Лен<инградская>правда» за конец сент<ября> окт<ябрь>
м<еся>цы.



ГОД

1960

Дневник периода работы над «Добрým утром».
1960 г. апрель–май.
Малеевка¹.

21 апреля 1960 года.

Ну, так что же, пора все-таки приниматься за работу, ради которой и приехала в Малеевку и о которой столько уже натрепалась в Литературке и других местах, и знакомым и полужнакомым. Надо, как говорится, закреплять и развивать успех. Надо — и не хочется, именно развивать и закреплять у с п е х... Он достигнут столь прямо и честно, столь простым «методом»:

Вполоборота, о печаль,
На равнодушных поглядела...

Вот и весь «прием», вот и вся «новая форма», о которой столь много толкуют все, вплоть до моего бывшего (да, да, на самом деле бывшего — и это уже навсегда!) — мужа... Но ведь это единственное, собственно говоря, что я взяла себе за принцип, совершенно сознательно при этом, твердила себе эти мандельштамовские строки, когда по ходу работы встречались остановки, соблазны слишком броской, слишком современной — конъюнктурной! — мысли, фразы, эпизода, когда подступала боязнь себя, боязнь необщности выражения. — «Ничего, ничего — оглаживала я себя — пусть их... Пусть

¹ Текст со слова «Дневник» до слова «Малеевка» — заголовок дневниковых записей на отдельных листах, объединенных в бумажную папку.

и Герман и Макогоненко упиваются своими внешними и пустыми успехами, “срыванием цветов удовольствия”, пусть Юра третирует и унижает меня, и преуспевает со своими фальшивыми сценариями Герман, — ничего, спокойнее, ты глядишь на них вполоборота, ты — печаль и ты чиста, а они — равнодушные... Они изумятся — придет время, и они изумятся и оцепенеют перед чистым созданием печали, как гоголевский Чертков перед созданием неизвестного молодого художника. О, гляди на них вполоборота, только вполоборота и не думай о том, изумятся они или нет, будь только собой, будь равнозначна себе и достойна себя»... И вот теперь мне прежде всего надо гнать от себя мысль о том невероятном успехе, который имели «Дневные звезды», в особенности же «Поход» — у читателей наших и зарубежных, и особенный — у писателей. Даже равнодушные взволновались, я не говорю уже о настоящих людях типа Мирки Перельман, Горелова и других. А какие потрясающие письма идут от читателей, — даже и в блокаду таких не получала. И буквально все серьезные, по-настоящему взволнованные люди ждут продолжения. Они говорят: «Этого мне мало, надо, чтоб и про то же самое, что у тебя написано, было написано как-то больше»... — «Ты теперь не принадлежишь себе, — то, что ты сделала, говорит о том, что ты еще бог знает что и как можешь написать, ты будешь просто преступницей, если отнимешь у нас это, ты сама не знаешь, что ты написала — теперь необходимо писать дальше и как можно скорее»... И мой бывший тоже твердит мне: «Теперь как можно быстрее — дальше».

О, конечно, мне безгранично радостен успех «Дневных», радостно даже и то, что единодушно и много их хвалят в печати, и я знаю, что это справедливо (а когда хвалили «Первороссийск», у меня не было такого чувства — до конца, все чего-то саднило, из-за Сталина, всаженного туда очень нарочито), — это тем более справедливо, что я и бровью не повела для того, чтоб обеспечить вещи такой успех, — ведь чуть-чуть и могли бы посыпаться как из рваной рогожи обвинения в субъективизме, воспевании старины и проч<ие> пошлости. Так вот, успех Звезд мне радостен, и даже — едва ли не впервые — есть чувство удовлетворения: «Да, вот это и есть — властвовать думами, да вот и пять печатных листов — а — властитель дум!» Ей-богу, это так, без дураков! И вот это-то и опаснее всего. Чтоб не переметнуть позиции, чтоб остаться вполоборота, а не вытаращиться на вос-

торгующегося читателя и не начать ему угождать и вытрющиваться перед ним, не желать удивить его во что бы то ни стало — «а вот еще турецкие зверства». Женечка мой сказал: «умри Денис, лучше не напишешь». Ерунда. Я опять надула их, — еще действительно я не пошла к главному.

22/IV — Пятница.

...Вот еще нелегкая — зуб разбалывается. А все ведь только одна распущенность проклятая, давно надо было ликвидировать этот зуб и приучить себя к протезу. Ну, все что-нибудь да неладно! И это тогда, когда нужно, чтобы ничто решительно не отвлекало от работы. Впрочем, отвлекающих моментов предостаточно. И — повторяю — главный из них — чрезмерность восхищения людей тем, что написано. Так, одна из соседок моих по столу — Флора Сырникова, искусствовед, заявила сегодня, что «Поход» напоминает ей Библию или Евангелие. Что, читая — «понравилось» это не то слово — происходит обращение в веру. Ну, уж куда больше — ведь заветнейшая же мечта, — и неужели же это хоть немного пробивается, становится понятным людям. Но с чего же, господи, с чего же, — ведь и правда еще ничего почти что не сказано. Мне и самой-то страшно сделать окончательный вывод, — сегодня утром вдруг что-то сформулировалось, а сейчас забылось опять. А ведь нужно сделать вывод в общечеловеческом, в общемировом масштабе, иначе не было бы и смысла — огород городить. Можно, конечно, и так: вот вам положительный опыт души и эпохи, вот вам отрицательный опыт. Судите теперь обо всем сами. — «А ты?» А я — «верую величию сердца человеческого». Это мало или много? Не знаю. А из «Литературной» газеты сегодня звонили — очень просят к 1 мая. Ну, если завтра не будет болеть зуб — я завтра рвану. Но только отбросив все мелочное, тщеславное, даже мысль о том, что это может разочаровать кого-то, может не понравиться Твардовскому и другим...

23/IV — Суббота.

Уже звонили из Литературной — очень просят в первомайский номер. А у меня отчаяннейшим образом испортилось настроение. Тут и злость на Муську, и страх перед ее идиотскими и непреодолимыми

преследованиями во имя моего спасения, — ну, не идиотизм? Неужели мне, преодолевшей столько **ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ** преследователей, не отделаться от этого глупого комара? В конце концов в совершенно трезвом состоянии неужели же я не смогу поговорить с ней, с парткомом и даже обкомом всерьез, так чтоб она прекратила свой идиотский надзор. До нее, видимо, ничто не дойдет.

24/IV, — уже, о боже!

И еще вчера до чорта давило душу и не давало даже вздохнуть, и тоска была просто предзапойная — это прочитанное одно произведение — книга Рея Бредбери — «451 по Фаренгейту». У-ух, какая мрачная книга, какая безысходная... Причем ужасно ведь многое сказано и предсказано русской литературой — Щедриным («но мысль, мысль, самое [мысл] мысль надо уничтожить») — и все-таки, как все не по-русски, как безысходно и удушливо...

И даже это вчера не успела дописать — одолевает благодатная лень. Сейчас отстукаю письмо Наташке Банк и, чуть пройдясь, буду работать. Пожалуй, начну с ходу «Наш фриц умирает», без прамбулы и буду все-таки делать газетный вариант. Только вот как — для Дня победы или первомайский. Нет, лучше, чтоб для Дня победы. В журнал-то пойдет День победы.

Вчера — записать: 1) разговор с Вовкой Ермиловым и его Лорой — о второй части «Поднятой целины». 2) Рисунки к Достоевскому художницы Римской-Корсаковой. 3) ЗВОНОК ЮРЫ ИЗ ЛЕНИНГРАДА и разговор с ним.

27/IV-60

О господи боже, о господи, боже, — с какими же глазами предстану я завтра в «Литгазете»?! Ведь нет ни страницы отрывка для первомайского номера, — нет, и, увы — видимо, не будет. Все было бы хорошо, — так вот надо было проклятому зубу разболеться — так больно, как в детстве. Глотаю всякую обезболивающую смесь, куда входит люминал, а от этого очень немного полегче и состояние сонное, как у оглушенного судака. Дура, паскудный хвастунишка — не надо было хвастаться в «Литературке», — такая отрада — лениться, смотреть на милые закаты сквозь белоствольные, тонкие, черно-кружевные

березоньки, валяться в постели, думать, беседовать, наконец, с неназойливыми и приятными Фрадой Беспаловой и Флорой Сыркиной...

Господи, могу я или нет пожить не торопясь, без надрыва и без надзора, покейфовать, полениться, почитать, что хочется... И ведь я не совсем бездельничаю — я медленно перемалываю в себе слова, формулировки, образы, мысли, — мне вдруг кажется, что то, что я тогда в Литгазете излагала товарищам — довольно-таки примитивная христианская проповедь. Кроме того, мне все еще не хватает для работы большого равновесия и погруженности в нее — и опять-таки это внешнее разбрасывание не удивительно — «я долго жил — я жил в плену»... Мне так хочется всего сразу и по многу! Ничего, ничего, я же предупредила их, что вернее всего могу к Дню победы. Ну, а если, как сказал Радов, — «у них есть другой материал» — с богом. Надо связаться с Рябчиковым и «Известиями». А в Москву завтра все-таки поеду, — и с удовольствием. Только бы проклятый зуб перестал болеть — и тогда жизнь покажется мне прекрасной. Ну, а будет утром ныть — вырву и все. А Жене тогда только позвоню, если будет опухоль на щеке... Господи! «Как я хочу безумно жить!» И как все просто, вообще-то говоря.

Сейчас я вдруг поняла, что кроме естественной лени и желания побездействовать, мною еще руководил какой-то глубокий внутренний протест против появления отрывка в майские дни — уж очень это бы все подбиралось к тому, чтобы блистательно отличаться — это сулило бы и заграничную поездку, и, глядишь, решило бы в мою пользу с орденишком к юбилею — т. е. к 50<-ти> горьким годам моим. Н Е Н А Д О! Не надо, — слышишь, блядь? — «Пренебреги» — как великолепно завещал мой Коля, — и второй завет его был — «Не обременяйся!» Пренебечь и не обременяться — сроками, соображениями выдвижения и начальственного признания. Это дело жизни моей, мозга и крови, и дело Колиной жизни и смерти, — обмен невозможен. Можно лишь воспользоваться ситуацией для того, чтобы высказать то, что НЕ можешь НЕ сказать. Да, но сейчас как раз благоприятная ситуация. Но отрывок не должен носить ГАЗЕТНОГО характера, тенденциозного произведения, характера «советской пропаганды», подогнанной к случаю... к совещанию глав правительства... кстати, — тема «будут совещаться главы правительства, — и главы государств, высокие стороны будут договариваться между *мужчинам и жен<щинам>, мастеровым, хлебопашцам, ма-*

терям, певцам и поэтам, — собою, — но ведь важнее всего договориться нам, не правителям, тем, в чьих руках не судьбы государств, но судьба рода человеческого, судьба искусства, судьба земли (настоящая жизнь людей)».

Но я должна писать в общем-то, как птицы поют, с полным расчетом на письменный ящик, со спокойным сознанием этого, — какой из меня политик, что я там буду учитывать и соразмерять речь Хрущева в Баку относительно Берлина и т.п.¹, — пусть об этом думает тот, кому надлежит, пусть они там на совещании сделают выводы из МОЕГО, из НАШЕГО нежелания войны, вражды, безысходных страданий — ОНИ, ОНИ пусть сделают выводы и примеряются к нам, а не мы к ним, с их фальшью и нечеловеческими хитростями.

7/V-60.

Только что отправила тебе телеграмму на Тульский и так вдруг муторно стало: почему-то все еще коробит меня, когда ты говоришь — «звоню из д о м а», и т.п. [да и не уверена, что тебе передадут мою корреспонденцию] Дурень, — вот твой дом — видишь?! Тоже не знаю, почему я захватила эту карточку с надписью прошлого года, сделанной просто так, в час одиночества. Но ко Дню победы хочется мне послать именно ее. И все-таки — да, я поздравляю тебя с тем, что он был у тебя, и у тебя и меня вместе — пятнадцать лет назад, я поздравляю тебя с ним, несмотря на то, что ты продал его за сегодняшний твой «дом» и не-чечевичную похлебку.

20/VI-60

Год назад Юра ушел от меня. Перед этим — вот с года предыдущей записи — непрерывные его измены, одна пошлее другой, и моя нестерпимая ревность, и все чаще — запои и больницы, и сумасшедшие дома, и, наконец, в 56<-м> — вновь открытая его связь с некоею Пайкиной, жидовкой и ничтожеством.

Она родила ему дочку.

¹ Фрагмент со слова «советской» до «и т.п.» справа отчеркнут вертикальной линией.

Ах, куда же я дела чудовищное по подлости своей его «разлучное» письмо?

Надо найти во что бы то ни стало...

Но сейчас записывать некогда, — надо закончить работу

Вот вода перевалила посл<еднюю?> дорогу перед верхней головой 2 шлюза. Народ машет шапками. Это народ встречает Волгу и Дон.

— единственная, быть может, бескорыстная власть, деспотия...

Не для горя и слез,
дорогая моя,
Рождена ты для света
и счастья
*

Взгляни, какой кругом
зеленый лес,
тебе сокровища свои
природа подарила

«Это мы тебе написали».

20/VII-60

Где «Говорит Ленинград» — моя книга?

Были важные мысли, кот<орые> упустила.

Возникли при составлении однотомника.

Ввожу туда «Журналистов» и «Ночь в “Новом мире”<»>, — и вдруг подумалось, — а ведь все это я, и все это целиком входит в «Дневные звезды». «Д<невные> З<везды>» стали всеобъемлющей для меня формой, как жизнь. И как жизнь, они простираются вперед. Очень мечтаю о путешествии к двум Китежам.

1) Ответить Алексееву — на Малый Китеж. Утром же найти письмо¹

В Семенове — *писать стихи* и разрабатывать, не торопясь, следующие главы «Дневных звезд», а главное, навёрстывать жизнь,

¹ Фрагмент со слова «Ответить» до слова «письмо» взят в квадратные скобки.

упущенную за годы пьянства и глупой бабьей тоски о Ю<ре>... Жить, глядеть на травы, на цветы, на лес...

2) Найти записи к «Первороссийску» — сценарию, главное, где о сектантах. По возможности, завтра.

Посетить тетю Катю, связаться с М.И. Гавриловым...

Они помнят мало и плохо, еще хуже рассказывают о себе. Я — поэт — их память и их язык.

Читая роман Кетли, — думала, что можно написать роман о «Цехе фантазеров», — начало 30<-х>, о том как строили-строили быт<овую> коммуны — и ничего не получилось. Это будет архи-современно...

Как потом, когда уже ничего не выходило, они стали при-творяться, что — напротив, — все чудесно получается, *им ведь жаль было мечты*, стали [<1 сл. нрзб>] лицемерить и фальшивить, и тут уж окончательно все погибло и кто-то не выдержал и завопил...

Радио и продолжение работы над «Доброе утро»... Начать с писем. В традиции «Говорит Ленинград». Письмо с Каспийского моря, — о зайце.

— «— анонимка, — “Сходите-ка на Пискаревское кладбище и послушайте, что Вам скажут”<>>

Ходили. С чехом Борисом Цветановым-Петроффом. Венки от ГДР. «Героическим защитникам Ленинграда, его славным юношам, девушкам и женщинам от ГДР». Вот и ответ на гутен морген.

Отсюда — переход к ООН.

Там идет борьба за душу человека. За то, что будет владеть ею? Руководить ее действиями? Страх, отчаяние, неверие человека друг другу, а отсюда — неверие в возможности человечества, или — уверенность, радость жизни, наслаждение жизнью и всей нерушимой красотой ее?

Нет, второе, второе.

Борьба за душу — в речи Н<икиты> Х<рущева> на приеме Саудовской Аравии.

Т<ак>-т<ак>. Между нами говоря — отлично работают наши! Т.е. прогрессивные силы мира. Шенбери, Кастро, У-Ну, и, конечно, Хрущев.

Я чувствую себя помолодевшей, как в дни, когда мы демонстрировали против лорда Керзона, — «лорду в морду!..»

[Не от] *И*

Ах, не для себя одной

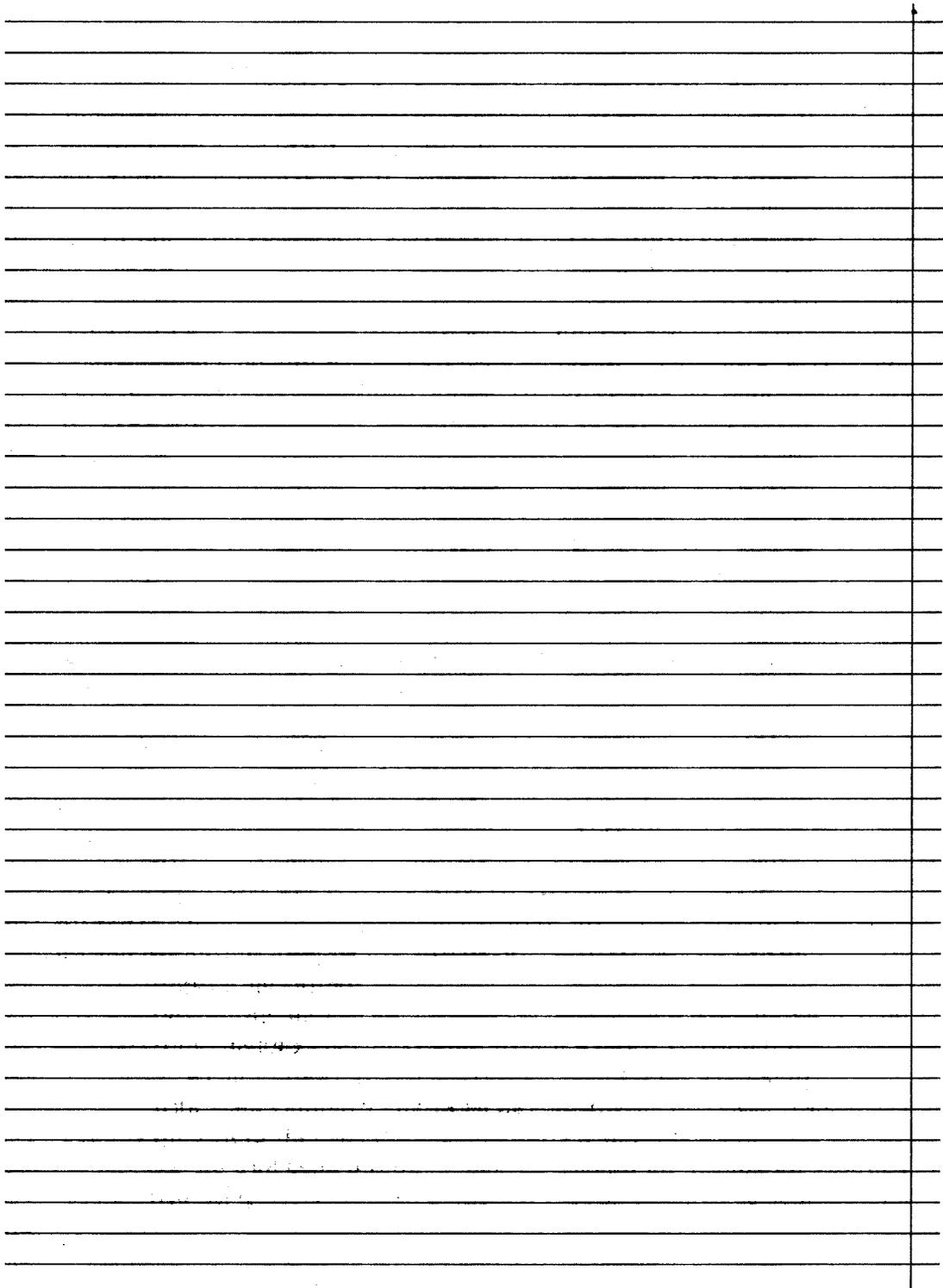
Не для старости

Для всей <юности> ради ее радости

И не поздно

Сохраним навсегда

Дождь звездный



ГОД

1963

—
1964

5/IV-63

У Анны Ахматовой.

Она неузнаваемо оплыла, погрузнела, опухла. На ходу у нее колышется живот и огромные груди. Стала тугоуха. *Во рту единственный зуб. Шамкает.*

(Говоря в статье о радио периода Войны, — написать о передаче Анны Ахматовой из квартиры Зощенко, о выступлении по радио Шостаковича и т. д.)

И все-таки она — Ахматова, королева-бродяга.

Она подарит мне экземпляр «Реквиема». Я всегда думала, что он у нее все же цел. Заполняя анкету, на вопрос «пол», саркастически заметила: «Ну, на этот вопрос мне трудно ответить. Я просто сделаю *такой длинный* прочерк...»

Мне надо снести ей «золотую книгу», показать рукопись своих стихов...

Ирина Дудина сказала о происходящем ныне в искусстве.

— Это чудовищно... Взять и на несколько лет остановить естественное развитие искусства!

До меня все еще, видимо, не доходят размеры бедствия и все еще кажется, что «меня это не касается». А между тем — это ведь не так. Впрочем, нечего заранее голосить и причитать. Сдать рукописи — там видно будет. И — не пугаться. И — бороться. «Не дадим под флагом борьбы с Евтушенковщиной отнимать у нас завоевания XX и XXII съездов. Мы — поколения этих съездов...»

(Послать письмо и книги А. Н. Кузнецову, рассказать о движении за памятник, м<ожет> б<ыть>, нек<оторые> вырезки, указать № газет.)

9 июня 63.

Проба машинки. Самой не верится, что смогу работать. Вроде даже как и пальцы не слушаются. Какие бы очки я ни втирала окружающим, у меня самой отчетливое сознание, что как никогда я близка к окончательному падению. Даже не внешне, а внутренне. Сначала после разрыва с Юрой (в этом я могу признаться себе), и окончательно после «исторических встреч» — что-то лопнуло во мне внутри — видимо, окончательно и бесповоротно. «Общая идея» исчезает окончательно, суррогатов для нее нет и не может быть, человеческое и женское одиночество — беспросветно. Временами, несмотря на совершенно бесспорную, огромную и звучную славу, я чувствую, что — а ведь жизнь-то у тебя, матушка, — не удалась. Бобылка, бесплодная смоковница, и вот она — одинокая и совершенно недостаточно обеспеченная старость... С Женей все надо считать поконченным. Да и что тут удивительного — много ли радости якшаться с почти всегда пьяной бабой? А тут еще этот нелепый криз во время исторической встречи, больница Склифосовского, и опять водка, водка, от которой не отстать, и полное нежелание работать, — вялость, ослабленность духовной мускулатуры — предельная. А потом в Ленинграде — этот идиотский перелом ребер, ненавистная Свердловка и в довершение всего — после криза, беспробудного пьянства и, несомненно, душевной перебууровленности, — как кулаком ударили по морде — весь мой некогда изумительный зубной фасад зашатался и стал вылезать чуть ли не сам собой. Выдернули сразу пять зубов, — ну и страшенькая я была все время, пока готовили протез. И так это меня деморализовало — больше любых душевных встреч: старость! Самая настоящая, самая стопроцентная старость! И никому я больше не нужна (только что народу!), и никто уже не будет любить, и ни с кем не лягу я в постель — и ведь это навсегда, до смерти. А работы много, и может быть, она смогла бы кого-нибудь согреть и утешить в неприютной нашей, лицемерной и до ужаса лживой жизни.

А у меня с ней так: вот вдруг загорюсь, набрасываю, записываю эпизоды и сцены, и вдруг — как у Крамольникова: «Не нужно, не нужно, не нужно»... Все мы с ужасом и отвращением ждем очередного пленума ЦК по идеологическим вопросам — ничего хорошего ждать нельзя. При существующем перепуге книжка стихов моих и вторая часть Дневных — фактически обречена. У меня же не хватает сил, — расшатанных пьянкой и душевным изнурением,

«дерзко бросить им в глаза железный стих» с расчетом на дальнейшую борьбу за «продвижение» в печать.

Ну, хватит соплей. И так сегодня проболталась весь день, а могла бы сдать очерк Васильеву и написать заявку по Первороссийску.

И вот уже вечер, а ничего почти не сделано.

Какое-то оцепенение все время нападает. Сидел бы вот и только думал. И — все... Ну, хоть кровь из десен, а хоть Васильеву надо что-то написать. Точнее — выправить свое предисловие к «Говорит Ленинград» и дополнить его. Перечитывала сейчас свои тогдашние выступления и — почти не взволновалась, точно и все прошлое обесцветилось и обезвкусилось.

Ну совершенно вот так, даже еще хуже, как есть с протезом во рту. Господи, как он меня мучит!

<27 октября 1964> .

Итак, уже 27 октября. Все сроки сдачи сценария пропущены.

Пусть мечутся листки календаря,
пусть будет долгодневный твой путь.

Но день
двадцать шестого октября
— забудь о нем. Как не было. Забудь.

И он вчера прошел — этот день. Лежала в состоянии тяжелого похмелья — опять на три дня дернул запой, — да ведь какой страшный...

О, Господи, дай жгучего страданья
И мертвенность души моей развей...

То есть в наихудшие времена сталинщины не испытывала я такой мертвенности! Разве что в первый день после того, как очутилась в больнице, — но уже через день все снова было в норме и хотелось жить и работать, работать, и снова верил в себя, и тут же что-то начинал делать. Но ведь теперешняя мертвенность тянется больше года, сопровождаемая почти непрерывными запоями, с редкими просветами и натужной работой, почти без вдохновения, с от-

сутствием выраженных желаний, кроме желания — «Оставьте меня в покое! Оставьте! Оставьте меня».

Особенно страшны последние дни. Перед этим — смерть Миши Светлова — ведь был к ней готов и все-таки, — как обухом по голове.

И рухнула за нашими плечами
 Вся молодость и вся мечта ее...
Это рухнула молодость века,
Наша молодость — за спиной¹

А потом весь этот кавардак с Пленумом, снятием Хрущева, — вся эта неумная ложь, оскорбительная и до вопля, до воя надоевшая. О, как хочется сказать: «Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас!» В который раз так хочется сказать, и в который раз начинает замирать и колотиться сердце при всех этих сообщениях, собраниях, раздумьях... И опять — единственный выход чуть-чуть на время снять это мучительное состояние — выпить, выговориться, хоть у себя на кухне, уснуть (снотворные уже больше просто не действуют), а наутро — похмельная тоска и недоумение перед собственной жизнью, как перед смертью...

А «Первороссийск» стоит, а «Дневные» застыли — и до того стыдно перед Твардовским.

И книга стихов тем самым лежит, и я дождусь, что все это опять может оказаться под запретом, — поди, узнай, в какую сторону, в дальнейших поисках «ленинских норм» повернет наше правительство? Невозможно вырваться из лжи. Что толку, что в сценарии и книге Я ЛИЧНО не буду врать? Тут опять так же, как и раньше: молчишь о главных болях своих...

А «Первороссийск» перестучать все же надо. Ни малейших надежд я на него не возлагаю — хорошо, пусть будет хоть материальная обеспеченность и чистая совесть — сдала не халтуру все же, а порядочное произведение...

Вечер.

Ну, что же — «еще один ненастный день потух», — причем бесплодно. Ведь это же самообман — будто бы я беру разгон и вся-

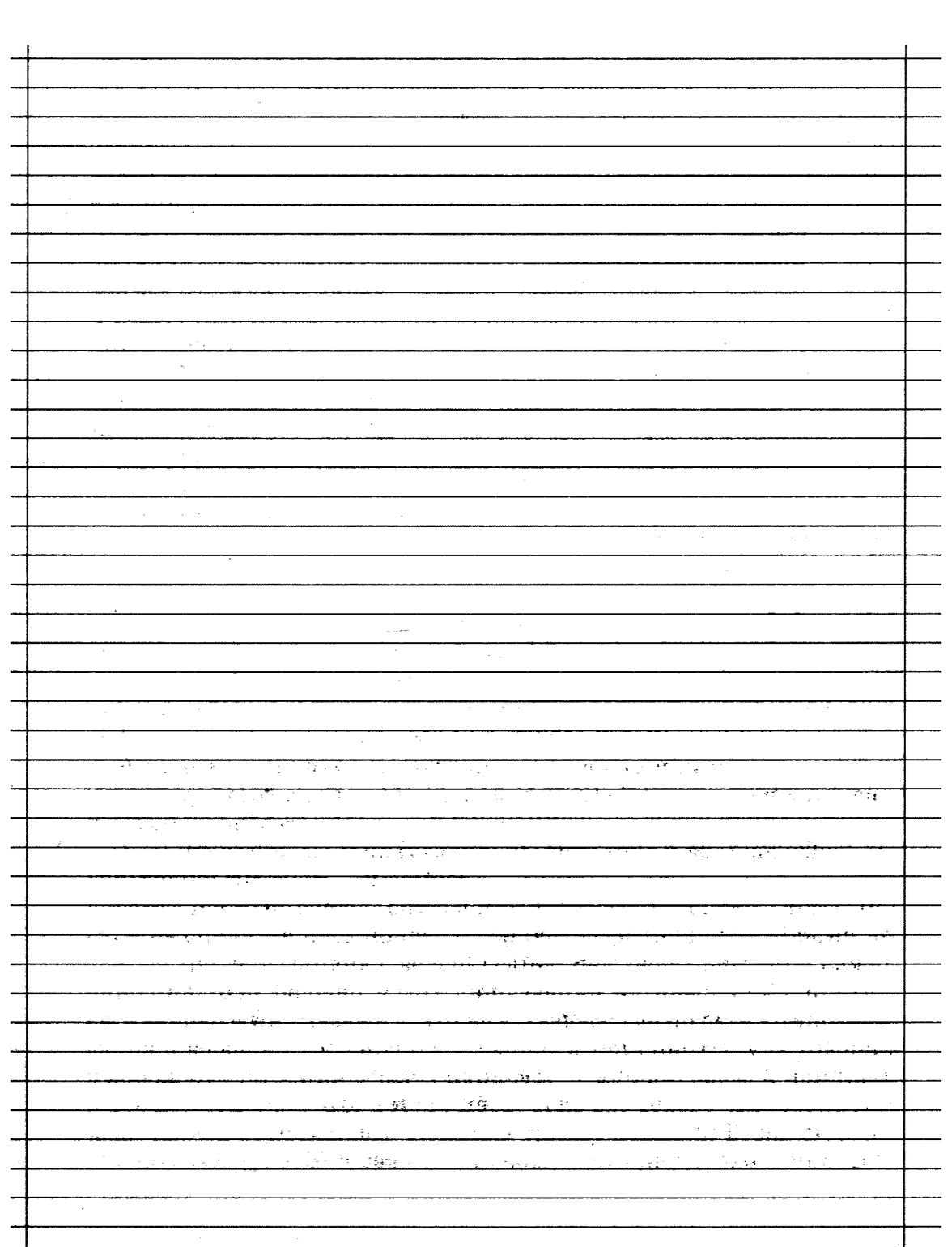
¹ Фрагмент со слова «Это» до слова «спиной» отчеркнут.

кие штучки. Не беру я разгон, а просто противно, неохота писать — лень. Просто распустилась, матушка. Просто-напросто распустилась... Я все утешаю себя, что у меня настолько все готово, что стоит мне в хорошем состоянии сесть и написать, — так все сразу и напишется. Да и вообще-то это правда — сейчас я могу писать, как говорится, с закрытыми глазами — это не «Звезды», где по сути композиционно ничего не решено, а есть лишь общий магический кристалл...

Нет, нет, сегодня к вечеру состояние явно лучше, хотя, кажется, и не спала ни часу ночью. Я сейчас, особенно после приема лекарства, часто не знаю — сплю я или нет: лежу тихонько — и все. Нет «кружения мыслей» — и ладно.

Может быть, усну сегодня! О, господи — я все еще верю, что к жизни вернусь....

Ничего, ничего — это действительно разгон, а то я и клавиатуру-то позабыла, и печатаю только двумя пальцами...



ГОД

1965

—

1966

И облака под их ногами превращаются в клубы снега, вьюги.

12/II-65 г.

Ну, кто бы, кто бы встряхнул меня, чтоб на предельно чистой и высокой струне завершить мне мой «Первороссийск»? Нет ведь такого человека. А опус просто осатанел мне — хоть и грех, наверное, так говорить... Слишком затянула я с ним, слишком много легло между строчками, страницами хвастовства, обмана, дурного настроения просто...

Был какой-то взлет, когда недавно сдавала книгу стихов, и вдруг написала несколько страниц о Шварце, — ну, а потом, конечно, обрадовалась мамочка и давай свое проклятое зелье сосать. Спилась я, и секрета мне из этого хотя бы для себя — делать нечего!

Неужели же я действительно напишу вторую часть «Дневных»? Мне это кажется просто нереальным...

А вот возьму и назло всему вырвусь и выдам нечто прекрасное, как картина художника, которому завидовал Чертков... Но сперва нужно чтобы совершенно ото всего, от всей скверны очистилась душа.

И только с чистейшим сердцем,
и только склонив колено...

17 февраля.

Нет, видно до съезда зубы не поправить и вообще все заваливаю и денег не получу и вообще — полный позор.

Просто не понимаю, что же мне надо сделать, чтоб совершить этот последний рывок к завершению сценария? Ведь так

плох конец, что просто только в пьяном виде можно было его сдать и всем понятно, что это в пьяном виде диктовалось, сдавалось и т. п.

И все остальное запарываю — рецензию на «Жаворонок» и прочее...

Получила книгу стихов с машинки — столько о ней мечталось, столько кровищи в нее вложено — и даже не развернула экземпляры, мне кажется, что всюду меня подстерегает только неудача, что я совершенно ни на что не способна, кроме пьянства...

18 фев<раля>.

О чортова, о проклятущая жизнь моя! Даже слава моя обременительной стала и совершенно безотрадной: она заключается в том, что меня дергают направо и налево и не дают работать.

Но сегодня — хочешь не хочешь — трудовая, вернее, штурмовая ночь. Потому что уже вечер, и за день ничегонеделания и нервозности — уже усталость, а на завтра договорилась с Ленфильмом, что прихожу смотреть Мишкин фильм и сдаю сценарий, и иду в Стоматологический, и еще партийное собрание — нужно пойти, чтоб узнать — «чего хочет начальство», — для того, чтобы не сделать этого. Необходимо же сквитаться за «дружественные встречи»!

Дьявольски болит рот, дают очки, плохо вижу при лампе, скоро захочу спать, а утром рука так и летала по машинке, да вот кучи мелких забот, расстройство с деньгами и прочее. И вот стучу только двумя пальцами, — ну хоть более или менее бойко... Сейчас еще придет Митька Хренков, о боже, как они меня все раздражают, как противно быть без денег! Какое это распроклятое рабство — не думаю, что лучше капиталистического, — вечная нужда, и еду на съезд как блядь ободранная, и сколько ни работай, сколько ни крутись — все равно ничего не поделаешь...

Нет, не поверю, что верил.

А не молчал — это верно!

То, что было сказано на Лен<инградском> активе после облачения Авакумовского дела — «забрался на Украину и старался памятник повыше поставить».

Заявление Ильичева и Хр<ущева> о том, что никто не молчал, кроме Ильи Эренбурга подхватил, конечно, расторопный Ермилов и во всю ширь своих многолетне-натренированных легких привычно гавкнул на Эренбурга, обложил ни за что ни про что Некрасова, разоблачил и т. д.

Нет, мы молчали, ибо это был страшнейший физич<еский> и духовный террор.

Мы писали, записывали, хоронили свои вещи, полные мучительных раздирающих душу сомнений, и я писала! Писала о том, — Прочсть — Нет, не из книжек...

А потом не захотели молчать. Заговорили! И я — 15/VI-56 г. *История. Истрепапи нервы.*

И опять заставили замолчать!

Правда, каторгой не грозили. И мне говорили: «Да, но ведь теперь не сажают». Ну, знаете! Щедрин: «Как жить в стране, где наименьшая угроза — угроза каторгой?» Можно перефразировать: «Как жить в стране, где за [счасть] высшее благо почитается отсутствие каторги?...»

И все это кощунственно называлось ленинским стилем, лен<инскими> нормами, все эти кузькины матери в адрес писателей, педерас, оскорбление, невежество и т. д.

13/II — 20 лет со дня гибели генерала Карбышева. Так что же, она забудется «за давностью лет»? Не существует «давности лет» для героизма людского и для тех преступлений, которым они противостояли.

За давностью лет не отменить бессмертие, память о подвиге и, увы, — преступление тоже бессмертно. Как Кащей. Но преступники смертны. Мы не забыли Карбышева, как мы забудем его палачей?¹

Так, так, Ольга Федоровна — все задания заваливаете, в Москву отправляетесь без денег, с невыполненными обязательствами... Сегодня уже 23/II — завтра сценарий явно не сдать. Нечего и думать — получить хоть немного денег за него... А зубы мои, — о какое это несчастье и какой в общем, — срам. Надо было иметь мужество — отказаться от рецензии на «Жаворонка», а я запугала с кино все так, что дальше некуда...

¹ Записи со слов «13/II» сделаны внизу листа, отдельно от предыдущих.

Вот уже десять часов вечера — весь день не хватило силы воли встать с одра.

А вот уж и двенадцатый час...

И до того паршиво во рту, и до того одиноко и грустно, что просто хоть травись...

Да уж... Какая темная зима!

Зима полная лени, расхлябанности, безнадежности и надувательства окружающих.

Я безгранично, беспредельно развратилась, развинтилась и упиалась, пресытилась собственной славой до прямого отворачивания к окружающим...

Но страшнее всего — если останется этот посторонний, страшный кошмар и боль во рту — это уж отвратительнее всего...

Но все равно, надо хотя бы написать рецензию — иначе просто позор. Да и не так это трудно... Да — великий урон принесло мне то, что меня, попросту говоря — захвалили: теперь почти все, что я ни опубликую — вызывает восторженный сюсюк, в то время как это далеко не так. И я просто поражаюсь — нарочно они это или взаправду так думают? А вот книгу стихов опять зажали — а ведь она факт... Я с радостью не поехала бы в Москву на съезд и если еду туда, то только из-за необходимости объясниться с «Новым миром», точнее — с Твардовским...

Вот и перед ними я свинья свиньей!

Ах, ну к чорту — надо написать рецензию...

В состоянии обезоруживающей искренности, обезоруживающей беззащитности, что равносильно вооруженной беззащитности¹.

8/II-66. О. Б<ерггольц>

На съезд

Почему нет бумаги уже 50 лет Сов<етской> власти в стране, котор<ая> имеет столько леса, древесины! А все-таки почему в Сов<етской> Рос<сии> нет бумаги.

И идей тоже нет. Какая великолепная и высокая мысль охватила нас за последние годы — а никакая!

¹ Запись на листке отрывного календаря от 19 октября 1965 г.

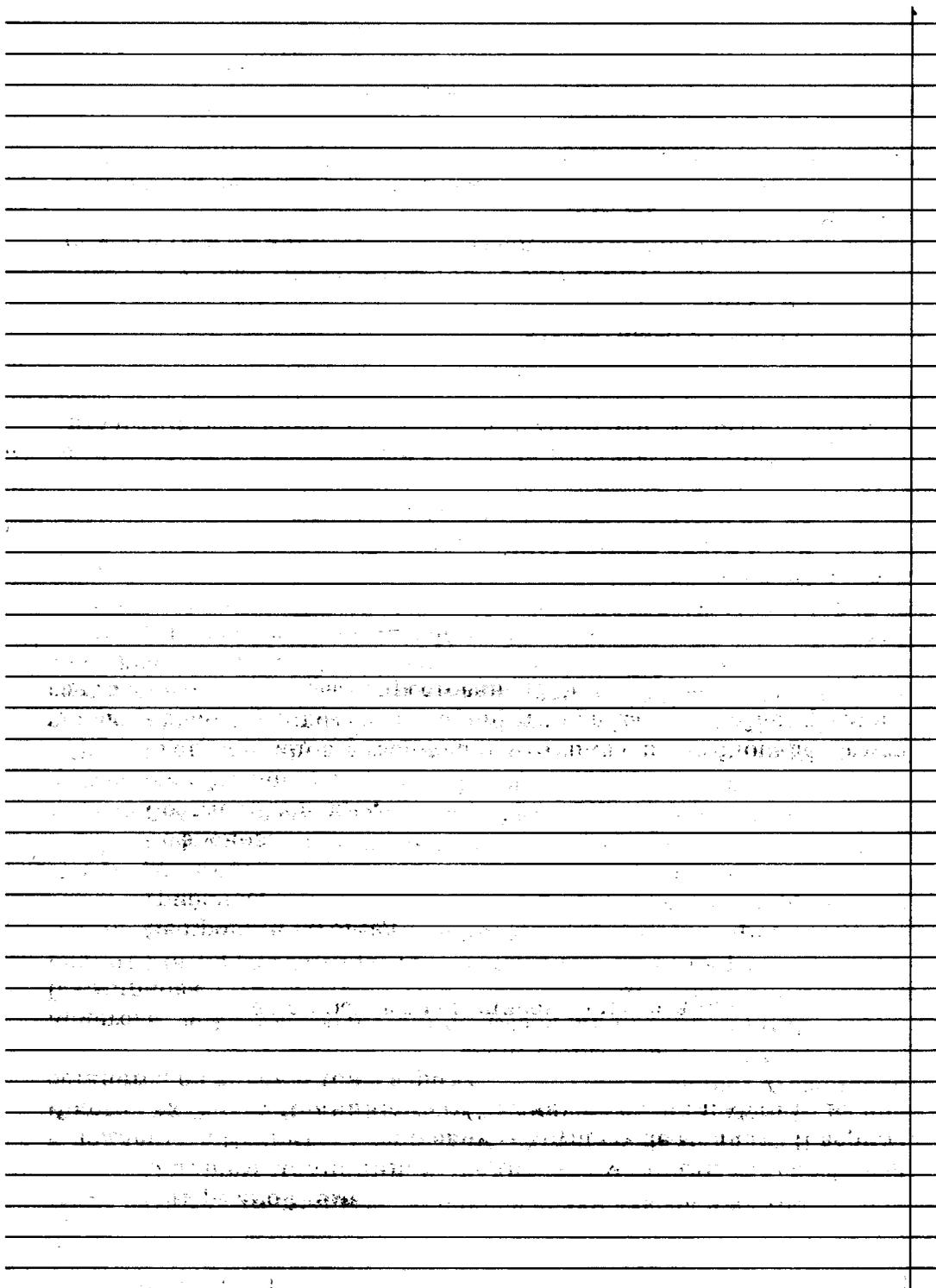
О тюремной теме

О нашем молчании. Выходит, что молчали только трусы и подлецы. А Н<икита> С<ергеевич> <Хрущев> не молчал? И верил? И когда ехал с Булг<аниным> к Сталину и говорил: «Кто-то из нас останется на воле» — тоже верил?

Кочетова, }
В. Смирнова } не включ<или> в список голосов<ания>.

Не прошли на съезд
Грибачев,
Дымшиц,
Софронов,
Соболев Леон<ид>,
еще 3 человека

Звонил Бойцов. Утверждает, что знал еще по блокаде. Самое удивит<ельное>: удивился, что пропустили абзац в автобиоог<рафии>, где говорится, что я была арестована (???)



ГОД

1971

<1 мая 1971 г.>
 Martin Sendrow¹
 Catherine Sendrow
 Акрамханова Ирина
 Sammy Adeniyi-Jones²
 Сами Аденийи-Джонс

6/V-71.

В 6 ч<асов> позвонила тетка и, рыдая, сообщила, что читали стихи Лидии Лопуховой обо мне.

<1971>

Маршак сказал однажды мне

Он занимался с сыном, и вдруг вошла кошка с котенком и стала с ним играть. Маршак сказал: «Кошка, убери своего котенка».

Но сын возразил: «Папа — не так: надо сказать: кошка, возьми своего сына и унеси его».

Кошка тотчас же унесла котенка.

— Почему ты думаешь, что так надо говорить?

Сын ответил с полным убеждением:

— Потому что каждый думает, что ОН ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК...

¹ Имя «Martin Sendrow» написано О.Ф. Берггольц на следующей строке более разборчиво.

² Список со слова «Martin» до слова «Аденийи-Джонс» записан другими лицами.

Большое поколение мое...

(Поэзия большого поколения)

Современники

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Корнилов Борис | Клюев |
| 2) Светлов Михаил | |
| 3) Луговской | |
| 4) Прокофьев Ал<ександр> | Горький? |
| 5) Твардовский — | |

Учителя

Ахматова		Маяковск<ий>
Антокольский		Есенин
Пастернак		Асеев

*Как мы его читали с Борисом
«до 5», летом! (см/об)*

Мы читали с веком наравне

Заболоцкий

(если не об<язательно>, то попутно)

Обязат<ельно>

Евг<ений> Львович Шварц (душа)*Его изящество, изящество души...*

и окружающее нас Искусство

Д. Д. Шостакович

(1, 5 симф<онии>, 1 симф<ония> «Леди Макбет», «Нос»)

Борис: «Я хочу выпить водочки... Бур-бур-бур...» К X-летию
27 г Выставка в Русском. Ужас. Троцкисты. Торжество «реализма».
Картина «Колхозники». Тупые крестьяне Золя. И в последний раз —
«Купание розового красного коня». Гм-гм? Год? 1927–1929–1930?

Эдуард Багрицкий

Челюскинцы

Процесс Димитрова (поджог рейхстага)

Англия 1926 г.

Забастовка горняков

Мы поем:

Генсовет, Генсовет
 Ты послушай меня
 Еще стоек английский горняк

Отрабатывали	}	Боже мой!
в пользу Китая (О! 71 г)		Во имя кого только мы
Англии		не демонстрировали
Испании		и не отрабатывали
Венгрии		и не мобилизовались.
Австрии	}	Великодушнейший
— они на «Эл<ектро>		народ
силе»		«Всесоединение идей» —
		опять же Достоевский

Я и теперь смотрю непримиримо
 В твои пустыни, и в глаза твои

Мечта
 И вдруг встает пред жизнью нашей
 Как тот неумолимый милый рок,
 Как вальс Болконского с Наташей
 плечики
 Как (тот) как девичий дымок
 На тонких плечиках дымок.

Речь, не сказанная в Тронном зале,
 речь, не подобающая мне,
 речь без вдохновенья¹ без печали,
 при навзрыд распахнутом окне

Трудолюбивая любовь
 верность моя

¹ Слово взято в квадратные скобки.

Я ждал полета и бытия...
 Но мертвый ястреб душа моя,
 Как мертвый ястреб лежит в пыли
 Отдавшись туго во власть Земли

Пятое обращение к трагедии (УЗЕЛ) Д/о А

О этот блеск! О эта Ницца!
 Как этот блеск меня тревожит¹
Мысль, как подстрелянная птица,
Подняться хочет — и не может.
 Э. Тютчев.
 Для о<тца?> Александра

Найти стихи

- 1) Ах, какое же эхо у нас запретили сегодня *недавно...*
- 2) Соловьи в Переделкино
- 3) О, вдруг этот [день] дождь смертоносен?
- 4) Соединение Волги и Дона
 Планетарий в Сталинграде

Слово.

Есть мысли *слово* значенье
 Темно иль ничтожно
 Но им без волненья
 Внимать невозможно
 Как полны их звуки
 Безумством желанья
 В них трепет разлуки
 В них радость свиданья
 Не встретит ответа
 Среди шума людского
 Из пламя и света
 Рожденное слово
 Но в тихой молитве

¹ Предложение взято в квадратные скобки.

Ему я отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.
Лерм<онтов>

Калвед }
Хейвуд } ± Т.Т. говорили с Лениным о

в 1920 г. Кузбассом (?)

Письмо к американским рабочим.

Москва — 71

У съезд Писателей

Телеф<он> 283-19-42 — Мишка Либединский
Люся

Федя Янчин

п/п 58545 «А»

Челноков Валентин (Валька) 371-14-98

Начало песни

Цыганка карты кладет гадальные —
Тоска на сердце, исхода¹ нет.
Дорога дальняя, тюрьма центральная
И по ночам до утра в окошках свет
Централка! Ночи полные огня...
Централка! Зачем сгубила ты меня?
Централка! Я твой бессменный арестант
Погибли юность и талант
В стенах тюрьмы...

Бурсов Иван **11-63-47**

34-62-33 (директор завода 363-06-07 которому звонят ко)

¹ Слово взято в квадратные скобки.

Берггольц
 Заглавие для книги в Москве
 «Возвращение»
 И еще раз
 узел
 испытание¹
Память

<5 июня 1971 г.>
 Мысль изреченная есть ложь.
 Тютч<ев>
 Мысль=речь=слово
 Неотделимо.
 В чем же дело?
 Разве «недостатки» отца и сына — недостатки языка, — слова? Нет — это порочное мышление

Заметка Леонова о Достоевском.
 Стихи О. Шестинского
 Разве дело здесь в «неточном языке»?

Москва 1971 — сент<ябрь>—окт<ябрь>
 1) Побывать в «Юности». Ей предложить стихи об Ахматовой
 и другие

И... юность наша
Как вальс Болконского с Наташей,
 Весь — дымка, весь — восторг²

Ей же предложить книгу «Большое поколение мое»

Дорога жизни
 Эренбург
 Шофер Марии

¹ Фрагмент со слов «И еще» до слова «испытание» взят в квадратные скобки.

² Фрагмент со слов «И... юность наша» до слова «восторг» взят в квадратные скобки.

Еще одно тридцатилетье. Живем сплошными юбилеями
и днями ведомственными.

Переделкино 1971

Увы мне эти березы
Увы мне это расставанье¹...
Увы мне любимая осень
Осень жизни моей.

Сквозь Кунцево, безлицее
Без яблика, без Багрицкого

О подмосковный яблик
Забей, забей...
Э. Багрицкий

Увы мне Кунцево безлицее
Без подмосковных бойких
Подмосковных боях ябличков, яблика
Без... без Багрицкого,

Название статей (самокритич<еские> и критич<еские>) «Меня
поправят». «Замысел приведен в исполнение».

«Завещание» Лермонтова — образец совпадения *равнозначия* мысли и слова. Ни метафор, ни «языка»

К вопросу об языке

Коля:

— Поэзия — искусство формулировки. Задача слова — обнажить мысль, выразить ее.

А все же лунная соната
Первичнее, *первой первородней*,
Чем первый луноход².

¹ Слово взято в квадратные скобки.

² Фрагмент со слов «А все» до слова «луноход» взят в прямоугольную рамку.

К «языку и содерж<анию> поэзии». Не спотыкается *Пегас* только в том случае, если он не живой конь, а деталь ярмар<очной> карусели. Увы, в карусели нашей поэзии таких пегасов — полно. Они и не могут спотыкаться, — они не летят, и не скачут, а крутятся под один и тот же для всех мотив, по единому принципу, закону, признаку¹ движению и направлению.

«А Пегас должен спотыкаться». Поэзия — не монолит, а сборище, содружество, собрание индивидуальностей, спор их между собой. Сейчас спора — нет. Нет и движения поэзии. Дискуссиями типа «физики–лирики», «О содержат<ельной> поэзии» — (каракульчевые дискуссии) — ее движения не вызовешь, ибо эти дискуссии — искусственные, не вызваны необходимостью, не вызваны внутренними потребностями самих поэтов.

С чего начался Некрасов. С Дяди Власа

Ахматовой

Боярыня Морозова угрозю
Донна Анна

И главное, в детстве — деревня (лесная)
Самокража
Речка Лягушка

Телепередача Дорога жизни

Балашов — режиссер телепередачи².

«Концерт шепотом»

Рассказ Нины Пельцер и др<угих> артистов музыкальной комедии.

Давали концерт на «Дороге жизни» в сарае. Пришли в сарай солдаты и легли, — ни скамеек, ничего не было.

Сыграли на баяне — а они спят... *Не аплодируют, а спят*

Мы обиделись.

Командир говорит:

Если я их разбужу — им снова в работу, на посты, они должны отдохнуть. Уж вы продолжайте концерт — не будите их.

И мы пели шепотом и танцевали на цыпочках... Чтоб не будить солдат... Да и нам-то так легче было — мы ведь сами еле на но-

¹ Слова «принципу, закону, признаку» взяты в квадратные скобки.

² От слова «телепередачи» проведена стрелка к слову «Концерт».

гах держались и голоса не было, — желудок пустой — <<«диафрагме не на что было опираться»». (Ф. Никитин в столовой Дома писателей.)

Концерт — шопотом
И шаг шепотом,
И танец шепотом
И слово пенье звук шопотом для усталых людей детей
А война-то рокотом
А жизнь-то ропотом
Судьба-то цокотом
Танков и ло-ша-дей.

Название новой книги стихов

Антарктида (?)

Атлантида (?)

Вот так было

Было и сплыло

И вспоминать нам об этом не следует

Ибо «партия все помнит»

Инфляция улыбок

Инфляция постановлений

(Забвеннее, чем гроб)

Недостает ошибок,

Недостает горений,

Жить и (бороться) чтоб...

Инфляция реляций

И каждый — чтец, резец венец

Инфляция реляций *О, декламатор — чтец...*

В стихах, в речах — и наконец (?)

Инфляция инфляций...

И здесь — всему конец.

И наконец — конец

Ленинграду

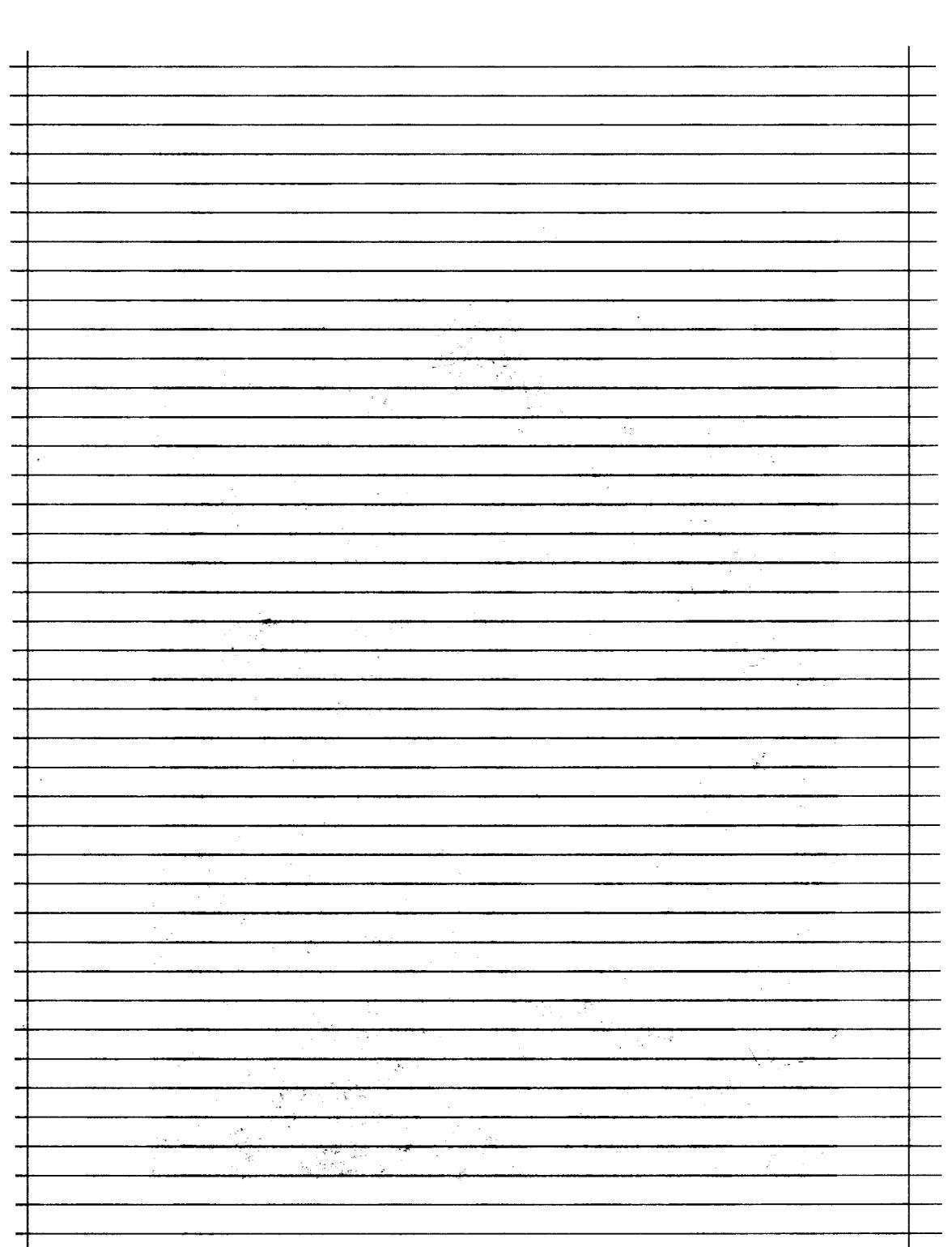
Ямбическая неприкосновенность

Твоих оград чугунных...

Не забудь!



Ольга Берггольц
Конец 1960-х



Комментарии

1941 год

22.06.41. 14 часов. Война! (с. 33).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 357. Л. 17).

Датируется 22 июня 1941 г.

Опубл.: *Берггольц О.* Из дневников / вступ., публ. и примеч. М. Ф. Берггольц // Звезда. 1990. № 5. С. 188.

3 июля <1941>, двенадцатый день войны (с. 33–40).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 359. Л. 1–8 об.).

Датируется с 3 июля по 22 августа 1941 г.

Опубл.: *Берггольц О. Ф.* Блокадный дневник (1941–1945). СПб., 2015. С. 13–21.

26/VIII-41. О, боже мой! (с. 41–42).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 358. Л. 4–4 об.).

Датируется 26 августа 1941 г.

Опубл.: *Берггольц О. Ф.* Блокадный дневник. С. 21–23.

2/IX-41. Сегодня моего папу... (с. 42–54).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 359. Л. 7 об.–15 об.).

Датируется со 2 по 22 сентября 1941 г.

Опубл. с купюрами: *Берггольц О. Ф.* О ГУЛАГе невидимом: К публикации фрагментов дневника Ольги Берггольц / публ. М. Ф. Берггольц // Апрель. 1991. Вып. 4. С. 128–137; отрывок (от 5, 12 и 13 сентября) опубл. с купюрами: Безумство преданности. Из дневников Ольги Берггольц // Время и мы. 1980. Т. 57. С. 291–297. Опубл. полностью: *Берггольц О. Ф.* Блокадный дневник. С. 23–36.

Дневники с 24/IX-41 по 27/XI-41 (с. 54–69).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 360. Л. 1–18 об.).

Датируется с 24 сентября по 27 октября 1941 г.

Отрывок (с 24 по 28 сентября) опубл. с купюрами: *Берггольц О. Ф. О ГУЛАГе невидимом...* С. 137–140; отрывок (от 5 октября) опубл. с купюрами: *Безумство преданности...* С. 297–299. Опубл. полностью: *Берггольц О. Ф. Блокадный дневник.* С. 36–51.

5 ноября 1941 года (с. 69–70).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 358. Л. 5–5 об.).

Датируется 5 ноября 1941 г.

Опубл.: *Берггольц О. Ф. Блокадный дневник.* С. 51–52.

11/XI-41. Вот опять сидим... (с. 70).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 360. Л. 18 об.–19).

Датируется 11 ноября 1941 г.

Опубл.: «...Надо выжить и написать обо всем этом книгу...». Из блокадного дневника Ольги Берггольц 1941 г. / публ. Н. А. Стрижковой // *Отечественные архивы.* 2014. № 1. С. 114.

14/XI-41. Записываю что-то... (с. 71–85).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 358. Л. 5 об.–17 об.).

Датируется с 14 ноября по 7 декабря 1941 г.

Отрывок (от 14 ноября) опубл.: *Ольга. Запретный дневник: дневники, письма, проза, избранные стихотворения и поэмы Ольги Берггольц.* СПб., 2010. С. 72; отрывок (от 24 ноября) опубл. с купюрами: *Безумство преданности...* С. 298–299. Опубл. полностью: *Берггольц О. Ф. Блокадный дневник.* С. 53–94.

8/XII-41. Сегодня за обедом съела... (с. 85–87).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 361. Л. 1–3 об.).

Датируется 8 декабря 1941 г.

Опубл.: *Берггольц О. Ф. Блокадный дневник.* С. 94–97.

10 декабря 1941. О, как застыли ноги (с. 88–90).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 358. Л. 18–18 об.).

Датируется 10 и 11 декабря 1941 г.

Опубл.: *Берггольц О. Ф. Блокадный дневник.* С. 97–99.

16/XII-41. Мы не уехали... (с. 90–94).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 361. Л. 4–8 об.).

Датируется 16 и 20 декабря 1941 г.

Опубл.: *Берггольц О. Ф. Блокадный дневник.* С. 99–104.

21/ХП-41. Ну, вот, написала вчера... (с. 94–95).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 360. Л. 20–20 об.).

Датируется 21 декабря 1941 г.

Опубл.: «...Надо выжить и написать обо всем этом книгу...». С. 114–115.

25/ХП-41. Все-таки, видимо... (с. 95–100).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 361. Л. 9–16).

Датируется с 25 по 28 декабря 1941 г.

Опубл. с купюрами и без даты: Безумство преданности... С. 299–300; полностью, но с ошибкой в дате: *Берггольц О. Ф.* Блокадный дневник. С. 105–110.

С. 33

...Муську... — Мария Федоровна Берггольц (1912–2003), младшая сестра О.Ф. Берггольц, актриса. В годы войны работала на Всесоюзном радио. Выступала на фронте с бригадами артистов. Организовала сбор продуктов для писателей блокадного Ленинграда.

Коля 26<-го> уехал со своей частью из Ленинграда... — Николай Степанович Молчанов (1909–1942), литературовед. Однокурсник О.Ф. Берггольц по ЛГУ, по окончании которого работал литературным сотрудником журнала «Вокруг света». Затем вместе с Берггольц, ставшей его женой, уехал в Алма-Ату, где был заведующим сектором районной печати в редакции краевой газеты «Советская степь».

В 1932 г. Молчанов был призван в ряды РККА, но вскоре его демобилизовали по болезни. Вернулся в Ленинград. С 1933 г. работал инструктором-методистом оборонной комиссии Оргкомитета ССП. В октябре 1934 г. поступил в аспирантуру литературного отделения Государственной академии искусствознания; в марте 1938 г. защитил диссертацию по теме «К проблеме Пушкина в 60-е годы», получив степень кандидата филологических наук. С 1938 г. работал в ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (с 1992 г. Российская национальная библиотека). В автобиографии Берггольц писала о нескольких месяцах службы Николая Молчанова: «Он был младшим лейтенантом, командиром в частях, прикрывавших наше отступление, уходивших последними. Он получил две благодарности от командования и — к концу августа его демобилизовали с белым билетом как инвалида...» (*Берггольц О.* Собрание сочинений: в 3 т. Л., 1990. Т. 3. С. 488). Молчанов умер 29 января 1942 г. в блокадном Ленинграде. По неподтвержденным сведениям, похоронен в братской могиле на Пискаревском кладбище.

Маргарита... — Маргарита Степановна Довлатова (1907–1975), старший редактор издательства «Молодая гвардия», подруга О.Ф. Берггольц.

Маруся Машкова... — Мария Васильевна Машкова (по мужу Марина; 1909–1998), библиотекарь, книговед; с 1930 г. сотрудник ГПБ. Близкий друг О.Ф. Берггольц и Н.С. Молчанова по ЛГУ. О дружбе с О.Ф. Берггольц см.: *Машко-*

ва М. В. Из блокадных записей // Публичная библиотека в годы войны, 1941–1945: дневники, воспоминания, письма, документы. СПб., 2005. С. 14–53.

...Волька... — Всеволод Александрович Марин (1909–1970), литературовед; муж М. В. Машковой; друг О. Ф. Берггольц и Н. С. Молчанова. С октября 1935 г. заведующий Консультационно-библиографическим кабинетом Ленинградского представительства Партиздата. С ноября 1941 г. заместитель директора по административно-хозяйственной части ГПБ (подробнее см.: *Машкова М. В. Из блокадных записей*).

...Ваня Рожанковский... — Иван Иванович Рожанковский (1905–1984), журналист, друг О. Ф. Берггольц и Н. С. Молчанова (вместе работали в Алма-Ате, в газете «Советская степь»). Вернувшись в Ленинград, работал в газете «Большевик».

Левка Канторович три дня назад был убит. — Лев Владимирович Канторович (1911–1941), писатель, сценарист. Погиб 30 июня 1941 г. Посмертно награжден орденом Красного Знамени и медалью «За оборону Ленинграда». Похоронен на Волковском кладбище.

...горлит... — Гордское управление Главлита (Главного управления по делам литературы и издательств), орган советской литературной цензуры, в Ленинграде находился по адресу: улица Садовая, д. 14.

...старик Иона Кугель... — Иона Рафаилович Кугель (1871–1941/1942), журналист, редактор газеты «Киевская мысль», журнала «Огонек» и др. На протяжении ряда лет работал в «Красной газете», заведовал вечерним выпуском. Умер во время блокады за рабочим столом.

...в радиокomitee... — Ленинградский радиокomitee располагался по адресу: улица Пролеткульта, д. 2 (ныне Дом радио, улица Малая Садовая, д. 2).

С. 34

...к Паюсовой... — Татьяна Георгиевна Паюсова, заведующая сектором культуры Ленинградского горкома ВКП(б), с 1946 г. заведующая кафедрой политэкономии Ленинградского инженерно-строительного института; жена поэта А. Е. Решетова.

...проклятого Гитлера. — Адольф Гитлер (1889–1945), основоположник национал-социализма, фюрер (глава) Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), Верховный главнокомандующий немецких вооруженных сил (вермахта). Агрессивная внешняя политика А. Гитлера стала одной из главных причин Второй мировой войны; многочисленные преступления нацистского режима также связаны с его именем.

...инициатива Ахматовой. — Анна Андреевна Ахматова (настоящая фамилия Гуренко; 1890–1966), поэт. С О. Ф. Берггольц была знакома с 1928 г. О. Ф. Берггольц вспоминала: «Мы записывали ее не в студии, а в писательском доме... в квартире М. М. Зощенко. Как назло, был сильнейший артобстрел. Я запи-

сала под диктовку Анны Андреевны ее небольшое выступление, которое она потом сама выправила» (Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 347).

...мое пребывание в тюрьме. — О. Ф. Бергольц была арестована 13 декабря 1938 г. В обвинительном заключении говорилось: «...Бергольц О. Ф. <в деле фамилия Бергольц везде пишется с ошибкой. — *Ред.*> было предъявлено обвинение в том, что она являлась активной участницей контрреволюционной террористической организации, ликвидированной в г. Кирове, готовившей террористические акты над т. Ждановым и т. Ворошиловым; в том, что квартира Бергольц в г. Ленинграде являлась явочной квартирой террориста Дьяконова Л. В., который в 1937 г. приезжал к ней и совместно с ней намечал план убийства т. Жданова, т.е. в пр. пр. ст. 58–8, 58–10 и 58–11 УК РСФСР Постановлением Управления НКВД ЛО от 2 июля 1939 следственное дело по обвинению Бергольц О. Ф. за недоказанность состава преступления производством прекращено. 3 июля 1939 г. Бергольц О. Ф. из-под стражи освобождена» (Соколовская Н. «Тюрьма — исток победы над фашизмом» // Ольга. Запретный дневник. С. 344). «Тюремные» стихи впервые были опубликованы в сб. «Узел: Новая книга стихов» (М.; Л., 1965).

С. 35

...испуганных, деморализованных людей, жаждущих убежать из Ленинграда... — Панические настроения, отсутствие информации оказывали свое влияние на людей, не знавших, на что надеяться и чего ждать. Тем не менее источники свидетельствуют, что одной из особенностей первого периода эвакуации, продолжавшегося с 29 июня по 27 августа 1941 г., было, напротив, нежелание населения эвакуироваться из Ленинграда. По мнению С. В. Ярова, «многое тогда оценивалось блокадниками по фронтовым меркам. Покинуть город означало, по их мнению, проявить трусость и подлость, а уехавшие иногда даже назывались дезертирами. Нежелание блокадников покидать город, возможно, в какой-то мере обуславливалось плохо скрываемым презрением к тем, кто стремился уехать» (Яров С. В. Блокадная этика: представления о морали в Ленинграде 1941–1942 гг. СПб., 2011. С. 513–514). Как писал в своем дневнике Владимир Ге: «Люди раздваивались в своих мыслях. Тревога за судьбу своих детей, опасения еще не испытанных, но неизбежных бомбардировок города побуждали к эвакуации. Боль за утраты родного очага, квартиры, любимого города, различные опасения за “неустроенность” жизни на новом, чужом месте — все это притягивало людей к своему обжитому годами домашнему уюту» (Ге В. Дневник. Запись 25 июля 1943 г. // Ленинградцы. Блокадные дневники: из фондов Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. СПб., 2014. С. 208–209).

- Гитлер со своими мото-механизированными частями — под Псковом.** — Псков был оккупирован 9 июля 1941 г., освобожден 23 июля 1944 г.
- ...схожу к Ахматовой...** — Вплоть до отъезда в эвакуацию в сентябре 1941 г. А. А. Ахматова жила в южном дворе флигеле Шереметьевского дворца по адресу: набережная реки Фонтанки, д. 34, кв. 44.
- ...подготовлюсь к завтрашнему зачету — по Г.С.О.** — «Готов к санитарной обороне», программа массовой санитарной подготовки населения. Включала в себя изучение правил оказания первой медицинской помощи, а также гигиены и правил санитарно-химической защиты.
- ...провожу Юрку...** — Юрий Павлович Герман (1910–1967), писатель. С отцом, офицером-артиллеристом, прошел Гражданскую войну. В Ленинграде с 1929 г. учился в техникуме сценических искусств. Печатался с 1928 г., в 17 лет написал роман «Рафаэль из парикмахерской». Однако профессиональным литератором стал считать себя после выхода романа «Вступление» (1931), одобренного М. Горьким. Написал цикл рассказов о Ф. Э. Дзержинском «Железный Феликс», «Лапшин», «Сын народа» и «Друг народа»; трилогию «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек», «Я отвечаю за всё» (1958–1965). Отношения Германа с О. Ф. Берггольц, которые длились всю жизнь, можно было бы определить как переходы от романтической дружбы к вражде и снова возвращение к дружбе. Подробнее об этом написал их общий друг критик Л. И. Левин в книге «Дни нашей жизни. Книга о Ю. Германе и его друзьях» (М., 1981). Был корреспондентом Совинформбюро, служил на Карельском фронте.

С. 36

- ...за ежовщину...** — Ежовщина, период репрессий 1937–1938 гг., названный так по имени руководителя НКВД Николая Ивановича Ежова (1895–1940). Другое название — «Большой террор» (термин был введен в оборот британским историком Робертом Конквестом в 1968 г.).
- ...в связи со своей эпилепсией...** — С 1932 г. Н. С. Молчанов служил в армии в Средней Азии, в Мерве и Кушке. Как писала О. Ф. Берггольц в автобиографии: «Николай приехал из армии с тяжелой эпилепсией» (*Берггольц О. Собрание сочинений. Т. 3. С. 406*).
- ...управдомом...** — Должность управдома была введена Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР «О сохранении жилищного фонда и улучшении жилищного хозяйства в городах» от 17 октября 1937 г. Управдом отвечал за правильное ведение домашнего хозяйства, своевременный ремонт дома и надлежащее его качество, содержание в порядке дома и его санитарно-технических устройств, а также мест общего пользования в квартирах.
- ...нач группы самозащиты Фоминым.** — Н. Н. Фомин, начальник группы самозащиты д. 7 по улице Рубинштейна.

- ...**Леонов...** — Савелий Родионович Леонов (1904–1988), прозаик; жилец д.7 по улице Рубинштейна.
- ...**тетю Дашу...** — Дарья Власьевна, соседка О.Ф. Берггольц по дому. 5 декабря 1941 г. Берггольц написала о ней стихотворение «Разговор с соседкой» (опубл. впервые: Знамя. 1942. № 8. С. 97; в составе цикла «Стихи о женщинах Ленинграда»).

С. 37

- ...**зав<едующая> нашей столовой...** — В д.7 по улице Рубинштейна была своя столовая.
- ...**ходили по ЖАКТам...** — ЖАКТ, жилищно-арендное кооперативное товарищество. Многие по привычке использовали это слово, хотя согласно Постановлению ЦИК СССР и СНК СССР «О сохранении жилищного фонда...» от 17 октября 1937 г. ЖАКТы упразднились, а дома передавались местным советам и государственным предприятиям.
- ...**с предложением снова эвакуировать всех детей до 13 лет.** — Первая волна эвакуации продолжалась с 29 июня по 27 августа 1941 г. За это время был эвакуирован в Ленинградскую, Ярославскую, Кировскую и Свердловскую области 395 091 ребенок. Детей вывозили без родителей, в составе дошкольных учреждений или школ, в сопровождении педагогических и медицинских работников. Уже со 2 июля эшелоны с эвакуированными детьми стали подвергаться непосредственным угрозам атак немецкой авиации, а Ленинградская область оказалась под угрозой захвата. Это потребовало скорейшей реэвакуации, и 175 400 детей были возвращены обратно в Ленинград. Кроме того, важно отметить, что сама эвакуация проходила со значительными задержками, связанными с плохой организацией и с нежеланием людей эвакуироваться. Взрослого населения, а также рабочих и служащих предприятий и учреждений за тот же период было эвакуировано 269 012 человек (см.: Ленинград в осаде: сборник документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 1941–1944. СПб., 1995. С. 301).
- ...**плохо на кексгольмском направлении?** — Кексгольм (ныне Приозерск; до 1940 г. принадлежал Финляндии) был оккупирован финляндскими войсками 21 августа 1941 г. Освобожден 24 сентября 1944 г.
- Бомбят Москву, верно, — не так, как Лондон, но все же.** — Регулярные бомбежки Москвы начались 22 июля 1941 г. Воздушные налеты на Лондон («Лондонский блиц») в ходе так называемой Битвы за Британию начались 7 сентября 1940 г. и продолжались 57 ночей подряд (см.: Слик М. Асы союзников. Смоленск, 2000. С. 83).

- ...для «Литературного современника»... — «Литературный современник», журнал, орган Ленинградского отделения ССП; выходил с 1933 по 1941 г.; главный редактор — М. Э. Козаков.
- ...о дружинницах... — К июлю 1941 г. в Ленинграде действовало более 3700 первичных организаций Красного Креста, в которых состояло примерно 300 тыс. человек. К началу сентября количество организаций выросло до 4000. Благодаря курсам медсестер, санитарных дружин и кружков «Будь готов к санитарной обороне!» за 1941 г. в Красную армию и части народного ополчения влилось свыше 12 тыс. сандружинниц, более 6000 медсестер были направлены в госпитали Ленинграда (см.: Дзенiskeвич А. Р. и др. Непокоренный Ленинград: краткий очерк истории города в период Великой Отечественной войны. 2-е изд. Л., 1974. С. 79–80).
- ...наши войска оставили город Смоленск... — Смоленск был оккупирован 16 июля 1941 г., освобожден 25 сентября 1943 г.
- «Война на чужой территории малой кровью»... — Военная доктрина Красной армии о предполагаемом характере боевых действий, часто декларируемая накануне войны (Правда. 1939. 1 января). Цитата, используемая О. Ф. Берггольц, — контаминация двух высказываний К. Е. Ворошилова. Одно было произнесено на I Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 г. («Победить врага, если он осмелится на нас напасть, малой кровью, с затратой минимальных средств и возможно меньшего количества жизней»), другое — на митинге в Киеве 16 сентября 1936 г. («...если противник появится, бить его обязательно на его территории») (Ворошилов К. Е. Статьи и речи. М., 1937. С. 641, 656).
- ...немцы взяли уже Минск, Житомир... — Минск был оккупирован 28 июня 1941 г., освобожден 3 июля 1944 г. Житомир был захвачен 9 июля 1941 г., освобожден 12 ноября 1943 г.

С. 38

- ...«отцы города»... — Имеются в виду Андрей Александрович Жданов (1896–1948), 1-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б); Петр Сергеевич Попков (1903–1950), председатель Ленинградского горисполкома; Алексей Александрович Кузнецов (1905–1950), 2-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б).
- ...рытье траншей на Средней Рогатке... — Имеется в виду исторический район С.-Петербурга, бывшая немецкая колония (1765). До 1958 г. — поселок, после — в составе Московского района. В 1975 г. в районе Средней Рогатки, на площади Победы, построен Монумент героическим защитникам Ленинграда.
- Оставлен Николаев и Кривой Рог — Николаев был оккупирован 16 августа 1941 г., освобожден 28 марта 1944 г. Кривой Рог был оккупирован 15 августа 1941 г., освобожден 22 февраля 1944 г.

...из Детского села... — Детское Село, пригород Ленинграда. До 1918 г. — Царское Село, в 1918–1937 гг. — Детское Село, с 1937 г. — г. Пушкин. В настоящее время входит в состав Пушкинского района С.-Петербурга.

Нашими войсками оставлен Кингисепп... — Кингисепп был оккупирован 14 августа 1941 г., освобожден 1 февраля 1944 г.

С. 39

Кажется, взят и Новгород. — Новгород был оккупирован 15 августа 1941 г., освобожден 20 января 1944 г.

...поговору с Жарковым. — Жарков, секретарь партийной организации завода «Электросила», к которой была прикреплена О. Ф. Берггольц.

Но когда решетки люков ≈ лягут и умрут. — Цит. стихотворение «Галерный раб» (1915?) Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936) в переводе М. А. Фромена (1936).

Надеюсь на Англию и Америку. — Возможно, речь идет об Антигитлеровской коалиции. До начала войны с Германией СССР не входил в Антигитлеровскую коалицию. Советский Союз подписал соглашение с Великобританией о совместных действиях в войне против Германии 12 июля 1941 г., но лишь 24 сентября 1941 г. присоединился к Атлантической хартии США и Великобритании. Экономическая помощь в виде поставок по ленд-лизу официально началась только 1 октября 1941 г., поэтому в данном контексте подразумеваются, скорее, некие надежды О. Ф. Берггольц, еще не имеющие формального обоснования.

Доспех тяжел ≈ Молись. — Цит. стихотворение «Опять над полем Куликовым...» из цикла «На поле Куликовом» (1908) А. А. Блока.

С. 40

Сегодня взят Гумель... — Гумель был оккупирован 19 августа 1941 г., освобожден 26 ноября 1943 г.

Говорят, что они взяли уже Тайцы. — Поселок Тайцы Ленинградской области был оккупирован 11 сентября 1941 г., освобожден 22 января 1944 г.

Ворошилов объявил... — Климент Ефремович Ворошилов (1881–1969), советский военачальник, Маршал Советского Союза. Имеется в виду воззвание к ленинградцам, вышедшее в «Ленинградской правде» 21 августа 1941 г. за подписями К. Е. Ворошилова, А. А. Жданова и П. С. Попкова. В воззвании отмечалась непосредственная угроза нападения немцев на Ленинград, шел призыв ко всем слоям населения встать на защиту города, приложить все силы для победы (см.: Шумилов Н. Д. В дни блокады. М., 1977. С. 82–84).

...мама... — Мария Тимофеевна Берггольц (урожд. Грустилина; 1884–1957), домашняя хозяйка; окончила курсы кройки и шитья А. Л. Базаровой, всю жизнь подрабатывала шитьем.

- ...Мишка...** — Михаил Юрьевич Лебединский (1931–2006), сын М. Ф. Берггольц и писателя Ю. Н. Лебединского; по образованию экономист, член Московского историко-родословного общества. Печатал свои литературные произведения под псевдонимом М. Грустилин. В описываемое время был в эвакуации с бабушкой в Чистополе.
- ...Молчановы...** — Семья Н. С. Молчанова: мать Мария Гордеевна Молчанова (урожд. Сысоева; 1877–1963); сестры Виктория (Торка, Тора) (?–1978) и Ольга (1902–1971); брат Владимир (1911–1991). Отец Степан Николаевич Молчанов погиб в железнодорожной катастрофе в 1917 г.
- ...по бредовому заданию Юры Макогоненко...** — Георгий Пантелеймонович Макогоненко (1912–1986), литературовед; третий муж О. Ф. Берггольц. В 1941–1942 гг. заведующий литературно-драматической редакцией Ленинградского радиокомитета. Был уволен 25 июля 1942 г. за «политическую ошибку». Причиной изгнания стал выпуск в эфир поэмы З. К. Шишовой «Дорога жизни» (см. письмо от 27 июля 1942 г. Е. Р. Малкиной, редактора радиокомитета, к А. А. Фадееву в коммент. к с. 212). С августа 1942 по 1944 г. военный корреспондент при ПУБАЛТе. Соавтор пьесы «Они жили в Ленинграде».
- ...Яшка...** — Яков Львович Бабушкин (1913–1944), художественный руководитель Ленинградского радиокомитета, друг О. Ф. Берггольц. По его инициативе в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 г. была исполнена Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича и был создан Гродской (Блокадный) театр. В апреле 1943 г. уволен из радиокомитета и отправлен на фронт.

С. 41

Там море движется ≈ голубыми небесами... — Цит. стихотворение «Ненастный день потух; ненастной ночи мгла...» (1824) А. С. Пушкина.

Какое счастье было в прошлом, году: Коктебель... — Летом 1940 г. О. Ф. Берггольц отдыхала на юго-востоке Крыма, в Коктебеле, в Доме творчества писателей.

И еще там был Сережа... — Сергей Сергеевич Наровчатов (1919–1981), поэт; друг О. Ф. Берггольц.

С. 42

...это <оюз> Писателей... — Имеется в виду Ленинградское отделение ССП. Находилось по адресу: улица Воинова (ныне Шпалерная), д. 18.

...Витька, погибший в концлагере... — Виктор Васильевич Беспамятнов (1903–1938), писатель; ответственный секретарь Ленинградского отделения ССП. Лето 1935 г. О. Ф. Берггольц провела вместе с ним в Крыму; под этим настроением было написано стихотворение «Севастополь» (1936). В дневнике за 15 июля 1936 г. О. Ф. Берггольц писала: «Стихи, идущие в “Звезде”, — поименованы — “Карадаг”, “Феодосия-Симферополь” и т. д., а многие знают о наших отношениях с Витькой в то лето и то, что я ездила с ним в Севастополь» (Берг-

гольц О. Ф. Мой дневник. М., 2017. Т. 2: 1930–1941. С. 371). Беспамятнов был арестован 26 сентября 1937 г.; расстрелян 17 февраля 1938 г. Место гибели неизвестно.

Сегодня моего папу вызвали в управление НКВД... — Федор Христофорович Берггольц (1885–1948) окончил в 1914 г. медицинский факультет Юрьевского университета, числился в адъюнктуре при кафедре военной хирургии. Ушел добровольцем на Первую мировую войну, служил хирургом 39-го полевого запасного госпиталя. С 1918 по 1920 г. участник Гражданской войны: старший врач 5-го врачебно-санитарного поезда. С 1921 г. до начала Великой Отечественной войны работал врачом хирургического отделения амбулатории фабрики «Красный ткач им. Э. Тельмана» (бывшая Нортон). О нем см.: *Пономарева Г. М., Шор Т. К.* Федор Берггольц — студент Тартуского (Юрьевского) университета // «Так хочется мир обнять». О. Ф. Берггольц. Исследования и публикации: к 100-летию со дня рождения. СПб., 2011. С. 45–64). Подлежал высылке из города как «социально опасный элемент», к которым причисляли, в частности, лиц с немецкими и финскими фамилиями.

...предложили в шесть часов вечера выехать из Ленинграда. — 26 августа 1941 г. было принято постановление Военного совета Ленинградского фронта «Об обязательной эвакуации немецкого и финского населения из пригородных районов Ленинградской области». Выселению подлежали 88700 финнов, 6700 немцев. Эвакуация шла в Красноярский край, Новосибирскую область, Алтайский край, Омскую область, Северо-Казахстанскую область, и ее планировалось закончить к 7 сентября 1941 г. (см.: *Ломагин Н. А.* Неизвестная блокада. СПб., 2002. С. 489–491).

Видимо, НКВД просто не понравилась его фамилия... — Это была первая попытка высылки Ф. Х. Берггольца, тогда же ему предложили стать секретным сотрудником НКВД, но О. Ф. Берггольц удалось защитить отца, обратившись в высшие инстанции города и наркомата. В марте 1942 г., после всех пережитых ужасов блокадной зимы, Ф. Х. Берггольц был все-таки выселен из города (подробнее о нем и истории его высылки из блокадного Ленинграда см.: *Прозорова Н. А.* Письма О. Ф. Берггольц отцу Ф. Х. Берггольцу (1942–1948) // Ольга. Запретный дневник. С. 240–280).

С. 43

Ходоренко обещал позвонить... — Виктор Антонович Ходоренко (1912–1981) с апреля 1941 по май 1945 г. исполнял обязанности председателя Ленинградского радиокомитета. Далее везде: Витька.

...Грушко... — Евгений Семенович Грушко (1894–1955), сотрудник советских органов государственной безопасности и охраны правопорядка. С 1939 г. начальник Управления Рабоче-крестьянской милиции и помощник начальника УНКВД по Ленинградской области по милиции. С августа 1942 г. начальник

Управления милиции, а также заместитель начальника УНКВД по Ленинградской области.

...к т<оварищу> Капустину... — Яков Федорович Капустин (1904–1950), секретарь Ленинградского горкома ВКП(б), член Военного совета, занимался эвакуацией заводов, оборудования и кадров.

Ленинград, я еще не хочу ~ мертвецов голоса... — Неточная цитата из стихотворения «Ленинград» (1930) Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938). Правильно: «Петербург! я еще не хочу умирать! / У тебя телефонов моих номера».

С. 44

А город сегодня обстреливали из артиллерии... — Согласно сводке штаба МПВО Ленинграда о результатах воздушных нападений и артиллерийских обстрелов с 4 сентября 1941 по 1 марта 1942 г., «интенсивность артиллерийского огня непрерывно увеличивалась и от 550 снарядов в первой половине сентября дошла до 2859 снарядов во второй половине ноября. Несколько снизилась интенсивность артиллерийского огня в период с декабря 1941 г. по 15 февраля 1942 г. и с этого времени снова значительно повысилась» (Ленинград в осаде. С. 373–374).

...на Харьковской. — Харьковская улица в С.-Петербурге проходит от Невского проспекта до Миргородской улицы, недалеко от Александро-Невской лавры.

Сегодня, в 22⁴⁵, был налет по Л<енинград>у, я слышала, как свистели бомбы — это ужасно и отвратительно. — Массированная бомбардировка города 8 сентября произвела на ленинградцев гораздо более сильное впечатление, чем первая, случившаяся 6 сентября. Профессор М.М. Кольцова, работавшая тогда врачом в детской больнице на Васильевском острове, пишет: «...тогда казалось, что вокруг все рушилось и громыхало. Были сирены... Каждому из нас казалось, что это именно около него рушится мир, настал конец света» (цит. по: Ковальчук В.М. 900 дней блокады. Ленинград 1941–1944. СПб., 2005. С. 67). На город было сброшено свыше 6000 зажигательных и 48 фугасных бомб.

...я выпила с Галкой шампанского... — Галина Геннадьевна Пленкина (1911–1960-е(?)), журналист; первая жена Л.В. Дьяконова (Анка), друга юности О.Ф. Берггольца с 1931 г.; вместе с Берггольцем работала в многотиражке на заводе «Электросила».

С. 46

...«жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен»... — Цитата из романа «Бесы» (1871–1872) Ф.М. Достоевского.

Сегодня весь день артиллерийский обстрел... — В этот день на улицах Ленинграда разорвалось 200 снарядов, пострадало более 100 человек. Кировский за-

вод впервые подвергся обстрелу (см.: Буров А. В. Блокада день за днем. 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 2011. С. 81).

- ...сидела в райкоме...** — Куйбышевский райком ВКП(б) располагался по адресу: Невский проспект, д. 42, в бывшем дворце князей Белосельских-Белозерских. Во время войны здание сильно пострадало; в 1949 г. восстановлено.
- ...во Дворец Пионеров попал артснаряд...** — Дворец пионеров с 1937 г. находился в Аничковом дворце (Невский проспект, д. 39). С октября 1941 по май 1942 г. в здании располагался хирургический стационар.
- ...на площади Нахимсона...** — Владимирская площадь с 1918 по 1944 г. носила имя Семена Михайловича Нахимсона (1885–1918), участника революционного движения.

С. 47

- ...здесь был Борька...** — Борис Петрович Корнилов (1907–1938), поэт; первый муж О. Ф. Берггольц.
- ...здесь родилась Ирка.** — Ирина Борисовна Корнилова (1928–1936), дочь О. Ф. Берггольц и Б. П. Корнилова. Умерла от эндокардита 14 марта 1936 г.
- Хлеб ужасно убавили...** — Карточная система была введена в Ленинграде 18 июля 1941 г. Первое снижение продовольственных норм в городе произошло 2 сентября. Рабочие и инженерно-технические работники стали получать 600 г хлеба в день вместо 800, служащие — 400 вместо 600, иждивенцы и дети — 300 вместо 400. Хлеб по карточкам выдавался раз в декаду. С 11 сентября были установлены новые нормы продажи продовольственных товаров по карточкам: хлеба (в день) рабочим и ИТР — 500 г, служащим — 300, иждивенцам — 250, детям до 12 лет — 300 (см.: Ленинград в осаде. С. 187).
- ...Одесса осаждена!** — С 13 августа 1941 г. Одесса была полностью блокирована с суши. Оккупирована 16 октября 1941 г., освобождена 10 апреля 1944 г.
- ...сегодня напечатали, что сдан Чернигов...** — Чернигов был оккупирован в ночь на 9 сентября 1941 г., освобожден 21 сентября 1943 г.
- У нас немцами занят Шлиссельбург...** — 8 сентября 1941 г., когда немецкие войска заняли весь левый берег Невы до Шлиссельбурга и захватили город, был перерезан водный путь по Неве. Ленинград оказался в окончательной блокаде. Шлиссельбург был освобожден 18 января 1943 г.

С. 48

- Теперь тревог на днях раз по 8–10...** — 17 сентября 1941 г. обстрел города продолжался 18 часов 33 минуты. Всего по Ленинграду был выпущен 331 снаряд (см.: Буров А. В. Блокада день за днем. С. 85).
- Мой Васильев погиб...** — А. В. Васильев, рабочий Путиловского (с 1934 г. Кировского) завода, о нем О. Ф. Берггольц писала в первой части биографической про-

зы «Дневные звезды» (главка «Рыцарь света»). Умер от голода на рабочем месте.

Немцы... были под Пулковым. — Правильно: Пулковом. Местность в южной части Ленинграда, в районе Пулковских высот. Из хроники А.В. Бурова: «Продолжая яростные атаки, гитлеровцы пытались обойти Пулковскую высоту слева, а Колпино справа. Но несмотря на численное превосходство им не удалось прорваться к Ленинграду. Войска 42-й армии остановили противника и закрепились у северо-восточных окраин Урицка и Старо-Панова» (Буров А.В. Блокада день за днем. С. 87).

Третьего дня ими была занята Стрельна. — Стрельна была оккупирована 16 сентября 1941 г., освобождена 19 января 1944 г.

...вопрос о баррикадных боях... — В июле–августе 1941 г. силами ленинградцев было сооружено примерно 35 км баррикад в самом городе. В феврале 1944 г., согласно постановлению Ленгорисполкома, на строительные материалы было разобрано 92 крупных оборонительных сооружения, ряд мелких баррикад и дотов, построенных на территории Ленинграда, когда горожане готовились к уличным боям. Крупные баррикады имели протяженность свыше 1000 м (см.: Дзенiskeвич А. Р. и др. Непокоренный Ленинград. С. 67, 455–456).

С. 49

Сегодня Коля закопает эти мои дневники. — Дневники были зарыты позже. В письме к сестре от 26 сентября 1941 г. О.Ф. Берггольц писала: «Мусинька, — на всякий случай, — только на всякий случай, знай: мои дневники и некот<орые> рукописи в железном ящике зарыты у Молчановых, Нев<ский>, 86, в их дровяном сарайчике. М<ожет> б<ыть>, когда-нибудь пригодятся» (цит. по: Ольга. Запретный дневник. С. 225).

...«политбойцом» на фронт... — Политбойцами называли коммунистов и комсомольцев, подержавших специальной партийной мобилизации. Они поддерживали работу политруков, содействовали сплочению состава подразделений.

Мы будем у мамы. — Квартира М.Т. Берггольц находилась в доме, который выходит на три стороны: Кирпичный переулок (д.2), Малую Морскую улицу (бывшая улица Гоголя) и Невский проспект (д.11).

...я, политорганизатор дома... — Институт политорганизаторов был утвержден решением горкома ВКП(б) от 22 июля 1941 г. (протокол № 46 заседания бюро горкома ВКП(б). 22 июля 1941 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3777. Л. 10). Политорганизатор, утверждавшийся райкомом партии из числа активистов домохозяйства, был обязан знать всех жильцов своего хозяйства, проводить среди них политработу, информировать райком партии о мораль-

но-политическом состоянии населения, а также решать различные хозяйственные вопросы.

С. 50

Воскреси меня хотя б за это!.. ~ Воскреси!.. — Цит. поэма «Про это» (1923) В.В. Маяковского.

...сообщили об оставлении войсками Киева... — Киев, оборонявшийся более 70 дней, был захвачен 19 сентября 1941 г. В.М. Инбер после оставления советскими войсками Киева записала в дневнике: «После того, что писали: “Киев есть и будет советским”, после того, что эта же фраза сказана (и сколько раз!..) о Ленинграде, смутно теперь на душе у ленинградцев» (Инбер В.М. Почти три года. Ленинградский дневник. М., 1968. С. 27 [запись от 22 сентября 1941]). Грод был освобожден 6 ноября 1943 г.

С. 51

...езде Шумиловы и Махановы... — Николай Дмитриевич Шумилов (1904–1982), секретарь Ленинградского горкома ВКП(б) по пропаганде, затем ответственный редактор «Ленинградской правды»; автор книги «В дни блокады» (М., 1974). Александр Иванович Маханов, секретарь Ленинградского горкома ВКП(б) по агитации и пропаганде (до 1941); с 1943 по 1945 г. заместитель начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).

Восемнадцатого город обстреливал немец из дальнобойных орудий, было много жертв и разрушений... — В этот день по Ленинграду было выпущено 193 снаряда (см.: Буров А.В. Блокада день за днем. С. 87).

Девятнадцатого в 15⁴⁰ была самая сильная за это время бомбежка города. — Ленинград в этот день шесть раз подвергался налетам. Было сброшено 528 фугасных и 2870 зажигательных бомб (см.: Буров А.В. Блокада день за днем. С. 87).

Я была в ТАССе... — Телеграфное агентство Советского Союза. Ленинградское отделение располагалось по адресу: улица Воинова (ныне Шпалерная), д. 37.

С. 52

Я на Троицкой... — Улица Рубинштейна, д. 7, кв. 30 — домашний адрес, по которому проживали О.Ф. Берггольц и Н.С. Молчанов. Троицкой улица называлась до 1929 г. из-за близости подворья Троице-Сергиевой лавры. В 1930 г. была переименована в улицу Рубинштейна, в память композитора Антона Григорьевича Рубинштейна.

...дежурила в Союзе... — Т. е. в Союзе писателей.

Мы сидели не затемняясь... — Жители города обязаны были соблюдать правила светомаскировки, в первую очередь отключая в ночное время источники света в своих квартирах, а также плотно задергивая шторы, чтобы не до-

пустить малейшей утечки света. Это было необходимо для того, чтобы лишить вражескую авиацию возможных ориентиров. Нарушители правил светомаскировки подвергались штрафу.

С. 53

...Ленинград еженощно в кольце пожаров. — С сентября 1941 по февраль 1942 г. в Ленинграде в общей сложности произошло 2349 пожаров (см.: Ленинград в осаде. С. 370–371).

...ревнует к Верховскому... — Николай Павлович Верховский (1913–1942), начальник Особого отдела Ленинградского радиокомитета (вещание на немецком языке). Умер 28 февраля 1942 г. от истощения.

А завтра детей закуют ≈ рукой положить... — Неточная цитата из стихотворения «Клеопатра» (1940) А. А. Ахматовой. Правильно: «...на смуглую грудь...».

...Павловск... — С 1918 по 1944 г. — Слуцк. Оккупирован 17 сентября 1941 г., освобожден 24 января 1944 г.

С. 54

Не хуже было и «обращение»... — Скорее всего, речь идет о стихотворении О. Ф. Бергольц «...Я буду сегодня с тобой говорить...» (4 октября 1941).

...на Нахимсона... — Проспект Нахимсона. Ныне Владимирский проспект.

...Колька на дежурстве у подъезда... — Речь идет о дежурстве в одной из групп самозащиты в домохозяйствах. В этих группах состояло население по месту жительства. Каждая группа делилась на звенья: пожарное, медико-санитарное, химическое, связи и т. д. К началу сентября в Ленинграде действовало более 3500 групп самозащиты, насчитывавших свыше 12 тыс. ленинградцев (см.: *Дзенискевич А. Р. и др. Непокоренный Ленинград*. С. 75).

...на Пр<оспекте> Кр<асных> командиров... — Проспект был так назван в честь командиров Красной армии, сражавшихся на фронтах Гражданской войны. Ныне Измайловский проспект, проходит от реки Фонтанки до Обводного канала.

Встреча с Гаршиным... — Владимир Георгиевич Гаршин (1887–1965), врач-патологоанатом, близкий друг А. А. Ахматовой. Всю блокаду провел в Ленинграде.

Третьего дня днем бомба упала на издательство «Советский Писатель» в Гостиный двор. — По воспоминаниям начальника МПВО Ленинграда Е. С. Лагуткина: «Во время авиаудара, нанесенного 22 сентября 1941 г., пять корпусов во дворе разрушены до основания. Более 100 человек было убито, много ранено и завалено обломками обрушившихся зданий» (*Лагуткин Е. С. Воспоминания // Оборона Ленинграда 1941–1944: Воспоминания и дневники участников*. Л., 1968. С. 396). Также было уничтожено помещение издательства «Советский писатель».

С 1945 по 1991 г. издательство «Советский писатель» располагалось по адресу: Невский проспект, д. 28 (Дом книги).

Убило Таню Гуревич... — Татьяна Евсеевна Гуревич (ок. 1902–1941), литературный секретарь Ю.Н. Тынянова. Работала редактором в ленинградском отделении издательства «Советский писатель».

Семенов жив... — Александр Михайлович Семенов, директор ленинградского отделения издательства «Советский писатель».

С. 55

...при ужасном отступлении из Таллина погибли Филипп Князев, Цехновицер, Лозин, Инге, Гейзель... — 28 августа 1941 г. при переходе кораблей Балтфлота из Таллина в Кронштадт на корабле «Верония» погибли Ф.С. Князев и О.В. Цехновицер, а на корабле «Вальдемарас» погибли Ю.А. Инге и М.А. Гейзель. Биографические сведения о В. Лозине не разысканы; пятым погибшим писателем на корабле «Верония» был Евгений Григорьевич Соболевский (Берлин). Подробнее см.: Тарасенков А. Из военных записей / публ. М.И. Белкиной // Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны: в 2 т. М., 1966. Т. 2. С. 7–29. (Литературное наследство; т. 78).

Филипп Степанович Князев (1902?–1941), писатель, редактор журнала «Литературный современник». О нем см.: Там же. С. 17.

Орест Вениаминович Цехновицер (1899–1941), литературовед, автор книги «Литература эпохи мировой войны». В дни обороны Таллина был послан в отряды морской пехоты. Подробнее о нем см.: Орест Цехновицер / публ. В.П. Нечаева // Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны. С. 603–609.

Валентин Лозин, ленинградский поэт, публиковался в журнале «Звезда».

Юрий Алексеевич Инге (1905–1941), поэт, прозаик. В начале войны выпустил книгу «Город на Балтике», был прикомандирован к газете «Красный Балтийский флот». Подробнее о нем: Юрий Инге / публ. В.П. Нечаева // Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны. С. 600–602.

Марк Аронович Гейзель (1909–1941), журналист, детский писатель, в начале войны был прикомандирован к газете «Красный Балтийский флот».

...рядом с Пренделями. — Имеются в виду Юрий Александрович Прендель, врач-психиатр, и его жена, Татьяна Прендель; друзья О.Ф. Берггольц.

...РЖУ... — Районное жилищное управление, организация по управлению жилым фондом, часть районной исполнительной власти. Существовали с 1933 по 1988 г.

...написать для Европы об обороне Ленинграда... — 24 сентября 1941 г. О.Ф. Берггольц писала сестре: «Работаю в радио, очень часто мои вещи и стихи идут на Москву. <...> Работаю еще и для спецвещания — разные воззвания и листовки для немцев... вот завтра моя передача для всей Европы — о Ленинграде» (Берггольц О. Встреча. Дневные звезды. С. 162).

С. 56

Зашла к Ахматовой... — А.А. Ахматова жила в дворницкой «писательского дома» (набережная канала Грибоедова, д. 9).

...на ул. Желябова... — В 1918—1991 гг. — название Большой Конюшенной улицы.

...муза плача... — Определение, данное А.А. Ахматовой М.И. Цветаевой в цикле стихов 1916 г., посвященных ей:

О, Муза плача, прекраснейшая из муз!
 О ты, шальное исчадие ночи белой!
 Ты черную насылаешь метель на Русь,
 И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы.

...ненавижу Сталина... — Иосиф Виссарионович Сталин (настоящая фамилия Джугашвили; 1878—1953), советский политический, государственный, военный и партийный деятель, руководитель СССР, генеральный секретарь ЦК ВКП(б). В годы Великой Отечественной войны народный комиссар обороны СССР, председатель Совета народных комиссаров СССР, председатель Государственного Комитета Обороны.

...Черчилля... — Уинстон Леонард Спенсер Черчилль (1874—1965), британский государственный и политический деятель. С 1940 по 1945 г. премьер-министр Великобритании.

С. 57

...разговоры с Олесовым... — Федор Олесов (настоящие имя и фамилия Федор Константинович Смирнов; 1911—?), прозаик; автор романов «Возвращение», «Прощание молча» и др.

...лицо А. А. Смирнова... — Александр Александрович Смирнов (1883—1962), литературовед, литературный критик, переводчик.

...прочсть «Письмо маме»... — Имеется в виду стихотворение О. Ф. Берггольц «Первое письмо на Каму» («Я знаю — далеко на Каме...»), обращенное к матери. Впервые напечатано в сборнике «Говорит Ленинград» (Л., 1946).

...писать ростопчинские афишки... — Патриотические духоподъемные листовки (афиши), написанные в народном стиле. Их автор — генерал-губернатор Москвы граф Ф. В. Ростопчин. Распространялись в Москве в 1812 г. во время нашествия Наполеона на Россию.

С. 58

...по Кировскому заводу... — Кировский завод, одно из крупнейших машиностроительных и металлургических предприятий страны. Был назван Путиловским по имени инженера Н. И. Путилова. С 1922 г. — «Красный путиловец», с 1934 г. носит современное название в честь С. М. Кирова. Располагается по адресу: проспект Стачек, д. 47.

- ...когда была в «слезе»...** — Имеется в виду д. 7 по улице Рубинштейна. Официально дом назывался «Дом-коммуна инженеров и писателей» и был построен в 1929–1931 гг. по проекту архитекторов А. А. Оля, К. А. Иванова, А. И. Ладинского. Однако между собой жители дома называли его «слеза социализма»; писатель А. П. Штейн вспоминал: «Сергей Миронович Киров заметил как-то, проезжая по нашей улице им. Рубинштейна, что “слезу социализма” следует заключить в стеклянный колпак, дабы она, во-первых, не развалилась и дабы, во-вторых, при коммунизме видели, как не надо строить. Название родилось, очевидно, и по прямой ассоциации: дом протекал изнутри и был весь в подтеках снаружи по всему фасаду» (*Штейн А. Непридуманное...* М., 1985. С. 202).
- ...ходят слухи о Кулике...** — Григорий Иванович Кулик (1890–1950), Маршал Советского Союза, командующий 54-й армией. «В первые недели осады Ленинграда ходило много слухов о том, что на прорыв блокады идет 54-я армия под командованием известного генерала Г. И. Кулика... Только и было разговор: “Кулик идет! <...> Кулик выручит”». Однако Кулик промедлил с наступлением, а немцы значительно укрепили место прорыва, и все атаки наших войск были отбиты. Вскоре ленинградцы стали говорить, что “Кулик застрял в болоте”» (*Васильев В. В. Блокада — далекая и близкая: Воспоминания участника обороны Ленинграда.* СПб., 1993. С. 24–25).
- ...и Шапошникове...** — Борис Михайлович Шапошников (1882–1945), военачальник, Маршал Советского Союза. С 23 июня по 16 июля 1941 г. в Совете по эвакуации при СНК СССР С 10 июля член Ставки ВГК. С 21 по 30 июля 1941 г. начальник штаба Главкома Западного направления. С 29 июля начальник Генштаба РККА; снят с поста 11 мая 1942 г. С мая 1942 по июнь 1943 г. заместитель наркома обороны СССР С июня 1943 г. начальник Военной академии Генерального штаба.
- ...в Автове...** — Автово, рабочая окраина на юго-западе Ленинграда. В настоящее время — в составе Кировского района.
- ...в М<осковско>-Н<арвском> районе...** — Ныне Кировский район С.-Петербурга.
- ...улететь на самолете в Москву с А. Ахматовой.** — 30 сентября 1941 г. А. А. Ахматова на самолете была отправлена в Москву. Ее должна была сопровождать О. Ф. Берггольц, но не смогла. Рядом оказалась писательница Наталья Афанасьевна Никитич-Никитюк (настоящая фамилия Никитюк; 1901–1974), которая в своем письме к А. А. Фадееву упоминает это обстоятельство: «30 сентября 1941 года Ахматова и я из Ленинграда прилетели в Москву. Остановились мы у С. Я. Маршака и там мы с вами встречались» (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 644 (2)). Несколько дней Ахматова жила у М. Ф. Берггольц на Сивцевом Вражке, д. 6, кв. 1 (см. письмо О. Ф. Берггольц от 26 сентября 1941 г., адресованное сестре и отправленное с Ах-

матовой: *Берггольц О.* Встреча. Дневные звезды. С. 162; а также: *Громова Н. А.* Эвакуация идет... М., 2008. С. 55).

С. 59

28/IX была основательная бомбежка... — «Опять обстрел, опять бомбежка. В 20 часов 15 минут бомба разорвалась на территории Дворца пионеров. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Разрушен водопровод. В это же время другая бомба повредила верхний этаж Этнографического музея. Спустя 15 минут фугаской снесло большую часть дома № 40 по улице Дзержинского. Ранено 99 человек, в том числе 12 детей. Убито 11 человек. Еще через 5 минут от зажигательной бомбы возник пожар в Боткинской больнице» (*Буров А. В.* Блокада день за днем. С. 97).

Было бы роскошно сейчас сидеть у телефонов, чтоб позвонил Юра... — С 13 сентября 1941 г постановлением Военного совета Ленинградского фронта были выключены телефоны индивидуального и коллективного пользования (за исключением особо оговоренных), телефоны-автоматы на улицах города, в ресторанах, телефоны общего пользования в учреждениях. В районах города было оборудовано по 4-5 переговорных комнат с телефонами-автоматами для пользования граждан. Часть абонентов могла, с санкции Ленгорсовета депутатов трудящихся, сохранить в индивидуальном пользовании свои телефоны (см.: Ленинград в осаде. С. 55).

С. 60

...садик около Биржи... — Сад у Фондовой Биржи на Стрелке Васильевского острова. С 1939 по 2010 г в здании располагался Центральный военно-морской музей.

...это «Ледоход»... — Литературное объединение, существовавшее с 1926 г при ЛГУ. Название, видимо, отсылает к названию поэмы А. А. Жарова «Ледоход» (1925).

...с Генкой Горю... — Геннадий (Гдалий) Самойлович Гор (1907–1981), писатель, во время войны военный корреспондент газеты «За Советскую Родину». О. Ф. Берггольц познакомилась с ним в 1926 г в литературной группе «Смена».

...мы с Юзькой... — Иосиф Львович Гринберг (1906–1983), критик, автор статей об О. Ф. Берггольц, в том числе одной из первых — «Свой путь. О стихах О. Берггольц» (Юный пролетарий. 1933. № 18. С. 12–13). Гринбергу Берггольц посвятила стихотворение «Семья» (1933).

С. 61

Мы отдали им еще и Полтаву. — Полтава была оккупирована 18 сентября 1941 г, освобождена 22 сентября 1943 г.

С. 62

...безногий калека из нашего дома разводит фашистскую агитацию, сидя в бомбоубежище... Завтра сообщу о нем... — Одной из обязанностей политорганизатора домохозяйства было информирование милиции и органов НКВД о паникерах, шпионах, диверсантах и распространителях слухов.

С. 63

...михалковский дядя Степа... — Герой первого стихотворения пенталогии для детей «Дядя Степа» (1935) Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009). Дядя Степа отличался высоким ростом.

С. 64

...Мартынов... — Алексей Алексеевич Мартынов (1913–1942), журналист, работник Ленинградского радиокомитета. Умер от истощения в феврале 1942 г. Ему и другим погибшим от голода товарищам О.Ф. Берггольц посвятила книгу «Говорит Ленинград».

На «Электросилу» мне не удалось пройти... — Завод «Электросила» расположен на Московском (тогда — Международном) проспекте. В начале 1930-х гг. О.Ф. Берггольц там работала, писала историю завода.

...на «Эл<эктро>силе» убило 2-х и ранило 11. — «Во время вражеского артобстрела на завод «Электросила» в этот день погибло четыре человека, двое получили контузии» (Буров А.В. Блокада день за днем. С. 102).

...захворать сейчас пиелитом... — Пиелит, воспаление слизистых оболочек в тканях почечных лоханок.

С. 65

Взял Орел. — Орел был оккупирован 3 октября 1941 г., освобожден 5 августа 1943 г.

У Маули... — Маули Арсеньевна Вите (1911–1942), журналист; в начале 1930-х гг. в Алма-Ате познакомилась и подружилась с О.Ф. Берггольц. С 1932 г. жила в Ленинграде, поступила на службу в многотиражку завода «Большевик», работала собкором в газете «Комсомольская правда». После ареста О.Ф. Берггольц в 1938 г. лишилась журналистской работы. Умерла в блокаду.

С. 66

...метроном стучал... — «...Прибор, способный производить произвольное количество тактовых долей времени на слух. Служит как вспомогательный прибор для установления точного ритма в музыкальном произведении. В блокадном Ленинграде, когда не было передач, в эфире стучал метроном; быстрый ритм означал воздушную тревогу, медленный ритм — отбой. Работа метронома была введена на ленинградском радио 26 июня 1941 г.» (Богданов И.А. Ленинградская блокада от А до Я. СПб., 2010. С. 117).

Оставлен Брянск. — Брянск был оккупирован 6 октября 1941 г., освобожден 17 сентября 1943 г.

Оставлена Вязьма. — Вязьма была оккупирована 7 октября 1941 г., освобождена 12 марта 1943 г.

...Эрнст налаживал радио. — Эрнст Фукс, так же как и его брат Фриц, сотрудник иностранного отдела Радиокomiteта. См. о них коммент. к с. 83.

...это страшнее похоронного марша. — Этот эпизод подробно описан в очерке О. Ф. Берггольц «Наш Фриц умирает»: «И фокстрот следовал за фокстротом, и томное танго, без остановки, пока в темном нашем городе, отрезанном от всей страны, стучал метроном. Он стучал учащенно, как напряженное сердце, — в городе шла воздушная тревога. А фашистский Берлин, разбойничий притон, веселился» (Берггольц О. Встреча. Дневные звезды. С. 184).

С. 68

...О, совесть, в этом раннем ≈ настойчивых еще... — Цит. стихотворение «О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом раннем...» из цикла «Разрыв» (1919) Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960).

...начало статус-эпилепсии. — Статус-эпилепсия, состояние, при котором эпилептические припадки следуют один за другим, при этом в промежутках между припадками больной не приходит в сознание.

С. 69

О моей разлуке ≈ плакать медь... — Неточная цитата из «Баллады о гибели комиссара» (1932) А. А. Прокофьева (см. о нем. коммент. к с. 179). Правильно: «Обо мне Москва и Дон / Будут песни петь, / На беседах и собраниях / Будет плакать медь. / О моей разлуке ранней / Будет гром греметь».

...вероятнее всего, попадем под английский протекторат. ≈ Говорят, что они в Петрозаводске, в Баку, в Мурманске и Архангельске. — Пример восприятия искаженной информации. Скорее всего, речь идет об арктических конвоях, доставлявших в СССР важные военные материалы из США и Великобритании. Пунктами прибытия этих конвоев были Архангельск и Мурманск.

Душа, на последний путь ≈ о прошлых снах. — Неточная цитата из стихотворения «Дух пряный марта был в лунном круге...» (1910) А. А. Блока. Правильно: «То душа, на последний путь вступаю...»

С. 70

Будь же ты вовек благословенно ≈ и умереть... — Цит. стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу...» (1921) С. А. Есенина.

С. 71

...около Варшавского вокзала... — Расположен на набережной Обводного канала, д. 118. В настоящее время — недействующий железнодорожный вокзал. Речь идет о проспекте Красных Командиров (Измайловском).

...с Пушкино летят снаряды. — Так в тексте. Речь идет о г. Пушкин.

С. 73

...читали Ходасевича... — Владислав Фелицианович Ходасевич (1886–1939), поэт.

Крым почти взят... — Полуостров Крым находился под оккупацией с ноября 1941 по май 1944 г.

С. 74

Когда мы сегодня с Юрой шли из Союза, был сильный артобстрел... — В Ленинграде в этот день разорвалось более 250 немецких снарядов. Свыше 100 человек были ранены, 36 убиты (см.: Буров А. В. Блокада день за днем. С. 141).

Минута жизни была в Союзе, где горят свечи (электричества днем теперь не дают!)... — «Выработка электроэнергии в блокаду резко сократилась. Причиной этого были недостаток топлива, а также то, что Волховская, Свирская, Дубровская электростанции оказались за кольцом блокады. С 17 ноября пользоваться электроэнергией в пределах дозволенных лимитов разрешалось только в зданиях Смольного, Главного штаба, отделений милиции, райкомов партии, райисполкомов, райвоенкоматов, штабов МПВО, телеграфа, почтамта, телефонных станций, городской пожарной охраны, судебных органов, в госпиталях и больницах, конторах домохозяйств, здании Ленэнерго» (Ковальчук В. М. 900 дней блокады... С. 75).

С. 75

...Ольги Абрамовой... — Сокамерница О. Ф. Берггольц.

...у Марии Сергеевны. — Так в документе. Речь идет о Марии Константиновне Рымшан, сокамернице О. Ф. Берггольц.

А главное — голод. — О муках голода ленинградцы писали в дневниках и помнили о нем десятилетиями: «По-моему, самое страшное — это когда человек все время хочет есть, а есть ему нечего совершенно»; «Есть приходилось что попало. Помню, приходила домой, и мне так хотелось кушать! <...> У меня там дрова лежали около печки, полено или два. И вот я взяла это полено (сосновое, помню) и стала грызть, потому что молодые зубы хотели что-то кусать. Есть хотелось страшно! Вот грызу, грызу это полено, смола выступила. А этот запах смолы мне какое-то наслаждение доставлял, что хоть что-то я погрызу. Надо было что-то кушать, иначе неминуема смерть от голода, а это еще хуже, чем от обстрела. От голода очень тяжелая смерть» (цит. по: Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. СПб., 2014. С. 30, 42).

С. 76

...сборник для Балтфлота... — Предположительно, речь идет о газете «Красный Балтийский флот», в которой О.Ф. Берггольц напечатала стихотворение «Вооруженный народ».

С. 77

...над головой трещала шрапнель... — Вид взрывчатого артиллерийского снаряда, предназначенный для поражения живой силы противника. Применялся на полях сражений Первой мировой войны, но уже к концу ее был вытеснен более эффективными осколочными гранатами. Использование шрапнели при артобстреле города не могло быть эффективным в силу особенностей данного снаряда. Название, однако, надолго сохранилось в лексиконе людей, и под шрапнелью могли понимать в том числе и осколочные снаряды.

...Гришкевичей... — Александр Павлович Гришкевич, заведующий сектором печати Ленинградского горкома ВКП(б).

С. 78

...не попал ли он только под снаряды... — 27 ноября 1941 г. по Ленинграду было выпущено 312 артиллерийских снарядов. От артобстрела и бомбежки погибли 63 человека, 199 были ранены (см.: Буров А.В. Блокада день за днем. С. 145).

...это-то почти уже безразлично. Ну, убьет, — подумаешь... — Как отмечал в своем исследовании С.В. Яров, «угасание эмоций можно отметить в самых разных блокадных эпизодах, но, пожалуй, наиболее характерным было безразличие к бомбежкам. Первые обстрелы в начале сентября 1941 г. вызвали бурный отклик в Ленинграде. Горожане без всяких отговорок шли в бомбоубежище, пытались узнать, сколько людей пострадало и какие дома разрушены. Потом бомбежки стали частью повседневности, и месяц спустя, в октябре 1941 г., в дневнике инженера В. Кулябко мы встречаем такую запись: “Сейчас... мало интересуется, где разбомбило, сколько жертв. Ко всему привыкают, даже к ужасу”. Безразличие явилось следствием крайнего истощения и усталости, где-то было и способом самосохранения» (Яров С.В. Блокадная этика. С. 19, 21).

...подбросит ли ПУБАЛТ... — Политическое управление Балтийского флота, создано в 1941 г. для руководства политической, партийной и политико-просветительной работой на кораблях, в береговых частях и учреждениях флота.

С. 79

...вдруг подвернется спекулянт... — В Ленинграде существовал так называемый черный рынок, на котором можно было обменять вещи на продукты. Как отмечал в своем дневнике Л. Маргулис: «На рынках ничего не продается»

за деньги, а все меняется. Хлеб на сахар, на дуранду, мясо на хлеб, теплые вещи и дрова на продукты питания. Хорошие валенки стоят 3–4 кило хлеба. Нюра мне рассказывала, как одна женщина меняла кило шерсти (необработанной) на 200 гр. хлеба» (Человек из оркестра: Блокадный дневник Льва Маргулиса / под ред. Н.Е. Соколовской. СПб., 2013. С. 89). По данным УНКВД ЛО, с начала войны по апрель 1942 г за спекуляцию были арестованы 959 человек (см.: Ленинград в осаде. С. 433).

- ...Колька мой ослаб... в постоянной тревоге за меня.** — М.В. Машкова 5 ноября 1941 г. отмечала в письме: «Недавно заходил ко мне Коля, далекий и чужой, разговор протекал слабо, вяло. Я была поражена его видом, он заметно опух — результат дикого самопожертвования, он действует как нежная мать по отношению к Ольге» (*Машкова М.В.* Из блокадных записей. С. 115).
- ...проворонила Маечку...** — Дочь О.Ф. Берггольц и Н.С. Молчанова Майя умерла 25 июня 1933 г. в возрасте 9 месяцев. В справке о причине смерти было указано: «детский летний понос».
- ...болталась на заводе...** — Речь идет о работе в многотиражной газете на заводе «Электросила» с конца 1931 по 1936 г.
- ...болела за Днепростроевские турбины, а Днепрострой сейчас весь взорван.** — Турбины для Днепрогэса производили на заводе «Электросила». После прорыва немецких войск в районе Запорожья плотина Днепрогэса 18 августа 1941 г. была взорвана согласно распоряжению Генерального штаба.

С. 80

- ...жизнь Карла Лукки...** — Карл Карлович Лукка, инженер завода «Электросила».
- Вчера и сегодня интенсивный артобстрел...** — 28 ноября 1941 г. по городу было выпущено 237 снарядов, 276 ленинградцев были ранены, 67 погибли, а 29 ноября Ленинград снова подвергся бомбежке и артобстрелу (см.: Буров А.В. Блокада день за днем. С. 146).
- ...делала в «Астории»...** — «Астория», одна из самых известных гостиниц в городе. Находится по адресу: Большая Морская улица (бывшая Герцена), д. 39.

С. 81

- ...Надя Афанасьева...** — Сотрудница Ленинградского радиокомитета.
- ...буквально круглодневных бомбежек...** — По данным отдела разведки Штаба ленинградской армии ПВО, с 1941 по 1943 г. на Ленинград в ходе 258 воздушных налетов было сброшено 4676 фугасных бомб и 69 613 зажигательных (см.: Ленинград в осаде. С. 407).

С. 82

- Итак, если немец за это время не возьмет Волхов... мы едем...** — Имеется в виду путь по «Дороге жизни» — единственной военно-стратегической транс-

портной коммуникации, связывавшей Ленинград со страной с 12 сентября 1941 по 30 марта 1943 г. Грузовики начали следовать по ней 22 ноября 1941 г., когда толщина льда на Ладожском озере достигла 180 мм. Эвакуация посредством этой трассы началась 22 января 1942 г. Официальное название «Дороги жизни» — Военно-автомобильная дорога № 101 (см.: Дзенискевич А. Р. и др. Непокоренный Ленинград. С. 232, 241, 249).

«Разговор с соседкой», написанный пятого во время бомбежки... — Стихотворению «Разговор с соседкой» предшествовал эпиграф: «Пятое декабря 1941 года. Идет четвертый месяц блокады. До пятого декабря воздушные тревоги длились по десять-двенадцать часов, ленинградцы получали от 125 до 250 граммов хлеба». Героиней стихотворения стал придуманный персонаж, простая женщина — Дарья Власьева.

...не хуже Машеньки, которая так нравится всем. — Стихотворение «Машенька» написано в начале сентября 1941 г., когда начались массированные обстрелы и бомбежки Ленинграда. Обращено к М. Ф. Берггольц.

Перестали топить. — «Из-за недостаточной выработки электроэнергии централизованное отопление домов прекратилось. Город вымерзал, зима 1941 г. началась рано. В отдельные дни (14–15 декабря) температура опускалась до минус 20 градусов, хотя в основном в течение месяца она колебалась от минус 5 до минус 15» (цит. по: Жизнь и смерть в блокированном Ленинграде. Историко-медицинский аспект. СПб., 2001. С. 52).

С. 83

...Фуксы. — Братья Фриц Фукс (1912–?) и Эрнст Фукс, а также жена Фрица — Ани, австрийские коммунисты, политэмигранты, сотрудники иностранного отдела Ленинградского радиокомитета.

...у Розена. — Александр Германович Розен (1910–1978), писатель. Главы из его книги «Разговор с другом» посвящены радио, где они работали вместе с О. Ф. Берггольц.

...оказывается, на пути сильно бомбили немцы, и машина провалилась под лед... — «Движение по Ладоге перенесено на новую трассу — третью за минувшие две недели. Лед не выдерживает интенсивного движения грузовиков. Из-за этого, а также из-за обстрелов и бомбежек на ледовой дороге потеряно 126 автомашин» (Буров А. В. Блокада день за днем. С. 152).

С. 84

...Рита Райт... — Рита Яковлевна Райт-Ковалева (1898–1990), писатель, переводчик; корреспондент Совинформбюро в Архангельске.

...не буду... жрать кошек... — Употребление мяса домашних животных в блокадном Ленинграде стало одним из элементов обыденности. Из дневника школьной учительницы К. В. Ползиковой-Рубец: «20 ноября. Я теперь отлично по-

нимаю, что такое голод. Раньше я себе точно не представляла этого ощущения. Правда, меня немного тошнит, когда я ем мясо кошки, но т.к. я хочу есть, то и противное кажется вкусным. Да я ли одна так голодна? Кто же в этом виноват? Я никогда не была злой. Я всем старалась сделать что-нибудь хорошее. А теперь я ненавижу этих сволочей немцев за то, что они исковеркали нашу жизнь, изуродовали город» (цит. по: *Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. С. 184*).

...на юге у нас успехи... — Вероятно, имеется в виду отбитый 28 ноября 1941 г. у немцев Ростов-на-Дону, который был захвачен 20 ноября. Вторично город был оккупирован 24 июля 1942 г., освобожден 14 февраля 1943 г.

...Англия объявила войну Финляндии... — 6 декабря 1941 г. Великобритания объявила войну союзным Германии странам: Финляндии, Румынии и Венгрии.

С. 86

Вера Кетлинская... — Вера Казимировна Кетлинская (1906–1976), писатель; с июня 1941 по 29 июля 1942 г. ответственный секретарь правления Ленинградского отделения ССП. За роман «В осаде» (1947) была награждена Сталинской премией.

...на буржучке, дымившей как ведьма... — «Буржуйка», или, по документам блокадного времени, «временный отопительный прибор», или «временка». Главное отопительное устройство блокадного времени. Многие ленинградцы мастерили их сами (например, из кровельного железа). С 8 декабря 1941 г. буржуйки выпускались местной промышленностью, исполнявшей специальное решение Ленгорисполкома; до конца декабря планировалось выпустить 10 тысяч «буржук». Еще с конца ноября 1941 г. городские власти разрешили ленинградцам пользоваться «временками». Эти самодельные железные печки стояли во множестве квартир, а также в учреждениях, на промышленных предприятиях, в больницах — везде, где находились люди. В буржуйках жгли все, что могло гореть, — мебель, ненужные вещи, книги, старую обувь. Главный недостаток буржуйки — она давала тепло, только пока топилась» (*Богданов И.А. Ленинградская блокада от А до Я. С. 111–112*).

С. 87

...Женя... — Вероятно, речь идет о первом муже В.К. Кетлинской Евгении Адольфовиче Кибрике (1906–1978).

...Хамармер, — комиссар Армии... — Исаак Павлович Хамармер (1896–1966). С октября 1941 по май 1942 г. военный комиссар Управления тыла 42-й армии Ленинградского фронта.

С. 88

...одела свою чапаевку... — Чапаевка, шапка, закрывающая лоб и уши.

- ...пти-маль жуткого характера...** — Речь идет о малом эпилептическом припадке. По времени птималь (*фр.* *petit mal*) длятся секунды. У больного внезапно выключается сознание.
- ...сегодня взяли Елец...** — «Наши войска освободили Тихвин! И это сегодня не единственная победа. Прорвав оборону противника, войска, защищающие столицу, перехватили дорогу Калинин — Москва, вышли на подступы к Клину. Южнее Москвы освобожден Венев, еще южнее — Елец» (*Буров А. В. Блокада день за днем. С. 154*).
- ...под Тихвином немцам влетело...** — Войска, освободившие Тихвин, соединились с войсками, действовавшими в районе Волхова, 17 декабря. В тот же день был образован Волховский фронт, который возглавил генерал армии К. А. Мерецков (см.: *Буров А. В. Блокада день за днем. С. 159–160*).

С. 89

- ...умирают люди от истощения.** — Как отмечено в справке горздравотдела заместителю председателя СНК СССР А. Н. Косыгину и председателю горисполкома П. С. Попкову об основных причинах смертности в Ленинграде, «резкое изменение структуры смертности в Ленинграде наступает в декабре 1941 г. В декабре проявляется кумулятивное действие недоедания, начавшееся с сентября, резко повышается смертность от истощения (алиментарная дистрофия), и удельный вес умерших от всех причин резко сокращается, ибо число умерших от истощения повышается до 70% из общего числа умерших. Данные, характеризующие смертность в первом квартале текущего года, показывают, что свыше трех четвертей из числа умерших имеют основной, если не единственной, причиной смерти — истощение (дистрофия)» (*Ленинград в осаде. С. 295*).
- ...для Позы...** — Так в тексте. Правильно: Арон Наумович Пази (1905–1974), радиожурналист, главный редактор политического вещания Ленинградского радиокомитета.
- ...не дали Дарью Власьевну...** — Имеется в виду стихотворение «Разговор с соседкой», героиней которого была Дарья Власьева.

С. 90

- ...умоляя помочь ей достать для Фомина гроб.** — Как отмечалось в разделе «Похоронное дело» отчета городского управления предприятиями коммунального обслуживания за год войны с июня 1941 по июль 1942 г.: «Далеко не удовлетворялся и не мог быть удовлетворен спрос населения на гробы. Население вынуждено было прибегать к частным способам изготовления гробов, чем воспользовались спекулянты и мародеры, требовавшие от заказчика хлеб... а те, кто не имел хлеба для уплаты за изготовление гроба, или сами сколачивали ящик из дверей, старых досок, фанеры, или про-

сто труп покойника зашивали в простынь, одеяло (куклой)» (Ленинград в осаде. С. 324).

...лететь с БДТ... — Большой драматический театр был эвакуирован в г Киров в конце августа 1941 г. Вероятно, речь идет об оставшихся в городе сотрудниках театра.

С. 91

...не ходят трамваи, порванные снарядами, заиндевевшие провода... — После трех месяцев блокады, с 8 декабря 1941 г, из-за нехватки электроэнергии и значительных разрушений контактной сети начало прекращаться движение городского электротранспорта, в первую очередь трамваев. 9 декабря Ленгорисполком своим постановлением упразднил 8 трамвайных маршрутов (2, 11, 26, 28, 29, 34, 37 и 39) и снял с линии 90 трамвайных вагонов (см.: 900 героических дней: Сборник документов и материалов о героической борьбе трудящихся Ленинграда в 1941–1944 гг. М.; Л., 1966. С. 239).

...деточки ее... — Дети В.А. и М.В. Мариных — Галя (1938–1947), которой О.Ф. Берггольд посвятила очерк «Гутен морген, Фриц» (1947), и Всеволод (1931–2002).

С. 93

Умер Леснин... — Возможно, А.Ф. Леснин, Герой Социалистического Труда, работник Ленинградской железной дороги.

...умер зять Эйхенбаума... — Имеется в виду Алексей Д. Апраксин (1901–1941), театральный художник, муж Ольги Борисовны Эйхенбаум (1912–1999), дочери литературоведа Б.М. Эйхенбаума.

Борис Михайлович Эйхенбаум (1886–1959) преподавал в ГИИИ, где с 1926 по 1929 г. училась О.Ф. Берггольд. С 1935 г. был сотрудником Института русской литературы (Пушкинского Дома). Сын Б.М. Эйхенбаума Дмитрий (1922–1943) погиб под Сталинградом.

...умирал вчера Вася Валов... — Василий Иванович Валов (1902–1941), детский писатель.

...навстречу все время попадают люди, везущие на саночках гробы. — «Только в одиночных случаях населению удавалось воспользоваться транспортом учреждений и предприятий для транспортировки покойников на кладбища, а в основном покойники транспортировались на саночках, ручных тележках, детских колясках, на листах фанеры и т.д. По городу двигалось множество своеобразных похоронных процессий...» (Ленинград в осаде. С. 324).

Вот еще завтра обменять бы карточки мои на 1 категорию... — Карточки делились на три категории. От категории зависело количество продовольствия, которое человек мог выкупить по карточке. К 1-й категории относились инженерно-технические работники и рабочие, ко 2-й — служащие, к 3-й — иждивенцы и дети до 12 лет. С 20 ноября по 25 декабря 1941 г. в Ленинграде действовали самые низкие нормы — 250 г хлеба в день по 1-й категории и 125 г — по 2-й и 3-й.

С. 94

- ...написала вчера спец-передачу — «Рождественское письмо». — Речь идет о тексте, в котором О. Ф. Берггольц и Н. П. Верховский обращаются от имени немецкой женщины к мужу на фронт.
- ...работаю хуже, чем в блиндаже... — «Блиндажом» сотрудники редакции радиокomiteта называли свои комнаты на 7-м этаже. Об этом А. А. Фадеев написал очерк «Хорош блиндаж, да жаль, что седьмой этаж».
- ...по блюдечку фарфеля. — Фарфель, пресное тесто, мелко нарубленное или натертое.
- ...а главное — этот убивающий, грубый холод... — «Голодающих не столько мучил голод, как холод — холод, шедший откуда-то изнутри, непреодолимый, невероятно мучительный... Холод был какой-то внутренний. Он пронизывал всего насквозь. Тело вырабатывало слишком мало тепла. Холод был ужаснее голода. Он вызывал внутреннее раздражение. Как будто бы тебя щекотали изнутри» (*Лихачёв Д. С. Как мы остались живы // Нева. 2005. С. 441, 451–452*).
- ...передача понравилась Римскому... — Всеволод Андреевич Римский-Корсаков (1915–1942), переводчик, сотрудник Ленинградского радиокomiteта, ответственный редактор вещания на немецком языке.

С. 95

- Написан стих «Второе письмо на Каму»... — Речь идет о втором стихотворении из цикла «Письма на Каму» («Вот я снова пишу на далекую Каму...»). Было прочитано 29 декабря 1941 г. в новогоднем выпуске «Радиохроники». Первое стихотворение из цикла «Письма на Каму» («Я знаю — далеко на Каме...») написано О. Ф. Берггольц в сентябре 1941 г. и адресовано эвакуированной в Чистополь матери. Впервые опубликовано: Смена. 1941. 16 октября. «Третье письмо на Каму» обращено к матери («...О дорогая, дальняя, ты слышишь?») и датировано 18–19 января 1943 г. (18 января войска Ленинградского фронта, прорвав кольцо блокады, встретились с войсками Волховского фронта). Впервые опубликовано: Ленинградская правда. 1943. 22 января.
- ...зарезет идиот Бедин. — В. В. Бедин был заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Ленинградского горкома ВКП(б).

С. 96

- ...очерк о партизане Сазанове... — Вероятно, речь идет о Федоре Ивановиче Сазанове, комиссаре 11-й партизанской Волховской бригады.
- Да, сегодня прибавили хлеба, — это отлично. — 25 декабря 1941 г. нормы были увеличены. Прибавка составила: рабочим и ИТР — 100 г хлеба, служащим, иждивенцам и детям — 75 г. По 1-й категории полагалось 350 г хлеба в день, по 2-й и 3-й — 200 г.

С. 97

...Гаршин, друг Ахматовой. — Об истории отношений В.Г. Гаршина (о нем см. коммент. к с. 54) и А.А. Ахматовой, закончившихся разрывом, подробнее см.: *Адмони В.Г. Знакомство и дружба // Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 342–343; Петербург Ахматовой: Владимир Георгиевич Гаршин. СПб., 2002.*

С. 98

...кусок неба над намордником... — Имеется в виду специальный гнутый железный навес над окном камеры с внешней стороны.

С. 99

...к обозленной Линке. — Линка, бывшая домработница в доме Молчановых.

1942 год

3/1-1942. Ну, и нудная жизнь... (с. 103).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 362. Л. 1–2).

Датируется 3 января 1942 г.

Опубл.: *Берггольц О. Ф. Блокадный дневник (1941–1945). СПб., 2015. С. 110–111.*

1942 год. О. Берггольц. 1942 год (с. 104–116).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 363. Л. 1–26).

Датируется с 8 января по 13 января 1942 г.

Опубл.: *Берггольц О. Ф. Блокадный дневник. С. 112–125.*

14/1-42. Хамамер не приехал... (с. 116–118, 119–140).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 363. Л. 26 об.-39).

Датируется с 14 по 30 января 1942 г.

Опубл.: *Берггольц О. Ф. Блокадный дневник. С. 126–150.*

14/1-42. О, Коля, сердце мое... (с. 118–119).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 361. Л. 17–18).

Датируется 14 января 1942 г.

Опубл.: *Берггольц О. Ф. Блокадный дневник. С. 125–126.*

596–40. Телефон, посылка от Муси (с. 140–158, 159–160).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 364. Л. 1–39).

Датируется с 3 февраля по 12 марта 1942 г.

Отрывок (от 1 по 12 марта) опубл.: *Берггольц О.* Из дневников / вступ., публ. и примеч. М. Ф. Берггольц // Звезда. 1990. № 5. С. 182, 188–189; отрывок (от 7 и 8 февраля) опубл.: *Берггольц О. Ф.* О ГУЛАГе невидимом: К публикации фрагментов дневника Ольги Берггольц / публ. М. Ф. Берггольц // Апрель. 1991. Вып. 4. С. 140–141. Опул. полностью: *Берггольц О. Ф.* Блокадный дневник. С. 150–169.

Аще забуду тебя, Иерусалиме... (с. 158–159, 160–230).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 357. Л. 18–76).

Датируется с 9 марта по 24 сентября 1942 г.

Отрывок (с 9 по 27 марта) опубл.: *Берггольц О.* Из дневников. С. 189–191. Полностью: *Берггольц О. Ф.* Блокадный дневник. С. 170–269.

26/IX-42. Ленинград (с. 230–262).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 365. Л. 1а–35 об.).

Датируется с 26 сентября по 29 декабря 1942 г.

Отрывок (от 22 октября) опубл. с купюрами: Безумство преданности. Из дневников Ольги Берггольц // Время и мы. 1980. Т. 57. С. 300–301. Опул. полностью: *Берггольц О. Ф.* Блокадный дневник. С. 269–326.

С. 103

Несут воду в ведерках и бутылках, — в городе нет воды, изредка в нижних этажах. — Жители города неоднократно отмечали, насколько важное значение имела вода и какой проблемой было ее отсутствие. Блокадница А. И. Воеводская писала в своих воспоминаниях о блокаде: «Проблемой была вода. Большой город превратился в глухую деревню без водопровода... к тому же деревня была многоэтажная. <...> Вода не поднималась на этажи...» Писатель П. Н. Лукницкий (1900–1973) отмечал в своем дневнике: «После 1-го <января 1942 г> везде замерзла водопроводная сеть» (цит. по: *Богданов И. А.* Ленинградская блокада от А до Я. СПб., 2010. С. 112).

С. 104

Хлеб взят уже за 10<е>. — Хлеб по карточкам можно было выкупить один раз в день, остальные продукты — один раз в декаду. Иногда можно было выкупать хлеб и продукты по карточкам «вперед» за один-два дня.

...военный госпиталь на Песочной улице... — Улица Песочная с 1940 г стала называться улицей Профессора Попова. Находится на Петроградской стороне. Военный госпиталь № 861 располагался в д. 35.

...ничего по карточкам не выдают! — Из спецсообщения УНКВД по ЛО и г. Ленинграду 12 января 1942 г.: «Начиная с третьей декады декабря месяца 1941 го-

да, продуктовые карточки населения Ленинграда полностью не отовариваются. Кроме хлеба (350 грамм рабочим и 200 грамм служащим), население никаких других продуктов не получает. В связи с продовольственными затруднениями, среди населения, особенно за последнее время, увеличились отрицательные и антисоветские настроения. <...> Служащий Трамвайного парка им. Скороходова Ельшин: “Нас кругом обманывают, а мы верим. Все обрадовались, что прибавили хлеба, а в действительности увеличение норм выдачи хлеба произошло за счет умерших от голода. Скоро норму хлеба опять уменьшат, т.к. железная дорога до сих пор не очищена”» (цит. по: *Ломагин П. А.* Неизвестная блокада. СПб., 2002. С. 745).

...вернуть сентябрьские — октябрьские дни... — Это настроение отразится в стихах О. Ф. Берггольц «Из блокнота сорок первого года», датированных сентябрем 1941 г.:

В бомбоубежище, в подвале,
нагие лампочки горят..
Быть может, нас сейчас завалит.
Кругом о бомбах говорят..

.....

...Я никогда с такою силой,
как в эту осень, не жила.
Я никогда такой красивой,
такой влюбленной не была...

С. 105

Кажется, 4 ноября... — См. запись в дневнике от 14 ноября 1941 г. (Наст. изд. С. 71–74).
У больницы Нечаева... — Обуховская больница им. А. А. Нечаева (набережная реки Фонтанки, д. 106), основана в 1776 г., одна из первых городских больниц в России.

На Первой Красноармейской... — 1-я Красноармейская улица, одна из двенадцати Красноармейских улиц, соединяющих Измайловский и Московский проспекты.

С. 107

...Торкино пальто... — Тора, домашнее прозвище сестры Н. С. Молчанова Виктории.

С. 108

...стихи о несущих человеческую эстафету... — Начало замысла «Ленинградской поэмы» (первое название «Эстафета»). К теме «человеческой эстафеты» О. Ф. Берггольц неоднократно возвращается в дневнике.

С. 109

...тащить к Мельнику... — Мельник, один из цензоров Ленинградского радиокомитета.

..умер сотрудник Айзик... — Предположительно, Лазарь Осипович Айзик (1884–1942), сотрудник ГПБ.

С. 110

...лява. — Здесь: проститутка.

...передо мной коптилка. — Примитивный осветительный прибор. Как отмечал в своем дневнике в записи за 5 января 1942 г. Н. П. Горшков: «Жгут все, что может гореть: машинное масло, олифу, скипидар, скупают в аптеках белёное масло, репейное, камфарный спирт, разные капли и многое другое. Многие пользуются просто лучиной, как в древние времена. Настоящие записки пишутся при свете самодельной лампочки-мигалки силою света не более ½ свечи» (Блокадные дневники и документы. СПб., 2007. С. 51–52).

С. 111

Как-то кормят в психиатрическом... — Речь идет о Городской психиатрической больнице № 2 (больница Святого Николая Чудотворца), в обиходе называемой «Пряжка». Находится по адресу: набережная реки Пряжки, д. 1 / набережная реки Мойки, д. 126. Туда перевели Н. С. Молчанова.

...ушлют на Удельную... — В районе Удельной железнодорожной станции, на Фермском шоссе, 36, располагается Городская психиатрическая больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова. Основана в 1870 г, с 1885 г — больница Святого великомученика Пантелеймона, с 1919 г — Удельнинская психиатрическая больница, с 1931 г носит современное название.

..у меня там месячка... — Здесь: вероятно, месиво из отрубей и мякины.

С. 112

...к Федюнинскому. — Иван Иванович Федюнинский (1900–1977), советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (1939). С сентября по октябрь 1941 г. заместитель командующего Ленинградским фронтом и одновременно командующий 42-й армией. В октябре 1941 — апреле 1942 г. командующий 54-й армией. С апреля по октябрь 1942 г. заместитель командующего Волховским фронтом. В мае 1943 г. заместитель командующего Брянским фронтом, с июля 1943 г. командующий 11-й армией. С декабря 1943 г. командующий 2-й Ударной армией.

О, боже, боже ≈ в люди отпускал! — Неточная цитата из стихотворения «Клеветникам» («О детство! Ковш душевной глупи!»; 1917) В. Л. Пастернака. Правильно: «...почем нас людям отпускал».

С. 114

Ему нужен — немедленно хлоралгидрат... — Успокаивающее, снотворное и обезболивающее средство. Используется при психическом возбуждении и как противосудорожное средство.

...пойду к Лизунову... — Николай Васильевич Лизунов, 1-й секретарь Куйбышевского райкома ВКП(б).

С. 115

Попков говорил, что на днях обеспечат продовольствием. — Имеется в виду выступление по радио П.С. Попкова о продовольственном положении Ленинграда, вызвавшее неоднозначную реакцию среди населения. О нем сохранились противоположные по восприятию свидетельства, причем негативные преобладали. Школьница М.А. Бубнова в своем дневнике отмечала: «Беседа по радио с Попковым. О продовольственном положении Ленинграда. Даже надоело, в сущности — ничего нового и существенного. А именно, грубо говоря — было тяжело, сейчас лучше, налажено снабжение, самое тяжелое пережили, но трудности будут, пока окончательно не прорвут блокаду» (Бубнова М.А. Дневник. 13 января 1942 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 16. Л. 12). Схожие строки встречаются у К. Рахман: «Выступал Попков и говорил, что скоро появятся продукты. Но что нам от этих обещаний, ими сыт не будешь» (Дневник Клары Рахман [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sites.google.com/site/istoriaskoly327/kniga-ramati-327/rasskazyvaut-nasi-ucitela/dnevnik-klary-rahman> [запись от 18 января 1942] (дата обращения: 30.07.2019); дневник К.В. Загацкой (в мужестве Рахман) подарен музею истории школы № 327).

С. 117

...попросить насчет Свердловки... — Речь идет о больнице им. Я.М. Свердлова (в просторечье «Свердловка»), названной в честь Якова Михайловича Свердлова (1885–1919), советского государственного деятеля. Являлась закрытым учреждением со стационарным и поликлиническим отделениями. Обслуживала партийных и хозяйственных руководителей Ленинграда. Старое здание находится по адресу: улица Старорусская, д. 3. В настоящее время — Клиническая больница № 31 С.-Петербурга.

...еще Юркины карточки прикрепить... — «С 1 декабря 1941 г по решению Ленгорисполкома был установлен обязательный порядок прикрепления населения к магазинам на получение продовольственных товаров, кроме хлеба. Это мероприятие должно было привести к лучшей организации розничной торговли и ликвидации очередей. На самом деле в декабре очереди у магазинов не уменьшились, т. к. объявленные декадные нормы продажи продовольствия не обеспечивались реальными запасами и были рас-

считаны на подвоз в город продовольствия, а планы завоза товаров не выполнялись» (Ленинград в осаде: сборник документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 1941–1944. СПб., 1995. С. 263).

С. 118

...буду звонить Никитскому... — Владимир Семенович Никитский, в годы войны заведующий Ленгорздравотделом.

С. 122

...500 гр<аммов> дурандовых конфет... — Дуранда, или прессованный жмых, — то, что остается от семян масличных растений после выжимания из них масла.

...на 90% — непитательный суррогат... — Использование различных псевдопищевых добавок коснулось всей пищевой промышленности Ленинграда. Так, в качестве компонентов при выпечке хлеба использовалась овсяная мука, соевая мука, ячменная мука, жмыховая мука, отруби, обойная мука, солодовая мука, мучные сметки, кукурузная мука, рисовая мука, пищевая целлюлоза. Целлюлоза, как примесь к хлебу, применялась впервые. Процент примеси зависел от конкретного времени и уменьшался либо увеличивался (см.: Ленинград в осаде. С. 199–200, 217).

С. 123

...Агафонычев... — Полковник, служил в 42-й армии.

С. 124

...и Лешу... — Вероятно, А. Алексеев (см. запись в дневнике от 6 февраля 1942 г.: Наст. изд. С. 142).

С. 125

...к Семенову. — Сергей Александрович Семенов (1893–1942), писатель, возглавивший подразделение ленинградских литераторов, участник легендарных арктических рейсов на «Сибирякове» и «Челюскине», автор путевых записей об этих экспедициях. Его перу принадлежат также роман «Глод», повесть «Копейки» и другие произведения. Батальонный комиссар, умер в госпитале от пневмонии.

С. 127

...видела артиста Федора Никитина. — Федор Михайлович Никитин (1900–1988), артист театра и кино; в 1941–1943 гг. был командиром взвода народного ополчения, служил актером и режиссером агитвзвода. С 1943 г. актер и режис-

сер Ленинградского Блокадного театра (впоследствии Ленинградский драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской).

С. 128

Говорят, что весной может быть химическая война... — Несмотря на произведенные немецким командованием расчеты на использование против Ленинграда химических средств, данный вид оружия так и не был применен в силу невозможности получить необходимое количество снарядов (их требовалось несколько сотен тысяч). В городе тем не менее постоянно действовала служба ПВХО — противохимической обороны.

С. 129

...позвонить Бадаеву... — Георгий Федорович Бадаев (1909–1950), 1-й секретарь Московского райкома ВКП(б). Во время блокады отвечал за формирование дивизий народного ополчения и курировал ПВО. В период с 1943 по 1946 г. занимал должность секретаря Ленинградского горкома партии. С 1946 по 1949 г. 2-й секретарь Ленинградского обкома ВКП(б). Расстрелян по «Ленинградскому делу».

Как-то выйдет о Бородулине... — Александр Иванович Бородулин (1926–1942), ленинградский комсомолец, ушел добровольцем в партизаны в сентябре 1941 г.; разведчик партизанского отряда под командованием И. Г. Болознева; герой радиоочерка О. Ф. Берггольц.

С. 131

...Волженина... — Владимир Моисеевич Волженин-Некрасов (1886–1942), поэт-песенник, соавтор композитора И. О. Дунаевского, писатель, сотрудник Ленинградского радио. В начале войны была популярна песня на его стихи «Мсть балтийцев» («Кровь за кровь»). Умер в эвакуации в Ярославле.

С. 132

...5 плиток столярного клея (а из него выходит прекрасный студень...)... — Одно из блокадных блюд. Блокадник Ю. Е. Александров вспоминал: «Среди единичных положительных блокадных воспоминаний помню чудесный вкус холодца из столярного клея... Сейчас такого столярного клея уже не продают. Он был в плитках темно-коричневого цвета, иногда слегка прозрачных, размером со стограммовый шоколад. Готовился из костных отходов скотобойни. Мы варили холодец из одной плитки в трех литрах воды, добавляли два лавровых листика, две крупинки гвоздики, и та вонь уже чудесно пахла. Варено застывало очень долго, часов пять. Ели этот холодец маленькими кусочками чайной ложкой» (цит. по: Богданов И. А. Ленинградская блокада от А до Я. С. 122).

«Чудо на Марне»... — Имеется в виду спасение Парижа от немецких войск во время Первой мировой войны. 5–12 сентября 1914 г на реке Марна состоялось крупное сражение, закончившееся поражением немецкой армии.

С. 134

...узнать в Гослите... — Здесь: Гослитиздат, государственное литературное издательство, было создано в 1934 г на базе Государственного издательства художественно литературы (ГИХЛ). В 1939–1945 гг главным редактором издательства был Александр Антонович Копяткевич (1886–1960).

...и «Смене»... — «Смена», общественно-политическая молодежная газета России. Первый номер вышел 18 декабря 1919 г в Ленинграде. Прекратила свое существование в 2015 г.

С. 138

...позвонить оттуда Авербух... — Речь идет о Ефиме Соломоновиче Авербухе, враче психиатрической больницы, в которой лечился Н. С. Молчанов.

С. 139

...бегать к обидчикам-властям, в ЗАГСы... — «В органы ЗАГСы за оформлением смертей ходила незначительная часть населения, предприятий и учреждений, так как в начале роста смертности ЗАГСы... оказались неподготовленными к регистрации такого большого количества смертей — создавались огромные очереди. В связи с таким явлением, дальнейшим ростом смертности и ослаблением живых количество желающих оформить в ЗАГСах и своими силами захоронить умерших падало, а подбрасывание покойников возрастало, и оформление их через органы ЗАГСа было невозможно» (*Ковальчук В. М. Трагические последствия блокады Ленинграда // Население России в XX веке: Исторические очерки: в 3 т. М., 2001. Т. 2: 1940–1959. С. 41*).

С. 140

Я отделяюсь. — Цит. повесть «Кроткая» (1876) Ф. М. Достоевского.

...пойду к моему папе. — Этот драматический проход по мертвому, погибающему городу от Дома радио на Невскую заставу в амбулаторию на фабрике Торнтонна, где работал Ф. Х. Берггольц, О. Ф. Берггольц описала в первой части автобиографической повести «Дневные звезды».

...раздобыл себе продаттестат и получает прекрасный сухой паек... — Продовольственный аттестат полагался только военным. Вероятно, в данном случае речь идет о какой-то не вполне законной комбинации.

С. 142

...понесет Чуковскому... — Николай Корнеевич Чуковский (1904–1965), сын К.И. Чуковского, писатель; служил в блокаду в ПУБАЛТе; после войны написал роман «Блокадное небо».

...и Мироновым... — Семья Константина Константиновича Миронова (1897 — после 1961), главного режиссера Ленинградского радиокомитета. Во время войны вел передачи «Письма с фронта и на фронт», позже был артистом и режиссером Блокадного театра.

С. 143

Умирают по 18 000 в день... — «По сведениям статистического управления Ленинграда, в январе 1942 г. умерло 101583 человека, в феврале — 107477, в марте — 98966, в апреле — 79769, в мае — 53183 человека» (*Ковальчук В.М. Трагические последствия блокады Ленинграда. С. 41*).

На радио работать стало неинтересно, — что ж, оно почти не говорит в городе... — Отключение отдельных районов из-за нехватки электроэнергии не было редкостью. Как пишет в своих мемуарах Б.М. Михайлов, проводивший в Ленинграде первую блокадную зиму: «Сколько ни пытаюсь, не могу припомнить режим работы радио. Работало ли оно вообще? И да и нет. Судя по литературе о блокаде — да. И очень продуктивно. По радио читали свои вдохновенно-патриотические стихи О. Берггольц, Н. Тихонов, передавались различные призывы крепить оборону города и пр. Судя по моей памяти — нет. Черный фибровый репродуктор... мне запомнился глухим молчанием, которое иногда прерывалось монотонным тук-тук, тук-тук...» (*Михайлов Б.М. Живые страницы войны и блокады. СПб., 2005. С. 73*).

С. 144

Умер Левка Цырлин... — Лев Вениаминович Цырлин (1906–1942), литературовед, был военным корреспондентом газеты «За Советскую Родину».

...умер Оксенов... — Иннокентий Александрович Оксенов (1897–1942), писатель.

...Гьфман... — Виктор Абрамович Гьфман (1899–1942), литературовед.

...об отправке, — спасении нашего оркестра... — Речь идет об оркестре Ленинградского радиокомитета под руководством К.И. Элисберга. Впоследствии выжившие оркестранты принимали участие в исполнении Седьмой (Ленинградской) симфонии Д.Д. Шостаковича.

...поток эваков. — Так сокращенно называли эвакуированных.

С. 146

...в покойницкой у Николая Чудотворца... — В церкви при 2-й психиатрической больнице на Пряжке находился морт.

...по улице Ракова... — Так в честь погибшего в годы Гражданской войны комиссара А. С. Ракова с 1923 по 1991 г. называлась Итальянская улица.

С. 148

...отказываю Половникову.. — Александр Павлович Половников, редактор отдела литературно-драматического вещания Ленинградского радиокомитета.

...жалость к... Любарской... — Александра Иосифовна Любарская (1908–2002), писательница, сотрудница С. Я. Маршака по ленинградскому отделению «Детгиза», автор сборников сказок «Волшебный колодец», «Чудодейное колечко», «Золотое яблоко», переводчица сказок В. Гауфа. Была арестована, освобождена в начале 1939 г. (Подробнее см.: *Любарская А.* За гранью прошлых дней // Нева. 1995. № 2. С. 170–171.)

...и Гинзбург — щепотку чая. — Лидия Яковлевна Гинзбург (1902–1990), филолог, эссеист, прозаик; автор книги «Записки блокадного человека», где есть страницы, посвященные О. Ф. Берггольц и Г. П. Макогоненко.

Людешки сегодня радуются, — прибавили хлеба, 500 гр<аммов> I кат<егории>, 400 — II, 300 — III. — «В спецсообщении 11 февраля 1942 г. УНКВД приводило ряд примеров положительной реакции населения на это событие — люди вновь заговорили о “заботе правительства, которое любит свой народ”. Самими ленинградцами эта прибавка хлеба расценивалась как результат успехов Красной армии и некоторые рассматривали ее как “начало перелома”. Были и противоположные настроения: “...Сегодня по радио несколько раз сообщали о такой мизерной прибавке хлеба. Некоторые радуются, что им прибавили хлеба, не думая о том, что от голода погибли десятки тысяч людей...” (механик завода им. Энгельса Т.)» (цит. по: *Ломагин П. А.* Неизвестная блокада. С. 306).

В столовых — 50% вырез. — Продовольственные карточки представляли собой прямоугольники, разделенные на ряд клеток. Каждая клетка обозначала определенное количество граммов того или иного продукта. Эти талоны и вырезали при покупке продовольствия или обеда. Как писал Д. В. Павлов: «До середины сентября в общественных столовых у обедающих вырезали талоны из карточек только на мясо и хлеб, в размере 50% от установленной нормы на приготовление обеда, то есть если на первое и второе блюда израсходовано 100 граммов мяса, удерживалось 50 граммов. Во второй половине сентября стали вырезать талоны из карточек в размере 100% на мясо и хлеб, за исключением небольшого количества столовых закрытого типа (на оборонных предприятиях). <...> Карточки на октябрь и последующие месяцы печатались в несколько измененном виде — предусматривались мелкие купюры: на мясо — по 25 граммов, на жиры — по 10, на крупы и хлеб — по 25, на сахар и кондитерские изделия — по 50 граммов. Например, за бутерброд с мясом весом в 50 граммов вырезалось с кар-

точки два талона: один на хлеб — 25 граммов и один на мясо — 25 граммов» (Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. М., 1969. С. 117–118).

С. 149

...чем Рахманову... — Леонид Николаевич Рахманов (1908–1988), писатель, драматург. Во время финской кампании 1939–1940 гг и в начале Великой Отечественной войны был военным корреспондентом.

...от начальника аэропорта — Цейтлина... — Моисей Исаакович Цейтлин, начальник авиабазы аэродрома «Смольное».

С. 150

...стихи «Январский дневник»... — Так называлась первая редакция поэмы «Февральский дневник». Поэма была начата в январе. 22 февраля 1942 г. О. Ф. Берггольц прочитала ее на радио. 5 июля 1942 г. поэма была опубликована в газете «Комсомольская правда».

С. 151

...к дню Красной Армии. — Правильное название: День Красной армии, установлен 23 февраля 1922 г. Впоследствии название изменялось: с 1946 г. — День Советской армии, с 1949 г. — День Советской армии и Военно-морского флота, с 1993 г. — День защитника Отечества.

...Псоич... — Псоич (также Псо), домашнее прозвище Н. С. Молчанова и О. Ф. Берггольц.

С. 152

...некто Волкова... — Секретарь по культуре Ленинградского горкома ВКП(б).

...Гете поднимать... — Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749–1832), немецкий поэт, мыслитель.

С. 153

...после телеграммы Фадеева... — Александр Александрович Фадеев (1901–1956), писатель, секретарь ССП. С мая 1942 г. Фадеев прожил несколько месяцев в блокадном Ленинграде, написал статью об О. Ф. Берггольц для сборника «Ленинград в дни блокады» (М., 1944).

...Мерецков вынужден окопаться... — Кирилл Афанасьевич Мерецков (1897–1968), советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза (1940). С сентября 1941 г. командовал 7-й отдельной армией, с ноября 1941 г. командующий войсками 4-й отдельной армии. С декабря 1941 г. командующий войсками Волховского фронта. С февраля 1944 г. назначен командующим войсками Карельского фронта.

С. 157

...Степан Николаевич Молчанов... — Отец Н. С. Молчанова.

...это «паскудненький Гиньоль»... — Гиньоль, герой французского ярмарочного балагана (Петрушка); этим термином обозначают также соответствующий жанр театрального искусства. В данном случае это выражение можно интерпретировать как «фарс».

С. 158

Вот я и в Москве, на Сивцевом Вражке. — В феврале 1942 г. у О. Ф. Берггольц начала развиваться тяжелая форма дистрофии. 1 марта 1942 г. правлением Ленинградского отделения ССП она была направлена в командировку в Москву. Вернулась 20 апреля 1942 г. Жила в Москве у М. Ф. Берггольц в ее квартире по адресу: переулок Сивцев Вражек, д. 6, кв. 1.

...это делал Тихонов. — Николай Семенович Тихонов (1896–1979), поэт, прозаик. Во время блокады работал корреспондентом военных газет, возглавлял группу писателей при Политуправлении Ленинградского фронта. Написал поэму «Киров с нами» (1941), сборник стихов «Огненный год», «Ленинградские рассказы», очерки «Ленинград принимает бой».

...а Ia «Светлый путь»... — Т. е. в духе музыкальной кинокомедии «Светлый путь» 1940 г. Режиссер — Георгий Васильевич Александров (1903–1983).

Аще забуду тебя, Иерусалиме... — Неполная цитата из Псалтири; ср.: «Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя» (Пс. 136:5).

С. 159

...о потребности умереть после смерти одного из нас. — Этот мотив отразился в стихотворном отрывке О. Ф. Берггольц:

И под огнем на черной шаткой крыше
ты крикнул мне,
не отводя лица:
«А если кто-нибудь из нас...
Ты слышишь?
Другой трагедию досмотрит до конца».
Мы слишком рано вышли —
в первом акте,
но помнил ты, что оставлял.
И я не выйду до конца спектакля —
его актер, и зритель, и судья.
Но, Господи, дай раньше умереть, чем мне сказать:

«Не стоило смотреть» (Ольга. Запретный дневник: дневники, письма, проза, избранные стихотворения и поэмы Ольги Берггольц. СПб., 2010. С. 459).

Живу в гостинице «Москва». — Одна из крупнейших гостиниц Москвы. Построена в 1933–1935 гг.

С. 160

...Шолохову хвасталась... — Михаил Александрович Шолохов (1905–1984), писатель.
...прилетели Томашевские... — Борис Викторович Томашевский (1890–1957), литературовед, теоретик стиха; Ирина Николаевна Медведева-Томашевская (1903–1973), литературовед, его жена.

...и Азадовские. — Марк Константинович Азадовский (1888–1954), литературовед, фольклорист; Лидия Владимировна Азадовская (урожд. Брун; 1904–1984), историк литературы, его жена.

...Ирина... — И. Н. Медведева-Томашевская.

С. 161

...выклянчить в Наркомпищепроме... — Народный комиссариат пищевой промышленности. Находился в Москве по адресу: улица Разина (ныне Варварка), д. 26.

С. 162

...люди в дороге мрут. — «Жертвы ленинградцев определяются не только цифрой 700 тыс. чел. Многие из них умерли и во время эвакуации — в дороге и в местах, куда они прибывали. Например, на станции Борисова Грива и Ладожское озеро с 1 января по 15 апреля 1942 г. было захоронено 2863 умерших. В феврале-марте с эшелонов, следовавших с ленинградцами, только до Вологды включительно было снято 2102 трупа... С января 1942 г. по 23 марта 1943 г. только Тихвинским эвакуопунктом было снято с эшелонов, следовавших с эвакуированными ленинградцами, 677 трупов, из которых 191 не установлены личности» (Ковальчук В. М. Трагические последствия блокады Ленинграда. С. 45).

Умер в пути Миша Гутнер... — Михаил Наумович Гутнер (1912–1942), поэт, переводчик.

Наверное, умерла Маруся... — Имеется в виду М. В. Машкова. Опасения не подтвердились.

Начнется весна — боже, там ведь чума будет. — В связи с предпринятыми в марте-апреле 1942 г. мерами по очистке города от грязи и нечистот массовых эпидемий удалось избежать. Тем не менее опасность была вполне реальной, как видно из письма начальника гарнизона Ленинграда 1-му секретарю Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) А. А. Жданову: «Исключительно тяжелое санитарно-эпидемиологическое состояние Ленинграда требует чрезвычайных мер для прекращения дальнейшего развития инфек-

ционных заболеваний среди населения города. По сравнению с прошлым годом количество заразных заболеваний в апреле резко возросло. При расчете на 1000 чел. населения в апреле этого года количество заболевших дизентерией и брюшным тифом увеличилось в 5–6 раз и сыпным тифом — в 25 раз против апреля прошлого года. <... > Поквартирными обследованиями многих десятков тысяч граждан установлена значительная завшивленность населения, доходящая по отдельным районам до 30%. <...> Из-за бездействия дворовой канализации население в значительной части нечистоты выбрасывает в сливные ямы. <...> Проводимые горздравотделом мероприятия санитарно-предупредительного и лечебного характера являются далеко не достаточными для достижения перелома в санитарно-эпидемиологическом состоянии города и ликвидации вспышек заразных заболеваний среди населения» (Ленинград в осаде. С. 307–308).

...Жданов присылает сюда... — А. А. Жданов, с июня 1941 г. член Военного совета Северо-Западного направления, с сентября 1941 по июль 1945 г. член Военного совета Ленинградского фронта. Во время блокады руководил парторганизацией и всей жизнью города.

С. 163

Армия, стоящая в кольце... — Имеются в виду войска Ленинградского фронта, образованного 23 августа 1941 г. путем разделения Северного фронта на Карельский и Ленинградский фронты.

Население вымирает. (По официальным данным, умерло около 2 миллионов!) — Историк блокады В. М. Ковальчук в своей статье подробно рассматривает вопрос человеческих потерь: «Данные о численности погибших в блокованном Ленинграде в 1941–1942 гг. (жертвы голода, холода, артиллерийских обстрелов, авиационных налетов) на протяжении ряда лет являются предметом споров. Первой опубликованной цифрой жертв блокады была цифра 632 253 человека. Она была определена в 1945 г. в результате работы Ленинградских городской и районной комиссий по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, созданных в мае 1943 г. <...> Эти данные не могли быть исчерпывающими. Установить в тех условиях, погиб человек в Ленинграде или находился в эвакуации, не всегда было возможно. Даже после войны в городскую комиссию поступали заявления от ленинградцев, у которых члены семьи погибли в годы блокады. А в более поздних материалах городской комиссии констатировалось, что от голода умерло 681 803 человека. В 1965 г. появились новые цифры. В. М. Ковальчук и Г. Л. Соболев на основании ряда подсчетов пришли к выводу, что число жертв ленинградцев периода блокады составило не менее 800 тыс. человек. Тогда же в коллективном труде «На защите Невской твердыни» утверждалось, что погибло от голода не менее мил-

лиона человек. <...> Установление численности погибших наталкивается на ряд специфических трудностей. В начале блокады люди еще старались зарегистрировать смерть своих родных и близких, выстаивая много часов в очередях в ЗАГСы. Но с наступлением холодов ослабевшие люди, будучи уже не в силах похоронить умерших, перестали ходить в ЗАГСы. <...> Данные и подсчеты дают основание полагать, что в Ленинграде в период блокады погибло не 800 тыс., а примерно 700 тыс. ленинградцев. <...> Цифра 1 093 695 трупов, захороненных на ленинградских кладбищах, явно не соответствует их истинному числу. Она несомненно сильно завышена, вследствие имевших место приписок. <...> Но жертвы ленинградцев определяются не только цифрой 700 тыс. чел. Многие из них умерли и во время эвакуации — в дороге и в местах, куда они прибывали. <...> В Бабаево, Череповце и Вологде в феврале-апреле 1942 г. умерло около 5 тыс. прибывших туда ленинградцев... В Ярославле и Ярославской области в 1942 г. умерло более 8 тыс. чел., эвакуированных из Ленинграда. <...> Цифра 700 тыс. ленинградцев, погибших в блокированном городе, не исчерпывает жертв ленинградской блокады. Но сколько всего истощенных ленинградцев погибло в процессе эвакуации — пока неизвестно» (Ковальчук В.М. Трагические последствия блокады Ленинграда. С. 40, 45–46).

...на приеме у Поликарпова — председателя ВРК. — Дмитрий Алексеевич Поликарпов (1905–1965), с 1941 г. председатель Всесоюзного радиокomiteта (ВРК); с 1944 г. председатель ССП.

Всесоюзный радиокomiteт при СНК СССР располагался в Москве по адресу: улица Петровка, д. 12.

О, Иудушки Головлевы! — Иудушка Головлев, главный герой повести «Господа Головлевы» (1880) М.Е. Салтыкова-Щедрина. Характерное свойство этого персонажа — зло под маской добродетели.

Проект нашей книги «Говорит Ленинград»... — Эта книга была опубликована в 1946 г., в нее вошло свыше 20 очерков-радиоречей, написанных О.Ф. Берггольц. В 1949 г., с началом «Ленинградского дела», книга была изъята из открытых фондов библиотек и отправлена в спецхран. Причиной тому стало упоминание в книге фамилий репрессированных политических деятелей, руководивших городом в период блокады.

...получили телеграмму от отца... — 17 марта 1942 г. Ф.Х. Берггольц был выслан из Ленинграда по 39-й статье (38-я и 39-я статьи Положения о паспортах касались ограничений режима прописки, негласно запрещали проживание в крупных городах). Ценой огромных усилий О.Ф. Берггольц удалось перевести отца из ссылки в Минусинске в Чистополь, куда были эвакуированы М.Т. Берггольц и М.Ю. Лебединский. Подробнее см.: Прозорова Н.А. Письма О.Ф. Берггольц отцу Ф.Х. Берггольцу (1942–1948) // Ольга. Запретный дневник. С. 240–280.

С. 164

...была на 7 симфонии Шостаковича. — Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906–1975), композитор, пианист, педагог. Седьмая (Ленинградская) симфония была исполнена в Москве 29 марта 1942 г в Колонном зале Дома Союзов, дирижер Евгений Александрович Мравинский (1903–1988). В блокадном Ленинграде премьера Седьмой симфонии состоялась 9 августа 1942 г в исполнении оркестра радиокомитета под управлением Карла Ильича Элиасберга (1907–1978).

С. 165

«На разгром врага». — Газета Брянского фронта.

С. 166

...приняли книжку... — Книга стихов О. Ф. Берггольц «Ленинградская тетрадь» вышла в 1942 г в издательстве «Советский писатель».

...приняли в «Красную» новь»... — Летом 1942 г журнал «Красная новь» прекратил свое существование.

...сделать попытку напечататься в «Правде». — 30 июня 1942 г в газете «Правда» (центральный органе печати ЦК ВКП(б)) было опубликовано стихотворение О. Ф. Берггольц «Ленинграду» («Нам от тебя теперь не оторваться...»).

С. 167

...письмо от отца, с какой-то станции Глазовой... — Письмо Ф. Х. Берггольца от 28 марта 1942 г хранится в РГАЛИ (Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 567). Станции с подобным названием нет. Вероятно, имеется в виду г. Глазов Удмуртской АССР.

...к Берия... — Лаврентий Павлович Берия (1899–1953), с ноября 1938 г нарком внутренних дел СССР, с февраля 1941 г, не оставяя пост наркома, заместитель Председателя СНК. С июня 1941 г член Государственного Комитета Оборона.

В ночь на 4/IV на Ленинград было сброшено 200 бомб, гл<авным> обр<азом> на Васильевский остров, на корабли. — 4 апреля 1942 г немцами силами 1-го воздушного флота была проведена операция под кодовым названием «Айсштосс» («Ледовый удар»). Целью операции было уничтожение кораблей Балтийского флота, стоявших на Неве. Атака началась 4 апреля. После артиллерийского обстрела 191 самолет противника предпринял атаки с воздуха по стоянкам кораблей. Благодаря активным действиям ПВО и ВВС Ленинградского фронта операция провалилась. К кораблям провались лишь отдельные бомбардировщики.

С. 168

...Юльку Эшмана. — Юлий Аронович Тонин (настоящая фамилия Эшман; 1910–1984), писатель, журналист.

С. 169

Мы были ~ владыками морей... — Цит. стихотворение «Галерный раб» (1915?) Дж. Р. Киплинга в переводе М. А. Фромана.

Васька Ардаматский говорил... — Василий Иванович Ардаматский (1911–1989), писатель; в первые годы блокады представлял в Ленинграде центральное радиовещание.

...будто Жильцов... — Прокофий Данилович Жильцов, начальник штаба истребительного авиационного корпуса в Ленинграде.

...до самодура Ставского... — Владимир Петрович Ставский (настоящая фамилия Кирпичников; 1900–1943), писатель; с 1936 г. генеральный секретарь ССП; с начала войны корреспондент газеты «Правда». Погиб на фронте.

С. 170

Была на заводе № 34... — Завод № 34 был создан в 1931 г. на основе «Государственного авиационного завода № 1». В настоящее время — ОАО НПО «Наука». Располагается по адресу: г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2.

...действовать через Кубаткина... — Петр Николаевич Кубаткин (1907–1950), начальник УНКВД по Ленинграду и Ленинградской области, расстрелян по «Ленинградскому делу».

С. 171

...Лесючевские... — Николай Васильевич Лесючевский (1908–1978), критик, издательский работник; в 1930-е гг. консультант Ленинградского отделения НКВД по вопросам литературы (подробнее см.: Оксман Ю. Доносчики и предатели среди советских писателей и ученых // Социалистический вестник. Париж, 1963. № 5/6. С. 74–76).

Вчера объявили сталинских лауреатов. — Лауреатами за 1942 г. в области литературы стали И. Г. Эренбург за роман «Падение Парижа» (1941), В. Г. Ян за роман «Чингисхан» (1939), А. А. Антоновская за части 1–2 романа «Великий моурави», С. П. Бородин за роман «Дмитрий Донской» (1941), Н. С. Тихонов за поэму «Киров с нами» (1941) и стихотворения «В лесах на полянах мшистых...», «Растет, шумит тот вихрь народной славы...» и др., С. Я. Маршак за стихотворные тексты к плакатам и карикатурам.

Беда стране ~ к престолу! — Цит. стихотворение «Друзьям» (1828) А. С. Пушкина.

С. 172

Почитаю им «Рассказ об одной звезде»... — Рассказ О. Ф. Берггольц для детей, написан 13 мая 1941 г.

...отдать в ЦК Еголину... — Александр Михайлович Еголин (1896–1959), литературовед, партийный деятель. Работал в Управлении пропаганды и агитации при ЦК ВКП(б) заведующим отделом печати.

...доваторцы... — Так называли кавалеристов, служивших под командованием гвардии генерал-майора Льва Михайловича Доватора (1903–1941) и прославившихся в боях против немецких войск под Москвой в 1941 г. Название сохранилось и после смерти командира.

..у Маргошки... — Речь идет о М. С. Довлатовой (см. коммент. к с. 33).

Отчаяния мало ≈ русской землей... — Черновой набросок стихотворения О. Ф. Берггольца «29 января 1942», посвященного памяти Н. С. Молчанова. Вошло в сборник «Узел: Новая книга стихов» (М.; Л., 1965).

С. 174

Звонила Тонька Гаранина... — Антонина Васильевна Гаранина, работник производственного отдела Детгиза.

Тьмы низких ≈ возвышающий обман. — Неточная цитата из стихотворения «Герой» (1830) А. С. Пушкина. Правильно: «Тьмы низких истин мне дороже...»

У Алянского в пути умерла жена, здесь — в Москве — сын. — Самуил Миронович Алянский (1891–1974), основатель издательства «Алконост». Его жена — Надежда Львовна Алянская (1899–1942). Сын — Лев Самуилович Алянский (?–1942).

...НКВД «проверяет» мое заявление относительно папы. — Речь идет о заявлении О. Ф. Берггольца городскому прокурору Анатолию Николаевичу Фалину (см.: Ольга. Запретный дневник. С. 252–253).

С. 177

В 42^{оа} Армии... — 42-я армия была сформирована 3 августа 1941 г. на Северном фронте. Принимала активное участие в обороне Ленинграда. В описываемый период командующим армией был генерал-майор И. Ф. Николаев. Расформирована в июне 1945 г.

...около Дворца советов... — Так в тексте. Правильно: Дом Советов. Построен в 1936–1941 гг., расположен по адресу: Московский проспект, д. 212. В течение блокады находился фактически на рубеже обороны города. На верхнем этаже был оборудован наблюдательный пункт командующего (с июня 1942) Ленинградским фронтом Л. А. Говорова. В память о событиях блокадных лет на площади сохранен дот.

...в 55^{оа}... — 55-я армия была сформирована 1 сентября 1941 г. в составе Ленинградского фронта. Соединения и части 55-й армии остановили наступление противника на рубеже Верхнее Кузьмино — Большое Кузьмино — Путролово — Новая. Командующий армией генерал-лейтенант В. П. Свиридов. В конце декабря 1943 г. была объединена с 67-й армией.

...в Рыбацком... — Рыбацкое, в то время пригородное село на Шлиссельбургском тракте. В 1941 г. в районе Рыбацкого проходил один из рубежей внутренней обороны Ленинграда. В настоящее время — район С.-Петербурга.

- ...и **Усть-Ижоре**. — Усть-Ижора, поселок, расположенный при впадении реки Ижоры в Неву. В настоящее время входит в состав С.-Петербурга.
- ...**умерли мои тетки...** — Имеются в виду сестры М. Т. Берггольд Варвара Тимофеевна Грустилина (1888–1942), работавшая в госпитале, Анастасия Тимофеевна Грустилина (1891?–1942) и Аполлинария Тимофеевна Гурбачева (урожд. Грустилина; 1893–1942). Выжила только Валентина Тимофеевна Иванова (урожд. Грустилина; 1897–1987; в блокаду работала телефонисткой).
- ...**написала одно стихотворение «Ленинградцы»...** — В окончательном варианте — «Ленинграду» («Нам от тебя теперь не оторваться...»). Впервые опубликовано: Правда. 1942. 30 июня.

С. 178

- ...**цикл «Ленинградцы»** — о той самой человеческой эстафете. — Речь идет о будущей «Ленинградской поэме».
- О Мэри Рид, сестре Джона Рида...** — Мэри Рид (1897–1972), американская коммунистка, журналистка. С 1927 г. в СССР в качестве корреспондента газеты «The Daily Worker»; с 1934 г. редактор Гбсиздата. В годы блокады работала вместе с О. Ф. Берггольд в Ленинградском радиокомитете. В 1945 г. арестована, сослана в лагерь; реабилитирована в конце 1960-х гг. Однофамилица, а не сестра Джона Рида.
- Джон Рид (1887–1920)**, американский писатель, публицист, автор книги о Великой Октябрьской революции «Десять дней, которые потрясли мир» (1919).
- ...**фронт начинается на улице Стачек...** — Устаревшее название проспекта Стачек (улица была переименована в проспект в 1940 г.). Когда линия фронта в конце 1941 г. вплотную подошла к окраинам города, отсюда до первой линии немецких траншей было четыре километра. Фронтальная территория начиналась за Кировским заводом.
- ...**за больницей Фореля...** — Психиатрическая больница им. Фореля находилась по адресу: проспект Стачек, д. 156. Первая государственная психиатрическая больница в С.-Петербурге (с 1828). Просуществовала до 1941 г., затем была эвакуирована. После войны в этом здании располагался Дом культуры.

С. 179

- ...и **Лидия Николаевна**. — Вероятно, Лидия Николаевна Вите, мать М. А. Вите. Умерла в 1942 г. от истощения.
- ...**Типка...** — Н. С. Тихонов. См. о нем коммент. к с. 158.
- ...**Прокофьев...** — Александр Андреевич Прокофьев (1900–1971), поэт.

С. 180

- Как говорится — извиняюсь, я к курам не присужденная!** — Неточная цитата из пьесы «Закат» (1928) Исаака Эммануиловича Бабеля (1894–1940). Пра-

вильно: «Вот я курями на базаре торгую, мне мужики всё летошних кур всучивают, да рази я к курям этим присужденная?»

Тучкова набережная, Тучков мост... — В настоящее время — набережная Макарова. Тучков мост не изменил своего названия. В 1930 г. О.Ф. Берггольц и Н.С. Молчанов учились на филологическом факультете ЛГУ, который находится недалеко от Тучковой набережной и Тучкова моста.

С. 182

...на квартире Гуковского... — Григорий Александрович Гуковский (1902–1950), литературовед, критик; с 1935 г. профессор, заведующий кафедрой русской литературы филологического факультета ЛГУ. Проживал по адресу: 13-я линия Васильевского острова, д. 56. В феврале 1942 г. вместе с университетом был эвакуирован в Саратов. В 1949 г. арестован как «космополит»; умер в тюрьме.

...бюст Ломоносова... — Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1865), поэт, ученый-естествоиспытатель.

...взять на Троицкой, в Толстовском доме... — Распространенное название дома, выстроенного в 1910–1912 гг. по заказу графа Михаила Павловича Толстого (1845–1913) архитектором Федором Ивановичем Лидвалем (1870–1945); располагается по адресу: улица Рубинштейна, д. 15–17 / набережная реки Фонтанки, д. 54.

...перевезти туда книги (редчайшая библиотека, подбор 18 века) Гуковского, прекрасную его, старинную мебель... — Вероятно, речь шла о договоренности между Г.П. Макогоненко и Г.А. Гуковским о спасении библиотеки и вещей: дом, в котором жил Гуковский, был деревянным, деревянные дома подлежали разбору на дрова, к тому же дом мог сгореть.

С. 183

...письменный стол жены Гуковского, он с трельяжем... — Речь идет о второй жене Г.А. Гуковского Зое Владимировне Гуковской (урожд. Артамонова; 1907–1973). Библиотека уцелела (была продана после войны). По современному свидетельству Татьяны Константиновны Долининой, внучки Г.А. Гуковского, бюст М.В. Ломоносова, письменный стол с зеркалом и прочие вещи до сих пор находятся в их семье.

...«и башмаков еще не износила!»... — Цитата из монолога Гамлета из трагедии У. Шекспира «Гамлет» (1600–1601).

С. 184

...взяться... за передачу «Ленинград-фронт». — Радиоочерк был опубликован в сборнике «Говорит Ленинград» (Л., 1946).

- ...были у Матюшиной, тетки Тамары Франчески.** — Ольга Константиновна Матюшина (урожд. Громозова; 1885–1975), художник, писатель; вторая жена Михаила Васильевича Матюшина (1861–1934), художника, музыканта, теоретика футуризма. Автор книги о блокаде «Песнь о жизни» (Л., 1946). В д. 10 на Песочной улице (в наши дни улица Профессора Попова, «Дом Матюшина») ныне расположен Музей петербургского авангарда, который в годы блокады писатель и драматург В. В. Вишневский спас от разбора на дрова. Тамара Георгиевна Франчески (по мужу Зингер; 1910–?), журналистка, работала в Кирове.
- ...Игоря Франчески...** — Игорь Георгиевич Франчески (1907–1996), поэт, по образованию химик-технолог, был арестован по одному делу с О. Ф. Берггольц как участник контрреволюционной группы.
- ...Леньки Анка...** — Леонид Анк (настоящие имя и фамилия Леонид Владимирович Дьяконов; 1908–1995), писатель, фольклорист. Двоюродный брат поэта Н. А. Заболоцкого. Вместе с О. Ф. Берггольц и Н. С. Молчановым работал в Казахстане, затем уехал в Вятку (Киров). В неопубликованной части «Дневных звезд» О. Ф. Берггольц рассказывает, как, оказавшись на грязных улицах Алма-Аты в 1931 г., где вокруг ползали голодные дети на тоненьких ножках, они свернули с дороги и увидели перед собой сверкающие горы. «Вот ребята, — сказал Ленька, — вот так мы войдем в социализм. И мы молча и безоговорочно согласились с ним...» (Берггольц О. Встреча. Дневные звезды. М., 2000. С. 236). Арестован 6 апреля 1938 г. Под жестокими пытками оговорил О. Ф. Берггольц и Н. С. Молчанова. Был признан невменяемым, лечился в психиатрической больнице. Дело было прекращено. Реабилитирован 26 августа 1994 г.
- ...Хлебников...** — Велимир Хлебников (настоящее имя Виктор Владимирович; 1885–1922), поэт-авангардист, основоположник русского футуризма
- ...Елена Гуро.** — Елена Григорьевна Гуро (1877–1913), поэт, художник; первая жена М. В. Матюшина.

С. 185

- ...некоей Ирине Исакович...** — Ирина Владимировна Исакович (1917–1999), окончила ЛГУ, в 1960–1970-х гг. была редактором «Библиотеки поэта» при издательстве «Советский писатель».

С. 186

- Поворот, что уже взята Керчь.** — В первый раз Керчь была оккупирована 16 ноября 1941 г. и отбита 30 декабря 1941 г. 19 мая 1942 г. город был повторно занят немецкой армией и освобожден только 11 апреля 1944 г.
- ...приказ — окончить войну с Германией в 42 году...** — Речь идет о приказе Верховного главнокомандующего № 130 от 1 мая 1942 г., в котором содержался

ся призыв добиться того, чтобы 1942 г. стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск (см.: *Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза*. СПб., 2010. С. 51).

...трупоедство растет... — Исследователь А. Р. Дзенiskeвич условно делил участников преступлений на четыре группы. Первая — собственно каннибалы, т. е. преступники, которые убивали ради поедания мяса жертв. Вторая — те, которые никого не убивали, а лишь использовали отрезанные от трупов части для еды. Каннибалов чаще всего ждала высшая мера наказания. Трупоедов в зависимости от обстоятельств приговаривали к разным срокам лишения свободы. Третья группа — те, кто сам мог и не употреблять человеческое мясо в пищу, но продавал на черном рынке котлеты и холодец, якобы изготовленные из свинины. Четвертая — пассивные участники, те, кто покупал «котлеты» и «студни» из «свинины» на черном рынке. Их не наказывали, у них лишь конфисковывали купленный товар. Продавцу, если анализ мяса подтверждал наличие преступления, грозил трибунал (см.: *Дзенiskeвич А. Р. Бандитизм (особая категория) в блокированном Ленинграде // История Петербурга*. СПб., 2001. № 1. С. 50).

С. 187

...Для всех живых — твоя жена, А для себя — вдова. — Предположительно, набросок будущего стихотворения О. Ф. Бергольц «О, не оглядывайтесь назад...» (1947), которое закачивалось словами «Для всех живущих — его жена, / Для нас с тобою — твоя вдова». Впервые опублик.: Юность. 1964. № 11. Речь идет о Н. С. Молчанове.

С. 193

За то, что я руки твои = плакучие древние срубы! — Неточная цитата из стихотворения «За то, что я руки твои не сумел удержать...» из цикла «Tristia» (1920) О. Э. Мандельштама. Правильно: «...пахучие древние срубы».

Солнце останавливали словом, Словом, разрушали города. — Цит. стихотворение «Слово» (1921) Николая Степановича Гумилева (1886–1921).

...Фомиченко... — Илларион Яковлевич Фомиченко (1900–1988), генерал-майор, заместитель начальника Политического управления Ленинградского фронта. С 1945 по 1949 г. редактор «Красной звезды».

С. 194

...оказывается, со стороны Карельского было наступление. — Карельский фронт был образован 23 августа 1941 г. из части соединений Северного фронта. Линия фронта была протянута от Баренцева моря до Ладожского озера.

С. 195

Есть упоение в бою И бездны мрачной на краю... — Цит. драматическая сцена «Пир во время чумы» (1930) А. С. Пушкина.

...на дачу в Келломяки... — Речь идет о пос. Келломяки на Карельском перешейке, в котором до войны снимали дачу О. Ф. Берггольц и Н. С. Молчанов. Впоследствии часть уцелевших во время войны особняков и дач передали деятелям культуры. На старых дачах поселка были размещены дома творчества для писателей, композиторов, художников, а также выездные пионерские лагеря. В 1948 г. поселок был переименован в Комарово, в честь академика В. Л. Комарова, которому здесь была предоставлена дача.

С. 196

...на Пряжку... — Т. е. в район реки Пряжки.

...ехать через Невскую заставу, по тем самым улицам... — О. Ф. Берггольц родилась на Невской заставе в д. 6 на Палевском проспекте (ныне проспект Елизарова). Здесь же неподалеку жила ее бабушка М. И. Грустилина. Здесь О. Ф. Берггольц училась в 117-й единой трудовой школе. Здесь, в доме родителей, они жили с Б. П. Корниловым. Здесь же родилась их дочь Ирина.

С. 197

...в Глушино... — Деревня в Новгородской губернии, где О. Ф. Берггольц проводила лето в 1923–1927 гг.

С. 198

...получила письмо от Сережи. — Речь идет о письме С. С. Наровчатова от 29 апреля 1942 г. (подробнее см.: *Королева П. Г. Письма С. С. Наровчатова к О. Ф. Берггольц // Встречи с прошлым. М., 1990. Вып. 7. С. 408–440.*)

С. 199

...у него родилась дочь, он назвал ее Ольгой... — Ольга Сергеевна Наровчатова (р. 1942), киноактриса; дочь С. С. Наровчатова.

Что нам с тобой ~ неопытной любви... — Цит. стихотворение «Когда почти благоговейно...» (1913) В. Ф. Ходасевича.

...фельетон Эренбурга о Париже. — Речь идет о публикации: *Эренбург И. Париж // Красная звезда. 1942. 14 июня.* Илья Григорьевич Эренбург (1891–1967), поэт, прозаик, публицист. Роман «Падение Парижа» печатался частями в журнале «Знамя» в 1940–1941 гг. В интервью «Вечерней Москве» от 15 мая 1941 г. Эренбург сказал: «В июньские дни 1940 года я был единственным писателем (говорю не только об иностранных, но и о французских), который

остался в Париже и увидел происшедшее там». Подробнее о романе «Падение Парижа» см.: Фрезинский Б. Я. Об Илье Эренбурге. М., 2013. С. 204–235.

С. 200

Я знаю, как ты погибал ≈ По ненависти моей! — Неточная цитата из цикла стихов О. Ф. Берггольц «Европа. Война 1940 года» (1940). Правильно: «Но знаю по смертной тоске своей, как ты умирал, Париж. <...> ...Я знаю по ненависти своей, как ты восстанешь, Париж!» Посвящено И. Г. Эренбургу.

Опять постылый свист снарядов ≈ страшнее эти дни. — Фрагмент неопубликованного стихотворения О. Ф. Берггольц.

На Харьковском наши отступили... — После того как Харьков был захвачен немцами в конце октября 1941 г., советское командование предприняло несколько попыток по освобождению города (в том числе и в 1942 г.), так как он был крупнейшим промышленным и транспортным центром. 16 февраля 1943 г. Харьков был освобожден в ходе наступления Красной армии, но 10 марта 1943 г. был снова оккупирован мощной группировкой сил вермахта. Окончательно освободить город удалось только 23 августа 1943 г.

...Севастополь, видимо, на днях падет. — Город был оставлен советскими войсками 9 июля 1942 г. после 250-дневной обороны. Освобожден 9 мая 1944 г.

С. 201

...Зуккау... — Владимир Гербертович Зуккау (псевд. Владимир Невский; 1911–1968), поэт, переводчик. Во время блокады работал вместе с О. Ф. Берггольц на Ленинградском радио.

С. 202

Лишь к твоей ≈ устами прильну... — Цит. «Вступление» (1905) к «Книге второй» (1904–1908) А. А. Блока.

...на Невском, на ступеньках у Губбанка... — Скорее всего, речь идет о д. 62, где располагалась центральная контора Губбанка.

С. 203

...ин<ститу>га Покровского... — Ленинградский педагогический институт им. Покровского, находился по адресу: проспект Карла Маркса, д. 84-в.

...поэма, «Дети Ленинграда». — Произведение написано не было.

С. 204

«Ты проиграл войну, палач, — едва вступил на нашу землю!» — Цит. стихотворение О. Ф. Берггольц «Ленинградский салют» («И снова мир с восторгом слышит...»; 27 января 1944). Впервые опубл.: Подводник Балтики. 1944. 31 января (под заголовком «Победоносный Ленинград»).

...напечатали «Дорогу на фронт»... — Речь идет о публикации: Берггольц О. Дорога на фронт («Мы шли на фронт по улицам знакомым...») // Смена. 1942. 3 июня.

С. 205

Вчера немецкое радио сообщало... — Сотрудники радиокомитета имели возможность слушать немецкое радио, но горожанам были доступны лишь передачи по городской трансляционной сети. Радиоприемники по указанию властей города, во избежание воздействия вражеской пропаганды, были сданы ленинградцами на временное хранение еще 28 июня 1941 г (протокол № 46 заседания Исполкома Ленгорсовета и материалы к нему. 2 июля 1941 г. // ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1420. Л. 172).

С. 206

Неужели же я ~ смерть придет? — Неточная цитата из стихотворения «Отчего душа так певуча...» (1911) О.Э. Мандельштама. Правильно: «Неужели я настоящий...»

С. 207

И только совесть ~ хочет дани... — Неточная цитата из стихотворения «Все отнято: и сила, и любовь...» (1916) А.А. Ахматовой. Правильно: «...с каждым днем страшней...»

С. 208

...Юра торопит с поэмой... — Речь идет о «Ленинградской поэме».

...на днях немцы возьмут Воронеж. — Воронеж был оккупирован 7 июля 1942 г., освобожден 25 января 1943 г.

С. 209

Они — в области Дона, форсировали его. От Купянска до Россопи... — 12 июля 1942 г немцы заняли Воронежскую область, а 19 июля вошли в Ворошиловград (название Луганска в 1935–1958 и в 1970–1990 гг.). Другая линия обороны Красной армии была прорвана 15 июля между Доном и Северным Донцом.

...нужно выстоять до открытия второго фронта. — Обиходное название Западно-европейского театра военных действий Второй мировой войны. Началом Второго фронта обычно считается 6 июня 1944 г, когда американские, британские и канадские войска под командованием генерала Д. Эйзенхауэра высадились в Нормандии. Тем не менее союзники вели боевые действия в Европе и раньше, 10 июля 1943 г, высадившись на Сицилии, а 3 сентября того же года — в Италии.

...даже «военная группа» писателей... — Созданная по инициативе В.В. Вишневского при ПУБАЛТе в октябре 1941 г «оперативная группа писателей». В ее

состав вошли писатели В.Б. Азаров, И.Е. Амурский, С.К. Вишневецкая, В.В. Вишневский, А.И. Зонин, А.А. Крон, Г.И. Мирошниченко, Н.Г. Михайловский, А.К. Тарасенков, Л.В. Успенский, Н.К. Чуковский, А.П. Штейн и др.

С. 210

...бои в районе не Воронежа и южнее Миллерова... — Соединения 24-й армии генерал-лейтенанта И.К. Смирнова, выдвинутые из резерва Южного фронта в район Миллерово, с ходу вступили в бой с немецкими частями танковых корпусов, образовавших внешний фронт окружения в районе Миллерово. В результате 24-я армия была отброшена на юг и юго-восток. Исходя из сложившейся обстановки, Ставка ВГК приказала командующему Южным фронтом Р.Я. Малиновскому отвести войска фронта за реку Дон в его нижнем течении.

...штурм обязательно будет... — «Появились признаки того, что враг намерен штурмовать Ленинград. Основной из этих признаков — концентрация сил противника в районе Мги... 19 июля 1942 г. генеральный штаб германских сухопутных сил сообщил командованию группы армий “Север”, что “в настоящее время имеются соображения... вместо наступления на фронте Кронштадтской бухты... начать наступление на Ленинград с задачей овладеть городом, установить связь с финнами севернее Ленинграда и этим самым выключить русский Балтийский флот”. Штурм был сорван силами 42-й армии» (Буров А.В. *Блокада день за днем*. 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 2011. С. 327–328).

С. 211

Затем — отрывок с Мусей, затем — Семен Потапов, потом озеро. Истребитель Митя Карамазов... — Перечисляются герои «Ленинградской поэмы». Персонаж под именем Митя Карамазов в окончательный вариант поэмы не вошел.

...перебрались из своей комнаты с 996-ю медведями во второй этаж... — Речь идет об обоях с повторяющимися изображениями медведей.

...и Танька Г. была... — Предположительно, речь идет о Татьяне Соломоновне Григорьянц (урожд. Стернзат; 1917–1996), библиографе.

...положил свой комсомольский билет... — После ареста О.Ф. Берггольц Н.С. Молчанова вызвали в бюро комсомола и потребовали отречения от жены. Он положил на стол свой комсомольский билет, со словами, что это недостойно мужчины. В письме к О.Ф. Берггольц в тюрьму от 27 января 1939 г. он написал: «Предан тебе до пули, петли, ножа, могилы — и в вечном бытии» (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 790. Л. 49 об.).

...и Филиппова была... — Любовь Михайловна Филиппова (1908–1989), сотрудник ГПБ, главный библиотекарь. С ноября 1941 г. секретарь партийной организации библиотеки. Депутат Ленгорсовета.

С. 212

...мобилизован во время чехословацкого конфликта... — Речь идет о чехосло-польском и немецком конфликте 1938 г., после того, как Польша заявила о денонсировании польско-чехословацкого договора о национальных меньшинствах, а через несколько часов предъявила Чехословакии ультиматум о присоединении к Польше «земель с польским населением». СССР 23 сентября 1938 г. отправил ноту правительству Польши с предупреждением о денонсации пакта о ненападении между СССР и Польшей, если польские войска перейдут границу Чехословакии. В рамках этого, по всей видимости, и был проведен учебный сбор военнообязанных граждан.

...Юрку уволили из радиокомитета и разбронировали по военному учету. — В августе 1942 г. Г.П. Макогоненко уволили из радиокомитета и сняли бронь. Причиной изгнания был выпуск в эфир поэмы З.К. Шишовой «Дорога жизни». Макогоненко был прикреплен к четвертому отделу ПУБАЛТа. Е. Р. Малкина, редактор радиокомитета, в письме к А.А. Фадееву от 27 июля 1942 г. с возмущением сообщала об увольнении Макогоненко и несправедливых гонениях на Шишову: «...в горькоме проходило совещание, на котором был приглашен ряд писателей и на котором гвоздем была поэма Шишовой, но почему-то ни Шишова, ни Г.П. Макогоненко, ни я на это совещание приглашены не были» (см.: Александр Фадеев: Письма и материалы из фондов Российского государственного архива литературы и искусства. М., 2001. С. 224–226.) В радиокомитет Макогоненко был возвращен лишь в сентябре 1943 г.

...поэма Шишовой. — Зинаида Константиновна Шишова (1898–1977), поэтесса. В данном случае речь идет о поэме «Блокада». Нападки на поэму были, видимо, связаны с излишним натурализмом событий, связанных с судьбой главной героини, пытающейся спасти сына в блокадном городе.

...сказал об этом Широкову... — Иван Михайлович Широков (1899–1984), с 1 мая 1942 г. председатель Ленинградского радиокомитета, с 1945 г. секретарь Ленинградского горкома ВКП(б) по пропаганде.

Виктор и Яшка... — В.А. Ходоренко, Я.Л. Бабушкин.

С. 213

Опять Лигово берем? — Последняя линия обороны Ленинграда под контролем Красной армии («Лигово — Пулково»). Территория рабочего поселка Лигово оказалась по обе стороны линии фронта, прошедшей вдоль реки Дудергофки.

Немцы прорвались к Сальску, — махнули от Ростова... — После падения Ростова-на-Дону сообщение Кавказа с районами Европейской России было возможно только морем — через Каспий и Волгу — и по железной дороге Сальск — Сталинград. Сальск был оккупирован 31 июля 1942 г.

А завтра детей закуют ≈ на свете... — Цит. стихотворение «Клеопатра» (1940) А. А. Ахматовой.

...армия Свиридова... — Имеется в виду 55-я армия под командованием генерал-лейтенанта Владимира Петровича Свиридова (1897–1963).

С. 214

...видимо, Ям-Ижору... — 3 августа 1942 г. «268-я стрелковая дивизия полностью овладела Ям-Ижорой, значительно улучшив свои позиции. В боях за Ям-Ижору особенно отличились батальоны старших лейтенантов С. Г. Зуйкова и Г. К. Шокуна» (Буров А. В. Блокада день за днем. С. 337).

...рассказывал о приказе Сталина по армии № 227. — 28 июля 1942 г. в Ставке ВГК был подписан приказ № 227 «Ни шагу назад!». В нем запрещался отход войск без приказа, а также вводились штрафные батальоны и штрафные роты, куда направлялись совершившие преступления военнослужащие (так называемые штрафники). Приказ вводил заградительные отряды, призванные всеми мерами предотвращать бегство солдат с поля боя.

После поэмы ничего нового не написала... — Речь идет о «Ленинградской поэме», над ней О. Ф. Берггольц начала работать в середине апреля и закончила в июле 1942 г. Впервые опубл.: Ленинградская правда. 1942. 24 июля. № 174; 25 июля. № 175.

...особенно для союзников... — Речь идет о радиопередачах на Совинформбюро для английских и американских слушателей.

...о Седьмой симфонии. — Очерк о Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича был написан позже. См.: Берггольц О., Макогоненко Г. Ленинградская симфония: [Первое исполнение Седьмой симфонии Д. Шостаковича в Ленинграде] // Комсомольская правда. 1942. 19 августа.

...от Всеволода Вишневского... — Всеволод Витальевич Вишневский (1900–1951), драматург.

...фронтовички, Чижовой... — Речь идет о Елене Чижовой. Об этой женщине О. Ф. Берггольц написала в очерке-радиоречи, с которым выступила по радио 8 марта 1943 г.

С. 215

Я помню, когда я читала Коле письмо одной дружинницы к Будилкиной... — Будилкина, председатель Невского райкома. Подробно этот сюжет описан в очерке О. Ф. Берггольц «В нашем Ленинграде: Из блокнота». Впервые опубл.: Ленинские искры. 1941. № 7/8. С. 118–125.

- ...**рассказ Ёськи Горина...** — Иосиф Александрович Горин (настоящая фамилия Герштейн; 1911–1961), актер, чтец, работал в Ленинградском радиокомитете. В октябре 1942 г вместе с И. Зонне поставил в Городском (Блокадном) театре спектакль по драме К. М. Симонова «Русские люди» (1942).
- ...**от О. Хузе...** — Ольга Федоровна Хузе (1909–1981), выпускница литературного отделения при ГИИИ, библиотекарь, автор блокадного дневника, приятельница О. Ф. Берггольц.
- ...**письмо к А. Крону...** — Александр Александрович Крон (настоящая фамилия Крейн; 1909–1983), писатель, журналист; член группы писателей при ПУ-БАЛТе. Вместе с В. В. Вишневским и В. Б. Азаровым написал пьесу «Раскинулось море широко», которая была показана 7 ноября 1942 г в Ленинградском театре музыкальной комедии.
- ...**исполняет в Сибири Алиса Коонен...** — Алиса Георгиевна Коонен (1889–1974), ведущая актриса Камерного театра, жена режиссера А. И. Таирова (см. о нем примеч. к с. 284). В Камерном театре ставили пьесу О. Ф. Берггольц и Г. П. Макогоненко «Они жили в Ленинграде».

С. 216

- ...**Александринки...** — Александринский театр (с 1920 по 1990-е гг. — Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина). Основан в 1756 г. С 1832 г назывался Александринским театром, в честь Александры Федоровны, супруги императора Николая I.
- ...**«восторженных похвал пройдет минутный шум»...** — Цит. стихотворение «Поэту» (1830) А. С. Пушкина.

С. 217

- ...**Информбюро.** — Советское информационное бюро (Совинформбюро), информационно-пропагандистское ведомство, образованное 24 июня 1941 г. Осуществляло составление и публикацию сводок, информирование населения и зарубежной общественности о событиях на фронте и в тылу.

С. 218

- Немцы уже в Армавире.** — Армавир был оккупирован 7 августа 1942 г, освобожден 24 января 1943 г
- Стихи «Именем Ленинграда»...** — Стихотворение с таким названием существует в рукописи (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 53).
- О, бедный ≈ Существованье — бред...** — Неточная цитата из стихотворения «Образец» (1917) В. Л. Пастернака. Правильно: «Существованье — гнет».
- Немцы уже в районе Краснодара...** — Краснодар был оккупирован 9 августа 1942 г, освобожден 12 февраля 1943 г
- ...**Майкопа...** — Майкоп был оккупирован 10 августа 1942 г, освобожден 29 января 1943 г

С. 220

Говорят, что немцами уже взят Пятигорск... — Пятигорск был оккупирован 9 августа 1942 г., освобожден 11 января 1943 г.

...написать что-нибудь вроде «Трансваля»... — Речь идет о популярной, считавшейся народной песне, созданной на самом деле на основе стихотворения «Бур и его сыновья» («Трансвааль, страна моя!..»; 1899) на слова Галины Галиной (урожд. Глафира Николаевна Мамошина; 1870 или 1873–1942), музыка — М.А. Губченко.

С. 221

М. П., отв<етственный> ред<актор> «Комс<омольской> Правды... — О ком идет речь, не выяснено: ответственным редактором газеты «Комсомольская правда» в годы войны был Борис Сергеевич Бурков (1908–1997).

...«инженеров душ»... — И.В. Сталин на вечере у М. Горького 26 октября 1932 г. в ответ на реплику К.Е. Ворошилова о производстве машин, танков и авиации сказал, что «производство душ важнее вашего производства танков» (см.: *Зелинский К.* Вечер у Горького (26 октября 1932) // *Минувшее.* М.; СПб., 1992. Вып. 10. С. 88). Отсюда и возник устойчивый оборот: «писатели — инженеры человеческих душ».

Решетов... — Александр Ефимович Решетов (1909–1971), поэт. В годы войны был военным корреспондентом на Карельском фронте. Автор лирических сборников «Ленинградская доблесть» (1942), «В строю» (1943) и др.

...Иванов (секр<етарь> Обкома)... — Всеволод Николаевич Иванов (1912–1950), комсомольский деятель. С 1940 г. секретарь Ленинградского райкома ВЛКСМ. С 1941 г. 1-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ. Один из организаторов обороны города. Расстрелян по «Ленинградскому делу».

...сборник «Молодежь Ленинграда»... — Имеется в виду сборник статей и стихов, изданный осенью 1941 г.: *Молодежь Ленинграда / Ленингр. обком и горком ВЛКСМ*; под ред. В. Иванова, Н. Вуколова, И. Бучурина, О. Берггольц, А. Островского. Л., 1941.

...раднуюсь успеху «Жди меня»... — Стихотворение было написано в конце 1941 г. К.М. Симоновым и посвящено его жене, актрисе Валентине Серовой. Впервые опубл.: *Правда.* 1942. 14 января. С. 3. Это стихотворение стало во время войны примером «прорыва» советской цензуры лирикой.

...Ленке Рывиной... с ее поэмой... — Елена Израилевна Рывина (1910–1985), поэт. В годы войны корреспондент газеты «На защиту Ленинграда». С 1942 г. работала в Политуправлении Ленинградского фронта. Выпустила сборник стихов «Лирика» (1942), поэму «Слово ленинградки» (1943).

...ехать в Балашов... — Город в Саратовской области.

С. 222

- ...все погубил Ростов, сданный без боя, с перепугу...** — 24 июля 1942 г. был вторично оставлен Ростов-на-Дону. Немцы, форсировав Дон, захватили на его левом берегу четыре небольших плацдарма между Цимлянкой и Ростовом. В результате немецким войскам открылась дорога на Кубань и Северный Кавказ.
- Черчилль был у Сталина...** — У Черчилльа прилетел в Москву 12 августа 1942 г. для переговоров по вопросу открытия второго фронта.
- ...вроде второй Дарьи Власьевны.** — «Второй разговор с соседкой» был написан в апреле–мае 1944 г. Впервые опубл.: Известия. 1944. 19 мая.

С. 223

- У меня остается ≈ время избыть.** — Цит. стихотворение «Сестры — тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы...» (1920) О.Э. Мандельштама.
- О, господи, дай ≈ души моей рассей...** — Цит. стихотворение «Есть и в моем страдальческом застое...» (1864) Ф.И. Тютчева.
- ...застукала следовательша на рынке и потащила в трибунал, грозя 10 годами...** — В данном случае имеет место некоторое преувеличение. Спекуляция каралась по ст. 107 УК РСФСР редакции 1926 г., наказание составляло лишение свободы на срок до одного года с конфискацией всего или части имущества либо без конфискации.

С. 224

- ...письма из армии <за> 32 год...** — Письма Н.С. Молчанова. См.: РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 786–788.
- Бои идут на окраинах Новороссийска...** — Новороссийск был захвачен 11 сентября 1942 г., кроме его восточной части. 16 сентября 1943 г. город был полностью освобожден.
- ...на подступах к Сталинграду.** — Уличные бои в черте Сталинграда начались 23 августа 1942 г.
- ...расползаются по Кавказу, куда подтащили горные полки...** — Речь идет о немецкой 1-й горнострелковой дивизии «Эдельвейс».
- ...провалившись с операцией на Дьепше...** — Речь идет о военной операции «Юбилей», в процессе которой был высажен десант вооруженных сил Великобритании и Канады на французское побережье Ла-Манша для атаки порта Дьеп на севере Франции. Высадка началась 19 августа 1942 г. в пять часов утра, но уже в 11.00 командование союзников дало приказ к отступлению, несмотря на то, что далеко не все части успели даже высадиться. Из 6088 десантников были убиты, ранены или захвачены в плен 3642 человека (см.: <http://www.armor.kiev.ua/Battle/WWII/dieppe>).

А о нашем прорыве нем<ецкой> обороны, т. е. обороне на Калининском и Брянском фронтах... — Имеется в виду окружение советских войск под Вязьмой и Брянском в первые месяцы войны.

С. 225

Ржева взять не можем... — Ржев был освобожден 3 марта 1943 г.

...об Ольге Селезневой... — О судьбе угнанной в Германию девушки Ольги Селезневой сообщали в газетах. Стихотворение «Я хочу говорить с тобою...» написано в августе 1942 г. Впервые опубликовано: Смена. 1942. 22 сентября (под заголовком «Товарищу»).

...«Е. Б. Ж.!»... — «Если буду жив». Аббревиатура, придуманная Л. Н. Толстым, которой он часто заканчивал не только записи в дневниках, но и свои письма.

С. 226

Умирать, так ~ встать из гроба. — Цит. стихотворение «На дне преисподней» (1922) Максимилиана Александровича Волошина (1877–1932).

...была в 23^а Армии. — Армия в составе Ленинградского фронта; с сентября 1941 по июль 1944 г. командующим армией был генерал-майор Александр Иванович Черепанов (1895–1984). Занималась прикрытием границы с Финляндией на Карельском перешейке севернее и северо-восточнее Выборга. С ноября 1941 по июнь 1944 г. активных боев не вела.

...подвозят артиллерию, где есть 810-мм снаряды... — Имеется в виду пушка «Дора» калибром 807 мм. Перевезена под Ленинград после взятия Севастополя, но из-за атак Красной армии и скорого прорыва блокады так и не была использована немцами в качестве ударной силы.

С. 227

Доспех тяжел ~ Молись. — Цит. стихотворение «Опять над полем Куликовым...» (1908) А. А. Блока.

...к Вале — его бывшей жене... — Валентина Владимировна Рузина, первая жена Г. П. Макогоненко. У них был общий сын Андрей (1940–1990), который после войны рос в семье О. Ф. Берггольц и Макогоненко.

С. 228

...«Разговор с собою»... — Стихотворение О. Ф. Берггольц «Печаль войны все тяжелей, все глубже...» («Август 1942 года»). Вошло в сборник «Ленинградский дневник» (Л., 1944) под заглавием «Разговор с собою».

С. 229

...или идти сдавать Юркины карточки? Вот еще с ними не было бы скандала... — Возможно, этот вопрос был связан с тем, что Г. П. Макогоненко был

уже прикреплен к ПУБАЛТу, а по карточкам он числился как работник радиокомитета. Отдавать «лишние» карточки в условиях голода было не просто. Либо же речь о том, чтобы перерегистрировать продовольственные карточки на следующую декаду месяца.

...в Чкалове... — Чкалов, название г. Оренбург в 1938–1957 гг.

С. 230

...в Алма-Ате... — Алма-Ата (Алматы), с 1936 по 1991 г. столица Казахской ССР. В 1991–1997 гг. столица Казахстана.

Написала «Песню о подводной лодке»... — Стихотворение «Подводная лодка уходит в поход...» было впервые напечатано в газете «Смена» от 16 октября 1942 г. Его исполняли на мотив песни «Раскинулось море широко». Новая песня была посвящена П. Д. Грищенко, командиру подводной лодки «Фрунзенец».

...Зонин... — Александр Ильич Зонин (настоящая фамилия Бриль; 1901–1962), писатель.

С. 231

...такой большой любовью братской ≈ ленинградский... — Неточная цитата из «Ленинградской поэмы» (1942) О. Ф. Берггольц. Правильно: «Для нас отныне освящен...»

С. 232

...у Грустилиных... — Грустилины, родственники О. Ф. Берггольц со стороны матери.

Немцев явно остановили у Сталинграда! — Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 г. и включала в себя множество этапов обороны и контрнаступлений Красной армии. Сталинград был практически полностью разрушен, но так и не был захвачен немцами. В ходе советского контрнаступления была разгромлена крупная стратегическая немецкая группировка в междуречье Дона и Волги. Победа ознаменовала коренной перелом в войне, переход стратегической инициативы в руки советского командования. Потери немецкой стороны составили 1 500 000 человек убитыми и ранеными, Красная армия потеряла 1 129 619 человек (см.: Исаев А. Сталинград. Трудное начало // Родина. 2013. № 1. С. 5–10).

С. 233

...в том же д<оме> 22 одна квартирка мне понравилась... — Весной 1943 г. О. Ф. Берггольц и Г. П. Макогоненко переехали в д. 22 по улице Рубинштейна.

С. 234

О семье Карякиных... — Зинаида Епифановна Карякина (1894–1985), библиотековед, сотрудник ГПБ, героиня очерка О.Ф. Берггольц «Наша победа», опубликованного в сборнике «Говорит Ленинград». Ее муж — Владимир Федорович Карякин (1890–1942). Подробнее: *Машикова М.В.* Из блокадных записей // Публичная библиотека в годы войны, 1941–1945: дневники, воспоминания, письма, документы. СПб, 2005. С. 24–26.

Поэму к 25-летию даже не начала... — Имеется в виду 7 ноября 1942 г., 25-я годовщина Октябрьской революции. Поэма написана не была.

С. 235

...от Анфисы! — Предположительно, вместе с О.Ф. Берггольц работала в школе № 6.

С. 237

...на Маточкином Шаре... — Маточкин Шар, промысловый поселок на острове Северный архипелага Новая Земля (Архангельская область); одно из самых северных, удаленных от Большой земли поселений в мире.

...«Письма из Ленинграда». — Цикл стихов О.Ф. Берггольц, обращенных к родным. Стихи этого цикла были прочитаны в радиообращениях, вошли в сборник «Говорит Ленинград».

С. 238

И одиночество выиграет ≈ окрылит... — Цит. стихотворение «Пускай минувшего не жаль...» (1921) В.Ф. Ходасевича.

...Лихарева... — Борис Михайлович Лихарев (1906–1962), поэт; знакомый О.Ф. Берггольц со времен литературного объединения «Смена». В войну входил в ПУБАЛТ, был ответственным секретарем Ленинградской писательской организации, работал в газете «На страже Родины».

...пришел из Москвы «Лен<инградский> альманах»... — Выходил отдельными выпусками в «Лениздате».

К напряженному положению со Сталинградом и Моздоком... — Некоторое несоответствие реальному положению вещей. В Моздок-Малгобекской операции (1–18 сентября 1942) была, напротив, сорвана попытка прорыва немецко-фашистских войск к нефтяным районам Грозного и Баку.

...с Невской Дубровки немцы нас вышибли... — Невская Дубровка, поселок городского типа в Ленинградской области. Являлась плацдармом, с которого переправлялись на левый берег («Невский пятачок») советские войска. Была захвачена в ночь на 19 сентября 1941 г. бойцами 115-й стрелковой дивизии и 4-й морской бригады. Плацдарм просуществовал до февраля 1943 г., но, несмотря на все усилия, ни одна из попыток прорыва блока-

ды с этого рубежа не увенчалась успехом. Официальные данные о потерях среди советских войск впервые опубликовала газета «Правда» в 1960-х гг., назвав цифру в 200 тысяч. Современные историки дают другие цифры. В частности, Ю.М. Лебедев приводит цифру 50 тысяч человек невозвратных потерь без учета потерь при переправе и на правом берегу (см.: *Лебедев Ю.М. Уходящие в вечность*. СПб., 2015).

...в р<айо>не Синявино перемололи много немцев, но решающих успехов нет. — Синявинская операция продолжалась с 19 августа по 10 октября 1942 г. Наступление войск Волховского и Ленинградского фронтов с целью прорыва блокады Ленинграда не привело к достижению поставленной цели, а советские потери значительно превысили немецкие: 113 674 человека у Красной армии (см.: *Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил: Статистическое исследование*. М., 2001. С. 312) против приблизительно 26 000 у вермахта (см.: *Сяков Ю.А. Численность и потери германской группы армий «Север» в ходе битвы за Ленинград (1941–1944 гг.)* // *Вопросы истории*. 2008. № 1. С. 133–136).

...«Прощай, оружие»... — Роман (1929) Эрнеста Миллера Хемингуэя (1899–1961), посвященный Первой мировой войне.

...«душа незримо жжет и разъедает тело»... — Цит. стихотворение «Пробочка» («Пробочка под крепким йодом!»; 1921) В.Ф. Ходасевича.

С. 239

...того покоя, о котором писал Пушкин... — Парафраз строки «На свете счастья нет, но есть покой и воля» из стихотворения «Пора, мой друг, пора!..» (1834) А.С. Пушкина.

«Но ты останься тверд, спокоен и угрюм...» — Цит. стихотворение «Поэту» (1830) А.С. Пушкина.

С. 240

...оказался 6 школой, где в 37–38 году я преподавала... — С 19 декабря 1937 по 1 сентября 1938 г. О.Ф. Берггольц работала в школе № 6 Московского района (Смоленская улица, д. 14) учителем русского языка и литературы в седьмых классах. Подробнее об этом: *Соколовская Н. «Тюрьма — исток победы над фашизмом»* // *Ольга. Запретный дневник...* С. 354–355.

Ненастный день ≈ одеждою свинцовой... — Цит. стихотворение «Ненастный день потух; ненастной ночи мгла...» (1824) А.С. Пушкина.

С. 242

...видение Международного в сумерках... — Международный проспект, с 1956 г. Московский проспект. Связывает Сенную площадь и площадь Победы (район бывшей Средней Рогатки) на въезде в город.

...он «рылеевец» по отношению к поэзии... — Скорее всего, О. Ф. Берггольц имеет в виду, что Г. П. Макогоненко нравилась поэзия морализаторского и просвещенческого характера.

С. 243

...этот Резников... — Капитан Резников упоминается в очерке О. Ф. Берггольц «Мой рубеж» (ноябрь 1943), вошедшем в сборник «Говорит Ленинград».

...русские сапожки... — Кожаные сапоги с высокими голенищами.

С. 244

...горняшка... — Здесь: пренебрежительно-уменьшительное от «горничная».

С. 245

...нами оставлен Нальчик... — Нальчик был оккупирован 28 октября 1942 г., освобожден 3 января 1943 г.

...у Аничкова моста... — Мост через Фонтанку, находящийся на Невском проспекте рядом с Аничковым дворцом.

С. 246

...застелить гранитолем... — Гранитоль, кожаменитель, клеенчатая ткань.

...«Мадонну» Винчи... — Скорее всего, речь идет о распространенных репродукциях находящихся в Эрмитаже «Мадонны Бенуа» и «Мадонны Литта» Леонардо да Винчи (1452–1519).

...и два альтмановских Ленина... — Натан Исаевич Альтман (1889–1970) в июне 1920 г. лепил бюст В. И. Ленина и тогда же сделал ряд его карандашных портретов.

...Рабле... — Франсуа Рабле (1493–1553), французский писатель-гуманист эпохи Возрождения.

С. 247

...к Маргарите Коршуновой — к врачу... — Маргарита Иосифовна Коршунова (1900–1967), по профессии врач; прошла Гражданскую войну. О. Ф. Берггольц находилась с ней в тюрьме в одной камере, посвятила ей стихотворение «Маргарите Коршуновой» (1939), вошедшее в цикл «Испытание».

...и Лешеньки... — Олег (Лека, Леша) Владимирович Андреев (1931–2015), племянник Н. С. Молчанова, сын его сестры Виктории.

С. 248

...«Письмо вдовы»... — Окончательное название стихотворения — «Песня о жене патриота» (1942–1943).

С. 249

- ...«Письмо в тыл»... — Стихотворение с таким названием написано не было.
- ...читаю «Осень в Л<енингра>де»... — Речь идет о стихотворении О. Ф. Берггольц «Ленинградская осень» (октябрь 1942).
- ...Леви написала очень приличную музыку... — Наталья Николаевна Леви (1901–1972), композитор, сотрудник Ленинградского радиокомитета. Автор музыки на стихи О. Ф. Берггольц.
- ...и в исполнении Атлантова... — Андрей Петрович Атлантов (1906–1971), бас, солист Малого Ленинградского государственного оперного театра (МАЛЕГОТ) и Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинского).
- «На страже»... — «На страже Родины», старейшая газета Западного военного округа.
- ...«не плачет, не плачет вдова патриота...» — Цит. стихотворение О. Ф. Берггольц «Песня о жене патриота».

С. 250

- Ходза и Витька... — Имеются в виду Н. А. Ходза, руководитель литературно-драматического вещания (также см. коммент. к с. 389), и В. А. Ходоренко (см. о нем коммент. к с. 43).
- Так было с поэмой Шишовой. — См. об этом коммент. к с. 212.

С. 251

- Вот и в Африке наши почтенные союзнички продвигаются... — 8 ноября 1942 г. англо-американские войска под командованием Д. Эйзенхауэра начали высадку в Алжире, Оране и Касабланке. К концу ноября того же года союзная армия заняла Марокко и Алжир, а также вступила в Тунис.
- ...о наступлении на Центральном фронте! — Не совсем ясно, о чем идет речь. Центральный фронт был расформирован в ночь на 26 августа 1941 г. и сформирован вторично только 15 февраля 1943 г.

С. 252

- ...передают сегодняшний последний час... — «Последний час», экстренная радиопередача Совинформбюро о наиболее важных новостях. «Вдруг по радио в последний час передают — наши войска заняли Ростов-на-Дону и Ворошиловград. Я даже в ладоши захлопала» (Эпштейн О. Е. Дневник. 14 февраля 1943 г. // ЦГАЛИ (СПб.). Ф. 107. Оп. 3. Д. 324. Л. 69).

С. 254

- ...пойдётся-пойдётся и придёт... — Присловье, означает принятие судьбы и надежду на лучшее.

С. 255

Вот академшпак у нас отобрали... — В дневниках ленинградцев неоднократно упоминается академический паек. Это спецпитание, которое было доступно заслуженным деятелям культуры, науки и искусства. Не удалось обнаружить документов о том, что конкретно входило в состав этого пайка, но известно, что ходатайство и списки на спецпаек утверждались в обкоме и горкоме партии.

...начпрода... — Начпрод, начальник продовольственной службы.

Пишу песню для кинохроники «Ладога»... — Имеется в виду песня «Морякам-ладожцам» (1942). Была положена на музыку М.А. Лазаревым.

С. 256

...работает ли Снегиревка... — Роддом № 6 им. профессора В.Ф. Снегирева, в просторечье «Снегиревка», находится по адресу: улица Маяковского, д. 5.

С. 257

...к проф<ессору> Шполянскому... — Григорий Моисеевич Шполянский (1884–1949), с декабря 1942 г. главный гинеколог Ленинграда.

С. 260

...мою кандидатуру выдвинули на Сталинскую премию. — Сталинскую премию О.Ф. Берггольц получит только в 1951 г. за поэму «Первороссийск».

Сталинская премия, форма поощрения граждан Советского Союза за выдающиеся достижения в различных областях науки, техники, литературы и искусства, а также военных знаний. Постановление СНК СССР «Об учреждении премий имени Сталина по литературе» было принято 1 февраля 1940 г. Согласно ему было учреждено четыре премии имени Сталина, по 100 тысяч рублей каждая, присуждаемые ежегодно. По одной премии приходилось на поэзию, прозу, драматургию и литературную критику. Существовала в двух степенях, от которых зависел размер премии.

С. 261

...по поэзии — В. Инбер... — Вера Михайловна Инбер (урожд. Шпенцер; 1890–1972), поэт, прозаик, провела всю блокаду в Ленинграде. Автор поэмы «Пулковский меридиан» (1942).

Настоящим получилось «Новоселье»... — Стихотворение «...И вновь зима: летят, летят метели...» (1942) О.Ф. Берггольц. Вошло в сборник «Говорит Ленинград».

...проходное «Слово в последний час»... — Скорее всего, имеется в виду стихотворение «Новогодний тост» («В еще невиданном уборе...»; 31 декабря 1941) О.Ф. Берггольц. Вошло в сборник «Говорит Ленинград».

С. 262

...в своей книжке о Л<енингра>де... — Книга была написана А. А. Фадеевым после того, как он весной 1942 г побывал в блокадном Ленинграде. См.: *Фадеев А. Ленинград в дни блокады: (из дневника)*. М., 1944.

...некто проф<ессор> Данилин... — Юрий Иванович Данилин (1897–1985), литературовед, педагог. Преподавал историю, всеобщую литературу в Институте иностранных языков (Москва).

...Златова тоже... — Елена Викторовна Златова (1906–1968), литературовед, жена поэта С. П. Щипачева.

1943 год

4 января 1943 года (с. 265–301).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 365. Л. 36–80).

Датируется с 4 января по 20 апреля 1943 г.

Опубл.: *Берггольц О. Ф. Блокадный дневник (1941–1945)*. СПб., 2015. С. 326–366.

С. 265

...разбомбило Райку Мессер... — Раиса Давыдовна Мессер (1905–1984), критик, консультант «Ленфильма».

...стервец Нечаев... — Иван Алексеевич Нечаев (1900–1963), сотрудник отдела музыкального вещания Ленинградского радиокомитета.

Прочла книгу Габе — «Тысячи падут». — Ганс Габе (1911–1977), австрийский писатель, публицист. Речь идет о книге: *Габе Г. Тысячи падут* / пер. с англ. Н. Волжиной, Н. Дарузес. Магадан, 1943.

С. 267

Наконец, вышла моя книжка. — Имеется в виду книга «Ленинградская поэма» (Л., 1942).

С. 268

...на представление к медали «За оборону Л<енингра>да»... — Этому факту О. Ф. Берггольц посвятила стихотворение «Моя медаль». Датировано 3 июня 1943 г, в этот день ленинградцам были вручены первые медали «За оборону Ленинграда».

Медаль «За оборону Ленинграда» была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г. Вручалась как фронтовикам, участвовав-

шим в активной обороне города, так и гражданским лицам, вносившим своим трудом определенный вклад в дело защиты Ленинграда.

Зачли тот ультиматум, кот<орый> был предъявлен им. — Ультиматум командующему 6-й немецкой армией генерал-полковнику Ф. Паулюсу был предъявлен 6 января 1943 г. Он содержал два пункта: «1) Всем германским окруженным войскам во главе с Вами и Вашим штабом прекратить сопротивление; 2) Вам организованно передать в наше распоряжение весь личный состав, вооружение, всю боевую технику и военное имущество в исправном состоянии. Мы гарантируем всем прекратившим сопротивление офицерам, унтер-офицерам и солдатам жизнь и безопасность, а после окончания войны возвращение в Германию или любую страну, куда изъявят желание военнопленные. Всему личному составу сдавшихся войск сохраняем военную форму, знаки различия и ордена, личные вещи, ценности, а высшему офицерскому составу и холодное оружие. Всем сдавшимся офицерам, унтер-офицерам и солдатам немедленно будет установлено нормальное питание. Всем раненым, больным и обмороженным будет оказана медицинская помощь. Ваш ответ ожидается в 15 часов 00 минут по московскому времени 9 января 1943 года... При отклонении Вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем, что войска Красной Армии и Красного Воздушного флота будут вынуждены вести дело до уничтожения окруженных войск, а за их уничтожение Вы будете нести ответственность» (цит. по: <http://www.battlefield.ru/ultimatum-to-paulus.html>; дата обращения: 30.06.2019).

...за Бурлакова... — Имеется в виду сосед Н. С. Молчанова в психиатрической больнице. См. записи от 25 и 27 января 1942 г. (Наст. изд. С. 135, 136).

С. 269

Сегодня последний час объявил, что блокада Ленинграда прорвана. — «Блокада была прорвана в ходе военной операции советских войск под кодовым названием «“Искра”», проведенной 12–30 января 1943 г. Войска Ленинградского и Волховского фронтов, взломав шлиссельбургско-синявинский выступ, прорвали блокаду Ленинграда, создав коридор шириной 8–11 км, позволивший восстановить сухопутные коммуникации города с территорией всей страны. Южное побережье Ладожского озера было очищено от противника. Инициатива ведения боевых действий на этом направлении перешла к Красной армии. Хотя дальнейшее наступление советских войск развития не получило, операция по прорыву блокады имела важное стратегическое значение и явилась переломным моментом в битве за Ленинград...» (Богданов И. А. Ленинградская блокада от А до Я. СПб., 2010. С. 93).

С. 270

И на юге — очень большие успехи. — 21 января 1943 г. войсками Южного фронта был занят г. Ставрополь, 22 января — г. Сальск.

...14 января с 12 ч<асов> до 3 ч<асов> дня... такой обстрел, как ни разу за время войны не было... — В этот день по городу было выпущено свыше 300 снарядов, больше 100 человек были ранены и убиты (см.: Буров А. В. Блокада день за днем. 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 2011. С. 443).

С. 271

...Любка С<пектор>, которая 20/1 вернулась отсюда... — Любовь Семеновна Спектор (1914–2003), звукооператор Ленинградского радиокомитета.

С. 272

...мчатся на «Треугольник»... — Завод «Красный треугольник», одно из старейших промышленных предприятий Ленинграда по производству резиновых изделий. Находился по адресу: набережная Обводного канала, д. 13.

...на Карла Либкнехта... — Проспект Карла Либкнехта, название Большого проспекта Петроградской стороны с 1918 по 1944 г.

С. 273

Напрасно напрягаю слух ≈ звучаний боя... — Вероятно, набросок недописанного стихотворения.

И под Воронежем — уничтожение фашистского «ежа». — Имеется в виду Воронежско-Касторненская операция (24 января — 2 февраля 1943). В ходе нее была разгромлена крупная группировка немецких войск и освобождена большая часть Воронежской и Курской областей, в частности города Старый Оскол и Воронеж.

...комбинированная бомба... — Т. е. фугасно-зажигательная бомба.

С. 274

...все мнится мне — я счастлив по ошибке. — Неточная цитата из «Элегии» («Ужели близок час свиданья!...»; 1819) Евгения Абрамовича Баратынского (Боратынского; 1800–1844). Правильно: «...все мнится, счастлив я ошибкой».

...Геринг вопил, что они будут «метить за Сталинград». — 30 января 1943 г. Г. Геринг выступил по радио с речью, обращенной к немецкому народу. Он сравнивал солдат немецкой армии, воюющих под Сталинградом, с 300-ми спартапцами, остановившими персидское войско у Фермопил

Герман Вильгельм Геринг (1893–1946), политический, государственный и военный деятель нацистской Германии, рейхсминистр Имперского министерства

авиации, рейхсмаршал рейха. Был приговорен Нюрнбергским трибуналом к повешению как военный преступник. Покончил с собой в тюрьме.

...занят **Ейск...** — Ейск, город на Азовском побережье, на юге России, оккупирован 9 августа 1942 г., освобожден 5 февраля 1943 г.

...**Батайск...** — Батайск, город Ростовской области, оккупирован 27 июля 1942 г., освобожден 7 февраля 1943 г.

...**Барвенково...** — Город в Харьковской области, был оккупирован трижды. Первый раз — с 24 октября 1941 по 23 января 1942 г. Во второй раз — с 18 мая 1942 по 6 февраля 1943 г. И наконец, с 28 февраля по 10 сентября 1943 г.

С. 275

...выступала в 3 цехах ф<абри>ки **Урицкого...** — Фабрика им. М.С. Урицкого, одно из старейших предприятий табачной промышленности страны. В годы блокады фабрика выпускала табачные изделия с использованием таких заменителей, как хмель, древесные листья, целлулоид, пропитанный никотином. Находилась по адресу: Средний проспект Васильевского острова, д. 36–40. В настоящее время не функционирует.

...взяли **Краснодар...** — Освобожден 12 февраля 1943 г.

...**Ворошиловск...** — Имеется в виду нынешний Ставрополь (Ворошиловск с 1935 по 1943 г.). Был оккупирован 5 августа 1942 г., освобожден 21 января 1943 г.

...**Красноармейскую...** — Красноармейск, город в Донецкой области, дважды был под оккупацией: с 19 октября 1941 по 11 февраля 1943 г. и с 20 февраля 1943 по 8 сентября 1943 г.

...**Шахты.** — Город в Ростовской области (в 68 км от Ростова-на-Дону), был оккупирован 21 июня 1942 г., освобожден 12 февраля 1943 г.

С. 276

...оказалась **людоедкой...** — В докладной записке военного прокурора города А.И. Панфиленко на имя секретаря горкома партии А.А. Кузнецова указано, что с декабря 1941 по середину февраля 1942 г. за каннибализм и трупоедство к уголовной ответственности было привлечено 886 человек. По подсчетам историка В.А. Иванова, с октября 1941 по декабрь 1942 г. за подобные преступления в городе и области было арестовано всего 1979 человек (*Дзенискевич А.Р. Бандитизм (особая категория) в блокированном Ленинграде // История Петербурга. СПб., 2001. № 1. С. 50.*)

С. 277

Взят... Луганск... — Луганск (в 1935–1958 гг. — Ворошиловград) был оккупирован 17 июля 1942 г., освобожден 14 февраля 1943 г.

...**Красн<ый> Сулин.** — Красный Сулин, административный центр Красносулимского района Ростовской области, был оккупирован 21 июля 1942 г., освобожден 14 февраля 1943 г.

С. 279

...**как в последнем стихе об Армии...** — В то время О. Ф. Берггольц написала два стихотворения на эту тему: «Бойцу Волховского фронта» (Фронтовая правда. 1943. 23 января) и «Товарищу балтийцу» (Звезда. 1943. № 2). Неясно, о каком из них идет речь.

С. 280

...**«Би хэпш», — Юрия Германа...** — Повесть Ю. Германа; написана на Карельском фронте. Повествование ведется от имени техника-интенданта Марии Лахониной, которая записывает в своем дневнике впечатления о летчиках-североморцах и их дружбе с английскими пилотами, сражавшимися на Севере вместе с советскими войсками.

...**наши пыгаются взять Синельниково и Днепропетровск.** — Синельниково, город в центральной части Днепропетровской области, было оккупировано 2 октября 1941 г., освобождено 21 сентября 1943 г.; Днепропетровск был оккупирован 25 августа 1941 г., освобожден 25 октября 1943 г.

...**звоню Скробанскому.** — Константин Клементьевич Скробанский (1874–1946), акушер-гинеколог, действительный член Академии наук СССР, профессор Женского медицинского института, руководил областной клиникой Института охраны материнства и детства.

...**лестное письмо от Ковальчик.** — Евгения Ивановна Ковальчик (1907–1953), литературовед, критик.

...**неплохой стишок «Ленинградке»...** — Стихотворение О. Ф. Берггольц «Еще тебе такие песни сложат...». Впервые опубликовано в сборнике «Говорит Ленинград» в очерке «Хозяйка Ленинграда».

...**придет Яхонтов...** — Владимир Николаевич Яхонтов (1899–1945), актер, теец.

...**Ардашников обещал...** — Владимир Ардашников, сотрудник газеты «На страже Родины». Погиб в январе 1944 г. под Псковом.

С. 281

...**Лозовая...** — Город на юге Харьковской области, трижды переходил из рук в руки. В первый раз был занят немцами 11 октября 1941 г., освобожден 27 января 1942 г. Вторично захвачен 23 мая 1942 г., отбит 11 февраля 1943 г. Третья оккупация продолжалась с 1 марта по 16 сентября 1943 г.

...**Павлоград...** — Город в Днепропетровской области, в первый раз был оккупирован 11 октября 1941 г., освобожден 17 февраля 1943 г. Вторично оккупирован 22 февраля 1943 г., окончательно освобожден 18 сентября 1943 г.

...Красноград... — Город в Харьковской области, был оккупирован 20 сентября 1941 г, но освобожден только 19 сентября 1943 г

...Лисичанск... — Город в Луганской области, в первый раз был оккупирован 10 июля 1942 г, освобожден 6 февраля 1943 г. Вторично оккупирован 3 марта 1943 г, окончательно освобожден 2 сентября 1943 г

С. 282

...Левка Левин... — Лев Ильич Левин (1911–1998), литературный критик. Окончил Ленинградский историко-лингвистический институт (1931). Участник Великой Отечественной войны. Близкий друг О. Ф. Берггольц. Автор воспоминаний о ней «Жестокий расцвет» (Новый мир. 1979. № 4. С. 170–191).

...и Коковкин. — Борис Сергеевич Коковкин (1910–1985), актер театра и кино; адресат писем О. Ф. Берггольц (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 690).

С. 283

...на шермака... — Т. е. обманным путем.

...вечер у Наташи... — Речь идет о сцене с Натальей Червонной, главной героиней пьесы О. Ф. Берггольц и Г. П. Макогоненко «Они жили в Ленинграде». Впервые опубли.: Знамя. 1944. № 1–2.

С. 284

...не с балаганными же «Партизанами в степях Украины» сравнивать? — Имеется в виду пьеса «В степях Украины» (1941) Александра Евдокимовича Корнейчука (1905–1972), за которую автор был награжден Сталинской премией (1942). Корнейчук — лауреат пяти Сталинских премий.

Театр Таирова и Коонен... просит у меня «будущую пьесу»... — Работа над пьесой «Они жили в Ленинграде» (совместно с Г. П. Макогоненко) началась в 1943 г. Пьеса была поставлена в Камерном театре в 1945 г. под названием «Верные сердца». Подробнее о работе над ней см. письмо О. Ф. Берггольц к Н. Д. Оттену от 17 марта 1943 г. в книге: Ольга. Запретный дневник: дневники, письма, проза, избранные стихотворения и поэмы Ольги Берггольц. СПб., 2010. С. 219–224.

Александр Яковлевич Таиров (настоящая фамилия Корнблит; 1895–1950), режиссер, создатель и руководитель Камерного театра.

Об А. Г. Коонен см. коммент. к с. 215.

С. 285

...бедняга Ойстрах... — Давид Федорович Ойстрах (1908–1974), скрипач, дирижер. Лауреат Сталинской премии (1943).

«Алексей Куликов» Грбатова, «Василий Теркин» и «Командир» Твардовского, «Землянка» и некоторые другие стихи Суркова... — О. Ф. Берггольц

перечисляет военные произведения поэтов и писателей: «Алексей Куликов, боец» (1942) Бориса Леонтьевича Горбатова (1908–1954); поэму «Василий Теркин» (1941–1943) Александра Трифоновича Твардовского (1910–1971), «Командир» — стихотворение с таким названием не обнаружено; стихотворение «Землянка» (1941) Алексея Александровича Суркова (1899–1983), ставшее знаменитой песней на музыку Константина Яковлевича Листова (1900–1983).

...песни Исаковского. — Михаил Васильевич Исаковский (1900–1973), поэт. Автор стихотворений, ставших знаменитыми песнями: «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «В лесу прифронтовом» на музыку Матвея Исааковича Блантера (1903–1990).

Всей поэмы Алигер не знаю... — Имеется в виду поэма Маргариты Иосифовны Алигер (1915–1992) «Зоя» (1942), посвященная гибели комсомолки Зои Анатольевны Космодемьянской (1923–1941).

Рыльский... — Максим Фадеевич Рыльский (1895–1984), украинский поэт.

...лучше бы Первомайскому... — Леонид Первомайский (настоящие имя и фамилия Илья Шлемович Гуревич; 1908–1973), украинский писатель, поэт, переводчик.

Наши объявили о сдаче Белгорода... — В первый раз город был оккупирован 24 октября 1941 г., освобожден 9 февраля 1943 г. Вторично оккупирован 18 марта 1943 г., освобожден 5 августа 1943 г.

Гитлер гонит к себе миллионы людей... — Принудительный труд гражданских лиц с захваченных территорий и военнопленных был нормой как в нацистской Германии, так и на оккупированных землях. Известно, что на конец лета 1944 г. на работы на территорию Германии силой были увезены 7 600 000 гражданских лиц и военнопленных.

С. 286

Предатели «союзники» завязли в грязи в своей Африке... — Реплика не соответствует действительности. 21 марта 1943 г. англо-американские войска в ходе Североафриканской кампании начали наступление с юга на линию Марет и с запада в районе Макнаси (Тунис). Им удалось прорвать оборону итало-немецких войск, которые в начале апреля отступили к г. Тунис.

С. 287

Вчера Ленинград принял на себя свыше тысячи снарядов. — Согласно хронике А. В. Бурова, 8 апреля 1943 г. Ленинград обстреливался в течение 11 часов, по нему было сделано 363 выстрела (см.: Буров А. В. Блокада день за днем. С. 491).

С. 288

- Некто Рыбаков...** — Григорий Михайлович Рыбаков, заместитель начальника ПУБАЛТа, капитан 1-го ранга.
- ...Захар Авербух начал говорить...** — Начальник кронштадтского Дома флота, до войны директор Ленинградского Дома писателей.
- Поэт, не дорожи ≈ спокоен и угрюм.** — Цит. стихотворение «Поэту» (1830) А. С. Пушкина.
- Через 10 лет, в 1952 г. Лен<инградский> обком КПСС...** — Подробнее об этом см. письмо О. Ф. Берггольц в Бюро Ленинградского обкома КПСС об отмене вынесенного ей строгого выговора за «недостойное поведение в быту» (пьянство) от 19 декабря 1952 г. (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 1120).

С. 290

- ...читали куски Славке Июльскому...** — Ростислав Владимирович Июльский (1912–?), военный корреспондент газеты «Комсомольская правда». См. о нем: https://www.kp.ru/best/msk/korrespondenty_pobedy/page19739.html (дата обращения: 14.06.2020).
- ...до смерти Никиты.** — Никита Колосов, герой пьесы О. Ф. Берггольц и Г. П. Макогоненко «Они жили в Ленинграде», прообразом которого стал Н. С. Молчанов.
- ...стихи «Весна в Ленинграде»...** — Цикл стихов: «Март», «Ночью», «Третья зона, дачный полустанок...»; впервые опубликованы в журнале «Октябрь» (1943. № 8/9).
- Яшку... выгнали из Радиокомитета...** — Речь идет о Я. Л. Бабушкине. Подробности описанного события — в письме О. Ф. Берггольц к А. А. Фадееву от 11 мая 1943 г. в кн.: Александр Фадеев: Письма и материалы из фондов Российского государственного архива литературы и искусства. М., 2001. С. 242–243.

С. 291

- ...хорошую пьесу Штейна...** — Александр Петрович Штейн (настоящая фамилия Рубинштейн; 1903–1993), писатель, драматург, сценарист. В 1941–1946 гг. служил на Балтийском флоте.
- ...на юбилее части п/п Зубанова...** — Речь идет о 225-м Конвойном полке НКВД СССР, который был сформирован 20 апреля 1918 г., и о подполковнике Иване Петровиче Зубанове.
- ...это «пирики»...** — Так на блатном наречии называется тюремная охрана.
- ...Коля разлюбил меня из-за В<иктора> Б<еспамятнова>...** — О В. В. Беспаятнове см. коммент. к с. 42.

С. 292

...и **Полицеймако говорил...** — Виталий Павлович Полицеймако (1906–1967), актер театра и кино.

С. 293

Веселый день тридцатого апреля... — Правильно: «Весенний день тридцатого апреля...» (1931). Первая строка стихотворения Б. Л. Пастернака.

С. 294

...в это время немец дал три снаряда сразу... — 1 мая 1943 г. в городе разорвалось 288 снарядов. 20 человек были убиты, 147 ранены (см.: Буров А. В. Блокада день за днем. С. 491).

С. 295

...«**Жди меня**» — пьеса Симонова... — Речь идет о пьесе «Жди меня» К. М. Симонова, по которой был поставлен спектакль и в 1943 г. снят одноименный фильм режиссерами Александром Борисовичем Столпером (1907–1979) и Борисом Григорьевичем Ивановым (1908–1964).

...«**Синий платочек**» Катаева... — Пьеса Валентина Петровича Катаева (1897–1986) «Синий платочек» (1943) стала популярной опереттой, музыку к которой написал Оскар Борисович Фельцман (1921–2013).

...«**Москвичка**» Гусева... — Имеется в виду пьеса «Москвичка» (1942) Виктора Михайловича Гусева (1909–1944), поэта-драматурга, автора сценариев фильмов «Свинарка и пастух», «В шесть часов вечера после войны» и многих других, лауреата Сталинских премий.

...и пьеса **Вирты**. — Николай Евгеньевич Вирта (настоящая фамилия Карельский; 1905–1976), писатель, драматург, лауреат Сталинских премий. Вероятно, речь идет о его пьесе «Мой друг полковник» (1942).

...или **Азаров**. — Всеволод Борисович Азаров (1913–1990), поэт, автор очерков о флоте.

...**Успенский** — умница... — Лев Васильевич Успенский (1908–1978), писатель, филолог. Работал военным корреспондентом в редакции газеты «Боевой залп».

...**Ивич** — остер и неглуп... — Александр Ивич (настоящие имя и фамилия Игнатий Игнатьевич Берштейн; 1900–1978). С первого дня Отечественной войны Ивич работал военным корреспондентом в действующих частях авиации Черноморского флота.

С. 297

...с **Масей**... — Мася, прозвище Софьи Касьяновны Вишневецкой (1899–1962), художницы и сценаристки; жены В. В. Вишневецкого.

- ...**Морщихин с Асей.** — Возможно, театральный режиссер Сергей Александрович Морщихин (1903–1963) с женой.
- ...**сценарий «Балтика, вперед»...** — Опубликован под названием: «Бастион на Балтике: Киносценарий» (М., 1943).
- ...**Мирошниченко...** — Григорий Ильич Мирошниченко (1904–1985), писатель, поэт. Был приведен в литературу С. Я. Маршаком, которым, по отзывам современников, и были написаны первые книги Мирошниченко. В середине 1930-х гг. стал секретарем парторганизации Ленинградского отделения ССП. Во время войны заместитель начальника оперативной группы писателей при Балтийском флоте.

С. 298

- ...**не говорил «по-гамбургски»... для гамбургского счета...** — Идиома, означающая подлинную систему ценностей, свободную от корыстных интересов. Введена Виктором Борисовичем Шкловским (1893–1984) в книге «Гамбургский счет» (1928).

С. 299

- ...**союзники разбили в Африке немчуру совсем...** — Речь идет о третьем наступлении союзников в ходе Североафриканской кампании. 13 мая 1943 г. наступление закончилось капитуляцией крупной (250 000 человек) группировки итало-немецких войск, окруженных на полуострове Бон в Среднеземноморье.

Гитлер предлагал нам мир... — Один из слухов, циркулировавших в городе.

С. 300

- ...**Верочка Инбер с ее поистине жутким «Ленинградским дневником».** — В. М. Инбер, как и О. Ф. Берггольц, находилась почти всю блокаду в осажденном городе, писала для газеты «Ленинградская правда». О. Ф. Берггольц считала, что название для своего текста Инбер взяла у нее. Основными работами Инбер военного времени стали поэма «Пулковский меридиан» и ленинградский дневник «Почти три года», за которые она в 1946 г. получила Сталинскую премию.
- ...**«Былого и Дум» мне не написать.** — «Былое и думы», произведение (1868) писателя, философа, публициста Александра Ивановича Герцена (1812–1870). В этой прозе соединены автобиографические, мемуарные, публицистические и философские элементы.
- ...**на последней поэме «Твой путь»...** — Впервые опубликовано: Знамя. 1945. № 5/6. С. 44–49. О. Ф. Берггольц писала поэму, обращаясь к образу погибшего мужа.

С. 301

Чтобы по бледным ≈ Узнали жизни гибельный пожар... — Неточная цитата из стихотворения «Как тяжело ходить среди людей...» (1910) А.А. Блока.
Правильно: «...жизни гибельной пожар».

1944–1945 годы

Умирая, Ирочка... (с. 305–311).

Публикуется по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 362. Л. 2–9).

Датируется с 15 апреля по 10 июня 1944 г.

Опубл.: Берггольц О. Ф. Блокадный дневник (1941–1945). СПб., 2015. С. 366–372.

Записи о Ленинграде (с. 311–315).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 366. Л. 1–6 об.).

Датируется декабрем 1944 г.

25/IV-45 (с. 316).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 361. Л. 19–19 об.).

Датируется 25 апреля 1945 г.

С. 306

Не видела только «Радугу». — Экранизация повести «Радуга» (1943) Ванды Львовны Василевской (1905–1964). Режиссер — Марк Семенович Донской (1901–1981).

С. 307

О нашем движении в Румынии — ни звука. — Возможно, имеется в виду Уманско-Ботошанская операция (5 марта — 17 апреля 1944), наступательная операция 2-го Украинского фронта. В результате были освобождены юго-западные районы Правобережной Украины и часть Молдавской ССР. Красная армия перешла государственную границу СССР и вступила на территорию Румынии.

Финляндия опять отклонила наши более чем умеренные предложения о мире. — 8 марта 1944 г. правительство Финляндии сообщило советскому правительству о своей готовности начать переговоры. Представители финляндской стороны инкогнито прибыли в Москву 26 марта, переговоры прошли 27 и 29 марта. Нарком иностранных дел В.М. Молотов выдвинул дополнительные условия мира: финнам следовало взять на себя обязательство поэтапно сократить свои вооруженные силы до уровня мирного времени,

возместить причиненный Советскому Союзу ущерб в размере 600 млн долларов, а также вернуть Советскому Союзу область Петсамо. 19 апреля Финляндия отклонила эти условия перемирия (см.: *Кульков Е. П.* Финляндия в войне против СССР 1941–1944 // *Вестник МГИМО.* 2009. № 1. С. 43).

Погиб молодой и способный поэт — Георгий Суворов. — Георгий Кузьмич Суворов (1919–1944), поэт. Служил в 45-й гвардейской дивизии, погиб 14 февраля 1944 г. в боях за г. Сланцы.

От Яшки Бабушкина вернулись письма... — Я. Л. Бабушкин погиб под Нарвой в 1944 г.

С. 308

...гранки новой книжки стихов... — Речь идет о сборнике стихотворений «Ленинград» (М., 1944).

...связались со сценарием «Седьмая симфония»... — Замысел не был осуществлен.

...никого из героев пока «не вижу», кроме Нагорнюка. — Речь идет о валторнисте оркестра Ленинградского радиокомитета: «Пришел семидесятилетний старейший артист Ленинграда валторнист Нагорнюк — он играл еще в тех оркестрах, которыми дирижировал Римский-Корсаков, Направник, Глазунов. Сын Нагорнюка, красноармеец, демобилизованный после тяжелого ранения, эвакуировался из города и умолял отца поехать с ним, но спокойно отказался старый музыкант от эвакуации. Разве мог он не играть в Седьмой симфонии?» (*Берггольц О.* Говорит Ленинград // *Собрание сочинений:* в 3 т. Л., 1989. Т. 2. С. 175).

С. 309

О, я хочу безумно жить ≈ в этом сне... — С некоторыми пунктуационными неточностями цитируется стихотворение «О, я хочу безумно жить...» (1914) из цикла «Ямбы» А. А. Блока.

Роддом им<ени> Видемана. — Сейчас роддом № 1, находится по адресу: Большой проспект Васильевского острова, д. 49/51. Назывался в честь первого директора Карла Германовича Видемана (1850–1918).

С. 310

...говорят, мы двинулись на финнов. — Речь идет о Выборгской наступательной операции (10–20 июня 1944), в ходе которой был освобожден Выборг (20 июня).

...у него истекает срок брони. — Т. е. отсрочки от армии вследствие принадлежности к предприятию или учреждению, сотрудники которого не подлежали призыву.

Значит, мне без листвы ≈ старцы слушать. — Неточная цитата из стихотворения «По-осеннему кычет сова...» (1920) С. А. Есенина. Правильно: «Скоро мне без листвы холодеть...»

С. 311

Ночь темна Боль страшна... — Неточная цитата из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» (1866–1876) Н. А. Некрасова. Правильно: «Жизнь тошна, Боль сильна».

Аще забуду тебя, Иерусалиме... — Неполная цитата из Псалтири; ср.: «Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя» (Пс. 136:5).

Николаю — Н. С. Молчанов.

...всё о Зинаиде Епифановне Карякиной... — О З. Е. Карякиной см. коммент. к с. 234.

Эпизод о том, как соседка накормила Карякину сахарным песочком, вошел в книгу: *Берггольц О. Ф. Дневные звезды. Говорит Ленинград*. М., 1990. С. 231–232.

С. 312

...чтение «Февральского дневника»... — Речь идет о поэме О. Ф. Берггольц «Февральский дневник». Впервые опубл.: Комсомольская правда. 1942. 5 июля.

«Антон Иваныч сердится» — Так в тексте. Правильно: «Антон Иванович сердится». Художественный полнометражный музыкальный комедийный фильм 1941 г.; режиссер — А. В. Ивановский; в главных ролях — П. П. Кадочников, Л. В. Целиковская, Л. Н. Коновалов и др. О. Ф. Берггольц посвятила воспоминаниям о комедии главу в книге «Дневные звезды»; см.: *Берггольц О. Ф. «Антон Иванович сердится» // Собрание сочинений: в 3 т. Л., 1990. Т. 3. С. 332–334.*

Мне захотелось увидеть сестру... — Вариант поэмы «Твой путь» (апрель 1945), в окончательном виде: «...Еще хотелось повидать сестру. / Я думала о ней с такой любовью, / что стало ясно мне: на днях — умру. / То кровь тоскует по родимой крови» (*Берггольц О. Ф. Твой путь: Поэма // Собрание сочинений. Т. 2. С. 78.*)

С. 313

Весь «Девяносто третий год» Гюго... — Последний роман (декабрь 1872 — июль 1873), посвященный Великой французской революции, французского писателя Виктора Мари Гюго (1802–1885).

С. 314

Штрафники идут ≈ свои великие грехи... — Вариант четверостишия из стихотворения «На собрание целый день сидела...»; ср.: «Штрафники идут в разведку боем — / прямо через минные поля!.. / Кто-нибудь вернется награжденный, / остальные лягут здесь — тихи, / искупая кровью забубенной / Все свои небывшие грехи!» (*Берггольц О. Собрание сочинений. Т. 2. С. 97.*)

История Ахматовой и Гаршина... — См. коммент. к с. 97.

Чужих мужей вернейшая подруга ≈ вдова. — Цит. стихотворение «Какая есть. Желаю вам другую...» (1942) А. А. Ахматовой.

С. 315

«Долго жила душа моя с ненавидящими мир...» — Цитата из Псалтири (Пс. 119:6).
Если я забуду ~ во главе веселия моего — Цитата из Псалтири (Пс. 136:5–6).

С. 316

...когда наши войска берут Берлин. — Речь идет о Берлинской наступательной операции, которая проводилась силами войск 1-го Белорусского и 2-го Белорусского фронтов с 16 апреля по 8 мая 1945 г.; 25 апреля 1945 г. бои шли в центре Берлина.

1946 год

За все и за всех виноватой... (с. 319–320).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 366. Л. 7–10 об.).
Датируется началом 1946 г.

8 МАЯ 46 (с. 320–325).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 367. Л. 1–4).
Датируется 8–15 мая 1946 г.

28 декабря 1946 — 1 ноября 1948 (с. 325–330).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 368. Л. 1–6 об.).
Датируется 20 декабря 1946 г.

С. 319

За все и за всех виноватой... — Набросок к стихотворению «Ленинграду»; см.: Берггольц О. Ф. Ленинграду // Ольга. Запретный дневник: дневники, письма, проза, избранные стихотворения и поэмы Ольги Берггольц. СПб., 2010. С. 533.

И даже тем ~ пустынных площадей — Цит. стихотворение О. Ф. Берггольц «Стихи о себе» (1945). Опубл.: Берггольц О. Ф. Лирика. М., 1955. С. 13–33. Неточно воспроизведена последняя строка; ср.: «Не дам забыть, как падал ленинградец / На желтый снег пустынных площадей».

Боярыня Морозова — Муза Плача... Аввакум! — Речь идет о героях русского раскола XVII в. (Феодосия Прокофьевна Морозова (урожд. Соковнина; 1632–1675), верховная дворцовая боярыня, сподвижница протопопа Аввакума; Аввакум Петров (1620–1682), протопоп, исповедник старообрядчества), чьи образы отражены в поэме А. А. Ахматовой «Реквием» (1934–1960-е).

«Муза плача» (1916), стихотворение М.И. Цветаевой, посвященное А.А. Ахматовой.

...**Донна-Анна, слышащая шаги Командора.** — Герои стихотворения «Шаги командора» (1910–1912) А.А. Блока.

С. 320

...**слова Блока... ЗДЕСЬ ЧЕЛОВЕК СГОРЕЛ...** — Интерпретация смысла стихотворения А.А. Блока «Как тяжело ходить среди людей...» (1910), к которому были взяты в качестве эпиграфа строки «Там человек сгорел» из стихотворения А.А. Фета «Когда читала ты мучительные строки...» (1887).

На рынке ≈ во льду. — Предположительно, наброски и варианты четверостиший к «Ленинградской поэме» для издания: Берггольц О.Ф. Стихи и поэмы. М., 1946.

«**Фландрскую цепь» писать как библию...** — Речь идет о главе в книге «Дневные звезды»; см.: Берггольц О.Ф. День вершины. Фландрская цепь // Собрание сочинений: в 3 т. Л., 1990. Т. 3. С. 290–293.

День — 8 сентября... — 8 сентября 1941 г. в результате массированного авианалета на Ленинград загорелись склады им. А.Е. Бадаева, располагавшиеся за Новодевичьим монастырем (угол Киевской и Черниговской улиц). В результате пожара на Бадаевских складах сгорело около 3000 т муки и 2500 т сахара. Вероятно, слово «знамение» употреблено О.Ф. Берггольц как предзнаменование будущего голода, обрушившегося на Ленинград в годы блокады.

...**в доме творчества, в Келломяки.** — О пос. Келломяки см. коммент. к с. 195. Дом творчества писателей располагался по адресу: улица Кавалерийская, д. 4/4 (дореволюционные дачи Александра Иосифовича Гесли и оперного певца Иосифа Семеновича Томарса (1867–1934)).

С. 321

...**за время пребывания в Москве...** — Предположительно, в Москве О.Ф. Берггольц пробыла с конца апреля по 2 мая 1946 г., участвовала в вечере поэзии в Колонном зале. Вернувшись в Ленинград, в тот же день уехала в Келломяки.

...**с приезда Анны Андреевны и Маргариты Алигер...** — А.А. Ахматова в числе других ленинградских поэтов была направлена в Москву для участия в вечере поэзии, проходившем в Колонном зале. Художница А.В. Любимова писала в своем дневнике: «Отсюда едут пять поэтов: Ахматова, Прокофьев, Саянов, Дудин, Браун; Берггольц уже там. 2-го они будут вместе с московскими поэтами читать в Колонном зале» (Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 429). М.И. Алигер приехала вместе с возвращавшейся Ахматовой в Ленинград для участия в репетициях пьесы «Сказка о правде», написанной на тему поэмы «Зоя».

...**вступила на путь Саши Чуркина...** — Александр Дмитриевич Чуркин (1903–1971), поэт; знакомый О.Ф. Берггольц по сотрудничеству в журнале «Резец».

В первые годы блокады жил в Ленинграде, 12 февраля 1942 г. был эвакуирован из Ленинграда в Архангельск.

И чем больше общалась ≈ виновато время... — Пьянство в литературной среде после войны было широко распространено. Об этом писал К. Я. Ваншенкин: «...многие поэты открыто и регулярно пили: Твардовский, Смеляков, Светлов, Шубин, Фатьянов... Одним это помогло, дало возможность расслабиться, других погубило... если посмотреть правде в глаза, придется признать: это было поколение мужественных алкоголиков: Недогонов, Наровчатов, Луконин, Самойлов, Соболев, Львов, Левитанский, Глазков и др. <...> Сбавить обороты так и не сумел никто...» (Ваншенкин К. В мое время // Знамя. 2000. № 5. С. 147).

...рвутся связи с Мариными... — Предположение О. Ф. Берггольц, очевидно, связано с тем, что в 1946 г. М. В. Машкова (по мужу Марина) была занята подготовкой к защите диссертации на соискание степени кандидата педагогических наук на тему «Проблема репертуара книги в русской библиографии».

Милый друг ≈ очень болен... — Цит. поэма «Черный человек» (1923–1925) С. А. Есенина.

...села за статью об А <нне> А <ндреевне> — Речь идет о статье О. Ф. Берггольц «Военные стихи Анны Ахматовой», написанной по заказу журнала «Знамя» для отдельного издания военных стихотворений поэтессы; однако в связи с выходом Постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» от идеи издания пришлось отказаться. Только в 2001 г. редакция журнала опубликовала эту статью (№ 10).

С. 322

...пришел Глинка, очень милый человек... — Владислав Михайлович Глинка (1903–1983), писатель; главный хранитель отдела истории русской культуры Эрмитажа; автор воспоминаний о блокаде Ленинграда.

Здесь с супругой Юра Герман. — Татьяна Александровна Герман (урожд. Риттенберг; 1904–1995), третья жена Ю. П. Германа.

...написать письмо Пастернаку... — В мае 1946 г. Б. Л. Пастернак работал над статьей «Заметки к переводам шекспировских драм», которую предполагалось дать как предисловие к изданию «Вильям Шекспир в переводе Бориса Пастернака», однако книга была издана без него. Обращаясь к своей сестре О. М. Фрейденберг, Пастернак просил прочитать его статью и сообщал, что «с таким же пожеланием... обратился к Ахматовой и Ольге Берггольц» (Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений: в 5 т. М., 1992. Т. 5. С. 452).

...капустник в доме кино... — Речь идет о творческом клубе деятелей кино г. Ленинграда. Дом Ленинградской ассоциации работников кинематографии (Дом ЛенАРК) был открыт 8 ноября 1928 г. в помещении по адресу: Невский проспект, д. 72. С 1933 г. стал называться ленинградским «Домом кино». В 1960 г. переехал по адресу: улица Толмачева, д. 12.

С. 323

Юра говорил, что принимает сегодня экзамены... — Г.П. Макогоненко работал на кафедре русской истории русской литературы филологического факультета ЛГУ.

...Все мнится мне — я счастлив по ошибке... — Неточная цитата из «Элегии» («Ужели близок час свиданья!...»; 1819) Е.А. Баратынского. Правильно: «...все мнится, счастлив я ошибкой».

...весь день мусорили в душе люди, как сказал бы Горький... — Неточная цитата из романа «Жизнь Клима Самгина» (1924–1936) М. Горького. Ср.: «Следует предохранять душу от засорения уродством маленьких обид и печалей».

...с Таней Герман равнодушно говорила о Коле... — Первым браком Т.А. Герман была замужем за литературным критиком Николаем Ароновичем Коварским (1904–1974), благодаря которому О.Ф. Берггольц познакомилась с Н.С. Молчановым.

...Ленка Катерли... — Елена Иосифовна Катерли (урожд. Кондакова; 1902–1958), писательница.

...психопат Митя Осров рассказывал... — Так в тексте. Речь идет о писателе Дмитрие Константиновиче Острове (настоящая фамилия Остросаблин; 1906–1971).

С. 324

Юрины всяческие химеры насчет просветительства... — Ирония О.Ф. Берггольц связана с тем, что в феврале 1946 г. Г.П. Макогоненко защитил кандидатскую диссертацию на тему «Московский период деятельности Н.И. Новикова».

...«предаваться страстям и мечтам»... — Цит. стихотворение «Ночь. Успели мы всем насладиться...» (1858) Н.А. Некрасова.

...«и жить начинать поздно». — Цит. стихотворение «Зеленые» (1926) Николая Николаевича Ушакова (1899–1973).

С. 325

...читать мучительного Горького... — Аллюзия на характеристику рассказа «Рождение человека» М. Горького, данную С.Я. Маршаком: «Рассказ Горького — целая поэма о рождении человека. Этот рассказ до того реалистичен, что читать его трудно и даже мучительно» (*Маршак С.Я. Горький — писатель и человек // Собрание сочинений: в 8 т. М., 1971. Т. 7. С. 233*).

«Эту книжку можно бы назвать книгой стопа...» А. Герцен — Неточная цитата из дневниковой записи от 8 февраля 1863 г., сделанной А.И. Герценом. Ср.: «Эту книжку можно бы назвать — если б это не было zu deutsch <слишком по-немецки. — Ред.> — *Книгой Стопа...*» (*Герцен А.И. Полное собрание сочинений: в 30 т. М., 1960. Т. 20, кн. 2. С. 602*).

...помешался как Поприщин. — Главный герой повести «Записки сумасшедшего» (1834) Н.В. Гоголя.

...титularyный советник... — Гражданский чин IX класса, утвержденный Табелью о рангах 1772 г.; отменен ВЦИК Совнаркома 11 ноября 1917 г.

С. 326

...в особенности после 14/VIII моральные лишения... — Речь идет о реакции на Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», опубликованное 14 августа 1946 г. О.Ф. Берггольц так писала в автобиографии: «...так как я не “разоблачила” Ахматову, меня отовсюду повыгоняли — из Правления, из редсовета издательства, выступление мое по поводу постановления на решающем собрании — ленинградская печать признала “неправильным”, “несамокритичным” и т. п., и т. п., мою книгу “Избранное”, включенную в “Золотую серию” к 30-летию Октябрьской революции, ленинградский союз с восторгом вычеркнул из списка. И открылись мне раны 37–39 гг.» (Берггольц О. Собрание сочинений. Т. 3. С. 494–495).

С. 327

Последнее партсобрание наше еще раз убеждает в этом ≈ мысль, дерзание, спор, раздумье и т. д. — Эти размышления О.Ф. Берггольц позже были высказаны на встрече с читателями в ЦДЛ 15 июня 1956 г.: «...на основании таких же измышлений, на основании чистейшей вкусовщины несколько лирических, совершенно безобидных стихов Ахматовой, которые не затрагивают, конечно, проблем высокой политики — сочиняется история о вреде, который она якобы приносит делу воспитания нашей молодежи. И вот — самое странное, что под этим постановлением и под тем докладом Жданова, который читался по этому постановлению, мы живем до сих пор» (цит. по: Золотоносов М.Н. Гадюшник: Ленинградская писательская организация: Избранные стенограммы с комментариями. М., 2013. С. 231).

...выполнение нового пятилетнего плана... — 18 марта 1946 г. Верховный Совет СССР принял «Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946–1950 гг.».

...«шевелия кандалами цепочек дверных»... — Цит. стихотворение «Ленинград» (1930) О.Э. Мандельштама.

С. 328

...«К<ультурой> и Ж<из>нью»... — «Культура и жизнь», газета Управления пропаганды ЦК ВКП(б). Издавалась с 28 июня 1946 по 8 марта 1951 г.

Великий Инквизитор съел бы зубы от зависти. — Герой притчи «Легенда о Великом инквизиторе» (1879), вошедшей во вторую часть романа «Братья Карамазовы» (1878–1879) Ф.М. Достоевского.

Кстати, 125-летие со дня рождения гордости русской нации и всего человечества — не отмечалось на его Родине... — Речь идет о юбилее Ф. М. Достоевского, который отмечался 11 ноября 1946 г. В 1938 г. имя писателя было исключено из школьных и вузовских программ; и только в период подготовки полного собрания сочинений к 130-летию со дня рождения «началось возвращение нашей культуры к Достоевскому» (Фридлендер Г. М. Достоевский в эпоху нового мышления // Достоевский. Материалы и исследования / [ред. Г. М. Фридлендер]. Л., 1991. Т. 9. С. 5).

...папаша болен, и не у кого было спросить... — Предположительно, речь идет об А. А. Жданове, возглавлявшем с апреля 1946 г. Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Жданов болел стенокардией, которая привела к инфаркту в июле 1948 г.

...пьесу «Запас прочности» ≈ возникают из небытия люди... — Замысел не был реализован.

...щедринско-крамольниковское — «Не нужно, не нужно!»... — Герой сказки-элегии «Приключение с Крамольниковым» (1886) из цикла «Сказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина.

С. 329

...написать хоть половину трагедии, к которой я, написав пролог.. — Речь идет о работе О. Ф. Берггольц над трагедией «Верность».

Отказалась от предложения Симонова... в «Нов<ом> Мире». — С 1946 г. К. М. Симонов был главным редактором журнала «Новый мир»; он предложил О. Ф. Берггольц дать стихи в подборку по лирике. Предложение последовало вслед за публикациями «Литературной газеты» в октябре 1946 г., открывшими дискуссию по вопросам современной поэзии (см.: Вишневский В., Тарасенков А. Реплика критика // Литературная газета. 1946. 12 октября; Соловьев Б. С позиции звездочета // Там же; Иванов С. Редактор и критика // Литературная газета. 1946. 19 октября; и др.).

...от некоей Майи Перельман... — Майя Ефимовна Перельман (1917–2000(?)); сестра А. Е. Горелова (см. о нем коммент. к с. 511); в 1938 г. студентка ЛГУ.

...работали над «Лен<ин>градской симфонией»... — Речь идет о работе над сценарием: Берггольц О., Макогоненко Г. Ленинградская симфония: Киносценарий // Звезда. 1945. № 3. С. 50–80.

...сестра Мирки Перельман... — Мирра Ефимовна Перельман (1911–?), литературный критик, писательница-фантастка; сестра А. Е. Горелова. На подаренном ей экземпляре стихотворения «Дни проводила в диком молчаньи...» О. Ф. Берггольц сделала надпись: «Моей Мирре. Ольга Берггольц» (Берггольц О. Собрание сочинений: в 3 т. Л., 1988. Т. 1. С. 654).

1947 год

1 января 1947 года (с. 333, 336–361, 371–376).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 368. Л. 7–44 об.).

Датируется с 1 января по 29 декабря 1947 г.

Отрывок (со слов «разговор с Н. П. Акимовым» до «как грустно...») опубл. с купюрами: «...Бесконфликтная драматургия не дает материала мужеству...». Рецензия О. Ф. Берггольц на спектакль Ленинградского театра комедии «Старые друзья». 1947 г. / публ. Н. А. Стрижковой // Отечественные архивы. 2013. № 1. С. 90.

11/1 47 Умерла сегодня в 11 ч<асов> утра... (с. 333–336).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 366. Л. 10 об.–16 об.).

Датируется 11 января 1947 г.

4/VIII-47. Прежде всего, записать сон... (с. 361–371).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 367. Л. 5–20).

Датируется с 4 августа по 9 октября 1947 г.

Отрывок (со слов «Сижу — вся в благополучии» до «грустного и радостного одновременно...») опубл.: *Громова Н.* Послеблокадная Ольга Берггольц: «страстная, раздражающая жажда обыкновенной, обывательской жизни» // Блокадные после / авт.-сост. П. Барскова. М., 2019. С. 93–94.

С. 333

...были Шварцы, Германы, Левин... — Евгений Львович Шварц (1896–1958), писатель, и его жена Екатерина Львовна Зильбер (1904–1963); Ю. П. и Т. А. Герман; Л. И. Левин.

...потом пришла А<нна> А<ндреевна>. — А. А. Ахматова.

Умерла сегодня в 11 ч<асов> утра Галя Марина... — Галина Всеволодовна Марина (1940–1947), дочь М. В. и В. А. Мариных.

С. 334

«Скрыл от мудрых и открыл детям, женам и неразумным»... — Неточная цитата слов Константина Левина из романа «Анна Каренина» (1873–1877) Л. Н. Толстого. Правильно: «Скрыл от премудрых и открыл детям и неразумным».

Они Александринку ремонтировали. — Александринский театр был построен как театр императорской труппы указом императрицы Елизаветы Петровны от 30 августа 1756 г. Здание для театра было выстроено по проекту архитектора Карла Ивановича Росси (1775–1849). После Октябрьской революции

переименован в Петроградский государственный академический театр драмы. Речь идет о восстановлении здания театра после многочисленных бомбежек во время блокады.

...стишками Маршака: **«бомбы с неба вместо хлеба»**... — Предположительно, речь идет о стихотворении С. Я. Маршака «Бомбы и бомбоньерки» (1950).

...**«Гутен морген, фриц»**... — Эта фраза послужила названием к главе в книге «Дневные звезды»; см.: Берггольц О. Ф. «Гутен морген, фриц» // Собрание сочинений: в 3 т. Л., 1990. Т. 3. С. 363–366.

Так цепко ≈ **Дитя несбереженное мое**... — Цит. «Стихи из дневника» (1936, 1954) из цикла «Память», посвященные О. Ф. Берггольц последним минутам умершей дочери — И. Б. Корниловой.

С. 336

...Знаю ≈ **красным флагом**... — Неточная цитата из стихотворения «Про это» (1923) В. В. Маяковского. Правильно: «с лёгшими под красным флагом».

...Я не привык любить свою Родину с опущенной головой и сомкнутыми устами. П. Чаадаев. — Неточная цитата из «Апологии сумасшедшего» (1837) Петра Яковлевича Чаадаева (1794–1856). Правильно: «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, со склоненной головой, с запертыми устами».

...с удовольствием уехала с очагом на Карельский... — Вероятно, О. Ф. Берггольц ошибается, так как Карельский полуостров был освобожден в результате Выборгской операции 10–20 июня 1944 г. и, следовательно, речь идет об отправке детей в составе детских лагерей на Карельский перешеек («Русскую Финляндию») после окончательного снятия блокады.

С. 337

...«все перед всеми виноваты»... — Аллюзия на высказывание Дмитрия Карамазова в романе «Братья Карамазовы» (1878–1880) Ф. М. Достоевского. Ср.: «Потому что все за всех виноваты.» (ч. 4, кн. 11, гл. «Гимн и секрет»).

С. 338

...с этим **«арзамасским ужасом»**... — В 1869 г. Л. Н. Толстой отправился в Пензенскую губернию для покупки имения. Его путь лежал через Арзамас, где он остановился на ночлег в одной из местных гостиниц. Именно здесь писатель испытал приступ сильнейшего страха перед смертью. Это состояние он характеризовал как «арзамасский ужас» и описал его в «Записках сумасшедшего» (1883).

С. 339

Палатая еще не ожила, она еще мрамор... — Героиня греческого мифа о прекрасной статуе из слоновой кости, в которую влюбился сотворивший ее скульп-

тор Пигмалион. Имя Галатhea было дано статуе Ж.-Ж. Руссо в сочинении «Пигмалион» (1762).

С. 340

...права Тамара Трифонова... с рожей надсмотрщицы из Майданека! — Тамара Казимировна Трифонова (1904–1962), литературный критик. Сравнение с надсмотрщицей из концлагеря Майданек было не случайным. В 1946 г. Трифонова прославилась активным участием в травле А.А. Ахматовой; в 1949 г. она выполняла поручения МГБ, о чем С.Д. Дрейден рассказывал К.И. Чуковскому: «Сима вернулся из лагеря, оправданный. Рассказывает, что в качестве... лжеэксперта была Тамара Казимировна Трифонова» (Чуковский К.И. Собрание сочинений. М., 2007. Т. 13. С. 187). Переводчик В.П. Бетаки вспоминал, что в 1949 г. Трифонова в Ленинградском педагогическом институте им. М.Н. Покровского «была негласным надзирателем от ГБ за всем факультетом» (цит. по: Золотонос М.Н. Гадюшник: Ленинградская писательская организация: Избранные стенограммы с комментариями. М., 2013. С. 139).

...«любить готовый, с душой открытой для добра»... — Цит. поэма «Демон» (1829–1839) М.Ю. Лермонтова.

...если выборы вообще — циничный и постыдный балаган... — После Победы 9 мая 1945 г. в возвращавшейся к мирной жизни стране было решено провести выборы: в Верховный Совет СССР 10 февраля 1946 г., в Верховный Совет РСФСР 10 февраля 1947 г., в местные (т. е. областные, городские, районные, поселковые и т. д.) советы депутатов трудящихся 21 декабря 1947 г. Первым кандидатом от многих городов в Верховный Совет СССР и РСФСР стал И.В. Сталин, выдвижение которого было традиционным для избирательных кампаний. Для проведения агитационной работы среди населения создавались агитпункты, на которых агитаторы обязаны были знакомить избирателей с положениями о выборах, с биографией кандидата в депутаты, проводили лекции и беседы по вопросам внутренней и внешней политики и т. д. Каждый агитатор обязан был проводить индивидуальную агитационную работу с определенной группой избирателей.

С. 341

...Эйзенштейн в «Броненосце Потемкине»... — Немой черно-белый фильм 1925 г.; производство киностудии «Мосфильм»; режиссер — Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898–1948).

...поединок Анны и Андрея... — Главные герои трагедии О.Ф. Берггольц «Верность».

...в Филармонии... — Ленинградская филармония, старейшее учреждение культуры в России. Было открыто в 1803 г. как Филармоническое общество. В 1921 г. было переименовано в Петроградскую филармонию. 9 августа 1942 г. здесь

была исполнена Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича. В настоящее время Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича. Имеет два зала: Большой зал (улица Михайловская, д. 2) и Малый зал (Невский проспект, д. 30; более известен как «Дом Энгельгардта»).

...с **Вл<адиимиром> Лифшицем...** — Владимир Александрович Лифшиц (1913–1978), писатель.

С. 342

Хочу читать «Февральский»... — Речь идет о «Февральском дневнике», работа над которым была начата в январе 1942 г. Впервые опубликован: *Берггольц О. Ф.* Февральский дневник // Комсомольская правда. 1942. 5 июля.

Поэт не дорожи ~ спокоен и утрюм... — Цит. стихотворение «Поэту» (1830) А. С. Пушкина.
...«труд, завещанный от бога»... — Неточная цитата из трагедии «Борис Годунов» (1824–1825) А. С. Пушкина. Правильно: «долг, завещанный от бога».

С. 343

Мы реально двигаем пьесу... — Речь идет о работе над пьесой «У нас на земле». Опубл.: *Берггольц О. Ф., Макогоненко Г. П.* У нас на земле: Пьеса в 4-х действиях, 6 картинах. М., 1947.

..уже «живут» Сидорчук, Галя, Маков, несколько умозрительны еще Арсеньев и Сиваченко... — Герои пьесы «У нас на земле».

«А трагедия?» — Предположительно, речь идет о трагедии «Верность» (первоначальное название «Город славы»). Впервые опубл.: *Берггольц О. Ф.* Верность: Трагедия. Л., 1954. Свидетельством тому, что в 1947 г. поэтесса работала над трагедией, являются два вступления к ней, датированные весной 1947 г. Впервые опубл.: *Берггольц О. Ф.* Избранное. М., 1948. С. 100 (под названием «Два вступления к трагедии “Город славы”»).

Ее срок Камерному... — Драматический театр, основанный А. Я. Таировым в Москве (бывшая усадьба Вырубовых) в 1914 г. Труппа планировала работать с пьесами, которые должны были заставить зрителей задуматься над жизнью, и потому театр был назван «Камерным». После Февральской революции театру было выделено новое здание по адресу: улица Большая Никитская, д. 19. В 1949 г. Таиров был обвинен в формализме, что послужило причиной закрытия театра в мае 1949 г. В его здании был открыт Московский драматический театр им. А. С. Пушкина.

С. 344

А сценарий? — Предположительно, речь идет о сценарии «Сила любви» (1946). Впервые опубл.: *Берггольц О., Макогоненко Г.* Сила любви: (Сцены из пьесы «Они жили в Ленинграде») // Литературно-художественный сборник. Л., 1946. С. 221–229.

А оперное либретто? — Предположительно, речь идет о переработке пьесы «Они жили в Ленинграде» в оперное либретто; сведения о постановке оперы не разысканы.

А книга для Детгиза! — В 1947–1948 гг. книги О. Ф. Берггольца в издательстве «Детгиз» не публиковались.

С. 345

...накануне отъезда отсюда на выборы. — 10 февраля 1946 г. в СССР проходили выборы депутатов в Верховный Совет СССР, впервые после 1937 г. В связи с этим событием Центральный комитет принял «Обращение ЦК ВКП(б) ко всем избирателям в связи с выборами в Верховный Совет СССР», которое было опубликовано в «Правде» 2 февраля 1946 г.

...о чем мечтал Шигалев. — Персонаж романа «Бесы» (1871–1872) Ф. М. Достоевского. Читала некоему Друскину и Ю. Слонимскому... — Лев Савельевич Друскин (1921–1990), писатель; Юрий Иосифович Слонимский (1902–1978), писатель.

С. 346

...встреча с электросиловодцами — с Еф<имом> Козовским и Ж. Комаром, т. Микелнов. — Речь идет об электромашиностроительном заводе «Электросила», который был создан в 1912 г. на базе предприятий Русского акционерного общества «Шуккерт и К^о»; с 1913 г. получил наименование завода динамомашин Русского акционерного общества «Сименс–Шуккерт». В 1922 г. переименован в Петроградский государственный динамомашиностроительный завод «Электрофикатор»; в 1924 г. — в электромашиностроительный завод «Электросила». С 1927 г. на заводе выпускалась заводская многотиражка «Электросила», в которой с 1930 г. работала О. Ф. Бергголец.

Ефим Козовский, инженер; Жан Комар, рабочий; Микелнов, парторг (?). См.: Бергголец О. Ф. Мой дневник. М., 2017. Т. 2: 1930–1941. С. 495 (здесь фамилия указана иначе — Микелимов).

С. 347

...статья об «Приезжайте в Звонковое»... — Комедия «Приезжайте в Звонковое» (1947) Александра Евдокимовича Корнейчука (1905–1972). В данном случае речь идет о статье: Кальм Д. Приезжайте в Звонковое! Пьеса А. Корнейчука в Театре им. Вахтангова // Литературная газета. 1947. 22 февраля. № 8. Критик положительно оценивал поставленную в театре пьесу: «Корнейчук дал беглые, острые зарисовки жизни украинского села в первые месяцы после войны и талантливо запечатлел многие черты, которые могут получить дальнейшее развитие в другие пьесах. <...> “Приезжайте в Звонковое!” — комедия, народная по своей теме и характеру. <...> Вахтанговцам свободно и легко живется в “Звонковом”, они играют в нем с яркой творче-

ской радостью, и веришь в их искренность, когда под занавес они радушно приглашают зрителей: “Приезжайте в Звонковое!”» (С. 4).

С. 348

...моя «колыбельная»... — Цит. стихотворение О. Ф. Берггольц «Колыбельная» из «Ленинградской поэмы» (1942).

...как хотят «покоя и воли!» — Аллюзия на строки из стихотворения «Пора, мой друг, пора...» (1834) А. С. Пушкина.

С. 349

Не фиксирую приезда Б. Горбатова... — Борис Леонтьевич Горбатов (1908–1954), писатель, драматург.

Пьеса, кот<орую> читал Горбатов... — Речь идет о пьесе «Суд народов» (1947).

...«Ленинградской поэмы»... — Впервые опубли.: *Берггольц О.* Ленинградская поэма // Ленинградская правда. 1942. 24, 25 июля.

С. 350

Герцен пишет: «Горе тому, ≈ забывая высший, другой». — Цит. письмо А. И. Герцена к жене Наталье Александровне Герцен (урожд. Захарьина; 1817–1852) от 27 апреля 1836 г. (впервые опубли.: *Русский мир.* 1893. № 6. С. 15–17).

С. 351

...с подlicoм Друзиным... — Валерий Павлович Друзин (1903–1980), с 1946 г. главный редактор журнала «Звезда».

...Странгиллой... — Так в тексте. Вероятно, речь идет о Стронгилле Шаббетаевне Иртыш (1902–1983), певице и театральной актрисе.

...пойти на «Девушку моей мечты»... — Немецкий музыкальный кинофильм 1944 г.; режиссер — Г. Якоби; в главных ролях — М. Рёкк, В. Люкши, В. Мюллер.

...с Исакович, конечно, виделся... — О И. И. Исакович см. коммент. к с. 185.

«Жизнь без сильных искушений ≈ подавляемая несчастьем»... — Цит. дневник А. И. Герцена (*Герцен А. И.* Полное собрание сочинений: в 30 т. М., 1954. Т. 2. С. 85).

Мечта — суррогат действительных страстей. — Цит. дневник А. И. Герцена (*Герцен А. И.* Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 85).

«Жить отвлеченной идеей самопожертвования — неестественно...» — Цит. дневник А. И. Герцена (*Герцен А. И.* Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 60).

С. 352

«Да, мир несвободный беспощадно ≈ стать свободно...» — Цит. письмо А. И. Герцена к Марии Каспаровне Рейхель (урожд. Эрн; 1823–1916) от 7 сентября 1853 г. (*Герцен А. И.* Полное собрание сочинений: в 30 т. М., 1961. Т. 25).

- «Я ужасно устал... ≈ оставили бы в покое...»** — Запись в дневнике А.И. Герцена от 15 июня 1860 г.
- «...Счастье, гармония ≈ и выворачивает погосты»...** — Запись в дневнике А.И. Герцена от 16 августа 1863 г.
- «Он бьется ≈ средствами»...** — Запись в дневнике А.И. Герцена от <мая–июня 1867 г.>.
- Сегодня вновь ≈ как пепел гореть...** — Цит. стихотворение О.Ф. Берггольц «Сегодня вновь растрачено души...». Опубликовано в сб. «Узел: Новая книга стихов» (М.; Л., 1965).

С. 353

- ...по обследованию Мариинки...** — Речь идет о Мариинском театре. Основан 5 октября 1783 г. по приказу императрицы Екатерины II как Большой театр. После революции — Государственный академический театр оперы и балеты; в 1935 г. ему было присвоено имя С.М. Кирова. Обследование театра было связано с предстоящим ремонтом здания, пережившего бомбежки блокады.
- Все перепуталось ≈ Лорелея** — Цит. стихотворение «Декабрист» (1917) О.Э. Мандельштама.
- ...разговор с Н.П. Акимовым...** — Николай Павлович Акимов (1901–1968), книжный график, театральный художник; автор портрета О.Ф. Берггольц (1947).

С. 354

- ...напила с Гитовичем...** — Александр Ильич Гитович (1909–1966), поэт.
- ...после такой статьи ≈ о Пастернаке?!** — Речь идет о статье: Сурков А. О поэзии Б. Пастернака // Культура и жизнь. 1947. № 8 (27). Автор статьи писал, что Пастернак «занял позицию отшельника... живет в разладе с новой действительностью», его «реакционное отсталое мировоззрение... не может позволить голосу поэта стать голосом эпохи».
- ...частное мнение Суркова ≈ травит наш мудрейший ЦК...** — Лауреат Сталинской премии А.А. Сурков с 1944 по 1946 г. был ответственным секретарем «Литературной газеты»; одновременно с 1945 г. возглавлял журнал «Огонек».
- Надо было убить Ахматову и Зощенко...** — В своих воспоминаниях Н.А. Роскина писала о встрече с А.А. Ахматовой, спустя два месяца после публикации постановления: «Ахматова стала мне говорить, что с ней нельзя встречаться, что все ее отношения контролируются, за ней следят, в комнате — подслушивают; что общение с нею может иметь для меня самые страшные последствия...» (Вспоминая Ахматову. М., 1991. С. 524). О тяжелейшем психологическом состоянии Михаила Михайловича Зощенко (1894–1958) упоминала Л.К. Чуковская: «М. М. неузнаваемо худ, все на нем висит. Самое разительное — у него нет возраста — он, — тень самого себе, а у теней возраста не бывает... на старика не похож; ни седины, ни морщин, ни сутуло-

сти. Но померкший, беззвучный, замороженный — предсмертный» (Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. М., 1996. Т. 2: 1952–1962. С. 232).

...и почти убить Пастернака... — Так, 4 сентября 1946 г. на президиуме правления ССП А. А. Фадеев говорил о «чуждом советскому обществу идеализме», проявляемом в творчестве Б. Л. Пастернака (см.: Литературная газета. 1946. 7 сентября). Чуть позже, 17 сентября 1946 г., на общемосковском собрании писателей Фадеев вновь назвал поэзию Пастернака «безыдейной и аполитичной», которая «не может служить идеалом для наследников великой русской поэзии» (Литературная газета. 1946. 21 сентября).

...геббельсовский фильм... — Йозеф Пауль Геббельс (1897–1945), деятель Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП); с 1933 г. министр просвещения и пропаганды. Геббельс создал в Третьем рейхе систему пропаганды, с помощью которой манипулировал общественным мнением немцев.

С. 355

...А мадригалы ей пиши!.. — Неточная цитата из романа в стихах «Евгений Онегин» (1823–1831) А. С. Пушкина. Ср.: «А мадригалы им пиши!»

Жид-Плоткин делал доклад... — Лев Абрамович Плоткин (1906–1978), литературовед. В 1941–1970 гг. преподавал в ЛГУ; с 1960 г. заведующий кафедрой советской литературы филологического факультета ЛГУ. В литературных кругах Ленинграда Плоткин был известен как литературный погромщик. В 1937 г. он выступил против Б. П. Корнилова (см.: *Плоткин Л.* Высоко поднять знамя политической поэзии // Ленинградская правда. 1937. 18 марта), на следующий день Корнилова арестовали. После публикации Постановления ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» стал убежденным гонителем А. А. Ахматовой и М. М. Зощенко.

С. 356

...устроить его в Военно-Мед<и>цинский... — С момента возвращения в Ленинград в начале апреля 1947 г. Ф. Х. Берггольц периодически лечился в Военно-медицинской академии с диагнозами воспаления легких и сердечной недостаточности.

С. 357

Ну, старая кляча, — пошли ломать своего Шекспира! — Цит. стихотворение «Балаган» (1906) А. А. Блока.

...поэма Заболоцкого... в «Нов<ом> Мире». — См.: *Заболоцкий Н.* Творцы дорог // Новый мир. 1947. № 7.

Николай Алексеевич Заболоцкий (Заболотский; 1903–1958), поэт, переводчик.

...написал человек, 8 лет пробывший на каторге... — Н.А. Заболоцкий был арестован 19 марта 1938 г.; с февраля 1939 по май 1943 г. находился в исправительно-трудовом лагере на Дальнем Востоке; в мае 1943 г. был переведен в Алтайский край и только в августе 1944 г. освобожден из-под стражи (подробнее см.: Александр Фадеев: Письма и документы из фондов Российского государственного архива литературы и искусства. М., 2001. С. 143–144). В начале 1946 г. Заболоцкий был вызван в Москву, восстановлен в Союзе писателей и вновь стал работать в литературе. Судимость с него была снята постановлением Особого совещания при министре государственной безопасности 6 октября 1951 г. (подробнее см.: Воля. 1995. № 4/5. С. 61). В 1956 г. Заболоцкий написал «Историю моего заключения»; опубликована одновременно: Даугава. 1988. № 3; Чистые пруды: Альманах. 1988. Вып. 2.

С. 358

Читали 21<-го> пьесу Рашевской... — Речь идет о читке пьесы «У нас на земле» для коллектива Большого драматического театра им. М. Горького. Рашевская Наталья Сергеевна (1893–1962), актриса, режиссер, в 1946–1950 гг. художественный руководитель БДТ им. М. Горького.

«Мне каждый звук терзает слух»... — Цит. стихотворение «Из дневника» (1921) В.Ф. Ходасевича.

...состояние Карениной перед самоубийством... — Сравнение с состоянием главной героини перед самоубийством романа «Анна Каренина» Л.Н. Толстого. **Селику...** — Селик, прозвище друга О.Ф. Берггольца писателя Израиля Моисеевича Меттера (1909–1996).

...Рахманову... — Леонид Николаевич Рахманов (1908–1988), писатель.

...глупому Зонину... — А.И. Зонин (см. о нем коммент. к с. 230).

...выступал дурак-Полицеймако... — Виталий Павлович Полицеймако (1906–1967), актер БДТ им. М. Горького в 1930–1967 гг.

...шник, Корн. — Николай Павлович Корн (1907–1971), актер БДТ им. М. Горького с 1935 по 1971 г.; в 1952–1953 гг. директор БДТ им. М. Горького.

...про «человек — звучит гордо»... — Крылатое выражение; слова из монолога Сатина, главного героя пьесы «На дне» (1902) М. Горького.

С. 359

...о прелестном докладе т. Ж<данова>... — Доклад А.А. Жданова был прочитан 16 августа 1946 г. на общегородском собрании писателей, работников литературы и издательства (текст выступления см.: Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград»: Сокращенная и обобщенная стенограмма докладов т. Жданова на собрании партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде. Л., 1946).

Но я себя смирял, становясь На горло собственной песне. — Цит. стихотворение «Во весь голос» (1929–1930) В.В. Маяковского.

...сегодня очень милое письмо от Пастернака... — Предположительно, это ответ на письмо О.Ф. Берггольц, написанное 15 апреля 1947 г. (см.: Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979. С. 561–563).

С. 360

...в У<ниверсите>те кругом него... — Г.П. Макогоненко читал курсы истории русской литературы XVIII в. на филологическом факультете ЛГУ.

С. 362

...этой миодистрофии... — Заболевание, при котором происходит нарушение сократительной функции мышц, их способности к развитию и поддержанию тонуса.

...«ведь и призраки могут измучить»... — По воспоминаниям М.Ф. Берггольц, «призраками» ее сестра называла близких подруг Г.П. Макогоненко.

С. 363

...не имею ни малейшего отношения к «Твоему пути» и «Февральскому». — Речь идет о поэмах: Берггольц О. Февральский дневник // Комсомольская правда. 1942. 5 июля; Она же. Твой путь // Знамя. 1945. № 5/6. С. 44–49. Отчасти Г.П. Макогоненко и сам понимал свою роль в создании этих произведений; так, по замечанию литературоведа Л.И. Кузьминой, муж О.Ф. Берггольц «владел литературной эрудицией, она — талантом. Нетрудно догадаться, кто все-таки был “мозговым центром” их творческого содружества <...> он несколько “не дотягивал” до нее» (Кузьмина Л.И. Записки архивиста. СПб., 2008. С. 33).

...«он один меня не осудит»... — Цит. стихотворение О.Ф. Берггольц «Приателям» (1937).

С. 364

...с пьесой все в общем хорошо... — Речь идет о пьесе «У нас на земле». Критик В. Залесский писал: «В пьесе О. Берггольц и Г.П. Макогоненко “У нас на земле” сделана серьезная попытка показать — в чем “секрет” советских людей, умеющих органически соединять в себе интересы общественные и личные. В героях пьесы сочетается патриотическая гордость, человеческое достоинство, вера в свои силы, в свое предназначение в жизни. <...> Политическое достоинство пьесы, написанной в манере “драматургической повести”, ее жизненная достоверность не нуждаются ни в каких добавочных приводных ремнях. Реальная жизнь, присутствующая в пьесе, борьба людей за честь и славу своего завода придают ей вполне достаточное напряжение и действенность» (Залесский В. После конкурса // Театр. 1947. № 11. С. 53).

- ...с БДТ или договоримся... — Большой драматический театр им. М. Горького. Был открыт 15 февраля 1919 г.; на должность председателя Директории театра был назначен А.А. Блок. В сентябре 1920 г. переехал на Фонтанку, в помещение бывшего Суворинского театра; в 1922 г. театру было присвоено имя М. Горького. В 1946–1950 гг. художественным руководителем театра была Н.С. Рашевская. С февраля 1956 г. театр возглавил Г.А. Товстоногов.
- С утра приехала Галя Пленкина... — О Г.Г. Пленкиной см. коммент. к с. 44.
- ...недаром любила она Леньку. — О Л.В. Дьяконове (Анке) см. коммент. к с. 184.

С. 365

- Даже Марушке должны. — Прислуга в доме О.Ф. Берггольц.
- ...типа «Сталинградской битвы»... — Предположительно, речь идет о сценарии Н.Е. Вирты «Сталинградская битва», по которому в 1949 г. был снят фильм режиссером В.М. Петровым; фильм получил главную премию четвертого Международного кинофестиваля в Марианске-Лазне.
- ...отказался от пьесы Завадский. — Юрий Александрович Завадский (1894–1977), режиссер; главный режиссер театра им. Моссовета. В данном случае речь идет об отказе ставить пьесу О.Ф. Берггольц и Г.П. Макогоненко «У нас на земле».

С. 366

- ...14 августа, в годовщину позора... — Речь идет о Постановлении Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», принятом на заседании 14 августа 1946 г. Постановление было направлено, прежде всего, против А.А. Ахматовой и М.М. Зощенко (подробнее см.: Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП(б)-ВКП(б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике, 1917–1953 гг. / сост.: А. Артизов и О. Наумов. М., 2002. С. 587–591; см. также: Дружинин П.А. Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы. М., 2012. С. 75–105).
- ...она голодает, наверное... — И.Н. Пунина вспоминала, что после исключения из Союза писателей у Ахматовой была отнята рабочая карточка, лимитом на 500 руб. Но в «условиях послевоенной жизни Ленинграда не дать месячную карточку — значило обречь человека на голодную смерть или самоубийство. Жесткая карточная система давала возможность ленинградцам жить и работать, хотя и недоедая» (Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 470). Сама Пунина писала, что в Ленинграде не все смирились с постановлением, помогали Ахматовой многие, но «больше других, рискуя всем, открыто помогала Ольга Федоровна Берггольц» (Там же).
- В 1979 г. писатель Л.И. Пантелеев интересовался мнением Л.К. Чуковской об О.Ф. Берггольц: «Никогда не говорил с Вами об этой писательнице. С удивлением узнал, что она пользовалась благосклонностью Ахматовой. А Вашего от-

ношения к ней — не знаю» (Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Переписка (1929–1987) / предисл. П. Крючкова. М., 2011. С. 448). В ответ 28 августа 1979 г. Чуковская сообщала: «Относилась А.А. к О. Ф. весьма сложно. Один раз я принесла ей № “Нового мира” со стихами О.Ф. Прочла вслух такие строки:

Друзья твердят: все средства хороши,
Чтобы спасти от горя и напасти
Хоть часть трагедии, хоть часть души.
А кто сказал, что я делюсь на части?

Мне эти строки нравились. А.А. выслушала меня и сказала: “Беда в том, что О. отлично умеет делиться на части”.

Есть такая излюбленная литературная формула: “путь его (или ее) был сложен и противоречив”. Путь О.Ф. был сложен и противоречив; А.А. это понимала и относилась к ней — и к ее пути — весьма противоречиво. Она считала ее 1) очень талантливой, 2) кое-какие стихи любила, 3) терпеть не могла поэму о шофере, 4) о поэме “Верность” говорила так: “Я не могла бы прочитать ее, даже если бы мне платили по 10 р. за строку”, 5) говорила: “относительно меня О. всегда вела себя безупречно” (это правда, кроме того, О. и Г.П. <Макогоненко. — Ред.> сохранили рукопись (машинопись?) книги “Нечет” — и этого А.А. никогда не забывала)» (Там же. С. 448–449).

...как Большой Дом только и думает... — Условное название Управления НКВД СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области; располагался по адресу: Литейный проспект, д. 4.

...служащий Арктического... — Речь идет об Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (АНИИ), размещавшемся по адресу: набережная р. Фонтанки, д. 34. По воспоминаниям С.С. Гитович, Ахматова еще в годы войны переехала «с набережной Кутузова в знаменитый Фонтанный Дом, где помещался Арктический институт. К ней домой, как и в институт, можно было проходить только по пропускам» (Воспоминания об Анне Ахматовой. С. 503). В 1948 г. «Арктический институт расширился и выселил всех жильцов из Фонтанного Дома... А.А. переехала на ул. Красной Конницы, 4» (Там же. С. 505). В 1986 г. архитектором М.И. Стародубовым для института был разработан проект комплекса зданий на улице Витуса Беринга.

...тяжелейший разговор всех троих — об Андрюше... — Андрей Георгиевич Макогоненко, сын Г.П. Макогоненко.

С. 368

...когда я влюбилась в Юру... — Об этом см. запись от 5 сентября 1941 г. (Наст. изд. С. 44).

...едем в Коктебель ≈ теней и воспоминаний... — Лето 1935 г. О. Ф. Берггольц провела в Коктебеле вместе с В. В. Беспамятновым; свои впечатления от Коктебеля поэтесса отразила в цикле «Путешествия», в который вошли стихотворения «Кара-Даг», «Феодосия–Симферополь», «Севастополь»; впервые опублик.: Звезда. 1936. № 8. С. 101–103.

С. 369

...«бедная, нищая скудость безвыходной жизни моей»... — Цит. «Баллада» (1921) В. Ф. Ходасевича.

...Гаяля хочет жить ≈ Почему же она — мещанка. — Гаяля Снежкова, старый рабочий Маков, Андрей Арсеньев, герои пьесы «У нас на земле».

С. 370

...наша пьеса получила вторую премию... — Речь идет о победе пьесы О. Ф. Берггольц и Г. П. Макогоненко «У нас на земле» на первом этапе Конкурса на лучшую современную советскую пьесу, проходившего по союзным республикам. На второй тур жюри Всесоюзного конкурса отобрало 78 пьес. По его итогам пьеса получила третью премию (подробнее см.: Театр. 1947. № 11. С. 50).

...премию в 20 косяк... — Купюры достоинством в одну тысячу рублей называли «косарь»; соответственно, премия составляла двадцать тысяч рублей.

...«страстная, раздражающая жажда простой обывательской жизни»... — Цит. «Рассказ неизвестного человека» (1893) А. П. Чехова.

С. 373

Что за комиссия, создатель!.. — Цит. монолог Фамусова из пьесы «Горе от ума» (1828) А. С. Грибоедова.

Со дня на день ждут девальвации и деноминации, а также отмены карточек. — 29 ноября 1947 г. Совет министров СССР принял постановление «О создании неснижаемых запасов для торговли без карточек в городах Москве и Ленинграде». 15 декабря 1947 г. газеты сообщили о новой денежной реформе и отмене карточной системы распределения продуктов.

С. 374

...у Елисеева несколько дней были... — Речь идет о Доме торгового товарищества «Братья Елисеевы». Располагался на углу Невского проспекта (д. 56) и Малой Садовой улицы (д. 8).

С. 375

...«кооптирована» в правление и даже в президиум Л<енинградского> О<тдела-ния> С<оюза> С<оветских> П<исателей>. — Речь идет о заседании прав-

ления Ленинградского отделения ССП при участии А. А. Фадеева, который предложил в президиум О. Ф. Берггольц (см.: ЦГАЛИ СПб. Ф. 371. Оп. 1. Д. 33. Л. 111–118). Помимо Берггольц в правление ЛО ССП были кооптированы Э. Грин, В. К. Кетлинская, Б. С. Мейлах (см.: Там же. Д. 48. Л. 83–85).

...буду подбирать однотомник для «Сов<етского> Пис<ателя>». — Речь идет о книге стихов «Избранное» для «Библиотеки избранных произведений советской литературы: 1917–1947 гг.».

Была реформа. — Речь идет о выполнении Постановления Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары» от 14 декабря 1947 г., в котором, в частности, указывалось «Совет министров СССР и ЦК ВКП(б) решили провести денежную реформу, которая предусматривает выпуск и обращение новых полноценных денег и изъятие из обращения как фальшивых, так и неполноценных старых денег. <...> Денежная реформа 1947 г. призвана ликвидировать последствия второй мировой войны в области денежного обращения, восстановить полноценный советский рубль и облегчить переход к торговле по единым ценам без карточек» (Правда. 1947. 15 декабря. № 334). Но реформа вызывала девальвацию, так как «обмен ныне обращающихся и находящихся на руках наличных денег на новые деньги» производился с ограничением, а именно «10 руб. в старых деньгах на 1 руб. в новых деньгах» (Там же).

Оставь меня ≈ которым грезят все? — Неточная цитата из стихотворения «О нет, не стан...» (1906) Иннокентия Федоровича Анненского (1855–1909).

Семилетов... — Николай Федорович Семилетов (1914–1968), актер БДТ им. М. Горького в 1942–1968 гг.

...Коля, Яша Бабушкин, — Арсеньев... — Прототипами для главного героя пьесы «У нас на земле» Арсеньева послужили Н. С. Молчанов и Я. З. Бабушкин.

...лучше недвижимого Иллича... — Виталий Константинович Иллич (1912–?), актер БДТ им. М. Горького в 1946–1985 гг.

С. 376

Или, Или, Лива Савахвама... — Одно из речений Иисуса Христа на кресте («Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты оставил Меня?»). Правильно: «Или, Или! лама савахфани» (см.: Мф. 27:46, Мк. 15:34).

1948 год

5/1-48. О, неужели... (с. 379–389, 398–400, 402–406).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 368. Л. 44–65).

Датируется с 5 января по 19 ноября 1948 г.

7 марта. Вдруг, совершенно не желая того... (с. 389–397).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 367. Л. 21–26 об.).

Датируется с 7 по 15 марта 1948 г.

Отрывки (со слов «Во время написания пьесы» до слов «живое дыхание»; со слов «И опять бегала» до слов «боль — тоска») опубл.: Громова Н. Послеблокадная Ольга Берггольц: «страстная, раздражающая жажда обыкновенной, обывательской жизни» // Блокадные после / авт.-сост. П. Барскова. М., 2019. С. 92–94.

21/VII-48. Отца моего... (с. 400–401).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 366. Л. 17–19).

Датируется 21 июля 1948 г.

7/XI-48. На Дворцовой... (с. 401–402).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 376. Л. 9–11).

Датируется 7 ноября 1948 г.

С. 379

Сколько силы ~ ненависти и любви... — Цит. стихотворение О. Ф. Берггольц «Разговор с соседкой» (1941).

С. 380

...хочу начать книгу свою «Воздух занят»... — Первоначальный замысел книги «Дневные звезды».

Восьмого был чудовищный спектакль... — Речь идет о генеральном прогоне перед премьерой пьесы «У нас на земле» (состоялась 11 января 1948 г.).

С. 381

...власть во главе с Попковым, Лазутиным и т. д. — В. С. Попков; Петр Георгиевич Лазутин (1905–1950), председатель Исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.

...стоило бы «Современной идиллии»... — «Современная идиллия», роман (1877) М. Е. Салтыкова-Щедрина.

...«не читки требует с актера — но полной гибели всерьез...» — Неточная цитата из стихотворения «О, знал бы я, что так бывает...» (1932) Б. Л. Пастернака.

«Аренды, аренды хотят эти патриоты...» — Цит. «Записки сумасшедшего» (1834) Н.В. Гоголя.

С. 382

О, господи ≈ **моей развей...** — Неточная цитата из стихотворения «Есть и в моем страдальческом застое...» (1865) Ф.И. Тютчева.

...как **щедринский тип ≈ ежемгновенно и преждеостоко...** — Контаминация характеристик, данных градоначальникам из «Истории одного города» (1869–1870) М.Е. Салтыкова-Щедрина. Ср.: «Теперь, ежели мы допустим относительно сей материи в градоначальниках многомыслие, то, очевидно, многое выйдет наоборот, а именно: безбожники будут трепетать умеренно, воры же и убийцы всеминутно, но и преждеостоко».

С. 383

Тридцатого в «Лен<инградской> Правде» — **зубодробительный разгром...** — Речь идет о статье С.Д. Дрейдена «О фальшивой пьесе и плохом спектакле» (Ленинградская правда. 1948. 30 января), посвященной пьесе О.Ф. Берггольц и Г.П. Макогоненко «У нас на земле», поставленной на сцене БДТ им. М. Горького.

...Дрейденом. — Симон Давидович Дрейден (1905–1991), театровед, литературовед.

...то же самое — в «Вечерке», только чуть поприличнее тон. — См.: Бейлин А. Спектакль, лишенный жизни // Вечерний Ленинград. 1948. 2 февраля.

...осенью 46 г. ≈ за «Твой путь». — См.: Азаров В. Стихи Ольги Берггольц // Вечерний Ленинград. 1946. 19 января.

С. 384

Еще одна гнусная статья — в «Смене»... — См.: Туганов П. Вопреки жизненной правде // Смена. 1948. 5 февраля.

Машина пошла крутить. — Речь идет о провале пьесы в Курском областном драматическом театре им. А.С. Пушкина (см.: Матвеев В. В плену второстепенного... // Курская правда. 1948. 11 апреля); в Государственном русском драматическом театре им. М. Горького (см.: Себко Г. Очередная неудача // Комсомолец Узбекистана. Ташкент, 1948. 5 февраля). 19 февраля 1948 г. состоялось собрание писателей, на котором О.Ф. Берггольц отстояла свое мнение и свое видение темы пьесы; тем не менее пьеса была снята с репертуара.

...Пошков сказал что-то относительно «надрыва» у Гали... — В автобиографии, написанной по просьбе Я.Л. Шрайбера, О.Ф. Берггольц подробнее остановилась на этом эпизоде истории пьесы: «Премьера, на которой было все начальство города, прошла с шумным успехом, зрители были все довольны — через несколько дней в Лен<инградских> газетах появились статьи, где в пух и прах с чисто шулерническими передержками разносили пье-

су, обвиняли нас в “клевете на рабочий класс” и т. д. Как мы выяснили, господину Попкову, бывшему на премьерe, не понравилось, что у одной из наших героинь, работницы-стахановки, была личная драма. Этого недовольства оказалось достаточно, чтобы снять спектакль и начать травлю» (Берггольц О. Собрание сочинений: в 3 т. Л., 1990. Т. 3. С. 495).

...что «Литературка» должна «дать отпор»... — Спустя четыре месяца в газете появилась статья, реанимирующая проблему неправильного отображения в пьесе действительности: Рудницкий К. На земле и на сцене // Литературная газета. 1948. 28 июля.

...на тебе чуть ли не 58 статья!.. — Статья 58 Уголовного кодекса РСФСР по состоянию на 1 июля 1938 г. содержала в себе 14 параграфов, в которых были прописаны наказания за контрреволюционные преступления, т. е. действия, направленные к свержению, подрыву или ослаблению власти: § 1 (с подпунктами). Измена родине; § 2. Вооруженное восстание; § 3. Сношения в контрреволюционных целях с иностранным государством или его отдельными представителями; § 4. Оказание помощи международной буржуазии; § 5. Склонение общественной группы или иностранного государства к войне; § 6. Шпионаж; § 7. Подрыв государственной промышленности; § 8. Совершение террористических актов; § 9. Разрушение средств народной связи, государственного и общественного имущества; § 10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению советской власти; § 11. Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению преступления; § 12. Недонесение о достоверно известном, готовящемся или совершенном, контрреволюционном преступлении; § 13. Активные действия против рабочего класса; § 14. Контрреволюционный саботаж. Мерой социальной защиты при нарушении этой статьи была высшая мера наказания — расстрел.

Сегодня постановление ЦК о музыке... — Речь идет о постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели» от 10 февраля 1948 г. (Правда. 1948. 11 февраля). Спустя месяц 1-й секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) П. С. Попков отправил М. А. Суслову докладную записку о откликах трудящихся Ленинграда на постановление (подробнее см.: Музыка вместо сумбура: композиторы и музыканты в Стране Советов. 1917–1991. М., 2013. С. 308–314).

..Шостакович — антинародный, формалистский и пр... — В частности, в тексте постановления было указано: «Особенно плохо дело обстоит в области симфонического и оперного творчества. Речь идет о композиторах, придерживающихся формалистического, антинародного направления. Это направление нашло свое наиболее полное выражение в произведениях таких композиторов, как тт. Д. Шостакович... и др., в творчестве которых особенно наглядно представлены формалистические извращения, антидемо-

кратические тенденции в музыке, чуждые советскому народу и его художественным вкусам...» (цит. по: Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП(б)-ВКП(б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике, 1917–1953 гг. / сост.: А. Артизов и О. Наумов. М., 2002. С. 631).

...и части жизни своей — Седьмой симфонии. — Речь идет о работе О. Ф. Берггольц над киносценарием, задуманным после того, как поэтесса услышала Седьмую симфонию Д. Д. Шостаковича. См.: *Берггольц О., Макогоненко Г.* Ленинградская симфония: Киносценарий (Лит. вариант) // Звезда. 1945. № 3. С. 50–80.

С. 385

...«Жизнь в цвету» Довженко... — Александр Петрович Довженко (1894–1956), режиссер. В данном случае речь идет об издании: *Довженко А.* Жизнь в цвету: Киносценарий // Новый мир. 1946. № 10–11. С. 46–86. После переработки сценария фильм под названием «Мичурин» был выпущен в 1949 г. и в том же году получил Государственную премию.

Останься пеной ~ жизни слито... — Цит. стихотворение «Silentium» (1910) О. Э. Мандельштама.

...скажем, ФАУ-2... — Управляемое ракетное оружие дальнего действия (от нем. Vergeltungswaffe — оружие возмездия). Создано и применено фашистской Германией в конце Второй мировой войны для деморализации населения Великобритании: с 13 июня 1944 г. периодически проводился обстрел Лондона крылатыми ракетами ФАУ-1; с 8 сентября 1944 г. стали применяться баллистические ракеты ФАУ-2, разработанные конструктором Вернером фон Брауном (1912–1977). ФАУ-2 имела сложную конструкцию и была абсолютно неуязвима для средств ПВО Великобритании. Однако недоработанность конструкции и малая мощность боевого заряда не дали возможности эффективно использовать это преимущество.

...что за безобразия выкидывают с ее Левкой! — Лев Николаевич Гумилев (1912–1992), сын Н. С. Гумилева и А. А. Ахматовой, историк-этнолог. После Постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. был исключен из аспирантуры Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР с формулировкой «в связи с несоответствием филологической подготовки избранной специальности».

Моя заступа перед А. Н. Кузнецовым... — Александр Николаевич Кузнецов (1903–?), помощник секретаря ЦК КПСС. Тем не менее Л. Н. Гумилеву позволили продолжать научную работу; 28 декабря 1948 г. он защитил в ЛГУ диссертацию на степень кандидата исторических наук по теме «Подробная политическая история первого тюркского каганата».

С. 386

- ...принять Горского...** — Сергей Львович Горский (1902–1971), директор Ленинградского отделения Гослитиздата.
- ...Герасимова.** — Редактор Ленинградского отделения Гослитиздата.
- ...соглашение на однотомник...** — В 1948 г. произведения О.Ф. Берггольц в Ленинградском отделении Гослитиздата не выходили.
- О, пожалейте ≈ лирную дугу...** — Неточная цитата из стихотворения «Возвращение Орфея» (1910) В.Ф. Ходасевича.

С. 387

- ..Шостакович признал мудрость и правильность всего...** — Речь идет о выступлении Д.Д. Шостаковича на I Всесоюзном съезде композиторов СССР: «Как бы мне ни было тяжело услышать осуждение моей музыки, а тем более осуждение ее со стороны Центрального комитета, я знаю, что партия права, что партия желает мне хорошего и что я должен искать и найти конкретные творческие пути, которые привели бы меня к советскому реалистическому народному искусству. Я понимаю, что это путь для меня нелегкий, что начать писать по-новому мне не так-то уж просто, и может быть, это произойдет не так быстро, как этого хотелось бы мне и, вероятно, многим моим товарищам. Но не искать эти новые пути мне невозможно, потому что я — советский художник, я воспитан в советской стране, я должен искать и хочу найти путь к сердцу народа» (Первый Всесоюзный съезд советских композиторов: Стенографический отчет. М., 1948. С. 343).
- ...подготовки наших «Верных сердец»...** — Речь идет о пьесе О.Ф. Берггольц и Г.П. Макогоненко «Они жили в Ленинграде»; в Камерном театре пьеса шла под названием «Верные сердца».

С. 388

- ...надо звонить Шуваловой...** — Мария Александровна Шувалова, заведующая отделом культуры Ленинградского горкома ВКП(б).
- Пришло «Советское» Искусство», а там в ред<акционной> статье...** — Речь идет о публикации: [Б. п.] За новую пьесу (?) // Советское искусство. 1948. 24 февраля.
- ...«навязывал» Ермоловцам и Малому...** — Московский театр им. М.Н. Ермоловой был создан в 1937 г. в результате слияния Студии имени М.Н. Ермоловой и Театра-студии под руководством Николая Павловича Хмелева (1901–1945), который оставался художественным руководителем до 1945 г. В 1945–1958 гг. театр возглавлял Андрей Михайлович Лобанов (1900–1959). Малый академический театр; старейший русский драматический театр в Москве. Официально под названием «Малый драматический театр» был открыт в Москве в октябре 1824 г. В 1919-м ему присвоено звание академического. В 1929-

м перед зданием театра установлен памятник драматургу А. Н. Островскому (по проекту И. П. Машкова скульптором Н. А. Андреевым). С 1947 г. главным режиссером театра был Константин Александрович Зубов (1888–1956).

С. 389

...возрадуются Ходза и другие... — Нисон Александрович Ходза (1906–1978), писатель; заведующий отделом культуры и искусства «Ленинградской правды».

С. 390

...«Я пережил свои желанья»... — Цит. одноименное стихотворение (1821) А. С. Пушкина.

С. 391

...«придется съездить в Москву по поводу архива Новикова»... — Интерес Г. П. Макогоненко к творчеству журналиста, издателя, критика Николая Ивановича Новикова (1744–1818) был связан с его профессиональной деятельностью: 10 февраля 1946 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Московский период деятельности Н. И. Новикова». Архив Н. И. Новикова хранится в РГАЛИ.

Авария с нашей пьесой ≈ театр в Москве... — После январской премьеры в БДТ им. М. Горького пьеса «У нас на земле» была снята с показа; московские театры отказались от ее постановки.

С. 392

...гонение на малейшие признаки правды достигло небывалого размаха... — Вслед за статьей С. Д. Дрейдена 3 февраля 1948 г. в Доме писателя им. Маяковского было проведено собрание ленинградских писателей. Оно было посвящено теме «Партия и образы большевиков», при обсуждении которой была упомянута и пьеса «У нас на земле».

...история с «Кружилихой»... — Речь идет о романе «Кружилиха» (1947) Веры Федоровны Пановой (1905–1973), который обсуждался в ССП; на заседании с резкой критикой выступили Л. М. Субоцкий, А. К. Тарасенков, Г. Н. Мунблит, А. Г. Письменный и др. (подробнее см.: [Б. п.] Против обывательщины // Литературная газета. 1948. 17 января). Обсуждению в ССП предшествовали «разгромные» публикации: *Губфеншефер В.* Нелюбимые герои // Литературная газета. 1947. 24 декабря; *Калитин Н.* За что же любит В. Панова своих героев // Литературная газета. 1948. 3 января; *Плоткин Л.* О правде и правдоподобию // Ленинградская правда. 1948. 15 января. Однако в 1948 г. автор была удостоена за роман Сталинской премии второй степени, после чего нападки на него прекратились.

Разгром прекрасной книги Твардовского... — Речь идет о поэме «Дом у дороги» (1946) А. Т. Твардовского.

С. 394

...поехала на Герцена... — Улица между Дворцовой площадью и набережной Крюкова канала; начинается от арки Главного штаба, пересекает Невский проспект, улицу Дзержинского, проспект Майорова и Исаакиевскую площадь. До 1920 г. называлась Большая Морская улица.

...потом слушала ББС... — Правильно: «Би-би-си» (BBC, British Broadcasting Corporation), британская радиостанция; на русском языке и для русской аудитории начала вещать 23 июня 1941 г. В январе 1948 г. британское правительство распорядилось о проведении политики антикоммунистической пропаганды восточноевропейской службой «Би-би-си». С 24 апреля 1949 г. СССР стал глушить передачи радиостанции.

...послушать Америку... — Речь идет о международной радиостанции «Голос Америки»; свое вещание на русском языке начала в 1947 г.

...въехали в эту квартиру, в начале 43<-го>... — Речь идет о квартире по адресу: улица Рубинштейна, д. 22, где О. Ф. Берггольц проживала вместе с Г. П. Макогоненко, его сыном Андреем и его отцом Пантелеймоном Никитичем Макогоненко (1889–1969). 5 мая 1943 г. В. В. Вишневский записал в дневнике: «Вечером у Ольги Берггольц и Ю. Макогоненко. — Новоселье в блокаде! (Улица Рубинштейна, 22). Три комнаты — убраны просто: всюду книги, в одной из комнат — библиотека по XVIII веку, рисунки, фото» (цит. по: *Улыбин В. И лжи заржавеет печать...* Двойные звезды Ольги Берггольц. СПб., 2010. С. 58–59).

С. 395

...надо просто съездить в Москву, сходить к Кузнецову... — Алексей Александрович Кузнецов (1905–1950), с 1945 г. 1-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б); с 1946 г. секретарь ЦК ВКП(б).

С. 397

...с рисунками Кукрышников... — Кукрышники, псевдоним творческого коллектива графиков: Михаил Васильевич Куприянов (1903–1991), Порфирий Никитич Крылов (1902–1990), Николай Александрович Соколов (1903–2000).

С. 398

Поэтическая дискуссия, где я выступала вяло... — Мнение О. Ф. Берггольц в ходе этой дискуссии было отражено в изложении ее выступлений: Разговор о поэзии: Дискуссия в СП // Вечерний Ленинград. 1948. 22 марта; Дискуссия о поэзии // Литературная газета. 1948. 31 марта.

...эти Мирошниченки... — Григорий Ильич Мирошниченко (1904–1985), писатель, в 1936–1938 гг. секретарь партийной организации ЛО ССР.

...эти Пузанковы... — Так в тексте. Правильно: Александр Иванович Пузиков (1911–1996), литературовед; главный редактор Гослитиздата.

С. 399

...вчера читала Шиллера... — Иоганн Фридрих Шиллер (1759–1805), немецкий поэт, драматург.

...хочу ее напечатать в «Новом Мире»... — Речь идет о трагедии «Верность»; в 1948 г. трагедия в журнале «Новый мир» не публиковалась. Отчасти это было связано с запретом Главреперткома. В автобиографии О. Ф. Берггольц писала об этом: «К концу 1948 г. я закончила трагедию в стихах, пять актов с прологом о Севастополе. Покойный А. Я. Таиров и Алиса Коонен заявили, что такой трагедии они ждали много лет, что это будет их “лебединая песня”. Театр принял трагедию, увлекся ею. Н. П. Охлопков прочел и стал уговаривать меня отдать эту вещь “только ему”. Главрепертком запретил трагедию “за мрачность” и “искажение действительности”. Комитет по делам искусства заявил, что не согласен с запрещением, но просил меня “сделать трагедию повеселее”» (Берггольц О. Собрание сочинений. Т. 3. С. 495).

С. 400

...иронических подчеркиваний в «Дуэли». — Речь идет о повести «Дуэль» (1895) Николая Дмитриевича Телешева (1867–1957).

Отца моего, который сейчас умирает... — Ф. Х. Берггольц умер 7 ноября 1948 г.

С. 401

...епископ Гаттон... — Гаттон I (ок. 850–913), раннесредневековый церковный и политический деятель, архиепископ Майнца (891–913).

На Дворцовой, участвую в радиопередаче... — О. Ф. Берггольц по радио вела праздничный репортаж с Дворцовой площади, посвященный 31-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

С. 402

Название круга «Испытание». — Замысел для книги «Дневные звезды»; однако как цикл стихотворений был позже претворен в новой книге стихов «Узел» (М.; Л., 1965).

...этот канал, грандиозное, конечно, сооружение... — Волго-Донской судоходный канал им. В. И. Ленина, соединяет Волгу и Дон в месте наибольшего их сближения, длина водного пути составляет 101 км.

...при входе в Большую Волгу — две колоссальные каменные фигуры... — Волго-Донской судоходный канал им. В. И. Ленина совместно с Цимлянским гид-

роузлом представляет из себя единый архитектурный ансамбль, тематика которого посвящена сражениям за Царицын в годы Гражданской войны и за Сталинград в годы Великой Отечественной войны. Архитектурный ансамбль создан группой архитекторов под руководством Леонида Михайловича Полякова (1906–1965).

С. 403

...калязинская колокольня, торчащая из воды... — Речь идет о колокольне несохранившегося Николаевского собора, расположенной в г. Калязин Тверской области. Колокольня была пристроена к Николаевскому собору в 1796–1800 гг.; ее звонницу составляли 11 колоколов. В 1939 г., при постройке угличского каскада на Волге, собор был взорван, а колокольня затоплена.

...мой Углич, к которому подошла вода... — После наполнения Рыбинского водохранилища ушла под воду восьмая часть Ярославской области, а также была затоплена историческая часть г. Калязина и затронут Углич, город детства О. Ф. Берггольц.

Град-Китеж, вставший над водою... — Град Китеж находился в северной части Нижегородской области около с. Владимирского, на берегу озера Светлояр. Не захотев быть плененными войсками хана Батые, жители города молились, и город погрузился в озеро. Согласно легенде, наступят иные времена и город вновь вернется на прежнее место (подробнее см.: Град Китеж, озеро Светлояр в русской культуре: Сборник. Н. Новгород, 1995).

«Венера» Кустодиева в Нижнем. — Борис Михайлович Кустодиев (1878–1927), художник. Речь идет о его картине «Русская Венера» (1925–1926). Находится в коллекции Нижегородского государственного художественного музея.

1949 год

15/II-49. Дошла (с. 409–410).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 366. Л. 19–21 об.).

Датируется 15 февраля 1949 г.

20 мая — <22 июня> 1949. Записи о Старом Рахине (с. 410–445).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 369. Л. 1–55 об.).

Датируется с 20 мая по 22 июня 1949 г.

Отрывок (от 23 мая) опубл. с купюрами: Безумство преданности. Из дневников Ольги Берггольц // Время и мы. 1980. Т. 57. С. 301–302. Отрывок (с 20 по 27 мая)

опубл. с купюрами: *Берггольц О. Ф.* Из дневников (май, октябрь 1949) // Знамя. 1991. № 3. С. 162–171.

31/Х-49 (с. 445–448).

Публикуется впервые полностью (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 367. Л. 27–30 об.).

Датируется 31 октября 1949 г.

Опубл. с купюрами: *Берггольц О. Ф.* Из дневников (май, октябрь 1949). С. 171–172.

К тетради дневниковых записей за 20 мая – <22 июня> приложена вырезка:

«Письмо академика Павлова советской молодежи»¹

Что бы я хотел пожелать молодежи моей родины, посвятившей себя науке?

Прежде всего — последовательности. Об этом важнейшем условии плодотворной научной работы я никогда не смогу говорить без волнения. Последовательность, последовательность и последовательность. С самого начала своей работы приучите себя к строгой последовательности в накоплении знаний.

Изучите азы науки прежде, чем пытаться взойти на ее вершины. Никогда не беритесь за последующее, не усвоив предыдущего. Никогда не пытайтесь прикрыть недостатков своих знаний хотя бы и самыми смелыми догадками и гипотезами. Как бы ни тешил ваш взор своими переливами этот мыльный пузырь, он неизбежно лопнет, и ничего, кроме конфуза, у вас не останется.

Приучите себя к сдержанности и терпению. Научитесь делать черную работу в науке. Изучайте, сопоставляйте, накапливайте факты!

Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не смогло бы поднять ее ввысь, не опираясь на воздух. Факты — это воздух ученого! Без них вы никогда не сможете взлететь. Без них ваши “теории” — пустые потоуги.

Но, изучая, экспериментируя, наблюдая, старайтесь не оставаться у поверхности фактов. Не превращайтесь в архивариусов фактов. Пытайтесь проникнуть в тайну их возникновения, настойчиво ищите законы, ими управляющие.

Второе — это скромность. Никогда не думайте, что вы уже все знаете. И как бы высоко ни оценивали вас, всегда имейте мужество сказать себе — я невежда.

Не давайте гордыне овладеть вами. Из-за нее вы будете упорствовать там, где нужно согласиться, из-за нее вы откажетесь от полезного совета и дружеской помощи, из-за нее вы утратите меру объективности.

В том коллективе, которым мне приходится руководить, все делает атмосфера. Мы все впряжены в одно общее дело, и каждый двигает его по мере своих сил и возможностей. У нас зачастую и не разберешь, что “мое” и что “твое”, но от этого наше общее дело только выигрывает.

¹ ЦК ВЛКСМ обратился к академику И.П. Павлову с просьбой высказаться о задачах молодых ученых. В первых числах февраля Иван Петрович прислал ответ журналу «Техника молодежи» и редакции сборника «Поколение победителей», посвященным X съезду ВЛКСМ. Номер журнала «Техника молодежи» с ответом академика Павлова выходит на днях (примеч. публ.).

Третье — это страсть. Помните, что наука требует от человека всей его жизни. И если у вас было бы две жизни, то и их бы не хватило вам. Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека. Будьте страстны в вашей работе и в ваших исканиях!

Наша родина открывает большие просторы перед учеными, и нужно отдать должное — науку щедро вводят в жизнь в нашей стране. До последней степени щедро!

Что ж говорить о положении молодого ученого у нас? Здесь ведь все ясно и так. Ему многое дается, но с него и многое спросится. И для молодежи, как и для нас, вопрос чести — оправдать те большие упования, которые возлагает на науку наша родина.

И. П. Павлов»

С. 410

...о Старом Рахине — Старое Рахино, деревня в Крестецком районе Новгородской области; расположена в 14 км к югу от райцентра Крестцы. Деревня считается родиной народного промысла, известного под названием «Крестецкая строчка» (разновидность сквозной вышивки).

...писала по рассказам Юрки... — Речь идет об очерках О. Ф. Берггольц «Русская строчка» (Известия. 1944. 13 августа) и «Русская женщина» (Известия. 1944. 9 августа).

...когда сломали Финляндию... — Имеется в виду соглашение о перемирии между СССР и Финляндией от 19 сентября 1944 г., по которому финская сторона приняла ряд условий, в частности возврата к границам 1940 г.

С. 411

Первый день моих наблюдений ≈ страшной системы. — В мае 1947 г. специальным постановлением правительства были сохранены практика военных лет повышения минимума трудодней в колхозах и судебная ответственность за его невыполнение. Крестьянам перестали выдавать хлеб на трудодни, а за так называемое хищение хлеба (т.е. сбор колосков с уже убранных полей) допускался расстрел. Кроме того, в послевоенные годы продолжилась практика 1930-х, когда колхозникам не выдавали паспорта на руки, им не полагались отпуска, пенсии, бюллетени по нетрудоспособности и т.д.; подробнее см.: Пыжиков А. В., Данилов А. А. Рождение сверхдержавы. М., 2002. С. 132–136, 142–154.

С. 412

...жалко «Конягу» Салтыкова-Щедрина... — «Коняга», сказка (1885) М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Колхоз все более = отчуждение гос<ударст>ва и общ<ест>ва. — Журналист В. В. Сазонов писал в своих воспоминаниях о трагическом послевоенном периоде развития сельского хозяйства: «Попытаюсь конспективно, в виде хроники, показать, как, какими способами решал Хрущев проблему подъема сельского хозяйства в СССР. В январе 1948-го возглавлявший тогда ЦК Украины Никита Сергеевич направил письмо Сталину с предложением высылать из колхозов тех крестьян, которые, пренебрегая трудом на общественных полях, занимаются воровством, спекуляцией, самогонварением. Именно в этих людях, “присосавшихся к колхозам”, увидел он причину отставания сельского хозяйства. <...> Вот и решил пролетарий Хрущев отлучить этих “паразитов” от земли на срок до 8 лет. Будто не знал, не видел, почему колхозники, как отметила Ольга Берггольц в... дневнике, делают работу “для колхоза” и для себя. “Колхоз, — записала она, — все больше отчуждается от крестьян...” Колхоз от крестьян, а не крестьяне от колхоза, так считал Никита Сергеевич. Далекая в общем от проблем села поэтесса буквально за неделю обнаружила “полное нежелание государства считаться с человеком, полное подчинение, раскатывание его собой, создание для этого цепной, огромной, страшной системы”. Реакция Сталина на хрущевское письмо только подтвердила вывод Ольги Берггольц. Инициатива Хрущева была одобрена, и 2 июня 1948 г указ Президиума Верховного Совета СССР ее узаконил. Украинский опыт было решено распространить по всей стране, и за короткий срок только в одной Курской области выселили из родных мест больше колхозников, чем со всей Украины. При этом в “тунеядцы” зачисляли даже пенсионеров и семьи, в которых были не работавшие по состоянию здоровья крестьяне» (Сазонов В. Ничего кроме правды: Воспоминания в размышлениях, письмах и документах, стихах и прозе, песнях, частушках и анекдотах. М., 2013. С. 258).

С. 413

«Есть горячее солнце, наивные дети...» — Цит. стихотворение «Больному» (1910) Аши Черного (настоящие имя и фамилия Александр Михайлович Гликберг; 1880–1932).

С. 414

...«пустошлясом», как Грибачев и Ко. — Николай Матвеевич Грибачев (1910–1992), поэт, государственный деятель. В 1947 г был удостоен Сталинской премии первой степени за поэму «Колхоз “Большевик”» (Октябрь. 1947. № 7). С критикой поэмы выступил Д. С. Данин, заявивший: «В его поэме нет и следа драматизма. Это “сцены из сельской жизни”... Люди грибачевского колхоза остаются для нас такими же чужими и незнакомыми, как спутники в поезде» (Данин Д. Мы хотим видеть его лицо // Литературная газета. 1947.

27 декабря. № 68). Однако в 1949 г., в разгар борьбы с «космополитами», Грибачев ответил критику со страниц газеты «Правда»: «Между тем Д. Данин, этот отъявленный космополит, критик-формалист, каждое новое имя встречал критической зуботычиной. В статье “Мы хотим видеть его лицо”, напечатанной в “Литературной газете” и подводящей итоги поэзии за 1947 год, Данин облил черной краской всю поэзию» (*Грибачев Н. Против космополитизма и формализма в поэзии // Правда. 1949. 16 февраля.*)

С. 415

...запахи Глушина... — См. коммент. к с. 197.

...и в итоге — «Твой путь»... — См.: *Берггольц О. Твой путь: Поэма // Знамя. 1945. № 5/6. С. 44–49.*

...как я «исправилась после критики моего творчества»... — Речь идет об ответе так называемым проработчикам творчества поэтессы. Публицист В. Оскоцкий писал: «...блокадные стихи О.Ф. Берггольц, особенно поэму “Февральский дневник”, иные ратоборцы за оптимистический соцреализм метили жупелом пессимизма и дегероизации, клеймили за якобы искусственную драматизацию и нарочитое сгущение мрачных красок. Не во власти таких “теоретиков” было скрыть трагедию блокадного Ленинграда. Но сделать ее задним числом посытнее и потеплее, поубавить смертей, ох, как хотелось!..» (*Знамя. 1991. № 3. С. 161.*)

...Кежуном, Друзиным и Дементьевым. — Бронислав Адольфович Кежун (1914–1984), поэт, переводчик; В.П. Друзин; Александр Григорьевич Дементьев (1904–1986), критик, с ноября 1948 г. заведующий сектором печати Ленинградского горкома ВКП(б), с ноября 1948 г. ответственный секретарь ЛО ССП.

...знают еще «Жену патриота»... — Речь идет о стихотворении: *Берггольц О. Песня о жене патриота («Хорошее письмо из дальнего тыла...»)* // Красноармеец. 1943. № 4. С. 11; Ленинград. 1943. № 5. С. 5.

С. 416

...«та полянка», тоже новгородская... — Рассказ «Та самая полянка» вошел в книгу «Дневные звезды» (*Берггольц О. Сочинения: в 2 т. М., 1958. Т. 2.*)

С. 417

«Господи ≈ нельзя жить и быть». — Неточная цитата из романа «Братья Карамазовы» (1878–1880) Ф.М. Достоевского (ч. 1, кн. 3, гл. «Исповедь горячего сердца. В стихах»).

Живую душу ≈ первоначальной чистоты. — Цит. стихотворение «Русь» (1906) А.А. Блока.

С. 420

Кто взманил ≈ плакать без тебя... — Цит. стихотворение «Осенняя воля» (1905) А.А. Блока.

...пришло решение ≈ не описали бы мебель. — Издательский иск по расторгнутому договору с Гослитиздатом.

...у меня — экзамены по истории ВКП(б). — 2 августа 1946 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О подготовке и переподготовке руководящих партийных и советских работников», которое наметило систему подготовки партийных и советских кадров. В рамках проведения постановления в жизнь была реорганизована Высшая партийная школа, создана широкая сеть партийных школ и курсов; в 1947 г. было создано Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний, широко развернулось политическое просвещение коммунистов, в которое предмет «История ВКП(б)» был введен как обязательный экзамен.

С. 421

«колхозный вариант Кетлинской или, м<ожет> б<ыть>, даже Кривошеевой». — В.К. Кетлинская с июня 1941 по июль 1942 г. была ответственным секретарем правления ЛО ССП.

Александра Ивановна Кривошеева (1893–1951), писательница, заместитель секретаря партийной организации ЛО ССП.

С. 422

Репинские бурлаки... — Речь идет о картине «Бурлаки на Волге» (1870–1873) Ильи Ефимовича Репина (1844–1930).

С. 424

...в Ленинградском госпитале, в Университете. — Речь идет об открывшемся в августе 1941 г. госпитале для раненых в здании исторического факультета Ленинградского университета на Менделеевской линии. Начальником госпиталя был назначен профессор С.А. Ягунов, комиссаром — Ф.Г. Луканин (подробнее см.: *Ежов В.А., Мавродин В.В. Ленинградский университет в годы Великой Отечественной войны.* Л., 1975. С. 19–21).

С. 425

...Бисмарк, кажется... — Отто Шёнхаузен фон Бисмарк (1815–1895), в 1871–1890 гг. рейхсканцлер Германской империи.

...Миша Калинин говорил... — Михаил Иванович Калинин (1875–1946), с 1938 г. председатель Президиума Верховного Совета СССР.

С. 426

...в стихе **Кумача есть выражение** — «Слава стране Октября»... — Цит. песня «Слава» Василия Ивановича Лебедева-Кумача (1898–1949).

Пушкин — «Вечор ты помнишь». — Стихотворение «Зимнее утро» (1829) А. С. Пушкина.
Л. Толстой — «Жилин и Костылин». — Герои рассказа «Кавказский пленник» (1872) Л. Н. Толстого.

С. 427

...над тургеневским **Павлушей... «откентелева»...** — Так в тексте. На самом деле слово «откентелева» произнес другой персонаж рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг» (1851) — Ильюша.

Читала Ганса Фалладу «Каждый умирает в одиночку». — Ганс Фаллада (настоящие имя и фамилия Рудольф Вильгельм Фридрих Дитцен; 1893–1947), немецкий писатель. Роман «Каждый умирает в одиночку» был переведен на русский язык в 1947 г.

С. 428

«Приветствую тебя, суровый край свободы». — Неточная цитата из поэмы «Измаил-бей» (1832) М. Ю. Лермонтова. Правильно: «Прекрасен ты, суровый край свободы...»

С. 429

Купец Калашников — Главный герой «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1837) М. Ю. Лермонтова.

...**Шевченко...** — Тарас Григорьевич Шевченко (1814–1861), украинский поэт, художник.

...**Мичурин, Вильямс, Докучаев.** — Иван Владимирович Мичурин (1855–1935), биолог, селекционер; Василий Робертович Вильямс (1863–1939), почвовед-агроном; Василий Васильевич Докучаев (1846–1903), геолог, почвовед.

С. 430

...**об Евпатии Коловрате.** — Евпатий Коловрат (ок. 1200–1238), рязанский боярин, воевода; герой рязанского народного сказания XIII в., времен нашествия Батыя.

С. 431

...**Герасим потопил Муму...** — Герасим, персонаж рассказа «Муму» (1852) И. С. Тургенева.

С. 432

«Новый мир». «Глубинка». — Речь идет о книгах: Берггольц О. Ночь в «Новом мире»: Рассказы. Л., 1935; Она же. Глубинка: Казахстанские рассказы-очерки. Л.; М., 1932.

...44 г. — статьи о Ст<аром> Рахине. — Речь идет о статьях: *Берггольц О. Русская женщина* // Известия. 1944. 9 августа; *Она же. Русская строчка* // Известия. 1944. 13 августа.

С. 433

С Екат<ерины> II была дорога... — Екатерина II Великая (урожд. София Фредерика Августа Анхальт-Цербетская; 1729–1796), императрица Всероссийская (1762–1796).

...когда Гришку Распутина жгли. — Григорий Ефимович Распутин (настоящая фамилия Новых; 1869–1916), крестьянин Тобольской губернии, близкий царскому двору императора Николая II. Его труп был сожжен в марте 1917 г. на Пискаревском кладбище (на котором впоследствии, в годы блокады, хоронили умерших от голода горожан).

С. 435

...кронпринцессе... — В Германии до 1918 г. титул жены кронпринца, наследника престола.

С. 436

Вильгельм сунулся... — Вильгельм II Ггенцоллерн (1859–1941), германский император и прусский король с 1888 г.; свергнут Ноябрьской революцией 1918 г.

С. 438

...«Воробьевы горы»... — Одноактная пьеса Алексея Дмитриевича Симукова (1904–1995).

С. 444

«Песня о соколе» — Рассказ (1898) М. Горького.

О «Молодой гвардии». — Роман (1946) А. А. Фадеева.

Клятву Олега... — Олег Кошевой, персонаж романа «Молодая гвардия».

...о Беликове... — Главный герой рассказа «Человек в футляре» (1898) А. П. Чехова.

С. 446

Спаси меня! ≈ верой своей... — Цит. стихотворение О. Ф. Берггольц «Обращение к поэме» (1949).

С. 447

...Саянова... — Виссарион Михайлович Саянов (настоящая фамилия Махлин; 1903–1959), писатель, поэт, редактор. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1949) за роман «Небо и земля» (1935–1948).

Лесной царь — сказка. — «Лесной царь», баллада (1782) И. В. фон Гёте. Наиболее известны русские переводы В. А. Жуковского и А. А. Фета.

1950 год

19/1-50. Сама виновата (с. 451–453).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 366. Л. 21 об.–28).

Датируется 19 января 1950 г.

С. 451

У завода Семянникова я присела... — Речь идет о Невском машиностроительном заводе им. В.И. Ленина, основанном в 1857 г. как Невский литейно-механический завод. По фамилии одного из основателей был известен как Семянниковский завод; выпускал военные корабли, паровозы и металлургическую продукцию. После Октябрьской революции стал специализироваться в области создания центробежных компрессорных машин для химической, нефтяной, газовой, металлургической и других отраслей промышленности с приводными газовыми турбинами.

Палевский, кажется, тоже. — Речь идет о Палевском проспекте в Ленинграде: в 1939 г. был переименован в проспект Елизарова в честь первого наркома путей сообщения РСФСР Марка Тимофеевича Елизарова (1863–1919). Семья О.Ф. Берггольц жила по адресу: Елизаровский (бывший Палевский) проспект, д. 6/2.

1951 год

9/V-51. День Победы Таллин (с. 457–468).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 370. Л. 1–8, 12–18).

Датируется с 9 мая по 23 декабря 1951 г.

С. 457

...после Кемери... — В 1928–1959 гг. город в Латвии, бальнеогрязевой курорт. В настоящее время часть г. Юрмалы.

С. 458

...песню «Хорошие письма из дальнего тыла»... — См.: Берггольц О. Песня о жене патриота («Хорошие письма из дальнего тыла...») // Красноармеец. 1943. № 4. С. 11.

С. 459

...«вино и страсть терзали жизнь мою»... — Цит. стихотворение «О доблестях, о подвигах, о славе...» (1908) А.А. Блока.

Выход «Первороссийска» в «Знамени»... — См.: Берггольц О. Первороссийск: Поэма // Знамя. 1950. № 11. С. 3–40. На следующий год поэма вышла отдельным изданием: Берггольц О. Первороссийск. Поэма. М., 1951.

С. 460

...был Фалин, следователь... — Анатолий Николаевич Фалин (1911–1972), с 1938 г. старший следователь, с 1941 г. начальник следственной части Управления НКВД по Ленинградской области. С октября 1943 по декабрь 1945 г. городской прокурор Ленинграда; с января 1946 г. прокурор Ленинградской области. В 1943 г. О.Ф. Берггольц просила за высланного из Ленинграда в Сибирь отца — Х.Ф. Берггольца (подробнее см.: Письма О.Ф. Берггольц к отцу Ф.Х. Берггольцу (1942–1948) / публ. Н.А. Прозоровой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2007–2008 годы. СПб., 2010. С. 614–616).

С. 461

...«взаимных болей, бед и обид». — Цит. стихотворение «Неоконченное» ([1928–1930]) В.В. Маяковского.

С. 465

Знаю = не предала... — Цит. стихотворение «Помолись о нищей, о потерянной.» (1912) А.А. Ахматовой.

Вышел в свет и одностомник... — Речь идет об издании: Берггольц О. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1951.

1952 год

13 марта... (с. 471–472, 482–484).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 370. Л. 9–11 об., 19–19 об.).

Датируется с 13 марта по 1 декабря 1952 г.

<26 октября 1952> Умри и — стань! Гете (с. 473–482).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 371. Л. 1–12).

Датируется по содержанию с 26 октября по 8 ноября 1952 г.

Строгий выговор... (с. 484).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 366. Л. 28–29).

Датируется 19 декабря 1952 г.

С. 473

Умри и стань. Гете. — Неточная цитата И.В. Гёте. Правильно: «Умри, но стань!»

Из мрака — к звездам. Бетховен. — Трактровка Пятой симфонии (1805–1808) Л. ван Бетховена.

После мрака надеюсь на свет. Сервантес. — На первом издании романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605, 1615) Мигеля де Сервантеса (1547–1616) был нарисован сокол со скинутым колпачком и написано по-латыни: «После мрака надеюсь на свет».

...партколлегия, привлекающая якобы за «недостойное поведение»... — Речь идет о партийной коллегии, органе партийного контроля ВКП(б), на заседании которой рассматривалось персональное дело О.Ф. Берггольц. Протоколы заседаний партийной комиссии не сохранились, некоторые материалы, связанные с этим заседанием, хранятся в ЦГАИПД СПб. (Ф. 1728. Оп. 1. Д. 387772/3). Дело было рассекречено 26 марта 2012 г.

...с подъемом всего 37–39 гг. «упаднического творчества»... — Речь идет об отголосках событий 1937–1939 гг.: 16 мая 1937 г. О.Ф. Берггольц была исключена из членов Союза советских писателей; 29 мая 1937 г. — из кандидатов в члены ВКП(б) на заседании парткома завода «Электросила»; осенью 1937 г. была уволена с завода. В декабре 1938 г. была арестована за участие в террористической группе, готовившей акты против руководителей ВКП(б), освобождена 3 июля 1939 г.

...занесение меня в черные списки перед съездом... — Речь идет о предстоящем Втором Всесоюзном съезде советских писателей (15–26 декабря 1954).

С. 474

От тебя все ≈ так на небе... — Неточная цитата из стихотворения «Разрыв» (1946) Б.Л. Пастернака. Правильно: «От тебя все мысли отвлеку / Не в гостях, не за вином, так на небе».

С. 475

...шрайберовским «психоанализом»... — Яков Львович Шрайбер (1903–1982), врач Психоневрологической больницы на 15-й линии Васильевского острова. Именно по его просьбе О.Ф. Берггольц написала автобиографию (опубл.: *Берггольц О. Собрание сочинений*: в 3 т. Л., 1990. Т. 3). По мнению А.А. Шелаевой, врач «хотел выявить отношение его пациентки к «допингу», то есть алкоголю, который она употребляла для лечения сердечных ран, вызванных потерей детей и горячо любимого мужа Н.С. Молчанова...» (*Шелае-*

ва А.А. Из истории создания трехтомного собрания сочинений О.Ф. Берггольц (Л., 1988–1990) // «Так хочется мир обнять». О.Ф. Берггольц. Исследования и публикации: к 100-летию со дня рождения. СПб., 2011. С. 106–107).

...включая дом Ганнушкина... — В 1904 г. усадьба разорившихся купцов Котовых была передана во владение городской управе Москвы, которая отдала ее Преображенской больнице. В 1931 г. Преображенская больница была преобразована в Московский институт клинической и социальной психоневрологии, которому в 1936 г. было присвоено имя П.Б. Ганнушкина. В настоящее время это Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П.Б. Ганнушкина.

С. 476

...твердит Софье... — Софья, домработница в семье Берггольц-Макогоненко.

...«срывать цветы удовольствия». — Цитата слов Хлестакова, героя комедии «Ревизор» (1836) Н.В. Гоголя.

...была одна Татка, развратница и пьяница... — Жена писателя Б.Л. Грбатовой актриса Татьяна Кирилловна Окуневская (1914–2002). К.М. Симонов писал о своем друге Грбатове: «Дурную женщину любил...» (цит. по: *Радзишевский В. Байки старой «Литературки»* // Знамя. 2004. № 6. С. 139).

С. 477

...с Благим... — Вероятно, Дмитрий Дмитриевич Благий (1893–1984), литературовед, пушкинист, историк литературы.

...Виноградовым... — Вероятно, Виктор Владимирович Виноградов (1894/95–1969), лингвист-русист, литературовед.

С. 478

...идет мой «Сталинградский цикл»... — Речь идет о цикле стихов: *Берггольц О. На Сталинградской земле* // Знамя. 1953. № 1. С. 3–14.

...«восстает мой ≈ первоначальной»... — Неточная цитата из стихотворения «Из окна» (1921) В.Ф. Ходасевича.

...в «Литературке» мою плохонькую статейку... — Речь идет о статье: *Берггольц О. Ровесники Октября* // Литературная газета. 1952. 9 ноября.

...молодец Гроссман, дочтала его первую книгу «За правое дело». — Василий Семенович Гроссман (1905–1964), писатель. Речь идет о публикации: *Гроссман В. За правое дело* // Новый мир. 1952. № 7–10). В январе 1953 г. было инициировано обсуждение романа Гроссмана «За правое дело», однако после появления статьи М. Бубеннова «О романе В. Гроссмана “За правое дело”» в «Правде» (1953. 13 февраля) тон дискуссии резко изменился. 3 марта 1953 г. было опубликовано письмо членов редколлегии журнала «Новый мир» с признанием ошибочности публикации романа в журнале. 24 марта 1953 г. было принято постановление Президиума правления ССП «О ро-

мане В. Гроссмана “За правое дело” и о работе редакции журнала “Новый мир”» (подробнее см.: Берзер А. Прощание. М., 1990. С. 186–243). О.Ф. Берггольц на открытом собрании партийной организации ЛО ССР 4 мая 1956 г. выступила в защиту этого романа: «Возьмите страшную, почти трагическую историю с романом В. Гроссмана “За правое дело”. Вы знаете, что сначала эта вещь была встречена восторженно, что в Союзе писателей ее представили к премии. Но после известной статьи в “Правде” люди стали говорить о ней как страшно порочной, некоторые говорили как о “сионистской диверсии”. Это было прямое растление души. О какой правде могла быть речь! Слава богу, такие истории больше не повторятся! Мы это твердо знаем...» (цит. по: Золотоносов М.Н. Гадюшник: Ленинградская писательская организация: Избранные стенограммы с комментариями. М., 2013. С. 436). Полный текст романа был издан отдельной книгой в 1956 г.

С. 479

...как в 1937 году выгнали меня из колонны «Электросилы»... — 7 ноября 1937 г. О.Ф. Берггольц записывала в своем дневнике: «Да, двадцатилетие. Я решила идти с “Электросилой”. Приехала туда. Ряд людей — Микелимов, Нинка Резникова, Комар, Козовский (с которым в <19>32 г. составляли план второй пятилетки н<ашего> завода) — встретили меня приветливо, хотя и не без тонко ощущенной мною опаски за себя. Сустов (член паркома) — не поздоровался со мною, Ванька Круль едва кивнул. Я все же пошла с ними, гордясь своим мужеством, готовая “все простить” им, чтобы пройти с ними мимо трибуны, в день двадцатилетия. Не доходя до Технологического, парторг техздания Угам подошел ко мне и сказал: “Товарищ Берггольц, оставьте колонну”... “Почему”, — спросила я, все уже понимая. “Так, оставьте колонну, т<оварищ> Берггольц, я вас не знаю”... Я продолжала идти, не в силах очнуться от позора и оскорбления. Он снова подошел и снова настойчиво попросил меня «покинуть колонну». И около Технологического я вышла. Колонны шли мимо меня; оркестры играли о “счастливой жизни”. Я долго сидела на лавочке около Технологического, курила, давила в себе слезы» (Берггольц О.Ф. Мой дневник. М., 2017. Т. 2: 1930–1941. С. 495–496).

...стакан допелькюммелю... — Допелькюммель, сорт сладкой анисовой водки.

...пока я выступала по радио на Дворцовой, — умер папа... — М.Ф. Берггольц писала своей сестре: «...в больнице умирал наш отец, а ты в это время вела репортаж с площади Урицкого, то есть с Дворцовой (я все держала наушник у его уха и знала: пока он тебя слышит — не умрет!)» (цит. по: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2007–2008 годы. СПб., 2010. С. 616–617).

...позвонила Серейскому... — Марк Яковлевич Серейский (1885–1957), психиатр; ученик П.Б. Ганнушкина.

Хотел бы я ≈ попутчик?! — Неточная цитата из стихотворения «Город» («Один Париж...»; 1925) В.В. Маяковского. Правильно: «...желаю видеть в лицо, кому это я попутчик?!»

С. 480

...ощущения той свободы работы, которая появилась у Левина, когда он косил. — Отсылка к цитате из романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (1873–1877; ч. 3, гл. 5): «Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья, при котором уже не руки махали, а сама коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и, как бы по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчетливая делалась сама собой. Это были самые блаженные минуты».

...подобных «Реквиему»... — Речь идет о поэме «Реквием» (1935–1940) А.А. Ахматовой. **Как одинок ≈ и морозном... —** Цит. поэма О.Ф. Берггольц «Памяти защитников» (1944).

...о Кожевникове... — Вероятно, Вадим Михайлович Кожевников (1909–1984), писатель, журналист, военный корреспондент. С 1949 г. до смерти — главный редактор журнала «Знамя».

...Софронове... — Вероятно, Анатолий Владимирович Софронов (1911–1990), писатель, поэт, переводчик, сценарист, общественный деятель. В 1948–1953 гг. — секретарь ССП. Главный редактор журнала «Огонек».

С. 481

Умирает Е.И. Ковальчик... — Евгения Ивановна Ковальчик (1907–1953), критик, литературовед; умерла 2 февраля 1953 г. (см.: Литературная газета. 1953. 3 февраля). Ковальчик редактировала книги О.Ф. Берггольц.

С тяжелым инфарктом лежит Борис Пастернак. — В октябре 1952 г. Б.Л. Пастернак перенес тяжелый инфаркт, проведя в больнице три месяца. Подробно о своем состоянии он писал своей знакомой Н.А. Табидзе и двоюродной сестре О.М. Фрейденберг в январе 1953 г. (см.: *Пастернак Б.Л. Собрание сочинений*: в 5 т. М., 1992. Т. 5. С. 503–506).

С. 482

Мы никого ≈ гибнуть откровенно... — Неточная цитата из стихотворения «Осень» (1949) Б.Л. Пастернака.

Как будто бы ≈ сердцу моему... — Цит. стихотворение «Свидание» (1949) Б.Л. Пастернака.

...в подарок Т<атьяне> О<куневской> ≈ когда ее брали. — Т.К. Окуневская была арестована 13 ноября 1948 г. по ст. 58.10 («Антисоветская агитация и пропаганда»). После проведенных 13 месяцев в тюрьме была отправлена в Степлаг в Джегказган; освобождена в 1954 г.

...он женился... — Б. Л. Горбатов вторым браком был женат на актрисе московского Театра сатиры Нине Николаевне Архиповой (1921–2016).

...подобный финалу Вс. Вишневского... — 29 декабря 1950 г. жена писателя С. К. Вишневская сообщила И. В. Сталину, что ее муж «Всеволод Вишневский очень тяжело болен (инсульт на почве гипертонии)», и просила помочь устроить мужа так, чтобы «в палате было много воздуха» (Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП(б)-ВКП(б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике, 1917–1953 гг. / сост.: А. Артизов и О. Наумов. М., 2002. С. 636–637). Вишневский умер 28 февраля 1951 г.

С. 483

...Е. Погорелой... — Екатерина Петровна Погорелая (1919–1988), литературовед, библиоковед. См. о ней на сайте РНБ: http://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=1915 (дата обращения: 15.06.2020).

С. 484

Разве во мраке ~ правду Твою? — Цитата из Псалтири (Пс. 87:13).

Господи Боже отщепенный, яви себя! — Неточная цитата из Псалтири. Ср.: «...Господи, Боже отщепеный, яви Себя!» (Пс. 93:1).

Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. — Цитата из Псалтири (Пс. 125:5).

1953 год

4/V-53. И вот одна осталась я... (с. 487).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 366. Л. 30).

Датируется 4 мая 1953 г.

29/V-53. Эту связанность... (с. 487–488).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 370. Л. 24–25).

Датируется с 29 по 31 мая 1953 г.

11/IX-53. А 1 июня 1953<-го> узнала... (с. 488–489).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 366. Л. 30 об. —31).

Датируется 11 сентября 1953 г.

Год 1953. <Не ранее 7 сентября 1953> (с. 489–490).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 370. Л. 20–23).

Датируется по содержанию не ранее 7 сентября 1953 г.

С. 487

И вот одна ≈ пустые дни... — Цит. стихотворение «И вот одна осталась я...» (1917) А.А. Ахматовой.

Все мнится ≈ ошибкой... — Неточная цитата из «Элегии» («Ужели близок час свиданья!...»; 1819) Е.А. Баратынского. Правильно: «...все мнится, счастлив я ошибкой».

С. 489

...сообщение о «врачах-убийцах». — 1 декабря 1952 г. И.В. Сталин проинформировал Президиум ЦК КПСС о раскрытии заговора врачей, убивших А.С. Щербакова и А.А. Жданова и покушавшихся на других видных советских деятелей. С середины января 1953 г. в газетах активно публиковали статьи, посвященные «заговору убийц в белых халатах».

...смерть и похороны И.В. Сталина. — И.В. Сталин умер от кровоизлияния в мозг в ночь с 1 на 2 марта 1953 г. О.Ф. Берггольц посвятила ему стихи: «О, не твои ли трубы рыдали...»

Врачи — не убийцы. — Речь идет о Постановлении Президиума ЦК КПСС «О реабилитации лиц, привлеченных по “делу о врачах-вредителях”» от 3 апреля 1953 г., в котором было указано «о полной реабилитации и освобождении из-под стражи врачей и членов их семей, арестованных по так называемому “делу о врачах-вредителях”, в количестве 37 человек» (Реабилитация: как это было: Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы: [в 3 т.] / сост. А. Артизов [и др.]. М., 2000. Т. 1: Март 1953 — февраль 1956. С. 19).

Ликвидация великих строек: Глав^{ный} Туркменский... — Главный Туркменский канал, незавершенный проект обводнения и мелиорации Туркмении; предполагалось провести от реки Амударья до г. Красноводска. Проект был начат в 1950 г., прекращен в 1955 г.

...Южно-Крымский... — О.Ф. Берггольц неточно называет предложенный в 1950 г. к строительству канал; правильно — Северо-Крымский канал. Работы по его строительству были начаты в 1950 г.; канал относился к комплексу Каховской ГЭС (1950–1956), которая и стала приоритетом при строительстве. Работы по строительству оросительно-обводного Северо-Крымского канала были начаты в 1961 и закончены в 1971 г.

...Кеплер... — Так в тексте. Правильно: Алексей (Лазарь) Яковлевич Каплер (1903–1979), драматург, сценарист; в 1943–1948 гг. был в заключении.

«Ворошиловцы». Их террор. — Речь идет о членах комиссии под председательством К.Е. Ворошилова по изучению положения спецпоселенцев. Под понятием «террор», вероятно, понимается бюрократическое затягивание времени, отчасти связанное с проверками. Механизм принятия решений о реабилитации не был простым. Только в 1954 г. органами прокуратуры были получены права востребований из КГБ архивно-следственных дел. Вслед за этим непременно

но требовались справки Центрального партийного архива, в которых отмечалась принадлежность репрессированного лица или спецпоселенца к той или иной оппозиции либо отсутствие таких сведений; проводивший проверку работник составлял заключение, на основании которого главный военный прокурор выносил протест по делу. Затем суд выносил определение, и оно могло быть не обязательно реабилитационным, так как суд мог переквалифицировать предъявленные статьи, т. е. политическую перевести в уголовную и наоборот (подробнее см.: Реабилитация: как это было: Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы: [в 3 т.] / сост. А. Артизов [и др.]. М., 2000–2004).

Июнь — события в Берлине... — 16–17 июня 1953 г. в Восточном Берлине по инициативе профсоюзов были проведены экономические выступления рабочих, переросшие в политические забастовки против правительства ГДР.

Июль — Арест Берия и его разоблачение. — Л. П. Берия был арестован 26 июня 1953 г. На состоявшемся в июле 1953 г. Пленуме ЦК КПСС (2–7 июля 1953) Г. М. Маленковым был сделан доклад, который стал основой для принятия решения: «вывести Л. П. Берия из состава ЦК КПСС и исключить его из рядов Коммунистической партии Советского Союза, как врага Коммунистической партии и советского народа» (Правда. 1953. 10 июля. № 191). 23 декабря 1953 г. Берия был расстрелян по приговору специального судебного присутствия Верховного суда СССР.

Перемирие в Корее. — Война, начатая в 1950 г. Корейской Народно-Демократической Республикой с оккупационным режимом военной администрации США, поддерживавшей режим в Южной Корее, была завершена 27 июля 1953 г. подписанием перемирия между Северной и Южной Кореей.

С. 490

Дезавуация Багирова. — Мир Джафар Аббасович Багиров (1896–1956), с апреля 1953 г. глава Совета министров Азербайджанской ССР 7 июля 1953 г. на Пленуме ЦК КПСС был выведен из состава ЦК и Президиума КПСС; 13 марта 1954 г. арестован как сообщник Л. П. Берии; 7 мая 1956 г. приговорен к смертной казни за нарушение социалистической законности; расстрелян.

Речь Г. М. Маленкова... — о нар<одном> потреблении, легкой промышленности и т. д. — Георгий Максимилианович Маленков (1902–1988), заместитель председателя Совета министров СССР. В данном случае речь идет о выступлении Маленкова на Пленуме ЦК КПСС.

...разрушение Ростова. — 24 августа 1953 г. над Ростовом пронесся смерч, в результате которого был разрушен ансамбль Ростовского кремля.

Заявление о водородной бомбе и ее испытание. — В СССР термоядерная бомба впервые испытана 12 августа 1953 г.; 20 августа 1953 г. «Правда» сообщила, что в «СССР испытали один из типов водородной бомбы».

Открытие нов<ых> зданий Московского Университета. — 1 сентября 1953 г. состоялось открытие Главного здания МГУ им. М.В. Ломоносова на Воробьевых горах. Здание строилось с 1949 по 1953 г. архитекторами Львом Владимировичем Рудневым (1985–1956), Павлом Васильевичем Абросимовым (1900–1961), Александром Федоровичем Хряковым (1903–1976) и инженером Всеволодом Николаевичем Насоновым (1900–1987).

Лекцию читает О. Ю. Шмидт. — Отто Юльевич Шмидт (1891–1956), математик, астроном, геофизик, академик АН СССР (1935).

Провал коммунистов в Зап<адной> Германии. — В сентябре 1953 г. на выборах в Бундестаг Коммунистическая партия Западной Германии получила всего 2,2% голосов.

Пленум ЦК ≈ доклад Хрущева. — Речь идет о Пленуме ЦК КПСС (3–7 сентября 1953 г.), на котором был заслушан доклад Н.С. Хрущева о мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР. На этом же Пленуме Никита Сергеевич Хрущев (1894–1971) был избран 1-м секретарем ЦК КПСС. Полный текст постановления Пленума был опубликован в газете «Правда» (1953. 13 сентября. № 256).

Смольный монастырь — Правильно: Воскресенский Новодевичий женский монастырь. Основан в 1744 г. по указу императрицы Елизаветы Петровны. В 1764 г. Екатерина II учредила при монастыре институт благородных девиц, ставший впоследствии Смольным институтом. В 1848-м монастырь был возобновлен, но просуществовал недолго: в 1925 г. закрыт, его земли и имущество были конфискованы.

1954 год

Ольга Берггольц. Дневник. Молодежь едет... (с. 493–505).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 372. Л. 1–22).
Датируется с 26 февраля по 4 марта 1954 г.

5/III-54. Надо вести что-то... (с. 506–515).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 373. Л. 1–14).
Датируется с 5 марта по 14 мая 1954 г.

Дневники. Дневник, письма (с. 515–520).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 370. Л. 27–33).
Датируется с 20 мая по 10 ноября 1954 г.

С. 493

- Молодежь едет на освоение целинных земель.** — Решение об освоении целинных земель было принято на февральско-мартовском Пленуме ЦК КПСС в 1954 г. (подробнее см.: *Аксютин Ю. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953–1964 гг.* 2-е изд., испр. и доп. М., 2010).
- Путиловцами...** — Рабочие Путиловского завода; точное название: Государственный машиностроительный и металлургический Кировский завод. Основан в 1801 г. как казенный чугунолитейный завод, выпускавший артиллерийские снаряды. В 1868 г. инженер Николай Иванович Путилов (1820–1880) купил его и организовал на нем производство рельсов. К концу XIX в. завод превратился в крупное металлургическое и машиностроительное предприятие России с четырьмя видами производства: металлургия, вагоно- и паровозостроение, артиллерия и судостроение. В 1922–1934 гг. назывался «Красный Путиловец». Подробнее см.: *Мительман М., Глебов Б., Ульяновский А. История Путиловского завода. 1801–1917 гг.* М., 1961; *Костюченко С., Хренов И., Федоров Ю. История Кировского завода. 1917–1945 гг.* М., 1966.
- ...моей Невской заставы.** — Район Ленинграда, центр фабрично-заводской промышленности города; своими истоками восходит к началу XVIII в. (подробнее см.: *Глезеров С. Исторические районы Петербурга от А до Я.* М., 2010. С. 266–271). Район Невской заставы — родные места для О. Ф. Берггольц; для своей книги «Дневные звезды» она написала главу «Поход за Невскую заставу», рассказывающую об истории района (см.: *Берггольц О. Собрание сочинений:* в 3 т. Л., 1990. Т. 3. С. 271–356).
- Испанцы на «Эл<ектро>силе»...** — Речь идет об очерке, см.: *Берггольц О. Ф. Вершина* // *Известия.* 1967. 1 ноября.
- ...в район Первороссийска...** — Первороссийск, город в Зырянском районе Восточно-Казахстанской области.
- ...Бухтарминской ГЭС...** — Бухтарминская ГЭС, верхняя ступень Иртышского каскада, расположена в Восточно-Казахстанской области Казахской ССР, на реке Иртыш, ниже устья реки Бухтарма. Строительство гидроузла было начато в 1953 г., первый агрегат пущен в 1960 г., на полную мощность станция заработала в 1966 г. Напорные сооружения гидроузла длиной 430 м образовали Бухтарминское водохранилище.
- ...«вторую часть» «Первороссийска».** — Речь идет о поэме О. Ф. Берггольц «Первороссийск». Впервые опублик.: *Берггольц О. Первороссийск: Поэма* // *Знамя.* 1950. № 11. С. 3–40; отдельным изданием: *Берггольц О. Первороссийск: Поэма.* М., 1951. (Библиотека «Огонек»; № 33).

С. 494

...семянниковского рабочего... — О Невском литейно-механическом заводе см. коммент. к с. 451.

...идут 25-тысячники... — Двадцатипятидесятники, передовые рабочие крупных заводов и фабрик СССР, добровольно поехавшие по призыву ВКП(б) на хозяйственно-организационную работу в колхозы в начале 1930-х гг., в период коллективизации сельского хозяйства. В ноябре 1929 г. Пленум ЦК ВКП(б) принял постановление о направлении в деревню на работу в колхозы и МТС 25 тыс. рабочих с достаточным организационно-политическим опытом; это решение нашло среди рабочих масс широчайший отклик. Большинство двадцатипятидесятников было направлено на работу непосредственно в колхозы основных зерновых районов страны: Украины, Северного Кавказа, Нижней и Средней Волги, Центрально-Черноземных областей и др.

С. 495

...Сталинградского тракторного... — Точное название: Сталинградский тракторный завод им. Ф.Э. Дзержинского. Строительство завода было начато 12 июля 1926 г.; 17 июня 1930 г. с конвейера сошел первый колесный трактор СТЗ-1. С 1932 г. был начат выпуск танков Т-26.

...Кузбасса... — Речь идет о Кузнецком угольном бассейне, одном из самых крупных угольных месторождений СССР, по сути, угольной базе страны. Большая часть бассейна находится в пределах Кемеровской области, затрагивает Новосибирскую область и Алтайский край. Впервые выходы угольных пластов были открыты в 1721 г. крепостным рудоискателем М. Волковым; в 1897 г. была начата добыча угля. Систематические исследования бассейна были начаты в 1914 г. экспедицией под руководством геолога Леонида Ивановича Лутугина (1864–1915). Особенно широко развернулись разведка и геологические исследования в бассейне в 1930 г., сразу после XVI съезда ВКП(б) в связи с решением создать Урало-Кузнецкий комбинат (подробнее см.: Карпенко З. Г. Кузнецкий угольный. 1721–1971. Кемерово, 1971).

...Турксиба... — Туркестано-Сибирская магистраль, железная дорога, соединившая Среднюю Азию с Сибирью. Строительство было начато в 1926 г., завершено — в 1931 г.

...Комсомольска-на-Амуре... — В январе 1932 г. было принято решение о строительстве железнодорожной ветки от станции Уруша Забайкальской железной дороги до с. Пермское; 23 февраля 1932 г. правительство приняло решение строить в Пермском судостроительный и авиастроительный заводы. В марте 1932 г. ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ объявили мобилизацию для строительства на месте Пермского города Комсомольск-на-Амуре. В соответствии с Постановлением Президиума ВЦИК от 10 декабря 1932 г. селение

Пермское Нижнетамбовского района Дальневосточного края было преобразовано в г. Комсомольск-на-Амуре.

...«Уходили комсомольцы на Гражданскую войну». — Песня «Прощальная комсомольская» на слова Михаила Васильевича Исаковского (1900–1973), музыка братьев Дмитрия Яковлевича (1899–1978) и Даниила Яковлевича Покрасс (1905–1954).

С. 496

...не знают речи на III съезде комсомола. — Речь идет о докладе «Задачи союзов молодежи», с которым В. И. Ленин выступил 29 октября 1920 г. на III съезде РКСМ.

Переиздать книги «День второй», «Мужество»... — Роман «День второй» (1934) И. Г. Эренбурга был переиздан третьим изданием в 1953 г. (Эренбург И. Г. Сочинения: в 5 т. М., 1953. Т. 4). Роман «Мужество» В. К. Кетлинской был переиздан в 1960 г. (М.; Л.).

...рассеяно в некот<орых> книгах по ист<ории> заводов... — Проект «История фабрик и заводов» был задуман М. Горьким в сентябре 1931 г. Главной целью серии было создание сборников «Истории заводов», которые были «должны дать картину развития старых и возникновения новых заводов, показать их роль в экономике страны, положение рабочих до революции, формы и методы эксплуатации на старых заводах, борьбу рабочих с предпринимателями, бытовые условия, возникновение революционных организаций и роль каждого завода в революционном движении, роль завода и изменение отношений на заводе после революции, изменение типа рабочего, ударничество, соцсоревнование и подъем производства за последние годы» (Правда. 1931. 11 октября. № 281). Подробнее об этом см.: А. М. Горький и создание истории фабрик и заводов: Сборник документов и материалов в помощь работающим над историей фабрик и заводов СССР. М., 1959.

...о стр<оительст>ве тракторного... — Речь идет об издании: Люди Сталинградского тракторного завода имени Феликса Дзержинского / сост. Я. Ильин. М., 1934.

С. 497

«Время, вперед»... — Роман «Время, вперед» (1932) Валентина Петровича Катаева (1897–1986).

Ник<олай> Сем<енович> Тихонов... — О Н. С. Тихонове см. коммент. к с. 158.

Через четыре ≈ город-сад. — Цит. стихотворение «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» ([1929]) В. В. Маяковского.

С. 498

...с завода Сталина. — Ленинградский металлический завод им. И.В. Сталина; создан в 1854 г купцом Сергеем Нефедьевичем Растеряевым. В годы советской власти специализировался на выпуске гидравлических и газовых турбин. В 1929 г. заводу было присвоено имя Сталина.

От з<аво>да Жданова т. Кожечкин... — Завод им. А.А. Жданова; основан 14 ноября 1912 г. как «Путиловская верфь» в составе акционерного «Общества Путиловских заводов». С 1948 по 1988 г. носил имя Жданова. В настоящее время — Судостроительный завод «Северная верфь».

Кожечкин, секретарь заводской организации ВЛКСМ.

С. 501

В. Поляков, секретарь Алтайского крайкома ВЛКСМ — В.В. Поляков, 1-й секретарь Алтайского крайкома ВЛКСМ.

С. 502

...«Уходили комсомольцы»... — Песня. См. коммент. к с. 495.

«Там в степи ≈ заря догорала». — Цит. песня «Там, вдали за рекой...» на слова Николая Мартыновича Кооля (1902–1974), музыка Александра Васильевича Александрова (1883–1946).

С. 503

Прощай ≈ в море... — Стихотворение «Вечер на рейде» Александра Дмитриевича Чуркина (1903–1971) переложено на музыку композитором Василием Павловичем Соловьевым-Седым (1907–1979).

С. 504

На Москве-реке ≈ поворуюем в темноте. — Неточная цитата из стихотворения «Немножко утопии про то, как пойдет метрошка» ([1925]) В.В. Маяковского.

С. 505

...они поедут казахстанскими ≈ передо мной и Колей... — В декабре 1930 г., после окончания ЛГУ, О.Ф. Берггольц и Н.С. Молчанов уехали в Казахстан, где работали в газете «Советская степь» (Алма-Ата). Осенью 1931 г. они вернулись в Ленинград.

С. 506

Узнала об его болезни... — В официальном заключении было указано, что смерть наступила от кровоизлияния в мозг; однако ходили слухи о психическом заболевании — паранойе — И.В. Сталина. Этому в немалой степени способствовала таинственная смерть (якобы отравление консервами) пси-

хиатра Владимира Михайловича Бехтерева (1857–1927), умершего после консультации, которую он дал незадолго до своей гибели руководителю страны.

- ...не считая пребывания на 15 линии... — Речь идет о Психоневрологической больнице на 15-й линии Васильевского острова.
- ...лечили «по павловскому методу»... — Метод, выработанный физиологом Иваном Петровичем Павловым (1849–1936).

С. 507

- «Я хочу быть в мире с моей страной»... — Неточная цитата из стихотворения «Я хочу быть понят родной страной...» (1925) В.В. Маяковского.
- ...не закрывая глаз на Волго-Дон... — Для строительства Волго-Дона было привлечено МВД СССР. 5 ноября 1949 г. было образовано Главное управление лагерей строительства Волго-Донского соединительного канала МВД СССР. На 1 января 1950 г. в строительстве канала участвовали заключенные шести исправительно-трудовых лагерей (подробнее см.: Заключенные на стройках коммунизма: ГУЛАГ и объекты энергетики СССР. М., 2008. С. 103–115).
- ...после получения Сталинской... — В 1951 г. О.Ф. Берггольц получила Сталинскую премию третьей степени за поэму «Первороссийск» (1950).

С. 508

- ...писание «Встречи»... — Речь идет о стихотворении: Берггольц О. Встреча // Знамя. 1952. № 6. С. 3–5.

С. 509

- ...немножко в «Балке Солянке» ≈ понятных стихов. — Речь идет о стихотворении: Берггольц О. Балка Солянка // Избранное. М., 1954.
- ...А. Сурков заявил ≈ «отсутствует пафос радостного созидания». — Речь идет о выступлении А.А. Суркова на собрании ленинградских писателей в июне 1954 г. (см.: [Б. п.] Быть на высоте требований партии и народа: Собрание ленинградских писателей // Вечерний Ленинград. 1954. 17 июня).
- ...приехал в Сталинград А. Твардовский. — Сотрудник журнала «Новый мир» Владимир Яковлевич Лакшин (1933–1993) вспоминал о разговоре с О.Ф. Берггольц, которая рассказывала ему об этой встрече: «Это было в 1952 году, на открытии Волго-Донского канала, “великой стройки” послевоенной пятилетки. Группа писателей была послана присутствовать на этом торжестве и воспеть прославленный проект века, соединивший воды двух великих рек. В первый же день они с Твардовским и Юрием Германом пошли смотреть грандиозный котлован за колючей проволокой, в который должна была хлынуть вода. Над сухим ложем канала, над бетонной плотинной высилась огромная статуя Сталина.

Твардовский ужасно затосковал... В торжественный день, когда взорвали перемычку, работяги шли по колено в воде вдоль берегов канала, счастливо улыбались, плескали ладонями воду себе на лица и говорили радостно, сквозь слезы: “Идет... Идет освободительница”. Прошел слух, что на радостях строителей канала — всех заключенных отпустят по домам.

Современных гостиниц в том степном краю, конечно, не было, писателей разместили кого куда. Ольга Федоровна жила в хатке у расконвоированного. Твардовский пришел к ней, стульев в доме не было, они сидели небольшой компанией прямо на полу, постелив что попало, закусывали и говорили о том, о чем вслух люди станут говорить лишь четыре года спустя: ...когда со дна морей, с каналов / к нам возвращаться начали друзья.

Эти три дня на Волго-Доне Ольга Федоровна никогда не могла забыть: они что-то в ней перевернули и сделали Твардовского навсегда близким для нее человеком» (*Лакшин В. Я. Стихи и судьба // Знамя. 1987. № 3. С. 188–189.*)

С. 510

...до Сивцева Вражка. — По адресу: Москва, Сивцев Вражек, д.6, кв. 1 — жила М. Ф. Берггольц.

С. 511

...написать... Верховному Прокурору... — Роман Андреевич Руденко (1907–1981), с 1953 по 1981 г. генеральный прокурор СССР.

...об Анатолии Горелове... — Анатолий Ефимович Горелов (настоящая фамилия Перельман; 1904–1991), литературовед; в 1934–1937 гг. ответственный секретарь ЛО ССП; одновременно главный редактор журнала «Звезда». Арестован в день своего рождения 11 марта 1937 г. и осужден на 15 лет за принадлежность к троцкистско-зиновьевской организации. Отбывал срок сначала на Соловках, затем был сослан на поселение в Красноярский край. Во время ссылки написал книгу «Подвиг русской литературы» (издана в 1957 г.). В Ленинград вернулся в 1954 г. После освобождения вновь выступал со статьями о советской литературе, о творческом своеобразии писателя, написал книгу «Очерки о русских писателях» и др. (см.: Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. М., 1966. Т. 2. С. 278; *Волохонская Л.* Был у меня дядя Толя... // *Вечерняя Москва.* 2006. 26 июня. № 132. С. 5).

...меня исключали из партии в 37 г. — 29 мая 1937 г. О. Ф. Берггольц была исключена из кандидатов в члены ВКП(б) на заседании парткома завода «Электросила». На этом заседании присутствовали от ЛО ССП Н. А. Брыкин, П. И. Капица и А. Е. Решетов. Именно последний особенно активно добивался исключения Берггольц. В своем выступлении он настаивал на ее связях с врагом народа Л. Л. Авербахом и другими рапповцами: «Самое неприятное и тяжелое это то, что она пришла в такую организацию и вместо откровен-

ного признания все скрывает, не хочет быть искренней. Когда припирали к стенке, немного поддается. Я свидетель того, что она была связана с Авербахом. Однажды я вошел в гостиницу к нему, долго звонил, наконец мне открыл дверь Авербах... Там была Ольга Берггольц. <...> Не откровенна о связи с Либединским. Он сейчас удрал в Москву, где его определенно исключают из партии. Она знала, кто такой Майзель, и этого чуждого нам человека она защищала. <...> Если она хочет остаться в партии, она должна быть искренней, а она лавирует. <...> Авербах, Беспамятнов, Макарьев и др. — вот за кем она гонялась, они были у нее авторитетом, парторганизация не была авторитетом» (цит. по: *Золотосов М. Н.* Гадюшник: Ленинградская писательская организация: Избранные стенограммы с комментариями. М., 2013. С. 503; стенограмму заседания партийного комитета завода «Электросила» см.: ЦГАИПД СПб. Ф. 2071. Оп. 7. Д. 11).

В своем дневнике 1937 г. О. Ф. Берггольц смогла сделать запись об этом событии только 3 июня: «29/V партком на “Электросиле” исключил меня из партии. Я ни о чем не думаю, и не говорю, и не вижу ничего иного во сне, кроме этого. Живу как в бреду и иногда равнодушно думаю — надолго ли хватит меня? <...> Вот и сейчас как-то все равно, но умереть не хватит силы, а если жить, то надо бороться до конца — “идти по всем инстанциям”.

Невозможно изложить ту кучу грязи, которую вывалили на меня на парткоме Брыкин, Капица, Решетов, — и электросиловцы поверили им. <...> Но я не могу быть исключенной из партии по тем формулировкам, которые мне приписывают — они не имеют оснований. <...> ...Я ничего свясно не могу писать — настолько я перегружена всем этим» (*Берггольц О. Ф.* Мой дневник. М., 2017. Т. 2. С. 442–443).

...письмо от Али... — Али (Асланбек) Абдулаевич Алмазов (1906–1966), комсомольский деятель Ингушетии; позже работник прокуратуры Чечено-Ингушетии, дважды подвергался репрессиям. В РГАЛИ хранятся его письма к О. Ф. Берггольц (Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 528). Подробнее о нем см. доклад его правнучки Ольги Нальгиевой на ежегодной научно-практической конференции «Мы познаем мир!» (г. Назрань) на сайте «LiveJournal»: <http://mirtamalh.livejournal.com/55017.html?view=391145#t391145> (дата обращения: 15.06.2020).

С. 512

...попковщины... — «Попковщина», другое название «Ленинградского дела». П. С. Попков был главным фигурантом послевоенных чисток в партийном аппарате. В октябре 1950 г. расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Реабилитирован 30 апреля 1954 г.; в партийном порядке — 18 сентября 1987 г.

«Ленинградское дело», как его теперь вежливо называют... — Речь идет о судебном процессе, инициированном по Постановлению Политбюро ЦК ВКП(б)

от 15 февраля 1949 г. «Об антипартийных действиях члена ВКП(б) Кузнецова А.А. и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) т.т. Родионова М.И. и Попкова П.С.». Ленинградские руководители были названы антипартийной группой. 23 августа 1950 г. министр госбезопасности В.С. Абакумов представил И.В. Сталину проект обвинительного заключения на 33 человек с протоколами допросов и личными «признаниями в преступлениях», полученными за эти месяцы от арестованных. Следствие велось в Москве около года и в сентябре 1950 г. в Ленинградском доме офицеров была проведена выездная сессия Верховной коллегии Верховного Суда СССР. Суд приговорил к расстрелу всех фигурантов по этому делу (подробнее см.: «Ленинградское дело» / сост. В.И. Демидов, В.И. Кутузов. Л., 1990).

..устроенной Берия. — На самом деле «Ленинградское дело» в большей степени было инициировано не Л.П. Берией, а Г.М. Маленковым. Вопрос о роли Маленкова в организации «Ленинградского дела» был поставлен на июньском Пленуме ЦК КПСС в 1957 г.

С. 513

Ужас сгущается; аресты — как в 37–38 гг. — В июне 1949 г. были арестованы бывший секретарь Ленинградского горкома партии Я.Ф. Капустин (см. о нем коммент. к с. 43) и бывший начальник управления МГБ Ленобласти П.Н. Кубаткин (см. коммент. к с. 170). После судебного процесса по «Ленинградскому делу» выходцев из Ленинграда стали преследовать по всей территории Советского Союза. В самом Ленинграде началась безжалостная чистка, в результате которой только в 1949–1950 гг. в городе и области было выгнано из партийных и иных органов свыше двух тысяч человек (Ленинградский партийный архив. Ф. 24. Оп. 70. Д. 1. Л. 260). Аресты и судебные процессы продолжались и в 1951–1952 гг.; 15 августа 1952 г. были арестованы, а затем осуждены к длительным срокам тюремного заключения свыше 50 человек, бывших во время блокады секретарями райкомов партии и председателями райисполкомов. Они проходили по «делу Смольнинского района», «делу Дзержинского района» и др.

Книги мои о Ленинграде — выбрасываются с полок. — По приказу начальника Главлита СССР от 17 ноября 1949 г. была изъята из обращения книга О.Ф. Берггольц «Говорит Ленинград» (Л., 1946) (см.: Блюм А.В. Как это делалось в Ленинграде: Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки: 1953–1991. СПб., 2005. С. 16–65).

Блокада — под запретом. — 30 апреля 1944 г. в Ленинграде была открыта выставка «Героическая оборона Ленинграда», преобразованная 5 октября 1945 г. распоряжением СНК СССР в Музей обороны Ленинграда. Официальное открытие состоялось 27 января 1946 г. В связи с «Ленинградским делом» 21 февраля 1949 г. в город приехал секретарь ЦК ВКП(б) Г.М. Маленков. По-

сле ознакомления с экспозицией он выдвинул обвинение в том, что музей поддерживает миф об особой судьбе Ленинграда. По его мнению, выставка в извращенном виде показывает ход войны и потому является антипартийной. Музей был закрыт; значительная часть экспонатов сожжена. Но уже 8 декабря 1954 г. на отчетно-выборном собрании ЛО ССП О. Ф. Бергольц поставила вопрос о восстановлении музея.

Его, Попкова, и еще человек 7 — расстреляли. — Вместе с П. С. Попковым по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР были расстреляны Николай Алексеевич Вознесенский (1903–1950), председатель Госплана СССР, реабилитирован 30 апреля 1954 г., в партийном порядке — 26 февраля 1988 г.; Я. Ф. Капустин, реабилитирован 30 апреля 1954 г., в партийном порядке — 26 февраля 1988 г.; А. А. Кузнецов (см. о нем коммент. к с. 395), реабилитирован 30 апреля 1954 г., в партийном порядке — 26 февраля 1988 г.; П. Г. Лазутин (см. о нем коммент. к с. 380), реабилитирован в партийном порядке 20 июля 1959 г.; Михаил Иванович Родионов (1907–1950), председатель Совета министров СССР, реабилитирован в партийном порядке 9 сентября 1987 г.; и др.

С. 514

...«Исповеди сына века»... — Роман (1836) французского писателя Альфреда де Мюссе (1810–1857). Вероятно, речь идет о нереализованном замысле О. Ф. Бергольц.

...освобождающегося раба, Якова верного, холопа примерного... — «Холоп примерный — Яков Верный», герой главы «Пир на весь мир» из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» (1866–1876) Н. А. Некрасова.

...ЭШ-14... — Экскаватор шагающий. Машина «ЭШ 14.70» использовалась, в частности, для прокладки Беломоро-Балтийского канала.

...арест Берия... — Л. П. Берия был арестован 26 июня 1953 г. на заседании Президиума ЦК КПСС; 23 декабря 1953 г. расстрелян по приговору специального судебного присутствия Верховного суда СССР.

...при ЦК создана комиссия по пересмотру дел 37 гг. — В мае 1954 г. начала свою работу Центральная комиссия по пересмотру дел осужденных за «контрреволюционные преступления» (подробнее о работе комиссии см.: Реабилитация: как это было: Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы: [в 3 т.] / сост. А. Артизов [и др.]. М., 2000. Т. 1: Март 1953 — февраль 1956).

С. 515

...Угличская ГЭС... — Одна из восьми запроектированных ГЭС Волжского каскада. Работы по сооружению Угличского гидроузла были начаты в 1935 г.; станция была запущена в 1940 г.

«Вполоборота, о, печаль, на равнодушных поглядела»... — Цит. стихотворение «Ахматова» (1914) О. Э. Мандельштама.

...однотомник в Гослит... — Речь идет об издании: *Берггольц О. Лирика. М., 1955.*
О, исторгни ржавую душу! — Цит. стихотворение «Вступление» (1905) из «Книги второй» (1904–1908) А. А. Блока.

С. 516

Ведь — если лик ≈ колец чешуи... — Цит. стихотворение «Город» («Вися над городом всемирным...»; 1905) А. А. Блока.
Дай мне неспешно ≈ в себе таим. — Неточная цитата из Пролога к поэме «Возмездие» (1910–1921) А. А. Блока.

С. 517

...«дискуссия», развертывающаяся на страницах «Л<итературной> Г<азеты>»... — Речь идет о начале литературной полемики перед II Всесоюзным съездом советских писателей, тон которой был задан О. Ф. Берггольц статьей «Разговор о лирике» (Литературная газета. 1953. 16 апреля). Берггольц поднимала вопрос о характере, задачах и возможностях лирики в ряду других поэтических жанров. Однако ее оппоненты ответили только в 1954 г.: *Соловьев Б. Поэзия и правда // Звезда. 1954. № 3. С. 154–164; Гринберг И. Оружие мира // Знамя. 1954. № 8. С. 171, 179–180; Грибачев Н., Смирнов С. «Виолончелист» получил канифоль... // Литературная газета. 1954. 21 октября. Берггольц вновь бросилась в бой: 28 октября 1954 г. «Литературная газета» опубликовала ее статью «Против ликвидации лирики», в которой она вновь утверждала, что «обладатель чудесного поэтического дара... обязан выразить исторический момент советского общества через себя, как свое собственное, личное переживание и чувство, он обязан выразить свою личность» (Берггольц О. Против ликвидации лирики // Литературная газета. 1954. 28 октября. № 129. С. 4). На статью откликнулись А. Я. Яшин (Жизнь требует! // Литературная газета. 1954. 13 ноября), В. П. Дружин (К спорам о поэзии // Литературная газета. 1954. 2 декабря), С. Вургун (Советская поэзия // Литературная газета. 1954. 17 декабря); полемика была продолжена в дни работы съезда писателей (об этом см.: Второй Всесоюзный съезд советских писателей: Стенографический отчет. 15–26 декабря 1954 года. М., 1956).*

«Я поэт, серафим, заря». — С пунктуационными неточностями цитируется стихотворение «Проснуться с перерезанной веной» (1918) Николая Алексеевича Клюева (1884–1937).

...выйду на трибуну на съезде... — Речь идет о выступлении на II Всесоюзном съезде советских писателей, который проходил в Москве с 15 по 26 декабря 1954 г. О. Ф. Берггольц выступала в седьмой день съезда — 21 декабря — на утреннем заседании (см.: Литературная газета. 1954. 24 декабря; также см.: Второй Всесоюзный съезд советских писателей... С. 344–346).

Я встану над жизнью ≈ страшного стою. — Неточная цитата из стихотворения О. Ф. Берггольц «Обещание» (1952). Впервые опубли.: Юность. 1964. № 11. С. 50.

С. 518

...с некоей Максимовой Лялей (или Лилей). — Людмила Семеновна Максимова. Официально Г.П. Макогоненко зарегистрировал с ней отношения 24 февраля 1962 г.

С. 519

...надо писать статью для «Правды»... — Публикация не состоялась.

...била рюмки в «Европе»... — Гостиница «Европа» была построена в 1873–1875 гг. по проекту Л. Ф. Фонтана; располагается на Михайловской улице. В 1933 г. здание гостиницы было передано в акционерное общество «Интурист». В 1941–1942 гг. в гостинице размещался эвакогоспиталь. В 1945 г. после ремонта вновь стала гостиницей. С 1991 г. — «Гранд-Отель Европа».

О, весенние зори ≈ юность моя... — Цит. стихотворение «Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет...» (1909) Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953).

Пройдет моя весна ≈ всё проходит... — Неточная цитата из стихотворения «Лесная дорога» (1902) И. А. Бунина. Правильно: «Но весело бродить...»

1955 год

16/IV-55. И вот кружит... (с. 523–526).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 370. Л. 33–35 об.).

Датируется с 16 апреля по 7 декабря 1955 г.

С. 523

...надо написать статью о Ленине... — Предположительно, речь идет о замысле статьи: Берггольц О. Вечно живой: к 85-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина // Литературная газета. 1955. 21 апреля.

С. 524

Сказал — к Орлову... — Владимир Николаевич Орлов (1908–1985), литературовед; автор монографии «Русские просветители 1790–1800-х годов» (1950), за которую получил Сталинскую премию (1951).

С. 526

В понедельник был Козинцев... — Григорий Михайлович Козинцев (1905–1973), кинорежиссер, искусствовед.

1956 год

5/1-56. Ну, кажется... (с. 529–533).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 370. Л. 36–39, 41).

Датируется с 5 января по 26 февраля 1956 г

19 июня 1956. Переделкино (с. 533–537).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 374. Л. 1–5).

Датируется с 19 по 24 июня 1956 г

Сентябрь 1956 года (с. 537–542).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 370. Л. 42–54 об.).

Датируется сентябрем 1956 г

С. 529

..у нас с Юрой на этот раз действительно всё. — Однако развод О.Ф. Берггольц и Г.П. Макогоненко был оформлен только 3 февраля 1962 г

С. 530

О, рыцарь Олаф! ≈ без заботы. — Цит. баллада «Рыцарь Олаф» Генриха Гейне (1797–1856); на русский язык была переведена в 1857 г. Михаилом Ларионовичем Михайловым (1826–1865).

...то — у Гликмана... — Исаак Давыдович Гликман (1911–2003), литературовед, театровед; член художественного совета «Ленфильма».

..у Мунблита... — Георгий Николаевич Мунблит (1904–1994), литературный критик, сценарист.

С. 531

...либо паллиативом. — Паллиатив (от *лат.* pallium — покрывало, плащ) — мера, не обеспечивающая полного решения поставленной задачи, т. е. полумера.

Двадцатый съезд и вправду... — XX съезд КПСС состоялся в Москве 14–25 февраля 1956 г; присутствовало 1349 делегатов. Главным вопросом съезда было осуждение культа личности. С докладом выступил Н.С. Хрущев, который подробно остановился на допусках ранее нарушениях социалистической законности. ЦК КПСС принял меры по их исправлению, а также начал проводить работу по восстановлению ленинских норм партийной жизни, развитию внутрипартийной демократии. Съезд всколыхнул общество. Литературовед Р.Д. Орлова вспоминала: «В последние дни февраля 1956 года мы слышали от разных людей, что на закрытом заседании XX

съезда Хрущев сказал нечто чрезвычайно важное... Доклад Хрущева подействовал сильнее и глубже, чем все, что было прежде. Он потрясал самые основы нашей жизни... Потрясение порождало надежды. На обложке красной брошюры значилось "По прочтении немедленно вернуть в райком". И как на всех партийных документах, был проставлен порядковый номер. Но этот доклад читали на заводах, фабриках, в учреждениях, в институтах. Не будучи опубликован, он стал неким всенародным секретом» (Орлова Р., Копелев Л. Мы жили в Москве: 1956–1980. М., 1990. С. 24–25).

С. 532

- ...или у Оксмана... — Юлиан Григорьевич Оксман (1895–1970), литературовед.
 ...пойдут к И. В. Соловьеву... — И. В. Соловьев, литературовед, преподаватель ЛГУ.
 ...как Колька Свиридов — к Любе... — Речь идет о главном инженере Ленинградского радиокомитета Н. Свиридове и его жене, знакомых О. Ф. Берггольц по работе на радио в блокадном Ленинграде.

С. 533

- ...за обедом был Данин. — Даниил Семенович Данин (настоящая фамилия Плотке; 1914–2000), ленинградский критик.
 В среду 30<го> я была у Козлова... — Предположительно, Н. Ф. Козлов, 1-й секретарь Дзержинского района КПСС Ленинграда.
 ...мармеладовский юбилей Никитина... — Николай Николаевич Никитин (1895–1963), писатель; в 1956 г. отмечал 35-летие литературной деятельности.
 ...пошли на «Оптимистическую». — Спектакль «Оптимистическая трагедия» по одноименной пьесе В. В. Вишневского был поставлен в Ленинградском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина Г. А. Товстоноговым; премьера состоялась 25 ноября 1955 г. Обсуждение спектакля прошло 8 декабря 1955 г. в ленинградском отделении Всероссийского театрального общества. На обсуждении выступила О. Ф. Берггольц: «...выбор "Оптимистической трагедии" и постановка этой пьесы в Театре имени Пушкина — огромная творческая победа театра. Это общественная победа. Я очень волновалась, плакала, переживала. Со сцены вдруг пахнуло настоящей, большой правдой. Несколько перефразируя Пастернака, можно сказать, что искусство — это Рим, в котором в смысле турусов и колес не читки требуют с актера, а полной гибели в строю. На этом спектакле не просто сидишь как зритель, оценивая, чтобы в тебе не заподозрили неумного человека, прежде всего недостатки, а просто влюбляешься в театр, в актеров. Мы отвыкли влюбляться, и очень хорошо, что это происходит...» (Берггольц О. Ф. Выступление на обсуждении спектакля «Оптимистическая трагедия» // Премьеры Товстоногова: Сборник / сост. Е. И. Горфункель. М., 1994. С. 70–71); позже Берггольц посвятила спектаклю статью «Оптимистическая трагедия», в осно-

ву которой легли тезисы ее выступления при обсуждении спектакля (см.: Правда. 1956. 5 февраля).

...с работниками «Ленфильма», — Ивановым и Гиндиным. — Александр Гаврилович Иванов (1898–1984), режиссер, сценарист, с 1948 г. режиссер киностудии «Ленфильм»; Иосиф Львович Гиндин (1903–1983), режиссер.

С. 534

За «Юрин заказ» — сценарий... — Речь идет о работе над сценарием «Первороссияне». Однако работа в 1956 г. по не зависящим от автора причинам была временно прекращена. 28 декабря 1956 г. в Бюро ЦК КПСС по РСФСР была направлена записка отдела науки, школы и культуры ЦК КПСС по РСФСР «О серьезных ошибках и недостатках в работе киностудии “Ленфильм”». В ней указывались следующие недостатки киностудии и начальника сценарного отдела: «В целях увеличения выпуска высококачественных в идейном и художественном отношении фильмов и организации ритмичной работы студии по выпуску кинокартин сценарным отделом киностудии “Ленфильм” привлечена большая группа авторов для написания сценариев. Всего заключено 82 договора. Но как и над чем работают авторы, установить трудно. Начальником сценарного отдела киностудии по совместительству работает т. Макогоненко. На студии он бывает два-три раза в неделю по 2–3 часа, за что получает оклад в сумме трех тысяч рублей. Сценарный отдел слабо справляется со своей работой, о чем свидетельствует тот факт, что шесть фильмов, переходящих на 1957 год, еще не запущены в производство из-за недоработанности сценариев. С приходом в студию т. Макогоненко сценарный отдел заключил договор с его женой писательницей О. Берггольц на написание сценария “Первороссийск”, выплатив ей аванс в сумме 25 тысяч рублей, хотя ранее она никогда сценариев не писала» (см.: Аппарат ЦК КПСС и культуры. 1953–1957: Документы. М., 2001. С. 597–598). Работа над сценарием была закончена позже; см.: Берггольц О. Первороссияне: Литературный сценарий // Литературная Россия. 1965. 12 ноября. С. 1, 6–9; 19 ноября. С. 6–9; 20 ноября. С. 6–9.

...письмо в ЦК... — Предположительно, речь идет о затянувшемся процессе реабилитации бывшего мужа О. Ф. Берггольц поэта В. П. Корнилова. Свое заявление на имя военного прокурора Ленинградского военного округа Ершова Берггольц отправила 2 июля 1955 г. Она просила «пересмотреть дело Бориса Петровича Корнилова... в целях его посмертной реабилитации» (см.: «Я буду жить до старости, до славы...»: Борис Корнилов. СПб., 2012. С. 498). 4 июля 1956 г. Ленинградским отделением ССП было возбуждено ходатайство о пересмотре дела и реабилитации В. П. Корнилова; осенью 1956 г. Л. Г. Басова сообщала матери поэта Т. М. Корниловой: «Я очень рада, что Ольга Берггольц занялась делом Бориса, она энергичная и знает, как

надо действовать, я вот писала в Москву, в Союз, в Ленинград, говорила с кем могла, а не знала, что надо именно в Верховный суд. Молодец она. Хотелось бы, чтобы ее и назначали в комиссию по литературному наследию Бориса. Так, наверное, и будет» (цит. по: Там же. С. 392). Только 5 января 1957 г. в отношении Корнилова было вынесено определение Военной коллегии Верховного суда СССР, в котором, в частности, говорилось: «Приговор Военной коллегии Верховного суда СССР от 20 февраля 1938 года в отношении Корнилова Бориса Петровича, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, отменить и дело производством прекратить за отсутствием состава преступления» (цит. по: Там же. С. 509).

...если не с Микояном... — Анастас Иванович Микоян (1895–1978), с февраля 1955 г. первый заместитель председателя Совета министров СССР.

...выправить стенограмму ≈ выступила против ждановщины... — Речь идет о выступлении О. Ф. Берггольц в Центральном доме литераторов 15 июня 1956 г., в котором она резко обрушилась на постановление ЦК ВКП(б) 1946 г.: «Считаю, что одной из основных причин, которые давят нас и мешают нашему движению вперед, являются те догматические постановления, которые были приняты в 1946–1948 годах по вопросам искусства. <...> ...В докладе Жданов утверждал, например, что символизм начался в 1907 году: “На свет выплыли символисты, имажинисты, декаденты разных мастей...” Таким образом, у нас отняли великолепное, порой болезненное, но все же замечательное искусство XX века. Оно все залито в черную краску неопределенного внешнеисторического “декадентства”, и среди этого сплошного черного моря возвышается один Горький, который якобы не совершал богоискательских ошибок, и Маяковский, который якобы никогда не был футуристом. Более того, оказалась искаженной вся история нашей советской литературы.

Надгробный камень, положенный вышеуказанным постановлением и докладом на русское искусство XX века, на его историю, на историю советской литературы, необходимо сдвинуть в ближайшее время и во что бы то ни стало» (цит. по: *Золотонос М. Н.* Гадюшник: Ленинградская писательская организация: Избранные стенограммы с комментариями. М., 2013. С. 230, 232).

...в зале сидела его дочь — Светлана... — Светлана Иосифовна Аллилуева (Сталина; в эмиграции Лана Питерс; 1926–2011), филолог, переводчица; дочь И. В. Сталина. В 1954 г. защитила диссертацию на тему «Развитие передовых традиций русского реализма в советском романе».

...с Арзумановой... — Вероятно, Маргарита Арзумановна Арзуманова (род. в 1933 г.), филолог. В 1956 г. окончила ЛГУ, в 1958 г. поступила в заочную аспирантуру филологического факультета ЛГУ. В 1964 г. защитила диссертацию «Русский сентиментализм в литературно-общественной борьбе 90-х годов XVIII века». См. о ней на сайте РНБ: http://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=1465 (дата обращения: 15.06.2020).

...трагического самоубийства Саши Фадеева... — А. А. Фадеев застрелился 13 мая 1956 г, оставив предсмертное письмо в ЦК КПСС (подробнее см.: Александр Фадеев: Письма и материалы из фондов Российского государственного архива литературы и искусства. М., 2001. С. 215–216).

С. 535

И может быть ≈ улыбкою прощальной... — Цит. стихотворение «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»; 1830) А. С. Пушкина.

...о внучке его Марфиньке ≈ сына Берия. — Марфа Максимовна Пешкова (род. в 1925 г.), внучка М. Горького, первая жена Сергея (Серго) Лаврентьевича Берии (Гегечкори; 1924–2000).

..один дед сказал: «Человек — это звучит гордо»... — Слова Сатина из пьесы «На дне» (1902) М. Горького.

Никак не уляжется крови сухая возня... — Цит. стихотворение «За то, что я руки твои не сумел удержать...» (1920) О. Э. Мандельштама.

...вызывала в райком Кирсанова... — Вера Николаевна Кирсанова, в 1956 г. 1-й секретарь Куйбышевского райкома КПСС Ленинграда.

...об истязаниях Берггольц неким Макогоненко... — Речь идет о неоднократных обращениях М. Т. Берггольц в ССП с требованием прекратить спаивание своей дочери зятем. Так, 3 декабря 1954 г. М. Т. Берггольц писала подруге своих дочерей И. Гурской: «Прихожу к Ольге. Макогоненко дома нет. Вхожу в ее комнату. Лежит она на постели и, свесив голову, шарит рукой около постели. И спрашивает домработницу слабым пьяным голосом: “Зина, а мое тут стоит?” — “Да, да, стоит около вас”, — отвечает домработница. Я подхожу и вижу: стоит большая бутылка коньяку, в бутылке уже немного. Это уход за ней такой. Чтобы она не ушла. Так две домработницы и говорят: “Хозяин уходит, только так ее и успокаиваем...” Сегодня мне говорила домработница, что был врач, прописал уколы, какие уколы, не знаю. Ходит медсестра и делает уколы. Ну, а потом домработницы приносят коньяк, и пьет она и спит, и просыпается и опять пьет. И домработницы же говорят со смехом: и лечится, и пьет, пьет все вместе. Ведь это издевательство — ведь это только видимость. Вот, дескать, предпринимается — и лечение, и ходит врач. И дома Ольге самой при таких условиях не справиться. Да и невозможно, т. к. она все время в ненормальном состоянии опьянения. Ведь получается, ее просто спаивают» (цит. по: Золотосов М. Н. Гадюшник. С. 463). 16 июля 1956 г. М. Т. Берггольц записывала: «Обстановка в доме такова. Она одна только с домработницами. Никто не бывает. Ей дают коньяк до 1,5–2 литра в день (это подтверждает и Макогоненко). Ольга перестает есть, доходит до кровавой рвоты. И вот, когда я прихожу к ней и вижу это, то немедленно вызываю доктора... На мои настойчивые слова: — Надо принять меры, надо вызвать врача. — Ответ та-

ков: — Ничего страшного еще нет. Это отвечали мне домработницы, т. к. только они около нее. Буквально никто не бывает, а Макогоненко не бывает неделями дома...» (цит. по: Там же. С. 469).

...на совещании с Хикметом... — Речь идет о выступлении О. Ф. Берггольц на совещании писателей в Центральном доме литераторов 15 июня 1956 г.; на этом же совещании выступал и турецкий поэт, прозаик, сценарист, драматург и общественный деятель Назым Хикмет (1902–1963).

С. 536

...похорон Фадеева... — А. А. Фадеев похоронен на Новодевичьем кладбище; О. Ф. Берггольц присутствовала на похоронах.

...узнала о Польше, и «Обороне Гренады»... — Речь идет о так называемых Познанских протестах 1956 г. 28 июня 1956 г. была проведена демонстрация рабочих автомобильного завода в Познани; демонстрация переросла в восстание под антисоветскими лозунгами и вылилась в протест против правительства Польской Народной Республики (подробнее см.: Орехов М. А. События 1956 года в Польше и кризис советско-польских отношений // Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945–1985): Новое прочтение. М., 1995. С. 218–222).

О событиях в Польше О. Ф. Берггольц узнала в Москве, общаясь с писателями на совещании в Центральном доме литераторов 15 июня 1956 г. О рассказе польского писателя Казимежа Брандыса (1916–2000) «Оборона Гренады» и неудачной попытке опубликовать его в журнале «Иностранная литература» О. Ф. Берггольц могла узнать от одного из редакторов журнала Р. Д. Орловой, которая «гордилась даже нашим намерением опубликовать “Оборону Гренады”» (Орлова Р. Воспоминания о непростедшем времени. М., 1993. С. 268).

Позже, в 1975 г., Орлова вспоминала о своем знакомстве с поэтессой: «В июне 56-го года было собрание в Союзе писателей. О состоянии культуры в странах народной демократии. Начал Назым Хикмет, как всегда, очень интересно. Потом слово предоставили Ольге Берггольц.

Издали на трибуне показалась она мне красивой и необычной. Говорила по-домашнему, не ораторски, слушали ее в мертвой тишине. “Вот сейчас все ищут автора или авторов теории бесконфликтности. Я вам напомню, откуда все пошло”. И почти без комментариев она прочитала выдержки из постановлений ЦК о журналах “Звезда” и “Ленинград”, о кинофильме “Большая жизнь”, отрывки речей Жданова (1946–1948). В зале порой раздавался смех — подавленный смех; в самом деле, очень было бы смешно, если бы совсем недавно не было так страшно. Говорила Берггольц и о лагерях. Чувствовалась какая-то предельная точка личного волнения. Вскоре после того вечера мы познакомились. <...> Рядом, вблизи, она была не так хороша, как на трибуне, но чем-то ближе, милее. <...> Ее стихи, дневники,

рассказы — таким для меня стал другой путь на “тот свет” <т. е. другой, лагерный, мир. — *Ред.*> (Там же. С. 218–219).

С. 537

Вновь Свердловка... — В больнице им. Я. М. Свердлова О. Ф. Берггольц регулярно лечилась от алкоголизма. В 1956 г. она трижды поступала на лечение (в феврале, июле, сентябре). Сохранились записи матери поэтессы М. Т. Берггольц о состоянии дочери в 1956 г.: «...16 июля с большим трудом врачи Сверд. больницы дважды приезжали за Ольгой и все же увезли ее в больницу. Ни домраб., ни Макогоненко (он в тот день не был дома и пришел домой на другой день в 5 час. утра — сказала мне домраб.), и домраб. так же не знала, что Ольгу взяли в больницу... Ляля уже рвется [домой] выписаться из больн. и домой, домой. А ведь всего пробыла в больнице около двух недель. Это значит, что опять срыв будет неизбежен. Я умоляю врачей задержать ее... по-настоящему надо было бы продолжительное лечение и изолировать ее из ее домашних условий на продолжительное время...» (цит. по: *Золотонос М. Н. Гадюшник. С. 469–470*).

С начала 1950-х гг. вопрос о пьянстве О. Ф. Берггольц периодически поднимался на заседаниях как партийного бюро ЛО ССП, так и на заседаниях Дзержинского райкома партии. На закрытом партийном собрании партийной организации ЛО ССП от 4 января этот вопрос вновь был поднят. Выступали писатели Е. И. Катерли («Человек болен, а мы смотрим, как ее свезут на недельку в Свердловку, а потом опять выпустят. Надо ее спасти. Это наша обязанность, если у нее нет отца, матери и мужа, которые бы ее спасали»), А. А. Бартэн («...очень плохо, что Ольга Федоровна пьет, что она в пьяном виде появляется в зале и в этом президиуме, а иногда и на выступлениях... Было время, когда в кабинете первого секретаря обкома т. Козлова Ф. Р. Ольга Федоровна говорила, что все силы должны быть направлены на воспитание молодежи, и в этот же вечер после киносеанса эта же молодежь видела, как выволакивали Ольгу Федоровну из буфета...» (цит. по: Там же. С. 280, 271) и др.

С. 538

...его называют Жорж Дюруа. — Главный герой романа «Милый друг» (1885) Ги де Мопассана (1850–1893).

С. 539

...старого клоуна Вертинского... — Александр Николаевич Вертинский (1899–1957), эстрадный артист, поэт, композитор. В ноябре 1920 г. эмигрировал из Советской России; позже неоднократно обращался в советские представительства с просьбой разрешить ему вернуться в страну. Во время Великой Оте-

чественной войны разрешение было дано: в ноябре 1943 г. вместе с женой и дочерью Вергинский приехал в Москву.

Простой душе ≈ тяжелый. — Цит. стихотворение «Психея! Бедная моя!..» (1921) из цикла «Тяжелая лира» В. Ф. Ходасевича.

...у меня были Татка... — Т. К. Окуневская (см. о ней коммент. к с. 476).

...и муж Татки. — Предположительно, речь идет о первом муже Т. К. Окуневской режиссере Дмитрие (Мито) Васильевиче Варламове (1905–1968).

С. 541

Довлатова... — М. С. Довлатова (см. коммент. к с. 33).

...Н. Лесючевский... — Николай Васильевич Лесючевский (1908–1978), заведующий редакцией журнала «Звезда». Знакомая О. Ф. Берггольц редактор Р. Д. Орлова признавалась: «...я впервые узнала, что Лесючевский, директор издательства “Советский писатель”, автор доноса на поэта Бориса Корнилова, первого мужа Ольги Федоровны, погибшего в 1937 году» (Орлова Р. Воспоминания о непрошедшем времени. С. 219). Экспертизу-донос о стихах Б. П. Корнилова, написанную Лесючевским 13 мая 1937 г., см.: «Я буду жить до старости, до славы...»... С. 471–482.

«Потенциальные враги народа Цырлин и Добин». — Лев Вениаминович Цырлин (1907–1942), литературовед; Ефим Семенович Добин (1901–1977), литературовед.

Звонила Наумова. — Коллега Г. П. Макогоненко по кафедре русской литературы ЛГУ.

...подруга дочери В. Ингала. — Владимир Иосифович Ингал (1901–1966), скульптор.

Довженко — о моем выступлении ≈ «Для деревни вы некрасивая, конечно». — О. Ф. Берггольц записывает характеристики, услышанные ею после своего выступления 15 июня 1956 г. в Центральном доме литераторов.

...старик Чуковский. — Корней Иванович Чуковский (настоящие имя и фамилия Николай Корнейчуков; 1882–1969), критик, переводчик, поэт.

...подарит «Украину в огне». — Речь идет о киноповести «Украина в огне» (1943) А. П. Довженко; небольшой отрывок был опубликован в газете «Литература и искусство» (1943, 18 сентября. № 38). Текст сценария на украинском языке впервые опубликован в собрании сочинений Довженко (Київ, 1966. Т. 5); на русском языке: Литературное наследство. Т. 78, кн. 1. С. 167–246.

С. 542

Луи Арагон в своей книжке пишет обо мне. — Речь идет о статье французского писателя Луи Арагона (1897–1982) «Стендаль в СССР и живое зеркало» в газете «Les Lettres françaises» (1957).

№ 6 «Иностранной литературы». — В № 6 журнала «Иностранная литература» за 1957 г. была опубликована статья И. Г. Эренбурга «Уроки Стендаля». После ее публикации 20 августа 1957 г. в ЦК КПСС была принята «Записка от

дела культуры ЦК КПСС о статье И.Г. Эренбурга «Уроки Стендаля», опубликованной в журнале «Иностранная литература», и других материалах писателя, помещенных в других изданиях», в которой взгляды писателя аттестовались как «неприемлемые».

Р Райт... — Райт Ричард (1908–1960), американский писатель.

...«Солдатами не рождаются»... — Роман (1963–1964) К.М. Симонова.

1957 год

1 июня 1957 года (с. 545–554).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 374. Л. 6–18).

Датируется с 1 июня по 2 июля 1957 г.

Дневники. Дневники (1957). Заметки (с. 554–577).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 375. Л. 1–17 об.).

Датируется с 3 по 16 октября 1957 г.

Мы празднуем некруглую дату (с. 577–581)

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 376. Л. 1–9).

Датируется началом октября 1957 г.

С. 545

Отравлен свет ≈ раны врачевать! — Неточная цитата из стихотворения «Отравлен хлеб, и воздух выпит...» (1913) О.Э. Мандельштама.

...после кровавых венгерских событий... — 25 октября 1956 г. произошли первые столкновения венгерских студентов и творческой интеллигенции с корпусом советских войск, размещенных на территории Венгрии после Великой Отечественной войны. 4 ноября 1956 г. в Венгрию были введены дополнительные войска, и 9 ноября 1956 г. венгерская революция была жестоко подавлена (подробнее об этом см.: Венгерские события 1956 года глазами КГБ и МВД СССР: Сборник документов. М., 2009). В ходе подавления восстания погибло 2652 венгерских гражданина (см.: Советский Союз и венгерский кризис 1956 года. М., 1998).

С. 546

Я попала за свое выступление ≈ признать «своей ошибкой»... — После выступления 15 июня 1956 г. в Центральном доме литераторов фамилия О.Ф. Бергольц попала в закрытое письмо ЦК КПСС от 19 декабря 1956 г. «Об усилении политической работы партийных организаций в массах и пресечении

вылазок антисоветских враждебных элементов» за критику Постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» (14 августа 1946), Постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) «О кинофильме “Большая жизнь”» (4 сентября 1946), Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели» (10 февраля 1948) и др.; текст закрытого письма см.: Реабилитация: как это было: Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы: [в 3 т.] / сост. А. Артизов [и др.]. М., 2003. Т. 2: Февраль 1956 — начало 80-х годов. С. 208–214.

Позже, в январе 1957 г. О.Ф. Берггольц была вынуждена направить в ЦК КПСС свое «покаянное» заявление, отправив одновременно его копии в Ленинградский обком КПСС и партийное бюро ЛО ССР. Она писала: «Внимательно прочитав закрытое письмо ЦК КПСС от 19 декабря 1956 г., пересмотрев под этим углом стенограмму своего выступления летом 1956 г. в Москве на собрании литераторов, а также прочитав ряд материалов, появившихся в партийной печати по идеологическим вопросам, — должна заявить, что считаю указание, сделанное в мой адрес в закрытом письме ЦК, совершенно правильным, а тот факт, что я выступила по поводу послевоенных постановлений ЦК по искусству на беспартийном собрании литераторов, считаю своей ошибкой. Такое мое поведение было явно неправильным. Не в порядке оправдания, но для пояснения хочу лишь сказать, что как во всей своей предыдущей творческой и публицистической практике, так и в этом выступлении у меня не было ни малейшего намерения покушаться на священные для меня, как и для всякого партийца, принципы партийности, народности и идейности литературы; я хотела лишь “опротестовать”, если так можно выразиться, те наслоения культа личности, те элементы личной вкусовщины, произвольных оценок, “упрощенных взглядов на искусство” и т. п. со стороны Сталина и Жданова, которые присутствовали, как мне казалось, в некоторых постановлениях и докладе Жданова и снижали высокое значение этих постановлений ЦК. Но повторяю, со всеми своими соображениями по поводу постановлений ЦК, возникшими после XX съезда и доклада т. Хрущева о культе личности, я должна была обратиться только в Центральный Комитет, а не к беспартийному собранию.

Надеюсь, что дальнейшей своей работой, смысл которой для меня состоит только в служении народу и партии, я докажу, что эта моя ошибка была лишь случайной» (Аппарат ЦК КПСС и культуры. 1953–1957: Документы. М., 2001. С. 620).

...недавно минувшем пленуме правления С<оюза> С<оветских> П<исателей>... — Речь идет о III пленуме правления ССР, состоявшемся 17 мая 1957 г. в Московском доме кино (см.: Литературная газета. 1957. 21–22 мая). О.Ф. Берггольц была делегатом от ЛО ССР.

...маске кукурузника. — Кукурузник, народное прозвище Н.С. Хрущева.

«Подвергнуты уничтожающей критике» ≈ «Литературная Москва»... — Речь идет о публикации: [Б. л.] Партия и вопросы развития советской литературы и искусства: Редакционная статья // Коммунист. 1957. № 3. С. 12–25. В статье рассматривались ошибки журнала «Новый мир», опубликовавшего роман В. Д. Дудинцева «Не хлебом единым», рассказ Д. А. Гранина «Собственное мнение», поэму С. И. Кирсанова «Семь дней недели», дана была оценка неверным положениям статьи А. А. Крона «Заметки писателя», опубликованной в сборнике «Литературная Москва» (№ 2). В частности, безымянный автор писал: «“Новый мир” напечатал и произведения, неправильно отражающие нашу жизнь, например, роман Дудинцева “Не хлебом единым”, рассказ Гранина “Собственное мнение”, поэму Кирсанова “Семь дней недели”» (Там же. С. 16); о романе Дудинцева: «Редакция журнала не помогла молодому писателю В. Дудинцеву осознать неверные тенденции его произведения и поспешила опубликовать роман, содержащий ложные обобщения, дающий искаженное представление о советской действительности. <...> ...Он, увлеченный пафосом разоблачения, потерял перспективу, впал в панику, преувеличил опасность, представив бюрократизм в наших условиях по существу непробиваемой стеной, а работников аппарата, да и науки, показал почти сплошь как перерожденцев. Вместо живой и могучей силы советских людей, под руководством партии выжигающих бюрократизм, в романе ему противостоят только честные одиночки, терпящие за свою честность бесконечные лишения и страдания. Роман не зовет по-ленински бороться со злом, а сеет уныние, порождает анархическое отношение к государственному аппарату» (Там же); о рассказе Гранина: «Молодой писатель Гранин завоевал широкую известность и симпатии советского читателя своим талантливым романом “Искатели”. Редакция журнала должна дорожить доброй репутацией писателя и насторожить его против той ложной тенденции, которая ясно ощутима в рассказе “Собственное мнение”, — представить гнусную философию приспособленчества как порождение условий нашей жизни. Приспособленцев типа Минаева — персонажа рассказа — в действительности немало. Их необходимо выводить на чистую воду. Но надо правильно объяснять происхождение этого типа» (Там же); о статье А. А. Крона: «...Крон так сгустил краски и создал впечатление, будто бы положение драматурга у нас прямо-таки безысходное, что каждую новую пьесу подстерегает сонм врагов — различных инстанций, редакторов, которые только и думают о том, как задушить все живое и талантливое» (Там же. С. 23).

...«Не хлебом единым» Дудинцева... — Роман Владимира Дмитриевича Дудинцева (1918–1998), писателя; был опубликован в журнале «Новый мир» (1956). Н. С. Хрущев выступил с критикой романа 13 мая 1957 г. на совещании писа-

телей в ЦК КПСС: «Дудинцев — это цыпленок, ему ли вскрывать недостатки партии, которые сам ЦК вскрывает? Он их не понимает» (Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени: Документы из личного фонда Н. С. Хрущева: в 2 т. М., 2009. Т. 2. С. 455).

...«Собственное мнение» **Гранина**... — Рассказ Даниила Александровича Гранина (1919–2017); был опубликован в журнале «Новый мир» (1957).

...«Семь дней недели» **С. Кирсанова**... — Семен Исаакович Кирсанов (1906–1972), поэт.

...«Лит<ературная> Москва»... — «Литературная Москва», альманах; выходил в Москве в 1956 г., в состав редакции входили М. И. Алигер, А. А. Бек, В. А. Каверин, К. Г. Паустовский, В. Ф. Тендряков. На втором выпуске альманах был запрещен. На почти готовый второй выпуск сборника были напечатаны разгромные рецензии: *Еремин Д. И.* Заметки о сборнике «Литературная Москва» // Литературная газета. 1957. 5 марта; *Дмитриев А.* О сборнике «Литературная Москва» // Правда. 1957. 20 марта. 11 мая 1957 г. отделом культуры ЦК КПСС была подана записка «О развитии советской литературы после XX съезда КПСС», которая стала партийным приговором: «В ряде произведений выпущенного в начале 1957 года второго сборника “Литературная Москва”... наглядно отражено стремление к односторонне обличительному изображению жизни. В рассказе А. Яшина “Рычаги” все коммунисты, составляющие сельскую партийную организацию, изображены как люди бесчестные и лицемерные. Кроме рассказа Яшина здесь можно назвать рассказы Ю. Нагибина “Свет в окне” и Н. Жданова “Поездка на родину”, а также проникнутую духом поверхностного критиканства и фрондерства статью драматурга А. Крона» (Аппарат ЦК КПСС и культуры... С. 650).

...деятельность **Казакевича, Алигер, Твардовского, Тендрякова**... — Эммануил Генрихович Казакевич (1913–1962), писатель; М. И. Алигер; А. Т. Твардовский; Владимир Федорович Тендряков (1923–1984), писатель.

...выступления **Паустовского, Каверина, Славина, Рудного**... — Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968), писатель; Вениамин Александрович Каверин (настоящая фамилия Зильбер; 1902–1989), писатель (в данном случае — за выступление на II съезде писателей); Лев Исаевич Славин (1896–1984), писатель; Владимир Александрович Рудный (1913–1984), журналист.

...моих «**новомирских стихов**»... — Речь идет о подборке «Стихи из дневников (1938–1956 гг.)» в журнале «Новый мир» (1956. № 8. С. 26–30): «Испытание» («...И снова хватит сил...»); «Родине» («Все, что пошлешь: нежданную беду...»); «Взял неласковую, угрюмую...»; «Я тайно и горько ревную...»; «Ответ» («Друзья твердят: все средства хороши...»); «О золотой свадьбе» («Ни до серебряной и ни до золотой...»); «Тот год» («...И я всю жизнь свою припоминала...»); «Перед разлукой» («Я все оставляю тебе при уходе...»); «Бабье лето» («Есть время природы особого света...»).

Успел бы проскочить двухтомник... — См.: *Берггольц О.* Сочинения: в 2 т. М., 1958.

...Крамольниковское состояние — «Не нужно! Не нужно»... — Герой сказки-элегии «Приключение с Крамольниковым» (1886) из цикла «Сказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина.

С. 547

...о болезни и смерти матери... — М. Т. Берггольц умерла в 1957 г.

С. 550

Я знал одной лишь ~ пламенную страсть. — Цит. поэма «Мцыри» (1839) М. Ю. Лермонтова.

...выписки из «Граната»... — Речь идет о многотомном «Энциклопедическом словаре», основном издании издательства братьев А. Н. и И. Н. Гранат. Словарь начал выпускаться в 1891 г. (начат товариществом «А. Гарбель и К^о») и был закончен в 1948-м (с 1939-го вошел в Государственный институт «Советская энциклопедия»); было выпущено 58 томов.

Сблизилась с Галиной Серебряковой... — Галина Иосифовна Серебрякова (1905–1980), писательница.

...и в Евангелие от Иоанна сказано, что слово это — бог. — Ср.: «...и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога» (Ин. 1:1–2).

...в Новый Иерусалим... — Вероятно, имеется в виду станция Новоиерусалимская по Рижскому направлению Московской железной дороги.

С. 551

...из Ленинграда Сережка Цимбал... — Сергей Львович Цимбал (1907–1978), театровед.

...артистом Борисовым... — Вероятно, Александр Федорович Борисов (1905–1982), актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист.

С. 552

...Эрмлера... — Фридрих Маркович Эрмлер (настоящие имя и фамилия Владимир Маркович Бреслав; 1898–1967), кинорежиссер, актер, сценарист. Народный артист СССР (1948).

...Миши Берестинского... — Михаил Исаакович Берестинский (1905–1968), писатель, сценарист.

...его так позорно и подло не приняли в партию... — Г. П. Макогоненко был принят кандидатом в члены КПСС на закрытом партийном собрании 31 октября 1956 г. На закрытом собрании партийной организации ЛО ССП 4 января 1947 г., посвященном обсуждению закрытого письма ЦК КПСС «Об усилении политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских враждебных элементов», были подняты вопросы пьянстве О. Ф. Берггольц и в связи с этим — тема партийности Макогонен-

ко. В своем выступлении Е.И. Катерли упомянула об этом: «Здесь уже говорилось о поведении О. Берггольц, что она пьет и ведет себя не так, как должен вести себя член партии. Я, как и многие другие, жалею Берггольц, но думаю, что мы должны принять какие-то меры для того, чтобы ее спасти... Мы недавно принимали в кандидаты партии ее мужа — Макогоненко. Мне кажется, что нам нужно было поговорить с ним на эту тему. Он здоровый мужчина, может быть, и он смог бы что-то сделать, чтобы спасти человека от пьянства» (цит. по: *Золотонос М.Н.* Гадюшник: Ленинградская писательская организация: Избранные стенограммы с комментариями. М., 2013. С. 280). После окончания кандидатского срока Г.П. Макогоненко не был принят в партию.

Чекин мне сказал сегодня... — Вероятно, Игорь Вячеславович Чекин (1908–1970), писатель, киносценарист, общественный деятель.

С. 553

Как на «Титанике». — Британский пароход компании «Уайт Стар Лайн»; во время первого рейса 14 апреля 1912 г. столкнулся с айсбергом и затонул. Из 2207 человек, бывших на корабле, спаслись только 712.

С. 554

Статья Серебровской — Елена Павловна Серебровская (1915–2003), писательница; заместитель главного редактора журнала «Нева». В журнале «Звезда» (1957. № 6) была опубликована ее статья-рецензия на сборник «Литературная Москва» «Против нигилизма и всеядности», в которой она, в частности, писала: «...составители сборника исходили из ошибочного понимания своих задач. Ветерок нигилизма прошелестел по многим страницам сборника, в статье А. Крона он стал маленьким “ураганом”... Плохо то, что редколлегия сборника практически показала, что разделяет некоторые ее ст. е. статьи Крона. — *Ред.*> установки» (С. 199).

О лакировке говорил Хрущев. — Термин «лакировка» возник во второй половине 1920-х гг. как метафора, связанная своим противопоставлением с лаковой миниатюрой Палеха. Впервые была использована Л.Л. Авербахом в книге «Спорные вопросы культурной революции» (М., 1929. С. 80). В 1956 г. термин вновь вернул свою популярность; был использован в отчетном докладе Н.С. Хрущева на XX съезде партии (см.: *Хрущев Н.* Отчетный доклад ЦК КПСС XX съезду партии 14 февраля 1956 года. М., 1956. С. 137).

...Ленин сказал: «Политика — это фактическая судьба миллионов людей»... — Неточная цитата из «Заметок публициста» (1919) В.И. Ленина.

С. 555

...истории с Тахтаем. — Вероятно, речь идет об Александре Кузьмиче Тахтае (1890–1963), археологе, сотруднике Херсонесского историко-археологического музея-заповедника в г. Севастополь, бесосновательно обвиненном в сотрудничестве с немецкими оккупантами. Также см.: Блюм А. В. Как это делалось в Ленинграде: Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки: 1953–1991. СПб., 2005. С. 165.

Н. Грибачев пишет об ООН... — Речь идет о цикле очерков Н. М. Грибачева (см. о нем коммент. к с. 414) «По ту сторону» (1957). Подробнее см.: Грибачев Н. М. Собрание сочинений: в 6 т. М., 1986. Т. 5: Путешествия. Статьи о литературе. С. 212–291.

...Е. Катерли в ее путевых очерках об Европе... — Речь идет о цикле заметок Е. И. Катерли (о ней см. коммент. к с. 323) «Восемь морей и один океан», опубликованных в журнале «Нева» (1957. № 6, 7). Вышел отдельным изданием: Катерли Е. Восемь морей и один океан: [На теплоходе «Победа» вокруг Европы]. Л., 1958.

...напоминает Михайлова... — Николай Александрович Михайлов (1906–1982), член ЦК ВКП(б)–КПСС с 1939 по 1971 г.; в 1957–1960 гг. министр культуры СССР.

...Фурцеву... — Екатерина Алексеевна Фурцева (1910–1974), с 1954 по 1957 г. 1-й секретарь Московского горкома КПСС, в 1956–1960 гг. секретарь ЦК КПСС; с 1960 г. министр культуры СССР.

С. 556

В. Назаренко. — Вадим Александрович Назаренко (1914–1986), литературный критик; автор статей о творчестве О. Ф. Берггольц: Назаренко В. Цель и средства. Заметки о некоторых новых поэмах // Звезда. 1955. № 5. С. 175–187; Он же. Заметки о своеобразии таланта // Ленинградская правда. 1955. 24 февраля; Он же. Поэт и читатель // Ленинградская правда. 1956. 23 октября.

...Б. Слуцкий... — Борис Абрамович Слуцкий (1919–1986), поэт-фронтовик, переводчик. **Нева № 9 за 1957 г. стр. 192** — Речь идет о статье В. А. Назаренко «Просто так...». На странице, отмеченной О. Ф. Берггольц, речь идет о конкретных стихотворениях Б. А. Слуцкого «Домой!», Е. А. Евтушенко «Свадьба», Л. Н. Мартынова «День и сам бы...», которым критик дал следующую характеристику: «Упомянутые стихотворения Евтушенко, Мартынова, Слуцкого неизбежно обращают нас к вопросу о художественном своеобразии. При всех внешних различиях в размере, словаре, интонациях, тематике, они очень похожи, похожи смутностью, неопределенностью, пассивностью творческого сознания...» и добавлял далее: «Смутность же, неуточненность, в свою очередь, связаны с невозможностью достичь подлинной силы поэтического слова...» (Нева. 1957. № 9. С. 192).

Проработка меня в связи с тем, что долбанули в закрытом письме ЦК. — Речь идет о закрытом письме ЦК КПСС от 19 декабря 1956 г. «Покаянное» заявление О. Ф. Берггольц рассматривали в Ленинградском обкоме КПСС 30 января 1957 г.; 2 февраля 1957 г. ее заявление вместе с решением обкома было направлено в ЦК КПСС.

С. 557

...«молчание, молчание»... — Неточная и неполная цитата из монолога Поприщина, героя «Записок сумасшедшего» (1835) Н. В. Гоголя. О. Ф. Берггольц в своих дневниках приводит ее довольно часто (в том числе в расширенном виде).

...Можайский... — Врач-нарколог.

В процессе работы ≈ часть «Главной книги»... — Речь идет о работе О. Ф. Берггольц над повестью «Та самая полянка», которая вошла второй главой в книгу «Дневные звезды».

С. 558

...перевернул меня Ремарк... — Эрих Мария Ремарк (1898–1970), немецкий писатель, автор романа «Время жить и время умирать» (1954).

С. 561

...написать «Первороссиян»... — Речь идет о работе над сценарием «Первороссияне». Фильм по сценарию О. Ф. Берггольц был снят на «Ленфильме» в 1967 г. режиссерами Александром Гавриловичем Ивановым (1898–1984) и Евгением Львовичем Шифферсом (1934–1997).

Письмо к Козлову. — Фрол Романович Козлов (1908–1965), 1-й секретарь Ленинградского обкома КПСС; член Президиума Верховного Совета СССР в 1954–1958 и 1962–1965 гг.; с 1957 по 1964 г. член Президиума ЦК КПСС.

Гранину... — Писатель Д. А. Гранин был секретарем правления ЛО ССП.

Безумству храбрых — Цит. стихотворение в прозе «Песня о соколе» (1898) М. Горького.

...Комсомол в Ленинграде... — Речь идет о книге: Комсомол. Очерки и рассказы о комсомольцах и молодежи Ленинграда в дни Великой Отечественной войны. Л., 1943.

С. 562

...долго разговаривала с Марой Довлатовой. — М. С. Довлатова (см. коммент. к с. 33).

...на выпуске однотомника Корнилова... — См.: *Корнилов В.* Стихотворения и поэмы / сост. О. Берггольц, М. Бернович; предисл. О. Берггольц; ред. И. Авраменко. Л., 1957.

«Скрыл от мудрых и открыл детям и неразумным». — Неточная цитата слов Константина Левина из романа «Анна Каренина» Л.Н. Толстого. Правильно: «Скрыл от премудрых и открыл детям и неразумным».

С. 563

...его выгнали со студии, он вынужден был уйти из председателей секции... —

В августе 1957 г. Г.П. Макогоненко был уволен с «Ленфильма»; 20 декабря 1957 г. заведующий отделом науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР Н. Казьмин и инструктор этого же отдела Е. Бабукина подали записку в ЦК «О серьезных ошибках и недостатках в работе киностудии “Ленфильм”», в которой сообщали: «...крупные недостатки в работе киностудии “Ленфильм” явились следствием того, что с 1954 по 1957 г. директором студии являлся беспартийный кинорежиссер С. Васильев, который не установил правильных взаимоотношений с партийной организацией, многие важные вопросы решал единолично. <...> На должность начальника сценарного отдела он пригласил в 1955 г. беспартийного Макогоненко, который, находясь на основной работе в Ленинградском университете, на студии бывал редко, многие вопросы согласовывал только с директором студии, не считаясь с мнением работников сценарного отдела. Кроме того, т. Макогоненко занимал неправильную линию в идеологических вопросах, заявлял, что роман Дудинцева “Не хлебом единым” открывает новый путь советской литературе, и при беседах с авторами сценариев ориентировал их в таком же плане, следствием чего на студии явилось много порочных сценариев и фильмов. <...> В августе министерство освободило от работы начальника сценарного отдела т. Макогоненко» (Аппарат ЦК КПСС и культуры... С. 724). В этом же году он был вынужден уйти с должности председателя Секции критиков ЛО ССР.

С. 566

...о работе над предисловием к стихам Батюшкова. — Константин Николаевич Батюшков (1787–1855), поэт. Речь идет о подготовке вступительной статьи «Поэзия Константина Батюшкова» к изданию серии «Библиотека поэта. Малая серия»: *Батюшков К.Н. Стихотворения.* Л., 1959.

С. 567

...мое имя вот уже третий день не сходит со страниц печати... — Речь идет о публикациях, посвященных итогам работы пленума Ленинградского горкома партии. Так, «Литературная газета», помещая отчет о работе пленума, сообщала, что состоявшийся «на днях пленум Ленинградского горкома партии обсудил доклад первого секретаря горкома И.В. Спиридонова об улучшении работы творческих организаций Ленинграда и задачах дея-

телей литературы и искусства по усилению связи с жизнью народа». В докладе было отмечено, что в условиях «обострившейся за последнее время идеологической борьбы отдельные деятели литературы и искусства не выдержали натиска реакционной буржуазной идеологии, стали проявлять колебания и шатания в принципиальных вопросах развития советской литературы и искусства». Одной из таких колеблющихся, помимо А. Е. Горелова, Д. А. Гранина, В. Ф. Пановой, В. К. Кетлинской, была названа О. Ф. Берггольц: «...на одном из партийных собраний ленинградской писательской организации О. Берггольц заявила, что будто бы в ряде моментов постановление ЦК партии о журналах “Звезда” и “Ленинград” противоречит ленинским указаниям об отношении к литературе» ([Б. п.] С позиций партийности // Литературная газета. 1957. 12 октября. № 123. С. 2; также см.: [Б. п.] Улучшать деятельность творческих организаций: С пленума Ленинградского горкома КПСС // Правда. 1957. 11 октября).

...некогда охранявший VI съезд... — VI съезд РСДРП(б) проходил в Петрограде полулегально с 26 июля (8 августа) по 3 (16) августа 117 г; в работе съезда участвовало 157 делегатов с решающим голосом и 110 делегатов с совещательным голосом. Съезд определил курс на вооруженное восстание.

...бравший Зимний... — С июля 1917 г. Зимний дворец (бывшая резиденция русских императоров) стала резиденцией Временного правительства. Осада дворца началась 25 октября (7 ноября) 1917 г. К двум часам ночи 26 октября (8 ноября) 1917 г. Зимний дворец был взят штурмом революционными войсками.

С. 568

...«Ленинградскую симфонию» Захара Аграненко. — Захар Маркович Аграненко (настоящая фамилия Ерухимович; 1912–1960). Речь идет о драме «Ленинградская симфония» (1956).

«Разделили ризы твои и об одежде твоей бросили жребий...» — Ср.: «Делили одежды Его, бросая жребий» (Мф. 27:35; Лк. 23:34), «бросим о нем жребий, чей будет... об одежде Моей бросали жребий» (Ин. 19:24).

С. 569

В «Новом мире» отрекаются от Дудинцева и Гранина... — Речь идет о статье В. Озерова «Ум, честь и совесть нашей эпохи: Всегда с народом, всегда с партией», в которой было указано: «Ведь ревизионисты разных мастей выступают как против принципа партийной литературы, так и против стремления советских писателей воспеть работу партии по строительству новой жизни. Да и у нас появились произведения, заслуженно осужденные советской общественностью. Вслед за “обличительными” пьесами, выставившими руководящие кадры Советского государства оголтелыми бюро-

кратами и перерожденцами, увидел свет роман В. Дудинцева “Не хлебом единым”, где вообще не нашлось места для созидательной деятельности партийной организации, зато вовсю действуют всеильные чинуши...” (Новый мир. 1957. № 10. С. 215).

С. 571

...спешащей догнать и перегнать Америку... — Часто цитируемые слова «догнать и перегнать» из работы «Грозная катастрофа и как с ней бороться» (1917) В.И. Ленина в интерпретации Н.С. Хрущева обрели название страны, антагониста в холодной войне.

С. 572

...вспышка первой атомной бомбы была ярче солнечного света. — Речь идет об атомных бомбежках японских городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. 25 сентября 1949 г. ТАСС сообщил о первом взрыве советской атомной бомбы (произведен 29 августа 1949 г. в Семипалатинске).

...«Свадьбу в Малиновке». — Музыкальная комедия режиссера Андрея Петровича Тutyшкина (1910–1971), по одноименной оперетте Бориса Александровича Александрова (1905–1994); в прокате 1967 г. фильм занял второе место.

Сегодня и в «Литературке» — изложение доклада т<оварища> Спиридонова... — Иван Васильевич Спиридонов (1905–1991), 1-й секретарь Ленинградского обкома КПСС. В данном случае речь идет о публикации тезисов его выступления на пленуме Ленинградского горкома партии: [Б. п.] С позиций партийности // Литературная газета. 1957. 12 октября. № 123. С. 2.

Испугалась за детей... — Речь идет о детях М.И. Алигер: Татьяне Константиновне Макаровой-Ракитиной (1940–1974), дочери Алигер и композитора Константина Дмитриевича Макарова-Ракитина (1912–1941); Марии Александровне Алигер (по мужу Энценсбергер; 1943–1991), дочери Алигер и А.А. Фадеева.

С. 573

...договорюсь с Жежеленко. — Вероятно, Леонид Михайлович Жежеленко (1903–1970), драматург, сценарист; член ССП.

С. 574

...министра Зуевой... — Татьяна Михайловна Зуева (1905–1969), министр культуры РСФСР (1953–1958).

С. 575

...С. Воронин, докладавший о лит<ерату>ре... — Сергей Алексеевич Воронин (1913–2002), писатель, главный редактор журнала «Нева».

«Да был ли мальчик-то? Может, мальчика и не было?» — Цитата из первой части романа «Жизнь Клима Самгина» (1927) М. Горького.

С. 576

Была «Литературка» с моей статьей... — Речь идет о статье: Берггольц О. О литературе периода Великой Отечественной войны // Литературная газета. 1957. 15 октября.

...статья Арагона в защиту статьи Эренбурга о Стендале... — Речь идет о статье Л. Арагона «Стендаль в СССР и живое зеркало» в газете «Les Lettres françaises» (1957. 1–5 сентября), направленной в поддержку статьи И. Г. Эренбурга «Уроки Стендаля», опубликованной в журнале «Иностранная литература» (1957. № 6). Подробнее см.: Я слышу все...: почта Ильи Эренбурга, 1916–1967 / сост. Б. Я. Фрезинский. М., 2006. С. 362–364.

Стендаль (настоящие имя и фамилия Мари-Анри Бейль; 1783–1842), французский писатель.

С. 577

Промчится тяжелое ≈ друг друга — Неточная цитата из стихотворения «Сомнение» («Уймись, волнения страсти...»; 1838) Нестора Васильевича Кукольника (1809–1868). Правильно: «Минует печальное время...»

Эпохи НЭПа. — Новая экономическая политика (НЭП) была провозглашена на X съезде РКП(б), проходившем 8–16 марта 1921 г. в Москве. Переход от политики военного коммунизма к новой экономической политике был одним из центральных вопросов съезда.

Дядя Леша — Федин. — Алексей Семенович Федин, рабочий завода «Электросила». О. Ф. Берггольц называла его своим крестным: он рекомендовал ее в партию. Вот как она писала о Федине в своей книге «Говорит Ленинград» (Л., 1946): «Могучий, высокий плотный старик с пышными запорожскими усами, старый забастовщик и пикетчик, старый красногвардеец, создатель одного из первых ФЗУ в Ленинграде — таким я встретила его, когда впервые пришла на “Электросилу”. Мы хорошо дружили, он много важного и ценного рассказал мне для истории завода. Я видела его последний раз на заводе в феврале 1942 года, в один из самых страшных месяцев блокады». Федин погиб во время бомбежки. Также о нем см.: Арсенал электрификации. Краткий очерк истории Ленинградского завода «Электросила» им. С. М. Кирова. Л., 1960. С. 94–96.

Чапельников. — Тимофей Чапельников, обмотчик на заводе «Электросила». О нем см.: Берггольц О. Сердце завода: Глава из истории завода «Электросила» // Ленинградский альманах. 1958. Кн. 15. С. 13–22.

«Мадрид взят?» — Именно таким вопросом М. И. Коршунова (см. о ней коммент. к с. 247) встретила О. Ф. Берггольц, когда та впервые вошла в камеру.

С. 578

«Коммунист № 1»... — В первом номере журнала «Коммунист» за 1959 г были представлены материалы по обсуждению тезисов доклада Н.С. Хрущева, сделанного на XXI съезде КПСС: статьи Ф.В. Константинова «Новый период в строительстве коммунизма», Н.В. Подгорного «Украина в семилетке», А.А. Андреева «Рост народного благосостояния и работа советом депутатов трудящихся», А.Н. Несмеянова «Наука и строительство коммунизма», Л.М. Гатовского «Социалистический принцип материальной заинтересованности и использование товарно-денежных отношений», В.С. Немчинова «Некоторые проблемы планирования народного хозяйства», Е.Г. Либермана «Об экономических рычагах выполнения плана промышленностью СССР», А.Р. Бессуднова и А. Лоцакова «Семилетка и экономическое сотрудничество социалистических стран».

...его поездки в США. — Поездка Н.С. Хрущева в США состоялась в сентябре 1959 г как ответный визит после приезда вице-президента США Р. Никсона в Москву.

«Коммунисты, вперед». — Название баллады (1950) Александра Петровича Межирова (1923–2009)

Мы из Кронштадта — Художественный фильм 1936 г; производство киностудии «Мосфильм». Режиссер — Ефим Львович Дзиган (1896–1981) по сценарию и одноименной пьесе В.В. Вишневского.

С. 579

Привет от Лиходеева и Е.Д. Суркова — Леонид Израилевич Лиходеев (настоящая фамилия Лидес; 1921–1994), писатель; Евгений Данилович Сурков (1915–1988), литературный и театральный критик.

Благой Д<митрий> Д<митриеви>ч, Смирнова Вера Васильевна> Шторм Георгий Петрович> — Дмитрий Дмитриевич Благой (1893–1984), литературовед; Вера Васильевна Смирнова (1898–1977), детская писательница, литературный критик; Георгий Петрович Шторм (1898–1978), писатель, историк литературы.

Эсфирь Евсеевна Рапопорт писала книгу о Кетлинской. — См.: *Рапопорт Э. Вера Кетлинская.* Л., 1958.

С. 580

Эллочка не отставала ≈ не отстает. — Интерпретация поведения героини романа «12 стульев» И. Ильфа и Е. Петрова.

«Ну, что, брат Пушкин?» — «Да все как-то так, брат». — Ставшая крылатой цитата из комедии «Ревизор» (1835–1836) Н.В. Гоголя.

...Вишневский, А. Прокофьев; они — участники граж<анской> войны... — В.В. Вишневский служил политработником на флоте; А.А. Прокофьев воевал против Н.Н. Юденича, позднее заведовал гарнизонным клубом на Новой Ладого.

1958 год

6/III-58 (с. 585–596).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 370. Л. 56–64 об.).

Датируется с 6 марта по 22 июля 1958 г

С. 586

...«страшная свиная харя ≈ “А что вы тут делаете, добрые люди?”» — Неточная цитата из рассказа «Сорочинская ярмарка» (1831) Н.В. Гоголя. Правильно: «Страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, как будто спрашивая: а что вы тут делаете, добрые люди?»

...в «Новом мире» вернувшийся туда Твардовский... — А.Т. Твардовский вернулся в редакцию журнала «Новый мир» в качестве главного редактора после XX съезда партии, в 1958 г.

...первый секретарь горкома товарищ Родионов. — Николай Николаевич Родионов (1915–1999), в 1954–1956 г. 2-й секретарь, в 1957–1960 гг. — 1-й секретарь Ленинградского горкома КПСС.

Борис, Борис! ≈ от божьего суда. — Цит. драма «Борис Годунов» (1825) А.С. Пушкина.

С. 587

...дочитала «Жестокость» Павла Нилина... — Повесть «Жестокость» (1956) Павла Филипповича Нилина (1908–1981).

...о Фонвизине... — Денис Иванович Фонвизин (1745–1792), литератор, создатель русской бытовой комедии.

С. 589

...анкилоз эгоизма. — Анкилоз, неподвижность суставов вследствие сращения суставных поверхностей; в данном случае используется в переносном смысле патологический процесс непоколебимости эгоизма.

«И мщенье ≈ ожесточенного страданья...» — Цит. стихотворение «Все в жертву памяти твоей...» (1825) А.С. Пушкина.

Вперед, вперед, моя история! — Цит. роман в стихах «Евгений Онегин» (1823–1831) А.С. Пушкина.

...tbc... — Принятое медицинское сокращение для диагноза «туберкулез» (tuberculosis).

И ведаю ≈ улыбкою прощальной... — Неточная цитата из «Элегии» («Безумных лет угасшее веселье...»; 1830) А.С. Пушкина.

С. 590

...«В Булонь, в Булонь!» — Цит. повесть «Кроткая» (1876) Ф. М. Достоевского.

И если радостно ≈ звезды и певец... — Неточная цитата из стихотворения «Отравлен хлеб, и воздух выпит...» (1913) О. Э. Мандельштама. Правильно: «И, если подлинно поется...»

...это Майя Смородина ≈ было с Петром Смородиным. — Майя Петровна Смородина (род. в 1924 г.), дочь П. И. Смородина. Петр Иванович Смородин (1897–1939), с 1937 г. 2-й секретарь Ленинградского обкома ВКП(б), с 1930 г. кандидат в члены ЦК ВКП(б); с августа 1937 г. 1-й секретарь Сталинградского обкома ВКП(б). В июле 1938 г. арестован, в феврале 1939 г. приговорен к расстрелу. Реабилитирован 1 декабря 1954 г.; в партийном порядке — 22 марта 1956 г.

Но продуман ≈ во всех пяти... — Неточная цитата из стихотворения «Гамлет» (1946) Б. Л. Пастернака. Правильно: «Но продуман распорядок действий, / И неотвратим конец пути».

...что Ал<ексан>др Ник<олаевич> Кузнецов ≈ с Куусиненом пишет учебник истории партии... — А. Н. Кузнецов, с 1957 г. 1-й заместитель председателя Комитета по культурным связям с зарубежными странами при Совете министров СССР; Отто Вильгельмович Куусинен (1881–1964), теоретик марксизма; автор учебника «Основы марксизма-ленинизма». Замысел остался нереализованным.

...много пелестрадал. — Отсылка к роману «Анна Каренина» (1873–1877; ч. 4, гл. 4) Л. Н. Толстого. Ср.: «Вам все равно, что вся жизнь его рушилась, что он пеле... педе... пелестрадал».

С. 591

...хорошо относившийся ко мне Л. Ф. Ильичев... — Леонид Федорович Ильичев (1906–1990), философ; с 1953 г. заведующий отделом печати Министерства иностранных дел, с 1958 г. заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС.

...донос от Сытина... — Виктор Александрович Сытин (1907–1991), писатель, заместитель главного редактора издательства «Советский писатель»; секретарь партийной организации Московского отделения ССП.

...за книжкой Надьки Верховской... — Надежда Павловна Верховская (1909–?), журналистка. О какой именно книге идет речь, не выяснено: в 1957 г. были выпущены ее повесть «Место в жизни» и роман «Молодая Волга».

С. 592

...по поводу Ливанско-иракских событий. — Вероятно, речь идет о событиях 1958 г. на Ближнем Востоке: ливанском кризисе, вызванном политической и религиозной напряженностью в стране, и Революции 14 июля в Ираке, закончившейся расстрелом королевской семьи и установлением республиканской формы правления.

Все души ≈ некого терять... — Цит. стихотворение «Все души милых на высоких звездах...» (1921) А. А. Ахматовой.

С. 593

...после XX съезда ≈ в драку за него... — 15 июня 1956 г. О. Ф. Берггольц выступила на заседании писателей в Центральном доме литераторов с докладом, в котором она, в частности, подняла вопрос о М. М. Зощенко: «М. М. Зощенко имеет полное право на существование в советской литературе, и я не думаю, чтобы мне надо было здесь защищать его как писателя... <...> ...Через десять лет после их опубликования я перечла с карандашом в руках эти постановления, подходя к ним в свете решений XX съезда, под знаком возвращения к ленинским нормам партийной жизни, к ленинским нормам в области руководства искусством и т. д. Думаю, что это должны сделать и писатели, и руководство.

Для начала я перечла рассказ «Обезьянка». Исключайте меня из Союза писателей, но я там ничего потрясающего основы, ничего крамольного не нашла. Вот история этого рассказа: в 1944 году, еще во время войны, рассказ был напечатан в «Мурзилке». И все было в порядке, никто не обратил на него внимания, никакого исторического потрясения не произошло, страна наша победно завершила войну, приступила к восстановлению.

Но в середине 1946 года Саянову и Прокофьеву пришла в голову мысль перепечатать эту «Обезьянку» в «Звезде» № 5–6 под рубрикой «Новинки детской литературы». Журнал попался на глаза Сталину, и вот возникла история, обрушились на детский рассказ грома и молнии, обвинения во всех грехах, вплоть до таинственного наплевизма. Бедная мартышка, которая скачет по людским головам, не желая стоять в очереди, вырывает из рук бабушки конфетку и т. д., превращена в постановлении в целую философскую категорию, вокруг нее строится целая концепция, она представлена как некое «разумное начало»! И на основании этого измышления говорится о Зощенко как о «пошляке», о «хулигане», о «пасквилянте», о «подонке» — оскорбляются все писатели, ибо говорится о «подонках литературы подобных Зощенко», во множественном числе. <...> ...Вот — самое страшное, что под этим постановлением и под тем докладом Жданова, который читался по этому постановлению, мы живем до сих пор...» (цит. по: Золотоносов М. Н. Гадюшник: Ленинградская писательская организация: Избранные стенограммы с комментариями. СПб., 2013. С. 231).

...пересмотра знаменитого постановления и доклада Жданова... — Речь идет о Постановлении Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»», принятом 14 августа 1946 г. и докладе А. А. Жданова, прочитанном 16 августа 1946 г. на общегородском собрании писателей, работников литературы и издательства.

С. 594

Письмо-стихи от В. Орлова. — Владимир Натанович Орлов (1930–1999), поэт, драматург.

...сдать Борьке Лихареву главы истории... — Речь идет о публикации статьи О. Ф. Берггольц в «Ленинградском альманахе», главным редактором которого был Б. М. Лихарев; см.: *Берггольц О.* Сердце завода: Глава из истории завода «Электросила» // Ленинградский альманах. 1958. Кн. 15. С. 13–22.

...крамольниковское «не нужно»... — Герой сказки-элегии «Приключение с Крамольниковым» (1886) из цикла «Сказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина.

...визг вокруг картин, где главным героем был Сталин... — В иконографии И. В. Сталина можно упомянуть следующие картины: «Ленин и Сталин в Разливе» Петра Васильевича Васильева (1899–1937); «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле» (1938), «Выступление И. В. Сталина на 16-м съезде ВКП(б)» (1933) Александра Михайловича Герасимова (1881–1963); «Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин» Федора Павловича Решетникова (1906–1988) и др.

...вонючим романом Кочетова... — Речь идет о романе «Братья Ершовы» (1958) Всеволода Анисимовича Кочетова (1912–1973). Свой роман Кочетов задумывал как антитезу роману В. Д. Дудинцева «Не хлебом единым».

Дай гневу = копиться и гореть. — Цит. стихотворение «Да. Так диктует вдохнове- нье...» (1911–1914) А. А. Блока.

С. 595

...«Хвалу и клевету приемли равнодушно»... — Цит. стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836) А. С. Пушкина.

«Ты сам свой высший суд». — Цит. стихотворение «Поэту» («Поэт! Не дорожи любовью народной...»; 1830) А. С. Пушкина.

1959 год

21 <июня> — 59. Воскресенье. Переделкино (с. 599–603).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 370. Л. 65–72).

Датируется 21 июня 1959 г.

Я ехала твоей дорогой... (с. 603).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 376. Л. 11–13).

Датируется 1959 г.

С. 599

Переделжино. — Дачный поселок, расположенный на территории поселения Внуковское Московской области. В 1934 г. по совету М. Горького, правительство выделило здесь земли под постройку городка писателей. В 1988 г. решением Мособлисполкома поселку присвоен статус историко-культурного заповедника.

«...Петр Иванович Добчинский». — Персонаж комедии «Ревизор» (1836) Н. В. Гоголя.

С. 600

...над сборником материалов о Радищеве... — Первая книга Г. П. Макогоненко о творчестве Александра Николаевича Радищева (1749–1802) вышла в 1949 г.: «А. Н. Радищев. Очерк жизни и творчества». В 1956 г. он защитил докторскую диссертацию по теме «А. Н. Радищев и его время».

Мавра сделала свое дело, — Мавра может уйти. — Неточная цитата из драмы «Заговор Фиеско в Генуе» (1783) Фридриха Шиллера (1759–1805). Правильно: «Мавр сделал свое дело — мавр может уходить».

Если Вы хотите ≈ М. Твен. — Марк Твен (настоящие имя и фамилия Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс; 1835–1910), американский писатель, журналист, общественный деятель. Неясно, о какой цитате идет речь.

С. 601

Любовь ≈ другу удивленьи... — Цит. стихотворение О. Ф. Берггольц «Кара-Даг» (из цикла «Путешествие»). Впервые опублик.: Звезда. 1936. № 8. С. 101.

...«Писатель не ищет истины, он ее создает». — Неточная цитата из очерка «О С. А. Толстой» (опубл. в 1924 г.) М. Горького. Правильно: «Художник не ищет истины, он создает ее».

С. 602

...проскочил мой «Поход» в «Новом мире»... — Предположительно, речь идет об очерке «Поездка прошлого года» (Новый мир. 1954. № 10. С. 122–148). В конце 1954 г. А. Т. Твардовский был снят с должности главного редактора журнала «Новый мир».

С. 603

Поезд Москва-Пекин. — На поезде по маршруту Москва–Пекин О. Ф. Берггольц добиралась до Красноярска. Впечатления от поездки были отражены ею в очерке «На Енисее: Письма после дороги» (Литературная газета. 1959. 25 июня — 2 июля. № 18).

Биография Федина, Личнова, Мызникова. — Рабочие завода «Электросила». Об А. С. Федине см. коммент. к с. 577. Также см.: Берггольц О. Ф. Мой днев-

ник. М., 2017. Т. 2: 1930–1941. С. 144, 249 (здесь фамилии указаны иначе — Личков, Мызнинов).

1960 год

Дневник периода работы... (с. 607–612).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 377. Л. 1–5).

Датируется с 21 апреля по 7 мая 1960 г.

20/VI-60. Год назад Юра ушел... (с. 612–613).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 366. Л. 31–39).

Датируется 20 июня 1960 г.

В тетрадь вложены: вырезка из газеты с шаржами, в том числе на О.Ф. Берггольц; билет на поезд № 1 от 19 октября 1946 г.; листовка «Фландрская цепь счастья», записанная неустановленным лицом; записи номеров телефонов.

20/VII-60 (с. 613–615).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 377. Л. 6–7 об.).

Датируется 20 июля 1960 г.

С. 607

21 апреля 1960 года ≈ приехала в Малеевку... — В дневниковых записях с апреля по май 1960 г. отражена работа О.Ф. Берггольц над книгой «Доброе утро»; упоминаемое место — Дом творчества писателей «Малеевка», который находился в Рузском районе Московской области.

Вполоборота, о печаль, На равнодушных поглядела... — Цит. стихотворение «Ахматова» (1913) О.Э. Мандельштама.

...до моего бывшего ≈ мужа... — 26 марта 1959 г. у Г.П. Макогоненко и Л.С. Максимовой родилась дочь Дарья. С этого времени О.Ф. Берггольц и Макогоненко стали жить раздельно; официальный развод состоялся 3 февраля 1962 г.

С. 608

...«срыванием цветов удовольствия»... — Неточная цитата слов Хлестакова, героя комедии «Ревизор» (1836) Н.В. Гоголя.

...гоголевский Чертков перед созданием неизвестного молодого художника. — Герой повести «Портрет» (1833–1834) Н.В. Гоголя.

...имели «Дневные звезды», в особенности же «Поход»... — Речь идет об изданиях: Берггольц Ф. Дневные звезды. Л., 1959; Она же. Поход за Невскую заставу // Но-

вый мир. 1959. № 7. С. 6–61. На эти книги автора были написаны благожелательные рецензии: *Кузнецов Ф.* Сохранить добрую традицию // Литературная газета. 1959. 11 июля; *Дымшиц А.* Проза поэта // Ленинградская правда. 1959. 19 июля; *Солоухин В.* Дневные звезды // Литературная газета. 1959. 20 августа; *Эльсберг Я.* О политике и человечности // Знамя. 1959. № 10. С. 203–205; *Кальма Н.* Большая женская книга // Известия. 1960. 3 марта; и др.

...когда хвалили «Первороссийск»... — Речь идет о рецензиях на поэму «Первороссийск» (1951): *Паперный З.* О поэтическом мастерстве // Знамя. 1951. № 2. С. 172–174; *Елизаров С.* За новые успехи советской литературы // Литература в школе. 1952. № 4. С. 59; *Григорьев А.* Поэма о строителях коммунизма // Советское Закарпатье. 1951. 7 июня; *Лукин Ю.* Связь времен // Выдающиеся произведения советской литературы 1950 года. М., 1952. С. 386–397; и др. Рецензент Т. Хмельницкая писала: «Живое ощущение истории, как неразрывной связи прошлого с настоящим и будущим, как поступательного движения времени к конечному торжеству коммунизма, последовательно, убедительно и сильно раскрывается в новой поэме Ольги Берггольц» (*Хмельницкая Т.* Живая история: Поэма О. Берггольц «Первороссийск» // Звезда. 1951. № 2. С. 169). Критик последовательно проанализировала характерные особенности творческой манеры поэтессы: «О чем бы ни писала Берггольц, она всегда в немногих, сгущенных деталях умеет воссоздать характер описываемого времени. <...> Умение жить будущим в самые трудные, напряженные дни, полные жестоких страданий и борьбы, — основной пафос поэзии Берггольц. Слияние личного и общего, одной конкретной биографии и огромного исторического охвата событий, органическое слияние своей судьбы и судьбы страны — характерная особенность всей советской литературы и творчества Берггольц в частности. <...> Берггольц в своей поэме, исполненной целеустремленной мысли и горячего чувства, владеет достаточным богатством выразительных средств» (С. 170, 171). Свое мнение о поэме рецензент выразила так: «“Первороссийск” — поэма умная и суровая по замыслу, по мужественности мыслей и чувств, в нее вложенных...» (С. 172).

С. 609

...«а вот еще турецкие зверства». — Крылатое выражение; цитата из рассказа «Озорник» (1897) М. Горького: «Под носом у себя никаких зверств не видите, а про турецкие зверства очень хорошо рассказываете».

...«умри, Денис, лучше не напишешь». — Слова, приписываемые Григорию Александровичу Потемкину (1739–1791), которые были сказаны Д. И. Фонвизину (1745–1792) после премьеры пьесы «Недоросль», состоявшейся в 1782 г.

...Флора Сырникова, искусствовед... — Так в тексте. Вероятно, речь идет о Флоре Яковлевне Сыркиной (1920–2000), театроведе, историке искусства.

...«верую величию сердца человеческого». — Цит. стихотворение «Революция. Поэтохроника» (1917) В.В. Маяковского.

...из «Литературной газеты» ≈ к 1 мая. — В выпуске, посвященном Первомайским праздникам, произведения О.Ф. Берггольц не были напечатаны; она опубликовала в газете очерк «Доброе утро, люди» 25 июня и стихотворение «А я вам говорю, что нет...» 8 октября 1960 г.

С. 610

...книга Рея Бредбери — «451 по Фаренгейту». — Рей Дуглас Бредбери (1920–2012), американский писатель, классик научной фантастики; автор романа «451 градус по Фаренгейту» (1951).

...отстужаю письмо Наташке Банк... — Наталья Борисовна Банк, автор книги «Ольга Берггольц. Критико-библиографический очерк» (1962). Архив Н.Б. Банк хранится в РНБ (Ф. 1397).

В журнал-то пойдет... — Предположительно, речь идет о статье: Берггольц О. Ленинский призыв // Звезда. 1960. № 4. С. 7–16.

...разговор с Вовкой Ермиловым и его Лорой... — Литературовед, критик Владимир Владимирович Ермилов (1904–1965) и его жена Лариса Яковлевна (род. в 1928 г.), специалист по русской литературе XIX в. и психологии художественного творчества.

...о второй части «Поднятой целины». — Второй том романа «Поднятая целина» (1930–1959) М.А. Шолохова был опубликован в 1959 г.

С. 611

...Фрадой Беспаловой... — Вероятно, Фрада Григорьевна Беспалова (1903–?), вдова репрессированного главного редактора Гослитиздата Ивана Михайловича Беспалова (1900–1937).

...«я долго жил — я жил в плену»... — Неточная цитата из поэмы «Мцыри» (1839) М.Ю. Лермонтова. Правильно: «Я мало жил...»

...сказал Радов... — Георгий Георгиевич Радов (настоящая фамилия Вельш; 1915–1976), очеркист; редактор «Литературной газеты». В данном случае речь идет о несостоявшейся публикации материалов О.Ф. Берггольц в первомайском выпуске «Литературной газеты».

...связаться с Рябчиковым и «Известиями». — Евгений Иванович Рябчиков (1909–1996), публицист, редактор «Литературной газеты»; с мая 1960 г. — газеты «Литература и жизнь». Публикация материалов самой О.Ф. Берггольц не состоялась, однако 15 мая 1960 г. газета напечатала статью Ал. Дымшица «От сердца к сердцу», посвященную поэтессе. В газете «Известия» в 1960 г. произведения Берггольц не публиковались.

«Как я хочу безумно жить!» — Неточная цитата из стихотворения «О! я хочу безумно жить...» (1914) А.А. Блока.

...с орденишком к юбилею... — О. Ф. Берггольц была награждена орденом Ленина в 1968 г.

С. 612

...речь Хрущева в Баку относительно Берлина... — Речь была произнесена Н. С. Хрущевым 25 октября 1960 г.

...продал его ≈ не-чечевичную похлебку. — Аллюзия на цитату из Библии об Исаве, продавшем свое первородство за чечевичную похлебку. Ср.: Быт. 25:31–34.

С. 614

Читая роман Кетли... — Предположительно, роман «Иначе жить не стоит» (1960) В. К. Кетлинской.

...роман о «Цехе фантазеров»... — Нереализованный проект О. Ф. Берггольц 1930-х гг.

...работы над «Доброе утро»... — Речь идет о работе О. Ф. Берггольц над главой «Доброе утро, люди», вошедшей в состав «Дневных звезд».

...Кастро... — Фидель Алехандро Кастро Рус (1926–2016), майор Революционных вооруженных сил Кубы, с октября 1965 г. 1-й секретарь ЦК Компартии Кубы.

...У-Ну... — У Ну (1907–1995), премьер-министр Бирмы с 1948 по 1962 г.

...демонстрировали против лорда Керзона... — Джордж Натаниел Керзон (1859–1925), министр иностранных дел Великобритании. Речь идет о демонстрациях в ответ на его ультиматум советскому правительству 8 мая 1923 г., где Керзон грозил разорвать отношения с СССР в связи с политикой, подрывающей интересы Великобритании.

1963–1964 годы

5/IV-63. У Анны Ахматовой (с. 619–621).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 377. Л. 8–11).

Датируется с 5 апреля по 9 июня 1963 г.

1964 год

Итак, уже 27 октября (с. 621–623).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 377. Л. 12–13 об).

Датируется 27 октября 1964 г.

С. 619

- ...написать о передаче Анны Ахматовой из квартиры Зощенко... — Эпизод с записью выступления А. А. Ахматовой в конце сентября 1941 г. вошел в книгу О. Ф. Берггольц «Говорит Ленинград».
- ...подарит мне экземпляр «Реквиема». — Речь идет о цикле-поэме А. А. Ахматовой «Реквием» (1935–1940); в 1962 г. Ахматова передала текст поэмы для публикации в журнал «Новый мир», однако публикация не состоялась. «Реквием» был впервые издан в Мюнхене в 1963 г., в СССР — в 1987 г. (Октябрь. 1987. № 3).
- ...письмо и книги А. Н. Кузнецову ≈ за памятник... — А. Н. Кузнецов с 1959 г. был первым заместителем министра культуры СССР; с 1960 г. член Государственного комитета Совета министров по культурным связям с зарубежными странами; в частности, ему могли быть отправлены статьи: Берггольц О. Прост и величав, как подвиг [О будущем памятнике защитникам Ленинграда] // Вечерний Ленинград. 1963. 28 марта; Она же. Не реквием, а гимн мужеству [Ответ на анкету «Каким должен быть памятник героическим защитникам г. Ленина»] // Смена. 1963. 5 апреля.

С. 620

- ...как у Крамольникова... — Герой сказки-элегии «Приключение с Крамольниковым» (1886) из цикла «Сказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина.
- ...с ужасом и отвращением ждем очередного пленума ЦК по идеологическим вопросам... — Речь идет о пленуме, созываемом Идеологической комиссией ЦК КПСС. Первая комиссия была образована решением Президиума ЦК КПСС от 3 января 1958 г. и «имела задачи изучения проблем международной пропаганды, теоретических вопросов международного рабочего движения, “наблюдения” за освещением этих вопросов в печати и осуществлением контроля за политической направленностью деятельности Совинформбюро, Государственного комитета по культурным связям с зарубежными странами, радиопередачами за границу и, в более широком плане, — за состоянием дел, событиями в области науки, литературы, искусства, имеющими политическое или идеологическое звучание» (Идеологические комиссии ЦК КПСС 1958–1964: Документы. М., 1998. С. 25). Председателем комиссии был назначен М. А. Суслов; в состав комиссии входили П. Н. Поспелов, Н. А. Мухитдинов, О. В. Куусинен и Е. А. Фурцева.

С. 621

- ...«дерзко бросить им в глаза железный стих»... — Цит. стихотворение «Как часто пестрою толпою окружен...» (1840) М. Ю. Лермонтова.
- ...сдать очерк Васильеву... — Александр Николаевич Васильев (1903–1982), с ноября 1954 г. заведующий отделением «Литературной газеты» в Ленинграде. В данном случае речь идет о несостоявшейся публикации.

- ...написать заявку по «Первороссийску». — В 1963 г поэма не выходила отдельным изданием.
- ...выправить свое предисловие к «Говорит Ленинград»... — Речь идет о переработке предисловия к книге «Говорит Ленинград» в сборнике «Стихи — Проза» (М.; Л., 1961) для издания: *Берггольц О. Говорит Ленинград... Главы из книги. М., 1964.*
- О, Господи ≈ моей развей... — Цит. стихотворение «Есть и в моем страдальческом застое...» (1865) Ф.И. Тютчева.

С. 622

- ...смерть Миши Светлова... — Михаил Аркадьевич Светлов (настоящая фамилия Шейнкман; 1903–1964), поэт; О.Ф. Берггольц посвятила ему стихотворение «Михайлу Светлову» (Юность. 1964. № 11. С. 49).
- ...этот кавардак с Пленумом, снятием Хрущева... — В ночь с 13 на 14 октября 1964 г. Пленум ЦК КПСС освободил только что вернувшегося с летнего отдыха в Пицунде Н.С. Хрущева от занимаемых партийных и государственных постов. 1-м секретарем ЦК КПСС был назначен Л.И. Брежнев (подробнее см.: *Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953–1964 гг. 2-е изд., испр. и доп. М., 2010.*)
- ...«Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас!» — Цит. стихотворение «Поэт и толпа» (1828) А.С. Пушкина.
- ...«еще один ненастный день потух»... — Неточная цитата из стихотворения «Ненастный день потух; ненастной ночи мгла...» (1824) А.С. Пушкина.

1965–1966 годы

И облака под их ногами... (с. 627–630).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 377. Л. 14–21).
Датируется с 12 по 23 февраля 1965 г

8/II-66. О. В <ерггольц> (с. 630).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 377. Л. 19–21).
Датируется 8 февраля 1966 г

С. 627

- ...картина художника, которому завидовал Чертков... — Герой повести «Портрет» (1833–1834) Н.В. Гоголя.

И только ≈ склонив колено... — Цит. стихотворение О. Ф. Берггольц «Прошло полгода молчанья...» (1947).

С. 628

- ...рецензию на «Жаворонок»...** — «Жаворонок», художественный фильм 1964 г.; производство киностудии «Ленфильм». Режиссеры — Никита Федорович Курихин (1922–1968) и Леонид Исаакович Менакер (1929–2012); сценарий Михаила Александровича Дудина (1916–1993) и Сергея Сергеевича Орлова (1921–1977). В данном случае речь идет о рецензии: Берггольц О. А был он лишь солдат [О кинофильме «Жаворонок»] // Литературная газета. 1965. 13 марта.
- ...смотреть Мишкин фильм...** — Речь идет о художественном фильме «Жаворонок».
- ...придет Митька Хренков...** — Дмитрий Терентьевич Хренков (1919–2002), заведующий корпусом «Литературной газеты» в Ленинграде; автор книги «От сердца к сердцу: о жизни и творчестве Ольги Берггольц» (Л., 1982).

С. 629

- ...расторопный Ермилов ≈ разоблачил и т. д.** — Речь идет о выступлении В. В. Ермилова (см. о нем коммент. к с. 610) на II съезде писателей РСФСР.
- ...генерала Карбышева.** — Дмитрий Михайлович Карбышев (1880–1945), генерал-лейтенант инженерных войск, в августе 1941 г. тяжело контуженный попал в плен; замучен в гитлеровском концлагере Маутхаузен.

С. 630

На съезд — Речь идет о предстоящем XXIII съезде КПСС (29 марта — 8 апреля 1966 г.).

С. 631

- ...с Бул<аниным>** — Николай Александрович Булганин (1895–1975), государственный деятель. Член Президиума/Политбюро ЦК ВКП(б)/КПСС (1948–1958); Маршал Советского Союза (1947; лишен звания в 1958 г.). Председатель Совета министров СССР (1955–1958).
- В. Смирнова...** — Василий Александрович Смирнов (1904/05–1979), в 1954–1959 гг. секретарь правления ССП.
- Не прошли на съезд Грибачев, Дымшиц, Софронов, Соболев Леон<ид>...** — Речь идет о выборах делегатов на V съезд писателей СССР. Н. М. Грибачев (см. о нем коммент. к с. 414); Александр Львович Дымшиц (1910–1975), литературовед, заместитель директора ИМЛИ им. А. М. Горького РАН; А. В. Софронов (см. о нем коммент. к с. 480); Леонид Сергеевич Соболев (1898–1971), писатель, в 1957–1970 гг. председатель правления Союза писателей РСФСР.

1971 год

<1 мая 1971 г> **Martin Sendrow (с. 635).**

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 378. Л. 16).

Датируется 1 мая 1971 г.

6/V-71 (с. 635).

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 377. Л. 22).

Датируется 6 мая 1971 г.

<1971> **Маршак сказал... (с. 635–644).**

Публикуется впервые по автографу (РГАЛИ. Ф. 2888. Оп. 1. Ед. хр. 378. Л. 1–15, 17–28).

Датируется 1971 г.

С. 635

...позвонила тетка... — Валентина Тимофеевна Иванова (урожденная Грустилина; 1897–1987).

...стихи Лопуховой обо мне... — Лидия Петровна Лопухова (по мужу Дементьева; 1930–2001), поэтесса, журналист. Речь идет о стихотворении: *Лопухова Л. Ольге Берггольц («Благослови на мужество меня...»)* // Лопухова Л. Строки любви и тревоги. Горький, 1971. С. 17–18.

Маршак... занимался с сыном... — Самуил Яковлевич Маршак (1887–1964), поэт, драматург, переводчик; Иммануэль Самойлович Маршак (1917–1977), физик; сын С. Я. Маршака.

С. 636

Большое поколение мое... — Предположительно, речь о замысле книги воспоминаний о современниках и учителях О. Ф. Берггольц; первоначальное название книги «Великие поэты века». Однако, рассказывая о своих творческих планах, Берггольц, в частности, остановилась более подробно на этом замысле: «Я работаю сейчас над книгой “Поэзия большого поколенья”. Название — строчка из стихов Б. Корнилова “Я своему большому поколенью большое предпочтенье отдаю...” <...> Я счастлива, что была ученицей и другом многих выдающихся людей. Достаточно сказать, что моими первыми учителям были Самуил Маршак, Корней Чуковский, Николай Тихонов, Анна Ахматова. Целую главу моей жизни составляет дружба с Алексеем Максимовичем Горьким. Я хорошо знала таких поэтов, как Владимир Луговской, Борис Корнилов, Ярослав Смеляков. Особым человеком в моей судьбе стал Александр Твардовский, который опубликовал в “Новом мире” “Дневные звезды” и до самого последнего момента оставался моим большим и благородным другом» (*Берггольц О. [О своей творческой рабо-*

те ответы на вопросы редакции] // Литературная газета. 1973. 1 января. № 1. С. 6). Замысел реализован не был.

...**Луговской** — Владимир Александрович Луговской (1901–1957), поэт.

Антокольский — Вероятно, Павел Григорьевич Антокольский (1896–1978), поэт, переводчик, драматург.

Асеев — Николай Николаевич Асеев (1889–1963), поэт, переводчик, сценарист.

...**Золя**. — Эмиль Золя (1840–1902), французский писатель, публицист, политический деятель.

«**Купание розового красного коня**». — Речь идет о картине «Купание красного коня» (1912) Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878–1939). В 1914 г. полотно было отправлено на «балтийскую выставку» в г. Мальмё. Наступившая вскоре Первая мировая война привела к тому, что картина осталась на долгое время в Швейцарии. Только в 1950 г. она в числе других полотен вернулась в СССР. Вдова художника М. Ф. Петрова-Водкина передала эту картину коллекционеру К. К. Басевич, которая, в свою очередь, в 1961 г. преподнесла ее в дар Третьяковской галерее.

Эдуард Багрицкий — Эдуард Георгиевич Багрицкий (настоящая фамилия Дзюбин (Дзюбан); 1895–1934), поэт, переводчик, драматург.

Челюскинцы — Речь идет о спасательной экспедиции парохода «Челюскин». В 1933 г. он вышел в рейс по маршруту Мурманск — Владивосток. Начальником экспедиции был назначен О. Ю. Шмидт (см. о нем коммент. к с. 490); капитаном — Владимир Иванович Воронин (1890–1952); общее количество участников рейса — 111 человек. Однако в Беринговом проливе пароход был затерт льдами, а затем вынесен в Чукотское море; 13 февраля 1934 г. затонул, раздавленный льдами. Участники, высадившиеся на лед, были вывезены на материк летчиками: Анатолием Васильевичем Ляпидевским (1908–1983), Сигизмундом Александровичем Леваневским (1902–1937), Василием Сергеевичем Молоковым (1895–1982), Николаем Петровичем Каманиным (1908–1982), Маврикием Трофимовичем Слепнёвым (1896–1965), Михаилом Васильевичем Водопьяновым (1899–1980) и Иваном Васильевичем Дорониным (1903–1953).

Процесс Димитрова (поджог рейхстага) — 21 сентября 1933 г. в Германии был начат судебный процесс по делу о поджоге Рейхстага. Обвиняемыми на процессе были голландский коммунист Маринус ван дер Люббе, лидер парламентской фракции коммунистов Эрнст Торглер (1893–1963) и болгары Георгий Димитров (1882–1949), Васил Танев (1897–1941) и Благой Попов (1902–1968). Коммунисты, в свою очередь, обвиняли нацистов в разжигании страстей и обличали Люббе как провокатора. Член Коммунистического Интернационала Димитров высмеял 235-страничный обвинительный акт, примечательный только своей длиной. После завершения суда ван дер Люббе был признан виновным и приговорен к смертной казни.

Оправданный Торглер провел в тюрьме еще два года. Болгарские коммунисты были депортированы в Москву.

Англия 1926 г. — С 4 по 13 мая 1926 г. в Англии прошла всеобщая забастовка горняков против политики правительства (см.: *Мэррей Д.* Всеобщая стачка 1926 г. в Англии. М., 1954).

С. 637

«Всесоединение идей»... — Цит. роман «Подросток» (1874–1875) Ф. М. Достоевского. Ср.: «Это был тип, отдающий все и становящийся провозвестником всемирного гражданства и главной русской мысли “всесоединения идей”». **Как вальс Болконского с Наташей** — Герои романа «Война и мир» (1863–1869, 1873) Л. Н. Толстого.

С. 638

Я ждал полета ≈ во власть Земли — Цит. стихотворение «Днем» (1904) Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945).
О этот блеск! ≈ и не может. — Неточная цитата из стихотворения «О, этот юг о, эта Ницца...» (1864) Ф. И. Тютчева.
Есть мысли ≈ Ему я навстречу. — Неточная цитата из стихотворения «Есть речи — значенье...» (1840) М. Ю. Лермонтова.

С. 639

V съезд Писателей — V съезд писателей СССР проходил в Москве с 29 июня по 2 июля 1971 г.
...Мишка Лебединский... — О М. Ю. Лебединском см. коммент. к с. 40.
Люся — Людмила Лебединская, жена М. Ю. Лебединского.
Цыганка карты ≈ В стенах тюрьмы... — Вариант русской тюремной песни «Таганка» («Централка»).

С. 640

Мысль изреченная есть ложь. — Цит. стихотворение «Silentium!» (1830) Ф. И. Тютчева.
Заметка Леонова о Достоевском. — Леонид Максимович Леонов (1899–1994), писатель. Речь идет о его статье «Достоевский и Толстой» (Двадцатый век. 1969. № 4).
Стихи О. Шестинского — Олег Николаевич Шестинский (1929–2009), поэт, с 1971 г. 1-й секретарь правления Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР. После смерти О. Ф. Берггольц опубликовал статью: *Шестинский О. Памяти Ольги Берггольц // Огонек. 1975. № 49. С. 309.*
...предложить стихи об Ахматовой... — Речь идет о стихотворении О. Ф. Берггольц «Анна Ахматова в 1941 г. в Ленинграде» («У Фонтанного дома, у Фонтанного дома...») (опубл. в 1973 г.).

С. 641

«Завещание» Лермонтова... — Речь идет о стихотворении «Завещание» («Наедине с тобою, брат...»; 1840?) М.Ю. Лермонтова.

...лунная соната... — Имеется в виду музыкальная соната № 14 «Лунная» (1801) Л. ван Бетховена.

...первый луноход. — Лунный самоходный аппарат, автоматическое транспортное устройство, способное передвигаться по Луне и предназначенное для проведения ее исследования. Первый такой аппарат был назван «Луноход-1», был доставлен на Луну автоматической межпланетной станцией «Луна-17» и проработал на планете с 17 ноября 1970 по 4 октября 1971 г., пройдя 10540 м.

С. 642

...Некрасов. С Дяди Власа — Герой стихотворения «Влас» (1855) Н.А. Некрасова.

Рассказ Нины Пельцер... — Нина Васильевна Пельцер (настоящая фамилия Чумакова; 1908–1994), в 1941–1973 гг. педагог-репетитор Ленинградского театра музыкальной комедии.

С. 643

Ф. Никитин в столовой Дома писателей. — Ф.М. Никитин (см. о нем коммент. к с. 127).

Твоих оград чугунных... — Аллюзия на строки из поэмы «Медный всадник» (1833) А.С. Пушкина. Ср.: «Твоих оград узор чугунный...»

С. 644

Названия статей ≈ в исполнение — Предположительно, речь идет о замыслах критических статей; статьи с такими заголовками не публиковались.

Список аббревиатур

АП	— артподготовка
БДТ	— Большой драматический театр
ВВС	— Военно-воздушные силы
ВГК	— Верховное главнокомандование
ВКП(б)	— Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ	— Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВТ	— воздушная тревога
ВЧК	— Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем
ГИИИ	— Государственный институт истории искусств
ГПБ	— Государственная публичная библиотека
ЛГУ	— Ленинградский государственный университет
ЛО	— Ленинградская область; Ленинградское отделение
МГБ	— Министерство государственной безопасности СССР
МПВО	— местная противовоздушная оборона
МТС	— машинно-тракторная станция
НКВД	— Народный комиссариат внутренних дел
НЭП	— новая экономическая политика
ООН	— Организация Объединенных Наций
ПБ	— Публичная библиотека
ПУБАЛТ	— Политическое управление Балтийского флота
ССП	— Союз советских писателей СССР
РГАЛИ	— Российский государственный архив литературы и искусства
РИК	— районный исполнительный комитет (райисполком)
РККА	— Рабоче-крестьянская Красная армия
РНБ	— Российская национальная библиотека
РУ	— (Главное) разведывательное управление (разведуправление)
СНК	— Совет народных комиссаров

УК	– Уголовный кодекс
УНКВД	– Управление Народного комиссариата внутренних дел
ЦГАЛИ (СПб)	– Центральный государственный архив литературы и искусства (Санкт-Петербург)
ЦГАИПД СПб	– Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга
ЦДЛ	– Центральный дом литераторов
ЦК	– Центральный комитет

Именной указатель

- А. А. 247
 А. О. 54, 121, 124, 142
 Абольников С. 165
 Абрамова О. 75
 Аввакум Петров 319
 Авербух Е. С. 138
 Авербух З. 288
 Агафонычев, полковник 123, 126
 Аграненко З. М. 568
 Аденийи-Джонс С. 635
 Адоха см. Гитлер А.
 Азадовские 160
 Азаров В. Б. 295, 297
 Айзик Л. О. 109
 Акимов Н. П. 353
 Акрамханова И. 635
 Александр, о. 638
 Александра Григорьевна см.
 Петрова А. Г.
 Алексеев 613
 Алексеев А. 124, 142, 148
 Алексеев М. П. 463
 Али см. Алмазов А. А.
 Алигер М. И. 285, 298, 321, 546, 547, 572
 «Зоя» 298
 Аллилуева С. И. 534
 Алмазов А. А. 511
 Алмазова Лида 427
 Альтман Н. И. 246
 Алянская Н. Л. 174
 Алянский Л. С. 174
 Алянский С. М. 174
 Андреев 539
 Андреева В. В. 431
 Андрейка, Андрюша см.
 Макогоненко А. Г.
 Анк Л. (Дьяконов Л. В.) 184, 364
 Анна, Аннушка см. Ахматова А. А.
 Анна Павловна 439
 Анненский И. Ф.
 «О нет, не стан...» 375
 Антокольский П. Г. 636
 Антонова Н. 445
 Антонова Н. П. 431
 Анфиса 235, 240, 266
 Анюта 68
 Апраксин А. Д. 93
 Арагон Л. 542, 576
 Ардаматский В. И. 169, 396
 Ардашников В. 280
 Арзуманов 599
 Арзуманова 534, 553, 599
 Асеев Н. Н. 636
 Астапов В. 489
 Ася 297
 Атлантов А. П. 249
 Афанасьева Н. 71, 81, 87, 89, 92, 158
 Афонская 464
 Ахматова А. А. 34, 35, 56, 58, 97, 313, 314,
 319, 321, 323, 325, 327, 329, 333, 346, 348,

- 354, 365, 382, 385–387, 593, 619, 636, 640, 644
 «Все души милых на высоких звездах...» 592
 «Все отнято: и сила, и любовь...» 207
 «И вот одна осталась я...» 487
 «Какая есть. Желаю вам другую...» 314
 «Клеопатра» 53, 54, 213
 «Помолись о нищей, о потерянной...» 465
 «Реквием» 480, 621
- Бабель И. Э. 246
 «Закат» 180
- Бабушкин Я. Л. 40, 43–45, 47, 48, 50, 53, 55, 58, 59, 61, 81, 83, 86, 89, 92, 111, 112, 116, 120, 121, 133, 142, 144, 152, 170, 202, 212, 218, 219, 280, 289, 290, 296, 307, 308, 375, 376
- Багиров М. Д. А. 490
 Багрицкий Э. Г. 636, 641
 Бадаев Г. Ф. 129, 131
 Бадве С. 552
 Байкова 579
- Баланин, школьник 428
- Балашов, телережиссер 642
- Банк Н. В. 610
- Баранова Н. А. 429, 431, 438
- Баратынский Е. А.
 «Элегия» 274, 323, 487
- Барто Е. А. 292
- Басова Т. 430
- Батяка с.м. Берггольц Ф. Х.
- Батюшков К. Н. 566
- Бедин В. В. 95, 152
- Беневоленский В. 500
- Берггольц М. Т. 40, 43, 49, 78, 91, 107, 119, 146, 230, 275, 349, 356, 383, 547, 557
- Берггольц М. Ф. 33, 37, 38, 40, 50, 66–68, 80, 107, 119, 120, 122, 124, 125, 129, 132, 134, 136, 140–143, 146, 149, 150, 154, 155, 157, 158, 161, 164–166, 169–171, 174, 185, 207, 211, 216, 223, 226, 228, 230, 234, 254, 255, 262, 266, 287, 375, 383, 465, 467, 468, 474, 480, 481, 507, 510, 557, 591, 609
- Берггольц Ф. Х. 42, 43, 50, 68, 75, 79, 119, 135, 139–141, 144–146, 153, 157, 162–164, 166, 167, 170, 174, 177, 180, 186, 220, 230, 275, 288, 356, 368, 382, 383, 400–403, 409, 451–453, 479, 558, 602
- Берестинский М. И. 552
- Берия Л. П. 167, 489, 512, 514, 535
- Беспалова Ф. Г. 611
- Беспамятнов В. В. 42, 291
- Бетховен Л. ван 473
 «Лунная соната» 641
- Бисмарк О. фон 425
- Благой Д. Д. 477, 579
- Блок А. А. 320, 399, 420, 524, 533, 578
 «Балаган» 357
 «Возмездие» 516
 «Вступление» 201, 202, 515
 «Город» 516
 «Да. Так диктует вдохновенье...» 594
 «Дух прятный марта был в лунном круге...» 69
 «Как тяжело ходить среди людей...» 301, 320
 «О доблестях, о подвигах, о славе...» 459
 «О, я хочу безумно жить...» 309, 611
 «Опять над полем Куликовым...» 39, 226
 «Осенняя воля» 420
 «Русь» 417, 578
 «Шаги командора» 319
- Бойцов 631
- Борисов А. Ф. 551
- Бородулин А. И. 129, 131, 132
- Борька с.м. Корнилов Б. П.
- Брындис К.
 «Оборона Гренады» 535
- Брэдбери Р. 610
 «451 градус по Фаренгейту» 610
- Будилкина, председатель райкома 215
- Булганин Н. А. 631

- Бунин И. А.
 «Все темней и кудрявей березовый
 лес зеленеет...» 519
 «Лесная дорога» 520
- Бурак А. В. 419
 Бурак А. П. 419, 438
 Бурак В. Ф. 419, 422, 423
 Бурак Е. В. 419
 Бурлаков 135, 136, 268
 Бурсов И. 639
 Бычина В. 439
 Бычков С. 446, 460, 512
- В. К. 251
 Вадик *см.* Марин В. В.
 Важжаев 397
 Валентина, Валя *см.* Рузина В. В.
 Валерий 77, 124, 128, 129, 131, 139, 142
 Валов В. И. 93
 Валя *см.* Иванова В. Т.
 Варвара Николаевна 410
 Варзов 498
 Василий *см.* Сухов В. А.
 Васильев 500
 Васильев А. В. 48
 Васильев А. Н. 621
 Везинкин, комсомолец 498
 Вера *см.* Кетлинская В. К. 87
 Вертинский А. Н. 539
 Верховская Н. П. 591
 Верховский Н. П. 53
 Веселова Д. 502
 Веткин Ю. 444
 Визор О. 541
 Виктор, Витька *см.* Ходоренко В. А.
 Вильгельм II 436
 Вильгельмина, кронпринцесса 436
 Вильямс В. Р. 429
 Винникова 289
 Виноградов В. В. 477
 Вирта Н. Е. 295, 367
 Вите Л. Н. 179
 Вите М. А. 65, 91, 179
- Виткова Н. 480
 Витька *см.* Беспамятнов В. В.
 Вишневецкая С. К. 297
 Вишневецкий В. В. 214, 297, 482, 580
 Вознесенский Н. А. 446
 Волженин-Некрасов В. М. 131
 Волкова 152, 153
 Волобринский 551
 Володин 536
 Володя *см.* Орлов В. Н.
 Волошин М. А.
 «На дне преисподней» 226
 Волька *см.* Марин В. А.
 Воронова, летчица 336
 Воронин С. А. 575
 Ворошилов К. Е. 40
 Выдомская 498
- Габе Г. 265
 «Тысячи падут» 265
 Гаврилов М. И. 614
 Галдина 437
 Галина Николаевна 540
 Галка *см.* Марина Г. В.
 Галка *см.* Пленкина Г. Г.
 Галкин 426
 Гаранина А. В. 174
 Гаршин В. Г. 54, 97–99, 314
 Гаттон I 401
 Гейзель М. А. 55
 Гейне Г. 532
 «Рыцарь Олаф» 530, 532
 Герасимов, редактор 386
 Геринг Г. В. 274
 Герман Т. А. 323
 Герман Ю. П. 35, 84, 280, 322, 345, 352, 356,
 358, 359, 363, 365, 366, 373, 381, 384, 387,
 398, 399, 416, 461, 463, 478, 532, 535, 550,
 552, 608
 «Би хэпи» 280
 Германы 323, 324, 333
 Герцен А. И. 325, 350–352
 «Былое и думы» 300, 514, 517

- Гете И. В. 152, 473
Гиндин И. Л. 533
Гинзбург Л. Я. 148
Гиппиус З. Н.
 «Днем» 638
Гитлер А. 34–36, 38, 40, 41, 56, 64, 67, 110,
 120, 163, 224, 251, 252, 275, 285, 286, 299
Гитович А. И. 354, 398
Гликман И. Д. 530, 533, 552
Глинка В. М. 322
Гоголь Н. В. 608
 «Записки сумасшедшего» 325, 381, 557
 «Портрет» 608, 627
 «Ревизор» 476, 580, 599, 608
 «Сорочинская ярмарка» 586
Голубев 148
Голубенко Ю. 512
Гонберг П. 280
Гор Г. С. 60
Горбатов В. Л. 285, 349, 351, 380, 384, 476,
 482
 «Алексей Куликов, боец» 285
Горелов А. Е. 511, 608
Горин И. А. 215
Горская Н. 489
Горский С. Л. 386, 541
Горький М. 323, 325, 444, 535, 636
 «Жизнь Климса Самгина» 323, 575
 «На дне» 358, 535
 «О С. А. Толстой» 601
 «Озорник» 609
 «Песня о соколе» 443, 561
Гофман В. А. 144
Гранин Д. А. 546, 561, 565, 569
 «Собственное мнение» 546
Грибаните, братья 494
Грибачев Н. М. 414, 420, 555, 631
Грибоедов А. С.
 «Горе от ума» 373
Григорьянц Т. С. 212
Гринберг И. Л. 60
Гришина А. В. 438
Гришкевич А. П. 77, 117, 152
Грищенко 542
Гроссман В. С. 478
 «За правое дело» 478
Грузинцев 500
Грустилины 232
Грушко Е. С. 43
Гуковская З. В. 183
Гуковский Г. А. 182, 183, 225, 232, 246, 252,
 276
Гумилев Л. Н. 385
Гумилев Н. С.
 «Слово» 193
Гуревич Т. Е. 54, 56
Гуро Е. Г. 184
Гусев В. М. 295
 «Москвичка» 295
Гусев, врач 438
Гутнер М. Н. 162
Гюго В. 313
 «Девяносто третий год» 313
Давыдов, переводчик 435
Дайнеко Н. 501
Данилин Ю. И. 262
Данин Д. С. 533
Дементьев А. Г. 415
Денисова А. 436
Димитров Г. 636
Добин Е. С. 541, 575
Довженко А. П. 385, 387, 392, 541, 561
 «Жизнь в цвету» 385, 387, 392
 «Повесть пламенных лет» 561
 «Украина в огне» 541
Довлатова М. С. 33, 172, 176, 266, 267, 541,
 562, 564, 592, 593
Докучаев В. В. 429
Дорогонидзе 397
Достоевский Ф. М. 380, 610, 637, 640
 «Бесы» 46, 345
 «Братья Карамазовы» 328, 337, 417,
 423
 «Кроткая» 140, 590
 «Подросток» 637
Дрейден С. Д. 383–385, 387, 391
Друзин В. П. 351, 355, 415

- Друскин Л. С. 345
 Дудин М. А. 628
 Дудина И. 619
 Дудинцев В. Д. 546, 565, 569
 «Не хлебом единым» 546
 Дунька 474
 Дыланов, инженер 497
 Дымшиц А. Л. 631
- Евпатий Коловрат 430
 Еголин А. М. 172
 Екатерина II 433
 Екимов А. 497, 503
 Екимов К. 500
 Екимова Л. Е. 497
 Елена Михайловна 84, 87, 89
 Елена Михайловна, председатель
 сельсовета 446
 Ельцов, инженер 499
 Ензико Е. 579
 Ермилов В. В. 610, 629
 Ермилова Л. Я. 610
 Ермолов 498
 Ершова З. А. 431
 Есенин С. А. 420, 636
 «Не жалею, не зову, не плачу...» 70
 «По-осеннему кычет сова...» 310
 «Черный человек» 321
- Ефимов 429
 Ефимов Н. А. 501
- Жаренкова К. 434
 Жарков 39, 77
 Жданов 599
 Жданов А. А. 162, 163, 169, 261, 359, 446, 593
 Жежеленко Л. М. 573
 Женька Ф. 146
 Женя 122
 Женя 534, 535, 547–550, 609, 611, 620
 Женя см. Кибрик Е. А.
 Жеребцов, солдат 113
 Жильцов П. Д. 169
 Жудин В. 579
- Заболоцкий Н. А. 357, 358, 636
 «Творцы дорог» 357
 Завадский Ю. А. 365, 370
 Заикин 278
 Заседателява, агроном 500
 Захаров Ю.
 Захаровы, братья 499
 Земсков, счетовод 412–414, 424, 427, 428
 Земсков А. 427
 Земскова Л. 444
 Земскова М. 444
 Земскова П. П. 410–414, 416, 421–424, 428,
 437
 Зина, прислуга 548, 588, 591
 Зина см. Сухова З.
 Златова Е. В. 262
 Золя Э. 636
 Зон 372
 Зонин А. И. 230, 358
 Зоценко М. М. 354, 380, 385, 387, 478, 593,
 594, 619
 Зоя Алексеевна, учительница 423
 Зоя Сергеевна, врач 571
 Зубанов И. П. 291
 Зуева Т. М. 574
 Зуккау В. Г. 201
- И. О. Б. 252
 Иван Михайлович 424
 Иванов 579
 Иванов А. Г. 533
 Иванов А. М. 80
 Иванов В. Н. 221
 Иванова (урожд. Грустилина) В. Т. 232,
 635
 Иванова Н. 438
 Иванченко 395
 Ивич А. (Берштейн И. И.) 295, 297
 Изотов 502
 Изотов, композитор 458
 Иллич В. К. 375
 Ильичев Л. Ф. 591, 629

- Ильменский 438
Инбер В. М. 261, 266, 267, 283, 284, 298, 300
Ингал В. И. 541
Инге Ю. А. 55
Иосиф с.м. Сталин И. В.
Ирина с.м. Исакович И. В.
Ирина, Ириша, Ирка, Ирочка с.м.
 Корнилова И. Б.
Ирина с.м. Медведева-Томашевская И. Н.
Иртлач С. Ш. 351
Исаков Л. 489
Исакович И. В. 185, 189, 194, 227, 229, 241,
 267, 351, 391, 460, 464, 482
Исаковский М. В. 285
Июльский Р. В. 290, 396
- Каверин В. А. 546
Казакевич Э. Г. 546
Каланова П. 215
Калинин М. И. 425
Канторович Л. В. 33
Каплер А. Я. 489
Капралова 503
Капустин Я. Ф. 43
Капустина А. 428
Капустина Л. 431
Карбышев Д. М. 629
Карякина З. Е. 312
Карякины 234
Кастро Ф. 614
Катаев В. П. 295
 «Время, вперед» 497
 «Синий платочек» 295
Катерли Е. И. 323, 555, 556
Катков 283
Катя 614
Катя с.м. Погорелая Е. П.
Качалов, председатель колхоза 413
Качалов, школьник 427
Качалова А. 445
Качалова К. 427
Качалова Л. 427
Квитко Н. 541
- Кежун Б. А. 415
Керзон Дж. Н. 614
Кетлинская В. К. 86, 87, 89, 100, 120, 129,
 149, 193, 220, 283, 321, 421, 497, 542, 558,
 579, 614
Кибрик Е. А. 87
Киплинг Дж. Р.
 «Галерный раб» 39, 169
Кирсанов С. И. 546
 «Семь дней недели» 546
Кирсанова В. Н. 535
Клава, работница столовой 124, 127
Клюев Н. А. 636
 «Проснуться с перерезанной веной»
 517
Князев Ф. С. 55
Кобрев 542
Ковальчик Е. И. 280, 481
Кожевников, капитан 215
Кожевников В. М. 480
Кожечкин 498
Козинцев Г. М. 526, 531, 536
Козлов Н. Ф. 533
Козлов Ф. Р. 561, 591
Козовский Е. 346
Коковкин Б. С. 282
Колбасова А. 439
Колтунова Л. М. 546
Коля, Колька с.м. Молчанов Н. С.
Коля с.м. Сочихин К.
Комар Ж. 346, 347
Кондратьев, большевик 567
Кондрашов А. В. 419, 428, 433, 434
Кондрашов В. А. 419, 434, 435, 437, 438
Кондрашов М. А. 435
Кондрашов, школьник 444
Коонен А. Г. 216, 284
Корн Н. П. 358
Корнейчук А. Е. 285, 348
 «В степях Украины» 285
 «Приезжайте в Звонковое» 347
Корнилов Б. П. 47, 241, 562, 636

- Корнилова И. В. 47, 56, 67, 79, 82, 100, 112, 113, 139, 152, 170, 184, 208, 210, 232, 241, 246, 291, 293, 301, 305, 310, 334, 335, 336, 338, 341, 352, 359, 394, 403, 404, 409, 414, 423
- Коробкина О. С. 555
- Коршунова М. И. 247, 577
- Костина, строчильщица 436
- Коткина 203
- Кофман 42
- Кочетов В. А. 594, 631
- Краева 422
- Кривошеева А. И. 421
- Крон А. А. 215, 255, 297, 370
- Кубаткин П. Н. 170, 180, 287, 288
- Кутель И. Р. 33
- Кузнецов А. А. 395, 446
- Кузнецов А. Н. 385, 590, 591, 619
- Кукольник Н. В.
«Сомнение» 577
- Кукрыниксы 397
- Кукурузник с.м. Хрущев Н. С.
- Кулик Г. И. 58
- Кумач с.м. Лебедев-Кумач В. И.
- Купцова К. 427, 444, 445
- Кустодиев Б. М. 403
- Куусинен О. В. 590
- Лазутин П. Г. 381
- Лебедев-Кумач В. И. 426
- Лебединская Л. 639
- Лебединский М. Ю. 40, 50, 639
- Леви Н. Н. 249
- Левин 120, 129
- Левин Л. И. 282, 333, 355
- Левинсон Е. А. 580
- Левка с.м. Гумилев Л. Н.
- Леля, официантка 124
- Ленин В. И. 246, 402, 425, 494, 523, 564, 578, 602, 639
«Заметка публициста» 554
- Ленька с.м. Анк Л.
- Леонардо да Винчи 246
- Леонов Л. М. 640
- Леонов С. Р. 36
- Лермонтов М. Ю. 639
«Демон» 340
«Есть речи — значенье...» 638
«Завещание» 641
«Измаил-бей» 428
«Как часто пестрою толпою
окружен...» 621
«Мцыри» 550, 611
«Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника
и удалого купца Калашникова» 429
- Леснин А. Ф. 93
- Лесючевский Н. В. 171, 230, 243, 248–250, 261, 290, 291, 541
- Леша с.м. Алексеев А.
- Леша, Лешенька с.м. Андреев О. В.
- Леша с.м. Сухов А. С.
- Лидановская А. В. 439
- Лизунов Н. В. 114, 115, 117, 120, 121, 127–129, 131, 228, 229, 231
- Линка, Лина, домработница 99, 113, 115, 119, 120, 147, 223, 233, 295
- Литвин 85
- Лифшиц В. А. 341, 354
- Лихарев Б. М. 238, 355, 594
- Лиходеев Л. И. 579
- Личнов (Личков) 603
- Лобза, комсомолец 494
- Лозин В. 55
- Ломакина 499
- Ломоносов М. В. 182, 427
- Лопухова Л. П. 635
- Лора с.м. Ермилова Л. Я.
- Лукка К. К. 80
- Люба, жена Н. Свиридова 532, 560
- Люба, избачка 422, 437
- Люба, Любовь Алексеевна с.м.
Сухова Л. А.
- Любарская А. И. 148
- Людмила 294
- Люся 47, 63

- Люся с.м. Лебединская Л.
 Лялечка с.м. Максимова Л. М.
 М. П. 133, 221, 538, 541
 М. С. 472
 Маечка, Майка с.м. Молчанова М. Н.
 Маккавеев, летчик 510
 Макогоненко А. Г. 241, 366, 367, 372, 382,
 383, 386, 388, 390, 393–395, 402, 420, 476,
 479–481, 510, 524, 549, 587
 Макогоненко Г. П. 40, 43–45, 48–50, 52–55,
 58–62, 64, 65, 67–69, 71–81, 83, 84, 86, 87,
 89, 92, 94–97, 99, 104, 108–113, 115, 116–
 117, 120, 123, 125, 128, 129, 133, 134, 137–
 147, 150–156, 158, 160–174, 176–180, 182–
 189, 191–202, 204–213, 217–219, 221–223,
 225–230, 234–238, 240–245, 247, 249,
 251–260, 262, 266–268, 270, 274–278,
 280–282, 284, 286–291, 293, 294, 296–
 300, 307–310, 312, 316, 321–324, 326, 327,
 329, 338, 339, 342–345, 348, 349, 351, 354–
 358, 360, 362, 363, 365–368, 372, 376, 383,
 387, 388, 390, 394, 395, 400–402, 405, 409,
 410, 414–416, 418–421, 423, 446–448, 451,
 457, 459–461, 465, 467, 468, 471, 473–476,
 478–480, 482, 487, 506–508, 510, 512, 517–
 519, 523–526, 529–532, 534–540, 545, 547–
 552, 557–559, 560, 562, 564–568, 573–576,
 578, 585, 587, 588, 591, 594–596, 600, 601,
 607, 608, 610, 612, 614, 620
 Макогоненко П. М. 589
 Максимова Л. М. 518, 534, 540, 541, 552, 553,
 557, 560, 562, 568, 574, 575, 600
 Маленков Г. М. 490
 Мама с.м. Берггольц М. Т.
 Мандельштам О. Э. 607
 «Ахматова» 515, 607
 «Декабрист» 353
 «За то, что я руки твои не сумел
 удержать...» 193, 535
 «Ленинград» 43, 327
 «Отравлен хлеб, и воздух выпит...»
 545, 590
 «Отчего душа так певуча...» 206
 «Сестры — тяжесть и нежность —
 одинаковы ваши приметы...» 222
 «Silentium» 385
 Маня, курьер 142
 Мара, Маргарита, Маргоша, Маргошка
 с.м. Довлатова М. С.
 Марин В. А. 33, 91, 211, 333, 339, 446, 479
 Марин В. В. 99, 109, 132
 Марина Г. В. 100, 110, 132, 333, 336–338, 341
 Марины 91, 99, 109, 110, 113, 123, 131, 138, 176,
 186, 211, 252, 291, 294, 321, 336, 337, 339,
 360
 Мария Сергеевна с.м. Рымшан М. С.
 Мария Тимофеевна 276
 Марков М. 436, 437
 Мартынов А. А. 64, 148
 Мартынова Е. Ф. 432
 Маруська, прислуга 365
 Маруська, Маруся с.м. Машкова М. В.
 Марфинька с.м. Пешкова М. М.
 Маршак И. С. 635
 Маршак С. Я. 334, 337, 635
 «Бомбы и бомбоньерки» 334, 337
 Марьямовы 533
 Мася с.м. Вишневецкая С. К.
 Матвеева 498
 Матюшина О. К. 184, 186
 Маули, Маулишка с.м. Вите М. А.
 Маханов А. И. 51, 193, 214, 216, 218, 219, 228,
 247–250, 261, 262, 290, 300
 Маша 131
 Машкова М. В. 33, 91, 109, 110, 139, 142, 148,
 157, 158, 162, 186, 267, 321, 333, 336–339,
 343, 360, 372, 541
 Маяковский В. В. 184, 376, 636
 «Во весь голос» 359
 «Город» 479
 «Немножко утопии про то, как
 пойдет метрошка» 504
 «Неоконченное» 461
 «Про это» 50, 336

- «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» 497, 504
 «Революция. Поэтохроника» 609
 «Я хочу быть понят родной страной...» 507
- Медведева-Томашевская И. Н. 160–162
- Межиров А. П.
 «Коммунисты, вперед» 578
- Мельник, цензор 109
- Мерецков К. А. 153
- Мессер Р. Д. 265, 269
- Меттер И. М. 358, 365
- Микелнов (Микелимов) 346
- Микоян А. И. 534, 540
- Миллер А. Я. 397
- Мироновы 142, 186
- Мирошниченко Г. И. 297, 398
- Митька 372
- Митькин А. М. 424, 425
- Михайлов Н. А. 555
- Михалков С. В.
 «Дядя Степа» 63
- Мичурин И. В. 429
- Миша 395
- Мишка с.м. Дудин М. А.
- Мишка с.м. Лебединский М. Ю.
- Можайский, врач 557, 562
- Молчанов Н. С. 33–36, 40, 42–44, 47–50, 54, 55, 57, 58, 60–63, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 76–99, 103, 104, 106–110, 112–123, 125–151, 153–168, 170–172, 174–177, 179, 180, 182–186, 188, 190–193, 195–203, 206–210, 212, 213, 215–217, 220, 222, 223, 226–232, 234, 235, 237, 239, 241, 242, 246–249, 251, 253, 257–260, 265, 266, 268–271, 273, 274, 276, 278–280, 282, 291, 293, 294, 300, 305, 309–311, 316, 321, 323–326, 335, 338, 339, 341–343, 359, 361–363, 368, 376, 382, 389, 390, 394, 400, 402–405, 416, 451, 467, 479, 481, 503, 505, 506, 524, 532, 537, 558, 560, 568, 587, 595, 611, 641
- Молчанова В. С. 107, 147, 247
- Молчанова М. Г. 138
- Молчанова М. Н. 79, 82, 113, 139, 232, 310, 338, 404
- Молчанова О. С. 230, 240, 396
- Молчановы 40, 78, 86, 87, 89, 91, 99, 147, 162, 176, 216, 223, 230, 258, 259, 266, 268, 479
- Мопассан Г. де
 «Милый друг» 538
- Морозов 87
- Морозов 500
- Морозова В. П. 431
- Морозова Ф. П. 319
- Морщихин С. А. 297
- Московская 65
- Музыкантов И. 501
- Мунблит Г. Н. 530
- Муська, Муся с.м. Берггольц М. Ф.
- Муся с.м. Мухаринская М.
- Мухар 579
- Мухаринская М. 267
- Мухин 395
- Мызников (Мызнинов) 603
- Мэри с.м. Рид М.
- Мюссе А. де
 «Исповедь сына века» 514
- Мясников 255
- Н. А., Надя, Надька с.м. Афанасьева Н.
- Нагорнюк, валторнист 308
- Надежда Алексеевна с.м. Баранова Н. А.
- Надя 551, 555
- Назаренко В. А. 556
- Наровчатов С. С. 41, 42, 198, 201, 202, 205, 219, 222, 240, 266, 271, 281, 282
- Наровчатова О. С. 198
- Наташа 461, 478
- Наумова, сотрудница ЛГУ 541
- Некрасов 539, 629
- Некрасов Н. А. 424, 427, 642
 «Влас» 642
 «Кому на Руси жить хорошо» 311, 514
 «Ночь. Успели мы всем насладиться...» 324

- Нечаев И. А. 265
 Никитин Н. Н. 533
 Никитин Ф. М. 127, 643
 Никитский В. С. 118
 Николай II 376
 Нилин П. Ф. 587
 «Жестокость» 587
 Нина с.м. Резникова Н.
 Новиков Н. И. 391
- Образцова 268, 276, 280
 Ойстрах Д. Ф. 285
 Оксенов И. А. 144
 Оксман Ю. Г. 532
 Окуневская Т. К. 476, 482, 539
 Олесов Ф. 57
 Олечка, дочь Жени и Колтуновой Л. М.
 548, 550
 Орлов Владимир Николаевич 524, 525,
 532, 539, 541
 Орлов Владимир Натанович 594
 Орлова, учетчица 498
 Осипова 36
 Остров Д. К. 323
 Отец с.м. Берггольц Ф. Х.
- П. П. с.м. Земскова П. П.
 Пази А. Н. 89
 Пайкина 612
 Паловиц Е. 571
 Панова В. Ф. 595
 «Кружилиха» 392
 Папа с.м. Берггольц Ф. Х.
 Папаша с.м. Сталин И. В.
 Пастернак Б. Л. 322, 354, 355, 359, 388, 481,
 542, 593, 636
 «Весенний день тридцатого
 апреля...» 293
 «Гамлет» 590
 «Клеветникам» 112
 «О, знал бы я, что так бывает...» 381
 «О, стыд, ты в тягость мне! О, совесть,
 в этом раннем...» 68
- «Образец» 218, 247
 «Осень» 482
 «Разрыв» 474
 «Свидание» 482
 Паустовский К. Г. 546
 Паюсова Т. Г. 34, 87, 221, 249
 Пельцер Н. В. 642
 Пептина 438
 Первомайский Л. (Гуревич И. Ш.) 285
 Перельман Майя Е. 329, 351, 390
 Перельман Мирра Е. 329, 608
 Петрова 174
 Петрова А. Г. 430, 431
 Пешкова М. М. 535
 Платов, штангист 498
 Платонова 498
 Пленкина Г. Г. 44, 99, 186, 196, 215, 227, 245,
 247, 249, 252, 364–366, 579
 Плоткин Л. А. 355
 Погорелая Е. П. 483, 488, 508, 511, 512, 518,
 525, 530, 552
 Пози с.м. Пази А. Н.
 Поликарпов Д. А. 163, 169
 Полицеймако В. П. 292, 296, 358
 Половников А. П. 148
 Поляков В. В. 501
 Попков П. С. 115, 120, 381, 384, 392, 513
 Праудин, шофер 499
 Праудина В. 499
 Прендели 55, 103, 131, 138, 162, 176, 233
 Прендель Т. 137, 138
 Прендель Ю. А. 120, 122, 123, 127, 130–133,
 135, 137–139, 186, 187
 Прокофьев А. А. 179, 221, 238, 239, 261, 341,
 342, 351, 352, 363, 373, 447, 580, 636
 «Баллада о гибели комиссара» 69
 Пузиков А. И. 398
 Пуркин Д. 500
 Пушкин А. С. 239, 426
 «Борис Годунов» 342, 586
 «Все в жертву памяти твоей...» 589
 «Герой» 174
 «Друзьям» 171

- «Евгений Онегин» 355, 580, 589
 «Зимнее утро» 427
 «Ненастный день потух; ненастной
 ночи мгла...» 41, 240, 622
 «Пир во время чумы» 195
 «Пора, мой друг, пора!..» 239, 348
 «Поэт и толпа» 622
 «Поэту» 216, 239, 288, 342, 595
 «Элегия» («Безумных лет угасшее
 веселье...») 534, 589
 «Я памятник себе воздвиг
 нерукотворный...» 595
 «Я пережил свои желанья...» 390
- Рабинович М. 489
 Рабле Ф. 246
 Радищев А. Н. 600
 Радов Г. Г. 611
 Разживина 439
 Разживина Е. 436
 Раиса Николаевна 472
 Райт Р. 542
 Райт-Ковалева Р. Я. 84
 Рапопорт (Раппопорт) Э. Е. 579
 Раскин 594
 Распутин Г. Е. 433
 Рахлин 371
 Рахманов Л. Н. 149, 358
 Рачук 552
 Рашевская Н. С. 358, 376, 379, 381, 383, 551
 Резников 243
 Резникова Н. 270, 480, 580
 Ремарк Э. М. 558
 «Время жить и время умирать» 558
 Репин И. Е. 422
 Решетов А. Е. 221, 238, 239
 Рид Дж. 178
 Рид М. 178, 186, 234
 Римская-Корсакова, художница 610
 Римский-Корсаков В. А. 94
 Ришка Вас. 300
 Родин 358, 384, 388, 551
 Родина К. 438, 438
- Родионов Н. Н. 586, 591
 Рожанковский И. И. 33
 Розен А. Г. 83–86, 257, 258
 Рубин А. 215
 Рудный В. А. 546
 Рузина В. В. 227, 241, 243, 395, 476, 525
 Рыбаков Г. М. 288
 Рывина Е. И. 221
 Рыльский М. Ф. 285
 Римшан М. С. 75
 Рытков 430
 Рябчиков Е. И. 611
- Савельев В. 430
 Савельева В. 444, 445
 Савельева Е. В. 434
 Савельева Е. Ф. 418
 Савина Е. Я. 432
 Сазанов Ф. И. 96
 Салтыков-Щедрин М. Е. 412, 610, 629, 644
 «Господа Головлевы» 163
 «История одного города» 382
 «Коняга» 412
 «Приключение с Крамольниковым»
 328, 546, 550, 594, 620
 «Современная идиллия» 381
- Саша 124
 Саша Черный
 «Большому» 413
- Саянов В. М. 447
 Светлана см. Аллилуева С. И.
 Светлов М. А. 622, 636
 Свирибеев 435
 Свиридов В. П. 214
 Свиридов Н. 532, 560
 Селезнева О. 225, 228
 Селик см. Меттер И. М.
 Семен Павлович 599
 Семенов А. М. 54, 55, 58
 Семенов С. А. 125
 Семилетов Н. Ф. 375, 376
 Сенькин А. 444
 Сервантес М. де 473

- «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 473
- Серебровская Е. П. 554, 555, 578
- Серебрякова Г. И. 550
- Сережа с.м. Наровчатов С. С.
- Сережа с.м. Цимбал С. Л.
- Серейский М. Я. 479, 480
- Серман 576
- Симонов К. М. 295, 329, 352, 367, 403, 546
- «Жди меня» (пьеса) 295
- «Жди меня» (стихотворение) 221
- «Солдатами не рождаются» 542
- Симуков А. Д.
- «Воробьевы горы» 438
- Сиротина А. 459
- Скробанский К. К. 280
- Славин Л. И. 546
- Слепян 371
- Слонимский Ю. И. 345, 346
- Слуцкий Б. А. 556
- Смирнов 63
- Смирнов А. А. 57, 130
- Смирнов В. 501
- Смирнов В. А. 631
- Смирнова В. В. 579
- Смолян 510
- Сморозин П. И. 590
- Сморозина М. П. 590
- Соболев Л. С. 631
- Соколова Н. В. 579
- Соловьев 232, 243
- Соловьев И. В. 532
- Соркин, редактор 215
- Софронов А. В. 480, 631
- Софья 476, 477
- Сочихин К. 416, 421, 426, 436
- Сочихина М. В. 416, 421, 424, 426, 434, 440
- Спектор Л. С. 271
- Спиридонов И. В. 572
- Ставский (Кирпичников) В. П. 169
- Сталин И. В. 56, 57, 188, 209, 214, 222, 224, 236, 340, 364, 384, 393, 446, 489, 506, 512-514, 534, 546, 568, 594, 608, 631
- Стафеева А. 439
- Стендаль 576
- Странгилла с.м. Иртлач С. Ш.
- Струженцов Д. 501
- Суворов Г. К. 307
- Сурков А. А. 285, 354, 370, 509
- «Землянка» 285
- Сурков Е. Д. 579
- Сухов, старик 416, 428
- Сухов, школьник 426
- Сухов А. А. 434
- Сухов А. С. 434
- Сухов В. А. 434
- Сухов П. 412, 421, 439
- Сухова З. 434
- Сухова Л. А. 434
- Сыркина Ф. 609, 61
- Сырникова Ф. с.м. Сыркина Ф.
- Сытин В. А. 591
- Таиров А. Я. 284, 286
- Тамара Алексеевна 579
- Тася 489
- Татка с.м. Окуневская Т. К.
- Тахтай А. К. 555
- Твардовский А. Т. 285, 392, 509, 515, 546, 547, 586, 609, 622, 630, 636
- «Василий Теркин» 285
- Твен М. 600
- Телешов Н. Д.
- «Дуэль» 400
- Тендряков В. Ф. 546
- Тимофеев Б. 501
- Тимофеев Ю. 501
- Тимофеева Л. 501
- Тихонов Н. С. 158, 161, 171, 179, 180, 193, 261, 497
- Тишка с.м. Тихонов Н. С.
- Толстой Л. Н. 80, 380, 426
- «Анна Каренина» 334, 358, 480, 562, 590
- «Война и мир» 637, 640
- «Кавказский пленник» 426

- Томашевские 160
 Тоня, буфетчица 551
 Тора, Торка см. Молчанова В. С.
 Трифонова Т. К. 340–342, 355
 Трофимов, капитан 603
 Тургенев И. С. 428
 «Бежин луг» 428, 429
 «Муму» 431
 Тютчев Ф. И. 223, 638, 640
 «Есть и в моем страдальческом
 застое...» 223
 «О, этот юг, о, эта Ницца...» 638
 «Silentium!» 640
- Угам, парторг 480, 581
 Ульянова, школьница 445
 У-Ну 615
 Успенский Л. В. 295, 297
 Ушаков Н. Н.
 «Зеленые» 324
- Фадеев А. А. 153, 167, 179, 193, 220, 262, 369,
 384, 389, 391–393, 395, 534, 536, 545, 546,
 572, 587
 «Молодая гвардия» 369, 444
- Фалин А. Н. 460
 Фаллада Г. 427
 «Каждый умирает в одиночку» 427
- Фаня 252
 Федин А. С. 577, 603
 Федорова, заведующая детским садом
 422
 «Федька» см. Берггольц Ф. Х.
 Федюнинский И. И. 112, 153
 Федя 175
 Филиппов А. 500
 Филиппова, воспитательница 438
 Филиппова Л. М. 212
 Филлипов (<sic>) 498
 Фомин Н. Н. 36, 63, 90, 91
 Фомина, сестра Н. Н. Фомина 90, 92, 139
 Фомиченко И. Я. 193
 Фонвизин Д. И. 587, 592, 594, 609
- Фоченков А. 430
 Франчески Т. Г. 184
 Франчески И. Г. 184
 Фриц см. Фукс Ф.
 Фукс Ф. 83, 186
 Фукс Э. 66
 Фуксы 83
 Фурцева Е. А. 555
- Хамармер И. П. 87–89, 91, 92, 93, 104, 107–
 109, 112, 113, 115–118, 120–126, 132, 133, 134,
 141–143, 146, 150, 166, 167
 Харичев, военный комиссар 215
 Хемингуэй Э. М.
 «Прощай, оружие!» 238
 Хикмет Н. 535, 542
 Хлебников В. 184
 Ходасевич В. Ф. 73
 «Баллада» 369
 «Возвращение Орфея» 386
 «Из дневника» 358
 «Из окна» 478
 «Когда почти благоговейно...» 199
 «Пробочка» 238
 «Психея! Бедная моя!» 539
 «Пускай минувшего не жаль...» 238
- Ходза Н. А. 250, 387, 389
 Ходоренко В. А. 43, 96, 99, 116, 152, 163, 211,
 212, 249, 250
 Хомутов О. 500
 Хренков Д. Т. 628
 Хрущев Н. С. 490, 494, 545, 546, 554, 565,
 567, 569, 571, 572, 578, 602, 612, 614, 622,
 629, 631
 Хузе О. Ф. 215
- Цветаева М. И.
 «Муза плача» 319
 Цветанов-Петрофф Б. 614
 Цейтлин М. И. 149, 152, 153
 Цехновицер О. В. 55
 Цимбал С. Л. 551, 552
 Цырлин Л. В. 144, 541

- Цырульников 47
- Чаадаев П. Я. 336
«Апология сумасшедшего» 336, 569
- Чапельников Т. 577
- Чекин И. В. 552
- Челноков В. 639
- Черчилль У. 56, 222
- Чехов А. П.
«Рассказ неизвестного человека» 370
«Человек в футляре» 444
- Чижова Е. 214
- Чуковский К. И. 541
- Чуковский Н. К. 142
- Чуркин А. Д. 321
- Шамахов, комсорг 499, 502, 503
- Шамахов М. 503
- Шамахов Н. 500
- Шамахова В. С. 501
- Шапошников Б. М. 58
- Шарков 292
- Шварц Е. Л. 358, 373, 627, 636
- Шварцы 333
- Шевченко Т. Г. 429
- Шекспир У. 130, 357
«Гамлет» 183–184
- Шенбери 614
- Шестинский О. Н. 640
- Шиллер И. Ф. 399
«Заговор Фиеско в Генуе» 600
- Широков И. М. 212, 271
- Шишова З. К. 212, 250
- Шмидт О. Ю. 490
- Шолохов М. А. 160
«Поднятая целина» 610
- Шостакович Д. Д. 164, 166, 170, 384, 387,
392, 619, 636
- Шполянский Г. М. 257
- Шрайбер Я. Л. 475, 506, 508
- Штейн А. П. 291, 295, 297, 298, 308
«Бастион на Балтике» 297
- Штейнман З. 579
- Шторм Г. П. 579
- Шувалова М. А. 388
- Шумилов Н. Д. 51, 56, 77, 152, 153, 171, 172,
214, 498
- Эйзенштейн С. М. 341
- Эйхенбаум Б. М. 93, 141
- Эренбург И. Г. 199, 576, 629, 640
«День второй» 497
- Эрмлер Ф. М. 552
- Эрнст см. Фукс Э.
- Эшман (Тонин) Ю. А. 168
- Юденич Н. Н. 577
- Юзька см. Гринберг И. Л.
- Юлия 461, 463, 464
- Юра, Юрка см. Макогоненко Г. П.
- Юрка см. Герман Ю. П.
- Юрка см. Прендель Ю. А.
- Юровская С. 311
- Явич Л. 266
- Якимов, комсорг 497
- Яковлев, председатель колхоза 437
- Янчин Ф. 639
- Яхонтов В. Н. 280, 282
- Яшка см. Бабушкин Я. Л.
- Adeniyi-Jones S. 635
- Sendrow M. 635
- Sendrow C. 635

Научное издание

**Берггольц
Ольга Федоровна**

**Мой дневник
Т. III
1941–1971**

Текстологическая подготовка: *А. П. Гаврилова,*

Н. А. Стрижкова, Н. С. Самбу

Редактор, корректор: *Н. С. Самбу*

Художественное оформление: *М. А. Миллер*

Компьютерная верстка: *М. А. Рогова, Л. Ф. Комаровская*

Цветокоррекция: *П. М. Ермаков*

Подготовка к печати: *М. А. Рогова*

Куратор проекта: *А. А. Евдокимова*

ООО «Кучково поле Музеон»

123022, Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, стр. 2, оф. 307

Тел.: +7 (499) 253 90 01

www.kpole.ru

Подписано в печать 13.11.2020

Формат 165×210 мм. Гарнитура Trivia

Усл. печ. л. 61,43. Усл. печ. л. цв. вкл. 2,34

ISBN 978-5-907174-34-4



Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ».
432980, Россия, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

